М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН

6

М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах



Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА 1968

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том шестой

*

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

1863—1864

СТАТЬИ

1863

ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА

1864

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1968

Р1
С16

Подготовка текста *В. Э. Боград*а

Примечания
А. А. Жук, Н. Ю. Зограф, В. Я. Кирпотина, Р. Я. Левита, С. А. Макашина, В. А. Мыслякова, Е. И. Покусаева, П. С. Рейфмана, Л. М. Розенблюм, Г. Ф. Самосюк

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА

7—3—1
Подп. изд.



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Фотография С. Л. Левицкого

Середина 1860-х гг.

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

<I. ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ 1863 ГОДА>

ВСТУПЛЕНИЕ. БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ И НИГИЛИСТЫ.— СЕНЕЧКИН ЯД.— МАЛЬЧИШКИ.— СОВРЕМЕННАЯ ЭКВИЛИБРИСТИКА.— ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПРИЧИНЫ ЕЕ

Предполагая помещать в «Современнике» периодические очерки о ходе нашей общественной жизни, мы считаем не лишним предварить читателей, что нас будет занимать не петербургская собственно жизнь с ее огорчениями и увеселениями, с ее мероприятиями и мероизъятиями, но общий характер русской общественной жизни в ее величественном и неторопливом стремлении к идеалу. В этом случае нас руководит то соображение, что петербургским читателям нашим все увеселения и мероприятия Северной Пальмиры известны лучше, нежели нам самим, по тем последствиям, которые они оказывают на их бока; что же касается до читателя провинциального, то ему решительно все равно, чем увеселяется и что извергает из себя Петербург. Читатель провинциальный живет совершенно иною жизнью; она не распадается в глазах его на мелочные подробности, но представляется в одном общем фокусе, доходит до слуха его, как общий гул, в котором он стремится уловить господствующую ноту. В этой-то именно ноте он и ищет настоящего, действительного жизненного установа. Какое ему дело до того, например, что такого-то числа Петербург был осчастливлен прибытием композитора Верди, который самолично дирижировал оркестром во время представления новой его оперы «Сила судьбы», или до того, что в Михайловском театре дается драма «Les beaux

messieurs de Bois-Doré»[1], в которой г-жа Стелла-Колас оказывается племянником своего дяди? Я полагаю, что он останется вполне равнодушным, если я доложу ему даже такой факт, что такого-то, например, числа г. М. исчез из своей квартиры неизвестно куда. «Об чем это они пишут!— воскликнет огорченный провинциал,— ну, исчез М., ну и нашла его, конечно, полиция!» И, сказав это, бросит книжку под стол, прокляв раз навсегда летописцев, бесплодно смущающих его веселые сны изображениями Стеллы-Колас в костюме племянника.

Совсем другое будет, если я доложу ему, отчего у нас на Руси развеселое житье завелось. Он это чувствует, ибо сам как сыр в масле катается. Он бросится на мою хронику с жадностью и прочитает ее всю от начала до конца. Он сам участник того неторопливого поступания к идеалу, которым проникнулась современная русская жизнь, и только не всегда может объяснить себе, почему мы стремимся именно *к* идеалу, а не *от* идеала. Иногда ему кажется, что было бы гораздо легче бежать под гору, нежели взбираться, бог весть с какими усилиями, на крутизну, которая, в довершение всего, носит название «Дураковой плеши». Мое дело растолковать ему, что́ и ка́к. Мое дело сказать ему: любезный провинциал! если ты побежишь под гору, то уткнешься в «Дураково болото», тогда как если взберешься на крутизну, то, напротив того, уткнешься в «Дуракову плешь»! Пойми.

Услышав это, провинциал поймет и станет карабкаться; я же буду взирать на его усилия и проливать слезы умиления.

Это маленькое введение должно достаточно определить характер и направление нашей хроники. Читатели предупреждены, и те из них, которые более интересуются текущими новостями, нежели величественным течением русской жизни, пусть не читают меня, а обратятся к моим собратам по ремеслу.

Да, это «ремесло»,—я откровенно должен сознаться в этом,— это ремесло горчайшее всех ремесл! И к удивлению моему, я не чувствую даже, чтобы краска стыда выступала на лице моем в то время, как я искренно признаю себя ремесленником. Да, я *обязан* быть веселым даже в то время, когда мне докладывают, что приятель мой М. исчез неизвестно куда из своей квартиры. Я не смею пролить ни единой слезы, я не имею права выбежать на улицу и огласить стогны Петрограда отчаянным криком: нет Агатона! нет моего друга!

---

[1] «Красавцы из Буа́-Доре́».

Я не могу сделать это, потому что прежде всего должен *сделать* мою хронику. Я обязан быть веселым даже в то время, когда служитель мой, посланный мной разменять какие-то особенные деньги, возвратясь, докладывает мне, что за эти деньги никто не даст больше восьмидесяти копеек на рубль. Я не смею заскрежетать зубами, не смею броситься на улицу и огласить стогны Петрограда криком: грабят! несмотря на то что ни один, даже самый невинный, помещик не отказывает себе в этом удовольствии. Я не могу это сделать, во-первых, потому, что прежде всего обязан сделать свою хронику, а во-вторых, потому, что я со всех сторон окружен публицистами и экономистами, которые мне докажут, что явление, меня огорчающее, есть естественное последствие естественного хода вещей.

Я должен быть весел не потому, чтобы мне лично было весело, а потому, что явления, проходящие передо мной, веселы.

С другой стороны, по временам я должен принимать торжественный тон и возвышаться до гражданской скорби. Например, я встречаю в обществе очень молоденькую и миленькую девицу, до того молоденькую, что еще вчера родители выводили ее в панталонцах; мы начинаем разговаривать; я, натурально, спрашиваю ее, читала ли она произведение Анны Дараган и как оно ей понравилось; она, напротив того, отвечает мне, что недавно вышло в переводе новое сочинение Шлейдена и что Тургенев, написавши «Отцов и детей», тем самым доказал, что он ретроград. Мне делается весело. «Какой милый пузырь!—думаю я,— и как ведь все это бойко... ах, черт побери! ах, черт тебя побери!» Но увы! веселость моя неуместна! Сообразив хорошенько происходящий передо мной факт с общим величественным течением российской жизни, я чувствую, что обязан относиться к нему с меньшею игривостью и что, говоря о девице, обзывающей Тургенева ретроградом, я должен принять тон торжественный и даже скорбеть... Разумеется, торжествовать по случаю девицы, а скорбеть по случаю Тургенева.

Итак, я должен отречься от самого себя, отречься от своих воспоминаний; одним словом, я целую жизнь должен ходить по орлецам. Неужели же это не ремесло?

Приступим.

По всей вероятности, читатель, который возьмет в руки эту первую книжку возобновленного «Современника», прежде всего спросит себя: очистились ли мы постом и покаянием?

Что пост был— это достоверно; в этом, в особенности, убедилась сама редакция «Современника». Не то чтобы идея

поста была совершенно противна «Современнику», но, конечно, было бы желательно, чтобы сроки воздержания были назначаемы несколько менее щедрою рукой. Это тем более желательно, что было бы вполне согласно и с постановлениями святых отцов, которые нигде не заповедали, чтобы пост продолжался восемь месяцев. Будем надеяться, что это случилось нечаянно и что, с обнародованием новых законов о книгопечатании, будут изысканы иные, более приятные и не менее полезные мероприятия...

Что же касается до вопроса о покаянии, то на него мы постараемся ответить в продолжение последующих десяти месяцев настоящего года. Но, во всяком случае, мы обещаемся быть благонамеренными, потому что все нас к тому призывает: и желание беседовать с читателями именно двенадцать, а не пять раз в году, и современное настроение российского общества, и, наконец, разные другие обстоятельства.

Но прежде всего я обязан определить, что такое благонамеренность. Признаюсь откровенно, обязанность эта застает меня несколько врасплох, ибо слово это произошло на свет так недавно, что даже значение его не вполне определилось. Толкуют его больше фигурами и уподоблениями. Так, например, если я вижу человека, участвующего своими трудами в «Северной пчеле», в «Нашем времени», в «Северной почте»,— я говорю себе: это человек благонамеренный. Если я вижу человека, посещающего балы гг. Марцинкевича, Заллера, Наумова и других,— я говорю себе: это человек благонамеренный. Почему я так говорю,— я не знаю, но чувствую, что говорю правду, и всякий, кто слышит меня говорящим таким образом, тоже чувствует, что я говорю правду. Совсем другое дело, если я вижу человека, таинственно пробирающегося в редакцию газеты «Голос»; тут я прямо говорю себе: нет, это человек неблагонамеренный, ибо в нем засел Ледрю-Роллень. И напрасно Андрей Александрыч Краевский будет уверять меня, что Ледрю-Роллень был, да весь вышел,— я не поверю ему ни за что, ибо знаю стойкость убеждений Андрея Александрыча и очень помню, как он, еще в 1848 году, боролся с Луи-Филиппом и радовался падению царства буржуазии.

Но отвратим наши взоры от этого печального зрелища и будем продолжать фигуры и уподобления. Прежде всего, благонамеренный человек должен обладать хорошим поведением. Хорошее это поведение состоит в следующем. Утром благонамеренный человек встает и читает «Северную почту» (он может не ходить к обедне, и бог ему простит это за его благонамеренность); фельетонист Заочный сорвет с его уст

улыбку, Илья Арсеньев заставит вздохнуть о черногорцах, И. А. Гончаров вырвет из груди стон, а секретарь редакции Лебедкин найдет его равнодушным.

Испытав таким образом все ощущения, которым может подвергаться натура человеческая, и узнав, сверх того, в чем должна заключаться сегодняшняя благонамеренность, благонамеренный отправляется побеседовать с г. Старчевским, который сообщает ему, что подписчики «Сына отечества» получили привилегию уплачивать за пересылку этого журнала не по три рубля, как подписчики прочих газет, но по одному рублю в год. Под влиянием этой беседы благонамеренный заходит к Доминику, где съедает три пирожка, а буфетчику сказывает, что съел один. Затем до обеда он гуляет по Невскому, пожирая глазами флигель-адъютантов, потом обедает в долг у Дюссо, а вечером отправляется в Михайловский театр и день оканчивает блистательным образом на бале у безземельных, но гостеприимных принцесс вольного города Гамбурга.

Если вы спросите меня, каким образом я во всех описанных выше действиях нахожу благонамеренность, я могу истолковать вам это. Сколько я мог понять из объяснений людей сведущих, слово «благонамеренность», в современном его значении, имеет смысл весьма ограниченный и притом совершенно специальный. Человеку, который решается стать в ряды благонамеренных, стоит только сказать себе: «Друг мой! ты можешь, если хочешь, заимствовать платки из чужих карманов, ты можешь читать «Сын отечества» и «Петербургскую клубничку»[1], но в вознаграждение за это ты обязан иметь хороший образ мыслей». Отсюда другая черта благонамеренности— хороший образ мыслей. Что такое этот «хороший образ мыслей» — этого я объяснить не умею, потому что это выражение скорее чувствуется, нежели понимается.

Тем не менее если судьба заставит вас потолкаться некоторое время между людьми благонамеренными и если вы возьмете на себя труд вдуматься в их речи и действия, вы поймете и это. Вы поймете, например, что отличительный признак хорошего образа мыслей есть невинность. Невинность же, с своей стороны, есть отчасти отсутствие всякого образа мыслей, отчасти же отсутствие того смысла, который дает возможность различить добро от зла. Любите отечество и читайте романы Поль де Кока — вот краткий и незамысловатый ко-

---

[1] Да; есть в Петербурге журнальчик и с этим названием. Это истинные геркулесовы столпы петербургской благонамеренности. (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

декс житейской мудрости, которым руководствуется современный благонамеренный человек. И благо ему. Если он утаил о двух излишне съеденных пирожках, то это простится ему, потому что от этого нет ущерба ни любви к отечеству, ни общественному благоустройству. Одно только может повлечь для него за собой неприятность: это если факт утаения вызовет за собой протест; но и тогда Доминик ему только заметит, что на будущее время он должен быть осмотрительнее, то есть скрадывать пироги ловчее и глотать их быстрее. И более ничего. Потому, главное все-таки в том заключается, чтобы любить отечество и не размышлять. Танцуйте канкан, развлекайтесь с гамбургскими и отчасти ревельскими принцессами, но, бога ради, не мыслите. Посещайте Михайловский театр, наблюдайте за выражением лица г-жи Напталь-Арно в знаменитой ночной сцене пьесы «Nos intimes» [1], следите за беспрерывным развитием бюста г-жи Мила, но, бога ради, не мыслите. Ешьте, пейте, размножайте человеческий род, читайте «Наше время», но, бога ради, не мыслите. Если же вам непременно нужно мыслить, то беседуйте с «Сыном отечества», ибо мысли, порождаемые этими беседами, не суть мысли, но телесные упражнения...

Таким образом, с помощью фигур и уподоблений, мы догадываемся наконец, что́ такое этот «хороший образ мыслей», который в последнее время пустил такие сильные корни в нашем обществе. Сидите ли вы в театре, идете ли по улице,— вы на каждом шагу встречаете людей, которых наружность ничего иного не выражает, кроме того, что их отлично кормят. Тут не может быть речи об убеждениях, а тем менее о недовольстве кем и чем бы то ни было: в этих ходячих могилах все покончено, все затихло. Самый добродушный из них на ваши приставанья ответит: «Mon cher! qui est-ce qui en parle!» [2], но менее добродушный фыркнет и огрызнется, как пес, к которому неосторожно подойдут в то время, когда он ест. Следовательно, благонамеренность не исключает и некоторого остервенения, которое и составляет третью характеристическую черту ее.

Какая причина этого остервенения, где источник этой благонамеренной плотоядности? Устали ли мы от политических потрясений? Испытали ли мы на себе бесплодность и вредоносную силу утопий? Разочаровались ли мы? Очаровывались ли когда-нибудь? Где та сирена, которая нас, гибнущих плавателей, соблазнила сладкогласным своим пением?

---

[1] «Наши близкие».

[2] Дорогой мой, кто же об этом говорит!

Странное дело! мы не можем указать на какие-либо политические потрясения (слава богу!), мы не можем сослаться ни на какие утопии (ух, слава богу!), и в то же время не можем скрыть, что сирена все-таки существует. Многие даже видели ее и уверяют, что она ходит в вицмундире.

Увы! пение сирены отразилось даже на литературе нашей. Из загнанной и трепещущей она превратилась в торжествующую и ликующую, из скептической в верующую, из заподозренной в благонамеренную и достойную доверия. Деятели, целую жизнь дразнившие и уськавшие общественное мнение, всенародно бьют себя в грудь, всенародно раздирают на себе одежды и признают себя удовлетворенными. «Мальчишки!» — стонет на все лады один; «нигилисты!» — подвизгивает ему другой. И хотя это обвинение есть единственное, которое успела ясно сформулировать кающаяся русская литература, но, вероятно, оно признается достаточно капитальным, если журналы серьезные и, по-видимому, благонамеренные решаются настаивать на нем.

Вновь спрашиваю я: что за причина такого беспримерного наплыва благонамеренности в нашу литературу?

Увы! я просто думаю, что всему причиной четвертак, тот самый четвертак, об отношениях которого к русской литературе и ее деятелям так остроумно выразился московский публицист М. Н. Катков: четвертака, дескать, при них плохо не клади — стащат! «Как! — воскликнет читатель,— эта самая русская литература, которая так много тщеславилась своею гордою неприступностью, которая так строго преследовала Булгарина за его легкие нравы,— вдруг соблазнилась на четвертак!» Да-с, так именно рассказывает М. Н. Катков, и, к сожалению, некоторые признаки заставляют сознаться, что он не неправ. Во-первых, г. Катков не решился бы взвести столь важное обвинение без достаточных оснований; если он заявляет об этом, стало быть, действительно у него или у присных его кто-нибудь из литераторов стянул четвертак. Ведь заявлял же он некогда, что некто стянул у него сочинение Гнейста — и что ж? оказалось, что стянул, до такой степени стянул, что даже следующая книжка «Русского вестника» не могла быть своевременно выдана именно по этому случаю. Во-вторых, как-то поразительно видеть, как та же самая литература, которая столько времени уподоблялась жалкой салопнице, трепещущей в холодном мантò, вдруг является торжествующею и самоуверенною; как та же литература, которая так долго надсаживала себе грудь, доказывая, что зерно всего лучшего таится исключительно в молодом поколении, вдруг поворачивает назад и начинает надсаживать себе грудь,

выкрикивая на все лады: «мальчишки! нигилисты!..» Переменилось ли что-нибудь? Перестало ли молодое быть молодым?

«Нет, тут что-нибудь да не так! — рассуждаю я ввиду всех этих внезапных перемен,— или, лучше сказать, это так... это он... это четвертак!»

Но положим, что М. Н. Катков ошибся; положим, что не буквально же четвертак соблазнил нашу литературу, что эта мелкая монета служит лишь фигурою уподобления — тем не менее это обидно. Это обидно, потому что слово «четвертак» представляет здесь идею дешевизны; это обидно, потому что четвертачизм, претерпевавший доселе в русской литературе постыднейшее крушение, несмотря на гигантские, в своем роде, усилия Ф. В. Булгарина, начинает приживаться в ней именно в такую минуту, когда всего менее можно было этого ожидать. Тут еще не было бы дива, если б во времена Булгарина четвертак обладал обаятельною силой: тогда и провиант был дешевый, да и политические интересы сосредоточивались исключительно на разъяснении вопроса, откуда произошла Русь. Ясно, что это были интересы четвертаковые и что защищать за четвертак происхождение Руси от норманнов было и не предосудительно и не обременительно. Но и за всем тем наша литература выказывала ироизм неслыханный: защищала норманнское происхождение Руси даром. Напротив того, теперь, когда, с одной стороны, жизненные припасы поднялись в цене необычайно, когда, с другой стороны, политический горизонт с каждым днем расширяется, когда с каждым днем обнажаются, так сказать, новые и новые срамоты, литература, вместо того чтобы быть на страже, вместо того чтобы грудью стоять именно за такую, а не за иную срамоту, оказывает малодушество беспримерное и выделяет из себя публицистов, которые за четвертак поют хвалебные гимны всем срамотам без различия, а за гривенник призывают кару небес на мальчишек и нигилистов!

Что сей сон значит?

Или мы были героями во времена Булгарина потому только, что перед глазами нашими не блистал заманчиво четвертак? Может быть.

Или мы были так слабы и ничтожны в то время, что нам и четвертака никто не считал за нужное посулить? Может быть.

Или наша изобретательная способность до такой степени притупилась об варягов, что, когда настало наконец время для вопросов более серьезных и жизненных, мы не отыскали в себе никаких ответов на них, и потому нашли для себя бо-

лее покойным и выгодным дуть в нашу маленькую дудочку на заданную тему? Может быть.

Или же, наконец, тут имеется с нашей стороны тонкий расчет? Быть может, мы думаем, что со временем наши фонды поднимутся и что мы незаметным образом с четвертака возвысимся до полтинника? Может быть.

Я не решаю этих вопросов, а только излагаю их. Я считаю себя летописцем; я даже не группирую фактов и не выжимаю из них нравоучения, но просто утверждаю, что в 1862 году в нашу общественную жизнь, равно как и в нашу литературу, проникла благонамеренность. С одной стороны, общество убедилось окончательно, что оно таки подвигается; с другой стороны, литература, удачно воспользовавшись этим настроением, начала сочувственно и весело строить целые политические системы на мотив: «Чего же тебе еще нужно?»

Я уверен, что известие это в особенности порадует провинциального читателя. В самом деле, видя, какой переполох царствовал в наших журналах до 1862 года, какими словесными подзатыльниками угощали в них друг друга россияне, бедный, удаленный от света провинциал мог и невесть что подумать. Ему могло показаться, что старому веселью конец пришел, что хороших людей моль поела и что на месте их неистовствуют всё мальчишки да нигилисты... Ничуть не бывало! утешаю я его; все это было до 1862 года, но в этом году россияне вступили в новое тысячелетие и соорудили себе в Новгороде монумент... шутка! Как же тут не созреть, как не пойти в семена при одной мысли о монументе!

Из всего сказанного выше явствует, что один из существенных признаков нашей благонамеренности заключается в ненависти к мальчишкам и нигилистам. Что такое нигилисты? что такое мальчишки?

Слово «нигилисты» пущено в ход И. С. Тургеневым и не обозначает, собственно, ничего. В романе г. Тургенева, как и во всяком благоустроенном обществе, действуют отцы и дети. Если есть отцы, следовательно, должны быть и дети,— это бы, пожалуй, не новость; новость заключается в том, что дети не в отцов вышли, и вследствие этого происходят между ними беспрестанные реприманды.

Отцы — народ чувствительный и веруют во всё. Они веруют и в красоту, и в истину, и в справедливость, но больше прохаживаются по части красоты. Они проливают слезы, читая Шиллерову «Resignation» [1], они играют на виолончели, а

---

[1] «Покорность судьбе».

отчасти и на гитаре, но не остаются нечувствительными и к четвертакам. Да, люди, о которых я докладывал выше, как о поддавшихся обаянию четвертака,— это всё отцы. Вообще, это народ легко очаровывающийся. Когда-то они были друзьями Белинского и поклонниками Грановского, но, по смерти своих руководителей, остались как овцы без пастыря. Очарования их приняли характер беспорядочный, почти растрепанный; с одной стороны — Laura am clavier [1], с другой — тысяча рублей содержания, даровая квартира и несколько пудов сальных свечей — вот две мучительные альтернативы, между которыми проходит их жизнь. Тем не менее надо отдать им справедливость: Лаура с каждым днем все дальше и дальше отодвигается на задний план, и все ближе и ближе придвигается тысяча рублей содержания. Способность очаровываться осталась та же, но предмет ее изменился, и изменился потому, что нет в живых ни Белинского, ни Грановского. Будь они живы, они, конечно, сказали бы «отцам»: «цыц!» — и тогда кто может угадать, чем увлекались бы в настоящую минуту эти юные старцы?

В противоположность отцам, дети представляют собой собрание неверующих.

— Вы не верите ни во что... даже? —вопрошает Базарова один из старичков Кирсановых.

— Даже,— отвечает Базаров, вовсе не заботясь о том, что он делает этот ответ в доме Кирсановых и что, по всем правилам гостеприимства, гость обязан говорить хозяевам лишь приятные и угодные вещи.

Не верит в «даже», а верит в лягушек! Соблазняется красивыми плечами женщины, и при этом не содрогается мыслью, что красивые плечи составляют лишь тленную оболочку нетленной души! Кроме того: а) на красоту вообще взирает с той же точки зрения, с какой г. Семевский взирает на русскую историю, то есть с точки зрения клубнички; б) не тоскует по истине, ибо не признает науки, скрывающейся, как известно, в стенах Московского университета; в) эстетическими вопросами не волнуется, на виолончели не играет и романсов не поет; и г) обаятельную силу четвертака отвергает положительно... Спрашиваю я вас, как назвать совокупность всех этих зловредных качеств? как назвать людей, совокупивших в себе эти качества? Я знаю, госпожа Коробочка назвала бы их фармазонами, полковник Скалозуб назвал бы вольтерьянцами; но И. С. Тургенев не захотел быть подражателем и назвал нигилистами...

---

[1] Лаура за клавесином.

Как бы то ни было, но «благонамеренные» накинулись на слово «нигилист» с ожесточением; точь-в-точь как благонамеренные прежних времен накидывались на слова «фармазон» и «волтерьянец». Слово «нигилист» вывело их из величайшего затруднения. Были понятия, были явления, которые они до тех пор затруднялись, как назвать; теперь этих затруднений не существует: все это нигилисты; были люди, которых физиономии им не нравились, которых речи производили в них нервное раздражение, но они не могли дать себе отчета, почему именно эти люди, эти речи производят на них именно такое действие; теперь все сделалось ясно: да потому просто, что эти люди нигилисты! Таким образом, нигилист, не обозначая, собственно, ничего, прикрывает собой всякую обвинительную чепуху, какая взбредет в голову благонамеренному, и если б Иван Никифорыч Довгочхун знал, что существует на свете такое слово, то он, наверное, назвал бы Ивана Иваныча Перерепенко не дурнем с писаною торбою, а нигилистом. Человек, который ходит по улице без перчаток,— нигилист, и человек, который заявит сомнение насчет либерализма Василья Александрыча Кокорева,— тоже нигилист. «Он нигилист! он не верит ни во что святое!» — вопят благонамеренные, и само собой разумеется, что Василию Александрычу это нравится. Одним словом, нигилист есть человек, беспрерывно испускающий из себя какой-то тонкий яд, от которого мгновенно дуреют слабые головы мальчишек!

Это переносит меня к далеким дням моей молодости. Знал я тогда одно семейство, жившее очень почтенно и патриархально и состоявшее из большого числа членов, между которыми были и старики, и взрослые, и подростки. Семейство наслаждалось тишиною и благоденствовало: оно имело тот форменный взгляд на нравственность и человеческие обязанности, который составляет счастие людей, желающих прожить свой век без тревог и волнений. Конечно, так и прожили бы эти добрые люди, если бы, к несчастью, не замешался тут Сенечка.

Сенечка был просто добрый малый, живший большею частью в отдалении от родных, и потому несколько отвыкший от этого бесшумного, обрядного жизненного строя, который царствовал в его семействе. Нельзя сказать, чтоб его не любили домашние; напротив того, на него возлагались даже какие-то честолюбивые родовые надежды, так как он один из всего семейства состоял на государственной службе и обещал когда-нибудь чего-нибудь достигнуть и тем прославить род Горбачевских. Тем не менее обольщение было непродолжительно; за Сенечкой во время побывок его в родном доме

стали замечаться какие-то прорухи, какое-то не то чтобы озлобление, но полное равнодушие к родным интересам.

Но это все бы еще ничего: оказалось, что Сенечка разливает яд и действует посредством его на подростков.

Выходит из института невинная девица, внучка и дочь семейства, и поселяется у родных. Она уважает дедушку, боготворит бабушку, целует ручки у папеньки и маменьки, беседует и спорит по вечерам с приходским батюшкой насчет того, действительно ли существовали на свете Лазарь богатый и Лазарь бедный, или это только так, притча? Одним словом, родные не налюбуются милым ребенком и все в один голос кричат: что за милое, что за невинное создание! Но вот приезжает в побывку Сенечка... Он привозит с собой несколько французских романов — наша институтка слышит это верхним чутьем; она украдкой от родных бегает в Сенечкину комнату и читает... Сенечка рассказывает, на каких он балах в Петербурге бывает (он бывает исключительно у Марцинкевича), какая в Петербурге опера и в какие неслыханные платья облекается г-жа Напталь-Арно, изображая маркиз. Институтка слушает это сначала одним ухом, потом обоими; потом она задумывается, потом ей плохо спится ночь... В одно прекрасное утро она начинает плакать и не хочет диспутировать с батюшкой; она не называет бабушку «божественной» и после обеда забывает поцеловать руку у папеньки. Мало того: она вдруг начинает резвиться и бегать по комнате; она садится за фортопьяно и не то чтобы играет, но как-то беспорядочно стучит по клавишам; наконец, она открыто называет родных тиранами, желающими заесть ее молодые годы.

— Это Сенечкин яд! — шепчут родственники,— это все Сенечкин яд действует!

— Помилуйте, маменька! — оправдывается Сенечка,— какой тут яд! просто-напросто Катеньке повеселиться хочется! просто-напросто молодая кровь в ней играет!

— Нет, это твой яд!— твердят хором родственники и спешат удалить Сенечку.

Приезжают на каникулы дети — гимназисты; бабушка осматривает их и говорит: молодцы! папенька спрашивает, какие у них отметки, и получает ответ, что всё пять да четыре. Петров пост; дети кушают постное вместе с Катенькою и прочими членами семейства; они делают это даже с некоторою восторженностью, думая посредством гороха спасти свои грешные души. И вдруг приезжает Сенечка.

— Дяденька! у нас постное! — спешат сообщить ему гимназисты.

— Стану я ваши пробки есть! — огрызается Сенечка и объявляет, что будет есть скоромное.

Декорация меняется. На другой день, за обедом, все едят постное, одному Сенечке подают скоромное. Гимназисты едят плохо.

— А что, друзья, вкусны пробки? — подшучивает Сенечка, видя, как они заглядываются на его котлетку.

Родитель гимназистов слегка бледнеет; бабушка строго посматривает на Сенечку. Но дело уж сделано; гимназисты плачут; Катенька, которая тоже надеялась спасти свою душу, вторит им; жаренный в постном масле картофель так и уносят обратно нетронутый.

— Это Сенечкин яд!— шепчут родственники,— это все Сенечкин яд действует.

— Помилуйте, маменька! — оправдывается Сенечка,— какой тут яд! просто-напросто детям есть хочется, потому что они растут.

— Нет, это твой яд! — решает семейный ареопаг и спешит как-нибудь удалить Сенечку.

Все, даже рабы и рабыни, находятся под влиянием Сенечкина яда. Кормили их прежде, например, кислым молоком, и они не жаловались, и вдруг дернула же нелегкая Сенечку спросить у Ионки-подлеца:

— А что, брат, с кислого-то молока, чай, живот подвело?

И вот на другой день история: кислое молоко в помойную яму вылили; и хотя все-таки им ничего другого не дали, однако огорчились.

— Это все Сенечкин яд! — шепчут родные.

— Да помилуйте, маменька! чем же я виноват, что у вас люди голодны? — оправдывается Сенечка.

— Нет, это твой яд! — решает семейный ареопаг и спешит как-нибудь освободиться от Сенечки.

Подобно этому Сенечке, нигилисты обязаны выносить на себе все грехи мира сего. Тявкнет ли на улице шавка — благонамеренные кричат: это нигилисты подучили ее; пойдет ли безо времени дождь — благонамеренные кричат: это нигилисты заговаривают стихии! Этого мало: летом 1862 года, по случаю частых пожаров в Петербурге, ходили слухи о поджогах — благонамеренные воспользовались этим, чтоб обвинить нигилистов; образовалась какая-то неслыханная потаенная литература — благонамеренные возопили: это они! это нигилисты! Злорадство дошло до той степени безобразия и нелепости, что благонамеренные готовы были, чтоб у них поснимали головы, лишь бы иметь право сказать: это они! это нигилисты!

Вот какую страшную услугу оказал г. Тургенев. Хорошо еще, что он заблагорассудил уморить Базарова почти насильственною смертью, но что было бы, если б Базаров выдержал, если б пришлось писать вторую часть романа и показать Базарова в соприкосновении не с госпожою Одинцовою и братьями Кирсановыми, но с жизнью действительною, если б, одним словом, пришлось изобразить Базарова деятелем общественным и политическим? Ужели же и впрямь оказалось бы, что выводы, делаемые людьми благонамеренными, суть выводы, естественно вытекающие из самого романа?

Но оставим Базарова. Я совершенно согласен, что люди, поджигавшие Петербург, суть нигилисты, но в таком случае какой же резон слово «нигилист» смешивать с словом «мальчишки»? Допустим, что слово «нигилист» выражает собой совокупность всех возможных позорных понятий, начиная от неношения перчаток и кончая отрицанием кокоревского либерализма,— чем же тут виноваты мальчишки? Посредством какого адского сцепления идей приплетаются они к нигилизму? Умышленно ли это делается или неумышленно?

Прежде всего, примем в соображение, что слово «мальчишки» имеет смысл нарочито презрительный. Оно пущено в ход московскими публицистами, которые в этом случае оказали благонамеренным услугу столь же незабвенную, как и И. С. Тургенев [1]. И действительно, сила заключается не в слове, а в том понятии, которое оно выражает; «мальчишки» же выражают собой еще более, нежели «нигилисты». Нигилистом может быть человек всякого возраста; так, например, Аркаша Кирсанов покидает ремесло нигилиста тотчас же, как только собственным умом доходит до убеждения, что никакие нигилизмы на свете не стоят ничего перед теми положительными утехами, которые может доставить ему соединение с милой Катей (сестра г-жи Одинцовой). Стало быть, по этой теории, ничто не мешает быть нигилистом Н. Ф. Павлову, хотя, быть может, у него, от преклонности, ни одного волоса на голове нет, и благонамеренным — г. Чичерину, хотя он еще очень молодой человек. Напротив того, слово «мальчишки», так сказать, подрывает будущее России, ибо обращается преимущественно к молодому поколению, на котором, как известно, покоятся все надежды любезного отечества. Под этим словом

[1] Заметим здесь кстати, что судьба вновь изобретаемых выражений не всегда одинакова. Например, г. Чичерин, по поводу какой-то трогательной истории, случившейся с ним самим, изобрел в 1861 году слово: «казачество в науке». Казалось бы, и метко, и замысловато, и образно — а в ход не пошло! Между тем М. Н. Катков только и изобрел что «мальчишек», а какой произвел фурор! Счастье! (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

подразумевается все, что не перестало еще расти; М. Н. Катков взирает на П. М. Леонтьева и говорит: вот мера человеческого роста! и затем, всякий индивидуум, который имел несчастье родиться двумя минутами позднее г. Леонтьева, поступает в разряд мальчишек. Не хитро, но зато просто и удобно.

Таковы физические условия мальчишества, в чем же должны заключаться условия нравственные? Очевидно, в том же, в чем и нравственные условия нигилистов, то есть в отсутствии всяких нравственных условий. Мальчишки не верят в науку, ибо не читают статей г. Молинари; мальчишки не верят в бессмертие души, ибо не читают статей г. Юркевича (во все это верят помещики, преимущественно подписывающиеся на «Русский вестник»); мальчишки — это, по счастливому выражению «Времени», «пустые и безмозглые крикуны, портящие всё, до чего они дотронутся, марающие иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют; мальчишки — это свистуны, свистящие из хлеба (какая разница, например, с «Временем»! «Время» свистит и в то же время говорит: «Из чести лишь одной я в доме сем *свищу!*») и только для того, чтобы свистать, выезжающие верхом на чужой украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающие себя маленьким кнутиком рутинного либерализма»...[1]

Одним словом, мальчишество есть нечто вроде греха первородного; мальчишка уже тем виноват, что он мальчишка; мальчишка фаталистически обречен на нигилизм.

Он не может ни серьезно мыслить, ни серьезно думать — потому что он мальчишка; он не смеет ни о чем иметь своего суждения — потому что он мальчишка; его мысль, его действия, его телодвижения, все его существо, одним словом, необходимо должны заключать в себе нечто озорное, имеющее особый пасквильный смысл,— потому что он мальчишка. «Угодно вам папиросу?» — спрашивает мальчишка у благонамеренного, и благонамеренный фыркает и злится, потому что думает: «Га! это он неспросту мне папиросу предлагает! он хочет этим показать, что я до такой степени ослаб, что даже папиросу выкурить не в состоянии!» Каждое слово маль-

---

[1] Справедливость требует, однако ж, сказать, что «Время» не прилагает этих эпитетов собственно к мальчишкам; по своему обыкновению, оно беседует в пустыне и о пустыне. Но этот «маленький кнутик рутинного либерализма» — прелесть! Как должно было взыграть сердце Н. Ф. Павлова при чтении этих строк! Что должен был он сказать! Очевидно, он должен был сказать: все это я уж целых два года думаю, а М. М. Достоевский только возвел в перл создания! (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

чишки подвергается толкованию самому инквизиторскому, в каждом его действии видится поползновение протанцевать карбонарский канкан.

Ожесточение благонамеренной прессы, а за нею и благонамеренной части общества доходит до того, что если мальчишка умирает или иным способом погибает, то никому не придет в голову сказать: вот погибает человек жертвою... ну, положим, хоть заблуждений! но всяк говорит: вот погибает мальчишка, то есть негодяй, то есть нигилист, то есть человек, не различавший своего от чужого! Откуда это проклятое «то есть»? Отчего, если оно не всегда выражается, то всегда подразумевается? А просто оттого, что дело идет об «мальчишках» — и всё тут!

Мальчишество — это преступление, за которое уличенный в нем лишается прав состояния и, что всего важнее, лишается права жаловаться, права апеллировать. Благонамеренный не станет и разговаривать с мальчишкой; «это мальчишка»,— скажет он и самодовольно пройдет себе мимо...

Да, горько родиться «мальчишкой», но как же, с другой стороны, и не родиться-то им?

Всякий мужчина, как бы он росл ни был, имел свой период мальчишества, только не всякий это помнит. Иной думает, что он так-таки и вышел из головы Юпитера, как Минерва, во всеоружии; иной забыл, что он не далее как в 1861 году был еще мальчишкой; иной и не забыл, и даже не скрывает, что не забыл: «Ну да, говорит, я был мальчишкой, покуда не коснулась меня благодать благонамеренности... что ж из того? а если меня опять коснется благодать мальчишества, я и опять буду мальчишкой... что ж из того?» Таким образом, одни действуют по беспамятству, другие — потому, что дело это торговое и завсегда в наших руках состоит.

К последнему разряду деятелей я не обращаюсь; я знаю, что они еще не раз в своей жизни будут и мальчишками, и благонамеренными, смотря по тому, где больше поживишки. Это паразиты, которые обращают внимание исключительно на то, чье тело представляется более пухлым и лоснящимся, чтоб угнездиться именно там, где более обеспечено еды. Я обращаюсь к людям просто забывчивым и спрашиваю: неужели вы в самом деле забыли? неужели вы дошли до состояния опресноков без всяких тревог, без всякой борьбы? неужели вы не метались и не кипели? неужели зашли в трущобу благонамеренности так же случайно и безразлично, как заходят современные франты в тот или другой танцкласс? Нет, это невероятно. Это невероятно, потому что нет того человека,

которого заплесневелая душа не умилилась бы перед воспоминанием о давно прошедших, сладких днях молодости; нет того дряхлого, тупого старика, которого голова не затряслась бы сочувственно, которого морщины не осветились бы лучом радости, когда на него хоть на мгновенье, хотя случайно пахнет свежим ароматом навсегда утраченной весны жизни. Ибо, каково бы ни было содержание молодости (положим, что оно было беспутно, с вашей *нынешней* точки зрения), все же оно говорит о силе, говорит о надеждах, о жажде подвига, говорит о той книге жизни, которая когда-то читалась легко и которая туго и тупо дается осторожно-каплуньему пониманию старчества.

Да не подумает, однако ж, читатель, что я взываю о сожалении к мальчишкам, что я для того обращаюсь к памяти благонамеренных, чтобы сказать им: и вы были молоды, и вы заблуждались, так имейте же снисхождение к молодости и заблуждениям других! Нет, я просто становлюсь на историческую почву и говорю благонамеренным: вспомните то время, когда вы были мальчишками, и поищите в своей памяти, не было ли и тогда «благонамеренных»? Думаю, что этого вопроса достаточно, чтобы заставить их покраснеть.

Нет, я не прошу для мальчишек ни сожаления, ни даже снисхождения. Я нахожу, что мальчишество — сила, а сословие мальчишек — очень почтенное сословие. Самая остервенелость вражды против них свидетельствует, что к мальчишкам следует относиться серьезно и что слова: «мальчишки!», «нигилисты!», которыми благонамеренные люди венчают все свои диспуты, по поводу почтительно делаемых мальчишками представлений и домогательств, в сущности, изображают не что иное, как худо скрытую досаду, нечто вроде плача Адама об утраченном рае.

В чем же, собственно, дело? Где побудительная причина тех ожесточенных походов, которые поднимаются «благонамеренными» против «мальчишек»? Какие, наконец, права «мальчишек» на общее внимание?

Ответ на эти вопросы не так затруднителен, как это кажется с первого взгляда. Нельзя не сознаться, что общий уровень жизни падает; многое, с чем мы сжились, оказывается несостоятельным; чувствуется тяжесть какая-то; видится и сознаётся, что нет существа живого, которое могло бы сказать, что ему живется хорошо. Мы, благонамеренные, также это чувствуем, и в то же время не можем ничего выдумать к облегчению наших собственных болей!

И вот, в то самое время, когда мы вздыхаем и недоумеваем, вокруг нас все-таки происходит нечто новое; миазмы

мало-помалу разрежаются, жизнь становится и приветнее и светлее. Откуда этот успех? откуда эта победа?

Все оттуда, милостивые государи, все из мальчишества. Как бы ни мал был успех, как бы ни нерешительна была победа, но они существуют, они чувствуются, источник их не в нас, благонамеренных, а в мальчишестве, в той неустанно-наступательной силе, которую оно представляет. Из того, что практическое осуществление новых жизненных форм большею частью зависит от нас и производится нами, вовсе не следует, чтобы от нас же исходила и инициатива их, чтобы в нас заключалось какое-нибудь деятельное начало. Нет, мы только уступаем, мы только терпим; часто мы даже уступаем нехотя, с затаенною мыслью, но все-таки уступаем. Ибо таково действие свежей, не подкупленной гнилостными преданиями жизненной струи, что она покоряет себе человека, несмотря на его протесты, она всасывается в него незаметно для него самого.

Итак, если мы видим, что жизнь мало-<помалу идет> вперед — мы обязаны этим мальчишеству; если мы самих себя сознаем лучше и чище — мы обязаны этим мальчишеству.

Мы клянем мальчишество, мы презираем его, и в то же время, неслышно для нас самих, признаем его силу и подаем ему руку. Не будь мальчишества, не держи оно общество в постоянной тревоге новых запросов и требований, общество замерло бы и уподобилось бы заброшенному полю, которое может производить только репейник и куколь.

Я мог бы привести тысячи примеров из практики в доказательство справедливости моего положения, и если не делаю этого, то единственно из опасения, чтоб из того не вышло какой-нибудь нелитературной полемики. Дозволю себе один казенный вопрос: давно ли называлось мальчишеством, карбонарством, волтерьянством все то добро, которое ныне в очию совершается? И нельзя ли отсюда прийти к заключению, что и то, что ныне называется мальчишеством, нигилизмом и другими, более или менее поносительными именами, будет *когда-нибудь* называться добром?

Можно. Для этого надобно только, чтобы видимая трудность подвига не приводила мальчишества в отчаяние.

Таким образом, современное настроение русского общества делается ясным для читателя. Он знает, что, с одной стороны, существует благонамеренность, но, с другой стороны, есть и мальчишество; что если не безвыгодно рисковать своими капиталами насчет благонамеренности, то в то же время не бесполезно принимать в соображение и мальчишество.

В этой нравственной эквилибристике приятно и незаметно проходит вся жизнь современного человека; в этом балансированье, в этом форсированном перескакиванье с одного камня на другой (ибо посреди их стоит лужа) истрачиваются все лучшие его силы.

Но я не могу, я не должен заключить свою хронику таким сухим и бесплодным словом. Нравственная разорванность, нравственное недоумение, легко объяснимые при известных условиях, как в отдельном человеке, так и в целом обществе, не могут, однако ж, служить ни жизненною целью, ни жизненным содержанием ни для отдельного человека, ни для целого общества. Общество может, за недостатком установившихся разумных начал, довольствоваться ходячею ложью, жить обрывками прошлого и хаотическими зародышами будущего, но подобное положение не заключает в себе никаких задатков прочности и продолжительности.

Посмотрим, отчего же происходит это нравственное распадение в современном человеке, отчего он обязывается балансировать, отчего он никуда не может примкнуть с уверенностью, что тут именно сила, что тут он дома?

Об этом я побеседую с читателем в следующий раз...

<II. МАРТ 1863 ГОДА>

ОГОВОРКА.— НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БЛАГОРОДСТВЕ ЧУВСТВ ВООБЩЕ.— КАРТОННЫЕ КУШАНЬЯ, КАРТОННЫЕ КОПЬЯ, КАРТОННЫЕ РЕЧИ.— БЛАГОРОДСТВО ЛИТЕРАТУРНОЕ В ЧАСТНОСТИ, И ОБРАЗЧИКИ ОНОГО.— ПРИМЕРНЫЕ ПОВЕСТИ И ПРИМЕРНЫЕ ДРАМЫ.— «ВАНЯ — БЕЛЫЕ ПЕРЧАТКИ И МАША — ДЫРЯВОЕ РУБИЩЕ».— «ПОЛУОБРАЗОВАННОСТЬ И ЖАДНОСТЬ — РОДНЫЕ СЕСТРЫ».— «СЫН ОТКУПЩИКА».— «БЕДНАЯ ПЛЕМЯННИЦА».— ЧЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ ОТ БЛАГОРОДСТВА В БУДУЩЕМ? — НЕСКОЛЬКО СРЕДСТВ В ВИДАХ ОЖИВЛЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.— ЗАКЛЮЧЕНИЕ.— ТРЕВОГИ «ВРЕМЕНИ»

Я заключил первую мою хронику обещанием объяснить читателям, отчего в современном человеке происходит некоторое нравственное распадение, отчего он обязывается балансировать, отчего никуда не может примкнуть с уверенностью, что тут именно сила.

Однако я покуда нахожу еще невозможным выполнить это обещание, и вот почему. Для того чтобы выполнить его как следует, я должен доказать, что силы действительно нет нигде, и, разумеется, в этом отсутствии силы преимущественно обвинить мальчишество, как такую корпорацию, которая одна и может заключать в себе залоги действительной силы. Быть может, я вынужден буду сделать мальчишеству строгий выговор за то, что оно не умеет или не хочет воспользоваться плодами своего положения; быть может, я должен буду сделать кое-какие наставления...

Все это, разумеется, я сделать могу: и доказать, и выговор сделать, и наставление прочитать, но покуда я еще чувствую, что перо выпадает у меня из рук... Почему я это чувствую? не потому ли, быть может, что мальчишество в настоящую минуту подвергается иным выговорам и выслушивает иные наставления?

И опять-таки, пускай не заключит читатель из моих слов, будто я хочу сказать: бедные мальчишки! и без того вы обижены! зачем же я-то буду еще усугублять вашу горесть! Нет, я совсем не то хотел сказать. Я знаю, что если мальчишки подвергаются выговорам и наставлениям, то, значит, это так и следует; что они сами были обязаны все это предвидеть и предусмотреть и что, стало быть, тут ни соболезновать, ни радоваться нечему. Но вместе с тем я не могу же не спросить себя: если мальчишки уже получают выговоры, то зачем же мне соваться еще со своими выговорами! имеют ли мои выговоры что-нибудь общее с теми, которые они получают? а если не имеют, как я и подозреваю, то с какой же стати я стану производить гибельное двоегласие в впечатлительных юношеских умах?

Нет, лучше я воздержусь, и это тем легче для меня сделать, что никто меня и не пустит.

Притом же и говорить-то о прошлом в ту минуту, когда оно, так сказать, ликвидируется, не значит ли только заниматься праздными словами? Ведь тут расчет ясен: что есть в печи, все на стол мечи! и еще: каждому по делам его — ну, и дело с концом. Тут не поможешь ни оханьями, ни стонами, ни советами, вроде: кабы ты чуточку-чуточку влево забрал — ну, и уцелела бы твоя голова! Нет, тут этим не поможешь! Другое дело, поговорить о прошлом в видах назидания будущего — это иногда полезно бывает. Но ведь это тогда только полезно и возможно, когда имеется в виду совершенная ясность духа, когда в сердце царит безмятежие, а какая же может быть ясность, какое безмятежие в минуты ликвидации!

Следовательно, этот разговор я отложу до более благоприятной минуты, тем более что мудрецом быть во всякое время приятно и не подозрительно. Теперь же обращусь опять к той вечно милой среде, которая выговорам не подвергается и наставлений не получает.

Поговорю на сей раз о благородстве чувств. Это тем для меня сподручнее, что может отчасти послужить предисловием и к предстоящему в будущем выговору.

КАРТОННЫЕ КУШАНЬЯ, КАРТОННЫЕ КОПЬЯ, КАРТОННЫЕ РЕЧИ

Часто приходит мне на мысль, что все мы, сколько нас ни есть, живем и действуем на каких-то бесконечно обширных театральных подмостках, которые почему-то называем ареною жизни; что над нами стелется холстинное небо, освещаемое промасленным бумажным кругом, сквозь который тускло светится мерцание стеаринового огарка; что вокруг нас простираются холстинные леса, расстилаются холстинные луга, ходуном ходят холстинные волны; что хотя на нас падает снег и дождь, но снег этот бумажный, дождь шнурковый; что мы питаемся картонными кушаньями, пьем примерное вино, воюем картонными копьями и произносим картонные речи...

И чем более я углубляюсь в эту мысль, тем больше убеждаюсь, что она совсем не заключает в себе парадокса. Не знаю, оттого ли, что жизнь положительно сошла с прежней наезженной колеи, оттого ли, что, сошедши с этой колеи, она не успела еще наездить себе колеи новой, но все мы находимся в том странном положении, в какое добровольно поставила себя редакция журнала «Время»; все мы сидим между двух стульев и то и дело шлепаемся на пол. Все мы раздражаемся только физически, радуемся и негодуем только оконечностями языка, все ежемгновенно прообразуем любовь пьяного человека, который и любит-то словно не за себя, а за кого-то постороннего.

Отчего самый непривлекательный возраст человеческой жизни есть тот переходный возраст, который идет тотчас вслед за отрочеством? не оттого ли, что в нем утрачены все правдивые тоны жизни, что в нем многое потеряно и ничего не приобретено? Не оттого ли, что здесь истиною жизни временно делается ее ложь? Желания не уяснились, мысль не просветлела, а отроческая наивность и впечатлительность исчезла уже безвозвратно. Происходит нечто смешное и вместе с тем горькое; является хладная, картонная восторженность, являются деланные чувства, деланные мысли, сквозь которые слышатся чьи-то беззвучные голоса, чье-то непонятое, неусвоенное, не обратившееся в плоть и кровь слово... Понятно, что при первом дуновении невзгоды вся эта картонная обстановка падает сама собою, падает без шума, среди самого обидного равнодушия; понятно, что при первом дожде, сколько-нибудь не шнурочном, все эти кой-как набросан-

ные краски мгновенно смываются, все эти кой-как склеенные частицы картонного здания разлетаются врозь.

Давно ли казалось нам, что жизнь наша полным ключом кипит, как уже мы убедились, что этот ключ не взаправду ключ, а ключ театральный; давно ли казалось нам, что вокруг нас произносятся новые вопросы, восстает целая новая обстановка, как мы уже убедились, что это вопросы картонные, обстановка картонная. Давно ли мы бежали, стремились, шумели, рукоплескали, а теперь, плодом всей этой суеты, перед нами стоит, в обидной наготе, вопрос: куда стремились, чему рукоплескали? Да, именно только этот вопрос и остался, да и то остался только для тех, кто еще не совсем забыл о стремлениях и рукоплесканиях, а для большинства и этого вопроса не существует. Большинство уже позабыло о прежней картонной жизни; оно радо, что вступило... куда вступило? не в новую ли картонную жизнь?

Тихо, глухо, мертво, как в могиле. Картонная жизнь, картонное отрезвление; картонные могилы! Но нет... могилы не картонные, ибо в этих могилах живет бесплодно пролитая кровь...

Это напоминает мне одного почтенного, но нищего духом старичка-москвича из породы «метеоров».

— Были вы у обедни? — спрашивают его.

— Был, сударь, в Кремле был: крестный ход ведь нынче...

— Ну, что ж?

— Да что, сударь! Звонят, благовестят, трезвонят... господи боже мой!

Мы тоже по временам звоним, благовестим, трезвоним, а в результате... господи боже мой!

Но хуже всего то, что картонная жизнь произвела картонную литературу. Жизнь забывается по мере того, как измалывается и принимает новые формы, но картонная литература не забывается; она остается вечным монументом известного строя жизни.

Отличительные признаки современной картонной литературы — совершенное отсутствие содержания и полное бесплодие, прикрываемое благородными чувствами. Над всем этим царит беспримерная бесталантность и неслыханнейшая бедность миросозерцания.

Если действительная жизнь ускользает от нашего понимания, если идеалы нам не даются, если мы до того поражены повальною неспособностью, что не знаем даже, за что нам уцепиться, к чему устремить нашу жажду подвигов, то очень ясно, что для нас может быть доступна только одна сфера деятельности — это та сфера, в которой все пути уже давно

изборождены рутиной, та сфера, в которой все званые, а нет избранных, та сфера, наконец, которой неприхотливое и скудное содержание, не изменяясь в своей сущности, только меняет цвета, только сгущается или разжижается, смотря по тону, задаваемому извне.

На сей раз это пристанище бессильных, эту бесплодную смоковницу, под которою свободно укрываются нищие духом, представляют так называемые благородные чувства, так называемые хорошие мысли, так называемые гражданские стремления.

Что благородство чувств есть один из самых сильнодействующих ядов нашей литературы — это я совсем не шутя говорю. Дело в том, что благородные чувства, хорошие мысли и гражданские стремления грозят затопить русскую литературу, по крайней мере в такой же степени, в какой, с другой стороны, затопляет ее сильнодействующая благонамеренность. Если эта последняя является отвратительною, вследствие своей цинически-легкой удовлетворяемости, то благородные чувства и мысли поражают своею бестактностью и сухостью, режут глаза своим бессилием и ограниченностью.

Как благонамеренность, так и благородные чувства равно противны; это маски, за которыми скрывается отсутствие содержания, это искусственно напускаемый туман, который мешает видеть жизнь действительную, жизнь не картонную. Когда вы занимаетесь делом положительным, имеющим корни в действительной жизни, придет ли вам в голову мысль о необходимости подпустить туда благородства чувств? Нет, не придет, потому что дело есть дело, и ни благородным, ни неблагородным оно не может быть... Возможно ли написать благородную арифметику, похвальную химию и не чуждую вопроса о воскресных школах физиологию? нет, невозможно, потому что все это: и арифметика, и химия, и физиология — все это дело. Так, стало быть, литература...

Ну да, стало быть, литература есть безделье, коль скоро в нее, как в некоторый непокрытый сосуд, можно легко помещать все плохие чувства, все праздные поползновения, все непригодные для дела мысли. Действительно, благородство чувств там преимущественно и прижилось, ибо хотя и были попытки сочинить благородную арифметику, но скоро было найдено, что там благородство непригодно и что всего ближе оно подходит к беллетристике.

Явились целые фаланги повествователей, романистов, фельетонистов и драматургов, которые решили раз навсегда, что талант — вздор, что знание жизни — нелепость, наблюда-

тельность — чаромутие и что главное заключается в благородстве чувств. Решивши таким образом, все они взапуски принялись доказывать:

Что образование не в пример лучше необразования.

Что порок и в шелковом платье все-таки порок, а добродетель и в рубище все-таки добродетель.

Что тщеславие и в золотых палатах все-таки тщеславие, а покорность судьбе и в хижине — все-таки покорность судьбе.

Что девица начитанная не в пример приятнее девицы неначитанной.

Что девица, занимающаяся преподаванием наук в воскресных школах, должна быть избираема в подруги жизни предпочтительно перед девицею, посещающею танцклассы Ефремова.

Что человек, пожертвовавший один рубль в пользу процветания общества трезвости, несравненно добродетельнее того, который такой же рубль пропил в кабаке.

Что, едучи на рысаке, надлежит помышлять о том, что большинство рода человеческого обязывается ездить на извозчиках... да еще если бы на извозчиках!

Что, поедаючи бифштексы, не следует забывать, что есть несчастные, которые едят хлеб с квасом.

Что скверные мысли — скверны.

Что неблагородные чувства — неблагородны.

Что писать плохие стихи с благородными чувствами не в пример благороднее, нежели осмеивать плохие стихи с благородными чувствами.

Что жизнь есть обман.

Что человек, сожалеющий о падении откупов, подобен пиявице, сожалеющей о невозможности сосать человеческую кровь.

Что увлекаться любовными делами, когда настает надобность позаботиться о преуспеянии любезного отечества, неприлично и непозволительно.

Что жизнь есть река, человек — пловец, лодка — величественное здание общества, весло — прогресс, а волны — тщетная реакция безумных ретроградов.

Ко всему этому на живую нитку привязываются какие-то безличные Машеньки, крохотные аскеты Вертяевы, полупомешанные графини Клавдии Алексеевны — и пошла потеха!

Как видите, кодекс жизни не очень мудреный и не очень замысловатый. И с помощью этого-то незамысловатого кодекса фаланга литераторов, обуреваемых благородными чув-

ствами, вознамерилась постепенно и неустанно отравлять жизнь человеческую! И при этом не потрудилась даже припомнить, что, с помощью именно точно такого кодекса, уже отравлял человеческую жизнь Ф. В. Булгарин!

Плодом этого намерения появляются повести неслыханные, драмы, повергающие в остолбенение. Напишу здесь несколько примерных повестей.

ПОВЕСТЬ I

МАША — ДЫРЯВОЕ РУБИЩЕ

Ваня — белые перчатки полюбил Машу — дырявое рубище. Они встретились на крутом берегу реки; Ваня бил бекасов, Маша собирала грибы; солнце; с реки веет ветерок; издали доносится рожок пастуха...

— Что это у тебя — грибы? — спрашивает Ваня — белые перчатки.

— А тебе зачем? — отвечает Маша — дырявое рубище и закрывает лицо рукавом.

Однако они слюбились. Звезды; с реки веет ветер; наверху поют небожители.

Вторая глава застает нас на берегу реки. Ваня — белые перчатки бьет бекасов, Маша — дырявое рубище ищет грибов, и в то же время чувствует, что она уже носит под сердцем залог.

— Ваня! — говорит Маша,— ведь я...

Но Ваня не дает ей докончить; он горячим поцелуем заграждает ей уста; он, очевидно, предпочитает милое дело милому безделью. Солнце; ветер веет с реки, но вдали раздаются уже перекаты грома.

Третья глава застает нас на берегу реки. Осень; дождь так и хлещет; с реки стонет ветер; призывной голос пастушьего рожка умолк. Ваня — белые перчатки оказывается подлецом; он по-прежнему бьет бекасов, которые в этот год особенно жирны, и в то же время уверяет Машу, что ему нельзя, что он должен ехать, что в Петербурге будет происходить открытие общества постепенного прогресса, при котором он обязан присутствовать (и все-то ведь врет!).

— Ваня! — говорит Маша сквозь слезы,— ведь я...

Но Ваня опять не дает ей кончить; он опять предпочитает милое дело милому безделью и сует бедной, обольщенной девице в руку двадцатипятирублевую бумажку. А ветер стонет

и ноет. «Бедное, бедное дитя мое!» — стонет ветер. А дождик льет да льет как из ведра. «Бедное, бедное дитя мое!» — поливает дождик.

— Подлец ты этакой! — разве ты за двадцать пять невинности-то меня решил! (решил— лишил: couleur locale [1]) — восклицает негодующая Маша.

Эпилог застает нас на станции. Автор едет на почтовых по какому-то казенному поручению (эти авторы всегда по казенным поручениям и всегда на телегах куда-то стремятся: это их идеал). Разумеется, закладывают лошадей; солнце, с реки тянет ветер; вдали раздаются жалобные звуки пастушьего рожка. Ямщики ругаются (couleur locale).

— Лешой! — кричит рыжий парень с добродушно-веселым лицом,—ты куда супонь-ту девал? (Супонь! каково знание народного быта!)

— Оборотень!— отвечает брюнет с привлекательною наружностью,— рази я за твоей-ту супонью в надзератели наймовался?

Вдруг к крыльцу подлетает щегольская венская коляска, из которой вылетает, как легкое видение, прелестное существо, а с козел слетает ловкий лакей. Ну, автор, разумеется, сейчас к лакею (на то он и автор): кто́ такая? откуда едет? куда? зачем? и что везет?

— Едет графиня Марья Сидоровна,— отвечает лакей.

— Какая графиня Марья Сидоровна? — вопрошает автор.

— Какая Марья Сидоровна? Неужели? и т. д.

— О, да это, сударь, целый роман! — говорит лакей.

Оказывается, что Маша — дырявое рубище совсем не Маша — дырявое рубище, а графиня Марья Сидоровна; что она дочь графини Клавдии Алексевны, которая, желая приучить ее к труду, отдала на воспитание бедным поселянам, что потом все это открылось, что Ваня — белые перчатки обо всем этом узнал и подъехал было с предложениями, однако ему указали дверь, вследствие чего он запил, прибил своего начальника и находится теперь под судом.

Оказывается также, что через неделю графиня Марья Сидоровна уже на другой станции (что-то уж много вы разъездились, ваше сиятельство!) встречает нищего, который стоит у крыльца и просит копеечку; Марья Сидоровна вглядывается... ах! Перед нею стоит в пьяном виде Ваня — белые перчатки, который, за подлое свое поведение, произведен в Ваню — дырявое рубище!

---

[1] местный колорит.

ПОВЕСТЬ II

ПОЛУОБРАЗОВАННОСТЬ И ЖАДНОСТЬ — РОДНЫЕ СЕСТРЫ

(Очерк из народного быта)

Лето; по дороге едут дьяконица с пономарицей; лошадь бежит ленивой рысцой и махает хвостом. Из-под колес поднимается пыль, от которой дьяконица и пономарица по временам чихают.

— Чай, к Успенью-то поедете? — спрашивает пономарица.

— Поедем... а вы?

— Ну, нам...— пономарица завистливо вздыхает,— а к Воздвиженью-то тоже поедете?

— Поедем... а вы?

— Ну, нам...— пономарица опять озлобленно вздыхает.

Собеседницы умолкают, лошадь махает хвостом.

— Чи-их! чи-их! уж какую же только нонче пыль уродил бог! — говорит пономарица.

— Да, нонче пыль ничего,— отвечает дьяконица и, немного помолчав, прибавляет: — Здравствуйте! и еще здравствуйте!

Опять молчание; лошадь перестает бежать, но хвостом махает. Дьяконица клюет носом, изъявляя очевидное желание вздремнуть. Одна пономарица не дремлет; ее угнетает мысль: сколько перемен кушаньев будет у воздвиженского попа.

— Матрена Петровна! а Матрена Петровна! — говорит она.

— Что вам?

— А мед-то у воздвиженских подают?

— Подают и мед.

— А сначала-то, чай, щи с рыбицей?

— Сначала щи с рыбицей.

— Ну, так!

Опять молчат. Лошадь, побежавшая было рысцой, опять пошла шагом. Солнце так и палит лицо дьяконицы, с которого льют крупные капли пота. Пономарица как-то так устроилась, что лицо ее находится в тени. Дьяконица только отдувается и приговаривает:

— Уж и жарынь же уродил господь!

— Чи-их! чи-их! — расчихалась пономарица.

— Здравствуйте! и еще здравствуйте! — ответила дьяконица.

— И к Казанской поедете?

— И к Казанской поедем... а вы?

— Ну, нам...

В это время едет навстречу пьяный мужик; он лежит в телеге и напевает:

Что ты, Дуня, приуныла,
Призадумавшись, шельма, сидишь?

— Э! да это, никак, от Спаса наши конопляницы едут? — говорит он, поравнявшись с дьяконицей.

— Ну-ка, проваливай, суконное рыло! — ворчит пономарица.

Вдруг подле самой дороги запищал кулик.

— Ишь ты! — сказала пономарица.

— Божья тварь! — отвечала дьяконица и слегка усмехнулась.

— А к Покрову поедете? — спросила пономарица.

— Поедем и к Покрову, а вы?

— Ну, нам...

В это время телега въехала в деревню; у самой околицы чернеется кабак. Пономарица с дьяконицей переглянулись.

— Прру! — сказала дьяконица.

— Да стой же ты, лешой! — усугубила пономарица.— Матрена Петровна, при вас есть?

— Ну, и так поверят! чай, знакомые!

Пономарица начала слезать и задела за чеку сарафаном, на котором образовалась порядочная дыра.

— Ишь ты! — сказала пономарица,— точно вот в прорву! точно вот в прорву!

Дьяконица слезла благополучно. Пономарица не утерпела, чтобы не проворчать:

— Вот ведь небось не заденет за чеку... о, чтоб вас!

В кабаке никого не было; собеседницы забрались к целовальничихе и спросили пива.

— И к Введению поедете? — спросила пономарица.

— И к Введению поедем, а вы?

— Ну, нам...

Чрез полчаса приятельницы, обнявшись, выходили из кабака. Дьяконица усмехалась; пономарица называла ее красавицей.

— И к Михайлу Архангелу поедете? — спросила пономарица, когда обе уселись в телегу.

— И к Архангелу поедем, а вы?

— Ну, нам...

Пономарица замолкла; ее грызла мысль, будут ли подавать у архангельского попа лапшу. Лошадь бежала рысцой и махала хвостом.

— Всё-то вы ездите! пропасти-то на вас нет! — молвила наконец пономарица и сплюнула в сторону.

Дьяконица усмехнулась.

— И к Николе поедете? — спросила пономарица.

— И к Николе поедем, а вы?

— Ну, нам...

Уж было довольно поздно вечером, когда приятельницы въехали в родное село. Пастух пригнал стадо; дьякон сам загонял худую коровенку; пономарь сидел на завалине и бездействовал. Ему нечего было загонять, потому что у них и коровенки не было.

— А к Рождеству поедете? — спросила пономарица, прощаясь с дьяконицей.

— Поедем и к Рождеству, а вы?

— Ну, нам...

«Несытое твое брюхо!» —думает лошадь вслед удаляющейся пономарице.

— А знаешь ли ты, что полуобразованность и жадность — две родные сестры? — раздается сверху голос, обращаясь, по всей вероятности, к лошади.

ПОВЕСТЬ III

СЫН ОТКУПЩИКА

(Истинное происшествие)

Квартира станового пристава; рассказывается история этого чиновника: прежде он брал взятки, но с тех пор как вышла из института и поселилась с ним его дочь, ангел Наденька, совершенно изменил свой взгляд на службу. Становой — красивый и добрый старик; чело его увенчивается великолепной лысиной, которая, в свою очередь, увенчивается прекрасными седыми локонами. О Наденьке нечего и говорить. Автор описывает ее так: «Всякому,— говорит он,— кто встречал на пути своем это неземное существо, становилось легко на душе и как-то отрадно».

Наденька и становой пьют чай; Наденька пристает к становому, зачем он становой?

— Помилуй, душа моя! — говорит становой,— как же мне не быть становым, коли я становым уродился?

— Становые все такие противные! — возражает Наденька и грациозно топает ножкой.

Становой задумывается и припоминает то время, когда весь, так сказать, во зле погрязал.

— А помнишь, Надя,— говорит он, тяжело вздыхая,— помнишь то время, как я... *(показывает рукой хапанца)*.

— Не напоминайте! не напоминайте об этом, папаша,— говорит Наденька и спешит заградить уста папашины.

— Да, тяжкое было это время! и если б не ты...— произносит становой, захлебываясь от слез.

Приезжает Матвей Семеныч Сивушников. Он любит Надю, и Надя знает это, но он сын откупщика, а Надя не знает этого. Старик-становой знает это, но не знает, каким образом открыть Наде ужасную тайну. Дело в том, что Надя однажды проговорилась.

— Я за всех выйду замуж,— сказала она,— я выйду замуж за разносчика, я выйду замуж за золотаря, но за откупщика... ни за что!

— А за сына откупщика? — произнес Сивушников, бледнея и едва удерживая слезы, готовые хлынуть из глаз.

— Ни за что! — повторила красавица Надя и грациозно топнула ножкой.

С тех пор Матвей Семеныч сделался мрачен и уныл; днем он как тень бродит по лесам и пещерам; вечером — является в квартиру станового и беспрестанно трет себе рукою лоб, ибо полагает, что на лбу этом есть клеймо, по которому Наденька тотчас же узнает его.

В этот вечер он является особенно озабоченным. По-видимому, он на что-то решился.

— Надежда Кондратьевна! — говорит он,— вы когда-то выразились, что не пойдете замуж за сына откупщика...

— Да, я сказала это, и теперь то же самое повторю!

И топает при этом ножкой.

— А если этот сын откупщика вас любит?

— Сын откупщика может любить только водку!

— Наденька! это ты несправедливо! — вмешивается становой пристав.

— А если вы сами любите сына откупщика? — настаивает Сивушников.

Надя конфузится; она вопросительно смотрит на своего собеседника; она боится угадать страшную истину. Однако благородные мысли всплывают наверх.

— Я-то? я-то? мне полюбить сына откупщика! — восклицает она,— ни за что!

— Это ты, Надя, несправедливо! — опять замечает становой пристав.

— Но ведь это уж предрассудок, Надежда Кондратьевна! — горячо вступается Сивушников,— зачем же вы хотите сделать сына солидарным отцу!

Наденька, разумеется, возражает; всякому понятно, что высказанная Сивушниковым мысль была до некоторой сте-

пени неожиданностью для нее. Она возражает слабо, но щеки ее горят и грудь подымается высоко. (Заметьте, что «благородные» сочинители вообще любят описывать, как подымаются груди.)

— Ведь вы же первые,— продолжает Сивушников,— вооружаетесь против тех, которые не принимают в великосветское общество молодых людей, происшедших от вольноотпущенных, от мещан и разных ведомств крестьян! но скажите, пожалуйста, не то ли же самое делаете вы сами!

— Нет, не то же...

— Нет, то же!

— Это ты, Надя, несправедливо!

— Стало быть, по вашему мнению, можно оставить откупщика ненаказанным? — горячится Надя, топая ножкой.

— Откупщика — так! мой отец наказан — это так! мой отец воняет — это так!

— Ваш отец? что я слышу?

— Да, Надежда Кондратьевна, я... я сын откупщика! — восклицает Сивушников, падая к ногам Наденьки.

Наденька слабо вскрикивает и теряет чувства; через минуту она открывает, однако ж, глаза, в которых уже виднеется томность и... прощение!..

— Надежда Кондратьевна! жизнь или смерть сулит мне этот небесный взгляд? — пристает Сивушников.

Вместо ответа Надя подает ему руку.

«Замечательно,— прибавляет от себя автор,— что в это время Сивушникову предстояла богатая партия в лице дочери откупщика Какикаки, но он пренебрег миллионом приданого, чтобы только соединиться с своею красавицей Надей. Отец его, однако ж, не рассердился на него за этот брак: он сам стыдился своего прошлого!»

Да не подумает читатель, что я шучу. Нет, я уверен, что если он захочет потревожить свою память, то сам убедится, что книжки журналов сплошь наполнены такими повестями. Но еще более находится их в журнальных редакциях. Что такое, например, эти «Театральные закоулки», эти «Испорченные жизни», эти «знахари» и «знахарки», которые блестят такими крупными перлами в современной беллетристике? Что это такое, как не благородство чувств, обставленное совершенным отсутствием таланта и приправленное крошечным куриным миросозерцанием и крошечною же куриною наблюдательностью?

Мало вам повестей и рассказов — вот вам комедия:

БЕДНАЯ ПЛЕМЯННИЦА

Комедия в двух действиях, соч. И.Л.Г.

Это уж не плод моей фантазии, это не шутка, а комедия действительная, представленная в первый раз в Петербурге на театре 3 января сего года.

Представьте себе, что тут все дело состоит в том, что есть на свете какая-то графиня Клавдия Алексевна, которая помешалась на том, что она графиня Клавдия Алексевна, и которая, с помощью разных беспутств, разорилась до такой степени, что никто не хочет ее признавать графиней Клавдией Алексевной. И вот эта ужасная женщина, для того чтобы поправить свои стесненные обстоятельства, хочет выдать свою дочь за миллионера Меригина, которого дочь не любит, а любит племянница, и который сам не знает, кого он любит: дочь или племянницу. «Тогда,— говорит графиня Клавдия Алексевна,— я буду по-прежнему графиней Клавдией Алексевной!» — «Графиня! — с своей стороны напоминает ей автор,— помните, что тщеславие и в золотых палатах — всё тщеславие!»

Разумеется, эта язвительная затея ей не удается, потому что природа окружила ее благородными людьми. Дочь ее, графиня Зина Клавдиевна, девушка не столько умная, сколько благородная, весьма основательно рассуждает, что она любит не Меригина, а Ваню, и что, следовательно, если она отдаст руку Меригину, то сделает пакость. В этом укрепляет ее племянница Ольга Клавдиевна, тоже очень благородная девица, но притом и не пренебрегающая собственными выгодами, и Карл Антоныч Фишер, которого благородство как ни замечательно, но никак не может сравниться с его тупостью. Графиня Клавдия Алексевна остается с носом и теряет всякую надежду «быть по-прежнему графиней Клавдией Алексевной». Еще бы! ведь это все равно что замужней женщине быть по-прежнему девицей! Вот единственное сколько-нибудь разумное нравоучение, которое зритель может извлечь из комедии.

И вот такая-то комедия дается всенародно на театре, и находятся даже бедные племянники, которые наслаждаются ею и шумными кликами вызывают автора «Бедной племянницы». Что означают подобные явления? и в особенности, что означает обилие их? Конечно, рассматриваемые сами по себе, они до того ничтожны, что не следовало бы даже утомлять ими внимание читателя, но в том-то и дело, что их надлежит рассматривать не в уединении, а в связи с общим течением жизни. В этом последнем смысле, служа выражением известной

стороны общественной деятельности, они представляются фактом далеко не забавным. С невольным страхом спрашиваешь себя: неужели общественные стремления могут быть до такой степени убогими? неужели может существовать такая жизнь, в которой все картонно: и куриные помыслы, и куриные желания, и куриный способ выполнения?

Да, стало быть, такая жизнь возможна, коль скоро она выродила из себя целую литературу. Для чего же мы шумели, куда же мы стремились, из-за чего мы так громко хлопотали? Из-за того ли, чтоб в результате вышло, что жизнь есть река, человек — пловец, лодка — величественное здание общества, весло — прогресс, а волны — тщетная реакция бессмысленных ретроградов? Да ведь на эту тему литература наша более сорока лет сряду отравляла публику! И ведь никто не хочет сообразить, что это картонное благородство чувств есть лишь ближайший шаг к благонамеренности, той самой благонамеренности, о которой я обьяснял читателю в прошедшей моей хронике. Скажу даже более: черта, которая проведена между ними, до того тонка, что почти незаметна. Ибо, если благородство чувств стоит на том, чтоб доказать, что добродетель добродетельна, а порок порочен, то и благонамеренность не отрицает этого, и даже охотно погладит по голове за такие приятные мысли. Тут не только представляется легчайшая возможность для компромисса, но даже нет никакого основания для разладицы. «Из-за чего мы спорим! — скажет благонамеренность благородству,— и ты глупо, и я глупа! а если мы оба глупы, то не лучше ли нам сочетаться законным браком!» Благородство, услыша такие слова, подумает, подумает, да и сделается потихоньку благонамеренностью. Никто этого и не заметит, потому что оно, в сущности, и всегда было благонамеренностью. Кто заметил, как «Русский вестник» сделался благонамеренным? никто! — всегда был. Кто заметит, как «Время» сделается благонамеренным? никто! — всегда было.

Благородство чувств никогда не усматривает связи между явлениями, никогда не группирует их, никогда не размышляет о том, в каком отношении находится частный факт к целой системе: оно слишком взволновано для этого. Оно преследует какие-то пылинки, оно бумажку какую-то загоняет, оно замахивается обухом на божью коровку и на комара. Оттого-то оно и не огорчает никого, само же, напротив того, легко приобретает способность удовлетворяться. И однажды получивши эту способность, оно уже не останавливается; оно утрачивает последние остатки своей куриной неприязненности к куриному злу, которая составляла основу его, и делается спо-

собным проповедовать только истины вроде того, что куриный мир красен, что куриное солнце светло и что куриный навоз благоуханен.

Доказательств подобного куриного благородства не занимать стать. В Петербурге существует даже целая газета, которая поставила себе за правило служить проводником куриного благородства. Назовем эту газету хоть «Куриным эхом». От первой строки до последней она все умиляется, все поет: «Красен куриный мир!», «Тепло греет куриное солнышко!»; от первой строки до последней все докладывает, какие сделались россияне умные, как у них все это идет, всякие эти новые штучки. «Из Рязани пишут, что выборы произведены в совершеннейшем порядке»; «Из Саратова пишут, что по случаю упразднения откупов ожидали некоторых беспорядков, однако все обошлось смирно: народ пил дешевку и похваливал, приговаривая: «дай бог здоровья батюшке царю!»; «Из Калуги пишут, что там, по случаю назначения нового губернатора, дворяне решились дать бал»; «Из Костромы пишут, что там дворяне решились дать бал без всякого случая»... Даже урожаи у этой газеты везде хороши: саранча была, да и против той принимаются меры, которые дозволяют надеяться, что впредь этой язвы никогда не будет; даже погода у ней стоит всегда благоприятная: были сначала дожди, но вред, произведенный ими, уничтожен благодаря просвещенным стараниям начальства. И никогда-то не напишет никто «Куриному эху», что, например, у нас на сходке, в Глупове, одного мирового посредника всего, между шутками, веселые робята сзади в кровь исщипали за то, что тот посредник не таков, какого нам надобно...

Такого рода сплошным благородством давно уже с величайшим успехом занимаются все губернские ведомости обширной Российской империи. Неужели же наша литература осуждена превратиться в губернские ведомости? ужели общество, для которого литература все-таки служит органом, допустит такое нелепое превращение?

Многие думают, что бесплодие современной «изящной словесности» оттого происходит, что никакого литераторам поощрения нет. Это правда.

Из-за чего трудиться? — спрашиваю я иногда самого себя,— из-за чего убиваться? Будешь писать хорошо, будешь писать дурно — все в том же ранге останешься; будешь ставить знаки препинания, где следует, или станешь допускать в этом деле лирический беспорядок — все-таки кавалером не

сделают! Господи! хоть бы масличные ветви, что ли, в руки дали! да так, чтобы и ходить с ними, и не сметь бы их прятать! или шпагу бы на правую сторону привесили, или воротник такой: сова-лира, сова-лира, лира-лира-лира, а в середине опять сова; мудрствует-поет, мудрствует-поет, поет-поет-поет и опять мудрствует! Возьмите хоть то в расчет: теперь является литератор в дом, где имеются богатые невесты,— никто и внимания на него не обращает, а тогда, как бы с масличною-то ветвью в руках... вот уж подлинно бы разахались!

Вообще, я об этом предмете много думал и пришел к заключению, что без поощрения никак нельзя.

Много у меня на этот счет проектов в голове: отчего ж не сообщить их читателям?

Во-первых, можно было бы учредить «постоянных меценатов»... ну, хоть по одному меценату на каждую часть города. Теперь, если литератор находится в горести, если он негодует на мир, если он, одним словом, не знает, куда деваться с тоски,— куда он обратится? единственное для него убежище танцкласс... поймите, как это вредно! А тогда он прямо пойдет к меценату, выплачет у него на груди свое горе —и возвратится домой веселый!

Во-вторых, если б не нашлось таких лиц, которые добровольно пошли бы в меценаты, то можно бы эти должности сделать обязательными, наравне с прочими городскими должностями. А для поощрения этих меценатов можно бы и для них двух-трех меценатов сделать, на груди которых и они могли бы выплакать свое горе. Или знак отличия какой-нибудь дать... какой бы, например? ну, например, хоть белый колпак...

В-третьих, если бы и этот проект оказался непрактичным, можно бы должность меценатов возложить на квартальных надзирателей, которые входили бы в квартиры литераторов, смотрели бы, прилежно ли они занимаются, не увлекаются ли малодушеством, поощряли бы, понуждали бы... Это уж так просто, что даже изумительно, как никому в голову до сих пор не пришло. Впрочем, нет — пришло: по крайней мере, нечто подобное нам рассказывал в «Петербургских ведомостях» г. Громека про одного квартального надзирателя, заведывающего искусствами в доме Шамо, близ Семеновского моста...

В-четвертых, можно бы купить дом кн. Вяземского на Сенной и подарить его литературе...

В-пятых, можно бы в Летнем саду ристания какие-нибудь устроить...

В-шестых, можно бы поручить г. Семевскому водить ли-

тераторов по праздникам по Петербургу и показывать: вот тут блаженныя памяти императрица Анна Ивановна, а тут блаженныя памяти императрица Елизавета Петровна...

Можно бы на адмиралтейской площади столб, обмазанный медом, поставить...

Можно бы возобновить инспекторский департамент гражданского ведомства.

Можно бы и опять закрыть инспекторский департамент гражданского ведомства, а литераторам по этому случаю назначить значительные пожизненные пенсии...

Можно бы, вместо одного театрального комитета, учредить таковых два...

Можно бы отличившегося литератора пустить на полчаса в кладовую императорского кабинета, выбирай, дескать, что хочешь! Разинет рот — а ничего не выберет! Ну, сам виноват!..

Можно бы отличившегося литератора пустить в магазин ювелира, занимающегося производством орденов,— выбирай, дескать, что хочешь...

Да и мало ли что можно было бы сделать!

Главное дело, чтобы литература понимала, чтобы литература чувствовала... Ну, и еще, разумеется, главное, чтобы рядом с системою поощрений существовала и соответственная система наказаний. Без этого тоже нельзя.

Итак, читатель, хотя я и не сдержал обещания, сделанного в конце последней моей хроники, однако сделал для тебя все, что от меня зависело, то есть показал тебе язву, но вместе с тем не скрыл, что имеются и средства к ее исцелению.

Я не поступил, как поступают свистуны, «свистящие из хлеба», которые кричат: «язва! язва! язва!» а что за «язва»? где «язва»? и как с этой «язвой» поступить? — ничего не объясняют. Но вместе с тем я не последовал и примеру «Куриного эха», который говорит, будто бы язв и совсем уж нет.

Я прошел по середочке.

Я говорю: утешьтесь, господа, язвы есть! но есть, господа, и пластыри! лечите! старайтесь!

Я говорю: пусть каждый из нас выберет себе свою особенную язвочку! Пусть «Смрадный листок» говорит, что язвы можно лечить посредством доноса; пусть «Куриное эхо» утверждает, что язвы можно лечить, скрывая их,— в том расчете, что, может быть, и забудутся как-нибудь! пусть «Время», пусть «Наше время», пусть «Русский вестник»... пусть, одним словом, всякий свою капельку,— и я убежден, что со-

единенными нашими усилиями мы, наверное, принесем на грош пользы! Я говорю: пусть только останется запевалой г. Громека, а уж хор найдется! Подтянет М. М. Достоевский, из Москвы аукнет Н. Ф. Павлов...

И всё будет хорошо, и всё пойдет как по маслу, и все мы запоем едиными устами и сердцами:

Ах, пришли, пришли наши красны дни!

P. S. Настоящая хроника уже была набрана, как я получил от одного нигилиста статью с убедительнейшею просьбой напечатать ее. Не нахожу лучшего средства исполнить желание моего друга-нигилиста, как заключив его статьею мою хронику. Вот эта статья:

ТРЕВОГИ «ВРЕМЕНИ»

Из-за моря птицы прилетали,
Прилетали, в роще толковали.

Так гласит в 1 № «Времени» поэт Ф. Берг, отнюдь не подозревая, что он пишет самую язвительную характеристику того самого журнала, в котором помещает стихи свои. Прилетали птицы: М. Достоевский, А. Григорьев, гг. Страхов и Косица.

Прилетали, в роще толковали.

Разумеется, толковали чепуху:

— Эх, беда теперь нам, птицам смирным,
Смирным птицам, утицам залетным,

На земле житья совсем не стало
Птице смирной, птице перелетной.

Полетим мы, птицы, на болота,
На болота, дальние озера;

В камышах повьем мы, птицы, гнезда,
В камышах, туманах непроглядных (?)...

Будем, птицы, плавать по затишьям,
По затишьям, по озерам тихим;

Повыведем, птицы, деток малых,
Лебедяток да утяток серых;

Пролетим мы, птицы, над полями,
Над полями, хлебными полями,

Проживем мы, птицы, за людями,
За людями, сельскими людями.

Из-за моря птицы прилетали,
Прилетали, в роще толковали.

Ф. Берг.

Какова поэзия! Хорошо, что все это не взаправду написано, хорошо, что все это изображено с язвительною целью представить верную характеристику «Времени». Нам даже не безызвестно продолжение этой диковинной пьесы, которое, однако ж, не помещено во «Времени». Вот оно:

Так и Достоевских пара и с Косицей
Цыркают: беда нам! ах, беда нам, птицам!

Мы ли, птицы-птицы, смирно не живали,
Смирно не живали, в роще толковали,

В роще толковали, смирно не живали,
Смирно не живали, в роще толковали;

Плавали в затишьях да в озерах тихих,
Страховых плодили да Косицят серых,

Косицяток серых, Достоевских белых,
Смирно поживали, в роще толковали,

В роще толковали, смирно поживали,
Смирно поживали, в роще толковали...

И так далее: помнится, листа два есть.

Подобно этим бедным птицам, «Время» почему-то встревожилось. Все ему кажется, что кто-то его притесняет, кто-то хочет утянуть у него пару подписчиков. Кто тебя, душенька? кто тебя ушиб? топни, душенька, топни ножкой!

Вы ошибаетесь, «Время»: никто вас не ушиб. Никто вас не притесняет, никто даже не думает об вас. Занялся было вами одно время «Современник», предполагая, что из вас может что-нибудь выйти, но теперь, вероятно, и он оставит это занятие. Очень уж употребляете во зло то внимание, которое вам оказывается.

Что вы сказали такого, что можно было бы уловить и формулировать, по поводу чего можно было бы вооружаться против вас? Ничего вы такого не сказали. Что вы такого сделали, что можно было бы назвать каким-нибудь именем? Ничего вы такого не сделали.

Вы сидели, птицы, в роще толковали,
В роще толковали, смирно поживали,

Смирно поживали, в роще толковали,
В роще толковали, смирно поживали...

Вся ваша деятельность за два года ограничилась тем, что вы открыли каких-то «свистунов, свистящих из хлеба, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма». Это самое ясное из всего, что вы сказали. И вы думаете, что кого-нибудь этим обидели?

Кого вы обидели? кто заявлял вам об обиде? По поводу чего вы объясняетесь и извиняетесь? На основании каких резонов, с какого права, с чьего разрешения вы приплели Чернышевского и Добролюбова в эту грустную повесть ваших самолюбивых тревог? Да скажите же, скажите, кто жаловался вам на обиду?

Может быть, вам жаловался Иван Федорыч Шпонька? Может быть, вами уязвлен титулярный советник Поприщин? Или вы подпустили обиняка Ивану Никифорычу Довгочхуну? Или вы спорите и разговариваете с покойником Булгариным? Так вы так и объявляйте, что вы именно Шпоньку обидели, а не заигрывайте с какими-то незнакомцами, которые, быть может, и не знают об вас!

Знаете ли что? Я думаю, что вам даже никто не жаловался, что вы сочиняете эти неслыханные обиды нарочно для того, чтоб иметь повод самим с собой разговаривать и затем получить возможность похвастаться перед публикой: вот каково мы обидели, что и отмахаться не можем! Вы устраиваете примерное сражение; вы сами себя уязвляете, да потом сами же себе приносите оправдания и извинения. Косица обидит Косицу, Страхов Страхова, Григорьев Григорьева, а потом и поведут сами с собой ожесточенную полемику! Этот прием не нов; прочтите в прошлом номере «Современника» статью г. Дмитриева «Провинциальная газета», и убедитесь, что герой этого рассказа давно уже употреблял его для придания живости своему журналу.

Что ж тут обидного, что вы упомянули о каких-то свистунах, свистящих из хлеба? Это тупо, и больше ничего; это так тупо, что даже прелестно, но это не прелестнее всего прочего, что вы пишете в вашем журнале. Какой руководящей мысли вы были органом? никакой. Что вы высказали? ничего. Вы постоянно стремились высказать какую-то истину вроде «сапогов всмятку», вы всегда садились между двух стульев, и до того простирали свою наивность, что даже не хотели заметить, как шлепались на пол.

И не то чтобы вы не стремились обидеть кого бы то ни было: нет, у вас есть желание не только обидеть, но даже живьем проглотить. Но бог знал эту вашу злобу и, чтобы не допустить вас обижать других, обидел вас самих, то есть не дал вам ни уменья, ни остроты ума, ни — главное — фонда никакого, из которого можно было бы отправляться, чтобы наносить удары врагам.

Например, вы очень желаете обидеть «Русский вестник» и называете его то булгаринствующим, то теймствующим. Видите ли, вы даже выражения-то своего выдумать не в со-

стоянии, вы даже острите на чей-то манер. А знаете ли вы, что с «Русским вестником» все-таки приятнее иметь дело, нежели с вами? По крайней мере, не обманываешься: войдешь в «Русский вестник» — ну и знаешь, что вошел в лес, а в вас войдешь — не можешь даже определить, во что попал: и серенько, и жиденько, и скользко...

Вы называете г. Каткова булгаринствующим, но разве неправ будет тот, кто вас, «Время», назовет катковствующим? Вот я, например, именно одарен такою прозорливостью, которая так и нашептывает мне, что вы начнете катковствовать в самом непродолжительном времени [1]. Мало того: я даже думаю, что если признавать силу булгаринской традиции, то надо признать, что она уже коснулась и вас... разумеется, покуда только невинной своей стороной. Ведь и Булгарин проводил что-то вроде сапогов всмятку, ведь и он никогда не говаривал, что душа человеческая не бессмертна и что за воровство не следует наказывать. Вы говорите и проповедуете то же самое, да притом хотите еще отвести глаза, хотите уве-

---

[1] Верность этого замечания поразительна. Во 2-м своем номере «Время», желая изобидеть одного из наших сотрудников, по поводу помещенной в 1-м томе «Современника» рецензии на «Литературную подпись» г. Скавронского, поместило статью «Молодое перо», в которой, во-первых, сравнивает нашего сотрудника с бароном Брамбеусом и, во-вторых, обращаясь к нему, постоянно называет его «молодым человеком». Точь-в-точь такое же сравнение и обращение делал два года тому назад «Русский вестник», у которого «Время» все это и заимствовало, разумеется внеся в это заимствование своих собственных «сапогов всмятку». Эти «сапоги всмятку» заключаются в том, что будто бы наш сотрудник-рецензент до того «впился в интересы редакции «Современника», что, впиваясь, оставил прежнее у порога»... Читая эти слова, мы долго не могли прийти в себя от изумления. Что это такое! да ведь рецензия не подписана! к кому же может относиться обвинение «Времени»? и как могло узнать «Время», кто именно написал статью, приведшую его в такое волнение? Или, быть может, «Время» имеет привычку справляться у наборщиков типографии, в которой печатается «Современник»? Но если это так, то уверяем вас, о «Время», что наборщик, сообщивший интересные для вас сведения, обманул вас. Лицо, которое вы так легкомысленно упрекнули в чем-то «прежнем», уже четыре года *постоянно и исключительно* печатает свои сочинения в «Современнике», если же в прошлом году и было помещено несколько его рассказов во «Времени», то это произошло единственно оттого, что «Современник» был закрыт, а налагать на уста молчание не всегда бывает для литератора удобно. Следовательно, интересы «Современника» всегда были близки этому рецензенту, следовательно, и впиваться было не во что, следовательно, и слова ваши, как и все вообще ваши слова, суть не более как толкование в пустыне и о пустыне. Что же касается до того, что вы в полемике своей против неизвестного вам рецензента сослались на пословицу «береги честь смолоду», то надо думать, что презренная эта выходка употреблена вами в припадке особенного увлечения и что впредь этого с вами не случится.— *Ред.* *<«Современника».>*

рить, что у вас все это свое, самостоятельное. Напрасно. Верьте, что чем больше будете таким образом самостоятельничать и своим умом доходить, тем более и более будете приближаться к идеалу, от которого вы теперь отворачиваетесь с таким презрением.

Вы говорите, что г. Каткова оспаривать можно и следует (и что вы так пристали к Каткову? или вы получили от него разрешение? смотрите, ведь он когда-нибудь и сам на вас замахнется — и не пикнете!), да ведь и это еще не вовсе плохое дело, коли есть что оспаривать, а вот когда худо, коли и спорить не об чем. Возьмите, например, «Время»: за что ни прицепись — все гладко; хоть всю книжку обшарь (разумеется, мы не говорим о беллетристике), ни обо что не запнешься! А вы еще говорите, что вас кто-то за что-то не любит!

Сидят птицы смирно,
Живут-поживают, в роще всё болтают...—

да вдруг и вообразят себе, что их кто-то не любит! Да за что же вас не любить-то? И кто же на свете такой человек был, который бы смирных птиц не любил?

Вы говорите, что вас не любят за то, что вы самостоятельны, за то, что вы не подражаете. Но ведь разве вы взаправду самостоятельны, разве вы не притворяетесь? Нет, вы подражаете; вся хитрость ваша в том состоит, что вы всем понемножку подражаете, у всех чего-нибудь с крошечку утянете, да и прикроете эту смесь тем, что напустите в чужие мысли своих сапогов всмятку. Собственно вашего только и есть. Да ведь это еще счастье, что у вас есть хоть «сапоги всмятку», ибо какой же орган русской литературы, сколько-нибудь заботящийся об интересах защищаемого им дела, может желать, чтобы вы ему подражали? Ведь это значило бы просто желать своей собственной смерти, ибо всем известно, что ничто так не убивает дела, как неловкое подражание ему. Неловкий подражатель всегда или не доскажет, или перескажет что-нибудь — ну, и сразит! Вспомните г. Вс. Крестовского: мог ли А. Н. Майков предчувствовать, что ему придется погибнуть от руки его в цвете лет? Вспомните это и поймите, кому же может быть надобность в вашем подражании, в вашей помощи?

Вы говорите, что первые вооружились против авторитетов, и в то же время отмахиваетесь от тех, которые будто бы обвиняют вас за то, что вы не вооружались против Тургенева, Писемского и т. п. Вот видите ли, вы даже понятия об авторитете не можете отделить от чьего-нибудь лица, вы даже думаете, что авторитет есть что-то такое, что можно ощупать,

поцеловать и т. д. Для вас есть авторитет-Тургенев, авторитет-Добролюбов, дальше вы не идете. Я уверен, что у вас имеются даже авторитеты белокурые, авторитеты с проседью и авторитеты черноглазые. Я бы советовал вам просто прекратить разговор об таких делах, а если уж так придется, что не сказать нельзя, то как-нибудь проглотить, оставить белое место и потом сослаться на печатника: выпало, дескать, слово это в то время, как форму в станок клали. А то ведь таких «антиспатов» наскажете, что после целую жизнь за вами будут мальчишки бегать да приговаривать: антиспат! антиспат! антиспат!

И еще вы объявляете, что в тех сочиненных вами врагах (главнейшие-то враги ваши суть: М. М. Достоевский, Страхов и Косица), которые вами обижены и перед которыми вы извиняетесь, ничего нет русского. «Духа русского тут и слыхом не слыхать и видом не видать»,— говорите вы. Ну, не в пустыне ли вы проповедуете? и об ком это вы говорите? Выдумали себе каких-то несуществующих врагов да и шпигуете их чем попало! И об червонорусах тут же кстати что-то пролепетали, об каких-то четырехсотлетних страданиях! Что, я думаю, беготни-то стоило вам определить эту четырехсотлетнюю цифру! чай, у всех знакомых переспросили, точно ли четыреста лет, а не триста девяносто девять! Как бы опять «антиспатов» не наврать! И об чем это, об каких это страданиях вы говорите? И зачем вы анонимы употребляете? зачем вы беседуете с читателем в форме какого-то невинного письма от Машеньки Н. к Оленьке Р.?

А в вас-то что русского? А что, если мы докажем, что все ваше русское есть не более как арбузные корки, выкинутые вам покойною «Русскою беседой» за ненадобностью и обглоданием? А что, если мы докажем вам, что в вас только и есть русского, что «Мертвый дом»?

И еще вы хвастаетесь, что вас любит публика, что у вас много подписчиков. Знаете ли, кому вы этим обязаны? вы обязаны этим «Современнику», который некоторое время заблуждался, что из вас может нечто выйти, и занимался наставлением вас на путь истинный; вы обязаны этим временному прекращению того же «Современника», которое на минуту сосредоточило у вас все литературные силы. И тут покровительствующею вам силою явились совсем не собственные ваши сапоги всмятку, а чужая неудача. Все-то в вас чужое: ваши мысли суть объеденные чужие мысли, ваше сентиментальничанье с либерализмом есть тысячекратно повторяемое трясение гоголевской «Шинели»; даже ваше счастье есть чужая неудача.

Чего же вы пугаетесь? сами себя пугаетесь. С кем вы воюете? сами с собой воюете.

Ведь вы до такой степени галлюцинации дошли, что сами же свои собственные внутренности раздираете и тут же совершенно искренно убеждаетесь, что раздирает их вам кто-то посторонний. Ведь до этого доходил только Хлестаков, когда уверял, что сочинил Юрия Милославского!

Из-за моря птицы прилетали,
Прилетали, в роще толковали...

Ну, какая может грозить беда «птицам смирным, смирным птицам, утицам залетным»? Да не верьте же вы г. Ф. Бергу: он вас обманывает, он, кажется, даже хочет польстить вам... Сидите себе смирно, каждый на своей ветке, и толкуйте.

В роще толковали, смирно поживали,
Смирно поживали, в роще толковали...

Хотите, я сейчас же пять печатных листов таких стихов напишу? Хотите, я каждый месяц сто таких книжек сочиню, как 1-й № «Времени» за сей 1863 год?

Только и не могу сочинить одну драму Островского. Драма! драма! как ты в рощу попала?

<III. АПРЕЛЬ 1863 ГОДА>

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СПРАВЕДЛИВОСТИ.— СЛУЧАЙ С ПЕТРОМ И ИВАНОМ.— Г-Н ФЕТ КАК ПУБЛИЦИСТ.— СЧАСТЛИВЫЕ ПОСЕЛЯНЕ И УГНЕТЕННЫЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ — НЕЧТО О СБЛИЖЕНИЯХ И ОБЩЕНИЯХ

«Мальчишкам» делают упрек в несправедливости; утверждают, что они мало того что несправедливы, но даже возводят несправедливость на степень принципа, находят, что о справедливости не должно быть и речи. «В природе,— говорят поборники справедливости,— есть много милых вещей; одни мальчишки не признают их милыми»...

Этот пункт необходимо разъяснить. Что такое справедливость? По поводу чего справедливость? К кому и к чему справедливость?

Если вы вникнете попристальнее в тот смысл, который придается слову «справедливость» ее ревнителями, то легко догадаетесь, что в нем звучит чуждая нота, что тут дело идет совсем не о справедливости, а о снисходительности. «Вы резко относитесь к вещам и лицам! вы забываете, что нельзя же все вдруг!» — вот наиболее употребительная формула, которая при этом пускается в ход и которая самым наглядным образом удостоверяет, что под «справедливостью» отнюдь не следует разуметь «справедливость» действительную, а нечто другое. Чтобы доказать, что это совсем не произвольное с моей стороны предположение, я обязан войти в некоторые разъяснения.

Справедливость или, лучше сказать, правосудие выражается в правильной оценке известного порядка вещей, изве-

стного факта, известного действия отдельного человека. Это просто суд, на отправление которого имеет право всякий человек, обладающий способностью мышления. Во имя чего отправляется правосудие? Во имя чего судья известное человеческое действие признает заслуживающим порицания, а другое действие, напротив того, заслуживающим похвалы? В удовлетворительном разрешении этих вопросов заключается вся сущность дела. Хотя всякий мыслящий судья необходимо судит о вещах жизни во имя известного жизненного идеала, тем не менее суждения людей о вещах и лицах весьма разнообразны. Такое разнообразие суждений, очевидно, происходит от разнообразия идеалов, а это последнее есть следствие крайней неположительности и неточности так называемых социальных наук. В особенности резкое различие оказывается между приговорами суда привилегированного, окрепшего, и приговорами так называемого суда общественного. И, конечно, причина этого различия будет для нас ясна, если мы припомним, что привилегированный суд отправляет свое правосудие во имя идеалов тоже привилегированных, а суд общественный действует во имя идеалов более или менее не выработанных, не вошедших в общее сознание, спорных. Следовательно, то, что в первом случае является делом простого, почти механического сопоставления исследованного факта с готовым определением его, во втором случае представляет обширную область для колебаний и более или менее проблематических поисков. Но речь покамест идет не о том, каким идеалам отдать предпочтение: ходячим или только подозреваемым,— речь о том, возможна ли для судьи и в том и в другом случае иная формула суждения, кроме положительной или отрицательной? Может ли тут быть допущено, вместо простого и ясного «да» или «нет», какое-нибудь маленькое «да», маленькое «нет»? Предложите каждому из нас этот вопрос, исключительно относя его к суду привилегированному,— каждый из нас нимало не усумнится сказать: нет, маленького «да» тут не может быть. Это и совершенно естественно, потому что мы понимаем, что здесь идет речь о факте и что рядом с этим фактом существует и готовое мерило для оценки его: привилегированный идеал привилегированной справедливости. Согласно с требованиями этого идеала, судья не может сказать «виноват — не виноват» даже и тогда, когда он не понимает факта, даже и тогда, когда факт, по своей оригинальности, не подходит ни под какие определения привилегированной правды. В этих последних случаях он должен сказать: я не понимаю факта и потому удаляюсь. Совсем другими являемся мы, когда идет речь о суде общественного мне-

ния или одного из его органов: тут наши требования изменяются, и изменяются именно вследствие многоразличия идеалов, с высоты которых мы смотрим на предметы и людей. То есть, коли хотите, каждый из нас лично все-таки действует точно с тою же резкостью, как и обладатель привилегированных идеалов, но в отношении к обладателям идеалов, противоположных нашим, мы этой ясности действия признавать не хотим. И тут-то именно выступают на сцену те воззвания к снисходительности, умеренности и другим более или менее сводническим способностям, с помощию которых человеку так легко ужиться со всякою средою, если даже эта среда и не удовлетворяет его. А подкладка всего этого: «Мы будем говорить, а вы молчите, мы будем приговоры изрекать, а вы приводите их в исполнение! Мы одни имеем право быть мудрыми». И не то чтобы тут была какая-нибудь военная хитрость, то есть что вот, дескать, от вашей резкости и вашего нетерпения только делу поруха, будьте, дескать, кротки, как голуби, и мудры, как змеи,— нет, это просто какое-то нравственное ожирение, не желающее знать никаких противоречий, это просто невинно-фаталистическое чаяние, что все в мире строится само собою, что был успех прежде, будет успех и впредь... сам собою...

Между тем тут есть очевидное недоразумение, ибо точка отправления как суда привилегированного, так и суда общественного, собственно, одна и та же: идеалы. Если общественный идеал еще не выяснился до той степени, чтобы быть признанным всеми одинаково, и если, с другой стороны, общество, в официальной, торжествующей своей форме, довольствуется одними азбучными истинами, из этого вовсе не следует, чтобы все члены общества непременно обязывались довольствоваться азбучными истинами и чтобы тот или другой член не мог иметь своего особого представления об идеале. Напротив того, существование привилегированных идеалов, официальное признание справедливости одних старых, азбучных истин нисколько не мешают протесняться в жизнь иным идеалам, иным истинам. И эти новые идеалы, эти новые истины, несмотря на свою непризнанность, все-таки не теряют права на название идеалов и истин, потому что они действительно идеалы, действительно истины, хотя не вошедшие еще, так сказать, в общее употребление.

Чтобы сделать мою мысль яснее, прибегну к примеру: укажу на литературу, которая везде и совершенно справедливо признается главным органом общественного самосознания, и преимущественно укажу на журналы, как на органы литературы. Если журнал не имеет твердых понятий о том, куда он идет и чего хочет, если он занимается донашиваньем чужих

одежд и догладываньем чужих оглодков, заслуживает ли он чести называться органом и руководителем общественного мнения? Нет, не заслуживает, и это до такой степени справедливо, что просто ни на один журнал нельзя указать, который не имел бы своего ясного миросозерцания. Возьмите, например, «Русский вестник» — что может быть определительнее и точнее! У него есть свой собственный взгляд и на прогресс, и на зундскую пошлину, и на польские дела, и даже на поджигателей; и никто ему не говорит: не имей своего взгляда, выражайся так, чтобы понять тебя было невозможно. Напротив того, все говорят: очень приятно, что ты так положительно, так ясно и так величественно-строго выражаешься! Если иногда, по обстоятельствам, и нельзя с тобой спорить, то, во всяком случае, можно тебя цитировать — и этого покамест довольно. Свобода мысли, свобода убеждений дело до такой степени святое, что даже то, что мы иногда называем несправедливыми мыслями, несправедливыми убеждениями, и то должно пользоваться правом гражданства. Вот, например, в 1-м своем № за настоящий год «Русский вестник» делает легкое сопоставление между деятелями подметной литературы и петербургскими пожарами; можно на это, конечно, сказать, что такое сопоставление несколько гадательно и отчасти пóшло, что, наконец, не далее как в прошлом году «Современная летопись» публично отплевывалась от возможности подобных сопоставлений, но запретить «Русскому вестнику» производить подобные операции нельзя, ибо они соответствуют его идеалам. Конечно, многим кажется, что «Русский вестник» может говорить что ему угодно, может даже ошибаться по временам, именно в силу того, что основание у него хорошее, а вот, например, «Современник» говорить не может, потому что основание у него плохое. Но ведь не надо забывать, что вопрос об основаниях есть вопрос очень спорный. Почему именно основания «Современника», а не основания «Сладкого бремени», не основания «Куриного эха» должны считаться плохими? почему именно «Современник» должен считать себя отверженным? Ведь этих вопросов никто ещё не разрешил, ведь об них еще спорят. А если и за всем тем находятся органы, которые простирают к «Современнику» подобные деспотические притязания, то очевидно, что в основах их лежит неблаговидная страсть к единоторжию мысли и суда. Спорьте, милостивые государи, опровергайте, даже доказывайте, что «Современник» несправедлив с вашей точки зрения, но позвольте же ему быть справедливым с своей точки зрения! Ведь притязания ваши клонятся, ни много ни мало, к тому, чтобы сделать из всех деятелей литературы чистописцев, смиренно

заносящих на бумагу изречения М. Н. Каткова... ну, нет, на это мы не согласны!

И совсем не потому мы не согласны, чтобы считали для себя унизительным писать под диктант М. Н. Каткова, а просто потому, что имеем свой собственный образ мыслей. И в силу этого-то именно образа мыслей мы полагаем, что справедливость и снисходительность — совсем не синонимы. Снисходительность есть дружеская стачка, есть кроткая взятка сердца, допущенная в пользу очень милого нам лица или очень любезного нам порядка вещей, тогда как справедливость есть простой анализ факта, в связи с его историей и окружающей средой. Что же общего между ними?

Все сказанное мною выше сделается еще более ясным для читателя, если он даст себе труд припомнить, по поводу чего обвиняются «мальчишки» в несправедливости, то есть в неснисходительности.

Милостивые государи! Конечно, справедливость сама по себе великое слово, но потому-то именно и следует пользоваться этим словом с осторожностию. По поводу чего вы требуете справедливости? по поводу вашей же собственной несправедливости. К кому требуете справедливости? к самим себе!.. Вы требуете справедливости, вы, которые сами насквозь проникнуты ненавистями и неправосудием всякого рода, вы, которые шагу не можете ступить без того, чтобы не допросить с пристрастием, чтобы не кинуть тени язвительного подозрения, чтобы не уськнуть и не кивнуть головой на тех, которых вы, правильно или неправильно, считаете врагами вашего спокойствия! Сердца ваши преисполнены желчью и оцтом, язык ваш источает яд клеветы, руки ваши сводятся судорогою — и вы хотите, чтобы к этому позорному зрелищу, чтобы к этой «хладной» ненависти, сделавшейся почти ремеслом, оставались равнодушными и даже оказывали дань уважения и снисходительности!

Милостивые государи! вы ссылаетесь на прежние ваши заслуги — никто у вас их и не отнимает! вы объясняете, что в вашем положении, при вашем воспитании, в силу вашего прошедшего... Никто против этого и не возражает! Вам говорят одно: если вы остановились в вашем развитии, если жизнь захлопнула перед вами свою книгу, если наплыв новых сил, новых стремлений составляет для вас загадку, которую вы разрешить не в силах, зачем же вы усиливаетесь разгадать ее? зачем вы, не успев в этом, обвиняете эти новые силы, новые стремления в противообщественности? зачем вам никогда не придет на мысль, что новые вещи кажутся вам дурными не потому, чтоб они в самом деле были дурны, а потому, что

вы к ним не приготовлены, их не ожидали, их не понимаете?

Если бы вам хоть однажды, хоть ошибкою пришло это на мысль, вы сказали бы себе: не может же быть, чтобы целое поколение двигалось под влиянием одуряющего обмана чувств, не может же быть, чтобы в целом поколении не было инстинкта правды! И, сказавши себе это, вы, конечно, заглушили бы вопли ненависти, закипающие в сердцах ваших, вы стали бы в сторону и не загораживали бы дороги молодому, потому только, что оно молодо и не может петь вам в тон?

Но нет, вы носитесь с вашим прошедшим, до которого никому уже нет дела, и, убедившись, что дела до вас действительно никто не имеет, вы озлобляетесь, вы всё забываете и ничему не научаетесь. Вы презрительно бросаете в глаза ваш безапелляционный приговор, очень кстати припоминая, что на вашей стороне сила дня. Это последнее воспоминание, вместо того чтоб смутить и воздержать вас, вливает, напротив того, бодрость в ваши сердца, придает игривости и бойкости вашим изречениям и приговорам [1].

---

[1] Недавно, например, случилось мне вычитать в одной убогой московской газетке такую характеристику «Современника», что в нем в настоящее время действуют одни эпигоны и что «даже так называемые нигилисты, побойчее, замолкли...» «Замолкли!» — слышите ли вы радость, которая сочится в этих словах прискорбного публициста! «Замолкли!» — но почему замолкли, любезный публицист? не известна ли вам причина этого молчания? Вот видите ли, прискорбный публицист отнюдь не желает стеснять себя в суждениях о нигилистах... даже замолкших, и в то же время вопиет о справедливости, выставляет на вид какое-то кощунство над современной историей, «над всем, что близко и дорого современному человеку»! Это совершенно особого рода логика, совершенно особого рода справедливость, в силу которой один может нахальствовать сколько душе угодно, а другой обязывается молчать, один может формулировать свои обвинения ясно, а другой не имеет права проводить свою мысль и под покровами! Я очень хорошо понимаю, о прискорбный публицист! что вы должны быть обрадованы молчанием «нигилистов побойчее». Вы размышляете в этом случае так: если уж от «эпигонов» мне больно достается, то до какой степени я был бы изогорчен, когда бы начали со мной считаться вожди и учители! Это расчет очень верный и довольно успокоительный. Только жаль, что вы уж очень скромны: не назвали «нигилистов побойчее» по именам и не доложили вашим читателям о причине их молчания. Чего доброго, они ведь могут подумать, что это вы заставили их замолчать! Что же касается до названия «эпигонов», то и тут вы обнаруживаете скромность совершенно излишнюю. Эпигоны осаждали Фивы, следовательно, вам необходимо было бы, для ясности, растолковать, какие это именно Фивы осаждает «Современник». Может быть, это какие-нибудь недозволенные Фивы! Подумайте только, какую вы благодарность можете получить от современников за подобное указание! благодарность, быть может, вящую той, которую уже вы получаете! А то ведь читатели могут подумать, что Фивы-то — вы и что «Современник» именно вас осаждает! Нет, он вас не осаждает. (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

Единственная справедливость, какая возможна в отношении к подобным явлениям, заключается в анализе их внутренней сущности и в постановке тех выводов, которые естественно из этого анализа вытекают. Что же касается до снисходительности, то, сознаюсь откровенно, я не могу себе взять в толк этого понятия. Кому нужна снисходительность, полезна ли для кого или для чего-нибудь снисходительность? Может ли она хоть на минуту затемнить справедливость, и притом так затемнить, чтобы совершенно заменить эту последнюю?

И еще говорите вы, милостивые государи, что нельзя же все вдруг, но кто же от вас и требует «всего вдруг»? «Мальчишки» ни «всего», ни «по малости» — ровно ничего не требуют просто потому, что требования и неуместны, и бесполезны.

Чтоб объяснить читателю, до какой степени могут быть неуместны требования, я вынужден привести один легкий пример.

Был у меня знакомый судья, не какой-нибудь высший судья, который безопасно сыплет себе приговорами направо и налево, а простой уездный судья, который все-таки иногда опасается, что секретарь губернского правления может самого его, судью, под суд отдать. Несмотря, однако ж, на эту опаску, судья этот обладал такою «непосредственною» смелостью, которая подчас приводила меня в изумление. И представьте себе, этот несчастный даже не подозревал, что он храбрейший из храбрых, что он храбрее даже маршала Бюжо, который некогда советовал Луи-Филиппу бомбардировать Париж (ах, если б я его послушался! — тосковал, сказывают, этот король в своем уединении), ибо Бюжо советовал бомбардировать только Париж, а мой судья постоянно бомбардировал... страшно сказать! — бомбардировал справедливость!

Философия его была очень простая. Обвинялся, например, Иван в том, что украл у Петра платок из кармана; против Ивана улик никаких нет; когда Петр шел по улице, то, хотя из кармана его пальто действительно торчал кончик красного фулярового платка, могший соблазнить чувствительную душу Ивана, и хотя Иван действительно проходил в это время мимо Петра, однако Иван платка не крал, и у Ивана платка не отыскано. Иван говорит, что когда он шел мимо Петра, то кончика платка, выходящего из кармана его пальто, не заметил, потому что весь поглощен был в ту минуту мыслью, как-то ему завтрашний день придется девятипудовые кули с барок таскать, да хорошо еще, если придется таскать, а то ведь, пожалуй, и с голоду лопнуть можно!

Мой судья рассматривает это дело (разумеется, рассматривает на прохладе, сидя у себя дома, в халате) и точно так же, как и я, и вы, и все мы, находит, что никаких улик против Ивана нет. Но его смущает мысль: если Иван действительно не совершил этого ужасного преступления, то с какой же стати оно взведено на него? с какой стати оно не взведено на Фому, на Якова, которые также, в минуту пропажи платка, находились поблизости от Петра? стало быть, Иван действительно дурной, способный к воровству человек? стало быть, если нет против него улик, то это не потому, чтобы их не было в действительности, а потому, что он сумел ловко схоронить концы в воду? И вот мой судья решает: хотя настоящих улик в покраже Иваном из кармана Петра шелкового красного платка и не обретается, однако так как: а) платок не мог же исчезнуть сам собою; б) в минуту пропажи платка Иван проходил мимо Петра; в) в то же время поблизости Петра проходили Фома и Яков, на которых тем не менее подозрения не изъявлено, а изъявлено таковое именно на одного Ивана,— то признать сии улики несовершенными, а совокупность сих несовершенных улик — совершенным доказательством...

Спрашиваю я вас, милостивые государи, на каком рациональном основании знакомый мне судья, трусивший часто самого последнего столоначальника губернского правления, обладал в этом случае такою непосредственною храбростью? А просто обладал — да и все тут! Скажу более: он сам не сознавал, что обладает этою храбростью, ибо даже не понимал, в чем тут храбрость!

— Помилуйте, Кузьма Терентьич! — усовещиваешь, бывало, его,— как же можно этак с маху решать человека?

— Стану я ворам потакать!

— Да ведь закон, Кузьма Терентьич, закон!

— Стану я ворам потакать!

— Да ведь вы можете невинного погубить!

— Стану я ворам потакать!

И я уходил от Кузьмы Терентьича опечаленный. «Господи! — думал я,— вот и закон ведь есть, и гарантии всякие есть... что же это такое!» Да и то еще приходило мне в голову, что ведь и Кузьма-то Терентьич чудесный малый: мухи никогда не обидел! И долго бы проплакал я таким образом, если б не догадался наконец, что «тупа философия, косноязычна риторика... без грамматики!» Да, именно грамматики-то у нас и нет! — рассуждаю я в настоящее время и, верите ли, благосклонный мой читатель, чувствую себя обновленным и освеженным.

Желание справедливости и снисходительности сделалось столь насущною потребностью всех угнетенных, что им заразился даже поэт Фет. Помните ли вы г. Фета, читатель? того самого г. Фета, который некогда написал следующие прелестные стихи:

О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной, [1]
Коварный лепет твой, улыбку, взор случайной,
Перстам послушную волос златую прядь
Из мыслей изгонять и снова призывать;
Дыша порывисто, один, никем не зримый,
Досады и стыда румянами палимый,
Искать хотя одной загадочной черты
В словах, которые произносила ты,
Шептать и поправлять былые выраженья
Речей моих с тобой, исполненных смущенья,
И в опьянении, наперекор уму
Заветным именем будить ночную тьму.

или:

Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!
Опять и опять я люблю тебя!
Тихая, теплая!
Серебром окаймленная!

Я совсем не шутя говорю, что эти стихи прелестны: по моему мнению, других подобных стихов современная русская литература не имеет. Ни в ком, решительно ни в ком не найдет читатель такого олимпического безмятежия, такого лирического прекраснодушия. Видно, что душа поэта, несмотря на кажущуюся мятежность чувств, ее волнующих, все-таки безмятежна; видно, что поэта волнуют только подробности, вроде «коварного лепета», но что жизнь, в общем ее строе, кажется ему созданною для наслаждения и что он действительно наслаждается ею. Но увы! с тех пор как г. Фет писал эти стихи, мир странным образом изменился! С тех пор упразднилось крепостное право, обнародованы новые начала судопроизводства и судоустройства, светлые струи безмятежия и праздности возмущены, появился нигилизм и нахлынули мальчишки. Правды на земле не стало; люди, когда-то наслаждавшиеся безмятежием, попрятались в ущелия и расседины земные; остался один «коварный лепет», да и тот совсем не такого свойства, чтобы его

Из мыслей изгонять и снова призывать...

Вместе с людьми, спрятавшимися в земные расседины, и г. Фет скрылся в деревню. Там, на досуге, он отчасти пишет романсы, отчасти человеконенавистничает; сперва напишет романс, потом почеловеконенавистничает, потом опять напишет

романс и опять почеловеконенавистничает, и все это, для тиснения, отправляет в «Русский вестник». Нынешние романсы его уже не носят того характера светлой безмятежности, которым отличалась фетовская поэзия в крепостной период; напротив того, от них веет грустью, в них слышится вопль души по утраченном крепостном рае. Вот, например, последний романс г. Фета («Русский вестник», 1863 г., № 1):

Прежние звуки, с былым обаяньем
Счастья и юной любви!
Все, что сказалося в жизни страданьем,
Пламенем жгучим пахнуло в крови!

Старые песни, знакомые звуки,
Сон безотвязно больной!
Точно из сумрака бледные руки
Призраков нежных манят за собой.

Пусть обливается жгучею кровью
Сердце, а очи слезой!
Доброю няней прильнув к изголовью,
Старая песня, звучи надо мной!

Пой! не смущайся! Пусть время былое
Яркой зарей расцветет!
Может быть, сердце утихнет больное
И, как дитя в колыбели, уснет.

Объяснение к этому стихотворению мы находим в статейке г. Фета «Из деревни», напечатанной в том же № «Русского вестника». Здесь г. Фет докладывает читателям, что времена наступили крутые и тяжкие, что равенства перед законом нет, что работники его, Василий и Семен, пользуются покровительством законов, а он, г. Фет, не пользуется, что у него, г. Фета, чуть-чуть не пропало за Семеном 11 р., а Василью, к счастию, не было выдано задатка, а то точно так же чуть-чуть бы не пропал, что у него, г. Фета, потравили было пшеницу крестьянские гуси и что во всех этих беззакониях и беспорядках обвиняется литература, которая, вместо того чтобы «обсуживать» вопросы, только «судачит об них свысока».

Итак, г. Фет обижен и тоже кого-то обвиняет в несправедливости. Он хотел избежать этих несправедливостей, с этою целью спрятался в деревню — но увы! и там несправедливости его преследуют! Приходит почта и приносит журналы; г. Фет, разумеется, вскрывает их, и «ему делается вдруг и грустно, и смешно, и стыдно, и противно». Счастлив г. Фет, что может одновременно испытывать столько ощущений, да притом еще не выпускать из головы вечно присущую мысль (врожденная идея) о чуть-чуть не пропавших 11 руб., но посмотрим, что же

такое возмущает г. Фета в русской литературе? Его возмущает, что литература («слава богу,— говорит он,— нет правила без исключения») считает «своим присяжным долгом отвечать на всякий вопрос: veto». Разумеется, его, как поэта, плавающего в эмпиреях истины безотносительной, так сказать заоблачной, это детское veto только забавляет... что же его смущает, однако? Его смущает «приток этого veto — струя демократизма, в самом циническом значении этого слова». Изволите видеть, «это тот самый мотив, который в парижском театре *для черни* заставляет блузников выгонять чисто одетого человека из партера огрызками яблок».

Извините, г. Фет, но мне просто «и грустно, и смешно, и стыдно, и противно» читать приведенные выше строки. Обвинять русскую литературу в демократизме в то время, когда она, с легкой руки того самого журнала, в котором вы произносите ваши укоризны, предлагает различные проекты самых невинных сближений и общений, просто несправедливо. Очевидно, что тут совсем не о том речь идет, совсем не о разделении царства на ся, а о сближении, милостивый государь, об общении! Быть может, вы скажете, что вы о той литературе. которая заботится об общении и к которой принадлежите сами, и не говорите, а говорите о другой... Но ведь и другая-то литература о чем же хлопочет? она хлопочет о равенстве, милостивый государь, не о мечтательном каком-нибудь равенстве, а о том равенстве перед законом, о котором хлопочете и вы. О каком же демократизме вы говорите? вспомните, что ведь мы не в диком государстве живем, где все можно говорить, что у нас тоже цензура есть, цензура попечительная, налагающая на уста добровольное молчание... А то «демократизм»! где вы такое чудо видели? укажите же, где вы слышали тот «мотив, который заставляет блузников выгонять из партера чисто одетого человека»? дайте нам факты, милостивый государь, факты дайте нам, а не наполняйте пустыню вашими воплями, не вливайте фиала желчи и горечи в наши груди, и без того уже исцарапанные когтями премудрых московских сов!

Вы говорите, что литература ко всем вопросам относится посредством: «помилуйте! к чему это? это вздор! это все пустяки!» Но ведь это смотря по тому, в чем состоит и какого свойства вопрос. Вот вы, например, говорите, что чуть-чуть не потеряли 11 рублей, которых вам не отработал работник Семен, и что крестьянские гуси чуть-чуть не потравили вашей пшеницы,— ну, на это, пожалуй, я первый скажу: «помилуйте! к чему это! это вздор! все пустяки!» — но чтобы я сказал то же самое об изменениях паспортной системы и о других материях

важных — это никак невозможно! И где вы это видели, где слышали, чтобы литература так легкомысленно относилась к важным материям? Быть может, литература сказала об них не то слово, какое бы вам хотелось от нее слышать,— ну, это другой резон! Так вы так и говорите: вот, дескать, как легкомысленно относится литература к паспортной системе, не понимает даже, что она должна существовать для успокоения землевладельцев!

Но, быть может, вы меня спросите, как же быть с теми 11 рублями, которых чуть-чуть было вы не лишились, и как поступить с теми гусями, которые чуть-чуть было не потравили вашей пшеницы? На это могу вам отвечать одно: ущерб ваш представляет одну из случайностей несовершенного сего мира, и вы об этом ущербе можете искать в подлежащих местах (что вы и сделали), литературе же нет никакого дела не только до 11 рублей, но даже если б у вас чуть-чуть не пропали и все 20 рублей, данные вами работнику Семену в задаток, ибо она разработывает общие вопросы жизни, а не четвертаковые. В настоящее время она может дать вам один совет: относительно гусей — брать их немедленно под арест и поднимать тот же гвалт, какой описан вами в статье вашей; относительно работника Семена — не давать ему вперед ни копейки в задаток. Извините, что считается невозможным советовать вам повесить Семена или содрать с него шкуру: этого делать нельзя, потому что за такой поступок вы можете отвечать перед начальством.

Наши собственные боли всегда кажутся нам больнее чужих, г. Фет. Положим, что у нас сделана порубка на 5 рублей; преступник пойман, сознался и наказан розгами. Но нам от этого не легче, потому что пять-то рублей, взятые из нашего, так сказать, карманного итога, все-таки не воротились туда; и вот мы начинаем волноваться, нам кажется, что преступника наказали мало, что его, по крайней мере, следовало бы... Но повесить все-таки нельзя, а также нельзя и шкуру с живого содрать, потому что за это можно отвечать перед начальством.

За всякое преступное действие полагается в законах свое определенное возмездие, г. Фет. Прежде, когда в нас самих заключался весь суд, мы устраивались легко, ибо задатков мы никому не давали, а гусей могли всех поголовно перерезать. Теперь одних обвинений с нашей стороны оказывается недостаточно, требуются еще доказательства; надо жаловаться на работника Семена посреднику, надо доказывать, что гуси действительно нас обидели,— вот мы и вопием о каком-то неравенстве перед законом! С кем неравенство? с гусями? Но

представьте же себе, что вас в Москве обокрали, г. Фет, и что вы того вора изловили в тот самый момент, когда рука его шарила в вашем кармане. Ведь вы не стали бы требовать, чтобы вам того вора позволено было зарезать вашими собственными руками? Ведь вас не ужаснула бы мысль, что на вора вам следует принести жалобу в полицию и затем спокойно ожидать дальнейшего удовлетворения? Но поверьте же, г. Фет, что все точно так же должно происходить и в том случае, о котором вы рассказываете в вашей статье, что это явление совсем не исключительное и что вас оно поражает потому только, что вы еще не привыкли, г. Фет, не привыкли!

Есть люди, которые обнаруживают необычайную твердость характера и верность каким-то принципам, особенно когда идет речь о мелочах. Иной садится за карты и говорит себе: не поставлю ни одного ремиза — и действительно не поставит! Мало того что не поставит, но еще, вышедши из-за карт, целый вечер только и твердит: сказал, что не поставлю,— и не поставил!

Такого-то рода твердостью характера и политическою неуступчивостью обладает и г. Фет. Он сказал себе, что будет тверд в деле о потраве гусями его пшеницы,— и был тверд до конца!

Курица, у которой другая курица отняла хлебное зерно, конечно, воображает, что посредством оскорбления ее куриного интереса потрясены священнейшие общественные основы. И вот она клохчет; ей хочется, чтобы вся литература отнеслась к этому факту особенным каким-нибудь образом: все, дескать, прочее вздор, а вот вы об том посудите, как бы куриные интересы-то оградить, как бы такой закон издать, который бы обеспечивал вполне куриную собственность! Я понимаю беспокойство курицы, но вместе с тем понимаю и равнодушие к ней литературы!

Нет сомнения, что забота об ограждении своей собственности от расхищения есть дело весьма похвальное. Но ведь это дело касается наших личных хозяйственных распоряжений, это, наконец, дело общих судов, для всех равно доступных, и волноваться по этому случаю, призывать свидетелей и ссылаться на мнимое неравенство перед законом... право, это более нежели странно!

Вы говорите, г. Фет, что нет равенства перед законом; вы пристаете к вашему мировому посреднику: «Вы наш общий судья; рабочий и я в двух данных случаях предстоим пред судом вашим в совершенно одинаковом положении. Считаете ли вы нас равноправными? Если считаете, то откуда являются две меры и двое весов?» Надо сказать правду, что вы ставите

вопросы откровенно и не запутываете их, но потому-то именно, что вы очень откровенны, вы и изобличаете самих себя. Вы говорите, что если бы вам случилось не удовлетворить рабочего деньгами, то земская полиция не усумнилась бы описать у вас лошадь, корову, овцу, и все-таки удовлетворила бы рабочего. Хорошо, кабы вашими устами да мед пить, но поверьте, г. Фет, что чаще, гораздо чаще бывают случаи, что рабочие просто побьются, побьются, да и уйдут с пустыми руками. Не знаю, как это случается, но сильный человек и капиталист как-то по преимуществу пользуются полицейскими симпатиями — это верно. Мы каждый день видим примеры, как очень сильные фабриканты (до сих пор мы имеем право ссылаться лишь на эти примеры, потому что земледельческий вольный труд считает свою историю чуть ли не со вчерашнего дня) отпускают от себя рабочих с одним кратким, но сильным словом: поди ищи на мне! Я сам был неоднократно очевидцем, как рабочие приходили целыми толпами искать управы на фабрикантов, насчитывавших на них неимоверные штрафы за прогул (принято за правило, что фабрикант — всегда исправный сын отечества, а рабочий — всегда пьяница)... и, разумеется, фабриканты всегда оказывались правыми! И после этого позволительно говорить, что есть какие-то две меры, какие-то двое весов! Но если б и это было точно так, как явствует из ваших рыданий, г. Фет, то есть что полиция всегда мирволит рабочему и всегда притесняет капиталиста, посудите сами, каким же образом оно и может быть иначе? Вы имеете и лошадь, и корову, и овцу, полиция видит это и описывает и продает их; работник Семен не имеет ни лошади, ни коровы, ни овцы — полиция не видит их, следовательно, не имеет возможности ни описать, ни продать их. Что ж ей делать? не зарезать же, в самом деле, Семена! Да если б она и «спустила» с Семена две шкуры, то этим, быть может, доставила бы только вам удовольствие, но убыток ваш все-таки не пополнила бы! Конечно, Семен пьяница, но представьте себе, с другой стороны, что не Семен, а вы — пьяница (извините меня, я это предположение отношу не к вам собственно, а вообще к антрепренерам и капиталистам, между которыми примеров подобного рода найдется, пожалуй, и немало); представьте себе, что вы наняли рабочих, которые очень усердно вам служат, а между тем сами немедленно закурили. На потребности этого куренья уходят не только лошадь, и корова, и овца, о которых вы говорите, но и все ваше имение; вы делаете долги и кутите с лоретками, а рабочие и не подозревают, что вы уж несостоятельный: они считают себя не вправе наблюдать за вашим поведением и думают только, что ведь у барина есть и лошадь, и корова, и овца... Как тогда

поступить с вами? Писать ли в журналах, что вот, дескать, каким образом поступил г. Фет с своими рабочими, да и не то, как поступил г. Фет, а вот, дескать, какое неравенство перед законом! Знаете ли что? я думаю, что все ваши сетования именно оттого происходят, что вы приступили к хозяйничанью не столько с знанием дела, сколько с твердою уверенностью, что при вас завсегда будет находиться становой пристав, который будет разрешать немедленно все эти недоразумения. Иначе вы поняли бы, что всякий хозяин, всякий предприниматель, наряду с ожидаемыми от предприятия выгодами, рассчитывает и ожидаемые от него ущербы. Потому что ведь иначе вы и на град, и на засуху взъедитесь! будете говорить, зачем нет против них закона! Ну да, эта именно мысль и руководила вами, когда вы писали: «Идеал равенства именно и заключается в соблюдении полной справедливости среди возможного колебания отношений. Сегодня я нанимаю, завтра меня нанимают, и справедливость требует, чтобы я удовлетворял требованиям закона и в том, и в другом положении». Полно, так ли, г. Фет? может ли справедливость, понятие абсолютное, неколеблющееся, применяться к отношениям колеблющимся? Кроме того, что ведь это бессмыслица, что колеблющиеся отношения необходимо предполагают уступку (потому что являются человеческому суждению не изолированно, а в связи с другими, тоже колеблющимися отношениями), вспомните, что ведь ваша справедливость вся исчерпывается словом «вознаграждение ущерба», а я уже имел случай показать вам, как это может быть иногда трудно даже в материальном отношении! Вспомните и еще, что ваша фраза: «сегодня я нанимаю, а завтра меня нанимают» — есть только фраза, и больше ничего. Благородных людей сажают в тюрьму, но не нанимают!

Вообще мне кажется, что вы несколько завидуете счастливым поселянам. Это неоднократно случалось и со мной, особливо когда едешь, бывало, темным осенним вечером по грязи и колоти, а на тебя так приветливо смотрят огоньки из «бедных, богом хранимых» хижин. Но зависть эта сейчас же унималась, как только я убеждался, что с этими огоньками соединяется понятие о лучине, о дыме и смраде, который при этом распространяется; и еще унималась зависть, когда я тут же встречал обоз и собственными глазами уверялся, что я все-таки сижу в более или менее покойном экипаже, а счастливый поселянин идет за своим возом пешком, да часто еще обязывается лично помогать своей испитой клячонке. Право, займитесь когда-нибудь подобными же размышлениями; это совсем не трудно, потому что здесь требуется только добросовестность и час-другой времени, требуется, одним словом, мысленно по-

ставить себя на место счастливого поселянина. Вы это можете сделать с успехом, потому что обладаете хорошим художественным талантом.

И верьте, г. Фет, что этот совет дает вам не столько литератор, к которому (не ко мне собственно, а к собирательному имени) вы вообще питаете нелюбовь, сколько сельский хозяин, сам на практике испытавший всю горечь этого ремесла. Действительно, собственный интерес дороже всего на свете: как займешься им с надлежащим усердием, то кажется, что никто-то об нем не радит, никто-то ничего не делает, все-то пьянствуют или празднуют. Иногда, однако, раздумаешься. Будем приводить примеры практические, возьмем, например, пахоту. Известно вам, г. Фет, что один работник с сохой на исправной лошади, или с плугом на двух лошадях, должен вспахать в день полдесятины — это урок, и притом умеренный; известно вам также, что, работая с сохой или плугом, счастливый поселянин не просто гуляет и покрикивает на лошадей, но напрягает свои мышцы почти наравне с лошадью. Но вам неизвестно, быть может, сколько верст проходит работник, гуляя таким образом: он проходит до 15 верст, напрягая свои мускулы самым усиленным образом и увязая притом в вязкой, только что вспаханной почве. Мало вам этого примера — возьмите навозницу, тем более что этот труд в понятиях сельских хозяев слывет чуть-чуть не увеселительным. Положим, что пашня ваша отстоит от скотного двора на версту; работник, за исключением всех отдыхов, работает в летний день 12—14 часов, следовательно, в исправном хозяйстве он должен оборотить в день туда и назад по малой мере десять раз, то есть наложить, привезти на место, сложить и раскидать там десять возов, полагая в каждом пудов около 25. Отсюда для работника проистекают следующие обязанности: а) пройти пешком в день двадцать верст; б) вскинуть на каждый воз на высоте от 1 до $1^1/_2$ арш. до 25 пудов тяжести, итого 250 пудов, и в) таковое же количество пудов тяжести раскидать по полю. И все это исполнить за 30 к. сер. в сутки или, много-много, за 40. А косьба, а жнитво? как оценить эту мучительную работу? Слова нет, что работник все это должен сделать, что это его прямая обязанность, но согласитесь же, что в самой трудности этой обязанности есть... ну, хоть *некоторое* смягчающее обстоятельство. И вот в ту минуту, когда работник не довезет одного воза или не допашет полуаршина, мы говорим, что об нас никто не радит, что рабочие празднуют и только даром хлеб едят!

Быть может, вы возразите, что при таких размышлениях никакое сельское хозяйство не может идти. Ну да, этот вопрос я предоставляю вам разрешать, как угодно; я, соб-

ственно, настаиваю на том, что размышления, сейчас мною приведенные, не прийти не могут. И потому-то именно мне кажется, что удобно заниматься сельским хозяйством возможно только тому, кто в это дело может поместить свой собственный труд. Конечно, вы можете еще сказать, что помещичьи хозяйства — это, так сказать, ядро, житница и т. д. Ну да, я и этот вопрос вполне отдаю на ваше разрешение, а что и крестьянские хозяйства могут служить и ядром, и житницей — в этом вам служит порукою, например, Вятская губерния. В этом крае помещичьих хозяйств очень мало, а в некоторых уездах и совсем нет,— и представьте же себе, он не только снабжает хлебом целый беломорский край, но даже огромную пропорцию отпускает через архангельский порт за границу! И еще мне кажется, что если уж признавать постепенность за единственно разумное руководство в жизни, то необходимо признавать ее во всех видах и на всех степенях. А то ведь это странно: покуда идет речь об общем жизненном прогрессе, мы кричим: «Не все же вдруг — поймите!», а как только дело коснется наших личных выгод, подавай нам все вдруг! А вы подождите, г. Фет! может быть, оно как-нибудь там и устроится!

Но статья ваша так прелестна, что я решительно не могу расстаться с нею. Вы там говорите о каких-то «гнусных валяниях» (в ноги); действительно, мужик, из-за целкового гнусно валяющийся у вас в ногах,— картина свойства весьма возмутительного, однако нельзя же обвинять в ней одного валяющегося мужика. Это явление есть следствие тех самых колеблющихся отношений, о которых вы говорите, с тем лишь ограничением, что здесь колебание происходит какое-то странное... Одно, однако ж, несомненно, что если б не было колебаний, то и валяний не было бы. А то, согласитесь сами, что у вас выходит несколько странно: с одной стороны, судя по вашему описанию, не только все власти, но как будто даже все силы природы сговорились, чтобы мирволить мужику во что бы то ни стало, а с другой стороны, он все еще гнусно валяется... Для чего ж он валяется? Для того ли, что у него уж такой вкус, или для того, что он обстоятельствами к тому вынужден?

Но ведь и независимо от ожидаемого вами «равенства перед законом» представляется же возможность умерять силу валяний: все зависит от того, как поставит себя лицо, силу имеющее...

Некоторым из моих читателей быть может, покажется странным, что я в свою хронику общественной жизни привлекаю г. Фета. Г-н Фет, скажут мне, человек благодушный, простодушный и прекраснодушный: он сидит себе в деревне

и описывает факты в том грубом внешнем виде, в каком они проходят перед простодушными его глазами, но не философствует, то есть не понимает ни причины, ни происхождения, ни существа фактов. Нет, милостивые государи, г. Фет философствует! коли хотите, он философствует словосочинительно, то есть берет фразы публицистов, сочувствующих его чуть-чуть не пропавшим 11 рублям, и потом склеивает их как попало, но все-таки он философствует Он берет эти фразы по выбору, следовательно, размышляет. Он преисполнен тех же антипатий, которыми заражены и сочувствующие 11 рублям публицисты, и вообще не любит, чтобы кто-нибудь рассуждал не так, как он рассуждает. Это очень понятно, потому что в г. Фете еще не остыли старые привычки, которые, как известно, давали россиянам жест вольный и речь свободную. Во всяком случае, это факт совсем не уединенный, но находящийся в тесной связи с общим настроением той частицы общества, которая присвоивает себе название «благонамеренной». Следовательно, это явление общественной жизни, явление, которое нельзя пропустить уже по тому одному, что оно доказывает, до какой степени могут быть тягучи некоторые плохие мысли: они заражают даже простодушных, благодушных и прекраснодушных поэтов.

Тем менее окажется возможным его пропустить, если мы примем в соображение, что оно прикасается еще и к другому порядку благонамеренных мечтаний: мечтаний о сближении и общении. Но так как г. Фет касается этого вопроса только с задней, так сказать, стороны и доказывает непрактичность упомянутых выше мечтаний лишь с точки зрения неразвитости грубых поселян, то я и оставлю здесь этого поэта, на грех себе сделавшегося публицистом. Это тем легче для меня сделать, что неразвитость грубых поселян — вещь давно всем известная, на доказательство которой потрачено немало пороха, помимо пороха г. Фета. Я, напротив того, буду говорить о сближении, как о вещи, изображаемой желательною, как о вещи, к которой, по мнению многих, следует стремиться, несмотря на неразвитость грубых поселян.

Обыкновенно понятие о «сближении» формулируется у нас таким образом: «Сблизимся! ты меня возлюби, а я с своей стороны постараюсь!» Если вы вникнете в смысл этих слов, то увидите, что это штука довольно легкая и что тут дело идет об одних целованиях, и ни о чем больше. Если не ошибаюсь, то мысль о сближении впервые зародилась у нас тотчас по упразднении крепостного права; в то время многие заметили за собой разные провинности и пожелали сблизиться. С тех пор мысль о сближении стала крепнуть и мужать и наконец

возмужала до того, что перетревожила даже почтенное общество московских купцов, которое устами одного из своих представителей, г. Четверикова, на сих днях публично заявило, что сближение так сближение — что ж, мы готовы! «Мы тем более готовы,— мог бы прибавить г. Четвериков,— что на этот путь нам указывает само правительство, созвавшее нас в одну общую комнату для обсуждения дорогих нашему сердцу интересов!»

Скажите на милость, отчего в других странах Европы люди живут себе смирно друг подле друга, делают каждый свое дело и не думают ни о сближении, ни об общении, мы же, русские, либо в зубы друг друга огорошить норовим, либо целоваться лезем? Или такова уж природа «славян могучего рода»? Или мы до того еще «непочатые родники», до того «широкие, неиспорченные натуры», что подлинно убеждены, что на сближения и общения можно взирать с точки зрения одних целований?

Как бы то ни было, но это достоверно, что российская журналистика внезапно наполнилась каким-то удивительным благоуханием любезности. Только и слышишь со всех сторон: «Cher ami! [1] поцелуй меня! cher ami! позабудем прошлое! cher ami! жить без тебя мне тошнехонько!» На эту тему вздыхает и «Русский вестник» г. Каткова, и «День» г. Аксакова; одно «Наше время» посматривает как будто иронически, но тем никого не убеждает, а, напротив того, лишь навлекает на себя подозрение в равнодушии к славе отечества. Припомним, наконец, что на эту же тему вздыхало благородное и передовое тверское дворянское сословие, которое до того зарвалось на сем поприще, что чуть-чуть не отказалось за себя и за потомков от всяких дворянских прав, но в нынешнем году как будто спохватилось и поспешило исправить свое кратковременное заблуждение.

Источник этих общительно-примирительных стремлений заключается, как сказано выше, преимущественно в том, что большая часть из нас, играющих на верху той плотной массы, в пользу которой открываются ныне наши сердца, сознает за собой некоторые провинности (увлечения), а сверх того, и в том еще, что многие из нас до сих пор не могут уяснить себе свое положение с надлежащей отчетливостью. Вероятно, вам случалось, читатель, встречать старых чиновников, уволенных или за штатом, или за возрастием, или, наконец, за тем, что порядков новых понимать не могут. Взгляд у этих чиновников влюбленный, походка кроткая и сентиментальная, вздохи глу-

---

[1] Друг мой!

бокие, но выражающие не протест, а тихую покорность судьбе. Присутствие юных бюрократов, усвоивших себе всю глубину новых исходящих и входящих регистров, не волнует их, но приводит в кроткое умиление; они не говорят при виде их «щенки!», как говаривали прежде, когда были старые входящие и исходящие регистры, но, напротив того, благоговеют и ловят на лету слова мудрости, вылетающие бурным потоком из уст их... «Послужили бы мы! еще вот как послужили бы!» — ропщут они себе потихоньку... Подобно этим уволенным за возрастием чиновникам, и мы не прочь послужить и в этих видах поднимаемся на разные хитрости.

Живительный луч солнца ударил в наши головы, благоухающими ветрами весны пахнуло в наши лица. Отсюда зуд во всем теле, тот возбуждающий зуд, который с особенною настойчивостью сказывается в старческих организмах. Отсюда беспорядочные маханья руками, беспорядочные кованья во все стороны, беспорядочные жалобы и беспорядочные надежды. Где отыскать подновки для себя? где найти возрождения аппетита?

Отсюда наши учтивости, отсюда наши журнальные и не журнальные мечтания о сближениях и общениях, отсюда различные совещания и митинги.

— Я полагаю, милостивые государи, что «непочатые родники» должны быть призваны для того только, чтобы подать нам полезный совет! — ораторствует один.

— Браво! браво! — раздаются кругом сочувственные голоса.

— И затем, по исполнении этой обязанности, должны скрыться... немедленно! — продолжает оратор.

— Немедленно! немедленно!

— Говорю «немедленно», ибо дальнейшая в этом смысле проволочка может повредить их собственным интересам, может отвлечь их от приличных их званию занятий...

И затем начинается длинный ряд соображений, излагается длинный ряд надежд и опасений, предлагается длинный ряд мероприятий. Оканчивается тем, что «главное, милостивые государи, в этом деле: строгость и скорость, но это — в будущем и как запасное средство, а покудова будем стараться!»

И с новою силою начинаются: «Cher ami! поцелуй меня! cher ami! позабудем прошлое!»

Что должны думать те, к которым обращаются подобные заигрыванья! Увы! они еще не приготовились к принятию желанного поцелуя, они не утерлись, не расправили щетины, не вычистили носов! Они не подозревают, что в наших сердцах

действо любви проявляется внезапно и что, следовательно, нечего тут думать о чистке носов, когда любовь с электрическою быстротою пронизывает нас насквозь. Я даже не прочь от мысли, что они не подозревают и о существовании самых заигрываний...

Да, они не подозревают, несмотря на то что заигрыванья из области печатного слова мало-помалу переходят уже и в практику. Сладко и умилительно путешествовать в настоящую минуту по российским палестинам: нигде-то крика и гама, нигде-то ямской брани. Выедешь в поле — даже сердце не нарадуется.

— А ну-ка, братцы! как бог работа̀ть помогает (не рабо̀тать, а работа̀ть — этого требуют правила общения)? — спрашивает какой-нибудь Сидор Сидорыч, а сам так-то веселенько хихикает.

— Рады стараться для вашего здоровья, Сидор Сидорыч! — отвечают «непочатые родники».

Шапочки снимают, вежливенько таково раскланиваются, однако сами ни с места.

— Что̀, видно, не спорится? или дерябнуть для куражу?

— Покорно благодарим на ласке, Сидор Сидорыч!

— Эй, водки сюда! только уж вы не оставьте, голубчики.

— Мы вашу ласку завсегда помним, Сидор Сидорыч!

Приносят водку. «Непочатые родники» пьют и похваливают, Сидор Сидорыч пуще хихикает, потому что простосердечный лепет невинных детей природы не может не веселить его. Но водка кончилась, а «непочатые родники» ни с места; этого мало: по отвратительному, звериному своему обычаю, они начинают во все горло драть песни.

«Ах, пострели́ вас горой!» — думает Сидор Сидорыч, но, ежечасно помня о «сближении», выражает свою мысль так:

— Уж, видно, сегодня отдохнуть, голубчики?

«Непочатые родники» соглашаются и, дерябя, расходятся по домам, а Сидор Сидорыч, понурив буйную головушку, возвращается домой. А дома не лучше; там идут толки о какой-то протухлой солонине, о каком-то кислом молоке, которых будто бы есть нельзя.

— Сегодня нам, Сидор Сидорыч, щи с солониной на обед подавали! — пристают «непочатые родники».

— На здоровье, голубчики, на здоровье!

— Только эту солонину нам теперича есть невозможно!

— А что, разве пахнет? А вы, друзья, кухарку за бока! хорошенько ее, мерзкую!

— Она отговаривается, что вы сами приказывали!

— И-и-и, какой грех! Лжет она, старая! А вы, друзья,

в другой раз, как станет она говорить это, отнимите у ней ключ от погреба, да и распорядитесь по-своему!

И Сидор Сидорыч вновь уповает, вновь надеется, до такой степени надеется, что когда супруга его колко замечает ему: «Ну что! опять с подлецами литки пили?», то он не отвечает ей, а только возводит к небу глаза.

Не знаю, как вам, читатели, а мне кажется, что все эти опасения и надежды свидетельствуют о каком-то удивительном малодушии. Ну, скажите на милость, позволительно ли, например, хитрить насчет солонины? Так ли поступили древние римские сенаторы, когда варвар Бренн с мечом в руках ворвался в форум? Ссылались ли они облыжно на кухарку, отдавали ли ее на растерзание рассвирепевшему врагу? Нет, тут не было речи ни о солонине, ни об водке. Древние римляне, видя неизбежность факта, стоически разрезывали себе жилы, садились в теплые ванны и умирали. Если это и нелепость, то, по крайней мере, нелепость благообразная, грандиозная...

Итак, наши общительные мечтания покуда не привели на практике ни к какому результату: мы стоим сами по себе, а «непочатые родники» сами по себе. Я знаю, многие обвиняют в этом так называемых либералов: «Это, говорят, всё они натяфтяфкали, да теперь и сплетничают!» Однако это несправедливо, ибо если мы вспомним, что наши русские либералы, как и прочие, всегда питались мясом, а не мякиной, то невозможно сомневаться насчет того, куда они принадлежат своими наклонностями и привычками.

Вернее разрешает это дело г. Фет: он просто говорит, какое же может быть тут сближение, когда нет равенства перед законом? Но и эта сентенция, как мы видели, не вполне справедлива.

Еще вернее разрешает вопрос, за славянофилов, единственный представитель славянофильства, оставшийся в живых, И. С. Аксаков. Он прямо обвиняет во всем общество. Он укоряет общество в недостатке энергии и совершенной мертвенности, он укоряет общество во лжи, он укоряет общество в том, что оно православных церквей в западных губерниях не строит. Смотрите, говорит он, правительство вынуждено было наградить г. Четверикова Владимиром 4-й степени за его пожертвование в пользу православных церквей! Православие... и орден! какой горький урок! какое сопоставление! Напрасно вы горячитесь, пишет ему в ответ г. Батюшков, если вы имеете право приносить посильную благодарность лицу, оказавшему вам услугу, то отчего не может иметь такое же право правительство? — Да вы меня не так поняли! — отвечает И. С. Аксаков.

Но тем не менее мысль, что во всем виновато «общество», очень хорошая мысль. Жаль только, что Иван Сергеевич недостаточно вразумительно объясняет своим почитателям значение таинственного слова «общество», а это, по моему мнению, оттого происходит, что он вообще действует как-то не прямо, а больше посредством фигур и уподоблений. Всё-то и выходит у него какое-то величественное дерево, которое верхушкой упирается в небо, а корнями высасывает из земли соки. Дерево это прообразует общество, верхушка — вероятно, разную этакую устроительную выспренность (земский собор), сосущие корни — вероятно, прожорливость, а земля... земля-то что означает?

Признаюсь, я видал на своем веку довольно таких деревьев, но они меня очень мало соблазняли. Не знаю почему, но мне всегда казалось, что они берут из земли соки затем только, чтобы, напитавшись вдоволь, вести с небом разговор о разных душеспасительных материях. Неблагодарные, находясь столь близко от светозарного Феба, совершенно забывают о земле-кормилице и думают, что в таком важном соседстве им следует заниматься интересами высокими, так сказать, небесными, а не теми, которые копошатся где-то там, в земле...

Но допустим, наконец, что все эти мечтания совершились в очию, что у нас есть дерево-общество, которое вершиной упирается в небо, а корнями в землю,— что выйдет из этого? Боюсь сказать, но думаю, что из этого выйдет новый манер питания соками земли — и ничего больше. Твердят нам, что нынешнее русское дерево-общество виновато тем, что оно корнями своими не упирается в землю, что корни эти находятся где-то на воздухе... гм... да ведь это, право, было бы еще не так дурно! ведь это просто означало бы, что общество живет и ничего лишнего не берет! Похвально.

Но увы! всякое дерево, хотя бы оно корнями и в земле стояло, все-таки растет, и по мере того, как оно растет, горизонт, перед ним открывающийся, делается все шире, а горизонт земли остается все тот же маленький, узенький, низенький. Ремесло общества-дерева — мыслить, комбинировать, чувствовать, воображать, стремиться, ремесло земли — быть погруженной в одни материальные интересы. Для первого — науки и искусства, для второй — заботы об удовлетворении грубых потребностей жизни; первое, с помощью науки, очистило себя от предрассудков, вторая — вся лежит в предрассудках. О чем они будут беседовать друг с другом и как будут друг друга понимать? Не ясно ли, что, вооружаясь против современного русского общества, вы на место его хотите создать нечто такое, что совершенно подобно ему и что не только

не разрешает дела, но даже как будто запутывает его, ибо нагромождает над землею новую тяжесть, совершенно излишнюю?

Если вы действительно хлопочете о земле, то для вас это будет ясно. Но это вам только так кажется, что вы хлопочете о земле, да притом еще об *русской* земле. В сущности, вы проповедуете ту же самую политическую теорию, которая давным-давно процветает на Западе: ведь и там существует земля, и там произрастают на земле деревья. Чем же вы отличаетесь от тех, которых называете «западниками»? Или, в самом деле, только тем, что история, писанная Мстиславами Удалыми и Иоаннами Грозными, милее для вас, нежели история, писанная лейб-гвардии Преображенским полком? Да ведь это ваш каприз. А вы полюбите историю, писанную преображенцами, и возненавидьте историю, писанную Мстиславами,— все это в ваших руках.

Ко всем вашим мечтаниям о сближениях вы подмешиваете политического элемента — и это вас спутывает. Не одним западникам, но и вам политическая триада кажется чем-то вроде очарованного круга, за черту которого невозможно перейти; не одни западники, но и вы предаетесь сухоте от забот об устройстве какой-то неестественной комбинации, которая обеспечивала бы... что̀ обеспечивала бы? обеспечивала бы всё ту же самую сущность, против которой вы, по-видимому, сами ратуете. И потому, как вы ни стараетесь придумать что-нибудь народное, вы все-таки вращаетесь в том же круге, в котором вращаются и оппоненты ваши, перетираете те же идеи, которые давным-давно уже перетерты другими, до того перетерты, что даже приготовляются к сдаче в архив.

Мне кажется, вы были бы гораздо ближе к истине, если б отказались навсегда от политических утопий и перенесли вопрос на другую почву. В самом деле, ведь весь вопрос состоит в том, как бы устроить сближение таким образом, чтобы этому не мешали ни образование, ни необразование, ни различие способностей, ни другие случайности...

Каким бы образом так сделать, чтобы образованный г. Фет был равен перед законом с необразованным работником Семеном? чтобы, с одной стороны, г. Фет не рисковал 11 рублями, а, с другой стороны, работник Семен не предавался гнусным валяниям?

Каким бы образом так сделать, чтобы высокий поэтический талант г. Фета не нарушал равновесия в ущерб высокому земледельческому таланту работника Василия? Чтобы, с одной стороны, г. Фет мог сказать Василию-работнику: я услаждаю твой слух песнями, а, с другой стороны, Василий-работник мог

отвечать: а я услаждаю твой желудок возращенными мною произведениями земли?

Квиты они будут или не квиты?

Увы! мне, бедному ремесленнику-фельетонисту, не дано разрешать столь важных вопросов, хоть я и знаю, что Н. Ф. Павлов обвинит меня за мое умолчание, точно так же как обвинил недавно одного из сотрудников «Современника» за то, что тот в своей статье, написанной по поводу Прудона, ухитрился не назвать этого публициста по имени. «Что вы боитесь? — писал по этому случаю г. Павлов,— называйте Прудона — ведь это имя в русской литературе не тайна». Ну да, конечно, не тайна, а все-таки как-то жутко. Ведь если его назвать, так, пожалуй, могут сказать: «Нет, милостивый государь, вы не так отзываетесь о Прудоне, как русскому публицисту надлежит!» А как не назовешь-то, так если и пристанет какой-нибудь наян с такими внушениями, можно ему ответить: «Да что вы! перекреститесь! да когда же я о Прудоне говорил!» Ну, и отстанет... А вот я ужо соберусь с силами да укреплюсь намерением обругать хорошенько Прудона: уж и просклоняю же я его в ту пору!

П. М. Садовский в Петербурге. На днях приехал к нам из Москвы актер Садовский и уже несколько раз играл на сцене Александринского театра. Спектакли, в которых участвует знаменитый артист, всегда привлекают в театр целую толпу зрителей, да оно весьма и естественно, потому что Садовский, без всякого спора, есть величайший из современных русских актеров. До настоящего времени он появлялся на сцене в следующих пиесах: «Грех да беда на кого не живут», «Бедность не порок», «Свои люди сочтемся» (все три пьесы Островского), «Женитьба» Гоголя и «Испорченная жизнь» г. Чернышева.

<IV. МАЙ 1863 ГОДА>

ГОРЬКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ И РАЗЛИЧНЫХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ОБЩЕСТВЕ.— ДОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ПРИХОДИТЬ В ОТЧАЯНИЕ НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ.— ДОБРЫЕ ЛЮДИ.— ПОДВИГИ РУССКИХ ГУЛЯЩИХ ЛЮДЕЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ.— ГДЕ ИСТОЧНИК ЭТИХ ПОДВИГОВ И КТО ГЕРОИ ИХ.— СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ С ДВУМЯ РУССКИМИ ДАМАМИ В СТОЛИЦЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА

Кислое время, кислая жизнь. Сидишь себе в кабинете, следишь за журналами и газетами и спрашиваешь себя: да куда же она девалась, эта жизнь? Остановилась она или просачивается где-нибудь, просачивается, быть может, безвестно где-нибудь и близко нас, как просачиваются в болоте ключи, из которых потом образуется хорошая, веселая и многоводная река... Да; может быть, она и трепещет где-нибудь, эта новая, желанная жизнь, да мы-то ее не чувствуем,— отчего ж мы не чувствуем?

Но прежде нежели разрешить вопрос, остановилась ли жизнь, или где-нибудь она скрывается, но все-таки работает свою бесконечную работу, необходимо объяснить себе, о какой именно жизни мы говорим и существовала ли когда-нибудь для нас эта жизнь.

Жизнь проявляется в обществе в двоякой форме. Есть жизнь всеми признанная, пролагающая свое ложе открыто, совершенствующая себя на глазах всех, и есть жизнь не признанная, но ищущая этого признания неотступно, жизнь темная, погруженная в подземную работу и ценою величайших жертв и усилий подготовляющая материал для жизни при-

знанной. Положение первой очень удобное: просто хоть не умирай. Пути себе она прокладывает по усмотрению, совершенствуется не торопясь и тоже по усмотрению, одним словом, устраивает свой комфорт, как ей хочется. Для нее, собственно, даже и в путях-то новых нет надобности, потому что она свое ложе уже облюбовала и разлилась в нем со всеми удобствами; потому что неудобства, происходящие от старых, рутинных путей, которым она следует, падают всею своею тяжестью не на нее, жизнь веселую и спокойно текущую, а на другую, на ту, которая все стучится и достучаться не может, на ту, которая работает да работает себе за кулисами. И потому эта веселая, мирно текущая жизнь, всеконечно, и удовлетворилась бы, и успокоилась бы, и уснула бы, если б, с одной стороны, в ней самой не ощущалась некоторая потребность обновления и если б, с другой стороны, тайная, закулисная жизнь не подталкивала ее, не выбрасывала из себя на поверхность новых материалов, которых невозможно проглотить не разжевавши, ибо подавишься.

Первое, то есть потребность обновления, я толкую себе таким образом. Предположим, читатель, что мы с вами... ну, что бы? ну, предположим, что мы откупщики (по прежнему созерцанию, это высшее мерило благополучия). Народу мы спаиваем множество и казны можем тратить несчетное число; есть у нас и на Английской набережной палаццо, и в Москве русская изба в испанском вкусе; есть у нас и еда прекрасная, и пойло пьяное, и одежды златотканые — чем бы, казалось, не жизнь? Роскошествуй себе дома, спаивай народ, выписывай из Парижа лореток и совершенствуй свой домашний комфорт — вот все, к чему обязывается это изнеженное дитя полугара: кто ж бы не захотел себе такой жизни и кто же, получивши ее, пожелал бы из нее выйти? Но, увы! как ни сладко подобное существование, а одно оно не удовлетворяет. На это есть множество совершенно убедительных причин.

Укажу на две главнейшие.

Первая причина заключается в том, что человек, каков бы он ни был, не довольствуется однообразными ощущениями. Вот, по-видимому, он и сыт и пьян, и наплясался и напелся — слава богу, пора бы и спать! однако нет: есть нечто такое, что говорит ему о другого рода наслаждениях; из груди его вырывается стон, в воображении проносятся все эти будничные, в одну форму вылитые физиономии Сивушниковых, Лампурдосов, Иоселей и пр., и, о вей мир... как ему делается тоскливо и тошно! И вот он вздыхает, он делается сентиментален, как институтка (откупщик-то!), он садится у окна и любуется на луну. Все его занимает в эту минуту: и то, есть ли на луне жи-

тели, и то, что на луну то и дело набегают облака, одни почти прозрачные, словно дым, другие плотные. Что такое луна? Неужели и там живут мужички, неужели и там заведены откупщики? Нет, если уж существуют на луне жители, то они должны ходить в белых платьицах и с серебряными крылышками. Потому что, ведь согласитесь сами, нельзя же, чтобы нигде не было отбоя от Шлемов и Бестионаки, нельзя же, чтобы эти законопротивные физиономии преследовали и в сем и в будущем мире! Почему нельзя — он этого не объясняет себе, но в эту минуту ему положительно кажется, что есть какой-то другой мир, вовсе не похожий на тот, исполненный любострастных паров, в котором он живет постоянно. И вот душа его мало-помалу растворяется; от луны его мысль переходит к туману, нависшему над рекой: в этом тумане рисуются легкие, воздушные видения; от тумана переходит к реке, от реки к тем убогим, богом хранимым хижинам, которые виднеются вдали,— и отовсюду-то дышит на него какою-то непривычною свежестью, со всех-то сторон заливают его сердце новые ощущения!.. Одним словом, нет того заскорузлого, огнепостоянного откупщика, который по временам не делался бы самою мечтательною институткой, которого сердце не поддавалось бы самым ребяческим впечатлениям. Если рассуждать хладнокровно, то для нас с вами (не забудьте, что мы откупщики) такие порывания в область неизвестного, не имеющего ничего общего с нашею обычною действительностью, очень невыгодны, потому что каждый шаг, который мы делаем, чтобы выйти из нашей раковины, вносит в нашу деятельность неполезные и растлевающие элементы, делает нас менее устойчивыми и не столь способными к систематическому спаиванью мужичков, но в том-то и дело, что эти порыванья рождаются в нас помимо нас самих и что овладеть ими мы столь же мало властны, как и овладеть всякими другими, менее сложными потребностями нашего человеческого организма.

Но, независимо от этого фаталистического условия нашей жизни, есть и вторая причина, препятствующая нам, откупщикам, слишком исключительно замыкаться в тех крепких стенах, где заключается наше благополучие. Причина эта заключается в том, что мы очень уж разбаловались, что наши обычные (высшие) наслаждения уязвляют нас недостаточно. Душно нам в наших дворцах и русских избах на испанский манер, не веселят взоров картины, изображающие нагих женщин, не ласкают вкуса ни пряные яства, ни пьяные питья: все хочется чего-то такого, чтобы, так сказать, душу на сторону своротило, рот обметало, грудь покрыло ссадинами, поясницу отшибло. Где искать таких пряностей? где, как не в тех не-

обычных (низших) наслаждениях, которые свойственны так называемым курицыным детям? И вот мы прикидываемся мужичками, начинаем обзывать всех братцами, насильственно вгрызаемся в непривычную нам жизненную колею... Все это мы производим единственно из одного баловства, из того только, что вот скучно пить чай в палаццо, отправимтесь-ка сегодня с самоваром в рощу! между тем это обстоятельство незаметно вносит в нашу жизнь пагубное начало и приближает к ней чуждые ей стихии, которые, по всем указаниям рассудка, следовало бы держать как можно в большем отдалении.

Вот видите ли, читатель, как все происходит естественно и как мы, откупщики, сами того не подозревая, помаленьку отравляем свою жизнь. По-видимому, эта жизнь течет спокойно, весело и обеспеченно, однако ж мы всё чего-то боимся; нас ежеминутно тревожит вопрос: а что, если веселое содержание жизни исчерпается, а что, если она утонет в мелочах, изотрется в своем собственном веселом ничтожестве! И вот, чтоб этого не случилось, чтобы нам не сесть нечаянно на мель и навсегда обеспечить свое будущее от угрожающей ему пустоты, мы начинаем думать об обновлении и, как люди предусмотрительные, разумеется, начинаем думать тогда, когда от прежнего нашего великолепия остаются уже одни скорлупы.

Мы вообразили себя откупщиками, но, быть может, это предположение не довольно язвительно, и потому вообразим себя... ну, хоть турецкими султанами. Я, турецкий султан, очень хорошо понимаю, что действительный султанский мой интерес заключается не столько в том, чтобы содержать мои владения в чистоте и опрятности, сколько в том, чтобы этого можно было достигнуть со всевозможными прохладами и льготами. С этой точки зрения для меня выгоднее иметь владения малые, в которых воля моя, как весенний разлив реки, могла бы затоплять все и всех, нежели владения обширные, но в которых воля моя на каждом шагу встречала бы преткновения. Я владею прекрасными поемными местами в Азии и Африке; я мог бы жить там скромно, но сытно и счастливо, и благословлять судьбу свою; однако, на мое горе, у меня есть еще бесплодные (для меня) скалы в Европе, преимущественно населенные гяурами, которые так вот и лезут со мной на ножи. Что я сделаю? удалюсь ли в Азию, чтобы там, среди тишины и непрекословия, пещись о благе правоверных, или же останусь в Европе, чтобы скончать свой живот среди терзаний и огорчений, причиняемых мне любезными подданными гяурами. Если бы я слушался единственно внушений моих султанских инстинктов, я давно бы удрал в Азию (недаром же

там и рай, по преданию, находился!), но в том-то и штука, что у меня есть память, подсказывающая мне, что было когда-то Магометово оружие, которое всех этих собак-гяуров покорило, что у меня есть самолюбие, которое так и шепчет: поревнуй да поревнуй! что у меня есть, кроме того, диван (конечно, членов его я могу перевешать!), который начинает меня науськивать, как только видит, что я слишком распускаюсь, и начинает меня стыдить, как только я целым рядом логических умозаключений прихожу к убеждению, что всякий стыд есть фальшь, и ничего больше. И вот таким-то образом я и маюсь целую жизнь; душой витаю на берегах Тигра и Евфрата, а телом нахожусь среди бесплодных скал, откуда ежечасно угрожают мне собаки-гяуры. Знаю, что все-таки придется мне удирать в Азию, но такова уже судьба моя: я перееду туда в то время, когда и тамошние поемные луга превратятся в скалы...

Я полагаю, что этих примеров совершенно достаточно, чтобы объяснить, каким образом происходит процесс обновления даже в тех сферах жизни, которые сами по себе никакой необходимости в обновлении не чувствуют. А так как я именно об этой-то жизни и говорю (почему только об этой, объяснено будет ниже), то посмотрим теперь, существовала ли у нас такая жизнь, а если существовала, то почему нам кажется иногда, будто она остановилась.

Лет шесть тому назад началось у нас какое-то движение, которое многие умы преисполнило гордынею великою, многие сердца заставило трепетать радостью необычною. Откуда шло это движение, что оно в себе содержало, чем обусловливалось, куда направлялось — об этом мы не спрашивали себя; мы видели только, что нечто шевелилось, и благодарили создателя. Как оказалось впоследствии, это было движение мелочей и подробностей, нисколько не изменявшее сущности главного дела, но кто же знает? быть может, именно этот-то мелочной характер обновления и составлял тайную причину нашей радости; по крайней мере, так можно догадываться из того, что к этому движению симпатически относились не только те, которые, подобно г. Громеке, предварительно разделивши все движения на неподозрительные и подозрительные, отдаются первым со всею пламенностью, а последними не увлекаются, но и те, которые на всякого рода движения поглядывают вообще неблагоприятно. В нем именно то и удобно было, что оно ничего не подкапывало, а только украшало. Вопросы представлялись не в системе, а вразбивку, не в виде органических отделений, которых не принять к рассмотрению и не разрешить нельзя, а в виде отрывочных тезисов, которые можно принять или не принять к сведению — ни от того, ни от другого беды не будет.

Понятно, что на первых порах всякий самый маленький смертный спешил заявить, что и у него имеется на примете маленький вопросец, который, в числе прочих маленьких вопросцев, своим разрешением весь этот вертоград утвердить и изукрасить может, и что таким образом вопросов должно было вдруг накопиться множество. А так как все они возникали перед нами неожиданно, в виде благоснисходительной милости или в виде манны небесной, то понятно также, что и увлечение ими, с непривычки, не должно было оставить в нас ни одного живого места, не уязвленного признательностью. О широких и далеких перспективах мы не имели никакого понятия, да и не чувствовали никакой в них потребности, во-первых, потому, что не сознавали связи, которая существует между большими перспективами и малыми, а во-вторых, и просто потому, что «будет с нас и этого».

Да, это было хорошее время; это было время поголовных, сплошных радостей. Угрюмый крепостник выходил из своей угрюмости в надежде, что его ждет впереди вопрос об устройстве поземельного кредита, обещанного В. П. Безобразовым, и что этот вопрос спасет его; обиженный полицией забывал нанесенную ему обиду во имя того, что вот еще потерпеть немножко, и все пойдет как по маслу; а там примутся за суды, а там пойдут школы, пути сообщения, развитие промышленности... «В какую сторону ни обернемся, на какой предмет ни направим взоры,— говорили мы,— везде возникают и развиваются перед нами в даль неизмеримую ряды вопросов; везде надежды на богатую когда-то жатву из бросаемых теперь в землю семян»...

И вдруг мгновенно взбаламутившаяся поверхность общества столь же мгновенно сделалась ровною и гладкою, как зеркало; по-видимому, возможность ставить вопросы не прекратилась, по-видимому, они и ставятся от времени до времени, а общество ни гугу, словно оцепенело, словно обуялось преднамеренною, озорною бесчувственностью. Разве изредка благодарно свистнет г. Громека да пропоют признательный куплет «Московские ведомости», предварительно переглянувшись с «Нашим временем»... Значит ли это, что общество шесть лет тому назад жило? значит ли, что оно до такой степени неустойчиво, что не может вынести даже такого короткого периода жизни, что оно равнодушно и малопризнательно, потому что мертво?

Нет, это просто значит, что шесть лет тому назад, точно так же как и теперь, наше общество, относительно жизни, пребывало совершенно в одинаковом положении, что оно не имеет даже права сказать, что жизнь остановилась, потому что

ее в строгом смысле и не было. Споры, когда они оканчиваются только спорами, крики, когда они имеют в виду только производство криков,— все это искусство для искусства, все это не что иное, как особенный род одинокого самоуслаждения, которое не имеет другого результата, кроме бесплодного истощения сил. Я говорю целый день, я спорю и выхожу из себя, но вот день кончился, я запираюсь дома и ложусь спать. Прошел мнимый день и унес за собою мнимую деятельность... из-за чего тут хлопотать? из-за чего напрягать свои силы?

Вопрос разрешается просто: до тех пор, пока я заблуждался, пока думал, что есть какое-то дело, касающееся меня лично, я увлекался этим делом, я беседовал об нем с приятелями и старался, насколько это от меня зависело, расширить сферу этого дела, захватить посредством его как можно больше жизненных вопросов; но как скоро я убедился, что действую в пустоте, что деятельность моя не выходит за пределы разговоров с приятелями, что мы не только не доходим до какого-либо практического результата, но даже сговориться между собой не можем, что мы бесплодно сходимся и столь же бесплодно расходимся, я разочаровался и сделался хладен к «развертывающимся в неизмеримую даль рядам вопросов». И если теперешнее мое разочарование доказывает отсутствие жизни, то и недавние очарования мои отнюдь не доказывали присутствия ее. Все это было мнимое: картонные разговоры, картонные вопросы, картонные интересы, картонная жизнь.

Да, это явление горькое, почти невероятное.

Но если спросят меня, что я предпочитаю: теперешнее ли общество, погруженное в совершенное равнодушие к обещаниям жизни, ни о чем не мечтающее, ни к чему тревожно не стремящееся, или недавнее русское общество, исполненное любострастно-идиллических мечтаний о внезапном водворении правды на земле и стремившееся возродиться посредством искоренения чиновнических злоупотреблений, то я не обинуясь отдам предпочтение первому. Есть что-то умиротворяющее в этом спокойствии; глаза слипаются сами собою, в ушах раздается расслабляющий звон. Точно вот плывешь по широкой реке и вдруг выбиваешься из сил: мало-помалу начинают захлестывать волны, сознание постепенно ослабевает, и хотя руки и ноги еще работают, но эта работа есть только последнее усилие остывающей жизни; еще минута — и эти последние усилия прекратятся, наступит спокойствие... Хорошо это спокойствие и само по себе, но в особенности оно хорошо тем, что издали кажется чем-то гордым; как будто бы человек говорит: вы не думайте, чтоб я не мог бороться, а вот могу, да не хочу...

Тем не менее я должен оговориться, что это дело моего личного вкуса, если я отдаю предпочтение разочарованию перед очарованием, равнодушию перед увлечениями. Есть другие, которые, напротив того, утверждают, что шесть лет тому назад все-таки жилось веселее. Как ни мелки были вопросы, говорят они, как ни поверхностно мы за них принимались, как ни мизерны были добываемые ими результаты, а все же нечто было. Был шум, был говор, была суетня. Все равно как мельница, на которую давно помольцы не везут никакого мелева и которой хозяин думает: а ну-ко, пущу я снасть, пускай себе ходит жернов и без мелева! И вот пошел стучать жернов, пошло ходить колесо; окрестность становится как-то веселее, кругом раздается шум и стук, как будто кто-то хлопочет, как будто что-то живет... А кому охота справляться, что тут делается? Напротив того, всякий думает: куда хорошо в этаком месте пожить; и речка таково сладко журчит, и меленка мелет — все как будто не один, а на людях!

Вот как говорят защитники нашего начинавшегося молодого возрождения, и я должен сознаться, что, с точки зрения мельницы, в этом рассуждении есть своя доля справедливости. Тем не менее оно отнюдь не подрывает моей мысли об отсутствии жизни, ибо работа жернова, мелющего без мелева, есть все-таки работа праздная. Подобная работа все равно что театральная декорация: унесут, и нет ее; был лес — на место леса комната, на место комнаты ад,— все это дело балетмейстерской фантазии. Но не надобно, однако ж, упускать при этом из вида одно важное обстоятельство: декорации от частого употребления линяют и приходят в негодность; жернова от беспрестанного трения измалываются и требуют перемены. Хорошо, коли есть неистощимый запас новых жерновов, посредством которых можно без конца подделываться под жизнь, но худо, коли этого запаса нет, да притом еще, как на грех, вдруг и взаправду подоспеет настоящее, не картонное мелево...

Что такого неистощимого запаса нет, это доказывается тем, что жернова перестали стучать сами собой, без всякой принудительной причины, а вслед за жерновами

...умолкли ручейки
И улеглись стада...

Даже такая сильная литературная мельница, как «Русский вестник»,— и та перестала размалывать вопросы вроде вопроса о китайских ассигнациях, и та предпочла малое, неогорчительное безделье заманчивой, но ни к чему не ведущей резвости.

Я знаю многих из ратоборцев того веселого времени и с удовольствием должен сказать, что они сами весьма мало огорчаются словесною засухою, наступившею после недавних проливных дождей. «Mon cher! — говорят они мне,— неужели же вы когда-нибудь могли подумать, что мы ратоборствовали серьезно? Нет, мы хотели только доказать, что способны к ратоборству, и как скоро убедили в этом кого следует, то умолкли». Слыша такие слова, я прихожу к заключению, что все эти ратоборцы были просто благонамеренные люди, всегда любившие отечество, но не имевшие средств поместить надлежащим образом эту любовь на служебном поприще. Весьма естественно, что это их огорчало; но весьма естественно и то, что они старались заявить об этом огорчении,— не в форме огорчения, конечно (это было бы уж слишком наивно!),— а в форме дозволенных словесных упражнений на никогда не стареющуюся тему о любви к отечеству. Устроивши это самым ловким и незаметным образом, они получили соответствующие по службе повышения и, само собой разумеется, предпочитают теперь крепкое, практическое дело, имеющее корни в прошедшем («токмо коренью» и т. д., см. эпиграф к «Русской беседе»), всевозможным словоизвержениям резвой юности.

Не могу не одобрить такого образа действия, прежде всего потому, что и с точки зрения национальности он безукоризнен. Вообще наша история представляет мало примеров геройства и самоотвержения. Только Мстислав Удалой когда-то поревновал в пользу земли Русской, да Минин... да и тот не принадлежал к так называемому «обществу» (на языке славянофилов «société»), а был простой мещанин. Но в большинстве случаев, предпринимая какое-нибудь дело, мы прежде всего умильно посматриваем на печку, и как только влезем на нее, так тотчас и начинаем говорить: «Трудно! да, трудно! вот я и сам, mon cher, как внизу-то стоял, так думал, что оно легко, а теперь вижу, что точно...» И пойдут это у нас умные речи о том, как оно легко критиковать да охуждать и как, напротив того, трудно организировать и приводить к наилучшему концу. Ну, да и ништо нам! благо до печки-то дорвались!

Таким образом, и с национальной точки зрения делается ясным, что то, что мы принимали за признак пробуждения жизни, в сущности заключало в себе не более как похвальные усилия некоторых благонамеренных личностей, наскучивших служебным застоем и пожелавших, при помощи примерных турниров, получить соответствующие их способностям повышения. Одним словом, тут шла речь не о пробуждении, не о торжестве идеи, а о том, что не слишком ли засиделся на своем месте Максим Максимыч (доказывалось, что не

только «слишком», но даже и самое место прогноил) и не пора ли, дескать, его сверзить, а на его место засесть самим...

Все это так просто, так просто, что даже моя добрая знакомая, мадам Антонова, долгое время взиравшая на поднявшуюся у нас словесную суматоху с некоторым остолбенением,— и та наконец поняла и, понявши, воскликнула: «Ну да, ну да! вот это хорошо! вот на это я согласна!»

Но если жизнь признанная заявляет себя вяло, если в ней прогресс является результатом случайного, механического нарастания, которое может продолжаться, но может и прекратиться, если, вследствие такой своей обстановки, эта жизнь утрачивает свои права на значение руководящей силы, то должна же быть где-нибудь другая сила, другая жизнь, которая не изнашивает так скоро созревших в ее недрах запросов, но, напротив того, с неумолимою логикой проводит их до конца.

Да, эта сила есть; но как поименовать ее таким образом, чтобы читатель не ощетинился, не назвал меня волтерианцем или другим бранным именем и не заподозрил в утопизме? Успокойся, читатель! я не назову этой силы, а просто сошлюсь только на правительственную реформу, совершившуюся 19 февраля 1861 года. Надеюсь, что это не утопизм.

Вникните в смысл этой реформы, взвесьте ее подробности, припомните обстановку, среди которой она совершилась, и вы убедитесь: во-первых, что, несмотря на всю забитость и безвестность, одна только эта сила и произвела всю реформу и, во-вторых, что, несмотря на неблагоприятные условия, она успела положить на реформу неизгладимое клеймо свое, успела найти себе поборников даже в сфере ей чуждой.

Это та самая сила, которая ничего не начинает без толку и без нужды, это та сила, которая всякое начинание свое делает плодотворным, претворяет в плоть и кровь. Ревновали Владимиры Мономахи, ревновали Мстиславы, Ярославы, Иоанны Грозные и не грозные, склеивали, подмазывали, подглаживали, подстраивали — и все-таки оно разлеталось врозь, все-таки оно при первом же случае оказывалось дряблым и несостоятельным («Что такое это оно?» — спросит читатель. «А я почем знаю!» — отвечаю я). А вот поревновал однажды Кузьма Минин-Сухорук — и сделал. Неужели же это Минин сделал? И как он сюда попал? Как не затонул в общей засасывающей пучине? Нет, это не Минин сделал, а сделала сила, которая выбросила его из пучины, выбросила не спросясь никого, выбросила потому, что бывают такие минуты в истории, что самые неизмеримые хляби разверзаются сами собой.

Я знаю, читатель, что ты думаешь. Ты думаешь, что я вот-вот сейчас начну говорить о польском вопросе, который занимает теперь все умы. Ты ошибаешься, однако ж; я не стану говорить о польском вопросе, во-первых, потому, что он нисколько не относится к предмету моей настоящей хроники; во-вторых, потому, что я относительно этого вопроса питаю те же самые чувства, какие в настоящее время красноречиво выражаются всем русским населением

От хладных финских скал до пламенной Колхиды...—

и, следовательно, если ты хочешь знать мои чувства, то можешь прочесть их в каждом номере петербургских и московских газет; в-третьих, наконец, потому, что польский вопрос специально разработывается редакцией «Московских ведомостей», и я, не имея возможности стать выше этой благонамеренной корпорации, взявшей на себя скромную обязанность разговаривать от лица всего русского народа, не желаю, однако ж, по самолюбию, стать ниже ее.

Итак, я о польском вопросе не буду беседовать, потому что претензии мои гораздо скромнее. Претензии эти ограничиваются желанием внушить тебе, читатель, что если ты задумываешь что-нибудь вроде возрождения, то должен обращаться за материалами не к наемным болтунам, которые сначала окатят ливнем пустых речей и кончат все-таки тем, что вытащат из твоего кармана платок, а в то место, где таковые материалы действительно обретаться могут. И с этою целью я возобновил в твоей памяти 1612 год и современную нам крестьянскую реформу.

Часто мы думаем, что этой силы совсем нет, на том только основании, что она редко и сдержанно проявляет себя. Под влиянием этого обмана чувств мы иногда заходим очень далеко, до того далеко, что не признаем никакой истории, кроме внешней, не допускаем никакого прогресса, кроме внешнего. В этом смысле грешат даже такие привилегированные народолюбцы, какими представляют себя, например, славянофилы. Не были ли мы, например, весьма недавно свидетелями сетований «Дня» по поводу гг. Арцимовича, Куприянова и Барановского? Не приходила ли эта газета в отчаяние от того, что эти достойные администраторы были отторгнуты от родных стад, не успев довершить начатого? А ведь «День» откровенно чурается внешней истории, внешнего прогресса, а ведь «День» то и дело взывает, что общество мертво, что оно от чего-то оторвалось!

Конечно, со стороны «Дня» это не более как легкая непоследовательность, потому что, будь он строго логичен, для

него было бы совершенно все равно, какие имена носят участники внешней истории и каковы их качества, но когда сообразишь, до какой степени понятие о полнейшей зависимости нашей жизни от чего-то внешнего, случайного сделалось ходячим, до какой степени оно впилось в нас, становится страшно. Невольно спрашиваешь себя: а что, если и в самом деле правда, что справедливость существовала в судах не потому, что ей следует там жить вследствие естественного хода вещей, а потому, что ее насильственно загонял туда NN? А что, если и действительно правда, что крестьянский вопрос мог бы и не быть крестьянским вопросом, если б за сим не наблюл NN? Согласитесь, что за этими вопросами открывается какая-то мрачная, никем не сознаваемая сторона, в силу которой распорядителем судеб целого края является не твердый оплот общественного строя, а колеблющаяся, слепая случайность.

Я признаюсь, однако, что увлечься было возможно и позволительно, потому что все факты внешней жизни постоянно говорили в пользу внешней истории. Конечно, всякому, и не раз, случалось встречаться на своем веку с рассказами об администраторах деятельных и об администраторах не деятельных, об администраторах просвещенных и об администраторах, не обладающих ни замечательными способностями ума, ни значительным запасом познаний. Первые устрояют всякие порядки и разливают свет, вторые — устроенные порядки расстроивают и разлитый свет прогоняют посредством исходящей от них тьмы. Допускается даже некоторое невинное хвастовство в этом смысле: один администратор говорит, что у него дороги очень хороши, другой утверждает, что у него дороги не так чтобы очень гладки, зато почтовые лошади в порядке, третий заявляет, что у него все вообще довольно плохо, только вот заведениями приказа общественного призрения он хоть кому угодно нос утрет. И все это оказывалось справедливым, по крайней мере по наглядности, и всем этим мы увлекались и, распевая на все лады дифирамбы внешней истории, совершенно искренно забывали, что пишется где-то другая история, история своеобразная, не связанная с внешней даже механически. Эта история пишется втихомолку и неярко; она не представляет собой сплошного рапорта о благосостоянии и преуспеянии, но, напротив того, не чужда скромного сознания бессилия, скромных сетований об ошибках и неудачах; содержание ее раскрывается перед нами туго и скорее поражает горьким абсентеизмом и унылым воздержанием, нежели проявлениями деятельной силы; но тем не менее и эта вынужденная скромность, и это насильственное воздержание не могли безвозвратно загнать ее в ту пучину безвестности, куда, рано

или поздно, должна кануть история внешняя, со всем ее мишурным блеском, со всем театральным громом.

Что эта внутренняя, бытовая история существует — в том опять-таки служит порукой недавняя крестьянская реформа, на которую я уже указывал выше. Известно, что еще очень недавно самая мысль об освобождении крестьян казалась дикою и преследовалась, как угрожающая общественному спокойствию. Казалось бы, что торжество такой мысли, которую все стремилось изгнать не только из жизни, но и из самого народного представления, должно было бы произвести в народе переполох, должно было бы встретить его неприготовленным, однако оказалось совсем напротив. Реформа не только привилась сразу, но сразу же оказалась заключающею в себе зерно дальнейшего развития и усовершенствований. Теперь крепостное право представляется почти в такой же степени отдаленным, как и погром Батыев. И точно такое же явление произойдет и относительно других реформ, по поводу которых мы зáгодя тужим и соболезнуем: не привьются, дескать, они, не привьются к нашему грубому народу.

Поэтому мы, которые думаем, что родник жизни иссяк, что творческая сила ее прекратилась, мы думаем и судим поверхностно. Мы принимаем за жизнь то, что, собственно, заключает в себе лишь призрак жизни, и забываем, что есть жизнь иная, которая одна в силах искупить наше бессилие, которая одна может спасти нас. Это сила не анархическая, а устроительная и потому для всех равно симпатичная. В Смутное время русские города пересылались и списывались между собою, но у какого же историка поднимется рука, чтобы назвать это движение анархическим? Вот к этой-то силе и должны мы обращаться и помнить, что какова бы ни была деятельность, но если она ищет себе опору инде, то эта деятельность пройдет мимо, каковы бы ни были ее намерения. Заботьтесь сколько угодно о насаждении правды на земле — эта правда не оценится и не признается; допускайте, с другой стороны, всякую неправду, всякую обиду — это будет явление горькое, но оно вынесется; оно вынесется, как выносится моровое поветрие. Тут не может быть речи даже о том, что хорошо и что худо: к хорошему бытовая история отнесется точно так же равнодушно, как и к худому.

Итак, не станем приходить в отчаянье, а будем верить. Жизнь не останавливается и не иссякает. Если горьким насильством не суждено ей проявиться непосредственно, она просочится сквозь те честные сердца, которые воспримут семя ее и сторицею возвратят ей посеянное.

Что добрые люди украшают общество и сдабривают жизнь человеческую — это истина, которую еще задолго до г. Львова, автора известной комедии «Свет не без добрых людей», изрекла мудрость народная. Истинно добрый человек добр безразлично; он сыплет благодеяниями направо и налево; он стремится подать помощь даже там, где этой помощи совсем не требуется; он отыскивает страдания даже там, где таковых совсем не обретается. Из этих слов читатель, пожалуй, заключит, что описываемый нами «добрый человек» не столько добрый человек, сколько надоедало,— оно так и есть; но такова уже природа доброго человека, что если вы ему даже в глаза скажете, чтоб он не приставал и не благодетельствовал, он этим не обидится и приставать не перестанет. Он все будет стремиться, все будет подавать руку помощи и отыскивать страдания. И в конце концов добьется-таки своего, то есть того, что вы привыкнете к его приставаниям, что вы станете смотреть на него, как на домашнего человека, и наконец, махнув на все рукой, скажете: да, черт возьми! NN действительно добрый человек!

И поверьте, что заключение ваше отнюдь не будет опрометчиво, потому что и в самом деле без добрых людей невозможно жить на свете. Это только с первого взгляда кажется, будто они надоедают, но если вы вникнете в дело ближе, если вы взвесите те тысячи мелких, незаметных услуг, которые на каждом шагу оказываются добрыми людьми, то поймете, что только по милости их жизнь ваша устраивается спокойно и не выбивается из колеи неожиданными сюрпризами. Кто уничтожает клопов, тараканов и других насекомых, отравляющих человеческое существование? — добрые люди. Кто изобретает мази для ращения волос? кто исцеляет зубные боли? — добрые люди! Везде и всегда они являются домашними гениями человека, чем-то вроде старого халата, с которым до того свыкаешься, что только в нем и чувствуешь себя удобно и ловко.

В особенности завидную роль играют добрые люди в русском мире. Мы с гордостью можем сказать, что у нашей жизни почти нет других руководящих правил, кроме правил добросердечия. Проигрываете вы, например, какое-нибудь дело — наверное, вы можете сыскать доброго человека, который вам то дело поправит и направит; проигрывает это же самое дело ваш противник — и он, наверное, найдет доброго человека, который то дело поправит. Так оно и идет колесом.

Но само собой разумеется, что всего ощутительнее сказывается существование «добрых людей» для того, кому как-нибудь случится проштрафиться. Уж чего-чего не передумает

этот человек: и законы-то все припомнит, и вину-то свою по ниточке переберет... беда! Ан нет, совсем не беда; явится добрый человек и скажет: а простить сему человеку его продерзости! — что ж, и простят!

Поэтому добрыми людьми не только не следует пренебрегать, но, напротив того, надлежит всемерно стараться о их размножении. В сфере ли административной или в сфере литературной, спереди ли, сзади ли, с боков ли — добрые люди нигде не вредны. Если добросердечие их порой надоедливо, если эта надоедливость вызывает в вас нетерпение,— вы можете не стесняться и высказывать ваши чувства без утайки: добрые люди будут только улыбаться да приговаривать: «Эх ты, горячая, горячая голова! куда бы ты без нас поспел!», но добрыми быть не перестанут. Тем-то и хороши и удобны эти люди, что уж очень они незлопамятны.

Признаемся откровенно, до сих пор мы причисляли г. Громеку именно к этому сонму добрых людей, которыми красна человеческая жизнь, и не мало утешались этим. Мы думали: если нас постигнет какое-нибудь несчастие, то мы пожалуемся г. Громеке;[1] а он с своей стороны постарается. До сих пор оно так и было; в прошлом году с нами случился совершенно неожиданный сюрприз, и хотя мы даже не жаловались г. Громеке, но он старался. Мы были так чувствительны к этим стараниям, что даже опасались за здоровье нашего доброжелателя и вследствие того просили его стараться не столь усердно. Скажем более: до сих пор мы наклонны были видеть в г. Громеке тайного сторонника «Современника». Мы думали: этот человек хоть и журит нас по временам, но он нас любит. Если он ворчит и брюзжит на нас часто без дела, то это объясняется отчасти его зрелыми летами, отчасти страстным желанием быть нам полезным. Но он все-таки не станет добиваться нашей гибели, уже по той простой причине, что если мы погибнем, то ему некого будет ни увещевать, ни усовещивать.

Тем прискорбнее нам было увидеть из «Современной хроники России», помещенной в 3 № «Отечественных записок» за сей год, что г. Громека совсем не такой добрый, каким мы себе представляли его. Мы думали, что к нему можно было обращаться со всею откровенностию, что ему можно поверять и радость и горе, что он выслушает, сначала, конечно, побранит, а под конец все-таки утешит... Оказывается, что он совсем напротив: выслушать-то выслушает, да тут же и запри-

---

[1] Мы считаем возможным назвать г. Громеку, потому что он неоднократно был печатно объявляем как редактор «Современной хроники России», о которой теперь и идет речь. (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

метит, и не только не утешит человека в горести, но наипаче потщится таковую отравить.

Полные мысли о добром к нам расположении г. Громеки, мы радостно принялись за чтение мартовской «Современной хроники России». Да и как было не радоваться! Один перечень содержания, так сказать, захватывает дыхание. Чего-чего тут нет: и усобица в литературе, и обвинение общества в том, что оно само ставит препятствия к развитию нашей политической печати (?), и нечто об отрицательном направлении, и нечто о ложном либерализме... Но, само собою разумеется, что для нас была всего приятнее следующая фраза перечня: «Как относятся к правительству истинно независимые люди и журналы, такие, например, как г. Унковский и редакция „Современника"». Шутка сказать — «независимый журнал»! — Какая может быть похвала выше этой! И в чем же независимый — в отношениях к правительству! Да ведь тут голова закружится от восторга! Ведь это почти что одобренный цензурою грубиян! Согласитесь, что такая похвала сразит хоть кого.

Тем не менее мы должны сознаться, что все эти розы скрывали за собой змия, не столько ужасного по впечатлению, им на нас произведенному, сколько по ядовитым своим намерениям, и что если в конце концов г. Громека не накормил нас горчицею, то это произошло совсем не оттого, что он этого не хотел, но оттого, что вообще кормить своего ближнего чем бы то ни было, если сей последний того не желает, дело довольно мудреное.

Мы сказали выше, что г. Громека обвиняет общество и литературу в недостатке энергического стремления к свободе мысли. На чем он основывает свои обвинения — формулировать довольно трудно; по-видимому, однако, все дело сводится на недостаток в обществе элементов сочувствия и восторженности. Но мы не ставим г. Громеке в вину, что это запутанное дело им не разъясняется, потому что очень хорошо понимаем, что подобные разъяснения не всегда возможны; однако нам казалось бы, что при такой невозможности определительно высказать действительные причины общественной апатии всего прямее было бы молчать об них, а не подыскивать причины второстепенные, и притом едва ли не фальшивые. Общество молчит, литература погрязает в личных дрязгах и мелочах — все это, быть может, и правда, но где же причина такого явления? Потому ли молчит общество, что оно молчит, потому ли погрязает в мелочах литература, что она погрязает в них? Мы думаем, что это не совсем так, хотя г. Громека и стремится уверить нас, что это именно так, как он объясняет.

Г-н Громека начинает издалека — с польских дел. Он огорчается тем, что русские журналы, за исключением «Русского вестника» и «Московских ведомостей», относятся к этому вопросу молчаливо; он говорит, что если бы журналы наши имели возможность высказываться, то, по всей вероятности, мнения их не представили бы существенной разницы с мнениями «Русского вестника». Размышления, которые делает по сему предмету г. Громека, могут служить образцом невредных размышлений о различных случайно встречающихся по пути предметах, размышлений, которых первообраз дал нам бессмертный Гоголь в лице Кифы Мокиевича. В самом деле, странное дело: литература молчит, общество не выработало себе никакой самостоятельности, а какой-нибудь в скорбях зародившийся «Русский вестник» разглагольствует, а какие-нибудь сиккофантством повитые «Московские ведомости» надрываются, и хоть от этой натуги распространяется по России не совсем хороший аромат, однако аромат как будто самостоятельный, или, по крайней мере, прикидывающийся таковым! Что за чудо! Да разве «Русский вестник» и «Московские ведомости» не принадлежат к русской литературе? Нет, принадлежат, ибо печатаются на русском языке и издаются с одобрения цензуры. А если принадлежат, то, стало быть, не вся же литература безмолвствует, не вся же она лишена самостоятельности, но есть два органа (неизвестно почему г. Громека не прибавил к ним еще двух-трех, которые действуют, по малой мере, столь же самостоятельно), которые завоевали себе право разглагольствования и собственными средствами приобрели для себя несокрушимую позицию. Почему же, спрашивается, прочие литературные органы не следуют их примеру? Вот этого-то г. Громека и не объясняет. Мы, с своей стороны, думаем, что это происходит просто оттого, что не всё же вдруг; потерпите, г. Громека! ведь подобная самостоятельность не всеми приобретается одинаково легко!.. Но, быть может, наш публицист хотел сказать, что самостоятельность «Русского вестника» и «Московских ведомостей» не есть настоящая самостоятельность,— но тогда какая же надобность подражать ей? А быть может, он хотел сказать, что эта-то самостоятельность и есть истинная, то почему же он сам не подражает ей или подражает только отчасти? Мы очень хорошо понимаем то чувство, которое заставляет вас говорить, что безмолвие русской литературы есть вещь очень прискорбная, но покажите же пример, г. Громека, покажите пример! Мы посмотрим, надлежит ли следовать вашему примеру, а покамест еще ничего заслуживающего подражания в ваших полусловах и полунамеках для себя не видим.

Переходя от одного случайного предмета к другому, или, лучше сказать, перелетая с одного цветка на другой, г. Громека с удовольствием отдыхает на том недавнем времени (по летосчислению публициста, года четыре тому назад), когда «каждый спешил, не разбирая звания (в смысле литературных партий), подсобить дружескому натиску общественного мнения». Мы, с своей стороны, тоже отдыхаем на этом времени, и если не удивляемся и не скорбим по поводу его недолговечности, то потому только, что в глазах наших эта недолговечность есть факт совершившийся и, следовательно, имеющий свои законные причины. Если было время, когда каждый спешил,— стало быть, была надобность спешить; если это время скоро прошло,— стало быть, или надобность была только кажущаяся, или же спешить больше некуда. О чем тут скорбеть? о чем беседовать?

Г-н Громека находит более удобным объяснить эту скоротечность посредством «бомбы отрицания». По свидетельству его, четыре года назад кто-то кого-то атаковал, и вдруг, в самый разгар горячего дела, «посреди атакующих и атакованных, со свистом и шумом, упала бомба отрицания». В противоположность всякого рода другим бомбам, бьющим и разрушающим без размышлений, эта бомба начинена известною «философией». Как и всё на свете, эта «философия» имеет свою хорошую и свою дурную сторону; хорошая сторона заключается в том, что она «многих заставила подвергнуть операционному ножу критики все свое внутреннее содержание», вследствие чего «иные не выдержали операции и сданы в архив, другие вышли с надломленными и раздраженными силами, остальные окрепли, закалились и снова готовы в честный бой»; дурная сторона заключается в том, что бомба отрицания внесла междоусобие в ряды осаждающих и что, воспользовавшись этим, «осажденные возводили укрепление за укреплением». Все это написано очень хорошим слогом, и со всем этим можно было бы даже согласиться, если б начертанная г. Громекою картина не была выдумана им из головы и не представляла собой опыта невинного порхания по цветам красноречия. Во-первых, г. Громека упускает из вида, что так называемые «осажденные» совсем не были до такой степени беззащитны, как он их изображает, что им даже не было надобности «возводить укрепление за укреплением», потому что сии укрепления были у них всегда налицо. Во-вторых, красноречивый публицист совершенно произвольно представляет это дело в виде осады: никакой осады тут не было. Представление об осаде предполагает две враждующие стороны: одну — слабую, которая в край-

ности решается запереться в крепости и терпеть все ужасы лишений (вот видите ли, и мы умеем быть в свое время красноречивыми!), и другую — сильную, которая уже довела своего врага до последнего убежища, оцепила его со всех сторон и затем со дня на день ожидает окончательного его уничтожения. Но никто из взирающих без увлечений на дело, о котором идет речь, конечно, не станет отрицать, что оно происходило совершенно наоборот и что вообще объяснять подобные явления посредством военных эволюций — задача мудреная, невозможная, именно потому невозможная, что если при помощи таких уподоблений многое объясняется, то, взамен того, многое и затемняется. Что, если, например, мы, следуя по стопам г. Громеки, скажем, что в этом деле совсем не было ни осажденных, ни осаждающих, а были только дозволяющие и дерзающие? Ведь как хотите, а наше уподобление тоже может кое-что объяснить, тем более объяснить, что в примере г. Громеки многое представляется почти непостижимым. С какой стати сила изображается слабостью? По какому поводу сила позволяет осаждать себя? Для того, что ли, чтоб иметь удовольствие сказать самой себе: посмотрю, дескать, я, как эти лилипуты будут надрываться и выходить из себя? Нет, воля ваша, а тут есть что-то неверное, и неверность эта именно оттого и происходит, что г. Громека, вместо того чтобы сказать прямо: «после Крымской кампании, когда» и т. д., предпочел прибегнуть к цветам красноречия. Если б он не обратился к этому милому способу писания истории, то непременно пришел бы к заключению, что всякое жизненное явление имеет свою внутреннюю неумолимую логику, которая не может заставить его высказаться иначе, чем так, как оно высказывается по естественному своему ходу. В-третьих, наконец, что ж это, в самом деле, за бомба такая, которая все своих да своих бьет, которая, сама по себе «предохраняя от застоя, напрягая силы, освобождая от негодных к дальнейшему употреблению материалов», все-таки способствует лишь тому, что враждебная сила возводит укрепление за укреплением? Воля ваша, а тут или бессмыслица, или совершенное непонимание дела, о котором вы взялись говорить.

В сущности, дело происходило гораздо проще. Направление, которое, на живописном вашем языке, вы называете «бомбой отрицания», приходило вовсе не во имя одного отрицания, но имело в виду достижение результатов весьма положительных. Понятие, что это направление есть сила оплевательная, осмеятельная и разрушительная, ведь такое понятие могут, не краснея, распускать только московские публицисты, во-первых, потому, что оно предоставляет этим простодушным

людям случай высказывать самостоятельную преданность, а во-вторых, потому, что они, играя на эту тему, имеют превосходный повод выражать во всеуслышание преданную самостоятельность. Но ведь вы не московский публицист, г. Громека (да, мы охотно признаем за вами это бомбо-отрицательное качество), и вам не может быть безызвестно, что все эти обвинения в отрицании для отрицания не более как слова, слова и слова. Вы это знаете точно так же, как и то, что все эти игры в осажденных и осаждающих, которым вы придаете такой вес, не более как игры примерные, кончающиеся просто ударом звонка, возвещающего, что рекреация кончилась и что пора идти в класс. Ежели бы это было иначе, неужели же тут могли бы иметь такую решительную силу какие-то «бомбы отрицания»? Если б та жизнь, о которой вы вспоминаете со вздохами, не скользила по поверхности дела, а порывалась в самую глубь его, если б она убивалась не над фестончиками и мелочами, а над самою сущностью, какой смысл имело бы отрицание, да и кто бы соблазнился им? Вспомните бывшие в сороковых годах толки о художественности, под покровом которых тогдашнее поколение стремилось провести неясную мысль о чем-то другом,— чем кончились эти толки, что произвели они? Они произвели гг. Каткова, Леонтьева и Павлова, они кончились тем, что явились люди, которые нашли для себя полезным оставить покров и эскамотировать его содержание. Отчего такой обидный результат? А оттого и обидный, что во всех этих толках не было настоящего дела, что это последнее прицеплялось к толкам случайно и даже затемнялось ими. Но в этих толках, как они ни были запутанны, все-таки было больше содержания и дельности, нежели в той незабвенной болтовне о чиновничьих злоупотреблениях и разных сближениях, о которых вы вздыхаете. По какому же поводу вы называете бесплодным то направление, которое, насколько могло, уяснило истинный смысл этой болтовни, которое, среди общей ребяческой траты сил, смело выразило мысль, что человеческие силы должны быть употребляемы более производительным образом? Нет, вы или не поняли того, что называете «бомбой отрицания», или умышленно искажаете смысл этого явления.

Мы, собственно, желали бы, чтоб г. Громека «не понял»; но, к сожалению, некоторые признаки заставляют думать, что он именно умышленно исказил смысл явления, почему-то ему несимпатичного. Однажды став на эту точку, он пошел очень далеко в деле искажений и, быть может, незаметно для себя самого, дошел до намеков весьма неполезных.

Самый ловкий способ набросить тень сомнения на своего

литературного или политического противника заключается в том, чтобы отыскать в его убеждениях или образе действия противоречия. Какой характер и где источник этих противоречий, об этом благоразумно умалчивается, потому что если бы не умолчать об этом, то пришлось бы изменить самый характер полемики, сделать ее не столько «ловкою», сколько «правдивою». Но, при известных полемических целях, правдивость, очевидно, не идет к делу; тут нужна ловкость, и только ловкость, потому что она одна удовлетворяет цели.

Г-н Громека, столько раз за нас заступавшийся помимо нашего желания, счел долгом вновь заступиться в последней мартовской книжке «Отечественных записок». Хотя это заступничество начинает несколько прискучивать, однако уж если у г. Громеки такое доброе сердце, если он без слез ни о чем говорить не может, то отчего же ему и не удовлетворить этой невинной затее? На этот раз заступничество написано на мотив, что хотя «Современник» и независимый журнал, но и он отдает справедливость правительству. На этом покамест мы и остановимся.

Прежде всего представляется вопрос, до какой степени позволительно ставить дело на такую почву, как сочувствие или несочувствие к правительству. Какие данные могут дать право рассуждать об этом? И возможно ли предположить, чтобы «Современник» или всякий другой журнал не питал сочувствия к правительству не только в тех случаях, когда это последнее следует разумным путем прогресса, но даже в таком случае, если б оно и не предпринимало никаких реформ и упрямо стояло на той бомбо-отрицательной позиции, о которой с таким одушевлением проповедует красноречивый, но неосновательный публицист? Г-н Громека поймет всю важность этих вопросов и, конечно, не сочтет излишним разрешить их, потому что, в противном случае, его похвалы «Современнику» могут быть приняты за инсинуацию.

А что, впредь до разъяснения, эти похвалы положительно имеют характер инсинуации,— это доказывается всеми рассуждениями, которые непосредственно следуют за похвалами. Изволите видеть, дело идет о том, что, несмотря на общее сочувствие всех журналов правительству (в том числе и «Современника»), выискиваются, однако же, изверги, которые льстят молодому поколению, внушают ему понятие о недостаточности *слова* и необходимости *дела,* что молодежь от этого дуреет, забирается в непроходимые дебри и, не имея ни проводника, ни компаса, гибнет. Кто ж эти изверги?

Ответ на этот вопрос явствует из заключительных слов этой диковинной диатрибы. Вот они:

Итак, молодежь жертвует собой, честно выполняет долг самопожертвования, как до сих пор его понимала. Ну, а мы, журнальные либералы и прогрессисты всех оттенков, честно ли мы поступаем, что не хотим пожертвовать своим мелочным самолюбием для спасения молодых сил, бесплодно гибнущих пред нашими глазами? Честно ли будет вводить молодежь в дальнейшее заблуждение насчет нашего взгляда на *дело* и продолжать по-прежнему играть в полуслова и загадки да забавляться тем, кто кого перегонит в горелки либерализма? Честно ли нам, журналистам, *единогласно* убежденным, что для удовлетворения нашей жажды к делу «достаточно было бы и половины начатых правительством реформ»,— честно ли нам допускать молодежь одиноко умирать от этой жажды и не сказать, где можно утолить ее? Молодежь не боится идти в рудники, а мы боимся сказать ей правду; молодежь жертвует свободою и жизнию, а мы не хотим пожертвовать для нее репутацией передовых публицистов... О, как легко говорить и писать о самопожертвовании и как трудно выполнять самому написанное! Сколько мы толковали о том, что «слово» не есть еще «дело»; но вот теперь события настойчиво требуют от нас дела — самого простого дела, а мы стоим в нерешимости и с досады перебраниваемся друг с другом... Вокруг нас раздаются вопли осиротелых матерей и сестер, а мы потчуем их подогретыми рассуждениями о том, что такое женщина и чего она вправе от нас требовать. Пред нашими глазами юноши, полные жизни, сотнями плетутся по Владимирке, чтобы бесследно завянуть в снегах Сибири,— а мы, спокойно покушав у Палкина, утешаем свою совесть тем, что эти жертвы — неизбежное явление во время поднимающейся волны событий. Для всех нас очевидно, что всякое дальнейшее недоразумение только пуще обессилит нас, что пора положить ему конец, а мы продолжаем тянуть старую песню о нигилистах и постепеновцах, о том, кто из них честнее и передовее. О, великие светила нашей публицистики! О, прославленные либералы и прогрессисты, постепеновцы и нигилисты, если вы, в самом деле, так честны и пылаете самопожертвованием, то покажите же нам вашу честность и ваше самопожертвование! Если вы действительно любите свободу больше себя и своей мишурной славы, то перестаньте, с одной стороны, раздражать юношество ругательством, а с другой, сбивать его с толку похвалами; если для вас ничего не значат слезы и отчаяние отцов и матерей, которые, в качестве представителей отживающего поколения, конечно, не заслуживают вашего участия, то, по крайней мере, подумайте о том, какое слово благодарности скажет вам грядущее поколение, когда оно узнает, как бесплодно гибли в ваших глазах лучшие силы общества, как постепенно ослабевала от того общая энергия и как много страдало от этого дело свободы, вверенное историческими судьбами вашему попечению. Если вы хотите участвовать в ходе политических событий, хотите действовать, то выходите на практическую дорогу и помните, что политика имеет дело только с действительностью и почерпает силу только в *наличных* средствах и обстоятельствах. Если же хотите оставаться исключительно органами журнальных кружков, то догнивайте себе спокойно в вашем омуте личных дрязг и не претендуйте на звание передовых людей...

Читая эти строки, не веришь глазам, не знаешь, чему более удивляться: любвеобильности ли г-на Громеки или той ловкости, с которою он владеет своим оружием. Думаем, однако ж, что здесь более ловкости, нежели любвеобильности. Это бывает. Люди слезливые вообще раздражительны; они любят благодетельствовать, но любят также, чтоб их благодеяния

принимались безотговорочно и с благодарностью. Если это последнее условие не выполняется, они столь же внезапно обуреваются ненавистью, сколь внезапно, за несколько минут перед тем, обуревались любвеобильностью. Для нас эти переходы понятны, потому что мы знаем, что здесь идет дело совсем не об том, чтоб оказать услугу ближнему, а о том, чтоб испоместить свою собственную чувствительность, чтобы налюбоваться всласть самим собою и потихоньку самому себе сказать: «Эх! да какой же я, в самом деле, распрекрасный человек!» Но если уже человек однажды составил о себе такое варварское понятие, то можно ли допустить, чтоб он не возненавидел всеми силами любящей души людей, которые препятствуют ему наслаждаться самим собою, которые уклоняются от его благодеяний, во-первых, потому, что не видят в них никакой для себя привлекательности, и, во-вторых, потому, что очень хорошо понимают их источник? Нет, нельзя, потому что в этом случае уязвляется все, что питало и украшало человеческую жизнь, потому что тут уничтожается то, что составляло содержание этой жизни, которая таким образом и приводится к нулю. Подобно этим слезливым людям, г. Громека должен ощущать глубокое недоброхотство к «Современнику», которое он тщетно скрывает под видом доброжелательства. В самом деле, сколько он раз протягивал руку — а эта рука так-таки и оставалась повисшею в воздухе! Сколько раз он начинал соболезновать и ходатайствовать — и все эти соболезнования и ходатайства так-таки и не дошли по адресу, то есть по тому адресу, по которому мысленно г. Громека писал свои чувствительные послания! Это обидно. Что вся эта диатриба направлена именно против «Современника», это доказывается, во-первых, ссылкою на слова, сказанные в нашем журнале, во-вторых, тем, что во всех этих разглагольствованиях повторяются те же тусклые понятия, которые многие благожелатели постоянно высказывали о направлении «Современника». Самое худшее в этом то, что г. Громека не называет нас прямо, а действует, так сказать, под рукою. Быть может, он соблазняется примерами прошлогодней тактики и блестящими результатами, ею добытыми? Быть может, он хочет только пустить в ход мысль, дальнейшее развитие которой предоставляет другим?

Мы охотно избавляем г. Громеку от тяжкой роли секретно наблюдающего за нашим журналом публициста и предоставляем ему наблюдать открыто. Мы принимаем его вызов и с удовольствием готовы отвечать на его обвинения, но для этого было бы желательно, чтоб он формулировал их определительнее. Мы не сомневаемся, что наше положение, как ответчиков, не изъято будет некоторой затруднительности, но

утешаемся тою мыслью, что положение, в которое поставил себя добровольно сам г. Громека, будет еще затруднительнее. Это просто, не приведи бог, какое положение!

Итак, мы просим г. Громеку объяснить не стесняясь:

1) Кого он разумеет под теми «журнальными либералами и прогрессистами», которые «потчуют подогретыми рассуждениями о том, что такое женщина и чего она вправе от нас требовать, в то время как вокруг нас раздаются вопли осиротелых матерей и сестер»? Да и в чем именно, то есть в каких статьях он заметил столь пагубное направление?

2) Кто сбивает юношество с толку похвалами «и посылает его сотнями по Владимирке, чтобы бесследно завянуть в снегах Сибири»? В каких именно статьях «журнальных либералов и прогрессистов» заметил он такой яд?

Если г. Громека укажет на факты, это будет, конечно, великая заслуга в глазах всех благомыслящих людей, но если он не укажет? должно ли будет принять его молчание в смысле действительной невозможности сделать просимые указания или же опять в смысле снисходительности и доброжелательства к нам?

А вы вольным духом! не робейте!

Сомневаюсь, чтоб сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как «Русские за границей». Тут все дает пищу, и с какими бы намерениями вы ни приступили к этому предмету, все будет хорошо. Не говоря уже о том энергическом, беспощадном остроумии, которым обладали великие юмористы, подобные Фонвизину и Гоголю,— остроумии, относящемся к предмету во имя целого строя понятий и представлений, противоположных описываемым, даже такой незлобивый, невинный сатирик, каким был, например, Загоскин,— и тот находил возможность относиться к этому богатому сюжету если не глубоко, то, по крайней мере, искренно и весело. Говорят, будто Гоголь имел намерение изобразить впечатления русского воина старых времен, путешествующего за границей; действительно, трудно себе представить что-нибудь соблазнительнее, грандиознее подобной темы! Тут было целое, стройное миросозерцание, не имевшее, с внутренней стороны, строго человеческого характера, но наружными своими признаками не дозволявшее, однако же, сомневаться, что обладатель его принадлежит к человеческой семье; одним словом, тут было нечто такое, что носило на себе человеческий образ, но мысль имело не человеческую; тут в очию повторялся миф сирены, только наобо-

рот, то есть брался человеческий хвост и приставлялась к нему рыбья голова. Задача величественная и для сатирического пера весьма лестная.

Я не бывал за границей, но легко могу вообразить себе положение россиянина, выползшего из своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотреть. Все-то ему ново, всего-то он боится, потому что из всех форм европейской жизни он всецело воспринял только одну — искусство, не обдирая рта, есть артишоки и глотать устрицы, не проглатывая в то же время раковин. Всякий иностранец кажется ему высшим организмом, который может и мыслить, и выражать свою мысль; перед каждым он ежится и трусит, потому что, кто ж его знает? а вдруг недоглядишь за собой и сделаешь невесть какое невежество! В России он ехал на перекладных и колотил по зубам ямщиков; за границей он пересел в вагон и не знает, как и перед кем бы излить свою благодарную душу. Он заигрывает с кондуктором и стремится поцеловать его в плечико (потому что ведь известно, у нас нет средины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!); он заговаривает со своим vis à vis[1] и все-то удивляется, все-то ахает! «Я россиянин, следовательно, я дурак, следовательно, от меня пахнет»,— говорит вся его съежившаяся фигура.

— Vous êtes russe, monsieur?[2] — спрашивают его.

— Oui-c; да-с,— бормочет сконфуженный россиянин.— Ne désirez vous pas du champagne?[3]

И рад-радехонек, если предложение его принято, ибо тут представляется ему случай предпринять целый ряд растленных рассказов о том, что Россия — страна антропофагов, что в России нельзя жить, что в России не имеется образованного общества и проч. и проч. И откуда что полезет! откуда явятся и юмор, и игривость, и развязные манеры! Да назовите самого заклятого врага, посулите ему какую угодно награду за то, чтоб изобразить гнусность,— никто, ей-богу, никто не устроит этого так живо и осязательно, как путешествующий ради бездельничества россиянин. Эти господа из ёрничества умеют создавать художественную картину; они прилгут, прихвастнут даже, лишь бы краски ложились погуще, лишь бы никто и сомневаться не смел, что они действительно гнусны и растленны. Послушать их, так все они сплошь курицыны дети, что на этом зиждутся их политические принципы и что это же служит краеугольным камнем их союза семейственного и гражданского.

---

[1] соседом.

[2] Вы русский, сударь?

[3] Не желаете ли шампанского?

— Я курицын сын — куда же мне с этакой рожей в люди лезть! — резонно размышляет вояжер-россиянин и, в силу этого рассуждения, извиняется, лезет целоваться и потчует шампанским.

Многие объясняют это явление отчасти легкостью и общительностью славянской природы, отчасти живою потребностью самооплевания, которая будто бы составляет основную черту россиян; но я, с своей стороны, думаю, что, помимо двух этих признаков, имеется еще и другая, более глубокая причина, заставляющая наших путешествующих соотечественников пребывать, так сказать, в непрерывном стыде. Я согласен, что общительность есть в своем роде похвальное качество, но не в силах себе представить, чтоб она могла возвышаться до перенесения побоев и пощечин, потому что тут даже и общительности-то никакой нет. Я согласен также, что и потребность самооплевания есть очень живая и притом законная потребность, но не в состоянии вообразить себе, чтоб она могла доходить до наслаждения своим безобразием и до привлечения к такому же наслаждению лиц совершенно посторонних. Не вернее ли видеть в этом явлении некоторый протестующий писк, некоторую самолюбивую, но застенчивую мысль, что «я-то, дескать, парень лихой, а вот соотечественники-то мои — куда плохой народ!». Но об этом я поговорю впоследствии, а теперь расскажу те факты, которые навели меня на изложенные выше размышления.

Меня навело на них письмо г. Касьянова, напечатанное в 16 № «Дня» и рассказывающее несколько весьма характеристических черт о способах времяпрепровождения русских *гулящих людей* за границей. Представьте себе, оказывается, что эти ребята ездят за границу совсем не затем, чтобы людей посмотреть и ума-разума набраться, а затем единственно, чтоб стыдиться самих себя и своего отечества! Даже немец, даже какой-нибудь гессен-филиппсталь-баркфельдец, говорит г. Касьянов, и тот скажет вам с гордостью, ткнув себя пальцем в грудь: hier pocht ein hessen-philippstahl-barkfeldsches Herz [1], а русский *гулящий человек* не только не говорит этого, не только не тыкает себя в грудь, но даже не чувствует в этом ни малейшей потребности, ибо, по-видимому, уверен, что там, в этой груди, у него заключается не сердце, а что-то вроде голубиной погадки. Скромность мрачная и даже не имеющая в себе ничего отрезвительного; но если подобная скромная уверенность уже есть, если она однажды уже засела, то я не вижу ничего удивительного в том, что

[1] здесь бьется гессен-филиппсталь-баркфельдское сердце.

гулящий человек не тыкает себя пальцем в грудь: во-первых, незачем, во-вторых, замараешь палец...

И представьте себе, за такую-то скромность *гулящие люди* не только что наград не получают, а, напротив того, довольствуются оплеухами и подзатыльниками! И где же? в столице всемирного просвещения, в том самом Париже, который русские *гулящие люди* до сих пор совершенно наивно принимали за второе и даже чуть ли не за первое свое отечество, ибо Россия... что такое Россия? Россия — это не что иное, как несносная и прискорбная оболочка, горьким насильством судеб накинутая на просвещенного *гулящего человека,* тогда как Париж... Париж!.. да ведь это alma mater [1], избранная свободною игрою всех инстинктов *гулящего человека,* это alma mater, с которою утроба *гулящего человека* соединена прочною, почти чугунною пуповиною!

Русских обвиняют в космополитизме, по крайней мере, московские публицисты уже несколько месяцев сряду убиваются, доказывая, как это вредно и как это стыдно, но убиваются, как кажется, с успехом довольно сомнительным. Я не беру на себя права судить, в какой степени справедливо это мнение относительно большинства русских, я думаю даже, что оно совершенно голословно и безосновательно, однако относительно *гулящих* русских людей в нем есть известная доля правды. То есть не то чтобы люди эти были космополитами в серьезном значении этого слова; гораздо будет правильнее, если мы скажем, что глаза у них прозорливые и завистливые: где бы ни увидали хорошую еду или по части юбок угодья привольные, так туда сейчас и прильнут. Прильнут туда таким образом, что никак их оттоль и не отскоблишь: ни физическими репримандами, ни нравственными подзатыльниками. Это космополитизм желудочно-половой, имеющий в предмете кровавый ростбиф, Шеве, Вефура и всех стран лореток и совершенно чуждый какого-либо политического оттенка. То есть, коли хотите, он и есть, этот политический оттенок, но исключительно направленный в одну сторону: в сторону целования плечиков. Был во Франции Карл X — русский гулящий человек называл его королем-рыцарем и боготворил; был король Людовик-Филипп — гулящий человек называл его образцом семейных добродетелей и боготворил; наконец, теперь есть император Наполеон III — гулящий человек называет его великим племянником и боготворит. Тут идет речь совсем не о политике, а о том, чтобы около кого-нибудь потереться. Говорят, многие из *гулящих людей,* ценою неимоверных уси-

[1] мать-кормилица.

лий, проникали даже до Гарибальди, и я этому совсем не удивляюсь. Подобно австрийскому поэту Якову Хаму, открытому русским подданным Конрадом Лилиеншвагером, эти люди находили возможность в одно и то же время «воспеть Гарибальди, воспеть и Франческо». Тут вся штука в том, чтобы потереться — это уж такое особенное удовольствие.

И после таких-то сверхъестественных доказательств сочувствия к великим принципам свободы и цивилизации вдруг потерпеть поражение самое постыдное, и потерпеть его даже не в Париже, а в самом Баль-Мабиль, этом третьем и едва ли не самом любезном отечестве русского *гулящего человека!* Вот что пишет об этом предмете корреспондент газеты «День» г. Касьянов:

Баль-Мабиль очень сочувствует полякам — очень; все гризетки преклоняются пред общественным мнением, вся канканирующая и не канканирующая публика повторяет как истину, о которой уже и не спорят, что Франция, toujours si libérale, si généreuse [1], должна помочь «народу-мученику» и освободить его от *варваров...* Варвар! Чего не делали мы, чтоб попасть в другой чин, сколько поклонов и миллионов потрачено, чтобы заслужить повышения в европейцы, чтобы *своими* сочла нас Европа,— ничто не берет! Чуть что заденет ее за живое, все старое выплывает вновь, и опять — «казак», «кнут», «варвар» на языке у каждого француза, от пляшущего на балах Тюильери до пляшущего в Баль-Мабиле. Недавно, говорят, на бале в этом знаменитом заведении толпа окружила одного господина, который почему-то подал ей повод думать, что он русский. «Вон его, вон! — заревела публика,— мы не хотим видеть русских, пусть убирается он к своим казакам, на родные снега» и пр. и пр. Господину этому грозила серьезная опасность: шляпу с него сбили, пинки посыпались в него со всех сторон. «Я не русский, я не русский»,— завопил он жалостливым голосом... «Не русский, так кричите: да здравствует Польша!» Господин прокричал, но как-то нерешительно. «Громче, громче!» — повелела толпа. Господин повиновался. «Кто же вы?» — продолжали подозрительно допрашивать его баль-мабильские гости. «Я... поляк...» — «Поляк? Зачем же вы здесь, отчего вы не уехали драться с русскими?» — «Я поеду, непременно поеду».— «Вон его, вон, вон поляка, который пляшет в Париже, в то время как в Польше дерутся, вон!»... И господина выгнали.

После этого изгнания русских из Баль-Мабиля постиг, как слышно, русских таковой же остракизм и в Прадо, и в Шато-де-Флер, и в некоторых театрах. Бедные! Пришлось-таки страдать за национальность, от которой всю жизнь отрекались и которой пуще греха стыдились!.. С мальчишками, с воспитанниками политехнической школы — не советую теперь встречаться на улице ни одному русскому. И не только в Париже, даже в Германии; немцы, как картофель на сковороде (?), горячатся и шипят «симпатиями» к Польше, за табльдотами в отелях происходят иногда очень и очень неприятные сцены. Рассказывают, что в Дрездене дети одного русского поселившегося там помещика былиываляны в грязи мальчишками по наущению какой-то польской патриотки. Одним словом, дело дошло до того, что русским, пребывающим за границею и вращающимся не в самом высшем кругу, приходится на каждом шагу испытывать всевоз-

---

[1] всегда такая свободомыслящая, такая великодушная.

можные унижения и оскорбления. Конечно, русский человек на обиду снослив, да и брань на вороту не виснет,— но всему есть пределы. Остается или бежать домой, в Россию, или же отрекаться, стократ отрекаться от своей народности,— от всякой солидарности с своим народом и своим отечеством!

Г-н Касьянов из всего этого выводит довольно меланхолические заключения; я же, напротив того, более склонен выводить заключения веселые, потому что положительно-таки не понимаю, какое дело России до русских гулящих людей. Я представляю себе физиономию этого господина, который «жалостливым голосом вопил: я не русский! я не русский!», и в сердце мое закрадывается змий сомнения: а что, если парень-то солгал! ах, срам какой! И не потому меня так ужасает эта идея, чтобы я вообще не одобрял лганья,— нет, я, на основании многих свидетельств истории, очень понимаю, что лганье, употребляемое в приличном количестве, придает даже речи особенный острый вкус, особливо если при этом не забудешь прибавить «да будет мне стыдно»,— а потому, что как же это человек до того растерялся, что и солгать-то как следует не сумел! «Я... поляк...» — пропищал этот странствующий рыцарь, когда за него принялись поплотнее, и, конечно, не только не оправдался в глазах канканирующего мира, но еще более обвинил себя. «Ты поляк... и танцуешь!» — воскликнули негодующие гризетки и, само собой разумеется, принялись за него еще плотнее. Сбили с него шляпу и не позабыли наградить пинками: «Это за то, что ты варвар и угнетатель русский, а вот это за то, что ты танцующий поляк». Одним словом, человек, по милости своей опрометчивости, единовременно получил возмездие за две национальности. То-то он изумился! А между тем дело могло бы кончиться весьма просто и даже не безвыгодно для него, если бы он не лгал, а просто-напросто заявил канканирующему миру настоящую истину. Например, если бы он сказал: «Messieurs! я не русский и не поляк — я просто желудочно-половой космополит»; он сказал бы сущую правду и в то же время обезоружил бы негодующих гризеток. В самом деле, ведь это все равно как бы он сказал: «Господа! вы ошибаетесь, я просто гороховый шут!» Разве есть такая нация? разве есть такой народ, который бы называл детей своих гороховыми шутами? Гризетки потолковали бы между собою, переглянулись бы, да и пошли бы себе канканировать как ни в чем не бывало. И бока были бы целы, и отечество осталось бы в стороне.

Вот как вредно и невыгодно бывает лгать без размышления, лгать, не взвесивши предварительно, какие может иметь

для нас последствия ложь, по-видимому, даже самая правдоподобная.

Воображаю я себе, какую ужасную ночь должен был провести этот русско-угнетающий-поляко-канканирующий космополит! Как он явился без шляпы в свой отель? Что он должен был отвечать на вопрос строгого прислужника: «Каин! куда ты девал свою шляпу?» Упорствовал ли он в системе лганья, отвечал ли: «Служитель! я потерял мою шляпу в борьбе за отечество!» — или же предпочел быть откровенным: «Так и так, братец, солгал — и за то пострадал!» — и при этом подарил служителю сто франков, чтоб только он молчал? Есть ли у этого гулящего человека семейство? с какими глазами явился он, без шляпы, к жене и детям после такого неожиданного реприманда? Слег ли он в постель или на другой же день как ни в чем не бывало отправился в Шато-де-Флер или в Прадо и там в другой раз получил потасовку?

Все эти вопросы невольно толпятся в моей голове, и если я не разрешаю их, то вовсе не потому, чтобы они не были интересны с психологической точки зрения, и не потому, чтобы мне было чего-то совестно, а просто потому, что такое разрешение увлекло бы меня слишком далеко.

Но, независимо от изложенных выше веселых выводов, рассказанный г. Касьяновым факт наводит еще и на другие мысли. Признаюсь откровенно, он даже удивляет меня. Я очень хорошо понимаю, что русские гулящие люди времен Фонвизина и даже Гоголя имели какой-то повод стыдиться и вообще относиться к своему отечеству с обидным равнодушием. У них были на это свои резоны — положим, ложно понятые,— но все-таки резоны. У них не было гласности, а об самоуправлении в то время и понятия никто не имел. Самая устность была, так сказать, в зародыше, по которому нельзя было даже судить, что из нее выйдет: что-нибудь благопотребное или же совсем непотребное. Лишенный всех этих благ, человек чувствовал себя одиноким, оторванным от своей родины. Он не имел сочувствия ни к успехам, ни к бедствиям ее, потому что и те и другие равно до него не касались. Он говорил себе: разве я тут при чем-нибудь состою? разве это *мое* дело, что я из-за него распинаться должен? — и этими размышлениями оправдывал себя. Положение безнравственное, почти невероятное, но его можно было объяснить.

Возьмите, например, путешествующего англичанина: он везде является гордо и самоуверенно и везде приносит с собой свой родной тип со всеми его сильными и слабыми сторонами. Почему он так поступает? а потому именно, что знает, во-первых, что тип этот нечто выработал не только для своей

родной страны, но и в общечеловеческом смысле, и, во-вторых, что он сам лично в этой общей работе совсем не пятая спица в колеснице, а, напротив того, прямой ее участник и делатель.

Подобное же явление, разумеется в своеобразной сфере, повторяется и у нас, а именно в сфере мужицкой. Русский мужик точно так же является простым и непринужденным, и точно так же не придет ему в голову стыдиться того, что он русский. И все потому же, что он занят делом, что он чувствует себя необходимым деятелем в русской семье.

Один *гулящий* русский человек шатается без дела и не может ни к чему себя приурочить. В отношении к иностранцам он чувствует, что как будто что-то украл; в отношении к своим чувствует, что как будто что-то продал. Одиноко носится он с своим чревом по Европе, приводя в изумление своей плотоядностью и веселой похотливостью своих нравов...

Повторяю: все это было понятно во времена Фонвизина и даже не лишено смысла во времена Гоголя. Но теперь это просто удивительно. Теперь у нас существует гласность, и притом гласность самая полная, ничем не ограничиваемая, кроме цензуры; у нас совершилась, без разговоров, одна из величайших реформ, какие в других странах никогда без разговоров не совершались; у нас обнародованы основные положения устного и гласного судопроизводства; у нас, того гляди, будет самоуправление — чего еще надо? Какие можем мы принести оправдания? Можем ли сказать, что у нас скучно,— нет, нам укажут, что в одном Петербурге развелось прошлой зимой до 60 танцклассов, и что никто не препятствует завести таковые в Корчеве и в Арзамасе! Можем ли сказать, что мы стеснены,— нет, мы имеем право хоть целый день проводить в халате! Можем ли сказать, что наше возрождение дело нам чуждое, что нас не привлекают и т. д.,— нет, мы имеем право и беседовать, и даже излагать свои мысли письменно... но в пределах благоразумия, государь мой! но, разумеется, в пределах благоразумия!

Да-с; однако и за всем тем, по свидетельству г. Касьянова, русский гулящий человек продолжает вести себя столь же неодобрительно, как бы ничего сего не произошло. Неужели же не проймешь его никакими гласностями, никакими реформами? Неужели никакие возрождения, никакие усилия не прольют живительного луча в его занемевшее сердце? Неужели мы и впрямь дадим Н. Ф. Павлову повод злорадно восклицать в своей убогой газетке: ну вот, и дали! ну вот, и дали!

Что бы такое сделать, чтобы удовлетворить скучающих гулящих русских людей,— я просто недоумеваю... Реформу,

что ли, какую-нибудь новую сочинить, или какую-нибудь из старых реформ уничтожить — право, уж и не знаю. Но, принимая в соображение, что здесь нужно иметь в виду преимущественно элемент чревно-половой, я полагаю, что самым лучшим способом удовлетворения представляется еда какая-нибудь необыкновенная, или же вот если бы всю Россию можно было превратить в сплошной танцкласс. Тогда, надо думать, *гулящие* русские люди сидели бы дома, а не носились бы с своим чревом по чужим странам.

Но факт этот до такой степени замечателен, что я решительно не могу отстать от него, не разъяснивши его до конца. Известно, что, с легкой руки г. Тургенева, современное русское общество распалось на две половины: «отцов» и «детей»; поэтому для меня очень любопытно знать, к которой из этих двух враждующих сторон принадлежал тот русский, который в Баль-Мабиле понес наказание за грехи двух национальностей. К сожалению, г. Касьянов ни слова не говорит об этом, но я надеюсь, с помощью некоторых наведений, восстановить истину в настоящем ее виде.

Первый признак, который останавливает мое внимание,— это место происшествия, Баль-Мабиль. Кто из русских оказывает более наклонности посещать подобные увеселительные собрания? Говоря по совести, таковую наклонность преимущественно оказывают «отцы» или же такие «дети», которые, так сказать, сделались «отцами» в самую минуту своего рождения. Догадку эту я основываю на том общеизвестном факте, что в «отцах» в особенности было развито чувство изящного, развито даже в ущерб другим деятелям человеческого организма. Рядом с этою потребностью изящного, и как бы последствием ее, являлась чувствительность сердца, способность воспламеняться при малейшем намеке на существо другого пола. Само собой разумеется, что такой воспламеняемости весьма много способствовало крепостное право, которое давало возможность удовлетворять ей почти без всяких препятствий. Постоянно питаемая и изощряемая, она наконец приобретала тот характер устойчивости и чуткости, который делал «отцов» способными и достойными во всякое время и во всяком месте. Теперь представьте себе такого способного человека, вдруг очутившегося вне сферы крепостного права, где-нибудь за границей. Что он должен делать, чтобы и туда перенести весь тот комфорт, которым привык наслаждаться у себя дома, где-нибудь в сельце Загибеевке? Красноречием он не обладает, убеждать не умеет, шаркать ножкой не обучен. Чтоб выполнить все это, он должен действовать посредством денег и обращаться с своими предложениями туда,

где таковые принимаются с охотою. Более злачного в этом смысле места, как Баль-Мабиль, едва ли найдется что-либо в целом мире: это уж такой приют, где изящное добывается без всяких затруднений, с помощью одного презренного металла. Поэтому-то русские «отцы» так и любили посещать это место; оно напоминало им родную Загибеевку, с тем только различием, что в Загибеевке для них достаточно было мания руки, а в Баль-Мабиле они были обязаны предъявлять доказательства более уважительные. Во всяком случае, «отцы» доказывали совершенно осязательно, что с помощью ли мания руки или с помощью денег, но устроить крепостное право, где бы то ни было, для них ничего не значит.

Никакими подобными качествами «дети» не обладают: ни сильно развитым чувством изящного, ни чрезвычайными в этом смысле способностями. Крепостное право, которого благами они не успели насладиться, подействовало на них отрицательно, то есть возбудило отвращение к началу, питавшему его, в каких бы формах оно ни высказывалось. Это народ не только не посещающий танцклассов, вроде Мабиля, но вообще малообщительный. Они больше всего любят беседовать с приятелями, и преимущественно беседуют о светопреставлении. Это последнее занятие до такой степени неподозрительно, что даже люди сведущие и опытные, специально занимающиеся устранением подозрительных занятий, и те находят, что это ничего, допустить можно! «Лишь бы о текущих-то вопросах не рассуждали, лишь бы на практическую-то арену не выходили!» — говорят эти опытные люди и сладко вздыхают, видя, как кротко выносят «дети» невзгоды жизни и как они убиваются над поднятием таинственной завесы будущего. Как бы то ни было, составляет ли все это достоинство «детей» или их недостаток, во всяком случае, происшествие, случившееся в Баль-Мабиле, их не касается, потому что их там не было.

Второй признак, останавливающий мое внимание, заключается в том, что неизвестный отрекся от своей национальности. Во-первых, это ложь, к которой «дети», по наивности и сердечной простоте, совсем не способны, во-вторых, это, наконец, глупость. Уверять в глаза целый канканирующий мир, что я не я,— воля ваша, а это даже не просто ложь, но ложь глупая и притом бесполезная. «Дети» не в состоянии прибегнуть к ней уже по тому одному, что такая штука совершенно противна очевидности. «Отцы» в этом отношении были гораздо в более выгодном положении; они могли притворяться чем угодно, во-первых потому, что никто с них за это не взыскивал, во-вторых потому, что и власть у них большая была. «Ванька! я шах персидский?» — «Шах персидский-с».— «Ан

врешь, я турецкий султан!» — «Турецкий султан-с». И таким образом, они могли воображать себя чем хотели, и никто им на это не возражал: мудрено ли, что это обратилось им наконец в привычку? Напротив того, «дети» лишены этого подспорья и потому поневоле обязываются быть тем, чем их создали обстоятельства. «Дети» не стыдятся своего отечества уже по тому одному, что относятся к нему рационально, то есть принимают его так, как есть, со всем его хорошим и дурным. Как то, так и другое они и себе объясняют и другим объяснить могут, а известно, что при помощи объяснений все излишнее, напускное, все ореолы, равно как и мраки, исчезают сами собою, и остается одна истина, которая никогда человеку противна быть не может. «Дети» не скажут, что мы, дескать, шапками всех забросаем, но вместе с тем и не полезут целовать плечико...

Да, это «отцы», это они — те *гулящие* русские люди, которые даже в Баль-Мабиле не умеют канканировать с достоинством, это те самые, которые всякому кондуктору на железной дороге готовы сказать «ваше превосходительство», это те самые, которые потчуют шампанским и из ерничества умеют создавать живые и художественные картины...

Другой анекдот из жизни русских *гулящих людей* за границей рассказывает «Современная летопись» (№ 12). Дело идет о двух знатных русских дамах, которые до того увлеклись каким-то доктором сомнамбулизма, уроженцем русской Польши, Ольцинским, называвшим себя Лондинским, что в течение каких-нибудь шести лет доверили ему сумму, превышающую два миллиона франков. Да не подумает, однако ж, читатель, что такая почтенная цифра была вручена Лондинскому так, ради приятных его манер; нет, русские дамы руководились при этом глубоким расчетом; они страстно желали разбогатеть и потому отдавали свои деньги *верному человеку,* точно так же не задумываясь, как во время оно, не задумываясь же, затратили бы значительные суммы на отыскание философского камня!

Желание приумножить капиталы может иметь и выгодные и невыгодные последствия для лица, которое им обуревается. Но для того, чтоб они были выгодны, необходимо прежде всего в подробности рассмотреть, в чем заключается то предприятие, на которое решаешься. Например, если б в настоящее время воскресло знаменитое в свое время «общество для заводской обработки животных продуктов» и если б сам Василий Александрыч Кокорев заверял, что это предприятие

отличное, я никак не решился бы рискнуть своим капиталом даже в таком случае, если б таковой у меня и был. Потому, не натуральное это дело. Во-первых, завода или совсем не выстроят, или выстроят такой, в котором ни дверей, ни окон, ни печей, ни труб нет; во-вторых, скота или совсем не купят, или купят такой, который не имеет ни жиру, ни мяса, ни кожи; в-третьих, наконец, если и пустят кой-как дело в ход, то прибыли от него пойдут на обеды да на овации, а мне, как акционеру, все-таки не попадет ничего в карман. Зная все это очень твердо и принимая притом в соображение, что «миллиард в тумане» все-таки еще не «миллиард в руках», я всякой сирене, которая бы предприняла улещать меня подобными предложениями, отвечал бы кратко, но сильно: «Vade retro, satanas!»[1] То есть, быть может, я и дам что-нибудь этой сирене на бедность, но дальше гривенника и в этом смысле все-таки не пойду!

Знатные русские дамы всё это забыли и — что больнее всего — выказали себя самыми сомнительными патриотками. Если они непременно желали потратить свои два миллиона франков, если потеря эта составляла для них удовольствие, то почему они не устроили такого дела в отечестве? почему они не отдали своих денег в упомянутое мною общество заводской обработки животных продуктов, или в общество водопроводов, или в общество «Кавказ и Меркурий»? Я совершенно уверен, что общества эти приняли бы их вклады с благодарностью и тут же проглотили бы их так, что и следа потом бы не сыскать.

Но они предпочли истратить деньги в столице цивилизации и вверили их Лондинскому, который, как славянин по происхождению, поспешил доказать им, что, имея с ним дело, они поступают точно так же, как бы находились в своем отечестве.

И действительно, предприятия, которыми Лондинскому удалось увлечь русских дам, имеют характер совершенно отечественный. Это серебристо-свинцовые рудники на острове Сардинии (Domus nova и Domus di Maria[2]), это несуществующий банкирский дом в улице Ришé. Надувательство поражает своею легкостью и простотою. Никто ни о чем не расспрашивает, никто ни в чем не сомневается. Лондинский приходит к некоторому проходимцу Леметé и откровенно говорит ему: хочешь получить несколько миллионов русских рублей? Разумеется, Леметé соглашается, является с Лондинским под видом капиталиста к знатным русским дамам, получает

---

[1] Изыди, сатана!
[2] Новый дом и Дом Марии.

от них несколько миллионов рублей, а им взамен того объявляет, что они имеют честь быть основательницами несуществующего банкирского дома Леметé и Лондинского, № 26, улица Ришé.

Пришли, понюхали и ушли. Ждут русские знатные дамы день, ждут другой — нет Лондинского, нет Леметé! Что ж, может быть, они удержаны нездоровьем, а может быть, даже заботами об интересах своих клиенток? Увы! оказывается нечто худшее: оказывается, что и тот и другой — переодетые мошенники, что Domus nova — пуф, Domus di Maria — заблуждение, а банкирский дом в улице Ришé — просто милая шутка, имеющая целью исследовать, до каких границ может простираться простодушие русских дам.

И вот в исправительном трибунале департамента Сены разыгрался последний акт этой драмы. Лондинский бежал в Россию и к довершению всего пишет оттуда успокоительные письма, удостоверяющие, что все его кредиторы будут удовлетворены. Однако на сей раз русские дамы не поверили и подали на доктора сомнамбулизма жалобу. Исправительный трибунал решил: 1) Лондинского заключить на 5 лет в тюрьму и взыскать с него пени 3000 фр. (заочно); 2) Леметé заключить в тюрьму на 15 месяцев и взыскать 500 фр. пени и 150 000 фр. в пользу истиц. О прочих дамских претензиях трибунал предоставил ведаться особо.

Вот какое происшествие случилось с русскими знатными дамами в столице цивилизованного мира. Оказывается, что русские дамы, столь гордые в своем отечестве, что считают для себя унизительным сообщество людей среднего рода, за границей оставляют свою кичливость и являются более ласковыми. Это и естественно, потому что ведь за границей не то, что у нас; за границей каждый колбасник есть урожденный философ, и каждый парфюмёр — урожденный политико-эконом. А куафёры! душки куафёры! а этот милый французский жаргон, посредством которого можно всякую пакость таким образом выразить, что от нее повеет совсем не пакостью, а благоуханием! Согласитесь, что ведь нельзя же и не ласкать-то подобных людей!

Я не знаю, что сказали, прочитав этот факт, учредители бывших воскресных школ и члены общества распространения бесполезных книг; я не знаю, облизнулись ли они, подумали ли: «Эх, кабы этакую-то сумму да нам! каких бы мы дел наделали!» Но я знаю наверное, что учредители русских «Domus di Maria» именно облизнулись и совсем не шутя возроптали, что вот всё иностранцам да иностранцам, а нас все-таки мимо да мимо!

<V. СЕНТЯБРЬ 1863 ГОДА>

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ.— ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА.— «ЗАЯВЛЕНИЕ» СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.— ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ.— О КРАСНОРЕЧИИ, КАК О СИЛЕ ВРОЖДЕННОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ.— НЕЧТО О НЕОБХОДИМОСТИ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫМ.— ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОХОД ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ.— КАК ПРИХОДИТ СТАРОСТЬ.— ОДНО СЛОВО ХРОНИКЕРУ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

Опять возвращаюсь к тебе, читатель, но заранее прошу не сетовать на меня, если я буду говорить уже не тем спокойным и беспечным тоном, каким говорил до сих пор. Это истина всем известная, что «Современник», в котором я пишу мои заметки, бывает здоров и цветущ только тогда, когда небо безоблачно, когда фонды на бирже стоят твердо и в обществе возникают веселые вопросы и вопросцы ко благу общему. Но он бывает тощ и беден, когда небо стоит грозное, когда в делах и предприятиях царствует застой, а вопросы и вопросцы прячутся в самую глубь общества, словно боятся, чтобы не окатило их холодным ливнем. В такое неблагоприятное время светлые литературные ручьи возмущаются, и на поверхности их появляется неизвестно откуда берущаяся негодная накипь; в такое время над словесною нивою реют жадные стада литературного воронья и строго блюдут за чистотой русской мысли и языка; темные духи, когда-то осмеянные и опозоренные и вследствие того скрывшиеся на дно горшка, вновь заявляют о своей живучести, вновь выползают из темниц и, появившись на свет божий, припоминают старые счеты; забытые кучи за-

валявшегося хлама начинают двигаться и вопиять о поруганных правах своих... Понятно, что простой и невинный литературный орган, как «Современник», орган, чуждый каких бы то ни было политических соображений и преследующий одну цель — исправление нравов, не может не чувствовать себя неловко на этом странном пире, где царствует ревнивое соглядатайство и шумным потоком ревут праздные речи. Он должен оглядываться и взвешивать каждое свое слово; он должен стараться только о том, чтоб эта кратковременная фантасмагория как-нибудь не задела его, чтоб она поскорей прошла мимо, как те бичи, которые по временам проходят над человечеством в виде повальных болезней, голода, войны и пр. Но что он может еще позволить себе — это обдумывать на досуге средства, чтобы сделать повторение подобных явлений невозможным или, что равносильно, безвредным.

Тем не менее, как ни горько зрелище такой повальной нравственной и умственной смуты, в нем есть, однако же, своя сторона поучительная, и даже утешительная. Поучительность его заключается, во-первых, в том, что оно научает с меньшею строгостью относиться к людям, занимающимся так называемыми «вопросцами». Сами по себе эти «вопросцы» имеют вид пустяков, да в сущности и составляют совершеннейшие пустяки, но по соображению с другою деятельностью, развивающеюся вне этих пустяков, они все-таки представляют нечто похожее на содержание, а положительно-полезная их сторона заключается в том, что занятие ими приучает людей с гадливостью смотреть на мир бездельничества и сплетен. Я сам не раз склонен был признать призрачною ту крохотную и произвольную хлопотню, которой предавалась наша литература за последние семь лет, но теперь, видя на деле, какие выползают на место ее из нор чудовища, я готов принести искреннее раскаяние и усердно вопиять ко всем нашим лилипутам гласности и устности: «Что ж вы уныли, милые дети? дерзайте, заглушите вашим дружным писком московский концерт чревоугодничества, который так оглушительно перекатывается из одного конца России в другой». Во-вторых, это зрелище, примиряя нас с вышеупомянутыми лилипутами, в то же время научает быть более строгими к тем действительным источникам злокозненности и ехидства, относительно которых мы всегда были слишком робки и податливы. Это вообще с нашей стороны большая и непростительная ошибка; когда уличенное ехидство стушевывается перед нами и просит прощения, мы охотно верим его раскаянию и, вследствие ли презрения или вследствие преступной небрежности, еще охотнее набрасываем покров забвения на прошлое. Но ехидство не

умирает; таясь под пеплом, оно сильнее, нежели когда-нибудь, питает огни злобы и ненависти и ждет только первой нашей оплошности или первой несчастной случайности, чтоб выйти наружу. Теперь, искушенные опытом, мы будем знать, что ехидство никогда не раскаивается, что, следовательно, его необходимо преследовать до тех пор, пока оно не испустит дух свой. Что касается до утешительной стороны зрелища, то она очевидна. Взгляните, какая алчная нерасчетливость в действиях этих темных сил, так неожиданно для самих себя всплывших наверх, какая варистая торопливость в движениях, какое жадное нетерпение насладиться хоть одним моментом нечаянного торжества, выразить и заявить разом всю желчь и ненависть, которые накопились ценою долгого и мучительного плена. Они сами не рассчитывают на продолжительное торжество и потому спешат, спешат упиться темною сырою ночью, по стечению горьких обстоятельств временно заменившею веселый, ясный день. Уймутся дожди, просветлеет хмурое небо, и все эти пузыри лопнут, все эти белые, здоровенные дождевики позеленеют и обратятся в прах... Согласитесь, читатель, ведь признаки эти слишком ярки, чтобы не считать их утешительными.

Да; много вреда принесла за собой польская смута для той части русского общества, которая жаждала только спокойствия, чтоб развиваться и воспитывать себя к той свободе, которая одна представляет прочный и плодотворный залог будущего преуспеяния. Сама по себе взятая, эта смута, конечно, не страшна для России, но вред ее, и вред весьма положительный, заключается именно в том, что она вновь вызвала наружу те темные силы, на которые мы уже смотрели как на невозвратное прошлое, что она на время сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление, что она почти всю русскую литературу заставила вертеться в каком-то чаду, в котором вдруг потонуло все выработанное ценою многих жертв, завоеванное русскою мыслью и русским словом в течение последних лет...

Но так как вопросы политики не входят в область нашего фельетона, то мы и оставим их в стороне, а займемся теми общественными проявлениями, которыми ознаменовало себя прошедшее лето.

Несколько месяцев сряду Россия занималась составлением адресов, которые стекались в Петербург со всех концов России, и всё в разных формах. Факт многозначительный, доказывающий, что дух русского народа не только не ослабевает, но наипаче мужает. Узнав об этих адресах, Европа заметно остепенилась и таким образом была сугубо побеждена

без помощи оружия. Стало быть, польза от составления адресов очевидна, и нет сомнения, что средство это будет употреблено и на будущее время в подобных же обстоятельствах (что повторение этих обстоятельств не невозможно, в том нам служит порукою та зависть, ощущаемая Европой при виде тишины и спокойствия, которым наслаждается Россия).

Все адресы были более или менее замечательны, как по внутреннему своему содержанию, так и по красоте слога, но для «Современника», как журнала, всего больше интересующегося судьбами молодого поколения, разумеется, родственнее других было заявление студентов Московского университета по поводу польских смут. Это, можно сказать, самый крупный перл нашей общественной жизни, и потому я приступаю к нему не без волнения.

Если я не раз указывал на тот неправильный смысл, который придавался слову «благонамеренность», то это происходило совсем не потому, чтобы я придавал этому слову ироническое значение или хотел изгнать его из употребления, а потому единственно, что сан «благонамеренных» выказали люди, не имеющие на то никакого права. Теперь она сошла к нам, действительная и неподдельная, и я первый преклоняю перед нею мою голову.

Да, она сошла к нам, но не в блеске четвертаковых молний и не в громе необулгаринских бурь: нет, она выбрала себе своего рода ясли в «Дне» и стала перед нами скромная и даже немного стыдящаяся. Великое явление избрало для себя сосуд скудельный и малый, но это так и следует. Малое болото не служит ли началом великой реки? Малое куриное яйцо не является ли хрупким вместилищем будущего великого петуха? в слоне-ребенке не усматривает ли прозорливый наблюдатель будущего слона-великана, которому суждено сойти с ума в Москве? Всё это факты достоверные, засвидетельствованные наукой, а если мы припомним к тому, что от копеечной свечи Москва загорелась, что многие люди очень малые являются творцами пакостей поистине великих, то смысл того, что совершилось прошедшим летом в «Дне», сделается для нас вполне ясным.

Тут есть предопределение, есть рок. Неисповедимое в путях провидение для того, конечно, избирает «сих малых» орудиями своих предопределений, чтобы посредством их разительнее подействовать на сильных и великих. Сосуд золотой, но пустой, по мнению моему, менее приятен, нежели сосед его, хотя и слепленный из скромной глины желтой, но содержащий в себе драгоценную влагу. Гордый конь, носящий на хребте своем не менее гордого всадника, в глазах

моих далеко не приносит той пользы, как собрат его, конь вороной, который вывозит навоз на поля да вдобавок еще, вместо всякого гонорария, получает за свой труд одни побои. Зная это, и золотой сосуд, и гордый конь будут и сами меньше кичиться своими минутными достоинствами. Конечно, прибегая к этим сравнениям, я знаю, что говорю вздор, потому что ни золотой сосуд, ни гордый конь ничего знать не могут, но, с одной стороны, если «День», для объяснения своей теории народности, имеет право употреблять фигуру Русляндии, фигуру взволнованной души, фигуру всеславянского уязвления и, наконец, самую драгоценную из фигур,— фигуру форейтора [1], то почему же мне не позволить себе прибегнуть к фигуре золотого сосуда и гордого коня! А с другой стороны, хотя ни золотой сосуд, ни гордый конь не могут иметь никаких таких соображений, какие мною сейчас высказаны, но несомненно, что если б они могли их иметь, то провидение явило бы в этом случае новый пример своей неисповедимости.

Еще за неделю до самого события «День» уже заявлял, что студенты Московского университета имеют намерение публично очистить себя от наветов; он говорил, что наступила наконец пора объяснить словом и делом наглую и дерзкую ложь публицистов, которые посеяли столько подозрений и раздора в русском обществе и разъединили русскую учащуюся молодежь; он говорил и еще много кой-чего, он приветствовал, ободрял и обещал свое содействие. Понятно, с каким напряженным нетерпением ожидал я появления возвещенного документа.

Он появился на страницах 21 № «Дня», и читатели «Современника», конечно, не посетуют на меня, если я поделюсь с ними самим текстом заявления представителей московского учащегося молодого поколения. Вот он вполне!

Нижеподписавшиеся студенты и слушатели Московского университета утвердили, подписали и вручили редактору «Дня» для хранения следующее заявление:

«Возмущенные теми оскорбительными надеждами, которые враги России осмеливаются возлагать на Русское молодое учащееся поколение,—

---

[1] В одной из своих руководящих статей (в 1862 году) «День» сравнивал Русляндию (это особенная развеселая страна, которую открыли славянофилы и жители которой поклоняются Момусу) с форейтором, который, не чувствуя, что постромки, привязывавшие выносных лошадей к экипажу, давно лопнули, мчится сломя голову вперед и вперед. Натурально, экипаж (экипаж представляет собою «древнюю, православную, святую нашу Русь») загруз, и Русляндия, налетевши на косогор, вывихнула себе шею. Положение драматическое, но для обеих сторон равно непользительное. Замечательнее всего, что Русляндия постоянно обвиняется в том, что она без оглядки скачет «вперед»... Каков скакун! (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

мы, студенты и слушатели Московского университета, громко, пред лицом и во всеуслышание всей России, чувствуя всю нравственную важность своего поступка,— объявляем следующее:

1) Никогда и ни в каком случае не станем мы рознить с Русским народом. Его дело — наше дело; его знамя — наше знамя. Мы Русские. Нам дорога кровь наших братьев; нам дорога честь и величие России; нам свят завет нашей истории, целость и единство русской земли. Не учить народ, а служить народу, проникаться началами русской народности и явиться самостоятельными русскими деятелями в науке и в жизни — вот как понимаем мы наше призвание. Всякий, поднимающий меч на Россию, есть враг ее, враг Русского народа; всякий, призывающий к насилию и измене и наглым образом возбуждающий народ к кровавой смуте, хотя бы под предлогом свободы,— есть враг его; всякий, накликающий беды на Русскую землю, не уважающий ни нравственных, ни исторических принципов Русского народа и посягающий на его самостоятельное развитие, есть враг ему, враг России.

Враг русской земли и русского народа — наш враг.

2) Мы не питаем ненависти к польскому народу; мы уважаем патриотизм польской нации; мы желаем свободного, самостоятельного развития для Польской народности, но лишь под тем единственным условием, чтоб свобода Польши не стала неволею для России. Мы не отрицаем той доли неправды, которая могла быть относительно Польши с нашей стороны; но мы не только не признаем каких-либо прав Польши на Западный и Юго-Западный край России, но готовы, вместе со всем русским народом, отстаивать до последнего издыхания неприкосновенность русской земли. Вопли и стоны польской шляхты, оглушающие слух Европы, не могут заглушить для нас вековые мужицкие стоны, стоны угнетенного польскою шляхтою, польскою цивилизациею и латинством малорусского и белорусского народа.

3) Мы считаем, что в настоящее, трудное для России время долг каждого русского — отложив в сторону неудовольствия, расчеты и пристрастие к тем или другим политическим теориям,— есть долг непоколебимой верности русской земле и тому, кого она признает своим представителем, кому вверила оберегательство своей чести и целости, кому вручила свои судьбы.

Да, безусловная честность в исполнении долга, безусловная преданность русской земле, безусловная верность русским народным началам, полное согласие с русской народною мыслью и русским народным чувством — вот наша гражданская заповедь.

Студенты и слушатели Московского университета.

(Следуют 200 подписей)».

Прекрасно. Просто, не сусловно и вместе с тем не лишено сознания собственного достоинства. Чувствуешь, что здесь именно заключена действительная благонамеренность; сознаешь, в каком унынии должны находиться опасные московские публицисты, которые одни мнили себя быть благонамеренными и вдруг увидели, что простым и едва начинающим учиться юношам стоило только захотеть, чтобы сразу оставить их позади и явиться истинными форейторами русской цивилизации. И заметьте, ведь не адрес, а заявление — какая тонкая и деликатная черта! какой шаг вперед!

Но чтобы читатель не обвинил меня в пристрастии и пред-

намеренной похвале, я нахожусь вынужденным разобрать это замечательное «заявление» несколько подробнее.

Прежде всего, что значит «заявление»? почему не «адрес»? Не доказывает ли эта необычная и произвольно вами измышленная форма, что вы еще недостаточно смирились, что в вас действует дух гордости и любоначалия? Вы хотите очиститься от злых наветов и оскорбительных надежд — ну, и очищайтесь вполне, не останавливайтесь на половине дороги, не говорите себе: хорошо, кабы нам очиститься, но как бы это подешевле устроить! Вы видите, что *вся* Россия изъясняет о своих чувствах посредством адресов — отчего же вы одни хотите выйти из ряду вон? отчего вы одни хотите идти не прямо, а боком? Если это оригинальность, то не надо забывать, что и оригинальность не всегда бывает уместна; грустнее же всего то, что враги ваши могут истолковать ваш поступок робкими позывами фальшивой стыдливости, прикрывающей не остывшую еще гордость и любоначалие. Я знаю, что ничего этого нет и что вы только по неопытности сделали такой промах, но ведь это знаю только я да И. С. Аксаков. В сущности, ваша прекрасная цель легко может остаться недостигнутою, и тогда «пропали хозяйские горшки»; вы по-прежнему останетесь под игом наветов и несправедливых подозрений, и по-прежнему публицисты будут иметь основание рассевать свою дерзкую ложь. Я не ручаюсь даже, что и теперь некоторые из них, прочитавши ваше «заявление», не сказали: «Эге! да они хваты!»

«Возмущенные теми оскорбительными надеждами, которые враги России осмеливаются возлагать на Русское молодое учащееся поколение,— мы, студенты и слушатели Московского университета, громко, перед лицом и во всеуслышание всей России, чувствуя всю важность своего поступка,— объявляем следующее».— Период прекрасный, замечательный, как совокупною своею правильностью, так и соответствием всех своих частей; орфография тоже весьма удовлетворительна, кроме того, что слова «московский», «русский» пишутся с прописных букв: это без всякой нужды пестрит печать (но, с другой стороны, если такое правописание есть плод патриотических чувств, то в этих видах можно и его допустить, как исключение). За всем тем нельзя не заметить следующего: 1) употребление рядом таких однозначащих слов, как «громко» и «во всеуслышание», называется амплификацией; хотя подобный оборот речи и был нередко употребляем газетою «День», но всегда без успеха; 2) говорить «перед лицом и во всеуслышание всей России» могут лишь те, которые имеют, так сказать, официальное на сие полномочие;

И. С. Аксаков хотя и порывался неоднократно присвоить себе такое полномочие, но попытка его была признана Россиею за дебош и никакого успеха не имела. Надо быть скромными, молодые люди! надобно прежде заслужить! Ибо, что же в том будет хорошего, если Россия, к которой вы так запросто обращаетесь, скажет: «А кто же вас знает, откуда вы взялись!» Ничего тут хорошего не будет. Мы, русские, потому и слывем добродетельными, что обделываем свои дела промежду себя, и потом заявляем о том куда следует, твердо памятуя, что самолюбие в этих случаях может лишь испортить дело, а не украсить его. Поэтому я надеюсь, что если вам на будущее время придется писать подобное же заявление, то вы напишете его в форме адреса, а это доставит вам возможность избегнуть слишком самолюбивых фраз.

«Никогда и ни в каком случае не станем мы рознить с Русским народом. Его дело — наше дело; его знамя — наше знамя. Мы Русские». Прекрасно. Периода нет, но отрывистость речи оправдывается отрывистостью чувств, и в некоторых случаях наукою о словосочинении не токмо не возбраняется, но даже поощряется. Относительно орфографии замечание то же. Сверх сего, я должен заметить, что молодым людям на всякий случай следовало объяснить более обстоятельно, в чем, по их мнению, заключается «дело и знамя русского народа». Ибо насчет этого в узаконениях прямых указаний не имеется, а ученые специалисты находятся по этому случаю в постоянном друг другу противоречии и даже во взаимной вражде. Одно знамя вручает русскому народу г. Чичерин, другое — г. Аксаков, третье — г. Катков. Наконец, г. Краевский полагает, что можно и совсем без знамени, а делай, что приказано,— ведь и это тоже своего рода знамя. Среди этих многочисленных «предложений услуг» русский народ теряется и не знает, за какое знамя ухватиться, но кажется, что до сих пор он всего умильнее посматривает на знамя г. Краевского. А потому, при недостатке с вашей стороны объяснений, злонамеренные люди могут вывести заключение, или что вы придерживаетесь знамени А. А. Краевского, или что вы сами еще хорошо не знаете, о чем говорите и к чему прилепляетесь. Я знаю, что ничего этого нет и что вам отлично известно, какое такое это «дело и знамя русского народа», но все-таки считаю необходимым предостеречь вас для того, чтобы вы действительно могли очистить себя от наветов и оскорбительных надежд.

«Нам дорога кровь наших братьев; нам дорога честь и величие России» и т. д. В последнем случае следовало сказать не «дорога», а «дороги», ибо «честь» и «величие» представляют

два понятия отдельные, а потому и относящееся к ним прилагательное должно быть употреблено во множественном числе. Все прочее безукоризненно.

«Не учить народ, а служить народу, проникаться началами русской народности и явиться самостоятельными *русскими* деятелями в науке и жизни — вот как понимаем мы наше призвание». Прекрасно, тем более что это говорят ученики Б. Н. Чичерина, с своей стороны написавшего прекрасную статью о «народности в науке», в которой доказывается, что «народность в науке» есть понятие отчасти алхимическое, отчасти астрологическое. Очевидно, что в сердцах юношей боролись разом две признательности: одна к И. С. Аксакову, преподавшему им искусство писать высоким слогом, другая — к блестящему профессору Московского университета. От этого в них горит, с одной стороны, желание служить русскому народу и проникаться его началами, с другой стороны — желание самостоятельности; явное противоречие, из которого молодые люди не выпутались только по неопытности. Но не будем слишком привязчивы и обратим внимание на сущность дела. Проникайтесь, молодые люди! понимайте ваше призвание! но повторяю: не будьте самонадеянны! Берегитесь этого яда, который уже огорчил Россию славянофилами! Что вы такое совершили, чтобы иметь право с уверенностью говорить о том, куда вы пойдете и какими явитесь деятелями в науке и жизни! А может быть, вы явитесь деятелями не в науке, а в танцклассах! а может быть, даже и в танцклассах вы пройдете незамеченными! Кто знает, куда ведут вас судьбы неисповедимые! Вот если б вы всё сие уже совершили,— ну, тогда точно, можно было бы разрешить вам сказать нечто о самостоятельной деятельности в науке и жизни, а то, на-тко, ничего не сделавши, да какую уж бурю подняли! Я знаю, что фигура эта в славянофильской риторике называется фигура устрашения и что ее не раз употреблял И. С. Аксаков, но ведь он употреблял ее всегда без успеха, следовательно, зачем же идете вы по его стопам? И еще знаю я, что, всеконечно, у вас и помыслов никаких насчет самостоятельности никогда не бывало и что все это вы сказали спроста, но зачем же спроста говорить? Не надо забывать, что невинность и мудрость суть качества взаимно друг друга пополняющие и что первая, будучи предоставлена самой себе, успела заслужить в понятиях русского народа авторитет не совсем лестный, выразившийся в пословице: «Простота хуже воровства».

«Всякий, поднимающий меч на Россию, есть враг ее, враг Русского народа; всякий, призывающий к насилию и измене и наглым образом возбуждающий народ к кровавой смуте,

хотя бы под предлогом свободы, есть враг его; всякий, накликающий беду на Русскую землю, не уважающий ни нравственных, ни исторических принципов Русского народа и посягающий на его самостоятельное развитие, есть враг его, враг России». Чувства прекрасные, но не могу воздержаться, чтоб не сказать несколько слов о форме, в которой они выражены, и о мыслях, которых эти чувства являются лишь трепетною оболочкою. Начну с формы. Периоды, подобные выписанному выше, в соловьином пении называются периодами «с оттолчкой», и там они совершенно уместны; но в человеческом пении необходима ясность и простота; «оттолчка» тут не только неуместна, но даже неприятно поражает слух. Может быть, славянофильское учение оттого так мало делает себе прозелитов, что оно слишком охотно прибегает к «оттолчке». Публика слышит какой-то стук, а толку не видит. Поэтому лучше было бы, кажется, редакцию этого параграфа изменить так: «Как истинные верноподданные, мы заявляем, что считаем своим врагом всякого, кто замыслит что-нибудь противное интересам его императорского величества». Это будет ясно, вразумительно и притом нисколько не противно той мысли, которую вы намеревались выразить. Теперь поговорю о мыслях. Ложная форма увлекла вас и к ложным мыслям. Основная-то ваша мысль, пожалуй, и правильна, но, во-первых, витийство заставило вас обставить ее различными второстепенными мыслями, которые просто никуда не годятся, и, во-вторых, эта самая обстановка доказывает, что и основная-то мысль явилась у вас бессознательно. Можете ли вы, например, указать, чтобы кто-нибудь призывал народ к насилию и измене? к насилию насчет кого? к измене кому и чему? Говоря таким образом, вы, вероятно, разумеете или внешних, или так называемых внутренних врагов России; но если вы разумеете внешних врагов, то с их стороны желание сделать всякий вред своему врагу умеряется тем обстоятельством, что у них, по русской пословице, руки коротки; если вы разумеете каких-то внутренних врагов, то говорите прямее, действуйте вольным духом, а не прорицайте, подобно дельфийскому оракулу, фразами с оттолчкой. Тогда, быть может, представится случай разубедить вас, показать, что вы ошибаетесь, что речи ни об измене, ни об насилии никакой нет и что, следовательно, самое слово «внутренние враги» есть слово вымышленное и не имеющее основания. Тогда, быть может, откроется перед вами, что люди, о которых вы разумеете, как об изменниках, суть, собственно, только люди другого образа мыслей, которых вы обозвали непотребно потому только, что молодой и горяченький человек вообще охотно называет от-

ступниками и изменниками тех, которые не пляшут под его дудку. Но, быть может, вы скажете, что ваша дудка есть дудка российская, а потому плясать под ее звуки следует; на это опять-таки повторю: не будьте самонадеянны, дети! Вы не знаете русской дудки; это дудка настоящая, способная извлекать из себя полный звук; ваша же дудочка маленькая, с трудом издающая легкий писк. И что это такое за насилие? что за измена? Может ли для вас, едва, так сказать, взятых от колыбели, быть понятным значение подобных страшных слов? Нет, оно не может быть понятным для вас, ибо умы и сердца ваши еще слишком юны и неиспорченны. Вся ваша измена может заключаться в том, что вы сходите без спросу на могилу Грановского; все ваше насилие — в том, что вы пройдетесь по Тверскому бульвару не в форме (впрочем, нынче и для этого рода насилия, с уничтожением особой студенческой формы, предлог устранен). Стало быть, во-первых, вы не знаете, на кого именно намекают ваши слова, и, во-вторых, не знаете и не можете узнать, в чем заключается ваше обвинение. Но этого мало: с свойственной славянофилам напыщенностью вы говорите о нравственных и исторических принципах русского народа, но разве вы их знаете, эти нравственные и исторические принципы? На это вам ответит тот самый «День», который вы избрали своим органом, что «нравственных» принципов русского народа вы не знаете, потому что живете совсем другою, совсем не народною жизнью; я же, с своей стороны, прибавлю, что вопрос о нравственных принципах русского народа еще разработывается и, во всяком случае, далеко не выяснен; многие даже думают, что это вопрос праздный и что нравственные принципы всякого отдельного народа суть принципы общечеловеческие; но, во всяком случае, здесь спор не решен, и, следовательно, дело еще в дороге. Что же касается до принципов исторических, то скажу вам на это, что история русская до сих пор слагалась под влиянием разных случайностей, по милости которых исторические принципы русского народа определить, по крайней мере, столько же трудно, как и определить его принципы нравственные. Это еще труднее для вас, молодые люди, потому что вы знакомы с русской историей лишь по краткому руководству г. Устрялова. А потому на будущее время упаси вас бог говорить о таких вещах, кои важны.

«Враг Русской земли и Русского народа — наш враг». Мысль хорошая, но теряющая все свое достоинство именно вследствие того, что соединена с «оттолчкой» (вот что значит неопытность!). Впрочем, эта оттолчка последняя, достойно завершающая длинный ряд предыдущих.

«Мы не питаем ненависти к польскому народу; мы уважаем патриотизм Польской нации, но лишь под тем единственно условием, чтобы *свобода* Польши не стала *неволею* для России. Мы не отрицаем той доли неправды, которая могла быть относительно Польши и с нашей стороны; но мы не только не признаем каких-либо прав Польши на Западный и Юго-Западный край России, но готовы, со всем Русским народом, отстаивать до последнего издыхания неприкосновенность Русской земли». Прекрасно. Это, что называется, в одно и то же время и по губам помазать, и калом накормить. Однако позвольте. «Мы не отрицаем», «мы не признаем»! Кто же вы такие и кому какое дело до ваших отрицаний и признаний? Ах, молодые политики! ах, молодые политики! Ведь я знаю, что вам не безызвестно, что ваши отрицания и признания весят менее грана аптекарского: для чего же вы конфузите себя, неужели для того, чтобы высказать несколько красноречивых слов? Но если вы действительно думаете, что без вашего участия такого дела решить нельзя, то не останавливайтесь на половине дороги и помните, что *вера без дел мертва есть.* В согласность этому последнему изречению, вам надлежало бы объяснить не голословно, а доподлинно, каким образом все сие устроить, а без этого ваше заявление представляет лишь непрерывную фигуру единоначатия, фигуру красивую, но мало объясняющую. Да, дело писания заявлений с каждым днем становится труднее и труднее. Для этого мало иметь приятный слог, но необходимо знать, чего именно желаешь и какие имеешь в виду практические средства для осуществления этих желаний...

Но довольно; дальше идет речь, по славянофильскому обычаю, о воплях и стонах. Повторяю: намерение отличное, но основная мысль его, очевидно, подверглась разным неполезным влияниям, и потому пострадала в основании. То ли дело, например, рязанские крестьяне! «Враги,— говорят они — не в заявлении, а во всеподданнейшем письме своем,— могут получить успех только на могилах русского народа, и для этого им нужно переплыть море крови своей и нашей». Вот это дельно, потому что тут доказательства налицо. А то «мы признаем»! «мы отрицаем»! Признаюсь, если б московские студенты по поводу этого заявления обратились ко мне за советом, то я проектировал бы им статейку совсем в другом роде, статейку, быть может, не столь красноречивую, но, льщу себя надеждой, более идущую к делу. Я написал бы:

«Мы, нижеподписавшиеся, студенты и слушатели императорского Московского университета, сим заявляем, что отнюдь не принадлежим к тому русскому молодому учаще-

муся поколению, на которое осмеливаются возлагать надежды враги России. В доказательство же, что это заявление с нашей стороны вполне искренно, мы вместе с сим подаем прошения об увольнении нас из университета и об определении в войска в качестве простых солдат».

И только. Желание очиститься от наносных слов было бы достигнуто, а вместе с тем и патриотическое чувство нашло бы себе правильный и не голословный исход. Но, может быть, вы думаете, молодые люди, что в солдаты идти неприлично, так разуверьтесь: служили же многие из ваших компатриотов в качестве солдат у Гарибальди, так неужто ж в своем-то собственном деле, и при таком отчетливом знании нравственных и исторических принципов русского народа, каким вы похваляетесь, послужить нельзя! Как бы то ни было, но я рекомендую себя гг. студентам на будущее время.

Еще одно замечание: что означают слова: «вручили редактору «Дня» для хранения»? На какой предмет хранить документ уже напечатанный? Или И. С. Аксаков завел при редакции своей архив чувствительных российских дел, в котором и объявил себя бессменным архивариусом?

Но как бы то ни было, достаточно или недостаточно само по себе это заявление, нельзя терять из вида, что оно делается людьми, едва вышедшими из детского возраста и впервые вступающими на поприще патриотических чувств. Сверх того, оно приобретает еще особенное значение в том отношении, что указывает на то общее настроение, в котором находилось русское общество по поводу событий в Царстве Польском.

Это настроение было весьма утешительное; со всех сторон стекались адресы с выражением пламеннейшей готовности и самых отборных чувств; от членов московского английского клуба до тех темных московских метеоров, которых прототип так удачно изображен Островским в его бессмертном Любиме Торцове, вся Россия негодовала и горела желанием сразиться; проекты следовали за проектами, тосты за тостами; даже так называемые ублюдки (русские Петерсоны, Иогансоны, Иозефсоны и т. п.) и те, наперерыв друг перед другом, предлагали проекты о введении единомыслия и спешили указать на вред, который от разномыслия происходить может; во многих местах устраивались патриотические обеды, и плодом их были телеграфические депеши, которые из разных концов России пересылались к князю Горчакову, к генералу Муравьеву и даже к М. Н. Каткову, с поздравлениями и поощрениями; даже московские тюремные дома (говорят, будто бы и трактиры, но я этому не совсем верю, хотя знаю, однако ж, случаи, когда веселые собутыльники, собравшись в трактире

и спросив себе шампанского, вдруг задумывались и, отменив сделанное распоряжение, жертвовали деньги в пользу раненых), и те почувствовали необходимость политических демонстраций, и попытка их в этом смысле сошла с рук довольно благополучно. «Никогда,— говорили по этому случаю «Московские ведомости»,— общественное мнение не выражалось в России ни так широко, ни так свободно»,— и я охотно этому верю, хотя, с другой стороны, не могу не поставить на вид почтенной газете, что относительно выражения патриотических чувств общественное мнение в России всегда пользовалось весьма достаточною свободой. В газете «День» некто г. Оптухин, малоархангельский обыватель, весьма язвительно назвал поляков «коллективною Мариной Мнишек», готовою из-за почестей разделять ложе с кем угодно, и изъявил предусмотрительную надежду, что ежели на будущее время встретится надобность рекомендовать полякам посетить восточную Россию, то они будут размещаемы в тамошних крепостях отдельно от командируемых туда же и для той же надобности русских, потому что, в противном случае, первые непременно заразят последних, и пойдет это у них «гей! надзея еще с нами!» и Мицкевичев краковяк. Это последнее замечание вызывает невольную улыбку гордости в русском читателе. В самом деле, как подумаешь, каких нет на свете смешных наречий и говоров! Возьмите, например, те же самые слова и переведите по-русски, выйдет: «да! надежда еще с нами!» ведь ничего! между тем по-польски... Господи! да одна эта ужасная «надзея» чего стоит! «Надзея»! ну-тко еще! «Надзея»! — ох, прах тебя побери! да тут животики от уморы надорвешь!

Поговорю несколько подробнее о проектах, потому что тосты выпиваются, обеды съедаются, а проекты остаются. Их было много, и все они останутся неоспоримым доказательством русской патриотической изобретательности. Летом мы едва успевали следить за ними: вчера был проект об учреждении обывательской стражи, сегодня — проект об устройстве крейсерства для перехватывания неприятельских купеческих кораблей, назавтра готовился проект об организации стрелковых сотен. Даже дамы и те спешили принести на алтарь отечества скромную умственную лепту, в виде проекта о неношении одежд из материй, производимых неприязненными нам государствами; даже вчерашние недовольные (так называемые те, которые причесываются à la mécontent [1]) и те наперерыв друг перед другом спешили представлять проекты чувств. Разумеется, в этих проектах не было ни тени подражания

[1] под недовольных.

иностранным образцам, но в этом-то именно и заключалась их сила. Разумеется также, что на поприще проектов всего более отличалась Москва, которая, впрочем, в качестве сердца России, уже исстари слывет закоренелою и даже очень затейливою прожектершею.

Как и следовало ожидать, наибольшим сочувствием публики пользовались проекты чувств. Во-первых, они общепонятны, во-вторых, не влекут за собой никакой иной жертвы, кроме жертвы сердца. Тут одно чистое пламя, один фимиам благовонный: все это доступно даже самому простому рыбарю. Составителям таких проектов (обыкновенно этими составителями являются самые, что называется, беспардонные либералы, которые очень рады случаю оправдаться) многие ставят в вину их крайнюю изменчивость; им говорят: еще вчера вы будировали, а сегодня лезете с чувствами. Но это явная придирка. Порицатели забывают, что на сем свете вообще нет ничего вечного, а все, напротив того, временное, непрочное и преходящее; а так как чувства, в своих проявлениях, следуют общим жизненным законам, то весьма понятно, что и они имеют характер временный и изменяются, смотря по обстоятельствам. Тем-то и красна человеческая жизнь, что все в ней в свое время и на своем месте делается: сегодня нам предстоит опасность — мы чувствуем и соединяемся; завтра нет опасности — мы перестаем чувствовать и начинаем будировать; послезавтра опять опасность — мы и опять восчувствуем, и опять соединимся. Так оно и идет у нас колесом. Тем страннее было видеть неодобрение проектов чувств со стороны «Московских ведомостей», которые сами по себе представляют не что иное, как пламя и фимиам. Этого, говорят они, мало; мало одних чувств. Гм... я очень хорошо понимаю, чего желает почтенная газета, но, с другой стороны, спрашиваю самого себя, имеет ли она право разбивать наши мысли и навязывать нам какие-либо иные желания, нежели те, которые мы сами имеем? Развращенная западною наукой (в лице великого развратителя Молинари), не причастная ни «жизни духа», ни «духу жизни», может ли она выдавать себя за обладательницу тайны наших хотений? Говоря по совести, ни того, ни другого права она не имеет. Мы выражаем свой «дух жизни» по-своему; мы не претендуем на изобретение пороха (я знаю: почтенной редакции именно хотелось бы, чтобы мы изобрели что-нибудь вроде пороха), но, взамен того, добродушны и гостеприимны; мы не вдаемся в разбор, откуда идут к нам наши невзгоды, но помогать (разумеется, устранению их) готовы. Смирение тоже своего рода сила, и сила великая; славянофилы недаром кичатся тем, что изобрели ее,

хотя кичливость их напрасна, ибо они не изобрели, а только открыли смирение, подобно тому как и Колумб совсем не изобрел, а только открыл Америку. С помощью смирения мы победим какое хотите иго; с помощью любви обольстим какого хотите врага. «Что с них взять?» — скажут наши супостаты и отойдут от нас прочь. Поэтому с проектами чувств надобно обходиться как можно осмотрительнее, ибо они составляют нашу гордость, наше единственное сокровище; ибо все прочее, что выходит из этой области, все, что касается собственно дела, уже выходит из сферы общественных пожеланий и составляет неотъемлемую принадлежность сферы государственной. Сами «Московские ведомости» могли в этом убедиться по поводу концессии Московско-Севастопольской железной дороги. По этому предмету почтенная газета начертала в прошлом июле прекраснейший проект чувств, и хотя впоследствии дело сделалось совершенно вопреки ее ожиданиям, однако это все-таки не мешает их проекту чувств остаться их прекраснейшим проектом. Стало быть, чем больше таких проектов, тем больше и пользы от них, хотя бы этой пользы по-видимому и не оказывалось.

После проектов чувств наибольшая популярность принадлежит проекту об устройстве обывательской стражи. Разумеется, мы совсем не желаем, чтобы обывательская стража была организована у нас на манер иностранных, так называемых национальных гвардий; нет, мы имеем в виду единственно облегчение трудов русского войска на время предстоящей опасности, а когда опасность пройдет, когда войска получат возможность возвратиться в свои постоянные квартиры, то мы, пожалуй, и разойдемся. Так как проект этот первоначально выработался в Москве, то весьма понятно, что он всего сильнее поразил тамошних «метеоров». Я слышал, что они положительно бредят им; вместо того чтоб увеселять гостинодворцев более или менее удачными подражаниями Садовскому в роли Любима Торцова, они облекаются в ризу воинственности и за пятачок серебра представляют, как будут стоять на страже общественного спокойствия с трещотками в руках (таким проказникам дать в руки ружья опасно). Слышно также, что не менее готовности выказывали по этому случаю и московские студенты: многие якобы даже справлялись уже, какие будут мундиры чинов обывательской стражи и чем они будут вооружены. Вообще, публика томилась ожиданием; не было недостатка даже в раздорах. Одних огорчало, что не будет конной стражи, других — что обывательская стража не будет делать походов, а только препровождать арестантов из городских частей в острог (но разве это

не поход?). Тем не менее все эти сетования и недоразумения утопали в одном общем чувстве ликования. «Метеоры» надеялись, что по этому случаю на кремлевской площади будут по праздникам ставить жареных быков и отдавать их стражникам на разорвание; учащаяся молодежь надеялась, что ей позволено будет не посещать лекций. Даже люди взрослые и, по-видимому, не пьяницы — и те были вне себя. Один мой знакомый писал ко мне по этому поводу из Малоархангельска: приеду в Москву и на собственный счет вооружу трещотками семь тысяч «метеоров»! Ясно, что если явится пять, десять человек таких доброхотов, то одна Москва в самое короткое время будет в состоянии выставить до семидесяти тысяч хорошо вооруженного войска. Что же могу рещи о прочей России, которой Москва составляет лишь каплю малую? Просто даже волосы становятся дыбом. Каково подспорье, но, главное, каково удобство! Понадобилось войско — есть войско; понадобились «метеоры» — стоит только обобрать трещотки, и вот они! Но я все-таки скажу: как ни завлекателен проект, но, по моему мнению, уж пусть будут лучше метеоры, потому что это будет явным признаком, что все обстоит благополучно, что смута кончилась и что Россия наслаждается вожделенным спокойствием.

Третий проект, тоже очень понравившийся,— это проект русской конституции, начертанной «Русским вестником» в 4-й его книжке за нынешний год. «Русский вестник» недоволен конституциями, существующими на Западе; по мнению его, народные представители в западных государствах имеют право вмешиваться в дела страны и даже контролировать действия исполнительной власти, а этого быть не должно. Поэтому он проектирует такую конституцию, которая, несомненно, подходит гораздо ближе к свойствам русского народа, и предлагает нечто вроде бессменно заседающего новотроицкого трактира. Это, конечно, недурно, потому что за порцией поросенка или за парой чая, конечно, всякое дело идет ходчее, нежели всухомятку, но, по моему мнению, если уж пристойно иметь такую конституцию, то еще пристойнее совсем никакой не иметь. Сверх того, при составлении этого проекта, очевидно, упущено из вида, что такою-то конституцией мы уж давным-давно пользуемся, ибо трактиров в Москве имеется несчетное число, и в каждом из них заседает достаточное количество сквернословов, охотников вмешиваться не в свои дела.

Гораздо менее популярен был четвертый проект: об устройстве правильного крейсерства для перехватывания неприятельских купеческих судов. Об нем вообще отзывались, что он слаб и скомпонован на скорую руку. Оттого ли, что мы, рус-

ские, вообще мало воды видим (к сожалению, на Переславском озере уж нет больше флота!), но нам как-то думается, что либо в Каттегате, либо в Скагерраке, либо в самом Ла-Манше, а уж где-нибудь да изловят нас. Вот если б можно было невидимкой проскользнуть сквозь все эти Каттегаты и Бельты, тогда, разумеется, было бы дело не худое. Но так или иначе, хорош ли проект или слаб, важность не в нем самом, а в той окрыленности, которую с каждым днем все больше и больше приобретает русская мысль. Прежде в подобных обстоятельствах только и слышно бывало, что «умрем поголовно!». Согласитесь, что хотя в этом было пропасть геройства, но вместе с тем было и что-то японское. Известно, что истинный японец (все равно что у нас славянофилы), желающий насолить своему врагу, распарывает себе ножом брюхо и умирает удовлетворенный. Конечно, это обида смертная, однако, к счастию нашему, мы начинаем уже понимать, что удовлетворения в этом все-таки никакого нет. И потому поднимаемся на хитрости. По моему мнению, самая чувствительная заслуга, какую оказала россиянам нынешняя редакция «Московских ведомостей», заключается именно в том, что она первая возвестила миру, что умирать никогда не поздно. Это нужды нет, что ее проекты мероприятий почти равняются умиранию, главное дать толчок русской изобретательности, а там оно и пойдет само собой понемножку. Пройдет смутное время,— глядишь, ан и впрямь умирать будет не нужно.

Наконец, был и еще проект — о неношении дамами платьев из иностранных материй,— но этот потерпел решительное фиаско. Ходят слухи, что он обязан своим появлением инициативе Н. Ф. Павлова, и я этому очень верю. Н. Ф. издавал до 13 июля в Москве политическую газету, но так как никто ее не читал, то он исполнял это дело с прохладою и, следовательно, остающееся свободное время мог легко употреблять на сочинение проектов. До какой степени приятно и лестно издавать политическую газету, которой никто не читает, доказывается тем, что, в то время как «Московские ведомости» выдали уже 118, а «Петербургские ведомости» даже 122 №№ (и куда это они так спешат!), Н. Ф. выдал своей газеты только 103 номера; стало быть, в первые же пять месяцев у него оказалось ровно 15 лишних воскресений, и в том числе одно *третие обретение главы Предтечи* (празднуется 25 мая, а 26-го «Наше время» не выходило). Мудрено ли, после этого, что от скуки начнешь сочинять проекты? Но, по малодушию русских дам, проект о неношении платьев остался мертворожденным, равно как и другой подобный же проект о непитии иностранного вина. Иностранные виноторговли ны-

нешним летом, по свидетельству достоверных лиц, процветали даже пуще прежнего, потому что изобилие патриотических чувств, по древнему русскому обычаю, вызывало изобилие тостов, а изобилие тостов, в свою очередь, вызывало изобилие чувств. Виноторговля питает содружество, содружество питает виноторговлю — так оно всегда бывает в сем коловратном мире, где и былинка малая может с гордостью сказать (разумеется, если бы могла говорить), что существование ее не бесполезно проходит для мира. Одно московское общество распространения бесполезных книг составляет в этом случае исключение, и в нем-то именно и нашел себе приют проект, приписываемый Н. Ф. Павлову. Мудрено ли, что при такой нечаянной обстановке он не возбудил в обществе никаких симпатий?

Оканчивая с патриотическими проектами и заявлениями, я должен сказать, что как они ни мало удовлетворительны, все-таки в них видно усилие человеческой мысли что-нибудь высказать, а не праздное и бесцельное переливание из пустого в порожнее, сопровождаемое неистовым выдавливанием из себя пустоцветов красноречия. Это последнее занятие решительно невыносимо.

Когда преподаватели реторик повторяют перед нами известное выражение *poëtae nascuntur, oratores fiunt*[1], то мы верим им на слово, верим по привычке верить всему, что ни скажут старшие. Однако опыт доказывает, что выражение это совсем неверно и что сделаться оратором, не родившись им, точно так же невозможно, как невозможно сделаться лгуном, не имея к лганью врожденного расположения. Сущность красноречия заключается в том, чтобы совершать несовершимое и прозревать туда, где ничего в волнах не видно; понятно, что для выполнения таких подвигов нужно, чтобы в этом принимала участие сила совершенно независимая, сила сама себя питающая и сама же себя поедающая. Такою силою и является именно красноречие или, лучше сказать, искусство вести такие устные и письменные беседы, которые выслушиваются и прочитываются с приятностью, но в которых между тем нет никакой возможности найти что-либо похожее на мысль.

Следовательно, фигуры и тропы, которым нас обучали в детстве, заключаются в нас самих. Наука в этом случае занимается констатированием факта, уже предсуществующего; она подмечает все реторические волдыри, которые таятся в глубине человеческого существа, называет их настоящими именами и говорит: вот этим волдырем ты можешь воспол-

---

[1] поэтами родятся, ораторами становятся.

зоваться таким-то образом, а вот этим — таким-то. Если ты, в сущности, не имеешь никаких чувств, ни дурных, ни хороших, но хочешь выказать возвышенную душу, то для достижения этого можешь прибегнуть к фигуре единоначатия и к фигуре усугубления; если ты нимало не остроумен, но желаешь показаться таковым, то можешь прибегнуть к фигуре умолчания и удержания. Так как фигуры эти живут в самом тебе, в той красноречивой сущности, которая заменяет для тебя и мысль, и чувство, то достаточно самомалейшего усилия, чтобы достигнуть желанной цели.

Например, если б я мое обозрение начал таким образом: «Не знаю, известно ли вам, читатели, какую эпоху переживает в настоящее время Россия?» — конечно, слова эти, с точки зрения внутреннего содержания, были бы пустым празднословием (кому же не известно, что Россия во всякое время какую-нибудь эпоху да переживает?), но если взглянуть на такой приступ с точки зрения красноречия, то он не только возможен, но даже заслуживает всяческого поощрения, ибо представляет совершенно правильную фигуру устрашения. Заручившись ею, я создаю для себя отличную рамку, которую могу сплошь наполнить произведениями моего реторического существа. Я могу сказать, например, что если вам это известно, то, конечно, вы не раз испытывали, не раз ощущали, не раз себя вопрошали (фигура взволнованной души); но с другой, ничто мне не мешает задаться мыслью, что это обстоятельство вам неизвестно, и в таком случае я получу возможность осыпать вас укоризнами и сказать, что вы оторваны от почвы и стоите корнями вверх (фигура патриотического уязвления). Обыкновенно это делается так: если вы петербуржец, то предполагается, что вам ничего неизвестно и что вы стоите корнями вверх; если вы москвич, то предполагается, что вам известно все и что вы не раз задумывались, не раз ощущали, не раз себя вопрошали и т. д. Все это, разумеется, с моей стороны не больше, как произвольное предположение, ибо я сам отлично хорошо знаю, что все это я выдумал, что вы, как и я же, стоите корнями вниз и что, наконец, вы, как две капли воды, точь-в-точь такой же россиянин, как и я сам; но я нарочно притворяюсь, что все сие мне неизвестно, потому что такого притворства требует моя реторическая сущность. Вы скажете, быть может, что такой образ действия равняется толчению воды; что он даже не похвален, потому что возводит на Северную Пальмиру обвинение в несуществующем преступлении; на это я отвечу: что же мне делать! Из меня так и выпирает тропами и фигурами: не проквасить же мне их, в самом деле, на дне взволнованной души!

Возьмем другой пример. Предположим, что я начинаю свое обозрение таким образом: «Милостивые государи! Русляндия заслоняет от наших глаз истинную, православную, святую нашу Русь», я опять-таки знаю, что и это я выдумал, что Русляндии никакой нет, что и Русь была да сплыла, а есть Россия, которую никто и ничто, по причине обширности сюжета, заслонить не может; но вместе с тем я знаю также, что такое начало наверное дает мне возможность со всею безопасностию поместить в моем обозрении и фигуру взволнованной души, и фигуру патриотического уязвления,— именно те две ужасные фигуры, которые преимущественно точат мое реторическое существование. И вот я начинаю пространно объяснять, что такое Русляндия и что такое Русь; из объяснений моих выходит, что Русляндия есть нечто такое, что заслоняет Русь, а Русь есть нечто такое, что заслоняется Русляндией,— больше, клянусь, ничего не выходит. Но это нимало меня не смущает, ибо, в сущности, я совсем не о том и забочусь, чтобы из моего красноречия что-нибудь выходило, а о том только, чтобы сказать несколько «жалких слов», и чтобы при этом состояло налицо самое красноречие. Я знаю, что всегда найдутся люди, которые ни одного жалкого слова без умиления проглотить не могут,— на них-то я и рассчитываю. Это люди тоже в своем роде красноречивые, но не могущие выражать свою реторическую сущность потому, собственно, что красноречие их, так сказать, бессловесное. Это моя любимейшая публика; я рассчитываю на этих бессловесных ораторов, потому что я, кроме того что оратор до мозга костей, есмь и пропагандист. Я пропагандист фигуры взволнованной души, формулирующейся фразой: «Не знаю, известно ли вам, какую эпоху переживает в настоящую минуту Россия», и фигуры патриотического уязвления, формулирующейся целым потоком фраз о различии Русляндии и Руси. В порывах моего пропагандизма, я не оставлю в покое даже малых тех, я посещу земные расседины, я сойду в ад, я пройду сквозь иго цензуры, но жив не буду, если не напою всех и каждого от струй моего красноречия.

О боже! да и двумя ли только приведенными выше примерами исчерпываются поводы для моего красноречия! Разве я не могу найти их на каждом шагу сотни и тысячи? Разве я, так сказать, не попираю их ногами? Прослышу ли я что-нибудь о секвестре, я буду до истомы приставать, исполняются ли правила о секвестре, я буду говорить о том, как это ужасно, что не исполняются, и по этому поводу опять обращусь к Русляндии, и опять докажу, что она заслоняет нашу древнюю, святую, православную Русь, в которой все сие ис-

полнялось. Это нужды нет, что мне положительно известно, что в этих делах Руслядия отнюдь не уступит Древней Руси православной, да и не об секвестре совсем тут идет речь, да и не желаю я его совсем, а вот подвернулась под руку именно эта, а не другая фраза, я и щелкнул; сначала щелкнул слабо, потом сильнее и сильнее и наконец заслушался самого себя. Попадись мне под руку другая фраза, хоть бы, например, такая, что секвестр имеет свои неудобства именно по растяжимости понятия, которое он в себе заключает, и т. д. (некоторые московские публицисты эту штуку очень хорошо поняли), я защелкал бы и на этот мотив и опять обратился бы к Русляндии, опять доказал бы, что она заслоняет собой нашу Древнюю Русь православную, где никаких этих секвестров не знали и слыхом не слыхали, а просто брали всякую штуку не спросясь.

Мало вам этих примеров, я могу, коли хотите, и слиберальничать. Чем кровь-то проливать, скажу я, лучше было бы спросить польский народ, чего он желает. Надеюсь, что фраза — первый сорт. Конечно, мне могут возразить: над какими это вы пустяками все убиваетесь! Как это спросить польский народ, да и кто его спросит? Но разве я не знаю, что все это пустяки и что спросить польский народ нет никакой возможности, однако не виноват же я, что мне в данную минуту пришла смертная охота спрашивать польский народ! Поймите, что здесь идет дело лишь о том, чтобы провести время, чтобы употребить в дело один из тех булыжников красноречия, которых запас я постоянно держу у себя за пазухой, чтобы по временам метать ими в русскую публику.

Главное заключается в том, что я вышел на ровную дорогу и могу, как паук паутину, беспрепятственно испускать из себя красноречие. Буду откровенен: хоть я и ратую против Русляндии, но, в сущности, она мне совсем не противна. Мне даже жаль, что она смотрит на меня искоса; я даже уверен, что это происходит от недоразумения, потому что дай она мне высказаться до конца, она увидела бы сама, что мы с нею желаем одного и того же. Чего я желаю? чего добиваюсь? Я желаю и добиваюсь для себя только одного: чтобы мне не препятствовали употреблять слово «Русляндия»,— что же может быть невиннее этого желания! Предположите даже, что это с моей стороны каприз, отчего же не допустить и каприза, если он никому не наносит вреда? Говорят, будто я смотрю как-то исподлобья, как будто чем-то недоволен, как будто желаю произвести какой-то «хаос-кавардак»! да поймите же, наконец, что это с моей стороны только будирование, что это просто милая шалость, результат желания занять какое-ни-

будь положение в обществе. Сегодня я будирую, завтра прихожу в восторг, послезавтра опять будирую, потом опять прихожу в восторг. На свете сем вообще нет ничего вечного, а все, напротив того, временное, непрочное и преходящее; а так как чувства мои, в своих проявлениях, следуют общим жизненным законам, то понятно, что и они имеют характер временный и постоянно идут колесом. Вот и всё. Опасности здесь никакой не может быть, ибо и будирования и восторги, в сущности, выражают лишь мой «дух жизни» — и больше ничего... Вспомните тех русских бар, которые во время óно отъезжали, за ненадобностью, в Москву,— разве они не будировали? разве не выражали они свою «жизнь духа»? но разве им запрещалось это? разве кто-нибудь опасался их?

. . . .

Не думайте, милостивые государи, чтобы все рассказанное выше было видено мною во сне: нет, хоть мне и самому казалось, что все это не больше как бессвязный сон, но я бодрствовал. Передо мной и до сих пор лежат номера «Дня», в которых все эти сновидения изложены в подробности, и даже называются руководящими статьями: «Москва. 11, 18 и 25-го мая»[1]. В каких-нибудь трех номерах газеты совместить столько реторической сущности — как хотите, а это труд громадный! Целых три дня беседовать с публикой, и не проговориться при этом ничем, кроме чистого красноречия,— как хотите, а это фокус, которому не было доселе примеров ни в черной, ни в белой, ни в голубой, ни в розовой магии! Это магия совершенно новая, а потому пускай она носит отныне название желтой.

Это жаль; «День» был грустен, но я любил его; в нем было нечто свежее, напоминавшее хорошо сохранившуюся средних лет девицу. Несмотря на достаточные лета, это девица еще неопытная, сберегшая во всей чистоте свои институтские убеждения; она во многом не отдает себе отчета и решительно не может себе объяснить, чего хочет и к чему именно стремится, но в то же время и во сне и наяву чувствует, что кто-то ее хватает, кто-то подманивает, а потому не хотеть и не стремиться не может. Это придает какую-то трогательную задумчивость всем ее движениям и сообщает ее

---

[1] Впоследствии «День» пространно рассуждал о том, как лучше поступить с Польшей, то есть отделить ли ее или оставить по-прежнему, и решил, что лучше отделить. На это пространно же отвечали ему «Московские ведомости», причем обе редакции называли себя «почтенными» и показали неслыханный пример галантерейного обращения. И ведь все это так серьезно, как будто и в самом деле их кто-нибудь спрашивает, как будто и впрямь они не афишки, а газеты! Проказники! (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

душевным помыслам то кроткое постоянство, которое заставляет ожидать жениха даже тогда, когда нет никакой надежды на его появление. Такой орган, от которого всегда пахло бы чем-то кисленьким, решительно необходим в литературе; он представляет в ней вечную нейтральную территорию, на которую по временам отрадно бывает вступить, как отрадно же бывает по временам вспомнить детские годы и сказать себе: да, и я был когда-то ребенком! и я когда-то картавил и лепетал «папа» и «мама»! Я никогда без умиления не мог читать краткие, но сильные premiers-Moscou[1], периодически появлявшиеся в заголовке «Дня», до той недавней минуты, которая, к удивлению моему, развязала ему язык. «Москва такого-то числа и месяца»,— так гласили эти руководящие статьи,— затем черта, затем «жених» — и ничего больше. Это было так оригинально и вместе с тем так невинно язвительно, что я долгое время был убежден, что это именно самая лучшая манера писать русские руководящие статьи. Во-первых, тут тонким образом дается знать, что я и рад бы, да не от меня зависит; во-вторых, читатель от этого решительно ничего не теряет. Ведь он наверное знает, что, за что бы я ни взялся, о чем бы ни начал говорить, роковая сила все-таки приведет меня к вопросу о различии Руси и Русляндии; следовательно, он может сочинять упражнения на эту тему и без моей помощи.

Оказывается, однако, что девица моя совсем не так невинна; оказывается даже, что она чуть ли не состояла в тайном браке с той самой Русляндией, о которой выражалась с тою невинною иронией, какую обыкновенно употребляют все вообще пожилые девицы, говоря о мужчинах: фи, противный! Да, именно так, потому что, если и теперь еще девица моя продолжает иронизировать насчет Русляндии, то я уже очень хорошо понимаю, что это совсем не ирония, а одна из тех стыдливых bouderies[2], о которых гласит русская пословица: «Милые бранятся, только тешатся». Иначе откуда бы взялось у них такое согласие в воззрениях и стремлениях? Откуда бы явилась, с одной стороны, такая полнота дерзновения, а с другой — такая полнота поощрения? Нет, как хотите, а тут что-нибудь да есть: тут есть, по малой мере, надежда на явный брак.

Но и за всем тем, мне жаль «Дня»; то есть мне не столько жаль его самого, сколько моей старой привязанности к нему. Мне даже и теперь кажется, что ежели он хорошенько взбун-

---

[1] московские передовицы.
[2] капризов.

туется и свергнет с себя иго красноречия, то будет даже милее той средних лет девицы, о которой я выразился выше с таким сочувствием. Мне кажется, что если он даст себе труд хорошенько размыслить, то непременно придет к убеждению, что эти переходы от будированья к восторженности и от восторженности к будированию не заключают в себе ничего поучительного, что здесь сегодняшняя восторженность служит лишь обильным источником будущих будирований. Он поймет, что нет той силы обстоятельств, которая могла бы столкнуть мысль (если только есть мысль) с того логического пути, на котором она стала. Он поймет... но нет, он ничего не поймет! Он не поймет уже по тому одному, что в раздвоении мысли именно и заключается та сила, которая позволяет ему быть красноречивым во всякое время. А так как, с другой стороны, красноречие составляет дело всей его жизни, то возможно ли желать, чтоб он отказался от этого дела и добровольно обрек себя на смерть? Нет, это невозможно, да и несправедливо. Я понимаю, что человек, принадлежащий к известной политической партии, может, убедившись в несостоятельности руководящих ею начал, отказаться от них, но к настоящему случаю это не относится. Ибо, скажите на милость, что ж это за партия такая,— партия красноречия? и куда из нее выйти, и с чем в люди показаться?

Я с намерением остановился на «Дне», потому что явление это в высшей степени характеризует время, которое мы переживаем и которое, по всей справедливости, можно назвать временем красноречия. Но путь этот, хотя и кажется издали усыпанным цветами, в сущности, есть путь погибельный и ложный, и общество, упорствующее оставаться на нем, скоро отвыкает от трезвой и прямой деятельности и приучается к преувеличениям. Поэтому литература, как представительница высших общественных стремлений, должна в этом отношении соблюдать особенную осторожность. Литература может поучать забавляя, но горе ей, если она будет забавлять поучая. Орган, который вдается в подобный промах, может, конечно, иметь своих диктаторов-приверженцев, но публика очень скоро оставит его в самом горьком одиночестве.

Когда человек сыт и доволен, когда дела или делишки его пойдут изрядно, то он почти всегда наклонен думать, что этой сытости и довольству не будет конца. Особливую в этом смысле способность оказывают люди, которые любят ловить рыбу в мутной воде и которым такое ловление несколько раз более или менее счастливо сходило с рук. Поприще свое они

обыкновенно начинают тем, что прикидываются лазарями, прилежно прислушиваются и приглядываются, но, обделавши с успехом два-три дельца, постепенно ободряются и в скором времени начинают ломаться и кривляться во всю мочь. Опираясь на свой успех, эти люди не только воображают себя великими и непобедимыми дельцами (а деловитость их в том только и заключается, что они умеют платки из чужих карманов среди бела дня таскать), но, к величайшему и всеобщему изумлению, сами приобретают даже какую-то олимпическую уверенность в своем бесспорном праве ловить рыбу в мутной воде. В порыве гордости они не прочь даже запутать и провидение в сотоварищи своих гнусненьких проделок. «Это мне бог послал!» — говорил мне однажды один мошенник, ловко ограбивший своего ближнего, и я совершенно убежден: во-первых, что он вполне верил тому, что говорил, и, во-вторых, что он отнюдь и не подозревал, что произвел грабеж, а очень наивно думал, что воспользовался только своим правом. Для этих господ общественное бедствие вместо праздника, а чужое несчастие вместо лакомого пирожного: все это мутит воду и позволяет им выплавливать рыбку за рыбкой, рыбку за рыбкой. Если судьи неправедны, если администрация злоупотребительна, если общество цепенеет под игом безгласности — все это им на руку, потому что потворствует их наглости, запугивая и систематически придавливая ту среду, в которой они действуют. Наружность эти люди имеют самоуверенную, глаза алчные и бесстыжие, нос поднюхивающий, рот широкий, череп непомерно толстый. Внутренние их свойства составляют: нахальство и полнейшее отсутствие сознания о различии, существующем между добром и злом. Пассивность общества поощряет эти свойства, доводит их до разврата, и даже до галлюцинации, и поселяет в них сладкую уверенность, что такому блаженству не будет ни препон, ни конца. Я знал одного такого господина. Пришел он некогда в Москву откуда-то из-под Воронежа, пришел пешком, и, что называется, без исподнего платья — и что же? послужил в комиссариате, и в каких-нибудь десять лет, с помощию одного нахальства, успел нажить себе несколько домов в Москве и значительный капитал. Теперь живет в Москве, пользуется общим уважением, называет мужиков хамами и ракалиями, занимает какую-то «благородную» должность и по временам даже будирует правительство. Замечательно, что это человек положительно глупый, что все проделки его пошлы и крайне незамысловаты и что все искусство здесь заключается в расчете на чужую честность или на чужую оплошность. Продает, например, этот господин свое имение и, при осмотре его, пока-

зывает покупщику чужой лес, или сдает съемщику фрукты в своем саду, получает с него задаток и приглашает в дом запить магарычи, а в это время нашустренный им садовник призывает баб и преспокойно себе собирает дочиста все фрукты. Штуки, очевидно, все незамысловатые, но этот человек до того возгордился своею подлостью, до того возвеличился тем, что всякий скорее спешил бежать от него, как от чумы или как от вонючей помойной ямы, что плыл по океану жизни, как оглашенный, на всех парусах и даже рулем править пренебрегал. Эта самонадеянность довела его, однако ж, до того, что он несколько раз был бит, но это бы еще ничего — и самый ловкий мошенник всегда рассчитывает на возможность побоев,— главное-то горе его заключается в том, что, с некоторым пробуждением общественного сознания, проделки его стали удаваться все меньше и меньше, и сверх того в сердце поселилось горькое предчувствие, что не всегда же будут судьи судить и рядить по усмотрению и что правде формальной, правде, опирающейся в своих решениях на одну букву, наступит же когда-нибудь и конец.

Бывало, встретишь его на улице, идет он весь в синяках, но веселый и бодрый.

— Ну что, Порфирыч, опять побили?

— Побылы (он малоросс и, в качестве угнетенной нации, вместе с остзейскими немцами, поляками, армянами, нежинскими греками и евреями, считает за долг надувать великорусов при всяком удобном случае; разница только в том, что остзейские немцы, армяне, нежинские греки и евреи надувают нас en gros[1], а поляки и малороссы, как братья по крови, en détail[2]).

— Что, видно, мошенничать-то уж туго приходится?

— Нычего.

И, сказавши это, смотря по расположению духа, или хихикнет от удовольствия, или же вздохнет потихоньку и прибавит: «Бог ему заплатыт за то, что побыл бедного человика!»

Теперь уж не то. На днях я его встретил: идет, по обыкновению, в синяках, но уже не хихикает, а как-то уныло и жалостно понуривает голову.

— Ну что, опять побили?

— Опять побылы.

И машет рукой, как бы желая сказать: «Это что! послушал бы ты, какую еще штуку со мной отмочили!» Мы идем некоторое время в угрюмом молчании.

---

[1] оптом.

[2] в розницу.

— Та не слыхалы лы вы, що там еще за гласность така? — спрашивает он наконец меня.

— А гласность, Порфирыч, такая вещь, при которой мошенничество хотя и возможно, но уже пользуется меньшими льготами, и притом требует значительного ума.

— Ну, так. А можно будет при этой гласности старые дела вновь начинать?

— Как не можно; разумеется, можно.

— Да що ж се такэ?

— Да уж там как знаешь, Порфирыч, а прошло твое времечко; ступай, Варвара, на расправу.

И этот человек, который еще так недавно верил в прочность земного счастия, который не мог пройти мимо чужого кармана, чтобы чего-нибудь не стянуть оттуда, которого нельзя было пригласить обедать без того, чтобы потом не недосчитаться серебряной ложки, теперь сделался меланхоликом и потихоньку ропщет на провидение. Мало того: он даже начинает заигрывать с тою самою гласностью, которой так боится, расспрашивает про нее, говорит: «От-то славна штука!», и по всему видимо, что изъявляет твердое намерение примоститься к ней. Но этого не будет, я твердо в том убежден. Почему я убежден в этом, я даже не могу себе объяснить, но верю, что чем более будет простора и света для всех, тем большую тесноту ощутят негодяи и жулики (sit venia verbo[1], как выражаются «Московские ведомости»).

Итак, есть же средство укрощать даже таких огнепостоянных мошенников, которых доселе не укрощали ни брань, ни побои. Это средство должно действовать на них тем погибельнее, что они его не предвидели, а следовательно, и не приготовились к нему. Разумеется, если б они были более предусмотрительны, если б не ослепляла их самонадеянность до того, что они горизонт своих надежд и желаний ограничивали только сегодняшним днем, то их никогда не оставлял бы вопрос: а что, если я попадусь? а что, если меня за эту штуку побьют? и сообразно с этим они обделывали бы свои дела с большею осмотрительностью. Тогда, чего доброго, они могли бы даже прослыть в общем мнении за людей, которые, быть может, слишком зорко и придирчиво блюдут свое право, но все-таки в чужие карманы не заглядывают, да, пожалуй, и примостились бы! Но провидение благо; оно казнит нахала его собственным же нахальством; оно лишает его всякой предусмотрительности и окрыляет его ложными надеждами. И таким образом, неслышно и неисповедимо уготовывает ему место в арестантских

[1] с позволения сказать.

ротах, где он может упражнять свои способности в более достойной его среде.

«Что же из этого следует? и к чему тут речь о мазуриках и жуликах?» — спросит меня изумленный читатель.

А из этого следует вот что:

1) что не все же говорить о людях честных и обыкновенных, а надо иногда потревожить и жуликов, надо и им сказать что-нибудь в назидание;

2) что не только так называемый жулик, но и всякий другой человек, как бы он ни был сыт и доволен, отнюдь не должен рассчитывать, что этому довольству и сытости не будет конца; это правило, которое не терпит никаких исключений и против которого мы, к несчастию, всего больше грешим;

3) что правило это в особенности обязательно для тех литературных витязей, которые, забывая, что все на свете переходчиво, рубят себе сплеча, что бог на сердце положит; эти люди не должны упускать из вида, что литература, как бы она ни была стеснена, не всегда же будет оставаться в безгласности и что клевета, в каких бы широких размерах и с какою бы бойкостью она ни производилась, рано или поздно, все-таки найдет себе неотразимое возмездие.

Затем, благоразумный читатель может вывести из моего рассказа и всякие другие заключения, какие ему заблагорассудится.

Я всегда с удовольствием читаю «Московские ведомости», с тех пор как они перешли в ведение новой редакции. Я люблю следить за прихотливыми извивами человеческой мысли, люблю наблюдать за ее ветреностью и непостоянством, и хоть мне всегда представляется при этом Марина Мнишек (благодарю г. Оптухина за материал для сравнений), которая, переходя от одного Лжедмитрия к другому, кончила самым злосчастным образом, однако я утешаюсь мыслью, что хорошенькая женщина и в несчастии все-таки остается хорошенькою женщиною, и если не подействует обаятельно на человека, обладающего изящными манерами, то наверное прельстит хоть грубого казака. Искусство выражать одну и ту же мысль на разные манеры и не изолгаться при этом вконец — столь любопытно, что может равняться разве искусству выражать совершенно разные мысли на один и тот же манер. В первом случае читателю кажется, что мысли как будто одни и те же, а между тем они как будто разные; во втором, что мысли как будто разные, а в то же время они как будто одни и те же. Закон, которому подобные мысли следуют в своем течении

(ибо в благоустроенном государстве на все свой закон есть), называется законом единообразия в разнообразии, или, что одно и то же, законом разнообразия в единообразии.

Милая ветреность и откровенная, непринужденная кокетливость — вот те драгоценные свойства, которыми эта почтенная газета уловляет в свои сети читателей. Она говорит читателю (особливо если-таки этот читатель сам подписывается, а не пользуется газетой от знакомых): не я обладаю тобой, о возлюбленный! а ты всецело царишь над моими помыслами! если ты думаешь, что дважды два пять,— прикажи! клянусь, никогда иная истина не омрачит столбцов моих!

Не дивись, что я черна,
Опаленная лучами;
Посмотри, как я стройна
Между старшими сестрами.

. . . .

Розой гор меня зови;
Ты красой моей ужален;
Но цвету я для любви,
Для твоих опочивален.

Целый мир пахнул весной,
Тайный жар владеет девой;
Я прильну к твоей десной,
Ты меня обнимешь левой.

Я пройду к тебе в ночи
Незаметными путями...

Вот как благоразумная редакция должна обходиться с своими подписчиками, а не то чтобы грубить и тем паче навязывать им свои мнения. Что же мудреного, что и подписчик не остается нечувствительным к таким ласковым речам, что и он, в свою очередь, пишет в редакцию страстные послания, в которых зовет ее «розой гор» и клянется, что «красотой ее ужален»?

Но и в самом непостоянстве этой газеты есть один предмет, к которому она обращается всегда одинаково, то есть с одинаковою злобой и ненавистью. Предметом этим служит русское молодое поколение, которое обвиняется в революционных тенденциях, которому приписываются всякие антисоциальные намерения, на которое, наконец, указывается, как на какое-то пугало, достойное омерзения. Беспрестанно возвращается газета к этому неистощимому источнику своих скорбей и опасений и своею бранью отравляет лишенные волос головы старых каплунов, ее читающих. Каплуны читают и разевают рты, словно туда посылают им любимые их катышки из грецких орехов с творогом; они читают и начинают подо-

зревать, что в собственных их недрах завелось какое-то растлевающее начало, что собственные их дети, молодые каплунята, перестали ходить к обедне, не признают властей и надругаются над священным правом собственности.

— Да ты точно не признаешь собственности, Мишук? — спрашивает старый, покрытый плесенью каплун молодого, еще не совсем оперившегося каплуненка.

— А что такое собственность, папаша? — в свою очередь, вопрошает каплуненок, ковыряя в носу и воображая, что собственность и невесть какое кушанье.

— Собственность, мой друг... ну, Христос с тобой! ступай, душенька, поиграй с сестрицами!

И старый каплунище вздыхает свободнее и долго ломает голову над вопросом, что такое приснилось во сне его любимой газете, когда она уверяла, что мальчишки задумывают перевернуть вверх дном любезное отечество? И какое она имела право производить междоусобие и смуту в мирных семействах, поселяя вражду между родителями и детьми? И как она смела дворянских детей «негодяями» и «жуликами» называть? И много еще других вопросов задает себе старый каплунище и в конце концов постановляет решение не подписываться на будущее время на «Московские ведомости», а продовольствоваться исключительно «Сыном отечества». Да этот исход еще самый благоприятный; другой каплун позадорнее, пожалуй, и сатисфакции от редакции потребует за то, что осмелилась кость от костей его «жуликом» обозвать.

Много на своем веку острых слов произнесла почтенная газета в назидание современному русскому молодому поколению, но, конечно, ни в ней, ни в «Русском вестнике» не появлялось ничего такого, что замысловатостью своей подходило бы к выходке, помещенной в 187 № «Московских ведомостей». Выписываю вполне это драгоценное произведение человеческой гидрографии.

Дело идет о том, что гражданская администрация в Польше состоит из изменников; по этому поводу, или, лучше сказать, без всякого повода, а просто потому, что она с некоторых пор считает своею обязанностию находиться в состоянии постоянного лая, газета считает нужным обратиться и к России и указать, что ей угрожало точно такое же зло, да, быть может, еще не перестало угрожать и в будущем.

Мы не раз приводили для примера положение, в котором находилась наша северная столица назад тому года два. России, при совершенном отсутствии революционных элементов в недрах ее народа, грозила почти такая же мистификация, которая разыгрывается теперь с большим успехом в Царстве Польском. Пусть читатели вспомнят, какие элементы, в течение

довольно долгого времени, господствовали над нашим обществом, развращая молодежь обоего пола. Нельзя без омерзения подумать, что эти элементы были близки к тому, чтобы превратиться в такое же подземное правительство, какое теперь властвует в Польше. Пусть русская публика вспомнит этот недавний позор России; пусть вспомнит она, под каким ужасным кошмаром находилось у нас целое здоровое и сильное общество; пусть вспомнит она, как поседевшие люди подличали пред двенадцатилетними мальчишками, считая их представителями новой мудрости, долженствующей преобразить целый мир, как воспитатель пасовал пред своим воспитанником, как профессор боялся выставить студенту балл, соответствующий его нахальному невежеству, как начальствующие лица и лица высокопоставленные трепетали того, что скажет о них помешанный фразер в Лондоне; пусть вспомнит она этих чиновников-прогрессистов, коммунистов и социалистов, которых такое множество расплодилось в России; пусть вспомнит она ту шутовскую и тем не менее печальную революцию, которую производили студенты на петербургских улицах и которая не осталась без серьезных последствий даже для всего министерства народного просвещения; пусть вспомнит она все те нелепости, безумства, весь тот неслыханный «нигилизм», который господствовал в нашей литературе, и эту непонятную терроризацию, посредством которой всякий мальчишка, наконец всякий негодяй, всякий «жулик» (sit venia verbo) мог приводить в конфуз самые бесспорные права, самые положительные интересы, наконец логику здравого смысла. Все это было так недавно, все это еще у всех на свежей памяти, все это еще и теперь не совсем замерло, все это, может быть, еще (да сохранит нас бог от этого позора!) отдохнет и очнется. Была же, значит, сила в этих ничтожных элементах; было же, значит, нечто такое, что давало им силу. Еще, казалось бы, один шаг, и у нас началась бы настоящая терроризация... Были же и у нас какие-то тайные общества, какие-то центральные комитеты, издававшие свои прокламации; получались же и у нас разными лицами подметные писания с ругательствами и всякими угрозами. В сравнении с русским народом, с этим великим, могущественным целым, все эти элементы разложения кажутся теперь ничтожною тлей, о которой стыдно говорить; но эта тля была же, однако, в силе, эта тля воображала же себя близкою к полному господству, и действовала же она с удивительною самоуверенностью. Что давало ей эту силу? Что внушило ей эту самоуверенность? Представьте себе, что вся эта наша революционная гниль сосредоточилась бы не в Петербурге, а в каком-либо другом городе; представьте себе, что все эти элементы разложения не находились бы ни в каком отношении к административным сферам,— и подумайте, что могли бы они значить и какое действие могли бы они производить? Они могли бы быть только предметом смеха. Что же заставляло всех опасаться, что же заставляло всех тревожно оглядываться, что заставляло всех конфузиться и пасовать? Не что иное, как лишь то, что все эти элементы возникали и развивались в Петербурге или под его влиянием; не что иное, как лишь то, что эти элементы действительно захватывали частицу власти и действовали ее обаянием на всех и на все. Многие в Петербурге полагали, что это земля русская порождает из своих недр элементы разложения, а земля русская, недоумевая, видела в этих элементах признаки какого-то нового порядка вещей, новой системы, которая на нее налагалась. Раскрыть недоразумения, распутать интригу, которая, пользуясь обстоятельствами, умела поддерживать эти элементы, давать им ход и сообщать им ту фальшивую силу, которою они так долго пользовались, внушая опасения даже самым серьезным людям, было трудно. Представим же себе на минуту, что наши высшие власти были бы такого же свойства и были бы точно так же поставлены, как польские власти в Варшаве,— представим себе, что вся наша администрация вдруг наполнилась бы такими

же неблагонадежными элементами, какими наполнилась вся администрация в Царстве Польском и которые не только не препятствовали бы развитию действий революционной организации, а, напротив, всячески способствовали бы ей,— и вот, даже без помощи ксендзов и европейской агитации, мы получили бы у себя явление совершенно аналогическое тому, которое происходит теперь в Польше. И у нас, пожалуй, стали бы вешать непокорных помещиков, отказывающих в контрибуции подземным властям, и у нас были бы жертвы, подобные Минишевскому, и у нас стали бы насильно загонять крестьян в леса, как уже, впрочем, и были к тому попытки. Нет сомнения, что в России подобная мистификация не могла бы продлиться; но смут и всякого рода бедствий она причинила бы не мало, и бедствия эти обрушились бы главным образом на мирные народонаселения.

Здесь никаких объяснений не нужно; каждый принадлежащий к современному русскому поколению, без всякого сомнения, с презрением отнесется к этому бессмысленному набору ругательств, но не забудет, однако ж, что органом этих ругательств постоянно является редакция «Русского вестника» и «Московских ведомостей». Здесь что ни слово, то ложь, что ни фраза, то смешение понятий; читая этот новый опыт словаря избраннейших ямских слов, невольно переносишься мыслью к тем блаженным временам, когда всякого человека, сочувствовавшего правительству, называли революционером, когда поголовно всех членов редакционных комиссий, включая в то число и покойного графа Ростовцева, называли «красными». Тут состоят налицо все виды ненависти и лжи: и намеренное обобщение фактов совершенно уединенных, и стремление поселить раздор между двумя поколениями, которые, в сущности, идут рука об руку, и тайное желание восстановить власти против целой части русского общества, при помощи самой безобразной и бессовестной клеветы.

И когда все это пишется! В те самые минуты, когда русское учащееся юношество, в лице своих представителей, студентов Московского университета, изъявляет торжественное намерение очиститься от клеветы и наветов, и с этою целью пишет такие трогательные и горячие заявления. И кем пишется! теми самыми, которые несколько лет сряду волновали это самое юношество и потом, увидевши всю бесплодность своих коварнических попыток и убедившись в стойкости молодого поколения, за это самое возненавидели его и ударились в противоположную сторону! Бедное юношество! если тебе так и придется сойти с поприща неузнанным и неоцененным?

Этот непрерывный процесс, который ведут с молодым поколением наши журнальные борзописцы, наводит меня на разные размышления. Ведь и они когда-то были людьми, и они во

что-то веровали, ходили, не шатаясь по воле ветров. Какая таинственная сила заставила их переродиться до того, чтоб утратить даже возможность постигать смысл проходящих перед нами явлений? Какое мрачное колдовство до того засыпало мусором их память, что собственное прошлое является перед ними точно чужое?

Думаю я, что происходит это довольно просто. Выше я сказал, что когда человек сыт и доволен, то он склонен думать, что этой сытости и конца не будет; нечто подобное повторяется и в настоящем случае. Когда человек молод, внутренняя сила еще ключом кипит в груди, он думает, что этой молодости, этой силе никогда и конца не будет. А так как всякой силе свойственна известная доля гордости и даже фанатизма, то вот и мечтается молодому человеку, что краше-то его, молодого, и на свете нет, и что уж если он что выдумал или сказал, так уж лучше той выдумки или слова никому ни выдумать, ни сказать не приводится. И идет оно таким образом до самых преклонных лет, и думается молодому человеку, что он все еще молодой человек, покуда вдруг не получит откуда-то щелчка в нос. Тогда является в первый раз потребность оглянуться на себя и проверить свое положение в той среде, в которой действуешь. Оглядываешься, проверяешь... оказывается, что кругом наросло что-то новое и притом до того действительно молодое, что не имеет надобности ни в фальшивых тупеях, ни в искусственных зубах. И это новое и молодое до того ново и молодо, что даже говорит другим совсем языком и думает совсем не ту думу, которую думали мы, прекрасные молодые люди сороковых годов. «Господи! да неужели же мы уж не молодые люди!» — робко подумывает пожилой молодой человек и внутренно оскорбляется даже одним предположением подобного рода. «Ах, мальчишки!» — вырывается из груди его невольное восклицание.

С этих пор он уж старик, и мысль его перестает развиваться даже в сфере тех начал, которые питали его молодость. Эта мысль все идет назад и назад и не успокоится до тех пор, пока не зайдет в самую трущобу. И тогда-то начинается действительная история человеческого грехопадения, история, которая была бы смешна, если б не имела в себе слишком много поистине жалкого и даже трогательного. Человек рвет фальшивый тупей свой и искусственными зубами хочет вцепиться в живой организм. В бессильной и дикой злобе глумится он над всем, что хочет жить, что жаждет истины и света. Само собой разумеется, что все эти неистовства остаются без результата, что естественного течения жизни не остановить не только искусственными, но и настоящими, здоровыми зубами, но кар-

тина одряхлевшего молодого человека все-таки поучительна. Трогательная сторона ее заключается именно в том бессилии, которое царит над нею; но так как, в большей части случаев, здесь примешивается еще злоба, то, в соединении с нею, картина уже приобретает колорит отвратительный.

Затем, оканчивая мою хронику, не могу оставить без нескольких слов ответа «Заметку для редакции „Современника“», напечатанную в «Отечественных записках» за июль месяц.

Быть может, читатель помнит, что в майской книжке нашего журнала, по поводу постоянного плача «Отечественных записок» относительно какого-то бомбо-отрицательного направления, а также по поводу совершенно прозрачных намеков, которыми в распространении этого бомбо-отрицательного направления обвинялся «Современник», мы просили г. Громеку, как объявившего себя редактором «Современной хроники», в которой означенный выше плач преимущественно производится, объяснить нам, на какие факты он может сослаться для подкрепления своих обвинений.

На наши скромные вопросы почтенная редакция ничего не отвечает. Взамен того она объясняет, что рассуждения ее о бомбо-отрицательном направлении имели совсем не тот смысл, какой нами им придан, и что г. Громека уполномочивает ее объявить, что он никогда не протягивал руки редакции «Современника» и не искал с нею сближений, но что редакция «Современника» не раз протягивала ему руку.

На это не лишним считаем, в свою очередь, объяснить почтенной редакции:

1) что толкованиям ее о бомбо-отрицательном направлении мы придали именно тот самый смысл, какой, вероятно, придан им всяким умеющим грамоте читателем;

2) что верность нашего понимания доказывается уже тем, что «Отечественные записки» сами объясняют свой поступок несколько запутанным и коснеющим языком;

3) что, впрочем, это последнее обстоятельство нам нравится, ибо обнаруживает в почтенной редакции решимость избегать на будущее время неосторожных намеков, которыми и без того достаточно безобразят нашу литературу московские публицисты;

4) что выражение «протягивать руку» употреблено нами в переносном и даже ироническом смысле; что затем, хотя нам положительно неизвестно, протягивала ли фактически и не в

переносном смысле редакция «Современника» руку г. Громеке (мы лично не имеем даже удовольствия знать его), но если бы это и было, то надеемся, что здесь нет даже самого малейшего повода для обвинения.

Сверх того, в «Заметке», о которой идет речь, есть следующая фраза: «Мы уверены, что каждый читатель, вникнув во всю тонкость этой литературной *передержки*, сам убедится, что отвечать нам на эти вопросы значило бы показать, что «Отечественные записки» лишены всякой способности гнушаться, подобно «Современнику», тем, что им представляется наиболее гнусным».

Полагаемся на здравый смысл наших читателей и предоставляем им отыскать ключ к этой загадке. Мы же решительно ничего тут не понимаем, но чувствуем, что здесь кроется что-нибудь одно из двух: или очень острое, или очень пакостное.

<VI. НОЯБРЬ 1863 ГОДА>

КАРТИНА ГЕ.— НЕСКОЛЬКО РАЗМЫШЛЕНИЙ О ТОМ, ЧТО ИСКУССТВО НЕРЕДКО ВЫЗЫВАЕТ НА РАЗМЫШЛЕНИЯ.— МИЛЫЕ ШАЛУНЫ, ИЛИ «НАШ АРСЕНАЛ МИРНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ОРУДИЙ».— ПРАВДА ЛИ, ДЕТИ, ЧТО ВЫ ПЛОХО УЧИТЕСЬ? — «НУ НЕТ, ПРЫГАТЬ Я НЕ СОГЛАСЕН!» — ВТОРОГО СОРТА ПОЛИТИКИ

Я вовсе не имел намерения беседовать с читателем о нынешней выставке Академии художеств. Во-первых, я совсем не считаю себя компетентным судьей в этом деле, а во-вторых, подобного рода отчеты вообще не входят в программу моих обозрений. Но было на этой выставке одно явление, до того сосредоточившее на себя общее внимание, что обойти его значило бы показать совершенное непонимание того общественного значения, которое оно в себе заключает. Это явление — картина Ге «Тайная вечеря».

Я не знаток в живописи; напротив того, признаю себя в этом отношении совершенно принадлежащим к толпе; но, быть может, именно поэтому-то картина и произвела на меня такое глубокое впечатление. Как все выходящее из ряда обыкновенного, картина породила множество самых разнообразных и противоречивых толков, но, к счастию, невежество мое спасло меня даже от поползновения прислушиваться к ним: все равно, как бы я ни прислушивался, все-таки ничего бы не понял. Если б я был знатоком, то, наверное, нашел бы в картине множество неисправностей; я сказал бы, например, что некоторые носы не довольно тщательно отделаны, что некоторым

складкам на одеждах дано не совсем соответствующее положение («посмотрите, сказал бы я, как г. Тютрюмов бобровые воротники пишет!»), что скатерть на столе носит признаки слишком современного происхождения и т. д. и т. д.; с другой стороны (тоже, если б я был знатоком), я мог бы указать в картине множество таких красот, которые для простого смертного совершенно недоступны; я сказал бы: посмотрите, как добросовестно задуман такой-то нос! как искусно кинута такая-то складка! как хитро рассчитано освещение! Но повторяю: благодарение богу, я не знаток, и потому все эти неисправности и достоинства ускользают от меня.

Мне нравится общее впечатление, производимое картиной; мне нравится отношение художника к своему предмету; мне нравится, что художник без всяких преувеличений разъясняет мне, зрителю, смысл такого громадного явления; что он не говорит мне при этом хвастливо в укор: «Благоговей перед моим трудом и молчи!», как делают многие из его собратий, а, напротив того, оставляет мне полную свободу размышлять и даже сам подает повод для разнообразнейших выводов и умозаключений. И кажется мне, что мы оба в этом случае правы: и художник, имевший в виду, при выполнении своей картины, преимущественно меня, простого зрителя из толпы, и я, зритель, приносящий мою искреннюю благодарность художнику за то, что он не оставил меня без поучения и вразумления. Художник имел в виду изобразить в своей картине совсем не ряд носов, поражающих разнообразием и красивостью; он имел в виду представить в живом образе величайшее событие, и представить так, чтобы толпа зрителей его поняла и чтобы смысл события не затемнялся никакими преувеличениями. Я, с своей стороны, очень рад, что нашелся наконец добрый человек, который написал картину собственно для меня, зрителя толпы, а не для знатоков-педантов, которые могут, если желают, уловлять правильность носов в других картинах, в изобилии находящихся на выставке, как, например, в картине г. Флавицкого «Последние минуты христиан, осужденных на растерзание хищными зверями», в картине г. Венига «Ангелы, возвещающие гибель Содома» и (о, истинное торжество прекраснейших носов!) в картине г. Плешанова «Блудница перед Иисусом Христом». Я рад этому, потому что очень искусно написанных картин не понимаю, и требую, чтоб художник относился ко мне доступным для меня образом, чтоб он если желает сделать меня участником изображаемого им мира, то не заставлял бы меня лазить для этого на колокольню, а вводил бы в этот мир так же просто и естественно, как я вхожу в мою собственную квартиру.

Что преувеличения не только не украшают, но положительно портят самые лучшие дела и намерения, это истина давно доказанная, это истина, в которой самый простой смертный убеждается на каждом шагу. Я знаю, например, одного критика, который, в сущности, очень прекрасный и искусный критик, но до сих пор никем по достоинству не оценен, потому собственно, что как только начнет о чем-нибудь говорить, так непременно залезет, подобно Хоме Бруту, в бурьян: никто его и не понимает. Знаю я тоже одну птицу, шилохвост называемую, птицу маленькую и худенькую, но одетую такими великолепными перьями, что издали кажется, будто и невесть что плавает по воде. Неопытный охотник видит эту великолепную птицу и с жадностью ее преследует: паф — ан там, кроме перьев, нет ничего! Та́к эту самую птицу никто и не ест, хотя, быть может, она вкусом никак не хуже любого кулика...

Все это не доказывает ли нам, что всякий, кто желает поучать и вразумлять толпу, должен приступать к этому без преувеличений, то есть не залезая в бурьян, подобно Хоме Бруту, и не одеваясь великолепными перьями, подобно шилохвосту? Все это не объясняет ли, что как бы ни был громаден и особен смысл известного явления, он вовсе не утрачивает ни своей громадности, ни своей особенности от того, что художник приступает к нему просто, с желанием проникнуться истинным смыслом его?

А для толпы некоторое вразумление и поучение еще очень и очень не лишне. Как только дело выходит из области интересов чисто материальных, она почти всегда находится в недоумении, если не в глубоком невежестве. Она очень хорошо усвояет себе смысл явлений, зарекомендовывающих себя непосредственными, осязаемыми результатами, но с недоверчивостью и робостью относится к таким явлениям, которые хотя шире и глубже захватывают основы жизни, но еще не подходят под положительные определения и представляют собой то, что известно под общим наименованием «стремлений», «мечтаний» и «предвидений». Толпа отчетливо понимает выгоды, которые представляют хорошо устроенные пути сообщения перед дурными, дешевизна производства перед его дороговизною, легкий налог перед тяжелым, но она положительно хлопает глазами и недоумевает, когда до слуха доходят такие выражения, как «свобода», «убеждение», «право» и т. п. Мне скажут, быть может, что такое свойство толпы служит лишь доказательством здравого ее смысла, препятствующего ей гоняться за призраками; что пускай, дескать, эти «стремления», «мечтания» и «предвидения» выработаются настолько, чтоб представить собой нечто ясное и определенное,— и тогда та

же самая толпа, наверное, усвоит их так же отчетливо, как и явления самые конкретные. Согласен: тут действительно есть здравый смысл, но это тот самый проклятый здравый смысл, который дает нам разгадку искалеченного существования каплуна.

Рассуждая подобным образом, мы забываем, что вопрос заключается совсем не в том, чего толпа чуждается (считает пустяками) и что̀ она принимает, а в том, имеет ли она право чуждаться, может ли она навсегда остаться при своей непосредственности, может ли обойтись без того, что в ее понятиях является не более как призраком. Что до меня, то я полагаю, что она таких прав не имеет и что непосредственность, которая ей так нравится, не может быть окончательным ее подвигом. А полагаю я так на том основании, что, несмотря на всю ограниченность целей, преследуемых массами, положение этих последних вовсе, однако ж, не таково, чтобы даже и те простые и будничные явления, в которых выражается их жизнь, можно было объяснить себе какими бы то ни было положительными законами; напротив того, эти явления, издали кажущиеся нам совершенно солидными, носят на себе все признаки колебания и случайности и в действительности, отнюдь не меньше самого отъявленного «мечтания», исключительно стоят на почве спекулятивной. Этот закон колебания сам по себе до такой степени силен, что подчиняет себе явления самые простые и, по-видимому, неизменяемые, невольным образом выдвигает толпу из состояния непосредственности и самодовольства, заставляет ее объяснять себе причины колебания и таким образом прямо вводит в сферу других жизненных вопросов, более обширных и глубоких. Но если этот процесс неизбежен, если он составляет необходимую принадлежность истории человеческого развития, то не лучше ли, если массы приступят к нему добровольно, а не вынужденно? Вот в этом-то смысле именно и необходимы те вразумления и поучения, о которых я сказал выше. И нет нужды, что при этом мы как будто хлопочем о распространении таких понятий, которые мы сами себе рационально объяснить не можем: мы не должны забывать, что делаем в этом случае то самое дело, которое в данную минуту наиболее соответствует насущным потребностям общества.

Возьмем для примера геройство. Конечно, само по себе это вещь очень сомнительная, потому что здесь издержки не только не окупаются непосредственными результатами, но даже кажутся совершенно бесцельными. Нормальное состояние общества вовсе не допускает геройства, потому что там не может быть повода, его вызывающего; нормальное состояние об-

щества предполагает не только удовлетворение всем законным потребностям человека, но и полное отсутствие всякой случайности, могущей нарушить общую гармонию, полную обеспеченность в будущем: к чему тут геройство? Но, с другой стороны, из всех известных нам общественных типов ни один, конечно (по крайней мере, со стороны внешних признаков), не соответствует в такой степени представлению об идеальном обществе, в какой соответствует ему именно жизнь толпы, с своею непосредственностью и самодовольством. И здесь есть своего рода удовлетворение, и здесь как будто представляется обеспечение против тех случайностей, которые так жестоко тяготеют над человеком, уже вышедшим из состояния непосредственности. Жизнь масс является сравнительно более легкою, но эта-то легкость именно и делает, что они ко всякому акту геройства относятся с некоторою игривостью. Они не прочь даже приравнять в этом случае человека толпы нормальному человеку и назвать геройство безумством. Вот здесь-то и следует образумить толпу, здесь-то и следует ей объяснить, что сходство, которым она так хвастается, есть сходство грубое и притом основанное на одних внешних признаках. Ей следует доказать, что то, что при нормальном состоянии общества представляется удовлетворением осмысленным и сознательным, то при эмбрионическом его состоянии объясняется скудостью и ограниченностью требований; что в первом случае является действительным обеспечением человека от наплыва случайностей, то во втором объясняется беспечностью и неясностью представления о будущем. А следовательно, друзья мои, если в первом случае геройство упраздняется совершенством и нормальностью самой общественной комбинации, то во втором оно упраздняется только силою вашей немощи.

Итак, несмотря на мнимую призрачность, действие известных понятий и представлений не только не может быть упразднено, но является совершенно необходимым до тех пор, пока жизнь не выработает достаточно материалов для другой, более положительной деятельности. Допустим, что это призраки, но призраки полезные, о которых необходимо напоминать толпе в особенности тогда, когда она поголовно шалеет и начинает думать, что сам черт ей не брат. В такие минуты человек толпы охотно прикидывается материалистом и еще охотнее смешивает материализм с чревоугодничеством. В такие минуты человек толпы имеет один только интерес: как-нибудь половчее выхватить из зубов своего соседа тот кусок мяса, который этот последний только что украл у другого соседа. В такие минуты толпа выделяет из себя целые легионы милых шалунов, которые совершенно искренно думают, что жизнь есть

не что иное, как веселая шалость вроде пословиц Октава Фёлье, и что так называемые убеждения с полным успехом могут быть заменены развязными манерами. Да, в такие минуты действительно нечто упраздняется, но это «нечто» есть именно тот характер человечности, который сообщает жизни всю ее цену и смысл. А на место упраздненного просто-напросто выступает на сцену темное хищничество...

Я вовсе не имею претензии утверждать, чтобы объясненные выше рассуждения имели непосредственную связь с картиною Ге, тем не менее совершенно справедливо, что и возможно, и совершенно естественно человеку предаться размышлениям при виде произведения столь трезво и серьезно задуманного. Картина Ге представляет у нас явление совершенно новое именно по совершенному отсутствию всяких рутинных приемов и приторно-казенных эффектов и по совершенно ясному отношению художника к изображаемому им событию. И такова сила художественной правды, что это отсутствие эффектов не только не умаляет значения самого события, но, напротив того, усугубляет его и представляет событие во всей его торжественной поучительности, во всей поразительной красоте.

Картина Ге изображает перед нами тот момент события, когда уже «Тайная вечеря» окончилась. Иуда удаляется; от всей его темной фигуры веет холодом и непреклонною решимостью; уход его сопровождается скорбью, недоумением и негодованием со стороны прочих присутствующих, но он лично, очевидно, уж стал на ту точку, когда оставляемый человеком мир не шевелит ни одной струны в его сердце, когда все расчеты с этим миром считаются раз навсегда поконченными. То, что, быть может, еще недавно было предметом глубокой внутренней борьбы и мучительных колебаний, в настоящую минуту уже не представляет никакого сомнения. Среди того мира, который он теперь оставляет, он и прежде чувствовал себя чужим; если он присоединился к нему и долгое время в нем оставался, то это произошло по недоумению, потому что он искал в нем осуществления своих собственных надежд и целей, которого, однако ж, не нашел. Да; вероятно, и у него были своего рода цели, но это были цели узкие, не выходившие из тесной сферы национальности. Он видел Иудею порабощенною и вместе с большинством своих соотечественников жаждал только одного: свергнуть чужеземное иго и возвратить отечеству его политическую независимость и славу. Все остальное, все прочие более широкие цели были для него пустым звуком, праздным делом, скорее препятствовавшим, нежели способствовавшим выполнению пламенной его мечты. Нет сомнения, что и он не без тяжелого чувства пришел к уяс-

нению своих отношений к этому чуждому для него миру, нет сомнения, что и тут дело не обошлось без споров с их внезапною непримиримостью и столь же внезапными возвратами, но как только он окончательно убедился, что мертвое и живое не могут идти рядом, то предстоявший ему образ действия обозначился сам собою. Не такой он был человек, чтобы оставить задуманное дело на половине дороги; он не мог стать в стороне и молча ожидать дальнейшего хода событий; в нем самом было слишком много содержания, чтобы на одну минуту допустить возможность подобного самоотречения.

Не знаю, до какой степени верно я угадал мысль художника в отношении к этой загадочной личности, но думаю, что если в моем толковании и есть погрешность, то она не существенна. По крайней мере, вся обстановка картины такова, что не только не опровергает моих догадок, но даже подтверждает их.

Зритель не может ни на минуту сомневаться, что здесь произошло нечто необыкновенное, что перед глазами его происходит последний акт одной из тех драм, которые издалека подготовляются и зреют и наконец-таки вырываются наружу со всем запасом горечи, укоризн и непреклонной ненависти. Все присутствующие в волнении; один из учеников Спасителя (апостол Петр) встал с своего места и, по-видимому, угрожает Иуде; другой ученик (апостол Иоанн) тоже преисполнен негодования; но в нем мысль об измене Иуды стоит уже на втором плане, главнейшим же образом она сосредоточивается на заботе о том, какое впечатление эта измена производит на любимого Учителя. Среди этой тревоги и волнения, с одной стороны, и совершенного равнодушия — с другой, фигура возлежащего за столом Спасителя поражает глубиною скорби, которой она преисполнена. Это именно та прекрасная, просветленная сознанием скорбь, за которою открывается вся великость предстоящего подвига.

Внешняя обстановка драмы кончилась, но не кончился ее поучительный смысл для нас. С помощью ясного созерцания художника мы убеждаемся, что таинство, которое собственно и заключает в себе зерно драмы, имеет свою преемственность, что оно не только не окончилось, но всегда стоит перед нами, как бы вчера совершившееся. Такой вывод не может не действовать на толпу освежительно. Погруженная до темени в свои крошечные, кропотливые интересы, не прозревающая далее завтрашнего дня, не умеющая себе объяснить ни вчерашнего своего довольства, ни сегодняшних страданий, она вводится, по-видимому, в тот самый мир, в ту самую среду, в которых она постоянно вращается, и в то же время чувствует,

что это мир ей чуждый, что в нем есть какие-то светлые черты, которых она не знает. Откуда берутся эти светлые черты? И что за причина, что для нее, толпы, они составляют явление необычное? Вот первые вопросы, которые задает себе толпа, и несмотря на то что это только вопросы, но в них она уже находит изрядную точку опоры для дальнейших исследований. Очевидно, что если б художник представил свою мысль в преувеличенном виде, то никогда не могло бы получиться ничего подобного этому результату. Толпа сказала бы себе: ну, это выше моего понимания, это превосходит мои скудные силы, и пошла бы себе безучастно прочь. Но как скоро художник осязательно доказывает толпе, что мир, им изображаемый, может быть, при известных условиях, ее собственным миром, что смысл подвига самого высокого заключается в его преемственности и повторяемости, тогда толпа чувствует себя, так сказать, прижатою к стене и не шутя начинает сознавать себе малодушною и виноватою...

Итак, твердить и напоминать массам, что жизнь еще совсем не так твердо сложилась, чтобы исключить необходимость и полезность тех отвлеченных представлений, которые в понятиях толпы неправильно слывут под названием призраков, далеко не излишне. Эти «призраки» приучают нас мыслить, разоблачают перед нами неустойчивость краеугольных камней, на которые мы привыкли опираться, и возбуждают в нас ту горячую жажду деятельности, которая составляет единственный разумный признак жизни, еще не установившейся и ищущей естественного своего ложа. В известные эпохи жизни идеализм, несмотря на всю спорность своего содержания, есть все-таки высшая и самая пригодная форма человеческой деятельности. Каково бы ни было в существе своем миросозерцание каждого отдельного человека, как бы ни было оно ясно и положительно, он прежде всего пропагандист этого миросозерцания, он прежде всего ищет приобрести ему прозелитов и в этом смысле не имеет никакого права отказываться от тех средств, которые предлагает ему идеализм. Даже фанатизм — и тот далеко не большее из всех разнообразных зол, которые могут тяготеть над обществом; самое горькое зло, самая безвыходная пагуба, это — отсутствие руководящей мысли, отсутствие убеждения... Не то общество самое близкое к погибели, которое вянет и задыхается под гнетом фанатизма, а то, которое, еще не живши, уже считает себя отжившим. Из фанатизма есть возможность выхода, фанатизм наконец сам себя изнашивает и истощает, из бессмыслия же нет другого выхода,

кроме ничтожества, и притом такого ничтожества, которое обманывает своим самодовольством и кажущеюся устойчивостью.

Общество мечется из стороны в сторону, тратит свои силы в бесцельных, конвульсивных движениях, но над этими движениями всецело господствует слепая случайность и полное отсутствие какой-либо связи. Это движения мгновенные, не имеющие ни прошедшего, ни будущего; здесь никто ни о чем не думает, кроме удовлетворения ближайших и самых простых потребностей; никто не видит далее своего носа, и не только не стыдится этой недальнозоркости, но даже считает ее за особенное достоинство. Это, дескать, положительный взгляд, это отличительная черта нашей эпохи! Не иметь идеала, чуждаться мысли, смотреть на жизнь с точки зрения исключительно плотоядной, вгрызаться в нее, как вгрызается в куски мяса обезумевший от голода хищный зверь,— вот качества, которые бесстыдно и самодовольно выставляет человек в подобные эпохи! и при этом не только не ощущает на лбу своем прикосновения позорного клейма, но даже одним своим появлением возбуждает в захмелевшей толпе неистовые и бессмысленные рукоплескания.

Я знаю, мне скажут, что я преувеличиваю и впадаю в лиризм по поводу призраков, мною же самим созданных. Я знаю, мне скажут, что никакое общество не может существовать без мысли, что даже те движения, которые на первый взгляд кажутся случайными, все-таки подчинены известному и притом очень положительному закону. Да, в этом возражении есть своя доля правды, но эта доля отыщется только тогда, когда мы будем смотреть на жизнь со стороны, в качестве наблюдателей, когда мы примемся группировать факты и объяснять себе их нравственный смысл. Но для человека, который относится к жизни не в качестве постороннего зрителя, а в качестве действующего лица, этой правды не будет. Человек, действующий в известной среде, чувствует и страдает, а не взвешивает и не наблюдает. Он мало находит утешения в том, что, в статистическом смысле, начало, под гнетом которого он мечется в жизни, называется не случайностью, а *законом* случайности, и что это такой же точно закон, как и всякий другой. Он чувствует, что не живет, а мечется, что среда давит и насильственно засасывает его в тину бессмыслия и бессилия случайности, и предоставляет отыскивать утешения и делать выводы тем хладным каплунам-философам, которые, с весками в руках, становятся у ворот жизни в качестве присяжных ценовщиков и то в одну чашечку прибавляют весу, то в другую.

Но, кроме того, никак не следует упускать из виду и то обстоятельство, что то, что мы нередко чествуем названием мысли, совсем и не мысль, а только скудный, первоначальный ее зародыш, который шевелится в человеке, потому что фаталистически навязан ему самой природой. Пример чего-то подобного мы видим в говоре диких народов; тут нет собственно говора, а имеются только элементы для него; тут даже слов почти нет, а есть только звуки, да и то не разнообразные. Какой же основательный лингвист назовет это языком? Точно то же и с мыслью... Но не нужно ходить так далеко: примеров зародышей мысли, ошибочно принимаемых нами за самую мысль, мы найдем множество около себя.

Обратимся на первый случай к нашей провинциальной жизни. Истинный, добрый провинциал, видя из окна своего соседа, торопливо пробирающегося по улице, непременно задает себе по этому случаю тысячу вопросов. Все-то ему хочется разрешить: и куда это так торопится сосед, и не готовили ли у него сегодня какой-нибудь диковинной кулебяки, и зачем на нем жилетка с мушечками, а не с клеточками (не идет ли, дескать, он к Амалии Ивановне?). Ответы, которые быстро следуют за этими вопросами, дают удовлетворение мнимое, однако же вопрошатель утешается ими, и утешается совсем не потому, что они помогли ему выйти из положения неизвестности, а просто потому, что своим качеством они совершенно соответствуют возбудившим их вопросам. Здесь случайная постановка вопроса и произвольное его разрешение не только ничему не противоречат, но даже представляют бесспорное удобство в том отношении, что заключают в себе, как в источнике, нескончаемую нить новых вопросов и ответов, которые хотя и ничего, в сущности, не возбуждают и не разрешают, но наполняют и разнообразят провинциальный досуг. Спросите любезного провинциала, где кроется причина его любознательности, что заставляет его интересоваться жилетом и панталонами соседа,— он, наверное, ничего не ответит на ваш вопрос; он даже отопрется и обидится; скажет: с чего вы это взяли? Я совсем не об соседе думал, я книжку читал. Ему совестно признаться, что панталоны и жилет соседа представляют именно ту живую изгородь, которою загорожена и угнетена его мысль. Ему совестно сознаться, что куда бы он ни обратил свое умственное око, везде оно усматривает (в действительном или в переносном смысле) панталоны и панталоны, какие бы ни делал разыскания в архиве своей памяти, но и там ничего, кроме панталон, не обретает.

Мы, люди, считающие себя прикосновенными к так называемым высшим сферам жизни, охотно издеваемся над любо-

знательным провинциалом и без труда признаем, что мысли его не суть мысли, но зачатки мыслей. Однако, рассуждая таким образом, мы этим миллионный раз доказываем только наше собственное легкомыслие и ничем не исправимую несообразительность. Потому что кто же может поручиться, что вблизи нас не найдется такого нахала, который скажет нам: «Да с чего вы, друзья, разгулялись так! да обратитесь же на самих себя, посмотрите, не переполнена ли ваша собственная жизнь теми же панталонными вопросами, по поводу которых вы так язвительно улыбаетесь!» И не знаю, поистине не знаю, что найдемся мы ответить на подобное внушение. Пожалуй (чего боже сохрани!), еще примемся рассуждать и убеждать, что мы и в самом деле мыслим, но ведь тогда мы сами накличем на себя беду и окончательно докажем, что по части мыслительных упражнений ушли совсем недалеко от любознательного провинциала. А потому мой совет таков: если кто станет нас угнетать подобными вопросами, то, во избежание скандала, такому буяну ничего не отвечать, а покраснеть и отойти от него прочь.

Сам И. С. Аксаков сильно встревожился этим обстоятельством. В 39 и 40 №№ «Дня», рассматривая наш «арсенал мирных гражданских орудий», он пришел к следующим плачевным результатам:

1) Что русское общество не может «выставить даже несколько сотен *честных* чиновников».

2) Что в 1854 году, при переходе русских войск через Дунай, покойный Хомяков, вместо того чтобы поощрить и спеть песенку вроде:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон...—

счел необходимым обратиться к Руси с следующей предикой:

Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!..
О недостойная призванья,
Ты призвана! Скорей омой
Себя слезами покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой...—

и что графиня Ростопчина, вместо того чтоб поблагодарить поэта за внимание и написать ему песенку вроде: «В горах я встретила черкеса», сочинила совсем другой романс, начинавшийся стихом: «Стыдись, о сын неблагодарный».

3) Что в одной из северо-западных губерний главный начальник края не находит исполнителей для своей мысли.

4) Что молодые люди (будучи, впрочем, как говорится, «добрейшими малыми») представляют собой собрание «дряблых космополитов».

5) Что в обществе нет сочувствия даже и к церковноприходским братствам.

6) Что недостаток гражданской честности лишает правительство возможности располагать «надежною исполнительною силою» и, наконец,

7) Что у нас, на Руси, «ума», друзья мои, мало, а вместо него накоплены початые и непочатые углы «энергии».

Итак, вот какие тяжкие обвинения взводятся на вас, о россияне! и кем же? самым прозорливым знатоком русской народности и жизни! Требуется ли от вас сотня, другая честных чиновников — вы говорите: людей нет! Говорят ли вам, что вы полны всякой мерзости,— вы отвечаете: «Стыдись, о сын неблагодарный!» — и продолжаете жить да поживать да детей наживать. Объявляют ли вам о церковноприходских братствах — вы говорите: «Это ты десять-то целковых у меня выманить хочешь — дудки!» Доказывают ли вам, что у вас ума нет, а вместо того есть какая-то распорядительность,— вы и тут находитесь и говорите: «А разве распорядительность-то хуже ума? да у нас Сила Терентьич распорядительностью-то целую губернию вверх дном перевернул и чин за это получил!»

Одним словом, вы кругом виноваты; и как ни оправдывайтесь, но обвинений И. С. Аксакова не опровергнете, ибо ума у вас доподлинно нет и к братствам вы воистину никакого сочувствия не имеете.

Что же в вас есть, мои милые? чем вы похвастаетесь перед любознательною Европой? что выставите ей напоказ? А вот, я вам скажу, что в вас есть: в вас есть шаловливость, в вас есть завидная способность жить шутя, администрировать забавляя, делать хорошенькие гадости и как можно меньше думать о том, что из этого выйдет. Вот арсенал, с которым вы можете щегольнуть на каком угодно смотру; вот руководящая мысль, которую можно уловить в тех конвульсивных, дремуче-темных движениях, которые вы неправильно чествуете именем жизни. Шалуны заполонили человеческую ниву, и нет того скромного, безвестного уголка, в котором они не оставили бы следа своей погадки, нет того честного сердца, в котором они не постарались бы поселить разврат... Этот продукт, который вы могли бы с заслуженною гордостью признать своим, о сограждане, если б и его вы откуда-то не заимствовали вме-

сте с прочими самоновейшими бездельничествами и другими полезными изобретениями.

Тип «шалуна» не новый; это произведение общественных нечистот, равно возможных во всех странах и во все времена. Как только запахнет в воздухе тлением, как только начнется брожение в накопленных веками кучах хлама (многие ошибаются, принимая это брожение за проявление жизни), так вслед за этими признаками, словно последнее слово разложения, необходимое для его санкции, появляются рои «шалунов». Под знойным ли и вечно голубым небом Италии, в более ли умеренном климате Франции, или около самых полюсов,— где бы ни происходила печальная история разложения, везде она найдет своих организаторов, философов, поэтов, панегиристов в лице «шалунов».

Но нельзя, разумеется, отрицать, что есть известные широты, под которыми шалуны приживаются гораздо солиднее и надежнее, чем под другими широтами, равно как есть и известные исторические эпохи, которые в особенности покровительствуют самозарождению шалунов. Нельзя также отрицать, что «шалун» южный имеет характер несколько отличный от «шалуна» стран гиперборейских и что мерзавец античный представляет множество таких сторон (преимущественно, впрочем, античность), которых лишен мерзавец времен новейших (un chenapan moderne[1]). Тонкость этих разновидностей весьма трудно уловить, ибо до сих пор еще никакой bureau central de statistique[2] не издал сравнительной статистики «шалунов», однако ж попытки в этом смысле не невозможны и даже не лишены поучительности.

Не может быть, например, сомнения, что южный климат с его благорастворением воздухов, с его вечно синим небом и изящною растительностью представляет гораздо менее благоприятных условий для сформирования настоящего, заправского «шалуна», нежели климат северный, с его бедною обстановкою, с его озлобляющими человека морозами и пр. Южный человек имеет нрав легкий и малососредоточенный; он не имеет нужды ни в тяжелой и дорогой пище, ни в теплой и дорогой одежде: две-три фиги и несколько устриц в желудке, на плечах алая курточка (образцы подобных курточек можно видеть на Большом театре), и он счастлив. Он порхает по дороге жизни, как мотылек, срывает цветы подлости шутя. Поэтому подлость его имеет характер ликующий, как окружающая природа, знойный, как тот солнечный луч, который его

---

[1] современный негодяй.
[2] центральное статистическое бюро.

согревает, и вдобавок почти бесплатный. Напротив того, северного человека все призывает к суровости и обдуманности; пищу его составляет мясо и жирные вещества, одежду — разнообразные шерстяные ткани и меха. Независимо от непосредственного крайне неблагоприятного влияния такой обстановки на дух человеческий, никак нельзя забывать, что приобретение всех упомянутых выше удобств требует денег. Поэтому северный человек сосредоточивается и обдумывает; он очень хорошо понимает, что в его положении не только не может быть речи о том, чтобы срывать какие бы то ни было цветы, но что, напротив того, он тогда только может считать себя обеспеченным, если успеет занятию своему дать характер ремесла. И вот он пуще сосредоточивается, пуще обдумывает, и в результате выходят у него шалости мрачные и хотя не блестящие, но зато благонадежные.

То же можно сказать и о различном характере шалостей в разные исторические эпохи. В древние, например, времена «шалость» составляла монополию немногих избранников, которые и пользовались ею почти безусловно. От этого древняя шалость всегда отличалась своею пряностью, и даже не лишена была смелости и грандиозности. Чтобы убедиться в этом, стоит только припомнить таких «шалунов», как Нерон, Тиверий, Калигула, Гелиогабал и т. п. Кому из новейших шалунов взбредет, например, на ум спалить Рим или ввести в римский сенат лошадь? Конечно, никому, ибо это шалость античная, не допускаемая ни мягкостью современных нравов, ни тем соображением, что гораздо выгоднее шалить хоть и не столь грандиозно, но почаще. Я знаю, мне могут сказать, что еще не так давно один городничий при проезде через город значительного лица сам зажег какой-то сарай, чтоб показать, как успешно действует у него пожарная команда,— чем не Нерон? И еще скажут мне, что, тоже недавно, один исправник вошел в земский суд с целой стаей собак,— чем не Калигула? Но я все-таки остаюсь при моем убеждении, что сарай не Рим, земский суд не римский сенат и собака не лошадь.

По мере того как смягчались нравы, смягчалась и шаловливость. Мало-помалу она перестает быть привилегией той или другой отдельной личности, а стремится захватить себе область более обширную, сделаться достоянием общим. Если не все общество, то, по крайней мере, изрядная его часть получает возможность жить шутя, администрировать забавляя и не думать о том, что из этого выйдет. Но чтобы достигнуть этой цели, шаловливость необходимо должна пожертвовать частью своей грандиозности, ибо на что же будет похоже, если все будут жечь Рим и вводить в римский сенат лошадей? Со-

знание этой необходимости существенно изменяет внешние признаки шалости, хотя намерения ее одни и те же и хотя сумма ее, разлитая в мире, даже значительно превышает ту, которая столь громко заявляла о своем существовании в мире античном. Является понятие о ловкости, являются робкие попытки показывания кукиша в кармане; наконец образуется целая наука, объясняющая тайны натуральной магии в доступном для публики изложении. Тайна жизни упрощается до того, что человеку самому наивному остается только подходить к источнику и черпать...

Итак, вот к каким результатам приводит нас краткий опыт сравнительной статистики по этой части. Тем не менее это только отступление, которое нужно было мне для того единственно, чтоб доказать, что тип «шалуна» вовсе не оригинальный русский тип, а только угаданный нами с свойственною нам прозорливостью и усвоенный во всех его существенных подробностях. Затем обращаюсь к прерванной нити моих размышлений.

Если б И. С. Аксаков был умереннее в употреблении тропов и фигур, если б он яснее указал, к кому, собственно, обращается его речь, и если б обвинения его не были несколько младенчески формулированы, то в них была бы своя доля правды. Действительно, в нашем обществе царствует замечательная пустота и мыслебоязнь, действительно, оно зарекомендовывает себя крайнею шаловливостью. Но не надобно забывать при этом: 1) что, употребляя слово «общество», мы получаем право разуметь под ним только ту часть общества, которая имеет возможность заявлять о своем существовании какими-нибудь действиями, а отнюдь не ту, которая вследствие разных неблагоприятных условий находится на степени резерва, на действительную службу еще не призванного; 2) что даже и в этой ограниченной сфере мы должны с крайнею осмотрительностью отделять те стихии общества, о деятельности которых нам или вовсе ничего неизвестно, или если что и известно, то это известное недоступно нашему пониманию. Это последнее непонимание происходит отчасти оттого, что все новое нарождается вообще довольно туго, окружается известными препятствиями и потому вынуждено бывает облекать свои действия некоторою таинственностью, отчасти же оттого, что мы, люди, выработавшие себе известный строй понятий, вообще враждебно относимся ко всему, что хочет перерасти нас, и, подстрекаемые этим чувством, не прочь иногда прибегнуть и к преувеличениям. Таким образом, простое стремление к свободе мысли нам кажется уже стремлением к анархии, вопрос о положении женщины в обществе сводится к вопросу о свободе сово-

купления и т. д. Являются даже особые бранные слова («ты нигилист», «ты космополит», «ты материалист»), которых смысла мы сами хорошо не понимаем, но которые имеют то достоинство, что против них нельзя даже возражать, ибо брань эта сама по себе считается геркулесовскими столпами человеческой мудрости, дальше которых шагать невозможно.

Итак, если я позволяю себе выражаться: «общество шаловливо», «общество озабочено клубничными помыслами», то обязан разуметь здесь именно то общество, которое действительно шаловливо и озабочено клубничными помыслами, а не какое-нибудь другое, которого я не знаю.

«Шалунов» развелось нынче очень много. Что проводить жизнь без размышленья,

Без тоски, без думы роковой,—

гораздо приятнее, нежели жить с головными болями от думы — это и для самого простого ума понятно, а потому естественно, что охотников до подобного развеселого житья очень довольно. Но никак не надо думать, чтобы подобное существование всякому доставалось даром: даром оно достается только избранным, большинству же стоит изрядных хлопот, преимущественно выражающихся в беспрерывных и изнимающих душу гимнастических упражнениях. Поэтому «шалуны» разделяются на два разряда: на шалунов естественных, которым все сие достается даром, и шалунов искусственных, выработавших себе шаловливость горьким и не всегда благодарным трудом. Сверх того, на шаловливость имеет большое влияние и возраст: молодой шалуненок выглядит совсем иначе, нежели древний, промозглый шалунище, да и шалости у них на уме разные, ибо первый имеет в виду исключительно лореток и шикарный костюм, второй примешивает к этим видам некоторые гражданственные соображения.

Естественный шалун всегда сын известных родителей, всегда достаточно обеспечен относительно материальных средств или, по крайней мере, имеет возможность делать долги, не заботясь об уплате их. Бывают, впрочем, примеры, когда и естественные шалуны не могут похвалиться ни известностью родопроисхождения, ни совершенною правильностью своих средств к жизни, но такие примеры встречаются преимущественно уже в преклонных летах, то есть тогда, когда какой-нибудь искусственный шалун, с помощью сугубых и мучительных усилий, доведет себя до такой точки, на которой все забывается, исключая шаловливости. Про таких людей обыкновенно говорят: «Посмотрите! из простых, а ведь какой шалун!» Бывали, сказывают, примеры, что даже из кутейников постепенно

образовывались очень милые естественные шалуны, и никто не думал напоминать им о происхождении.

Огражденный происхождением и материальными средствами, естественный шалун бывает по большей части очень мил. Состояние его духа всегда ровно, и отнюдь не страдает он приливом желчи, потому что ее нет. Он не снедается ни злобой, ни завистью, потому что знает наверное: в молодости — что красивый мундир, если б и хотел, то никакими ухищрениями не может уйти от него, в старости — что он непременно будет членом какого-нибудь правления. Он не смущается ни внутренней, ни внешней политикой, потому что уверен, что все эти дела обработают за него М. Н. Катков, А. А. Краевский и П. И. Мельников. С высшими он предупредителен, но не искателен, с равными любезен, но слюнявых поцелуев остерегается; с низшими вежлив и плавен, но не тривиален. Он приличен. Высший его идеал заключается в том, что, с какой бы точки видимого мира, с облаков ли, из ада ли, и кто бы на него ни посмотрел, всякий бы сказал: «Этакий ведь этот NN милушка!» Сообразно с этим он никому не залепляет глаза своею ученостью, и, напротив того, когда старшие шалуны, причмокивая и прищуриваясь, беседуют о какой-нибудь древней Агриппине-младшей (по учебнику Кайданова) или о новейшей Помпадур (по «Mémoires de l'Oeil de Boeuf»), то он прикидывается даже невеждою и почтительно спрашивает: что это за Агриппина и как она телом сравнительно с Florence, или с Fanny, или, наконец, с самой Шарлоттой Федоровной? Вообще по части наук он очень умерен (très discret). Из древней истории знает нечто об Ахиллесе, а именно что у него была пята, из средней истории о Готфриде Булльонском («вскипел Булльон, и в храм потек!»), из русской истории — что когда-то давно жили-были на свете le général Munich et le général Souwaroff[1]. В политической экономии он позволяет себе сомневаться, потому что знает по опыту, что как ни распложаются в Петербурге портные, но цены на сюртуки и брюки нисколько от того не понижаются и что, следовательно, экономический закон о спросе и предложении есть выдумка, ни на чем не основанная.

Тем не менее изредка встречаются и между «шалунами» ученые. Я знал, например, одного, который написал хорошенькое рассуждение «о византийском значении древней гривны» и получил за это премию; я знал другого, который написал шестнадцать страничек, под названием «Quelques mots sur le rôle de la noblesse dans l'histoire de la civilisation

---

[1] генерал Миних и генерал Суворов.

universelle»[1], но не получил за них ничего. Этих шалунов называли не иначе как l'auteur de la «Grivna», l'auteur de «Quelques mots»[2] и относились к ним с почтительною боязнью. Но это были только счастливые исключения; обыкновенно же шалуны предпочитают заниматься дипломатией.

В молодости естественный шалун специально занимается устройством английского пробора на голове, и в большей части случаев достигает самых блестящих результатов на этом поприще. Этим пробором и ограничиваются требования внутреннего его мира, ибо относительно всего прочего он успел уже разочароваться. Огурчик маленький, но уже сморщившийся, он успел отцвесть не цветя и пошел в семена, еще сам находясь, так сказать, в зародыше. Ничему он не удивляется, ничему не радуется, потому что все уж давно себе разрешил. Он еще в школе закуривался до тошноты, еще там узнал, что у женщины есть такие милые подробности, которые, вместе с французским языком, делают ее существом в высшей степени шикарным,— какая же мудрость может быть выше этой мудрости? Поэтому-то его сбить с толку очень мудрено. «Tout ça est bel et bon, mais tout ça — c'est des utopies!»[3] — говорит он по поводу чего угодно и при этом притворяется, будто и в самом деле у него бог весть как голову разломило от думы. Даже при встрече с полногрудой лореткой он как-то лениво и расслабленно кивает головой, словно и по этой части никакими новыми изобретениями его не удивишь. Нельзя сказать, чтоб он жил без идеи; нет, он имеет идею, но она в том именно и состоит, что никакой идеи иметь не следует. «Mon cher! нам не нужно идеи,— говорит он.— Идеи хороши для тех, кто в них нуждается, а мы сами по себе составляем идею, и, следовательно, для нас требуется только солидарность». Понять эту мысль довольно трудно, потому что тут, собственно, есть только зародыш мысли, но если вникнуть, то окажется, что зародыш этот довольно ехидный. Не поленитесь когда-нибудь наблюсти за улыбками молодого шалуна, за его пожатиями руки, всмотритесь в разнообразные оттенки тех и других, и вы без труда догадаетесь, что это за канальский зародыш. В этих улыбочках откроется для вас весь внутренний мир этой, если можно так выразиться, заживо разлагающейся души со всем ее непроходимым и наглухо замкнутым ничтожеством, со всем ее тайным высокомерием. Вы поймете, что здесь, как в гробу

---

[1] «Несколько слов о значении дворянства в истории мировой цивилизации».

[2] автором «Гривны», автором «Нескольких слов».

[3] Все это прекрасно, но все это утопии!

некоем, заключено тление целого мира, что было бы напрасно искать тут признаков жизни, потому что ей нельзя да и нет никакой надобности входить в какое-либо соприкосновение с этим заживо истлевшим миром.

По мере возрастания «шалуна», кругозор его хотя и не расширяется, но зато механически более и более раздается вширь и в высоту сфера его практической деятельности. Он получает возможность выказывать мыслебоязнь не только словом, но и делом. Трепет перед мыслью и лганье самое паскудное составляют все содержание, единственную поддержку этого вечно угасающего, но все еще не могущего угаснуть бессилия. Мысль самая простая, чувство самое законное служат предметом мучительных тревог и отгоняются как нечто докучное, незваным гостем врамывающееся в эту порожнюю жизнь, в которой именно потому так хорошо и жилось, что не чувствовалось никакой мысли. Даже патриотизм (уж на что кажется законнее!) и тот заподозривается, потому что и в нем чувствуется присутствие силы, носящей в себе семена развития, потому что и в нем слышится жизнь. «Шалун» инстинктивно поднюхивает эту силу, инстинктивно же сознает, что она подкапывается под его бессилие, и начинает исподтишка принимать меры к ее сокращению. Эта сила была нужна ему, но она была нужна лишь в той мере, в какой она служила его ничтожеству; но как только она начала выходить из заранее определенных ей берегов и заявлять претензию на что-то живое, существенное, то ясно, что нет никакой надобности в дальнейшем ее поощрении.

Но мыслебоязнь была бы сама по себе ничтожна, если б на помощь ей не являлась интрига, не та, о которой высоким слогом ежедневно беседует с своими читателями М. Н. Катков, а другая, гнусненькая, маленькая, упорно расставляющая свои сети на всяком месте, где слышится хоть что-нибудь похожее на присутствие мысли и чувства. Для того чтоб вести такого рода интригу, не требуется даже больших издержек со стороны ума; нужно только убедить себя, что право плотоядности есть высшее право в жизни, что нет на свете средств гнусных, коль скоро они ведут к утверждению этого права, и согласно с этим убеждением направлять свои действия. Все, что кажется нам выше той сферы, в которой мы прозябаем, все, что живет с нами рядом и в то же время живет не по-нашему и не чуждается мысли,— все это ложится на нас горячею укоризною и возбуждает в нас ненависть. И не потому совсем, чтоб это соседство влекло за собой какой-либо непосредственный ущерб для нас, а просто потому, что оно нравственно давит нас, что оно на каждом шагу служит нам безмолвною уликой

в том, что в нас не осталось ничего человеческого. Мы сами очень хорошо понимаем, что окончательно изолгались и избездельничались, праздно слоняясь по свету, но в то же время рассуждаем и так: разве какие бы то ни было обличения тут могут помочь? Нет, не могут, потому что обличение, как бы оно ни было праздно и мелко, все же должно ухватиться за какую-нибудь струну, за какой-нибудь признак, а мы именно тем-то и счастливы, что в нас ни струн, ни признаков нет. Следовательно, все, что прямо или косвенно обличает нас, все это принимает в наших глазах характер назойливости и возбуждает наше негодование. И вот мы начинаем интриговать. Мы интригуем сообразно с теми домашними умственными средствами, которыми обладаем; мы не идем открыто против врага, но стараемся как-нибудь обесчестить его; мы притворяемся его друзьями, мы выражаем ему наше удивление и преспокойно ведем его в те западни, которые расставляет ему наша незатейливая изворотливость. Мы рассчитываем даже на честность его; мы знаем, что ему и в голову не придет предусматривать те милые сюрпризы, которые мы подготовляем ему, и ведем да ведем себе полегоньку наши подкопы... И велика бывает наша радость, когда мы убеждаемся, что враг наш наконец свален, и притом свален самыми нехитрыми средствами — почти что с помощью одного лганья! Гвалт, бестолковое карканье стоном стоят над болотом, и долго потом хищное и озлобленное воронье передает из рода в род трогательную повесть о том, как мыши съели короля Поппеля.

Как будто бы король — огарок свечки сальной.

(Соч. Акима Нахимова)

Таковы шалуны естественные. Искусственные шалуны, если это возможно, даже хуже их. Над первыми тяготеют известные фаталистические условия, для избежания которых требуется много силы воли; последние принимают эти условия добровольно и даже добиваются их. В применении к ним даже название шалунов не точно; гораздо приличнее назвать их мерзавцами.

Искусственный шалун большею частью принадлежит к сонму людей среднего рода. Он или не знает своих родителей, или стыдится их; средства к жизни имеет ограниченные и всю надежду в этом отношении полагает единственно на самого себя, на свои способности. В молодости его соблазняет блестящая внешность естественного шалуна; его грызет зло и зависть при виде тех легких успехов, которыми пользуется в жизни его прототип. Тут, в этом заколдованном, радужном

мире заключается все, о чем дерзает мечтать его мысль: и златотканые одежды, и лоретки, и вкусные яства, и кутежи. Он дает себе слово втереться в этот мир, хотя бы он затворял ему свои двери, втискаться в эту привольную жизнь, хотя бы это стоило ему множества толчков, бесчисленных плевков и целой вереницы самых бесцеремонных оскорблений. Это народ по преимуществу бойкий и даже храбрый, но в то же время многострадальный.

Я знал одного такого господина; звали его Свербилло-Замбржицкий. Однажды рассказал он мне историю своих гимнастических упражнений: поистине это была история подвижническая!

«Фамилия моя,— так начал он свой рассказ,— очень древняя и знаменитая. С одной стороны, существуют достославные графы Свербиллы, с другой, всякому известно, какую завидную роль в всеобщей истории играли князья Замбржицкие. По-видимому, я мог бы быть покоен на этот счет (ибо если для составления моей фамилии два знаменитейших рода подали друг другу руки, то что же может быть лучше?); но в действительности это счастливое сочетание сделалось для меня источником величайших огорчений и мучительнейших досад. Дело в том, что когда я произношу перед кем-нибудь незнакомым свою громкую фамилию, то весьма естественно рождается вопрос: не родня ли я знаменитому графу Владиславу Свербилле и не племянник ли достославному князю Болеславу Замбржицкому? Сознаюсь откровенно, я всегда, при таких вопросах, чувствую страх и озноб вместе, потому что мне всякий раз приходится разуверять моего собеседника, и в то же время как бы просить извинения в том, что я не знаменитый и гнусный Свербилло...

Черт его знает, в самом деле, кто был мой papa! Всякий раз, когда я спрашивал об этом maman (a maman у меня была красавица и до самой своей смерти сводила с ума гвардейских офицеров!), она вместо ответа зажимала мне рот своими розовыми пальчиками и нежно меня целовала. Достоверно, однако ж, что я дворянин: в этом убеждает меня большая аквамариновая печать, на которой изображен герб моей фамилии. Щит разделен на две половины: в одной, на золотом поле, изображен черный лев, вставший на дыбы (герб Свербиллы), в другой, на серебряном поле, черный же орел с раскрытою пастью и распростертыми когтями (герб Замбржицких). Одним словом, все точно так, как и у моих знаменитых однофамильцев; только у меня прибавлена внизу еще надпись: «За усердие», которая, надеюсь, ничему не вредит.

Maman моя, урожденная Войдзицкая, вела жизнь самую приятную; имела прекрасную квартиру, великолепный экипаж и одевалась с такою роскошью, что самые гордые петербургские аристократки завидовали ей. Все это доставлял ей друг ее, престарелый князь Оболдуй-Тараканов. Поэтому воспитание мое было самое блестящее. Ничто огорчительное не поражало души моей, и я рос в полном неведении, есть ли на свете иные рубашечки, кроме батистовых, и иные курточки, кроме бархатных. Из дома я отдан был в лучшее заведение, в котором все внимание воспитателей было устремлено к тому, чтобы сделать воспитанников как бы вышедшими из рук творца, с прибавлением, конечно, милых манер. Разумеется, я употреблял все усилия, чтобы всегда находиться в обществе молодых князей и графов, однако ж не могу сказать, чтоб это обошлось мне без труда. С каким-то жгучим наслаждением (особливо в публичных местах) протягивал я руку графу Сереже Баламутову или князю Léon Шилохвостову, но иногда к этому наслаждению примешивалась столь же жгучая горечь. Помню, однажды князь Léon, находясь в мизантропическом расположении духа, не шутя пристал ко мне с таким вопросом: почему я в публичных местах всегда называю его «cher prince»? «А знаешь ли,— сказал он, заметив мое смущение,— ведь ты, скотина, это для того делаешь, что хочешь всем проходящим показать, что у тебя есть князь знакомый!» В другой раз граф Serge, за ужином у Дюссо, очень громко выразился: «А хотите, господа, я этому гнусному Свербилле...» И хотя он этого не исполнил, однако ж и намерение его не могло меня не огорчить.

Из этого вы можете видеть, mon cher, que tout n'est pas rose ici bas[1], и что для того, чтоб поставить себя как следует в свете, необходимы не только усилия, но и некоторые огорчения»...

Я не знаю подлинно, успел ли Свербилло-Замбржицкий поставить себя в свете как следует, но думаю, что успел. Эти господа народ покладистый. Скажите им: «Поди к такой-то Мальвине, передай ей то-то» — они пойдут и передадут; скажите: «Поди и напиши тотчас же доклад о высылке твоего отца в Туруханский край» — они пойдут и напишут; скажите: «Делайся публицистом» — они пойдут, сделаются публицистами. Нет для них в природе ничего сокровенного и недоступного; они даже Гибралтар возьмут, если князь Léon хорошенько об том их попросит; конечно, не приступом возьмут,

---

[1] мой милый, не все радужно в этом мире.

а как-нибудь проскользнут туда, потому что уж очень скользки...

«Шалуны» как естественные, так и искусственные кишмя кишат в этом мире и ловко подставляют ноги всему, что не смотрит на жизнь как на забаву. Они идут по дороге жизни подплясывая, они высовывают толпе язык, и в то же время ловко выкрадывают друг у друга изо рта лакомые куски, которые и стараются поспешнее проглотить... Это целая проклятая система, это целая проклятая каста, в которой трепещет и бьется один принцип — это неимение никаких принципов...

И, разумеется, если смотреть на «общество» именно с этой ограниченной точки зрения, если разуметь под этим словом только собрание шалунов, то нельзя не сознаться, что И. С. Аксаков прав. Это общество, конечно, не только не выставит нескольких сот честных чиновников, которых он так настоятельно требует, но просто не удовлетворит ни одному из семи пунктов его ультиматума. Скажу более: не вторгаясь в сферу гражданственности, в которой преимущественно витает знаменитый московский публицист (ибо она слишком для меня обширна), и ограничиваясь обыкновенною сферою человеческою, я полагаю, что такое общество не в состоянии выставить даже ни одного честного человека.

Но будто бы уж и нет кругом ничего, кроме порождений упраздненной мысли и пламенного чужеядства? Будто бы мир и в самом деле представляет собой такую пустыню, над которой свободно реет голодное и жадное воронье? Будто бы уж и надежды не имеется, будто бы жизнь иссякла в самых источниках, подсечена в самом основании? Воля ваша, а как-то не верится этому; скорее думается, что тут есть какое-то недоразумение...

Говорят, будто бы вы плохо учитесь, дети?

Один угасающий профессор прав с прискорбием повествовал: вы не поверите, сколько юридических кафедр остается праздными во всех университетах — решительно некем заместить! Один закатившийся начальник отделения рассуждал так: посмотрим! ну, и посмотрим, кого-то они на мое место посадят! Один обрусляндевший славянофил доказывал: вот я теперь соединился с Русляндией, а место мое в рядах славянофилов и до сих пор числится вакантным! «С.-Петербургские ведомости» с ужасом спрашивают себя: что̀, если наш корреспондент П. М. сломает себе руку,— кем мы его заменим? Московские публицисты думают: мы стары! мы умираем! кто-то, ах кто-то унаследует наше искусство?! «День» (№ 39) го-

ворит прямо: «Трагическое положение того общества, у которого, так сказать, нет молодого поколения, некем пополнять ряды убывающих деятелей!»

Все озабочены, все недоумевают. Чиновники говорят: нет больше шустрых чиновников! Философы — нет больше глубокомысленных философов! старики вообще — нет молодых людей! нет прекрасных молодых людей! Положение действительно «трагическое».

Но если это положение полно безнадежности относительно молодого поколения, то еще больше трагизма представляет оно относительно поколения угасающего, сходящего со сцены. Ведь это просто-напросто значит, что целый мир одно время был сплошь населен скопцами! Ведь это значит, что все эти созревшие и перезревшие «старички» ничего и никого, в течение своей долгой, многострадальной жизни, не обсеменили! Не хорошо.

Представляю я себе какого-нибудь престарелого станового пристава, который, умирая, желает передать кому-нибудь секрет своей административной науки. Не умереть он не может, потому что Кай смертен, следовательно, все люди смертны, а с другой стороны, он не может и умереть, не заповедав кому-нибудь своей науки, ибо ему, как в древности колдунам, сказано: дотоле не умрешь, покуда тайны своей достойному не передашь! Мечется становой на одре своем и просит смерти, как блага. «Кому я передам свою тайну,— вопиет он,— коли никто ее слушать не хочет! Неужто ж так-таки земля и не примет меня!»

Воображаю я себе также какого-нибудь профессора полицейского права, которому также заранее сказано, что земля не примет его, покуда он свою тайну не преподаст. Воображаю себе славянофила, воображаю московского публициста... «О, молодые люди,— восклицаю я,— хоть бы для того вы учились, чтобы дать сим людям возможность умереть поскорее!»

Что же вы делаете, дети? Я, чай, все в деревянный домик около почтамтского мостика да в гостиницу «Синоп» ходите? Нет, отвечают старички, там их не видать, ибо там мы сейчас же могли бы преподать им нашу тайну. Туда ходят молодые «шалуны», которые и без нас нашу тайну знают, а молодое поколение говорит: нам туда ходить некогда, не на что, да и незачем.

Или, быть может, вы скромно сидите себе по домам и утешаете родителей не столько успехами в науках, сколько благонравным поведением? Нет, отвечают родители, если б они сидели с нами, то мы, конечно, преподали бы им нашу тайну;

а то с нами сидят только молодые «шалуны» (да и те больше волочатся за кузинами), которые и без нас нашу тайну хорошо знают...

Но, может быть, вы гуляете по Невскому и заглядываетесь на разложенные за стеклами пирожки? или секретно клеите по домам картонки и коробочки? или слишком неумеренно посещаете те скромные убежища, на дверях которых красуется надпись: «Навынос и распивочно»? Нет, ибо и тут старички могли бы устигнуть вас и преподать вам свою тайну!

Наконец, я начинаю запутываться и теряться в соображениях.

— Эге! да тут целый роман! — невольно восклицаю я.

— Нечего тут теряться в соображениях! никакого тут романа нет!— прерывает меня угасающий профессор.— Просто мальчишки...

Престарелый ученый наклоняется к моему уху и шепотом произносит окончание своей фразы, которое, однако ж, я не нахожу препятствия повторить и вслух. Он говорит:

«Просто мальчишки занимаются политикой!»

Гм... политикой! Однако это нисколько не выводит меня из недоумения, а только повергает в еще большее. Политика, думаю я,— ведь это та же философия, то же правоведение; все эти искусства стоят на одной почве, выходят от одного корня; все они одной матери дети! Отчего же молодые люди небрегут философией и презирают правоведение, а политикой занимаются?.. Нет, тут что-нибудь да не так! Что ж это за политика такая, которой предается молодое поколение, не занимающееся ни правоведением, ни философией?

И действительно, когда я подробнее начал расспрашивать моего престарелого друга, то оказалось, что эта политика совсем не политика, что тут и помина нет ни о чем возвышенном (что, собственно, и составляет сферу политики), а просто идет речь о тех обыкновенных, житейских делах, о которых доныне было принято говорить и писать так называемым низким слогом. Что это за дела такие, об этом я когда-нибудь сообщу читателю на прохладе, теперь же исключительно займусь исследованием вопроса, отчего дети не учатся, и хорошо ли они делают, что не учатся.

— Ведь они нашу-то науку и за науку не признают! — продолжал мой ученый друг взволнованным голосом.— Они говорят, что это совсем не наука, а кляуза, и что самый университет — совсем не храм наук... грустно!

— Но почему ж они говорят так, друг мой?

— А потому, мой друг, что, дескать, ваша наука восемь тысяч лет живет, и все-таки толку от нее ни для кого ни на во-

лос не оказалось... Ну, да ведь они это только так говорят! в сущности же им просто учиться не хочется!

— Однако ведь в том, что они говорят, есть и доля правды...

— Кто̀ говорит? но ведь поймите: нельзя же все вдруг! разве мало сделала в это время наука? разве не освободила она человеческую мысль? разве не упразднила произвол? разве не определила, не уяснила, не утвердила на незыблемом основании право собственности?

— Теперь ей предстоит только освободить человеческую личность — и все будет готово.

— Теперь ей предстоит освободить человеческую личность — и все...— машинально повторил было за мной разгорячившийся друг мой, но спохватился, посмотрел на меня довольно пристально, взял шляпу и вышел, не простясь со мною.

Как видится, дело разыгрывается не на шутку. Потрясается величественное здание науки, жертвенник, на котором воскуряли фимиам Неволины, Кошанские, Леонтьевы, Никиты Крыловы, Рожественские, братья Баршевы и Юркевичи, упраздняется; самое место, на котором они совершали свои возлияния, мало-помалу зарастает крапивой; плошка, которая стояла на этом жертвеннике, потухает и распространяет чад; прохожие зажимают носы, животные в смятении...

Сколько я мог понять из объяснений почтенного моего друга, дети оттого не хотят заниматься науками, что не считают их таковыми, а считают лишь краткими и отчасти пустопорожними словесными упражнениями. С этим я, однако ж, никак не могу согласиться; во-первых, это вовсе не детское дело рассуждать о том, что наука и что не наука; во-вторых, каких же вам еще наук надо? и в-третьих... но о том, что следует в-третьих, необходимо поговорить поподробнее.

Предположим, дети, что вы правы и что та наука, которой вы не хотите учиться, совсем не наука, а пустопорожнее словесное упражнение, что она восемь тысяч лет что-то мнет да мнет, и все-таки ничего не вымнет, все добра от нее никому нет. Допустим, что даже мой почтенный друг, угасающий служитель этой науки,— и тот потихоньку согласится с вами (особливо если при этом не будет ни начальствующих, ни командующих на заставах лиц), но разве этим все сказано? разве здесь разрешение вопроса?

Нет, разрешение вопроса не здесь. Я знаю очень много наук; я знаю даже науку, которая утверждает, что земля на трех рыбах стоит, и что царь Фараон каждую ночь из Чермного моря выходит. Согласитесь, что это наука очень поверх-

ностная, что это даже почти совсем и не наука; однако есть же общественные сферы, в которых и эта наука действует и в которых преподаватели оной слывут мудрецами. И вот я, считающий себя выше этой науки, являюсь в среду, которая ее признает, и даже не являюсь совсем, а притягивает она меня к себе сама, и начинаю с омерзением говорить: какую это вы всё чушь городите! ну, есть ли в том здравый смысл, чтоб земля на трех рыбах стояла! Но это еще с моей стороны милостиво, если я так говорить стану,— гораздо благороднее и величественнее будет, если я совсем не скажу ни слова и отойду прочь от этой полоумной толпы, которая верит в каких-то трех рыб и не знает, что земля кругла и несколько сжата около полюсов. Какой результат будет подобной моей деятельности?

А результат в обоих случаях будет вот какой: толпа не поймет ни моего восклицания, ни моего молчания, а будет себе веровать да веровать, что земля именно на трех рыбах стоит. И много погибнет человеческих голов жертвою такого верования, и долго придется потом их скоблить, чтоб соскоблить эту трехрыбную золотуху, этот фараонов нарост... Конечно, для меня, собственно, это ничего, что будут их там скоблить и стругать... ушел себе в кабинет и мыслю там, вместе с Неволиным, что мир совсем не на трех рыбах стоит и что, напротив того, существо веществ заключается в союзцах, союзах и союзищах, которые, постепенно развиваясь и разрастаясь, берут в полон всю вселенную. И так все это в моей голове ясно и отчетливо разрисовывается, как будто передо мной ландкарта лежит, и все это там начерчено. Этот хорошенький, уютный мир, в котором я заключился, кажется мне миром совершенно особым от того, в котором рассуждают о царе Фараоне; в порыве самодовольства я готов заключить, что между мной и им нет ничего общего, что даже чуть ли не проведено тут что-то вроде маленькой стены. Но с другой стороны, если я начну размышлять, то очень скоро увижу, что совсем здесь никакой стены нет и что даже нас связывает нечто общее. Это связующее начало есть именно тот человеческий облик, который ношу я, утверждающий мир на разных союзах, и носят те, которые утверждают мир на трех рыбах. Он, этот облик, против воли моей, вызовет меня из моего замкнутого уютного мира и кинет в тот мир грубости и пошлости, к которому я так небрежно относился; а кинет он меня потому, что я со всеми своими союзами все-таки ничего не поделаю, а они, эти фараонолюбцы, несмотря на свою пошлость и грубость, все-таки нечто делают. И увижу я тогда, что, покуда я занимался моими «союзами», фараонова вера успела заполонить мир; что

мне не только протестовать против этого, но и объясняться уж не приходится, что меня даже никто не спрашивает: почему ты в трех рыб не веришь? — а просто говорят: да как ты смел в трех рыб не верить?

И потому, если я мил и умник, то никак не скажу фараонопоклонникам: «Какую вы, дурачье, чепуху несете!», а равным образом и не отойду от них прочь, а, напротив того, ласковым манером выведаю от них, что и как, откуда взялось такое мудреное учение и в чем оно состоит. Это последнее обстоятельство особенно нужно, потому что происхождение учения всегда имеет большое влияние на дальнейшие судьбы его. Выведавши все, как следует, я ознакомлюсь со всеми подробностями учения и постараюсь поразить его в собственном его убежище и собственным его оружием. Например, я спрошу: кто видал этих трех рыб? и доведу до сознания, что никто; потом спрошу, почему здесь предполагается три рыбы, а не три коровы, и доведу до сознания, что это так, нипочему и т. д. и т. д. И когда таким образом, постепенными мерами, я доведу моего собеседника до того, что он мне скажет: «Да ну тебя к черту!» — тут я его и огорошу моими «союзами». «Это, мой друг, все вздор, что до сих пор тебе глупые люди врали,— скажу я ему,— а вот ты послушай, какие «союзы» бывают!» И начну я тут перед ним канитель тянуть, и буду тянуть ее до тех пор, покуда он глаза на меня не выпучит: верный признак, что я поставил его мысль в полное соответствие с моей. И я уверен, что он не только поймет меня, но даже сам ко мне раз десять придет и все будет просить, чтоб я с ним об «союзах» побеседовал, потому что очень уж это для него занятно. Этим путем я непременно приобрету успех: во-первых, потому что смирил свою гордость, а во-вторых, потому что соблюл постепенность.

Теперь перенесемся мыслью в другую сферу, в ту самую сферу, в которой находитесь вы, дети. Тут дело идет уже не о трех рыбах, а об идоложертвенном светильнике, возжженном рукою Кошанского и поддерживаемом его прозелитами. Вы говорите, что этот светильник так же чадит, как и тот, который освещал учение о выходящем по ночам из моря Фараоне: так докажите же это, и если можете, то затушите его. Признаюсь откровенно, я сам человек старинного века, но сердце у меня доброе, и детей я люблю. Когда я вижу, что около меня резвятся дети, мне так и хочется их чем-нибудь поощрить и показать им какую-нибудь новую штучку, которой они не знают. «Душеньки! говорю я им, если вы хотите, чтоб папаша дал вам ляльки, то просите ее тогда, когда мамаша ему чем-нибудь угодит!» Или: «Душеньки! вот ужо после обеда папа-

ша почивать ляжет, а мы в то время ляльку и унесем!» И те «душеньки», которые меня слушаются, бывают счастливы, а те, которые не слушаются, часто остаются без обеда и подвергаются телесным наказаниям, даже не всегда заслуженным. Так точно и тут: если вы желаете затушить старый светильник и возжечь на место его новый (смотрите, масло-то у вас есть ли?), то войдите в наше капище ласково, тихим манером расспросите, кем, когда и по какому случаю возжжен наш светильник, разузнайте доподлинно, что именно он освещает, и потом, улучивши минуту, задуйте его. Ибо в мире сем не одна сущность дела роль играет, но и манера.

А потому все можно, говорю вам: если становой пристав будет открывать вам тайну свою — примите ее; если канканист Фокин будет вам открывать тайну свою — примите ее. Чем больше будете вы знать тайн, тем скорее попадете в капище и тем удобнее будет для вас завладеть светильником...

Как-то на днях гулял я по Невскому; вижу: передо мной идут рядом старец и юноша и ведут разговор.

— Ну нет, прыгать я не согласен! — говорит старец.

— Однако, ваше превосходительство...

— Идти вперед спокойно, но твердо — на это я готов; но прыгать... нет, прыгать я, слуга покорный...

— Позвольте мне сказать, ваше превосходительство...

— Знаю, что̀ вы будете говорить мне, молодой человек! и заранее отвечаю: прыгать я не согласен и не согласен!

Некоторое время собеседники идут молча. Первый опять задирает старец.

— По-моему, так: если задумал реформу, начни сперва с одного уезда. Сделал? хорошо! переходи к другому. Сделал? хорошо! переходи к третьему. И таким образом, без потрясений и незаметно... а прыгать я не согласен!

— Но ведь таким образом, если предположить, что в России больше шестисот уездов и что на каждый из них, чтоб удостовериться в совершенной годности реформы, нужно положить, по крайней мере, год времени, то окажется, что последнему-то уезду придется дожидаться шестьсот лет, пока дойдет до него очередь!

— А по-вашему, лучше прыгать? Ну нет, прыгать я не согласен!

— Да разве ваше превосходительство когда-нибудь прыгали?

Старец останавливается при этом вопросе и с азартом говорит:

— Не прыгал-с, не прыгаю-с и прыгать не буду-с.

— Так почем же вы знаете, что прыгать неудобно?

— Как почем я знаю! нипочем я, государь мой, не знаю! Я знаю только одно: что прыгать я не согласен!

Опять водворяется молчание, которое на сей раз прерывает уже юноша.

— Хорошо,— говорит он,— идти вперед «спокойно и твердо», коли человек идет, подобно нам с вами, по прекрасному и ровному тротуару. Но если предположить, что под ногами вашими не тротуар, а раскаленная плита, то согласитесь, что вы сами будете очень благодарны, если вам будет позволено прыгать?!

— Нет-с; я прыгать не согласен!

— Однако же...

— Что вы мне там говорите? разве я наперед всех ваших резонов не знаю? Не согласен я прыгать, милостивый государь, не согласен-с!

Мы дошли до Аничкина моста, и собеседники остановились, чтоб проститься и разойтись. Ба! да ведь это люди знакомые: штатский генерал Постепенников и с ним коллежский секретарь Ваня Колобродников! Я подошел к ним.

— Вот,— говорит мне генерал Постепенников, указывая на Ваню Колобродникова,— уговаривает меня, чтоб я прыгал! да нет, я прыгать не согласен!

— Ваше превосходительство, верно, в клуб поспешаете? — спросил я, чтоб переменить разговор.

— Да, в клуб; пора!

— А говорят, там нынче настоящие-то прыгунчики и есть?

— Смейтесь, молодые люди! смейтесь! А прыгать я все-таки не согласен! Ну, прощайте.

Генерал подал нам руки и повернул по Фонтанке налево. Но, сделавши пять шагов, он опять любезно поворотился к нам и, грозя пальцем, сказал:

— А прыгать я, слуга покорный, не согласен!

Колобродников был в унынии.

— Слышали? — спросил он меня.

— Слышал.

— А вот вы говорите, что надобно настаивать, что в отчаянье приходить не следует... Да я с ним битый час разговаривал, и битый час он мне отвечал: «Ну нет! прыгать я не согласен!»

— А вы зачем с ним о прыганье разговариваете?

— Помилуйте! кто с ним разговаривает о прыганье! Это он сам! это у него врожденная идея!

— Тем больше вы виноваты; если вам известно, что такова его врожденная идея, вы должны были сообразоваться с этим; вы обязаны были пресечь зло в самом корне, сразу согласившись, что прыгать никуда не годится.

— Однако...

— Ибо таким людям никогда не доказывают пользу прыганья, а просто-напросто заставляют их прыгать...

— Но ведь это, наконец, противно!

— А вы думали, что пройдете осенью по Невскому от Аничкина моста до Адмиралтейства и не замараетесь? Ну, и не марайтесь!

— Да я и ходить совсем не хочу!

— Ну, и не ходите!

В это время около нас остановилось еще два собеседника. По внешнему виду это были два канцелярских политика, но не из высших, а так, второго сорта.

— Ну-с, как-то вы с новым начальством служить будете? — спросил один.

— А что?

— Как «что»! да ведь, чай, новые порядки, новые взгляды... все новое!

— А мне что за дело!

— Как же не дело! велит писать так, а не иначе... небойсь не напишете?

— Напишу.

— Чай, тоже неприятно!

— Ничего тут неприятного нет, потому что совсем не в том дело.

— Да в чем же?

— А в том, во-первых, что я могу написать разно; могу написать убедительно и могу написать неубедительно...

— Ну-с, а во-вторых?

— А во-вторых, неужто вы так наивны, что до сих пор не знаете, что эти дела обделываем *мы!*

— Как так?

— Очень просто. Я напишу проект точь-в-точь такой, как приказывает начальство; от нас он идет на заключение к г. X. Я тотчас же еду к Семену Иванычу, который к своему г. X находится точь-в-точь в таких же отношениях, как я к своему, и говорю: «Семен Иваныч! к вам поступает наш проект, так уж, пожалуйста, вы его разберите!» — «Хорошо»,— отвечает мне Семен Иваныч; и действительно, через месяц проект возвращается к нам, разбитый в пух на всех пунктах. Ну-с, хорошо-с; теперь проект этот идет дальше, а именно на заключение к г. Z. Я опять-таки еду к Петру Галактио-

ньічу, который к своему г. Z находится точь-в-точь в таких же отношениях, как и я к своему, и повторяю ему ту же просьбу, что и Семену Иванычу. «Хорошо!» — отвечает Петр Галактионыч; и точно, через месяц проект возвращается к нам окончательно добитый и истерзанный. Начальство бесится, но сделать ничего не может; проект его так и остается мертворожденным...

— Гм... да; это хорошо,— задумчиво отвечает собеседник.

— Поверьте, что не дурно.

Собеседники жмут друг другу руки и расходятся.

— Слышали? — спрашиваю я Колобродникова.

Некоторое время юный мой друг нечто соображает.

— Слышал-с,— наконец говорит он мне,— и могу отвечать одно: ну нет, я прыгать не согласен!

Вот и толкуй с ними!

<VII. ДЕКАБРЬ 1863 ГОДА>

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВООБЩЕ И БЕЛЛЕТРИСТИКИ В ОСОБЕННОСТИ.— ОСКУДЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА И ПРИЧИНЫ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ.— ПОЧЕМУ САМЫЕ ГОРДЫЕ ИНДЕЙСКИЕ ПЕТУХИ ПО ВРЕМЕНАМ ЯВЛЯЮТСЯ ФОФАНАМИ.— ПРИМЕРЫ.— КАШИНСКИЕ ТОРЖЕСТВА.— ЧТО ЛУЧШЕ? — ЛЮБОПЫТНЫЙ СПОР МЕЖДУ ДВУМЯ МОСКОВСКИМИ ПУБЛИЦИСТАМИ.— ПРОЩАНИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ И НАДЕЖДЫ В БУДУЩЕМ

Публика не без основания сетует на русскую литературу или, вернее, на ту ее часть, которая зовется беллетристикой. Старые таланты исписываются и, сотворив что-нибудь чересчур уж великое, с видимым смущением спешат на покой; новых талантов не нарождается. То есть, коли хотите, эти новые таланты и появляются по временам, но расходуются они как-то по мелочам и ознаменовывают свою деятельность больше сценками да рассказцами, из которых самый обширный все-таки короче куриного носа. Уменье группировать факты, схватывать общий смысл жизни, уменье заводить речь издалека и вдаваться в психологические развития с каждым днем утрачивается все больше и больше, а с тем вместе утрачивается и способность к созданию чего-либо цельного. Беллетристика приобретает характер, так сказать, этнографический, посвящает себя разработке подробностей жизни, настойчиво ловит отрывки, осколки и элементы ее и, надо сказать правду, в этой бисерной работе обнаруживает не одну настойчивость, но и замечательное мастерство.

Отрицать этот факт невозможно, как невозможно отрицать и то, что подробности жизни действительно выясняются перед

нами и выступают вперед с небывалою доселе яркостью. Но публика не того хочет; она требует общей, более или менее законченной картины жизни, в которой подробности являлись бы не разбросанными, а занимали бы каждая свое определенное и притом соразмерное своему значению место; она говорит, что сколько бы ни было потрачено таланта на разработку какой-либо подробности, все-таки это будет не больше как подробность, которая так и утонет в общем числе прочих. Здесь самое обилие подробностей, самая сила таланта, употребленная на воспроизведение их, как бы содействует взаимному их уничтожению и естественному ослаблению того впечатления, которое они должны бы были производить на читателя. «Посмотрите,— говорит публика,— на произведения наших лучших беллетристов прежнего времени! Там тоже вы встретите прекрасные подробности, но они не бьют в глаза своею разрозненностью, а впадают в общий ход жизни, не отвлекают своею особностью внимания читателя от целой картины, а, напротив того, служат к усилению впечатления, производимого этою последнею».

Нельзя не сознаться, что в этом суждении публики есть много правды. Ум человеческий с трудом довольствуется частностями, как бы они ни были сами по себе привлекательны, и неудержимо стремится приурочить их к чему-нибудь целому. Матерьял самый разнообразный и богатый содержанием все-таки представляет не более как сбор случайных и разрозненных фактов, за пределами которых фаталистически возникает вопрос о том выводе, который отсюда следовать может. Это требование вывода, эта необходимость более или менее цельной картины жизни до того сильны, что нередко заставляют человека прибегать даже к самообольщению и создавать такие обобщения, которые не имеют ни малейшего корня в действительности. Самая странная и нелепая утопия является законною, самые фальшивые и смешные представления о жизни приобретают право гражданственности; и если мы имеем право подвергать осмеянию те формы, в которых облекаются эти утопии и представления, то ни в каком случае это право не может простираться на самую потребность в подобного рода представлениях, потому что эта последняя, в сущности, совершенно законна.

Приведу пример самый простой и общеизвестный. Еще очень недавно все содержание так называемых беллетристических произведений основывалось исключительно на взаимных отношениях двух противоположных полов. Понятно, что это было содержание скудное и одностороннее; понятно, что человек, который сознает себя живущим и действующим не

только под влиянием побуждений любви, ненависти, ревности, подозрения и т. п., но и в силу других, более глубоких запросов своей человеческой природы, должен был чувствовать себя приниженным при виде той тесной сферы, в которую его волею или неволею втискивали. Тем не менее это скудное и одностороннее содержание очень долго господствовало в литературе безраздельно, да и до сих пор не покидает еще претензий своих на господство; тем не менее в эту тесную рамку вкладывался весь человек, и никому даже на ум не приходило протестовать против этого насильства. Почему? А потому просто, что другие-то побуждения человеческой природы еще не выяснились до такой степени, чтобы на них было возможно что-нибудь основывать, а еще потому, что эти другие побуждения никогда не пользовались в своих проявлениях тою беспрепятственностью, никогда не сопровождались тем общим признанием, какими пользовались и сопровождались отношения мужчины к женщине, особливо если при этом не ставилось какого-нибудь приводящего в смущение вопроса, и вообще дело не захватывалось глубже, нежели сколько следует. Любовь с ее видоизменениями и последствиями давала легкое средство отыскать содержание для целой картины; к ней одной представлялось возможным свести всю человеческую деятельность. Беллетристы пользовались этим обстоятельством и разработывали любовные способности человека насколько хватало у них сил; результат их заботы был тощий и односторонний до тошноты, но публика не сердилась на своих любимцев, ибо в произведениях их все-таки видела человеческую жизнь не в осколках, а в одном общем фокусе, и притом в таком фокусе, который, по мнению ее, мог вмещать в себе все известные и доступные ей подробности.

Но как ни законны и ни объяснимы сетования публики на современную беллетристику, оправдание последней также не представляет особенных затруднений. Направление литературы изменилось потому, что изменилось направление самой жизни; произведения литературы утратили цельность, потому что в самой жизни нет этой цельности. Нет даже той цельности, рамку для которой давали любовные упражнения человека, ибо и последние изменяют свой прежний характер и, видимо, ищут новых форм для своего выражения. Общество чувствует, что если оно останется при прежних своих основах, то неминуемо придет к ликвидации, и эта перспектива заставляет его серьезнее вглядываться в самого себя. Первый акт этой новой для него деятельности начинается, разумеется, поверкой его собственных сил и средств. Неслыханное, затаенное и невиданное целым потоком врывается на сцену, и,

разумеется, врывается на первых порах в отрывочном и даже не всегда привлекательном виде. Число действующих лиц непрерывно увеличивается новыми милыми незнакомцами, которые, в свою очередь, скрытничают и выставляют напоказ только то, чего уже ни под каким видом скрыть нельзя. Одним словом, в самой жизни выступают на первый план только материалы для жизни, и притом до такой степени разнообразные и малоисследованные, что самый проницательный наблюдатель легко может запутаться в тех кажущихся противоречиях, которые, разумеется, прежде всего бросаются в глаза. При таком положении дел литературе остается выбрать одно из двух: или лгать, то есть вымышлять картины жизни несуществующие, или же делать частные наблюдения, писать отдельные биографии. Но лгать, очевидно, нельзя, потому что все, что можно было вылгать на старые, избитые темы, все уже вылгано, а новых тем для лганья жизнь не дает; стало быть, остается идти по последнему пути, то есть заниматься подробностями. Когда сумма наблюдений будет достаточно велика, когда выступившие на сцену новые элементы улягутся в общем движении жизни и найдут каждый свое место, тогда, конечно, явится возможность и той цельной картины, о которой тоскует русская публика. А до тех пор литература будет в этом отношении настолько же бессильна, насколько само общество бессильно сплотить за один раз все новые стихии, которые находятся в нем в состоянии брожения.

Что в обществе нашем беспрестанно нарождаются новые стихии, в этом никто, даже самый отъявленный пессимист, сомневаться не может. Можно рассуждать о том, что стихии эти нарождаются без прямого и самодеятельного участия общества, что они заявляют очень мало непосредственной энергии, но в том, что они так или иначе, то есть собственным ли своим движением или силою внешних обстоятельств, но выдвигаются-таки вперед,— в этом сомневаться нельзя. В этом до такой степени нельзя сомневаться, что литература наша в подобных случаях всегда даже опаздывала, то есть являлась на сцену уже тогда, когда праздник объявлялся оконченным и сонные городовые разгоняли последних зевак. Почему она опаздывала — это вопрос, ни для кого не составляющий тайны, но не в нем покуда и дело, а в том, что запоздалая или не запоздалая литература уже не имеет права действовать на прежнем основании в такое время, когда все кругом говорит новою речью, думает новую думу. К прежнему выдохшемуся, выболтавшемуся и несколько уже исказившемуся миру примкнули, с дозволения начальства, свежие элементы, которым, быть может, тоже придется, в свою очередь, выдохнуться,

выболтаться и исказиться со временем, но которые покуда еще кажутся миленькими и чистенькими. В этом заманчивом, девственно нетронутом виде застает их литература, овладевает ими, насколько может, угадывает таящуюся в них силу, и во всяком случае, даже на основании одних внешних признаков, относится к ним сочувственно. Где источник этого сочувственного отношения, в том ли естественном чувстве торжества, которое невольно прорывается всякий раз, когда примечается признание непризнанного и освобождение из заточения угнетенного, или в том более простом соображении, что вот, дескать, слава богу, прибавилось еще несколько новых сюжетцев, над которыми можно досыта наболтаться,— это опять-таки дело стороннее, которое отнюдь не уничтожает силы самого факта, вынуждающего литературу останавливаться именно на таких-то, а не на других явлениях жизни, проявлять свою деятельность в такой-то, а не в иной форме. Здесь, как и в самом факте вытеснения старых элементов жизни новыми, сила не в причинах и условиях, вследствие которых явился факт, а в самом его появлении и возведении его на степень факта признанного и действующего.

Но если существование самой простой и ничтожной былинки не может не иметь своего воздействия на окружающий ее мир, то тем больше понятно это воздействие со стороны явления более сложного, каковым представляется нашествие незнакомцев, и притом в той высшей сфере, какова сфера жизни общественной. Это явление прежде всего имеет силу разлагающую. Новые общественные стихии, во-первых, не могут проникнуть в общество иначе как во имя упразднения, и даже как последнее слово этого упразднения, и во-вторых, на первых порах заявляют себя преимущественно отыскиванием нового ложа и поверкою своих собственных сил. Но повторяю: упразднение и искание еще не составляют жизни, а могут дать только материал для нее; факты выходят из тьмы изолированными, и связь между ними сознается лишь в самой слабой степени. Самая характеристическая черта подобных эпох — это непоследовательность, это быстрое возвышение и столь же быстрое падение известных принципов и известных личностей, которые во имя этих принципов действуют. Современники и вообще называются неблагодарными, но этот упрек еще решительнее, еще с большим правом может быть применен к современникам эпох нарождения новых общественных основ. Это народ поистине непоследовательный и малодушный, а вследствие того и неблагодарный. Первейшие агитаторы, каковы, например, М. Н. Катков, Н. Ф. Павлов и А. А. Краевский, не могут удовлетворить их, потому что не могут знать сегодня,

что потребует от них завтра всепожирающий дух времени. Горя стремлением создать общую картину, они с тоскою прислушиваются к бродячему говору толпы, с полным усердием прилаживаются к колебаниям температуры и, вопреки всем усилиям и стараниям, на каждом шагу видят себя то оставленными назади, то нерасчетливо забежавшими вперед. Все эти неудачи происходят, разумеется, оттого, что эти простодушные люди ловят то, чего еще нет на деле, и не хотят остаться при том, на что прямо и явственно указывает им современность. Современность говорит: трудись и собирай в поте лица твоего, не претендуй на звание художника и довольствуйся дипломом чернорабочего; если ты думаешь, что с этим дипломом тяжело достается жизнь, то или не живи вовсе, или старайся прожить как-нибудь, как живется всем вообще, то есть со дня на день. Будь осторожен, и если сегодня ты зришь себя героем, то не упивайся вином славы, ибо от этого вина на другой день болит голова.

Но чтобы мысль моя предстала перед читателем со всей ясностью, постараюсь подкрепить ее некоторыми практическими примерами.

Предположим, читатель, что путем наблюдения, размышления и размена мыслей ты дошел до некоторых положений, совокупность которых составляет твой так называемый идеал. Предположим даже, что это совсем не тот мошеннический идеал, который заключается именно в отрицании необходимости и плодотворности идеала в жизни, но идеал поистине честный, могущий дать действительное мерило для оценки явлений. Обладая своим сокровищем, ты мыслишь идти твердой стопой по жизненному пути; ты рассматриваешь и обсуждаешь; одному явлению присвоиваешь название худого, другому — названье хорошего; одним словом, ты распоряжаешься в мире, как в своей собственной квартире, и с восхищением видишь, как перед умственным твоим оком встает целая картина, в которой недостает только балетной мифологии, чтобы дело было совсем как следует. Но увы! практика на каждом шагу разбивает твой идеал, и даже не идеал собственно, а, что всего обиднее, разбивает его отношения к действительности. Она говорит: ты можешь иметь всякие идеалы, какие тебе заблагорассудится, но в то же время обязываешься хранить их для себя и для друзей. Повторяю: это очень обидно. С разбитием идеала примириться можно, потому что здесь есть возможность прийти, по крайней мере, хоть к внешнему оправданию такого факта; можно, например, солгать себе, что идеал, которым я доселе питался, оказывается слабым и ложным и что путем убеждения меня привели

к сознанию этого грустного обстоятельства; но примириться с бессилием, но признаться себе, что сам-то я молодец, да вот руки, ноги у меня связаны, не позволяет ни самолюбие, ни здравый смысл. Я полагаю даже, что от одной мысли об этом бессилии можно с ума сойти и постепенно довести себя до зубовного скрежета. «Господи! да где я? да что со мной делается?» — придется беспрестанно восклицать жадному искателю идеалов в этом море яичницы, каковым представляется жизнь, не выросшая еще в меру естественного своего роста. И вот тут-то является к нему на помощь так называемая сноровка, и притом является до того неслышно и незаметно, что подчинение ей делается актом почти бессознательным.

Начнем с отношений к людям, то есть к отдельным человеческим личностям. Идеал ваш, если он только заслуживает этого имени и если вы достаточно строги к самому себе, конечно, таков, что под его уровень могут подходить лишь немногие личности; следовательно, вне этой небольшой сферы, все остальное должно быть для вас безразлично, то есть безразлично ничтожно. Тут нельзя даже пустить в ход известных оговорок: вот эта личность более терпима, потому что менее вредна, а эта менее терпима, потому что более вредна,— от этих оговорок уже отзывается сноровкой и знаменитыми компромиссами. Перед идеалом нет большей или меньшей неправды, а есть одна неправда; идеал даже не имеет права входить в эти различения, потому что, ставши однажды на эту покатость, рискуешь очутиться гораздо дальше, нежели может предугадать самая расчетливая предусмотрительность. Но почему же, скажите на милость, нет в целом мире того последовательного и строгого идеалиста, который на практике, ведением или неведением, не допускал бы возможности и даже необходимости различений? Почему все эти Сидоры, Трифоны, Петры, Иваны, к которым иногда так неловко бывает прикасаться, в действительности совсем не составляют безразличной массы, а выступают вперед каждый порознь, и притом снабженные очень определенными и своеобразными чертами? Нет ли в самой жизни чего-то такого, что ставит разделяющую черту между идеалами человека, с одной стороны, и практическою, живою его деятельностью — с другой?

Нет сомнения, например, что вы происходите не из сырости, но что у вас есть родители. Как бы вы ни были дальнозорки, до какого бы беспримесного аскетизма ни довели свою мысль, вы чувствуете, однако ж, что над душою вашей висит некоторое фаталистическое бремя, что над ней носится ваше прошлое, не то прошлое, когда вы уже сознавали свои силы и от которого, при дальнейшем развитии, во всякое время мо-

жете отказаться (по крайней мере, вам так кажется), но то далекое прошлое, которое тяготело над вами всею своей непосредственностью и беспомощностью. Несмотря на то что вы уже вышли из этого непосредственного и беспомощного состояния, оно и до сих пор окружает вас всею силою воспоминаний, всею мощью своего авторитета. Вы не можете даже сказать себе: я буду отдавать этому прошлому только то, чего оно, по справедливости, заслуживает; нет, вы всегда отдадите ему более, во-первых, потому, что оно с своей стороны представляет собою совсем не скопление мертвого материала, а нечто весьма жизненное, протестующее против попыток сухой и холодной оценки; а во-вторых, потому, что как только вы приметесь за оценку и взвешиванье, то неминуемо придете к такому заключению: или что прошлое, в сущности, ничего не заслуживает, или что попытки ваши оценить его никуда не годятся и не выдерживают самого простого прикосновения жизни. Отсюда, первая уступка, первое признание уместности исключений, из которых немедленно и логически разовьется целый ряд дальнейших уступок и признаний, и притом несравненно более важных.

Не забывайте, что то же самое явление, которое сопровождало ваше младенчество, пройдет впоследствии через всю вашу жизнь и что самостоятельность и независимость, которыми с внешней стороны будут облекаться ваши действия, суть качества мнимые, могущие утешать лишь очень неопытные и младенческие души. В сущности, вас и в зрелом возрасте преследует та же беспомощность, та же железная необходимость принижаться и заглядывать в глаза, которая сопутствовала и вашему детству. Только внешняя обстановка жизни переменилась, но идея ее осталась одна и та же, и она неотразимо и не торопясь переберет одно за другим все звенья вашего существования от начала и до конца. Вы ни на минуту не ощущаете себя свободным, радужный призрак независимости беспрерывно носится пред вашими глазами, но где же рука, которая уловит его? Увы! нет этой руки! нет этой крепкой руки! — вот что говорит вам тысячекратно повторяемый опыт и постепенно доводит до сознания темной необходимости хоть как-нибудь, да развязать этот узел. Законность различений, снисхождений и сравнений в этом случае подкрадывается самым естественным порядком и незаметно засасывает в себя всего человека. На сцену выступают Петры Петровичи, Акакии Акакиевичи, Сидоры Сидорычи, которыми обставляется ваше существование, без участия которых ваше спокойствие делается крайне спорным, и выступают они совсем не в виде безразличной массы, равно негодной перед светом идеала,

а в совершенно определенных формах отдельных личностей, из которых каждая имеет свои, собственно ей принадлежащие достоинства и пороки. Петр Петрович хотя никуда не годится в сущности, но у него есть некоторая струнка, которою не обладает Акакий Акакиевич и которая в известном отношении для меня необходима; Акакий Акакиевич тоже, что называется, лыком шит, но и у него есть струнка, которая может быть для меня полезна. Все эти струнки, рассматриваемые сами по себе, конечно, суть не что иное, как пакость, и даже самая отборная, но, прибегая к ним, я только следую общему всем людям чувству самосохранения, я делаю в этом случае, так сказать, благородное неблагородство.

Что подобными каламбурами только и может держаться человеческая жизнь, поставленная в известные условия, это явствует еще и из следующего факта. Нет, например, ничего естественнее, справедливее и святее, как признание прав большинства и защита их против притязаний каст. Как бы ни был человек испорчен воспитанием и личною жизненною обстановкой, как бы ни сознавал он свою жизнь отделенною от общей жизни масс, все-таки он инстинктивно чувствует себя причастным к этой последней, и чувствует это не урывками, а беспрерывно. Ни один его интерес, ни личный, ни кастический, не может быть приведен к осуществлению прежде, нежели найдет себе поверку в интересах масс. Самый обман масс может быть совершен только именем их самих и, так сказать, с их разрешения. Поэтому нет вообще того человека в мире, который сознательно или бессознательно, с озлоблением или с удовольствием не признавал бы этого главенства масс и не покорялся ему; в частности же, для многих людей это признание составляет цель всевозможных усилий, искание и смысл всей жизни. Облеченное в определенную форму, это признание возводится на степень социального убеждения, является источником целого образа действий, зерном целой системы. А система, как известно, требует с своей стороны дисциплины.

Все это прекрасно и даже в высшей степени похвально, но теперь посмотрим и на другую, оборотную сторону медали. Бывают такие моменты в истории человечества, когда массы самым странным и грубым образом ошибаются насчет своих собственных интересов, когда они являют самую жалкую зависимость и самое горькое неразумие. Это те моменты, когда надежда достигнуть ближайших интересов, возможность упиться выгодами настоящей минуты залепляют толпе глаза и лишают ее всякой предусмотрительности. В это время многое упраздняется, а преимущественно упраздняются именно те представления и понятия, которые заключают в себе семя

жизни и залог общественного прогресса. Но семя это не может до конца погибнуть, и, упраздненное временно захмелевшею толпою, оно чудесным образом (а пожалуй, и не чудесным) сохраняется в меньшинствах и даже в тех замкнутых кастах, которых интересы, по-видимому, прямо противоположны интересам масс. Разумеется, это последнее положение временное и даже не совсем естественное, тем не менее оно далеко не составляет явления невозможного. На какой стороне, ввиду таких обстоятельств, станет деятель, который осуществление интересов большинства считает главною задачей своих усилий?

Я знаю, что каста, как и все вообще, что носит на себе печать привилегии, исключительности и особничества, представляет явление очень нехорошее, но я знаю также, что есть явления еще худшие, а именно: неразумие и произвол масс. И как бы я ни был предан массам, как бы ни болело мое сердце всеми болями толпы, но я не могу следовать за нею в ее близоруком служении неразумию и произволу. И вот во мне мало-помалу начинает образовываться колебание; потребность оговорки и различения является сама собою и действует все настоятельнее и настоятельнее; наконец делается ясным и неоспоримым, что в данном случае интерес, защищаемый кастой, выше и законнее интереса, защищаемого массами. Я понимаю очень хорошо, что мое положение до крайности конфузно, но, будучи обставлен известными вынуждающими условиями, я отнюдь не обинуясь отступаю от одного из самых коренных начал моей деятельности и смело следую указаниям минуты, которые на этот раз совпадают и с указаниями разума. И в этом случае, как и в предыдущем, мой поступок характеризуется тем же самым каламбуром, который приведен мною выше: это благородное неблагородство.

Еще пример, и даже более вразумительный. Всем известно, что есть на свете публицисты, которые защищают Южные штаты Америки (и у нас такие ходоки есть), и защищают с точки зрения, по возможности, не зазорной, а именно с точки зрения права, которое имеет каждое общество, управляться и развиваться по своему усмотрению. Взгляд этот нельзя даже назвать узким, нельзя даже возразить, что интерес общества должен в этом случае уступить интересу общечеловеческому; ибо, в сущности, здесь на первом плане стоит начало свободы развития, начало очень растяжимое, признание которого равно дорого как для целого государства, так и для каждого человека в отдельности. А между тем, несмотря на всю верность и достоинство принципа, кто же, кроме публицистов-паразитов, согласится защищать его в данном случае?

Примеров таких отступлений и каламбуров встречается

в жизни множество, и мы, конечно, примиримся с ними, если примем в соображение, что иногда они даже украшают жизнь и служат очень заметною и утешительной поправкой некоторым положениям, которые без этих колебаний дали бы себя почувствовать очень неудобно. Вообразим себе, например,— кого бы? ну, разумеется, вообразим исправника, городничего, станового и другую мелкоту, до которой, по чину нашему, нам досягать дозволяется. Что бы это было, если б эти сановники принялись за дело вплотную? если б они помышляли единственно об исполнении обязанностей? если б не брали взяток, не ухаживали за чужими женами и не прохаживались по хересам? Страшусь сказать, но думаю, что это просто было бы такое головоушибание, против которого не устояла бы самая искушенная преданность. Но в том-то и дело, что природа всегда и во всем предусмотрительна, что она повсюду, даже в самую, что называется, головоушибательную систему вводит соответственное ограничивающее начало в виде взяток, сластолюбия и проч., которое, собственно, и помогает нам, простым смертным, нести жизненные тяготы. Но если нам оказывается такое снисхождение, то какой же можем мы иметь резон не отвечать тем же? Я полагаю, что это было бы с нашей стороны даже неблагодарно.

Повторяю: в мире непоследовательном и колеблющемся одна только непоследовательность и может быть названа строго последовательною. Окончательные выводы, к которым, по самой природе своей, неудержимо и настоятельно стремится человек, достаются не легко, потому что требуют материала вполне выработанного и установившегося. А где же взять этого выработанного материала, когда он на каждом шагу дополняется и изменяется новыми вкладами и когда эти дополнения заключаются не в одних только подробностях и мелочах, но в появлении целых новых сфер жизни, целых новых общественных слоев, доселе ничем не заявлявших о своем существовании? Понятно, что при таких условиях всякое поползновение создать что-либо целое и гармоническое должно сопровождаться постоянною неудачей и что попытки этого рода могут представлять лишь искомое, которого достижение составляет задачу более или менее отдаленного будущего.

Все это так справедливо, что нет надобности далеко ходить за доказательствами, нет даже надобности останавливаться с этою целью на самих себе. Обновление, как результат прилива новых элементов и сил, чувствуется одинаково всеми, но кто же будет так смел, чтобы формулировать положительно, в чем именно это обновление выразилось? «Дышится легче,

живется спокойнее»,— говорят одни, а другие, напротив, говорят совсем иначе: «Дышится тяжелее, живется труднее». И те и другие с своей точки зрения правы, потому что для одних свобода дышать уже сама по себе составляет результат, а для других тут еще совсем нет никакого результата, а есть только новое доказательство отсутствия деятельной свободы. И вот почему свобода «дышать легко» заставляет некоторых дышать тяжело, свобода «жить спокойно» заставляет метаться и беспокоиться. Нет никакого сомнения, что та порода людей, на которой так мрачно отражается прилив новой жизни, есть порода неосновательная, но ведь если уже она существует, то, стало быть, имеются же какие-нибудь причины, которые делают это существование возможным, стало быть, в самой жизненной обстановке есть нечто такое, что не противоречит этой возможности. Во всяком случае, законных поводов для истребления этой неблагонадежной породы не может быть никаких.

Затем, снова обращаясь к современной русской литературе, я невольно спрашиваю себя, какая должна быть ее роль в этом обществе, в котором на первом плане стоит разорванность и непоследовательность в стремлениях и взглядах? Может ли она, не рискуя быть заподозренною в лжесвидетельстве, посягать на творчество, когда в самой жизни происходит только процесс накопления материалов для творчества? Может ли она допускать какие-либо выводы, когда сама жизнь этих выводов не дает?

Издавна принято видеть в литературе не что иное, как выражение понятий, стремлений и верований той общественной среды, в которой она живет и действует. Это верное определение вместе с тем заключает в себе и совершенно ясную характеристику обязанностей литературы относительно общества. Если последнее недоумевает и находится на распутии, если оно чувствует свои прежние силы упраздненными, а новых еще не сознает, то литература обязывается вызвать из тьмы эти новые силы, указать на них обществу и убедить его, что отныне его существование фаталистически с ними связано. Никаких других обязанностей литература иметь не может, и не вправе дать обществу ничего иного, кроме того, что таится в нем самом. Все эти скромные деятели, на которых свысока смотрят наши выдохшиеся и выболтавшиеся литературные авторитеты, в сущности, делают единственно возможное и единственно почтенное дело, которое доступно в настоящее время для литературы. Они не лгут и не клевещут на жизнь и не выдают за истину праздных фантазий подкупленного воображения, но скромно собирают материалы для будущего

творчества, ничего не прибавляя и ничего не утаивая. В этом смысле какой-нибудь коротенький рассказ, вроде «Питомки» г. Слепцова, гораздо драгоценнее, нежели целое литературное наводнение, выданное г. Писемским под названием «Взбаламученного моря». Первый наглядно указывает на существование в обществе новой и свежей стихии, а вместе с тем и на возможность участия этой стихии в искусстве; второе, напротив того, не дает ни одной мысли, которая насквозь не была бы пропитана запахом ветоши, ни одного образа, который не был бы уже вконец истоптан и осквернен многочисленными ходоками по части художественного воспроизведения родной жизни, ни одного намерения, которое не было бы отравлено ложью и преднамеренным извращением.

Да; старое искусство падает. Привыкши заявлять свою силу только в мире вымыслов и более или менее искусственных построений, оно приходит наконец к сознанию, что вымысел уже никого не удовлетворяет, что общество жаждет не выдумок, а настоящей жизни, той самой, которая покамест проявляет себя в отрывках и осколках. Это сознание наводит многих жрецов на мысль об обновлении, но увы! на этом поприще с ними повторяется история, случившаяся с малороссом, у которого спрашивали, что́ бы он сделал, если б был царем? «Украл бы сто рублей и утек бы!» — отвечал малоросс. Именно так поступают и представители нашего старого искусства, ищущие обновиться. Они подозревают, что вокруг них поражает что-то новое, и весьма естественно желают приобщиться к этому новому; но, приступая к этой новой жизни, они всецело оставляют при себе свое прежнее миросозерцание и по-старому продолжают думать, что высшее в мире благо меряется обладанием ста рублей. Понятно, какой сумбур должен вносить в их произведения этот сторублевый взгляд на жизнь, которой фонды уже значительно поднялись; понятно, какое тупое недоумение должно охватывать их самих при взгляде на новые, доселе ему неизвестные движения жизни. Но понятно также, что, стремясь создать монумент, они в действительности созидают лишь невзрачное убежище для застигнутых врасплох проходящих.

До какой степени решительно влияет среда на отдельные человеческие личности, до какой степени она переработывает их, в этом мы убеждаемся на каждом шагу и многочисленными примерами.

Рассказывают, что некто, находившийся в полном разуме и твердой памяти, будучи по ошибке заключен в дом сума-

сшедших, вскоре лишился и того и другого и, таким образом, без всякого стороннего понуждения, сам себя привел в соответствие с окружающею средою. Утверждают даже, что в древности заключение в дом умалишенных считалось одним из самых ловких и целесообразных укротительных средств и что на этом основании, как только появлялся субъект, который выказывал желание чем-нибудь отличиться, его немедленно брали и приводили в соответствие.

Один путешественник, по природе своей совершенно добрый малый и даже охотник поврать, рассказывал мне, что, будучи вынужден во время одного из своих странствий жить довольно долго в обществе аскетов, он до такой степени разревновался, что и сам чуть-чуть не пошел в аскеты. Уже отпустил он себе бороду до чресл, уже перестал и чесаться и мыться, уже обзавелся и гноищем и вретищем, уже начали являться к нему и искушения в виде обнаженных блудниц; одним словом, еще один шаг, и побежал бы этот человек, как оглашенный, в пустыню, и стоял бы там, быть может, и доднесь на одной ножке... Спасли его от этого пассажа клопы и блохи. Однажды, собравшись с силами, они задали такую жаркую баню его грешному телу, что он вскочил как озаренный и долгое время, ничего не понимая, взирал на небо. Наконец, однако, образумился: вымылся, выбрился, и с тех пор к аскетам ни ногой...

Так вот как оно трудно бывает освободиться от засасывающего влияния жизненной обстановки, и вот почему должность героя (а в просторечии выскочки) делается с каждым днем все менее и менее доступною. Когда кругом человека раздаются глубокомысленные соображения вроде тех, которые некогда формулировал незабвенный титулярный советник Поприщин, и когда, к довершению всего, эти соображения долбят его со всею силою раздалбливающей камень струи, тогда всякое с его стороны ручательство за твердость и неприкосновенность его рассудка является делом крайне сомнительным и рискованным.

На днях в Петербурге я встретился с одним знакомым мне губернским аристократом, с таким аристократом, который никогда, даже ночью, не забывал держать свой хвост веером. Живя постоянно в провинции, этот человек до того умилился духом, что, казалось, во всякое время готов был с самим солнцем вступить в пререкание и доказывать, что солнечная теплота отнюдь не так живительна, как теплота, испускаемая им, губернским аристократом. Но в Петербурге этот соперник солнца глядел таким беспардонным фофаном, что я не на шутку обеспокоился.

— «Великолепный князь Тавриды»! отчего это вы таким фофаном смотреть изволите? — спросил я его.

Соперник солнца грустно улыбнулся и посмотрел мне в глаза с такой заискивающей лаской, как будто говорил: «Хоть ты-то меня не ушиби!»

— Не по себе как-то,— отвечал он мне по секрету

— Больны, что ли?

— Домой хочу...

— Ну, не грех ли вам! у нас и опера, и балет, и устрицы... Столоначальники вас ласкают, начальники отделения руку подают! и от этакой-то жизни да в Глупов бежать!

— Нет, нет, нет! Еще в древности, знаете, Юлий Цезарь...

Соперник солнца не докончил, вполне полагаясь на мое знакомство с Кайдановым. И точно, привлечение к нашему разговору такой особы, как Юлий Цезарь, не могло не польстить моему самолюбию. Уж если он утверждал, что лучше быть первым в деревне, нежели вторым в городе, то, стало быть, и в самом деле в этом первенстве должна быть какая-то сладость? Стало быть, в самой природе человека есть нечто такое, что заставляет его из всех сил стремиться вперед и выбиваться из общего уровня окружающей среды? Уж если сам Юлий Цезарь... «Господи! да уж не бежать ли и мне куда-нибудь вроде Дурацкого Городища! — подумал я в ту пору, взирая на почтенного старца.— Может быть, там только и ждут смельчака, который бы хвостом мог солнце затмить? Может быть, там совсем даже не нужно быть Юлием Цезарем, чтоб сделаться первым в деревне?» И счастье мое, что в эту самую минуту я увидел таких павлинов, идущих по улице, каких, наверное, не зрели в стенах своих ни Глупов, ни Дурацкое Городище. «Эге! — подумал я,— да, верно, и в Петербурге не всё же фофаны живут... сем-ка останусь!» И остался.

По-видимому, здесь есть противоречие; по-видимому, желание первенствовать не только не способствует развитию завоевательных свойств среды, но и всячески ему противоречит. Но противоречие это, в сущности, совершенно ничтожно, и тот же Юлий Цезарь поможет нам выпутаться из него. Ведь не сказал же он: лучше быть первым в городе, нежели вторым в деревне, а выразился самым определительным образом наоборот — почему же? А потому именно, что он знал, что одна среда в деревне, другая — в городе; что первая легче поддается натиску силы, вторая, напротив того, стремится эту силу сделать почти безразличною. Нигде так решительно не уравниваются люди, нигде человек не чувствует себя до такой степени простым, смиренным, как в больших центрах человеческой деятельности. Привлечение к одному пункту разнооб-

разнейшего умственного материала производит такое изобилие его, которое щедро отражается на всех: и на званых и на незваных. В строгом смысле, тут даже не может быть незваных, потому что всякий участвующий в общем движении непременно что-нибудь да принесет свое собственное в общую кассу. Я даже твердо уверен, что в больших центрах очень большие умники, точно так же как и очень большие дураки, в самом непродолжительном времени будут равно невозможны. Дурак точно так же может быть полезен, точно так же что-нибудь знает, в чем-нибудь искусен, как и самый гениальный человек. Правда, тут еще остается нетронутым право, возникающее из способности к умственной инициативе, которою, конечно, обладают немногие, но и это право с каждым днем делается все более и более сомнительным, и с каждым днем признание его все теснее и теснее приводится к зависимости от добровольного согласия среды. Это и натурально и вполне справедливо, потому что способность инициативы есть способность, приходящая к нам даром и действующая в нас помимо всяких с нашей стороны заслуг; это, наконец, такая способность, которую мы не можем не проявить, если бы даже и хотели, в видах единоторжия, воздержаться от ее проявления; за что же, стало быть, тут восторгаться и производить различные сердечные неистовства? Да и что такое самая эта пресловутая способность инициативы? Не распадается ли она сама собою ввиду более дробного распределения человеческого труда? не делается ли она все больше и больше общим достоянием, переставая украшать собою одних избранников и баловней фортуны? Не становится ли она анахронизмом? Нет сомнения, что я и не подумаю взять на себя разрешение этих вопросов (откровенно сознаюсь, что я и сил, нужных для такого подвига, не имею), но всматриваясь внимательнее в смысл происходящих кругом явлений, но убеждаясь собственными глазами, что достаточно ничтожнейшей перемены в жизненной обстановке, чтоб из самого отчаянного индейского петуха получить самого беспардонного фофана, и наоборот, невольно как-то приходишь к заключению, что едва ли и здесь может быть допущен иной ответ, кроме утвердительного.

Но если доля притязаний на умственное господство и особничество, в общей сфере человеческого развития, мало-помалу делается значительно более скромною, то им еще долгое время будет полное, почти безграничное раздолье в таких расстроенных муниципиях, как, например, Глупов и Дурацкое Городище. Здесь, с одной стороны, царствует та умственная и нравственная неурядица, которая всякому, даже не хитрому

уму дает возможность отличиться; с другой стороны — существует простор и благорастворение воздухов, которые дают человеку возможность растопыривать хвост беспрепятственно, и притом самым бесцеремонным образом. И именно хвост, только хвост. Стало быть, и тут на первом плане является все та же среда: или дозволяющая, или не дозволяющая. Поэтому-то Юлий Цезарь так и стремился в Дурацкое Городище, покуда на практике не изведал, что в древности Дурацкое Городище существовало везде, где существовало благорастворение воздухов; поэтому же стремится туда и знакомец мой, губернский аристократ.

Помню я, что когда в губернский город Крутогорск (о незабвенный! ужели же я так и отживу свой век, не свидевшись с тобой вновь!) пришло известие об избрании Людовика-Наполеона президентом республики (из которой он сумел-таки устроить точь-в-точь такое же Дурацкое Городище, какое в древности устроил Юлий Цезарь из Рима), то тамошний вице-губернатор Змеищев воскликнул:

— Знаю я этого Людовика-Наполеона! это тот самый, который, после страсбургской проделки, жил в Лондоне и, чтоб не лопнуть с голоду, торговал гусями!

Мы, разумеется, подивились превратности судеб, но возразить не осмелились и долгое время, вплоть до самого 2 декабря, иначе не называли принца-президента, как презрительным именем «гусятника».

Но когда этот «гусятник» все французские веси привел к одному знаменателю, а политиканов тамошних развеял по ветру и провозгласил себя отцом отечества, то тот же Змеищев значительно сбавил спеси, и хотя в душе признавал законным обладателем Франции Генриха V, но и у похитителя уже не оспаривал некоторых прав на титул императора и только изредка (да и то самым коротким знакомым) проговаривался:

— А каков гусятник-то! нет, да вы подумайте: каков гусятник-то!

Таким образом дело шло до самой Крымской войны; в это время название «гусятника» вылетало из уст Змеищева все чаще и чаще и наконец снова сделалось таким обыкновенным нарицательным именем, что даже глазам как-то не верилось, когда в газетах прочитывалось не это, а уже настоящее достославное имя знаменитого племянника.

Но Парижский трактат вновь изменил расположение мыслей Змеищева; слово «гусятник» исчезло окончательно из его лексикона и заменилось другим, настоящим. В порыве удивления мой начальник называл Людовика-Наполеона даже импе-

ратором всефранцузским, хотя это название решительно не имеет никакого смысла.

Как называет Змеищев пресловутого сфинкса нашего времени в настоящую минуту — я сведений не имею. Но не ручаюсь, чтобы он вновь не обратился к первоначальному слову, потому что Змеищев на эти дела довольно строг.

Что ж означает этот факт?

По моему мнению, значение его очень просто, а именно, что не только люди и события ближайшие к нам, но даже люди и события, имеющие смысл исторический, обсуживаются и оцениваются нами не иначе как под влиянием окружающей среды и того переходчивого настроения чувств и умов, которое над нею в данную минуту носится. Всем известно, например, до какой степени ученый редактор «Отечественных записок», А. А. Краевский, уважал и ценил покойного Белинского, однако это не мешало ему в то же время не пренебрегать и Ксенофонтом Полевым. Обвиним ли мы его за это? скажем ли, что такой образ действия доказывает отсутствие убеждения? Нет, мы этого не скажем, потому что, в этом случае, самое отсутствие убеждения есть тоже своего рода убеждение.

Истинные, заправские общественные деятели (к сонму которых мне приятно сопричислить А. А. Краевского) так и поступают: они никогда не прут вперед со своими убеждениями и руководящими взглядами, но, напротив того, всегда наперед стараются разузнать, чего кому хочется. Все они смотрят Янусами, обладателями двух физиономий, из которых одна говорит: ничему не удивляюсь, а другая говорит: ничего не понимаю. Манеру эту они переняли у покойного Роберта Пиля, который, по нужде, являлся и торием, и вигом, и даже самим собою. Даже в настоящую минуту тот же самый А. А. Краевский ощущает себя счастливым обладателем двух литературных органов, из которых в одном один и тот же предмет похваляет, а в другом порицает. И нуждушки ему мало. Он чувствует, что может приносить пользу и с этой стороны и с другой,— и приносит.

И потому я пророчу А. А. блистательную будущность. Я знаю, например, что он со временем будет директором во всех акционерных компаниях и редактором всех политических и литературных газет и журналов. Я знаю, что если В. А. Кокорев изобретет новое средство отыскать миллиард в тумане, то предварительно покажет свой проект А. А., что ежели И. О. Утин задумает строить новый палаццо в Галерной улице, то попросит А. А. начертать ему план. Я знаю даже, что если начальство предпримет какое-нибудь новое преобра-

зование, то так или иначе, но уж без действия А. А. это дело не обойдется.

И еще один вывод: представим себе, что упоминаемая выше страсбургская проделка случилась в настоящее время и что виновник ее, вместо того чтоб укрыться в Англии, нашел себе убежище у нас, в России. Стал ли бы он торговать гусями? Нет, он, с свойственною ему проницательностью, понял бы, что эта отрасль промышленности в России дать больших барышей не может, а потому немедленно выправил бы себе дощечку с надписью: «Навынос и распивочно», и Змеищев выражался бы об нем уж так: «А! это тот самый, который после страсбургской проделки у нас за прилавком сидел и мужиков сиволдаем спаивал!» Так вот оно что значит влияние-то среды!

Итак, времена геройства прошли, а некоторые думают даже, что их никогда и не бывало. Не только пример А. А. Краевского, но и сама история доказывает нам, что человечество всегда совершало дела лишь средние, то есть делало только то, что могло и что приходилось ему больше с руки.

Новое подтверждение этой мысли я встречаю в действиях тверского благородного дворянства. Было время, когда оно отличалось на поприще либеральных излишеств (да, был за ним, был-таки этот грех!); теперь оно отличается на поприще примирения двух никогда не враждовавших сословий. В обоих случаях оно совершало и совершает дела средние, то есть не обнаруживая особенного геройства, делало и делает только то, что имеет возможность делать.

Но хотя я и не признаю ни в том, ни в другом случае никакой особенной заслуги, однако, как человек мирный, не могу не сказать, что дело примирения двух никогда не враждовавших сословий нравится мне гораздо более, нежели дело либеральных излишеств. Последнее всегда сопровождается волнениями, огорчениями и даже до некоторой степени грубиянством; напротив того, первое решительно ничем не сопровождается. Самое слово «либеральные излишества» уже показывает, что они излишни; напротив того, слово «примирение» не только не напоминает об излишестве, но даже ровно ничего не выражает. Присутствуя при деле примирения, я никогда ничем не тревожусь, ибо говорю себе: вот люди, которые съехались в одно место, чтобы чрез несколько времени разъехаться по домам! напротив того, присутствуя при деле либеральных излишеств, я только о том и думаю, что вот-вот вцепятся эти люди друг в друга и надобно будет разли-

вать их водой (было, было и такое дело). Сверх того, дело примирения всегда сопровождается прекрасной едой, тогда как присутствующие при либеральных излишествах решительно ничем, кроме словесного уксуса, не угощаются. Вот почему первое кажется мне прочным и благонадежным, а второе шатким и на песке построенным; вот почему первое мне нравится, а второе не нравится.

Не далее как в начале нынешнего года существование мирового института не только казалось непрочным, но даже положительно ознаменовывало себя бурями и битвами. В разных местах России: в Порхове, в Полтаве, в Павлоградске, в Сердобске и т. д.— происходили генеральные сражения, причем, по словам корреспондентов, проливалась даже кровь (разумеется, извлекаемая самым холодным оружием в мире, то есть кулаком). «Современник», разумеется, тотчас же опечалился и выразил догадку, что кровопролития оттого будто бы происходят, что мировые учреждения не имеют под собой достаточно твердой почвы. Теперь, однако, журнал наш должен несколько отступиться от этого мнения. Действительно, в составе почвы решительно никаких изменений не произошло, а между тем мировой институт, очевидно, вступает в новый фазис своей жизни. И теперь продолжается кормление (известно, что русский человек без хлеба-соли шагу ступить не может), но кормят уже не тем, чем до отвала откармливали в прошлом году, а обедами; и теперь продолжаются опыты словесных упражнений, но уже не говорится при этом ни о том, что «офицер, боящийся выстрела, не может служить в рядах храбрых», ни о том, что «хирург, падающий в обморок при виде крови, не может делать операций», ни даже о том, что «дворянин, не имеющий примирительного характера, не может быть посредником» [1], а просто-напросто возглашается:

Мы тебя любим сердечно,
Будь нам начальником вечно;
Наши пленил ты сердца,
Мы в тебе видим отца!

Очевидно, стало быть, что офицеры перестали бояться выстрелов и хирурги не падают больше в обморок при виде крови... Очевидно также, что тут совсем не в почве штука, а просто в том, что так уж оно исстари у нас колесом идет:

---

[1] Все это говорилось в начале 1863 года. Желающих ближе ознакомиться с этим красноречием отсылаем к статье, напечатанной в 1—2 № «Современника» за сей год, под названием «Известие из Полтавской губернии». (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

сегодня битва, завтра мир, послезавтра (чего боже сохрани!) опять битва...

С этой точки зрения, я не мог не порадоваться появлению в газете «День» перепечатки из «Тверских губ. вед.» статейки под названием: «Описание двух дней праздника по случаю поднесения дворянами и крестьянами Кашинского уезда Тверской губернии, IV мирового участка, кубка своему мировому посреднику Петру Николаевичу Головину». Я не удивляюсь тому, что «День» вызвал эту статейку из того скромного убежища, в котором она первоначально появилась,— какая же редакция не рада украсить свое издание? — но положительно не понимаю, какая была почтенной редакции надобность снабжать статью примечанием, которое отнимает у нее весь air fixe? [1] Этим примечанием И. С. Аксаков доказал положительное незнание той среды, о которой идет речь, и в то же время совершенно безосновательно набросил тень подозрения на правдивый рассказ наивного кашинского бытописателя. И. С. говорит, что в этом рассказе на него произвело неприятное впечатление «выступление русской простонародности на театр официальности, участие русских «мужичков» в общем спектакле в роли русского «простосердечья», русского «прямодушия», русского «спасибо». Слова хорошие, но тем не менее едва ли справедливые, ибо заключают в себе намек на искажение истины там, где этого искажения совершенно не имеется. По-видимому, И. С. хочет дать понять, что кашинский летописец сочинил балет; однако я несколько раз сряду перечитал названную выше статью и не только не нашел в ней балета, но, напротив того, пришел к убеждению, что она писана в твердой памяти и нисколько не противоречит действительности. Ибо какое же имеем мы основание сомневаться в том, что русский «мужичок» может выйти в общем спектакле иначе, как в роли русского «простосердечия», русского «прямодушия» и русского «спасибо»? Кто дает нам право думать, что он не простосердечен, не прямодушен и не преисполнен спасиба? И сообразно ли было бы с действительностью, если б мы, вместо того чтобы одеть «мужичка» в пейзанский костюм, вместо того чтоб заставить его говорить: «Наставник наш и сотрудник! прими хлеб-соль за твои законные рассуждения!» (так выражается в «Описании» мужичок Алексей Яковлевич), одели его в мужицкую сермягу и заставили беспокойно спрашивать себя: «Ну, на кой черт! на кой черт они меня от дела отбивают!» Нет, это было бы несогласно с истиной, потому что в действительности мы подлинно

[1] характерный вид.

видим, что «мужичок» наш и простосердечен, и прямодушен, и преисполнен всякого спасиба, и что торжества, подобные описываемому в «Дне», происходят точь-в-точь так, как описывает их кашинский бытописатель. А если и есть тут нечто балетное, то это меня не только не смущает, но даже радует, потому что, думаю я: если жизнь действительная пришла в полное соответствие с балетом, то ведь это значит только, что человек счастлив,— что же тут огорчительного?

Но статейка так хороша сама по себе, что я, не решаясь перепечатывать ее вполне, не могу, однако, воздержать себя, чтоб не поделиться ею с читателем хотя в кратком изложении.

Речь, разумеется, начинается с того, что о предполагаемом празднестве «давно ходили слухи в Кашинском уезде». Наконец они превратились в действительность: праздник состоялся 15 августа и продолжался три дня.

День первый

По приезде Петра Николаевича Головина в кашинское благородное собрание помещик Модест Евграфович Воробьев поднес ему кубок и от имени дворян произнес речь, в которой излагал виновнику торжества похвалу. Речь довольно пространна, и потому перепечатывать ее излишне; но сущность ее может быть сведена к следующим двум пунктам: а) «разъяснением нового законоположения П. Н. устранил беспорядки»; и б) «не дозволяя же ни себе, ни другим произвола, П. Н. сохранил возможный порядок». П. Н. Головин принял кубок и взволнованным голосом произнес (речь вторая), что он ценит признательность дворян и постарается ее оправдать.

После дворян выступили крестьяне, то есть, собственно, не крестьяне, а волостные старшины, и поднесли П. Н. хлеб-соль, причем софроновский старшина Алексей Яковлев (почему он не Яковлев*ич* и почему нет его фамилии?) произнес (третья речь):

«Петр Николаевич!

Наставник наш и сотрудник, прими хлеб-соль от всех временнообязанных крестьян твоего участка за твои законные рассуждения».

Прекрасно. Судя по тому, что в этой речи соединены и русское простосердечие, и русское прямодушие, и русское спасибо, я не могу сомневаться, что ее сочинял именно прямодушно-простосердечно-спасибствующий русский мужичок. Но, судя по тому, что речь написана хотя и не высоким, но правильным слогом, я, кроме того, заключаю, что Алексей Яковлевич полу-

чил воспитание, по крайней мере, в одном из средних учебных заведений. Радуюсь.

Приняв хлеб-соль, П. Н. ответствовал особою речью (4-я), в которой назвал старшин «друзьями». Сели обедать, но был ли при этом соблюден порядок и какой именно — неизвестно. Вообще, современные нам бытописатели как-то начали пренебрегать этою подробностью, и, по мнению моему, совершенно напрасно. Во-первых, они могут этим навлечь на себя подозрение в либерализме (нам, дескать, эти пустяки нипочем!), чего, конечно, и сами не желают, а во-вторых, как хотите, а порядок сидения — дело великое и для многих очень любопытное. Я, например, очень желал бы знать, кто сидел выше: губернский предводитель дворянства или вице-губернатор? если вице-губернатор сидел выше (я предполагаю, что он в это время что-нибудь ревизовал в Кашине, а не нарочно же проскакал 160 верст, чтоб отобедать в приятном обществе; стало быть, он представлял собой лицо начальника губернии, стало быть, должен был сидеть выше всех, даже выше виновника торжества, и все похвальные речи, произносимые сему последнему, принимать на свой счет: «Это, дескать, мой выбор! это я сделал всех счастливыми!»; по крайней мере, будь я на месте г. вице-губернатора, то непременно бы обиделся, если б не посадили меня на первое место), то это значит, что на обеде торжествовал принцип централизации; если, напротив того, выше сидел губернский предводитель дворянства, то это значит, что торжествовал принцип земства.

В первом случае я сказал бы слово поощрения, во втором... но, впрочем, отчего же и во втором случае не сказать слова поощрения? потому что, уж коли по правде рассудить, то не все ли равно, кто где сидит и какой принцип торжествует? Места равны принципам, принципы равны местам... Но продолжаю.

За первым тостом (за здоровье государя императора) последовал второй в честь П. Н. Головина. Но прежде нежели он был произнесен, М. Е. Воробьев прочел «прекрасные стихи кашинского помещика Владимира Николаевича Постельникова, посвященные передовому российскому сословию». Этими стихами я желал бы поделиться с моими читателями, но не могу, потому что дееписатель скрыл их от меня. Опять-таки новомодный обычай, который похвалить нельзя. Во-первых, стишки читать всегда приятно; во-вторых, пользуясь безмолвием дееписателя, иной читатель, чего доброго, захочет пополнить пробел и сам сочинит такие стихи, от которых, пожалуй, у слушателя и лицо на сторону свихнет... Зачем допускать до этого?

Вслед за тостом помещик Александр Иванович Новиков произнес речь (5-ю), в которой изложил, что не станет делать анализ всей деятельности П. Н., но «остановится только на том, чего ожидали крестьяне от положения — и что оно дало им!». Затем хотя слушатели имели полное право ожидать, что последует разъяснение этих многознаменательных слов, но А. И. только «остановился» и заговорил совсем о другом. На эту речь П. Н. ничего не отвечал. За г. Новиковым последовала речь члена от дворян в губернском присутствии, Василия Ивановича Литвинова (6-я), которую я привожу здесь вполне.

«Петр Николаевич!

Вы первый в Тверской губернии развязали узел крепостного права, кончив прежде всех уставные грамоты. Вы соединили два сословия условиями, основанными на взаимном доверии, достигнув составления из 101-й грамоты 92-х по добровольному соглашению.

Вы внушили уважение к закону — в вашем участке нет никаких недоимков.

Вы, смело могу сказать, осуществили высокий идеал мирового посредника: на действия ваши ни от одного сословия не было ни одной жалобы.

Сегодняшнее собрание обоих сословий ясно доказывает, что ваша полезная, беспристрастная деятельность вполне оценена.

Как имеющий честь принадлежать к сословию тверского дворянства, я не могу не выразить чувства справедливой гордости, видя вас представителем его деятельности при разрешении жизненного вопроса.

Как удостоенный чести быть участником мировых учреждений, я счастлив, что с воспоминанием о деятельности их соединено навсегда ваше имя.

Как русский человек, за все, за все кланяюсь вам, Петр Николаевич, до земли».

Эту речь я выучил наизусть, и если бог приведет меня участвовать когда-нибудь в подобном же трехдневном торжестве, то я произнесу ее и в первый день, и на другой день. Пожалуй, я произнесу ее даже и на третий день, и уверен, что в слушателях моих произведу не пресыщение, а голод. Много слыхал я на своем веку дивных обеденных речей, много и сам говаривал; слышал даже однажды речь, сопровождавшуюся исполнением трепака, но, клянусь, ничего подобного речи г. Литвинова не слыхал и не говаривал.

Все присутствующие были тронуты, и так как русский человек переимчив, то крики: «и мы! и мы!» (то есть кланяемся до земли) огласили залу. С своей стороны, П. Н., выразившись, что слово Василия Ивановича навсегда останется в его памяти, поднял кубок и произнес 7-ю речь, в которой благодарил дворян IV участка за попечения о благе крестьян, и предложил третий тост за их здоровье. Громкое «ура!» всего общества было ему ответом.

Но если речь Василия Ивановича отличалась изысканностью выражения, смелостью чувства и глубиною мимики, то последовавшая затем речь волостных старшин (8-я) поражает изысканностью простосердечия, смелостью прямодушия и глубиною русского спасиба. Но простодушные дети природы были до такой степени смущены великостью предстоявшего им подвига, что сами говорить не решились, а поручили это мудреное дело кашинскому помещику Петру Николаевичу Ладыженскому, который таким образом явился дворянским выразителем крестьянских чувств. Привожу эту замечательную речь вполне.

«Милостивые государи!

Я имею удовольствие сидеть рядом с волостными старшинами; между едою и рюмкою вина (какая простота! так, именно так рассказывал наивный Отелло о том, как пришла к нему любовь к Дездемоне), при привилегии простой искренней беседы, они очень ясно и определенно передали мне свои чувства, которые и просят теперь заявить вам. Крестьянам приятно сидеть с нами за одним столом, им лестно быть принятыми в наше общество, а потому сегодня от себя и от имени всех крестьян IV мирового участка искреннее пьют, господа, за ваше здоровье, чем прежде. Милостивые государи! крестьяне торжественно вам заявляют, что они ни в каком случае не зазнаются вследствие той чести, которой вам угодно было удостоить их, но, напротив, после такого внимания, которое показано им сегодня с вашей стороны, крестьяне торжественно заявляют, что они имеют искреннее уважение к дворянству, как к сословию образованному. Кроме того, после этой чести они желают еще более, чем прежде, думать и заботиться, чтобы дать возможное по средствам образование детям, в той надежде, что вы, господа, будете иметь к образованию детей крестьян такое же уважение, какое крестьяне имеют сегодня к вашему».

«Последние слова этой речи,— заключает кашинский бытописатель,— были заглушены криками: будем! будем! даже больше, чем они!» Затем тот же бытописатель повествует, что «П. Н. Ладыженский, идя к своему месту, был остановлен старшинами» и что «каждый из них его обнял». Еще бы! ведь не бесчувственные же они, чтоб не понять, что им и в жизнь бы не выдумать и не выразить того, что придумал и выразил за них П. Н. Ладыженский в каких-нибудь несколько минут! С своей стороны, я могу по поводу этой речи сделать только одно замечание, а именно, что она уже слишком верно выражает то томное состояние души, в котором должны были находиться волостные старшины, удостоенные чести сидеть за одним столом с дворянами. Я понимаю, что они должны были чувствовать себя виноватыми и что слова: «Не зазнаемся! клянемся, что не зазнаемся!» не могли не становиться им, так сказать, поперек горла, но я решительно не понимаю, как можно было допустить их до выражения сих томных чувств,

а тем более браться за такое дело самому. Предположим, например, что я хозяин, что, сверх того, состою в чине действительного статского советника, но и за всем тем до того излиберальничался, что пригласил к себе обедать коллежского регистратора. Разумеется, я очень хорошо вижу, что он сознает себя виноватым, что у него на лице выступают красные пятна, что он не знает, как сесть, и беспрестанно роняет на пол то ложку, то вилку. Я вижу даже, что он совсем не так ест артишоки, как их есть следует. Тем не менее я не только не преследую его за это, но делаю вид, что ничего не замечаю, и когда на лице его уже слишком явственно изображаются слова: «ваше превосходительство! видит бог, что я не зазнаюсь!», то я совсем не усиливаюсь вызвать эти слова наружу, а, напротив того, всячески стараюсь замять этот щекотливый разговор и начинаю показывать ему стороной, как следует есть артишоки. Почему я так поступаю? Потому ли, что не усматриваю в его похвальном намерении должной дани моему могуществу и рангу? Нет, если я истинный действительный статский советник, то не признавать этого не могу, ибо очень хорошо понимаю, что все это должное и что коллежский регистратор, сидя за одним со мной столом, не может вести себя иначе, нежели так, как себя ведет. Но потому стараюсь я замять его излияния, что вижу в них отступление от основных гастрономических обычаев и преданий. Нигде чувство равенства не предъявляет столько прямой практической пользы, как за обедом, нигде начальнические отношения не делаются столь ненавистными. Приглашая к себе гостей, я, для собственного своего спокойствия, желаю, чтоб все они были равно довольны, и сердце мое дотоле не перестанет тревожиться, покуда им не будет обладать сладкая уверенность, что действительно всем гостям подается кушанье одинаковое, что в салате не может встретиться недостатка и что на заднем конце стола точно так же, как и на переднем, гости продовольствуются вином от Депре, а не от Зызыкина или Терликова. Повторяю: все это я делаю единственно в видах моего собственного спокойствия, а отнюдь не для того, чтоб приобрести популярность между коллежскими регистраторами, и если, несмотря на принятые меры, приглашенный мной коллежский регистратор все-таки будет настаивать, будет привставать с своего места и вопиять: «не зазнаюсь! богом свидетельствуюсь, что не зазнаюсь, ваше превосходительство!», то я, чтоб разом пресечь всякий повод к дальнейшему скандалу, способен решиться даже на самую крайнюю меру. Я не знаю... я даже готов сказать этому ужасному коллежскому регистратору: «Уж если ты, любезный,

не умеешь сидеть за столом смирно, то ступай лучше в людскую!»

А потому, если б волостные старшины IV-го мирового участка обратились ко мне с просьбой сказать за них речь, то я редактировал бы ее несколько иначе. А именно, я сказал бы:

«Братцы!

Сладко едите вы, но еще слаще того пьете и разговариваете. Никогда того прежде не бывало, чтоб русский мужик за одним столом с барами сиживал, а теперь сидит. Стало быть, так оно нужно. А потому, если и напредки таким манером собираться будете, то и напредки милости просим нас приглашать. Мы ничего; мы придем. Ура!»

И я уверен, что общество столь же сочувственно откликнулось бы на мою речь, как и на речь г. Ладыженского. Потому что обществу что̀, в сущности, нужно? Обществу нужно, чтоб была речь и чтоб естественный ход торжества не был нарушен — и больше ничего.

Г-ну Ладыженскому отвечал П. Н. Головин (речь 9-я) и провозгласил тост (4-й) за здоровье крестьян IV участка. Затем уже последовало действительное торжество. Начались обнимания; тост следовал за тостом (числом до шести; тост губернского предводителя дворянства был провозглашен прежде, нежели тост вице-губернатора; из этого я заключаю, что торжествовал принцип земства), посылались депеши по телеграфу, и зажжен был вензель П. Н. Головина.

Итого в сей день было произнесено девять речей и провозглашено десять тостов. По исполнении этого присутствующие, вероятно, разъехались по домам и легли спать.

День второй

17-го августа торжество происходило в усадьбе П. Н. Головина. К сожалению, кашинский бытописатель сохранил об этом дне гораздо меньше подробностей, нежели о предшествовавшем, и не только не сообщал, какие кушанья подавались за обедом, но даже утаил, в какое время дня происходило самое торжество. Произнесено было четыре речи (из них одна самим бытописателем) и провозглашено десять тостов. Речи были средние, и только когда начался уже разъезд, русское сердце не выдержало и шепнуло участникам торжества проводить губернского предводителя дворянства и В. И. Литвинова с русскою песнью. Грянула:

Чарочка моя серебряная,
На золотом блюде поставленная и проч.

В. И. Литвинов не выдержал и сказал последнюю свою (5-ю) речь, в которой выразил надежду, что «дворянское сословие не умрет во веки веков».

Дело, однако, этим не кончилось; был еще и третий день праздника. Но здесь я решительно отказываюсь продолжать мое извлечение и упомяну только о том, что софроновский волостной старшина, Алексей Яковлевич, на сей раз не поверил никому своей тайны и самолично произнес две речи, из которых в одной даже применил к П. Н. Головину евангельское изречение: «блаженны миротворцы, яко тии сынами божиими нарекутся»...

Читатель! какое заключение можно вывести из этого рассказа? Какое, кроме того, что всё это «дела средние» и что всякий человек вообще делает только то, что он может и что для него ближе с руки? В этом, конечно, нет еще ничего ни смешного, ни предосудительного... Но не правда ли, какая странная фантазия публиковать о подобных средних делах во всеобщее сведение, да вдобавок еще снабжать эту публикацию примечаниями!

Рассказывают про Диогена, что однажды он, в ответ на ругательства какого-то плешивого, сказал: «Хвалю твои волоса за то, что они избавились от такой гнусной головы».

Если перевернуть это выражение и применить его к нашей современной гласности, то всякому россиянину, предающемуся этому делу, можно сказать: хвалю твой язык за то, что он избавился от нескольких лишних (не говорю гнусных) слов.

По крайней мере, такого именно мнения о нашей гласности г. Б. Чичерин. Этот знаменитый публицист день ото дня делается знаменитее и знаменитее. Прежде он был знаменит своими подвигами на поприще гласности, теперь — знаменит молчанием. Он совершил дело не легкое: освободил свой язык от ненужных слов — и теперь покоен. Он знает, что «Атеней» и «Наше время», в которых он преимущественно совершал свои подвиги, пали совершенно незаслуженно и что публика когда-нибудь раскается в своем заблуждении; он знает, что публика эта вынослива, что она вынесла период «Русского вестника», выносит период «Московских ведомостей»,— отчего же не вынести ей когда-нибудь и период «Нашего времени»? Он выжидает этой благоприятной минуты; быть может, даже усматривает ее приближение и в ожидании молчит, но бодрствует и собирается с силами.

Странно и в высшей степени поучительно то положение, в которое поставили себя русские публицисты. Все они, в сущности, желают одного и того же, и в то же время все без изъ-

ятия враждуют между собой. Все желают, чтобы Россия благоденствовала, чтобы доверие между управляющими и управляемыми не прерывалось, чтобы правда царствовала в судах, чтобы войска были победоносны и чтобы журналы, в которых они принимают участие, приобретали все больше и больше подписчиков,— вот те законные идеалы, которые руководят их действиями. Казалось бы, что тут не может быть и самомалейшего повода для разногласия; казалось бы, что г. Катков должен был бы радоваться успехам г. Громеки, г. Громека — успехам г. Чичерина и т. д. (ибо только соединенные успехи могут иметь в результате общее ликование); однако на деле выходит не так. На деле выходит, что г. Катков вполне сочувствует только П. И. Мельникову, а с гг. Чичериным и Громекой находится во вражде; г. Громека сочувствует только г. Краевскому и положительно завидует успехам гг. Каткова и Чичерина... Зритель поверхностный и непроницательный может подумать, что тут есть какая-то проклятая тайна, которая заставляет людей стремиться к одним и тем же земным идеалам и в то же время страстно желать взаимного кровопролития.

Тем не менее тайны тут нет никакой, и чтоб убедить в том неопытного читателя, мы постараемся раскрыть перед ним те сокровеннейшие пружины, которые скрываются за нашей домашней публицистической деятельностью.

Во-первых, при совершенной одинаковости общих руководящих идеалов, всякий вопрос, могущий служить предметом для публицистической разработки, распадается на множество подробностей, которые могут дать пищу для споров самых разнообразных и оживленных. Например, возьмем общее положение: *войска должны быть победоносны;* с этим, конечно, согласны все — и г. Катков, и г. Чичерин, и г. Громека. Но здесь возникает множество других, второстепенных вопросов, от разрешения которых зависит большая или меньшая твердость главного положения. Таким образом, г. Катков может утверждать, что для достижения этой цели необходимо обратить внимание на устройство пехоты, и в подкрепление этой мысли приведет множество примеров из древней истории; г. Громека скажет, что главная сила войск заключается в хорошем устройстве огнестрельных орудий, и приведет примеры из недавно изданной им истории киевских волнений 1855 года; г. Чичерин выразит предположение, что войско едва ли может быть победоносно без кавалерии, а г. Краевский постарается соединить все мнения и скажет, что войско тогда только может быть победоносно, когда в нем есть и артиллерия, и кавалерия, и пехота. И вот эти люди, желающие, в сущности, одного и

того же, вдруг возмнят, что они ратуют в разных лагерях, и почнут друг друга козырять. Г-н Чичерин будет насмехаться над пехотой, г. Катков возненавидит артиллерию, г. Громека расскажет взволнованным голосом несколько анекдотов об излишествах, которые позволяют себе кавалерийские офицеры, а г. Краевский будет восклицать: о чем мы, господа, спорим? Другой пример: *доверие между управляющими и управляемыми не должно прерываться.* В общих чертах это положение бесспорно, но и оно заключает в недрах своих множество таких вопросов и вопросцев, по поводу которых публицист опытный и знаменитый может создать себе монумент, а публицист неопытный и незнаменитый может стяжать посрамление. Таким образом, г. Катков будет доказывать, что доверие достигается только посредством предводителей дворянства, г. Чичерин — что в этом деле могут оказать действительную помощь только исправники, и притом исправники, назначаемые от короны; г. Громека обратит внимание на мировой институт и спросит себя: не в нем ли следует искать ключа для сближения сословий? г. Краевский постарается согласить все мнения и скажет, что для достижения желанной цели необходимо, чтоб были и предводители дворянства, и исправники, и мировые посредники. И пойдет у них тут пальба, хотя, в сущности, всем им стоит только отречься от ложного самолюбия, чтоб пристать к мнению г. Краевского.

Вторая причина разногласия заключается в различии темпераментов, которыми обладают наши публицисты. Таким образом, г. Громека посмотрит на каждый вопрос наивно и восторженно, г. Чичерин желчно и язвительно, г. Катков соединит язвительность с восторженностью, а г. Краевский не предъявит никаких качеств, кроме глубокомыслия. Поэтому, например, если им попадется под руку вопрос о правде в судах, то каждый из них растерзает его на свой манер. Г-н Громека нарисует картину, в которой покажет судью, благословляющего поселянина, и поселянина, благословляющего судью, и попросит Айвазовского облить все это золотыми лучами заходящего солнца и нарисовать на заднем плане пару волов, подаренных судье (волы эти подарены судье *вчера,* когда еще не было распоряжения о правде в судах; *сегодня* судья ни под каким видом не взял бы их); г. Чичерин взглянет на предмет иначе и справится наперед с русской историей, что-то она ответит насчет «правды в судах»; г. Катков скажет кратко: «С нас и этого будет», обругает при этом жуликов и мазуриков и докажет, что для последних никакого суда даже и иметь не следует; г. Краевский ничего не нарисует и не выскажет, а подумает: подождем, как разрешит этот вопрос

время. И пойдет между этими людьми баталия не на живот, а на смерть, хотя каждый из них положительно желает, чтобы правда царствовала в судах.

Третья причина разногласия заключается в самолюбии, которое в наших публицистах развито в неимоверных размерах. Хотя все они тоскуют об одном и том же, но всякому хочется уверить публику, что он тоскует совершенно иначе, нежели его сосед, всякому хочется доказать, что сосед его с кем-то нюхается, а он... он хоть и нюхается, но совсем на другой манер, нюхается, так сказать, самостоятельно. И напрасно будете вы говорить им: «Друзья! оставьте эту прю! все вы тоскуете об одном, все вы нюхаетесь одинаково!», напрасно будете подтверждать вашу речь фактами — не согласятся ни за что, засыплют возражениями и войдут в такие тонкие подробности, от которых придется зажать нос. «Я,— скажет один,— не имею обязательной публики: я действую самостоятельно и бескорыстно».— «Да что ж, что у тебя нет обязательной публики,— возразит другой,— ведь ты очень хорошо понимаешь, что и без обязательной публики подписчик на твою приманку побежит! ты преднамеренно льстишь подписчику! ты смотришь на его карманы и сообразно с их положением излагаешь ту или другую мысль! хорошо бескорыстие!» И опять пойдет тут у них брань да баталия...

Наконец, четвертую причину разногласия составляет та врожденная человеку склонность к спектаклю, которая вынуждает его, за недостатком существенной духовной пищи, прибегать к обману чувств и различного рода самообольщениям. Если жизнь представляет мало разнообразия и ровно никакого исхода для деятельности человека, то он устроит это разнообразие в своем кабинете, утопит снедающую его жажду деятельности в каком-нибудь театральном представлении, вроде «Ливанской красавицы, или Горного духа». Это однообразие жизненных мотивов столь же решительным образом действует и на публицистов наших. В сущности, имея в виду одни и те же идеалы, стоя на одной и той же почве и не дерзая идти за пределы тех форм жизни, которые составляют нескончаемое повторение того, что уже заявило о своей несостоятельности, они должны ощущать непреодолимую скуку в этом переливании из пустого в порожнее, в этом взаимном поддакивании, в котором, по необходимости, должна скружиться вся их общественная деятельность. Отсюда — потребность разнообразия, потребность спектакля. У иных эта потребность рождается сознательно, сопровождается преднамеренностью, у других выражается совершенно наивно. Иногда замешается в дело какая-нибудь разница с горошину, а

публицисту уж кажется, что перед ним лежит целая глыба; иногда объявится какая-нибудь ничтожная трещинка, а публицисту кажется, что перед ним разверзлась целая пропасть... И вот он тщательно примечает все эти горошинки и трещинки, нанизывает их одна на другую, придирается к словам и, устроивши все как следует, затевает, наконец, большой спектакль. Нужды нет, что в этом спектакле все фальшиво и ложно; цель публициста достигнута уже тем одним, что у него есть развлечение, есть возможность избежать того давящего однообразия, которое, по необходимости, истекает из совершенного тождества принципов, желаний и стремлений.

Так вот сколько есть причин для разногласия даже между такими публицистами, которым, по сущей правде, следовало бы ходить под ручку и любоваться друг другом. Больше всего теряют от этого, разумеется, читатели, которые через это вовлекаются в обман, наводятся на мысли о каких-то раздорах, партиях и междоусобиях и содержатся в постоянном страхе за целость тех великих принципов, неприкосновенность которых, в сущности, защищается всеми публицистами с одинаковым рвением. Страх напрасный. Когда тайна, которою окружают себя ратоборцы, разоблачена, когда самые раздоры низводятся с высот величия к тем естественным границам, в которых им быть надлежит, то опасения исчезают сами собою. «Эге! да вы это только для собственной потехи турниры-то затеваете!» — скажет читатель и успокоится совершенно насчет неприкосновенности великих принципов.

Скольких раздоров мы были свидетелями, скольких словесных упражнений были читателями в течение настоящего, благополучно оканчивающегося года! С одной стороны, «Московские ведомости» препирались с «Днем», с другой стороны, те же «Московские ведомости» вели войну с «Голосом». Дело шло об том, кто больше любит отечество, и ведь ни одному-то из этих почтенных органов русского печатного слова не пришло на мысль сказать себе, что все они равно любят отечество и все равномерно заботятся о благе его, а всё приходили на мысль думы горькие: о том, кто у кого позаимствовал проект всероссийского словоизвержения, да о том, есть ли у кого обязательные подписчики или нет? Ну, какому же читателю дело до того, у кого г. Катков заимствовал свой проект всероссийского словоизвержения? Кому дело даже до того, что он, позаимствовав этот проект у покойного К. С. Аксакова, счел тут же за долг уязвить славянофилов? Разве достоинство проекта теряет от этого? разве он оттого делается менее прелестным? Редакции «Дня» следовало бы радоваться, что

мысли ее популяризируются, а не уличать г. Каткова в позаимствованиях и недобросовестности.

На днях опять возник спор в том же роде между И. С. Аксаковым и Б. Н. Чичериным. Оба они любят отечество в равной степени, и вот, однако ж, заспорили... и об чем же? о каком-то ничтожнейшем фестончике этого великого вопроса! О том, собственно, как приличнее любить: с участием ли языкочесания, как желает г. Аксаков, или без участия оного, как утверждает г. Чичерин!

Дело в следующем. «День» очень заботится о развитии русской гласности; ему хочется иметь корреспондентов во всех углах России, хочется знать досконально, что делается в этих отдаленных земных расселинах, из которых не только голоса, даже писка человеческого никуда не доходит. По-видимому, И. С. Аксаков задумывает громадный труд: издание балетной этнографии целой России, и потому присутствие в его журнале корреспонденции из одного Кашинского уезда не удовлетворяет его: хотелось бы, чтоб и в прочих местностях завелись такие же балетные корреспонденты, которые с точностью заносили бы на страницы «Дня» словесные подвиги местных витий, сопровождаемые земными поклонами, коленопреклонениями, а подчас и пляской. Не видя осуществления своего замысла, почтенный редактор естественным образом пришел к раздумью: что означает это поголовное, гробовое молчание? и разрешил этот вопрос не совсем лестно для земных расседин. По мнению его, молчание отнюдь не означает здесь благоденствия и благорастворения воздухов, а свидетельствует только о полнейшем равнодушии захолустных россиян не только к интересам общечеловеческим, но и к тем маленьким, захолустным интересам, среди которых происходит их жизнь. В пример такой апатии привел он Тамбовскую губернию, которая, несмотря на все усилия создать в ней балетного корреспондента, решительно упорствует в самом непроходимом молчании. Мало того: он даже усумнился, доподлинно ли эта губерния существует, не составляет ли она пустого географического термина и не сбежала ли, наконец, куда-нибудь?

За Тамбовскую губернию вступился почтенный профессор Московского университета Б. Н. Чичерин. В письме, напечатанном в 48 № «Дня», он поведал г. Аксакову, что ему заподлинно известно, что сделалось с Тамбовской губернией; что он в ней родился, воспитывался, живет там каждое лето и любит ее сердечно. Заручившись таким фактом, он продолжает, что Тамбовская губерния стоит на месте и что в настоящее время молчание есть именно признак «благополучного

пребывания на месте». По мнению его, в такую минуту, когда «Россию постигла язва непомерного языкочесания», когда свое слово хочет сказать даже тот, кому и говорить-то, в сущности, нечего, губерния, которая молчит о себе, должна быть названа «мудрейшею из губерний». «Куда бежать, где найти успокоительный угол, если даже тихая степь начнет об себе разглагольствовать? — восклицает он.— Возвращусь я домой — и найду знакомую мне Тамбовскую губернию волнующуюся, обличающую, критикующую, анатомирующую собственные внутренности, обуянную задором и честолюбием красоваться на страницах журналов. Г-н редактор, пощадите!» Затем г. Чичерин объявляет, что молчание тамбовцев означает, что они заняты делом, и что там, в этой степи, «в тишине совершается великое превращение народной жизни». «Поверьте,— заканчивает он,— молчаливые губернии — столпы русской земли. Ведь, между нами, мы от русского слова большого прока до сих пор не видали, но в русском молчании таится громадная сила»...

Г-н Аксаков, конечно, не оставил без ответа этого заявления и объяснил: 1) что если Тамбовская губерния молчит теперь оттого, что у ней много дела, и оттого, что в недрах ее совершается великое превращение народной жизни, то почему же она столь же упорно молчала в то время, когда существовало в ней крепостное право, когда дела у нее решительно никакого не было и когда ни в тишине, ни в громе и блеске молний не совершалось в недрах ее никаких превращений? 2) что доказательства г. Чичерина насчет благополучного состояния Тамбовской губернии «напоминают стихи Шевченки, что от Кавказа до Финляндии, от Балтики до Океана, у нас

......вси мовчат,
Бо благоденствуют...»

и, наконец, 3) что Тамбовская губерния пришлась только к слову, но что, и кроме ее, есть предостаточно губерний, которые отнюдь не уступают Тамбовской в молчаливом благоденствии, и что из этого, по логике г. Чичерина, должно заключить, что «мы окружены целым океаном гражданского благоденствия и мудрости».

«Счастливый г. Чичерин! — восклицает по этому поводу почтенный редактор «Дня»,— как ему должно быть хорошо и тепло на свете, под сению тамбовского счастия, при сиянии тамбовской мудрости, с его тамбовским миросозерцанием!»

Признаюсь, мне очень хотелось бы теперь же разъяснить читателям, что такое это «тамбовское счастие» и эта «тамбовская мудрость», о которых говорит И. С. Аксаков, но покамест

я воздержусь и возвращусь к вопросу. Чего добивается г. Аксаков? что отстаивает против него г. Чичерин?

Очевидно, г. Аксаков добивается истины: он хочет, чтобы в земные расседины проник луч солнца и осветил их внутренность; он ищет, чтобы всякий россиянин, любящий свое отечество, знал, что́ именно он любит, чтоб он, вступая в разговор с каким-нибудь липпе-детмольдским подданным, мог сказать: «Да, я люблю Россию, ибо в отечестве моем есть Тамбовская губерния, которая столько-то сот тысяч пудов ржи производит на продажу, есть село Кимра, в котором работается ежегодно до десяти тысяч пар сапогов, и есть город Ржев, в котором приготовляется прекраснейшая яблочная пастила!» Таким стремлениям решительно нельзя не сочувствовать, тем более что они составляют крутой поворот в убеждениях самого «Дня», который, как известно, был всегда поборником любви для любви. В самом деле, ведь только почитатели французской кухни могут оставаться равнодушными к тому, из чего приготовлено и как приготовлено лакомое блюдо, которое они едят: было бы, дескать, лишь вкусно! Но любовь к отечеству не еда; она, как и всякое другое разумное чувство, допускает анализ и поверку, которые ни в каком случае не подрывают, а, напротив, могут только укрепить ее. Правильно.

Но с другой стороны, г. Чичерин, становясь на точку зрения общечеловеческую, защищает любезнейшее из прав человека,— право молчания. Такому стремлению тоже нельзя не сочувствовать, ибо право молчать должно быть столь же неприкосновенно сохранено человеку, как и право говорить, и г. Чичерин, взяв на себя защиту этого права, поступил как настоящий гражданин. Затем, что касается собственно любви к отечеству, г. Чичерин в этом отношении, очевидно, принадлежит к той школе философов, которая в этом чувстве всего более похваляет его непосредственность. И в самом деле, что может выиграть это чувство, если мы в сферу его внесем элемент аналитический? — Отнюдь ничего, ибо никакое кушанье ни на волос не может улучшиться от того, что составные его части и способ приготовления известны. Напротив того, самое присутствие анализа в любви (не говоря уже о том неприятном кортеже новых фактов и открытий, который всегда приводит анализ с собою) не умалит ли ее живость и цельность? Умалит, непременно умалит, ибо анализ сам по себе есть элемент по преимуществу охлаждающий, тормозящий, и мы, простые смертные, каждый день убеждаемся в этом в нашей обычной будничной деятельности. Правильно.

Таким образом, я нахожусь в самом адском затруднении. Почему? а потому именно, что чувствую, что оба публициста

правы. Об чем идет здесь дело? спрашиваю я себя и отвечаю: очевидно, здесь идет дело о любви к отечеству. Но если дело идет об этом, то не все ли равно, какая это любовь: молчащая или говорящая, анализирующая или основанная на одном непосредственном стремлении? Все равно, отвечаю я, ибо любовь сама по себе остается неприкосновенною и нисколько не зависящею от форм, в которых она проявляется. «Пусть тот, кто может вместить любовь говорящую, вместит любовь говорящую, а тот, кто может вместить любовь молчащую, пусть вместит любовь молчащую!» — восклицаю я, и, по мнению моему, восклицаю правильно, потому что отечество может только выиграть оттого, что его любят на разные манеры.

Следовательно, вот еще и третье мнение, которое, прошу заметить, вовсе не навеяно мне А. А. Краевским, а есть мое собственное.

Но дело это так любопытно, что я решаюсь продолжать мои исследования далее.

По-видимому, г. Чичерин руководился в своем «Письме» следующими соображениями:

Во-первых, ему показалось, что как только Тамбовская губерния последует искусительному совету г. Аксакова, как только «тихая степь начнет о себе разглагольствовать», то она утратит большую часть своей наивной прелести. Г-н Чичерин, очевидно, уже утомился; он совершил свой подвиг, который именно в том и состоит, что он ничего не сделал, а так как подобных подвигов впереди может предстоять еще множество, то очень естественно, что он не хочет, чтобы при совершении их его развлекал излишний шум. В этом смысле Тамбовская губерния служила ему надежным убежищем; он утешался ею и успокоивался на лоне ее от московских треволнений. Там, посреди молчания тихой степи, он обдумывал планы новых московских подвигов, там, под влиянием великой, но безмолвствующей черноземной силы, писал он бессмертное свое сочинение о казачестве в науке... Правильно.

Во-вторых, ему, естественно, представлялся вопрос: что может сказать о себе Тамбовская губерния, ежели, паче чаяния, последует совету г. Аксакова? А ну, как она, вместо сведений о молоканах, об общинном начале и о народных юридических обычаях, столь настоятельно требуемых почтенным редактором, заведет нескончаемую речь о скотоводстве? Получат ли тогда читатели «Дня» правдивое понятие о губернии или не получат? Да полно, есть ли еще в ней такие литераторы-обыватели, которые и о скотоводстве-то без грамматических ошибок говорить могут? А то ведь, пожалуй, как раз нарежешься на балетную корреспонденцию, вроде «кашинской»...

Нет, лучше смерть, чем жизнь позорну! —

воскликнул г. Чичерин и ринулся отстаивать право Тамбовской губернии на молчание. И в самом деле, положение предполагаемых тамбовских корреспондентов до крайности затруднительно. Для большей ясности сравню его с моим собственным. Я очень желал бы, например, быть петербургским корреспондентом «Дня» и посылать ему отчеты о каких-нибудь заседаниях или прениях, в которых принимали бы участие все светила современной русской публицистики. С каким бы восторгом записал я на скрижали «Дня» следующий, например, протокол заседания:

Президент. В прошлое заседание г. Чичерин...

Г-н Павлов (de la Moscowa [1]). Я требую слова!

Президент (*продолжает*). Г-н Чичерин представил предложение такого рода: «В Тамбовской губернии, как существующей, собственно, для увеселения его, г. Чичерина, не допускать проявления гласности, под опасением строжайшего взыскания по Уложению царя Алексея Михайловича». Слово за г. Павловым (de la Moscowa), предлагающим поправку.

Г-н Павлов (*дрожащими стопами идет к ораторской трибуне; публика смеется*). Милостивые государи! Я ничего не имею сказать против предложения почтенного моего друга...

Г-н Катков. Я требую слова!

Президент. Слово принадлежит г. Каткову (*ропот со стороны гг. Чичерина, Кетчера, Солдатенкова, Корша* (de la Moscowa) *и Дмитриева*).

Г-н Павлов. Позвольте, г. Президент, это с вашей стороны несправедливость, это, наконец, систематическое угнетение благоразумного меньшинства (*плачет*).

Г-н Катков (*тронутый*). Я предоставляю г. Павлову объясниться, хотя заранее уверен, что он скажет вздор! (*Садится на место; в публике слышится:* «О, великодушный!», *между помещиками:* «О, спаситель!», *между девицами:* «Душка!»; *один голос отделяется резче и произносит:* «Mais regarde, comme il est bien fait, ma chère!» [2]

Г-н Павлов. Я желал бы только, милостивые государи, распространить силу этого предложения и на Рязанскую губернию, в которой жена моя имеет недвижимую собственность. (*Дрожащими стопами сходит с трибуны и возвращается на место; г. Солдатенков поздравляет оратора с успехом; известный издатель Стелловский подсылает поэта Вс. Крестовского, чтобы узнать, не позволит ли блестящий оратор напечатать свою речь отдельными экземплярами и разослать при афишах.*)

Г-н Катков (*входит на трибуну задумчивый и ищет носового платка; из дамской трибуны сыплется на него целая сотня платков; слышится в публике женский голос:* «Oh! ma chère! mais il est d'un blond cendré!» [3]) Милостивые государи! не имея ничего против самой сущности принципа, защищаемого гг. Чичериным и Павловым (de la Moscowa), я вооружаюсь единственно против тех преувеличений, к которым может повести принятие предлагаемой вам меры. («Андил!» — *кричит какая-то купчиха с хор; общий смех.*) Милостивые государи! Я не вижу здесь никаких поводов для смеха! бедная женщина выражает свой восторг простодушно... я решитель-

---

[1] от Москвы.

[2] Но посмотри, дорогая моя, как он хорошо сложен!

[3] О, дорогая моя, но ведь он — пепельный блондин!

но не понимаю, в чем тут комизм! (*Всеобщие знаки одобрения.*) Итак, я не против самой сущности принципа, но против преувеличений. Я нахожу, что, приняв это предложение, мы только дадим новое оружие в руки жуликов и свистунов. Поверьте, милостивые государи, что я и друзья мои справимся с этою гласностью совершенно легко и без всяких принудительных мер (*оратор опять чего-то ищет; оказывается, что он растерял все платки; к ногам его вновь сыплется целая сотня*). Тут даже не место сказать: timeo Danaos et dona ferentes [1], потому что это и не данайцы совсем, а просто сотрудники «Дня», которых могут опасаться только гг. Чичерин и Павлов. А потому я предлагаю: отвергнуть предложение г. Чичерина, формулировав этот отказ словами: risum teneatis, amici! [2]

И т. д. и т. д.

Но что же мне делать, если я, вместо подобных фантастических отчетов, должен говорить о распрях между гг. Чичериным и Аксаковым? Точно в таком же горьком положении, наверное, найдутся и предполагаемые тамбовские корреспонденты. Не выдумывать же им в самом деле факты и происшествия для увеселения публики «Дня»! Вот мысль, которую, вероятно, имел, и не мог не иметь г. Чичерин, когда представлял себе Тамбовскую губернию, соблазненную советами г. Аксакова. Правильно.

В-третьих, г. Чичерина могли застращать призраки корреспондентов «Московских ведомостей» гг. Виноградова и Петерсона. Что, если, в самом деле, и в Тамбовскую губернию проникнут такие же витязи? Да ведь тогда нельзя будет фунта балыка купить, чтобы не быть обвиненным в сепаратизме в пользу Земли Войска Донского, нельзя будет выкурить трубки турецкого табаку, чтобы не заподозрили тебя в наклонностях к мусульманству! Господи! да при одной этой мысли

Меня объемлет хлад, и сквозь пронзает трепет

(пусть потрудится г. Лонгинов отыскать, из какого водевиля взят мною этот стих)! Представляю я себе такую картину: нарисована Тамбовская губерния; на первом плане г. Чичерин сочиняет статью о казачестве в науке; по бокам расположены помещики, которые молчат и занимаются делом; внизу изображены поселяне, которые «в тишине совершают великое превращение народной жизни». Все спит. И вдруг вдали грядут гг. Петерсон и Виноградов... желал бы я видеть те волоса, которые не встали бы дыбом при этом зрелище! Каков ужас должен изобразиться на всех этих спящих, но занятых делом лицах! какая страшная сумятица должна произойти в самой природе от такого нежданного и нежеланного появления!..

---

[1] опасаюсь данайцев, даже и дары приносящих.
[2] не смешно ли?

Увы! я очень хорошо понимаю и этот ужас, и эту сумятицу, а так как г. Аксаков не может представить никакого ручательства, чтоб гг. Петерсону и Виноградову был воспрещен въезд в Тамбовскую губернию, то я вполне разделяю опасения г. Чичерина и нахожу, что в этом смысле он рассуждает... правильно.

Таковы могут быть совершенно основательные соображения, руководящие г. Чичериным. Но так как я справедлив и не могу обойтись без того, чтоб не выслушать и противной стороны, то постараюсь формулировать и те возражения, которые могут быть представлены со стороны г. Аксакова. Отчего же не выслушать и его?

С своей стороны, г. Аксаков мог быть руководим в своей полемике тоже тремя соображениями.

Во-первых, он может сказать, что предполагаемая тамбовская гласность не только не может мешать сочинению статей о казачестве в науке, но даже должна поощрять труды в этом роде, и в подкрепление своей мысли сошлется на корреспонденцию кашинского бытописателя. Кого огорчила эта корреспонденция? кому помешала она? не пролила ли она, напротив того, веселие во все сердца? И кто может поручиться, что в эту самую минуту в Кашинском уезде не изготовлено несколько десятков тысяч статей о казачестве в науке, о казачестве в литературе, о казачестве в торговле, о казачестве в фабрикации виноградных вин и т. д., написанных именно под влиянием веселых чувств, пробужденных кашинскою корреспонденцией? Ибо веселие поселяет добрые чувства в человеке, укрепляет его мышцы и поощряет к новым подвигам. Правильно.

Во-вторых, г. Аксаков мог рассуждать и так: если призываемая мною тамбовская гласность и действительно принесет мне сведения исключительно о скотоводстве, то что же из этого следует? Не лучше ли раз навсегда убедиться, что там ничего нет, кроме скотоводства, чем питать себя розовыми мечтами о каких-то народных юридических обычаях и проч.? И притом, разве скотоводство постыдная вещь? разве оно не может составлять, в некотором смысле, мерила для народной характеристики наравне с любым юридическим обычаем? Дело не в том, чтобы губерния давала именно то, чего мы от нее желаем, а в том, чтобы знать, что в ней есть на самом деле, какими глазами мы должны на нее смотреть и чего вправе от нее ожидать... Правильно.

В-третьих, наконец, опасение появления в Тамбовской губернии гг. Виноградова и Петерсона, в качестве ли местных литераторов-обывателей или в качестве туристов, лишено основания, ибо такие люди рождаются веками, да и то не иначе,

как при содействии «Московских ведомостей». Следовательно, необходимо соединение особенно благоприятных условий, чтобы опасения такого рода могли осуществиться; скорее же всего, судя по естественному ходу тамбовской, курской, вятской и других цивилизаций, следует ожидать там появления точь-в-точь таких корреспондентов, каким представляется бессмертный кашинский бытописатель. Правильно.

Правильно, правильно и правильно. Правильно рассуждает г. Чичерин, и точь-в-точь так же правильно рассуждает г. Аксаков. Потому что оба они рассуждают о таких предметах, о которых нельзя иначе и рассуждать, как правильно. И если бы я захотел и взял на себя труд поставить рядом эти враждебные, по-видимому, мнения двух московских публицистов, ратоборствующих в совершенно различных лагерях, то вышло бы из этого третье мнение, которое также было бы правильно.

Выгоды от такого рода рассуждений неисчислимы. И прежде всего, разумеется, бросается в глаза та полная свобода, которою пользуется человек, решившийся рассуждать правильно. Он может говорить все, что хочет, все, что случайно набредет ему на мысль, он может противоречить самому себе, может даже, по произволу, давать своей речи или положительный, или отрицательный смысл,— вреда от этого не произойдет никакого, и всякое слово его, наверное, будет правильно, потому что самый сюжет правилен, потому что самый предмет речи вынесет какую угодно словесную забаву. В подобных трудах обыкновенно закаливаются великие люди, которые постепенно приготовляют себя для великой общественной деятельности. Это, без всякого сомнения, самая лучшая школа.

Не здесь ли разгадка *тамбовской* мудрости? не здесь ли искать ключа к объяснению *тамбовского* счастия?

Кончаю, но в заключение не могу не спросить себя: до чего, наконец, мы договорились? какие вопросы рассматриваем и разрешаем? Мы разрешаем вопрос о том, что лучше — гласность или молчание? Мы предаемся розовым мечтам о том, как хорошо и покойно жить в тех земных расселинах, которые о себе не разглагольствуют! Мы утверждаем, что эти расселины — мудрейшие из расселин! Мы вспоминаем поговорку: речь — серебро, а молчание — золото!..

Славно.

Читатель! эта хроника последняя в настоящем 1863 году. Но из того, что я беседовал с тобою по большей части веселым слогом, не торопись заключать, что я человек веселых нравов и что жизнь для меня точно так же легка, как для г. Фета

и других поэтов мотыльковой школы. Нет, я беседовал с тобою весело совсем не потому, чтобы в душе моей не было горечи, чтобы я, в порыве гражданских чувств, не ощущал по временам потребности возвышаться до красноречия истинно тропического (производное от слова «тропы»), но потому единственно, что я добродушен и милосерд, и милосердие свое не ограничиваю тесною сферой бесплодных сетований и аханий, но изливаю его в виде действительного утешения, каковым и является в настоящем случае веселый смех.

Когда ребенок плачет, когда он ушибся или чем-нибудь огорчен, то няня прежде всего старается развлечь его, и по большей части достигает этого, обратив его внимание на какой-нибудь веселый предмет. Начнет показывать ему «козу рогатую» или читать лекцию о том, как «сорока кашу варила»... смотришь, ан дитя и рассмеялось, смотришь, ан оно позабыло и об ушибах и о других огорчениях, которыми обставляется детское существование! Но это еще не значит, однако ж, чтоб нянька сама принимала непосредственное участие в тех утешениях, которые она предлагает огорченному ребенку, чтоб они были в равной степени занимательны для нее, как и для него.

Этот пример я совсем не для того привел, чтоб сравнить себя с няней, а тебя, читатель, с ребенком (боже меня упаси от подобных поползновений!), но для того, собственно, чтобы выяснить мою мысль. Ибо согласись, что действительно утешения были для тебя не лишни. Чем же я тебя утешал? Какого рода бальзам проливал в твое уязвленное сердце?

Я утешал тебя тем, что грозное лето не может продолжаться до бесконечности, что наступит когда-нибудь и зима. Я говорил: если тебе кажется, что небо разваливается, что земля трепещет и стонет, что воды выходят из берегов, то не тужи и не убивайся, ибо небо это картонное, земля картонная и вода картонная. Я доказал, что так называемые нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в первоначальном диком и нераскаянном состоянии, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты. Я, посредством длинного ряда примеров, убедил тебя, что нет на свете того заиндевевшего «в боях домашних» воина, который не был в свое время «мальчишкою», и что, следовательно, присутствие мальчишеского элемента в нашем обществе не только не дает нам повода смущаться и недоумевать, но, напротив того, должно наипаче наполнять все сердца сладкой уверенностью, что со временем из пламенных мальчишек образуются не менее пламенные каплуны. Одним словом, я пролил покой в твое сердце, я дал возможность взглянуть на мир умиленными глазами, я указал

тебе, что есть средство спать спокойно даже и при кажущемся треске грома... или и этого мало?

На мой взгляд, это заслуга значительная; на мой взгляд, я явился в этом случае и проницательным историком, и глубокомысленным философом. Я первый, с свойственною мне твердостью и стойкостью, высказал ту мысль, что нет на свете той пакости, которая, с точки зрения исторической или философской, не могла бы найти себе оправдания и которая, в случае нужды, не представлялась бы даже милою. Еще в древности великий поэт наш сказал:

Сердце в будущем живет,
Настоящее уныло;
То, что было, то пройдет,
Что пройдет, то будет мило...

«До новой пакости», могу я прибавить к этому от себя, хотя нет сомнения, что и эта «новая пакость» когда-нибудь и кому-нибудь да будет же казаться милою... И если я не всегда действовал успешно на избранном мною поприще, если не вполне развил мое учение о преемственности человеческих заблуждений, то не забудь, читатель, что я никогда не являлся перед тобой в своем натуральном виде, но всегда несколько искалеченным. Я надеялся не столько на то, что ты в совершенстве усвоил себе механизм чтения, сколько на твою проницательность и догадливость, на то, одним словом, что ты не только читать, но и понимать можешь. Откуда эта странная манера изъясняться с читателем? Знаю, что многие приписывают это обстоятельство цензуре; но я решительно не разделяю этого мнения и нахожу, что хотя привычка выражаться обинякам есть явление очень горькое и почти, так сказать, холопское, но оно принадлежит не цензуре, а тому понятию, которое мы, писатели, о цензуре имеем. Ибо что такое, в сущности, цензура? цензура есть учреждение, предупреждающее размножение человеческих заблуждений (тех самых, которые когда пройдут, то будут милы), одних заблуждений; следовательно, по самой задаче своей, она может только оберегать, поддерживать и ободрять, но отнюдь не преследовать или стеснять. Но мы, литераторы, неизвестно почему, привыкли представлять себе цензуру в виде ножниц, которые режут себе да режут как попало и где попало. И вследствие этого постоянно находимся в страхе. Понятно, какой переполох должно производить в наших мозгах такое опасное заблуждение! Вместо того чтоб стараться о том, чтобы устранять заблуждения и распространять здравые мысли, мы нередко смешиваем те и другие, и здравые наши мысли скрываем, а заблуждения рассеваем. И совсем даже не

потому, чтобы имели тут злостное какое-нибудь намерение, а просто потому, что сбились с толку и не умеем различать. Натурально, цензура видит это и исправляет. Чем же она виновата тут?

Сказывают, что в будущем году цензура будет упразднена. Если это случится, то я первый же фельетон мой начну словами: «Что они с нами делали! они вынимали часть нашего мозга! они бестрепетною рукой надевали на нас дурацкий колпак!» и т. д. и т. д. Одним словом, пожалуюсь. Но как ни лестна для меня возможность такой своевременной жалобы, все же слух об упразднении цензуры, скорее, смущает, нежели радует меня. Ибо я чувствую, что буду неправ. Во-первых, я привык к цензуре; я приучил себя писать как можно больше слов, в том соображении, что из множества всё хоть что-нибудь да останется (увы! нередко я и на этот счет очень горько заблуждался); следовательно, на первый раз умеренность и употребление настоящих, а не подставных слов для выражения моих мыслей будет для меня делом чрезвычайно трудным. Во-вторых, меня не на шутку тревожит заявление М. Н. Каткова о том, что он ждет не дождется упразднения цензуры, чтоб поговорить с петербургскими журналами со всею искренностью и на всей своей воле. Что хочет сказать знаменитый публицист этою угрозой? Какой план кампании загодя составляет он в голове своей? Пригласит ли он себе в помощники по этой части гг. Виноградова и Петерсона или разделит всю славу литературной расправы только с г. Пановским? Признаюсь, я в особенности боюсь гг. Виноградова и Петерсона; я даже думаю, что таких и публицистов совсем нет и что фамилии эти просто-напросто суть псевдонимы синильной кислоты...

Нет сомнения, что г. Катков думает, что как только цензура будет упразднена, то петербургская литература, почувствовав себя без узды, первым же делом примется за пропаганду мыслей о содомских увеселениях и вообще устремит своей бег исключительно в сферу свободного клубницизма. Но это мнение ошибочное и, очевидно, составляет результат неумеренного чтения «Взбаламученного моря». Я, с своей стороны, например, совершенно уверен, что петербургская журналистика выкажет себя вполне достойною той свободы, которая ее ожидает, что она даже постепенно обуздает самого г. Каткова, разумеется, обуздает умеючи и там, где это можно и нужно... Потому что ведь таких обоюдуязвительных псевдонимов, как гг. Виноградов и Петерсон, и в Петербурге найдется предостаточно... ей-богу, так!

Но, конечно, все эти опасения преувеличенные, и я льщу себя надеждой, что начну будущий фельетон совсем не тою

фразой, какая приведена выше, а несколько иначе. «Она еще с нами! она еще направляет и напутствует нас! она невидимо поддерживает нас на трудном пути нашем!» — воскликну я и буду себе потихоньку радоваться смущению гг. Каткова, Петерсона и Виноградова...

Но на прощание не могу не поделиться с тобою, читатель, новым произведением музы нашего публициста-поэта кн. Вяземского. Вот этот перл:

О НАШИХ НИГИЛИСТАХ

(Avec circonstances atténuantes[1]*)*

Грех их преследовать упреком или свистом.
На нет нет и суда: плод даст ли пустоцвет?
Ума в них нет, души в них нет,
Тут поневоле будешь нигилистом.

Благодарю.

[1] Со смягчающими (вину) обстоятельствами.

<VIII. ЯНВАРЬ 1864 ГОДА>

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ НОВОГО ГОДА.— ОТКРЫТИЯ, ИМ ПРИНЕСЕННЫЕ.— НЕЧТО О ПОНИЖЕНИИ ТОНА.— НЕЧТО О НЕЗАВИСИМОСТИ.— НЕЧТО ОБ ИЗОБИЛИИ ГЕНИЕВ.— ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СЛОВО В МОЮ СОБСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ

Если б мне предложили вопрос, чем именно нравится мне прошлый 1863 год, я скорее всего ответил бы: «Ничем он мне не нравится», и предполагаю, что публика осталась бы довольною таким ответом.

В самом деле, что такое «старый год», что такое «новый год»? Неужели человечество еще недостаточно умудрено опытом, чтоб убедиться, что это не более как термины, имеющие значение исключительно астрономическое. А какое дело нам, простым и бедным людям, до того, что происходит в области астрономии! Разве «новый год» приносит нам пироги и жареных поросят? Разве, уходя, «старый год» уносит в вечность все черствые куски, которыми усеяна сия юдоль плача? Чему мы радуемся? Что жалеем? О, оставим лучше астрономов в покое доказывать все, что им доказывать надлежит, и будем жить, как живется, ничего от себя не утаивая, но ничего и не преувеличивая.

И в старом году хорошо жилось, и в новом хорошо будет житься. Это уж так изначала заведено, чтоб всегда жилось именно так, как живется. И если иногда тебе кажется, о птенец! что мир не всегда идет так, как бы ему идти надлежало, то это не что иное, как горькое, детское твое заблуждение, которое потому только и прощается, что тебе, как птенцу, заблу-

ждаться приличествует. В сем мире все предусмотрено, все подчинено неизменным законам; заблуждения и мудрость, увлечения и трезвый глас рассудка, жар и холод — все это заранее размещено по своим местам, все это следовало, следует и будет следовать одному раз навсегда определенному церемониалу. Птенцы заблуждаются, старцы постепенно умудряются, юность увлекается и впадает в ошибки, зрелость подмечает эти ошибки, и если они не внимают трезвому голосу рассудка, то вычеркивает их, потому что в числе ее обязанностей, кроме убеждения посредством голоса рассудка, находится и вычеркивание. Что можешь сказать ты, птенец, против этого? Разве Африке не приличествует изнемогать под лучами палящего тропического солнца, а Европе — наслаждаться благорастворением воздухов? Или ты и против этого будешь спорить? Спорь, мой друг, спорь! это тебе приличествует!

Я знаю, почему ты споришь: тебе не нравится право вычеркивания, которое, по моей теории, предоставляется старшим... Друг! успокойся! помни, что когда пора заблуждений пройдет, когда наступит пора постепенного умудрения, то право вычеркивания предоставится и тебе (тогда-то поймешь ты, сколько сладости заключается в этом праве!). И даю тебе голову на отсечение, что ты не только не отвернешься от него с негодованием, но воспользуешься им, до такой степени воспользуешься, что даже из всех сил будешь протестовать против всякой попытки, которая стремилась бы его отменить или ограничить! Итак, не волнуйся и не спорь, но с терпением и уверенностью ожидай своей очереди!

Мне уж давно перестали нравиться «годы»; давно уж я перестал вспоминать о старых и ожидать чего-нибудь путного от новых. Время всегда равно времени, говорю я себе, и спокойно гляжу на прошедшее, и не прихожу в восторг при виде грядущего. Помню, когда я еще был маленький, то меня по целым годам водили в дрянной ситцевой рубашонке, и всё твердили: «А вот погоди! будешь умником, так сошьем тебе к Новому году бархатную курточку и алые штаники с светленькими пуговками!» Но напрасно старался я быть умником, напрасно преодолевал отвращение при виде моей дрянной и ветхой рубашонки,— наступал Новый год и никакой-таки бархатной курточки с собой не приносил! Сколько горьких детских слез пролил я в то время, вновь надевая мое ветхое рубище! Сколько глупых упреков, сколько невинных проклятий назревало тогда в моей юной груди!

Но я был юн, а следовательно, и легкомыслен. Когда я стал подрастать, то меня продолжали обольщать с прежним успехом, но обольщали уже не курточкою и алыми штаниками, а

обещанием хорошеньких маленьких книжек и надеждой поступить в заведение, где воспитываются хорошенькие маленькие дети. И я опять старался быть умником, опять с восторгом приветствовал какую-то новую эру своей детской жизни... и опять в результате были слезы, страшные детские слезы! И не то чтоб мне не давали хорошеньких маленьких книжек, не то чтоб меня не отдали в хорошенькое маленькое заведение,— но даже я детским умом своим понял, что хорошенькие книжки, которые мне предлагали, были подобны тем позеленевшим дождевикам, которые при малейшем прикосновении испускают из себя один прах, и что заведение, в которое меня наконец отдали, могло быть только источником новых детских слез и огорчений, а отнюдь не предметом нетерпеливых восторгов.

Я помню, нас было в классе двадцать три ученика, и между ними, по успехам в науках, я был восьмым. Но однажды в головку maman пришла несчастная мысль попристальнее заняться моим воспитанием и слегка поруководствовать мной.

— Прилежно ли ты учишься, друг мой? — спросила она меня таким вкрадчивым голосом, как будто бы, вслед за этим вопросом, должна была разом произойти выгрузка конфект из всех ее карманов.

— Я, маменька, восьмой по классу! — отвечал я с некоторой гордостью, совершенно надеясь, что здравый смысл сделает остальное, то есть подскажет maman, что «восьмой» совсем не значит «двадцать третий».

— Гм... однако не первый? — пробормотала maman и отпросила меня на целый день домой.

Я собирался с радостью и всем товарищам говорил, какая у меня maman добрая и сколько ожидает меня впереди сладких пирожков. Но дома меня высекли... за то, что я не был первым по классу, и по окончании этой операции сказали: «Вот, если ты будешь умником, то тебя сечь не будем!» — «Только-то!» — шевельнулось тогда в моей голове, и в то же время зароилось там множество и других, самых разнообразных мыслей. Во-первых, мне совершенно логически представилось, что весь наш класс, исключая первого ученика (бедный! ужели ты не чувствовал, что это изъятие сечет тебя гораздо больнее, нежели всевозможные розги!), должен быть высечен; во-вторых, мне пришло на ум: а что, ежели, вследствие такой экзекуции, все наши ученики, точно так же как и я, пожелают быть первыми? ведь этак, пожалуй, опять придется остаться восьмому восьмым, а двадцать третьему двадцать третьим? в-третьих, я с ужасом думал: если maman высекла меня за то, что я восьмой, то что же должна сделать maman Кротикова с моим другом Феденькой, который был постоянно первым по числу съедае-

мых им булок, но по успехам в науках решительно всегда стоял двадцать третьим.

Но главный результат, который приобретен мною вследствие этих разочарований, заключается в том, что я почувствовал себя умудренным и стал смотреть на «годы», как на пустую формальность, из которой, как ни бейся, никакого другого сока не выжмешь, кроме того, который в ней заключается. Время равно времени, год равен году; в одном нет повода для воспоминаний, в другом — для надежд; и в том и в другом случае ветхая ситцевая рубашка остается все тою же ветхою ситцевою рубашкой. И если при таком убеждении жизнь утрачивает свою игривость, то, взамен того, она приобретает то завидное спокойствие, которое замечается в физиономиях кукол, с вставленными вместо глаз светленькими оловянными кружками.

Само собой разумеется, что для того, чтобы стать на ту философическую высоту, с которой дела сего мира кажутся безразличными, необходимо пройти сквозь множество такого рода испытаний, которые на русском языке слывут под общим характеристическим наименованием «огней и медных труб» (сколько мне известно, в нашем отечестве это наименование считается синонимом того, что в других странах называется наукой); но с другой стороны, как же и требовать, чтоб блага истинные и прочные доставались нам даром? Если б я с юных лет не был обманываем самым простым и нахальным образом и если б самолюбие мое не выкипело дотла в этой презренной тине лукавств, подвохов и умолчаний, то, быть может, я и до сих пор ждал бы моей новой бархатной курточки. А теперь я не жду ничего и такими глазами смотрю на мое дырявое, ветхое рубище, как будто бы ему и по штату положено быть именно дырявым и ветхим.

«Но чего же, каких жизненных результатов добился ты с приобретением такого взгляда?» — спросят, быть может, меня читатели.

Сознаюсь откровенно, вопрос этот несколько затрудняет меня. В самом деле, чего я достиг? спрашиваю я себя. Достиг ли я мира душевного? нет, не достиг, ибо покой мой беспрестанно нарушается чужим беспокойством, ибо для того, чтобы беспечно наслаждаться своим спокойствием, нужно, чтоб и все окружающее предавалось такому же наслаждению. Достиг ли я, по крайней мере, права прозябать втихомолку в своем темном углу? — нет, и этого права я не достиг, потому что право прозябания, несмотря на свою очевидную неказистость, есть слишком ценное право, чтоб быть доступным кому бы то ни было, исключая тех редких избранников фортуны, которые

до того уже щедро наделены природой, что, при ближайшем рассмотрении, кажется, как будто они и совсем ничем не одарены... Итак, в результате оказывается, что я обладаю, собственно, только точкою зрения, взглядом хорошим, возможностью с полным убеждением произнести, что *ничто не ново под луною...* Кушанье неважное, и нет сомнения, что я не потерпел бы никакого убытка, если б даже не обладал им.

Но чего же достиг и ты, о люд волнующийся и стремящийся! Вглядись пристальнее в твою деятельность, не увидишь ли ты в ней жалкой пародии на деятельность тех служителей искусства для искусства, науки для науки, против которых устремлено было все твое горячее негодование? Волнение для волнения, стремление для стремления; сегодняшняя пустая деятельность, поправляющая вчерашнюю пустую деятельность, и в свою очередь поправляемая завтрашнею пустою деятельностью! Вот процесс твоей жизни, а в результате — вечное, непрерывающееся самообольщение, то жалкое самообольщение, которое для человека, непричастного этой суматохе, кажется совершенно необъяснимою психологическою загадкою. Согласись, что и это кушанье неважное и что ты не понес бы убытка, если бы не обладал им.

Прошлое лето мне случилось сделать из Москвы небольшое путешествие. Ехал я в так называемых дилижансах компании «Общая польза», которые, как известно, таким образом устроены, чтобы едущие в них, вследствие взаимных толчков и невольных телесных оскорблений, к концу путешествия непременно делались заклятыми врагами. Нас ехало шестеро, и между прочим один бывший ополченец, который, каким-то чудом, до 1863 года донашивал бренные остатки своего ополченного казакина. Ополченец разговорился первый.

— Да-с, не катался бы я в этой чертопхайке, кабы не брат злодей! — сказал он, обращаясь ко мне.

Я изъявил готовность продолжать разговор.

— Я и теперь было надумывал взять особенный тарантасик... чтобы, знаете, было покойно... да и взял бы, кабы не случилось со мной этой оказии!

— Гм... оказии?

— Да-с, оказия не маленькая! разом-таки тридцать тысяч на улице посеял! И ведь представьте: поутру был в Новотроицком — пощупал: здесь! потом сходил в Московский — здесь! потом зашел к Иверской... туда, сюда... хвать! в одном кармане пусто, в другом нет ничего!

Все пассажиры переглянулись; купец, тут же ехавший с Нижегородской ярмарки, даже побледнел и пощупал у себя за пазухой; один только зарайский мещанинишка, по всем види-

мостям сиделец питейного дома, как будто усомнился и заметил иронически:

— Однако жаль, что нас тутотка не случилось, как ваше благородие капитал-то роняли.

— А что, небось подтибрил бы?

— Известно, нечем им валяться, уж пусть лучше хозяина знают!

— Держи карман! так бы я и смотрел тебе в зубы, доколе бы ты денег моих не подобрал! Нет, брат, я на эти дела сам прозорлив!

Мещанинишка даже хихикнул.

— Что? смеешься теперь, курицын сын? А вот кабы самому пришлось хоть пять рублей потерять, так небось во все стороны заметался бы, всех бы городовых с ног сбил и Москву-то бы всю языком вылизал!

— На что лизать? и для нас пять рублев не суть важно...

— То-то «не суть важно»! Я вот тридцать тысяч потерял — и не скорблю, потому душа во мне благородная! а ты пять рублей потерял — и Москву языком всю вылизал, потому ты курицын сын!

— На что же курицын сын-с? у нас тоже тятенька с маменькой были-с!

— Ну да, тоже «тятенька с маменькой»! а знаешь ли ты, что тятенька-то твой петух, а маменька курица! — не велика, брат, родословная! Туда же, смеется! да ты знаешь ли, что кабы не злодей у меня брат, так я бы тебя и с потрохом-то твоим поганым живьем купил!

— Вы прежде польто мое купите, а то ваше уж оченно после войны-то износилось.

Мещанин, очевидно, начинал обижаться.

— И купил бы! и чучелу бы из тебя набил, в огород бы вместо пугала поставил!

— Ну, это еще как пришлось бы. У нас тоже был такой-то...

Мещанин остановился.

— Ну, что ж дальше? продолжай, любезный! продолжай.

— Ну, и ничего... тоже всё деньги терял...

— Однако неужели же вы так и не дали знать об вашей потере полиции? — вмешался я, чтобы отвлечь внимание ополченца от мещанина.

— А зачем? Это чтобы меня по частям да по судам-то таскали? так я, сударь, отечеству моему двадцать пять лет служил и ни разу по судам, кроме благородных делов, замешан не был! Неужто ж мне куска хлеба не будет! неужто ж мне-то, мне-то хлеба не будет? Да это упаси бог!

— Гм, как хотите, все-таки потеря немаловажная...

— А вы думаете, я не наверстаю? Я вот и теперь к брату еду; приеду к нему, скажу: «Брат! да отдай же ты, злодей, те деньги, которые ты у меня украл!» — и отдаст!

— Ихний братец в нетовской губернии селом Праховым обладают-с... помещики основательные! — сострил занозистый мещанин.

— Не Праховым, курицын сын! а селом Последовым с деревнями, в коем по последней ревизии числится тысяча восемьсот двадцать одна душа! Слышишь: тысяча восемьсот двадцать одна душа!

— Так вы думаете, что братец вам деньги эти отдаст? — вновь вмешался я.

— Как не отдать! как свят бог — отдаст! Потому, брат у меня, доложу вам, не человек, а душа! Позамотался он в последнее время немного, ну, и меня тоже по карману хватил... У него, я вам доложу, одних овец сто тысяч по Оке пасутся, так если с каждой... ну, по скольку? — ну, хоть по полупуду шерсти получать, так ведь денег-то какая охапка выйдет.

— И не огребешь! — фыркнул мещанин.

— Так как же тут не отдать! У него, батюшка, в оранжереях одних этих персиков счетом пятьдесят тысяч снимается... всё один к одному! А он только знай собирает их, да в Москву, да в Москву!

— Следовательно, вы думаете у него и поселиться?

— У него и поселюсь! Он мне флигель отдаст! Тяжеленько ему это будет — потому жена, дети, всякому угол надобен! да нет, брат, у меня уж ау! умел, брат, денежки мои прикарманить, умей и распоясываться! А места там какие! охота какая! у брата моего псарня, доложу вам...

— Одних, чай, собак двести тысяч! — опять пристал мещанинишка.

— С тобой, брат, двести тысяч и одна будет! Да скажи ты мне, однако, курицын сын, что ты это пристал ко мне? Разве не видишь, что я не с тобой, а с своим братом, благородным дворянином, разговариваю?

Этот разговор продолжался целую дорогу, и, сознаюсь откровенно, я внимал ему с удовольствием. Во-первых, этот прогоревший ополченец представлял собой тысячекратное повторение той замечательной психологической загадки, которую так блистательно осуществили: Жорж Занд в своем Орасе и Гоголь в своем Хлестакове. Мой ополченец был, по малой мере, двоюродным братцем этих двух родных братьев (я надеюсь, что только люди очень непроницательные поставят мне в укор, что я нахожу родство между такими личностями, как Орас и Хлестаков); он лгал и в одно и то же время и сознавал,

что лжет, и не сознавал, что лжет. Он совершенно не верил себе, когда говорил, что потерял тридцать тысяч и что у него есть брат, одновременно и разбойник, и «душа-человек», и в то же время искренно верил этому. Он верил не факту, а словам своим, выражавшим то соблазнительное представление о факте, которое неожиданно подсказывала ему фантазия. Нет сомнения, что деньги, еда и другие материальные блага были для него долгое время предметом мучительных и сокровенных дум; быть может, часть этих благ он даже и вкусил когда-нибудь — и вот этот несуществующий, но привлекательный мир упорно носится перед его глазами и преследует несчастного до тех пор, покуда не сделается его внутренним миром, покуда не облечется в такие живые и художественные формы, которым почти невозможно не поверить. Здесь повторяется, одним словом, тот самый процесс, который совершается над жаждущим путником, застигнутым в безводной степи маревом, с тою только разницей, что путник под влиянием марева еще мучительнее изнемогает, а Орасы и Хлестаковы под звуки своей собственной лжи умеют ободряться, а подчас и сладко засыпать... Во-вторых — сказать ли? ополченец этот напомнил мне тебя, о бедный, волнующийся и чего-то ожидающий люд! И ты тоскуешь об утраченных капиталах, которых никогда не имел, и ты обвиняешь какого-то фантастического братца, обзываешь его и разбойником, и злодеем, и в то же время надеешься от него великих и богатых милостей...

Итак, о птенцы, внемлите мне! Вы, которые еще полагаете различие между старыми и новыми годами (не без некоторых, конечно, любострастных в вашу собственную пользу надежд), вы, которые надеетесь, что откуда-то сойдет когда-нибудь какая-то чаша, к которой прикоснутся засохшие от жажды губы ваши, вы все стучащие и ни до чего не достукивающиеся, просящие и не получающие,— все вы можете успокоиться и прекратить вашу игру. Новый год, наверное, будет повторением старого, потому что и старый был хорош; никакой чаши ниоткуда не сойдет, по той причине, что она уж давно стоит на столе, да губы-то ваши не сумели поймать ее; стучать и просить вы будете по-прежнему (таково уж крохоборническое назначение ваше), и по-прежнему ничто не отворится перед вами, и ничего не будет вам дано, потому что жизнь дает только тем, кто подходит к ней прямо, и притом в «благопристойной» одежде (так, по крайней мере, всегда объявляется в афишах, приглашающих почтеннейшую публику в танцклассы).

Я не говорю, чтоб это была перспектива хорошая, но, по крайней мере, она не заключает в себе никакого марева, а как

хотите, и это уж немалое преимущество. Радужные цвета обливают ландшафт только изредка, настоящий же цвет, с которым мы должны иметь дело и который один не подкупит и не обольстит нас, есть цвет серый. Правда, что он не возбудит в нас выспренних мыслей, не окрылит наших помыслов до тех высот надзвездных, где витают души гг. Майкова и Фета, но, взамен того, наверное, не помешает нам делать наше маленькое, будничное дело, и даст достаточно света, чтобы в темных кротовых норах наших мы могли продолжить ту скромную работу, которая со временем изведет нас из темницы на свет вольный.

Со временем, птенцы, со временем!..

Поверьте, что это великое слово, которое может принести немало утешений тому, кто сумеет кстати употребить его. Когда я вспомню, например, что «со временем» дети будут рождать отцов, а яицы будут учить курицу, что «со временем» зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что «со временем» милые нигилистки будут бесстрастною рукой рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать «Ни о чем я, Дуня, не тужила» (ибо «со временем», как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтоб до тех пор совесть моя была чиста. С чистою совестью я надеюсь прожить сто лет и ничего, кроме чистоты совести, не ощущать. С чистою совестью я считаю себя застрахованным против всех невзгод и потасовок судьбы, ибо если об ину пору меня и пристукнет нечто, то я могу сказать на это: «А мне что за дело! по крайней мере, у меня совесть чиста!» С чистою совестью я могу прямо смотреть в глаза даже тем, которые хотя и с нечистою совестью, но тоже смотрят всем прямо в глаза. И та̀к я в своей жизни на эту «чистую совесть» надеюсь, что стараюсь поселить мои надежды даже в сердцах петербургских нигилистов.

Еще недавно одна нигилистка, вся содрогаясь от негодования, рассказывала мне, что была она в опере (давали, конечно, «Карла Смелого») и, по обыкновению, обитала в пятом ярусе, а между тем в это самое время пресловутая Шарлотта Ивановна, вся блестящая и благоухающая, роскошествовала в бельэтаже и бесстыдно предъявляла алкающей публике свои обнаженные плечи и «мятежный груди вал».

— И как она смела, эта скверная! — визгливо заключала рассказчица, топая ножкой.

— Да вам-то что до этого? — спросил я, пораженный некоторым изумлением.

— Помилуйте! я, честная нигилистка, задыхаюсь в пятом

ярусе, а эта дрянь, эта гадость, эта жертва общественного темперамента... смеет всенародно показывать свои плечи... где же тут справедливость? и неужели правительство не обратит, наконец, на это внимания?

К счастью, что во мне в это время уже созрела теория «чистой совести», и я мог возражать моей взволнованной собеседнице. С помощью этой теории я успел доказать самым наглядным образом, что если Шарлотта Ивановна имеет возможность сидеть в бельэтаже, то, взамен того, она не обладает чистою совестью; что, напротив того, она, нигилистка, обладает чистою совестью, и, в виде поправки, осуждена на сидение в пятом ярусе.

— Ну, согласились ли бы вы променять вашу чистую совесть на ложу в бельэтаже? — спросил я в заключение.

— Конечно, нет! — отвечала она, но как-то так невнятно, что я должен был повторить свой вопрос.

— Так вот видите ли, как природа-то премудро устраивает,— продолжал я, когда она вторично отреклась от бельэтажа.— Шарлотте Ивановне дает она ложу в бельэтаже и сопровождает этот дар угрызениями совести; вам дает чистоту совести и скромное место в пятом ярусе. Взвесьте эти дары, и вы найдете, что они вполне один другого стоят.

Не знаю, убедилась ли юная нигилистка моими доводами, но уверен, что большинство нигилистов думает именно так, как я. Некоторые из них уже начинают исподволь поговаривать о «скромном служении науке», а к «жизненным трепетаниям» относятся уже с некоторою игривостью, как к чему-то не имеющему никакой солидности и приличному только мальчишескому возрасту.

— Да ведь давно ли вы утверждали противное? давно ли вы говорили, что и наука и искусство только в той мере заслуживают этого имени, в какой они способствуют эмансипации человека, в какой дают человеку доступ к пользованию его человеческими правами? — спросил я на днях у одного из таких кающихся нигилистов.

— Наука и даст все это,— отвечал он.

— Да ведь наука развивается туго, а «жизненные трепетания» не ждут... Кто знает: быть может, она и заснула бы, ваша наука-то, без этих «жизненных трепетаний»...

— Ну да, наука и даст... все даст «со временем»... Что же касается до того, что она подстрекается «жизненными трепетаниями», то это положительный вздор, потому что наука отыскивает истину абсолютную, а «жизненные трепетания» все без изъятия основаны на вечном блуждании от одного призрака к другому...

— Но послушайте, ведь вы рассуждаете уже слишком приблизительно к «Русскому вестнику»!

Я надеялся сразить и устыдить его этим аргументом, но, к величайшему моему изумлению, он не только не устыдился, но хлопнул меня по плечу и, вздохнувши (увы! последний призрак исчезающей стыдливости!), сказал:

— Э, батюшка! все *там* будем!

И по-моему, он сказал вещь совершенно резонную. Но и я сказал вещь не менее резонную, когда утверждал, что нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты...

Все там будем!

Вот, например, до настоящего 1864 года я совсем-таки не имел никакого понятия о том, что в числе фигур, перечисляемых в русских реториках, есть одна, которая известна под именем «понижения тона» («allegro ma non troppo», «moderato», а отчасти и «morendo» [1] — вот музыкальные термины, которым эта фигура соответствует), а теперь мне и с нею привелось познакомиться (по разъяснении, впрочем, оказалось, что я знаком с ней давно, чуть ли не от самого рождения, но только не знал, как ее назвать).

Надобно сказать тебе, читатель, что у меня есть множество меценатов, которые покровительствуют моим скромным талантам, охраняют меня от увлечений и заблуждений и вообще делают все, что лицам, с особенною любовью наблюдающим за литературой, делать приличествует.

Вообще говоря, я не охотник до меценатов в том смысле, который обыкновенно соединяется с этим словом. Я нахожу, что это народ назойливый, сующий свой нос туда, где ему совсем быть не следует, и окружающий человека такими попечениями, от которых подчас становится тошно. Это народ жалкий, не знающий куда приклонить голову, и вследствие решительной неспособности ни к какому другому, более путному делу, решающийся покровительствовать литературе: это, дескать, блудница вавилонская, всё стерпит.

Одного такого сиятельного мецената я знал даже в Петербурге, и хотя был у него всего один раз, но видел достаточно, чтоб не желать повторения посещений. Я видел, как мрачный философ (philosopho di forza) Ризположенский пожирал фазана на тарелке vieux saxe; [2] я видел, как легкий философ

---

[1] «не слишком скоро», «умеренно», «замирая».
[2] старого саксонского фарфора.

(philosopho di gratia) Семечкин выпил разом три рюмки водки из богемского хрусталя и жадно искал ополоумевшими глазами колбасы, но не находил ничего, кроме страсбургского пастета и разных подстрекающих аппетит сыров; я видел, как

Шекснинска стерлядь золотая

сделалась жертвою плотоядности критика Кроличкова; я видел, как страдал мажордом мецената, стоя за стулом публициста Бенескриптова и чуть-чуть не вслух восклицал: «embourbé! embourbé»[1] — я видел все это и страдал не менее самого мажордома. Я думал: «Как очутился ты здесь, бедный, трудящийся люд? что общего между тобой и этим гнилым расслабленным меценатом, у которого даже головы совсем нет, а есть вместо нее какое-то прозрачное на свет яйцо? Зачем притащился ты сюда с холодного твоего чердака, где, по крайней мере, честно заработывал свой незавидный кусок хлеба? embourbé! embourbé!»

Да, это картина ужасная, потрясающая. Представьте себе развалившегося в креслах маленького, преждевременно от глупости оплешивевшего мецената и перед ним согбенного в дугу философа Ризположенского.

— Мне было бы необходимо тысяч двадцать для продолжения моего дела,— заискивающим голосом говорит философ.

— Хорошо, я вам дам их; но надеюсь, что вы будете проводить мои идеи! — отвечает меценат, грациозно поматывая своей прозрачной головкой.

«Какие такие это идеи!» — секретно думает Ризположенский, но вслух вещает так: — Уж это само собой разумеется... тем более что наши идеи и ваши...

— Ну да, ну да, а то меня Бенескриптов однажды уж надул... И если вы будете хорошо вести дело, будете проводить мои идеи, то я не ограничусь... я еще...

Ризположенский бледнеет и краснеет; у него, что называется, «от радости в зобу дыханье сперло». Он спешит откланяться, ибо опасается, чтоб меценат не раздумал, не обратил своих милостей на кого-нибудь другого, и вообще не перевершил своего великодушного решения (иногда и это случается).

— Петр! — говорит меценат своему камердинеру,— поди догони Ризположенского и поднеси ему рюмку водки!

Повторяю: это картина мрачная и потрясающая. Но я не о расслабленных меценатах намерен здесь говорить, но о тех настоящих русских меценатах, которые более или менее сопровождают каждого литератора в его земном странствовании с

---

[1] «увяз! увяз!»

первой минуты вступления на словесное поприще и до самой смерти. Таких меценатов, конечно, нельзя не любить, по той простой причине... ну, да просто потому, что их не любить невозможно.

Итак, в начале уже нынешнего года один из моих многочисленных меценатов, встретивши меня на улице, сказал мне:

— Друг мой! я должен сознаться, что иногда вы пишете очень... да, очень недурно!

Я расцвел.

— Да, недурно. Но за всем тем, я позволю себе одно, только одно дружеское замечание...

Я увял.

— Замечание, в сущности, очень неважное, но которое — не скрою от вас — не бесполезно было бы вам принять к надлежащему сведению. Я говорю насчет общего тона ваших статей.

Меценат смотрел на меня в одно и то же время и добродушно, и проницательно. Я чувствовал, что он меня порицает, но вместе с тем не прочь и простить.

— И если бы вы взяли на себя труд несколько понизить этот тон, то нет сомнения, что сочинения ваши читались бы с гораздо большею приятностью. Вы, конечно, понимаете меня?

Я не понимал ничего, но, однако, отвечал, что понимаю.

— Как человек умный — вы видите, я отдаю полную справедливость вашим достоинствам,— итак, как человек умный, повторяю я, вы, конечно, найдете средства, каким образом устроить это дело...

При этих словах меценат пожал мне руку. Я расцвел вновь. Я чувствовал, что сердце мое тает и что хоть я ничего еще не понимаю, но исполнить могу. Я во весь дух побежал домой, чтобы немедленно же начать целый ряд статей под названием: «Делай со мной что угодно».

Однако через несколько минут я образумился. «Что же буду я исполнять, коли ничего не понимаю?» — спросил я самого себя и для разъяснения своих сомнений направился к одному приятелю, который преподает реторику в одном из кадетских корпусов и, следовательно, должен быть по этой части сведущ. Я застал его сидящим в нетопленной комнате и грызущим окаменелую колбасу.

— Скажи мне, друг Антроп! что разумеет реторика под именем «понижения тона»? — спросил я его.

— Под именем «понижения тона»,— отвечал мой друг,— реторика разумеет такое оного ограничение, которое, по наружности, хотя и не касается внутреннего содержания, послужившего поводом для словесного упражнения, но на деле преестественнейше оное изменяет и претворяет.

— Exempli gratia? [1]

— Для примера, возьмем сейчас изложенное нами определение. Мы сказали, что «понижение тона» есть такое оного ограничение и т. д. Чем руководствовались мы, определяя таким образом эту замечательную фигуру? Очевидно, мы руководствовались при этом сею же самою фигурою. Мы употребили слово «ограничение», а не «окаплунение», например, несмотря на то что это последнее выражение, быть может, даже преимущественно перед прочими предмету нашей речи соответствовать могло бы.

— Но какие же могут быть последствия такого понижения тона? и кто от этого что бы то ни было выигрывает?

— А никаких других последствий из этого проистечь не может, кроме того, весьма важного, что фигура «понижения тона» будет в точности соблюдена.

— Антроп! ты пьян!

— Уже три дня ничего не имел во рту, кроме этой колбасы.

— Но помилуй, какой же есть смысл в твоем определении? кому какое дело, то или другое слово я употребляю для выражения моей мысли? Ведь важна сущность моей мысли, а не случайная оболочка ее!

— Поди посмотри в «тетрадке», коли не веришь!..

Я последовал его совету и справился с «тетрадками». Действительно, там было слово в слово записано то самое определение, которое я только что выслушал из уст Антропа.

Разумеется, это определение удовлетворило меня лишь в посредственной степени, и потому я отправился за разъяснениями к одному опытному литератору, который по старости лет хотя уже не занимается литературою пристально, но изредка еще пописывает антикварско-библиографические фельетоны для воскресных прибавлений «Московских ведомостей».

— Михаил Логгинович! вы тридцать лет сряду держите в руках своих меч российской словесности; вы должны знать, что следует разуметь в литературе под именем «понижения тона»? — сказал я ему.

— Увы! это изобретение времен новейших,— отвечал он мне.— В наше время «понижения тона» не существовало, по той причине, что возвышения оного не было.

— Однако существовал же и в ваше время какой-нибудь тон в литературе?

— Был тон любезный. Литература в наше время приглашала читателя насладиться и возбуждала в нем тихое чувство благодарности. От неприятных зрелищ отклоняла, требования

---

[1] Например?

предъявлять не советовала и, не рассевая заблуждений (как ныне), направляла умы и сердца к предметам достойным вероятия и рекомендуемым людьми опытными и нарочито уполномоченными. В настоящее время этот любезный тон сохранился лишь в воскресных прибавлениях «Московских ведомостей».

— Но позвольте: я сам убедился, что «понижение тона» существует, что оно возведено даже на степень реторического правила; одним словом, я видел его записанным в тетрадке у Антропа...

— Антроп человек новый; к тому же он получил воспитание в семинарии, и потому с жадностью заносит в свои тетрадки все лжеучения, порожденные современностью.

— Однако что бы вы разумели, хотя приблизительно, под этим выражением, если б вам подобный вопрос предложило начальство?

— Приблизительно, я полагал бы возможным определить его так: «понижение тона» есть такое оного ограничение, которое, по наружности, хотя и не касается внутреннего содержания, послужившего поводом для словесного упражнения, но на деле пресущественнейше оное изменяет и претворяет.

— Представьте себе, это точь-в-точь то самое определение, которое сказал мне Антроп!

— Я с Антропом не вижусь, и даже его опасаюсь!

— Но как хотите, а это определение непонятно.

— Оно непонятно лишь по видимости, но как скоро вы начнете применять его на практике, то почувствуете немедленно, как легко и просто разъясняются иногда вещи самые запутанные. Одним словом, это то самое правило, которое так метко выражено и старинною русскою пословицей «по Сеньке и шапка».

— Но согласитесь, что пословицы положительно ничего не доказывают. Можно, например, эту самую пословицу перевернуть и сказать «по шапке Сенька»...

— И будет даже лучше, ибо шапку по Сеньке подыскать и переделать — дело не трудное, но Сеньку по шапке отчеканить — это задача хотя и не рискованная, но, во всяком случае, требующая некоторого мастерства. И я полагаю, что так называемое «понижение тона» именно не что иное означает, как искусственное приведение Сенькиной головы в соответствие с той шапкой, которая, по воле судеб, для нее предназначена.

— Примеров, Михаил Логгинович, примеров!

— В пример приведу вам «Риголетто». Человек этот имеет двойственную физиономию; у себя дома он гражданин добро-

детельный, наклонный к меланхолии и даже прекрасный отец семейства; в присутствии же дука — он забавный негодяй, гороховый шут, попирающий ногами все, перед чем человечество издревле привыкло склоняться. Отсюда два тона: в первом случае он если и не возвышает тона, то, по крайней мере, поддерживает его на средней высоте, во втором, очевидно, понижает.

— Гм... Риголетто! какое, однако ж, сравнение!

— Недостаточно этого примера,— возьмем другой. Нет сомнения, что московские публицисты, находясь в кругу своих семейств и знакомых, соблюдают все требуемые законами общежития приличия. Нет сомнения, что они посещают храмы божии и не едят ни друг друга, ни самих себя. Но эти же самые люди, как только выступают на арену публицистики, так тотчас же как бы вступают в какую-то темную область, где владычествует Плутон. Ими внезапно овладевает горячечный бред в соединении с свистопляскою (болезнь ужасная, достойная изучения знаменитейших питомцев Иппократа!); они делаются способными глотать огонь, выматывать из себя сколько угодно аршин лент, чесать у себя ногой за ухом, пожирать свое собственное тело, одним словом, приводить публику в такое состояние, чтобы она могла сказать: «О! да нам с этакими разухабистыми молодцами никаких театров не надо!» Очевидно, что здесь чувствуется два тона: в первом случае тон хотя и не возвышается, но поддерживается на высоте среднего регистра, во втором — он положительно понижается.

Но я остался неудовлетворенным и этим объяснением, ибо ни на одну минуту не позволил себе допустить, чтоб можно было желать от меня «понижения тона» в смысле Риголетто или в смысле московских публицистов. В этой крайности, я решился испытать последнее средство для разъяснения моих сомнений, а именно зашел в первый попавшийся мне на пути департамент и остановил первого попавшегося мне на глаза чиновника.

— Позвольте узнать, что следует разуметь под «понижением тона»? — спросил я его.

— Под «понижением тона» следует разуметь сообщение человеческой речи такого характера, чтобы она всегда имела в предмете лицо директора департамента, хотя бы в действительности и не была к нему обращаема,— отвечал он без запинки и тотчас же скрылся.

Я понял. Я бросился догонять моего просветителя и хотел благодарить, но он наотрез отказался принять мою посильную лепту и сказал мне, что нынче чиновники не только ничего не берут, но даже огорчаются, когда замечают в просителе хотя малейшее покушение на их бюрократическое целомудрие...

Но повторяю: я понял. Я понял даже, что слышанное мною сейчас определение отнюдь не составляло для меня новости, что поиски мои были не более как плод недоразумения, что я сам с малолетства ничем иным не занимался и не занимаюсь, кроме «понижения тона». Была ли когда-нибудь моя мысль свободна от того представления, которое чиновник так оригинально осуществил в лице директора департамента? По совести, никогда. Употреблял ли я когда-нибудь иные выражения, кроме самых изысканнейших? Клянусь, никогда. Дерзал ли я когда-нибудь выразить что-либо иное, кроме того, что могло и должно было нравиться людям самым благоуханным, благовоспитанным и благонамеренным? Никогда, никогда и никогда! Мысль о «генерале», мне соприсутствующем, до такой степени была всегда присуща моему уму, что вошла мне в плоть и кровь, сделалась частью меня самого. Даже когда я обедаю дома один-одинехонек, то и тут не плескаюсь, не брызгаюсь, не позволяю себе ни хрустеть зубами, ни скрежетать, ни чавкать, но обедаю с «понижением тона», обедаю так, как бы рядом со мной сидел мой директор департамента...

В одном каюсь: не знал до сих пор, что действия эти называются «понижением тона». Это открытие принес мне с собой новый 1864 год, и я с удовольствием спешу занести его на страницы моей летописи. Конечно, это не бог знает какой драгоценный камень, а простой булыжник, и притом старый, давно уже валявшийся в сокровищнице глуповского миросозерцания, но к нему прилеплен новый ярлык,— не могу же я пройти такой факт молчанием!

Ибо в новых ярлыках вся человеческая жизнь совершается.

Ибо новые ярлыки суть наши естественные союзники, и вместе с тем естественные предвозвестники нашего прогресса.

Ибо за новыми ярлыками скрывается возможность запроса.

Ибо при виде нового ярлыка можно сочинить себе представление о новой вещи.

Ибо с новым ярлыком в руках можно предъявить поползновение и на новую вещь.

Таким образом, например, обладая ныне новым ярлыком, называющимся «понижением тона», я могу явиться куда следует и требовать...

Чего требовать?

Другое открытие, которое принес для меня новый год, заключается в том, что я значительно менее обольщаю себя мечтами о независимости и твердости убеждений в области русской публицистики.

В прошлом году (см. «Современник», 1863 г., № 1—2) я

был уверен, что для того, чтобы в этом деле произвести переворот, необходимо, по малой мере, секретное участие «четвертака» (хотя слабое, но все-таки некоторое ограждение нашей литературной независимости), и согласно с этим предположением всех русских публицистов разделял на обольщенных и не обольщенных. Ныне я получил убеждение, что для того, чтобы перевернуть вверх дном миросозерцание русского публициста, не нужно даже и четвертака. Оказывается, что есть тысячи других средств, с помощью которых литературная независимость человека приводится к нулю. Оказывается, что даже в тех случаях, когда публицист мнит себя твердым, как каменная стена, то и тогда есть возможность повлиять на эту твердость самыми незамысловатыми мерами. Ибо и стена состоит из камней и кирпичей, которые могут быть, при помощи ломов и кирок, выламываемы и даже совсем раздробляемы.

Человек покорил себе всю природу. В самую эту минуту я вижу из окна моей квартиры мальчугана, который ведет за собою лошадку. Лошадка эта очень хорошо знает, что ее ведут запрягать и что ей совсем не того желательно; сверх того, она знает еще и то, что только захоти она, то в одну минуту могла бы из этого мальчугана надергать столько пакли, сколько бы ей пожелалось. Тем не менее она беспрекословно идет за своим бессильным вожаком, и разве тем только выражает протест, что идет невесело и понуривши голову. Но протест этот уже до того слаб, что мальчуган не обращает на него никакого внимания (он знает, понятливый мальчик, что есть другие лошадки, которые ржут, пляшут и выделывают бог весть какие вензеля ногами в то время, когда их ведут запрягать, и думает, что эта лошадь, которая голову-то понурила, сделала это совсем не в видах грубиянства или протеста, а просто вследствие особенной лошадиной своей глупости).

Очевидно, что для достижения подобного результата нужно было много труда и не малую дозу хитрости и что только при таких условиях победа представляется возможною и законною. Нужно было, например, прежде всего выдумать аркан, потом нужно было придумать для дикой лошади такие особенные условия, которые окружали бы ее беспрерывно и среди которых она пришла бы к сознанию (конечно, лошадиному), что существование ее совершенно зависит от большей или меньшей степени человеческого вмешательства. Нужно, одним словом, чтобы между древнею дикою лошадью и нынешним домашним животным легла целая история. И если при этом мы не упустим из вида еще того обстоятельства, что лошадь относительно человека есть организм низший, что она не понимает многого такого, что для человека ясно, как день, что вся лошадиная

порода, от начала мира и до наших времен, не выделила из себя ни одного поэта, ни одного философа и ни одного публициста (даже московского) и что, следовательно, победа над нею, по всем соображениям, не должна бы представлять особенных затруднений, то нам будет еще понятнее, сколько труда должно потребоваться для достижения подобного же результата в таком деле, которое само по себе представляется более сложным.

Между тем на деле выходит совершенно наоборот; на деле оказывается, что самый сложный из всех организмов, тот, который покорил себе прочие организмы и даже ограничил свободу стихий, одним словом, сам человек подчиняется легче других, подчиняется не только без всяких усилий, но даже с некоторым энтузиазмом. Философы утверждают, что это явление оттого происходит, что человек обладает разумом, и, конечно, не я выражу поползновение оспаривать такую остроумную догадку, но во всяком случае не могу воздержаться, чтоб не высказать здесь, что, по мнению моему, на этот случай разум сыграл над человеком скорее острую, нежели приятную штуку.

Конечно, человеческий разум очень хитер на выдумки и охотно упражняется в сочинении пословиц, вроде «плетью обуха не перешибешь», «лбом стены не пробьешь» и проч., но все-таки я позволяю себе думать, что человек, который первый сказал другому подобному себе человеку (первый вдохновился такою мыслью): «сделай милость, будь моим руководителем», был человек рассудка слабого и неосновательного. Я полагаю даже, что это был какой-нибудь профессор философии, который ничего другого не сознавал, кроме своей собственной никуданегодности. Признаюсь, я не понимаю этого поступка, несмотря на то что, с известной точки зрения, он может казаться даже высоким актом самоотвержения. Я охотно могу сочувствовать человеку, который говорит другому: «изволь, я буду твоим руководителем»,— и который с удовольствием принимает заявление знаков подчиненности, потому что тут есть смысл, тут есть сладость, но с какой бы точки зрения я ни взглянул на поступок «первого подчиненного», как бы ни старался отыскать в нем поводы для удовольствия, решительно становлюсь перед ним, как перед стеною. «Ты, брат, просто, должно быть, глупенек был!» — заключаю я, хотя, с другой стороны, совершенно согласен, что быть подчиненным хорошего и чистоплотного руководителя все-таки лучше, нежели быть руководителем дрянных и прокаженных подчиненных.

Как бы то ни было, понимаю я или не понимаю его, но факт существует, история твердо-натвердо закрепила его законность. В наше время состояние подчинения и зависимости есть

единственное, которое можно назвать естественным, и представить себе человека, свободного от этих непременных условий жизни, столь же трудно, как и вообразить того же человека гуляющим по Невскому проспекту без всякого признака одеяния. Очевидно, что городовые вынуждены будут взять такого чудака и запереть в часть.

Но из всех зависимых смертных наиболее зависимый есть, конечно, русский публицист. Тот, кто, подобно мне, задался мыслью, что для приведения русского публициста к одному знаменателю необходимо подарить ему, по крайней мере, хоть четвертак, выказал легкомыслие, свойственное лишь неопытности или крайнему благодушию. Русский публицист обязывается быть зависимым без всякого вознаграждения; русский публицист приводится к похвальномыслию мерами самыми нехитрыми; русский публицист, если даже ничто его не связывает и не спутывает, сам сплетет сеть, которою и окутает себя с головы до ног.

Зависимость бескорыстная, зависимость, не требующая себе вознаграждения, есть факт до того высокий, что я даже предпочитаю ему зависимость с вознаграждением. Не знаю: быть может, это мой личный недостаток, но откровенный и умный плутяга нравился мне всегда более, нежели вдохновенный глупец, искренно вещающий те же самые неудобоваримые пошлости, которые плутяга проводит с чужого шепота и поддерживает искусственными цветами наемного красноречия. Во-первых, под пером вдохновенного глупца пошлость приобретает лирический оттенок, что значительно смягчает ее характер и дает ей вид глупого убеждения; между тем под пером плутяги пошлость всегда остается пошлостью, ибо никакое вознаграждение в мире не вырвет из груди человеческой тех воплей и звуков, которые извлекаются из нее собственною пошлостью человека. Во-вторых, когда я вижу плутягу, усердно трудящегося по найму и выполняющего свои обязательства с талантливостью и искусством, то всегда говорю себе: «Этого человека надобно иметь в виду! когда мои материальные средства поправятся, то его можно будет нанять!», между тем как при виде вдохновенного глупца, болтающего по собственному своему произволению, я решительно никаких мыслей иметь не могу и думаю только: «Вот вдохновенный дурак, который болтает и будет болтать, покуда не захлебнется струями своего собственного красноречия!»

Теперь будем развивать нашу мысль дальше и спросим себя, чувствуется ли у нас недостаток во вдохновенных глупцах? Нет, этого недостатка не чувствуется,— это скажет всякий, в ком не угасла последняя искра совести и здравого

смысла. Но если так, то зачем же прибегать к плутам, когда то же самое дело и даже с большею искренностию и силой убеждения могут для нас обделать наши естественные союзники, вдохновенные глупцы? Зачем прибегать к трате четвертака, когда то же самое дело мы можем сделать даром? Вопросы, как видится, совершенно категорические, ибо хоть четвертак и малая монета, но все же это монета, которая, в числе прочих, может играть свою роль. Конечно, могут возразить на это, что, несмотря на изобилие вдохновенных глупцов, никогда не мешает иметь в запасе некоторое подкрепление, но такое возражение может быть принято только тогда, когда доказано, что и четвертаков имеется большое изобилие, а не тогда, когда число вдохновенных глупцов несомненно превышает число четвертаков. Итак, вот первое доказательство, указывающее, что обольщение посредством четвертака есть, по малой мере, предмет прихоти, не обуславливаемой никакою насущною потребностью.

Второе доказательство будет заключаться в следующем. Предположим, что явился такой диковинный публицист, который с яростью сочетал бы самостоятельность и, находясь в твердой памяти, принял бы на себя пропаганду хлыстовщины — разве есть надобность прибегать к четвертаку, чтоб поворотить такого молодца к похвальномыслию? Нет, это дело можно устроить с гораздо меньшими издержками и притом самым бесхитростным образом. Прошу вспомнить читателя, что не бессудная же у нас земля, чтоб не было в ней ограждения от наплыва хлыстовщины. Напротив того, эти ограждения встречаются даже в излишестве и притом на каждом шагу, и всякому мирному обывателю твердят они о том, что он может спать спокойно. Чтобы сделать мою мысль понятною для читателя, прибегну к примеру, который хотя и не совсем будет верен, но который легко может быть пояснен различными применительными соображениями. Положим, например, что я редактор журнала и принес ко мне хлыст-публицист такую статью, в которой воспевает привольное житье обывателей Гоморры. Неужели же я стану убеждать моего публициста возвратиться к здравому образу мыслей, а тем более обещать ему за это какое-нибудь вознаграждение! Помилуйте! да этак меня нарочно завалят содомскими статьями, чтоб выжать из меня побольше четвертаков. Нет, я поступлю совершенно иначе; во-первых, я вычеркну из статьи все места, в которых упоминается имя Гоморры, и заменю это последнее именем какого-нибудь уездного города; во-вторых, вместо похвал, я везде напишу порицания; в-третьих, наконец, я сокращу статью наполовину, и для того чтоб выгнать из нее содом-

ский дух окончательно, вместо эпиграфа, поставлю в начале известное двустишие из «Аскольдовой могилы»:

Вот как жили при Аскольде
Наши деды и отцы!

Статья будет чистенькая и похвальненькая. Хлыст-публицист, конечно, будет ругать меня на чем свет стоит (не в глаза, однако ж, не в глаза!), будет называть меня гасителем и Омаром (а мне, быть может, это-то и льстит? быть может, это в переводе на мой язык означает неуклонное исполнение возложенных на меня обязанностей!), но в то же время, наверное, согласится на все изменения, ибо он живет трудами рук своих. Он даже и опять принесет мне статью в том же роде, и опять заранее согласится на всевозможные изменения; ибо это уж так в книге судеб написано, что он должен на все соглашаться, а я должен ничего не уступать. И таким образом неуклонно действуя, я непременно приведу его к той точке, на которой ему быть надлежит...

Но если я, редактор, существо слабое и в некотором смысле само зависимое, имею возможность так действовать, то чего бы я не дерзнул, если б был природою поставлен в положение еще более выгодное и независимое? Очевидно, я вычеркивал бы и исправлял в веселии сердца все, что мне вздумалось бы и как вздумалось бы. А то еще четвертак! будет и без него писать, как мне надобно!

Третье доказательство еще проще. Достаточно, чтобы читатель припомнил себе, что публицист не анахорет, а существо общежительное, и сверх того по преимуществу одаренное поползновениями изящного свойства. Первое качество, то есть общительность, приводит его в соприкосновение с людьми разнообразнейших характеров и направлений и делает для него совершенно невозможною деятельность в одиночку. Подыскивая товарищей по шерсти (одной партии), он редко находит себе равных, и отсюда начинается целый ряд уступок в известном направлении, уступок, значение которых таково, что от первоначальной пышной ризы публициста постепенно остаются одни лохмотья. Никакое дело не требует так настоятельно дисциплины, как дело литературное, а что же такое дисциплина, как не самое горькое иго, не самое насильственное подчинение? Но с особливою тяжестью дает себя чувствовать это трезевное чудище в такое время, когда никто ни об чем и ни с кем сговориться не может, когда каждый новый день приносит с собой новую злобу, когда краеугольнейшие камни сами собой выскакивают из мест своих, когда понятия самые обыкновенные и доселе слывшие бесспорными спуты-

ваются до такой степени, что никто не может сказать утвердительно, в действительном или ироническом смысле они употребляются. Люди сходятся между собой, сговариваются насчет общих начал деятельности и с первого раза замечают, что без взаимных уступок дело не обойдется. Но чем далее в лес, тем все более и более оказывается дров. Уступка следует за уступкой, клочки ризы летят один за другим, и в одно прекрасное утро публицист с изумлением видит себя или оборванным, или — что еще хуже — одетым в ризу, совершенно ему не принадлежащую. Увы! это история грустная, но совсем не столь исключительная, как было бы можно предполагать. Если вообще среда оказывает на человека втягивающее влияние, то тем решительнее ее действия в настоящем случае... Где же, скажите, тут независимость, где самостоятельность? А если к тому же припомнить еще поползновения изящного свойства, которые также влияют довольно настойчиво, то поневоле воскликнешь: «О публицист, что ты такое, как не хрупкий сосуд, временно прикидывающийся сосудом твердым и несокрушимым?»

Совокупность всех этих условий составляет именно то, что называется зависимостью и подчинением. Я обрисовал здесь положение русского литературного деятеля только в общих чертах и не поименовал ни одной подробности, которых, однако ж, множество и из которых некоторые не менее характеристичны, нежели и изложенные выше общие черты. Я не сказал, например, ни слова о литературных антрепренерах, из рук которых публицист получает свою скудную пищу и которые тоже предъявляют свои требования; я не упомянул о положении литератора в обществе, о той физиономии, которая ему присвоивается общественным мнением и которой он волей-неволей обязан придерживаться. Я прошел молчанием жену и детей публициста, его друзей детства и проч. и проч., которые имеют с публицистом сожительство и общение, но не обязываются при этом быть ни нигилистами, если он нигилист, ни благонамеренными, если он благонамеренный. Не разводиться же публицисту с женой, если она не сходится с ним в понятиях насчет женского труда! не лишать же ему наследства детей (ох, не желал бы я быть наследником русского публициста!) за то только, что они относительно воскресных школ имеют свои оригинальные понятия! не отказывать же от дома друзьям детства из-за того, что они с наслаждением или с негодованием относятся к «Отцам и детям» г. Тургенева! Я знаю, что истинный гражданин, конечно, не затруднится ни перед какою жертвою, но пусть же он согласится со мною, что это жертва очень нелегкая.

И вот в сердце публициста начинает закрадываться пагубное двоегласие, которое, постепенно зрея и пополняясь все новыми и новыми больными соками, образует само по себе зависимость, горчайшую всех возможных зависимостей...

Итак, вот это другое открытие, которое принес с собой новый 1864 год и которое, конечно, не было мне безызвестно и прежде, но почему-то еще не составляло для меня предмета размышлений столь едких и неутешительных. Но я не ропщу на эту едкость и неутешительность, потому что как бы ни была прискорбна истина, все же она лучше, нежели сознательная ложь или бессознательное неведение.

И еще открытие — это необычайное изобилие гениальных людей. Никогда петербургские стогны не вмещали в себе такого множества гениев самых разнообразных, сколько встречается их в настоящую минуту на каждом шагу. Происходит нечто вроде искусственного рыбоводства. Кого ни спросишь, всякий чем-нибудь знаменит: одни лично обработывают какие-то проекты, другие только приписаны к обработке проектов, третьи предлагают какие-то действительные меры, четвертые с большой охотой вызываются исполнять их, пятые, наконец, там-то и тогда-то высказали такую-то удачную остроту. Одним словом, такое наводнение проектов, мероприятий, соображений и острот, что если бы хотя малая часть их была приведена в исполнение, то несомненно, что человечество было бы вконец осчастливлено. Даже Федька Козелков, даже Левушка Погонин — и те состоят при каких-то проектах, облачаются броней непроницаемости, корчат дипломатов, подмигивают друг другу и ждут не дождутся той минуты, когда все эти tracas[1] кончатся и им можно будет на свободе укатить куда-нибудь в далекий, но милый Туруханск, где ожидают их ces dames[2].

— Федя! просись в Туруханск! on dit que la société y est charmante! Il y a une fille d'ispravnik — délicieuse![3] — уговаривает Федю Козелкова Левушка Погонин.

— А ты отчего ж туда не просишься?

— Я, mon cher, в Гижигинск! У меня там, признаться, давнишняя страстишка есть...

— Так ты по части древностей российских?

— Ah! mais c'est que c'est une petite femme jolie à croquer![4] Она мне протекцию по юпочной части будет оказывать. Я, mon

---

[1] беспокойства.
[2] эти дамы.
[3] говорят, что общество там очаровательно! Есть там дочь исправника — прелесть!
[4] Ах! но дело в том, что эта барынька красива — просто объедение!

cher, не из тех, которые ходят битыми дорогами; я понимаю, что в этих делах разнообразие важнее всего...

Друзья расстаются и с новым рвением принимаются состоять при проектах в надежде получить за это право на бесплатный вход в Магометов рай.

Да, Магометов паскудный рай — вот цель всех этих юных щелкоперов, которые походкой с развальцем щеголяют по Невскому и, прищуривши глазки, взирают на все, что, по мнению их, не принадлежит к так называемому société [1]. Им хотелось бы сразу перепортить весь Туруханск и потом переехать в Гижигинск, и Гижигинск перепортить, и таким образом объехать все закоулки и не оставить ни одного места непроплеванным. О, старые драбанты! о, дельцы беспримерные! вы, которые так долго стояли на страже общественного процветания и спокойствия! встаньте из могил ваших! посмотрите, что за мразь лезет из щелей на места ваши! Встаньте, посмотрите... и лягте опять в ваши могилы!

Ужас! ужас! волосы шевелятся на голове, мороз подирает по коже при виде той общей свистопляски, которая затевается над родными могилами нашими! Где же ты, честный голос, голос, вопиющий в пустыне! Или ты замерло и изгибло, правдивое, честное слово! Громче, громче раздавайся, кричи во всю силу легких и не обращай внимания, что окрест тебя расстилается безграничная пустыня! В этой пустыне есть камни, которые будут внимать тебе, есть леса, которые будут перекатывать могучие звуки из конца в конец! Правдивое, святое слово не изгибнет и не рассеется по ветру; оно застынет в воздухе, оно отпечатлеется на камнях и на песках зыбучих и пронзит, как мечом огненным, первого путника, которого приведет нужда в пустыню! Но голос молчит, ибо он с придурью, которую, ради приличия, называют гражданским мужеством...

Шутки в сторону, я решительно не могу понять, почему я, по крайней мере, не в такой же степени знаменит, как друзья мои, Федька Козелков и Левушка Погонин. Я наверное сочинил на своем веку более сотни проектов и сказал, по малой мере, миллион острых слов. И все это погибло в безвестности, все сделалось жертвою прожорливой Леты, как будто бы никогда не говорилось и не сочинялось!

Впрочем, я могу даже объяснить, почему это так случается. Для того чтоб делаться по временам знаменитым и заставлять говорить о себе, необходимо или быть дураком, или стоять на таком видном посту (например, быть исправником, городничим, винным приставом и т. п.), чтобы все взоры, от-

---

[1] обществу.

куда бы они ни устремились, в конце концов все-таки невольно останавливались бы на тебе. В этом случае ничтожество и величие подают друг другу руки, то есть одинаково возбуждают общее любопытство.

Если Федя Козелков и летом, и осенью, и зимой, и весной, и днем, и ночью, и в сумерки — всегда одинаково глуп, то само собой разумеется, что никто и не дожидает от него чего-нибудь умного. Даже маркёр у Доминика, даже буфетчик у Дюссо — и те знают, что Федька глуп, и терпят его присутствие потому только, что он не просто гадок, а как-то уморительно гадок. И вдруг этот Федька случайно обмолвится словечком и вымолвит что-нибудь такое, что имеет даже не совсем нечеловеческий характер. Понятно, в какое оцепенение должны быть повергнуты слушатели; понятно, что, на первый раз, они должны даже усумниться, точно ли перед ними тот самый Федька, который доселе так исправно выполнял должность Риголетто.

— Эге! да он это надувал нас, прикидываясь дураком! — произносит Левушка Погонин.— Федька! ну-тка, ну-тка, повтори, что ты сейчас сказал!

Феденька повторяет, и постыдная острота его разносится всюду, куда проникают милые шалуны.

— Слышал, что сказал Федька?

— Impossible! [1]

— Ах, шут гороховый!

И вот, благодаря природной своей глупости, Федька делается знаменитостью; острота его ходит по рукам, молодых поощряет, старцев умиляет и утешает. И если при этом случайно произойдет, что его припишут к составлению какого-нибудь проекта, то знаменитость его окончательно упрочивается, и он начинает серьезно задумываться о том, чтобы выйти из шутов и покончить с ремеслом pique-assiette'a [2]. Конечно, это никогда не удается ему вполне; конечно, прозорливый зритель и под напускною важностью сумеет открыть коренную пик-ассиетскую закваску, которая бродит в нем, но такая прозорливость отнюдь не изменяет сущности дела, потому что, выйдя на ровную дорогу, Федька уже делается нахалом вполне откровенным и совершенно искренно начинает смотреть на свое шутовство, как на нормальное состояние человека.

Вы скажете, быть может, читатель: да где же тут справедливость, и что за острота такая, которая может прославить

---

[1] Невозможно!
[2] блюдолиза, прихлебателя.

даже такое нечистое животное, как Федьку Козелкова? На это отвечаю: тут идет речь совсем не о справедливости, самое имя которой зазорно произнести даже в той комнате, в которой находится Федя Козелков, а об истолковании факта, как иногда естественно и понятно происходит возвеличение таких людей, которые, по существу своему, не стоят плевка. Что же касается до того, какую именно сказал Федька остроту, которая наделала столько шуму, то я нахожу всякое любопытство в этом случае совершенно неуместным, ибо козелковское остроумие может производить фурор только между милыми шалунами, а в обществе порядочных людей (каковыми я предполагаю себя и вас, читатель) оно ни под каким видом допускаемо быть не должно.

Другую группу людей, которой доступно средство прославиться быстро и дешево, составляют те немногочисленные избранники, которые находятся в слишком исключительном положении, чтоб не привлекать к себе взоров толпы.

Воображаю я себе, например, что я какой-нибудь тюкалинский городничий и,что, несмотря на это, выражаю такую мысль, что не следует сажать в часть зря, а не мешает при этом и рассматривать. Мысль, несомненно, либеральная, но тем не менее все-таки такого рода мысль, что выражай я ее, в качестве простого смертного, тысячу раз на дню, она отнюдь не запечатлеется ни в чьих благодарных умах. Но так как я стою на высоком посту и за всем тем не гнушаюсь некоторым либерализмом, то речь моя производит решительный и всеобщий восторг. Умеренные консерваторы опираются на нее, как на каменную стену, и побивают ею безумных нигилистов — мальчишек. Это только вы, мальчишки, говорят они, сеете семя вражды, распространяя невыгодные мнения о городничих! а знаете ли вы, безумцы, что сказал на днях наш тюкалинский городничий? Он сказал, государи мои: не следует сажать в часть зря, а необходимо при этом рассматривать! Мальчишки, с своей стороны, цепенеют и перемигиваются между собою, нет ли в словах моих подвоха. Даже литературные хлысты — и те, я уверен, поднесут мне серебряную стопу, на которой с одной стороны будет вычеканено: «Не следует никогда сажать в часть зря, но лишь по внимательном рассмотрении». «Января 1864 года», а с другой стороны: «Тюкалинскому городничему благодарные литературные хлысты».

Но что ж это будет такое, если я, при исправлении должности соликамского или белебеевского исправника, вдруг брякну: «Н-да... женский вопрос стоит на очереди, а вопрос об эмансипации детей требует непременного и ближайшего

разрешения»?.. Да тут поднимется такой гвалт и вой, что я не ручаюсь даже, чтобы литературные хлысты, в восторге, не лишили меня нечаянно жизни (самые ласки их бывают убийственны)! Увы! все это я говорю и повторяю ежедневно по нескольку раз, а за всем тем до сих пор никто не поднес мне за это серебряной вазы, хотя, конечно, никто не лишил меня и жизни. Обвиню ли я современников моих в неблагодарности? Заподозрю ли их в раболепстве и пристрастии? Нет, не обвиню и не заподозрю, ибо знаю, что я стою затерянный в густой толпе, откуда звуки моего голоса, по причине спертости воздуха, не могут быть слышны, а тюкалинский городничий и белебеевский исправник стоят на некотором возвышении, откуда могут отчеканивать каждое свое слово со всеми необходимыми ударениями.

Я знаю множество острот самых горемычных, которые потому только и считаются остротами, что их сказал такой-то статский советник (что же было бы, если б эти остроты истекали из источника еще более гремучего?), и напротив того, знаю множество острот действительных, которые совсем не считаются остротами, потому что они сказаны каким-нибудь департаментским сторожем или дьяческим сыном. Наполеон III делает накануне рождества елку императорскому принцу и решается провести этот день, «как простой семьянин»,— об этом пишут во всех газетах и усерднейше напоминают, что вот даже великий человек и тот удостоивает на один день сделаться простым семьянином; между тем там же, неподалеку, épicier Crécoquin [1] каждый божий день удостоивает быть простым семьянином, и никто об этом не пишет, никто этому не удивляется.

Я мог бы набрать множество примеров подобного рода, но полагаю, что читатель и без того поймет справедливость моей мысли. Я гораздо более опасаюсь, что он не сумеет вывести из всего мною сказанного надлежащих заключений, а потому и перехожу прямо к ним. Заключение всего одно и состоит в следующем.

Друзья! если вы хотите проявить ваши таланты наиболее рельефным образом, я, конечно, не приглашаю вас сделаться Козелковыми (это была бы слишком большая жертва с вашей стороны), но серьезно советую поприлежнее мыслить о том, как бы взойти на возвышение, с которого ваш голос был бы слышнее.

Я знаю, что вам любо, когда вас окружают известного рода сумерки, что вам по сердцу некоторая спертость воздуха,

---

[1] бакалейщик Крекокен.

которая обыкновенно царствует в низменных сферах. Я даже готов согласиться, что все это действительно может иметь своего рода притягательное свойство в том смысле, что источники всей силы общественной не в другом каком-либо месте находятся, а именно в тех низменностях, где вам так привольно живется; но дело заключается совсем не в том, что́ и почему вам нравится, а в том, что полезная, разумная жизнь немыслима без деятельности, а деятельность, в свою очередь, совершенно немыслима до тех пор, покуда она не будет выведена из низменных сфер на больший простор.

Для того чтобы жизнь не прошла праздною, необходимо держаться около живого дела, и горькое горе ждет того деятеля, который внезапно ощутит себя оторванным от жизни и лишним в этой общей тревоге, которою повсечасно живет общество. А потому человек, который видит за общею трапезой вакантное место и не спешит занять его, есть человек глупый, а человек, который такое место уже имеет и оставляет его по своему произволу (а не потому, что у него живот болит), рано или поздно раскается в своем поступке, ибо в награду за свое самоотвержение получит фигу.

Здравый смысл народа давно понял эту истину и сочинил по сему случаю пословицу, которая в собрании г. Буслаева читается так: «лучше маленькая рыбка, чем большой таракан».

Даже так называемые литературные хлысты это поняли и не прут читателю в укор своею ерундою, а тоже изворачиваются и дают ей благовидную наружность.

Стало быть, все дело состоит только в недостатке откровенности и в том, чтобы всякий искренно предложил себе вопрос: «Да из чего же в самом деле я волнуюсь и обнаруживаю гадливость к жизни? разве я сам невольным образом не привлекаюсь к ней на каждом шагу? разве я независим? разве и над моею деятельностью не висит такое же ярмо, какое висит над всею вообще совокупностью жизненных явлений?» И если при разрешении этих вопросов будет принята в основание та же искренность, как и при постановке их, то все будет хорошо.

Но довольно об открытиях; поговорим лучше, в заключение, о том, что нового в Петербурге.

Здесь все тихо, читатель; по крайней мере, из моей квартиры, где я пишу настоящий фельетон, ничего не видно и не слышно. Литературное движение ничтожно, и, по моему мнению, это знак не дурной, показывающий, что жизнь вступает наконец в настоящую свою колею, что она поглощена вполне

настоящими, насущными своими потребностями. Не то чтобы я был враг литературы или считал ее пустым делом, но нахожу, что бывают эпохи, когда более, нежели когда-нибудь, дает себя чувствовать знаменитое изречение: делу время и потехе час. Быть может, со временем и опять наступит золотой век для русской литературы («опять»! да разве когда-нибудь был такой век? — спросит меня читатель-скептик, но я сошлюсь на старика Державина и, конечно, заставлю согласиться самого завзятого скептика, что он был целой головой выше А. Н. Майкова); быть может, она только временно сконфузилась, чтоб выработать на свободе что-нибудь очень сильное и своеобразное, но покамест мы обязываемся пробавляться жанристами, вроде г. Генслера, идилликами, вроде г. Громеки, обличителями, вроде г. Кушнерева, лириками, вроде г. Ф. Берга, и юмористами, вроде г. Розенгейма. Если б А. Ф. Смирдин был жив, то, конечно, теперь больше, нежели когда-либо, затеял бы свое знаменитое издание «Ста русских литераторов». Самое время.

Тот же застой и в театре, несмотря на то что в нынешнем году чаще, нежели прежде, даются пьесы Островского. Лучшие произведения репертуара, как нарочно, исполняются нашею драматической труппой до того меланхолически, что даже совестно смотреть. Только и проявляется какая-нибудь жизнь на театре, когда дают какого-нибудь «Актера» или же водевиль с переодеванием. Тут артисты наши воодушевляются и начинают плескаться, словно рыбки в воде. Жаль, что запас этих армяно-греко-жидовских фантазий с каждым годом оскудевает, ибо они доставляли самую пригодную и самую естественную пищу для петербургского театра.

На днях, например, я видел «Воспитанницу» Островского. Бесспорно, это одно из лучших произведений талантливого автора как по чрезвычайной драматичности развиваемых в ней положений, так и по той поэтической прелести и свежести, которою проникнута вся пьеса. Но что из нее сделали наши протеи! Что это была за жалкая, несчастная игра! Положительно можно сказать, что, кроме роли г-жи Линской, не осталось в пьесе ни одного живого места. Через несколько дней после того я видел какой-то водевиль с переодеваньем (кажется, «Актер») — и с изумлением убедился, что те же самые протеи могут исполнять свое дело с усердием и даже с увлечением. Стало быть, пьеса-то именно в меру человеческого роста пришлась, оттого и идет хорошо.

Но как ни прискорбен факт заметного понижения искусства, он представляет у нас не более как отражение того, что происходит, в этом же смысле, в целой Европе. Во Франции,

например, какие-то беззастенчивые господа, Барбье и Карре, охотно берут на себя труд нанести бесчестье Гете и из бессмертной поэмы о Фаусте делают бессмысленное оперное либретто, а г. Гуно пишет на него музыку. В этой диковинной опере Фауст является каким-то помадным фабрикантом, Маргарита из простодушной, поэтической и благоухающей Гретхен претворяется в жеманную и знающую, в чем штука, гризетку Риголетту, а Мефистофель делается чем-то вроде воспитанника парижских maisons de tolérence[1], насквозь пронизанным самым дешевым и пошлым развратом... Стало быть, это уж неизбежно; стало быть, такое уж время неблагоприятное, и так этому делу и быть.

Однако если искусство падает, а литература безмолвствует, то жизнь не молчит и постепенно вырабатывает для себя новые формы. Несмотря на уголовные обвинения, взводимые «Московскими ведомостями» на петербургскую атмосферу (по мнению почтенной газеты, эта атмосфера до того тлетворна, что располагает даже к канцелярскому воровству), оказывается, однако ж, что все реформы и преобразования, которых мы были свидетелями в последнее время, зародились не в ином каком-либо месте, а именно в Петербурге, и что в Москве и в других местностях Российской империи,— может быть, именно по причине слишком большой чистоты воздуха,— представляются удобства только для крепкого и безмятежного сна.

Деятельность наших канцелярий не умолкает и не прерывается, и в ожидании других важных реформ мы имеем, для нового года, новое положение о губернских и уездных земских учреждениях. Я уже успел прочесть это «положение» и, конечно, ничего, кроме удовольствия, заявить не могу. Но я решительно не понимаю, по какому, например, случаю встревожился почтенный редактор «С.-Петербургских ведомостей», и по поводу обнародования столь давно ожидаемого закона напечатал в своей газете такого рода загадку:

Тут нечего останавливаться перед второстепенными и мелочными обстоятельствами, которые могут впоследствии вызвать и исправления. Примемся прежде добросовестно и серьезно за то, что уже принадлежит нам вследствие преобразований, и потом уже будем рассуждать о второстепенных вопросах. Мы, с своей стороны, с теми, кто считает умеренность своих желаний необходимым условием движения вперед, а не с теми, которым все нипочем, кроме их личных фантазий.

Мы также, с своей стороны, «с теми, которые считают умеренность своих желаний» и т. д.; но желательно бы знать,

[1] домов терпимости.

какие материалы послужили г. редактору основанием для его преждевременной фантазии о «тех, которым все нипочем» и т. д. Что до меня, то я думаю, что фантазия эта составлена им, собственно, для придания себе храбрости («это, дескать, я сам, сам по себе, невынужденно, добровольно, не хитростно и не ложно»), чтобы не могли как-нибудь впоследствии, по примеру прошедшего лета, «Московские ведомости», стоящие на страже газетной чистоты, упрекнуть: «Да! да! и вы похваливать начинаете!» Что ж, я нахожу, что это тоже хорошая публицистическая фигура, которую можно приобщить к прочим под названием «У страха глаза велики, или Готов заранее».

«Московские ведомости» посредством своего воскресного прибавления («Современная летопись», 1864 г., № 2, в статье «Роман на берегах Невы») вновь обнадеживают публику, что как только цензура будет упразднена, то «Современник» немедленно прекратит свое существование, потому что они, «Московские ведомости», легко с ним справятся. «Современная летопись» указывает в особенности на мою хронику, которая будто бы обязана своим процветанием именно цензуре, «принимающей на себя грехи авторов», и затем, выдергивая из ноябрьской хроники несколько фраз, ему непонятных, именует их чепухою. Прием простой, но совершенно свойственный такому глубокомысленному органу, как «Московские ведомости».

Я, с своей стороны, не берусь истолковывать неизвестному мне публицисту смысл непонятных для него выражений, ибо знаю наверное, что он понимает их. По крайней мере, родственная «Современной летописи» редакция «Русского вестника» очень хорошо разумела точь-в-точь такие же выражения, которые печатались именно мною на страницах этого журнала в то время, когда я был постоянным его сотрудником, и смотрела на них более нежели снисходительно. Что же касается до того, что выражения этого рода будто бы порождаются требованиями цензуры, то я не встречаю препятствия согласиться с этим, нимало, впрочем, не остроумным предположением, с тем, однако ж, ограничением, что блага, ожидаемые «Современною летописью» от уничтожения цензуры, едва ли будут соответствовать надеждам ее. Конечно, мне и обинякамн очень удобно говорить о науке, утверждающей, что земля стоит на трех рыбах, но уверяю, что я отнюдь не сконфужусь, если и прямо придется высказать, что это та самая наука, которой представителями служат г. В. Ржевский с его прямыми последователями гг. Катковым и Леонтьевым, и

даже назвать эту науку ее надлежащим именем. Поверьте, что я при первом удобном случае исполню это с полною ясностью и вразумительностью и что вы останетесь мною довольны.

Но не скрою от вас, г. публицист «Современной летописи», что настоящее положение книгопечатания, по мнению моему, гораздо благоприятнее для вас, нежели, например, для «Современника». Оно дает вам возможность разыгрывать в отношении к нашему журналу роль великодушного Баярда, которую вы исполняете тем с большим удовольствием и беспечностью, что она представляет вам случай выказать лишний раз ваши бесспорно похвальные чувства. Тем не менее вы прикидываетесь так неискусно, что образ убогого Лазаря так и сквозит из-под заемных одежд, которыми вы себя облекаете. В самом деле, что за странная путаница понятий! С одной стороны, влияние цензуры на печатное слово представляется не полезным и, следовательно, всякое в этом смысле послабление предполагается желательным, а с другой — чуть только проходит в печать что-нибудь такое, что вам не нравится, вы первые сыплете косвенными предостережениями, первые кричите: «Смотрите! смотрите! вот что печатается у нас с дозволения цензуры!» Воля ваша, а для меня ясно в ваших действиях одно из двух: или вы не понимаете сами, о чем говорите, или вы слишком хорошо понимаете, чего вам надобно. Я, конечно, скорее склонюсь в пользу последнего предположения и, сверх того, убеждаюсь окончательно в том, что для печатного русского слова грозит в будущем неудобство гораздо горшее, нежели официальная цензура, ныне существующая: ему грозит цензура аматерская. Да поймите же, наконец, что если такое аматерство и может быть допущено, то ведь для того, чтоб оправдать его, нужна целая совокупность условий, которая позволяла бы полную свободу полемики! А без этого аматерство делается наконец вещью, которой трудно приискать соответствующее имя...

Затем, что касается до суждений неизвестного публициста о повести «Смелый шаг», напечатанной на страницах «Современника», то они слишком наивны, чтоб можно было серьезно говорить об них. Рьяный публицист, в невинном увлечении своем, видит какую-то угрожающую доктрину даже там, где, в сущности, нет ничего другого, кроме простого рассказа из современной общественной жизни. Это повесть, повесть, повесть — и ничего больше... кроме разве того, что повесть эта, по внутреннему своему содержанию, несравненно более нравственна, нежели те паскудные произведения легкого клубницизма, которыми, тоже под фирмою повестей, отравляет свою публику «Русский вестник».

<IX. ФЕВРАЛЬ 1864 ГОДА>

ДЕРЕВНЯ ЗИМОЮ.— ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ ДЕРЕВНЕЙ НА ПУТЕШЕСТВЕННИКА.— МУЖИЦКОЕ ЖИТЬЕ.— ТОНКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОМЕЩИКОВ.— ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Я посетил тебя, знакомый уголок...

Посетил не в видах общения с народом, конечно, и даже не в видах отыскивания некоторой фантастической «почвы», а просто, как говорится, по собственному своему делу.

Зима в полном разгаре; зима в полях, зима в лесу, зима в этих душных конурах, которые на языке поэтов называются «хижинами бедными, богом хранимыми». Словно смерть настигла окрестность, окутала ее саваном и крепко-накрепко сковала по рукам и по ногам невидимыми путами; только ветер не подчиняется властительной руке и визгом своим, очевидно, силится превзойти юридические вопли московских публицистов, да еще человек, с грехом и горем пополам, барахтается в этом море сугробов и терпеливо выслушивает «музыку будущего», которою его потчует неугомонная стихия...

Вчера было вьюжно, а потому проселок почти совсем замело; даже и нынче в воздухе словно кисель какой-то стоит; снег падает ровно, большими клочьями; ни впереди, ни по сторонам ничего не видать; там далеко что-то темнеет, но что это такое, деревня ли, лес ли, или длинной вереницей тянущийся обоз — нельзя понять. Маленькие сани так и тонут в пушистом снегу; лошадь, несмотря на незначительность

тяжести и на краткость пройденного расстояния, взопрела и выбивается из сил. «А ну, милая, не много! не далеко, милая, не далеко!» — беспрестанно подбадривает ее сидящий на облучке мужчина в заплатанном полушубке, и «милая» идет себе, послушная кнуту и ласке обожаемого хозяина (разве существуют на свете хозяева не «обожаемые»?), идет и не много и много, и далеко и не далеко, и опять слышит сзади знакомый голос, поощряющий ее: «Не далеко, милая, не далеко!»

Лошадь животное глупое и легковерное. Сколько веков ее обманывают всякого рода извозчики, сколько веков обещают ей: «Не далеко, милая, не далеко», и все-таки она не может извериться и вывести для себя никакого поучения. По-видимому, она даже искренно убеждена в том, что и действительно есть в природе нечто такое, что осуществляет собой и «не много», и «не долго», и «не далеко», и что за этими выражениями непосредственно следует та самая «суть», о которой говорится в русской пословице: «умирать не надобно». Заблуждение печальное и, очевидно, происходящее от совершенного отсутствия памяти, мешающего ей делать сравнения и наблюдения и передавать лошадиному потомству результаты своей лошадиной опытности. Только благодаря этому отсутствию памяти лошадь может еще ржать, плясать и выделывать бог весть какие вензеля в то время, когда ее ведут запрягать; только благодаря этой фаталистической неосновательности она может с пламенной готовностью предлагать всякому встречному: «Вытягивай меня чаще кнутом по спине, а я буду за это в пользу твою усердствовать!»

Впрочем, когда едешь хорошенько закутанный, то и зимой выходит иногда хорошо. Ноги не коченеют; в теле не чувствуется никакой неприятной боли; уединение сообщает мыслям сосредоточенность; пение ветра, проходя через поднятый воротник шубы, утрачивает свои резкие, визгливые тоны; медленное плавание повозки по пушистым сугробам разнеживает и ниспосылает на душу благодатные мечтания. Бог знает, об чем тут не припомнишь, об чем не передумаешь, в какие уголки видимого и невидимого мира не заглянешь. И, что всего лучше, исполняешь все это без всякой системы, переходишь от одного предмета к другому бессвязно, отрывочно. Эта отрывочность, это, так сказать, мление мысли есть самое драгоценное и любезное ее качество. Не знаю, знакомы ли с ним люди худородные, осужденные на вечные телесные упражнения, но людям рождения деликатного и притом досужим оно известно в совершенстве.

Едет, например, друг мой, Léon Городищенский, и хоть день на дворе уж померк, но так как глаза у него закрыты, а

воображение возбуждено, то ему все равно, какая царствует кругом сумятица и усматривает ли что-нибудь впереди ее возница, которому дан рубль серебром именно затем, чтоб он усматривал, угадывал и предотвращал. В душе у него светло; мысленно он даже совсем не здесь, на бедном забытом проселке, среди окоченевшей природы, а где-то далеко, среди ярко освещенной залы, где рассказывает синьор Тамберлик синьоре Барбо о том, как Фауст полюбил простодушную Гретхен, где млеет синьора Барбо под сладостные звуки мелодии Гуно, и склоняется она, как тростиночка тоненькая, к плечу обольстительного primo tenore...

— Да, эта Барбо...— думает он вслух, но не оканчивает фразы, потому что мысль его не останавливается, и сряду же создает другую не менее волшебную обстановку. Он в саду; летняя, теплая ночь дышит ему в лицо своим влажным дыханием; по синему небу, словно дым, вьются прозрачные облака; под горою уснула речка; за речкой купы деревьев, и каждая из них представляется взору каким-то очарованным приютом любви, от каждой словно шепот сладострастный какой-то несется; кругом цветы, целое море цветов, и каждый цветок живет, каждый льет свой аромат... Сердце его ждет чего-то, но в этом ожидании нет ни тени нетерпеливого раздражения, а есть какая-то сладостная, нежащая истома. Вот вдали мелькнула женщина в белом; неслышно и плавно, словно призрак, плывет она по темной аллее; вот она ближе и ближе, вот она подле него, и вся трепещущая, вся подавленная всесильным очарованием любви тихо-тихо склоняет ему на грудь свою милую, дорогую голову.

— Все мое сердце смеется, милая! — говорит он ей.

Но она еще не отвечает; она в каком-то сладком забытьи покоит свою голову на его груди, словно ищет еще прийти в себя и вполне насладиться этим безмолвием любви, которому так сочувственно вторит безграничное безмолвие ароматной летней ночи...

А сани все едут да едут, все покачиваются из стороны в сторону и убаюкивают милого, благовоспитанного путника. Мысль бежит дальше и дальше. Вот мелькнули в глаза огни помещичьей усадьбы. «Что-то теперь там делается, за этими окнами?» — вопрошает себя юный путник, и вдруг ни с того ни с сего воображение переносит его в какой-то мрачный кагал, наполненный московскими публицистами. Мой юный друг малый очень добрый и даже несколько стыдливый; когда в голову его залезет какая-нибудь дрянь, он непременно покраснеет. Мало того, он ищет отогнать от себя эту дрянь, а когда она льнет уж слишком настоятельно, то старается не

то чтобы оправдать ее, а придать ей какие-нибудь благовидные формы. Так поступает он и в настоящем случае.

— Не может быть! — рассуждает он.— Это они не без задней мысли так действуют. Я думаю даже, что это с их стороны очень зрело обдуманная военная хитрость. Они просто хотят во что бы то ни стало утвердиться в самом центре укрепленного места, а потом, когда...

Но легкий ухаб прерывает нить размышлений...

Друг мой до такой степени пленяется своим предположением, что даже сочиняет целый план кампании. Он очень живо представляет себе, как один публицист заманивает в трущобу, другой действует в это время боковыми движениями, третий подсылает лазутчиков с ложными вестями, четвертый отводит глаза, и вдруг...

— И вдруг соединенными силами подпускают кулеврину! — мысленно восклицает мой друг и даже поворачивается на месте от удовольствия.

Но через минуту его берет раздумье.

— Для чего же, однако, тут лазутчики? — спрашивает он самого себя.

— Для чего пострадали от них даже эти невинные литературные птицы, которые

В роще поживали, смирно толковали? —

разве могло кого-нибудь растревожить их тихое, безвредное пение? Разве это было не самое смирное и почтительное толкование из всех почтительных и смирных толкований, когда-либо перекатывавшихся из одного конца в другой нашего беспредельного отечества? Нет, тут что-нибудь да не так!

Опять легкий ухаб, и опять пауза.

— Но с другой стороны, может быть, птицы оттого-то и оказывались вредными, что очень уж они безвредны,— вот и убили их из ружья. Когда люди делают дело или, по крайней мере, говорят об деле, то нет ничего несноснее, как замешается тут же какой-нибудь Карней (один из замечательнейших типов, созданных г. Успенским), который пристает ко всем по очереди и без очереди, и просит выслушать, и хватает каждого за пуговицу... Такой человек опаснее всякого врага, потому что он не умеет даже удержать язык за зубами, потому что он сейчас же пойдет рассказывать, что и он там был, что он то-то советовал, то-то предлагал... И потом начнет подмигивать, ухмыляться, без толку кивая головою, и вообще изображает из себя тонкого дипломата...

Еще ухаб, и еще пауза.

— Н-да, это с их стороны просто подвох, да еще какой подвох-то! Но отчего же от этого подвоха так скверно пахнет? Отчего этот подвох как будто и не подвох совсем? Н-да, это даже почти верно, что тут никакого подвоха нет и не бывало.

А сани все едут да едут, и наконец особенный стук передка возвещает путнику, что он проезжает через деревню. Узкая черная полоса, там и сям прорезываемая тусклыми огнями, представляется глазам; на улице ни души, даже собаки и те куда-то от стужи попрятались и не бросаются на лошадь с хриплым лаем и вяканьем. «Гм... может ли труд быть привлекательным?» — спрашивает себя Городищенский.

Повторяю, Городищенский имеет душу добрую, до того добрую, что она не чуждается даже вопроса о привлекательности труда. И когда в товарищеском кружке поднимается шумная беседа об этом предмете, то у него, для убеждения неверующих, всегда готово неотразимое доказательство, заключающееся в том, что несчастный Людовик XVI был слабый король, но в то же время очень искусный слесарь. «Стало быть, первое занятие было для него непривлекательно, а второе нравилось — вот и все».

— Разумеется, труд *должен* быть привлекателен,— рассуждает он и теперь, поглядывая на «хижины бедные, богом хранимые»,— нужно только таким образом это устроить, чтобы... ведь Людовик XVI делал же замки с удовольствием!..

Но тут же, и притом совершенно некстати, припоминается ему беседа, которую он однажды имел с своим камердинером и дядькой Иваном Прокофьичем...

— Иван Прокофьич! как вы думаете, труд может быть привлекателен? — спросил он его.

— Какой это такой «труд»?

— Ну, труд... работа, то есть...

— Нет той работы слаще, как с бабой лежать, а опричь того другой приятной работы не знаю,— отвечал Иван Прокофьич и хотел было удалиться, что он делал всегда, когда, по мнению его, барин начинал говорить пустяки.

— А надобно, Иван Прокофьич, таким образом сделать, чтобы всякая другая работа была так же приятна, как с бабой лежать.

Иван Прокофьич остановился; ему показалось, что барин начинает говорить занятно.

— Знаю, сударь, еще одну работу хорошую,— сказал он,— это деньги взаймы брать и назад не отдавать.

— Ну вот видишь?

— Только какая же это работа! Это, сударь, как бы сказать, одно времяпровождение, все равно что другой вот ма-

лодушеством этим занимается, по трактирам ходит. Вот сапоги вычистить, комнаты ваши убрать — это работа. Хоша, конечно, для вас это мне оченно приятно,— прибавил он мягким, но как будто нерешительным голосом.

Городищенский на минуту задумался.

— Вот тоже работа,— продолжал Иван Прокофьич,— когда вот мужички для вас хлебушка молотят, дрова рубят... в то время, сударь, и плечики-то у них ноют... Хоша, конечно, для вашей милости им это оченно приятно...

На этом разговор и кончился. В то время он не произвел на Городищенского особенного впечатления и потому скоро забылся; но теперь слова Ивана Прокофьича почему-то припомнились во всей подробности и произвели в его мыслях некоторую разладицу. «В самом деле, может ли быть труд привлекательным, да и в том ли задача, чтобы сделать его привлекательным? не в том ли скорее все дело, чтоб совсем эмансипироваться от труда физического, чтобы приобрести как можно больше досуга для труда исключительно умственного? Не доказывает ли нам история, что с успехами естествознания, технологии, механики...»

И, конечно, мой юный друг сообщил бы своей мысли надлежащее развитие и, может быть, до чего-нибудь и додумался бы, если б сани в эту минуту не остановились и ямщик не доложил ему, что цель путешествия уж достигнута.

Так вот какого рода мысли и соображения могут посещать голову путника, даже во время завываний вьюги, когда он едет хорошенько закутанный и ноги его не коченеют от стужи.

Но могут ли подобные мысли и соображения занимать такого путника, который во время вьюги обязывается идти пешком за возом и вязнуть в снегу и который при этом плохо защищен от нападений ветра ветхим и малозащищающим полушубком, этого я не знаю, и даже думаю, что такой вопрос должен быть решен отрицательно. Ибо путник этот на каждом шагу обязывается думать о том, как бы ему выдраться благополучно из сугроба, и о том, как бы малосильная лошаденка его не стала в тупик или не повалила воза, и о том, что когда повалится этот воз, ему надобно будет выжидать проезжих и с помощью их поднимать этот воз. Я даже полагаю, что этот путник совсем ни об чем не думает, а просто клянет и вьюгу, и горькую долю, которая выслала его в эту стыть за ворота.

Но оставим в стороне Городищенского и его соображения и обратимся к делу. Не знаю, оттого ли, что я плохо себя окутываю, или оттого, что я от природы не мечтателен, но

зимний проселок не навевает на меня ровно никаких мечтаний, ни светлых, ни темных, ни веселых, ни горьких. Сидя в городе, за каменными стенами, вдали от того трудного, нечужеядного дела, которое воистину в поте лица снискивает хлеб свой, еще можно по временам отдаваться мечтам о сближениях и о почве, любоваться чистопсовым эпосом, созидаемым фантазией г-жи Кохановской, увлекаться описаниями вроде «Года русского земледельца» г. В. Селиванова (любопытные могут отыскать это диковинное в своем роде описание в «Русской беседе» за 1857 год) и созидать фантастические дивертисменты с пением и танцами, но как только станешь лицом к лицу к настоящей, неподкрашенной действительности, как только въедешь в это необъятное, стонущее пространство, называемое проселком, то затеи городского досужества опадают сами собой, как опадают листья с деревьев под хмурым осенним небом. С одной стороны пошлая, насквозь пропитанная сентиментальным враньем идиллия прошлого, с другой стороны — не менее сентиментальная идиллия будущего. В обоих случаях — мелькание, от которого только рябит в глазах; в обоих случаях запрос или ничтожен до гадости, или до того уж огромен, что делается ничтожным вследствие самой своей огромности.

Увы! и я когда-то увлекался и чистопсовым эпосом г-жи Кохановской, и рассыченною на патоке идиллией г. В. Селиванова, и тоскою по почве, и мечтами о всевозможных сближениях (из них всего более нравились мне сближения, выражаемые поцелуями и приветствиями вроде: вы наши отцы, а мы ваши дети). С каким умиленьем, помнится, читал я следующие, например, строки, начертанные рукою г. В. Селиванова: «Проснувшись на утреннем рассвете и протерши глаза, земледелец смотрит в окно... и радостно сияет лицо его». Так начинает любезный автор свое описание деревенской зимы. Почему лицо земледельца сияет радостью? А потому оно сияет, что на дворе валит хлопьями снег и становится зима. Когда снег стает и земледелец, «проснувшись на утреннем рассвете», увидит, что перед его хижиной голая черная земля, лицо его тоже радостно сияет, потому что становится весна. А когда подоспеет сенокос и в полях начнет дремать налившаяся рожь,— тоже надо радоваться, потому что наступило лето. И таким манером, лицо его круглый год будет сиять радостью, ибо круглый год в природе непременно что-нибудь да происходит: либо сияет солнышко либо не сияет, либо идет дождик либо не идет. Резон.

Вот, например, как описывает г. Селиванов зимний день русского земледельца:

День зимний короток и не видать, как проходит. В руках баб жужжат веретенцы; старый дед ковыряет лапти; мужика-работника днем в избе не сыщешь: мужицкая работа не в избе. На полатях мурлычет кошка; она либо спит, свернувшись в клубочек, либо обмывает рыльцо лапкой. По полу ползает младенец, иногда и не один, с выпачканными молочной кашей рожицами, поднимаются на ножки, падают, ссорятся или смотрят с вниманием и радостию на играющих и шумно бегающих котят. Но вот распахнулась дверь, и в избу вбегают перезябшие ребята. С утра они на улице играли в шары, кричали, бегали, и им наконец приходит желание погреться. Но в избе и без них тесно; они надоедают вознею и шумом старухе, и та, чтоб от них избавиться, гонит их опять на улицу, где они предаются игре с новым азартом. Вот наконец начинает вечереть; сверчок за печкой заводит свою однообразную песню. Дед лезет на печь распаривать свои старые кости да греть остывающую кровь. Невестка достает из-за печки березовые или осиновые поленья и косырем щепает длинные лучины, которые вкладывает в светец, зажигает и освещает избу. Лучина пылает ярко, то вдруг меркнет, то опять вспыхнет. Беспрестанно надобно обламывать обгорелые концы, беспрестанно надобно переменять догорающую лучину. Но все ли знают, что такое светец? Светец есть небольшой, аршина в полтора или менее вышиною столбик в вершок толщины, утвержденный на двух крестообразно сложенных брусочках, четырехугольной доске или чурбане. В верхний конец стоящего столбика вбита трех- или четырехконечная железка, в которую вкладывают лучину одним концом. Когда лучина горит, на пол под нее подставляют либо таз, либо чугун с водой, в который падают огарки.

Когда на дворе сделается совершенно темно, в избу возвращаются мужики с работы, лезут также на печь или на полати, где разуваются, снимают холодную, сырую обувь и одежду, которую развешивают в теплом духу. Изба оживлена. Мать успокоивает и убаюкивает грудного младенца, ребята то хохочут, то ссорятся на полатях, старуха бранит невесток или что-то бормочет сквозь зубы, на что никто и внимания не обращает. Молодая невестка, сидя на донце, поет вполголоса, а на дворе косматая жучка, чуя бродящего по окрестности волка, и лает и завывает. Но вот уж время и ужинать. Денщица накрывает стол скатертью, достает из выдвижного в столе ящика деревянные чашки, ставит на стол деревянную узорочную солоницу, кладет ложки и огромный укруг хлеба. Мужики умывают руки из висящего над лоханкой возле печи рукомойника и утирают тут же на стенке всегда висящим полотенцем. Русский человек не сядет ни обедать, ни ужинать, ни завтракать, предварительно не умыв рук. Для этого-то в рукомойнике всегда есть вода.

Не правда ли, какая милая, трогательная картинка, каким миром и счастьем веет от этой крестьянской семьи, где и кошка мурлычет, и молодая мать убаюкивает грудного ребенка, и на ворчанье старухи никто не обращает внимания? И чем дальше идет читатель за автором, тем больше и больше саднит ему сердце от умиления. Являются на сцену патриархальные помещики, которые охотно молятся богу вместе с своими земледельцами, однако ж в работах общения с ними почему-то иметь не желают. Читатель постепенно приходит в восторг от всех этих трогательностей и, наконец, в исступлении, восклицает: «Господи! так бы и не вышел оттуда, из этой

хижины, в которой кошка обмывает рыльцо лапкой и молодая невестка, сидя на донце, поет вполголоса!»

Я знаю, в русской литературе много таких отводящих глаза произведений, но в действительности жизнь русского мужика всего менее дает места для идиллических предположений. Патриархальный фальшфейер, выработанный крепостным правом, позволявший одному говорить: мы ваши отцы, а другим — мы ваши дети, пал сам собою, как только уничтожилась причина, его породившая. Жизнь приняла общий, человеческий характер; нет ни отцов, ни детей, а есть люди, стоящие рядом. Писателям-художникам, так упорно настаивающим на патриархальности отношений и усиливающимся сообщить крепостным формам жизни какой-то величаво-эпический характер, не мешало бы поближе взглянуть на нынешние условия сельского быта, чтобы отрезвиться от всякого рода напускных и мечтательных предположений. Они убедились бы, что если и существовала когда-нибудь патриархальность, то она совсем не была результатом естественно установившихся и для обеих сторон равно любезных отношений, а просто насильственною формой, которую одна сторона предлагала, потому что могла предлагать, а другая принимала, потому что не могла не принять. Иначе ведь не было бы резона не устоять этой патриархальности и доднесь во всей своей идиллической неприкосновенности,— а где же, в каких захолустьях ее теперь отыщешь?

Жизнь русского мужика тяжела, но не вызывает ни чувства бесплодной и всегда оскорбительной жалостливости, ни тем менее идиллических приседаний. Как всякая другая жизнь, как вообще всё на свете, она представляет богатый материал для изучения, а еще больше для сравнений и сопоставлений. Когда факт представляется перед нами в виде статистического данного, в виде цифры, то это еще совсем не факт, это просто мертвая буква, никому ничего не говорящая. Чтобы понять истинное значение факта, необходимо знать, чего он стоил тому, кто его выносил, и по милости чьей он сделался фактом. Необходимо, одним словом, создать такую статистику, в которой слышалось бы присутствие тревожной человеческой деятельности, от которой отдавало бы запахом трудового человеческого пота.

Уже одно то, что коренное условие мужицкой жизни составляет вечный, никогда не прерывающийся труд, достаточно указывает на совершенно серьезный ее характер и на положительную невозможность относиться к ней с умилениями и приседаниями. Начинать каждый свой день мыслью о насущном хлебе и этою же мыслью день заканчивать,— как хотите,

а тут потребно или великое мужество, или же полное и трудно постигаемое равнодушие. Я, с своей стороны, думаю, что в настоящем случае исключительно присутствует то великое и никем еще достаточно не оцененное мужество, которое одно может дать человеку и силу, и присутствие духа, необходимые, чтобы удержать его на краю вечно зияющей бездны. Положение мучительное, мимо которого мы потому только проходим без крайне болезненного чувства, что не даем себе труда вникнуть в его сущность. Да мы с вами, читатель, не можем и вникнуть в него, потому что для нас все в этом деле непонятно: и невозможность досуга, и вечная зависимость жизни от личного материального труда, и эти опасения, эти ужасные опасения, которые ни на минуту не отходят от человека, ни на минуту не дают ему забыться и отдохнуть.

Ничего мы этого с вами не понимаем и потому ценим мужицкий труд четвертаками, полтинниками и рублями, то есть ценим то, чему, в сущности, никакой цены нет и не может быть. Конечно, мы в своем праве, ибо видим и в произведении человеческого труда, и в самом труде не что иное, как товар; между тем это совсем не товар, а пот и кровь человеческая, а утраченное человеческое здоровье, а оскорбление человеческого достоинства, а потеря человеческого образа. И, говоря таким образом, я отнюдь не думаю сентиментальничать или искать какой-то немыслимой у нас популярности, а просто желаю обратить внимание на то, что так легко глохнет под грудами мертвых статистических цифр, но что, в действительности, одно только и составляет истинное, неподкрашенное дело.

Прошлым летом («Современник» 1863 г. № 8-й; статья «В деревне») я старался обратить внимание моих читателей на некоторые подробности мужицкого быта. Картина выходила далеко не удовлетворительная, но то было летом, когда сама природа все-таки представляет некоторые условия, облегчающие трудовое существование, зимой же, при отсутствии даже этих скудных даровых условий, жизнь делается еще более трудною и рискованною.

Зимою наружный вид деревни поражает тоской и унынием. Мужицкие избы, и летом далеко не приглядные, кажутся еще темнее, слепее и сиротливее. Если б они не были со всех сторон укутаны соломой (что все-таки дает намек на потребность некоторого комфорта или, по крайней мере, тепла), то можно было бы подумать, что это не дома, а какие-то карточные, совсем не серьезные помещения. Окруженные со всех сторон снежными сугробами, придавленные сверху толстым снежным пластом, они одним своим видом говорят путнику о всякой бесприютности, о всевозможных лишениях и не-

удобствах. Так тянется целая длинная улица, и редко-редко бросится в глаза исключение в виде веселого домика с тесовою крышею, не обезображенною растрепанной ветром соломой, да и тут, наверное, живет не заправский мужик-землепашец, а какой-нибудь выскочка, всякими неправдами наживший себе капиталец и успевший забрать в свои руки монополию торговли баранками, веревками и другим незатейливым крестьянским товаром.

Внутренность избы еще печальнее. Там на пространстве какого-нибудь десятка квадратных аршин теснится нередко два-три семейства; тут и древние старики, отживающие свой век на полатях, тут и взрослые дети их обоего пола, и подростки, и, наконец, малые дети до грудных младенцев включительно. Несмотря на распространение так называемого просвещения, избы до сих пор еще по большей части курные; утром, вплоть до самого обеда, в них выедает глаза дым и царствует сырость и холод, остальное время дня и ночью — несносная духота. Смрад от всякого рода органических остатков, дым от горящей в светце лучины, миазмы от скопления на малом пространстве большого количества людей, от мокрой одежды и всякого тряпья, развешанного для сушки около огромной печи, занимающей без малого четверть всего жилья,— все это, вместе взятое, составляет такую зловредную атмосферу, которой, конечно, не позавидовал бы ни один арестант, если б арестант этот не испытал ее во времена счастливого своего пребывания на свободе. А неряшество, грязь и нечистота, как прямые последствия этой вечной тесноты и толкотни? а паразитные насекомые? Вот те гигиенические условия, которые представляет собой русская изба с точки зрения жилья, и вот где родится, стареется и умирает поилец и кормилец русской земли.

С точки зрения нравственной эти условия, по малой мере, равносильны описанным выше. И возрасты и полы постоянно смешаны. Смешение первых имеет прямым последствием то, что поколения одни за другими коснеют в одних и тех же предрассудках, благоговеют перед одними и теми же преданиями и становятся навсегда застрахованными от прикосновения всякой свежей мысли. Непроницаемая тьма свинцовым пологом ощетинилась и отяжелела над этими хижинами, и в этой тьме безраздельно царствует старый Сатурн, заживо поедающий детей своих. Сын, безотлучный свидетель безмолвного малодушия или трусливого лукавства отца, может ли вынести из своих наблюдений что-нибудь иное, кроме собственного малодушия и лукавства? Сын, от сосцов матери привыкший видеть, что все вокруг него покоряется слепой слу-

чайности, не делая ни малейшей попытки к освобождению себя из-под гнета ее, может ли выработать что-нибудь иное, кроме безграничной веры в ту же слепую случайность? И таким образом переходит она, эта тьма, от одного поколения к другому, все круче и круче закрепляя проклятые тенета, которыми они спутаны. Что же касается до смешения полов, то последствия этого явления слишком очевидны, чтобы следовало распространяться об них. Во всяком случае, можно сказать утвердительно, что, вследствие совокупности всех условий, пресловутая чистота русской семьи, взятая даже в ограниченном смысле половых отношений, есть не более как сентиментальная утопия, которою славянофилы отводят глаза публике. Нужен ли этот отвод глаз? не похож ли он на те казенные рапорты о всеобщем благополучном обстоянии, которыми слишком усердные подчиненные успокоивают своих добрых начальников? Предоставляю разрешение этих вопросов самому читателю, но думаю, что ложь, каков бы ни был ее характер, никогда не полезна и не нужна, а особливо в тех случаях, когда истина не только не обвиняет, но положительно оправдывает... Вот та нравственная и умственная среда, в которой родится, стареется и умирает поилец и кормилец русской земли.

Пища русского мужика не роскошная, но и не сытная. Земледелец охотно соблюдает посты, которых в году приходится более нежели наполовину, и в это время питается пустыми щами и каким-то дрянным крошевом из кваса, редьки, картофелю и хлеба. Каша допускается как исключение, потому что масло льняное и конопляное мужику не по карману. Однажды на маслобойной я собственными глазами видел, как бабы лакомились льняной избоиной, обмакивая ее в свежесбитое масло.

— Неужто от этого нутро не воротит? — спросил я.

— Э, сударь! у нас что баба, что корова — одинаково до дуранды падки,— отвечал мне маслобойщик.

И бабы ничего, даже рассмеялись этой шутке.

В скоромные дни эта пища немногим лучше. Все улучшение составляет молоко в различных видах, но и того не объешься, потому что, по большей части, одна плохонькая корова продовольствует целую семью. Так называемая убоина, то есть говядина или свинина, составляет в деревнях такую редкость, которая допускается только по большим праздникам, как, например, на пасху, на рождество и на храмовые дни. Поэтому мужик старается исключительно только о том, чтобы брюхо у него было наполнено и чтоб его пучило, но поступает он таким образом совсем не потому, чтобы не понимал,

что говядина питательнее хлёбова из промозглой серой капусты с квасом, а просто потому, что поступать иначе не может.

— Откуда, барин, сил-то тут набирать? — спрашивал меня однажды один мужичонка, занимавшийся у меня земляною работой.

— Набирай, братец, набирай! — пошутил было я в ответ, но тут же, не знаю сам от чего, сконфузился.

Неизвестно, откуда идет мнение, будто русскому мужику именно такая пища и нужна и что другой он принимать не будет. Я думаю, что первые пустили в ход эту мысль дворовые, которые, как известно, считают себя, относительно мужиков, высшими организмами. По крайней мере, однажды, когда я распорядился, чтоб работник Иван ел вместе с моими домочадцами, то кухарка почтительно протестовала против этого.

— Мы, сударь, едим пищу легкую,— сказала она,— он, сударь, пищей нашей обижаться будет!

Однако когда Иван призван был на совет, то оказалось, что он ни во щах с говядиной, ни в каше с маслом никакой обиды себе не видит; и действительно, через месяц он так отъелся, что та же самая кухарка называла его не иначе как «гладким чертом». А из этого следует, что сытная еда вовсе не так противна мужику, как уверяют кухарки.

Откуда же, в самом деле, набирает себе сил русский мужик? Неужели источник ее заключается в одних телесных упражнениях? Эта задача мудреная, и разрешить ее я не считаю себя компетентным.

Русского мужика называют пьяницей, однако это или положительное заблуждение, или непростительная клевета. Заблуждение может происходить оттого, что мужика чаще видят пьяным на улице, нежели людей, носящих так называемую «благопристойную» одежду. Но не следует забывать при этом: во-первых, что число мужиков сравнительно с числом людей, ходящих в «благопристойной» одежде, несравненно обширнее, а во-вторых, и то, что человек, носящий «благопристойную» одежду, напивается по большей части в уютных и закрытых заведениях, где и протрезвляется, а мужик напивается в кабаке, откуда для протрезвления выносится на улицу, а оттуда уже попадает в часть. Оттого нам и кажется, что пьянствуют на свете одни мужики.

В сущности же, мужик очень умерен, даже более умерен, нежели по климатическим условиям можно было бы предполагать. Эта обычная умеренность, а также и недостаток питательной пищи производят то, что он хмелеет быстрее, нежели человек, ходящий в «благопристойной» одежде. Мужик

пьет по большей части только в городе, а в деревне только по большим праздникам, то есть в те дни, когда он разрешает себе мясо или рыбу. С одной рюмки его уже отуманивает, со второй словно отшибает руки и ноги, с третьей — он раскисает и начинает говорить комплименты, с четвертой — ожесточается и лезет драться, после пятой — его выносят. Клянусь, что люди в «благопристойной» одежде, канканирующие в гостинице «Синоп», после пятой рюмки только во вкус входят. А мужика не только уж вынесли, но и лошадь у него угнали, и кошель с медными деньгами отобрали, и шапку с головы сняли. Возвращается на третий день мужик в деревню пешком, и озирается кругом на покрытые белой пеленой поля, и что-то бормочет, и что-то припоминает. Может быть, он припоминает, что обещал деткам калачика из города привезти, и сообразно с этим бормочет: «Ай да калачик!», а может быть, дает себе зарок к другому вору-целовальщику, от которого лошадь-то угнали, больше не заходить и сообразно с этим замечает себе: «Да, голубчик! чист молодец вышел!» А дома ждет его плач и вой баб, их надоедливая брехотня и бессмысленное приставанье. Поедом они съедят его, а человек, носящий «благопристойную» одежду, глядя на него, скажет: «Ишь свинья, как налакался! даже шапку с головы пропил!» Правильно.

Ах! смешно и мелочно кажется горькое горе ближнего, веселость и иронию вызывает в постороннем зрителе его оторопелая, словно сейчас высеченная физиономия... да, смешно! Но долго ли же, однако, смеяться-то?

И, конечно, не я стану защищать русского мужика в таком зазорном деле, как неумеренное употребление спиртных напитков, но все-таки скажу человеку, носящему «благопристойную» одежду: «Свинья-то, брат, ты! только нет в тебе смелости даже и пакость вслух сотворить! и свиньишь-то ты втихомолочку, словно кукиш в кармане показываешь!»

Итак, условия жилья и пищи не вполне благоприятны для русского мужика; посмотрим теперь, каков-то его труд.

Труд мужика, за самыми ничтожными исключениями, совершается на воздухе, и в зимнее время это условие, конечно, одно из самых неблагоприятных. Холод, и сам по себе составляющий страдание, сверх того лишает человека нужной при телесных упражнениях развязности, которая еще более затрудняется теплою мужицкой одеждой, почти всегда неуклюжей и дурно пригнанной. Это общее замечание, показывающее, что зимний труд мужика сам по себе имеет особого рода ценность. Затем, следует рассмотреть виды телесных упражнений, которым предается мужик.

Зимние мужицкие работы могут быть разделены на два главных разряда: одни совершаются дома, другие на стороне.

Хотя и дома работа большею частью нелегка (молотьба, рубка дров и т. п.), но здесь, по крайней мере, мужик может более или менее свободно располагать своим временем и применять на практике теорию привлекательности труда. Надоело молотить — руби дрова; надоело рубить дрова — ступай в поле за сеном. Бабы в это время заняты по хозяйству, а в свободные минуты прядут или разматывают бумагу. Это последнее занятие, вследствие обилия рук, ему предающихся, ценится до того дешево, что самая усердная баба вряд ли может выработать на нем более двух-трех рублей в месяц. Впрочем, если мужиков в селе мало или им недосужно, то бабы не пренебрегают и мужицкими работами.

На стороне главное (по крайней мере, наиболее, по своей общедоступности, распространенное) занятие мужика есть извоз. Подмосковные крестьяне (речь идет об них) промышляют и легковым извозом, и перевозкою произведений земли, как своих собственных, так и по найму; легковое извозничество когда-то было выгодно, но теперь, когда извозчиков в Москве расплодилось, как песку морского, и кормы непомерно вздорожали (прошлый 1863 год составляет, впрочем, в этом отношении приятное исключение), промысел этот становится все больше и больше невыгодным. Он требует капитала до 100 р. на первоначальное обзаведение, то есть на покупку саней, сбруи и кой-какой лишней теплой одежды (лошадь своя и полагается не стоящею ничего); выездить в день так называемый ванька — я об них только и говорю — может круглым счетом до 1 р., или в месяц до 30 р., а во весь зимний сезон, считая с 15 ноября по 1 апреля, 130 р. В это время расход у него следующий: десять процентов с затраченного капитала (включая тут же и ремонт санишек и сбруи) составляют 10 р.; проесть в сутки и пропить ваньке на чаю необходимо не меньше 30 к., стравить лошади нужно не менее полумеры овса и полупуда сена, что, по средним ценам, стоит 35 к., следовательно, продовольствие извозчика с лошадью стоит ежедневно 65 к., или около 20 р. в месяц, а в зиму 90 р.; наем квартиры в зиму стоит до 20 р., ковка лошади и другие мелочи составляют рублей пять; всего, стало быть, расхода 125 р., в остатке имеется 5 р. Таким образом, человек с лошадью, в продолжение четырех с половиной месяцев, за пять рублей несет работу глупую и нездоровую, подвергается брани и тычкам седоков и по временам даже испытывает удовольствие возить даром господ хожалых. Правда, что дома лишняя лошадь и лишний человек с корму долой (этим «лиш-

ним», как увидим ниже, и есть-то было бы нечего), но правда и то, что от изъятой из хозяйства лошади не получается удобрения, а от изъятого из хозяйства мужика часто получается вместо выгоды такой ущерб, который впоследствии ничем не вознаграждается. Не надобно забывать, читатель, что в Москве мужик окружен всякого рода соблазнами, что там существуют разные «Миланы» и «Крымы», которые именно и устроены с целью обдирания русского мужика. И потому, о москвич! ты, который с Плющихи или из-под Новинского поспешаешь на кабалистико-чревовещательный вечер на Спиридоновку или на юридическо-сиккофантское утро на Страстной бульвар, вспомни все изображенное выше и не торгуйся с ванькой, запрашивающим с тебя четвертак, не вынуждай его ехать с тобою за пятиалтынный, но действуй щедрой рукой и даже прибавляй пятачок на водку!

Извозничество с тяжестями сопряжено еще с большими неудобствами: тут при наших благоустроенных проселках и при русских метелях напринимаешься такого лютого горя, что, кажется, и в жизнь бы другой раз не поехал... и все-таки и в другой, и в третий, и в четвертый раз — все едешь. Возьму местность в 30 верстах от Москвы. Кажется невероятным, чтобы одна поездка в Москву и обратно на таком расстоянии требовала около 30 часов, а между тем ничего нет справедливее этого. Положим, что мужик везет в Москву воз сена и что с вечера у него этот воз уже навит и увязан. Поднимается он из дому с десяти часов ночи и тогда только может быть уверен, что поспеет в Москву часам к осьми следующего утра. Медленность движенья объясняется очень просто: во-первых, проселки наши обилуют всевозможными ухабами, во-вторых, на тех же проселках, особливо около деревенских околиц, до того иногда переметает дорогу снегом, что малосильная мужицкая лошаденка становится в тупик. Кроме того, может случиться встречный обоз, и в таком разе положение делается поистине трагическим; начинается брань, толкотня, метание жеребьев, и время летит незаметно. Кроме того, может встретиться или барин, или поп, или старшина, или писарь в санках — тут уж никакой пустой болтовни не бывает, а съезжает обоз мужицкий в сугробы без всяких разговоров, так что только морды лошадиные виднеются из-под снегу. И тут время летит незаметно.

В Москве крестьянин видит себя со всех сторон облепленным скупщиками и кулаками, которым тоже хочется есть (господи! что значит еда-то!) и которые поэтому величают его и «любезным», и «почтенным». Но мужик еще крепится и не сдается на обольщения; ему думается еще, что найдется та-

кой храбрый покупатель, который пробьется сквозь эту толпу паразитов и обратится прямо к нему. Опыт, однако, доказывает, что это случается редко, и обыкновенно дело кончается тем, что мужик побьется-побьется и все-таки обратится к той же компании скупщиков. В этих переворотах проходит время до самых сумерек, а там пойдут сборы, является надобность обогреться, выпить чаю, сделать кой-какие закупки — и пройдет в этой суете часов до восьми вечера. И счастлив он, если воротится домой в то время, когда начнет уж светать. Теперь посмотрим, что он приобретает от своего труда, сопряженного, кроме потери времени, еще с бесчисленным множеством разных других неприятностей.

Обыкновенно подмосковный мужик везет в Москву сено или дрова; исчислим прибыли, которые он получает от того и другого промысла. Бессильная крестьянская лошаденка не свезет более 20 пудов такого громоздкого товара, как сено; в нынешнем году продукт этот самого лучшего качества стоит в Москве не более 15—16 коп. за пуд; но крестьянину лучшего качества сена взять негде (кроме, впрочем, огуменного, которое он уже продал по осени), и потому он везет так называемую *леснину,* или *полевину,* за которую красная цена от 12 до 13 коп. за пуд. Таким образом, он получает за свой воз maximum 2 р. 60 к.; из этих денег он должен издержать на харчи себе до 30 к. и лошади до 35 к. (около 30 к. за меру овса и около 5 к. за сено); остается 1 р. 95 к. В этой цене заключается: плата за провоз сена на расстоянии 30 верст и за проезд обратно, плата за наем земли, с которой снято сено, и, наконец, плата за работу по скошению и уборке сена, что у одного человека занимает не менее четырех дней, так как сена лесного и полевого получается с целой десятины никак не больше сорока пудов, а уборка его требует немногим менее времени, нежели уборка сена лугового. Вообразите себе, что крестьянин дешево-дешево арендовал землю по 75 к. за десятину, окажется, что за полдесятины он все-таки заплатил 37½ к. и что, следовательно, за его с лишком пятидневный труд остается не более 1 р. 57½ к., и за какой труд! А если взять в расчет ту арендную плату, которая в Московской губернии полагается за землю, отрезанную крестьянам в надел (что, в сущности, и будет совершенно справедливо), то есть по 2 р. 50 к. за последние две десятины, то из 1 р. 95 к. останется мужику всего 70 коп.

Другой промысел — дрова. Этот материал подмосковные мужики скупают в рощах: березовые рубля по три, осиновые и другие рубля по два и меньше за сажень. Возьмем березовые дрова, как наиболее выгодные. В нынешнюю зиму хо-

рошие швырковые дрова можно было сплошь и рядом купить в Москве по 4 р. 50 к. за сажень, но мужик продаст свою сажень дороже, потому что рощинская кладка для него выгодна (она делается без боковых клеток, и притом всегда допускается к сажени пример вершка на два или на полтора), и из рощинской сажени он может без всякой фальши выкласть в городе сажень с третью, следовательно, продаст он эту сажень за 6 р. Если у него только одна лошадь (в большинстве случаев это так и бывает), он сажень дров может перевезти на ней в город никак не меньше как в три раза; следовательно, за прокорм себя и лошади заплатит в эти три дня 1 р. 95 к., и затем ему останется чистого барыша 1 р. 5 к. за пять с лишком дней работы (более 3-х на поездки в Москву и около 2-х на поездку в рощу).

Если таковы выгоды от перевозки двух товаров, считающихся наиболее ценными в подгородном сельском быту, то что же можно сказать о поездках в Москву с возом, например, осоки, которая продается от 8 до 9 к. за пуд, или соломы, который и весь-то стоит 1 р. сер.? Какую выгоду приобретает здесь мужик — это просто непонятно, кроме разве той, что он и его лошадь не состоят в дни поездок на домашнем корму.

Затем, за извоз по найму платится на этом же расстоянии зимой по 5 к. с пуда — плата не только удовлетворительная, но, что называется, красная. Этим путем мужик может выработать с лошадью 1 р. с. в сутки и привезти домой чистого капитала до 35 к. с. Многие даже восстают против громадности этой цены, многим кажется, что подмосковные мужики избаловались, что они облопаются; но, конечно, если мы вникнем в самую суть дела, и притом вообразим, какую муку должен принять мужик, чтоб достать эти 35 к., то едва ли согласимся с подобным мнением. Не надобно при этом забывать, что перевозки продолжительные, не сопряженные с потерей времени на базарах, и притом товара не громоздкого, как, например, торфа, дров и т. п., стоят дешевле и обходятся, на том же расстоянии, не дороже $3^1/_2$—4 к. с пуда.

Взглянем же теперь на так называемые мужицкие угодья (опять-таки говорю о подмосковной местности). По положению, в Московской губернии намеривается на душу по 3 дес. земли (высший надел), и за пользование таким участком взимается в пользу помещика 10 р. с.; сверх того с каждой души на разные другие потребности, как-то: подушных, земских повинностей, на мировые учреждения, на волостное и сельское управление и т. п.— сходит по меньшей мере 2 р.— итого 12 р. Представим себе двор, помещающий в себе два тягла; в этом дворе, по самому выгодному расчету, должно заключаться

две мужских души рабочих, две таких же души не рабочих и от 4 до 5 душ женского пола; стало быть, это семейство владеет в настоящую минуту 12-ю десятинами, за которые обязано уплатить в год 48 рублей. Из числа этих 12 десятин полдесятины находится под усадьбой, четыре с половиной под пашней (обработывается только 3 дес., остальные полторы десятины под паром), затем семь десятин под кустарником («по коему покос»), под бывшею господскою вырубкою, под калугами, под мокрым местом, под чистым болотом («по коему покос», как говорится в плане) и т. д. Пусть не смущается читатель этими цифрами: более земли такое хозяйство не может обработать, потому что у него даже и на это количество *никогда* недостает удобрения. Что может получать это семейство с владеемой им так называемой удобной земли? А вот что.

Озимого хлеба высевается, по крестьянскому обычаю, около двух четвертей на десятину, итого во всем озимном поле сеется три четверти, от которых, при недостаточно удобренной земле, получается урожай не более сам-четверт — 12 четвертей. Ярового высевается (положим, овса) вдвое, то есть шесть четвертей, от которых самый большой урожай сам-третей, итого 18 четвертей. С семи десятин дрянного покоса он получит до 280 п. столь же дрянного сена, да усадебного и огуменного отличного сена до 50 пудов. Это результат употребления в дело всех рабочих сил семейства в продолжение целого лета, за исключением, быть может, весьма немногих дней, остающихся залишними, которыми пользуются члены семейства, чтоб добыть копейку поденною работой на стороне. За исключением количества хлеба, необходимого на семена, все это по средним ценам стоит: 9 четвертей ржи (по 5 р. за четверть) — 45 р., 12 четвертей овса (по 3 р.) — 36 р., 50 пуд. усадебного сена (по 20 к.) — 10 р. и 280 пуд. полевого (по 15 к.) — 42 р.; итого 133 р. Уплативши из этого количества 48 р., остается на содержание семейства, состоящего из 4 мужеского пола и 5 женского пола душ,— 85 р. в год, и из этих денег надобно еще поддержать усадебное строение. Чем тут жить? чем питаться? Очевидно, что здесь надежды должны быть рассчитаны не на земледелие и доставляемые им выгоды, а на те посторонние заработки, о которых говорено было выше.

Из этого видно, в какой степени неоснователен ропот тех господ, которые позволяли себе негодовать на то, что правительство будто бы излишне понизило норму оброка, платимого крестьянами, ибо выгода, получаемая крестьянином от найма земли, до того мала, что он существовать ею положительно не может. Чтобы достать себе соли и кусок мяса в

праздник, чтоб одеть себя и свое семейство, он обязан пускаться в заработки, но не так, как пускаемся мы с вами, читатель: у себя в кабинете или через дорогу в департаменте, а с обречением себя на лишения, на усталость и на всякого рода случайности.

Нет, вы представьте же себе эту жизнь, в которой яйцо считается плодом запретным, а простое коровье масло — непозволительною роскошью, в которой соль составляет предмет мучительных тревог, в которой человек не знает другого ложа, кроме голых досок с постланною на них соломой, другого изголовья, кроме свернутого, кишащего насекомыми полушубка, в которой неизвестно, что значит тепло, а известны или стужа, или жар непереносный. Дворовый человек, который тоже не бог знает из какой глины слеплен, но который успел пожить в таком доме, где ему дается и комната, и постель, и возможность несколько часов в сутки провести *у себя,* с ужасом оглядывается на эту жизнь и охотно соглашается понизить получаемое жалованье до крайности, лишь бы не быть вынужденным влачить подобное существование. Это просто ад, и мужик до такой степени понимает это, что когда ему выдается такой момент, что его не терзают ни тараканы, ни клопы, ни вши, когда его не печет в упор солнцем и не обжигает сзади и спереди морозом, когда он может успокоить свое тело на чем-нибудь более мягком, нежели голая доска, то он выражается так: «Точно я, сударь, в раю побывал».

«Как же, однако ж, живут таким образом люди?» — спросит меня изумленный читатель. Ну да, так и живут. Живут, и даже песни дерут по праздникам, и подсмеиваются, и подшучивают друг над другом, и совокупляются, и даже празднуют по этому случаю...

Да, желание жить, жить во что бы то ни стало — вот застарелая болезнь, которою томится человек, в каком бы положении ни застала его жизнь, каким бы холодом она ни дохнула на него. Обдает она его невзгодами, словно ливнем снежным, качает его из стороны в сторону: и к земле пригнет, и опять, словно на смех, даст выпрямиться, и опять еще пуще пригнет,— и все-то живет человек, все-то цепляется обеими руками за обшмыганный подол своей потаскухи-мачехи. Надежды, что ли, радости ли какие блестят впереди? — нет, дорога жизни стелется до того ровною лентой, что взор без труда проникает в даль на безграничное пространство, и ничего в этой дали, кроме повторения пройденных задов, не усматривает, а все-таки живет да живет себе человек, и даже во всю силу своих легких запротестует против того, кто посягнет на его нещечко. О, сладкая привычка жить! И ни в ком-

то ты так сильно не сказываешься, как в русском мужике да в русском литераторе!

Нас, танцующих у Ефремова в «благопристойной» одежде людей, могут еще тешить какие-то словесные турниры, прикрывающие себя пышными именами свободы, прогресса и т. п., но мужику до этих словесных турниров решительно нет никакого дела. Вследствие ли природной ограниченности, или оттого, что он пришибен всякими обстоятельствами, мужик не прозревает умственным оком своим в отдаленные перспективы прогресса и желает получить хотя то улучшение, которое доступно его пониманию, и притом получить немедленно. Я думаю даже, что с ним было бы очень трудно сговориться и насчет привлекательности труда, несмотря на то что теория эта, очевидно, построена в его пользах. На что уж, кажется, полезно и общепонятно дело новые земские учреждения, но и к нему он как-то странно относится. На днях както бывши в деревне, я разговорился об этом предмете с сельским старостой.

— Ну вот, друг мой, поздравляю: и у вас будут земские учреждения,— сказал я.

— Какие такие учреждения?

— А вот видишь, друг мой: с вас теперь сходит на земские повинности около тридцати семи копеек с души... но прежде я должен тебе сказать, что земские повинности, по предмету своему, разделяются на государственные и земские...

— Так-с.

— Из тридцати семи копеек около тридцати поступают в государственные повинности, так в государственные-то ты не ходи.

— Не ходить?

— Ну да, то есть их не трогай, а вот насчет прочих, как и куда их употребить, об этом будет у нас рассуждение, ну, и мужички в этом рассуждении участие примут.

— Так-с.

— Выборных вам нужно будет изобрать, и выборные изберут от себя гласных...

— Это для чего же-с?

— Да ведь я тебе сказал, любезный, что надобно иметь рассуждение...

— Это об семи, то есть, копейках?

— С души, любезный, с души! Пойми ты. Ведь знаешь же ты русскую пословицу: с миру по нитке — голому рубашка.

— Так-с.

— Да ты понял?

— Отчего не понять... народ сгонять в волость надо будет.

Вот и толкуй с ним. Кажется, на что уж я вразумительно объяснял, а не понял-таки человек, да и полно. Почему он не понял? уж конечно, не потому, что трудно было понять, а просто потому, что не его разума дело. «Про то старшие знают! про то начальство рассудит, а нам некогда!» — отвечает мужик на все вопросы, сыплющиеся на него и сверху, и снизу, и с боков, и прет себе да прет полегоньку с возом соломы в Москву.

«Что же из этого следует?» — быть может, спросит меня благоразумный, но не совсем понятливый читатель. А из этого следует одна очень простая вещь, что когда говоришь о мужичках, то нет никакой надобности ни умиляться, ни приседать, ни впадать в меланхолию. Надо смотреть на это почтенное сословие как можно проще, и в настоящее время, думается мне, достаточно будет с тебя, читатель, если ты доподлинно будешь знать, что делает русский мужик и во что ему это его дело обходится. Никогда не мешает иметь правильные и непреувеличенные сведения о предмете, о котором иметь таковые желаешь. Это отсутствие преувеличений, быть может, огорчит несколько любознательного изыскателя, лишит его удовольствия рисовать картинки на розовом масле и вообще идеальничать и поэтизировать, но взамен того оно положит начало чувству более прочному и плодотворному, чувству справедливости. Если идеализация, всегда основанная на поверхностном и неполном знании вещей, помогает нам распускаться в умилениях и мечтах о сближениях, то не надо забывать, что нередко та же самая идеализация ведет нас и к мордобитию. Напротив того, знание вещи необходимо отразится и на отношениях человека к ней, и эти отношения будут именно такими, какими они быть должны. Не будет поцелуев, но не будет и оплеух, не будет любви всепрощающей, но не будет и поучений телесных. Будет справедливость, а покамест она только и требуется.

Но мужики составляют только одну сторону сельского быта; другая его сторона представляется помещиками. Увы! их положение тоже далеко не казисто.

Зимой наши помещики обыкновенно сводят счеты. На днях один мой сосед, Елпидифор Кондратьич Птицын, щелкал-щелкал счетами, потел-потел над итогами, да вдруг как фыркнет.

— Что это, друг мой, как ты нехорошо смеешься! — заметила супруга его, урожденная княжна Забиякина.

Но сосед зажал себе нос и, бегая по комнате, испускал какие-то невнятные звуки.

— Да вы знаете ли, что я за прошлый год от хозяйства два рубля тридцать четыре с половиной копейки барыша получил! — произнес он наконец, останавливаясь передо мною.— А? можно с успехом поздравить?

Я и присутствовавший тут же другой сосед, Антиох Никифорыч Коромыслов, тоскливо-сочувственно переглянулись между собой.

— Я, с своей стороны, даже убытку рубль две копейки потерпел! — заметил Антиох Никифорыч каким-то сладко-пономарским фальцетом, который он выработал себе немедленно после крестьянской эмансипации.

Я тоже сознался.

— А посмотрите, какие я книги завел, чтоб отчетность в порядке была! нет, да вы посмотрите, книги-то, книги-то какие! — продолжал Птицын и в другой раз не удержался и прыснул так, что даже маленькие дети, игравшие в зале,— и те услышали и прибежали посмотреть, как папаша веселится.

В самом деле, весь стол был завален книгами в не совсем изящных, но прочных переплетах. Я полюбопытствовал заглянуть в одну, вижу — разграфлена и сверху написано: «*Разиня, корова голландская,* приобретена по совету известного агронома, надворного советника и кавалера Б***». Сбоку под рубрикой «общие свойства» написано: «Прожорлива и к молоку равнодушна; сначала давала даже до полуведра в день, и довольно сносного, но с течением времени постепенно стала ослабевать и дошла наконец до чайной чашки; между молок ходила целых два месяца и в заключение принесла теленка об двух снастях, которого, в знак признательности, и отправили к надворному советнику Б***». Заглянул я и в другую книгу, тоже разграфлена и носит общее название: «Описание полей экономии отставного штабс-капитана Елпидифора Кондратьича Птицына. Система осьмипольная, принятая по указанию надворного советника и кавалера Б***».

— Что, хороши книжки? — обратился ко мне хозяин.— Да вы прочтите хоть одну... ведь тут, батюшка, целый роман! А вот и самое оное руководство, по которому я всю эту механику в действие производил... овес, батюшка, у меня нынче сам-друг с половиной родился! это нынче-то! нынче-то!

При этих словах Птицын подал мне руководство, составленное тем самым надворным советником Б***, о котором упомянуто выше; но так как я уже был достаточно знаком с этою книжицей, то мог только содрогнуться при виде ее.

— Эй вы, мелюзга! Кликнуть ко мне Романыча! — закричал Птицын детям.— Нет, тут надобно сразу принять средства героические!

Через несколько минут явился Романыч.

— С нынешнего года чтоб у меня никакого хозяйства... ни-ни! — сказал Птицын и посмотрел на нас триумфаторским взглядом.

— Слушаю-с.

— Ни пахать, ни сеять, ни жать... ни-ни!

— Слушаю-с.

— И все эти книги хранить в конторе, как свидетелей моего легкомыслия!

— Ах, mon cher! peut on parler de la sorte! [1] — пискнула было мадам Птицына.

— Коров продать, сено продать, инструменты продать! скотниц-воровок расчесть! — командовал Птицын.— И чтоб этого духа, чтоб даже следов этого поганства в доме моем не оставалось! Кроме дурака Антипки — чтоб ни одного работника в доме не было!

Птицын, очевидно, пришел в восторженное состояние; мы с Коромысловым удивлялись его героизму, но, признаюсь, все это казалось нам как-то дико. «Как же это, однако ж, без хозяйства быть? — вертелось все в голове,— как это жить в деревне и не видеть, как «златые колосья» дремют до земи?»

— Всю землю отдавать внаймы! — продолжал между тем Птицын.— А если никто не наймет, или будут неподходящую цену давать,— ну, и черт с ней! Одни покосы убирать, а если в Москве будут такие же анафемские цены на сено стоять, как нынче,— черт и с покосами!

Одним словом, это было какое-то всеобщее разрушение, какое-то агрономическое валтазарово пиршество, в заключение которого неожиданно являлось роковое мани-текел-фарес.

Какие мысли шевелились в это время во мне, невольном свидетеле геройской решимости моего соседа? Конечно, прежде всего я подумал: друг! это правда, что ты нажил всего два рубля тридцать четыре с половиною копейки, но вспомни, что у тебя спокойна совесть, вспомни, что ты можешь сказать себе: «Да, эти деньги я нажил своим собственным честным трудом! эти деньги не облиты кровью и потом моих ближних! эти деньги я могу истратить на свои удовольствия, не опасаясь никаких угрызений совести!» Неужели сего не довольно? Неужели и этого утешения мало? По моему мне-

---

[1] Ах, дорогой мой, можно ли так говорить!

нию, так это просто утеха — первый сорт! Но, с другой стороны, мне представлялся и такой вопрос: чем-то ты жил, друг, при таких доходах? и на какие предметы ты их промотал? То-то, чай, затруднялся! Я был даже так неосторожен, что формулировал вопрос свой вслух.

— А чем живем? — отвечал сосед.— Известно чем: выкупные свидетельства помаленьку продаем! Я ведь, батенька, либерал, либерал ведь я, либерал! идеями тверскими увлекался, в честь Унковского старшего сына Алексеем назвал, Европеус с Головачевым и Сабанеевым от купели у меня воспринимали... вот ведь обстановка-то какая у меня была!

— C'était tout un rêve de félicité! [1] — вздохнула хозяйка, урожденная княжна Забиякина.

— Жену, батюшка, до восторженного состояния довел! Картину, изображающую членов тверского большинства, над изголовьем у нее повесил! элегию в стихах к Унковскому имел честь посылать и получил от него в ответ собственноручное письмо! вот она какая обстановка-то у меня была!

— Да, обстановка...

— Да уж такая обстановка, что казалось, только сиди да деньги огребай, ан вышло совсем напротив!

— Да-с, этот *господин* Унковский много нашего брата с сумой по миру пустил! — язвительно пискнул Коромыслов.— Сказывают также, что какой-то тут Кошелев много интриговал и что если б не они, так ничего бы этого не было.

— Ну вот-с, только напитавшись таким манером тверскими идеями, и говорю я жене: «Совестно мне, ma chère, с мужичков оброк брать; стану-ка я с ними жить, как с добрыми соседями!» А тут еще, как на грех, вопрос о сближении сословий подняли...

— Ах, это была целая цепь ужаснейших обольщений! — вставила свое слово хозяйка.

— И пошел я, сударь, на выкуп; всех крестьян сразу порешил...— Птицын не договорил, словно бы чем поперхнулся.

— Так вы капитал-то и проживаете? — договорил я без церемонии.

— Мы и проживаем,— повторил Птицын за мною.

— Мы и плазываем! — отозвался, подпрыгивая, старший из детей Птицына, тот самый, который в честь Унковского назван был Алексеем.

Водворилось молчание, то тягостное молчание, которое водворяется всегда, когда один из собеседников сознает себя съевшим гриб.

---

[1] Это был настоящий счастливый сон!

— А ведь, я думаю, тоскливо-таки жить зимой в деревне? — спросил я, чтобы дать разговору другое направление.

— Помилуйте, какая тоска! да у нас тут такое веселье, что никаких театров не надо!

— Чем же вы занимаетесь?

— А чем занимаемся — полемизируем, сударь, полемизируем! Я полемизирую с своим Ванькой, жена полемизирует с своей Машкой! И какие, я вам доложу, они нам предики и реприманды отчеканивают — просто загляденье! Я даже журналы выписывать перестал.

— У меня на первых порах, как *это* объявили, так ни одной печки в доме целых два дня не топили! Хотел было к становому послать, так ведь никто не идет! — сказал Коромыслов и устремил взоры к небу.

— Ирония, батюшка, какая-то в лицах появилась! словно вот так и хотят они прыснуть со смеху, на тебя глядя! — продолжал хозяин.

— Зачем же вы обращаете на *это* внимание?

— Нельзя не обращать-с. Поймите, что мы здесь точь-в-точь арестанты живем; выехать в город нельзя — не на что; общества — никакого; ни книг, ни журналов не выписываем: нет средств; занятий зимой — никаких, да и какие тут могут быть занятия, когда в результате выходит два рубля тридцать четыре с половиной копейки! Ну, вот и втягиваешься помаленьку, всматриваешься в выражение Ванькиных лиц, начинаешь полемизировать...

— Неужели же вы никаких ни книг, ни журналов не выписываете!

— Выписывал прежде «Московские ведомости», да и те нынче бросил. Расписывают это, расписывают: и передовое-то сословие, и опора там какая-то, словно вот иногда во сне сытный-пресытный обед видишь, а проснешься — и нет ничего. Так уж пристойнее, по-моему, совсем не дразнить себя...

— Я нынче для людской «Русские ведомости» выписываю, да и то потому, что становой пристав очень рекомендовал,— сказал Коромыслов.

— Встанешь это с утра с раннего, ходишь, ходишь, инда одурь тебя возьмет — за попом для развлеченья пошлешь. «А что, батюшка, ведь Гарибальди-то герой?» — спросишь его. «Офицер не робкого десятка,— ответит батюшка,— но в русском войске навряд ли бы храбрость свою оказать мог!» — «А почему вы так думаете, батюшка?» — «А потому главнее догадываюсь, что у Гарибальди этого уважения к старшим душа принимать не может, а в русском войске это первейшая вещь». И пойдет тут у нас разговор, какого нет глупее, и зе-

ваем мы оба, зеваем, покуда не придет Ванька и не спросит иронически: «Не прикажете ли, сударь, водки подать?»

— Но почему же вы думаете, что он спросит непременно иронически?

— А потому, что он очень отчетливо понимает, что я ни на что другое не годен, кроме как водку пить да с батюшкой об Гарибальди пустые речи разговаривать. Он на каждом, можно сказать, шагу проводит параллели между мной и собой и, разумеется, приходит к невыгодным для меня заключениям. Он и сапоги-то вычистит, и самовар-то поставит, и печку-то истопит, а я только и делаю, что слоняюсь день-деньской из угла в угол! Ведь я с голоду помру, если он меня не накормит — так как же ему и не отнестись-то ко мне иронически?

— Душа моя, ты, кажется, начинаешь страдать ипохондрией,— заботливо заметила супруга моего соседа.

— Нет, это не ипохондрия, а настоящая, истинная истина! Ведь мы, батюшка, и детей-то народим, так после не знаем, куда с ними деваться! И воспитать-то их — тоже чужих людей нанимать надо!

Разговор, очевидно, принимал характер самообличения, тем более тягостный, что madame Птицына едва ли не приняла последней выходки своего супруга на свой счет.

— Ну-с, а как вы насчет сближения с народом полагаете? — спросил я, придумывая новую канву для разговора.

— Н-да, это было бы невредно, только так уж не сблизишься, как было при крепостном праве!

— И вы называете это сближением?

— А то какие же другие сближения бывают! У меня нынче летом все овощи из огорода крестьянские мальчишки потаскали, вот я однажды и подкараулил одного. Разумеется, он сейчас стрекача; только я ему вслед: «Да куда же, куда же ты, миленький! поди сюда, пряничка дам!» — «Нет, говорит, ты обма-а-нишь! ты высики-ишь!» Так-таки и не пришел...

— Что же из этого следует?

— А то и следует, что мужик благородных этих чувств не понимает. Вы к нему с благородствами да с лизаньями, а он на суконцо ваше поглядывает и думает про себя: ишь ты! стало быть, барину-то что-нибудь померещилось, коли он с сиволапым мужиком целоваться лезет!

— Нет, вы сегодня решительным мизантропом смотрите, Елпидифор Кондратьич!

— Это оттого, что годовой результат моих хозяйственных распоряжений очень уж меня обрадовал!

— Вот о «почве» нынче очень занятно в книжках рассказывают,— вставил свое словцо Коромыслов.

— Да, и «почва» вещь не вредная, потому что ведь, в сущности, что такое «почва»? Это именно та самая штука, из которой можно сделать двоякое употребление, то есть или высасывать из нее соки, или попирать ее ногами. Надеюсь, что приятнее этого занятия трудно что-нибудь придумать!

В таком тоне продолжался наш разговор довольно значительное время, и я в сотый раз мог убедиться, что бывают на свете такие щекотливые предметы, в которых нет ни одного места, до которого можно было бы прикоснуться, не почувствовав себя сразу стоящим как бы на горячих угольях. Всего лучше было бы вовсе не касаться подобных предметов, но, к сожалению, они сами напрашиваются на язык и до такой степени со всех сторон осаждают человека, что он не успокоится, покуда до конца не растревожит всей накипевшей в его груди боли. Одним из самых неиссякаемых источников подобных жгучих болей будет еще долго служить заживо схороненное крепостное право. Упразднение его до такой степени перевернуло вверх дном все отношения, перемешало все понятия, что большинство заинтересованных и до сих пор находится в изумлении и чувствует себя застигнутым врасплох. Я знал очень многих, которые относились к этой правительственной реформе, по-видимому, очень даже любезно, но странное дело! в то же время я очень явственно понимал, что если верхний этаж у них и произносит льстиво-либеральные речи, то это нисколько не мешает существованию какой-то темной преисподней, в которой в эту самую минуту бурчат иные звуки, в которой нечто как будто и захлебывается, и хохочет, и плачет... Воображаю я, как тяжело должно быть этим людям, какую муку должны испытывать они! Если б еще могли они выговориться, могли излить свою желчь! Но нет, они лишены даже и этого блага и волею-неволею, как некую драгоценность, должны хранить в своих внутренностях свои собственные нечистоты.

Птицын сказал правду: ему скучно, ему просто нельзя жить. У него нет дела, которое он мог бы назвать своим, и отныне он навсегда осужден или полемизировать с Ваньками, или разговаривать с батюшкой о геройстве Гарибальди, или же, наконец, язвительно-жалостным тенором перебирать старую ветошь, безвозвратно потонувшую в бездне прошедшего. И в том, и в другом, и в третьем случаях старые раны только растравляются, ибо мы не должны забывать, что даже Гарибальди тут не более как отвод и что разговор об нем есть не более как разговор губ, в котором мысль не принимает никакого участия.

Мы склонны раздражать себя всякого рода утопиями, мы постоянно питаем свое воображение на счет прочих умственных сил. Причины такого явления заключаются в совершенной неподготовленности к делу, в полном незнании того материального процесса, сквозь который всякое дело должно пройти в своем естественном развитии. Мы охотно перескакиваем через все препятствия, устраняем подробности процесса и заранее наслаждаемся уже концом неначатого еще дела. От этого-то между нами такое множество и такое разнообразие Хлестаковых. Крепостное право укоренило в нас эту погибельную наклонность, положило ей начало, давая нам возможность жить не думая; упразднение крепостного права не только не ограничило ее (как следовало бы на первый взгляд ожидать), но окончательно развило и довело до громадных размеров. Явились утописты вольнонаемного труда, утописты плодо-переменных хозяйств, и, не приступивши еще к делу, уже предвкушали урожаи сам-двадцать и наколачивали какую-то баснословную деньгу. Оказалось, однако, что расчеты не верны, или, лучше сказать, что их даже совсем не было.

Если я посею на десятине земли одну четверть ржи и тут же представлю себе, что эта четверть непременно должна дать мне пятнадцать таких же четвертей, то тут еще совсем не будет дела, а будет только марево, созданное алчущим и жаждущим моим воображением. Но положим, что я и в самом деле, на основании некоторых данных (заключающихся в хорошей обработке земли, в достаточном ее удобрении и т. д.), имею право надеяться получить эти пятнадцать четвертей, однако и тут еще не будет дела, если я при этом позабыл прикинуть на счетах те издержки, которых стоит мне производство этого хлеба, если я не принял в соображение всех случайностей, которым подвергается сельскохозяйственное дело, в особенности такое дело, которое не имеет еще настоящего установа, которое колеблется и прокладывает себе новое ложе. Большая часть наших новых сельских хозяев именно и руководится этим последним мыслительным процессом в своих агрономических мечтаниях. Очаровательные пятнадцать четвертей до такой степени неотступно мелькают перед их глазами, до такой степени радостно захватывают им дыхание, что они очень искренно убеждаются, что между зерном, брошенным в землю, и тем же зерном, убранным в житницу, нет никакого другого процесса, кроме благополучного произрастания. И когда суровая действительность возьмет на себя труд доказать, что в результате нуль все-таки всегда равен нулю, то начинаются вопли и крики.

Вот почему г. Фет так воззрился на крестьянских гусей,

произведших в его полях потраву,— он не рассчитывал на такое своеволие, он думал, что стоит ему бросить свое зерно в землю, и не только никакая птица не посмеет прикоснуться к нему, но даже ветер смолкнет и вся природа оцепенеет, как очарованная, в немом созерцании процесса прозябания принадлежащего г. Фету зерна.

Но как бы то ни было, положение наших сельских хозяев далеко не красивое. Доходов нет, капиталов нет, и взамен того громадные пространства никому не нужной земли, громадные усадьбы с парками, с проточными прудами, с дорожками, убитыми щебнем и засыпанными песком! Как заглохнут со временем эти старинные усадьбы, в которых так легко и привольно жилось когда-то! как зазеленеют и заплесневеют эти проточные великолепные пруды, как зарастут эти дорожки! Чем это кончится? чем это кончится? — спрашиваешь себя с невольною тревогой. Неужели...

А отставные откупщики, отставные менялы, отставные предприниматели различных maisons de tolérence[1] весело потирают себе руки и ждут не дождутся, когда ветхая плотина, кой-как еще поддерживаемая остатками хвороста, окончательно прорвется и река неудержимым потоком ринется вперед, унося в своем беспорядочном течении всю зазевавшуюся старину. Но успокойтесь, милые кровопийцы! вы тоже не много наколобродите на свой пай! Ведь и в ваших головах ума-то не пуды, а золотники! Почудесите мало-мало, повывôдите греческих фронтонов, понастроите беседок в виде «храмов удовлетворения», понавешаете на стенах картин Айвазовского и сойдете-таки, сойдете же под конец в общую могилу, dans la fosse commune.

Я знаю, мне заметят, что все написанное мной выше отнюдь не составляет хроники так называемой «общественной жизни», но нахожу, что замечание это будет несправедливо. Мы извратили смысл слова «общество»; мы привыкли искать проявлений общественной жизни совсем не там, где их искать следует. Мы представляем себе «общество» чем-то вроде многоэтажного здания, в котором признаки жизни замечаются только в бельэтаже и в rez de chaussée[2], а все, что обитает в так называемых подвалах и чердаках, без всяких разговоров полагается неживущим. Быть может, в древности оно и было так, но в настоящее время это заблуждение довольно

[1] домов терпимости.
[2] в первом этаже.

грубое. То есть, коли хотите, жизни-то собственно, той стройной, счастливой и безмятежной жизни, к которой с одинаковым пылом рвется все живущее, нет еще нигде: ни в бельэтажах (было какое-то подобие, да сплыло), ни на чердаках и в подвалах, но есть уже позыв на жизнь, есть запрос на нее, и этот запрос всего живее чувствуется именно в тех забытых помещениях, которые мы так неосновательно полагаем совсем неживущими.

Собственно, так называемое «общество» представляет слишком мало интересного, чтобы стоило много распространяться об нем. Оно живет своею обычною, бесцветною жизнью; порою, от нечего делать, фантазирует, порою, тоже от нечего делать, эти же самые фантазии преследует. Вечная жертва колебаний и судорожных подергиваний, оно наглядным образом свидетельствует о несостоятельности и о совершенном отсутствии действительных и серьезных жизненных основ. Точка зрения его беспрерывно меняется; порой в нем замечаются проблески света, порой царствует густая, безрассветная мгла, но радоваться мгновенным проблескам, надеяться от них чего-либо хорошего столь же мало основательно, как и жаловаться на мглу. Во всяком случае, говорить тут нечего, да и не об чем, а надо просто терпеливо ожидать, покуда вся эта искусственная и случайная ерунда не изгибнет сама собою.

В настоящее время, например, термометр так называемого «общества» указывает на точку соглядатайства — что могу сказать я об ней? Что эта точка противна? Но чем же она противнее так называемой либеральной точки? И не скрывается ли в самом либерализме этого выживающего из ума общества зачатков будущего соглядатайства. В сущности, все его произвольные фантазии, как либеральные так и соглядатайские, должны быть безразличны, ибо все одинаково ничего не обозначают; и если есть еще что-нибудь горького и страшного в этой неурядице, так это именно то, что она не встречает нигде отпора, что новая, чуть-чуть пробивающаяся жизнь еще слишком слаба, чтоб сделать возможным безразличный взгляд даже на неурядицу.

Да; мы должны сознаться, что не можем не различать. Есть ерунда размазисто-благонамеренная, и есть ерунда пронзительно-неблагонамеренная; мы должны желать первой и опасаться последней. А так как черта, которая отделяет обе эти ерунды, до того тонка, что нельзя сказать, где кончается первая и где начинается вторая, то очевидно, что мы обязываемся постоянно жить между страхом и надеждой, что вот-вот благонамеренная размазистость сменится неблагонаме-

ренною пронзительностью. Да, трепетать мы обязаны, но говорить об ерунде все-таки никакого резона нет.

На этом же основании я хотел бы вовсе умолчать и об нашей литературе. Питомица бельэтажей, она невольно следует за всеми колебаниями мнимого общества, которого интересы исключительно и представляет. Но я не могу молчать, потому что русская литература есть именно та проклятая, но милая язва, которою, по-видимому, вечно суждено болеть моему сердцу. Есть что-то странное в этой привязанности к литературному кагалу. Понимаю я, очень понимаю, что ничего он не может вынести на свет божий такого, что не было бы насквозь проедено молью, а между тем сердце влечет к нему невольно, и стучит оно, бедное, тук-тук, словно заранее предвкушает таинственные сладости любовного свидания. За что так люблю я литературу — не знаю, но полагаю, что за хороший слог и за правильную орфографию.

Поэтому, не огорчаясь господством соглядатайства в так называемом обществе, я безмерно огорчаюсь этим явлением в литературе. На днях, например, я прочитал в одном журнале повесть начинающего писателя, и не знаю почему, но мне показалось, что я провел несколько часов в обществе милого, образованного и талантливого квартального надзирателя. Это меня огорчило. Не потому огорчило, чтобы я находил сравнение с квартальным надзирателем невыгодным для русского литератора, но потому, собственно, что я (говоря слогом «Московских ведомостей») осмеливался думать, что оба эти должностные лица могут приносить пользу каждый на своем месте.

Помнится, некогда («Современник» 1863 г., № 1—2, «Петербургские театры») я находил живую органическую связь между целями, которые преследует искусство, и теми, которым служит полиция. «Цель искусства — красота, цель полиции — порядок; но что такое красота? что такое порядок? Красота есть гармония, есть порядок, рассматриваемый в сфере общей, так сказать, идеальной; порядок, в свою очередь, есть красота... красота, так сказать, государственная». Вот что говорил я год тому назад, и так как не отрицаюсь от этого взгляда и доднесь, то весьма натурально, что не могу порицать его и в начинающих моих собратьях по ремеслу. Тем не менее не знаю почему, но я совсем не был бы огорчен, если б в применении этого взгляда, в проведении его в литературу замешалась некоторая непоследовательность. Мне кажется, что это даже нисколько бы не отняло цены у дебюта молодого писателя.

Я очень уважаю сословие городовых и очень дорожу их мнением в той сфере, в которой они действительно компе-

тентны. Поэтому, когда хожалый, встретив меня на улице, потребует моего содействия к изловлению мазурика, я, как добрый гражданин, окажу ему это содействие от всей полноты моего сердца и буду горд, как павлин, если он поощрит меня за это содействие словом «молодец». Но я не знаю... если этот хожалый... прочтет мою повесть... И за нее, собственно... скажет «молодец!»... Я не знаю, я, быть может, и сконфужусь. Не потому совсем сконфужусь, чтоб думал о хожалых непочтительно, а потому, собственно, что в литературном деле, позволительно думать, они не всегда могут быть компетентными судьями.

Но, конечно, это только предрассудок, а в наше время, как известно, предрассудки тают, как мартовский снег под лучами весеннего солнца. Совершенная зрелость, законченность, несомненность и разрешенность господствуют всюду — удивительно ли, что те же самые свойства обуревают и головы юных писателей и преждевременно сгоняют румянец с их щек? Но нельзя не сказать, что эта юная запальчивость, эта тревога чувств, это изобилие текущей в жилах крови, которые преимущественно все-таки остаются роковою принадлежностью очень молодого таланта, тоже имеют свою неотразимую прелесть. Читатель, быть может, и видит, что молодой человек горячится, что перед глазами его мелькает марево, но он не сердится и не негодует, потому что и эта горячность, и это марево носят на себе признаки свежей и изобильной силы и в известных случаях составляют драгоценнейшее и ничем не заменимое достояние. Тут самые бросающиеся в глаза недостатки, как-то: неумение совладать с своим материалом, растянутость, ненужные отступления, излишнее резонерство и т. д.— все служит признаком силы, все свидетельствует о ее несомненности. И читатель, по большей части, не ошибается в своих симпатиях и не раскаивается в своей снисходительности... Но я положительно не знаю более горького горя, как то, когда начинающий писатель с первого же разу является совсем мастером своего дела. Такому писателю я ничего не могу предвещать в будущем, ибо ему уже некуда развиваться, ибо он завял и сморщился при самом своем рождении...

Читатель! это правда, что я говорю с тобой обиняками, но надеюсь, что ты поймешь то чувство, которое заставляет меня не называть никого.

Но ты поймешь также, почему я не имею в настоящую минуту ни малейшей охоты говорить ни о так называемом обществе, ни о литературе, которая служит естественною его представительницей. О том и об другой я предоставляю себе побеседовать в следующей книжке.

<X. МАРТ 1864 ГОДА>

«МАЛЬЧИКИ».— БИОГРАФИЯ ВАСИ.— ЕЩЕ О МОЛОДОМ ПОКОЛЕНИИ.— ВИСЛОУХИЕ И ЮРОДСТВУЮЩИЕ

На свете не всё же мальчишки; не всё жулики и демократы. Рядом с тем молодым поколением, против которого ратуют московские публицисты, растет другое, на котором с доверчивостью и любовью могут отдохнуть взоры их. И если бы И. С. Тургенев попристальнее следил за нашею современностью, то, нет сомнения, что от наблюдательного взора его не ускользнуло бы это новое явление русской жизни. Это тем более вероятно, что уже в изображении молодого Кирсанова он обнаружил некоторые признаки знакомства с ним.

Это особенное молодое поколение, не имеющее ничего общего с так называемыми жуликами, я назову «мальчиками».

Хотя «мальчики» не со вчерашнего дня завелись на Руси, однако я имею полное основание называть их явлением новым. Нов не факт собственно, ново его положение, нова та роль, которою он завладел среди общего жизненного круговорота. И вчера были «мальчики», но вчера их гладили по головке, их называли умниками, им обещали ляльки; сегодня — *они* гладят по головке, *они* называют умниками, *они* обещают ляльки. Роли за ночь переменились. Старые драбанты расшаркиваются, старые драбанты слоняются по передним, вздыхают и потеют в интимных беседах с лакеями и сторожами; старые драбанты вопиют умиленными голосами и ходатайствуют... Молодые драбанты возлежат, задравши ноги на стол; молодые драбанты снисходительно выслушивают, поощряют и обещают... Молодой драбант улыбнется — у ста-

рого сердце засмеется от умиления; молодой драбант учинит невежество — старый драбант допытывается, отчего окрестность заблагоухала розами; молодой драбант наморщит брови — у старого насквозь цепенеет желудок; молодой драбант протянет руку — старый уж ловит ее, ловит с энтузиазмом, но в то же время и с осторожностью, как будто он хочет сказать: «Я вне себя, но я не смею!» Разве это не ново? разве это бывало когда-нибудь видано?

Если б я был на месте московских публицистов, то взглянул бы на «мальчиков» — и утешился бы. Я позабыл бы о всех своих горестях: и о том, как, будучи учителем латинского языка, вынужден был трепетною рукой ставить полный балл мальчишке, который склонял mensa, mensis, mensorum. о mens'е, но зато провозглашал себя прогрессистом, и о том, как, будучи учителем российской словесности, я должен был воздержаться от телесного наказания даже тогда, когда некий кадет на публичном экзамене, вместо того чтоб отвечать на билет, во всеуслышание гаркнул: «Величайший из критиков новейшего времени, Кроличков...» Повторяю: я всё забыл бы, потому что далеко не все пропало. Я взглянул бы на «мальчиков» и увидел бы в них именно тот прочный залог неторопливого преуспеянья, о котором тоскуют их публицистские души.

Я рассуждал бы так: «Старых драбантов жалеть нечего, ибо они в течение всей своей многовислой жизни ничего, кроме яичницы, сотворить не сумели». И не то чтобы яичница была противна моей публицистской душе, но досадно и горько, что, сотворивши яичницу, старые драбанты не умели ее отстоять. Между тем у молодых драбантов руки молодые, искусные и проворные; этими руками они успевают не только отстоять какую угодно яичницу, но даже сумеют отыскать в ней какой угодно принцип.

Ввиду такого результата, я пошел бы даже дальше на пути самоутешения: быть может, я простил бы даже «мальчишкам»...

Но увы! я не московский публицист и потому не имею достаточных поводов для заявления «мальчикам» о своем сочувствии. Признаюсь, во мне нет даже той прозорливости, которая необходима для того, чтоб усматривать в них будущих великих общественных деятелей. По правде сказать, я просто думаю, что это мразь.

Когда я сравниваю теперешних молодых драбантов с прежними, отживающими свой век, так делается совестно и горько за самого себя. С каким легкомыслием поражал я тебя, о добродушное, развеселое российское меренье! с какою

несправедливою жестокостью погружал я свой шурф в то зыбкое болото, которое ты именовал своей жизнью! Да; только теперь я вижу, что и в самом запустении может усматриваться нечто трогательное, чуть-чуть даже не пленительное; только теперь я понимаю, как много было в тебе привлекательной гадости, мой старый, добродушный драбант! Ты был бездельник, но ты был мил, и, конечно, сам прежде всего был бы удивлен, если бы кто-нибудь объявил тебе о том, что ты бездельник. Эта непосредственность бездельничества выкупала многое. Тот еще не весь злодей, кто бьет с маху; тот злодей, кто дерется с вывертами, кто бьет и при этом зеленеет, бьет и при этом чувствует, как томительная, почти сладострастная судорога пробегает по всем его суставчикам... Да, я был неправ! Сии люди были просто юмористы, и если их юмор был невысокого сорта, если он принимал по временам даже мрачные тона, то это было качество случайное, не захватывавшее сущности самого юмора. Увы! я еще не понимал, что может существовать иной юмор, юмор беспощадный и хладный, юмор, который приведет в ясность и возведет в перлы создания те противоестественные и противообщественные стремления, которые в старых драбантах являлись в беспорядочном и бессильном виде!

Когда я начинаю говорить о «мальчиках», то чувствую, совершенно отчетливо чувствую, что во мне происходит что-то нехорошее. И кровь закипает в жилах, и желчь поднимается, и все кажется, что как бы я ни усиливался отыскать здесь какую-нибудь примиряющую черту, всякий труд в этом смысле будет напрасен. Откуда это? Разве они не дети отцов своих? Разве они не уроженцы той исстаринной яичницы, на которую мы привыкли взирать с тою же доверенностью, с какою устрица взирает на свою раковину?

Да; они дети отцов своих, но дурные, растленные дети; они аборигены той же яичницы, но аборигены неблагодарные, отрекающиеся от сосцов, которые питали их. В своем ренегатстве эти люди идут до самых крайних пределов: они посягают на целомудрие своей матери, они из яичницы усиливаются устроить какой-то отвратительный «финизерв» и даже мечтают кого-то обольстить этою неслыханною смесью.

Но яичница только тогда имеет свой оригинальный вкус, когда она в самом деле яичница, когда в ней нет никаких несвойственных подмесей. Горе тому, кто будет отыскивать в ней способность развиваться и совершенствоваться и на основании этого произвольного предположения возымеет мысль обкормить ею вселенную. Он не достигнет своей цели ни под каким видом и в то же время вконец испортит неприхотливое

это блюдо; он никого не обманет, но в то же время отчаянные его потуги, быть может, и не пройдут без горьких последствий для тех, которые волею или неволею вынуждены ограничивать себя скудною, обязательною трапезой.

Вот какое противоестественное и недолжное дело задумали «мальчики»!

Я понимаю, что яичница не может не нравиться им: она воспитала их юность, с нею связаны их воспоминания, на ней зиждутся их виды в будущем. Поэтому проще всего было бы откровенно признать себя сыном яичницы и продолжать бестрепетно достославное дело белокурой древности. Но «мальчики» прозорливы и очень хорошо понимают, что действовать так прямо нельзя. Во-первых, яичница всем надоела, во-вторых, она местами даже и попротухла. Следовательно, надобно ее подправить, надобно перемешать желтки с белками так, чтоб издали казалось как будто нечто новое. И вот начинается та безнравственная и в существе даже не умная работа, которой весь смысл заключается в том, чтобы отводить глаза и подменивать одни шары другими. Начинается раскапыванье принципов даже в таких трущобах, которые только потому и живы были, что никаких принципов не предъявляли, ни о каких принципах не сокрушались; начинается приведение к одному знаменателю такой среды, которая потому только и была сколько-нибудь терпима, что никакого знаменателя не признавала, кроме того, который падал ей сверху, в виде грома, града, труса и молнии; начинается бессмысленное подтягиванье, придумываются неслыханные самоновейшие термины; юные лилипуты копошутся и взаимно друг друга ободряют и в то же время взаимно друг друга давят...

Работа неискусная и напрасная, повторяю я, но это не мешает ей быть в то же время и в высшей степени вредною.

Уже одно то, что она совершенно непроизводительна, достаточно свидетельствует о ее вредности, ибо мы совсем не в таком излишестве обладаем досугом, чтобы проводить время в переливанье из пустого в порожнее и в заштопыванье совсем разлезшихся ветошей. Но это бы еще терпимо,— дело в том, что подобного рода предприятия никак не ограничиваются одною отрицательною стороною деятельности, но стремятся насильственно остановить развитие действительно живых сил общества, бесцеремонно поворачивают последнее к бесплодному и обязательному повторению задов и вообще становятся перед ним глухою стеной.

Если общество изверилось в старые формы жизни и, познавши всю тщету их, прокладывает себе новое ложе, и если при этом оно встречает на пути своем такие препятствия, ко-

торые можно преодолеть только с бою, то само собою разумеется, что оно не остановится перед ними и все-таки будет продолжать пробивать искомое ложе. Но разумеется также и то, во-первых, что борьба с препятствиями отнимет много полезного времени и бесплодно истребит много сил, во-вторых, что самое направление ложа может подвергнуться более или менее значительному уклонению и, в-третьих, наконец, что борьба, как бы она ни была скоропреходяща, никак не совершится без того, чтобы не оставить после себя горького осадка, который далеко не благоприятно отзовется в будущем. В этом смысле задерживание общества на тех битых колеях, из которых оно давно рвется выбиться, составляет труд не только глупый, но и чреватый всякого рода мрачными последствиями. Тут даже не может быть речи ни о незрелости, ни о неосновательности и преждевременности его запросов. Пустой запрос только украсится вследствие насильственных задержек, предоставленный же своим собственным силам, он изноет сам собой, как изнывает дряблый мартовский снег под дыханием первого весеннего ветра. Но разумное и живое дело не изгибнет никогда, хотя легко может случиться, что ненужные задержки извратят на время его характер и вынудят прокладывать себе дорогу волчьими тропинками. Вообще борьба с препятствиями всегда предполагает в результате или падение, или торжество. Но так как падения для живого и разумного дела не может быть, то остается в виду одно торжество, непременное, неотразимое торжество... Будущность ни в каком случае не привлекательная, ибо из всех плохих дел на свете самое плохое — это, конечно, так называемое «торжество», по какому бы поводу оно ни праздновалось и что бы за собою ни приводило.

Не нужно падений, но не нужно и торжеств. Рациональная жизнь никогда не празднует побед, но течет своим обычным, разумным порядком. С словом «торжество» в каждом уме невольно возникает понятие о побежденных, с поникшими головами следующих за колесницею триумфатора (а есть и такие чудаки, которые следуют даже и не с поникшими головами, а как бы приплясывая), о возмездиях, о великодушиях и тому подобном дрязге, придуманном для увеселения и отуманиванья нищих духом и праздношатающихся. И если роль триумфатора еще может для людей полудиких и грубых иметь некоторую привлекательность, то именно только потому, что они слишком часто забывают, что рядом с этою ролью есть еще другая, неизбежная ее спутница — роль влачимого за колесницей, которая уже ни в каком случае ничего завидного в себе не заключает.

Почему именно должность глухой стены судьба предоставляет исправлять именно Ивану, а не Петру,— это одна из тех тайн, проникнуть которые очень трудно. Во всяком случае, эта должность совсем не завидная, и вакантные места этой категории пополняются из тех, покамест еще плотных рядов, которые образуют собой так называемое отребье человеческого рода. Это именно отребье, потому что оно одно только и может пойти на такое занятие, которое в одно и то же время и пошло, и подло, и невыгодно. Пошло — потому, что не видит перед собой никакого ясно определенного результата; подло — потому, что мешает обществу в его лучших инстинктах; невыгодно — потому, что дело все-таки оканчивается неизбежным разрушением стены. Очевидно, что надобно или быть доведенным до полного и притом злобного отчаяния, или же обладать огромным запасом внутреннего растления, быть именно дрянным отребьем с головы до ног, отребьем до мозга костей, чтобы веселыми ногами идти на подобное предприятие.

Но оставляю этот крупный разговор и вновь обращаюсь к «мальчикам». Надеюсь, что был достаточно серьезен и что «мальчики» должны быть довольны тем, что даже и по поводу их есть возможность вести более или менее философический разговор.

Но прежде нежели продолжать, я считаю не лишним сделать небольшую оговорку. Говоря о «мальчиках», я буду вынужден нередко прибегать к выражениям, вроде «благонравие», «благонамеренность», «готовность», «почтительность» и пр. и пр. Прошу читателя знать наперед, что все эти выражения я буду употреблять отнюдь не в собственном их смысле, а в ироническом. Предупреждаю об этом в том внимании, что такое предупреждение должно избавить меня от разных неполезных недоразумений и в то же время дать речи моей тот характер, который она действительно имеет.

Мне ставили в вину, будто я преследую слово «благонамеренность» (и притом совершенно безвинно) и даже будто бы имею тайное намерение изгнать из людской памяти самое понятие, которое в этом слове заключается. Это клевета. Я, собственно, не имею ничего против этого почтенного выражения и преследую лишь иезуитизм, который им прикрывается. Вообще, на мой вкус, ни один лексикон не представляет никакого выражения, которое можно было бы назвать неприличным, но человеческая злоба так велика, что нередко прибегает к самым почтенным словам для изъяснения понятий совершенно неприличных. Отсюда тьма-тьмущая преднамеренных извращений, искажений, которые ни под каким

видом терпимы быть не могут. Конечно, такие извращения допускаются вовсе не из вражды к слову, но с целями более дальновидными и хитрыми. Бывают странные примеры в истории: иной человек до того себя отрекомендует, что и сам наконец начинает секретно сознаваться, что не было бы решительно никакой несправедливости, если бы за его деяния кто-нибудь пришиб его, как кошку. Но открыто выразить это он не хочет, во-первых, потому что скромен, а во-вторых, потому что умирать никогда не поздно. Он решается жить, но в то же время очень хорошо сознает, что жить в том виде, как он есть, совсем невозможно, потому что никакой, даже самый простодушный человек не имеет ни малейшей охоты служить общей ходячей лоханью. Нужно, стало быть, добыть себе маску, нужно прикрыть себя такою бронею, которая представляла бы некоторый decorum[1], держала бы в решпекте слишком любознательные и развязные руки и представляла бы защиту от заушений. Вот эту-то неловкую броню и представляют те самые слова и выражения, о которых мы с вами ведем теперь речь, читатель. А так как это броня всё <же> фальшивая, и люди, добивающиеся ее, могут постепенно весь наш академический словарь перепортить, то мудрено ли, что я, как издавна одержимый любовью к отечественной словесности, преследую подобные поползновения и стараюсь возвратить словам настоящий их смысл?

Но для того чтобы ближе познакомить читателя с «мальчиком», я попытаюсь начертать здесь примерную биографию одного из них. Назову моего героя хоть Чубиковым.

Вася Чубиков, которого вы нынче видите распространяющим из себя во все стороны свет, когда-то был маленьким. В то время, когда он родился, в природе не происходило ничего величественного: солнце не померкло от стыда, звезды не падали как листья от жалости, и завеса не разодралась от негодования. Тем не менее так как родины были легкие и быстрые, то родители заключили, что и мальчик будет легко и быстро происходить в жизни. И действительно, как только родился маленький Вася, так тотчас же попросил ляльки, а так как вместо ляльки ему с двух сторон закатили изрядную дозу ромашки, то он заревел благим матом и обнаружил при этом ту голосистость, которую обнаруживают вообще младенцы, предназначенные природой совершить в жизни что-либо очень великое.

Родители у Васи были чистенькие и миленькие: papa служил и получал чины, maman занималась поддерживаньем род-

---

[1] благопристойный вид.

ственных и других связей; сверх того, они имели и порядочные средства. Поэтому воспитание Васи было самое блестящее. Ничто огорчительное не поражало души его, и он рос в полном неведении, есть ли на свете иные рубашечки, кроме батистовых, и иные курточки, кроме бархатных... С самого раннего детства он не знал другого названия, кроме «mon bijou» и «mon petit coeur»;[1] когда у maman бывали гости, его выводили напоказ, и он грациозно расшаркивался сперва одной ножкой, потом другой; гости гладили его за это по голове и говорили: генералы — «Э! да какой у вас воин растет!», а штатские — «Посмотрите! ведь уж он и теперь дипломатом смотрит!» И, таким образом, Вася почти грудным ребенком уже получил весьма прочные начатки того пошлогласия, которому впоследствии с таким успехом посвятил целую свою жизнь.

И действительно, мудрено было не заразиться в этой атмосфере. Куда ни оборотится Вася — пошлость так и кипит вокруг, так и выступает, словно пот обильный, из всех пор. При таком положении дела пошлость делается законом, становится правом, руководящею нитью жизни. Рано начал помышлять Вася о том, что хорошо бы сделаться «воином», но не худо бы, пожалуй, и «дипломатом» быть. Что такое «воин», что такое «дипломат» — он хорошенько не сознавал и в простосердечии своем мыслил, что это продолжение того же бархатно-курточного периода его жизни, в течение которого он был так счастлив. Любознательности в ребенке было мало; а если и проявлялись по временам слабые ее признаки, то они очень скоро увядали, благодаря глухой и безответной атмосфере, в которой он жил. Его никогда не интересовал вопрос, что это за конфета, которую он ест, откуда она и из чего сделана, что такое курточка, которую он носит, и что за образ, перед которым он каждое утро и каждый вечер повторяет заученные молитвы: он просто думал, что это какие-то первоначальные тела. Но этот недостаток здорового реального элемента в жизни с лихвою восполнялся обилием элемента мечтательного и иссушающего. Целые фантастические истории одна за другой слагались в воображении Васи, истории, в которых тщеславие и чванство были на первом плане, а галуны, побрякушки и всякого рода шитье играли роль орнаментов. И Вася уже серьезно начинал задумываться над тем, чем ему лучше быть, воином или дипломатом, когда вопрос этот, помимо его воли, был разрешен родителями.

Вася был мальчик хилый, и потому родители решили, что

---

[1] «мое сокровище» и «мое сердечко».

ему всего удобнее избрать дипломатическую карьеру. И вот, на тринадцатом году, он был отдан в какое-то очень милое заведение, имевшее специальностью выпускать из недр своих совершенно готовых общественных деятелей. И действительно, заведение имело свою историю, которая как нельзя более подтверждала такую репутацию; воспитанники его славились изящными манерами и безукоризненным знанием французского языка, так что про них говорили: «Это почти что пажи!», сверх того, заведение уже поставило благодарному отечеству несколько знаменитостей, на которых указывали пальцами, и всякому родителю было лестно сказать: «Вот и мой Сенечка будет такой же!» Одним словом, Васенька очутился здесь в той самой сфере, к которой он был, так сказать, предназначен самою природою, и, бросив воинственные поползновения, окончательно посвятил себя дипломатии.

Учили в заведении плохо: всему понемногу, и притом такому «всему», после которого в самой благоустроенной юношеской голове могла оставаться только чепуха и белиберда. Было тут что-то похожее и на законоведение, и на историю, и на математику, и на политическую экономию, и даже на философию, но все это преподавалось в таком благонравно-сокращенном и искаженном виде, что даже в глазах самих воспитанников это были совсем не науки, а только «предметы», в которых ежемесячно каждый обязывается получить, по мере возможности, высший балл. Даже профессора были какие-то чудаки, которые как будто для того только и нанимались, чтобы в лицах показать воспитанникам, до какого прискорбия могут доходить люди, лишенные прекрасных манер. Зато в танцевальном классе дело шло самым успешным образом; профессор был человек ловкий, обладавший изящными манерами, и тем с большим успехом посвящал своих юных питомцев во все тонкости хореографического искусства, что эти последние, еще прежде поступления в заведение, были самым основательным образом по этой части подготовлены. Такие же точно утешительные результаты оказывались и по части нравственности.

Нравственностью отличались все вообще воспитанники заведения, но не в том смысле, в каком понимают это слово угрюмые моралисты, а нравственностью, так сказать, изящною. Главные признаки ее заключались в милой предупредительности, в почтительном выслушивании наставлений старших, в умении, по зову наставника, бесшумно и не торопясь перебежать в одно мгновение ока с одного конца залы на другой, в искусстве смотреть в глаза старшим доверчиво и прямо, но не дерзостно и т. д. Рядом с этим казенным кодексом,

как необходимое к нему дополнение, развивался воспитанниками свой собственный нравственный и умственный кодекс, отличительными признаками которого служили: élégance, sentiments chevaleresques и culte des dames[1]. Этот кодекс развивался по субботам и воскресеньям, когда воспитанников распускали по домам. Милые cochonneries[2], изящно разыгрываемые на сцене Михайловского театра, с самых юных лет составляли исключительную умственную пищу питомца; воображение его возбуждалось самым неестественным образом, и притом не тем собственно, что видели его глаза и слышали уши, а, так сказать, *по поводу* слышанного и виденного. Такого рода возбуждения самые тлетворные и в то же время самые паскудные, ибо французские драматические cochonneries дают зрителю не действительность, которая, как бы ни была гнусна, все-таки ограничивает воображение, а только заставляют угадывать эту действительность, манят и дразнят воображение и вынуждают его совершать самобытные подвиги творчества. И точно, Вася уже в школе очень твердо знал, что у женщины есть такие милые подробности, которые, вместе с французским языком, делают ее существом в высшей степени шикарным.

Вася всем нравился, у всех успел заслужить. Он нравился старшим своею почтительною преданностью и откровенною доверчивостию взгляда. По-видимому, Вася никогда не огорчался, но всегда был весел и за все благодарил. Он хорошо понял, что в стенах заведения заключается зерно его будущности, и потому вполне сообразовался и с духом, в нем господствовавшим, и со всеми его требованиями. В то же время и дома он успевал исподволь обделывать свои дела; был ласков и любезен с родными, изысканно-предупредителен с покровителями и сильными мира, целовал ручки у барынь, в особенности же у пожилых, и как-то робко, но в то же время и горячо нажимал при этом губами. По вечерам (в праздники) он не прочь был покутить с товарищами и за это получил от них название лихого малого. Одним словом, будучи семнадцати лет от роду (почти накануне своего выпуска из заведения), он уже всех пленил. Милые старушки, которые еще не решились сделаться старушками, просто млели при виде его, милые старички уже угадывали в нем будущую опору и, взирая на его вечно ясное лицо, говорили: quel charmant enfant![3] Родители радовались и втихомолку проливали слезы.

---

[1] элегантность, рыцарские чувства и культ дам.
[2] свинства.
[3] что за очаровательный ребенок!

Вася мечтал и что-то обдумывал. Перед умственным его оком расстилалась целая бесконечная карьера, усеянная богатством и почестями и обрамленная, в виде орнаментов, картинками паскудно-игривого содержания. Разумеется, что и мечтал-то он как-то рутинно, то есть представлял себе карьеру не в ином каком-нибудь виде, а именно в том, в каком таковая была сделана дядей Иваном или кузеном Simon; но разве оно и могло быть иначе при той рутинной обстановке, которая шаг за шагом преследовала его детство? Ум, рассудливость и пытливость были вычеркнуты в нем из наличности еще гораздо прежде вступления его в настоящую, заправскую жизнь; всем завладело, все полонило изворотливое, честолюбивое и похотливое воображение. И к удивлению, Вася не только <не> пострадал от такого неестественного, почти смрадного состояния своей головы, но сразу почувствовал себя как нельзя лучше. Должно думать, что голова эта была как раз у места на плечах своего владельца, а сам владелец как раз у места в той сфере, где ему приходилось жить и производить фурор.

Наконец Вася оставил школу и, сопровождаемый изрядным чином и приличным напутствием от школьного начальства, оделся у Шармера и расчесал себе пробор на затылке. Наступил 1856 год, год, который, без сомнения, останется надолго памятным в истории нашего общественного развития. В воздухе пахло уничтожением крепостного права; дворяне и литература благородным манером толковали о каких-то новых экономических началах, о гласности и устности, о том, что государству нужны слуги молодые и бодрые, и о том, что Россия есть золотое дно. Начальство улыбалось и даже поощряло эти толки, ибо видело в них не что иное, как упражненьица на заданные темы. Оно само как-то расползлось и почувствовало себя снисходительным. «Что ж,— думалось ему,— довольно-таки взаперти посидели, пускай и погуляют немножко. И действительно, началось гулянье великое, и продолжалось оно до тех пор, пока на смену улыбающемуся поколению не явилось поколение новое, уже не улыбающееся, но вооруженное «принципиями» и «мероприятиями», поколение, которое, отгулявши на скорую руку свое гулянье, в непродолжительном времени положило таковому конец.

Вася, как круглый невежда, ничего из всего этого не понял, кроме того только, что Россия есть золотое дно и что государству нужны люди молодые и бодрые, но этого скудного умственного материала было для него достаточно, чтоб пленять и приводить в восторг неприхотливых слушателей. Эту идею (вместе с другою — о необходимости уничтожения ин-

спекторского департамента гражданского ведомства) он развивал везде: и в канцелярии, и у Дюссо, и в салонах. «Mon cher,— говорил он,— как посмотришь да сообразишь *все это,* так ведь просто изумительно, какую наше старичье чушь наделало!» и, конечно, был бы первый весьма сконфужен, если бы кто-нибудь был настолько догадлив, чтоб спросить: а какую же такую чушь старичье наделало? Но тогда на этот счет было просто: вопросов никто не делал, все верили на слово и восклицательную форму считали лучшею и удобнейшею для выражения человеческих мыслей. Вася и это хорошо понял, и тем более не скупился на воздыхания и восклицания, что эти последние, как известно, никогда никому ничего не стоили. Напротив того, Васе они принесли даже положительную пользу, ибо при помощи их он успел себе составить репутацию юноши либерального и не чуждого «современных идей».

Одним словом, герой наш, с помощью способов весьма дешевых и незамысловатых, сумел пристроить себя в жизни довольно прочно. Он уже успел скомпоновать несколько проектов, из которых в одном был с замечательною ясностью разработан вопрос «о предоставлении частным лицам, в губернских и уездных городах обитающим, права открывать танцевальные и увеселительные заведения, не испрашивая на то разрешения начальства»; и хотя проекты эти были оставлены без последствий, однако на «перо» было обращено внимание. Замечено было, что Вася малый со смыслом, что перо у него бойкое, и даже идеи хоть не совсем удобные (как будто гнусные), но оригинальные. Очевидно, что Вася крепчал и мужал и что в голове его назревал некоторый злокачественный нарыв, из которого готова была развиться какая-то целая система. «Mon cher! надо администрировать посредством увеселений — c'est le système autrichien et c'est le seul bon!» [1] — проповедовал он, граня тротуары по Невскому, и так как это была единственная сфера, в которой он чувствовал себя достаточно приготовленным, то и развивал свою идею научным образом и во всех подробностях. Сержи, Мишели, Леоны и Юшки слушали его и спрашивали, не предположено ли по его проекту каких-нибудь инспекторских мест по части административных увеселений.

Крестьянская реформа несколько осадила Васю и остудила его либеральные увлечения. При одном известии о том, что дело кончено, maman Чубикова мгновенно позеленела; papa говорил: «Бог милостив!» Сержи, Леоны, Мишели и Юшки подняли головы, насторожили уши и нюхали, чем пахнет.

[1] это австрийская система, и это единственно хорошая система!

Вася задумался и начал размышлять о том, что эта за штука такая, от которой позеленела его maman. Перед умственным его оком один за другим сменялись все его проекты увеселений, и ему в первый раз показалось, что он хватил уж чересчур, что он уж слишком большой прогрессист. Он кстати припомнил, что, кроме теории увеселений, есть еще теория ежовых рукавиц, и принял ее к соображению.

С этих пор юную его грудь стал грызть некоторый червь. Ему было всего двадцать восемь лет, но он уже был на виду и мог дерзать высоко. Он начал развивать свою новую теорию и стал доказывать, что цикл либеральных увлечений уже совершился и что в дальнейшем ходе все зависит от того, как будет себя вести общество. Мысль эту он развивал исподволь и, так сказать, келейно, потому что опасение прослыть ретроградом все-таки еще заставляло его по временам трепетать. Но перед старцами он изливал свою душу со всей откровенностью и понравился им еще более. Наконец наступил 1862 год и окончательно развязал Васе язык.

1862 год совершил многое: одним он дал крылья, у других таковые сшиб. Вася был из тех, у которых выросли крылья и вытянулся язык в целую версту. Уж и болтался же он в ту пору, эффектно освещенный заревом петербургских пожаров. Maman в это время еще больше позеленела, трясла головой и потихоньку шептала: «Qu'allons nous devenir!»[1], но папа все еще говорил: «Бог милостив!» В первый раз Вася имел по этому поводу стычку с papa.

— Нет, тут не «бог милостив», а ежовые рукавицы надо! — говорил он и, казалось, изрыгал из себя пламя, как Везувий. Papa оставалось только умолкнуть и удивляться, какой у него сын способный.

С этих пор теория ежовых рукавиц окончательно вытеснила из Васиных разглагольствований теорию увеселений и проповедовалась беспрепятственно. Казалось, он верным чутьем поднюхивал, что кому и когда нужно, и сообразно с этим управлял утлою ладьею своей. Он опять скомпоновал несколько проектов в самом новейшем духе, из которых один трактовал «об истреблении гибельного нигилистского разврата в самом его зародыше», и хотя эти проекты оставлены были без последствий, однако на «перо» было вновь обращено внимание. Одним словом, мой Вася опять сугубо понравился.

На днях я его встретил на той всеобщей людской выставке, где встречаются люди, бог весть с которых пор друг друга не видавшие,— на Невском проспекте. Идет мой Вася со-

---

[1] «Что с нами будет!»

лидно и истово; идет — и блещет. В глазах какая-то мгла; нос холодный; на сжатых губах — ироническая улыбка.

— Что это, какой ты, Вася, мрачный? — спросил я его после первых взаимных приветствий (меня Вася до сих пор любит за то, что я в школе растолковал ему, что Омар и гомар совсем не одно и то же).

— Mon cher, тут не до веселья! дела такая пропасть, что, право, не постигаю, как еще я изворачиваюсь! — отвечал он и таинственно шепнул мне на ухо: — Я в настоящее время проект составляю!

— Гм... проект?

— Вот изволишь видеть, mon cher: теперь у нас везде какая-то разладица. Принципов нет, bureaucratie[1] с земством ни то ни сё... я предпринял все это привести в известность!

— Однако это, брат, штука!

— Ничего! с божиею помощью, как-нибудь уладим! Главное, mon cher, надобно доказать, что bureaucratie и земство — одно и то же... ты меня понимаешь?

— Да это само собой разумеется; это нечего и доказывать!

— Ну вот! Я хочу доказать этому Каткову (я, mon cher, им очень в последнее время недоволен; эта история с гласными... это, наконец, черт знает что такое!), что там, где он видит какой-то разлад, какие-то две стихии, в сущности нет ничего... такого!

Вася взглянул на меня, как бы спрашивая, понял ли я, и когда увидел, что я понял, то прибавил:

— Я даже хотел бы, чтобы ты прочитал мой проект, потому что хоть мы и в разных лагерях...

— Помилуй, Вася! какие же тут лагери!

— Ну нет! признайся... ведь ты... немножко нигилист?

Вася улыбнулся и ласково потрепал меня обеими руками за бока. Но я глядел ему прямо в глаза, как человек совершенно ни в чем не виноватый.

— Я не знаю даже, об чем ты говоришь! — сказал я.

— Я говорю о прошлогодних поджигателях! — отвечал он совершенно спокойно.— Но не в том дело; я пришлю тебе мой проект и попрошу высказать откровенно твое мнение. Я желал бы, чтобы мысль моя была обсужена со всех сторон. Ты понимаешь: со всех сторон!

Мы расстались; Вася, разумеется, не присылал мне своего проекта, и я решительно не знаю, какая его постигла участь. Не сомневаюсь, однако, что он будет оставлен без послед-

---

[1] бюрократия.

ствий, но что «перо» опять-таки будет замечено, и Вася прослывет окончательно талантливым и даже необходимым публицистом. Дело, очевидно, не в том, каковы проекты, а в том, каковы люди, их составляющие. Если эти люди нам милы, то как бы ни были нелепы их мысли, все-таки авторы их не перестанут быть нам милыми. Как растолковать невольные симпатии, которые связывают людей между собой? А может быть, Вася в самом деле в какой-нибудь фантастической рубашке родился? а может быть, скрывается у него где-нибудь родинка такая, которая привлекает к нему все сердца?

Я совершенно убежден, что Вася пойдет очень далеко, потому что такого рода люди и ко времени, и к месту. В такой исторический момент, когда разрозненные общественные стихии ищут опознаться и организоваться, нельзя отказывать и ерунде в праве выказывать подобные же стремления. Напротив того, не лишнее даже ее к тому поощрять, потому что, получив известную организацию, ерунда перестает быть разлитою в целом обществе, утрачивает свою неуловимость и делается более доступною для истребления. Это уж плохой признак, если ерунда начинает о чем-то беспокоиться, если она оказывает поползновение сплотиться, подыскивает союзников и заговаривает о каких-то принципах: это значит, что ей приходится туго и что недалек ее час смертный. Ибо ерунда только тогда хороша, когда она ерунда веселая, разудалая и разухабистая, когда всякое чрево поет ей хвалу, и нет в целом свете души человеческой, которая не отплясывала бы трепака по вся дни живота своего, а не тогда, когда ерунда корчит серьезные мины, начинает объяснять себя и даже выделяет из себя философов. Но так как процесс умирания — процесс продолжительный, и как в то же время ерунда, по приведении ее в известность, оказывается ратью-силой великою, то очень понятно, что такие философы, как мой друг Вася, весьма ей по сердцу и что она всячески стремится их ублажить и обласкать.

А потому моему Васе не житье, а малина. Триста купчих предлагали ему руку и сердце; из Крутогорска, из Семиозерска и даже из Глупова шлются к нему телеграммы за телеграммами, в которых приглашают его продолжать; портной Шармер вызывается делать ему даром платье, с тем чтобы Вася с трех до пяти часов пополудни прогуливался в нем по Невскому. Но Вася бережет себя; он отказал всем тремстам купчих, потому что заприметил княжну Оболдуй-Тараканову, которой в настоящее время двенадцать лет и при помощи которой он надеется свою карьеру усугубить; на глуповские телеграммы он отвечал сухим «благодарю», потому что

всякое поползновение со стороны глуповцев к выражению чувств (хотя бы и панегирических) считает еще преждевременным; что же касается до Шармера, то и его предложения Вася не принял из опасения, что об этом могут узнать в его société[1].

Вася великий интригант, и если видит у кого-нибудь во рту кусок, то с быстротою молнии его выхватит и проглотит. Если же кусок засел слишком плотно, то он смотрит на него и казнится. Вообще, он полагает, что все куски по праву принадлежат ему, и это убеждение дает его лицу такое приятное выражение, что даже вчуже смотреть на него весело. Точно вот так и говорит его взор соколиный: всем вам, сколько вас тут ни есть, не разминуться-таки с моей пространной утробой! Приятелей у Васи нет, но связи он поддерживает охотно; он не прочь при случае и подольститься, если от этого должно произойти что-нибудь очень хорошее, а в особенности если это подольщательство можно произвести как-нибудь секретно. Я полагаю, что в темной комнате он даже отважится поцеловать в плечико. Но самое величайшее для него наслаждение — это подставлять ножки и двоедушничать. Мысль, что он дипломат, до такой степени крепко засела в его голове, что он слова не может сказать, чтобы не соврать, шагу не может сделать, чтобы не вильнуть ногой куда-нибудь в сторону. Но это не только не вредит ему, а придает еще больше блеску и привлекательности, потому что члены той ерунды, в которой он обращается, на всякую ложь взирают с почтением и признают ее за высшее выражение человеческого ума. И когда сойдется разом несколько таких Вась, равной силы, то зрелище выходит даже занимательное, потому что все врут. Разумеется, когда-нибудь может за это и достаться Васе, но он загадывать вперед не любит и весьма основательно рассуждает, что если и доподлинно придет такое время, что его к стене прижмут, то и тогда можно будет солгать, только солгать надобно будет как-нибудь почудовищнее, чтоб у самих допрашивателей встали от этой лжи дыбом волоса и отшатнулись бы они от него, как от пса зачумленного.

Убеждений Вася, ни вообще, ни в частности, не имеет никаких, но охотно говорит о том, что «в наше время, mon cher, прежде всего необходима дисциплина».

Если ему возражают, что дисциплина есть только орудие, а отнюдь не убеждение, то он не дает возражателю кончить и очень самодовольно говорит: «Я, mon cher, в эти тонкости не пускаюсь: по-моему, дисциплина, дисциплина и дисципли-

---

[1] обществе.

на!» И действительно, когда на него смотришь и слышишь его голос, то невольно начинаешь что-то понимать и об чем-то догадываться.

— Я, любезный друг,— говорил мне однажды Вася,— могу сегодня думать так, а завтра могу думать не так. Я думаю, mon cher, как мне нравится и как мне в данную минуту думать выгодно. И в этом случае дисциплина...

— Должна схватывать твои мысли, так сказать, на лету?..

— C'est le mot! [1]

И как я ни старался доказать Васе, что обязанность ловить на лету такие мысли, которые перебегают из одного угла в другой, есть обязанность трудная, почти невозможная, но Вася нисколько моими доводами не тронулся.

— Во-первых,— сказал он мне,— я могу тебе указать на историю, которая именно свидетельствует, что невозможного на свете не существует; во-вторых — entendons nous, mon cher! [2] Я согласен, что могу мыслить так или иначе, но, во всяком случае, мои мысли все-таки принадлежат к одной категории и вращаются не бог знает в каком необъятном пространстве. Я, любезный друг, звезд с неба хватать не желаю и обнять необъятное претензии не имею; все мои желания и помыслы не выходят из скромного круга благонамеренности и благоустройства; следовательно, и сообразоваться с ними совсем не так трудно, как это представляется с первого взгляда. Нужно только на всякий случай быть готовым...

Наружность Вася имеет красивую, солидную, почти почтенную. Для каких-то таинственных целей он страстно желал поседеть поскорее, и ласковая природа даже в этом не отказала своему баловню и украсила его голову несколькими преждевременными сединами. Вася носится со своею тридцатилетнею сединой словно с сокровищем и теперь хлопочет только о том, чтоб в его взоре показывалось нечто меркнущее. Если и этого он достигнет, то счастию его не будет границ, потому что тогда он уж совсем будет похож на деятеля высшей школы, изнывающего под бременем соображений. Словотечение Вася имеет изобильное и беспрепятственное. Он может свободно, в продолжение нескольких часов сряду, нанизывать одну пошлость на другую, и ни разу не поперхнется, ни разу не обмолвится умным словцом. Из одной пошлости он незаметно переходит в другую, потом опять возвращается к первой, и опять переходит в другую, и таким образом топчет-

---

[1] Вот именно!

[2] договоримся, дорогой мой!

ся на одном месте, как те негодные лошади, про которых говорят, что они «секут и рубят и в полон берут», а с места все-таки ни взад, ни вперед не трогают. Голоса он никогда не возвышает, и если вступает с кем-нибудь в спор, то спорит чрезвычайно легко и приятно, а именно: никогда не обращает внимания на возражения своего противника и продолжает мерно, учтиво и всладце растягивать свою пресненькую, благонамеренную канитель. Во время словотечения Вася охотно прислушивается к звукам своего собственного голоса, как будто бы целый мир гармонии проносится в эти минуты над его душою. За эту способность члены той ерунды, в которой он обращается, прозвали его оратором.

Несмотря на свою холодную наружность, Вася нравится дамам. Они находят, что наружность часто обманчива, и в особенности хвалят Васю за его скромность. Действительно, никто никогда не слыхал от Васи ни одного слова об его сердечных победах, хотя достоверно известно, что он всею своею карьерой обязан преимущественно женскому влиянию. Вася любит женщин, но относительно увлечений держит себя осторожно; в глазах его они не что иное, как милое средство, правда, очень милое, но не больше, как средство. Даже maman, которая очень интересуется победами Васи и, пожалуй, не прочь ему посодействовать,— и та не может добиться от него никакого признания по этой части, потому что друг мой очень хорошо понял, что в таком деле первое условие успеха есть величайшая тайна. «Женщина, mon cher,— это святыня,— говорит он,— ее нужно держать строго, ее можно даже мальтретировать (иногда они это даже любят), но келейно, mon cher, келейно! чтобы про это знали только заинтересованные в деле лица, да стены, которые достаточно, в этом случае, благоразумны, чтобы не выдать секрета!» И согласно с этим действует.

Одевается Вася солидно, но не без щегольства; пестрых цветов не допускает решительно и ограничивается черным и белым. Иногда он умышленно производит небольшой беспорядок в своей куафюре, потому что это дает ему вид мыслителя. Иногда вдруг начинает ходить с перевальцем и грациозно покачиваясь, чтобы показать себя утомленным, и потом тут же сряду, если нужно, начнет выступать бодро, чтобы показать, что он бодр и никакие труды сломить его не могут. Вообще, заботы о наружности стоят у него всегда на первом плане, и слово «приличие» вертится у него на языке бессменно. «Mon cher! приличие соблюсти необходимо,— выражается он по этому случаю.— Приличие — это весь человек! Приличие — это то тавро... ты понимаешь: тавро? — по которому всегда можно

отличить un homme bien né[1] от всякой дребедени, которою наполнена наша печальная земная юдоль!» «Всегда готов, всегда приличен» — вот девиз, который избрал себе Вася, и даже самые смелые, самые искушенные ерундисты и ерундистки не могут надивиться той стойкости, с которой он преследует самую малейшую подробность того обширного и разнообразного кодекса, который называется кодексом приличий.

Вася не прочь и покутить, но изредка и притом в таком обществе, которое и по своему положению в жизни, и по своим взглядам на нее вполне подходило бы к его собственному положению и его собственным взглядам. «Таким образом, не может случиться ничего неприятного, а если что-нибудь и выйдет, то сора из избы не вынесет никто». Посещает он и лореток, и даже у влиятельнейших из них целует ручки, но от увлечений воздерживается, потому что лоретки народ болтливый и пылкий и могут, пожалуй, нагородить в его жизни чепухи. Впрочем, хорошенькая и бойкая лоретка играет-таки не последнюю роль в его жизненных предположениях, и он не отказывается доставить себе это хорошенькое лакомство со временем... когда достигнет. «Когда достигнет!» — в этом слове заключается для Васи разрешение всех жизненных загадок, и так как он сладострастен, то понятно, что эдем, который рисует ему воображение, не отличается ни особенным целомудрием, ни даже умеренностью. В сущности, Вася больше всего на свете любит милую безделку, и ему стоит танталовых мучений то воздержание, на которое он временно себя осудил. Но зато, когда достигнет,— что это будет, что это будет, когда он достигнет!

Таким образом, жизнь Васи течет как по маслу; но не могу скрыть, однако ж, что и у него встречаются кое-какие огорчения, которые слегка возмущают чистые струи его существования.

Во-первых, в самой той ерунде, в которой он постоянно обращается, выискиваются люди, которые, бог весть почему, именуют Васю «балалайкою». Я очень верю, что люди эти поступают таким образом единственно из зависти, но Васю тем не менее название это оскорбляет. Быть может, тайный голос говорит ему, что в названье есть что-то похожее на правду, быть может, самолюбие его возмущается тем, что «как же это балалайки осмеливаются обзывать меня балалайкою?». В том странном, полудиком оркестре, где нет иных инструментов, кроме балалайки, между исполнителями всегда происходит непримиримая, остервенелая вражда. Всякому хочется дока-

[1] человека благородного происхождения.

зать, что странные, нелепые звуки, которые наполняют воздух, извлекаются не им, а его соседом; всякому хочется обозвать своего соседа «балалайкой». Сосед, разумеется, обижается, и затем начинается одна из тех бестолково-бесконечных распрей, в которых и оскорбляющие, и оскорбляемые, вследствие совершенного и непонятного ослепления, не могут сообразить, что стоит только взглянуть им себе на руки, чтобы прекратить всякие недоразумения и взаимно облобызать друг друга. Сверх того, на Васю прозвище это еще и потому оказывает неприятное действие, что он боится, как бы оно навек за ним не осталось. А это иногда бывает. Иногда человека, даже добродетельного, таким прозвищем наградят, в котором, пожалуй, и смысла отыскать трудно, и за всем тем пойдет он щеголять с ним через всю свою жизнь, до такой степени, что и фамилия-то его настоящая забудется, а прозвище за ним останется. И если тот человек был на пути к почестям, почести от него отнимутся; если он в это время имел в виду сделать прекрасную партию, родители невесты откажут ему от дома, и счастие его расстроится навеки. Все это Вася имеет в виду, и потому самое слово «балалайка» ему ненавистно, и он не только не откликается на него, но даже в разговоре осторожно его обходит.

Второе огорчение Васи заключается в том, что у него есть несколько прискорбных знакомых, от которых он почему-то не имел решимости отстать. Связи эти начались отчасти в школе (где между множеством чистеньких и приглаженных мальчиков все-таки попадались пять-шесть лохматых личностей), отчасти же образовались немедленно по выходе из школы, когда Вася еще, так сказать, метался и не знал, куда себя пристроить. С тех пор как в нем окончательно утвердилась и созрела теория ежовых рукавиц, знакомства эти стали особенно ему ненавистны. Встречаясь с ними, он как-то уморительно сжимается и все озирается по сторонам, словно опасается, чтобы кто его не застал.

— И ведь какие между ними нахалы есть — так и лезут! — жаловался он мне однажды.— Один там у меня отставной поручик есть... все это, понимаешь, еще скверные остатки детства и молодости... так трудно даже поверить, какой наглец! так вот и стремится! так и стремится! и такая ведь бестия: чем больше видит народу, тем нахальнее и настойчивее действует!

— Да ты бы как-нибудь развязался с этим поручиком! — посоветовал я.

— Не могу! Ты понимаешь, любезный друг, что он не один, а их тысячи, и что мы в такое время живем, когда никто ничего не понимает. Кто может поручиться, что этот самый по-

ручик не окажется завтра каким-нибудь инфантом испанским?

— Я тебя начинаю, наконец, плохо понимать, Вася!

Вася остановился, взял меня за руку и крепко сжал ее.

— В такую эпоху,— сказал он мне взволнованным голосом,— когда вчерашние мальчишки сегодня уже являются сильными мира... в такую эпоху нет ничего невозможного!

Я угадал, что Вася намекает на Сашу Клаверова, который в это время действительно сделал какой-то удивительный скачок на жизненной лестнице, и понял его горесть.

— Так вот видишь, оно и нельзя пренебрегать-то,— продолжал Вася.— А между тем только грудь да подоплёка (я ведь немножко славянофил, mon cher!) знают, чего мне это стоит! Однажды этот поручик...

По всем видимостям, Вася хотел рассказать что-нибудь ужасное, потому что даже волосы на голове у него зашевелились, но разговор наш был прерван чьим-то приходом, и я, к сожалению моему, так и не успел узнать, какое свинство учинил ужасный поручик с моим приятелем.

Третье горе Васи — это так называемые «нигилисты». Невинные эти люди решительно возмущают светлое течение его жизни. Пойдет ли он на Невский — ему кажется, что навстречу ему полезут целые выводки нигилистов, что они смеются над ним и даже грубят ему. Пойдет ли он в итальянскую оперу — ему кажется, что он со всех сторон угнетен, что он уж не хозяин здесь и что г-жа Барбо млеет совсем не для него.

— Помилуйте! ведь я не хожу в ихнюю Александрию, ведь я не мешаю им! так пусть и они не мешают мне, пусть же оставят мне хоть это убежище, в котором я мог бы спокойно предаваться *моим* удовольствиям.

Вообще, он полагает, что с нигилистами следует поступить строго: дозволить им посещать только Александринский театр и гулять только по мещанским и подьяческим. Я не ручаюсь даже, что он не составит проект в этом смысле, но знаю наверное, что проект этот, как влекущий за собой совершенное загромождение мещанских и подьяческих улиц, принят не будет.

Итак, я рассказал тебе, читатель, полную биографию друга моего Васи и даже, легко может быть, и наскучил тебе ею. Но скорее всего может случиться, что я упустил из виду многие характеристические черты, которые могли бы сделать задуманный мною образ более заманчивым. К этим чертам я могу еще возвратиться впоследствии, потому что подвиги моего Васи не только не прекратились, но, напротив того, обещают литься как река.

Но во всяком случае, ты не отопрешься, читатель, что личности, подобные описанной мною, далеко не чужды тебе. Их, этих новых Колумбов, неустанно отыскивающих принципы в мире яичницы и ерунды, развелось на наших глазах такое великое множество, что уже невозможно равнодушно относиться к такому явлению, невозможно его игнорировать И если я успел наметать хотя некоторые черты его, то и этого уже для меня достаточно.

Быть может, это и смешно, но сознаюсь, что я считаю такие явления не только прискорбными, но даже далеко не безопасными. Это уже не просто так называемый тормоз, который действует механически и, по крайней мере, оставляет нетронутым самый предмет, который он тормозит; нет, это ядовитая слизь какая-то, которая незаметно заползает всюду и разъедает все, к чему бы ни прикоснулась. «Мальчики» кишмя кишат в этом мире и ловко подставляют ногу всему, что не смотрит на жизнь, как на милую безделицу. Они идут по дороге жизни подплясывая, они высовывают толпе язык и в то же время ловко выкрадывают друг у друга изо рта лакомые куски, которые и стараются поспешнее проглотить... Это целая проклятая система, это целая проклятая каста, в которой трепещет и бьется один принцип — неимение никаких принципов.

И действительно, если мы вникнем ближе в так называемые идеи касты мальчиков, то найдем, что главная и руководящая их идея в том именно и состоит, что идей никаких иметь не следует, а следует иметь дисциплину. «Нам не нужно идей,— говорят они,— идеи хороши для тех, кто в них нуждается для оправдания своего существования, а мы сами по себе составляем идею, и, следовательно, для нас требуется только солидарность и дисциплина». Понять такую мысль довольно трудно, потому что тут, собственно, есть только зародыш мысли, но если вникнуть, то окажется, что зародыш этот довольно ехидный. Не поленитесь наблюсти когда-нибудь за улыбками «мальчика», за его пожатиями руки, всмотритесь в разнообразные оттенки и тех и других, и вы без труда догадаетесь, что это за канальский зародыш. В этих улыбках откроется для вас весь внутренний мир этой, если можно так выразиться, заживо разлагающейся душонки со всем ее тайным высокомерием. Вы поймете, что здесь, как в гробу некоем, заключено тление целого мира, что было бы напрасным трудом искать тут признаков жизни, потому что этой последней нельзя да и нет никакой надобности входить в какое-либо прикосновение с этим заживо истлевшим миром.

«Мальчик» от рождения страдает мыслебоязнью и потому в своей упорной борьбе с мыслью призывает на помощь интригу. Все, что кажется ему выше той сферы, в которой он прозябает, все, что живет с ним рядом и в то же время не чурается мысли,— все это ложится на него горячею укоризною и возбуждает в нем ненависть. И не потому совсем, чтобы такое соседство влекло за собой какой-нибудь ущерб для него, а просто потому, что оно нравственно давит его, что оно на каждом шагу служит ему безмолвною уликой того, что в нем не осталось ничего человеческого. Он сам понимает, что и изолгался, и избездельничался, но в то же время очень логично рассуждает, что дело его до того плохо, что никакими обличениями тут помочь уже нельзя. Следовательно, все, что прямо или косвенно обличает его, все принимает в его глазах характер бесплодной назойливости и возбуждает его негодование. И тут-то начинает он интриговать. Интригует он не очень хитро, но зато усердно, без отдыху... И велика бывает его радость, когда он убеждается, что враг, наконец, свален, и притом свален средствами самыми незамысловатыми — почти что с помощью одного лганья! Гвалт, бестолковое карканье стоном стоит над болотом, и долго потом дрянное болотное население будет передавать из рода в род трогательную повесть о том, как нашим чибисам удалось взять в полон коршуна.

Да, я каюсь перед вами, старые, отживающие век драбанты! Я был близорук, я не предвидел, что сквозь вас прорастут драбанты новые, и гораздо более ехидные, нежели вы. Я верил в какую-то звезду и умилялся, взирая на мальчиков, которые росли на моих глазах не по дням, а по часам. Оказалось, что это даже и не звезда совсем...

Толки о молодом поколении, о том, какую роль оно играет в современном общественном движении, и о том, какую роль ему играть следовало бы, продолжают питать нашу литературу. И беллетристы, и публицисты, и философы всех цветов и лагерей предаются разглагольствованиям об этом предмете с равным увлечением, так что человек, непричастный литературе, может и впрямь подумать, что тут-то и заключается разрешение будущих судеб русской жизни.

И действительно, вопрос о том, до какой степени праздны подобные толки, еще весьма спорен и сомнителен. С одной стороны, кажется, что они ни к чему не ведут, ибо смешивают понятие о деятелях с понятием о деле и, ставя на главный план первое, значительно заслоняют последнее. Но, с другой стороны, думается и так: не представляют ли все эти, по-ви-

димому, бесплодные толки о деятелях лишь вынужденную форму, под прикрытием которой получается возможность говорить о самом деле, подобно тому, как в свое время такую же прикрывающую форму представляли толки об искусстве? Далеко ли ушли мы от этих последних и получили ли возможность смотреть на дело прямо? Нет, отвечает простой здравый смысл, мы ушли не далеко, и даже до сего дня обязываемся тратить свои лучшие силы на разрешение вопросов об околичностях и мелочах. Отчего происходит столь медленное шествие вперед — это вопрос посторонний, но факт существует, и мы обязаны его констатировать и с ним сообразоваться. Последствия этого факта таковы: во-первых, толки, занимающие нашу литературу в настоящее время, точно так же как и толки, занимавшие ее несколько лет тому назад, суть толки иссушающие, не имеющие живого смысла, и во-вторых, что эти же самые толки, несмотря на свою бесплодность, имеют законную причину существования, которая дотоле останется в своей силе, доколе не изменятся общие условия жизни.

Положение незавидное. Вместо того чтобы оплодотворяться живым делом, мысль оскопляется мелочами и постоянным, обязательным обращением в порочном круге. Можем ли мы сетовать на нее за это призрачное путешествие от одного призрака к другому? Имеем ли мы право сказать литературе: довольно болтать пустяки о молодом поколении, приищи что-нибудь другое, более занятное и пользительное! Говоря по совести, не можем и не имеем права, потому что мысль, в своем развитии, находится в зависимости от известных обстоятельств, а есть такие обстоятельства, которые, так сказать, осуждают ее на производство пустяков. Поставленная в такие условия, мысль если и оставит бесплодное поприще, на котором ратует ныне, то к делу-то все-таки не пристанет, а придумает новое бесплодное поприще и на нем начнет заявлять о своем существовании, станет трепетать и биться, чтобы сделать этот *новый* покров как можно более прозрачным и легким, и в конце концов все-таки обманет себя, потому что *покров* всегда останется покровом, и как бы мы ни старались его сделать прозрачным, все же первый план нашей деятельности будет занят не делом, а усилиями выразиться о деле таким образом, чтобы оно уж не очень было похоже на безделье.

Но даже и на этой грустной арене, где средства смешиваются с целями, а орудия дела с самим делом, положение, в которое становится мысль относительно той или другой мелочи, составляющей предмет ее изысканий, далеко не одина-

ково выгодно. Есть мелочи, к которым, в известном смысле, можно прикасаться с полною ясностью (потому, вероятно, что «смысл» этот признается уже достаточно разработанным), а в другом — только с величайшею осторожностью и крайнею, почти рабскою изворотливостью (потому, конечно, что этот «другой смысл» недостаточно еще созрел и разработан). В первом случае не представляется никаких затруднений, и мысль катится, как зерно бурмицкое по бархату, для всех вразумительно и для самой себя безвозражательно. Во втором случае, мысль испытывает двойное крушение: во-первых, она обязывается тратить свою силу на мелочах, и во-вторых, даже в этой работе обязывается отыскивать самый, что называется, из бисеру бисер, и притом с таким расчетом, чтобы ни один слишком любознательный соглядатай не мог сказать: аа! да ты вот откуда, почтеннейшая, идешь! но чтобы можно было во всякое время такому соглядатаю ответить: нет, ты клевещешь! я совсем не оттуда иду, а я просто гуляю! Понятно, что при таких способах выражения не может быть и речи о чем-нибудь действительно серьезном, что мысль обязывается политиканить и изворачиваться и что на первый план выступает та гнусная наука умолчания, которая, в окончательных результатах, ведет к полнейшей анархии здравого смысла. Понятно, что мысль лишается при этом возможности исполнить даже первейшую свою обязанность — обязанность сознать самое себя, обязанность очистить тот предмет, который она исследует и которому сочувствует, от ненужных примесей, которые ему вредят.

От этих размышлений перейдем собственно к толкам о молодом поколении и взглянем на отношения к нему современной литературы. Выше мы видели, что толки эти составляют, так сказать, обязательное содержание нашей литературы, и потому нас больше всего занимает в этом случае разнообразие их.

Относиться к молодому поколению отчасти поучительно, отчасти язвительно, видеть в нем элемент всеразрушающий, всеотрицающий и ничего не созидающий,— сделалось делом почти модным и потому чрезвычайно приятным и легким. Слова: «космополитизм», «нигилизм», «сепаратизм», «демократизм», «материализм» и проч., слова, имеющие смысл нарочито порочный,— рассыпаются щедрою рукой направо и налево, причем весьма глубокомысленно не принимается в соображение ни то, к кому эти эпитеты прилагаются, ни то, по какому случаю они прилагаются, ни то, наконец, что́ они действительно означают. Дело заранее полагается для всех ясным, и на всякое возражение или недоумение по этому предмету

имеется один ответ — хохот, издревле составляющий, как известно, простейшую и самую выгодную форму опровержения. А между тем если взглянуть на дело попристальнее и подобросовестнее, то, конечно, самый предубежденный человек согласится, что тут-то и господствует самый густой туман, и именно тот туман, против которого с таким прискорбным успехом, хотя и с противоположной стороны, гремят московские публицисты. Рассейся этот туман,— и кто знает, во-первых, будет ли о чем толковать, а во-вторых, если и есть о чем толковать, то таким ли чисто голословным способом, как это делалось до сих пор? Но, с другой стороны, быть может, такое рассеяние тумана совсем и не желательно? быть может, потому-то именно и приятно положение мысли нападающей, что она благодаря туману может посылать свои удары, не подвергаясь опасности быть сбитою с выгодной позиции?

Быть может и это. Но как бы то ни было, а сыпать направо и налево обвинениями и эпитетами сделалось делом чрезвычайно приятным и свободным. Образовалась целая литература, поставившая себе целью исследовать свойства ядов, истекающих из молодого поколения, или, лучше сказать, не исследовать, а представить в живых (более или менее) образах, что молодое поколение никуда не годно, что оно не имеет будущего и что оно сплошь одарено способностью испускать из себя гангрену разрушения. Бессмысленное слово «нигилисты» переходит из уст в уста, из одного литературного органа в другой, из одного литературного произведения в другое. Беллетристы положительно упитываются им; даже г. Григорович, сей цветок, взлелеянный на полях не фигурального, а настоящего всероссийского нигилизма,— и тот торопится с своею лепточкой, и тот несет какую-то микроскопическую сориночку и опускает ее в «Русский вестник», это верное и неизменное хранилище родимого сора... Все спешат напитаться от убогой трапезы нигилистской! Любопытно, стало быть, посмотреть, что такое всполошило этих невинных людей и во имя чего, во имя каких идей они сами ратуют.

Но о том, что их всполошило, я покамест говорить не стану; я предпочитаю в этом случае последовать примеру мысли нападающей, то есть предположу все сие достаточно ясным (впрочем, читатель увидит, что я кое-что и разумею-таки в этом деле), и потому поговорю о том собственно, во имя каких идей на это ясное и известное делаются прямые и косвенные нападения.

Для примера возьму недавно появившийся роман «Марево», имеющий в публике довольно значительный успех.

Герой этого романа, Русанов, человек еще молодой, едва

начинающий свое жизненное поприще, но уже спокойно расположившийся в лагере мысли безопасно торжествующей и неотразимо нападающей. Каким образом он пришел к этому безмятежию, автор не объясняет и заставляет читателя предполагать, что человек этот так и родился уж мудрецом. Те вопросы, в постановке которых сгорают целые поколения, в его глазах совсем не составляют вопросов, а просто представляют собой явления горячечного бреда, очень трудно объяснимого, а по результатам своим даже и опасного. Даже не на том совсем настаивает этот юный герой, что нельзя с презрением обходить действительность, что необходимо считаться с нею даже в том случае, если она положительно теснит и гнетет,— на этом-то пункте, пожалуй, можно было бы и поговорить с ним,— но на том, что никто не имеет даже права возмущаться действительностью уже по тому одному, что она действительность и что ничья мысль не должна выходить за пределы той сферы, которая почему-то и кем-то признана для нее достаточною. Такое воззрение на жизнь очень замечательно, в особенности если обладатель его, Русанов, сам принадлежит к молодому поколению, ибо молодость, при обыкновенных условиях, скорее наклонна к преувеличениям, а здесь она является наклонною к сокращениям. Стало быть, здесь что-нибудь одно из двух: либо преждевременная зрелость, либо фаталистическая ограниченность.

Если мы вникнем в дело ближе, то увидим, что это, скорее, ограниченность. Прежде всего, Русанов совсем не заявляет себя враждебным прогрессу (по-видимому, он даже не прочь от всякого рода «принципий» и «мероприятий»), но, кажется, он недостаточно выяснил себе значение этого слова и потому на каждом шагу затемняет его и впадает в противоречия. Умственному его оку представляются два прогресса: один какой-то шутовской и пошловатый, другой — разумный; против первого он вооружается, второму — сочувствует. Первый представляется ему в виде или гимназических и кадетских протестов (в сущности очень невинных, существовавших всегда с тех пор, как существуют гимназии и корпуса, и подлежащих обличению разве со стороны одного училищного начальства), или же в виде темной интриги, всецело зиждущейся на тех же самых основаниях, которыми проникнута и столь любезная ему действительность. Если бы Русанов теснее специализировал предметы своих антипатий, если бы он сказал прямо: мне кажутся ничтожными гимназические протесты и недозволительными те поработительные поползновения, которым дает место слишком возбужденное чувство национальности, тогда, по крайней мере, видно было бы, о чем он говорит;

но он более заставляет догадываться и подозревать, нежели объясняет, и потому в уме читателя невольно возникает сомнение, что тут идет речь совсем не о школьных проделках и не об интригах, а о чем-то другом. В чем заключается это «другое» — Русанов не дает положительного ответа, потому что и сам не знает того явления, которое возбуждает в нем враждебное чувство. Очевидно, он имеет в виду те самые бранные слова, о которых говорено выше, но выбирает гимназические проделки и интригу потому единственно, что они более доступны его пониманию, потому что они представляют более поводов для увеселения, и потому, наконец, что поражать на другой почве было бы не совсем для него удобно. Отсюда непрерывная путаница; едва начнет читатель утешаться вместе с автором описаниями невинных затей взбудораженной гимназической мысли, как Русанов уже спешит изгладить веселое впечатление неприятными намеками на то, что эти затеи совсем не так невинны, как кажутся, но что они суть порождение того вредного влияния, которое проникает извне вследствие распространения в обществе некоторых темных сил, о которых ему, Русанову, достоверно известно. И так как Русанов ничего, кроме намеков, все-таки не дает (ибо, по ограниченности своей, и дать-то ничего другого не может), то простодушный читатель так и остается при наивном убеждении, что в гимназических протестах заключается весь смысл русского прогресса.

Но допустим, что Русанов хоть и близоруко, но все-таки установил свою точку зрения на современное понятие прогресса,— что̀ же, какое другое, *настоящее* понятие противополагает он ему? Сосудом такого *настоящего, разумного* понимания прогресса является он сам, г. Русанов. Он что-то любит, о чем-то волнуется, к чему-то стремится, но все это делает до такой степени *разумно, основательно* и *аккуратно*, что читателю кажется, что он вовсе ничего не любит, вовсе ни о чем не волнуется и вовсе ни к чему не стремится. Это убеждение еще более укрепляется тем обстоятельством, что к чему бы ни прикоснулся наш юный скопец, за что бы он ни принялся,— везде он проваливается самым постыдным образом. Чтобы показать, как следует действовать истинному гражданину, он поступает на службу в гражданскую палату (причем довольствуется весьма скромною должностью) — и проваливается; чтобы показать, как следует иметь общение с народом, он идет уговаривать взбудораженных крестьян — и проваливается. И хотя неудачи свои он объясняет темною интригой, которая, словно чудом каким, охватила целый здоровый край, однако это натяжка, очевидная для всякого сколько-нибудь смышле-

ного читателя. Отчего же ваша *правда,* г. Русанов, так слабо действует, а эта *ложь,* против которой вы ратуете, представляется вам всесильною? Вот вопрос, который невольно возникает в уме всякого, слушающего вашу умеренно либеральную размазню, и на который вы, конечно, не ответите. А дело между тем очень просто; причина вашего неуспеха заключается совсем не в общем затмении здравого смысла и не в всесильном владычестве лжи, а в том, что вы, говоря по правде, ничего никогда не любили, ничего никогда не желали и выдаете за правду ту теорию каплуньего самодовольства, которая может удовлетворять только людей положительно нищих духом.

Теория Русанова напоминает знаменитую, но давно забытую теорию искусства для искусства, в том виде, как ее проповедовал не Белинский лично (у него эта теория служила только поводом), а многочисленные его последователи. Подобно тому как эти последние видели в искусстве нечто отрешенное от жизни, само себе служащее и само из себя питающееся, и на этом основании отделяли для искусства совершенно особенную сферу, в которую не допускались непосвященные, подобно тому и господа Русановы полагают, что прогресс есть нечто такое, что совершается само собою, помимо человеческих усилий, и что стоит только *погодить,* чтобы получить желаемое. Верный этой теории, Русанов ждет и не шевелится, но этого мало: он смотрит в оба глаза, чтобы и другие тоже ждали не шевелясь; а так как подобная каплунья мудрость не всякому легко достается, то выходит из этого нелепая драма. Гимназисты и интриганы не слушаются, а Русанов делает глупости, говорит пошлости, попадается впросаки, никого не убеждает, никого за собой не увлекает и ничего никому не доказывает. И всем этим неудачам и несчастиям подвергается он по поводу гимназистов и интриганов; что же было бы, если бы такой златоуст появился с своей проповедью в среде более серьезной? Вопрос до того щекотливый, что надо полагать, что в подобной среде он даже не мог бы и появиться.

Вообще этот тип очень замечательный по той внутренней комической струе, которая изобильно течет в нем, и тем больше досадно, что талантливый автор не только не воспользовался этою струею, но даже относится к своему герою очень серьезно. Это какой-то Дон-Кихот консерватизма, который наивно думает, что в жизни большой вес могут иметь доказательства вроде: «подумайте! что вы делаете», «вы погибнете!» и т. д., который даже на мысль человеческую простирает свое негодование, ибо и у нее отнимает право на тот деятель-

ный и свободный процесс, который составляет необходимый признак ее бытия.

Из таких отношений к явлениям жизни естественно может вырасти только нетерпимость, а между нетерпимостью и даже тою кисленькою проповедью, которой предается Русанов, целая бездна. Процесс деятельности гг. Русановых достаточно известен и совершается всегда при одних и тех же признаках. Прежде всего, начинается дело с убеждений, но так как убеждения эти бывают или очень мизерны, или очень мертвы, или очень своекорыстны, то, конечно, никто ими не убеждается и вследствие такой неудачи в сердце убеждающего невольно поселяется некоторый горький осадок. Все кажется, что люди своего собственного блага не понимают и веселыми ногами идут к своей собственной погибели. Тогда Русанов вступает во второй период своей гражданской деятельности, период, так сказать, благоволительно будирующий. Он сердится, но все еще жалеет; он негодует, но хочет спасти погибающих против их собственного желания; он усугубляет свою попечительную деятельность и укоряет безумцев в неразумии и неблагодарности. А безумцы так-таки и коснеют в своем безумии и даже — о, верх неблагодарности! — посмеиваются над русановскою попечительностью и его самого осмеливаются обзывать расколотою балалайкою. Это, наконец, положительно раздражает Русанова и заставляет его поспешить вступлением в третий и последний период его гражданской деятельности. Период этот может быть назван периодом «по всем по трем»...

Вот с какими данными наши литературные Русановы всевозможных оттенков выступают на борьбу с молодым поколением и теми убеждениями, которых оно, по праву или не по праву, считается носителем...

Прежде всего, они совершенно не понимают предмета, о котором говорят, и слишком охотно отступают в этом случае от того коренного правила, в силу которого всякое явление следует рассматривать преимущественно в его типических чертах, а не в подробностях и отступлениях, которые, конечно, не должны быть упускаемы из вида, но отнюдь не имеют права затемнять главный характер явления. Поэтому-то им и мерещатся всё нигилисты, да бунтующие гимназисты, да интриганы. Но, без сомнения, замечательнейшее их качество все-таки заключается в том нравственном и умственном убожестве, с которым они являются на арену и которое решительно препятствует им приобретать прозелитов. Можно сказать безошибочно, что они, с большою выгодою для себя, могли бы отложить к сторонке свои маленькие скопческие тео-

рийки (которые, наверное, никогда никого не соблазнят) и прямо приступить к третьему периоду той гражданской деятельности, о которой упомянуто выше. Это спасло бы их от потери драгоценного времени, а лиц, к которым они простирают свои притязания,— от обязательного выслушивания противной либерально-размазистой болтовни.

Тем не менее, несмотря на явную внутреннюю несостоятельность, нападающая мысль в некоторых сферах русского общества пользуется значительными успехами, а незамысловатые ее подвиги имеют привилегию возбуждать шумные рукоплескания. Причина такого явления, кажется мне, заключается, во-первых, в неприхотливости вкусов большинства русского читающего люда и, во-вторых, в некоторой степени свободы, которую присвоила себе нападающая мысль и которая позволяет ей выражаться, по крайней мере, с тою ясностью, на какую она способна.

Неприхотливость русской публики есть факт до того общеизвестный, что о нем нет надобности и распространяться. Она не любит ни углубляться, ни анализировать, а желает, чтобы писатель действовал на нее посредством живых образов и убеждал сравнениями и уподоблениями. Стало быть, учительницею ее стоит на первом плане так называемая беллетристика. Если писатель начинает вести свою речь издалека, публика скучает; если писатель анализирует или делает вывод, она томится и ждет: да когда же, наконец, расскажет он какой-нибудь анекдот разлюбезный? В этом я мог наглядно убедиться, присутствуя однажды в Москве на лекции профессора Юркевича; покуда профессор объяснял, что «сознание в этом разе (во время сна) носится на волнах душевного настроения», публика безмолвствовала, но как только он приступил к толкованию снов, она встрепенулась, и по аудитории пронесся веселый и живой шепот. Таким же точно образом, и даже проще, действует нападающая мысль в своих походах против молодого поколения. Она не считает нужным соблюсти в этом случае даже тот призрак приличия, которому отдает дань г. Юркевич, предпосылая своим истолкованиям размышления о сознании, носящемся на волнах душевного настроения. Нет, она просто говорит: молодое поколение — это социалисты, материалисты, жулики, нигилисты, мазурики и прелюбодейцы, а затем начинает рассказывать анекдоты о том, как некто Басардин украл золотую табакерку. Из всех этих слов публика понимает только одну половину, то есть жульничество и т. д., и сверх того твердо знает, что воровать табакерки в законах не разрешается; но этого уже довольно, чтобы пробудить во всех сердцах благодарность за то, что так

просто и наглядно истолковали значение тех слов, которые до сих пор казались мудреными. Начинаются рукоплескания; воришка Басардин получает наименование социалиста и передового человека и возводится в звание представителя молодого поколения.

Свобода выражения тоже немало в этом случае помогает. Когда преднамеренно и сознательно смешиваются понятия самые противоположные, когда этим смешением угощается публика малосведущая и плохо различающая и когда вся эта нетрудная работа производится безвозражательно, то понятно, что публика становится, так сказать, в положение крепостного человека, который, постоянным давлением на него крепостного права, доводился, наконец, до совершенной бесчувственности и полного непонимания его ненормальности. Она постоянно испытывает одни и те же веселые впечатления и потому весьма естественно покоряется их влиянию. Едва успела она сегодня прочитать веселый рассказ о Басардине, как уж назавтра готов к ее услугам не менее веселый рассказ о гимназисте Горобце. И таким образом, воспитанная на Басардиных, Кукшиных и Горобцах, доводимая до опьянения наркотическими завываниями «Московских ведомостей» и не видя этой галиматье отпора, публика не вступает даже в разбирательство причин, почему нет и не может быть этого отпора, а прямо приходит к убеждению, что так тому делу и быть.

Но, без сомнения, всего более содействуют заблуждению публики некоторые вислоухие и юродствующие, которые с ухарскою развязностью прикомандировывают себя к делу, делаемому молодым поколением, и, схватив одни наружные признаки этого дела, совершенно искренно исповедуют, что в них-то вся и сила. Эти люди считают себя какими-то сугубыми представителями молодого поколения, забывая, что дрянь есть явление общее всем векам и странам и что совершенно несправедливо и даже непозволительно навязывать ее исключительно современному русскому молодому поколению.

Выше я сказал, что самым тяжким положением мысли следует признать то, когда она не только обязывается тратить свою силу на мелочах, но, сверх того, не имеет даже возможности объяснить самоё себя надлежащим образом, очистить исследуемый ею предмет от тех примесей, которые ему вредят. В самом деле, что такое это молодое поколение, о котором так много говорят, какие его стремления и какова его деятельность — всё это вопросы темные не только для публики, но и для большинства самих тех, до которых они ближайшим образом относятся. А этот туман еще более способ-

ствует размножению тех темных личностей, которые упомянуты мной выше под именем юродствующих и вислоухих и которые сами совершенно серьезно готовы признать воришку Басардина за тип современного прогрессиста, как признали таковым в недавнее время болтуна Базарова.

В январском обозрении общественной жизни я сделал очень скромную (и даже, сознаюсь, не довольно резкую и определенную) попытку отличить этих вислоухих и юродствующих и изъять их из общего представления о молодом поколении, которое и без того уже захламощено различными услужливыми ревнителями,— и надобно видеть, какую бурю в среде этих милых лилипутов подняла моя мимоходная и притом лишенная всякого злостного характера заметка. В одном невинном, но разухабистом органе невинной нигилистской ерунды (по врожденной мне скромности, я не называю здесь этого органа) стали доказывать, что я всегда был *такой,* что в прошлом году я притворялся, а теперь, дескать, не выдержал и обнаружил свою настоящую суть. Очень приятно.

Да, я всегда был такой, но и в прошлом году отнюдь не притворялся и высказывал свои мнения с полною откровенностью. Вислоухие никогда не прельщали меня; я всегда был того мнения, что они одним своим участием делают неузнаваемым всякое дело, до которого прикасаются, подобно тому как мухи летом в одну минуту засиживают какую угодно вещь, хотя бы самую драгоценную. В прошлом году, как и нынче, я с сожалением смотрел на людей, которые в слове «нигилизм» обрели для себя какую-то тихую пристань, в которой можно отдыхать свободно, по временам делая набеги в область ерунды; в прошлом году, как и нынче, я находил, что эти невинные существа отнюдь не должны считаться представителями какого бы то ни было поколения, но что они изображают собой тот паразитский, из угла в угол шатающийся элемент, от которого, по несчастью, не может быть свободно никакое, даже самое лучшее дело. И если я выражал свою мысль не всегда одинаково рельефно, то это происходило, во-первых, оттого, что сюжет сам по себе еще слишком деликатен, а во-вторых, оттого, что при срочной журнальной работе трудно и требовать, чтобы писатель был всегда одинаково ясен и изобразителен.

Но предмет этот так интересен сам по себе, что в настоящее время я решаюсь посвятить ему несколько слов, причем предупреждаю читателя, что здесь не будет и речи об обвинениях, на меня взводимых, так как к этим последним я совершенно равнодушен.

Всякая партия, всякое дело имеют своих enfants terribles[1], которые до тех только пор и бывают терпимы, покуда дело еще слабо и покуда малейший разлад в недрах той партии, которая его поддерживает, может повредить ему. Эти enfants terribles юродствуют, мечутся, не умеют держать язык за зубами и всего охотнее хватаются за внешние признаки дела, так как других они и понимать не могут. Серьезно на них никто и не смотрит, но видя, с одной стороны, их невинность и усердие, а с другой, опасаясь, чтобы от их невоздержности не изгибло хорошее дело, стараются действовать на них посредством ласки, которая, как известно, имеет свойство отчасти поощряющее, а отчасти умеряющее. Большинство убеждается этими ласками, и хотя продолжает заниматься мелкоплаваньем и не обещает никакой существенной помощи делу, однако уже и тем ему отрицательно содействует, что не мешает и не умножает собой победоносные ряды его противников.

И таким образом шло бы это дело воздержно и безопасно к вожделенному концу, если б из среды невинных enfants terribles не возникали своего рода горлопаны, юродствующие и вислоухие. Эти последние плавают столь же мелко и точно так же не идут далее внешних признаков какого бы то ни было дела, но уже возводят эти признаки в принцип и проповедуют громко, самодовольно и с ожесточением. На этих людей простая ласка уже не действует, и дело, в своих собственных пользах, должно оградить себя от их несносного и навязчивого влияния.

В позапрошлом году пущено было в ход слово «нигилизм», слово, не имеющее смысла и всего менее характеризующее стремления молодого поколения, в которых можно, пожалуй, различить всякого рода «измы», но отнюдь не нигилизм. Между тем слово пошло в ход и получило право гражданственности, и совсем не потому, что его пустил в ход г. Тургенев (это-то бы еще небольшая беда), а именно благодаря тем вислоухим, которые ухватились за него, словно утопающие за соломинку, стали драпироваться в него, как в некую златотканую мантию, и из бессмыслицы сделали себе знамя. Если б г. Тургенев употребил вместо «нигилистов» слово «дураки» или «безголовые», как выразился однажды г. Юркевич, они бы и за эти слова ухватились с жадностью и самодовольно склоняли бы в настоящее время: мы дураки, мы безголовые, нам, дуракам, и т. д. Это уж такая несчастная страсть — красо-

---

[1] сорванцов.

ваться глупостями, беседовать о глупостях и лезть на стену по поводу глупостей, и главный источник этой страсти заключается, конечно, в скудном запасе умственных способностей.

Другой пример: в прошлом году вышел роман «Что делать?» — роман серьезный, проводивший мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывавший на эти основы. Автор этого романа, без сомнения, обладал своею мыслью вполне, но именно потому-то, что он страстно относился к ней, что он представлял ее себе живою и воплощенною, он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных. Для всякого разумного человека это факт совершенно ясный, и всякий разумный человек, читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей. Но вислоухие понимают дело иначе; они обходят существенное содержание романа и приударяют насчет подробностей, а из этих подробностей всего более соблазняет их перспектива работать с пением и плясками. Точно так же, например, в сочинениях Фурье их увлекла бы не теория страстей, положенная в основание его универсальной ассоциации, не плодотворная концепция гармонического воспитания и проч., а какие-нибудь anti-lions и anti-réquins [1], а какие-нибудь когорты мальчиков, с самоотвержением предающихся очищению отхожих мест и т. п. В этом случае они следуют примеру составителей паскудных французских литографий: посмотришь на надпись — написано «L'oiseau envolé» [2], посмотришь на картину — никакой oiseau envolé тут нет, а просто девица грациозно приподняла платье и показывает sa jambe bien faite... [3] И когда такие их пошлые проделки останавливают чье-нибудь насмешливое внимание, то они на того человека указывают пальцами и восклицают: «Эге! да вы, кажется, уж над Чернышевским глумитесь!» И таким образом сваливая с больной головы на здоровую, думают прикрыть свое неистовое нравственное убожество.

Третий пример представляет вопрос женский... но здесь предпочитаю остановиться, потому что вовсе не желаю увлекаться, а говорить хладнокровно об этом предмете, благодаря паскудному покрову, который набросили на него вислоухие, совсем не легко.

---

[1] антильвы и антиакулы.
[2] «Улетевшая птичка».
[3] свою хорошо сложенную ножку...

Одним словом, нет мысли, которой наши вислоухие не обесславили бы, нет дела, которого они не засидели бы. «Я демократ»,— говорит вам вислоухий и доказывает это тем, что ходит в поддевке и сморкается без помощи платка. «Я нигилист и не имею никаких предрассудков»,— говорит вам другой вислоухий и доказывает это тем, что во всякое время дня готов выбежать голый на улицу. И напрасно вы будете уверять его, что в первом случае он совсем не демократ, а только нечистоплотный человек, и что во втором случае он тоже не более как бойкий человек, без надобности подвергающий себя заключению в частном доме,— не поверит он ни за что и вас же обругает аристократом и отсталым человеком.

Если вы посещали, читатель, петербургскую биржу весною, то, конечно, имели возможность наблюдать за неугомонною деятельностью обезьян. Сидит обезьяна в клетке и все кругом озирается, все высматривает, нет ли чего перенять. Видит она, например, рабочего, который заколачивает ящик, и тотчас же начинает суетиться, отыскивает на дне клетки завалящую щепочку, в другую лапку берет орех и пресерьезно начинает щепочкой постукивать по ореху. Вот действительный смысл работы наших enfants terribles. Насколько он полезен, предоставляю судить читателю, с своей же стороны думаю, что он вреден уже тем, что возбуждает смех в зрителях и дает им повод делать неправильные и произвольные обобщения. Конечно, мне могут возразить, что много будет чести, если обращать внимание на мнения каких-нибудь праздных зрителей, и я, разумеется, принял бы подобное возражение, если бы оно исходило от людей серьезных (впрочем, оговариваюсь: принял бы только *отчасти,* ибо, по моему мнению, праздных зрителей нет и не может быть, и презрительное отношение к ним составляет большую и очень часто неисправимую ошибку), но ведь надо же понять, что деятельность наших enfants terribles совершенно по плечу самому праздному из праздных зрителей, и, следовательно, от них никакое возражение в этом смысле принято быть не может.

Но этого мало. Не забудем, читатель, что, кроме enfants terribles, у нас есть вислоухие, которые потщатся подчеркнуть пошлость и возвести ее в принцип. Об enfants terribles можно бы еще объясниться, что это просто милые люди, на невинную переимчивость которых стоит только не обращать внимания, чтоб она упала сама собой; об вислоухих же этого сказать нельзя, потому что они лезут вперед, входят в азарт, выдают себя за людей серьезных и убежденных и подбирают себе поклонников. Посторонний зритель, непосвященный, смотрит на вислоухого уже с некоторым трепетным смирением, как на со-

суд некий, в котором заключена мудрость будущего, и если ему порою кажется, что эта мудрость смахивает на ерунду, то он тут же спешит поправиться и уверить себя, что это оттого ему так кажется, что он сам преисполнен ерунды, а что ерунда вислоухого есть действительная мудрость, но только мудрость не настоящего, а будущего. Скажите же, не обидно ли это?

Итак, вот каких именно вислоухих и юродствующих имел я в виду в моем январском обозрении нашей общественной жизни, а совсем не то, чтобы «выругать огулом молодежь», как выразился в письме ко мне некоторый анонимный корреспондент, который обругал меня при этом самым вислоухим образом. Ибо я очень хорошо понимаю, что взгляд на молодое поколение, как и на всякое другое, должен определяться общею его деятельностью, общими его стремлениями, а не уклонениями и юродствами, хотя бы этих последних было и великое множество.

А еще и вот что имел я в виду сказать: что одно из самых пагубных свойств вислоухих составляет непомерное их самолюбие. С одной стороны, им кажется, что вся Россия взирает на них и что сам Молешотт напутствует их из своего далека, с другой стороны,— что нет на свете ни одной отрасли практической деятельности, которую бы они могли занять, не уронив своего достоинства. Вольными ремеслами они заниматься не могут, потому что нет у них ни ума, ни искусства, ни прилежности, ни даже физической силы, которая потребна в некоторых из них, называемых низшими. Обязательным ремеслом, тем самым, которое как бы нарочно создано для того, чтоб давать приют всякого рода неспособным и от природы обиженным, заниматься несогласны, потому что: что скажет Россия! А Россия даже не подозревает, существуют ли они, эти нового рода социалисты, взирающие на жизнь как на увеселительное представление с пением и плясками! От этого-то слово «нигилизм», слово бессмысленное и ничего решительно не выражающее, было для них как бы манной небесной, потому что оно дало им повод успокоиться, дало возможность на вопрос: «Чем вы занимаетесь?» — отвечать: «Мы занимаемся нигилизмом».

Но это презрение к практической деятельности (я разумею здесь эту деятельность в известном и притом весьма ограниченном смысле) составляет столь любопытное явление, что я считаю не лишним поговорить об нем несколько подробнее.

Принято за правило рассуждать таким образом: действительность притязательна, притеснительна и несправедлива, следовательно, вступать с нею в какие-либо соглашения значило бы признать себя солидарным с ее притязаниями и не-

справедливостью; сверх того, в своем настоящем практическом развитии она представляет чистейший продукт принципов фальшивых или бессмысленных, следовательно, принять в ней деятельное участие значило бы оказать прямую или косвенную поддержку тем самым принципам, которые мы презираем и отвергаем. Надобно, чтобы лучшие общественные силы отказались от всяких стачек с нею, и тогда она изгибнет сама собою, жертвою своего собственного бессилия.

Рассуждение, по-видимому, правильное, но, не знаю почему, оно напоминает мне рассуждение одной очень глупой барыни, которая до того обозлилась на упразднение крепостного права, что дошла, наконец, до желания, чтоб «уж хоть бы бог, что ли, ее поскорее прибрал». И вот при таком-то экзальтированном состоянии, однажды этой самой барыне нагрубил какой-то временнообязанный Антипка или Прошка,— и как вы думаете, что она сделала? «А вот погоди,— сказала она,— ты видишь: я беременна, а как от твоей грубости выкину, так тебя в Сибирь ушлют!» И должно думать, что сильно было в ней желание допечь грубияна Антипку, ибо она действительно выкинула и даже подала жалобу, что от Антипкиной грубости «изныл у нее внутри сын». Так вот до чего может доходить фанатизм идеи: до того, что приходится сражаться за нее уж своими боками!

Не знаю, может быть, этот пример и неостроумен, но он мне нужен, потому что очень верно характеризует всякого рода экзальтацию. Господа, столь логически рассуждающие о презрении к действительности, слишком легко забывают, что эта действительность есть сама жизнь, сражаться против которой нужно средствами, по малой мере равносильными и притом по образу и по подобию. Что пользы будет в том, что вы станете ненавидеть ее своими боками? Она будет помыкать вами, будет пригибать и трепать вас, а вы в ответ на это станете в уединении и самодовольно скрежетать зубами? Подумайте, что за глупую роль вы играете в этой глупой комедии! Кого вы удивите ею? кого убедите? И робеет ли эта несправедливая и притязательная действительность, если вы не удостоите ее своим участием? Нет, она не изгибнет, а будет себе скрипеть и тянуть потихоньку канитель своими собственными средствами.

Когда я желаю, чтобы голос мой был слышен, то всегда выбираю такое место, которое наиболее этой цели способствует (обыкновенно устраиваются даже в этих видах особенные возвышения). Никто не знает, что буду я говорить, и я сам не знаю, будет ли иметь моя речь успех, но и мне и всякому другому совершенно ясно, что первое условие, о котором я

должен позаботиться, все-таки заключается в том, чтобы аудитория моя могла меня слышать. А если и есть такие ораторы на свете, которые находят за лучшее пищать где-нибудь в укромном месте, куда никому даже лазу нет, то я их не одобряю и успеха им предрекать не могу. Это могут быть люди, обладающие очень сильными талантами, но таланты их так и погибнут без следа.

В январском моем обозрении я уже имел случай заметить, до какой степени может изменяться значение действий и слов, смотря по тому, откуда они идут и в какой среде совершаются и произносятся. Это же самое замечание я считаю не лишним повторить и здесь, ибо, действительно, мне случалось встречать в этом смысле примеры поистине изумительные.

Воображаю я себе, например, что я не смиренный хроникер «Современника», а какой-нибудь тюкалинский городничий, и что, несмотря на свой пост, выражаю такую мысль, что не следует сажать в часть зря, а не мешает при этом и рассматривать. Мысль, несомненно, либеральная, хотя и не пронзительная, но тем не менее все-таки такого рода мысль, что выражай я ее, в качестве простого хроникера, тысячу раз на дню, она отнюдь не запечатлеется ни в чьих благородных умах. Но так как я тюкалинский городничий, и за всем тем не гнушаюсь некоторым либерализмом, то речь моя производит решительный восторг. Умеренные консерваторы опираются на нее, как на каменную стену, и побивают ею безумных мальчишек. «Это только вы, мальчишки, говорят они, сеете семя вражды, распуская невыгодные слухи о городничих! а знаете ли вы, безумцы, что сказал на днях наш тюкалинский городничий? Он сказал, государи мои: не следует сажать в часть зря, а необходимо при этом рассматривать!» Мальчишки, с своей стороны, тоже цепенеют и перемигиваются между собой, нет ли в словах моих подвоха. Даже «вислоухие» — и те, я уверен, поднесут мне серебряную стопу, на которой с одной стороны будет вычеканено: «Не следует никогда сажать в часть зря, но лишь по внимательном рассмотрении» «   » «Марта 1864 года», а с другой стороны:«Тюкалинскому городничему благодарные вислоухие сию стопу».

Но что ж бы это было такое, если б я при исправлении должности белебеевского исправника вдруг брякнул: «Н-да, милостивые государи! женский вопрос стоит на очереди, а вопрос об эманципации детей требует непременного и ближайшего разрешения»?.. Да тут, наверное, поднялся бы такой гвалт и вой, что я не ручаюсь даже, чтобы вислоухие в восторге не лишили меня нечаянно жизни (самые ласки их бывают убийственны)!

Увы! все это я говорю и повторяю почти ежедневно, а за всем тем ни один вислоухий не поднес мне серебряной вазы, хотя, конечно, никто и не лишил жизни. Обвиню ли я современников моих в неблагодарности? Заподозрю ли их в раболепстве и пристрастии? Нет, не обвиню и не заподозрю, ибо знаю, что я стою затерянный в густой толпе, откуда звуки моего голоса, по причине спертости воздуха, не могут быть слышны, а тюкалинский городничий и белебеевский исправник стоят на некотором возвышении, откуда могут отчеканивать каждое слово, со всеми необходимыми ударениями.

Так вот о какой чаше говорил я в своем январском обозрении, и напрасно вы рассвирепели на меня, господа вислоухие, ибо о содержании, которым следует ту чашу наполнить, я не упоминал покуда еще ни слова.

Да, говорил и буду говорить без устали: гадливое отношение к действительности, *какова бы она ни была,* не поведет ни к каким результатам, кроме апатии и бездействия со стороны тех, которые предаются такой гадливости, и кроме окончательного торжества тех темных сил, которые и без того торжествуют не мало. Необходимо, наконец, отрезвиться, необходимо поставить свою деятельность на почву реальную. Пусть каждый делает то, что он может и на что он способен, ибо мы никогда ничего не доспеем, покуда будем смотреть разиня рот и ненавидеть своими боками...

Скоро ли поймут эту истину господа вислоухие и юродствующие?

<XI. АПРЕЛЬ 1864 ГОДА>

Начну с того самого пункта, на котором оставил свою хронику в прошедший раз.

Протестовать своими боками — дело очень нетрудное, но в то же время и совершенно невыгодное. И если *выгоду* (разумеется, это слово следует понимать в самом обширном и разнообразном его применении) считать за исходную точку маломальски рассудительного человеческого действия, то подобного рода протесты можно назвать даже бессмысленными. Это простое наследие или рабства, или дикости, или такой цивилизации, которая растлена в самых своих источниках.

Известно, например, что бывшие крепостные люди против тягостей барщинной работы протестовали тем, что делали себе какое ни на есть увечье; известно также, что вотяк или черемисенин мстят за нанесенную им обиду тем, что лишают себя жизни на дворе своего обидчика; и еще известно, что истинный японец (японский славянофил), чтобы наилучшим образом уязвить лицо, ему ненавистное, распарывает себе ножом брюхо. Примеры эти, конечно, не новы и даже избиты, но они именно тем и хороши, что, несмотря на свою избитость, имеют за собою драгоценное в этом случае качество: доказательность. Подобного рода протесты, как живые свидетели насилия, неразвитости и фаталистической нелепости, исчезают сами собой по мере торжества свободы, цивилизации и здравого смысла. Люди начинают постепенно прозревать и понимать, что, протестуя *на копейку,* делают *на рубль* вреда самим себе, и, понявши это, стараются приискивать для своей проте-

стантской деятельности другие, более удобные и безвредные приемы.

Разумеется, если мы вникнем пристальнее в сущность этого явления, то найдем, что со стороны крепостного человека, вотяка и японца такая нелепая форма протеста совершенно понятна. Кроме того, что она соответствует известным жизненным условиям, кроме того, что во всех такого рода случаях у протестующего или руки связаны, или умственные способности задернуты пеленою, кроме всего этого, говорю я, в результате подобных протестов все-таки оказывается ущерб, хотя и ничтожный сравнительно с ущербом, претерпеваемым самим протестующим, но тем не менее ущерб действительный. Когда крепостной человек *нарочно* порубал себе руку, то знал, что этот поруб исключал его из числа рабочих сил и что вследствие этого у владельца его должно произойти замешательство в полевых работах; когда вотяк устраивает себе удавку на перекладине ворот своего обидчика, то *знает,* что накликает этим своему недругу *беду,* от которой он должен будет откупаться; когда японец, в пику врагу, распарывает себе брюхо, то *знает,* что враг этот действительно обидится и даже сочтет себя обесчещенным. Как ни явно нелепы их способы протеста, все-таки они имеют в виду результат реальный, который может удовлетворить хотя чувству мстительности. Но увы! может быть протест еще более жалкий! могут быть случаи, когда протест всею своею тяжестью ложится исключительно на бока протестующего и когда при той силе, против которой он направлен, не происходит ущерба, *даже ни на копейку.*

Но такого рода положение дела, отчасти комическое, а более прискорбное, достаточно любопытно само по себе, чтобы остановиться на нем с некоторым вниманием.

Протесты такого рода с особенной силою сказываются в такие моменты жизни обществ, когда эти последние находятся под влиянием напряженного возбуждения, то есть что-либо торжествуется или празднуется. Минуты таких празднеств в глазах многих имеют большую привлекательность, но, в сущности, они представляют очень плохой признак, доказывающий только, что жизнь находится в состоянии разложения, что она отказалась от старых форм, почему-либо оказавшихся непригодными, а новых выработать еще не успела. В такие минуты, несмотря на кажущееся торжество каких-то новых начал, всё и все протестуют, и именно потому, что торжества-то, собственно, никакого нет, а есть одно возбужденье. Одни протестуют во имя воспоминаний прошлого, другие — во имя предчувствий будущего. Жизнь сходит с реальной почвы, утрачивает последний смысл действительности и ударяется в

исключительный утопизм. И как ни противоположны полюсы (прошедшее и будущее), из которых отправляется протест, но они сходятся именно в том смысле, что в обоих случаях протест не имеет ближайшей, реальной цели и отзывается исключительно на боках самих протестующих.

Но прежде нежели продолжать мою речь, я обязан оговориться, что, употребляя здесь слово «общество», я понимаю его в том ограниченном смысле, который обыкновенно присвояется ему в литературе. Я говорю об обществе мнимом, о той накипи, которая плавает на поверхности, а не о низменной силе, которая никогда не покидает реальной почвы и не знает никаких утопий.

Выше я сказал, что при возбужденном состоянии общества протест производится или во имя воспоминаний прошлого, или во имя предчувствий будущего. И в том и в другом случае источник протеста — упразднение известных жизненных форм, которые долгое время безраздельно царили над обществом, которым одна часть этого последнего бессознательно покорялась и из которых другая часть извлекала немаловажные выгоды.

В первом случае протест идет из среды людей, для которых упраздненные формы жизни были выгодны. Люди эти очень хорошо понимают, что время обладает способностью беспощадно и безвозвратно затягивать архивною пылью все, что однажды отмечено жизнью клеймом негодности, и что протестами своими они никому и ничему, кроме самих себя, ущерба учинить не могут, но тем не менее протестуют, потому что сердца своего унять не в силах. «Погоди ты у меня,— говорила одна барыня (она была тогда беременна) временнообязанному своему лакею,— вот я от твоей грубости выкину, так тебя сошлют, мерзавца, в Сибирь!» И говорила это барыня искренно, и желала, ох, желала она выкинуть! чтобы потом иметь право написать, что «от огорчения, причиненного ей грубостью подлеца Ваньки, изныл внутри у ее ребенок!» Быть может, даже по ночам ей мерещилось, что вот она выкидывает (конечно, без особенно скверных последствий), что Ваньку за это судят и, наконец, ссылают в Сибирь. Но ведь кто же не понимает, что и угрозы и самые желания, при всей своей искренности,— все здесь, до самой последней подробности, призрачно и фантастично? Сама барыня это очень хорошо понимает; она знает, что Ваньку-подлеца ни в каком случае не сошлют (даже если б она действительно разрешилась мертвым младенцем), но у ней до того раскипелось сердце от огорчения, не от Ваньки даже идущего, что она впадает в злобную мечтательность, начинает строить воздушные замки, рисует себе соблазнительно-фанта-

стические картины, в которых на первом плане стоят во всех положениях и на все манеры расписываемые Ваньки. Это даже и не мечтательность, а какое-то совсем особенное состояние духа: не сон и не бдение. Юноша с пылким, но рано развращенным воображением испытывает иногда нечто подобное: он сидит над книжкой, а перед глазами его воочию мелькает фантастическая женщина; он очень хорошо знает, что женщины тут никакой нет, а есть латинская грамматика, но в то же время чувствует, что в жилах его закипает кровь... А рот у него облепили мухи. Моя огорченная барыня жила такою же полусознательною жизнью, и потому, как только действительность вызывала ее из забытья, она протестовала, и, разумеется, протестовала самым крайним и нелепым образом, не щадя, так сказать, своего живота. Протест жалкий и только в своей бессознательности находящий себе оправдание. «Господи! уж хоть бы разорвало, что ли, меня поскорее!» — вопит человек и в этих невинных воплях находит для себя утешение. Но если б он знал, какой веселый смех возбуждают они в окружающих! Если бы он знал, что даже окрестность, неодушевленная окрестность — и та улыбается, взирая на то, как он в порыве нелепой и бесплодной мести раздирает свои собственные внутренности!

Если бы он знал! Но в том-то и дело, что он не знает, да и не следует ему этого знать, потому что в противном случае он мстил бы иначе и, может быть, не возбуждал бы даже смеха. Это положительно повредило бы ему, потому что смех есть именно то единственное качество, при посредстве которого возможно примирение с людьми такого рода. Не будь этого смеха, оставалась бы налицо только сухая и безрезультатная их злоба, а теперь, сверх того, всюду просачивается еще достаточная доля глупости. И, таким образом, причина злобы объясняется сама собою и в значительной степени смывает с ее обладателя то темное пятно, которое, в противном случае, лежало бы на нем.

Но как иначе назвать такой протест, как не протестом своими боками? Здесь протестующий не только не наносит ни малейшего ущерба ненавистному делу, но сам всечасно подвергается всеобщему осмеянию и, кроме того, испытывает на себе все горькие последствия, длинной вереницей сопровождающие всякое неудавшееся действие. Он чувствует себя раздраженным и злым, тогда как по природе своей он апатичен и добр; он худеет и стареется, тогда как, не будь проклятого протеста, ему по всем правилам надлежало бы тучнеть и юнеть. И все-таки он протестует, протестует, несмотря на очевидную невыгоду такого действия, протестует, несмотря на то

что протест, при таких условиях, явно действует в ущерб ему одному!

Однако случаи подобного рода далеко не исключительны; может существовать обстановка, хотя и не имеющая ничего общего с изображенною выше, но которая отнюдь не меньше благоприятствует тем протестам, о которых идет речь. Если в первом случае человек выходит из миросозерцания, ограничивающего развитие жизни, то во втором — он выходит из миросозерцания, возводящего представление о жизни до размеров идеала. Если в первом случае запрос поражает своим ничтожеством, то во втором — он поражает своею громадностью. Но практический результат и того и другого запроса всегда одинаков.

Я понимаю, что могут существовать на свете люди мысли страстной, не останавливающейся ни перед какими выводами, мысли, не повинующейся никакому иному закону, кроме закона своего собственного логического развития. На людей такого закала известного рода открытия действуют чрезвычайно решительно. С одной стороны, подробный анализ разнообразных положений, в которых находился человек при испытанных доселе порядках, доказывает совершенную несостоятельность этих последних; с другой стороны — столь же подробный анализ свойств человека и его отношений к внешней природе указывает на возможность другой действительности, действительности разумной и для всех одинаково удовлетворительной. Строгим, почти математическим процессом мышления человек доходит до сознания идеала и с высоты смотрит на действительность. На этой высоте мысль, отрешенная от реальной почвы, питается своими собственными соками и даже приобретает способность создавать свои собственные живые образы. Понятно, что при таком богатстве внутреннего содержания, разнообразные, но бедные и тощие мотивы жизни действительной должны казаться не более как безразличным дрязгом, к которому надлежит относиться не с ненавистью или отвращением, а с полным равнодушием. Люди волнуются, усердствуют, подставляют ноги, льстят, взаимно друг друга истребляют из-за какого-нибудь черствого куска хлеба; люди ценой величайших жертв и усилий шаг за шагом вырывают из пасти чудовища разорванные и помятые клочки того «счастия», о котором мечтает всякий человек и которое составляет его естественное и законное достояние,— но разумно ли поступают эти люди, волнуясь таким образом, и не являются ли они в своих усилиях глупцами и пошлецами? Я не знаю, как на деле ответит на этот вопрос мысль, дошедшая до сознания идеала, но знаю, что если она верна самой себе и достаточно искренна,

то обязана ответить: «Да, эти люди пошлецы и глупцы!» И действительно, разве кусок черствого хлеба сделает человека навеки счастливым? разве, например, *одна* эмансипация слова удовлетворит умственным потребностям человека? Разве возможно из общей цепи жизненных явлений выдвигать по произволу то или другое звено, а прочие оставлять ржаветь на старых местах? Разве не перестанет человек и после того волноваться и биться, домогаясь и еще какой-нибудь обглоданной кости и еще какого-нибудь обкусанного и оплеванного клочка? Кажется, что ответ на эти вопросы не может быть сомнителен, а если он не сомнителен, то, следовательно...

Повторяю: я совершенно понимаю возможность людей такого закала и вполне сознаю законность той роли, которую они играют в сфере мысли. Тем не менее это все-таки люди мысли, а не практического дела, или, говоря простым слогом, это люди кабинетные, которые имеют в виду человечество, в обширном значении этого слова, и, согласно с этим, отыскивают истину общечеловеческую, абсолютную, но которые вести человечество к осуществлению этой истины не могут. Причина такого практического бессилия заключается все в той же страстности мысли, о которой говорено выше и которая естественно переходит в восторженность, упраздняющую необходимую для практической деятельности ясность представления о пространстве и времени. Таких людей никогда не бывает много, ибо появление их находится в зависимости от такой исключительной совокупности благоприятствующих условий, которая может быть объяснена только редкою случайностью. Да, пожалуй, оно и не худо, что их мало, потому что, если б их было изобилие, то в обществе непременно произошел бы застой и запустение. Это, собственно, аристократы мысли, которые могут быть полезными только в умеренных приемах. Задача их жизни до того высока и проста, что она удовлетворяется сама собой и не дает даже места для протестов и неудовольствий. Да, протесты, о которых идет речь, идут совсем не из этой среды, а из другой, из среды, так сказать, второго сорта, но ведущей из этого же источника свое происхождение.

След, оставляемый горячим словом истины, не ограничивается одною умозрительною сферой, но стремится проникнуть в самую жизнь. Сильные личности находят прозелитов, даже не давая себе труда искать их, а истина сама по себе до того привлекательна, что, однажды приютив в своих недрах человека, может смело рассчитывать на посильную с его стороны послугу. Таких второстепенных и третьестепенных деятелей, дошедших до истины не путем самостоятельного мышления, но принявших ее готовою, уже гораздо более, и вот в этой-то

скромной среде и зарождается первая идея о необходимости протеста.

Я с намерением употребляю здесь слово «скромность», потому что, в самом деле, вся заслуга второстепенных деятелей (впрочем, не малая) в том только и состоит, что, во-первых, они умеют отличить истину от лжи и добровольно становятся на сторону первой, а не последней, а во-вторых, что они служат проводниками истины в жизнь и делают ее мирским достоянием. Их роль — роль простых чернорабочих мысли, роль, низводящая мысль с ее недосягаемых высот, роль полезная, но не имеющая никаких прав на красивость. И чем теснее и даже ограниченнее они будут очерчивать сферу своей деятельности, чем менее будут прикидываться аристократами мысли, тем будет лучше, ибо только в таком случае протест их может иметь действительную силу, когда он не разбрасывается в беспорядке, а всю свою энергию сосредоточивает на известном, совершенно определенном пункте. И в этом деле, как и во всех других делах человеческих, большую роль играет разделение труда и специализация его; в этой дробности труда человек находит большую для себя помощь, но для того чтоб эта последняя была действительна, необходимо, чтобы соблюдение этого закона было обязательно. Отсюда новое подтверждение: быть скромным, не расплываться в общностях и не лезть в аристократы.

Но положение мыслителя самостоятельного слишком привлекательно, чтобы не соблазнить собою даже таких людей, которые ни в каком случае не могут претендовать на него. Бедные смертные, которых всё значение заключается в их благонамеренной восприимчивости, охотно называют себя аристократами мысли, забывая, что у них совсем не имеется налицо необходимого для такого титула умственного капитала и что, вследствие этого отсутствия, самый характер их деятельности, по необходимости, должен быть совершенно иной. И вот они начинают облекаться ризою таинственности, делают истину каким-то недоступным для масс кастическим достоянием и вообще прикидываются понимающими более того, нежели понимают в действительности. Разумеется, на деле они никого этим не обманывают (ибо всякому, даже самому недальновидному человеку нет ни малейшей трудности угадать в них совсем не самостоятельных мыслителей, а просто любопытную коллекцию хорошо обученных снегирей), но все-таки такого рода самообольщение производит не малую путаницу в ходячих понятиях и даже в общем направлении общественной деятельности.

Путаница эта происходит именно вследствие того, что люди

эти совсем не мыслители, а по самой своей природе только пропагандисты и практические деятели. Поэтому-то главный и самый типический признак их деятельности составляет все-таки протест, но так как, вследствие разных причин, о которых говорено выше, характер их деятельности (или, лучше сказать, их мнение об этом характере) искусственно извращается, то это извращение не остается без влияния и на характер протеста. Вместо того чтобы быть живым и целесообразным, этот последний поражает своею вялостью и апатичностью и в результате превращается, наконец, в тот жалкий протест своими боками, речью о котором я начал настоящее мое обозрение.

Предупреждаю, однако, читателя, что я вовсе не имею здесь намерения ни порицать, ни тем менее смеяться над кем и над чем бы то ни было. Цель у меня одна: показать, что опыт для того существует, чтобы мы им пользовались и чтобы мы избегали тех вольных и невольных ошибок, в которые впадали наши предшественники. И если я при этом, по неумелости или несовершенному знанию отечественного языка, не всегда употреблю те самые слова, которые наиболее в данном случае пригодны, то читатель обязывается поправить меня; если я выхожу от величин неизмеримо малых, то ничто не должно препятствовать читателю продолжать мою работу самостоятельно и доходить собственным умом до величин неизмеримо больших; если я (вследствие волнения чувства) ставлю несколько точек там, где должно стоять несколько слов, то читатель обязывается все эти пробелы пополнить, потому что он в волнении чувств не находится.

И вот эти люди протестуют. Протест их заключается: во-первых, в признании всех существующих форм жизни *одинаково* неразумными и *одинаково* лишенными способности развиваться и, во-вторых, в уклонении от всякого участия в деятельности, которая имеет хотя малейшее отношение к действительности. Первая половина этого положения, очевидно, пришла с чужого голоса, без всякой проверки ее достоинства в практическом смысле, вторая половина составляет необходимое практическое последствие принятой на веру первой мысли. И таким образом люди, весь смысл деятельности которых заключается именно и единственно в практической ее полезности, на первых же порах впадают в безвыходное противоречие с самими собой, с своей ограниченной природой, с своим чернорабочим назначением. Противоречие это может быть выражено так: мы люди дела, а не мысли, но наше дело заключается именно в том, чтобы не было никакого дела.

Одним словом, мы встречаемся здесь с повторением того же самого явления, которое некогда очень удачно формулиро-

валось выражением «искусство для искусства» и над которым немало-таки посмеялась наша литература последних годов. Но как ни язвительны были эти насмешки и как ни решительно объяснена ею нелепость подобной бесплодной деятельности в области искусства, должно полагать, что она сама еще надолго осуждена вращаться в этом порочном круге. И в самом деле, упразднив понятие о служении искусству для искусства, она пришла все-таки к тому, что создала другое положение, совершенно ему равносильное: понятие о служении истине для истины. И хотя она прямо не формулирует своего учения в этом смысле, но разве оно не сказывается ясно в ее уклонении от разрешения насущных вопросов жизни, в отвлеченной вялости всего ее содержания! Правда, что это дает ей возможность держать себя осторожно, устраняться от множества ошибок, почти всегда неизбежных при практическом разрешении вопросов, и вообще с усердием и зоркостью наблюдать за своею собственною опрятностью, но...

Но как ни почтенна истина сама по себе, действительная мера ее почтенности познается только тогда, когда она служит жизни. Жизнь требует, чтобы истина не господствовала над нею, а служила ей, и притом служила только в той степени, в какой она сама того хочет; жизнь не терпит перерывов и не убеждается идеалами, даже в таком случае, когда содержание этих идеалов имеет характер совершенно реальный; абсолютная истина действует неотразимо только в сфере мысли, то есть именно в той сфере, которая до сих пор заявляла только о своей необыкновенной способности к обособлению и сектаторству, и хотя часть этого действия проникает неминуемо в сферу жизни, но проникает медленно и отрывочно. Причина этого последнего явления заключается в тех привычках или, лучше сказать, в тех узах, которыми со всех сторон обстановлена жизнь обыденная, реальная и которых совсем не знает жизнь мысли. Мысль свободна, тогда как над практическою деятельностью человека тяготеет и история, и настоящая его обстановка, и, наконец, обязательное предвидение будущего. Самое дрянное, самое неудовлетворительное практическое положение — и то имеет за себя известный установившийся строй, дающий деятельности человека особенную складку, которая, по крайней мере до поры до времени, делает его неспособным ни к какой другой деятельности. Никто, конечно, не позавидует положению нищего, да и сам он не очень-то подорожит своим ремеслом, однако ж, чтобы исторгнуть его из этого положения и обратить к промыслу более выгодному для него самого, необходимо употребить некоторое усилие и затратить известную долю времени. Ибо и у него уже образова-

лись своего рода привычки, ибо его до известной степени даже *тянет* к нищенству, как к профессии, которой он достиг до виртуозности.

Итак, если, с одной стороны, невозможно отрицать (да никто этого и не отрицает), что деятельность людей мысли необходима и плодотворна, что люди эти освещают человечеству путь и открывают для него новые законы жизни, то не следует отрицать и того, что огромное большинство их подмастерьев и учеников должно, наконец, убедиться, что оно совсем не способно к подобной роли, что присвоением ее себе оно только производит путаницу и вредит тому самому делу, которому предполагает служить, и что какой-нибудь Кроличков, рассматриваемый как философ и новатор, стоит всего 15 коп. серебром, тогда как, если смотреть на него как на расторопного малого, которого можно посылать за квасом в лавочку, то ему, быть может, и цены не сыщешь.

Назначение подмастерьев везде и всегда было чисто практическое, и непонимание этой истины всегда вело к самым плохим результатам, а именно: во-первых, к значительному потускнению самой мысли, во-вторых, к полному общественному застою, усугубляемому торжеством противных сил, и, в-третьих, наконец, к личным, совершенно глупым, неполезным и безрезультатным невзгодам, которые я отметил выше под общим выражением протеста своими боками. Следовательно, здесь весь вопрос заключается только в том, каковы должны быть границы и каков характер предстоящей практической деятельности.

Прежде всего представляется вопрос, допускает ли практическая деятельность сохранение наших идеалов в их чистоте и неприкосновенности? Я понимаю, что для многих такой вопрос должен представлять существенную важность, но не полагаю, чтобы разрешение его представляло особенную трудность. Если мы хорошо уразумеем, что вся предстоящая деятельность именно в том и заключается, чтобы проводить эти идеалы в жизнь, то в то же время уразумеем и ту истину, что работа наша тогда только и может быть вполне успешна, когда эти идеалы будут всегда перед нашими глазами. Следовательно, заботиться об их чистоте и неприкосновенности мы вынуждены будем в видах собственных наших польз. Жизнь может вводить в ошибки, недоразумения и заблуждения — это правда, но ведь все эти ошибки и недоразумения тогда только могут иметь в результате потемнение идеала, когда они вошли в плоть и кровь человека, когда они сделались его второю природою, когда они допускаются уже не как ошибки, а как естественное явление всей совокупности человеческой деятельно-

сти. Понятно, что <такое> положение дела может иметь место или тогда, когда никакого идеала, в сущности, никогда и не было, а была только пустая вывеска, гласившая о присутствии идеала, или же тогда, когда к деятельности приступается с наперед обдуманною недобросовестностью. Но об этих случаях и говорить нечего, потому что они составляют только исключение, нимало не упраздняющее правило. В общем же смысле значение ошибки совсем не так важно, как можно предположить это с первого взгляда, потому что до тех пор, покуда она еще не ускользает от собственного анализа человека, ее допустившего, покуда этот человек может доказать себе, что в данном случае он уклонился от надлежащего пути, до тех пор, говорим, она никаким образом не может представлять серьезной опасности для идеала. Соглашаюсь, конечно, что практические последствия ошибки могут быть более или менее невыгодные, но, в свою очередь, не могу не принять во внимание и того обстоятельства, что все эти последствия, как бы они ни казались значительными, утопают, как капля в море, в общей сфере человеческой деятельности. Главный тон этой деятельности все-таки определится не чем иным, а именно идеалами, ибо сила последних достаточно велика, чтобы просочить их сквозь всевозможные жизненные противоречия, и человек, которого душе однажды они были доступны, уже не в силах до такой степени отказаться от них, чтобы сделаться по-прежнему чем-то вроде tabula rasa [1].

Для подтверждения этой последней мысли прибегнем к примеру положительно невыгодному. Предположим человека самого слабохарактерного и мягкодушного, словом, такого человека, на которого прелестные голоса жизни оказывают особенно чарующее влияние. Несомненно, что человек этот всего более доступен всяким внешним влияниям, что он легко допустит себя засосать всякому болоту, что он может быть и хорош, и дурен, и добр, и зол, смотря по среде, которая его окружает. Но несомненно также и то, что если он, когда-нибудь, вследствие стечения счастливых случайностей, дышал тем воздухом, в котором носилось слово добра и истины, то одного этого обстоятельства уже достаточно, чтобы повлиять на всю его жизнь. У него уже получится мерило для оценки своих и чужих действий, и как бы ни являлся он доступным для всякого рода влияний, все-таки между этими влияниями и им станет раз навсегда известная граница, за которую первым никогда не удастся перешагнуть. И как ни засасывай его болото, *всего* его все-таки не засосет. Экземпляры такого

[1] чистой доски.

сорта встречаются нам в жизни на каждом шагу, и мы были бы очень легкомысленны, если бы вздумали пренебрегать ими. Это экземпляры драгоценные; это представители того среднего умственного уровня, который обыкновенно составляет достояние масс. На них, как на пробном камне, можно даже изучать как силу влияния идеалов, так и непосредственные результаты, производимые этим влиянием в массах.

Еще более резкий пример представляют так называемые ренегаты. Я не знаю в истории примеров счастливого ренегатства, кроме разве таких, когда ренегат переходит из одной ерунды в другую (эти называются людьми смышлеными и обыкновенно бывают очень счастливы, ибо всевозможные ерунды равно дорожат ими). Где причина такого явления, как не в том, что человек, однажды узнав истину, уже не может удовлетвориться тою ерундой, в пользу которой он ее продал, и что из этого должно неминуемо произойти недовольство самим собою и полнейшее разочарование. Он начинает понимать, что увлекся выгодами мнимыми, что понятие об истине и добре слишком прочно и глубоко пускает корни, чтобы можно было его утопить в первой попавшейся луже. И вот он старается поправиться; но так как при известных обстоятельствах поправки не может быть, то кончает тем, что пускает себе в лоб пулю. Это печальный конец всех вообще ренегатств, и причина его все-таки заключается в том неотступном преследовании идеалов, которое не может быть прекращено ничем... даже ренегатством.

Следовательно, отказываться от практической деятельности из-за того, что прикосновение ее может повредить чистоте и неприкосновенности идеалов, совершенно неосновательно. Вера людей крепких и истинных не только не пошатнется от столкновений с действительностью, но еще более закалится в горниле ее; что касается до людей малодушных и слабых, то, во-первых, от них всегда не бог знает сколько пользы для дела верований и убеждений, а во-вторых, даже эта малая польза сделается равна нулю, если они с этими убеждениями, как с некоим сокровищем, будут таиться в своих мурьях и утешать ими своих добродушных наставников.

Но чтобы окончательно развязаться с этим вопросом и доказать осязательно, что жизненные противоречия могут идти своей колеей, нимало не подрывая коренных убеждений человека, я нахожу нужным привести еще несколько примеров.

Уважение к народу (принимая это выражение в смысле массы) и служение его интересам представляют, как известно, один из тех богатых жизненных идеалов, которые могут наполнить собой все содержание человеческой мысли и деятель-

ности. Это истина, которую могут отрицать лишь очень ограниченные люди, не понимающие, что все общественные идеалы, как бы ни было велико их разнообразие, все-таки, в окончательном результате, сливаются и сосредоточиваются в одном великом понятии о народе, как о конечной цели всех стремлений и усилий, порабощающей себе даже те высшие представления о правде, добре и истине, которые успело выработать человечество. Системы самые нелепые и самые несправедливые — и те сознают это и не могут обойтись без того, чтобы не прикрывать свои нелепости и неправды мнимым служением интересам народа. Между тем, присматриваясь ближе к самому этому народу, к условиям его жизни, к его умственным и нравственным запросам, мы находим, во-первых, что он обладает очень малым количеством знаний, во-вторых, что в основании его обычаев и понятий лежит в большинстве случаев не здравый смысл, а предрассудок, и, в-третьих, что его симпатии и антипатии очень часто бессознательны, а иногда даже и просто безобразно-ошибочны. Безразлично оправдывать массы в их движениях и симпатиях совершенно невозможно, потому что, однажды ставши на эту почву, можно очутиться очень далеко. Таким образом, по-видимому, предстоит в этом случае одно из двух: либо оставаться глухим и слепым к жизни массы, либо относиться к ней презрительно. Но первое невозможно, во-первых, потому, что как бы ни был человек замкнут в своих идеальных сферах, он все-таки живой организм, в котором, даже помимо его воли, заговорит кровь, а во-вторых, потому, что сами массы, наконец, заставят его и видеть и слышать, если б он и усиливался затыкать себе уши и закрывать глаза. Презрительно же относиться к жизни народа тоже невозможно, потому что тогда наша мысль лишится своего естественного центра тяготения, сделается пародией на мысль, бессвязно-болезненным бредом, а не мыслью. Следовательно, мысль, по необходимости, должна будет выйти из своей замкнутости и заботиться о том, чтоб установить себе связь с жизнью и отыскать для себя в ней приют. Потеряет ли она от того свою ясность и чистоту? — Нимало. Тут вопрос совсем не в том заключается, чтобы слиться с жизнью органически, слиться до оправдания ее нелепостей и пороков, а в том, чтобы объяснить себе эти последние, анализировать данные, которые представляет известный момент общественного развития, и установить отношение между ними и абсолютными требованиями мысли. С выполнением этих условий путь, по которому надлежит идти, выяснится сам собой, путь чистый и прочный, путь, который заставит нас осторожно и без гнева относиться к жизненным уклонениям, но в то же время заставит видеть в

этих последних не первородный какой-либо грех, вроде пятна несмываемого, а именно только временные и легко объяснимые уклонения. Такой путь не только не затемнит наших идеалов, но даже не подорвет наших надежд в будущем...

Другой такого же рода пример представляет собой критическая оценка как действий отдельного человека, так и явлений целого жизненного строя. С точки зрения чистого разума эти действия и явления являются нам совершенно безразличными, то есть не заслуживающими ни похвалы, ни порицания, ни преступными, ни добродетельными; весь умственный труд здесь заключается единственно в объяснении, то есть в сопоставлении явления с причинами его произведшими. И если этот труд ведется логически, и, кроме того, если все подробности, определившие известное действие или явление, вполне раскрыты, то результат его неминуемо должен быть один: признание за фактом характера последовательности. Таким образом объясняются целые огромные категории преступлений, и статистика, приходя на помощь к этим объяснениям неопровержимыми цифрами, доказывает, что известные преступления совершаются лишь в известных условиях и даже в известной общественной среде. Убеждение в достоверности подобного закона есть одна из важных побед, сделанных человеческим разумом в области неизвестного, и полагает начало тому гуманному взгляду на человеческие заблуждения, который, приобретя уже почти бесспорное господство в литературах всех цивилизованных народов, мало-помалу начинает проникать и в самую жизнь. Тем не менее, как бы мы глубоко ни были проникнуты подобными воззрениями на человеческие действия, все-таки не можем воздержаться, чтобы не полагать между ними различия. К этому побуждает нас даже не собственная наша выгода (рассматриваемая в тесном и исключительно своекорыстном смысле), а выгода того дела, того строя понятий, которому мы сознательно или бессознательно служим. А сверх того побуждает еще и то соображение, что в делах человеческих никакой прогресс не делается сам собою, а составляет результат целой совокупности человеческих усилий. Исходя из этой точки зрения, мы находим, что известным образом направленная человеческая деятельность вредит водворению в жизни истины, и хотя, анализируя мотивы этой деятельности, убедимся наверное, что она имеет свой законный смысл, тем не менее мы не затруднимся признать ее ложною и позаботимся об ее устранении. Какие употребим мы в этом случае средства, карательные ли или просто образовательные,— это вопрос особый, но несомненно, что самый крайний и исключительный гуманист не останется, да и не может

остаться равнодушным зрителем при виде преград, на каждом шагу возникающих между его идеалом и жизнью. Тем не менее разве такой образ действия может хотя на одну линию подрывать основное убеждение о неприступности человеческих действий вообще? — Нисколько. Опять-таки здесь установляется лишь отношение между основными идеалами и относительною, так сказать, случайною преступностью известного действия, и практическая деятельность, установляя это отношение, ничего не осуждает, а только анализирует, проводит нужные параллели и из всех этих посылок выводит заключение о вреде действия лишь ввиду известных целей. Коли хотите, тут есть отступление от коренного правила, но отступление временное, вынуждаемое обстоятельствами, отступление, вполне сознающее, что оно отступление, и, следовательно, нимало не нарушающее неприкосновенности самого правила.

Итак, повторяю: опасения относительно потемнения идеалов от практического столкновения с действительностью лишены всякого правильного основания. Такой уродливый результат может быть последствием или злонамеренной умышленности, мотивированной ложно понятою выгодою, или же совершенной нравственной и умственной негодности человека, заявляющего об идеалах. Но и тот и другой случай, как составляющие чистейшую аномалию в общем порядке, которому следует человеческая мысль в своем движении, не могут подлежать никакому серьезному обсуждению.

Но где должен быть почин практической деятельности, какой ее характер, ее границы? Ответ на эти вопросы следует отыскивать в тех целях, которые поставила себе в виду деятельность, и в той обстановке, которую она встречает на пути своем. Если животворящий и возбуждающий принцип деятельности заключается в идеалах, то круг ее действий и выбор орудий, которыми она может располагать в этом смысле, должны вполне определяться теми случайными обстоятельствами, среди которых происходит ее проявление. Одно только условие обязательно здесь: постоянно держаться на реальной почве, не обнаруживать слишком громадных запросов, не смотреть на действительность как на воск мягкий и видеть в ней продукт живых и сложных сил, над которым тяготеет целый исторический процесс, не ожидать слишком легких успехов и чутко присматриваться ко всякой случайности, откуда бы она ни шла, которая может подвинуть к данной цели. Условие, конечно, очень тяжелое, но надо сказать себе раз навсегда, что без соблюдения его никакой успех немыслим и все наши дела будут только беспорядочным метанием из угла в угол, которое не интересовать может, а только повергать в изумление.

Представьте себе адвоката, который взялся бы защищать перед судом обвиненного, и вместо того чтобы выполнить свою задачу просто, то есть, ставши на точку зрения судей (ибо они силою вещей поставлены в положение судей, а обвиняемый — в положение обвиняемого), шаг за шагом опровергнуть взводимые на его клиента напраслины (в глазах умного адвоката, раз решившегося взять на себя защиту дела, все обвинения должны быть напраслинами), наполнил бы свою защитительную речь очень гуманными рассуждениями о том, что общество само создает преступника, что оно прежде всего должно обратить свой арсенал кар против самого себя, что преступных действий в абсолютном смысле нет и не может быть, что, следовательно, наказание и в данном случае и вообще представляет такую бессмыслицу, о которой и говорить серьезному человеку стыдно и т. д. Я не отрицаю, что такого рода объяснения могут быть изложены очень ловко и даже более или менее увлечь за собой известным образом настроенную часть аудитории, но не могу отрицать и того, что в смысле защиты это будет совсем не защита, а скорее совершенное ее отсутствие, что суд, по выслушании объяснений адвоката, непременно обвинит подсудимого («разглагольствования-то эти мы знаем!» — скажет он) и что этот последний, конечно, будет горько раскаиваться в том, что прильнул к помощи этого слишком уж глубоко забирающего адвоката.

Я уверен даже, что вскоре вслед за этим неудачным опытом защиты такой глубоко забирающий адвокат окончательно канет в Лету как адвокат и, по мнению моему, понесет только заслуженное. «Не мели, любезный друг, не мели! — скажется ему в напутствие,— а имей в виду прежде всего прямые пользы твоего клиента и, удовлетворяя им, старайся в то же время удовлетворять и своим идеалам. Этой последней цели ты можешь достигнуть, вовсе не пренебрегая выгодами клиента; напротив того, он даже послужит тебе рельефом, около которого будут группироваться твои доказательства, и тогда судья охотно приклонит к тебе свое ухо и не только признает обвиненного невинным, но и сделает из твоих объяснений необходимые выводы и изменения!»

Точно таким же образом (то есть противоположным взятому мною в пример адвокату) следует поступать и во всех тех случаях, когда мы имеем дело с людьми непросвещенными. Должно забыть стих:

Умолкни, чернь непросвещенна!

и помнить, что «чернь» эта заслуживает полного нашего внимания, и что мы, подступая к ней, должны начать именно с той

точки, на которой она стоит. Простодушный поселянин еще убежден в существовании ведьм и домовых, а потому если мы желаем дать ему сведение о высших силах природы, независимых от этих ведьм и домовых, то обязаны подорвать целое миросозерцание, сложившееся в нем и глубоко пустившее корни. Для достижения этой цели может быть действительна только одна метода: это переход от понятий простых к понятиям более сложным, а отнюдь не другая метода, которая гласит: ты, братец, все врешь, а послушай-ка, что я тебе стану говорить. Есть истина очень простая и даже пошлая: без арифметики невозможно изучение высшей математики, а между тем, несмотря на пошлость этой истины, ее нужно ежеминутно повторять, потому что привычка гениальничать и начинать всякое дело с конца до того овладела нами, что мы уже не видим ни перед собой, ни за собой ничего, кроме высот надзвездных.

Точно то же будет с нами, если мы к тому же простодушному поселянину приступим с соображениями чисто практическими насчет беспечального жития. Он так привык думать, что все сие так должно быть, как оно есть, и что все сие должно лежать именно на нем, что даже не задумается над вашими соображениями, да и разговаривать, пожалуй, не станет, а просто пожалуется.

А мы, конечно, хотим совсем не того.

Да, уменье сказать именно то, что нужно, и именно так, чтобы нас слушали и понимали, есть великое уменье, которое дается очень немногим, но которым никто не имеет права пренебрегать. Всякий человек, сознающий в себе ту животворную искру, которая творит общественного деятеля, прежде всего обязан представить себе свою задачу со всею ясностию, должен строго отнестись к самому себе. И если человек этот, взвесивши внимательно все шансы pro и contra[1], все-таки придет к деятельности только с теми, которые говорят pro, то он очень скоро сойдет со сцены, потому что будет болтать о пирожках тем, для которых даже черный хлеб составляет лакомство и которые, вследствие этого, примут его речи или за надругательство над их бедностию и убожеством, или за тарабарскую грамоту, пригодную для потехи одного говорящего. Но еще и потому скоро сойдет со сцены такого рода деятель, что, во-первых, увидит себя в самом печальном одиночестве, проповедующим в пустыне и о пустыне, а во-вторых, он сам, постоянно раздражаемый представлением о пирожках, незаметно от самого себя заразится если не презрением, то, по малой

---

[1] «за» и «против».

мере, полным равнодушием к тому черному, неприглядному хлебу, который составляет главный фонд скудного, насущного пропитания алчущих масс. Опять-таки мы, конечно, не этого добиваемся, а добиваемся того, чтобы наши пирожки все понимали и все их предвкушали.

Но так как мы более заботимся о светозарных наших грезах по тому, что скажут об нас вислоухие и юродствующие, то из этого выходит то весьма печальное для нас и для дела последствие, что мы из кожи лезем, чтобы создать какое-то окутанное мраком сектаторство, не мраком тайны окутанное, а мраком гораздо вреднейшим и глупейшим: мраком непережеванных мыслей и непонятых выражений.

Страсть к сектаторству достаточно-таки распространена у нас на Руси, и в большей части случаев мы довольно ловко управляемся с нею. По крайней мере, большинство так называемых расколов свидетельствует о замечательных организаторских способностях русского человека и о далеко не заурядной его силе в деле пропаганды. Мы не можем произнести слово «раскол», чтобы с этим словом в мыслях наших не соединялось представление об организации плотной и почти непроницаемой. Это последнее качество, то есть непроницаемость, представляет, конечно, их порочную сторону, но в то же время оно свидетельствует и о силе, богатой задатками в будущем. Если правда, что расколы безразлично замкнуты и для света и для тьмы, то правда и то, что это свойство временное, составляющее результат случайных, неблагоприятствующих обстоятельств, и что с наступлением иных условий оно должно исчезнуть само собою. Но организаторские способности останутся навсегда и, вынеся на себе целое историческое иго, конечно, могут получить в будущем только более роскошное и пышное развитие.

Совсем иной характер представляет сектаторство, так сказать, высшей школы. Здесь организаторские способности равняются нулю, и взамен того является безграничная способность расплываться и растворять все двери настежь. Здесь даже нет сектаторства в смысле организации, а есть одиночное сектаторство мысли, то горькое, безнадежное сектаторство, которое делает человека чужим среди живого общества...

И опять-таки повторяю: я очень хорошо понимаю, что люди мысли страстной и проницательной могут оставаться в полном отчуждении от дел мира сего; я понимаю даже, что они имеют право упорствовать в этом отчуждении, несмотря на всевозможные удары судьбы. У них и цель перед глазами безмерная, высокая, да и сами они стоят так высоко, что повесть их жизни питает собой целые поколения, следовательно, их роль в этом

отношении совершенно особенная. Но подобное же отчуждение со стороны простых смертных, которых все значение заключается, как я сказал выше, единственно в их благонамеренной восприимчивости, не только не понятно, но и положительно зловредно. Оно отнимает у обновляющей мысли те укрепления, которые ей необходимы для действия, и лишает ее естественной ее защиты. Являются целые легионы самозванцев-мыслителей, да и не легионы даже, а просто сброд, в котором каждая отдельная личность мнит себя самостоятельною и порывается выделить себя из общей связи. Последствие такой жалкой неурядицы может быть одно: посрамление мысли и всякого рода невзгоды для ее передовых служителей...

Тогда как сознайся все эти мнимые полководцы, что они не более как простые нижние чины мысли, не озирайся они слишком самолюбиво на свои заимствованные павлиньи перья, то, нет никакого сомнения, дело обновляющей мысли имело бы совершенно иную физиономию. Они могли бы принести ему помощь скромную, но действительную, и если бы не вознесли его на вершину славы, то, во всяком случае, оградили бы от разорения.

А они, вместо того, протестуют, и протестуют не только своими боками, но и боками своих поильцев и кормильцев! И глупо, и смешно, и горько...

На днях один из знаменитейших наших ерундистов упрекнул меня: вы, говорит, для глуповцев пишете, вы глуповский писатель! И думал, вероятно, что до слез обидел меня такою острою речью. А вышло совсем наоборот: я принял эту речь себе за похвалу. Неужели же вы думали, милостивый государь, что я пишу не для глуповцев, а желаю просвещать китайского богдыхана? Нет, я в мыслях не имею такой высокой мысли и предоставляю ее ерундистам высшей школы. Я деятель скромный и в этом качестве скромно разработываю скромный глуповский вертоград. Поэтому-то я и говорю с глуповцами языком им понятным и очень рад, если писания мои им любезны.

Ибо, огражденный любовью глуповцев, я могу дерзать на многое: могу не обращать даже внимания на то, что будут говорить об моей деятельности наши литературные хлысты, скопцы, нетовцы, адамиты, купидоны и прочая ерундоносная братия.

Археологи свидетельствуют, что в бывалые времена, когда человечеству угрожало какое-нибудь бедствие или же когда в его среде совершался акт вопиющей и злобной нелепости, то сама природа заблаговременно предуведомляла об этом

смертных и достигала этой цели посредством временного извращения обычного действия своих сил. На небе появлялись необычайные звезды, померкало солнце, потрясалась земля, рождались уродливые младенцы с песьими головами, а в иных случаях даже ослы получали дар слова. При тогдашней глупости это было очень удобно, потому что благодаря таким руководящим признакам человечество могло с некоторою уверенностию говорить себе: ну вот, скоро нас посетит война, или голод, или болезнь повальная, то есть вообще всякого рода мор; или же: должно быть, в настоящую минуту кто-нибудь кого-нибудь очень сильно поприжал, коль скоро даже ослы заговорили. Разумеется, практической пользы от этого все-таки мало, потому что, с одной стороны, люди знали только одно: что будет мор, а отчего будет, в какой форме придет на них и нельзя ли от него избавиться — об этом не знали; с другой же стороны, ослы так часто получали дар слова, что люди могли из этого вывести тоже одно только заключение, а именно: что вопиющие нелепости совершаются, так сказать, непрерывно и что, следовательно, разговаривать много об этом обстоятельстве даже непристойно. Тем не менее у людей того времени все-таки было не малое утешение: во-первых, они могли с большим основанием сказать: посудите сами, возможно ли же нам жить? во-вторых, ихние историки имели право с полною достоверностию отмечать в своих летописях, что в такую-то вот минуту, должно полагать, совершалась отлично здоровенная пакость, коль скоро сама природа сочла долгом против нее протестовать...

В нынешнее просвещенное время, хотя руководящие признаки и продолжают периодически появляться, но им уже не верят. «Мальчики» с песьими головами целыми стадами гуляют по Невскому, но никто не хочет видеть в этом никакого признака, точно так же как в периодическом появлении комет или же в выступании р. Невы из берегов. Говорят, будто ослаблению такого рода верований много способствовал какой-то плодотворный скептицизм; однако я позволяю себе думать, что этот скептицизм, при всей своей плодотворности, в настоящем случае довольно преждевременен и едва ли не свидетельствует о напрасной самоуверенности, которою заражено большинство наших современников. Положим, что научным образом, действительно, невозможно доказать связь, которая существует между мором во всех его видах и изобилием звероподобных уродцев, тем не менее сердцем мы все эту связь понимаем и все уверены, что она существует. Следовательно, тут еще бабушка надвое сказала: в самом ли деле эта связь есть только ни на чем не основанный продукт темных предчув-

ствий нашего сердца, или же наука только *не дошла* до того, чтобы определить ее с совершенною точностию. Скажу даже более: при нашей глупости такое отсутствие веры в звезды и в уродов даже очень невыгодно, потому что, сравнительно с древними, что̀ мы, в сущности, такого приобрели, что давало бы нам право пренебрегать приметами? Мы приобрели только голую уверенность, что звезды и мальчики существуют сами по себе, а мор сам по себе, но уверенности в том, что мы в силах устранять подобного рода неприятные сюрпризы, все-таки не приобрели, и таких средств, которые служили бы нам в этом случае помощью, не придумали. И потому, сознаюсь откровенно, я отнюдь не разделяю такой современной самоуверенности, и когда вижу на Невском проспекте мальчиков с песьими головами (в особенности если они веселенько хихикают или стрекочут), то меня пронимает дрожь; я чувствую, совершенно явственно чувствую, что где-нибудь в эту минуту должна гнездиться болезнь великая и что неутолимое какое-нибудь горе должно склонять свою голову под ударами несправедливости судьбы...

Но, с другой стороны, может представиться и такой вопрос: если бы мы и признавали силу таких руководящих признаков, если бы и верили знамениям, то извлекали бы для себя из этого выгоду, уразумели бы что-нибудь, сумели бы оградить себя? Увы! на все эти вопросы я вынужден отвечать если не совершенным отрицанием, то, во всяком случае,— сомнением. Если из знаний и истин самых положительных и бесспорных мы не успели выработать для себя ничего пригодного, если даже этим прочным материалом мы не сумели воспользоваться для того, чтобы оградить, по крайней мере, свою целость, то какую же пользу мы могли бы извлечь для себя из простых примет, даже в таком случае, если бы некоторые из них, как, например, изобильное появление людей с песьими головами, могли повести к соображениям очень остроумным и далеко не безосновательным? Всматриваясь пристально в современное наше общество, я успел различить в нем только две разновидности людей: с одной стороны, обладателей песьих голов и птичьих когтей, с другой — адамитов, купидонов и других фофанов, хотя и пользующихся человеческим образом, но в то же время украшенных чрезмерно длинными ушами. Первые хищны, плотоядны и прожорливы, вторые — смирны, травоядны и не только умеренны, но еще усугубляют свою умеренность тем, что постоянно зевают по сторонам и проносят мимо рта попадающиеся куски. Первые любят действовать с наскоку и не без удовольствия поедают последних; вторые смотрят на это, как на неотразимое зло, которое можно

объяснять себе тем-то и тем-то, и только изредка для очищения совести испускают слабый писк. Понятно, что таким сорвиголовам, каковыми являются наши купидоны и нетовцы, никакие знамения не помогут и что они в этом случае должны остановиться на том же, на чем, конечно, с удовольствием останавливались и достославные их предки, а именно на том премудром заключении, что всякой штуке от начала известный предел положен, которого не перейдешь и никакими человеческими усилиями не отвратишь...

Но понятно также, что мы не должны ни удивляться, ни ахать, когда жало смерти оказывается относительно нас беспощадным. Принято говорить: в гнилой и исполненной миазмов атмосфере все хорошее безвременно увядает, все доброе варварски посекается. В этом, конечно, есть своя доля истины: увядает, действительно, не только хорошее, но и лучшее, посекается не только доброе, но и прекраснейшее. Но объяснять подобным образом это увядание и посекновение и успокоиваться на таком объяснении могут только те благонамеренные, но никуда не годные волчцы, которые бесполезно бременят собою человеческую ниву. Конечно, объяснять и философствовать можно легко, приятно и удобно, но я полагаю, что истинное дело волчцов не объяснять, а заслонять собой то лучшее и прекраснейшее, которого соками они питаются; их дело не философствовать и изрекать неизреченная, а без дальнейших разговоров несчетными грудами валиться около этого лучшего и прекраснейшего и образовать своими телами такую непроходимую трущобу, сквозь которую мудрено было бы и пробраться. Пусть знают и помнят волчцы, что когда иссякнут те соки, которые давали им жизнь, тогда неотразимо иссякнут и сами они, волчцы. И не успеют они догадаться, как некоторый древний Минотавр поглотает их всех, или же — что еще хуже — как у них у самих вырастут на плечах песьи головы. Ибо кто тогда наставит их? Кто защитит их бедность, невинность и убожество?

Да; положение русского общественного деятеля имеет мало в себе завидного. Мало того что он должен работать и создавать: он сверх того должен позаботиться и о способах к ограждению и защите. Нет у него волчцов! нет пламенных, преданных, не размышляющих волчцов! И когда он истощит свои силы в борьбе с мелочами (она-то, собственно, и должна бы составлять занятие волчцов), то в результате получит одно: удовольствие видеть себя одиноким в поле и убедиться, что люди, сегодня еще полные жизни, могут завтра исчезнуть так же бесследно, как бесследно исчезают пузыри на поверхности воды...

Страшная мысль — не вращается ли он в пустоте и есть ли кому дело до его деятельности, должна всеминутно преследовать и терзать русского деятеля. Между ним и массой нет той полезной посредствующей среды, которая, с одной стороны, популяризирует мысль и делает ее мирским достоянием, а с другой стороны, подмечает действительный умственный уровень масс и их насущные нужды и этими живыми наблюдениями освежает и укрепляет высшую деятельность мысли. Во всяком благоустроенном обществе мысль является средоточием, около которого образуются более или менее значительные группы; у нас — мысль является средоточием пустыни. Понятно, что, находясь в такой обстановке, мысль, при всей логичности своих выводов и даже при полной реальности своего содержания, на каждом шагу рискует очутиться в самом оскорбительном одиночестве и убедиться, что вся ее работа есть не что иное, как пущенное на ветер искусство для искусства.

Нет сомнения, что подобная фантастичность обстановки в значительной степени влияет на самую энергию мысли, делает ремесло общественного деятеля до крайности рискованным, почти безнадежным, и естественно, сама собой доводит число их до тех крайних цифр, за которыми может следовать дробь или нуль. Да и тут, даже в этих немногих случаях, только крайняя страстность убеждения, крайняя восторженность мысли может вывести человека на эту омерзительную арену человеческого бессмыслия и пошлости. И таким образом, истинный деятель становится редкостью, диковиной, возбуждающей любопытство праздной толпы, но не зажигающей в ней той искры, которая объединяет мысль с делом и последнему дает характер естественного продолжения первой. И может он и умирать, и исчезать, сколько ему угодно — и никто не заприметит ни смерти его, ни исчезновения. Еще вчера, вот здесь, на этом самом месте, было нечто, а сегодня уж тут пустота, которую кой-как усиливаются законопатить выдвинувшиеся вперед лилипутики и лилипутченки мысли. Точно так же безучастно освещает солнце сцену человеческой глупости и праздности, точно так же (даже веселее и ходчее) стрекочут мальчики с песьими головами, и точно так же ежатся и жмутся к сторонке адамиты, нигилисты и купидоны... Никакого урока! никакого поучения! Неужели же есть какая-нибудь возможность не задуматься над этим?

Самоотвержение — глупость, самоотвержение — бессмыслица: положим, что вы, купидоны, и сумеете все это доказать; но не для вас тут глупость и бессмыслица, не для вас! Вы обязаны и жертвовать собой, и самоотвергаться, потому что в

этом заключается ваше ремесло. Оставьте сеять сеятелям, вы же утучняйте и разрыхляйте землю и охраняйте посеянное от червей и гусениц, потому что, если вы насильственно присвоите себе роль сеятелей, то, наверное, насеете такой чепухи, которой впоследствии не переработает никакой плуг. Помните, что в вас только и есть одно драгоценное качество: благонамеренность — ну, и удовлетворяйте этому свойству, сколько сил ваших станет, а о прочем забудьте, потому что это «прочее» может только спутать вас. Правда, что и севастопольские твердыни пали, несмотря на геройское самоотвержение русского солдата, но разве это самоотвержение прошло бесследно? Нет, оно имело последствием возможность заключить непостыдный мир.

Итак, и старинные руководящие признаки не убеждают нас; да если бы мы и держались еще предрассудков настолько, чтобы убеждаться знамениями, то это не привело бы нас ни к какому существенному результату. С помощью анализа мы пришли к признанию слишком большого количества глупостей, чтобы это не оказало очень сильного влияния на наше собственное одурение. А потому, предоставимте, возлюбленные, всё сие воле божией и будемте на прохладе беседовать о том, какие радости ждут впереди наших счастливых потомков.

Вот, например, что повествует в 16 № «Дня» г. Касьянов (тот самый г. Касьянов, который в прошлом году повествовал о подвигах русских барынь за границей и который ныне витает уже в пределах обширного нашего отечества, и чуть ли даже не на лоне Спиридоновки):

Знаете ли, что, по рассказам, случилось недавно в одном из уголков нашего пространного царства? Некоторые мальчики в одном из общественных заведений (казенных или частных — не знаю), приглашенные своим училищным начальством говеть,— объявили священнику, что они нигилисты и говеют только по приказанию,— вследствие чего, конечно, священник и не допустил их до таинства. Скандал был великий, благочестивые души местечка N были смущены, а местное начальство пришло в негодование. Мне первый поведал это мой приятель г. *Оглы*, городничий,— лихой малый из некрещеных татар, служивший гусаром в С. полку. Так вот этот г. *Оглы* первый возвестил мне это событие, которое вслед за тем подтвердил мне и *Пуффендорф*, его помощник, немец и лютеранин. Я было не поверил рассказу, но ужас, написанный на лицах гг. *Оглы* и *Пуффендорфа*, как официальных ревнителей «порядка», говорил убедительнее всех доказательств. Но отчего так возмутились и вознегодовали мои добрые приятели-чиновники? Оскорбились ли они за веру, за православную церковь, взволновало ли их такое явное неуважение к ее обрядам и таинствам? «Да вы за что сердитесь?» — спросил я. «Помилуйте — ведь это нарушение

дисциплины, ведь это...» и пр. пр.: вот что было ответом *Оглы* и *Пуффендорфа*; «ведь их свободу совести никто не стесняет, может, отцы их и не крепче были в вере, да все же ведь говели и свидетельства о говении получали и штрафу не подвергались...» — прибавляли еще мои друзья, татарин и немец.

Затем почтенный г. Касьянов, возмущаясь «благоразумным лицемерием» гг. Оглы и Пуффендорфа и тут же, кстати, припоминая себе стихи знаменитого поэта-славянофила:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых,
Не налагай на правду божью
Гнилую тягость лат земных.
Доспех Саула — ей окова,
Ей царский тягостен шелом,
Ее оружье — божье слово,
А божье слово — божий гром! —

предлагает своим читателям, а в том числе, конечно, и упомянутым выше достославным Оглы и Пуффендорфу, убеждать «некоторых мальчиков» посредством этого не им изобретенного оружия.

Прежде всего, я нахожу педагогический прием г. Касьянова в высшей степени изнурительным и даже истязательным. Никакие «действительные меры» не пилят так нестерпимо, как пиление словесное; ничто не ожесточает человека так сильно, как неумеренное казнение посредством восторженной ерунды, вроде сейчас выписанных стихов. Настоятельнейшее и притом совершенно законное право всякого истязуемого лица заключается в том, чтобы, по крайней мере, понимать цель прилагаемых к нему истязаний. Телесное наказание причиняет боль физическую и возмущает душу; конечно, Пуффендорф и Оглы не имеют ничего привлекательного, но их можно понять, их можно сносить, как временное иго (отзвонил, да и с колокольни долой), наконец, против них можно найти известные средства обороны. Но что можно сделать против наказания стиховного, против того наказания, которое стремится высосать не тело, но самую бессмертную человеческую душу? Представьте себе такую картину: сидит педагог и декламирует:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых...

— Понимаешь? — ласково спрашивает педагог.

— Не-нет... не понимаю! — отвечает ученик, которого ласковость педагога вовсе не ободряет, а, напротив, заставляет подозревать нечто сугубое.

— А! не понимаешь! ну, повторим сначала!

И ты, ког-да на би-тву с ло-жью
Вос-ста-нет Прав-да дум свя-тых...—

понимаешь?

И так до бесконечности. Что будет, если ученик этот, наконец, не догадается и не скажет: понимаю? Что будет, если сам педагог, наконец, не выйдет из терпения и не закричит не своим голосом: а ну-те, подавайте-ка нам сюда розог? Поистине я недоумеваю, какой может быть выход из этого трагического положения! ведь это все равно что обнять необъятное, что изрекать неизреченное, что стараться уловить свой собственный кукиш...

Но даже если ученик и догадается сказать: «понимаю», то и тут он обязан употребить известную сноровку, то есть уметь сказать это весело, твердо, без колебаний в голосе, ибо педагоги такого рода, как г. Касьянов, очень прозорливы: сейчас усмотрят малейшее колебание в голосе, и тогда опять пошла песня в ход:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых...

Но даже и тогда, если педагог достаточно раздражителен, чтобы выйти из себя при виде отчаянной непонятливости ученика, он обязывается высказать эту раздражительность как можно поспешнее, потому что при малейшем с его стороны замедлении ученик может дойти до конечного озлобления и сделать над собой что ни на есть скверное. Ибо ничто так упорно не отстаивает свои права на неприкосновенность и на невоспитываемость, как бессмертная человеческая душа.

Мы, русские, вообще довольно равнодушны к телесным исправлениям, в какой бы форме они до нас ни доходили, но душевных испытаний положительно выносить не можем. Мудрая Екатерина понимала это и наказывала своих придворных тем, что заставляла их, по мере вины, выучивать по нескольку стихов из «Телемахиды». Г-н Касьянов хочет применить эту методу в обширных размерах, но ведь надобно, чтоб он предварительно объявил вину, за которую россияне должны понести столь тяжкое наказание. Быть может, исправления этой вины предостаточно для гг. Оглы и Пуффендорфа.

Но дело не в педагогических приемах г. Касьянова, а в том факте, который он приводит. Говоря по совести, я ничего тут не понимаю. Что померещилось этим «некоторым мальчикам»? о чем они мечтали? зачем они говорили? зачем говорили?.. Скорблю.

Но если такой образ действия прискорбен со стороны «мальчиков», то в какой же мере должен он огорчать, когда исходит из среды людей взрослых? Относительно этих последних, действительно, уже ни Оглы, ни Пуффендорф не могут быть признаны целесообразными; тут надобны средства более крутые и радикальные, а именно: всякий раз, как такие люди замыслятся, следует говорить им: «А вот погодите, ужо отдам я вас г. Касьянову!» Присмиреют, наверное.

«Московские ведомости» решительно намереваются устроить из своих столбцов палладиум российского либерализма. Это не то что какой-нибудь «Голос», который скрипит, скрипит о ложбине, образуемой на Невском проспекте железно-конною дорогой, или о действиях Литературного фонда, и до тех пор не сойдет с своей нотки, покуда, что называется, всю душу не вымотает. Нет, «Московские ведомости» берут всё вопросы крупные и при разрешении их высказывают ту развязную любезность, которая возможна только при полной уверенности в сочувствии даже со стороны такого строго-серьезного органа, как «Северная почта» (мысль эта, впрочем, не моя, а заимствована мной из статьи г. Самарина, распубликованной в 15 № «Дня»). Сегодня они будут рассматривать вопрос о раскольниках, завтра — вопрос о свободе слова, послезавтра — вопрос о русской общине, и везде убедят читателя, что для них нет ничего недоступного. Правда, что г. Самарин докажет им, что в суждениях их усматривается больше развязности, нежели основательности, но они сумеют вывернуться и из этого трудного обстоятельства и ответят г. Самарину, что ему оттого так кажется, что он «поставил мудрость своего кружка под гарантию российской империи», а они, «Московские ведомости», действовали всегда свободно и самостоятельно. Словом, либерализм стоит, так сказать, коромыслом — в столбцах этой старейшей русской газеты, и если не выедает глаз, то оттого только, что люди нынче вообще как-то изверились и всё подозревают, не скрывается ли даже в самых лучших человеческих намерениях и действиях что-нибудь злокозненное или человекоубийственное.

Меня, как присяжного литератора, всего более, разумеется, занимал вопрос о книгопечатании. Целую зиму «Московские ведомости» препирались об этом предмете с Финляндией, и так это выходило у них приятно и сладко, что мне ничего не оставалось больше, как предвкушать. Каково же было мое изумление и огорчение, когда в 85-м № я, наконец, прочитал давно ожидаемое разрешение этого трудного вопроса,— и как бы вы

думали, в чем заключается это разрешение? — в установлении цензуры факультативной! Правда, что газета, предлагая эту меру, прибавляет, что это не мешает правительству предпринять, буде признает нужным, и более существенную реформу; правда, что она указывает при этом, например, Турцию, в которой факультативная цензура действует с успехом; правда, что мера эта предлагается ею в тех видах, чтобы русская печать получила возможность действовать с большею пользой, «успешнее бороться со злом»...— все это правда: но и за всем тем делается как-то неловко при чтении этого «умеренного и непритязательного проекта», как выражаются «Московские ведомости». Все думается: да и в самом деле, нет ли уж в нем чего-нибудь злокозненного и человекоубийственного, если он представляется таким умеренным и непритязательным?

Чтобы уразуметь отчетливо, каким оцтом вознамерились опоить «Московские ведомости» русскую литературу под видом факультативной цензуры, необходимо, во-первых, иметь достоверное известие о положении, в котором находится эта последняя, и, во-вторых, объяснить себе истинное значение выражения «факультативная цензура».

Всем известно, что русская литература издревле имеет свою специальную цель, и именно ту, которую почтенная наша газета формулирует словами: бороться со злом. Все литературные наши органы только и занимаются тем, что борются, а добра не делают. Правда, что «Московские ведомости» прибавляют к этому небольшое словечко «успешно», но, как я докажу в своем месте, понятие об успешности или неуспешности борьбы есть понятие чисто фаталистическое: одним написано на роду бороться успешно, другим — тоже на роду написано бороться неуспешно. Дело в том, что, несмотря на то что, по словам г. Касьянова (все в том же 16 № «Дня»), в нашей литературе «все слажено и такая согласная музыка труб и литавр, что за этими звуками других почти и не слышно», несмотря на это, говорю я, понятие о зле, как о предмете борьбы, далеко не так сложно, как это может показаться с первого взгляда. Во-первых, самая степень ясности в определении характера и содержания зла весьма различна; одни литературные органы до того уже пластично выясняют это понятие, что от этой пластичности даже воняет, что этою пластичностью они могут действовать, как обухом. При такой разухабистой простоте отношений к злу не может быть и речи о неуспешности борьбы противу него; тут чем сильнее и энергичнее производится лупка, тем лучше и приятнее; тут не только никто не станет препятствовать, но иной, видя человека до такой уже степени убежденного, даже на водку дает. Напротив того, дру-

гие литературные органы относятся к этому предмету с меньшею ясностию, робко и несколько даже спутанно. И это происходит совсем не оттого, чтобы в самом деле эти органы не понимали того, о чем говорят или с чем борются, а просто оттого, что в природе существует закон благовременности и неблаговременности, а еще и оттого, что самое «зло» некоторым не вполне развязным умам представляется в формах далеко не столь решительных, чтобы можно было взять на себя ответственность устраивать на него ежедневные и всегда безопасные облавы.

Во-вторых, кроме различной степени ясности в формулировании зла, имеется еще весьма значительная разница в самых взглядах на зло, в самых понятиях об нем. Разумеется, есть такого рода злодейства, на которых литературные органы, от «Голоса» до «Московских ведомостей» (кто эту бездну наполнит?), сходятся одинаково; таковы, например: социализм, демократизм, материализм и т. д., но сколько же есть и таких злодейств, о которых и «Голос» и «Московские ведомости» совершенно различных мнений? Относительно первых борьба, при всевозможных обстоятельствах печати, непременно должна сопровождаться успехом, ибо таково уже свойство самых предметов, что достаточно наименовать их, чтобы видеть себя триумфатором; что же касается до вторых, то здесь, очевидно, весь успех зависит от большей или меньшей прозорливости литературного органа и от того, с тактом или без такта выбирает он сюжеты для борьбы. Литературные наши деятели почерпают сведения о зле из разных источников; говоря языком астрологов, одни борются под влиянием планеты Нептуна, другие — под влиянием Марса, третьи — под влиянием Меркурия и т. д., но понятно, что зла, указываемые этими планетами, могут быть весьма разнообразны, а следовательно, таковым же разнообразием в своих приемах должна сопровождаться и борьба с ними. Главную роль в настоящем случае, разумеется, играет понятие о большей или меньшей терпимости зла, а следовательно, и о большей или меньшей благовременности борьбы с ним. При настоящих условиях русской печати это последнее понятие установляется цензурой, но, установляя его, цензура все-таки отнюдь не подрывает другого понятия: понятия о самой благонамеренности борьбы со злом. Они говорят: вы все, действующие под влиянием Нептуна, Марса и Меркурия, все вы люди благонамеренные, но благонамеренною я могу признать только ту борьбу, которая производится под влиянием, например, Меркурия. Коротко и ясно. Слыша это, что делают сторонники Нептуна и Марса? Они, конечно, примиряются с своим положением, но в то же время дают тонко

почувствовать: не будь у нас цензуры, так и невесть что наделаем! Вот это-то их хвастовство и нужно иметь в виду, если уже признается необходимым изменить условия, в которых находится русское книгопечатание. А для того чтобы достигнуть этого, необходимо до известной степени ограничить понятие о благовременности; одним словом, необходимо, чтобы, например, «Голос» имел право высказывать свою неблаговременную благонамеренность с тою же свободой, с какою «Московские ведомости» высказывают свою благонамеренность благовременную.

Может ли удовлетворить этому требованию цензура факультативная? Нимало. Что такое факультативная цензура? Это такого рода административная мера, которая, не изменяя ни в чем коренных условий печатного слова, ограничивается только дарованием авторам или издателям номинального права освобождать или не освобождать себя от действия предварительной цензуры. Почему я называю это право номинальным? А потому просто, что здесь возбуждается начало ответственности, но в то же время ни признаки, ни последствия этой ответственности ничем не определяются, и главным решителем вопросов остается все то же понятие о благовременности, понятие, подвергающееся беспрерывным изменениям, которые уловить не только трудно, но даже невозможно. Следовательно, в окончательных своих результатах дело сводится здесь или к интриге, или к такой сверхъестественной прозорливости, которая ни в каком случае не может быть обязательною для всех литераторов без различия.

А потому: люди прозорливые или люди характера совещательного непременно поспешат освободиться от стеснений предварительной цензуры. Не потому, чтобы эта свобода в самом деле доставила им большую возможность «успешно бороться со злом»,— этою-то возможностью они, и состоя под цензурой, пользуются преестественно,— но потому, что свобода эта присовокупляет еще новую роскошь к той массе роскоши, которой они до того пользовались. С нею они приобретают не только право излагать все, что истекает из свойств того наития, под которым они действуют (этим правом они обладали и прежде), но и множество разных других материальных удобств, как, например: избавляются от сношений с цензурой и от всех формальностей, которые с этим сопряжены. Формальности эти сами по себе совсем не тяжелы, но самая необходимость подчиняться им должна возмущать человека, черпающего вдохновение из чистого источника и доведшего свою мысль до полного соответствия. Но люди непрозорливые или же хотя обладающие элементами совещательности, но совеща-

тельности неблаговременной, положительно вынуждены будут уклониться от факультативной цензуры в пользу чистой предварительной, ибо, видя перед собой только темный принцип «ответственности», они, как пловцы без кормила и весла, легко могут остаться в мучительной неизвестности насчет того, что лежит на дне этого принципа: прожорливый ли Левиафан или просто глубь водная. Будучи в существе своем чисты сердцем и непорочны душою, они увидят себя вынужденными невольно, но постоянно грешить против благовременности, которой признаки с добровольным отказом от предварительной цензуры скроются от них безвозвратно.

И таким образом, литературные органы, стоящие на равной высоте благонамеренности, очутятся в положении далеко не равном. «Голос» будет томиться в узах, а «Московские ведомости» будут разглагольствовать. Мало того, они будут еще поддразнивать:

Друг! отчего печален голос твой?
Ответствуй, друг! реши мое сомненье!
Иль он твоей судьбы изображенье?
Иль счастие простилося с тобой?

И чего доброго, под влиянием этих подстрекательств, «Голос» вооружится храбростью и воскликнет: не надо и мне цензуры, хочу и я, в свою очередь, пороскошествовать!.. Ну, и погибнет.

Но может выйти из этого обстоятельства и еще горшее. Прозорливые люди возмнят себя уже совершенно развязанными относительно людей непрозорливых и скоро потеряют последний признак стыдливости, окончательно заменив ее одною ясностью. И когда непрозорливые люди будут отвечать им вяло или неясно, то прозорливые скажут: «Сами вы виноваты! зачем же не стали в то самое положение, в какое стали мы! ведь вас не потчевали!» Вот и судитесь тогда с ними!

Так вот каким оцтом вознамерились опоить русскую литературу благовременно-благонамеренные «Московские ведомости». Ужели ли же чаша сия и в самом деле не пройдет мимо нас?

Еще одно слово. Весь петербургский чиновничий мир взволновался, экзекуторы в страхе, провинциальные секретари и сенатские регистраторы мятутся, как домашние животные перед землетрясением. «Исправится ли девица Инна Горобец, поймет ли она, где ее истинные доброжелатели?» — вот вопрос, который, словно пожаром, охватил убеленные сединами головы

этих невинных людей. В ожидании разрешения его делá остаются в запустении и в бумагах допускаются бесчисленные орфографические ошибки. Пользуясь этим административным смятением, молодые и вольнодумные чиновники даже вовсе перестали ходить на службу и с утра до вечера сибаритствуют себе в музыкальном кафе-ресторане купца Наумова.

С другой стороны, петербургские прогрессисты тоже взволнованы, но уже с некоторым оттенком уныния. До сих пор они носились с Инною, как некогда носились с Базаровым; они искренно увлекались ею и говорили: ну да, вот это наши люди, ибо на них почивает наша печать! Даже философ Кроличков — уже на что, кажется, человеконенавистник! — и тот, сказывают, одобрил сцену, когда Инна, лишенная одежды и сидя по горло в воде, знáкомится с графом Бронским. «Право, хоть бы и мне так поступить!» — воскликнул он, забыв, что у него совсем не те атуры, которые могут сообщать подобному положению надлежащий интерес. И вдруг все эти прогрессисты теперь увидели, что Инна всегда только на волосок стояла от того, чтобы перейти в русановскую веру! Какое разочарование! Только что было приискали Базарову подругу жизни, и вдруг эта подруга изменяет ему — и для кого изменяет? для тихо курлыкающего каплуна Русанова!

Итак, весь Петербург взволнован — взволнован чем? — будущими судьбами девицы Инны Горобец! Как хотите, а это явление любопытное...

<XII. ОКТЯБРЬ <?> 1864 ГОДА>

Итак, история утешает. Бедные труженики мысли, бескорыстные созидатели будущих судеб человечества должны раз навсегда убедиться в этой истине: история пошлет заочное воздаяние за их подвиги, лишения, а иногда и за преждевременную мученическую смерть. Сходя в могилы одинокими, гонимыми, оклеветанными, да не впадут они в отчаяние, ибо имеют право сказать себе: мы умираем, но мысль наша будет жить и восторжествует в истории. А так как сверх того они в состоянии всегда и с полною ясностью определить ту сумму добра, которую прольет в мир торжество их мысли, то это должно помочь им спокойными глазами взирать и на те преследования, лишения и всякого рода покалывания, которые составляют обычную обстановку их жизни. Что лишения? что страдания? — все это не что иное, как гнилой плод временного умственного и нравственного разложения, и нет сомнения, что когда-нибудь да заклеймит же их «история» надлежащим именем. Мало того: человек, которого мысль однажды познала сладость страстного убеждения и жадно к нему прилепилась, может идти даже далее этого отрицательного спокойствия; он может не только равнодушно смотреть на жизнь с ее темною свитой скорбей, неудач и невзгод, но и желать, страстно желать этой жизни, несмотря на ее скорби, невзгоды и неудачи. Ежели Иоанн Гус, всходя на эшафот, имел право думать: я умираю, но мысль моя сделала свое дело, и семя, ею брошенное, закралось, помимо их воли, даже в сердца моих мучителей, то Фурье, ежедневно ожидавший посещения того фантастического миллионера, который, по расчету его, должен был

дать ему средства для основания фаланстера, шел еще далее: он надеялся найти утешение не только в истории, но и в самой действительности. Что помогало этим людям с полным бесстрашием смотреть в глаза не только смерти, но самой жизни? Что не допускало их своротить с однажды избранного пути, несмотря на то что личные и ближайшие их интересы, быть может, явно были противоположны их настойчивости, и они сами очень хорошо видели и понимали это? Им помогала страстная их мысль, их поддерживало живое и могущественное убеждение, что эта мысль не замрет и не погибнет бесследно, какою бы горечью ни пропитана была вся обстановка, среди которой ей суждено развиваться. Да, мысль страстная, мысль, доведенная до героизма, может сама по себе представлять неиссякающий и притом столь мало фантастический родник живых наслаждений, что человек, вкусивший сладость этого высшего блага, легко приходит в то возбужденное состояние, которое позволяет ему ко всем прочим благам относиться если не с презрением, то и не придавая им более того значения, которое обыкновенно придается вещам второстепенным или побочным.

Все это так, все это несомненно. Но отчего же от «исторических утешений» как будто бы отзывается иронией? Отчего большинство не только не увлекается ими, но даже совсем их не понимает? Отчего произносящий их уподобляется, в общем представлении, или сытому богачу, который, плотно пообедав, говорит нищему «бог подаст!», или озлобленному бедняку, который то же самое «бог подаст!» не без иронии говорит такому же, как и он, забитому и голодному бедняку? или, наконец, бедняку восторженному, который совершенно искренно (хотя и без малейшего основания) верит, что вот разверзнется немилостивое доселе небо и пошлет назавтра ту манну, которая напитает его? «Дожидайся! пошлет!» — говорит обыкновенно толпа такому искренно убежденному и проходит себе мимо, даже не подарив его взором участия. Ужели же это непонимающее, глумящееся большинство до того ограниченно и лишено идеала, что не способно сознать и усвоить себе даже столь простое понятие, как то, что убеждение верное и справедливое в своей сущности *непременно* должно принести плод в будущем, что чем ближе это будущее, тем оно желательнее, что не оттягивать его приближение надлежит, а, напротив того, всеми средствами ускорять, и что, наконец, носители такого рода убеждений не только не должны быть побиваемы каменьями, но имеют право на всякого рода ограждения со стороны толпы?

К сожалению, во всех этих упреках, делаемых большинству, много правды. Если людей мысли, людей убежденных

можно укорить в наклонности к утопиям, в этом виновато большинство. Если в этих утопиях нередко звучит нечто странное, несбыточное, преувеличенное, то во всем этом опять-таки виновата толпа. Большинство само всегда вызывает на преувеличения; оно вызывает не непосредственно, конечно, а систематическим непризнанием и преследованием той правды, которая составляет первоначальное зерно утопии. Если б не было этого постоянного и жестокого fin de non recevoir[1], которым толпа постоянно и, в большей части случаев без всякого соображения, встречает каждого, вносящего новую мысль в ее жизненный строй, то не могло бы существовать и преувеличений. Человек, которого мысль на каждом шагу встречает себе отпор, и даже не отпор, а простое и бездоказательное непризнание, весьма естественно все глубже и глубже уходит в нее и, не будучи в состоянии, вследствие неприязненно сложившихся обстоятельств, поверить ее на живой и органической среде, впадает в преувеличения, расплывается, создает целую мечтательную обстановку и в конце концов мысль совершенно ясную, простую и верную доводит до тех размеров, где она становится сбивчивою, противоречащею всем указаниям опыта и почти неимоверною. Не довольствуясь отвлеченною сферой, которая может доставить ей лишь временное и притом призрачное питание, мысль ищет для себя практических применений, ибо в них одних может познать свою силу, в них одних может найти материал для дальнейшего развития — и встречает лишь пустоту или прямое, голое отрицание. Но потребность практических, жизненных применений слишком велика, чтоб можно было, без существенного и совершенно невознаградимого ущерба, отказаться от нее — и вот создается целая своеобразная обстановка, где действительное или основанное на действительности самым странным образом перемешивается с гадательным и фантастическим. И когда, наконец, эта смесь истины и лжи, здорового и болезненного выходит на суд толпы, то последняя не дает себе труда отличить правдивую мысль, которая, собственно, и составляет неотъемлемую собственность новатора, от наносной обстановки, которая есть результат систематических ее, толпы, несправедливостей, а прямо указывает на эту последнюю, и уж атакует же, рукоплещет же эта захмелевшая, растленная толпа.

Повторяю: большинство виновато; не будь оно до такой степени тупо-консервативно, не держись так упорно той избитой и никуда не годной колеи, в которой оно гибнет, само

---

[1] отказа в признании.

того не подозревая, мысль не знала бы преувеличений, а, напротив того, всегда имея перед собой возможность скорой и надежной поверки, поневоле ограничивала бы себя именно теми размерами, которые в данную минуту пригодны. Утопия потеряла бы повод для существования...

А покуда этот повод еще есть, покуда никакое новое жизненное начало не может пробить себе дорогу, не подвергаясь опасности быть заподозренным в чем-то мятежническом и угрожающем общественному спокойствию. И бедные, бескорыстные труженики будущего поневоле должны искать утешений в истории...

Что в этих последних скрывается очень значительная доза иронии — это не может подлежать никакому сомнению. Прежде всего, уже самая возможность такого рода утешений ясно свидетельствует о некоторой ненормальности в той совокупности жизненных условий, при которых она допускается. Всякая мысль, всякая истина, кроме результатов исторических и отдаленных, непременно должна иметь и непосредственный, ближайший результат. Существенный интерес мысли, конечно, не в том заключается, чтобы ее не признавали и не допускали в жизнь, а в том, напротив, чтоб как можно скорее получить возможность доказать на деле правдивость и силу, в ней заключающиеся. Упрек в несвоевременности, идеализации и каких-то скачках, обыкновенно делаемый в подобных случаях, всегда не основателен. Как ни далеко провидит мысль, но процесс ее развития всегда спокоен и ровен; она связана известными логическими законами, которые не дозволяют ей урывками переходить от ближайшего звена к отдаленному, не допускают оставлять между ними промежутков, и ежели нередко встречаются примеры противного, ежели мысль с особенною страстностью останавливается на результатах отдаленных, оставляя перед ними как бы пустоту, то это именно доказывает ту истину, о которой было говорено выше: что мысль, при самом своем появлении, не встретила себе ни сочувствия, ни нужной для своего осуществления среды. Следственно, если мысль, питающуюся отдаленными надеждами, и можно, с известными оговорками, назвать ненормальною, то тем с большею основательностью следует присвоить это название тем жизненным условиям, которые порождают для нее подобное положение. Среда, в которой такое явление терпится, есть положительно среда растленная, враждебная всему честному и разумному, а человек, осужденный жить в такой среде, есть человек несчастный, несмотря ни на какие «исторические утешения». Нет, конечно, сомнения, что ни в органическом, ни в умственном мире ничто не пропадает бесплодно и что, следст-

венно, мысль человеческая, какими бы неблагоприятными условиями ни была она обставлена, все-таки где-нибудь и когда-нибудь даст свой отпрыск, но, с другой стороны, справедливо и то, что в сфере разумной никакое угнетение немыслимо, что там оно всецело и немедленно обращается во вред самим угнетающим условиям. Мысль — то же семя, которое должно показать свой рост немедленно, вслед за тем, как оно брошено в землю. Ежели сеятель, не видящий этого роста, будет утешать себя тем, что семя все-таки не до конца изгибло, что оно посредством иного органического процесса в той или другой форме все-таки даст известный результат, то, хотя утешение такого рода нельзя назвать ни бессмысленным, ни смешным, тем не менее невозможно не согласиться и с тем, что это утешение половинное, утешение, которое может назваться этим именем лишь за недостатком других более существенных и положительных утешений.

Но и помимо этого, ежели мы ближе вникнем в самую сущность так называемых «исторических утешений», то убедимся, что они возможны только для мысли восторженной, страстно возбужденной. Теперь спрашивается: при каких условиях может быть мысль доведена до возбужденного состояния и встречается ли в этом последнем существенная необходимость для того, чтобы правильность мыслительного процесса была вполне обеспечена? Конечно, творческий процесс мысли всегда сопряжен с известного рода возбуждением умственных сил человека; конечно, развитие мысли само по себе может служить источником наслаждений и восторгов самых действительных, но ведь в настоящем случае о такого рода возбуждении мысли не может быть и речи. Это возбуждение, если можно так выразиться, светлое, чуждое всякой горечи; это возбуждение торжествующее, предвидящее скорую несомненную победу. Мысль напряжена, но спокойна; она сознает себя восторженною, но не потому, чтобы провидела необходимость жертв или самоотвержения, а потому, что впереди ее ожидает несомненный успех. И ежели это страстное, ликующее состояние мысли смущается по временам сомнениями в ее практической стоимости и применимости, то сомнения эти почти всегда касаются лишь подробностей. Мысль может потерпеть частные поправки, но сущность, но зерно ее останется нетронутым. И эта уверенность в полной разумности среды, для которой она предназначается, придает ей особенную энергию, которая, однако же, отнюдь не противоречит полному спокойствию и самообладанию. Совсем другого рода характер имеет возбужденное состояние той мысли, которая ожидает себе утешений только от истории. Здесь возбуждение есть всегда прямой результат

бессовестным образом сложившихся условий, результат неудач, гонений и всякого рода насильств. Человек мысли приводится в восторженное состояние не ожиданием торжества, но ожиданием тех пыток, которые готовит ему будущее. В его восторгах есть нечто болезненное, лихорадочное, в них есть даже зерно своего рода фанатизма. Самое развитие мысли не может следовать своему естественному пути, ибо на каждом шагу подвергается насильственным перерывам... Вот положение восторженной мысли, питающейся «историческими утешениями», положение, исполненное яда и переносимое только благодаря тому искусственному возбуждению, которое его сопровождает. Понятно, что условия такого рода далеко не необходимы для того, чтобы обеспечить мысли ее ясность, и что, напротив того, они могут только вредоносным образом на нее действовать.

Итак... но прежде нежели продолжать, я должен оговориться. Я знаю, что найдутся люди, которые из предыдущих моих слов непременно выведут нечто грубое и пошлое. Скажут, например, что я пропагандирую теорию каплуньего самодовольства и еще более нелепого выжидания; скажут, что я бросаю каменьями в тех лучших людей, которые запечатлели силу своей мысли великим подвигом самоотвержения... Таких усердных толкователей я прошу прочитать мою настоящую хронику повнимательнее. Быть может, по зрелом размышлении, они убедятся, что здесь идет речь вовсе не о самодовольстве и выжиданиях, и всего менее о бросании каменьями. Но чтобы помочь им в уразумении истинного смысла моих слов, я необходимо должен войти в некоторые разъяснения. Уже в самом начале настоящей статьи я заявил мое полное сочувствие тем лучшим людям, которые не только мыслят, но и отстаивают свою мысль с страстностью, доходящею до самоотвержения. Прошу верить, что заявление это вовсе не изворот и что слова, сказанные мною по этому поводу, совершенно чужды всякой иронии. Сам по себе взятый, жизненный подвиг этих людей не только в высшей степени замечателен, но вообще такого свойства, что напоминание об нем, и притом беспрестанное, непрерывающееся напоминание составляет предмет существенной и настоятельной необходимости. Бывают такие горькие минуты в жизни человечества, когда нужно без устали твердить ему о самоотвержении, о великой, очищающей роли самопожертвования... Даже, пожалуй, об аскетизме. Это те минуты, когда человек мысли обязан обладать всею страстностью души, полным энергическим сознанием всей правоты и прочности своего дела, чтобы не оставить или не проклясть его; это те минуты, когда одичалое большинство,

с одной стороны под влиянием самодовольного и дешевого разврата, с другой — вследствие гнета невежества и всякого рода материальной и духовной нищеты, доходит до полного умственного онемения, до остервенелого отрицания всякой мысли, тревожащей его неподвижность. В такие эпохи самоотвержение есть обязательный закон для всего мыслящего, и предание о взявшем на себя бремя общественных недугов встречает себе как нельзя более своевременное осуществление. Но уже одно то, что о такого рода положении невозможно говорить без глубокого нравственного потрясения, свидетельствует о его ненормальности. Конечная цель человека, как в частности так и в сфере общей, все-таки счастие, и ежели вследствие целого строя обстоятельств представление о «счастии» до такой степени извращается, что может идти рядом с представлением о всякого рода нравственных и физических истязаниях (ибо есть люди, которые считают свой подвиг неконченным, ежели он не запечатлен страданием), то это свидетельствует ни о чем другом, как о глубоком нравственном распадении целого общества. Следовательно, ежели и встречается необходимость твердить о необходимости самоотвержения и проч., то эта необходимость печальная; ежели настоит нужда утешать людей ссылками на историю, то это нужда прискорбная, за которою чуется кровь. Во всяком случае, необходимость эта еще громче и настоятельнее говорит нам о другой необходимости: о необходимости как можно скорее избавиться от нее. Это своего рода черная немочь, с разницей, что последняя губит безразлично и цвет человечества, и негодное его отребие, а первая исключительно направляет свою разрушительную силу на то, что есть лучшего и доброго на земле.

Итак, не осуждение, и тем менее насмешку, а напротив того, слово сочувствия хочу я послать тем людям страстной мысли и непоколебимого убеждения, которые в истории ищут и обретают себе силу, укрепляющую их в борьбе с жизненною неурядицей. Эти люди выполняют свою миссию как могут и насколько могут, и ежели человеческая нива представляется нам усеянною безвременно погибшими жертвами, то это еще отнюдь не значит, что жертвы эти бесплодные или бесследные. Но, рядом с этим сочувствием, я хочу высказать еще и другую мысль: не достаточно ли жертв? Оглядимся, поищем, нет ли других утешений, кроме тех, которые предлагает история? Вопрос этот возвращает меня к прерванной нити моих размышлений.

Выше я сказал, что в преувеличениях мысли более всего виновато большинство, которое почти всегда неприязненно относится ко всему новому, не представляющему прямых и на-

глядных выгод. Но, с другой стороны, если мы пристальнее вникнем в историю духовного и нравственного развития человеческих обществ и примем в соображение ту страшную медленность, которая всегда сопровождает накопление и распространение знаний в этих обществах, то найдем себя некоторым образом в лабиринте, в котором все до такой степени спутано, что отделить виноватых от невиноватых почти совершенно нельзя. Я очень хорошо могу, например, понимать неправильности известного порядка, а сверх того, могу даже постигать и возможность иного, лучшего общественного устройства, но старый порядок меня давит всем своим искони накопившимся гнетом, но он вяжет мне руки и налагает печать молчания на уста. Может быть, нас и много таких, которые могли бы сойтись и столковаться друг с другом, может быть даже, что в самое большинство уже проникло новое слово, что оно носится, так сказать, в воздухе; но мы, сочувствующие этому слову, не знаем друг друга, мы рассеяны, как иудеи, по лицу земли, у нас нет центра, около которого мы могли бы сплотиться,— и вот хорошее слово не выговаривается, и долго еще томится человечество в оковах старого предрассудка (ведь бывает же, что положение вещей, наглядно невыгодное для самого большинства, все-таки существует многие десятки лет, искусственно защищаемое незначащим меньшинством, успевшим сплотить и организовать себя). Виноват ли я, понимающий, сознающий и чувствующий, в том, что не протестую против этого предрассудка, да и обязан ли я протестовать. Нет, я не виноват, ибо всюду, куда я ни обернусь, вижу только свидетельство своего бессилия и беспомощности, ибо мало сознавать ненужность и вред предрассудка, а нужно еще прийти к убеждению, что силы, необходимые для его сокрушения, имеются в наличности и притом достаточны для того, чтобы надолго не скомпрометировать дорогого дела. Ибо протест дело великое, и для людей, не выходящих из общего уровня, почти немыслимое без ясных и верных шансов на успех...

Все это, конечно, нимало не умаляет подвига тех, которые, несмотря на малые шансы успеха, все-таки протестуют, все-таки страстно преследуют свою мысль сквозь все неудачи и препятствия. Но то, что весьма естественно в личности исключительной, особенно щедро одаренной природою, то является анахронизмом по отношению к заурядному человеку толпы. Последний вовсе не обязывается ни быть героем, ни самоотвергаться, ни жертвовать собою, а все, что от него можно желать, заключается в том, чтобы он был настолько понятлив, чтобы дело добра и истины находило в нем более сочувствия, нежели дело зла и лжи. Заурядный человек, по самой природе

своей, слишком ограничен, чтобы отдаленные цели предпочитать ближайшим и непосредственным, чтобы искать для себя утешений в истории, а не в действительности; но все это не мешает ему быть человеком и не лишает его права на то, чтобы на него смотрели именно как на человека, а не как на презренную тварь. Правду сказал некто: Прасковья Петровна отнюдь не виновата в том, что она родила Александра Федорыча, а не Вильгельма Карлыча, ибо она никому и ничему не обязывалась рождать Вильгельмов Карлычей. Точно так же и Александр Федорыч нимало не виноват в том, что его родила Прасковья Петровна, а не Минна Ивановна. И ежели Александр Федорыч имеет способности умеренные, ежели он положительно отказывается от намерения быть героем, то это нисколько не препятствует ему называться человеком и требовать, чтоб это качество было признаваемо в нем и со стороны других, и не только других Александров Федорычей, коими кишит человеческая нива, но и Вильгельмов Карлычей, составляющих на этой ниве редкое и ценное произрастание. Мало того: заурядный человек даже не имеет права быть героем, во-первых, потому, что, геройствуя, он только повредит тому делу, в пользу которого геройствует, а во-вторых, и потому, что современное человеческое общество совсем еще не в таком положении, чтобы могло вынести неограниченное число героев: ему покуда нужно, чтоб большинство его состояло из людей чернорабочих, заурядных, с которыми можно обращаться без ненависти, но и без благоговения.

Но все, что я сказал об отдельных людях толпы, еще с большим основанием применяется к самой толпе. Отдельный человек, хотя бы и самых умеренных способностей, имеет шансы очутиться в таких благоприятных обстоятельствах, которые могут воспитать его. Это может сделать его если не заправским героем, становящимся таковым вследствие собственного движения страстной души, то человеком преданным делу, преданным потому, что продолжительная обстановка жизни и постоянное повторение явлений известного характера породили в нем привычку, отказаться от которой ему гораздо мудренее, нежели принять даже такое положение, которое обещало бы наибольшую сумму спокойствия и материального благосостояния. Несравненно труднее разрешается подобный вопрос для толпы, в ее совокупности. Она слишком огромна и разнообразна, но по этому-то самому в ней странным (впрочем, только по-видимому странным, а в сущности естественным) образом сочетались и слабость, и властность. С одной стороны, огромность содействует ее разрозненности, а эта последняя положительно устраняет все средства к тесному соглашению и в то же

время полагает непреодолимое препятствие к принятию каких-либо решений, кроме тех, которые навязываются рутиною, или, говоря деликатнее, силою обстоятельств. Исключений из этого правила немного, и ежели мы не можем отвергать, что у толпы все-таки бывает общий тон, то это именно тот тон рутины, который легко дается всему ограниченному и близорукому и который постоянно проходит сквозь жизнь толпы, по временам сдабриваемый, а по временам подвергающийся более или менее значительной порче. С другой стороны, та же громадность толпы весьма естественно дает ей чувство силы; осматриваясь кругом и не видя себе конца, она должна ощущать некоторое самодовольство, должна сознавать, что в ее массе есть что-то неодолимое, решительное, не терпящее отговорок. Отсюда ее властность, ее способность увлекаться зрелищем материальной силы, а так как эта властность постоянно парализуется тою внутренней слабостью, о которой говорено выше, то из сочетания этих двух качеств происходит обстоятельство, крайне неблагоприятное для воспитания толпы. Разрозненность, устраняющая возможность обдуманности и соглашения, и массивность, фаталистически парализующая движение,— вот условия, среди которых совершается воспитание толпы, условия, как видится, далеко для нее не полезные.

Итак, если мы, с одной стороны, сочувствуем людям мысли, которые, несмотря на гнет обстоятельств, делают свое дело, в чаянье, что оно не погибнет и что история, рано или поздно, засвидетельствует об их торжестве, то, с другой стороны, находим и смягчающие обстоятельства для большинства, для того большинства, в котором именно и заключается гнетущее для мысли начало. И мы отнюдь не впадаем в противоречие, допуская существование рядом двух столь противоположных положений, но только констатируем живой факт в том самом виде, в каком он существует в натуре. В самой действительности существует этот глубокий антагонизм между толпою и людьми мысли, в самой действительности есть нечто такое, что заставляет их взаимно исключать друг друга, и до тех пор, пока не устранится на деле причина, породившая такое явление, прогресс человечества, хотя и нельзя будет признать явлением мнимым, но, во всяком случае, процесс, через который ему суждено пройти, будет процессом медленным и мучительным.

Для человека сколько-нибудь добросовестного положение столь шаткое не может не быть предметом серьезных и горестных размышлений. Силою вещей он поставлен между двумя равными крайностями, из которых одна имеет за себя силу разума, а другая — силу материальную; если победит

последняя, то человечество, несомненно, должно будет прийти в дикое состояние и погибнуть; если победит первая... но может ли она победить? вправе ли победить? и что такое, наконец, самое это слово: «победить»?

В мире разумном, в том идеальном мире, до представления которого может, по временам, возвыситься наша мысль, насилие немыслимо; там прежде всего и над всем господствует равноправность и правомерность отношений. Возьмите для примера какие хотите социальные теории (ныне называемые утопиями) — и везде вы найдете, что эти, а не иные какие-либо основы составляют краеугольный камень их общественных построений и комбинаций. Отнимите эти основы — и разумный мир распадается сам собою и уступает место миру случайному, в котором не только ничто не имеет определенного места, но самое добро является чем-то произвольным и до крайности непрочным. Итак, насилие неразумно и немыслимо — это несомненно, но что же такое «победа», как не насилие, облеченное, так сказать, в более или менее учтивую форму? Какие могут быть последствия победы? Последствия эти суть гибель противника, его уничижение или, по малой мере, пристыжение. И как мы ни станем оправдываться и оговариваться, что могут быть победы более разумные, разумность эта будет влиять только на формы факта, а отнюдь не на его сущность. Как ни постараемся мы смягчить противнику его поражение, все-таки это будет поражение, а не торжество, и ощущение, произведенное первым, всегда будет неприятно.

Справедливость этой мысли доказывается уже тем, что люди наиболее развитые всегда наименее склонны пользоваться плодами своих побед, а тем менее давать чувствовать их тяжесть своим противникам. Что руководит ими в этом случае? Очевидно, ими руководит, во-первых, то высокое чувство равноправности, которое не допускает самого представления о победе, а во-вторых, та мысль, что, поражая противника, они в то же время поражают самих себя, то есть свою собственную теорию. И таким образом, если мы поставим себя на место тех людей мысли, о которых говорится выше, то увидим, что победа до известной степени недоступна для нас уже по тому одному, что мы сами не воспользуемся ею, что мы слишком совестливы, что она претит, наконец, самым коренным нашим нравственным убеждениям.

Но, кроме того, она сомнительна для людей мысли еще и потому, что они обставлены слишком невыгодно для того, чтоб надеяться на непосредственное торжество. Прежде всего, они малочисленны, потом разъединены и, наконец, на

каждом шагу своей деятельности встречаются с самодовольным упорством толпы, которая не хочет знать ни выводов, ни доказательств, а коснеет себе да коснеет в своей неподвижности. Возможно ли торжество при таких условиях? Ответ, кажется, несомнителен: да, торжество возможно, но торжество «историческое»...

Я опять-таки очень хорошо знаю, что некоторые «юродствующие» остановятся на этом месте и, не говоря худого слова, обвинят меня и в постепеновщине, и в стачке с действительностью, и в глумлении, и невесть еще в чем. Но погодите, юродивцы, погодите! Вы и не подозреваете, что всю эту речь я не к чему иному веду, как именно к мысли о необходимости победы, о настоятельности торжества.

Да, мы живем не в Аркадии и не в Икарии. Благодушие точно так же чуждо нашему обществу, как и чувство полной правомерности отношений. Мы имеем не только право, но и обязанность защищать себя против невежества и дикости, которые не дают нам дышать, ибо тут идет речь о нашей жизни и отстаивать ее повелевает нам простое чувство самосохранения. Если, при известных условиях, жизнь представляется в форме войны, то никто не изъемлется от необходимости вести ее, а ежели бы кто и вздумал сам для себя сделать это изъятие, то будет вовлечен в войну помимо собственной воли непреодолимою силою обстоятельств. Подавляющее влияние среды слишком неотразимо, чтобы даже самый сильный человек мог вполне противостоять ему. Если жизненные убеждения этого человека совершенно отличны от тех, которые составляют ходячую монету между его современниками, если в этом отношении он не пригнется и не подчинится давящей силе большинства, то он подчинится ему в другом отношении, он примет его внешние жизненные обычаи, подчинится господствующим в этом большинстве привычкам. И тогда необходимость войны, необходимость победы и всех ее уродливых последствий будет для него ясна. Ибо никогда не следует забывать, что в среде ненормальной только то действие и может быть сочтено нормальным, которое соответствует окружающей его ненормальной обстановке.

Итак, речь идет совсем не о том, чтобы уклоняться и прятать свою мысль, а о том, чтобы сделать победу возможною. Для этого необходимо, во-первых, усвоить такой образ действия, который наиболее щадил бы нашу щекотливость относительно самого представления о необходимости войны, и, во-вторых, уничтожить, по мере возможности, те препятствия, которые отовсюду представляются с очевидною целью сделать торжество нашей мысли мнимым. Задача, ко-

нечно, не легкая, но в то же время и не столь трудная, как это кажется с первого взгляда.

Прежде всего, здесь необходимо убедить себя в том, что всякое стремящееся провести себя в жизнь дело имеет к своим услугам двоякого рода деятелей: во-первых, инициаторов, по мысли которых оно возникло и ведется, и, во-вторых, чернорабочих, которые суть ни больше ни меньше, как строгие и точные исполнители чужих планов и намерений. Это различение весьма важно, и всякая небрежность в этом смысле может иметь неисчислимые и очень неполезного свойства последствия.

Если за инициаторами, этими людьми мысли по преимуществу, мы признаём право относиться к действительности с большим или меньшим нетерпением, если с их стороны не кажется странным то искание «исторических утешений», по поводу которых пишется настоящая статья, то никаких подобных прав не имеют и не могут иметь простые чернорабочие мысли. В этих последних всего более ценится их преданность, их, так сказать, материальное геройство. Они представляют собой те самые окопы, за которыми мысль может жить и развиваться, не будучи каждую минуту вынуждаема заботиться о своей защите. Вне этой роли чернорабочий приносит более вреда, чем пользы: во-первых, он наболтает, во-вторых, переврет, в-третьих, насмешит и, в-четвертых, наделает галиматьи. Горе чернорабочему самонадеянному, лезущему в герои! Он и сам погибнет, и увлечет за собой хотя частицу того дела, которому служит! Будучи от природы ограниченным, он (смотря по тому, какой у него нрав, буйный или унылый) или без толку полезет напролом, или без толку же будет хныкать. И ни в его храбрости, ни в его хныкании не будет ни малейшего следа той искры, которая горит во всяком слове и движении учителя, а будет все тот же характер ремесленности, который не покидает никогда чернорабочего, как бы он ни был развязен, как бы ни прикидывался героем. Посему драгоценнейшие качества чернорабочего суть: стойкость при натиске, сознание необходимости организации, почтительность и послушливость. И если при этом с их стороны будет выказана самоотверженность, то это будет не та высокая и очень часто слишком тяжкая самоотверженность, которая свойственна людям мысли, а простое и естественное последствие тех обязанностей, на исполнение которых они себя обрекли. Быть может, эти слова мои покажутся обидными или горькими, быть может, они возбудят даже негодование, но не об обиде идет здесь речь, а о том, чтобы сказать наконец ту правду, от непризнания которой гибнет все лучшее, а процветают человеческие волчцы.

Да, лучшее гибнет, лучшее исчезает,— в этом мы могли убедиться не со вчерашнего дня. Волчцы! подумали ли вы когда-нибудь, что за проклятая тайна присутствует в этом деле? поставили ли вы себе когда-нибудь искренно и обстоятельно вопрос: кто виноват? Были ли вы почтительны, были ли вы послушливы? Ибо ведь недостаточно обвинять только большинство, одно большинство — это-то мы и без вас знаем, что оно виновато,— а надлежит вглядеться во всю обстановку, которая окружала мысль и которая, быть может, и могла бы ее защитить, да не защитила...

Итак, пункт первый: во всяком деле необходимо отличать инициаторов и чернорабочих. Первые имеют право мыслить, вторые имеют право исполнять; первые имеют право искать утешений в истории и даже возбуждаться и укрепляться этими утешениями в борьбе с обстоятельствами, вторые должны как можно меньше думать о таких утешениях, а заботиться только о том, что у них непосредственно под руками. Такое различение, несомненно, помогает делу: оно устраивает его.

Затем, идет речь собственно о войне. Поставим себя на место людей мысли и спросим, претит ли нам такое занятие? Ответ будет несомненный: претит. Мы люди мира и гармонии, мы, даже вызванные насильственно на борьбу, по возможности, умеряем силу наших ударов, дабы не скорбеть при виде того позорного зрелища унижения, которое бывает естественным последствием всякого решительного торжества. И мы имеем право на такую гадливость, ибо сознали нашу мысль во всей ее ясности, и эта мысль не только теоретически исключает представление о необходимости войны, но и все ее практические подробности так построены, что войны нет и не может быть. А между тем она есть; она не хочет знать наших теорий, а присутствует в том раздражающем и опьяняющем воздухе, которым мы дышим. Как поступить в этом случае, чтоб не впасть в прямое противоречие с самим собою, чтобы не оскорбить, не задеть за живое своих коренных убеждений? Ответ на это очень простой: мы не обязаны даже и думать об этом. У нас должна быть организация, должны быть чернорабочие, которых преданность доходит до того, что не дает нам даже случая впасть в противоречие с нашими дорогими убеждениями. Мы люди мысли, и самое лучшее, что можем сделать,— это не покидать сферы мысли. Эта мысль сделает то практическое дело, какого практичнее ничего нет на свете: она оплодотворит людей действия, она прольет огонь в их сердца, она сделает их почтительными, послушливыми и твердыми в бедствиях. Философу Ризположенскому она скажет: не раздирай ногтями своих собственных внутренностей, не вопи на самого себя, не

лай на луну, но обрати свои ногти, свой вопль и лай на противников того дела, которому ты служишь. Публицисту Скорбященскому она скажет: не распространяй слухов о терпении и о вознаграждениях, имеющих последовать в будущей жизни, но будь дерзок, ибо только дерзостью получишь в сем мире желаемое. Наконец, псевдоестествоиспытателю Кроличкову она скажет: не прикидывайся естествоиспытателем, ибо ты воспитанник Кузьмы Пруткова, у которого и заимствовал свои сведения по части естествознанья... ступай вон! И тогда образуется у нас нечто правильное. Ризположенский будет раздирать внутренности действительных противников его дела, а не свои собственные (или, что все равно, внутренности противников мнимых), Скорбященский будет словом и делом пропагандировать мысль о натиске, а Кроличков совсем уйдет вон.

И тогда мы, люди мысли (повторяю, я только ставлю себя на место этих людей, а отнюдь не претендую идентифировать себя с ними), получим именно то желаемое положение, которое одно только относительно нас и может быть названо правильным. А именно: мы получим возможность свободно и спокойно предаваться делу мысли, не будучи на каждом шагу вынуждаемы впадать в противоречия с нею, возможность не знать о тех препятствиях, которые встречает эта мысль в будничной обстановке жизни. Все эти мелкие подробности, вся горечь и неприятность, неразлучные с процессом проникновения мысли в практику, падут на долю тех преданных чернорабочих, которые не только не дадут нам чувствовать их, но даже скроют от нас об их существовании. Мысль наша не будет встречать задержек и потому не пойдет, как говорится, в суп (как это нередко случается ныне), а разовьется во всей ее гармонической стройности. Быть может, даже... мы получим возможность находить утешения и не в одной истории...

Мне могут возразить, что я проповедую аристократию мысли, которая может впоследствии развиться столь же вредоносно, как и аристократия денег, аристократия силы и т. п. Но это возражение неверное. Во-первых, я говорю о положении временном, о положении, нужном лишь в данную минуту, в полном убеждении, что аристократия мысли, ежели она есть, менее всякой другой может окорениться и сделаться наследственною. Во-вторых, я вполне убежден, что по мере накопления знаний в массах не только уровень этих знаний, но и уровень самых человеческих способностей должен представлять гораздо менее уклонений против тех, которые встречаются ныне, и, следовательно, аристократия мысли будет иметь все менее и менее причин для существования. В-третьих, наконец,— и это главное,— я говорю совсем не об аристократии,

а об организации, и ежели слова могут возбуждать какие-либо недоразумения или опасения, то на это я могу отвечать одно: ежели вы желаете, то желайте, ежели не желаете, то уйдите и не мешайте другим.

Все мое намерение заключается в одном слове: дело. Самопожертвование, самоотвержение, геройство и проч. суть необходимые принадлежности человеческой деятельности, но отнюдь не должны быть целью ее, ибо в противном случае мы имели бы слишком легкий способ удовлетвориться и успокоиться. Я говорю одно: полезное и благотворное дело стоит в миллион раз дороже, нежели самая честная и безупречная деятельность человека, ибо дело вечно, а деятельность человека переходит вместе с ним и познается только в той мере, в какой она отразилась на деле.

И еще могут меня обвинить в том, что пропагандируемая мною мысль слишком жестока, что, по смыслу ее, положение так называемых чернорабочих не только утрачивает всякую красивость, но просто-напросто делается невыносимым, и что едва ли даже возможна такая организация, в которой существовал бы целый многочисленный класс людей, всегда готовых жертвовать собой в пользу мысли, в которой даже не заинтересованы страстно их личности. На это я могу отвечать моим возражателям: во-первых, что подобные организации существовали и существуют — это нам доказывает не только история, но и действительность: оглянитесь кругом и уверьтесь, а во-вторых, опять то же, чем я ответил и на первое обвинение, а именно: если вы желаете, то желайте, если не желаете, то уйдите прочь и не мешайте другим.

Затем, мне остается сказать еще несколько слов о том, что именно и составляет главный предмет настоящей статьи, то есть об устранении тех препятствий, которые на каждом шагу встречает мысль со стороны дикости и невежества, или, говоря иными словами, о наилучших способах к успешному ведению войны.

Выше я сказал, что ежели нам и случается встретиться с преувеличениями мысли, то в этом виновато исключительно большинство, раздражающее мысль постоянным преследованием и непринятием. Мысль положительно не может бороться с этим равнодушием, ибо ее дело давать тон, а не бороться. Но, с другой стороны, неприязненное отношение большинства к мысли объясняется тем глубоким невежеством, в которое оно погружено, и это обстоятельство ежели не оправдывает большинства вполне, то значительно смягчает его вину. Мысли, конечно, до этого дела нет, ибо она имеет право развиваться и независимо от подобных соображений, но тому делу,

которое она проводит в жизнь, очень важно изменить такие отношения и добиться того, чтобы большинство сделалось более ручным и не смотрело на всякое проявление добра, как на что-то враждебное, тревожащее его спокойствие. Необходимо упростить мысль, сделать ее мирским достоянием, необходимо, чтоб она дошла до большинства в доступной ему форме, чтоб она завладела им незаметно для него самого и не оскорбляла его своею высотою и величием.

Вот эта-то цель и достигается через тех чернорабочих мысли, о которых говорено выше. Сила их заключается не только в том, что они составляют, так сказать, передовые укрепления мысли, что они защищают ее своими телами от натиска неполезных элементов, но и в том, что они служат соединительною цепью между мыслью и большинством. Если мысль имеет право к известным явлениям жизни относиться с некоторою гадливостью, то этого права отнюдь не имеют чернорабочие мысли. Будучи по натуре своей ограниченны, они принадлежат большинству всецело, и ежели выделили себя из него, если пришли к познанию иного сладчайшего вина, нежели то, которое предлагается ко всеобщему употреблению, то это произошло лишь благодаря особенно благоприятному стечению обстоятельств. Для чернорабочего непостыдно обращаться к большинству, да и нет никакого резона не говорить с большинством языком этого большинства. Он не должен только забывать, откуда он идет, он должен всегда чувствовать себя членом иного мира, посланным к большинству не для того, чтоб утонуть в нем, а для того, чтобы привести его к мысли.

Вот все, что могу покамест сказать об этом предмете, но думаю, что читатель будет достаточно благоразумен, чтоб увидеть в моих словах лишь то, что они действительно означают.



СТАТЬИ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЗРАКИ[1]

(Письма издалека)

> Le globe est confié à l'humanité comme un domaine à la question duquel elle est préposée. C'est là sa destinée terrestre. Or, elle ne peut accomplir cette question pendant son enfance, car on conçoit bien qu'elle doit avoir conquis, pour être apte à pareille oeuvre, de la sève et de la force: il faut qu'elle se soit créé des instruments, des moyens de puissance qui ne lui viennent qu'à la suite du développement des arts, des sciences et de l'industrie.
>
> *Victor Considérant, «Destinée sociale»* [2]

I

Что миром управляют призраки — это не новость. Об этом давно уже знают там, на отдаленном Западе, где сила призраков сказалась массам с особенною настоятельностью, где много писали о призраках, где не только называли их по именам, но делали им подробную классификацию, предлагали даже средства освободиться от них. Мы, люди восточного мира, не можем последовать этому последнему примеру, во-первых, потому, что сами еще плохо знаем, какие, собственно, наши призраки и какие чужие, а во-вторых, потому... ну, да просто потому, что не можем. Понятно, следовательно, что, приступая к такому деликатному сюжету, мы обязаны действовать с осторожностью и говорить больше обиняками. Добросовестный читатель оценит всю затруднительность такого положения.

---

[1] Под этим именем автор предполагает издать целый ряд писем, которые и будут от времени до времени появляться в «Современнике». (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

[2] Земной шар вверен человечеству, как владение, к которому оно приставлено. В этом его земное назначение. Но человечество не может выполнить его во время своего детства, ибо вполне понятно, что оно, чтоб быть способным к такому делу, должно приобрести крепость и силу; ему надо создать себе орудия, средства, могущество, которые могут прийти только путем развития искусств, наук и промышленности.

Виктор Консидеран, «Общественное назначение».

Принято за правило наше русское общество называть молодым. Коли хотите, оно и молодо и старо в одно и то же время; молодо в том отношении, что не успело или не умело выработать из себя ничего самобытного, то есть никаких своих собственных призраков; старо — в том отношении, что существует в силу установившихся и как будто окрепших форм жизни... в силу окрепших призраков, хотел я сказать, но кстати вспомнил, что обещался говорить обиняками. Мы до сих пор жили чужою жизнью — вот уж один достаточно обширный призрак, перед которым должны побледнеть все второстепенные. От этого выходит, что мы, так сказать, пошли в семена прежде, нежели созрели: собачка маленькая, а уж вся словно параличом разбитая, огурчик маленький, а уж весь сморщился. Это бывает иногда со школьниками, которые с десятилетнего возраста начинают курить трубку и тянуть ром. К двадцати пяти годам из такого мальчугана обыкновенно образуется молодец-мужчина: и лысинка на голове появится, и щечки одрябнут, и глазки затекут... С наружной стороны — чистейший продукт английской болезни, усовершенствованной достаточными приемами сулемы, с внутренней — все помыслы, вся складка, вся, так сказать, непромокаемость государственного человека! Ему бы еще поидеальничать, ему бы за девушками побегать, а он мечтает о месте начальника отделения, он весь проникнут томными помыслами о том, как хорошо бы дорваться до места начальника акцизных сборов! Жизнь опрокинута вверх дном, подсечена в самом основании; клавиша, которая для извлечения полного звука должна бы ударяться об три струны, с самого начала ударяет об одну — что̀ за звук, что̀ за звук должен вылетать из этого разбитого, расхлябавшегося инструмента!

Впрочем, я должен раз навсегда оговориться, что, употребляя слово «общество», я разумею только так называемые верхушки его. Что делается внизу, какие призраки царствуют там, да и царствуют ли еще там какие-нибудь призраки,— я не знаю, да и вряд ли кому-нибудь это известно. Быть может, там даже вовсе нет призраков — это было бы недурно, если б можно было удостоверить, что самое отсутствие призраков не составляет также своего рода огромного призрака, который со временем разрастется в мириады маленьких. Во всяком случае, предупреждаю, что я намерен говорить о бельэтаже, а не о подвалах.

Итак, начнем беседовать обиняками.

Что такое призрак? Рассуждая теоретически, это такая форма жизни, которая силится заключить в себе нечто существенное, жизненное, трепещущее, а в действительности заклю-

чает лишь пустоту. По-видимому, даже слово «заключать» тут неуместно, ибо призрак ничего не проникает, ни с чем органически не соединяется, а только накрывает. По-видимому, это что-то внешнее, не имеющее никаких внутренних точек соприкосновения с обладаемым им предметом; это одеяло, случайно наброшенное, одеяло блестящее или изорванное в лохмотья, но которое во всякое время, без боли для предмета, под ним находящегося, можно сбросить и заменить другим. Но все это только «по-видимому», все это только в отвлечении, в теории; на деле же призрак так глубоко врывается в жизнь, что освобождение от него составляет для общественного организма вопрос жизни или смерти, и во всяком случае не обходится без сильного потрясения. Не надо забывать, что хотя призрак, по самой природе своей, представляет для жизни лишь механическое препятствие, но он имеет сзади себя целую историю, которая успела укоренить в обществе дурные привычки, которая успела сгруппировать около призрака всю жизнь общества и, сообразно с этим, устроила ее внешние и внутренние подробности. Следовательно, если самый призрак и можно признать за что-то внешнее, то никак нельзя подобным же образом отнестись к тем привычкам, которые он порождает.

Владычество призраков непременно предполагает бо́льшую или меньшую степень общественного растления. Общество, как и всякий человек, отдельно взятый, стремится к истине, то есть к благосостоянию материальному и нравственному; окольные пути, которыми оно при этом следует, уклонения и ошибки, в которые впадает, доказывают только то, что истина далеко и что для достижения общественного идеала надо переплыть через много морей, перейти через много гор. С этой точки зрения, всякое человеческое общество представляет собой организм высоконравственный, одаренный похвальными и заслуживающими поощрения намерениями. Но с другой стороны, эта самая жажда истины невольно делается причиной не только целого ряда бедствий для общества, но и полнейшей нравственной порчи его. Стремясь к истине и не овладевая ею, кроме колеблющейся под ногами почвы, оно невольным образом бросается навстречу первой истине, которая попадается ему на пути и в которой оно думает найти более или менее удовлетворительное разрешение тревожащей его задачи. Результат этого вынужденного положения — истина временная, идеал минуты, призрак. Призрак украшается пышными названиями чести, права, обязанности, приличия и надолго делается властелином судеб и действий человеческих, становится страшным пугалом между человеком и естественными стремлениями его человеческого существа. Жизнь целых по-

колений сгорает в бесследном отбывании самой отвратительной барщины, какую только возможно себе представить, в служении идеалам, ничтожество которых молчаливо признается всеми. Понятно, какая темная масса безнравственности должна лечь в основание подобного отношения к жизни. Оно может быть сравнено только с положением человека, который, ненавидя свою любовницу, боится, однако ж, ее и вследствие того считает себя обязанным заявлять ей о своей страстности. С этой стороны, общество, этот высоконравственный организм, является организмом совершенно растленным, погруженным, так сказать, в непрерывный разврат. Безнравственность является следствием нравственности — круг, из которого не выйдешь.

Виновато ли общество в том, что так легко подчиняется владычеству призраков? Властно ли оно выбирать между тою или другою истиною? Нет, не виновато и не властно. Истина надумывается сама собою, почва нарастает исторически; следовательно, винить и некого, и не в чем. Взятое в данный момент, общество уже застает призрак вооруженным с головы до ног и защищенным всевозможными стенами, окопами и подъемными мостами. Что может оно, безоружное и слабое, против таких, совсем не двусмысленных, доказательств силы? Ведь этого еще недостаточно, что общество многочисленно, что оно само заключает в себе немалую силу, чтобы с успехом бороться против призрака. Не надо забывать, что сила общества есть сила неорганизованная, рассеянная, сила, так сказать, не сознающая самой себя, кроющаяся под спудом; не надо забывать, что общество, как бы ни явственно оно сознавало обветшалость и пустоту призрака, все-таки воспиталось под влиянием его и вследствие этого не может вполне освободиться от суеверного страха, который внушает имя его. Повторяю: призрак вооружен и укреплен, общество, вступающее в борьбу с ним, безоружно, слабо и подкуплено,— обвиним ли мы его? Ответ, кажется, не может подлежать сомнению.

Но, устраняя от общества современного (или взятого в известный исторический момент) всякую ответственность в подчинении себя призракам, мы не можем не выказать точно такой же снисходительности и относительно отцов и дедов, которые, быть может, самым существенным образом содействовали укоренению и укреплению этих призраков. И для того чтобы достигнуть этого всеобщего оправдания, мы не имеем надобности даже призывать на помощь так называемую ограниченность человеческого ума, эту приятную канву, по которой искатели неизвестного и безграничного так охотно вышивают оправдательные узоры свои. Тут все дело просто заклю-

чается в том, что внешняя природа, отношения к которой, собственно, и составляют содержание человеческой жизни, представляет собой замкнутость, которая слишком скупо открывается человеку. Нормальные отношения к этой belle inconnue[1] возможны только под условием полного и всестороннего ее познания, а так как, с одной стороны, это познание приобретается путем трудным и медленным, а с другой стороны, отношения к внешней природе, хоть какие бы то ни было, должны же существовать, то отсюда открывается не только возможность, но даже совершенная законность и необходимость тех бесконечных скитаний по призрачным мытарствам, в которых сгорают лучшие силы человечества.

Итак, не отцы и не сверстники наши виноваты в том, что призраки тяготеют над миром, а виноват в этом самый процесс наращения и надумывания, который происходит медленно и болезненно. В то время, когда общество начинает уже о чем-то догадываться, что-то подозревать, старая истина все остается в той же суеверной неприкосновенности и предъявляет всё те же права на общество, именно на том основании, что догадка и подозрение не составляют еще никакого существенного фонда для замены отживающей истины. Человек начинает ощущать потребность бога, а бог не открывается, а на месте его стоит все тот же безобразный кумир. Кумир этот исчерпал все свое содержание, он обессилен и не извлекает воды из гранита, а человек все еще простирается перед ним, все еще приносит ему жертву за жертвою. Какая горькая тайна присутствует в этой связи живущего с отжившим, в этом обоготворении мертвечины? Тот, кто даст себе труд вдуматься в то, что сказано выше об отношениях человека к природе, конечно, не усумнится ответить, что тут и тайны никакой нет.

Всякий призрак имеет свою долю истины или, лучше сказать, всякий призрак есть истина, но истина, ограниченная в пространстве и во времени. Сверх того, всякий призрак есть протест против другого призрака, дряхлого и не соответствующего потребностям жизни. Сверх того, всякий призрак есть вместе с тем переходное звено от призрака прошлого и известного к призраку грядущему и неизвестному. Вот сколько внутренних нитей связывает человека с призраком, вот сколько прав имеет последний на жизнь обществ! История человечества, от самой колыбели его, идет через преемственный ряд призраков — вопрос в том, где оно освободится от них, и освободится ли? Это составляет темную, мучительно-трагическую сторону истории (впрочем, светлой-то и успокоительной покуда и не обреталось). Младенческое состояние точных

[1] прекрасной незнакомке.

наук, порождающее исключительное господство спекулятивных знаний и допускающее беспрерывные новые открытия, которые ниспровергают все, над чем трудились, в чем не сомневались целые поколения,— все это такие преткновения, при существовании которых достижение идеала, то есть счастия, представляется чем-то крайне сомнительным, если не окончательно невозможным. Если я не уверен, что мое сегодняшнее знание есть знание действительное, если я постоянно нахожусь под страхом, что то, что я сегодня признаю за благо, завтра, при помощи новых данных, долженствующих расширить горизонт моей мысли, перестанет быть таковым, то очевидно, что ясность моего существования должна быть возмущена, что я не могу иметь ни спокойствия в настоящем, ни уверенности в будущем. Поистине, можно даже подумать, <что> в самом принципе развития и совершенствования, которому неуклонно следует человечество, уже заключается условие величайшего для него несчастия, и, конечно, человечеству было бы невозможно существовать, если б впереди не блистала ему мысль, что цикл колебаний когда-нибудь да кончится. Что это за мысль и в какой степени осуществима она? Не составляет ли она, в свою очередь, призрака, величайшего из всех призраков? Не похоже ли в этом случае человечество на чернорабочего, который все работает и все чего-то ждет, какой-то перемены в своем неотрадном положении. «Вот еще немного потерплю, вот вынесу еще несколько лишений,— повторяет себе бедняга,— и потом буду счастлив!» — а на поверку оказывается, что и еще приходится терпеть, и еще нести лишения. Человечество инстинктивно думает ту же думу и охотно увлекается всякою новою истиной, всяким новым призраком. На первых порах живется легко; на первых порах истина удовлетворяет всех, хотя и действует обманом, то есть торжествует насчет общего нравственного возбуждения. Но обман обнаруживается; болезненное дерево, давшее ему жизнь, начинает гнить, увлекая за собой и плод... Нужно опять и опять идти, опять и опять искать... Куда идти? чего искать? Каких держаться руководящих истин?

В особенности ощутительно дает себя чувствовать эта трагическая сторона жизни в те эпохи, в которые старые идеалы сваливаются с своих пьедесталов, а новые не нарождаются. Эти эпохи суть эпохи мучительных потрясений, эпохи столпотворения и страшной разноголосицы. Никто ни во что не верит, а между тем общество продолжает жить, и живет в силу каких-то принципов, тех самых принципов, которым оно не верит. Наружно, языческий мир распался, а языческое представление, а языческие призраки еще тяготеют всею своею

массою; Ваал упразднен, а ему ежедневно приносятся кровавые жертвы; явления, подобные Юлиям Цезарям, Александрам Македонским, утратили всякий жизненный смысл, а в пользу их еще и доднесь работает человечество. Изменились подробности, но смысл и господствующий тон трагедии остался прежний. Что может быть безотраднее, постылее, возмутительнее, даже пошлее такого положения?

Читатель! случалось ли вам когда-нибудь ощущать, что возможность жить вдруг как-то прекращается? Случалось ли вам спрашивать себя, отчего мысль и руки отбиваются от дела, отчего еще вчера казалось светло, а нынче уже царствует окрест мрак? Отчего люди, жившие доселе в добром согласии, внезапно и искренно приходят к убеждению, что нет никакого разумного повода не только для доброго согласия, но и для простого совместного жительства?

Но это бы еще ничего. Люди, по каким-либо причинам приходящие к сознанию, что им вместе нечего делать, могут разойтись каждый в свой угол и там откровенно позабыть друг о друге. Отчего же они не забывают и не расходятся? отчего, напротив того, они ищут друг друга, чтобы сильнее питать в себе чувство ненависти и озлобления? Ужели и впрямь чувство ненависти может когда-нибудь сделаться единственною путеводною нитью жизни? ужели его одного достаточно, чтобы наполнить ее содержание?

Да; бывают такие черные дни в истории человечества, и, что тяжелее всего, они повторяются периодически. Жизнь общества утрачивает свой внутренний смысл и держится одним формализмом.

Авгуры последних времен Римской империи не могли без смеха взирать друг на друга и между тем все-таки продолжали ремесло свое. Положим, что это были люди бесстыдные, внутренно убежденные в ничтожестве своих заклинаний и рассчитывавшие на невежество масс, только ради личных выгод, да ведь и массы-то уже не верили в них, ведь и массы уже были достаточно прозорливы, чтобы оценить по достоинству безобразные кривляния распадающегося язычества: для чего же они так упорно держались этих кривляний? для чего они с таким озлоблением преследовали новую истину, робко возникавшую рядом с истиной умирающей? Не потому ли, что массы одарены здравым смыслом, не потому ли, что они инстинктивно понимают, что здесь не происходит ничего иного, кроме замены одного призрака другим, не потому ли, наконец, что они замучены жизнью и изверились в возможность ее? И между тем, несмотря на преследования, несмотря на отпор, новый призрак все-таки прокладывает себе дорогу, как

вор подкапывается под основы старого призрака и наконец врывается-таки в самые святилища его. Общество торжествует и чувствует себя обновленным, но вместе с тем скоро, очень скоро после первых порывов нравственного возбуждения с горьким изумлением замечает, что новые формы жизни, которых оно так жаждало и так жадно призывало, в сущности, составляют не более как новый же призрак...

Недаром летописи подобных эпох полны сказаний о самоубийствах: это факт в высшей степени знаменательный. Всем тяжело жить, но вдвое тяжелее ярмо жизни для людей мыслящих и чувствующих. Грандиозность жизненного течения исчезает, явления мельчают, вера в прогресс уничтожается, глазам представляется заколдованный круг... Чему верить? Сердце так полно жажды счастья, но вместе с тем так оскорблено и озлоблено, что с глубокою ненавистью отворачивается от этой исполненной тления жизни. Остается идти к ничтожеству, верить в ничтожество. Смерть делается властительницей дум, ибо она одна что-нибудь разрешает в этом хаосе бессмысленных противоречий, ибо она одна что-нибудь содержит в этой пучине пустоты. Представление смерти является чем-то сладким, отрадно усыпляющим: человек вдумывается в явления жизни, вдумывается в смысл смерти и доходит почти до опьянения, до обоготворения ничтожества. Не узы, но освобождение от уз видит он в смерти, ибо для чего же и жизнь, если она ведет от одного противоречия к другому, от одного ничтожества к другому?

Из всего этого видно, что освободиться от призраков нелегко, но напоминать миру, что он находится под владычеством призраков, что он ошибается, думая, что живет действительною, а не кажущеюся жизнью, необходимо. Не в силу того, что он окончательно сбросит с себя ярмо их, что он изобретением новой и всеобщей панацеи заключит нескончаемый цикл алхимии и астрологии и обратится к более простым и естественным отношениям к природе, но в той уверенности, что старые призраки все-таки заменятся новыми, что, наконец, может настать и такое время, когда призрак и в общем сознании перестанет казаться идеалом. Но ведь общество не будет через это выведено из области призраков? но ведь ему не будет от этого легче? Да, быть может, и не будет выведено (по крайней мере, в настоящую минуту, при настоящем положении наук, едва ли имеем мы право предвидеть что-либо похожее на возможность всеобщей гармонии), но легче ему все-таки будет; ему будет легче уже по тому одному, что оно перестанет относиться к призракам чародейственно, что оно поймет, что нет никакой необходимости трепетать там, где

стоит только дунуть, чтобы разорить в прах целое здание. Ему будет легче уже потому, что всякий новый призрак все-таки приносит за собой большую против прежнего простоту и естественность отношений, а вместе с тем и некоторую частицу свободы. Это шаг не малый. Дикий вотяк перестал верить в своего идола, но он еще боится его, но он еще обмазывает его медом и сметаной, чтоб умилостивить. Очевидно, он делает это потому, что у него нет в виду другого готового призрака; он сознает уже, что идол, который доселе кабалил всю его жизнь, глуп, мертв и вообще неудовлетворителен, но еще не понимает, что другой-то призрак, которого пришествие он смутно предчувствует, не идет потому только, что он, вотяк, не вполне еще расквитался с своим старым, глупым идолом. Надо ему растолковать это и облегчить работу его освобождения; надо доказать ему, что освобождение *необходимо* должно сопровождаться оплеванием, обмазыванием дегтем и другими приличными минуте и умственному вотяцкому уровню поруганиями и что тогда только расчет с идолом будет покончен, когда последний будет до такой степени посрамлен, что скверно взять его в руки, постыдно взглянуть на него.

Выше я сказал, что бывают минуты в истории, когда общество живет одним чувством ненависти,— это картина, конечно, очень печальная. Но скажите на милость, можно ли не ненавидеть, можно ли не сгорать от негодования, когда жизнь путается в формах, утративших всякий смысл, когда есть сознание нелепости этих форм и когда тем не менее горькая необходимость заставляет подчиниться им, бог знает из-за чего, бог знает зачем? Ведь отсутствие раздоров тогда только понятно и возможно, когда жизнь катится и не дает себя чувствовать, а не тогда, когда она на каждом шагу подкашивает человека. Возьмем для примера хоть быт наших помещиков. Было, конечно, время, когда они не только могли, но и должны были жить между собой в согласии, ибо их связывала одинаковая безмятежность взгляда на жизнь. В те счастливые времена не было ни глупых, ни умных, ни злых, ни добрых: просто было генерическое понятие помещика, под которым подразумевалось и очень много и очень мало. «Это помещик»,— говорили россияне и понимали друг друга. Такого рода порядок вещей, конечно, должен был менее всего давать место раздорам, но и тут, однако ж, случалось, что самые задушевные приятели внезапно свирепели. Тем менее может существовать согласие в такую пору, когда безмятежие взгляда покончилось, когда всякий чувствует себя предоставленным своим собственным средствам. Тут прежде всего начинают различаться добрые и злые, умные и глупые; так называемые доб-

рые и умные клянут глупых и злых, говоря, что последние мешают приступить к делу и что их пошлое упорство порождает в обществе междоусобие; так называемые глупые и злые проклинают умных и добрых, говоря, что существующий сумбур есть результат неумеренной их болтовни и ненужного сованья не в свои дела. Кто рассудит эту странную прю? кто поймет ее? Никто не рассудит и не поймет, ибо, как ни суди, как ни ставь на очные ставки враждующие стороны, ни одна из них не уступит ни на волос.

Г-н Тургенев был прав, изображая в «Отцах и детях» скрытный антагонизм, существующий между двумя половинами русского общества, но, в качестве наблюдателя, он был неправ, симпатизируя одной стороне и указывая на пороки другой. Здесь место не для симпатий, а для простого наблюдения: берите факт, как он есть, и если вы почему-либо не уразумеваете его законности, то изображайте его, не рассуждая. И еще не прав г. Тургенев, заставляя своего героя погибнуть жертвою случайности: такого рода люди погибают совсем иным образом. Конечно, случайность и в их существовании играет большую роль, но это случайность не слепая, посредством которой разрешил свой роман г. Тургенев, а продукт целого случайного порядка вещей.

Может показаться несколько парадоксальным, тем не менее совершенно верно, что распри, подобные замеченным выше, кончаются лишь взаимным истреблением враждующих сторон. В сущности, что представляют собой и та и другая стороны? Они представляют один и тот же принцип, только в одном лагере он является несколько смягченным, в другом — в своих первоначальных грубых формах. Кто кого хуже? Кто кого лучше? Одни (добрые и умные) хотят подновить старый призрак, подрумянить помертвевший его образ и расправить морщины. Результат их работы — наивное самообольщение: двигатель — русское авось. Они не понимают, или не хотят понимать, что всякий призрак держит за собой целую систему и что тут невозможно дотронуться ни до единой подробности без того, чтобы не подрыть всего общественного здания. Другие (глупые и злые) видят в старом призраке совершенство, не терпящее нахального прикосновения непосвященных, и, действуя логически, отстаивают его и в целом, и в подробностях. Следовательно, и в том и в другом случае закваска убеждений одинакова, разница только в мелочах; это просто дело деревенских кумушек, повздоривших между собою из-за того, где больше денег: в пятикопеечнике или в семитке с трешником?

Откуда же этот глубокий антагонизм между людьми, по-

видимому, столь близкими? Причина его заключается именно в этой близости. Чем ближе люди друг к другу, чем яснее они сознают, какие бы они могли быть отличные малые, если б плутовали заодно, тем большая сумма взаимной ненависти накопляется в их сердцах. Нет вражды более сильной, как та, которая закипает между членами одной и той же семьи; здесь всё ее питает: и беспрерывное наблюдение за малейшими подробностями жизни, и наушничество, и сплетни. Раскольник без омерзения станет пить из одного сосуда с язычником и магометанином, но ни за что на свете не разделит трапезы церковника; «язычник,— говорит он,— не зная, Христа предал, а церковник предал его со знанием»...

Таковы признаки эпох разложения: с одной стороны, всеобщее глубокое междоусобие, имеющее чисто внешние причины, с другой — всеобщее безверие, но безверие робкое, скрывающееся под личиной самого рабского лицемерия. Что такое долг? что такое честь? что такое преступление? что семья? что собственность? что гражданский союз? что государство? вот вопросы, которые задает себе современный человек: он бледнеет и трусит уже от одного того, что вопросы эти представляются ему; он готов сказать: «Нет, я не был при этом, нет, я ничего не видал и не слыхал»,— всякому, кто был бы настолько любознателен, чтобы спросить, каковы его мысли насчет того или другого вопроса. Это тоже весьма характеристический признак, который, вместе с междоусобием и безверием, очень ярко обрисовывает эпоху разложения. Между тем вопросы эти разрешить необходимо, потому что на тех понятиях, которые они выражают, зиждется целое общество. Сохранили ли эти понятия тот строгий смысл, ту святость, которые придавало им человечество в то время, когда они слагались; если не сохранили, то представляется ли возможность возвратить им утраченное? Вот на что следует дать ответ немедленно. Конечно, будет очень странно, если ответа этого не сыщется, и еще страннее, если показания окажутся разноречивые; конечно, это ясно укажет, что общество не имеет твердых понятий даже о том, что оно выставляет напоказ, как главную основу своей жизни, но ведь и это, пожалуй, будет уже составлять результат, и притом результат весьма положительный.

Главное дело — не оставлять себя в заблуждении. Выгода тут двоякая: во-первых, соблюдается экономия сил (ибо только вполне обладая предметом, человек приобретает уверенность, что не истратит себя по-пустому); во-вторых, самые призраки стираются быстрее, давая место новым призракам и, таким образом, держа человечество в постоянном увлечении, в постоянной работе.

Но да не подумает читатель, что я имею претензию беседовать с ним о столь важных предметах. Мое дело — призраки, а не такие представления, которые составляют, так сказать, краеугольный камень общественного благосостояния.

Спросите, например, у любого обывателя из простодушных, что такое семья? Семья, скажет он, известно семья: муж, жена и дети; точь-в-точь как у г. Успенского некоторый мужик на вопрос: для чего тебе дана жена? — отвечает: жена дана на потребу. Сделайте подобный же вопрос легисту, он вам ответит, что семья есть убежище, что семья — алтарь, что семья — краеугольный камень. Легист будет говорить очень долго и очень красиво; он растрогает до глубины души добрых обывателей, которые разойдутся по домам, утешенные тем, что семья есть алтарь, что алтарь есть убежище, а убежище есть краеугольный камень. На мой вкус, однако ж, легист высказал нечто подобное тому же, что сказал и мужик г. Успенского.

Спросите, что такое честь? Вам ответят, что это совокупность известного рода понятий (правил), в силу которых человек обязывается в действиях своих следовать именно такому, а не иному пути. Но, не говоря уже о том, что история указывает нам на самые разнообразные видоизменения понятия о чести, самая современность на каждом шагу свидетельствует, что понятие это совсем не столь абсолютно, как о том повествуют моралисты. Довольно сказать, что у самых бесчестных людей всегда найдется в запасе свой point d'honneur [1]. Почему же они называются и слывут бесчестными? Не потому ли, что они, в свою очередь, называют бесчестными честных людей?

Повторяю: все это может казаться очень парадоксальным, но вместе с тем положительно доказывает шаткость основ, на которых, в данную минуту, держится общество. Но если в таких существенных понятиях царствует рознь, если даже в этом всякий играет в свою дудку, то чего же можно ожидать во всем остальном, то есть в подробностях, которые из этих основ истекают? Некоторый мой приятель, выкладывая передо мной пятидесятирублевую бумажку, говорил: «Тут все! тут и манже, и буар, и сортир!», но и за всем тем, то есть при всем горьком сознании безвыходности своего положения, все-таки прибавлял: «Да, надо, надо поправить свои обстоятельства!» Разумеется, кончилось тем, что он бумажку промотал, а обстоятельств своих не поправил. Современное общество похоже на этого моего приятеля: у него тоже осталась в запасе одна пятидесятирублевая бумажка, а оно мечтает прожить на нее два ве-

[1] кодекс чести.

ка. Оно не догадывается, или, лучше сказать, не хочет догадываться, что все эти краеугольные камни, о которых оно разглагольствует с такою гордою уверенностью, не более как истертые пятиалтынные, которых не примут в уплату даже извозчики.

Да, надо, надо поправить свои обстоятельства, а поправить их нельзя иначе, как посредством строгого анализа тех понятий, в силу которых мы двигаемся и живем. Бояться здесь нечего; если понятия эти устойчивы сами по себе, анализ не убьет их, а только очистит и даст им еще большую крепость и силу; если же некоторые из них болезненные плоды болезненного дерева, то анализ добьет их окончательно и избавит нас от смешной роли Дон-Кихотов, принимающих мельницы за рыцарей. Ибо кому же охота возиться с тлением, когда впереди представляется возможность лучшей, здоровой жизни?

Часто приходится нам слышать: потерпите, и все будет хорошо, но ведь недаром же выискиваются и такие, которые говорят: чем скорее, тем лучше. Во-первых, возможно ли терпеть и, во-вторых, стоит ли терпеть?

Всякому сколько-нибудь бывалому сельскому хозяину (буду приводить примеры, доступные большинству) известно, сколько горькой насмешки заключается в этом слове: «потерпите». У него нет инструментов, нет скота, у него валятся хозяйственные постройки, у него хлеб градом побило, у него рабочий народ разглагольствует: «мы-ста» да «вы-ста», а ему твердят: потерпите! Чем подняться? Чем жить? Где ручательство, что из ничего создастся когда-нибудь что-нибудь? Разумеется, что тот, у кого есть в запасе капитал, может терпеть, если не в надежде пожать сторицею, то хотя в уповании прожить с грехом пополам до тех пор, пока капиталы не истощатся, но горе тому, у кого оказывается в запасе одна пятидесятирублевая бумажка, да и то, быть может, фальшивая. Весь основной его капитал исчезнет в прожорливой бездне, называемой сельским хозяйством, и исчезнет так, что он и не ахнет. Очевидно, что в таком положении дела не терпеть приличествует, но ликвидировать.

Но если терпеть *нельзя*, то еще менее *стоит* терпеть. Здесь расчет простой: какой результат терпения? Кто будет так смел, чтоб удостоверить, что результат не заключается единственно в самом терпении, что здесь последнее не служит в одно и то же время и средством и целию? Спрашивается, сколько тысячелетий живет человечество и чего оно добилось с помощью терпения? Добилось того, что ему и доднесь говорят: терпи! Но не добилось ли, по крайней мере, хоть того, чтоб ему разрешили <вопрос>, когда конец этому терпению? Нет, и на это очень простой ответ: потерпи, и узнаешь, как долго остает-

ся еще терпеть! Просто можно подумать, что жизнь есть непрерывный и безвыходный каламбур.

Таким образом, совет терпеть оказывается даже несколько обидным. В терпенье, как в давно не кованном жернове, не измалывается, но изминается жизнь человечества, и в результате получается все та же жизнь, только искалеченная и изорванная. Сколько великих дел мог бы явить человеческий ум, если б не был скован более нежели странною надеждой, что все на свете сделается само собою? Скольких великих явлений могла бы быть свидетельницей история, если б она не была сдерживаема в своем движении нахальством одних и наивною доверчивостью других?

История сама берет на себя труд отвечать на эти вопросы. Когда цикл явлений истощается, когда содержание жизни беднеет, история гневно протестует против всех увещаний. Подобно горячей лаве проходит она по рядам измельчавшего, изверившегося и исстрадавшегося человечества, захлестывая на пути своем и правого и виноватого. И люди, и призраки поглощаются мгновенно, оставляя вместо себя голое поле. Это голое поле представляет истории прекрасный случай проложить для себя новое, и притом более удобное ложе.

Можно ли предупредить подобные гневные движения истории, можно ли, по крайней мере, приготовиться к ним? Вопросы эти разрешить мудрено, потому что, если б было можно, то, само собой разумеется, не было бы недостатка ни в предупреждениях, ни в приготовлениях. Но во всяком случае, предупреждать и должно, и совершенно естественно. Подобно тому как отдельный человек не называется добровольно на смерть, и человечество, застигнутое врасплох в данную минуту, не имеет права отказаться от существования. Оно может быть вынуждено к тому, но покуда наступит минута горькой необходимости, борьба с нею и естественна, и вполне законна. Вот где причина, заставившая меня сказать выше, что добровольное и полюбовное свержение старых идолов с их пьедесталов — дело не только не угрожающее обществу, но, напротив того, упрочивающее его будущее.

Эта же самая причина заставила меня взяться за перо. Говорю откровенно, читатель нередко будет иметь случай сетовать на меня; ибо нередко я буду беседовать не с тою ясностью, с какою желал бы и какая, в сущности, необходима в таком деле. Я знаю это, но вместе с тем знаю и то, что имею дело с явлениями и вещами, прикосновение к которым требует величайшей осмотрительности. Тут идет речь совсем не об трусости, но именно о желании достичь какого-нибудь результата. Что путного будет, если я стану называть вещи по именам? —

спрашиваю я себя и, взвесив все доводы pro и contra, прихожу к заключению, что и выгоднее и плодотворнее действовать без излишней запальчивости.

В минуты всеобщего переполоха и эпидемической нравственной перепутанности общество выказывает особенную щекотливость. Потому ли, что оно и без того чувствует себя кругом виноватым, или потому, что организм его уже слишком покрыт язвами,— как бы то ни было, но оно положительно не допускает, чтобы в эти язвы, и без того растравленные, запускали любознательный скальпель. «Я знаю, что гнию»,— говорит оно с каким-то дико-горделивым самодовольством — ну, и гниет себе понемножку.

Ввиду такой чувствительности возможно ли оставаться жестоким?

II

Оканчивая первое письмо мое, я намеревался прямо приступить к тому, что мы называем обыденною, будничною жизнию. Однако, перечитав написанное мною, я почувствовал, что там есть много недосказанного, что взгляд на принципы, которыми руководится жизнь человечества, недостаточно выяснен, что, наконец, могут обвинить этот взгляд в бесцельности, в какой-то сухой безотрадности, в том, наконец, что очень образно формулируется словом «озорничанье».

Что касается до этого последнего обвинения, то я не желаю и не ищу в нем оправдываться. Безотраден или отраден формулированный мною взгляд, до этого мне нет дела; желательно было бы только, чтобы он был правилен. Я знаю, что многие скорее согласны были бы остаться при мечтаниях, лишь бы они были отрадны, нежели принять истину, которая кажется им мало отрадною, что многих эти «отрадные» мечтания до такой степени сладко убаюкали и разнежили, что было бы даже странно, если б простое и несколько грубое прикосновение к тому, что составляет, так сказать, и содержание, и надежды, и идеал целой жизни, не возбуждало ропота. Я знаю даже таких, которые, очень трезво смотря на современность, оказываются несколько в подпитии, когда им приходится поднимать завесу будущего... Все эти мечтатели, все эти идеалисты, как настоящего, так и будущего, конечно, могут сказать, что гадко и неблагоразумно возводить в принцип <то>, что человечество не в силах выйти из-под владычества призраков, что это, наконец, и неверно, потому что... ну, да и просто потому, что оно выйдет из-под этого владычества (нельзя, дескать, предположить себе и т. д.). На этот мотив можно целую книжку написать,

особенно если взять в образец так называемую литературу великодушных порываний (aspirations généreuses), которая преимущественно пользуется кредитом во Франции, где, однако ж, таковым кредитом пользуются и так называемые idées napoléoniennes[1]. Французы целые томы пишут о чем-то вроде fraternité[2], но практические результаты этого многописания оказываются довольно обидные...

Но возвращаюсь к недоразумениям, которые может возбудить мое первое письмо. Во-первых, я не знаю, что может быть неблагоразумного в том или другом образе мыслей? Что образ мысли может быть серьезный или смешной, основательный или нелепый — это я понимаю, но чтобы он мог быть неблагоразумным (то есть несвоевременным) — это совершенно недоступно моему пониманию. Я мыслю так, а не иначе, следовательно, я имею право так мыслить. А так как при этом я до поры до времени не признаю возможности истины абсолютной, то, стало быть, и своего образа мысли не признаю за непреложный, стало быть, рядом с ним признаю возможность другого образа мыслей... Что может быть терпимее?

Во-вторых, я не знаю, благоразумно или неблагоразумно я поступаю, проводя мысль о скитаниях из одного призрака в другой, но знаю, что от этого моего неблагоразумия никакой для дела порухи не произойдет. Человечество, хотя бы оно не было насчет этого и вполне согласно со мной в отвлеченье, все-таки не придет от того в отчаяние и не сложит руки (незачем, дескать, и работать, коли работать приходится в пользу одних призраков), а будет следовать всё той же дорогой, которой ему идти надлежит. В этом отношении над ним тяготеет фатализм, который, однако ж, совсем не есть фатализм в том смысле, как мы это слово понимаем, а просто подчинение тем законам, которые лежат в основании человеческой природы. Следовательно, каковы бы ни были теории, они не могут ни повредить, ни пользу оказать, ни прибавить, ни убавить в этом естественном и независимом от самого человечества ходе вещей. А следовательно, и говорить о том нечего, что благоразумно и что неблагоразумно, что вредно и что невредно: тут просто на первом плане стоит непременная потребность мысли высказаться до конца.

В-третьих, наконец, допустим, что предположение мое неверно, но вместе с этим едва ли не придется и еще кое-что допустить. Это «еще кое-что» заключается в том, что если человеческие скитанья прекратятся, то, стало быть, и отношения

---

[1] наполеоновские идеи.
[2] братства.

человека к внешней природе сделаются когда-нибудь нормальными. Нормальными же они могут сделаться только тогда, когда природа откроет человеку, так сказать, всю грудь свою, когда в ней не останется ни единой тайны (прошу не смешивать тайны с секретом!), ничего недостигнутого (не смешивайте с недостижимым!), ничего необъясненного (не смешивайте с необъяснимым!). Но это положительно невозможно. Недаром природу называют неистощимою и бесконечно разнообразною; она до такой степени неистощима, что человек в данную минуту не может даже знать, каковы будут его требования относительно природы через известный период времени. И всегда оказывается, что требования эти совсем не неуместны, и никогда не бывает того, чтобы природа была не в силах отвечать новым требованиям. Всякое новое открытие заключает в зерне своем новую тайну; впоследствии тайна эта обнаруживается или в виде нового закона, или в виде новой комбинации законов уже исследованных, но и это новое обнаружение повлечет за собой целый ряд новых тайн. Чтобы представить себе природу истощившеюся и разоблаченною до наготы, надобно предположить, что она когда-нибудь перестанет творить, а это положительно противоречит всем открытиям, делаемым в области естественных наук. Открытия эти доказывают, что не только беспрерывно являются новые роды и виды творения, но что и самые законы творения или, лучше сказать, взгляды человечества на эти законы беспрерывно изменяются. Стало быть, возможность нормальных отношений человека к природе есть дело, во всяком случае, проблематическое; по крайней мере, если человеческие скитания поставлены в зависимость от этих отношений, то нельзя не сказать, что будущее их обеспечено слишком достаточно.

В-четвертых, если бы можно себе представить природу исследованною, истощившеюся и лишенною своей творческой силы, я не понимаю, что же тут будет утешительного? Желать чего-либо подобного, указывать на такое положение вещей, как на цель человеческих стремлений, не значит ли предуказывать на что-то вроде светопреставления? Что тут лестного? Между тревожною жизнию и спокойною смертью — куда склонится выбор наш? Даже старосветские помещики Гоголя, которые именно *почти* так жили, как должны жить добрые после светопреставления, даже и те только *почти* так жили. И у них случались иногда желудочные боли, и у них рождалось по временам желание *сию минуту* съесть какой-нибудь особенно вкусный блин, который можно приготовить только через полчаса. Если бы у них не было этих болей и желаний, они, очевидно, не могли бы существовать иначе, как в спячем виде.

Теперь постараюсь разъяснить и дополнить мой взгляд на призраки, к которым и возвращаюсь.

Вероятно, большинству моих читателей случалось бывать в балете. Что берется в основание балета, что составляет собственно интерес его? В основание балета берется что-либо произвольное и неизвестное, которое предлагается как непроизвольное и окончательно признанное, что-либо чудодейственное и неестественное, которое принимается за нечто обыкновенное, вытекающее из природы вещей. Отправляясь из этого пункта и не выжидая возражения со стороны зрителя, балетмейстер устраивает дальнейшее течение своего произведения с легкостью изумительной. Все ему удается, все он объяснить может. Возьмем, например, что героем балета избран «Дух Долины» («Теолинда, или Дух Долины», балет в трех действиях, сочинение г. Сен-Леона). Что это за дух? откуда он явился? какими путями прокрался он в голову балетмейстера? Этого никто не знает, да и сам балетмейстер, вероятно, знает не больше других. Он собственною своею властью вызвал этого духа из тьмы, собственною властью наделил его силою и могуществом, наградил способностью вступаться в людские дела, ограждать слабых и невинных и карать коварных и злых, привязал ему сзади золотые крылышки и выпустил на сцену. И вот происходит нечто необычайное: дух, неизвестно откуда явившийся, дух, не имеющий ни роду, ни племени, дух, взявший напрокат из театральной гардеробной золотые крылышки, является решителем человеческих судеб.

Он танцует и благодетельствует, он повертывается на одной ножке и в то же время карает злодейство и несчастие. Почему палка, направленная на Теолинду, вываливается из рук коварного Шторфа? А потому, что Теолинде покровительствует Дух Долины, который и вырывает упомянутую выше палку. Каким образом может случиться, что Теолинда, увлеченная Духом Долины на дно озера, не только не захлебывается и не утопает, но, напротив того, танцует там? А просто оттого, что так хочет Дух Долины. И дешево, и просто, и мило.

Благодаря призракам нечто подобное происходит и в мире человеческих отношений. Неизвестное и недоказанное принимается за известное и доказанное, и на основании этого делаются выводы, строится целая система доказательств, допускаются остроумные сближения, одним словом, оценяется целое человеческое существование, объясняются самые сложные явления. Что, если бы кто на вопрос: почему вы поступили так, а не иначе? — ответил: так велел мне поступить Дух Долины! Нет сомнения, что человека, давшего такой ответ, признали бы за сумасшедшего, а может быть, и еще хуже — за

злонамеренного свистуна. Однако никто не удивился бы и не счел бы за сумасшедшего того грека, который отвечал бы, что он такое-то действие предпринял под влиянием богини Минервы, а такое-то под влиянием самого Юпитера.

Покуда участие Духа Долины, как решителя балетной жизни и балетных судеб, ограничивается одним балетом, оно может быть терпимо. Хотя и там оно глупо, хотя и балету не мешало бы поискать себе содержания жизни, хотя сколько-нибудь не противоречащей здравому смыслу, однако зритель не может изъявлять большой претензии на столь невинное препровождение времени. «Ну, черт с вами! — говорит он, уходя из театра,— хорошо, хоть ноги-то поднимать не скупились!» Но когда Дух Долины начинает вмешиваться в жизнь действительно, когда он заявляет претензию на обладание судьбами вселенной — такое нахальство делается просто нестерпимым. Большинство людей, конечно, не сознает, что те краеугольные камни, те основания, те убежища, которые оно так самодовольно выставляет напоказ, в сущности ничем не отличаются от Духа Долины, а между тем оно так. Пускай философы-идеалисты сойдут в тайники сердец своих, пускай философы-юристы проверят те начала, на защиту которых они ополчаются, и пусть те и другие сходят в первый балет, какой будет даваться на сцене. Они увидят, они с краской стыда на лице почувствуют, что целую жизнь свою посвятили не чему иному, а именно только сочинению балетов. Ничто так не подрывает известного принципа, ничто так не выказывает всей его ложности, как логическое доведение этого принципа до всех тех последствий, какие он может из себя выделить. В этом отношении школа так называемых спиритуалистов оказала услугу незабвенную и неоценимую. Они указали, что путем идеализма можно дойти до самых крайних нелепостей, а всего скорее дойдешь до балета. В самом деле, чего тут нет: и легкие духи, и совершенные духи, и стучащие духи... и весь этот кагал вмешивается в судьбы человека, руководит человеком, точь-в-точь как руководит им, например, понятие о вменяемости преступлений или о вреде страстей...

И таким образом, оцепленные со всех сторон путами, мы безрассудно тратим свои силы не на разрешение, а на большее и большее закрепление их. Мы до такой степени утрачиваем все инстинкты здоровой, не запутанной жизни, что эта последняя кажется нам смешною, пошлою, почти что дикою. Например, по нашим понятиям, отношения мужчины к женщине, хотя бы в основании их лежали чувства взаимного уважения и любви (единственные, которых присутствие в этом случае совершенно необходимо), все-таки не могут считаться

в строгом смысле законными и нравственными, если на них не имеется печати принуждения и обрядности. Покажите нам эти отношения в других формах, представьте их естественными, основанными именно на одном чувстве взаимного притяжения,— мы сейчас сострим; мы скажем, что подобный взгляд сообщает отношениям исключительно половой характер, мы выложим зараз весь разнообразный запас наших знаний по части клубнички, мы намекнем насчет собачьей свадьбы. И напрасно вы будете говорить нам, что понятие о взаимном притяжении вовсе не исчерпывается одними половыми побуждениями, что оно обнимает собой все разнообразные определения сложного человеческого организма, что оно потому уже нравственно, что человечно,— мы вас и слушать не станем и все будем твердить одно: что вы пропагандист собачьих нравов. И мы даже <не> замечаем, что подобное остроумие, основанное на сопоставлении явлений совершенно различных сфер, доказывает, помимо нашей воли, только нашу собственную умственную оголтелость, доказывает, что мы ни во что ценим нравственную сущность и придаем вес одному нравственному формализму. Приведенный мною пример касается вопроса, несколько уже выясненного или, по крайней мере, затронутого общественным мнением, и потому он, пожалуй, и не бросится еще так резко в глаза, а сколько есть таких вопросов, в основе которых все сумбур, все бессмыслица, все мрак и к которым невозможно даже прикоснуться именно потому, что там сумбур, бессмыслица и мрак представляются чем-то нормальным, неприступным и заповедным? Сколько есть таких явлений, к которым подойти нельзя, в справедливости которых невозможно сомнения заявить, именно потому только, что самое поименование их без особенно восторженных эпитетов, самое намерение объяснить их считается уже преступлением и возбуждает остервенение в людях, в сущности весьма невинных и безответных.

Это-то и вынудило меня сказать в первом письме, что с призраками подобного рода надо обращаться с осторожностью. Осторожность эта, по моему мнению, должна заключаться в следующем. Если известному жизненному строю, к которому мы привыкли, с которым мы сжились (потому что мы сами более или менее его участники и делатели), будут противопоставлять, в живых образах, другой жизненный строй, совершенно непохожий на первый, то как бы ни удостоверял нас рассудок, что этот другой жизненный строй есть единственно справедливый и вытекающий из свойств человеческой природы, мы все-таки не в состоянии будем побороть в себе некоторого чувства недоверия, которое окажется тем сильнее, чем резче и образ-

нее будут формулированы подробности новой жизни. По-видимому, это неосновательно; по-видимому, способность идеи к организации, к воплощению в живых образах должна бы привлечь к ней еще более прозелитов; однако на практике бывает наоборот. Мы так мало готовы к принятию новых форм жизни, и промежуток между современною, уже изведанною нами практикою и тою, которую имеет выработать будущее, так велик, что эта последняя не может не перевернуть вверх дном всех наших понятий. То, что мы охотно постигаем в отвлечении и что, как теоретическую возможность, признаем безусловно, то самое, внезапно представленное нам в живых образах, кажется неловким, режущим глаза. Мысль о возможности такой ассоциации, где труд не представлялся бы тяжким бременем, а, напротив того, в самом себе, в своей собственной привлекательности, находил бы причину и цель, теоретически не заключает в себе ничего дикого, но попробуйте изобразить такую ассоциацию в живых и действующих образах, попытка эта не только не принесет пользы мысли, ее породившей, но едва ли даже не повредит ей. Образы, логически верные, покажутся приторными, идиллическими, почти пошлыми; отношения естественные и совершенно нравственные покажутся натянутыми и возмутительно безнравственными. Таким образом, вместо того чтобы приобрести прозелитов идее, неловкий пропагандист рискует возбудить против нее не только негодование, но и насмешки. И в этом неблагоприятном результате будет своя доля справедливости, ибо втискивать человечество в какие-либо новые формы жизни, к которым не привела его сама жизнь, столь же непозволительно, как и насильно удерживать его в старых формах, из которых выводит его история. Поэтому мне кажется, что так называемые утописты (в особенности Фурье и его последователи), доказывавшие необходимость новых общественных оснований, поступали ошибочно, выводя этот вопрос из сферы отвлеченной и регламентируя все подробности его осуществления. Но еще большая ошибка заключается в попытках практического воплощения идеалов среди общества, к принятию их не приготовленного. (Такие попытки делаемы были Робертом Овэном и некоторыми последователями системы Фурье.) Все эти попытки были неудачны и рушились очень скоро; почему они были неудачны, почему они рушились, об этом никто даже не полюбопытствовал узнать; никто не дал даже себе труда вникнуть, что причина неудачи заключалась не в порочности той идеи, которая лежала в основании попыток, а в порочности и предрассудках, тяготеющих над обществом; все видели только факт падения и от него пришли к заключению о неверности и бесплодности самой

идеи, легшей в основание неверной и бесплодной попытки.

Но, извиняясь перед читателем за длинное отступление, перехожу к предмету моего письма.

Робкие, запуганные различными неприкосновенностями, мы не можем сделать ни одного движения без того, чтобы не приурочить его к какому-нибудь призрачному кодексу фантастического искусства жить. Самые законные стремления своего существа мы отравляем, проводя их сквозь горнило ненужных, неприятных и тошных преград; самых простых вещей не можем объяснить себе иначе, как посредством каких-то таинственных целей и неведомых предопределений. Все существующее представляется нам существующим не в силу своего права на существование, а под условием выполнения известной задачи. Отсюда идея о жизненном подвиге, размеры и содержание которого для каждого живого организма определяются различные. В чем заключается жизненный подвиг человека — об этом еще спорят, и хотя некоторые и предъявляют претензию, будто подвиг сей состоит в управлении земным шаром, но это перспектива столь туманная и обширная, что даже не представляет ничего соблазнительного; но зато никто не спорит, что жизненный подвиг курицы заключается в том, чтобы быть съеденной в супе, как никто не спорил во время существования крепостного права, что жизненный подвиг мужика состоял в исправном платеже оброка и прилежном отбывании барщины, как никто не спорит и теперь, что жизненный подвиг французского или английского пролетария (я указываю на Францию и Англию потому собственно, что оно спокойнее) заключается в том, чтобы работать с прилежанием и получать за сие вознаграждение достаточно умеренное, чтобы при случае умереть с голоду.

Вследствие этой наклонности все облекать таинственностью, всякое явление возводить к конечным причинам, отношения к фактам, представляющимся нашему пониманию, делаются натянутыми и неестественными. Мы хлопочем не о том, чтобы объяснить себе факт из его собственной сущности, определить характеристические его признаки, место, которое он занимает в кругу других фактов, и те практические выводы, относительно целой системы, какими представляется возможным воспользоваться из его свойств, но о том, чтобы как-нибудь, хотя насильственно, приурочить факт к готовой уже системе и посредством этой последней истолковать значение его. Одним словом, мы не подходим к факту, а, напротив того, увлекаем его за собой.

Для объяснения возьмем здесь так часто приводимую в пример градацию человеческих способностей (известно, что наука психология, не довольствуясь наименованием способностей человека человеческими, еще разделяет их на высшие и низшие). Встречая на пути своем людей с различными способностями и наблюдая эти последние в их практических проявлениях, с каким намерением приступаем мы к этим наблюдениям? Спрашиваем ли мы себя, свободно ли сказываются эти проявления, или они стеснены внешними условиями? Сознаем ли мы, что разрешение этого вопроса необходимо, потому что процесс проявления известной способности может совершиться или вполне нормально, если он предоставлен естественному своему течению, или же получить извращенную форму, если на первых же порах будет опутан различными искусственными препятствиями? Рассматриваем ли мы, наконец, разнообразие способностей просто, как бесповоротный факт, из которого следует только вывести известный практический закон? Нет, мы ничего этого не делаем, а прежде всего стараемся тискать факт в готовую, веками нарожденную систему, приурочить его к той умственной неурядице, которую внесло в нашу жизнь постоянное обращение с призраками.

Вековой кодекс житейской мудрости гласит нам о существовании добра и зла, и однажды приняв это положение за истину неподвижную, делает его мерилом всех наших побуждений, исходным пунктом всей нашей деятельности. Откуда взялось представление о добре и зле, почему оно укоренилось в такой степени, что мы и действительно не можем шагу ступить, чтобы не видеть несомненных признаков его существования, не прививное ли оно, не внесено ли в жизнь ошибочною практикой,— мы ничего этого не доспрашиваемся, а просто принимаем на веру, что начало добра и зла составляет неизбежно закваску жизни. Отправляясь отсюда, мы уходим очень далеко: все проходящее перед нашими глазами, все доступное нашему пониманию распадается на две противоположные области: темную, в которой царствует зло, и светлую, в которой господствует добро. И затем очень легко возникает у нас целая система, вооруженная разными арсеналами подробностей; является борьба духа с материей, из которых первый, конечно, преобладает, вторая, конечно, подчиняется; а так как практика беспрерывно опровергает это положение, к удовольствию материи, то, как пополнение к теории преобладания духа, изобретается другая теория — о несовершенстве сего мира и о некоторых таинственных наградах и наказаниях. Одним словом, тут возникает целый фантастический мир, до такой степени

лишенный реальных оснований, до того непоследовательный и разрозненный, что отношение к нему утрачивает характер разумности и окончательно переходит на почву упований. Вынуждаемые реальною, неподкупленною жизнью, объяснения и тезисы следуют одни за другими, но не объясняют, а, так сказать, мнут факты и насильственно выливают их в произвольные формы. Легкость, с которою производится эта операция, изумительна. Тут не нужно даже строго придерживаться основного принципа, потому что здесь самый принцип не только ничем не ограничивается, а представляется растяжимым до бесконечности. Следовательно, тут возможны разного рода пристройки и подделки, лишь бы они сохраняли фантастический колорит и как можно старательнее обходили тот действительный мир, который становится вразрез подобным мечтаниям и самым бессовестным образом напоминает нам, что хотя произвольное обращение с фактами и привлекательно по своей легкости, но зато оно непрочно и постыдно. Достигнувши этой степени беззастенчивости и сделавшись полными хозяевами нашей фантазии, мы разом завоевываем себе такое положение, которого удобнее ничего нельзя себе представить. Если главный принцип, из которого мы отправляемся, не исчерпывает всех жизненных явлений, то мы не затрудняясь строим около него вспомогательную теорию, а если и эта теория окажется неудовлетворительною, то мы и другую вспомогательную теорию выстроим. И таким образом, постепенно нарастая и нарастая, чудовищная эта система произвола и разнузданной фантазии принимает под конец такие неслыханные размеры, что мы сами чувствуем себя вконец опутанными и утопающими в бездне противоречий и недомолвок.

Понятие о градации человеческих способностей принадлежит именно к той категории фантастических понятий, о которых говорено выше. Что люди обладают способностями разнообразными и весьма различными, в этом не может быть никакого сомнения, но чтобы каждая из этих способностей, взятая в отдельности, заключала в себе какие-либо особые достоинства и на этом основании заявляла претензию на первенство перед другою,— это следует разве только из той фантастической теории, которая вообще всю сферу человеческой деятельности делит на две половины: высшую и низшую. Тут принцип проводится весьма последовательно, потому что если признать за истину, что есть интересы первоголразрядные и второразрядные, интересы духа и интересы плоти, то, разумеется, нельзя не признать, что и способности, служащие удовлетворению этих интересов, могут быть первоголразрядными и вто-

роразрядными, благородными и неблагородными. На каком разумном основании допускается подобная градация,— этого до сих пор никто еще не объяснил, между тем практические ее последствия столь важны, что невозможно не остановиться на них.

Задавшись понятием о высших и низших способностях, мы весьма естественно приходим к тому, что людей, обладающих высшими способностями, разумеем людьми высшими, а людей, одаренных так называемыми низшими способностями, разумеем за людей низших. Первые приобретают право господствовать и управлять, вторые осуждаются на служение и подчиненность. Здесь лежит, так сказать, первое зерно неравноправности, которое впоследствии история, с свойственною ей неумолимостью, развивает до крайних результатов. Являются вожди, герои, воины, администраторы, ученые, художники, которым противопоставляется масса, то есть торгаши, ремесленники, земледельцы. За первыми остается звание высших организмов, вторые жалуются в скромное звание организмов низших. Но это разделение людей на овец и козлищ, хотя и опирающееся на основание фантастическое, было бы еще терпимо, если б оно всегда продолжало быть случайным. Говорю «терпимо», потому что различие, принятое добровольно (в первые минуты возникновения оно всегда основывается на общем добровольном заблуждении), все-таки сказывается не так жестко и не полагает между людьми слишком резких перегородок. Но в том-то и дело, что оно не может оставаться случайным, не может самым естественным путем не приобрести того искусственного характера, которого содержание всецело выражается словами: принуждение и несправедливость. Для людей низшего сорта утрачивается возможность доступа в число людей высшей категории не только лично, но и потомственно. Изъятые от участия в высших интересах жизни, осужденные вращаться в сферах деятельности менее блестящей, эти люди привыкают смотреть на себя как на отверженников, и не только на себя, но и на детей своих. Эти дети с самого рождения своего окружены тою же атмосферою, в которой живут и отцы их; способности их, в свою очередь, приобретают ту фаталистическую складку, которая налагается всею обстановкою их жизни и сгладить которую с каждым новым поколением делается все менее и менее возможным. И таким образом утверждается на незыблемых основаниях наследственность ремесл, званий и состояний, прямое последствие которой заключается не только в нравственном страдании масс, но и в страшной неурядице экономической и политической.

Итак, вот к какому очень положительному практическому

результату может привести признание за исходный жизненный пункт такого начала, которое само по себе имеет содержание совершенно произвольное. Если б спор о борьбе добра и зла, о высших и низших побуждениях и т. п. не выходил из тесной семьи моралистов, то на него можно было бы смотреть, как на курьез, не причиняющий никому вреда, но в том-то и дело, что все такого рода убеждения ищут себе арены более широкой, стремятся вторгнуться в живую жизнь человечества и усиливаются организовать ее на свой манер.

Но здесь я покамест остановлюсь.

КАК КОМУ УГОДНО[1]

Рассказы, сцены, размышления и афоризмы

I

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Всегда меня удивляло, как это люди не исполняют своего долга. Как известно всем и каждому, вся жизнь человеческая есть не что иное, как непрерывное служение всякого рода обязанностям, которые для блага нашего придуманы и кем следует утверждены. Человек родится — его долг уважать родителей. Человек поступает в школу — его долг прилежно учиться и уважать наставников, человек женится — его долг руководить и наставлять жену, поступает на службу — его долг прилежно служить, хранить канцелярскую тайну и уважать начальников, человек приобретает детей — его долг любить их и внушать им понятия о долге, дабы и они, в свою очередь, и своим детям преподали таковые же. Если спросят меня, каким образом понятие о долге образовалось,— я откровенно отвечу: не знаю. Поэтому я никогда и не рассуждаю, а только огорчаюсь, когда вижу людей, относящихся к обязанностям своим с небрежением.

Всякое общество имеет свои алтари, свои краеугольные камни, около которых группируется, на которые устремляет свои взоры. Если мне кто-нибудь говорит: «поступать таким, а не иным образом повелевает долг чести»,— то я, коли хотите, не понимаю этого, однако понимаю; или, лучше сказать, я понимаю потому, что не могу не понимать. И несмотря на то что здесь, по-видимому, скрывается некоторый каламбур, всякий, кто захочет глубже вникнуть в дело, поймет, что я совсем не о каламбуре хлопочу, но что это именно так и есть, как я говорю.

---

[1] Сочинению этому должны предшествовать два письма, которые, быть может, и появятся впоследствии. (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

Люди, постоянно видящие перед собой беспрерывную цепь обязанностей, бывают бодры, худощавы, легки на подъем; нрав имеют во время исправления обязанностей озабоченный и суровый, а в свободное от сего исправления время — любезный и веселый; любят ходить в баню, охочи до женщин и обладают хорошим аппетитом, ибо всегда находятся в нравственном моционе. Напротив того, люди, небрегущие своими обязанностями, бывают ленивы, жирны и беспечны до такой степени, что даже не каждый день меняют белье; нрав имеют тихий, но не веселый; любят напиваться пьяны и, опьянев, тотчас же ложатся спать; от этого сто́ит их после сна только взболтать, как они уже вновь пьяны без всякого видимого резона; умываются редко, и вследствие того имеют лицо, покрытое прыщами; до женского общества не охочи, потому что это возлагало бы на них обязанности; едят много, но без пользы, ибо тотчас же съеденное извергают. Замечено еще, что люди смуглые и черноволосые усерднее к исполнению обязанностей, нежели белокурые и с белым круглым лицом.

Обе эти разновидности в чистом состоянии встречаются довольно редко; большинство людей в этом отношении представляет породу смешанную, то есть, отчасти по недосугу, а отчасти по неразумению, исполняют лишь некоторые обязанности, да и то не всегда с надлежащим рачением. От этого в природе очень мало встречается настоящих брюнетов и настоящих блондинов, а преобладает цвет каштановый. Впрочем, мне случалось видеть экземпляры исполнителей поистине нестомчивых, и все они оказывались, по справке, бывшими воспитанниками одного училища; с другой стороны, однажды мне привелось видеть на скотном дворе один образчик изумительнейшего равнодушия к своим обязанностям: скотник, обращаясь к нему, называл его «хавроньей». Бывает также, что люди, от природы не расположенные к исполнению обязанностей, препоборают себя сначала исподволь, а потом и более крутыми мерами, и, наконец, посредством долгой практики и мучительного труда приобретают то сокровище, которое другим баловням природы дается даром.

Многие легкомысленные люди обращались ко мне с вопросом: каким образом исполнять обязанности в тех случаях, когда это невозможно? Так, например, возможно ли уважать отца-шулера и мать galante femme[1], возможно ли быть надежным супругом, когда чувствуешь в себе органическую несостоятельность? На все эти вопросы я всегда отвечаю одно: изыщи средства! Тем-то и важно служение долгу, что оно не

[1] Здесь: особу легкого поведения.

только мышцам нашим готовое упражнение дает, но и остроту ума развивает, заставляя человека объяснять необъяснимое, делать возможным невозможное. Ибо, что же бы сталось с человеческим родом, если бы все сие доставалось даром, если б исполнять долг было бы столь же просто, как и производить различные естественные отправления? Сталось бы то, что человек бы забылся и в самом деле подумал бы, что жизнь есть не что иное. как приятное препровождение времени.

Иные еще более легкомысленные люди спрашивают: как поступать в том случае, когда исполнение долга неприятно? Этим я отвечаю кратко: принудь себя!

Наконец, легкомысленнейшие из легкомысленных говорят: зачем исполнять обязанности, коли и так хорошо? Этим я просто ничего не отвечаю.

Кажется, что после изложенных выше объяснений для каждого делается понятным, какую важную роль играет в жизни человека исполнение долга. А так как обязанности, в коих человеку упражняться предоставлено, разнообразны и многочисленны, и так как притом ум человеческий неистощим в изобретении для себя новых таковых же, то ясно, что жизнь человека усердного должна равняться поджариванью, на неугасимом огне производимому. Этому человеку всегда недосуг, ибо нет той минуты, которая не несла бы за собой и своей обязанности. Даже посидеть на месте некогда, а все должен бежать и поспешать.

А потому ни для кого не должно казаться удивительным, что писатели знаменитые посвящают свои сочинения именно этому предмету. Почему, например, Базаров кончил столь несчастливо? А потому именно, что не уважал родителей, смеялся над старшими и святое чувство дружбы попирал ногами. Почему юный Виктор Басардин (в романе «Взбаламученное море», не столько знаменитом, сколько пахучем) непременно должен скверно кончить? А потому, что не уважал даже целомудрия губернаторши и, не оказывая никакого почтения к идее собственности, крал чужие золотые табакерки. Ясно, что человек, одаренный такими превратными понятиями, не только сам не может заслуживать уважения, но непременно должен кончить жизнь на каторге.

В предупреждение таких-то пагубных результатов, взялся и я за перо, любезный читатель. Не будучи в состоянии написать нравоучительный роман, я предпочитаю достигать своей цели посредством ряда доступных мне очерков, в которых поочередно будут являться люди, относящиеся равнодушно к самым необходимым человеческим обязанностям. Не скрою: я не всегда буду иметь возможность сослать моих героев в Сибирь

или уморить их холерою, но не потому, чтобы это не зависело вполне от моего произвола, но потому, что мне нередко случалось самому видеть, что люди, преступавшие свои обязанности, не только пользовались почетом в обществе, но и состояли в немаловажных чинах. Но как бы ни удачно устроивали они свои дела, я все-таки уверен, что они когда-нибудь не уйдут от заслуженной казни. И я сочту себя вполне вознагражденным, если читатель, пробежав мои скромные, но правдивые очерки, сам изречет суд над героями их и мысленно распорядится ссылкою их в Сибирь.

II

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

21 июля, накануне своих именин, Марья Петровна Воловитинова с самого утра находится в тревожном ожидании. Она лично надзирает за тем, как горничные убирают комнаты и устраивают постели для дорогих гостей.

— Пашеньке-то! Пашеньке-то! подушечку-то маленькую не забудьте под бочок положить! — командует она направо и налево.

— А Семену Иванычу где постелить прикажете? — спрашивает ее ключница Степанида.

— Ну, Сенечка пусть с Петенькой поспит! — отвечает она после минутного колебанья.

— А то, угольная порожнем стоит?

— Нет, пусть уж, Христос с ним, с Петенькой поспит!.. Феденьке-то! Матрена! Феденьке-то не забудьте, чтоб графин с квасом на ночь стоял!

— А перинку какую Семену Иванычу прикажете?

— Попроще, Степанидушка, попроще! из тех... знаешь? — отвечает Марья Петровна, томно вздыхая.

Сделав эти распоряжения, Марья Петровна удаляется в девичью, где ждет ее повар с разложенною на столе провизией.

— Я сегодня дорогих гостей к себе жду, Афоня! — говорит она повару.

— Слушаю-с.

— Так как же ты думаешь, что бы нам такое сготовить, чтоб дорогих гостей порадовать?

— На холодное галантир можно-с.

— Что это, господи! только и слов у тебя, что галантир да галантир!

— Как вам угодно-с.

— Нет, уж ты лучше... да что ты жуешь? что ты все жуешь?

Афоня проворно подносит ко рту руку и что-то выплевывает.

— Таракан залез-с! — отвечает он.

— Ах ты, дурной, дурной! (Марья Петровна решилась не омрачать праздника крепкими словами.) Верно, уж клюкнул?

— Виноват-с.

— Вот то-то вы, дурачки! огорчаете вы вашу старую барыню, а потом и заедаете всякой дрянью!

— Виноват-с.

— Ты бы вот, дурачок, подумал, что завтра, мол, день барынина ангела: чем бы, мол, мне ее, матушку, порадовать!

— Виноват-с...

— Молчать! Что ты, подлец, какую власть надо мной взял! я слово, а он два! я слово, а он два!.. Так вот ты бы и подумал: что бы, мол, такое сготовить, чтоб барыне перед дорогими гостями не совестно было! а вместо того ты галантир да галантир!

— Можно ветчину с горошком подать-с! — отвечает повар с некоторым озлоблением.

— Ну да; ну, хоть ветчину с горошком... а с боков-то этак котлеточек...

Марья Петровна высчитывает, сколько у нее будет гостей. Будут: Феденька, Митенька и Пашенька; еще будет Сенечка, но его Марья Петровна почему-то пропускает.

— Так ты три котлеточки к одному боку положи,— говорит она.— Ну, а на горячее что?

— Щи из свежей капусты можно сделать-с.

Марья Петровна рассчитывает; свежей капусты еще мало, а щи надобно будет всем подавать.

— Щи ты из крапивы сделай! или нет, вот что: сделай ты щи из крапивы для всех, да еще маленький горшочек из свежей капусты... понимаешь?

— Слушаю-с.

— А на жаркое сделай ты нам баранинки, а сбоку положи три бекасика...

— Можно-с.

— А пирожное, уж так и быть, общее: малиновый пирог! И я, старуха, с ними полакомлюсь!

Кончивши с поваром, Марья Петровна призывает садовника, который приходит с горшками, наполненными фруктами. Марья Петровна раскладывает их на четыре тарелки, поровну на каждую, и в заключение, отобрав особо самые

лучше фрукты, отправляется с ними по комнатам дорогих гостей. Каждому из них она кладет в потаенное место по нескольку отборных персиков и слив, исключая Сенечки, около комнаты которого Марья Петровна хотя и останавливается на минуту, как бы в борении, но выходит из борьбы победительницей.

Марья Петровна женщина очень почтенная; соседи знают ее за чадолюбивейшую из матерей, а отец Павлин, местный сельский священник и духовник Марьи Петровны, даже всенародно однажды выразился, что душа ее всегда с благопоспешением стремится к благоутешению ближнего, а десница никогда не оскудевает благоготовностью к благоукрашению храмов божиих. Марья Петровна сама знает, что она хорошая женщина, и нередко, находясь наедине с самой собою, потихоньку умиляется по поводу разнообразных своих добродетелей. Сядет этак у окошечка, раздумается и даже всплакнет маленько. Всё-то она устроила: Сенечку в генералы вывела, Митеньку на хорошую дорогу поставила, Феденька давно ли из корпуса вышел, а уж тоже штабс-ротмистр, Пашенька выдана замуж за хорошего человека, один только Петенька... «Ну, да этот убогонький, за нас богу помолит! — думает Марья Петровна.— Надо же кому-нибудь и богу молиться!..» И все-то она одна, все-то своим собственным хребтом устроила, потому что хоть и был у ней муж, но покойник ни во что не входил, кроме как подавал батюшке кадило во время всенощной да каждодневно вздыхал и за обедом, и за ужином, и за чаем о том, что не может сам обедню служить. А храмы-то, храмы-то божии! тогда-то Марья Петровна пелену на престол пожертвовала, тогда-то воздухи прекрасные вышила, тогда-то паникадило посеребрила... Как вспомнит это Марья Петровна, да сообразит, что все это она, одна она сделала, и что вся жизнь ее есть не что иное, как ряд благопотребных подвигов, так у ней все внутри и заколышется, и сделается она тихонькая-растихонькая, Агашку называет Агашенькой, Степашку — Степанидушкой, и все-то о чем-то сокрушается, все-то благодушествует.

У Марьи Петровны три сына: Сенечка, Митенька и Феденька; были еще две замужние дочери, но обе умерли, оставив после себя Пашеньку (от старшей дочери) и Петеньку (от младшей).

Сенечка, как сказано выше, уже генерал (разумеется, штатский) и занимает довольно видный пост в служебной иерархии. Начальники Сенечки не нахвалятся им; мало того что он держит в страхе своих подчиненных, но, что всего драгоценнее, сам повиноваться умеет. Окончив с успехом курс в

училище правоведения, Сенечка с гордостью мог сказать, что ни одного чина не получил за выслугу, а всё за отличие, и, наконец, тридцати лет от роду довел свою исполнительность до того, что начальство нашлось вынужденным наградить его чином действительного статского советника. Поздравляя его с этой наградой, Сенечкин начальник публично улыбнулся и назвал его général-enfant[1], а Сенечка, с своей стороны, разревновался до того, что в один год сочинил пять проектов, из коих два даже по совершенно постороннему ведомству. Начальство просто растерялось и не знало, как наградить молодого генерала. Сенечка же, с своей стороны, слушая со всех сторон себе похвалы, застенчиво краснел, что придавало еще более цены его усердию. Я не читал сочиненных Сенечкою проектов, но, признаюсь, очень хотел бы почитать их. А так как, с другой стороны, мне достоверно известно, что все они кончались словами: «вменить начальникам губернии в обязанность» и т. д., то, положив руку на сердце, я с уверенностию могу сказать, что содержание их мне заранее известно до точности, а следовательно, и читать их особенной надобности для меня не настоит.

Итак, со стороны службы, Сенечка был счастлив; он имел прекрасный, шитый золотом мундир, был баловнем своих начальников, служил предметом зависти для сверстников и примером подражания для подчиненных. Сверх того, он имел очень приятную наружность и те прекрасные манеры, которыми вообще отличаются питомцы школы правоведения. И в наружности, и в манерах его прежде всего поражала очень милая смесь откровенной преданности с застенчивою почтительностью; сверх того, он имел постоянно бодрый вид, а когда смотрел в глаза старшим, то взгляд его так отливал доверчивостью и признательностью, что старшие, в свою очередь, не могли оторвать от него глаз и по этой причине называли его василиском благонравия. Замечательно, что до всего этого он дошел своим собственным умом, без малейшей протекции, потому что maman Воловитинова хотя была женщина с состоянием, но жила безвыездно в деревне и никаких знатных связей не имела. Понятно, что, видя такие качества, начальники были без ума от него. Поэтому Сенечка мог дерзать в будущем очень далеко, и хотя предположений своих по этому предмету не высказывал, но я знаю, что и он был не чужд мечтаний. Я знаю, например, что нередко ему снились мундиры самых разнообразных цветов и покроев, но всегда с великолепным шитьем; однажды он даже увидел себя во сне сплошь

---

[1] генерал-ребенок.

утыканным павлиньими перьями, которые так и играли на солнце всевозможными радужными цветами. Сон оказался вещун, потому что на другой же день его представили к награде. Повторяю: Сенечка был счастлив. Однако было одно обстоятельство, которое грызло его, и обстоятельство это заключалось в том, что он никак не мог пленить сердце маменьки Марьи Петровны. По-видимому, он заключал в себе все данные для увеселения материнского сердца; по-видимому, он был и благонравен, и почтителен, не пропускал ни одного праздника, чтоб не пожелать милой маменьке «встретить его в полном душевном спокойствии и в той сердечной тишине, которых вы, милая маменька, вполне достойны», однако материнское сердце оставалось холодно к нему. Нельзя сказать, чтобы Марья Петровна не «утешалась» им: когда он в первый раз приехал к ней показаться в генеральском чине, она даже потрепала его по щеке и сказала: «Ах, ты мо-ой!», но денег не дала и ограничилась ласковым внушением, что люди для того и живут на свете, чтобы друг другу тяготы носить.

— Маменька, мне надо будет мундир новый сшить! — сказал Сенечка, думая деликатным образом дать понять об истинной цели своего посещения.

— Сшей, душенька, сшей! — снисходительно отвечала Марья Петровна, а денег так-таки и не дала.

Соседи всячески истолковывали себе причины холодности Марьи Петровны к своему первенцу. Приплетали тут и каких-то двух офицеров Пошехонского пехотного полка, и Карла Иваныча, аптекаря; говорили, что Сенечка первый и единственный сын своего отца и что Марья Петровна, не питавшая никогда нежности к своему мужу, перенесла эту холодность и на сына; некоторые доходили в своих догадках даже до того, что утверждали, будто бы Сенечка, будучи еще грудным ребенком, имел уже четыре зуба и однажды пребольно укусил ими мамашину грудь, и что с тех пор Марья Петровна забрала себе в голову, что этот сын будет ей злодеем.

Я, с своей стороны, думаю, что все это пустяки. Не смея ни возражать, ни утверждать ничего относительно офицеров и аптекаря (потому что и сам этого обстоятельства не привел в положительную известность), я удостоверяю, однако ж, что, при врожденной почтительности, Сенечка никак не позволил бы себе укусить мамашину грудь даже в таком случае, если б челюсть его была полна зубов, как у щуки. Я объясняю себе (заметьте: не оправдываю, а только объясняю) холодность Марьи Петровны несколько иначе: она была женщина простая, деятельная и весьма сообразительная; Сенечка же, напротив того, был молодой человек вычурный, лимфатический и слегка

словно пришибенный. Марья Петровна любила, чтоб у нее дело в руках горело; Сенечка любил всякое дело обсудить, то есть не столько обсудить, сколько наговорить по поводу его с три короба всякого рода предварительных пошлостей. Марья Петровна терпеть не могла, когда к ней лезли с нежностями, и даже целование руки считала хотя необходимою, но все-таки скучною формальностью; напротив того, Сенечка, казалось, только и спал и видел, как бы ему влепить мамаше безешку взасос, и шагу не мог ступить без того, чтобы не сказать: «вы, милая маменька», или: «вы, добрый друг, моя дорогая маменька». Весьма натурально, что, будучи от природы нетерпелива и не видя конца речи, Марья Петровна выходила наконец из себя и готова была выкусить язык этому «подлецу Сеньке», который прехладнокровно сидел перед нею и размазывал цветы своего красноречия. «Как начнет он это разводить, да размазывать, да душу из меня выматывать, как начнет это свои слюни распускать,— говаривала Марья Петровна по этому случаю,— так поверите ли, родная моя, я даже свету невзвижу; так бы, кажется, изодрала ему рот-то его поганый, чтоб он кашу-то эту из себя скорей выблевал!» Когда Марья Петровна ела, то совсем не жевала, а проглатывала пищу, как щука; напротив того, Сенечка любил всякий кусок рассмотреть, разжевать, просмаковать, посыпать разговорцем, и к довершению всего, разрезывал кушанье на маленькие кусочки, а с огурца непременно срезывал кожу. Поэтому, когда им случалось вдвоем обедать, то у Марьи Петровны всегда до того раскипалось сердце, что она как ужаленная выскакивала из-за стола и, не говоря ни слова, выбегала из комнаты, а Сенечка следом за ней приставал: «Кажется, я, добрый друг, маменька, ничем вас не огорчил?» Наконец, когда Марья Петровна утром просыпалась, то, сплеснув себе наскоро лицо и руки холодной водой и накинув старенькую ситцевую блузу, тотчас же отправлялась по хозяйству и уж затем целое утро переходила от погреба к конюшне, от конюшни в контору, а там в оранжерею, а там на скотный двор. Сенечка, напротив того, и спал как-то не по-человечески: во-первых, на ночь умащал свое лицо притираньями, во-вторых, проснувшись, целый час рассматривал, не вскочило ли где прыщика, потом целый час чистил себе ногти, потом целый час изучал перед зеркалом различного рода улыбки, причем даже рот как-то на сторону выворачивал, словно выкидывал губами артикул. Хоть Марье Петровне до всего этого было очень мало дела, потому что она и не желала, чтоб дети у ней в доме чем-нибудь распоряжались, однако она и на конюшне, бывало, вспомнит, что вот «Сенька-фатюй» теперь перед зеркалом гримасы строит, и даже пере-

дернет ее всю при этом воспоминанье. Одним словом, встречаясь в жизни на каждом шагу, они не только не могли ни в чем сойтись, но положительно и постоянно точили друг друга. Ясно, что причина этого явления лежала совсем не в офицерах Пошехонского полка, но объяснялась гораздо проще. Они видеть друг друга не могли без того, чтоб мысленно не произнести — она: «Ах, если б ты знал, как меня от одного твоего вида тошнит!», он: «Ах, если бы ты знала, с каким бы я удовольствием ноги своей сюда не поставил, кабы только от меня это зависело!» Какой же тут аптекарь! тут просто люди не понимают друг друга, потому что говорят на разных языках!

Однажды Сенечка насмерть перессорился с маменькой из-за бани. Приехавши летом в отпуск, вздумал он вымыться в баньке и пришел доложить об этом маменьке. Он тогда только что был произведен в статские советники и назначен вице-директором какого-то департамента.

— У меня есть до вас, милая маменька, большая просьба! — приступил Сенечка, по своему обыкновению, с предисловия.

— Говори, мой друг!

— Вы меня извините, добрый друг, маменька, только что я приехал и решаюсь уже вас беспокоить...

— Говори, мой друг!

— Но обстоятельство такого рода, что я, зная ваше доброе ко мне расположение, и как вы всегда были снисходительны ко всем моим нуждам...

— Да говори же, дурак!

— Я, право, не знаю, дорогая маменька, чем я мог заслужить ваш гнев...

— Долго ли ты меня притеснять будешь? долго ли тебе мной командовать-то?

— Я, милая маменька...

Но Марья Петровна уже вскочила и выбежала из комнаты. Сенечка побрел к себе, уныло размышляя по дороге, за что его наказал бог, что он ни под каким видом на маменьку потрафить не может. Однако Марья Петровна скоро обдумалась и послала девку Палашку спросить «у этого, прости господи, черта», чего ему нужно. Палашка воротилась и доложила, что Семен Иваныч в баньку желают сходить.

— На-тко! — сказала Марья Петровна и показала при этом Палашке указательный палец правой руки,— на дворе сенокос, люди в поле, а он в баньку выдумал! Поди доложи, что некому сегодня топить.

Однако через несколько минут Марья Петровна опять обдумалась, велела затопить баню и послала за Сенечкой.

— Ну, ступай в баню, мой друг,— сказала она кротко.

— Но если это затрудняет вас в ваших распоряжениях, милый друг, маменька...

— Ступай в баню, мой друг,— опять повторила Марья Петровна и, чтоб не увлекаться, занялась раскладыванием гранпасьянса.

— Если все люди в поле, дорогая маменька...

Марья Петровна не отвечала, но, судорожно повертываясь на стуле, думала: «Неужели я такого дурака родила?»

— Я не знаю, милая маменька, что я такое сделал, чем я мог вас огорчить?

Молчание.

— Я благонравием своим заслужил любовь всех моих начальников, ныне назначен уже вице-директором и льщу себя надеждою, что карьера моя далеко не кончена...

То же молчание, нарушаемое только шлепаньем карт.

— Во всех семействах первородные сыновья...

— Уйдешь ли ты в баню, мерзавец! — крикнула наконец Марья Петровна, но таким голосом, что Сенечке стало страшно.

И долго потом волновалась Марья Петровна, и долго разговаривала о чем-то сама с собой, и все повторяла: «Лишу! ну, как бог свят, лишу я этого подлеца наследства! и перед богом не отвечу!» С своей стороны, Сенечка хоть и пошел в баню, но не столько мылся в ней, сколько размышлял: «Господи, да отчего же я всем угодил, всем заслужил, только маменьке Марье Петровне ничем угодить и заслужить не могу!»

Второй сын Марьи Петровны, Митенька, дипломат. Он воспитывался в лицее, прекрасно владеет французским диалектом, смотрит урожденным камер-юнкером и отлично танцует. Лицо его выразительно и напоминает скорее прекрасный, худощавый итальянский тип, нежели наш мясистый русский. Поговаривают, будто он пользуется значительными успехами у дам; тем не менее он ведет себя очень осторожно, историй, которые могли бы его скомпрометировать, никогда не имел и, как видно, предпочитает обделывать свои дела полегоньку. Вообще это малый довольно глубокомысленный, понимающий, что счастье человеческое заключается в скромности, терпении и небрезгливости, и вследствие того всегда предпочитающий даму опытную, знакомую с жизненной дипломатией, какой-нибудь молоденькой, привлекательной, но в то же время неосновательной бабенке. Носились слухи, что он сумел сыскать в какой-то княгине, знаменитой не столько настоящею, сколько прошедшею своей красотой; говорили, что он не только пользуется ее благосклонностью, но не пренебрегает и другими,

более вещественными выгодами. Как бы то ни было, но квартира его была действительно отделана как игрушечка, хотя Марья Петровна, по своей расчетливости, не слишком-то щедро давала детям денег на прожитие; сверх того, княгиня почти публично называла его сынком, давала ему целовать свои ручки и без устали напоминала Митенькиным начальникам, что это перл современных молодых людей. Мне, как автору, кроме того, известно, что однажды княгиня, в порыве чувствительности, даже написала к Марье Петровне письмо, в котором называла ее доброю maman и просила благословения. Это был единственный случай, когда Митенька вышел из своего обычного хладнокровия и чуть было не поссорился с своей покровительницей. В первом увлечении гнева, он нашел, что поступок этот чересчур уж нелеп, que ça n'a l'air de rien [1], что это срам; однако ж, по зрелом размышлении, успокоился и даже рассудил, что нелепая сантиментальность княгини может возвысить его в мамашиных глазах и вместо вреда принести пользу. И действительно, почти вслед за тем он получил от мамаши письмо, полное самых шутливых намеков, которое окончательно его успокоило. Письмо это оканчивалось поручением поцеловать милую княгиню и передать ей, что ее материнское сердце отныне будет видеть в ней самую близкую, нежно любимую дочь. Разумеется, Митенька поручения этого не исполнил.

В своем обществе Митенька называл Марью Петровну ma bonne pâte de mère [2] и очень трогательно рассказывал, как она там хозяйничает в деревне, чтоб прилично содержать своих детей. К Сенечке он относился дружелюбно, но виделся с ним редко и в отношения его к матери не входил, ибо считал, что это не его дело. Он знал, что Сенечка не потеряется и в конце концов все-таки женится на купчихе, которая соблазнится его генеральством. Феденьку, младшего брата, он в душе презирал, и даже боялся, что он когда-нибудь непременно или казенные деньги украдет, или под суд попадет, или получит неприятность по лицу. Тем не менее это опасение, быть может, было причиной, что он поддерживал с Феденькой сношения даже более деятельные, нежели с Сенечкой: он надеялся, что если и возникнет какая-нибудь неприятность, то можно будет своевременно принятыми мерами предотвратить ее. Повторяю: это был малый очень глубокомысленный, принявший свое положение в том виде, в каком оно действительно представлялось, и употреблявший все свои усилия на то, чтобы вывер-

---

[1] что это ни на что не похоже.
[2] моя добрейшая матушка.

нуться из него как можно приличнее. Если б можно было упечь Феденьку куда-нибудь подальше, но так, чтобы это было прилично (ему часто даже во сне виделось, что Феденька оказался преступником и что его ссылают в Сибирь), то он бы ни на минуту не усумнился оказать в этом деле все свое содействие.

С своей стороны, Марья Петровна не столько любила Митеньку, сколько боялась его. При одном его имени она чувствовала какой-то панический страх, точно вот он сейчас возьмет да и проглотит ее. Митенька дома держал себя таинственно строго, с матерью никогда не ссорился, но и в откровенности не пускался. В сущности, он и Сенечка представляли почти одну и ту же натуру: та же шаткость основ, то же отсутствие всякой живой мысли, но, вследствие особенностей характера и жизненной выдержки, то, что в Сенечке сказывалось прямою, неподкрашенною нелепостью, в Митеньке являлось твердостью характера, переходившею в холодную и расчетливую злость. Оба они говорили и делали одни и те же пошлости, но проводили эти пошлости в жизнь совершенно различными путями. Сенечка суетился и сантиментальничал; он не смотрел на себя как на государственного человека, но, надеясь на милость начальства, был предан и выигрывал единственно усердием и ничтожеством; взирая на него, как он хлопочет и надрывается, усматривая на каждом шагу несомненные доказательства его почтительности, начальство говорило: «О! это молодой человек верный! этот не выдаст!» Напротив того, Митенька был неприступен и непроницаем; он хранил свою пошлость про себя и совершенно искренно верил, что в ней заключаются истинные задатки будущего государственного человека; он не хлопотал, не суетился, но делал свои маленькие нелепости серьезно и методически и поражал при этом благородством манер. Взирая на эту силу ничтожества, доведенную почти до олимпийского спокойствия, начальство говорило: «Да! это молодой человек положительный! этот не выдаст!» Результаты в обоих случаях выходили одинаковые, и действительно, Митенька шел вперед столь же быстрыми шагами, как и Сенечка, с тою только разницей, что Сенечка мог надеяться всплыть наверх в таком случае, когда будет запрос на пошлецов восторженных, а Митенька в таком, когда будет запрос на пошлецов непромокаемых. Марья Петровна радовалась успехам Митеньки, во-первых, потому, что это не позволяло Сенечке говорить: «Все у вас дети пастухи — я один генерал!», и, во-вторых, потому, что Митенька один умел сдерживать Феденьку, эту скорбь и вместе с тем радость и чаянье ее материнского сердца.

И действительно, Феденька представлял собой совершен-

нейший тип не только пустейшего малого, но и положительного ерыги. «Все-то у него удовольствия какие-то неблагородные! всё-то у него либо подол поднять, либо рожу раскровенить!» — часто думала втихомолку Марья Петровна про Феденьку, и болело же, ох, болело! ее материнское сердце! И припоминала ей беспощадная память все оскорбления, на которые был так щедр ее любимчик; подсказывала она ей, как он однажды, пьяный, ворвался к ней в комнату и, ставши перед ней с кулаками, заревел: «Сейчас послать в город за шампанским, не то весь дом своими руками передушу!» — «И передушил бы!» — невольно повторяет Марья Петровна при этом воспоминании. Подсказывала ей память, как он в другой раз преданную ей ключницу Степаниду сбирался за что-то повесить, как он даже вбил гвоздь в стену, приготовил веревку и наконец заставил Степаниду стать на колени и молиться богу. Подсказывала ей память, как он однажды батюшке потихоньку косу обстриг и как батюшка был от того в великом смущении и хотел даже доходить до епархиального начальства... Вообще, каждый приезд Феденьки в родительский дом равнялся неприятельскому погрому, после которого обыватели долго не могли прийти в себя. Во-первых, всех горничных непременно перепортит, и не то чтоб лаской или резонным усовещиваньем, а всё арапником да нагайкой; во-вторых, божьего дара не столько припьет-приест, сколько озорством разбросает; в-третьих, изо всего дома словно конюшню сделает. «Другая бы мать давно этакого молодца в Суздаль-монастырь упекла!» — рассуждает сама с собой Марья Петровна, совершенно убежденная, что есть на свете какой-то Суздаль-монастырь, в который чадолюбивые родители имеют право во всякое время упекать не нравящихся им детей. Никто в доме не любил Феденьку; всех-то он или побил, или оборвал; только горничные девки оказывали какое-то трепетное малодушие при одном его взгляде, несмотря на жестокое его обращение.

Тем не менее сердце Марьи Петровны ни к кому из детей так не лежало, как к Феденьке. Быть может, ей именно то в нем и нравилось, что он таким коршуном налетал; «разбойник!» — громко говорил ее рассудок; «молодец!» — подсказывали внутренности, и, как и водится, последние всегда одерживали победу в этой неравной борьбе. Будучи сама характера решительного и смелого, она, весьма естественно, симпатизировала Феденьке, который ни перед чем не задумывался, ничем не затруднялся. Никогда не имев случая испытать над собой гнет чьей-нибудь власти, сама всегда властвуя и повелевая, она исполнялась каким-то наивным удивлением перед Феденькой, который сразу подчинял ее себе. Это был

совсем не страх, вроде того, который внушал ей Митенька, это именно было удивление. Митеньку она боялась, потому что знала, что уж если этот человек чего захочет, то не станет много разговаривать, не станет горячиться, а просто ехиднейшим образом подкопается подо все существование и изведет, измучит вконец, покуда не поставит на своем. Напротив того, Феденька, как буян по натуре, действовал убеждением, так сказать, механическим: вспылит, подымет дым коромыслом, порой чуть-чуть не убьет, но через десять минут опять успокоится, и опять пошел шутки шутить.

Ко всему этому, Феденька был и по наружности молодец молодцом. Высокий, плечистый, искрасна-белокурый, он олицетворял собой тип чисто русский, мясистый тип, от которого млеют и ноют неиспорченные сердца русских помещиц и их горничных. Часто, глядя на него, Марья Петровна невольно думала: «Господи! да как же и противиться-то этакому молодцу!», и в этом, быть может, была вторая причина ее предпочтения младшему сыну. Когда же, бывало, натянет он на себя свой кавалерийский мундир, а на голову наденет медную, как жар горящую, каску с какими-то чудодейственными орлами на вершине да войдет этаким чудаком в мамашину комнату, то Марья Петровна едва удерживалась, чтоб не упасть в обморок от полноты чувств.

— Эк! уж и расползлись! — скажет, бывало, Феденька и дико-торжественно загогочет.

— Да помилуй, мой друг! — вымолвит только Марья Петровна и долго смотрит на своего идола, смотрит без всяких мыслей, кроме одной: «Господи! да неужто же есть на свете такая женщина, которая может противиться моему молодцу!»

Кроме сыновей, у Марьи Петровны есть еще внучата: Пашенька и Петенька. Пашенька — кругленькое, маленькое и мяконькое существо: вот все, что можно сказать об ней; она менее года как замужем за «хорошим человеком», занимающим в губернском городе довольно видное место, которого, однако ж, Феденька откровенно называет слюняем и фофаном; Марья Петровна души в ней не слышит, потому что Пашенька любит копить деньги. Петенька — четырнадцатилетний мальчик: полуидиот и единственный постоянный собеседник Марьи Петровны, которая обращается с ним снисходительно и жалуется только на то, что он, по своей нечистоплотности, слишком много белья изнашивает. Единственный рассказ, которым всех и каждого потчевал Петенька, заключался в том, как он однажды заблудился в лесу, лег спать под дерево и на другой день, проснувшись, увидел, что кругом оброс грибами.

— Что ж, ты, чай, так их сырые и приел? — спрашивал его обыкновенно Феденька.

— *Ей!* — отвечал Петенька, который, помимо малоумия, был до такой степени косноязычен, что трудно было понять, что он говорит.

— Ну, брат, скотина же ты!

— *Кати...*

Итак, вот то семейство, среди которого Марья Петровна Воловитинова считала себя совершенно счастливою.

Часу в первом усмотрено было по дороге первое облако пыли, предвещавшее экипаж. Девки засовались, дом наполнился криками: «Едут! едут!» Петенька на палочке верхом выехал на крыльцо и во все горло драл какую-то вновь сочиненную им галиматью: «Пати-маля, маля-тата-бум-бум!» Марья Петровна тоже выбежала на крыльцо и по дороге наградила Петеньку таким шлепком по голове, что тот так и покатился. Первая прибыла Пашенька: она была одна, без мужа.

— Друг ты мой! а что же друг-то твой, Максим Александрыч? — воскликнула Марья Петровна, заключая в свои объятия возлюбленную внучку.

— Максиму Александрычу никак нельзя, милая бабинька; у нас, бабинька, скоро торги, так он приготовляется! Здравствуй, Петька!

— *Пати-маля, маля-тата, бум-бум!*

— Это он что-то новое у вас, бабинька, выучил!

— Не слыхала еще! сегодня, должно быть, выдумал! это он «реприманд» дорогим гостям делает.

— А я, бабинька, полторы тысячи накопила! — сообщает Пашенька, как только унялись первые восторги.

— Ах ты моя ягодка! да никак ты тяжела!

— Я, милая бабинька, тяжела уж с одиннадцатого февраля!

— Ах, малютка ты моя милая! где ж ты рожать-то будешь?

— Максим Александрыч говорит, что у себя, в городе.

— Да есть ли у вас бабка-то там?

— У нас, бабинька, такая бабка... такая бабка! нарочно для нашей губернаторши лучшую из Петербурга прислали!

— Стало быть, у вас губернаторша-то еще рожает?

— Ах, бабинька! у нас губернаторша... это ужас! Уж не молодая женщина, а каждый год! каждый год!

— Ну, это хорошо, что бабка у вас такая... Куда же ты деньги-то? положила?

— Нет, бабинька, Максим Александрыч мне класть не советовал; проценты нынче в опекунском совете маленькие, так я в рост за большие проценты отдала.

— Смотри, чтоб он у тебя денег-то не выманил!

— Кто это?

— А Максимушка-то твой; бывают, Пашенька, друг, бывают такие озорники, что и жену готовы живую съесть, только бы деньги из нее вымучить!

— Ну, уж это, бабинька, тогда разве будет, когда он жилы из меня потянет!

— То-то, ты у меня смотри!

Бабинька смотрит Пашеньке в глаза и не налюбуется на нее; Пашенька, с своей стороны, докладывает, что приходил к ней недавно в город мужик из Жостова, Михей Пантелеев, просил оброк простить, потому что погорел, «да я ему, милая бабинька, не простила».

— Ну, душенька, иногда, по-божески, нельзя и не простить! — замечает Марья Петровна.

— Ну, уж нет, бабинька, этак они так об себе возмечтают, что после с ними и не сговоришь!

— Однако, душечка...

— Нет, бабинька, нет! Я уж решилась никогда никому никаких снисхождений не делать!

Потом Пашенька рассказывает, какой у них в городе дом славный, как их все любят и какие у Максима Александрыча доходы по службе прекрасные.

— В прошлый набор, бабинька, так это ужасти, сколько Максим Александрыч приобрел! — говорит она.

— Да, это хорошо, коли в дом, а не из дому! Ты, Пашенька, разузнавай под рукой про его доходы-то, а не то как раз на стороне метрессу заведет!

— Что вы, бабинька, да я ему глаза выцарапаю!

— Ах ты моя ягодка!

Пашенька чувствует прилив нежности, которая постепенно переходит в восторг. Она ластится к бабиньке, целует ей ручки и глазки, называет царицей и божественной. Марья Петровна сама растрогана; хоть и порывается она заметить, по поводу Михея Пантелеева, что все-таки следует иногда «этим подлецам» снисходить, но заметка эта утопает в другом рассуждении, выражающемся словами: «А коли по правде, что их, канальев, и жалеть-то!» Таким образом время проводится незаметно до самого приезда дяденек.

Наконец и они приехали. Феденька, как соскочил с телеги, прежде всего обратился к Пашеньке с вопросом: «Ну, что, а слюняй твой где?» Петеньку же взял за голову и сряду три раза на ней показал, как следует ковырять масло. Но как ни спешил Сенечка, однако все-таки опоздал пятью минутами против младших братьев, и Марья Петровна, в радостной

суете, даже не заметила его приезда. Без шума подъехал он к крыльцу, слез с перекладной, осыпал ямщика укоризнами и даже пригрозил отправить к становому.

— Милости просим! милости просим! хоть и поздний гость! — говорит ему Марья Петровна, когда он входит в ее комнату.

— Я, милая маменька, выехал прежде всех...

— А ты умей после всех выехать, да прежде всех приехать! — говорит Феденька.— Право, мы выехали со станции полчаса после него: думаем, пускай его угодит маменьке... Сеня! а Сеня! признайся, ведь тебе очень хотелось угодить маменьке?

Сенечка улыбается; он хочет притвориться, что Феденька и его фаворит и что, по любви к нему, он смотрит на его выходки снисходительно.

— Только на половине дороги смотрим, кто-то перед носом у нас трюх-трюх! — продолжает Феденька.— Ведь просто даже глядеть было на тебя тошно, каким ты разуваем ехал! а еще генерал... ха-ха!

— Ну, Христос с ним, Феденька!

— Да нет, маменька! не могу я равнодушно видеть... его да вот еще Пашенькинова слюняя... Шипят себе да шипят втихомолку!

— Что такое тебе мой слюняй сделал? — горячо вступается Пашенька, которая до того уже привыкла к этому прозвищу, что и сама нередко, по ошибке, называет мужа слюняем.

Митенька сидит и хмурит брови. Он спрашивает себя, куда он попал? Он без ужаса не может себе представить, что сказала бы княгиня, если б видела всю эту обстановку? и дает себе слово уехать из родительского дома, как только будут соблюдены необходимые приличия. Марья Петровна видит это дурное расположение Митеньки и принимает меры к прекращению неприятного разговора.

— Ну, вы, петухи индейские! как сошлися, так и наскочили друг на друга! — говорит она ласково.— Рассказывайте-ка лучше каждый про свои дела! Начинай-ка, Феденька!

Митенька думает про себя: «Господи, и слова-то какие: «петухи индейские»! да куда ж это я попал!» Сенечка думает: «А ведь это она не меня петухом-то назвала! Это она все Федьку да Пашку ласкает!»

— Да что я скажу! — начинает Феденька.— Жуируем!

— Да ты рассказывай! — настаивает Марья Петровна.

— Недавно одну корифейку затравили!

— Что ты!

— Уговаривали добром — не хотела, ну, и завели обманом в одно место и затравили!

— Ах вы бедокуры! бедокуры! — говорит Марья Петровна, покачивая головой и вздыхая.

— Тебя, Феденька, за эти проделки непременно в солдаты разжалуют,— очень серьезно замечает Митенька.

— Еще что!

— Ах, боюсь и я этого! боюсь я, что ты очень уж шаловлив стал, Феденька!

— Так неужто ж им спуску давать!

— Да уж очень ты неосторожно, друг мой! Чай, ведь она, Феденька, плакала!

— Ну что ж... и плакала! смотреть, что ли, на ихние слезы!

Марья Петровна опять вздыхает, но в этом вздохе не слышится ни малейшей укоризны, а скорее, какое-то сладкое чувство удовлетворенной материнской гордости.

— Вот, если б *он* вздумал такую проделку сделать,— продолжает Феденька, указывая на Сенечку,— ну, это точно: сейчас бы его, раба божьего, сграбастали... нет, да ведь я позабыть не могу, каким он фофаном давеча ехал!

— Ну, где уж ему!

— Нет, маменька,— прерывает вдруг Сенечка, которому хочется вступиться за свою честь,— я тоже однажды имел случай в этом роде...

— Полно! полно хвастаться-то! уж где тебе, убогому!

Сенечка стыдливо умолкает и весь погружается в самого себя, он думает, что бы такое ему сказать приятное, когда маменька станет расспрашивать о его житье-бытье.

— Я, маменька, опять Эндоурова обыграл,— продолжает повествовать Феденька.

— Скажи, сделай милость! и много выиграл?

— Да тысяч на пять обжег.

— Что это за Эндоуров такой? должно быть, хороший человек?

— Просто, филин... в карты шагу ступить не умеет — ну, и обжег! Не суйся вперед, коли лапти плетешь!

— Ну, и за это тебя когда-нибудь в солдаты разжалуют,— хладнокровно замечает Митенька.

— Ах, что это ты, Митенька, точно ворона каркаешь! — с неудовольствием отзывается Марья Петровна.

— Не тянуть же мне канитель по две копейки в ералаш, как Семену Иванычу,— огрызается Феденька.

— Извините-с, я нынче по пяти играю, а не по две-с! — отвечает Сенечка не без волнения.

— Так ты по пяти играешь! ах ты развратник! но только ты все-таки не поверишь, каким ты фофаном давеча ехал!

— Для тебя бы, Сенечка, такая-то игра и дорогонька! — сухо замечает Марья Петровна и обращается к Митеньке: — è ву ля метресс... тужур бьен? [1]

— Желал бы я знать, отчего вы вдруг по-французски заговорили? — угрюмо спрашивает Митенька.

— Отчего ж мне и не заговорить по-французски?

— Нет, я желал бы знать, отчего вы все время говорили по-русски, а вот как вам взошла в голову пакость, сейчас принялись за французский язык?

— Ах, господи! да неужто ж это преступление какое?

— И сколько я раз говорил вам, чтобы вы со мной о подобных предметах не заигрывали?

— Ведь ты, чай, сын мне! всякой матери лестно слышать, коли сын успехи имеет!

— А я вам говорил и вновь повторяю, что имею ли я успехи или нет, это до вас не касается!

— Ну, уж не знаю...

— Так знайте. И по-французски не упражняйтесь, потому что вы говорите не по-французски, а по-коровьи...

Я не знаю, как вывернулась бы из этого пассажа Марья Петровна, и сумела ли бы она защитить свое материнское достоинство; во всяком случае, Сенечка оказал ей неоцененную услугу, внезапно фыркнув во всеуслышанье. Вероятно, его, точно так же как и Митеньку, поразил французский язык матери, но он некоторое время еще крепился, как вдруг Митенька своим вовсе неостроумным сравнением вызвал наружу всю накопившуюся смешливость.

— Ты еще что? — строго обратилась к нему Марья Петровна.

— Я, маменька, один смешной случай вспомнил-с...

— Над матерью-то посмеяться тебя станет, а вот как заслужить чем-нибудь, так тут тебя нет!

— Я, маменька...

Но здесь опять, и, конечно, против всякого желания, Сенечка разразился самым неестественным фырканьем, так что сам понял все неприличие своего поведения и инстинктивно поднялся со стула.

— Поди в свою комнату... очнись! — говорила ему вслед до глубины души оскорбленная мать.

Только к обеду явился Сенечка, но и то единственно за тем,

---

[1] Безграмотная французская фраза: «А вы любовница... всегда хорошо?»

чтоб испить до дна чашу унижения. За обедом все шло по-сказанному; Марья Петровна сама выбирала и накладывала лучшие куски на тарелки Митеньке, Феденьке и Пашеньке и потом, обращаясь к Сенечке, прибавляла: «Ну, а ты, как старший, сам себе положишь, да кстати уж и Петеньке наложи». Очевидно, что при такой простоте обращения только относительно щей дело могло принять оборот несколько затруднительный, но и тут обстоятельства выручили Марью Петровну, потому что Феденька, как воин грубый, предпочел крапивные щи ленивым, и вследствие этого оказалось возможным полтарелки последних уделить Сенечке. Наевшись баранины, Сенечка почувствовал такую тяжесть в желудке, что насилу дошел до своей комнаты и как сноп свалился на постель; Феденька отправился после обеда на конюшню, Пашенька, как *тяжелая,* позволила себе часочек, другой отдохнуть. Марья Петровна осталась с Митенькой наедине.

— Вот вы смеетесь надо мной, мои друзья,— сказала она в виде предисловия,— а я, как мать, можно сказать, денно и нощно только об вас думаю.

Митенька молчал и думал про себя: «Ну, верно, по обыкновению, пойдут разговоры об завещании!»

— Вот я теперь и стара и дряхла становлюсь,— продолжала Марья Петровна,— мне бы и об душе пора подумать, а не то чтоб имением управлять или светскими делами заниматься!

Митенька продолжал молчать, совершенно хладнокровно пуская ртом кольца дыма.

— Паче всего сокрушаюсь я о том, что для души своей мало полезного сделала. Все за заботами да за детьми, ан об душе-то и не подумала. А надо, мой друг, ах как надо! И какой это грех перед богом, что мы совсем-таки... совсем об душе своей не рачим!

Но Митенька словно окаменел. Только чуть заметная ироническая улыбка блуждала на губах его.

— Вот я, мой друг, и придумала... Да что же ты, друг мой, молчишь? Я, как мать, можно сказать, перед тобой свое сердце открываю, а ты хоть бы слово!

— Вы об завещании хотите говорить... я знаю,— процедил сквозь зубы Митенька.

— Ну, да, об завещании... можно бы, кажется, на слова матери внимание обратить!

— Говорите.

— Нет, это обидно! Я, как мать, покоя себе не знаю, всё присовокупляю, всё присовокупляю... кажется, щепочку на улице увидишь, и ту несешь да в кучку кладешь, чтоб детям

было хорошо и покойно, да чтоб нужды никакой не знали, да жили бы в холе да в неженье...

— Да мы, маменька, очень вам благодарны...

— Нет, мне, видно, бог уж за вас заплатит! Один он, царь милосердый, все знает и видит, как материнское-то сердце не то чтобы, можно сказать, в постоянной тревоге об вас находится, а еще пуще того об судьбе вашей сокрушается... чтобы жили вы, мои дети, в веселостях да в неженье, чтоб и ветром-то на вас как-нибудь неосторожно не дунуло, чтоб и не посмотрел-то на вас никто неприветливо...

— Да говорите же, маменька, я вас слушаю.

Мало-помалу, однако ж, Марья Петровна успокоилась. Она очень хорошо понимала, что весь этот разговор не что иное, как представление, да, сверх того, понимала и то, что и Митенька знает, что все это представление; но такова уже была в ней потребность порисоваться и посекретничать, что не могла она лишить себя этого удовольствия, несмотря на то что оно, очевидно, не достигало своей цели.

— Ну так видишь ли, друг мой, что я придумала. Года мои преклонные, да и здоровье нынче уж не то, что прежде бывало; вот и хочется мне теперь, чтоб вы меня, старуху, успокоили, грех-то с меня тот сняли, что вот я всю жизнь все об мамоне да об мамоне, а на хорошее да на благочестивое — и нет ничего. Так снимите же вы, Христа ради, с меня эту тягость; ведь замучилась уж я, день-деньской маявшись; освободите вы мою душу грешную от муки мученской! Ведь ты знаешь ли, какой я себе грех беру на душу: кажется, и не отмолить мне его вовек!

Марья Петровна даже прослезилась: так оно выходило хорошо да чувствительно. Несколько минут она все вздыхала и вытирала платком слезы, обильно струившиеся из глаз. Но мысль ее не спала в это время; странное дело, эта мысль подсказывала ей совсем не те слова, которые она произносила; она подсказывала: «Да куда ж я, черт побери, денусь, коли имение-то все раздам! все жила, жила да командовала, а теперь на-тко, на старости-то лет да под команду к детям идти!» И вследствие этого тайного рассуждения слезы текли еще обильнее, а материнское горе казалось еще горче и безысходнее.

— Так что же вы предполагаете сделать? — спокойно спросил Митенька.

— Отдам! все отдам! — с каким-то почти злобным криком отвечала Марья Петровна.— Нет моих сил! нет моих сил! Слушай ты меня: вот я какое завещание составила!

Марья Петровна отперла денежный ящик и вынула оттуда бумагу.

— Да ведь вы мне уж несколько раз это завещание читали,— иронически заметил Митенька.

— Нет, это я другое... я то переменила.

— Ну-с, читайте.

— «Во имя...» ну, там все, как следует, по-старому... «первое, сыну моему Семену, как непочтительному...»

— Кто же вам поверит, что Сенечка был к вам непочтителен?

— Да мне какое дело, поверит ли кто или нет; я мать, я и судья — имение-то, чай, мое, благоприобретенное...

— Ну-с, хорошо-с...

— «Сыну моему Семену — село Вырыпаево с деревнями, всего триста пятьдесят пять душ; второе, сыну моему Дмитрию — село Последово с деревнями, да из вырыпаевской вотчины деревни Манухину, Веслицыну и Горелки, всего девятьсот шестьдесят одну душу»...— Марья Петровна остановилась и взглянула на Митеньку: ей очень хотелось, чтоб он хоть ручку у ней поцеловал, но тот даже не моргнул глазом.— Да что же ты молчишь-то! что ты, деревянный, что ли! — почти крикнула она на него.

— Позвольте, маменька, дайте же до конца прослушать.

— «Третье, сыну моему Федору — сельцо Дятлово с деревнею Околицей и село Нагорское с деревнями, а всего тысяча сорок две души».

Митенька пускал дым уже не кольцами, а клубами. Он знал, конечно, что все эти завещания вздор, что Марья Петровна пишет их от нечего делать, что она на следующей же неделе, немедленно после их отъезда, еще два завещания напишет, но какая-то робкая и вместе с тем беспокойная мысль шевелилась у него в голове. «А ну, как она умрет! — говорила эта мысль.— Ведь все эти бредни, пожалуй, перейдут в действительность». Справедливость, однако ж, заставляет меня сказать, что ни разу не пришло ему в голову, что, каково бы ни было завещание матери, все-таки братьям следует разделить имение ее поровну... В этом отношении он очень хорошо понимал, что долг его повиноваться воле матери, тем более что повиновение это для него выгодно.

— Ну-с,— сказал он.

— Вот и все; там обыкновенно, формальности разные...

— А капитал?

— Какой же у меня капитал? а коли и есть капитал, так ведь надо же мне, вдове, прожить на что-нибудь до смерти!

— Да ведь это завещание, а не раздельный акт...

— Неужто ж вы потребуете, чтоб я последнее отдала? чтоб я и рубашку с себя сняла?

— Это завещание, маменька, а не раздельный акт...

— Ну, нет! не ожидала я этого от тебя! что ж, в самом деле, выгоняйте мать! И поделом старой дуре! поделом ей за то, что себе на старость лет ничего не припасала, а все детям да детям откладывала! пускай с сумой по дворам таскается!

— Извините меня, маменька, но мне кажется, что все это только фантазии ваши! и напрасно вы с этим делом обратились ко мне! («Это она Федьке весь капитал-то при жизни еще передать хочет!» — шевельнулось у него в голове.) Вы лучше обратились бы к Сенечке: он на эти дела мастер; он и пособолезновал бы с вами, и натолковался бы досыта, и предположений бы всяких наделал!

И действительно, в то самое время, как между Марьей Петровной и Митенькой происходила описанная выше сцена, Сенечка лежал на кровати в Петенькиной комнате и, несмотря на ощущаемую в желудке тяжесть, никак-таки не мог сомкнуть глаза свои. Предположения и планы, один другого чуднее, один другого разнообразнее, являлись его воображению. То видел он, что Марья Петровна умирает, что он один успел приехать к последним ее минутам, что она прозрела и оценила его любовь, что она цепенеющей рукой указывает ему на шкатулку и говорит: «Друг мой сердечный! Сенечка мой милый! это все твое!» То представлялось ему, что и маменька умерла, и братья умерли, и Петенька умер, и даже дядя, маменькин брат, с которым Марья Петровна была в ссоре за то, что подозревала его в похищении отцовского духовного завещания,— и тот умер; и он, Сенечка, остался общим наследником... То видится ему, что маменька призывает его и говорит: «Слушай ты меня, друг мой сердечный, Сенечка! лета мои преклонные, да и здоровье не то, что было прежде»... и в заключение читает ему завещание свое, читает без пропусков (не так, как Митеньке: «там, дескать, известные формальности»), а сплошь, начиная с «во имя» и кончая «здравым умом и твердой памятью», и по завещанию этому оказывается, что ему, Сенечке, предоставляется сельцо Дятлово с деревнею Околицей, и село Нагорное с деревнями, а всего тысяча сорок две души...

— А капитал, милый друг мой, маменька? — мысленно спрашивает Сенечка.

— А капитал, друг мой, Сенечка, я тебе при жизни из рук в руки передам... Только успокой ты мою старость! Дай ты мне, при моих немощах, угодникам послужить! Лета мои пришли преклонные, и здоровье уж не то, что прежде бывало...

Пасмурная и огорченная явилась Марья Петровна ко всенощной. В образной никого из домашних не было; отец Павлин, уже совершенно облаченный, уныло расхаживал взад и вперед по комнате, по временам останавливаясь перед иконостасом и почесывая в бороде; пономарь раздувал кадило и, по-видимому, был совершенно доволен собой, когда от горящих в нем угольев внезапно вспыхивало пламя; дьячок шуршал замасленными листами требника и что-то бормотал про себя. Из залы долетал хохот Феденьки и Пашеньки.

— С дорогими гостями,— приветствовал отец Павлин.— Начинать прикажете?

— Начинай, батюшка, начинай! Да что ж это Сенечки нет! Девки! позовите Семена Иваныча!

По обыкновению, и в этом случае Сенечка служил, так сказать, очистительною жертвою за братьев. За всенощной он должен был молиться. Но на этот раз ему как-то не молилось; машинально водил он рукой по груди и задумчиво вглядывался в облака дыма, изобильно выходившие из батюшкинова кадила. Тщетно заливался дьячок, выводя руладу за руладой, тщетно вторил ему пономарь, заканчивая каждый кант каким-то тонким дребезжаньем, очень похожим на дребезжанье, которым заканчивает свой свист чижик; тщетно сам отец Павлин вразумительно и ясно произносил возгласы: Сенечка не внимал ничему и весь был погружен в мечтания, мечтания глупые, но тем не менее отнюдь не имевшие молитвенного характера. Марья Петровна, любившая, чтоб Сенечка за нее молился, тотчас же заметила это.

— Помилуй, мой друг,— сказала она ему,— что ты это рукою-то словно на балалайке играешь! Или за мать-то и помолиться уж лень?

Вообще весь вечер прошел как-то неудачно для Сенечки, потому что Марья Петровна, раздраженная послеобеденным разговором, то и дело придиралась к нему. Неизвестно с чего вздумал вдруг Сенечка вступить за чаем в диспут с батюшкой и стал доказывать ему преимущество католической веры перед православною (совсем он ничего подобного и не думал, да вот пришла же вдруг такая несчастная мысль в голову!), и доказывал именно тем, что в католической вере просвиры пекутся пресные, а не кислые. Батюшка, с своей стороны, разревновался и стал изобличать Сенечку в ереси.

— Позвольте,— говорил он,— ведь таким манером и лютерцев оправдывать можно!

— Я не об лютеранах говорю...

— Нет, позвольте! я спрашиваю вас, оправдываете ли вы лютерцев?

— Да ведь мы...

— Нет, прошу ответ дать! заслуживают ли лютерцы, по вашему мнению, быть оправданными? — повторял батюшка, и, повторяя, хохотал каким-то закатистым, веселым хохотом, и выказывал при этом ряд белых, здоровых зубов.

— И охота тебе, батька, с ним спорить! — вмешалась Марья Петровна.— Разве не видишь, что он с ума сбрендил! Смотри ты у меня, Семен Иваныч! ты, пожалуй, и дворню-то мне всю развратишь!

Тем этот достославный спор и кончился; Сенечка думал удивить маменьку разнообразием познаний и полетом фантазии, но вместо того осрамился прежде, нежели успел что-нибудь высказать. После того он несколько раз порывался ввернуть еще что-нибудь насчет эмансипации (блаженное время! ее тогда не было!), но Марья Петровна раз навсегда так дико взглянула на него, что он едва-едва не проглотил язык.

Оставалась одна надежда на подарок, который Сенечка приготовил маменьке для дня ангела, но и та обманула его. Проснулся он очень рано, да и вообще дурно спал ночь. Во-первых, его осаждала прискорбная мысль, что все усилия, какие он ни делал, чтоб заслужить маменькино расположение, остались тщетными; во-вторых, Петенька всю ночь метался на постели и испускал какое-то совсем неслыханное мычание; наконец, кровать его была до такой степени наполнена блохами, что он чувствовал себя как бы окутанным крапивою и несколько раз не только вскакивал, но даже произносил какие-то непонятные слова, как будто бы приведен был сильными мерами в восторженное состояние.

Узнавши, что маменька только что встала, что к обедне еще не начинали благовестить и что братцы еще почивают, Сенечка осторожно вынул из чемодана щегольской белый муар-антиковый зонтик и отправился к маменьке. Но каково же было его удивление, когда он застал ее за письменным столом в созерцании целых трех зонтиков! Он сейчас же догадался, что это были подарки Митеньки, Феденьки и Пашеньки, которые накануне еще распорядились о вручении их имениннице, как только «душенька маменька» откроет глаза. Сенечка до того смутился, что даже вытаращил глаза и уронил зонтик.

— Здравствуй, друг мой!.. да что ж ты на меня вытараща глаза смотришь! или на мне грибы со вчерашнего дня выросли! — приветствовала его Марья Петровна.

— Я, маменька... позвольте мне, милый друг мой маменька, поздравить вас с днем ангела и пожелать провести

оный среди любящего вас семейства в совершенном спокойствии, которого вы вполне достойны...

— Благодарствуй, благодарствуй! да что это, ты словно уронил что-то?

— Это, милая маменька, я желал принести вам слабую дань моей благодарности за те ласки и попечения, которыми вы меня, добрый друг маменька, постоянно осыпаете!

— Да что вы, взбесились, что ли? все по зонтику привезли! — напустилась на него Марья Петровна при виде новой прибавки к коллекции зонтиков, уже лежавшей на столе.— Смеяться, что ли, ты надо мной вздумал?

— Я, милая маменька, всею душою...

— Сговориться вы, что ли, между собой не можете, или и в самом деле вы друг другу не братья, а звери, что никакой между вами откровенности нет?

— Я, милая маменька...

— Это все ты, тихоня, мутишь! Вижу я тебя, насквозь тебя вижу! ты думаешь, на глупенькую напал? ты думаешь, что вот так сейчас и проведешь! так нет, ошибаешься, друг любезный, я все твои прожекты и вдоль и поперек знаю... всё вижу, всё вижу, любезный друг!

— Я, маменька, никаких прожектов не имею...

— Ты... ты... ты всей смуте заводчик! Если б не доброта моя, давно бы тебя в Суздаль-монастырь упечь надо! не посмотрела бы, что ты генерал, а так бы вышколила, что позабыл бы да и другим бы заказал в семействе смутьянничать! На-тко, прошу покорно, в одном городе живут, вместе почти всю дорогу ехали и не могли друг дружке открыться, какой кто матери презент везет!

— Маменька! чем же я виноват, что Феденька не хочет мне почтения делать?

— Да что ты, обалдел, что ли? Какое тебе почтение! Ведь ты ему, чай, брат!

— Я, маменька, старший брат, и Феденька обязан мне почтение оказывать!

Бог знает, чем бы разыгралась эта история, если б в эту минуту не заблаговестили к обедне. Марья Петровна так и осталась с раскрытым ртом, только махнула рукой на Сенечку. Но зато после обедни она, можно сказать, испилила его всего. Не только братьям рассказала, что Сенечка требует, чтоб ему было оказываемо почтение, но даже всех соседей просила полюбоваться четырьмя зонтиками, подаренными ей в один день, и всю вину складывала на Сенечку, который, как старший брат, обязан был уговориться с младшими, какой презент маменьке сделать. Вследствие этого Феденька целый день

трунил над Сенечкой, называл его «вашим превосходительством», привставал на стуле при его появлении и даже один раз бросился со всех ног, чтоб пододвинуть ему кресло, но в рассеянности тотчас же выдернул его из-под него. Все это было очень остроумно и возбуждало всеобщий смех, к которому оставался равнодушен только Митенька. И таким образом прошел целый мучительный день, в продолжение которого Сенечка мог в сотый раз убедиться, что подаваемые за обедом дупеля и бекасы составляют навсегда недостижимый для него идеал.

А Марья Петровна была довольна и счастлива. Все-то она в жизни устроила, всех-то детей в люди вывела, всех-то на дорогу поставила. Сенечка вот уж генерал — того гляди, губернию получит! Митенька, поди-ка, какой случай имеет! Феденька сам по себе, а Пашенька за хорошим человеком замужем! Один Петенька сокрушает Марью Петровну, да ведь надо же кому-нибудь и бога молить!

С своей стороны Сенечка рассуждает так: «Коего черта я здесь ищу! ну, коего черта! начальники меня любят, подчиненные боятся... того гляди, губернатором буду, да женюсь на купчихе Бесселендевой — ну, что мне еще надо!» Но какой-то враждебный голос так и преследует, так и нашептывает: «А ну, как она Дятлово да Нагорное-то подлецу Федьке отдаст!» — и опять начинаются мучительные мечтания, опять напрягается умственное око и представляет болезненному воображению целый ряд мнимых картин, героем которых является он, Сенечка, единственный наследник и обладатель всех материнских имений и сокровищ.

Пашенька на другой же день именин уехала, но Сенечка все еще остается, все чего-то ждет, хотя ему до смерти надо в Петербург, где ожидают его начальники и подчиненные. Он ждет, не уедут ли Митенька с Феденькой, чтоб одному на просторе остаться с маменькой и объяснить ей, как он ее обожает. Но проходит пять дней, и ожидания его напрасны. Мало того что братья не уезжают, но он видит, как мать беспрестанно с ними о чем-то шушукается, и как только он входит, переменяет разговор и начинает беседовать о погоде. «Это они об духовном завещании шепчутся! — думает Сенечка и в то же время невольно прибавляет: — Да для какого же черта я здесь живу! ну да! ну да!»

Митенька первый сжалился над ним и предложил вместе ехать в Петербург. Феденька так и остался полным властелином материнского сердца.

Едет Сенечка на перекладной, едет и дремлет. Снится ему, что маменька костенеющими руками благословляет его и го-

ворит: «Сенечка, друг мой! вижу, вижу, что я была несправедлива против тебя, но так как ты генерал, то оставляю тебе... мое материнское благословение!» Сенечка вздрагивает, кричит на ямщика «пошел!» и мчится далее и далее, до следующей станции.

III

РАЗМЫШЛЕНИЯ

До какой степени может доходить противоречие между мыслью и поступками, до какой степени может быть доведено, с одной стороны (в мысли), полное признание долга, с другой (в практике) — совершенное забвение его, это почти невероятно. Из приведенного выше примера уже само собой явствует, что здесь все действующие лица являются людьми недостойными: Марья Петровна — недостойною матерью, не понимающею, что долг всякой матери повелевает равно любить детей своих, Сенечка, Митенька и Феденька — недостойными детьми, не понимающими, что долг повелевает им уважать мать, хотя бы она была дурною матерью, а также взаимно любить друг друга. Все эти лица смотрят на природную связь, их соединяющую, как на что-то горькое, почти несносное; все только и ждут минуты, когда можно будет эту связь порвать! А между тем спросите у Марьи Петровны или у самого Сенечки: что такое союз семейственный? Марья Петровна ответит: «Как, батюшка, уж ты этого-то не понимаешь!» Сенечка же скажет: «Семейственный союз — это зерно союза гражданского, это алтарь, это краеугольный камень!» И, наверное, скажет это с полным убеждением, ибо очень хорошо сам понимает, что не лжет. Но если это алтарь, так и служи же ему! если это краеугольный камень, так и наблюдай же за его неприкосновенностью! Ясно ли?

Но чтобы читатель вполне был мною доволен, приведу здесь еще несколько фактов, в которых поразительно высказывается то вредное жизненное двоегласие, о котором идет речь.

Рассказывают про одного откупщика следующее. Откупщик этот был из евреев одной из западных наших губерний, но впоследствии разбогател, окрестился и, конечно, совсем бы забыл о своих патентах на иерусалимское первенствующее сословие, если бы ежечасно не напоминало об этом некоторое худосочие в прононсе. Откупщик уже назывался настоящим человеческим именем, говел весьма аккуратно, и не иначе как в соборе, водил знакомство с протопопами и по праздни-

кам угощал обеденным столом генералов. Словом сказать, был человек до того благонамеренный, что даже сам губернатор об нем отзывался, что этакого ревнителя и в некотором роде столба — просто свет не производил. И вдруг в одно прекрасное утро к этакому-то вельможе является из Могилевской губернии — отец! Всполошились хамы в передней, увидев испуганную, похожую на мордочку умирающего зайца, физиономию еврея, и окончательно растерялись, когда узнали, что эта робкая фигурка, украшенная пейсами, принадлежит родителю самого вельможи, владельца раззолоченных палат.

— Папаша ваш пришел! — нерешительно докладывает откупщику лакей, как бы инстинктивно понимая все неприличие своего поступка.

— Какой папаса! нет у меня папасы! я сирота! — отвечает откупщик, вскакивая как ужаленный из-за украшенного резьбою письменного стола.

Однако делать нечего, выходит в переднюю и видит, что действительно перед ним стоит отец. Даже лица у них совсем одинаковые, только у одного похоже на зайца погибающего, а у другого — на зайца торжествующего.

— Ты кто таков? — наскакивает сын на отца.

— Я твой отец.

— Нет, ты мне не отец; ты зид... Ты пейсаховую водку пьёс... какой ты мне отец!

— Ицек! кость от костей моих! — пискнул было старый еврей.

— Какой я Ицек! нет здесь Ицека! толкай же этого сумаседсего в сею! ты зид, ты скверный зид, а не отец!

Старого честного еврея выгнали, а молодой и изворовавшийся еврей долго ходил в волнении по беломраморным залам своего палаццо и долго внушал лакеям, что это совсем не отец его, а просто гнусный попрошайка, хотевший поцечиться на счет его доброго сердца.

Как ни прискорбен этот анекдот, но я должен сказать, что сам был однажды очевидцем факта, очень близко к нему подходящего. В нашем уездном суде служил секретарем некто Семен Петрович Попков. И так как у меня было в суде тяжебное дело, то весьма естественно, что я сошелся с Попковым довольно близко. Это был еще молодой малый и пользовался репутацией человека с направлением, то есть не пьющего и берущего взятки с осмотрительностию. Судья, человек сырой и ленивый, говаривал, что за ним можно спать, как за каменной стеной, и действительно, спал очень исправно и, несмотря на это, ни разу не попал под суд. Однажды мне пона-

добилась справка по делу, и, само собой разумеется, я обратился за нею к секретарю.

— А что, ихняя справка готова? — обратился он к одному из чиновников.

— Попков-второй! справка готова?

— Нет-с еще, через полчаса допишу,— раздался из глубины комнаты робкий, дрожащий голос.

— Снять с Попкова-второго сапоги! — совершенно равнодушно решил секретарь.— Через полчаса наведайтесь, все будет исполнено,— любезно прибавил он, обращаясь ко мне.

— Однако вы довольно строго поступаете с своим однофамильцем,— сказал я, угрызаемый совестью, что из-за меня чиновник на целый день лишается свободы и лучшего ее украшения — сапогов.

— Это мой родитель-с,— отвечал он, не моргнув ни одним глазом.

Я долгое время смотрел на него, ничего не понимая, да и впоследствии, когда я уже очнулся, первая мысль, которая меня посетила, была довольно глупого свойства. «Отчего же он Попков-второй?» — подумал я, как будто этою арифметическою формальностью исчерпывался весь вопрос.

— Отчего же он Попков-второй? — бессознательно повторил я вслух.

— По старшинству-с; я старший Попков, он второй-с... с ними никак нельзя лаской поступать-с,— прибавил он, как бы угадывая, в чем именно заключалось мое недоумение.— Они постоянно этим малодушеством занимаются, так надо же их как-нибудь ограничивать!

— Да вы уж хоть на этот раз простите папеньку-то! мне, право, совестно, что он из-за меня пострадал!

— Нет-с, уж это позвольте-с. Первое, другим чиновникам может показаться обидным, что я родителю своему снисхождение делаю, а второе, в этом их же собственная польза состоит.

Эти отношения так меня заинтересовали, что я решился заняться ими. В тот же день, вечером, я зашел к Попкову-*старшему* на дом и, по обыкновению, застал его за письменным столом, нагруженным и делами и бумагами. Повторяю: это был человек с направлением, жил чистенько и трудолюбием равнялся муравью. Воспитание он получил в местном канцелярском училище, следовательно, не только недостаточное, но, так сказать, глупое, и если, несмотря на это, сумел-таки «сделаться человеком», то этим был единственно обязан самому себе. Он это вполне сознавал и потому в обращении был даже несколько заносчив и вообще не любил ни с кем

сближаться, как и большая часть людей, устроивших себя собственными силами. Ненависть к месту своего воспитания питал страшную и, конечно, не без основания полагал, что если б судьба не подрезала его жизни в самом корне, то он, по своим способностям и стойкости, мог бы пойти довольно далеко.

— Что-с, справочку получили-с? — спросил он меня, предварительно усадив на диван.

— Получить-то получил, да не об справке дело, Семен Петрович! Нельзя ли как-нибудь родителя-то вашего... ну как же это, в самом деле!..

— Что же такое-с?

— Да согласитесь сами, ведь он ваш отец!

Попков-*старший* смотрел на меня не то чтобы с недоумением, а как будто с неудовольствием.

— Да-с, это точно-с; в простом народе это бывает-с,— сказал он совершенно спокойно.

— Помилуйте! ведь это же закон естественный, равно обязательный для всех!

— Не чувствую-с.

— Как не чувствуете? ведь вам, чай, с малолетства толковали, что почитать родителей есть первая обязанность детей!

— Толковали-с.

— Ну, и что ж? Неужели же вы станете против этого спорить?

— Ни отнюдь-с. Это даже в законах изображено-с.

— Так как же вы против закона поступаете? а ну, как родитель-то ваш пожалуется?

— Этого он не может никогда сделать-с; да опять-таки, если б и пожаловались, ничем они себя против меня не оправдают...

— Как так?

— Я ихний начальник-с. Если они ведут себя благопристойно, моя обязанность есть перед начальством их аттестовать, а если они в чем проштрафились, моя обязанность их наставить и с них взыскать-с.

— Да закон-то, любезный друг! закон!

Попков-*старший* задумался.

— Я так полагаю,— сказал он после минутного размышления,— что законы эти больше простолюдинов имеют в виду!

— То есть каким же это образом?

— Так точно-с. Чтобы теперича обыватель завсегда для себя узду видел. А потому для всякого звания свой закон-с, то есть смотря по тому, как кто существо веществ понимать может...

— Да ведь в законах же изображено, что они для всех равно обязательны?

— Это так-с; это на всякий случай-с...

Он опять остановился. Очевидно, у него была мысль, но он не умел ее формулировать.

— Вот изволите видеть,— наконец сказал он,— закон вообще пишется-с... Берется, значит, рассуждение; по разуму оно правильно — ну, пишется-с. Потому как большая часть теперича, можно сказать, в натуральном состоянии находится, обязанностей своих понимать не может, так оно для них и необходимо... чтоб узда, значит, была...

— Понимаю. Следовательно, вы полагаете, что закон не есть что-либо вытекающее из свойств и требований человеческой природы, а, напротив того, есть нечто искусственно придуманное для обуздания этих свойств и требований? так?

— Так точно-с. Потому как наши страсти и слабости всему злу корень — это верно-с.

— Прекрасно. Но почему же вы одни предписания закона признаете для себя обязательными, другие — нет?

— Помилуйте, как это я смею сказать-с! Закон-с... известно,— закон-с! Я говорю только, что один человек понимать может-с, а другой понятия этого не имеет...

— Стало быть, если б теперь к вам в суд поступило дело о жестоком обращении сына с отцом, сына, находящегося в таком точно положении, в каком вы теперь находитесь, какое бы вы постановили решение?

— По закону-с.

— Вы не приняли бы в соображение, что для этого сына закон о непочтении отца не обязателен?

— Помилуйте-с?

— Как же это, однако, у вас выходит?

— Потому так и выходит, что, значит, этот человек без понятия-с...

— Объясните, пожалуйста.

— Потому, если б он был человеком с понятием, то, значит, не допустил бы себя до этого... жизнь человеческая есть механика-с, в которой каждый должен действовать, как ему соответственно.

— Понимаю; значит, вы признаете преступником только того преступника, который попадается!

— Закон исполнить надлежит-с.

— Ну, а общественное мнение?

— Что же-с? общественное мнение всегда за меня будет-с, потому как я человек с направлением, родитель же мой зани-

маются малодушеством... всякий даже со стороны меня пожалеет, а не их! Теперича, извольте разобрать это дело без пристрастия: какую же они для меня компанию составить могут! Я человек занятой, а они, кроме безобразиев, ничего даже в предмете не имеют; стало быть, если я, пришедши из присутствия, за бумаги сяду, они мне только мешать будут... ведь уж и то я из милости их в суде у себя держу!

Затем он рассказал мне, как однажды папаша дело у него со стола стянул и в кабаке пропил, как в другой раз он в пьяном виде чуть уездного суда не спалил, как он, Попков-*старший,* вследствие этого вынужденным нашелся просить начальство, чтоб родителя его выгнали из службы, и как само начальство, в уважение к его собственным заслугам, уговорило его не настаивать на этом предмете.

И за всем тем он все-таки не отрицал, что права родителей должны оставаться неприкосновенными. Черта похвальная, но ясно, что тут было какое-то двоегласие в мыслях, ясно, что обязательность долга допускалась здесь лишь как отвлеченное понятие, как фундамент, на котором строится целое здание, но фундамент, очевидно, заложенный на песке. Коли хотите, и это в своем роде недурно, потому что все-таки лучше иметь хоть какой-нибудь фундамент, чем совсем без фундамента.

Резоны эти я не преминул сообщить Попкову-*старшему,* и хотя он, по-видимому, смутился ими, однако остался в своем поведении непреклонным. Мало того: через месяц или полтора после описанного выше разговора он сам пришел ко мне и сказал:

— Запали мне в душу ваши слова, да что ж будете делать! — не могу-с! Старался я, всячески старался преодолеть себя,— ничего, как есть, не выходит!

— А вы попробуйте еще!

— Нет, уж видно, так тому делу и быть!

При том и остался.

Был у меня также приятель один, истинно хороший и достойный молодой человек. Насчет правил этих — просто, доложу вам, стена: как ни стучи, ни до чего не достучишься! Начнешь, бывало, с ним разговаривать обо всех этих предметах, на которых мир стоял, стоит и будет стоять, так и засыплет силлогизмами и цитатами из Неволина, Рождественского и других ревнителей! Словом сказать, человек был благонадежный.

Вот только пришлось ему жениться. Жена у него была молоденькая, хорошенькая, по-французски изъяснялась безошибочно,— просто, как говорит лейтенант Жевакин, розанчик.

Радовался я на них безмерно и все думал: ну, эти, по крайней мере, не изменят моему идеалу и навсегда останутся верными служителями долга! То есть, коли хотите, настоящий-то мой идеал и не совсем таков (настоящий-то идеал составляют: безобразный и злой муж и миловидная, добрая жена, и наоборот, ужасные и неблагонамеренные родители и покорные и благонамеренные дети, и наоборот: тут больше пищи для истинного смиренномудрия), но, насмотревшись всякой всячины, я уж и сам сделался на этот счет снисходительнее и забочусь о том только, чтобы хоть какой-нибудь идеал да отыскать в жизни.

Для полноты характеристики моего приятеля я должен сказать, что он был человек очень занятой (ежеминутно исполнял обязанности) и небогатый; привычки имел простые, хотя воспитание получил весьма утонченное, многолюдных собраний не любил, хотя танцевал отлично; к довершению всего, относительно пищи был неприхотлив и предпочитал щи из кислой капусты лучшему французскому супу и кусок доброй солонины — всевозможным сотѐ и волованам.

И действительно, не было, казалось, предела их счастью: он был неутомим, она, с своей стороны, понимала это. Бывало, сбирается он утром на службу, она к нему: «Возьми меня, друг мой, с собой в департамент»; воротится со службы, сядет за дела, и она против него сядет, ничего не делает, только в глаза ему глядит; станет заказывать повару обед: «Сделай ты мне, братец, щи с кашей, поросенка под хреном и жареного гуся с капустой», она сейчас: «А я, душенька, хотела тебя просить заказать молочную лапшу, шпинату немного и миндального пирожного» — нечего делать, хоть поморщится, но закажет, что ей хочется. Очень, очень приятно было на них смотреть.

Только на днях приезжаю я в Петербург (это было через два года после женитьбы моего приятеля) и, разумеется, сейчас к моим счастливцам.

— Ну что, в каком положении райские селения? — спрашиваю я его. Вижу: он смотрит как-то угрюмо.

— Никаких тут райских селений нет! — говорит.

— Может ли быть?

— Помилуй, любезный друг! я уж целый год только об том и думаю, как бы нам разойтись прилично.

— Да что же такое?

— Да просто покоя ни на минуту нет; не могу ни работать, ни есть, ни пить... все мои привычки нарушены!

— А ты уступи, мой друг!

— В чем тут уступать? Ведь ни в чем, ни в чем, как есть, никакого согласия ни в мыслях, ни во вкусах нет!

— Но ведь ты понимаешь, что такое семейный союз! ты понимаешь всю важность этого слова!

— Знаю и понимаю... но ведь я спать хочу! понимаешь ли ты это: я спать хочу!

— Вспомни Неволина, друг мой!

— О, черт возьми! да разве я что-нибудь против этого говорю! разве я не знаю, что жизнь есть долг! Но ведь это долг обоюдный, это, так сказать, *всеобщая* игра обязанностей, а не исключительное бремя, взваленное на плечи одного!

— Ты бы ей объяснил это, друг мой!

— Объяснял, не один раз объяснял! Да только одного и добился от нее: «Стану я... скука какая!»

— А ведь как между тем это понятно, мой друг!

— Еще бы! величественное здание,— и больше ничего!

— Нет, да ты пойми, как это хорошо! я исполняю свой долг, ты исполняешь свой, она свой... ведь если все-то! если все-то! ведь это почти что как будто бы мы делали то, что нам приятно!

— Еще бы! Если мы все делаем, что нам не хочется, то это совершенно точно то же, как бы мы делали то, что нам хочется. Минус на минус дает плюс — это истина математическая.

— Так почему же ты не хочешь себя принудить?

— А почему же *она* себя не принуждает?

— Однако же пойми, мой друг, что в мире встречаются разных сортов люди: одни исполняющие свой долг, другие не исполняющие, первые называются добродетельными, вторые — порочными...

— Все это я понимаю.

— И что дурной пример, подаваемый нам другими, ни в каком случае не может служить для нас оправданием...

— И это я понимаю.

— И что ж?

— Но я понимаю также, что исполнение обязанностей тогда только может быть легко и удобно, когда существует, так сказать, всеобщая игра обязанностей...

— Ты говоришь: *легко* и *удобно,* но разве таковы условия того, что мы разумеем под словом «обязанности»?

Приятель мой молчал.

— Разве самая сущность этого слова не указывает тебе, что как скоро что-нибудь достигается *легко* и *удобно,* то оно вместе с тем уже перестает быть обязанностью?

Приятель мой, казалось, желал меня съесть.

— Вспомни Неволина, друг мой! вспомни, что жизнь наша совсем не танцкласс, но горькое препровождение времени, что это, так сказать, временная тюрьма души...

— О, черт побери!

— Что мы только твердым перенесением испытаний (обязанностей то есть) достигаем...

Приятель пожал мне руку: он был видимо тронут. Я, с своей стороны, ушел от него с облегченным сердцем, потому что ведь и я, коли сказать по правде, исполнил свой долг, а когда я его исполняю, то всегда чувствую себя облегченным. Тем не менее справедливость требует сказать, что приятель мой через две недели все-таки не исполнил своего долга, то есть разошелся с женой окончательно.

Все это привело меня в совершенно мизантропическое состояние. Возвращаясь в Москву по железной дороге, я встретил в вагоне кавалера и даму, сидевших рядом; кавалер смотрел налево, дама взирала направо. И поверите ли, я так был расстроен, что уверил себя, что это непременно сидят муж и жена, не исполняющие взаимных обязанностей. В моей голове сложился за них даже целый мысленный разговор, ибо, вследствие нервического раздражения, я сделался почти ясновидящим.

«А я в Москве увижу мсьё Кормилицына!» — думала дама (она этого не думала, но я знаю наверное, что думала).

«А я в Москве увижу мадам Попандопуло!» — думал кавалер (и он тоже не думал, но думал).

И насилу-то мог я успокоиться в Москве чтением «Московских ведомостей».

Признаюсь, все это сильно меня озабочивает, ибо в этих фактах я вижу признаки крайнего упадка нравственности. Общество, лишенное нравственности (а что такое нравственность, как не беспрерывное служение долгу?), на что может быть годно? Оно годно единственно на то, чтобы распространять семена самой пагубной безнравственности. Определение это, конечно, похоже на каламбур, но ведь, в сущности, что же такое каламбур? В сущности, каламбур есть сама истина, но только оклеветанная. Если я скажу, например, что добродетельный человек всегда добр — по-видимому, это будет каламбур, но на самом деле, что же может быть святее этой истины? Вообще, истину я разумею так, что она определяется сама из себя: стоит только из существительного сделать прилагательное — вот и истина. Мерзец мерзок, сквернец скверен, милка мил и т. д. и т. д.

Для разъяснения своих сомнений я обращался к самым, что называется, присяжным людям безнравственности, к тем, для которых сказать, что долг — пустяки, что нравственность — химера, точно так же легко, как мне плюнуть и растереть. И что же, вы думаете, они ответили мне на это! А просто ответили, что есть у всякого человека свое дело, которое мо-

жет быть привлекательным или непривлекательным. По их понятиям, если общество находится в нормальном положении, то никакое дело не может быть непривлекательным, ибо нет того человека, который бы в данную минуту не был расположен к какому бы то ни было делу. Надобно, говорят они, только воспользоваться разнообразием человеческих способностей и склонностей и тем почти бесконечным дроблением, которому может подлежать человеческий труд.

На это я шепнул им на ухо такое занятие, одним названием которого надеялся привести их в смущение. К удивлению моему, они, однако ж, не смутились и отвечали: во-первых, что на мой аргумент, как на глупый, не следует и внимание обращать; во-вторых, что исключение, если б это и было исключение, не может быть признано за общее правило; в-третьих, что потребность в подобных занятиях, с введением различных технических усовершенствований, с каждым днем делается все меньшею и меньшею, и в-четвертых, наконец, что если мы будем глубже вникать в существо человеческих способностей, то, конечно, и для этого рода занятий найдем *деятелей.*

Да, «деятелей»; так и сказали: «деятелей». Да еще прибавили: «Ведь находятся же люди, способные исполнять должность публицистов,— ну, вот эти люди и займутся тем делом». Ну, скажите на милость!

Нет надобности, я полагаю, говорить, что все это не что иное, как пошлое остроумие, на которое и отвечать не стоит. Ибо не безызвестно всем и каждому, что есть, именно есть в природе такие занятия, которых никто, даже публицисты исполнять не согласятся. Поэтому-то занятия сии производятся исключительно ночью, поэтому-то люди, предающиеся им, называются людьми худородными. А по-вашему, как? Не считать ли уж их героями? Не венчать ли лаврами? Тьфу!

Желал бы я знать, каким образом они объяснят отношения Марьи Петровны Воловитиновой к ее детям? Знаю. Они скажут, что если Сенечке приятнее быть с своими начальниками, нежели с матерью, то пусть и будет он с своими начальниками; что если Марье Петровне нравится больше буян Феденька, то это значит, что между ними есть сходство характеров и что, стало быть, она совершенно в своем праве; что все взаимное недовольство, поселившееся в этом семействе, именно и происходит вследствие тех принудительных отношений, которые их связывают. Ну, а наследство-то как, милостивые государи! наследство-то? «А наследство»,— скажут они...

Тьфу!

Знаю я также, что они и поступки Попкова-*старшего* с своей точки зрения найдут удовлетворительными, да и приятеля моего (того, который с женою разошелся), кстати, оправдают. «Все эти люди,— скажут они,— каждый сам по себе!» Сами по себе! а дети-то, милостивые государи! детей-то куда ж девать? «А детей»,— скажут они...

Тьфу!

По этой ужасной теории, всякий человек живет не для исполнения своего долга, а для удовольствия; даже дети, малолетние дети составляют свое особое общество, как и взрослые, и родители не только не смеют их наказывать, но и советовать могут только умеренно, а отнюдь не надоедать... Да и кто эти дети? Кто эти родители? О, боже! отцы большею частью неизвестны!

Тьфу, тьфу и тьфу!

В ДЕРЕВНЕ

Летний фельетон

Давным-давно известно, что самая благодатная вещь на свете — это лето в деревне. В самом слове «деревня» звучит что-то невинное; как-то переносишься мыслию в те приятные и злачные места, в которых гуляли наши прародители, пока не вкусили от древа познания добра и зла. Конечно, им было ловчее нашего, потому что они ходили совсем без одежд, кушали самые сочные фрукты и вообще жили на всем на готовом; но и нам, их потомкам, недурно: недаром же с словом «деревня», кроме понятия о невинности, соединяется еще понятие о просторной одежде и о прекрасной еде.

Иногда я думаю: как это, право, досадно, что наши прародители преслушались! Если б они не преслушались, мы и сейчас гуляли бы себе беспечно по садам, кушали бы прекрасные фрукты, ходили бы без одежд, не пахали бы, не сеяли... Но, стало быть, красив же был тот плод, который рос на древе познания добра и зла, если одного вида его достаточно было, чтобы возбудить со стороны человека такое ужасное действие, как ослушание! Да, много горя и бед наделали нам прародители из одного любопытства! Но если уж наделали, то, стало быть, и говорить об этом нечего.

По понятиям простолюдинов, мало вникающих в существо вещей, житье самое близкое к прародительскому есть житье нашего русского землевладельца летом, в деревне. В самом деле, если судить поверхностно, тут есть своя доля правды. По-видимому, землевладелец только и делает, что гуляет, кушает фрукты и ходит в просторной одежде; который умеет сочинять стихи, сочиняет стихи, который обучен на скрипке или виолончели, выводит смычком серенаду Шуберта. Но, повторяю: суждения эти поверхностны, ибо простолюдину, ко-

нечно, непонятно, какие заботы и соображения обуревают в это время землевладельца. Может быть, он изобретает уже изобретенный Ньютонов бином? Может быть, он измышляет законы вечного движения? Может быть, он доходит собственным умом до разрешения вопроса о том, что такое комета и отчего у ней хвост? Как приделан этот хвост и зачем он надобен? Все это в его руках, потому что у него имеется достаточно досуга, да притом он съел, по крайней мере, девять десятых того яблока, которое росло на древе познания добра и зла, простолюдину же оставил только с капельку. А потому он все это знает, а простолюдин ничего не знает.

Нынешнее лето было особенно отрадно в деревне. Не потому, чтобы оно было само по себе хорошо,— нет, нынешнее пасмурное и дождливое лето было усладительно разве для одних лягушек и грибов,— а потому просто, что можно было убежать в деревню и забыть город. Вот, например, я сижу в настоящее время в двадцати пяти верстах от Москвы и знаю, что там, в Москве, как в котле, кипит, и ни до чего-то мне дела нет. В деревне я бодр, здоров и весел; в деревне мною обладает решительная словобоязнь. Я вижу, что вокруг меня все работает, все занято делом, а не переливаньем из пустого в порожнее, и ненависть к словоизвержению до того охватывает всем моим существом, что день получения газет становится днем тошноты. «Господи! думаешь, да неужто ж есть на свете такая обязанность, чтоб каждый божий день приниматься все за ту же сутолоку, каждый божий день заниматься тем, чтоб из вчерашнего существительного делать сегодняшнее прилагательное, и наоборот?»

Да, есть такие занятия; они существуют в той пыльной и душной сфере, где, с одной стороны, беспокойно реет над жизнью жадное до падали литературное воронье и надрывающим душу голосом выпрашивает жертв для своей плотоядности, а с другой — ключом кипят кисленькие споры о различии между Русляндией и Русью, где с одной стороны тупоумие и хвастовство признаются за единственную руководящую истину жизни, а с другой — неудержимым потоком вырываются из самых человеческих внутренностей метафоры о форейторе, оторвавшемся с выносными лошадьми от экипажа (фигуральное изображение Русляндии). Это мир почти фантастический, мир, где все обусловливается или подачкой, или вдохновением, которое, как известно, не признает никаких условий. Прямое назначение людей этого мира — сочинять мадригалы и конфектные билетики, но судьба странно играет смертными и из урожденного сочинителя триолетов делает плохого и невразумительного публициста. Говорят, будто бы и между

деятелями этой категории следует различать «искренность», то есть занимающихся политическими и экономическими «рондо» по внушению невинного и слишком горячего сердца, от тех, которые пишут таковые без всякого сердечного влечения, но, признаюсь, я не хорошо понимаю, в чем, собственно, заключается преимущество первых над последними. Результат в обоих случаях одинаков, но в первом он достается даром, во втором — с помощью некоторого труда,— стало быть, разница не в сущности дела, а в личных качествах действующего лица, которые до публики нимало не касаются. Вдохновенные глупцы едва ли даже не вреднее, нежели плуты, промышляющие ложью с сознанием. От последних еще можно освободиться, от первых — ни пестом, ни крестом... Как бы то ни было, но убежать хоть на время от этого мира — сущее наслаждение.

Городской житель, который говорит себе пред наступлением весны: вот я уеду на лето в деревню и там займусь, там окончу такой-то труд, жестоко ошибется в своих расчетах. Для нас, людей, прикованных ремеслом к городам и лишь временно счастливящих деревню своим посещением, труд возможен только в городе, и притом зимою, когда все прилажено так, чтобы держать человека скованным; деревня нам дается единственно для того, чтоб лениться. В городах мы привыкли мерять большою мерою; в деревне, напротив того, все группируется около грошей и копеек, вся жизнь расходится по мелочам; поэтому истинно деревенское дело представляется ничтожным. Ущербы и уроны, случающиеся на каждом шагу, важны лишь в своей совокупности; будучи взяты каждый отдельно, они кажутся столь мизерными, что городской житель невольным образом пропускает их мимо глаз. Все эти вопросы о потравах, порубках и проч. сводятся в большей части случаев к вопросам о двугривенных, полтинниках и целковых, на которые городской житель, даже с довольно ограниченными средствами, привык смотреть более или менее легко; следовательно, поднимать из-за этого бог весть какую возню, уличать, подозревать, ловить — решительно не стоит. Да если б, наконец, человек и решился предпринять подобный труд, то скоро он убедится, что труд этот отвлек его от другого, более производительного, и что в конце концов, так или иначе, но усилия его все-таки останутся напрасными. Следовательно, вам остается покориться своей участи и сквозь пальцы смотреть, как в вашем хозяйстве пошаливают. Вот первая причина, по которой городской житель является неспособным к деревенскому делу. Вторая причина заключается в том, что городской житель и в это дело вносит тот гуманный и снисходительный

взгляд, к которому решительно не способен коренной обыватель деревни. Зрелище труда тяжкого и изнурительного, каким вообще представляется всякий труд деревенский, совсем не такого свойства, чтобы производить умиляющее впечатление; напротив того, оно заставляет страдать даже и постороннего человека, не принимающего в труде непосредственного участия; здесь тяжесть слишком наглядна, чтоб дать место каким бы то ни было фантазиям, а потому на городского жителя, удосужившегося и самый труд свой поставить в условия некоторой комфортабельности, подобная египетская работа действует раздражительно. Недоделки, недосмотры и лукавые уклонения со стороны рабочего народа представляются до такой степени естественными, что и на них, точно так же, как и на те вселенские вопросы о потравах и проч., о которых говорено выше, приходится смотреть сквозь пальцы. А между тем, судя по сказаниям сведущих людей, в этих-то недоделках и уклонениях и заключается именно вся сила деревенского дела. Огрех в пашне, неравномерный посев, несвоевременная и небрежная уборка сельских произведений не только производят чувствительный ущерб временный, но подрывают сельское хозяйство в его будущем. А потому коренной обыватель деревни смотрит на это дело совсем другим оком. Оттого ли, что право собственности, как осязательное, доступнее его пониманию, нежели всякое другое право иной, высшей сферы, или оттого, что ежедневное столкновение с известными формами жизни делает человека менее чувствительным к тем шероховатостям, которые в них кроются,— как бы то ни было, но, в смысле технического выполнения труда, сельский человек точен до неумолимости и требователен до жестокосердия. Никто не сумеет так заставить работать, как мужик мужика. Только разве особое какое-нибудь соображение вынудит его на минуту отступить от своей аккуратности, но чувство снисхождения все-таки не примет в этом случае никакого участия. Наконец, третья причина, делающая усилия городского жителя войти в деревенское дело ничтожными, заключается в том, что дело это обширно и в то же время разбросанно. Лично принять участие во всех разнообразных и крайне мелочных его операциях, лично за всем присмотреть — нет никакой возможности, да если б таковая и оказалась, то здесь труд, по своей утомительности и крайне невидным его последствиям, самому стоит дороже; если же нанимать таких людей, которых присмотр, хотя не вполне, заменял бы хозяйский, то это будет стоить так дорого, что результат никогда не вознаградит издержек. Да и никогда (за самыми разве редкими исключениями) от подобных надзоров никаких улучшений в деревен-

ском деле не бывает, потому что ненатурально заставить наемного человека смотреть на чужое дело, как на свое собственное; и как бы вы ни заинтересовывали его в вашем предприятии, участием ли в прибылях, прекрасным ли обхождением, все-таки не найдется такого математика, который бы сумел доказать, что два равно единице или что единица больше двух. А поверять действия такого надзирателя, следить за ним шаг за шагом просто не хватает духа. Во-первых, измучишься в этом бесплодном труде точно так же, как будто и действительно что-нибудь работал; во-вторых, на каждом шагу встречаешься с вопросом: да неужто ж вы мне не доверяете? вопросом, делаемым иногда с едва скрываемою иронией. И напрасно вы будете уверять и самого себя, и вашего доверенного, что учет этот заводится вами совсем не из недоверия, а в видах поверки собственных ваших средств; внутри вас все-таки шевельнется что-то вроде сомнения: «а ведь я и в самом деле ему не доверяю»; в нем же хотя и не шевельнется никакого подобного вопроса (он положительно уверен, что недоверие есть, и, в сущности, считает его законным), но от зоркого его взгляда не укроются ни ваше смущение, ни ваши извороты — и вот тут-то настоящий источник той иронии, которую он не старается даже скрыть. Нелепее и даже безнравственнее таких отношений ничего не может быть. Вся штука, стало быть, в том, что городской житель, вовлекающийся в деревенское дело, увлекается в этом случае таким занятием, которое ему не сродно, за которое он не имеет ни охоты, ни уменья, ни, наконец, выгоды взяться как следует. А отсюда прямое следствие то, что деревенское дело выгодно и занятно только для того, кто принимает в нем участие непосредственным своим трудом. Да, не командованием только, не «печалованием», а именно личным, тяжелым трудом.

Приведу один, очень маленький пример — содержание домашней птицы. Утверждают люди сведущие, что крестьянину это содержание ничего не стоит, да этому можно и поверить. Тут всякая крошка идет в дело; все, что хотя и негодно для непосредственного употребления крестьянской семьи, в общем обороте хозяйства представляет статью далеко не бесполезную. Напротив того, в помещичьем хозяйстве (по упразднении крепостного права) вырастить птицу дома стоит гораздо дороже, нежели купить такую же на базаре, если не лучше. Теперь не такое время, когда птицам и другим домашним животным полагалось питаться остатками от скудной трапезы дворовых людей; теперь этих остатков не полагается; поэтому птица, хотя бы это была даже курица, освобождается от обязанности крохоборствовать (своего рода эмансипация), а тре-

бует особой и притом определенной дачи корма. «Так вот ты и увидишь, батюшка, во что оно тебе вскочит!» — говорила мне по этому случаю добрая моя знакомая, г-жа Падейкова. Да, и увидел; и вскочило.

Все замеченное выше приводит к тому, что самый рьяный и востренький горожанин на первых порах хоть и потопчется-потопчется на месте, хоть и возьмется за дело с бойкостью истинно изумительною, но изумит мир не столько очевидными результатами этой бойкости, сколько неумелостью и происходящими отсюда утомлением и раздражением. Везде-то он увидит себя одиноким, ни к какому-то делу не найдет себя приурочить — ну, и отойдет потихоньку прочь.

Таким образом, из всего деревенского дела горожанину остается одна только отрасль — собирание грибов. О вы, которые смотрите высоко на это невинное занятие, будьте снисходительны к нему именно во уважение его невинности! Вспомните, что человек, предающийся ему, никого не убивает, не подрывает ничьей репутации, ни на кого не клевещет. Беспечно бродя с лукошком по лесу, он может обдумывать, что ему угодно, может воображать себя гражданином вселенной, может возвыситься даже до мысли о бессмертии души... покуда не блеснет ему изо мха ярко-оранжевая головка осинника или не заставит взыграть в нем сердца иссиза-палевая шапка белого гриба! Недаром же замечено, что люди, у которых охота к собиранию грибов доведена до страсти, бывают наклонны к мыслям о бесконечном, и притом самые пламенные консерваторы. Постоянно находясь на лоне природы, взявши на себя роль присяжных свидетелей ее творчества, они находятся в непрерывном умилении и до того отождествляются с наблюдаемым ими грибным строем, что переносят его и на весь остальной мир. Ясно, что из этого ничего, кроме хорошего, произойти не может; ясно также, что если помещики русские захотят послушаться моего совета, то оставят всякие заботы о недоступном для них сельском хозяйстве и примутся за собирание грибов. Они поймут, что, при известных условиях, это занятие самое настоящее, и что когда человек не расположен, не может или не умеет найти себе дело не столь невинное, то ничто так не помогает убивать время, как беседа с грибами. А в чем же и вопрос, как не в том, чтоб убить время? Конечно, тогда грибы сделаются нипочем, но ведь не возить же на базар продавать результаты трудов своих... фуй!

Поэтому каждый землевладелец-горожанин должен убедиться, что в этом смысле он не без пользы может направить всю свою деятельность. Не надо думать, однако ж, что такая деятельность не может быть плодотворною; напротив того, и

в этой сфере возможны открытия весьма полезные, хотя и скромные.

Грибов бывает множество сортов; самыми лучшими считаются: белые, подосинники (в иных местах их называют боровиками) и черные березовики; отваренные в уксусе или зажаренные в сметане, грибы эти составляют равно лакомое кушанье и для вельможи и для поселянина; худшие сорты грибов: волнушки и многочисленные сорты сыроежек; наконец, никуда не годные: валуи, мухоморы и поганки. Насчет мухомора существуют, однако же, мнения весьма противоречивые: некоторые признают их совершенно негодными к употреблению, другие, напротив, видят в них завидное лакомство. В записной книжке одного моего знакомого я встретил: «Не знаю, отчего гриб мухомор пользуется такою дурною репутацией между охотниками до грибов,— что до меня, то я всегда любил собирать эти красивые, большие грибы и потом, обжарив их в сметане и посыпав перцем, кушал не только без всякого вреда, но и с большим удовольствием».

Но искание грибов, как и все на свете, сопряжено с своего рода тревогами и столкновениями и сопровождается хитростями, компромиссами и уступками. Это и понятно, потому что кто же когда-нибудь мечтал о том, чтобы найти розу без шипов? Первый и заклятый враг гриба есть русская баба, которая чутьем слышит гриб и истребляет его почти в утробе земли-матери, начиная благородным белым грибом и кончая тощею и незврачною сыроежкою. Естественно, что она же должна явиться страшною соперницею землевладельца и на этом поприще. Землевладелец-горожанин просыпается поздно, баба встает с восходом солнца, обшаривает все кусты и как ни в чем не бывало уже занимается обычной работой в то время, как землевладелец, потягиваясь в постеле, мечтает о том, как он будет, под сению дерев широковетвистых, срывать грибы наслаждения. От этого соперничества не упасут его ни канавы, ни убеждения; нет той канавы, через которую не перелезла бы русская баба, нет того увещания, которого бы она послушалась, когда дело идет об интересах ее ненасытной утробы!

Другой, еще более жестокий враг грибов — это сухое, бездождное лето, ибо тайнобрачные любят нежиться в мягком и влажном ложе. Отцы наши умели, однако ж, устранять и этот недостаток, окружая себя людьми, которые имели способность находить грибы даже в такую сухмень, когда и от болот несло гарью. Я очень хорошо помню в нашем доме одного дворового человека, Палладия, который именно разыгрывал относительно грибов роль благодетельного дождя. Бывало, маменька, как

истинная хозяйка, даже закручинится, что вот нет да и нет грибов!

— Да что ж ты, душенька, Палладку в лес не пошлешь! — молвит ей папенька.

И все лица оживают, все сердца расцветают. Призывают Палладия, вооружают его обширным лукошком... и к вечеру он является с полным кузовом самых отборных белых грибков. Из этого факта я имею право заключать, что кто желает с успехом охотиться за грибами, тот должен искать их не столько по лесам и рощам, сколько в собственном сердце своем.

Охотники до грибов сказывают, что существуют даже известные заклинания, очень много помогающие при собирании их. Обращаются в этих заклинаниях к одному из многочисленной семьи леших, Шикале-грибодавцу. Вот один образчик подобного заклинания: «Шикалу-ликалу! царь бородавок! сила грибная! Иду я раб (имярек) по твоему темному царству, запутанному государству; вижу я три гриба: вижу гриба ала, гриба светла, гриба изумрудна» и т. д. Говорят, что при этих словах грибы вырастают, как грибы; но говорят также, что человек, который прибегает к подобным заклинаниям, погубляет свою душу... из-за грибов! Поэтому мой совет таков: лучше совсем откажись от грибов, но душу свою соблюди!

«Господи! про какие это он, однако ж, пустяки говорит!» — наверное скажет читатель, пробежав предыдущие строки. Но позвольте, читатель; об чем же, как не о грибах, прикажете говорить в такое мочливое, грибное время, каково нынешнее? Да притом разве я говорил о грибах для грибов только? Нет, я указал на роль, которую они должны играть в будущем значении землевладельцев с городскими наклонностями, и ярко поставил цель, к которой эти последние должны стремиться. Кажется, это заслуга не малая. Сверх того, сюжет этот мне по душе и по тому одному, что я знаю, что он ни под каким видом не может встревожить сердце моего милого цензора. Или и он может встревожить? Не найдет ли здесь цензор каких-нибудь намеков? Не заподозрит ли он, что я под «тайнобрачными» разумею некоторых газетчиков? Не увидит ли он в Палладке намека на неискусных администраторов, которые и в неблагоприятное для грибов время умеют отыскать и съесть гриб? А мне что за дело, если он даже все сие увидит и заподозрит? ведь ничего этого нет, следовательно, и совесть моя должна оставаться спокойною.

Итак, если нет грибов, если воздух сух и душен, что остается делать в деревне землевладельцу? Ему представляется отличный случай наблюдать за нравами простолюди-

нов, приобщаться к их играм и забавам и вообще затеять в обширных размерах игру в сближение сословий. Это дело отменно хорошее, но не могу скрыть, что и здесь встречается на пути множество препятствий, которые преодолеть довольно трудно. Первое препятствие со стороны самого простолюдина, который дик, застенчив и мало любит, чтоб за ним подглядывали. Сверх того, он убежден, что для землевладельца его простолюдинские игры слишком мало изысканны, что они оскорбляют его изящное чувство; и потому, как только подходит к нему землевладелец, он исчезает в подворотню. Второе препятствие заключается в стыдливости самого землевладельца, и это я совсем не шутя говорю. Надобно иметь совершенно чугунный лоб, чтоб лезть туда, где вас не спрашивают, чтобы напоминать об вашем существовании людям, которые об нем если еще не забыли, то, во всяком случае, вспоминать не любят. Положим, что вы приходите туда, где шумит простолюдинское веселье; веселье это самое искреннее, и потому оно резво, и нельзя сказать чтоб очень чинно; но с вашим приходом вы видите, что вдруг все изменяется: песня спускается тоном-двумя ниже, смех умолкает; праздник, бывший в полном разгаре, внезапно заминается. Точно тень какая-то набежала на все лица, точно укор какой стремится к вам отовсюду за то, что вы смутили общую радость. И если в вас осталась хоть капля совестливости, вы повертите, повертите тросточкой и уйдете, поджавши хвост, домой. Отсюда правило: не затевай игру в сближение сословий, ибо такая попытка поведет лишь к бесплодной трате времени, конфузу и позднему раскаянию.

Таким образом, из рук землевладельца ускользает не только живое сельское дело, но и непосредственное наблюдение над ним. Самые грибы находятся в заговоре и следуют общему настроению умов. Остается, стало быть, устроиться в деревне по-городскому, то есть перенести с собой ту же душную, политико-административно-сплетническую атмосферу, которая, словно свинцовый туман, тяготеет над городами. Большею частию так оно и делается... в намерении; но здесь оппонентом землевладельцу является сама природа. Скажите на милость, есть ли какая-нибудь возможность запереться наглухо в душной комнате в такое время, когда все зовет и манит на воздух? Есть ли возможность предаться какому-нибудь кабинетному занятию, когда вся природа говорит о тепле, свободе и наслаждении? В комнате положительно не сидится; даже тот, у кого нет никакого дела, вызывающего его из дома, и тот бежит на волю, чтоб побродить, послоняться без всякой цели. Днем его манят тенистые аллеи парка своими прохладами; ночью — манит сама ночь своими бесчисленными звез-

дами, своим фантастическим лунным освещением, своею торжественною, глубокою тишиною. Все располагает к кроткому безделью и тихой мечтательности. Мысли и образы пробегают по душе, не останавливаясь и не цепляясь за те слишком живые струны сердца, которых сотрясение более или менее болезненно действует на весь организм человека. Блаженная, безмятежная радость чувствуется во всем существе; думается много, но ни о чем в особенности; воспоминания прошлого, представления настоящего, предвидения будущего — все это сливается в одну массу, все это проходит без ясных, определенных очертаний, проходит затем только, чтобы утонуть в каких-то сумерках, совершенно подобных тем, которые царствуют в тенистых аллеях, по которым гуляет беспечный, нигде не находящий себе места землевладелец. Вновь спрашиваю: возможно ли при таком положении вещей какое-либо другое занятие, кроме занятия собственной леностью?

Правда, прежде было еще занятие у русских землевладельцев — это занятие либеральничаньем, но нынешним летом оно прекратилось, ибо за сим строго наблюдали «Московские ведомости» и «День».

Известно, что из млекопитающих всевозможных пород самым либеральным всегда был и будет русский землевладелец. В области свободномыслия и свободных художеств это просто ненасыть какой-то. Послушать их, то все эти реформы, которые отчасти осуществились, а отчасти имеют осуществиться, ко благу нашей родины, уже давным-давно бродили в их головах, и если не вышли оттуда во всеоружии, то единственно потому, что общество, для которого они измышляли свои проекты, еще не созрело, а созрело оно тогда, когда захотело того правительство. И в доказательство указывают вам на такого-то А., который, еще при существовании крепостного права, устроил *у себя* чуть-чуть не конституцию, или на такого-то Б., который, еще гораздо прежде отмены телесных наказаний, уже написал проект о замене рылобития устностью. Либерализм очевидный и тем более похвальный, что сам сознавал свою слабость и потому заявлял себя с полною скромностью.

Чтобы показать, до чего мог доходить русский землевладельческий либерализм, я приведу здесь случай, бывший со мной самим.

Каюсь: в бывалые времена (то есть до отмены крепостного права) я был знаком с одним таким землевладельцем, который был до того либерален, что даже наводил на меня трепет своим свободномыслием. Несмотря, однако ж, на этот трепет, мне было до крайности лестно считаться в числе друзей «опасного» человека; но что касается прочих соседей, то они поло-

жительно избегали его. Во-первых, с этаким проказником, чего доброго, как раз в беду попадешь; а во-вторых, он хоть и без толку, но все же болтает о какой-то эмансипации: того гляди, еще смуту в умах дворовых людей поселит. Звали моего друга Николаем Петровичем Многоболтаевым.

Однажды я был у него в гостях, и, по обыкновению, мы занимались либеральничаньем.

— У меня, mon cher,— говорил он,— не то, что у других сиволапых патриархов! у меня всё это они сами... Все эти права записаны, утверждены и выставлены под стеклом на стене! Mais venez, je vais vous tout montrer![1] Алеша (камердинер либерального моего друга)! сходи в контору и скажи, что мы сейчас будем!.. У меня, mon cher, даже суд и все такое... все это в порядке: вот увидите!

И он привел меня в контору, на которой красовалась вывеска «Дом общественного управления села Многоболтаева с деревнями». Мы вошли в просторную и довольно опрятную комнату, среди которой стоял стол, а за столом сидели: на президентском месте рослый и несколько рыхлый мужик с лоснящимся лицом и жиденькою белокурою бородкою, которого сам барин, в знак уважения, называл Иваном Парамонычем, по бокам два мужичка видом пожиже и помизернее. При появлении нашем присутствующие встали с своих мест, причем председательствующий остался у стола, а заседатели отошли к стене.

— Вот это мой президент! — обратился ко мне либеральный мой друг, трепля председателя по плечу.— Он один только и представляет здесь мои интересы... и эти вот (он указал на стушевавшихся мужичков) — от *них!*

Президент осклабился и произнес нечто вроде: рады стараться вашему здоровью! Мужички обдернулись.

— Ну что, как у вас тут? — продолжал либеральный мой друг.— Бывают споры... столкновения? (Он хотел моргнуть в мою сторону одним глазом, как будто хотел мне сказать: vous verrez nous allons rire![2])

Председатель и мужички осклабились, как бы выражая полную готовность.

— Ну-ну-ну! трудитесь! трудитесь! — сказал мой приятель, причем полегоньку вздохнул и, обращаясь ко мне, прибавил: — А вот и условия наши!

На стене висели две золоченые рамки, в которых под стеклом красовалось изложение прав и обязанностей крестьян села

---

[1] Но пойдемте, я вам все покажу!
[2] вот увидите, как мы посмеемся!

Многоболтаева с деревнями. Изложение было сделано правильным и весьма приятным слогом и переписано самым отличным почерком. Тут на первом плане значились всякого рода свободы: во-первых, свобода отлучек для заработков, что, как известно, в крестьянском нашем быту составляет статью первой важности, во-вторых, свобода семейных разделов, на что крестьяне наши хотя и посматривают несколько косо, но что тем не менее составляет предмет самой настоятельной потребности, в-третьих, свобода раскладки повинностей по усмотрению общества и проч. и проч. Обязанностей на крестьянах лежало, собственно, две: платить исправно оброк и быть благонравными.

— Эге! да у вас тут... тово! — сказал я, прочитав условия и тут же припомнив те клеветы, которые во время оно взводились на землевладельцев.

Приятель мой был так тронут, что даже застыдился.

— И хорошо это у вас идет? — продолжал я, обращаясь на этот раз к председателю.

— Обстоит благополучно-с! — отвечал председатель, пощипывая себя за жиденькую бородку.

— Гм... так идет хорошо? — обратился я к мужичкам.

— Что такое идет? что такое идет? — залотошил один из них испуганным голосом и озираясь по сторонам.

— Mais laissez, mais laissez donc! — вступился мой приятель.— Ce sont des enfants de la nature... est-ce-qu'ils savent, est-ce-qu'ils comprennent ces choses là! [1]

И действительно, прожив у приятеля моего более месяца, я имел случай убедиться, что «дети природы» положительно ничего не понимают и что многоболтаевские условия исполняются самым оригинальным образом. Несколько раз обращался я к многоболтаевским крестьянам с вопросом, знают ли они, что у них есть права, и всюду встречал непроходимейшее на этот счет невежество.

— Какие такие права? — спрашивали меня крестьяне с некоторым остолбенением.

— Ну, хоть бы, например, насчет отлучек? имеете ли вы право во всякое время отлучиться для заработков?

— Да коли взнес вперед оброк, можно!

— Ну, а еще когда?

— А еще, коли ты не пьяница!

— Ну, а еще?

— А еще, коли ты ни в чем не замечен!

---

[1] Оставьте, оставьте же! Это дети природы... разве они знают, разве они понимают такие вещи!

— Как ни в чем не замечен?

— Так, не замечен, да и все тут! а коли замечен, так и вида на отлучку ни в жизнь не дадут!

Признаюсь, этот последний ответ несколько смутил меня и охладил мой энтузиазм к многоболтаевскому либерализму. Что такое значит «ни в чем не замечен»? — долго ломал я себе голову и, конечно, едва ли пришел бы когда-нибудь к удовлетворительному разрешению этого вопроса, если б в одно прекрасное утро меня сама собой не осенила счастливая мысль, что «ни в чем не замечен» просто означает «ни в чем не замечен» — и больше ничего.

В самом деле, кто может исчерпать всю глубину иронии, заключающейся в этих словах? кто может провидеть все разнообразие случайностей, которое в них скрывается? Ты отставил вперед ногу — замечен («где у тебя ноги? где у тебя ноги?»); ты тряхнул кудрями — замечен («что ты, стоять, что ли, спокойно не можешь?»); ты заявил в голосе некоторую крамольную хрипоту — замечен («ишь ты! ведь и голос-то у *них*... словно вот змея шипит... словно вот так пронизать и хочет!»); ты походкой изобразил некоторое волнение чувств — замечен («куда, куда ты так бежишь! затылком, что ли, нагрубить хочешь!»). Ясно, что при таких условиях всякие вольности могли процветать во всей безопасности. Мало того, процветать: они могли даже не процветать вовсе, и никто бы этого не заметил...

Однажды из окна барской усадьбы я увидел перед «домом многоболтаевского общественного управления» огромную толпу. Спрашиваю: что это такое? отвечают: многоболтаевская сходка — ну, как же не взглянуть!

— У меня все это, mon cher, в порядке,— сказал мне при этом мой либеральный друг, вместе со мной любовавшийся видом размахивавшей руками толпы,— у меня ничего по имению, ничего без *них* не делается! обо всем *они* должны свое слово сказать! У меня, mon cher, по-старинному... вот как!

Мучимый любознательностию, я осторожно подошел к толпе, чтобы не спугнуть ее своим появлением и не мешать выборным людям многоболтаевской земли свободно выражать их мысли и чувства. Но увы! сходка уже подходила к концу, и я мог слышать только заключительные слова речи, которую произносил Иван Парамоныч:

— Рожна, что ли, вам надобно! черти вы! право, прости господи, черти!

Выборные молчали; только по местам слышались какие-то глубокие, сосредоточенные вздохи.

— Что ты вздыхаешь! что ты вздыхаешь! утробу, что ли, до свету набил,— обращался Иван Парамоныч, прозорливо под-

мечая, из чьей груди вылетал карбонарский вздох.— Вот я те набью!

— Что набивать-то! чем набивать-то! — слышалось в ответ.

— То-то «набивать»! Вас милуют, так вы и тово... на дыбы сейчас! пошли вон, подлецы!

Сходка начала медленно расходиться, но зато через два часа перед приятелем моим стоял Иван Парамоныч и докладывал ему следующий приговор: лета 18... маия « » дня, я, помещик и коллежский асессор Николай Петров Многоболтаев, приказал, а выборные положили: имев рассуждение, что для пополнения запасных хлебных магазинов собирается ежегодно со всех многоболтаевских мирских людей хлебная пропорция и что *сие неудобно,* заблагорассудили ввести у себя общественную запашку отныне навсегда, для чего определяют и т. д. и т. д.

— Однако ведь они, mon cher, совсем не желают этого! — возразил я, все еще питая некоторую веру в многоболтаевские вольности.

— Mais laissez donc, laissez donc, mon cher![1] разве они понимают! — сказал мне мой либеральный друг, смотря на меня уже с некоторым негодованием.

— Нéшто они что разумеют! — поддакнул, с своей стороны, Иван Парамоныч.

И приговор был подписан, но я все-таки не мог успокоиться. Несмотря на происшествие с приговором, я все чего-то доискивался, все еще продолжал делать наблюдения.

Увы! я должен сказать правду, что мало утешительного вынес из этих наблюдений. Во-первых, я убедился, что выборные многоболтаевцы, занимавшие должности в общественном управлении, проводили время, собственно, в том, что топили печи в доме общественного управления и по очереди в нем ночевали, совокупляя таким образом в себе и должности сторожей. Во-вторых, я узнал, что они не только не гордились честью участвовать в многоболтаевских делах, но даже положительно тяготились ею.

— И для чего только нас держут! — сказал мне один из них, внезапно обнаруживая какую-то тоскливую доверчивость.

— Как же для чего, мой друг (защитникам многоболтаевских интересов я всегда говорил не иначе, как «мой друг» или «голубчик»)! Ведь вот теперь вам дал Николай Петрович права...

— Права-то?

---

[1] Оставьте, оставьте же, дорогой мой!

— Ну да, права... как же ты, голубчик, не понимаешь этого?

Заседатель от земли смотрел на меня, выпучив глаза.

— Ну? — сказал он.

— Ну да, права,— повторил я.

— А Иван Парамоныч-то что? — спросил заседатель.

Я смешался еще более.

«Однако вы таки бестии!» — подумал я и на первый раз так на этом и порешил, все еще надеясь, что когда-нибудь, со временем, «бестии» все-таки придут в себя.

Но мне не пришлось этого дождаться. Через полгода я встретил Николая Петровича в Петербурге и, натурально, сейчас же обратился к нему с вопросом:

— Ну что, как ваши деревенские дела?

Николай Петрович махнул рукой.

— Гм...— сделал я.

— Бросил! — отвечал мой приятель.

Признаюсь, я готов был обвинить моего друга в ретроградстве, в недостатке энергии, в совершенном отсутствии инициативы... Я почти готов был задушить его!

— Mon cher! не обвиняйте меня! — сказал он кротко.

— Да нет, Николай Петрович! это была ваша обязанность! вы должны были персеверировать!

— Нельзя! — возразил он мне самым решительным тоном.— Они ничего не понимают!

И вслед за тем он рассказал мне трогательную историю своих усилий и *их* непониманий.

— Бестии! — произнес я решительно.

— C'est le mot! [1]

— Что ж вы сделали?

— Велел Ивану Парамонычу действовать решительно...

. . . .

Так вот каков был наш землевладельческий либерализм. Мудрено ли, что он и поприскучил наконец! — Тем более прискучил, что то, что составляло предмет его, уже осуществилось, а нового предмета для переливанья из пустого в порожнее мы еще не выдумали, да вряд ли и выдумаем когда-нибудь.

Но, возвращаясь вновь к землевладельцу, добровольно заключившему себя на лето в деревню, я все-таки нахожу, что положение его очень затруднительно. Сельским делом он заниматься не может, потому что это не его дело; грибы брать

[1] Вот именно!

не может, потому что на этом поприще его обижают русские бабы; кабинетным делом заняться не может, потому что летом дома не сидится, да и неестественно; либеральничать не может... Стало быть, остается лениться и гулять, что землевладельцы и исполняют, что исполнял и я в течение всего минувшего лета.

В чем же, однако, состоит это «сельское дело», к которому никак не может пристроиться землевладелец, и что за люди, которые им занимаются? Я могу отчасти отвечать на эти вопросы, потому что и гуляя все-таки успел кой-что заметить.

«Сельское дело» — не веселое дело, читатель! Все оно вертится около земли и заключается в разнообразном уходе за нею. Если вы видите человека, идущего за сохою или бороною, возящего навоз, копающего канаву, разработывающего торф и т. д. и т. д., то можете с уверенностью сказать себе: это человек, который занимается сельским делом! Картина простолюдинов и простолюдинок, собравшихся для исполнения своих обязанностей, всегда бывает довольно привлекательна. Вот, например, мужички рассыпались группами по пашне; рубашечки на них белые, порточки синие; ветер играет их волосами; ходят они, ходят себе по пашенке... ну, вот так и кажется, что гуляют! Или вот вам жнитво; опять живописные группы поселянок в длинных белых рубашках, быстрые и дружные взмахи серпов, золотые колосья ржи... Господи! да, никак, и они гуляют! Даже когда поселяне длинной вереницей тянутся на пашню с навозом, даже и тогда можно скомпоновать очень миленькую картинку, потому что навоз ведь на картинке не пахнет, да и пейзаж-то уж кстати изображается в миниатюре, а не в натуральную величину (в натуральную-то величину принято изображать баталии, а не сельские виды, за что я и похваляю живописцев, потому что они в этом случае следуют прямым указаниям эстетического чувства).

Но пускай зритель не слишком увлекается очаровательною картиной, пускай он раз навсегда убедит себя, что глаза его лгут, что художник, срисовавший картину, тоже делает дело неправедное, и что в сельской жизни нет ни прелестных пейзажей, ни восхитительных tableaux de genre[1], а есть тяжелый и невзрачный труд.

Дабы читатель вполне мог освоиться с этою мыслью, опишу здесь некоторые из поселянских занятий.

Сенокос. Когда поселянин приступает к сенокосу, то у него после первого же опыта до такой степени начинает болеть пра-

---

[1] жанровых картин.

вое плечо, что он несколько дней чувствует его как бы вывихнутым. По-видимому, находясь в таком положении, он не может продолжать свою работу, однако он ее продолжает и впоследствии даже перестает ощущать боль, из чего остроумный медик может вывести заключение, что самое лучшее средство от вывиха есть постоянное повторение того же вывиха. Кроме этого неудобства, есть еще другое: чтобы косить успешно, необходимо с каждым взмахом косы употреблять известное усилие, равняющееся, по крайней мере, тому, которое употребляет человек при поднятии пудовой тяжести. Таким образом, предположив, что простолюдин косит в день шесть часов (работа эта производится обыкновенно ранним утром, покуда роса не обсохла) и что он в течение каждого часа, с прохладой и разговорцем, сделает только сто взмахов косой, то из этого следует, что он в какие-нибудь шесть часов времени: а) вывихнет себе плечи и б) сделает усилие, равняющееся поднятию шестисот пудов тяжести. Цена: тридцать копеек серебром (цена красная, потому что за круглый день работы поденщик получает не более 75 к. сер., а постоянный работник и того не получает). Следовательно, если глаз в это время нам показывает, что эти люди гуляют, то он самым постыдным образом врет: эти люди не гуляют, а предаются самому тяжкому мучению для того, чтобы после двух часов отдыха предаться другому, еще более тяжелому.

Сушка сена. Производится в течение целого дня, начиная с девяти часов утра, то есть с той минуты, когда обсохнет роса, и часов до осьми вечера, когда воздух вновь начинает делаться влажным.

Вся работа, за исключением отдыхов, продолжается часов восемь. Бабы, убравшись дома (встают они, неугомонные, часов с трех и успевают до девяти и в лес за грибами и за ягодами сбегать, и коров подоить, и пищу для всей семьи приготовить) и, вооружившись граблями, выходят на скошенный луг и начинают сушить сено. Когда время бывает хорошее (и это случается именно тогда, когда солнце палит во всю мочь), то бабы бывают мокры и изнурены от жара и усилий, делаемых ими при беспрерывном взбрасывании клочьев сырого сена. Предположив, что каждый взмах грабель равносилен усилию, делаемому при поднимании 10 фунтов (самые грабли весят не менее), и что подобных взмахов, при быстроте работы, баба делает до 180 в час, окажется, что в течение восьми часов работы она поднимет тяжести до трехсот шестидесяти пудов. Согласитесь, что для особы прекрасного пола, набегавшейся при этом целое утро по домашнему хозяйству, это цифра весьма почтенная, в особенности если принять в соображение, что

во время полдневного жара и гулять-то тяжеленько. Тем не менее когда бабы возвращаются вечером с сенокоса домой, то всегда деребят песни. Это я приписываю их простосердечию.

Разработка торфа. Во время этой операции простолюдины, в ней действующие, находятся по пояс в густой и клейкой массе, которую и утаптывают ногами. Находясь постоянно в сырости и вдыхая болотные испарения, эти люди к концу лета почти теряют человеческий образ. Операция эта до того отвратительна, что наши москвичи положительно ею гнушаются и предоставляют ее дикарям — калужанам и рязанцам.

Рубка леса и дров. Присутствующий при этой работе явственно слышит, как одновременно с каждым ударом топора раздается какой-то особенный звук, не имеющий себе подобного в мире звуков. Это охает сама утроба работающего, это стонет его нутро от натуги и напряжения.

И т. д. и т. д.

Нет сомнения, что я долго не кончил бы, если б вздумал перечислять одно за другим все обычные телесные упражнения, которым предается простолюдин вообще, и русский в особенности, но думаю, что и приведенных выше примеров весьма достаточно, чтоб убедить читателя, что здесь дело идет совсем не об гулянье.

Гораздо более интересным представляется вопрос: как принимает простолюдин все эти упражнения? ропщет ли на судьбу свою? Но признаюсь откровенно, я имею слишком мало фактов, чтоб отвечать на эти вопросы вполне положительно. Однако же, судя по тому, что бабы, возвращаясь с работ, деребят, а мужики горланят, я полагаю, что для них это положение кажется не вовсе горьким. Это хорошо. Во-первых, звуки песни разнообразят деревенскую обстановку и услаждают слух; во-вторых, несравненно приятнее, если крестьяне простосердечны, разговорчивы и веселы, нежели тогда, когда они смотрят исподлобья и угрюмо помалчивают, да еще, сохрани бог, грубят. Почти совершенное отсутствие грамотности, думаю я, служит в этом случае прекраснейшим подспорьем для придания простолюдину бодрости и содержания его постоянно в хорошем расположении духа. Ибо известно, что как только простолюдин начинает понимать буки-аз-ба, то он в то же время незаметно и постепенно наполняется ядом, так что когда дело дойдет до ижицы, то из прежнего кроткого и доверчивого весельчака образуется фиал, наполненный ехиднейшим ядом. Это не я первый говорю; это еще прежде меня выразил известный знаток русской народности г. Даль.

Итак, должно заботиться о том, чтоб простолюдины посто-

янно сохраняли добрый и беспечный вид. А для того, чтоб достигнуть этого, самое лучшее средство — это внушать простолюдинам, что праздность есть мать всех пороков. Они насчет этого народ толковый — поймут сразу; тем скорее поймут, что ведь за них ихней работы никто не сработает. Так им и можно это объяснить: «Послушай, милый Иван! вот ты третьего дня гулял — кто же за тебя пашню-то вспашет?»

Некоторые думают, что хорошо также по временам доставлять простолюдинам некоторые недорогие удовольствия. Указывают в особенности на вино, как на такое средство, которое ближе других достигает цели. Я сам думаю, что это хорошо, да и мужички, кажется, согласны со мной, потому что каждый раз, как я проезжаю мимо любого питейного дома, вижу на крылечке толпу простолюдинов, до того разрумяненных Вакхом, что издали кажется, будто бы лица их обожжены молнией. В этом положении простолюдин любезен и приветлив, но в то же время не совсем твердо стоит на ногах. Разумеется, однако, что, ввиду главной цели, на это последнее обстоятельство не следует обращать никакого внимания. Главное, чтоб простолюдин был приветлив и не кручинился, а как это в нем происходит и шатается ли он или не шатается — до этого, конечно, дела нет.

Надо сказать правду: наш мужичок не чувствует никакого отвращения к вину. С тех пор как объявлена ему воля, он часто празднует и, по своему простосердечию, праздники эти ознаменовывает преимущественно употреблением вина. По этой-то, быть может, причине в настоящее время почти нет деревни, сколько-нибудь похожей на деревню, в которой бы не бросилась в глаза вывеска: «Навынос и с распитием». По крайней мере, так оно ведется у нас в Московской губернии, и нет сомнения, что заведется со временем и в других, так как Москва вообще дает тон в делах этого рода и сверх того приючает у себя на лето сотни тысяч захожих мужиков из Калужской, Тульской, Рязанской, Тверской и Владимирской губерний, которые сначала являются совершенно необнатуренными, но потом мало-помалу присматриваются и, по врожденной русскому человеку переимчивости, возвращаются домой совершенно вышлифованными.

Когда существовало крепостное право, мужички наши совсем не знали праздников. Барщина и различные другие требования делали то, что свободного времени оставалось у них чрезвычайно мало, и потому работать в праздник грехом не считалось. Понятно, что как скоро получилась возможность управляться дома с большею свободою, то и праздник стал соблюдаться строже. Сверх того, мужички наши, когда были

крепостными, совсем ни об чем не думали, а думал за них помещик; теперь же завелись у них свои мужицкие дела, которые и решаются преимущественно в праздник. Решаются они по большей части таким образом: соберутся мужички на сходку (обыкновенно поближе к вывеске, если таковая есть, или к какому-нибудь отставному солдатику, который держит вино про себя, но с удовольствием ссужает им за деньги и своих односельцев) и ждут, не провинится ли кто-нибудь. Заведут этак тонким манером речь об запасной магазее и ожидают, не обзовет ли кто-нибудь хлебного смотрителя вором. Разумеется, на миру не без желчных людей; сейчас же выищется такой, который не вытерпит и скажет: «Да ведь Егор Антипьев известный вор!» Не успеет он это вымолвить, как его тут же сграбастают и в питейный дом: ставь четверку или полведра, тогда простим, а не поставишь — засудим! И ставит желчный человек, и благо ему, если он сам тут же не напьется, ибо в противном случае он непременно обругает мир чертями, жидами и кровопивцами,— ну, тогда и опять ставь четверку или полведра. Не знаю, правда ли, но сказывали мне, что бывают такие бедные макары, которые почти каждый праздник подобной операции подвергаются, и что в то же время выискиваются такие смышленые люди, которые рта не разожмут на сходке и все поджидают, все поджидают, не провинится ли кто-нибудь. И бывают эти смышленые люди каждый праздник отлично пьяны на чужой счет и потом целый день слоняются по деревне и всё ругаются: и ворами, и чертями, и кровопивцами — это ничего, это можно, потому что не на сходке.

Случалось мне иногда говорить мужичкам: уж если у вас, мои милые, такое пристрастие к штрафам, так не лучше ли штрафовать деньгами в пользу школы или другого общеполезного устройства? Но всегда на мои увещания встречал одинаковый, лаконический ответ: «дерьма́-то!»

Когда не бывает провинившихся, то представляется и другое средство для выпивки — это по́мочь. Работать в праздник грех, но помогать ближнему — дело благое, особливо если впереди предстоит за это выпивка. Здесь вполне выразился любвеобильный славянский характер, и разумеется, не я буду порицателем этой любвеобильности. Преимущественно делают помочи помещики, потому что есть такие хозяйственные работы, которых с помощию ограниченного числа своих вольнонаемных рабочих ни под каким видом не выполнишь. Таковы, например, кошение и уборка сена, где, для успеха дела, требуется одновременное участие нескольких десятков рук. Помочи обходятся довольно дешево и притом в настоящее циви-

лизованное время не представляют никаких хлопот. Прежде нужно было в подобных случаях посылать за несколько верст за вином, печь пироги, варить щи; нынче все это упрощено: кабак всегда под рукою, и мужички приглашаются прямо туда; там разлюбезный целовальник поднесет им вина и подаст закуску в виде черствых французских булок; бабы получают или пиво, или чай, что стоит никак не дороже 7 копеек на человека. Из этого следует, что наши землевладельцы и доныне еще вынуждаются прибегать к пособию соседей и что поэтому действительный расчет в наших хозяйствах составляет еще весьма большую редкость.

Теперешние питейные дома совсем не то, что прежние. Это просто харчевни или постоялые дворы, в которых совсем нет казенного характера и в которых мужички собираются побеседовать по душе. Это почти что клубы, но, разумеется, обстановка их не так великолепна, как в московском английском. Прежний целовальник был почти что чиновник, нынешний — не больше как приятный собеседник. От этого в клубах царствует совершенная непринужденность. Кроме вина, имеется чай, пиво и закуска, заключающаяся в неизменной селедке. Только такой селедки не приведи бог никому есть. Я убежден, что селедки эти родятся, исключительно имея в виду русского простолюдина, и что только этот последний может оказывать им внимание. Какие цены берет с простолюдинов любезный целовальник — об этом даже сказать непристойно. Вино, например, он покупает в Москве по 3 р. 5 к. за ведро, а с провозом до места оно обходится ему до 3 руб. 14 к.; продажная цена: навынос 3 р. 80 к., с распитием — 5 р., а так как больше всего продается вино с распитием, то барыш оказывается почти неслыханный. Селедка обходится содержателю в покупке не больше 2 к. с., а в продажу пускается по 5 к.; фунт чаю стоит 90 к. (от этого чаю вяжет во рту, как от черемухи), а три фунта сахару 75 к., по разделении же на *пары* этот материал продается, по крайней мере, за 5 р. В одной деревне, где прежде не было питейного дома и откуда, следовательно, мужичок, желавший напиться, должен был дожидаться базарного дня и ехать в Москву, с апреля месяца нынешнего года открыто заведение и в нем продано вина, в течение каких-нибудь 5-ти месяцев, с лишком 8 бочек. На одном этом предмете содержатель получил, стало быть, барыша около 350 р., а между тем патент стоит 10 р., а арендная плата за помещение 100 р. в год; следовательно, за свой труд содержатель с женой имеют полное право рассчитывать на годовое вознаграждение до 600 р. на одном только вине. А в этой деревне нет ни фабрик, ни заводов, ни многочисленного пришлого народа.

Кто же выпил такое огромное количество вина? — А всё свои мужички, по милости божией, выпили-с, отвечают вам. А своих мужичков и всего-то наберется не больше полутораста душ, да в соседних деревнях около того же количества — вот и думайте тут! Для того чтоб привлечь к себе мужичков из соседних деревень, содержатели питейных домов употребляют хитрость: жертвуют на деревню от полуведра до ведра вина и таким образом на целый год приобретают себе обязательную практику и получают возможность продавать вино по той цене, какую бог на душу положит. Мужички, пропившие этим порядком свою деревню, свято соблюдают обязательство и строго надсматривают друг за другом: чуть у кого прочуют косушку вина, купленную не в заветном кабаке, сейчас тому суд и расправа, и волокут его, раба лукавого, в тот же кабак, и идет у них тут пир горой до поздней ночи.

Собираясь в своих клубах, мужички занимаются оживленною беседой, но обыкновенно беседуют отрывисто и маловразумительно.

— Говорю тебе, любезный друг,— сказывает один,— уж я коли что сказал, так ты этому слову верь! Уж коли я тебе, то есть, одно слово, так ты супротив него не моги... ну!

— Это так точно.

— Потому, коли я теперича тебе одно слово, а ты мне десять, ну и я, значит, на оборотку тебе двадцать... ну!

— Это правильно.

Такой приятный разговор продолжается нередко по нескольку часов сряду, и замечательно, что беседующие, если не всегда понимают друг друга, то во всяком случае всегда удовлетворены.

Но довольно о пьянстве; поговорим о забавах и увеселениях. Им предается преимущественно женский пол, потому что мужчины, даже и молодые, праздники проводят или в Москве на базаре, или в местном питейном доме. А потому в деревнях, где население не очень большое, увеселения имеют характер до того мизерный, что в них принимают участие даже десятилетние девочки. Самое видное место в этих забавах занимает хоровод, но песня уже поется не та, какая певалась в бывалые времена. Нет ни «Веселой беседушки, где батюшка поет», ни «Дуная», ни «За морем за синим»; место их заступили: «Ты, Настасья, ты, Настасья!», «Он меня разлюбил!», «Ты не поверишь!» и прочая чепуха в этом роде. Очевидно, что галиматья эта занесена в деревни фабричными молодцами, которые не один раз на своем веку наслаждались пением московских цыган. Поются эти романсы отвратительно,

и со всевозможными коверканиями. Так, например, в известном романсе «Ты не поверишь» кем-то присочинен бессмысленный припев:

Я очень верю, я очень верю!
Я вас люблю!

Эта бессмыслица принимается самым серьезным образом, и даже в сию минуту, когда я пишу эти строки, до меня долетают безобразные звуки хора, отхватывающего «Настасью».

Странная судьба всего русского: даже для того, чтобы прослушать русскую песню, надобно нанимать цыган...

На этом покамест кончу. В следующем месяце надеюсь встретиться с читателем — в городе.

ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА

1864

НЕИЗВЕСТНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ

Письмо ваше, которым вы приглашаете меня отказаться от немногих слов, сказанных в последней общественной хронике относительно «нигилистов», я получил. На сей раз не могу, однако ж, исполнить ваше желание, и совсем не потому, чтоб это было больно для моего самолюбия, а просто потому, что вы сами, очевидно, не сознаете, чего именно желаете. Но объясниться я не прочь, тем более что, кто знает, быть может, и помимо вас найдутся люди достаточно ограниченные, чтоб обвинить меня в намерении «выругать огулом молодежь», как вы выражаетесь. Такого намерения не было, и я надеюсь доказать это в очень немногих словах.

Как бы объяснить вам, к кому именно могло относиться заподозренное вами место моей хроники? Попытаюсь. Быть может, вам памятно то время, когда в русском обществе шли горячие толки о народности и славянофилы были в большом ходу. Тогда, рядом с людьми, относившимися к этому делу совершенно серьезно и искренно (я говорю не об достоинстве самого дела, а об отношении к нему его сторонников), находились и такие, которые потому только мнили себя быть славянофилами, что понашили себе поддевок, мурмолок и рубах с подоплеками, но этих людей никто, однако, не называл «славянофилами», а называли гороховыми шутами. Другой пример: если я встречаю человека, который говорит, что он материалист, и доказывает это тем, что каждый день обжирается и напивается, а вечером ходит в танцкласс к Ефремову, то я говорю ему: нет, ты не материалист, а свинья. Третий пример: если я встречаю человека, который для того, чтоб доказать, что он не имеет предрассудков (это, кажется, единственный, сколько-нибудь разумный признак, к которому хотят приурочить себя так называемые нигилисты), выбежит голый на улицу, то говорю ему: нет, тут совсем не о предрассудках идет речь, а о том, что ты очень бойкий глупец. Всякое дело, всякая

мысль, всякая партия имеют своих enfants terribles, своих юродствующих и вислоухих — вот этих-то «юродствующих» и «вислоухих» и имела в виду моя статья, и я не вижу в этом случае никакой ошибки, потому что по совести нахожу, что люди эти существуют единственно для того, чтоб портить дела самые лучшие: как мухи летом в одну минуту засиживают самые драгоценные произведения искусства, так и эти люди делают неузнаваемым всякое дело, до которого они прикасаются.

Но вы говорите, что я употребил слово «нигилисты» в смысле оскорбительном для целого молодого поколения,— нет, это положительная ложь. Признаюсь вам, я даже плохо понимаю это слово и всегда думал, что оно заключает в себе совершеннейшую бессмыслицу и столь же мало может характеризовать какое бы то ни было поколение, как и блаженной памяти слово «фармазоны». По мнению моему, если оно и начинает приобретать в нашем обществе некоторое право гражданственности, то в этом виноваты именно те «вислоухие», которые, по-видимому, очень жадно ухватились за него и сделали из него какое-то для себя знамя. Можете после этого представить себе, как должны быть противны для меня эти люди, которые добровольно откликаются на бессмыслицу. Но, может быть, вы возразите, что, в первоначальном своем употреблении, это слово имело смысл обширный и злостный, но разве это доказывает что-нибудь? Если бы, например, г. Тургенев или кто другой известную часть русского общества обозвал «дураками», неужели же нашлись бы люди, которые ухватились бы за это выражение и начали бы говорить: «вот мы, «дураки», «вот у нас, «дураков» и т. д.? Я думал и думаю, что слово «нигилисты» совершенно столько же бессмысленно в настоящем случае, как и слово «дураки»; и те, которые с гордостью повествуют о себе: «мы нигилисты», или не понимают сами, что говорят, или сознательно говорят чепуху. И если вы дадите себе труд подумать об этом, то, конечно, согласитесь, что в моих настоящих словах нет ни малейшего намерения остроумничать или извернуться.

Затем, прощайте. Желаю вам больше способности понимать то, что вы читаете, и больше думать о том, что вы болтаете. Поверьте, что пошлые ругательства, которыми вы наполнили ваше письмо, отнюдь его не украсили и что я, с своей стороны, тоже знаю очень много ругательных слов, но никогда к ним не прибегаю, потому что не нахожу в них не только доказательной силы, но даже смысла.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЛОЧИ

При определении достоинства людей и вещей очень часто приходится выслушивать такого рода разговоры:

— Послушайте, ведь это дрянь!

— Ну... все не такая же дрянь...

— Но сообразите хорошенько!

— Нет; все-таки это совсем не такая дрянь!

Последнее произносится даже с некоторою строгостью, словно и невесть какая неопровержимая премудрость заключается в словах «не такая дрянь».

Если мы вникнем ближе в смысл подобных словопрений, то увидим, во-первых, что спор возникает преимущественно оттого, что обе стороны не умеют отчетливо формулировать то значение, которое в их умах сопрягается с словом «дрянь»; во-вторых, что то свойство, которое обеим сторонам известно под именем «дряни», оставляется спорящими неприкосновенным, и что протеста на то, что такого-то человека или такую-то вещь следует назвать «дрянью», никем не предъявляется, и в-третьих, что, следовательно, тут речь идет совсем не о том, дрянь или не дрянь у нас перед глазами, а о том, «такая» это дрянь или «не такая».

Посмотрим, в какой степени все это основательно.

Что такое дрянь? В просторечии слово это прилагается преимущественно и даже исключительно к явлениям мира вещественного. Всякое вещество, вследствие разложения или принятия в себя чуждых примесей потерявшее свой естественный, здоровый вид, называется «дрянью». «Не тронь, батюшка, это «дрянь»!» — говорит заботливая няня своему питомцу, когда он, движимый любознательностью, хочет прикоснуться к какой-нибудь слякоти или к чему-нибудь гниющему. Но как ни права няня в своем определении, она все-таки не исчерпывает сущ-

ности предмета, о котором говорит. Понятие, заключающееся в слове «дрянь», чрезвычайно обширно и из мира вещественного очень удобно переносится в мир нравственный и умственный. Если б няня знала, что известный ей какой-нибудь Петр Иваныч или Иван Петрович совершенно такая же «дрянь», как и то гниющее вещество, на которое она сейчас указывала, то она точно так же предостерегла бы своего питомца: «Не тронь, батюшка, Петра Иваныча: это дрянь!»...

Умение делать подобные применения уже свидетельствует о некоторой степени умственного развития и о привычке обращаться с явлениями более сложными. Возникает потребность прилагать слово «дрянь» к людям и их делам; образуются соответствующие выражения, как, например: «вот человек дрянь!» или: «дело просто дрянь выходит!» Тем не менее если мы хорошенько разберем, о чем тут идет речь, то увидим, что в этом случае слово «дрянь» прилагается уже чересчур разнообразно, а потому не всегда определенно и основательно. Тут безразлично разумеется: и злонамеренное скотство, и бессознательная глупость, и «дрянь» действительная. Поэтому необходимо опознаться в этом разнообразии и критически очистить слово «дрянь» от всех ненужных примесей.

Начнем с людей. Слово «дрянь» обыкновенно прилагается безразлично ко всем «нехорошим» людям, то есть злонамеренным, глупым или таким, от которых, что называется, ни шерсти, ни молока. По-моему, однако ж, тут есть значительная ошибка, которая может показаться обидною даже для тех лиц, которые непосредственно в этом деле заинтересованы. Злонамеренный человек, которого назовут дрянью, скажет: «Нет, ты врешь, я не дрянь, а я скотина!», глупец, в свою очередь, возразит: «Да помилуйте, какая же я дрянь — я просто дурак!»; один тот, от которого «ни шерсти, ни молока», смолчит, ибо почувствует, что в глазах его при слове «дрянь» действительно как будто бы что просветлело. Таким практическим указанием пренебречь невозможно.

В самом деле, и у злонамеренного и у дурака имеются свои определенные убеждения и свои определенные обязанности. Злонамеренный человек всегда обладает миросозерцанием, хотя и ограниченным, но в то же время совершенно ясным. Это эгоист в самом мизерном значении этого слова, эгоист недальновидный, ставящий свои личные выгоды выше всего на свете и не понимающий, что выгоды эти находятся в теснейшей зависимости от выгод других подобных ему людей. Поэтому он прежде всего старается о своих личных интересах и об интересах тех людей, которые до того близко к нему при-

касаются, что он не может ступить без них ни шагу; по своей неразвитости или по недостатку знаний, он не понимает, что в таком сложном механизме, каким представляется жизнь, нет и не может быть людей *далеких;* он не понимает, что, придавая значение своим личным интересам насчет интересов других, он не приобретает этим никакой положительной выгоды для себя, а только устраивает для себя и для своих присных непрерывную и утомительную борьбу, в которой, конечно, когда-нибудь да погибнет. Тем не менее человек этот, вследствие уродливого своего взгляда на жизнь, действительно поставлен в необходимость приносить сколь возможно большую сумму вреда другим, а потому его совершенно справедливо называют *скотиною,* ибо это служит стигматом его недальновидности. Но дрянью его назвать никак нельзя, потому что, при совершенной определенности его убеждений и занятий, подобное название может только спутать.

Точно то же самое следует сказать и относительно дурака. У него тоже есть свое миросозерцание, сущность которого заключается в том, что вселенная представляется ему собранием разнокалиберных предметов, существующих без всякой между собой связи. Предметами этими мыслительная его сила поражается отрывочно, а потому он всякую минуту подавляется разнообразием впечатлений, и ни одного из них не удерживает прочно. Для него всякая штука представляет, так сказать, новизну, и с этой стороны он, конечно, может назваться счастливцем, ибо никогда не чувствует ни ипохондрии, ни утомления. Но, с другой стороны, глупость может иметь и неприятные последствия, из которых самое горшее заключается в невозможности пользоваться указаниями опыта и в этом смысле постоянно находиться в положении новорожденного. Таким образом, даже в совершенно безопасном месте люди эти не имеют права считать себя вполне безопасными, ибо могут принять воду за сушь и наоборот. Пользу, конечно, они приносить не в состоянии (напротив того, сами требуют пристального за собой ухода), но тем не менее и у них имеются свои обязанности, прямо вытекающие из их миросозерцания. Обязанности эти заключаются в том, чтобы всему безразлично удивляться, все прославлять и относительно всего ощущать панический страх. Обязанности, как видится, не головоломные, но и они имеют в жизни свое место и свое значение, в особенности же когда с этим вместе сопрягается вдохновение. Поэтому-то такого сорта людей «хорошими» никто не называет, а совершенно справедливо называют *дураками* (простыми или вдохновенными, смотря по роду глупости); но и «дрянью» их именовать нельзя, опять-таки потому, что если

есть для предмета ясное и вполне удовлетворительное название, то всякая прибавка к нему может произвести только путаницу.

Все это значительно облегчает нашу задачу и помогает нам приступить к безошибочному определению слова «дрянь» в применении к человеку. И если слово это должно непременно относиться к одному из видов обширного семейства «нехороших людей», и к тому же не может быть приложено ни к так называемому «скотине», ни к «дураку», то очевидно, что имеется в природе еще особый вид «нехороших людей», которому оно должно быть совершенно к лицу. И действительно, таких людей мы встречаем.

Есть люди, совершенно подобные тому козлу, о котором сложилась древняя русская поговорка: ни шерсти, ни молока. Это какие-то унылые недоноски, одинаково не способные ни на добро, ни на зло, постоянно колеблющиеся между «да» и «нет», постоянно стремящиеся нечто выразить и никогда ничего не выражающие. Нет в них ничего яркого, выдающегося, ничего такого, за что можно было бы ухватиться и сказать: ну вот, наконец-то я тебя поймал! Самое яркое из их качеств — это непрерывная чепуха, которую они из себя источают; но тут яркость уже до того велика, что ослепляет и отшибает. Вы можете целую жизнь прожить обок с таким человеком и быть уверенным, что ни одна минута не выдаст вам секрета его мысли, его желаний и ожиданий. Его нельзя употребить ни на какое дело, не потому, что он его искоренит, а потому, что он ничего не сделает; его нельзя даже послать в лавочку за квасом, потому что он непременно зазевается и квасу не принесет. Если такие люди соберутся и начнут по душе толковать, то разговор их может довести до мысли о самоубийстве, но если они (чего боже сохрани!) к тому же пожелают еще иметь свой литературный орган и начнут посредством его производить над публикой опыты фильтрации чепухи, то такое действие может угрожать даже государственной безопасности. Государство начнет зевать, постепенно прекратит всякую производительность и предастся размышлениям о суете и бренности сего мира. Таких людей невозможно назвать злыми, потому что в действиях их ничего положительно злого не усматривается; их нельзя назвать глупцами, потому что и в действиях и в речах их примечается только бесцветность, безвкусица и белиберда, а не глупость. Подобно дрянным ублюдкам, на первый взгляд обманывающим неопытного ценителя то красотою хвоста, то породистостью ушей, эти люди тоже обманывают его то взятою напрокат и на веру мыслью, то заимствованным выраженьицем; но, само собою разумеется, как только

этот человек повернется к вам всею своею физиономией (а это он сделает, по необходимости, в самом непродолжительном времени), то обаяние хвоста исчезнет немедленно, и слово «дрянь» само собой слетит с языка. Да, это «дрянь», это та действительная, настоящая «дрянь», которую просторечие так часто и так неосновательно смешивает с понятиями хотя и родственными, но, во всяком случае, существенно от нее отличающимися.

Точно то же следует сказать о вещах. Есть положения злые, есть положения глупые, и есть положения просто дрянные. Злые и глупые положения всегда имеют сзади себя некоторую систему, которая их объясняет и в то же время делает возможным противодействие. Напротив того, дрянные положения отличаются совершенным отсутствием системы, поэтому-то они живучее и злых и глупых положений, это те самые положения, которыми никто не доволен, но которые терпеливо выносят из опасения попасть или в глупое, или в злое положение. И тут имеется своего рода хвост и уши, которые на первый взгляд пленяют, но разумеется, что здесь обаяние имеет смысл еще более вредный. Если мы временно обольщаемся дрянным человеком, то это не налагает на нас никаких обязательств, кроме одного: отвернуться от такого человека, как только мы убедимся, что он дрянь; но когда мы обольщаемся дрянным положением, то хотя бы это обольщение было и временное, но последствия его будут гораздо ощутительнее, потому что связь с положением захватывает человека гораздо глубже и разностороннее и, следовательно, действует на него несравненно растлительнее, нежели связь с изолированною дрянною личностью.

Итак, «дрянным» следует называть такого человека или такое положение, которого свойства ясно представить себе невозможно, на которых нельзя ни в каком случае рассчитывать, в которых совестно видеть что-либо враждебное, но в то же время немыслимо находить что-нибудь и симпатичное. Затем, определив таким образом значение слова «дрянь», мы естественно приходим к вопросу: может ли быть дрянь «такая» и дрянь «не такая»?

Нет, «дрянь» всегда одинакова и всегда равна самой себе, и единственно возможный относительно ее образ действия заключается в том, чтобы показать, что тот породистый хвост, которым она иногда обладает, служит не к украшению, а к вящему ее обезображению. Даже возможность такого выражения, как: «ну, все-таки это не такая дрянь», показывает, что человек, от которого оно исходит, сам носит на себе все признаки «дряни», что он потому только и изобрел выражение

«не такая», что сердце его неудержимо тянется к «дряни» и ищет оправдать ее насчет злобы и глупости.

Есть много на свете людей, злобных, глупых и дрянных, первых следует усмирять, за вторыми иметь наблюдение, дабы они не повредили себе, с третьими не следует связываться. Но во всяком случае, не различать их нельзя...

Давно ли я заявлял опасения (и даже, к стыду моему, совсем не серьезно), что в скором времени нельзя будет купить фунта балыка, чтобы вслед за тем не последовало обвинения в сепаратизме в пользу Земли Войска Донского, как уже «Московские ведомости» поспешили оправдать мои опасения. В 89-м № этой газеты появилась статья «Донской сепаратизм», в которой, со слов некоего г. Краснова, изображаются злокозненные стремления к обособлению Земли Войска Донского от империи...

Конечно, г. Краснов, первоначально напечатавший свою невинную статью в «С.-Петербургских ведомостях», говорит в ней совсем не о сепаратизме, а об устарелости и бесполезности некоторых исключительных привилегий, которыми пользуется Земля Войска Донского, и только по неловкости, свойственной всем вообще литераторам-обывателям, объясняет эту привязанность донца к привилегиям каким-то «местным патриотизмом». Но г. Краснов человек простой и потому и смотрит на дело просто, то есть, описавшись словом «патриотизм», все-таки продолжает говорить о привилегиях; «Московские же ведомости» на все дела сего мира имеют взгляд сугубый, а потому и в упражненьице г. Краснова усмотрели нечто сугубое. А так как достоверно известно, что прозорливость «Московских ведомостей» почерпается из чистых источников, то «Донской сепаратизм», пройдя сквозь горнило ее, уже приобретает силу факта, которому нельзя не верить под опасением лишения некоторых литературных прав.

Донцы-молодцы! куда же вы стремитесь? И где тот Кулиш, который будет сочинять для вас буквари? где тот Костомаров, который будет издавать их? И на каком языке будут сочиняться эти буквари? Кому известен язык Земли Войска Донского? Есть ли в нем слова «хиба», «вже» и проч., совершенно необходимые для образования сильного и самостоятельного языка? Обладает ли донская литература песенкой подобной той, которую некогда сочинил И. С. Тургенев для малороссиян:

Грае, грае, воропае!
Гоп! Гоп!

Все это покрыто мраком неизвестности. Известно только, что в 1814 году донцы-молодцы были в Париже и, быть может, действительно позаимствовались там несколькими выражениями, вроде записанных тем же г. Тургеневым: «пардон, севуплей!» и «нет тебе севуплею!». Следовательно, вопрос заключается в том, могут ли эти немногие выражения послужить основанием для сепаратизма, и возможно ли с помощью их одних сочинять буквари? «Московские ведомости» опасаются, что да, и я не смею не верить этой вдохновенной газете, ибо опять-таки знаю, что она черпает свое вдохновение из чистых источников.

Страшно... Что-то будет! что-то будет! спрашиваю я себя: все-то мы врознь! все-то мы разлезаемся! Судя по корреспонденциям «Волынца», помещаемым в тех же «Московских ведомостях», следует заключить, что «сепаратизм» до того овладел г. Костомаровым, что он собственную свою квартиру принимает за особое государство и там собственно для себя и на собственном своем языке сочиняет собственные свои буквари. И если примеру его последует г. Кулиш, то неизвестно даже, что может произойти! Самое малое, что может из этого выйти,— это то, что гг. Костомаров и Кулиш не поймут друг друга.

Но, по моему мнению, «Московские ведомости» все-таки недостаточно еще прозорливы; я прозорливее их, ибо усматриваю в русской жизни гораздо более «сепаратизмов». Назову некоторые из них.

Мещане имеют право производить известные промыслы и торговать в розницу шнурочками, на что крестьяне прав не имеют,— сепаратизм.

Купцы первой гильдии имеют право посылать за море свои собственные корабли (чем они, впрочем, пользуются с похвальною умеренностью), на что купцы второй гильдии и мещане прав не имеют,— сепаратизм.

Чиновники имеют право состоять на службе, на что огромное большинство населения Российской империи прав не имеет,— сепаратизм.

«Московские ведомости» имеют право прозревать, прорицать, догадываться и недоумевать, на что другие, менее прозорливые органы русского слова прав не имеют,— сепаратизм.

«Московские ведомости» собираются воспользоваться факультативной цензурой, тогда как прочие русские журналы и газеты правом этим ни под каким видом воспользоваться не могут,— сепаратизм.

«Московские ведомости» ставят «День» «под защиту Рос-

сийской империи», а себя из-под этой защиты тщательно выгораживают,— сепаратизм.

«Московские ведомости» постоянно доказывают, что в Петербурге царствует «растленная атмосфера» и что только в Москве, и именно на Страстном бульваре, можно воистину насладиться «благорастворением воздухов». Ясно, что этим они стремятся отделить от Петербурга Москву вообще, и Страстной бульвар в особенности,— сепаратизм! Сепаратизм даже горший донского и костомаровского.

Если все эти сепаратизмы заговорят своим собственным языком и начнут сочинять свои собственные буквари — что может из этого выйти?

«Позволительно думать», что из этого не выйдет ничего.

А я пересчитал еще только миллионную часть российских «сепаратизмов»! Сколько есть таких людей, которые охотно стали бы употреблять в пищу говядину, но, вследствие стремлений к сепаратизму, питаются одним толокном? сколько есть таких литераторов, которые, подобно г. Феоктистову (см. письмо г. Касьянова в 16 № «Дня»), желали бы участвовать на первом рауте, бывшем прошлой зимой у какого-то «князя, истинного мецената», и между тем, вследствие стремлений к сепаратизму, на этом рауте не участвовали?

Впрочем, относительно г. Феоктистова я еще колеблюсь, кто тут сепаратист: он ли, бывший на «первом рауте у князя, истинного мецената», или прочие русские литераторы, на этом рауте не бывшие. По крайней мере, до сих пор (кроме славянофилов) я знал только одного литератора, которому рауты были не недоступны,— это именно фельетониста «Московских ведомостей» г. Пановского, который и разумелся за самого злого сепаратиста. Теперь к этой единице еще прибавляется цифра — боюсь, как бы из этого чего-нибудь не вышло!

Истинно сожалею, что г. Касьянов слишком мало распространился в своем письме об этом знаменитом обстоятельстве. Он позаимствовал сведения о нем из газеты «Весть», в которой, по всей вероятности, происшествие это рассмаковано во всей подробности, но о существовании которой, к прискорбию, никто в Петербурге не знает, а потому и справки навести негде. Господин же Касьянов рассказал это дело кратко: просто, был г. Феоктистов на рауте — и все тут.

Разумеется, меня это не удовлетворяет. Я желал бы знать, в чем был одет г. Феоктистов, какие были у него воротнички, на каком диалекте он объяснялся, как держал в руках шляпу и в какой мере походил на г. Пановского (это последнее све-

дение необходимо для определения силы «сепаратизма»). Одним словом, я хотел бы иметь портрет г. Феоктистова не в виде публициста, редактирующего «Русский инвалид», а в виде любезного человека, произносящего комплимент.

Тем не менее даже и это краткое известие весьма меня обрадовало, потому что в нем заключается зерно сближения между русской публицистикой и так называемым обществом. Это, конечно, все-таки сепаратизм, но уже сепаратизм полезный, имеющий в виду благотворную объединительную централизацию. Сначала оно, разумеется, как будто совестно; все кажется, что вокруг тебя говорят: вот человек! посмотрите, он в выростковых сапогах, он в замасленных перчатках, он в фуражке, он сморкается в фуляровый платок — и между тем это публицист, в руках которого участь миллионов людей ему подобных! но когда поосмотришься и попривыкнешь, то дело очень скоро войдет в свою обычную колею. Во-первых, тотчас же все убедятся, что на публицисте сапоги не выростковые, а лаковые, что в руках у него не фуражка, а шляпа, которою он очень ловко пользуется для изъяснения своих чувств, и т. д.; во-вторых, окажется, что ничьих судеб он в руках своих никогда не держал и не держит и что сам он просто чудеснейший малый — и больше ничего.

Да, надо, надо знакомить общество с русскими публицистами, и если бы я был человеком денежным, то каждый день приглашал бы к себе публицистов кушать: вы, дескать, меня будете просвещать, а от меня станете заимствоваться благовоспитанными манерами! И пошло бы у нас это дело колесом.

Во всяком случае, я решительно не постигаю, что может в этом обстоятельстве возмущать добродетельного, но непрозорливого г. Касьянова? Повторяю: я очень хорошо понимаю, тут есть сепаратизм, но если представить себе, что примеру г. Феоктистова последует сперва г. Краевский, а потом, быть может, и сам г. Касьянов (если же он славянофил, то я уверен, что он еще прежде г. Феоктистова посещал рауты и что у г. Пановского можно даже найти подробные об этом сведения), то мало-помалу литература до того объединится с обществом, что скоро мудрено будет даже отличить литератора от прохвоста...

Итак, это знак добрый, и хвала г. Феоктистову, положившему начало сближению русской публицистики с русским обществом. И я уверен, что он поступил в этом случае целесообразно и осмотрительно, то есть был одет как следует и был достаточно мил, чтобы обворожить всех дам своим истинно публицистским обхождением...

Самозванство всегда было одною из самых характерных черт собственно русской национальности. Если припомнить всех лже-Дмитриев и лже-Петров, которые некогда свирепствовали на Руси, и всю кутерьму, которую они наделали, то можно дойти даже до восторженности: вот до какой степени русский человек способен. Но так как гг. Семевский, Есипов и другие собиратели русских исторических анекдотов свидетельствуют, что эта способность все-таки пагубная и никогда своих обладателей к добру не вела, то из этого следует заключить, что пора нам одуматься и решиться называться каждому своим собственным именем.

Тем не менее способность эта осталась за нами и по настоящее время, и в особенности прижилась в русской литературе. Стоит появиться г. Костомарову (Н. И.), известному историку, обвиняемому «Московскими ведомостями» в сочинении своих собственных букварей, как рядом с ним возникает лже-Костомаров (Всеволод), известный своими трудами не столько по части истории, сколько по части политической токсикологии. Одним словом, ни один писатель не может безнаказанно выступить на литературное поприще, чтобы не подвергнуться опасности встретить себе созию.

Есть настоящий Крестовский (к сожалению, псевдоним) и есть псевдо-Крестовский (Всеволод, к сожалению, не псевдоним); есть Григорьев настоящий (П. П., актер и автор «Героев преферанса») и есть псевдо-Григорьев (А. А., автор различных «веяний»); был настоящий Катков, переведший «Юлию и Ромео», и есть псевдо-Катков, издающий теперь «Московские ведомости»; был настоящий Георгиевский (П. П., сочинитель «Краткого руководства к изучению российской словесности»), и есть псевдо-Георгиевский, который не знает, где у него начало, в Каткове или Леонтьеве, и где у него конец, в Феоктистове или Романовском; был настоящий Краевский, автор «Бориса Годунова» и «Письма из-за границы», и есть псевдо-Краевский, который ничего не пишет, а только внушает г. Альбертини; есть настоящий Достоевский (Ф. М., автор «Мертвого дома» и «Бедных людей»), и есть псевдо-Достоевский (М. М., автор «Старшей и Меньшой» и предприниматель журнала «Эпоха»); есть настоящий Зайцев, который ничего не пишет, есть псевдо-Зайцев, который, вместе с Кузьмой Прутковым, собирается написать драму под названием: «Мальчик, у которого фосфор не в голове, а на голове»...

Нужен ли закон против этих злоупотреблений? Это такой темный вопрос, которого я, не будучи ни Страховым, ни Косицей, разрешить не в состоянии.

Точно так же, как между гг. Страховым и Косицей я никак не могу различить: кто из них лже-Страхов и кто лже-Косица... Грустно.

———

Еще одно слово. Весь петербургский чиновничий мир взволновался: экзекуторы в страхе, провинциальные секретари и сенатские регистраторы мятутся, как домашние животные перед землетрясением. «Исправится ли девица Инна Горобец, поймет ли она, где ее истинные доброжелатели?» — вот вопрос, который, словно пожаром, охватил головы этих невинных людей. В ожидании разрешения его дела остаются в запустении и в бумагах допускаются бесчисленные орфографические ошибки. Пользуясь этим смятением, молодые и вольнодумные чиновники даже вовсе перестали ходить на службу и с утра до вечера сибаритствуют себе в музыкальном кафе-ресторане купца Наумова.

С другой стороны, петербургские прогрессисты тоже взволнованы, но уже с некоторым оттенком уныния. До сих пор они носились с Инною, как некогда носились с Базаровым; они искренно увлекались ею и говорили: ну да, вот это наши люди, ибо на них почивает наша печать! Даже философ Кроличков — уже на что, кажется, человеконенавистник! — и тот, сказывают, одобрил сцену, когда Инна, лишенная одежды и сидя по горло в воде, знакомится с графом Бронским. «Право, хоть бы и мне так поступить!» — воскликнул он, забыв, что у него совсем не те атуры, которые могут сообщать подобному положению надлежащий интерес. И вдруг все эти прогрессисты теперь увидели, что Инна всегда только на волосок стояла от того, чтобы пасть в русановские объятия! Какое разочарование! Только что было приискали Базарову подругу жизни, и вдруг эта подруга изменяет ему — и для кого изменяет? для тихо курлыкающего каплуна Русанова!

Итак, весь Петербург взволнован — взволнован чем? — будущими судьбами девицы Инны Горобец! Разве это не любопытно?..

———

Давно уже «День» не занимал моих досугов. Все это время он как-то либеральничал; то объяснял, что Россия не в Москве, а в России, то уверял, что ничего из этого не будет, потому что слуг настоящих нет, то убеждал всех соединиться и стать кругом. Все это было, конечно, очень резонно, но как-то до того уже распущенно, до того утопало в море тропов и фигур, что только, бывало, рукой махнешь и за дальнейшими разъяснениями обращаешься уже к «Московским ведомостям». И действительно, только там можно получить истин-

ное понятие о том, что в «Дне» представляется в виде отрывочном, беспорядочном и, так сказать, эмбрионическом; только там является настоящая популяризация тех пожеланий, которыми «День» хочет наэлектризовать свою публику, но которых он сам еще хорошо не сознает. И хотя оба эти почтенные органа очень часто между собою препираются, но распрю эту я отношу исключительно к недоразумению и нахожу, что вина в этом случае всею своею тяжестью падает на редакцию «Дня», которая, по какому-то непонятному капризу, никак не хочет признать солидарность, существующую между ею и старейшею московскою газетой.

Но в 16-м № этого почтенного журнала произошло нечто такое, что своею предусмотрительностью и преднамеренностью разом превзошло все «действительные меры», когда-либо предполагавшиеся «Московскими ведомостями». На страницах этого № вновь появился г. Касьянов (тот самый г. Касьянов, который в прошлом году беспокоил публику своими «письмами из-за границы» и который ныне витает уже в пределах обширного нашего отечества и чуть ли даже не на лоне самой Спиридоновки) и от нечего делать повел речь о нигилистах. Я умолчу о том факте, который заставил взяться г. Касьянова за перо, да он и не нужен здесь, потому что нигилисты сами по себе представляют уже факт достаточный и, по мнению всех московских публицистов, требующий мероприятий. В этом одинаково согласны и «Московские ведомости», и сам «День»; разница между ними заключается только в характере этих мероприятий и большей или меньшей их действительности. «Московские ведомости» желают действовать посредством устрашения и усекновения, «День» — посредством убеждения; «Московские ведомости» стоят на стороне таких мероприятий, которые действуют со всею скоростью и строгостью («отзвонил, да и с колокольни долой»), «День» — на стороне таких, которые действуют хотя медленно, но прочно; «Московские ведомости» утверждают, что нигилисты суть не что иное, как «жулики», что это растленные плоды «растленной петербургской атмосферы»; «День», напротив того, допускает, что это заблудшие овцы одного и того же стада, и не отчаивается сделать из них со временем полезных членов общества.

Основываясь на всех этих соображениях, г. Касьянов предлагает в своем письме особого рода педагогический прием. Припомнив себе стихи знаменитого поэта-славянофила:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых,
Не налагай на правду божью
Гнилую тяжесть лат земных.

Доспех Саула — ей окова.
Ей царский тягостен шелом,
Ее оружье — божье слово,
А божье слово — божий гром! —

он находит, что в этих стихах находятся самые удовлетворительные указания насчет характера предстоящих мероприятий, и обращается ко всем знаемым и незнаемым с просьбою действовать против нигилистов именно посредством этого не им изобретенного оружия.

На первый взгляд намерения г. Касьянова поражают своею учтивостью, и нигилисты (которые понеопытнее) готовы будут признать в нем отца родного, подобно тому как признали такового же в г. Тургеневе, изобразившем для них Базарова. Но я, с своей стороны, нахожу педагогический прием г. Касьянова не только не благодетельным, но даже сугубо принудительным и истязательным. Для того чтобы убедиться в этом, следует только пристальнее вникнуть в сущность предлагаемой им меры.

Никакие «действительные меры» не палят так нестерпимо, как паление словесное; ничто так не ожесточает человека, как паление словесное; ничто не ожесточает человека так сильно, как неумеренное казнение посредством восторженной ерунды, вроде сейчас выписанных стихов. Настоятельнейшее и притом совершенно законное право всякого истязуемого лица заключается в том, чтобы, по крайней мере, понимать цель прилагаемых к нему истязаний. Система усекновения, проповедуемая «Московскими ведомостями», по крайней мере, понятна; скажу более: своею очевидною резкостью она может даже приносить утешение. При виде этого постоянно и преувеличенно разверстого зева «Московских ведомостей», до того уже разверстого, что и сомкнуть его нет средств, голову может посетить мысль даже освежающая: «Пускай, дескать, человек потормошится, а мы посмотрим!» Никаких такого рода шансов не представляет система, предлагаемая г. Касьяновым, ибо она стремится вписать не тело, но самую бессмертную человеческую душу.

Представьте себе такую картину: сидит благонамеренный педагог и декламирует:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых...—

— Понимаешь, дружок? — ласково спрашивает он у своего ученика.

— Не-нет... не понимаю! — отвечает ученик, которого ласковость педагога вовсе не ободряет, а, напротив, заставляет заподозривать нечто сугубое.

— А? не понимаешь, мой друг?! ну, повторим сначала!

И ты, ког-да на бит-ву с ло-жью
Вос-ста-нет Пра-вда дум свя-тых...

— Понимаешь, дружок?

И так до бесконечности. Что может предпринять ученик против этого стиховного наказания? Куда уйдет он от своего ласкового и благонамеренного учителя? Что будет, если он, наконец, не догадается и не скажет: «понимаю»? Что будет, если сам педагог наконец не выйдет из терпения и не закричит не своим голосом: «А ну-те, подайте-ка нам сюда розог»? Поистине я недоумеваю, какой может быть выход из этого трагического положения! ведь это все равно что объять необъятное, что изрекать неизреченная, что стараться уловить свой собственный кукиш.

Но даже если ученик и догадается сказать «понимаю», то и тут он обязан употребить известную сноровку, то есть уметь сказать это весело, твердо, без колебаний в голосе. Ибо педагоги такого рода, как г. Касьянов, очень прозорливы: сейчас усмотрят малейшее дрожание в голосе, и тогда опять пошла писать:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых...

Но даже и тогда, когда педагог достаточно раздражителен, чтобы выйти из себя при виде отчаянной непонятливости ученика, он обязывается высказать эту раздражительность как можно поспешнее, потому что при малейшем с его стороны замедлении ученик может дойти до окончательного озлобления и сделать над собой что ни на есть очень скверное. Ибо, повторяю: ничто так упорно не отстаивает свои права на неприкосновенность и невсписываемость, как бессмертная человеческая душа.

Мы, русские, в особенности не терпим душевных испытаний. Мудрая Екатерина понимала это и наказывала своих придворных тем, что заставляла, по мере вины, выучивать по нескольку стихов из Телемахиды. Г-н Касьянов хочет применить эту методу в размерах уже несравненно более обширных, но ведь надобно, чтоб он предварительно объявил вину, за которую россияне должны понести столь тяжкое наказание.

С своей стороны, я свое дело сделал: я предупредил господ нигилистов, чтобы они не слишком-то радовались, что г. Касьянов намеревается действовать с ними посредством убеждения, и не торопились бы подносить ему титул «родного отца», которым они почтили г. Тургенева.

———

Передо мною две книги «Эпохи», и хотя я один в комнате, но очень явственно слышу, что вокруг меня раздаются какие-то рыдания. И чем дальше я углубляюсь в журнал, тем слышнее и явственнее становятся эти рыдания, точно сто Громек разом ворвалось в мое скромное убежище, точно несметное полчище сокращенных мировых посредников невидимо присутствует при моих занятиях.

Но нет, это рыдают не Громеки, это рыдает «Эпоха» устами всех своих редакторов и сотрудников. Рыдает Косица, рыдает Аполлон Григорьев, рыдает Федор Достоевский, рыдает Горский, рыдает Страхов. Один главный редактор, г. Михаил Достоевский, молчит, но это и понятно: он вдоволь нарыдался в объявлении, и затем, рыдания его уже должны подразумеваться во все дни существования «Эпохи». «Не роди ты меня, мать сыра-земля»,— умиленно-унылыми голосами вопиют все эти бескорыстные труженики и в то же время присматривают, как бы им так приноровиться, чтобы всех прельстить смиренством да «тихим, кротким поведением».

Из всех этих рыданий я понял только рыдания г. Аполлона Григорьева. Он рыдает о том, что дошел до той степени умопомрачения, что не может отличить Ничкину от Белотеловой (известные лица из комедий Островского). Положение действительно трудное; но нового, собственно, оно представляет мало. По крайней мере, я имею в актере Славине живой пример того, что можно не только не различать Ничкину от Белотеловой, но, вместо: «наливай мне чару зелена вина», выговаривать: «наливай мне чару велена зина». И никто на г. Славина не жалуется, никто на него не ропщет, потому что никто от произвольной его перестановки слогов ничего не теряет. Кто слушает г. Славина, когда он ораторствует на сцене Александринского театра? Кто читает г. Григорьева, когда он ораторствует во «Времени», в «Якоре» или в «Эпохе»? Никто, ибо всякий себе говорит: «Ну, это то самое... знаю!» — и начинает в это время разговаривать с своим соседом. Следовательно, никто тут ничего не теряет, никто даже ничего и не подозревает. Пропускают целые сцены, оставляются нечитанными целые печатные листы, не потому совсем, чтобы зритель или читатель ожидали встретить там что-нибудь неприятное, а, так сказать, инстинктивно, на том только основании, что ничего этого ни слушать, ни читать совсем не следует. Стало быть, стоит ли тут беспокоиться, извиняться, оправдываться, а тем более рыдать?

Но о чем рыдают прочие редакторы и сотрудники «Эпохи»,— этого я решительно понять не в состоянии. Вижу, что они изо всех сил друг друга поощряют, чувствую целый ряд

усилий и потуг, слышу хор голосов, вопиющих: «бодрей! смелей!» — и все-таки остаюсь в совершенном недоумении. Что хотят совершить эти ужасные люди? намереваются ли они превзойти «Русский вестник» или же, подобно Купидоше (см. комедию Островского «В чужом пиру похмелье»), замышляют только «удивить мир коварством»?..

В заключение считаю не лишним представить на суд читателей драматическое произведение одного начинающего писателя, очевидно имеющее иносказательный смысл. Страшусь сказать, но думаю, что молодой драматург в своем произведении имел в виду едва ли не «Эпоху», журнал, в который, по-видимому, перешли все орнитологические тенденции «Времени». Вот этот драматический опыт.

СТРИЖИ

Драматическая быль

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Стриж первый, редактор журнала.
Стриж вторый, философ.
Стриж третий, эстетик.
Стриж четвертый, беллетрист унылый.
Стриж пятый, беллетрист веселый (находится в отсутствии).
Стриж шестый } стихотворцы.
Стриж седьмый }
Нетопырь первый, служащий при редакции.
Нетопырь вторый, сторож.
Несколько крыс.

Театр представляет запустелый, сырой погреб, на дверях которого красуется вывеска: «Главная редакция журнала «Возобновленный Сатурн»; по стенам полки; на одной из них несколько упраздненных кадушек, на которых сидят стрижи. По полу бегают голодные, тощие крысы.

Стриж первый. Прежде всего, господа, нам необходимо оглянуться на наше прошедшее. За что они нас обидели?

Все стрижи *(вместе)*. За что они нас обидели?

Стриж первый. Целых восемь месяцев эта идея ни на минуту не покидала меня: за что они нас обидели? В течение двух лет с лишком все обличало в нас стрижей! мы собирались, толковали, проводили время, ловили мух... Казалось бы, каких еще гарантий надо! И вот, в одну ужасную минуту, Стрижу второму пришла несчастная мысль слетать в злополучный некоторый край...

Стрижи *(вместе, кроме второго)*. «Вдруг вздумал странствовать один из них, лететь»...

Стриж первый. В это время некто Петерсон, имея достаточно свободных минут... Но за что они нас обидели?

Стриж вторый (*оправдывается*). Я единственный стриж из бесчисленного множества стрижей, который занимался философией; и потому, будучи учеником и последователем Гегеля, я полагал...

Голос сверху. Впредь не полагай! (*Стрижи в ужасе.*)

Стриж вторый (*бессознательно продолжает свою речь*). Я полагал...

Стриж первый. Довольно. (*С горечью.*) Очевидно, здесь даже оправдания не допускаются (*голос сверху:* «А ты думал как?»), а потому забудем прошлое (*в сторону:* «За что они нас обидели?») и займемся исключительно настоящим. Прежде всего, я полагаю, нам следует условиться насчет программы. Стриж седьмый! так как вы в настоящее время линяете, то выдерните из себя перо и передайте его Нетопырю первому. Итак, господа, что скажем мы в нашей программе? Откровенно говоря, мне хотелось бы предоставить это дело на волю наборщиков типографии! (*Стрижи испускают слабый писк.*) Вас это удивляет? Но я очень хорошо помню, как в годину основания «Отечественных записок» некто Андрей Премудрый говорил мне: «Друг мой! Хотя ты и стриж, но когда будешь издавать свой журнал, то помни...»

Раздается тихая музыка; с улицы доносится голос г. Альбертини, поющего на мотив: «Jadis regna en Normandie»: [1]

В одном пространном государстве
Жил некогда мудрец Андрей;
Воспитан не в шелку, не в барстве,
Просил он несколько рублей,
Не по третям, а поскорей!

Голос в отдалении умирает; стрижи впадают в забытье; первый приходит в себя Стриж вторый и робко осматривается, не видать ли где Петерсона.

Стриж вторый. Несмотря на многознаменательное совпадение этой песни с словами моего почтенного друга и сострижа (я говорю не о внутренней сущности той и других, но о том, что в обоих случаях упомянуто знаменитое имя Андрея Премудрого), я полагаю, что совершенно положиться в этом случае на прозорливость наборщиков все-таки нельзя. Во-первых, наборщики, в видах сокращения труда, могут позволить себе брать буквы не по порядку, а горстями; во-вторых, они могут, назло нам, напечатать в программе, что журнал

---

[1] «Когда-то в Нормандии правил».

наш издается «для веселого чтения», и тогда кто может поручиться за последствия такого поступка!

Стриж третий. Да, тут может вновь произойти неприятное веянье!

Стриж вторый. И мы тем успешнее можем избежать всего этого, что имеем живой пример в глазах: журнал «Эпоху», издающийся с начала настоящего 1864 года. Подобно ей, мы можем сказать, что направление нашего журнала достаточно определяется уже тем, что его издают стрижи...

Стриж четвертый. И что недалеко то время, когда достаточно будет сказать слово «стрижи», чтобы всякий понял, что оно означает именно стрижей, а не орлов!

Стриж первый. Прекрасно. Я сам всегда утверждал, что мы стрижи — и ничего более. *(В сторону.)* За что они нас обидели? *(Вслух.)* И если бы Петерсон знал...

Голос сверху. Он знает! *(Стрижи в ужасе.)*

Стриж первый. Итак, программа написана. Теперь остается поговорить собственно о статьях. Стриж седьмый! готово ли у вас приветствие к публике?

Стриж седьмый *(скромно)*. Я назвал свое приветствие: «Снова здорово». Песня эта должна изобразить радость молодого стрижа по случаю весеннего прилета птиц на старые гнезда. *(Декламирует.)*

В темный день!
В светлу ночь!
Собиралися стрижи!
Собирались молодцы!
Уж как стрижики сидят-стоят!
Уж как молодцы молчат-говорят!
Чик-чибирики!
Чик-чибирики!
Веселые-мрачные стрижики! [1]

Стриж первый. Достаточно. Я полагаю, господа, что это стихотворение еще больше выяснит направление нашего журнала. Ибо что, в сущности, хотим мы сказать, спрашиваю я вас?

Все *(отвечают хором)*.

Чик-чибирики!
Чик-чибирики!

Стриж первый. Именно. Следовательно, все, что я могу заметить молодому нашему поэту и сострижу, заключается в том, что он без нужды заканчивает каждый свой стих знаком восклицания!

---

[1] Хотя это стихотворение есть не что иное, как дурно скрытое подражание г. Ф. Бергу, однако для стрижа оно удовлетворительно. *Прим. авт.*

С т р и ж т р е т и й *(обращаясь к Стрижу седьмому).* Отдавая справедливость вашему «чик-чибирики!», я, в качестве критика орнитологических искусств, не могу не заметить, что мне гораздо более нравится ваш романс, начинающийся стихами:

На днях летая Над Фонтанкой?
Я жажду. Утолить желал...

Правда, что знаки препинания расставлены здесь совсем уж несообразно, но от этих стихов, если позволено так выразиться, разит «Ершами» Всеволода Крестовского, тогда как от вашего «чик-чибирики!» разит собственно вами.

С т р и ж п е р в ы й. Вообще, Стриж седьмый, вам вменяется на будущее время в обязанность писать стихи без знаков препинания, которые расставит за вас корректор. Итак, одно стихотворение готово. *(Стриж седьмый в восторге чистит носиком перышки в хвосте.)* Ну-с, теперь вы-с! Господин Стриж шестый!

С т р и ж ш е с т ы й *(развязно).* Стихотворение, которое я сейчас прочту, должно изобразить печаль стрижа средних лет при виде житейских треволнений. *(Читает.)*

Давно не катался я в лодке по Мойке...
Страшился... но вдруг пожелал!
И сладко забывшись, в той лодке, как в койке,
На дне ее смирно лежал!
Взяв щепочку в лапки, я мнил, что сражаюсь,
Что сто океанов шумит подо мной!
Что я даже в лодке готовым являюсь
Сразиться с гнетущей судьбой!
Но ах! неуклюжая барка с навозом
Задела мой бедный челнок —
Чуть-чуть не погиб я! как будто морозом
Безвинно побитый цветок!
Собравши остатки, я челн свой исправил,
Замазал, заклеил, как мог!
И к Средней Мещанской я бег свой направил:
Там сказочный некий чертог
У Банкова моста, в огнях весь сияет...[1]

С т р и ж п е р в ы й. Довольно, благодарю вас. *(В сторону.)* За что они нас обидели? *(Вслух.)* Одно только смущает меня: «собравши остатки»... какие остатки? чего остатки? Что разумел Стриж шестый, выражаясь таким образом?

---

[1] И это стихотворение есть явное подражание стихотворению г. Гербеля: «Давно не видал я небесной лазури», напечатанному в 1—2 № «Эпохи» на сей 1864 год. *Прим. авт.*

Стриж шестый *(запинаясь).* Я... я разумел... я просто думал...

Стриж вторый. Быть может, вы разумели какие-нибудь органические остатки?

Стриж третий. Быть может, вы разумели остатки прежнего нашего направления? *(В сторону.)* За что они нас обидели?

Стриж первый. Вот этого-то я и боюсь всего более. Признаюсь, я даже сомневаюсь, возможно ли при нынешних обстоятельствах печатать такое стихотворение, которое может дать повод к различным толкованиям... Конечно, если б меня удостоверил Петерсон, что можно...

Голос сверху. Можно! *(Общая радость.)*

Стриж первый. Прекрасно. Следовательно, нам остается засим перепечатать из «Эпохи» стихотворение Майкова, и мы будем вполне обеспечены. Теперь поговорим насчет беллетристики. Я полагаю, господа, что нам прежде всего следует перепечатать из той же «Эпохи» новое произведение И. С. Тургенева.

Стриж третий. Я полагаю даже, что не худо будет перепечатывать его в каждой книжке нашего журнала.

Стриж первый. Это так; это нас обеспечит. После того я полагаю поместить процесс под названием «Нечаянное убийство некоторого стрижа во время сражения при Сольферино» и еще интереснейший рассказ под названием «Старые и новые стрижи», присланный мне из провинции. Затем я с горестью должен сказать, что хотя друг наш, Стриж пятый, прислал нам целых десять романов, но они оказались подмоченными. Нетопырь первый! прочтите письмо нашего русского Купера!

Нетопырь первый *(читает).* «Был в Полтаве и облетел всю; написал роман и полетел в Харьков; в Харькове Кулиш устроил для меня танцевальный вечер; были дамочки... Тут только вспомнил: как жаль, что я не успел побывать в Полтаве...»

Стриж первый *(в сторону).* Ну, за что, за что они нас обидели?!

Стриж вторый. Позвольте, однако; ведь он за две строки перед сим писал, что облетел всю Полтаву, а теперь жалеет, что не успел быть в ней?

Стриж первый. Ах, Стриж вторый! неужели же вы не знаете, что у него такая привычка!

Стриж третий. А я так нахожу даже, что это привычка совсем непредосудительная, потому что искусство без некоторой чертовщины не может и существовать!

Стриж первый. Во всяком случае, наше положение очень неприятно, потому что во всех десяти романах можно было явственно разобрать только следующее: «На высокой скале, обмываемой бурными водами тихой Лопани, гордо высится огромный белый замок, со всех сторон окруженный рвом. В этом замке живет старый маркиз де-Шассе-Круазе с дочерью своей, прекрасною Оксаной»... затем можно было с величайшими усилиями угадать еще следующее: «ро... ро... ро... путник в штиблетах... однажды мы с Гербелем, Григоровичем и Федором Бергом обедали у Тургенева»... и больше ничего!

Стриж третий. Это жаль; но нас выручит, конечно, Стриж четвертый, которого произведения читаются с жадностью не только стрижами, но и всем вообще пернатым миром!

Стриж четвертый. Новое произведение, которое я написал, носит название «Записки о бессмертии души». Для стрижей это вопрос первой важности, а так как нам надобно прежде всего показать, что журнал наш есть орган стрижей, что он издается стрижами и для стрижей, то весьма естественно, что я сообразовался с этим и при выборе сюжета. Записки ведутся от имени больного и злого стрижа. Сначала он говорит о разных пустяках: о том, что он больной и злой, о том, что все на свете коловратно, что у него поясницу ломит, что никто не может определить, будет ли предстоящее лето изобильно грибами, о том, наконец, что всякий человек дрянь, и до тех пор не сделается хорошим человеком, покуда не убедится, что он дрянь, и в заключение, разумеется, переходит к настоящему предмету своих размышлений. Свои доказательства он почерпает преимущественно из Фомы Аквинского, но так как он об этом умалчивает, то читателю кажется, что эти мысли принадлежат собственно рассказчику. Затем следует обстановка рассказа. На сцене ни темно, ни светло, а какой-то серенький колорит, живых голосов не слышно, а слышно сипение, живых образов не видно, а кажется, как будто в сумраке рассекают воздух летучие мыши. Это мир не фантастический, но и не живой, а как будто кисельный. Все плачут, и не об чем-нибудь, а просто потому, что у всех очень уж поясницу ломит... *(Чихает от волнения и умолкает.)*

Стриж первый. Что скажете вы об этом, Стриж третий?

Стриж третий. Я еще не понимаю... то есть, я и понимаю, и боюсь понимать!.. Это... это, так сказать, албинизм мысли... тут что-то седое... да! С одной стороны, потрясающее furioso, с другой — сладостное cantabile! С одной стороны, де-

моны увлекают Дон-Жуана в ад; с другой стороны — за сценой раздается «По улице мостовой»... страшно! страшно!

Некоторое время стрижи молчат и не могут прийти в себя.

С т р и ж п е р в ы й *(Стрижу третьему)*. Все, что вы сейчас заметили по поводу нового произведения Стрижа четвертого, изложите, пожалуйста, в форме письма ко мне и приготовьте для второй книжки журнала. Это будет у нас отдел критический. Затем, господа, что касается собственно до текущей части журнала, то надеюсь, что мы будем руководствоваться в этом случае примерами прошлых лет. Вы будете писать ко мне письма, а я буду молчать; потом вы будете писать письма друг к другу — и таким образом год пройдет у нас незаметно! Конечно, вы уж приготовили, господа, что-нибудь в этом роде?

С т р и ж в т о р ы й. Я приготовил письмо, в котором прошу вас объяснить мне, об чем я говорю...

С т р и ж п е р в ы й. Прекрасно. Я думаю, что при нынешних обстоятельствах нужнее всего именно такие статьи, в которых преобладал бы элемент, так сказать, чревовещательный. *(Спохватившись.)* Позвольте, однако ж... ведь вы очистились?

С т р и ж в т о р ы й. Принес покаяние и получил прощение.

С т р и ж п е р в ы й. Так и надо. Это значит, вы понимаете, что если человек провинился, то необходимо, чтоб он испросил прощения. Вы, Стриж третий?

С т р и ж т р е т и й. А я написал статью о влиянии чревного недуга на состояние драматического искусства в Петербурге.

С т р и ж п е р в ы й. Отлично. Итак, господа, мы обеспечены, и я надеюсь, что отныне никто нас никогда не обидит... *(В сторону.)* И за что они нас обидели? *(Вслух.)* С одной стороны, мы убедим окончательно публику, что мы стрижи, с другой стороны...

Раздается треск. В погреб сходит М. Н. Катков, освещаемый сальным огарком. Крысы дохнут. Стрижи кричат «виноваты!» и падают в кадушку.

Запах.

(З а н а в е с о п у с к а е т с я.)

СТРИЖАМ

(Послание обер-стрижу, господину Достоевскому)

Я понимаю ваше огорчение. До сих пор вы жили довольно покойно; хотя читатель и видел, что в вас есть что-то уморительное, что вы пропагандируете отчасти розовую магию, отчасти столоверчение, но как назвать это уморительное, какое имя присвоить его усердным производителям, не знал или затруднялся. Вас называли «почвой», но это было слишком много и серьезно для вас, потому что вы не стоили и такого названия; затем назвали вас «птицами», сидящими в роще и мирно толкующими, но это было слишком неопределенно, потому что птицы бывают разные, даже умные и полезные, к коим вас, конечно, нельзя причислить. Весь мир затруднялся, какое имя дать вам; я вывел его из этого затруднения: «Это стрижи»,— сказал я, и все стало ясно. Ясно не только для читателя, но и для вас самих. Теперь ни один из вас по улице не может пройти, чтоб не услышать кругом досадного возгласа: «А это вот стриж идет». Теперь ни одному из вас нельзя посмотреться в зеркало, чтоб не сказать себе: «В этом зеркале я вижу стрижа». Сознаюсь, это положение горькое, и хоть кого, даже каменного человека, оно может подвинуть на кровную месть тому, кто поставил его в такое положение,— и вы решились отомстить.

«ЗАМЕТКА»

В последнее время петербургская журналистика, по-видимому, сильно заинтересована мною и моими отношениями к «Современнику». В «Русском слове» и в «Эпохе» появились статейки в высшей степени пошлого свойства, стремящиеся очернить мою личность, а последний журнал, сверх того, выдумал целый роман насчет моих отношений к журналу, в редакции которого я принимаю участие, роман, которого гнусность смягчается лишь его тупоумием.

Нисколько не удивляясь тому, что журнальная моя деятельность подала повод к трогательному союзу между семейством стрижей и не менее обширным семейством человекообразных, я предоставляю себе поговорить особо о всех злокозненностях, измышленных против меня в упомянутых выше журналах. Теперь же, в отвращение недоразумений, могущих возникнуть вследствие преднамеренных инсинуаций «Эпохи», считаю нужным объявить:

1) Что вся история о разладе моем с редакцией «Современника» выдумана и представляет не что иное, как продукт сплетнических способностей стрижей.

2) Что хотя ни в июньской, ни в июльской книжках «Современника» сего года действительно нет ни одной моей статьи, но это происходит совсем не от каких-либо разладов, а просто оттого, что я в настоящее время не нахожусь в Петербурге. Точно то же было и в прошлом году.

3) Что за всем тем, ни я к редакции «Современника», ни редакция ко мне не привязаны никакими крепостными узами, и ежели бы действительно обстоятельства заставили меня прекратить участие в трудах редакции этого журнала, то, само собой разумеется, об этом было бы прежде всего извещено в самом «Современнике».

4) Продолжаю ли я быть вкладчиком «Современника» или не продолжаю — об этом и публика, и упомянутые два журнала могут узнать из последующих книжек этого журнала.

ЖУРНАЛЬНЫЙ АД

Журнальный ад — самый незлобивый и приятный. В нем горят неугасимые огни, которые никогда никого не опалили; в нем бегают из угла в угол комолые и бесхвостые черти, которые никогда никого не уязвили; в нем раздается родительская брань, которая не задевает ни родителей, ни потомков; в нем являются на сцену выпрашивающие милостыни и сожаления журнальные семейства — и никто не требует от них удостоверения в убожестве; в нем дают представления целые стада «человекообразных», которые во что бы то ни стало хотят притвориться людьми и которых никто не останавливает, никто не говорит: «Погодите, ваша очередь еще не пришла». В довершение всего роль сатаны неожиданно присвоил себе известный попрошайка, Макар Алексеич Девушкин, тот самый Девушкин, который из гоголевской «Шинели» сумел-таки выкроить себе, по малой мере, сотню дырявых фуфаек.

Представьте себе Девушкина, сидящего в сатанах! Вместо пламени из глаз его лезет гной; вместо змеиной короны на голове у него колтун; вместо яда уста источают помои. «Матинька вы моя! Простите вы меня, что я так кровожаден. Матинька вы моя! Я ведь не кровожаден, а должен только показывать, что жажда убийства не чужда душе моей, матинька вы моя! Я бедный сатана, я жалкий сатана, я дрянной сатана, матинька вы моя! не осудите же, простите вы меня, матинька вы моя!» Так непрерывно вопиет этот прокаженный вельзевул, и, несмотря на свои немощи, несмотря на то что весь так и пропитан попрошайством и лизоблюдничеством, все-таки лезет в драку: я, дескать, исправляю должность сатаны.

Поистине жалкий и смешной ад. Так и хочется сказать этому слепенькому, пыжащемуся сатаненку: «О чем ты стужаешься, бедный пичуга? к чему прудишь целые пруды своими помоями? не в свое ли собственное ложе прудишь ты? зачем тебе бездыханное тело твоего врага? и кто твой враг, кто этот праздный человек, которому до того нечего делать, что даже

гной глаз твоих, даже твое умильное попрошайство — и те его смущают и представляются предметами достойными противодействия?»

Игрушечный мастер Ваканский должен непременно воспользоваться подобным положением и устроить на продажу картонный литературный ад; с своей стороны, благонамеренные родители обязываются нарасхват раскупить эти игрушки, дабы показать детям своим, что самый ад может быть дрянным, незлобивым и безобидным.

Отчего ж он жалок? отчего смешон? Ответ на этот вопрос совсем не так мудрен, как кажется с первого взгляда. Оттого, просто, что над русской журналистикой висит целая туча бездельничества.

Под «бездельничеством» я отнюдь не разумею что-либо преступное или такое, за что занимающийся этим ремеслом подлежал бы лишению прав состояний; нет, «бездельничество» означает здесь лишь полное отсутствие какой-либо живой руководящей мысли, означает занятие таким делом, до которого ровно никому дела нет. Зритель смотрит на картонные турниры, в которых принимают участие картонные рыцари, вооруженные картонными мечами,— смотрит и недоумевает. «О чем они? К чему они? Птицы-то, птицы-то зачем тут?» — вот единственный вопрос, который он может себе задать по этому поводу и на который ни под каким видом нигде не отыщется ответа.

Откуда нашла на русскую журналистику эта туча, я не берусь разрешить; но полагаю, что для уяснения себе этого вопроса не нужно лазить ни в историю, ни в розыскание современного положения общественного темперамента, ни даже в анализ наличных литературных сил. Гораздо проще, по моему мнению, будет, если мы примем это явление, как факт глухой, как знаменье особенного божьего гнева, над нами тяготеющего.

В самом деле, если посравнить русскую литературу и журналистику за пять и даже менее лет перед сим с теперешней, то невольно придешь в недоумение. Пять лет перед сим в ней было заметно если не самое дело, то, по крайней мере, стремление к делу, попытки взять это дело за ухо, положить на стол и приступить к его рассмотрению. Правда, что тут было много праздных, а еще более наивных слов, правда, что тут на арену выступило множество таких микроскопических деятелей, а на алтарь отечества посыпалось бесконечное число до такой степени вдовьих лепт, что в большинстве случаев невозможно было удержаться от смеха, но ведь первый блин всегда комом бывает, а при разборе отечественного мусора дело, ко-

нечно, не могло обойтись без некоторого микроскопического самохвальства. По крайней мере, читатель видел, что здесь идет речь о чем-то для него не безынтересном, и затем сам уже имел возможность между множеством копошащихся пигмеев выбрать того, который приходился ему по вкусу. Сверх того, не подлежит сомнению и то, что пигмеи эти (были между ними, впрочем, некоторые и побольше ростом), будучи предоставлены самим себе, при помощи взаимного побивания, со временем все-таки очистили бы литературную арену от излишнего накопления деятельных сил и таким образом сделали бы невозможным дальнейшее вторжение ненужных элементов. Но посмотрите, что делается теперь! прочтите нагло-истерически-пустопорожние статьи московских публицистов, прислушайтесь к хладно-умеренно-размазистым разглагольствованиям петербургских газет, наконец, приблизьте к вашему носу сплетнические извержения стрижей и человекообразных! Что вынесете вы из этого сумбура? — увы! вы не вынесете даже представления, о чем тут идет речь.

И опять-таки повторяю: я вовсе не желаю входить в изыскание причин, породивших такое явление, а просто констатирую факт. И ежели кто меня спросит, почему же такое многообещающее начало привело к таким истинно жалким последствиям, тому я скажу: ищи сам, будь сам настолько остроумен и любознателен, чтобы догадаться, в чем тут дело. Я же, с своей стороны, могу присовокупить, что вдаваться в разрешение подобных вопросов значит добровольно обрекать себя на ту самую работу, за которую, по свидетельству Гоголя, брался известный Кифа Мокиевич.

Что статьи московских публицистов можно читать без ущерба для них и сверху вниз, и снизу вверх — это вещь не новая и всем известная. Гораздо более достойно замечания то, что они не только не стыдятся этого, но даже высказывают публично, что подобное поведение вовсе не постыдно, что над ними ничто не тяготеет, что они душедрянствуют и умонелепствуют по собственному своему усмотрению, состоя, так сказать, в твердой памяти и здравом рассудке. Ужаснее положения этих людей я не знаю. Каждый день быть вынужденным выжимать все один и тот же выжатый лимон, каждый день выматывать из себя миллион аршин лент, миллион раз уже вымотанных миллионом других не менее искусных престидигаторов, каждый день заштопывать и починивать все одну и ту же дыру, и при этом сохранять веселое выражение в лице, улыбаться, уверять: «Это я, это я сам», грациозно покачивать головкой или, в знак искренности, вдохновенно закатывать глаза,— воля ваша, это должно быть такое страшное испыта-

ние, которого не выдержат самые огнепостоянные натуры. В действительности, оно так и выходит. Как ни сверхъестественны усилия, делаемые московской публицистикой, чтобы заявить себя убежденною и убеждающею, она успевает в этом только до некоторой степени, да и то лишь относительно наружной отчеканки своей бесконечной работы. Снаружи — елейная раздутость фразы, снаружи — истинно соловьиная способность незаметно переходить из «трели» в «оттолчку», из «оттолчки» в «юлу», внутри — прах, прах и прах. Впечатление, производимое этим истерическим красноречием, можно сравнить только с впечатлением, которое производит зеленый, совсем назревший дождевик. Издали он кажется привлекательным, как будто даже устойчивым; кажется, что это словно какое-то оригинальное растение, но подойдите к нему ближе, дотроньтесь пальцем — и увидите, что из него вылетит целая туча черного, дрянного праха. Все эти «форейторы, сломя голову скачущие вперед», эти букеты, пускаемые по части чувств, эти воззвания к невежеству, ненависти, злобе, мести и т. п.,— все это темный прах, который ни к чему не приводит, кроме ощущения очень неопределенного и вполне безотчетного. Но разве это результат? разве результаты ясные, положительные и прочные достигаются обращением к темным и бессознательным силам, временно или постоянно господствующим в обществе? Но предположим даже, что все эти букеты как раз придутся по плечу большинству, но ведь и это еще далеко не результат. Не надо забывать, что большинство забывчиво, что оно, хотя и способно приходить в восторженное состояние от хмельной фразы, но удерживает в своей памяти все-таки одно дело. А этого-то дела именно и нет, и как ни улыбаются почтенные публицисты, как ни прикидываются развязными, они не могут не сознавать, что недалеко то время, когда внутреннее их убожество раскроется само собою. Когда не будет повода для фразы, когда необходимость в тропах и фигурах исчезнет, что станется с тобою, бедная московская пресса? И вот что ужасно: вчера эти люди выжимали выжатый лимон, сегодня выжимают, но ведь и завтра, и послезавтра придется им делать все ту же операцию, и так до бесконечности все выжимать, все выжимать. И ежели идея о вечности имеет свойство пугать человеческое воображение, то еще больше пугает она его, обставленная такими поистине истязательными обстоятельствами.

Несколько иной наружный вид имеет хладно-размазистое красноречие публицистики петербургской. Это прах сдержанный, в противоположность умильно-развязному праху публицистики московской. Петербургская журналистика выжимает

все так же выжатый лимон, но не говорит при этом: «Это я, это я сама», а делает гримасу, как будто ей противно. Конечно, один бог, видящий сердца наши, может знать, до какой степени непритворна эта похвальба, но, во всяком случае, уже то одно делает не малую честь петербургской журналистике, что она обнаруживает некоторые признаки томной стыдливости. Притворно переполняться так называемою «гражданскою скорбью», конечно, не похвально, но все же лучше, нежели непритворно снять с себя все покровы благопристойности и в голом виде расхаживать по отечеству. В первом случае, по крайней мере, не имеется соблазна, тогда как во втором наглый гистрион может найти тысячи похотливых собак, которых хлебом не корми, да покажи обнаженное человеческое мясо. Однако, как ни сдержан вид петербургской публицистики, как ни старается она намекнуть, что со всех сторон обижена и угнетена, все-таки публика ничего от этого не получает и получить не может. Какое дело читателю до того, что публицист о чем-то помалчивает, что он явно выставляет себя казанским сиротою, что сквозь каждую его строчку так и сочится: «Я не виноват: поймите, что я не виноват!» — читатель нетерпеливо прислушивается ко всем этим недомолвкам и обинякам: он пропускает мимо ушей полуфразы, полуслова, он все еще надеется нечто понять, к чему-нибудь прицепиться — и в результате получает *прах!!* Да, тот же прах, потому что сущность его, будет ли это прах стыдливый или самодовольно-нахальный, все-таки такова, что из нее не выжмешь не только дела, но и намека на дело. А ежели судить строго, то в этом случае прах приобретает даже сугубый характер. Ничего нет тяжелее, неловче положения публициста стыдящегося, с скрещенными на груди лапками вымаливающего себе прощения и снисхождения: он путается во фразах, он виляет языком, он делает объезд в тысячу верст, чтоб избежать употребления неприятного для его уха слова или чтоб поместить то малое слово, которое особенно дорого его уязвленному публицистскому сердцу,— и все усилия его тщетны. Публика видит насквозь его игру, видит, что игра эта затеяна собственно в видах личной защиты, что она скрывает за собой фразу: «Поймите! ведь я совсем не так глуп и невежествен, как кажусь!» — и нимало не трогается его мольбами. Она просто-напросто говорит: «А кто же тебя знает! может быть, ты и в самом деле невежествен и глуп!» И публика права, потому что ежели она мало получает от публицистики нагло-восторженной, то еще менее может получить от публицистики сдержанно-размазистой, ибо последняя обязывается совсем, совсем-таки молчать о деле, чтобы не выйти из своего характера. Положение ужас-

ное. Публицист, который в душе, быть может, готов бы был горло всякому встречному перегрызть, должен сидеть смирно и потихоньку да полегоньку выжимать себе да выжимать давно выжатый лимон. И при этом никогда не видеть конца своей работе, не иметь возможности вымолить облегчения этому каторжному занятию.

Наконец, есть еще третий оттенок литературной деятельности — это так называемая стрижиная деятельность. Надо сказать правду, стрижи первые сделали попытку, чтобы доказать, что можно мыслить без головы, с помощью одних крыльев. Здесь найдете вы и хныканье, и злобство, и сплетни, сплетни без конца; одного не найдете — дела. Стриж забывает самого себя; сию минуту он говорил нечто, говорил изобильно, хотя и не резонно; через мгновение он все забыл, забыл не только то, об чем говорил (этого-то, собственно, и упомнить нельзя), но и то, говорил ли он или молчал. Он безразлично подбирает все негодные объедки, выбрасываемые из прочих журналов, и, не входя в разбирательство, могут ли они стоять рядом или не могут, пичкает ими свой безобразный винегрет. Причина такого безразличного пичканья заключается в совершенном отсутствии памяти и известном последствии этого отсутствия — невозможности делать сравнения, сопоставления и выводы. Стриж всему изумляется, по поводу всего раскрывает рот, ибо факты представляются ему изолированными и потому всегда новыми. Вчера он видел известное явление и изумлялся ему; сегодня он уже забыл об этом явлении и, видя его вновь, вновь изумляется. Одно только слово «почва», словно типун, засело у него на языке, и им-то старается он прикрыть свой бессмысленный винегрет. Но, с одной стороны, слово это по́шло, потому что до бесконечности растяжимо; с другой стороны, оно растяжимо, потому что до бесконечности по́шло. Надо думать, что оно и придумано, собственно, затем, чтобы можно было во всякое время юркнуть и спрятаться под сению его. Ибо самый величайший мудрец, встретившись с ним, что же может произнести, кроме: фу! а хитрый стриж между тем клюет себе да плетет свои сплетки под защитою этого своего рода непроходимого болота. Собственно, это даже и не литературная деятельность, а просто словесные упражнения, без подлежащего, сказуемого и связки, но надо было упомянуть об нем для того именно, чтоб читатель видел, до какого растленного положения может доходить, при известных условиях, печатное слово, эти геркулесовы столпы, далее которых литературный прах идти не дерзает. Это литературный прах искренний, сознающий себя таковым и вполне убежденный в своей законности.

Итак, вот отношения журнального ада к делу. Нет ни одного вопроса, в оценке которого можно было бы не заподозрить или неискренности, или уклончивости, или, наконец, глупости. Можно после этого судить, каково должно быть влияние этого ада на общество.

А между тем вопросов этих стоит на очереди множество; по крайней мере, так утверждает «День». «Какие же это вопросы?» — добивается от них любознательный читатель. «Множество»,— опять отвечает «День», а за ним и другие восторженные органы печатного слова, и с огорчением в сердце ждут, пока внешняя жизнь не выблюет им этих вопросов на растерзание. Тогда-то они покажут себя, тогда-то они явят себя истинными сынами отечества... И не покажут и не явят ничего!..

О! ежели бы они знали, что лучше возбуждать один самомалейший, но определенный вопрос, нежели разглагольствовать о «множестве», разгуливающем инкогнито! если б они знали, что выгоднее совсем умолчать о «множестве», нежели систематически раздувать этим словом и без того уже раздутое тщеславие праздных зевак! Ибо не надо ошибаться, что для многих и очень многих самое слово «множество» имеет очень большую обаятельную силу, которая вполне удовлетворяет их. «Эге! да у нас «множество» вопросов,— говорят они,— стало быть, мы не спим, стало быть, мы прогрессируем!» И, успокоившись на этой мысли, идут себе на печку спать.

Да; нет более ужасного литературного яда, как тот, который высказывается в неопределенных, напыщенных и в то же время глубоко праздных выражениях. Очень немного таких читателей, которые могут отличить деланные восторги от настоящих, порожнее словесное гудение от дела. Большинство даже любит деланные восторги, как любит вообще все то, что отрывает внимание от обычной, серенькой обстановки жизни и дает возможность остановить взоры на иной жизни, быть может, и мишурной, но тешащей своим разнообразием. Нам известно, какие бывают последствия такого мишурного возбуждения чувств. Последствия эти: сегодняшнее опьянение, завтрашнее похмелье и на послезавтра — забвение для натур сильных и продолжительное безобразие для натур слабых и податливых на всякого рода искушения.

Таким образом, или «ничего», или «очень скверно» — вот действие, которое имеет журнальный ад на публику. И надо сказать правду: публика наша до сих пор показывает себя в высшей степени терпеливою и снисходительною, в особенности же относительно «ничего». Она с похвальною настойчивостию выписывает журналы, в которых когда-то нечто было

говорено, она верит именам, которые когда-то нечто обещали, она вдумывается в смысл каждого слова, подбирает разбросанные там и сям крохи журнальной трапезы, «вообще ждет и в ожиданье поддерживается». Могут ли подобные отношения быть прочными и надежными? Отвечать на это возможно только сомнением. Искусство для искусства, которое некогда занимало самое видное место в нашей литературе, пало безвозвратно и заменилось искусством тенденциозным и публицистикой. С своей стороны, эти последние очутились в такой странной колее, из которой они никаких тенденций обнаружить не могут. А между тем публика требует чтения, а между тем того чтения, которое было бы пригодно для взрослых людей, нет, да и нет неоцененного искусства для искусства, которое могло бы занять досуг и прогнать скуку в ожидании настоящего чтения. Последствия такого положения вещей должны быть следующие: во-первых, читающая публика может наконец утратить всякое терпение и обратиться к тем затхлым мелодиям печатного русского слова, в которых она встретит, по малой мере, хоть беззастенчивость; во-вторых, та же публика (в том случае, если она будет продолжать оказывать терпение и кротость), приученная к загадкам и междустрочному чтению, рискует в своих толкованиях впасть в такой произвол, который, в свою очередь, поведет к распадению.

Итак, с одной стороны отупение, с другой междоусобие, напоминающее бурю в стакане воды, междоусобие, не захватывающее ни одной жизненной струны, пошлое, мелочное... вряд ли подобный результат может казаться желательным кому бы то ни было.

Представьте себе публику, которая окончательно убедилась, что царь Фараон в непродолжительном времени выйдет из Чермного моря и полонит вселенную; или представьте другую публику, которая без устали толкует о том, какое значение следует придавать такому-то словечку, употребленному в таком-то журнале или газете... ведь это почти что сумасшедший дом! А это будет, будет несомненно, если в самом непродолжительном времени литературно-журнальный ад не поспешит устроиться на иных основаниях. Снова возвращаюсь к воспоминаниям о недавно прожитом нами коротком литературном периоде и снова говорю: там было много наивного, незрелого и даже негодного, но в то же время было и зерно чего-то такого, что, однако ж, не взошло. Отчего не взошло? — оттого, что не взошло. Желал бы я за всем тем воротиться к этому времени? — да, желал бы.

Не потому желал бы, что вижу там идеал, а потому просто, что вижу возможность, вижу то самое зерно, которое не взо-

шло. Почтеннейшая публика! ужели же ты не видишь, что литературная нива наша положительно оскудевает, что она грозит в самом непродолжительном времени сделаться совсем-совсем непроизводительною! В самом деле, что произросло на этой ниве за последние три-четыре года? — Стрижи, стрижи и стрижи! О, смех и посрамление! Что будет, если журнальный ад вконец сделается смешным и забавным? Что будет, ежели и впрямь лизоблюд Девушкин сделается в нем сатаною? Что будет, если мир всецело исполнится бессмысленными кликами стрижей или истерическими воплями московских публицистов? ежели эти две уморительные силы предъявят серьезную претензию утвердить вселенную? Украсится ли тогда любезное наше отечество? Будет ли оно внушать страх врагам внешним, сниспошлет ли мир в души врагов внутренних, тех врагов, о которых без устали твердит нам московская пресса? Почтеннейшая публика! размысли об этом.

«Но вывод, практический вывод всей этой длинной иеремиады?» — спросит меня читатель. Сознаюсь откровенно, этого вывода нет и не будет. Но дабы не оставить читателя совсем без вывода, предлагаю вместо оного следующее заключение.

Я начал статью мою словами: «Журнальный ад — смешной, незлобивый и приятный ад». Для тебя, публика, это действительно смешной ад, который может служить даже моделью для замысловатой игрушки; но для делателей этого ада, для тех, которые, по воле рока, осуждены на пребывание в нем, это ад, полный тяжких и непереносных мук. В нем нет обязательного лизания раскаленных сковород, но есть толчение воды, в нем нет железных клещей, вынимающих ребра, но есть витье из песку веревок, в нем нет огненных орлов, прилетающих клевать сердца грешников, но есть бестолковая птица стриж, которая может в одну минуту напакостить столько, сколько во всю жизнь не напакостить самому расстроенному желудком орлу... Суди же сам, благоразумный читатель, какие мучения следует предпочесть.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КУСТЫ

«Спрятался в кусты» — выражение это обыкновенно употребляется, когда говорят об зайцах. Когда заяц убеждается, что ему грозит беда, что за ним гонятся, что ему нельзя маскировать своего пахучего следа, он бросается в кусты. Не потому он бросается, чтобы сознавал себя виноватым — в чем же заяц может быть виноват! — и не потому, чтоб надеялся, что кусты могут его защитить, даже заяц понимает, что кусты никогда никого защитить не могут,— а просто потому, что его влечет туда инстинкт животного самосохранения, что он теряет голову и, по своему малодушию, уже при жизни, так сказать, предвкушает муки предсмертной агонии.

До сих пор в русской литературе не существовало обычая прятаться в кусты; предполагалось, что литератор, как человек достаточно развитый в умственном отношении, более другого может понимать как содержание своего поступка, так и последствия, к которым он ведет, а следовательно, более другого обязан нести и нравственную ответственность за свои действия. Конечно, и литератор, как и всякий другой человек, мог впадать в ошибки, мог увлекаться; бывали даже образчики литераторов очень блудливых. Все это в порядке вещей, и за такие поступки иногда крепко доставалось согрешившим. Но никогда не бывало, чтоб уличаемый <не> отпирался от своего действия, чтоб он не оправдывался, не объяснял своего поступка, не сознавался в грехе или, по малой уже мере, не отвечал на справедливые обвинения упорным молчанием. Если ошибка была следствием ложного убеждения и обвиняемый продолжал оставаться при прежнем мнении, то он настаивал на своей правоте посредством целого ряда доказательств и вообще старался обставить себя наиболее выгодным образом; если ошибка была следствием простого неразумия, то согрешивший или сознавался, или молчал. Но никогда никто не

говорил: «Помилуйте! Я этого не делал! Это не я, это кошка сделала!» Никто таким образом не говорил, потому что подобные ответы несовместны с достоинством сколько-нибудь уважающего себя человека, что они могут быть извинены только в ребенке, да и то в ребенке забитом, постоянно находящемся под страхом розги.

Обычай прятаться в кусты и ссылаться на кошку, вместе с другими глупыми обыкновениями, как-то: говорить речи без подлежащего, сказуемого и связки, подсматривать, подслушивать, соперничать и т. п., впервые введен у нас «Эпохою». Этому всемирному органу стрижей предстояло совершить великий подвиг в русской литературе; ему предстояло доказать, во-первых, что в литературных занятиях могут участвовать и птицы и, во-вторых, что при помощи этих птиц литература может на время превратиться в урну, переполненную сплетническими помоями. Подвиг этот «Эпоха» совершает неуклонно и с упорством, достойным лучшей участи. Ничто не удерживает ее на этом пути: ни литературная совесть, ни обязательная опрятность литературной формы. Она сама как бы сознается, что на нее следует смотреть совершенно особенным образом, что к ней ни под каким видом нельзя прилагать принцип вменения, подобно тому как это делается относительно всякого другого литературного органа. Она сама как бы говорит: «Сегодня я сделала пакость, а завтра от нее отопрусь — кто с меня взыщет? — всякий плюнет и отойдет прочь!» Расчет, быть может, и верный, но в то же время положительно неслыханный и невиданный в русской литературе до появления «Эпохи». В этом смысле она действительно составила эпоху.

Чувство полнейшего негодования овладевает при чтении августовской книжки «Эпохи» за текущий год. Можно защищать фальшивую мысль, можно быть парадоксальным, можно даже, во что бы то ни стало, быть преданным известному порядку идей — все это явления, конечно, очень печальные, но которые человеческий разум потому уже допускает, что их можно оспаривать, а следовательно, и победить; но никак не позволительно являться в люди с одной искреннею нелепостью, с одним непроходимым малодушием.

«Эпоха» начала свое существование тем, что в 1—2 №№ выпустила на счет «Современника» сплетню; дело шло о каких-то несогласиях, будто бы возникших между «Современником» и другим журнальцем, который «Эпоха», по свойственной ей проницательности, считает солидарным с «Современником»; над этими несогласиями «Эпоха», разумеется, веселенько подсмеивалась. Конечно, вся эта история была выдумана затем единственно, чтобы кормиться ею как можно долее (ибо где

никогда не было согласия, там, естественно, не может быть и несогласия); но спрашивается: если б и в самом деле мнимо-существовавшее между двумя литературными органами согласие вдруг превратилось в несогласие,— есть ли тут повод для хихиканья и настоит ли надобность показывать в кармане кукиш? Очевидно, что повода нет и надобности не настоит и что роль третьей стороны в подобном деле заключается единственно в оценке мнений обеих враждующих сторон и в произнесении своего собственного суждения. Однако «Эпоха» предпочла показать кукиш. На этот кукиш «Современник» отвечал комедией «Стрижи». Статья эта не относилась ни к одному из сотрудников «Эпохи» в частности, не имела даже специально в виду ни одной статьи этого журнала; но она заключала в себе полную характеристику таких намерений и воззрений, которые по своей сущности вполне заслуживали наименования птичьих.— Этого было достаточно, чтобы каждый из пернатых в особенности и все пернатые в совокупности почувствовали себя уязвленными.

Я понимаю: полемический прием «Современника» действительно заключал в себе мало лестного. «Эпоха» тщательно скрывала свое родопроисхождение; она с мучительным беспокойством, хотя и неуместно, следила за тем, чтоб на листах ее не было заметно следа перьев или пуха; она уже обольщала себя надеждой, что обманула вселенную; она видела в числе своих сотрудников Островского и Тургенева; мало того: она даже сама постепенно привыкла не думать о том, что пернатость есть то непременное качество, которое должно фаталистически преследовать все ее действия. И вдруг... «стрижи»! Все вспомнили; все сказали: ну да, это они, это «стрижи». Чье же злодейское перо выдало секрет, начинавший приходить в забвенье? кто тот ужасный человек, которого не тронула даже искренняя нелепость, который не остановился даже перед столь естественным желанием, как желание скрыть свое стрижиное происхождение?

«Эпоха» всполошилась; она пустила в ход все зависящие средства и узнала-таки имя ненавистного незнакомца. Плодом этого соглядатайства была статья: «Раскол в нигилизме, или Отрывок из романа Щедродаров» (читай: Щедрин).

Гадостнее, презреннее этой статьи по содержанию, тупоумнее, бездарнее по форме трудно что-нибудь представить себе. Вообразите себе древнехолопскую сплетню, рассказанную древнехолопскими устами, приправленную древнехолопскими прибаутками и сопровождаемую секретным древнехолопским злорадством,— и вы будете иметь понятие лишь о сотой части того древнехолопского романа, которым так и обдает упомя-

нутая выше статья. Дело идет опять-таки о сплетне, намеченной даже не против журнала и его направления, а исключительно и лично против одного из сотрудников этого журнала, против того сотрудника, который, по достоверно полученным сведениям, напомнил читающему миру, что «Эпоха» издается стрижами.

Чтоб уязвить чувствительнее, «Эпоха» становится на почву убеждений. Она знает, что человеку свойственно обладать тем, что на человеческом языке называется убеждением; она слышала, сверх того, что человек, составивший известного рода убеждения, не легко расстается с ними, что они ему дороги. Но все это известно ей только по слухам и, в сущности, кажется до того забавным, до того несходным с привычками пернатых, что она задумала разутешить себя и свою публику легким и игривым разговорцем по части убеждений. Разумеется, Щедродаров (Щедрин) представляется тут в самом уморительном виде: он то отстаивает свои убеждения, то покоряется какой-то таинственной силе, над ним тяготеющей, то вновь возмущается против насилия и т. д. Представьте себе, в самом деле, человека, который имеет свои убеждения — хи-хи! представьте себе человека, который, обладая известными убеждениями, считает, однако ж, полезным и своевременным до известной степени и при известных условиях подчинить их убеждениям идущих с ним рука об руку в общем умственном труде — ха-ха! представьте себе, наконец, этого самого человека, который, несмотря на необходимость уступки, все-таки тяготится ею — хо-хо! Вот какою трагикомической трилогией угостила «Эпоха» своих читателей. Повторяем: все это она выдумала, насплетничала и наклеветничала, но при этом не рассчитала одного: что впечатление, производимое ее статьею, совсем не достигает тех целей, которые она имела в виду. В самом деле, из статьи ее получается только один совершенно определенный вывод, а именно, что и Щедродаров и прочие редакторы «Современника» имеют убеждения. «Что же тут смешного?» — спросит себя удивленный читатель и в сотый раз убедится, что смешного тут нет ничего, кроме бессмысленного хихиканья захмелевших стрижей.

Выпил рюмку, выпил две —
Зашумело в голове,—

вот единственное заключение, которое может сделать читатель по прочтении статьи.

«Современник» счел долгом ответить и на эту статью, и притом ответить серьезно. Это была ошибка. Толковать с стрижами, разъяснять им непохвальность их поведения совер-

шенно излишне. Стрижи не поймут убеждений разума, потому что для них «убеждение», «разум» — слова совершенно новые, неслыханные, над которыми можно только смеяться веселым стрижиным смехом. Сверх того, они могут возгордиться тем, что вот и с ними заговорили наконец серьезным тоном. К стрижам можно относиться только в художественной форме, которой они больше всего опасаются. Характеристические черты стрижиного миросозерцания обладают тою неуловимостью, которая ускользает от анализа; но для художника эта неуловимость и, так сказать, мутность — чистый клад. Поэтому самым лучшим полемическим приемом в этом случае было бы отвечать стрижам новой комедией.

Как бы то ни было, но дело сделано, и в сентябрьской книжке «Современник» совершенно ясно и вразумительно доказал стрижам, до какой степени мелка и омерзительна была до сих пор их полемическая деятельность; что она никогда не имела в виду что-либо существенное, а всегда кружилась около личностей; что она отличалась неслыханной непринужденностью выражений и самою пошлою веселостью по поводу предметов, никакой веселости не возбуждающих. Доказал это «Современник» с номерами «Эпохи» и «Времени» в руках, доказал обстоятельно, добросовестно, хотя и несколько длинно.

Что же делает «семейство М. М. Достоевского» при виде такой напасти? Уличенное, посрамленное, застигнутое врасплох в своих собственных укреплениях, эпохино семейство не унывает. Стрижи обращаются в зайцев и, припомнив, что есть на свете кусты, спешат укрыться под их ненадежною защитой. «Это не мы, это кошка сделала!» — пищат они хором. «Нас трогают не личности, а идеи!» — свищет один. «Мерзит нам личная полемика, и не понимаем мы, как можно позорить бранью и сознательной клеветой людей за то только, что те не согласны с нами в мыслях!» — подсвистывает другой.

И все это свищется и подсвистывается после «Сказания о Дураковой плеши», свищется в то время, когда в воздухе еще столбом стоит отвратительный запах, пущенный «Отрывком из романа Щедродаров»! О стрижи! о ветреное и несообразительное племя! Ужели ты и впрямь думаешь, что никто тебя не увидит, если ты прячешь голову под крыло?

Идеи, мысли... так вот вы чему хотите противодействовать, стрижи! Гм... это очень любопытно. С каким же запасом человекоубийственных орудий идут эти особого рода крестоносцы на войну против идей и мыслей? Каким военным кличем поддерживают они храбрость и готовность в рядах своих? Увы! вместо орудий в руках у них обглоданные кочерыжки, выбрасываемые из псевдославянофильской поварни «Дня»; вместо

военного клича их подстрекает на драку с идеями карканье «Московских ведомостей», претворенное в слабый писк при помощи стрижиных слюней!

А чтобы доказать вам, что запас ваш именно так ничтожен и скромен, как о том говорится выше, возьмем на выдержку несколько измышлений ваших из той урны идей, которою вы угостили почтеннейшую публику под видом объявления об издании «Эпохи» на 1865 год.

Во-первых, вы все еще вооружаетесь против «западников». Что, собственно, вы разумеете под этим выражением, этого вы не можете объяснить и сами; вы видите, что оно красуется на столбцах «Дня», и берете его напрокат. Но в «Дне» борьба против западничества составляет застарелую болезнь, завещанную ему предками; «День» в этом случае уподобляется тем часам, которые за несколько лет перед тем остановились, положим, на десяти часах; встретилась надобность пустить их в ход и сразу поставить на двух часах, а они все-таки продолжают бить с десяти часов, и много требуется терпения, чтоб восстановить правильный бой их. Борьба между так называемым славянофильством и западничеством имела место несколько лет тому назад и не только не лишена была смысла, но даже имела значение гораздо более широкое, нежели то, которое ей приписывается близорукими ее судьями. Дело шло по наружности о реформах Петра I; одни порицали тлетворное влияние Запада, сделавшееся неутешительным вследствие этих реформ; другие именно потому и хвалили эти реформы, что вслед за ними почувствовалось тлетворное влияние Запада. Но все это, повторяем, было только по наружности: и реформы Петра, и влияние Запада выводились на сцену только для красоты слога и как повод для того, чтобы высказать другую мысль. Мысль эту можно в настоящее время формулировать таким образом: следует ли допускать участие разума в жизни, или же оставить ее в подчинении у темных сил? «Западники» утверждали, что участие разума в жизни может только украсить ее, и, указывая на Запад, не объясняли вполне своей мысли, а предоставляли читателю самому додумываться до результатов; «славянофилы» же говорили: «Нет, участие разума может только портить жизнь»,— и указывали на пример допетровской Руси, которая жила единственно с пособием веры, надежды и любви и не погибла. Петровская и допетровская России нужны были в этом споре не как доказательства, а как доступные в то время формы доказательств. И действительно, когда явилась возможность согласиться насчет реформ Петра, то споры об этом предмете прекратились очень скоро, а вслед за тем и название «западников» утратило свой смысл.

Спор вошел в те границы, в которых ему всегда следовало быть, и получил свое естественное содержание. В наше время не только нет «западников», но даже самое слово «западничество» заглохло в литературе. Есть в Российской империи люди благомыслящие, есть люди просто преданные, есть люди вдохновенно-преданные, есть нигилисты, есть ерундисты, есть стрижи. А «западников» нет.

А вы против них-то и вооружаетесь, да еще придаете «западничеству» самый простой, нехитрый смысл: смешиваете его с обезьянничеством. О, стрижи!

О ты, что в горести напрасно
На бога ропщешь, человек?

О чем вы стужаетесь? Какие «западники» вас обидели? успокойтесь! все они или спят в могилах, или возродились в виде сельного крина на столбцах «Московских ведомостей». Ужели вы и против них секретно коварствуете?! О, ежели это так, то

О герой! кто тебе равен!
О герой! кто столько славен!

Но все-таки вспомни, герой! против кого ты поднял руку? против кого ты коварствуешь? — Вспомни и прикуси язык. Итак, пункт первый решен. Вы направляете ваши стрелы против того, что не существует, вы сражаетесь с мельницами.

Во-вторых, в вашем объявлении встречаем мы следующую фразу: «Ни одна земля от своей собственной жизни не откажется и скорее захочет жить туго, но все-таки жить, чем жить по-чужому и совсем не жить». В этой фразе заключается вся сущность вашей мудрости, ибо все дальнейшее есть не что иное, как самая грубая и несносная амплификация сейчас выписанного изречения. Но ежели мы всмотримся пристальнее в смысл этой фразы, то найдем, что она именно смысла-то никакого и не имеет, что она есть набор случайно подобранных из лексикона слов, что она, в свою очередь, есть амплификация чего-то такого, чего вы не сказали, ибо сами не знаете, что хотите сказать. Прежде всего, нужно полагать, что вы упоминаете о земле не в смысле геологическом, а в смысле народа, страны, государства. Не говорите, что мы придираемся к выражениям; ведь вы, стрижи, хитры, и с вами надо вести дело начистоту, ибо вы тотчас же скажете: мы совсем не о том говорили, вы не поняли; это кошка говорила, а не мы. Итак, предположим, что вы сказали: «Никакой народ» и т. д. Теперь спросим себя, что такое жизнь вообще, и для объяснения возьмем в пример жизнь отдельного человека. Человек является

на свет ребенком, и притом при таких органических условиях, которые дают очень мало поводов заключать о будущем его развитии. Затем начинается для него уже новая жизнь, то есть воспитание телесное, умственное и нравственное. Он получает понятие о среде, его окружающей, о вещах и людях, эту среду составляющих, приучается сравнивать, различать и делать выводы. Он скоро, очень скоро начинает понимать, что стрижи не люди, а люди не стрижи. В этом сложном процессе всестороннего развития человека заключается вся его жизнь, и чем более приобретает он знаний, тем шире и яснее становится его умственный кругозор. Что в этом процессе свое и что чужое? С одной стороны, все чужое, потому что не будь этого «чужого», не было бы и своего; с другой стороны, все свое, потому что не будь этого «своего», то не существовало бы (для данного человека) и чужого. Не одной счастливо одаренной организации обязан человек своим развитием, но и тому, в какой мере он находится в соприкосновении с людьми и с внешней природой, да еще с какими людьми, с какою природой. Точно то же должно сказать и о жизни общества, народа, государства или страны: на них внешний мир влияет таким же образом, как и на отдельного человека. Никакое общество не может сказать: я буду жить хоть по-глупому, да по-своему, во-первых, потому, что выражение «жить по-своему» есть вообще выражение пустое, не имеющее никакого содержания, во-вторых, потому, что по-глупому жить ни в каком случае не выгодно, а в-третьих, потому, что обок с этим обществом существует другое общество, которому глупая жизнь его соседа может мешать, ибо человеческие интересы в конечном результате везде и всегда солидарны. Затем спрашиваем вас: каким образом вы ухитрились разрубить жизнь на две половинки, из которых одну называете своею, а другую чужою и которые, по вашему мнению, постоянно должны находиться друг с другом на ножах? И как следует после этого истолковать вашу фразу: «жить туго, но все-таки жить», «жить по-чужому, и совсем не жить»? Ведь у вас рядом идут два такие понятия, которые взаимно друг друга исключают, ибо разве возможно жить и не жить вместе? Что означает подобная не имеющая смысла фраза? А вот что: она означает стрижиную страсть к реторике, она означает ту ненависть к ясности и определительности, которая составляет непременную принадлежность всего, что само не понимает, чего желает и о чем плачется. Если б в вас не было этой ненависти, вы, конечно, выразили бы вашу мысль так: «Глупый живет по-глупому; к глупому не пристанет чужое умное, к умному не пристанет чужое глупое». И было бы понятно.

Итак, пункт второй: существенная цель, к которой, по вашим же словам, стремится ваш журнал и которая должна составлять его содержание, представляет собой полное оскорбление здравого смысла. Посмотрим теперь, что вы скажете о средствах, при помощи которых вы предполагаете достигнуть этой цели.

Вопрос об этих средствах составляет пункт третий. Вот что вы говорите об этом предмете. «Хвалить дурное и оправдывать его *из-за принципа* мы не можем и не хотим. Издавать журнал так, чтобы все отделы его пристрастно составлять из одних подходящих фактов; видеть в данном явлении только то, что нам хочется видеть, а все прочее игнорировать и умышленно устранять; называть это *«направлением»* и думать, что это и правильно, и беспристрастно, и честно,— мы тоже не можем». Прежде всего, в этих немногих словах поражает детская манера беседовать с читателем о каких-то похвалах и порицаниях. Кому нужны ваши похвалы, кто обращает внимание на ваши порицания? Вы все еще думаете, что назначение журнала не в том заключается, чтоб говорить дело, а в том, чтобы «хвалить» или «порицать»? О, ветреное племя! Вы забыли, что мы уже не в двадцатых годах живем и что в настоящее время задача похвал и порицаний не только упрощена, но даже совсем выброшена за негодностью за окно. Но довольно об этом; поговорим собственно о том, что вы называете «направлением» и против чего вооружаетесь.

Когда люди соединяются вместе для общего умственного труда, то они прежде всего условливаются между собой о предмете этого труда, о тех разнообразных последствиях, которые могут из него вытекать, и о тех условиях, в которых ведение этого труда поставлено обстоятельствами. Не сговориться насчет этого невозможно, потому что это значило бы заранее обречь общий труд такого рода случайностям, которые подкопали бы его в самом корне. Из этих подготовительных совещаний выработываются так называемые *общие начала,* приступить или не приступить к которым предоставляется на волю каждого, и затем приступившие — остаются в деле, а не приступившие — отказываются от него. От приступивших также ничего не требуется особенного; они не обязываются ни клясться, ни есть землю, ни даже, по древнееврейскому обычаю, класть руку под стегно, в знак преданности; предполагается, что они достаточно связаны добровольно сознанною ими разумностью дела, чтобы не отступиться от него без особенно важных побудительных причин. Чем бо́льшую сферу жизненных требований и условий захватывают эти общие начала, чем они дальновиднее, тем более они представляют зало-

гов прочности и устойчивости. Невозможно себе представить таких общих начал, которые бы ничего не предвидели и останавливались перед всяким фактом. Такого рода начала следовало бы назвать не общими, а ёрническими, подобно тому как ёрником называем мы такого человека, который не крадет, когда нельзя украсть, и крадет, когда украсть можно. Таким образом, общие начала определяют не только систему, но и значение в этой системе возможно большего числа частных явлений и фактов. Тем не менее нельзя не сознаться, что общие начала в дальнейшем своем применении и развитии могут встретиться, во-первых, с фактами совсем непредвиденными и, во-вторых, с такими фактами, которые хотя и были предусмотрены, но обойдены, так как они не разрушают общей разумности принятых начал, а лишь временно, в виде исключения, затрудняют их применение. В первом смысле новые факты не могут быть ни значительны, ни многочисленны; нельзя себе представить, чтоб люди взрослые и не лишенные рассудка, договариваясь между собой о столь важном деле, как общие начала, могли пропустить факт сколько-нибудь крупный. Если даже предположить, что эти люди совсем бесчестны, что они намеренно обходят факты,— все-таки нужно, чтобы они условились, по крайней мере, насчет того, как лучше обойти факт. Следовательно, в этом случае возникновение явлений непредусмотренных может послужить лишь к поправке и пополнению общих начал, а не к коренному их изменению. Что же касается до явлений второго разряда, то отношение к ним общих начал несколько сложнее, ибо тут дело идет уже не о пополнении общих начал, а о согласовании их с теми кажущимися противоречиями, которые представляются жизнью. Так, например, мы в смысле общего начала можем написать на нашем знамени следующее изречение: прогресс никогда не прерывающийся есть непременное условие жизни человеческих обществ. На это история, конечно, может возразить рядом фактов очень значительных, может указать на целые эпохи, в продолжение которых человечество, как бы одержимое безумием, положительно действовало наперекор своему собственному благу. Но возражение это будет все-таки недействительное. Мы, в свою очередь, и весьма основательно, можем доказать истории, во-первых, что прогресс, несмотря на кажущиеся колебания, есть факт для всех слишком очевидный, чтобы можно было придавать значительный вес частным уклонениям, совершенно утопающим в общем разумном движении жизни; во-вторых, что она совершенно напрасно присваивает себе титул истории человечества, тогда как, в сущности, рассказывает лишь историю незначительного меньшинства;

в-третьих, что ежели жизнь этого меньшинства и может вследствие случайных условий колебаться между прогрессом и застоем, то этого невозможно сказать о человечестве в общей его массе, так как на это последнее, по его громадности и разнообразию составляющих его элементов, случайные причины никакого решительного действия иметь не могут, и, в-четвертых, наконец, что то уродливое меньшинство, которое усиливается остановить прогресс, в сущности, нимало его не останавливает, а только приготовляет своими усилиями собственную гибель. Другой пример. Предположим, что А и В руководятся в своей деятельности одними и теми же началами, но В вследствие страстности своей природы нередко впадает в преувеличения, возбуждает ужас в неопытных сердцах резкостью своих действий и суждений и вообще поступает так, как бы ему предстояло не привести к себе вселенную, а отогнать ее от себя. Как ни прискорбен этот факт, но он отнюдь не может противоречить нашим общим началам, ни подрывать их. Людям, указывающим нам на него как на доказательство нашей несостоятельности, мы можем сказать: вы очень недобросовестны, милостивые государи, если не умеете отличить истину от тех временных преувеличений, которые нацепляются на нее энтузиазмом и увлечением; сверх того, вы и близоруки, ибо не видите, что энтузиазм В составляет в общей экономии жизни один из необходимейших зиждительных элементов, что в нем заключается источник инициативы, столь драгоценной для успеха всякого дела, и что тем не менее тот же самый энтузиазм, сделавши свое дело, *непременно* придет к отрезвлению, ибо *непременно* же убедится, что с одним энтузиазмом никакого дела к концу привести нельзя.

Итак, вот значение общих начал, вырабатываемых людьми, собравшимися для общего умственного труда. Совокупность этих начал составляет то, что называется направлением, и так как (об этом объяснено выше) в этом случае направление предвидит и исчерпывает собою возможно бо́льшую сумму жизненных явлений, то оно имеет полное и бесспорное право требовать от людей, к нему присоединившихся, сообразного с его содержанием образа действий.

Эти последние слова отнюдь, однако ж, не означают, чтоб «направление» говорило: «Подбирай факты только подходящие, такие-то факты игнорируй, а такие-то усматривай»,— подобную речь могут держать только стрижи. Но направление может и имеет право сказать: «Старайся осмыслить встречающиеся тебе факты, а не суйся с ними как угорелый; согласуй их с общими началами, дающими жизнь и силу твоей деятельности, а не поступай подобно стрижам, которые, встречая за-

бор, поют: «вот забор!» до тех пор, пока не встретятся с березой и не запоют: «вот береза!» — умей определить их значение в общей системе выработанного тобой миросозерцания, а не кричи без стыда: «Мы, дескать, и без миросозерцания как-нибудь изживем рассиротскую нашу жизнь!»

Без «направления» никакая деятельность невозможна, ибо оно дает смысл этой деятельности, обнажает слабые и сильные ее стороны, делает возможным спор и в результате порождает истину. Вот против этого-то и вооружается семейство М. М. Достоевского, издающее «Эпоху». Спрашивается, чем же оно само руководится в своей литературной деятельности?

На это оно отвечает: «Не так разумеем мы *направление»*, и далее разъясняет: «Мы не боимся исследования, света и ходячих авторитетов». Но разве это ответ, разве в этом наборе слов заключается что-нибудь похожее на дело, на мысль? что такое эти «исследования, свет и ходячие авторитеты», которых можно бояться и не бояться? следует ли их бояться? боится ли их кто-нибудь? об чем «исследования»? какой «свет»? и что за «ходячие авторитеты»? Увы! отвечать на эти вопросы можно только известным стихом:

Ничего в волнах не видно...

Ибо и тут, по обычаю «Эпохи», мы встречаемся лишь с фразами и стрижиною дрянною реторикой. Помилуйте, сироты! Неужели вы не понимаете, что определять таким образом «направление» все равно что сказать: «мое направление состоит в том, что я не боюсь ни воды, ни огня, ни стихий небесных, или в том, что я прячусь в дупло всякий раз, как только заслышу первые раскаты грома». Ведь такое определение свидетельствует лишь в пользу личной вашей храбрости («Посмотри, папаса, какой я хляблий!»), и отнюдь не более. Какое это направление — это высокопарная ерунда, и больше ничего.

Итак, пункт четвертый: вы не имеете средств достигнуть вашей цели (которой вы, впрочем, тоже не имеете), потому что не имеете направления и не чувствуете даже потребности иметь его.

Вот самые рельефные пункты вашей премудрости. Целых восемь страниц прикидываетесь вы сиротами, просите читателей о милосердии и то храбритесь, то колотите себя в грудь в знак раскаянья — и ведь ни одной-то мыслью, ни одним не дохлым словом не проговорились на пространстве целого печатного полулиста!

Неужели же это не обглоданные кочерыжки?

НО ЕСЛИ УЖ ПОШЛА РЕЧЬ ОБ СТИХАХ...

<Отрывок незаконченной статьи>

Но если уж пошла речь об стихах, так вот и еще один образчик.

Конечно, презирать не трудно
Отдельно каждого глупца,
Сердиться также безрассудно
И на отдельного срамца;
Но — чудно!
Всех вместе презирать их трудно!

Пушкин, написавший эти стихи, конечно, не имел в виду сказать, что даже «срамцы», несмотря на свое срамство, могут производить нравственное огорчение на человека; он не мог сказать это уже по тому одному, что «срамцы», как ни принимать их, каждого ли в отдельности или всех в совокупности, все-таки останутся срамцами, и количественное их умножение может содействовать лишь количественному же умноженью того «срама», который они из себя источают и который всецело падет на их же собственные головы.

А потому, вникая ближе в смысл пушкинских стихов, я полагаю, что великий поэт хотел сказать следующее: «срамцы» вообще народ презренный и в то же время ничтожный, ибо действуют беспокойно не на внутреннего человека, а лишь на его эпидерму; следовательно, действия их тогда только могут иметь некоторый успех, когда они производятся одновременно целым множеством отдельных «срамцов», заключивших между собой дружественный союз. Ибо тогда человек, против которого направлены «срамные» усилия, подвергается опасности почувствовать в теле неприятный зуд.

И действительно, «срамцы» — своего рода паразиты; чтоб уничтожить каждого из них поодиночке, слишком много даже

и щелчка, но представьте себе целую тучу паразитов, нападающих на вас и сзади, и спереди, и с боков,— тут поневоле воскликнешь: да,

Всех вместе презирать их трудно!

В прошлом лете я именно был жертвой такого рода дружных усилий «срамцов». Человекообразные соединились с стрижами, эти последние, в свою очередь, подали лапку амфибиям. Некоторый молодой гиббон (скорее, впрочем, лемур, нежели гиббон) написал, в шутливом, но пакостном тоне, мою биографию; некоторый чимпандзе обратился ко мне с серьезным увещанием, что лучше было бы, если б я перестал заниматься беллетристикой, а принялся бы за естественные науки; даже сам старый горилла (портрет его зри в сочинении Гёксли: «О положении человека в ряду органических существ», где можно получить и интереснейшие сведения о всех человекообразных вообще) — и тот воспылал ко мне гневом и ненавистью и вознамерился зубами сокрушить конец пера, которым я пишу. Еще более занимались мною «стрижи». Один из них (впоследствии он назвал себя, но я все-таки не хочу повторять здесь его имя, до того презрителен и недостоин названия его поступок) написал даже целый роман, в котором пошлым и клеветническим образом изобразил мои отношения к редакции «Современника». Наконец, амфибии и те пискнули в своем мрачном, покрытом плесенью болоте.

На сей раз я займусь одними «стрижами». Причина тому очень ясная. «Человекообразные» все-таки ратуют из-за каких-то убеждений; они вообразили себе, что я распространяю «ненависть и презрение» к естественным наукам, и не сообразили при этом даже того, что тому, что они разумеют под естественными науками, они обучались у Кузьмы Пруткова, который, как известно, никогда не бывал естествоиспытателем, а всегда был изрядным эстетиком и моралистом (в чем и имеет от Московского общества любителей российской словесности за печатью диплом). Они не различили того, что понятие об естественных науках само по себе, а понятие о паскудном и нелепом отношении к ним — само по себе; но, в качестве человекообразных, они имели даже право не различать, ибо им не дано того, что необходимо для подобного рода различений. Притом же человекообразные все-таки пользуются бо́льшими шансами относительно возможного развития, нежели стрижи и т. п., и, следовательно, со временем и сами собой могут понять то, чего теперь не понимают. Об «амфибиях» тоже не стану говорить, не потому, чтобы они были хуже «стрижей», но уж очень в ихнем болоте тоскливо... мухи мрут; ну, а в

стрижевском садке всё словно повеселее: одного щебету сколько услышишь! Итак, обращаюсь к стрижам.

«Современник» вас обманул, стрижи! Статью «Стрижи, драматическое представление» писал действительно я, хроникер «Современника», а не «Посторонний Сатирик». Я не только не имею желания скрывать от вас этого (впрочем, и скрывать было бы бесполезно, потому что вы слишком исправных имеете вестовщиков, от подслушиваний и подглядываний которых никаким манером не убережешься), но даже в особую себе заслугу вменяю это писание, ибо в сем маленьком произведении искусным образом заключено все ваше миросозерцание. И потому все сказанное «Посторонним Сатириком» в статье «Стрижам» о том, что отныне вам нельзя в зеркало посмотреться, чтоб не сказать: «В этом зеркале я вижу стрижа»,— принимайте, как будто это сказал я сам. Я знаю, что это правда и что вы, после моей пьесы, сами себе стали ненавистны.

Вы обиделись, стрижи! Охотно вам верю. Вы обиделись, во-первых, тем, что я в кратких словах изобразил всю вашу сущность (да ведь так, что и спора никакого не может быть), и, во-вторых, тем, что я никак-таки не хочу разговаривать с вами серьезно. На первое могу вам отвечать, что истину на ваш счет открыл не я, а она сама собой открылась, и я был только выразителем общего голоса. Я хвалю вашу скромность: вы никогда не претендовали на то, что не принадлежите к царству пернатых, вы еще в прошлом году согласились с этим: «Ну да, что ж делать? птицы так птицы — шила в мешке не утаишь!» — сказали вы, и поступили правильно. Но ведь птицы бывают разных пород — и вот этим-то обстоятельством хотели вы воспользоваться, чтоб обмануть публику. Вы прикидывались то пеночками, то горихвостками, то скворушками, то... даже орлами (а ведь орел все-таки птица, а не человек, стрижи!). Но публика видела, что тут что-то не то, что от вас отдает погребом, сыростью, темнотою, ночными похождениями... В эту самую минуту, когда публика была в недоумении, я произнес слово «стрижи»... Чем же я виноват, что оно пришлось как раз в меру? что оно определило не только цвет ваших перьев, но и духовную сущность вашу?

Что касается до второй причины обиды, то и она столь же мало основательна, как и первая. Я очень хорошо понимаю, чего вам от меня хочется. Вам хочется, чтоб я по душе с вами потолковал, чтоб я всякую вашу нелепость посмаковал, взвесил и обсудил. Вы не были бы даже в претензии, если б я и пожурил вас порою за ваши нелепости, но только бы потолковал... ради бога, потолковал! Но это невозможно. Не потому

невозможно, чтоб я был человек совсем без сердца, чтоб я не желал быть снисходительным к птичьему щебетанию (вы не раз уже обвиняли меня в жестокосердии), а просто потому, что ума не приложу, как этого достигнуть. Я несколько раз принимался за вас, с целью ежели не определить, то, по крайней мере, угадать, о чем вы толкуете, но усилия мои постоянно оставались без успеха. Не думайте, чтоб это происходило от того, чтобы я не мог понимать то, что действительно понятно, а знайте, что причина такого явления заключается в совершенной сумбурности вашего щебетанья. Вот-вот, думаешь, идет дело о польском вопросе,— ан нет, речь идет об индюшках, ан нет, об антиспатах, ан нет, о Фейербахе. По-видимому, вы хотите усвоить себе славянофильские воззрения, но усвоиваете только помои этого воззрения, и ни один славянофил, конечно, не взглянет на вас без сожаления. Вы суетитесь, хлопочете, топчетесь, желаете что-то учинить, но в результате оказывается лишь крошечная литературная погадка. Виноват, оказывается и еще нечто — это хорошее, кроткое ваше поведение, засвидетельствованное «Московскими ведомостями». Так знаете ли вы теперь, почему я не могу по душе потолковать с вами? Потому, что не о чем толковать. Вы напоминаете тех ученых чижиков, которые из крохотных колодчиков вытаскивают миниатюрненькие ведёрки с водой, вытаскивают и опять погружают, и опять вытаскивают... И разве я один смотрю на вас таким образом? Укажите мне хоть один орган, хоть один случай, когда бы хоть кто-нибудь сказал: вот стрижи то-то говорят, и из того, что они говорят, то-то правильно, а то-то неправильно? Нет, вы не укажете мне ни на один случай: никто ничего подобного не говорил, ибо вы сами никогда ничего не сказали. Правда, что в самом начале вашего литературного поприща баловался с вами «Современник», все думал, не выйдет ли из вас что-нибудь, но и тот бросил, потому что труд сделался не по силам. Правда также, что в прошлом году некто г. Петерсон нечто усмотрел в вас, но и здесь есть причина: г. Петерсон не литератор, а просто проницательный человек. Судите же сами, виноват ли я, что не могу относиться к вам иначе, как в художественной форме?

Однако же вы обиделись. Не говорю уже о том, что это величайшая с вашей стороны несправедливость, но не скрою, что этим вы только утвердили меня в той мысли (признаюсь, я доселе считал ее несколько самонадеянною, но теперь вижу, что был слишком скромен), что я что захочу, то с вами и сделаю. Захочу — приведу в восторг; захочу — доведу до исступления; захочу — накажу; захочу — помилую. Мне стоит сказать: «Вы совсем не стрижи, а заправские литераторы»,— и

вы возрадуетесь; но вслед за тем я могу сказать: «Нет, я обманул вас, стрижи! вы совсем не литераторы, а стрижи!» — и вы закручинитесь. Вы знаете, что судьба ваша всегда в моих руках,— зачем же вы бунтуете, зачем храбритесь? Когда-нибудь я одно из моих обозрений закончу словами: «Эпоха»... но об этом журнале поговорим когда-нибудь в другое время» — и вы целый год с замиранием сердца будете ожидать: что-то он скажет? каким еще неслыханным манером он покарает нас? Ведь вы изноете, похудеете, вы не в урочное время потеряете все ваши перья! Для чего же вынуждаете вы меня на такую меру?

Но нет, вы даже не сéрдите меня: мне просто весело. Истинно вам говорю, весело. Мне нравится и ваша злоба, и ваше шипение именно потому, что все это сдабривается самым искренним тупоумием. Знаю, что вы не виноваты, знаю, что природа, быть может, совсем неповинно наказала вас,— и за всем тем не могу унять веселия сердца моего. Разумеется, мичман Петухов поступал очень неосновательно, что смеялся, когда ему показывали палец, но согласитесь сами, что ежели этот палец показывают вам постоянно и безустанно, и притом с полным убеждением, что это не палец, а голова,— согласитесь, что тут и не рассмеяться нельзя.

Но как бы то ни было, основательно или неосновательно, а вы обиделись. Что же вы сделали, чтоб отомстить за причиненную вам обиду? Вы позаимствовались комками грязи, кинутыми в меня «Русским словом», вы разузнавали бог весть каким путем (а всего вероятнее, через служителей) о том, что происходит в редакции «Современника», и из всего этого устроили целую лохань помоев, которыми облили — верьте, не меня, а своих читателей.

Что написанный вами роман о Щедродарове есть сборник самых гнусных, самых презренных, а сверх того, и самых глупых сплетен — в этом убедится всякий, в ком есть хотя малая доля здравого смысла. Тем не менее я до сих пор не заклеймил это произведение орнитологического искусства надлежащим именем, потому что мне было не до того. Все прошлое лето я отдыхал на лоне природы и, между прочим, занимался наблюдениями и за стрижами, не за теми стрижами, которые задыхаются от злобы в сырых и темных погребах, а за теми, которые хотя по ночам вылетают на вольный воздух, чтоб поиграть на свободе и половить мух.

Какая разница — стрижи на воле и стрижи в заточении! Какая свобода движений у первых и какая вялость, почти дохлость у вторых! Как непринужденно веселы первые (веселы, потому что сознают себя исполнившими свой долг и не

сующими своих носов в те дела, где их не спрашивают) и как уныло, могильно, затхло-злобны вторые (ибо их мучит совесть, что они не за свое дело взялись, что они улетели от родных колоколен и чердаков и таким образом изменили своему стрижиному призванию)! С какою ловкостью кубарем слетает с ветки стриж вольный, с каким проворством подхватывает на лету муху, и как беспорядочно-вяло хлопает общипанными крылышками стриж-склав, как лениво долбит он носиком всякий мусор и хлам, вываленный в погреб за негодностью из различных редакций! Да; только теперь я узнал, что стриж на воле — птица милая, не чуждая даже прозорливости относительно ловления мух и имеющая лишь два недостатка: несоразмерно короткие ножки и преступную страсть к ночным шатаниям.

Итак, я до сих пор не занимался вашими летними подвигами, потому что мне было не до того. Но в настоящее время я свободен, и потому с моей стороны было бы даже бесчеловечно, если б я отказал вам в наставлении.

ГГ. «СЕМЕЙСТВУ М. М. ДОСТОЕВСКОГО, ИЗДАЮЩЕМУ ЖУРНАЛ «ЭПОХА»

Мм. гг.

Вы продолжаете заниматься мною (зри «Заметки Летописца», октябрь), несмотря на все «последние сказания», несмотря даже на то, что я до сих пор не отвечал ни одним словом на ваши детские упражнения, направленные против моей личности. Такая настойчивость вынуждает меня на ответ.

Я всего два раза в течение моей недолговременной журнальной деятельности имел удовольствие беседовать об вас, и, могу сказать смело, обе статьи мои имели «некоторый успех». Я не нападал в них ни на ваши «идеи», ни на ваше «направление» (ни тех, ни другого я и до сего дня усмотреть не могу), но это-то, по-видимому, и было причиной успеха моих статей. Я отнесся к вам в художественной форме; я заставил вас говорить самих за себя — и публика поняла в совершенстве, что в известных случаях эта манера есть единственно возможная. И, заметьте, я ни одним словом не оскорбил ни всех вас в совокупности, ни кого-либо из вас в частности; я даже не посягал на изображение каких бы то ни было «литературных отношений», как выражается ваш семейный летописец; я просто имел в виду наглядно и безразлично изобразить вашу журнальную сущность, ваше журнальное миросозерцание — и, разумеется, успел в этом как нельзя лучше. Однако вы оскорбились. Сначала вы обозвали меня злым человеком, тогда как вся моя злость в том только и заключается, что я охотно смеюсь, когда вижу что-нибудь очень смешное. Потом, ссылаясь на г. Фета, вы объяснили читателям, что «стриж» птица совсем не постыдная, а кроткая, занимающаяся ловлением мух и даже предвещающая хорошую погоду (ну, не прелестны ли все эти ваши разъяснения?),— но ведь я и не желал слову «стриж» придать какой-нибудь непохвальный смысл; я просто хотел сказать, что стрижи не орлы — и ничего более. Наконец, вы выпустили на мой личный счет целую эпопею под названием «Щедродаров, или Раскол в нигилистах»... Говорю,

положа руку на сердце, упражнение это нимало не оскорбило меня. Прочитавши его, я ощутил только чувство глубочайшего омерзения к перу, излившему зараз такую массу непристойной лжи, и в то же время мне показалось, что я наступил на что-то очень ехидное и гадкое[1]. Столько лжи, клевет и самых недостойных сплетен, пущенных в упор, в виде ответа на оценку, быть может, и резкую, но все-таки чисто литературного свойства,— воля ваша, а это уж слишком игриво! Это должно быть признано чересчур игривым даже в том случае, если постоянно держать в памяти стих г. Фета:

Стрижи мелькают и звенят..

Ныне вы, или, лучше сказать, ваш семейный летописец, вновь обращает на меня внимание почтеннейшей публики. Он подвергает разбору всю мою журнальную деятельность в «Современнике» и приходит к следующим выводам: 1) к изумлению перед моею плодовитостью; 2) к убеждению, что моя журнальная деятельность свидетельствует лишь о «необыкновенной легкости в мыслях»; и 3) к недоумению насчет моих отношений к роману «Что делать?».

Постараюсь удовлетворить, насколько могу, и изумлениям, и глумлениям, и недоумениям г. Летописца.

Начну с плодовитости. Да, я писал в 1863 году очень много. Расчетливо ли я поступал, работая таким образом,— это другой вопрос; но дело в том, что и публика и вы — действительно видели, что я работаю много. Но почему же и вы, и публика это видели? Почему, например, в то время, как под бременем трудов рук гг. Страхова, Косицы, Дм. Аверкиева и других полки в книжных магазинах ломятся, публика положительно убеждена, что они совсем-таки ничего не пишут? Напрасно оказывают они беспримерное трудолюбие, напрасно сочиняют втроем целые книги «Эпохи», напрасно под одними статьями подписывают свои собственные имена, под другими псевдонимы (я, например, убежден, что «К. Бибиков» есть псевдоним г. Косицы),— не только публика, но даже литература не хочет знать, что пишет г. Страхов и что г. Дм. Аверкиев, а просто говорит: все это писали «стрижи». Откуда это явление? — Смею думать, мм. гг., что оно оттого происходит, что публика имеет способность различать авторскую деятельность, имеющую хоть какое-нибудь значение для нее, от таковой же, представляющей собой детскую стряпню из песку, мелу

---

[1] Прошу многоуважаемого Ф. М. Достоевского (так как он впоследствии сознался, что статья эта написана им) извинить резкость моих выражений; я полагаю, он сам поймет, что статья его не заслуживает и не может заслуживать иного отзыва. (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

и слюней. И, пожалуйста, не подумайте, чтоб слова мои заключали в себе самовосхваление, но примите их единственно как доказательство того, что ежели писатель и действительно одержим страстью «прудить» (выражение это принадлежит не мне, а «Эпохе»), то и этот недостаток ему легко прощается, лишь бы он «прудил» не в собственное свое ложе.

Затем, на очереди вопрос о «легкости в мыслях». Замечу мимоходом, что вы, мм. гг., и острить как-то не умеете своими словами, а все с помощью Гоголя либо Островского, а не то так и у меня позаимствуетесь. Слова нет, что иногда подобные заимствования не лишни, однако неумеренное употребление такого приема нередко свидетельствует и о скудости собственных средств заимствователей... Итак, вы находите во мне сходство с тем гоголевским персонажем, который говорит о себе: «У меня легкость в мыслях необыкновенная». Прекрасно. Я, разумеется, всего менее оспариваю у вашего журнала право относиться к моей деятельности по ближайшему его усмотрению, но мне кажется странным одно обстоятельство: как это вы, г. Летописец, сделавши такой нелестный обо мне отзыв, забыли, что за несколько строк перед тем сами же упоминаете о «неистовом терзании» мною некоторых идей и сюжетов, а в одном из моих сочинений усматриваете даже (шутка сказать!) *вариацию на теорию страстей, положенную в основание универсальной ассоциации*? И еще: как забыли вы, что за месяц или за два перед сим вы сами, и в том же журнале, выражались так: «Не личности нас трогают, а *идеи*, проводимые гг. Щедриным, Антоновичем и Пыпиным»? Какой смысл после этого может иметь вопрос ваш: «Что сказал или хотел сказать г. Щедрин в продолжение года?» И не имею ли я права отвечать вам на это таким образом: «Я сказал и хотел сказать то самое, что сказал и хотел сказать весь «Современник», я проводил те самые идеи, которые вы, купно с прочими стрижами, собрались преследовать»? Полагаю, что имею такое право, а еще полагаю одно из двух: либо вы, собираясь в поход против «идей, мною проводимых», не понимали, о чем говорили, либо, делая, после этих сборов, отзыв о моем «легкомыслии» и отрицая с моей стороны всякую заслугу перед делом мысли, сами поступали весьма легкомысленно. И не возражайте на это, что под легкостью мыслей вы разумели именно их несостоятельность; нет, это вопрос совершенно особый; *несостоятельность моих идей,* их антипатичность вы будете преследовать, со всеми стрижами, *потом*; теперь же преследуете собственно мое *легкомыслие*... и, воля ваша, выставляете напоказ только легкомыслие ваше собственное. Положим, что *«идея» о теории страстей* и т. д.— идея несостоятель-

ная, но *легкою* ее все-таки назвать нельзя; положим также, что я «терзал не нравящиеся мне сюжеты» без строгой связи, что я более, нежели желательно, прибегал к намекам, так ведь, во-первых, на это есть обстоятельства, вполне меня оправдывающие и вам совершенно известные, а во-вторых, несмотря даже на темноту изложения, читатели все-таки очень хорошо понимали, о чем и как я говорил. Очень может быть, конечно, что я и действительно успел сказать немногое, но это немногое все-таки больше, нежели «мелькать», «звенеть» и «предвещать ясную погоду». Затем г. Летописец, в подтверждение моего легкомыслия, задает себе еще вопрос: почему мне, Щедрину, никто не отвечал, несмотря на постоянное «терзание» не нравящихся мне некоторых идей и сюжетов? На это могу отвечать одно: журнальная моя деятельность обнимала 1863 и начало 1864 года, а в это время российские журналы и газеты совсем не об «идеях» и «сюжетах» заботились, а о том, в ком из них больше приятности; ежели же и встречались в них различные «сюжеты», то именно такие, которых в «Современнике» совсем не было...

Наконец, хотя я и очень желаю разъяснить «Летописцу» мои отношения к роману «Что делать?», но успею ли в этом, ручаться не могу. Прежде всего, из чего он вывел заключение о враждебности моих отношений к роману? Если из моего отзыва о *вислоухих* и *юродствующих,* так ведь там говорится отнюдь не о самом романе, а об известном на него взгляде и о тех поучениях, которые, под влиянием этого взгляда, из него извлекаются. Что же касается до моего собственного мнения, то разъяснить его я могу только ссылкою на мое сочинение «Как кому угодно». «Летописец», упоминая об этом сочинении, усматривает в нем известное намерение (*вариации на теорию страстей* и т. д.). Не желаю спорить с проницательным критиком, но утверждаю, что ежели и было подобное намерение, то оно стояло на весьма отдаленном плане. Ближайшая и для всех понятная мысль заключалась в следующем: в обществе господствуют некоторые идеи, на которые все ссылаются, но которых сила, даже на практике, весьма сомнительна; спрашивается и т. д. Мысль, как видится, очень скромная, гораздо скромнее того *намерения,* которое приписывает мне г. Летописец, но, не скрываюсь, имеющая с этим *намерением* ближайшее родство. Но потому-то именно, что мысль эта скромна и даже ограниченна, проведение ее казалось мне делом, прямее ведущим к цели. Очень возможно, что я и не прав, но таково мое убеждение, что, действуя в известном смысле, следует начинать не с *намерений,* а с разбора самых простых и ходячих общественных истин. Автор «Что делать?» полагал иначе, но

из чего же следует, что мои отношения к этому роману враждебны? Не следует ли, напротив того, заключить, что тут идет речь единственно о практических путях?

Удовлетворив таким образом вашего Летописца, считаю долгом обратиться к вам, гг. Семейство, еще с одним разъяснением. Вы не раз обличали меня в том, что я принимал участие во «Времени» прежде, нежели был закрыт «Современник». Да, это правда; утверждая противное, я ошибся. Но теперь могу даже припомнить все обстоятельства, при которых началось мое участие во «Времени». В 1861 году я приезжал в Петербург и случайно свиделся с Ф. М. Достоевским, который, между прочим, *весьма убедительно* приглашал меня к участию, даже, так сказать, упрекал в равнодушии к вновь возникшему журналу. Имея в виду, что «Время» в ту пору питалось ухвостьями идей «Современника», подобно тому как «Эпоха» питается ныне ухвостьями ухвостий «Дня», я согласился на сотрудничество и послал «Недавние комедии». Затем, по закрытии «Современника», я послал во «Время» еще несколько очерков и получил от М. М. Достоевского письменное приглашение сотрудничать далее, с предложением *каких угодно условий*... И после этаких-то льстивых слов вдруг оказаться и легкомысленным и негодным! Впрочем, успокойтесь; это не первый пример горькой непоследовательности: г. Зайцев в 1863 году обращался ко мне с статьями, и когда они не были приняты, уж костил же он меня, костил в «Русском слове»! Г-н Дм. Аверкиев делал мне честь поднесением некоторой гишпанской трагедии (вроде «Мамаева побоища»), которая тоже не была принята — ну, и он попробовал на мне свои зубы... О ужас! даже в объявлении об издании «Русского слова» на 1863 год не усматриваю ли я своего имени в числе прочих, долженствовавших украсить своими трудами этот журнал,— а теперь! Вот где легкомыслие-то, действительное, заправское легкомыслие!

В заключение позвольте один совет: никогда не следует говорить неправду. Вы притворяетесь, что не прочли последних статей «Современника», направленных против вас, и в то же время называете их «оправдательными». Но если вы их не читали, откуда же знаете, что они оправдательные? Или опять какая-нибудь птица-вещунья сказала? Так не верьте вы этой обманщице и прочтите обе статьи с прилежанием. Увидите, что они имеют характер совсем не оправдательный, а обвинительный и даже поучительный.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

<I. ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ 1863 ГОДА>

НЕКОТОРЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИТЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ

Посмотрим, отчего же происходит этот нравственный разрыв в современном человеке, отчего он обязывается балансировать, отчего он никуда не может примкнуть с уверенностью, что тут именно сила, что тут он дома?

Мне очень горько, но в этом случае я не могу не обвинить мальчишек.

Что старая сила, доселе питавшая общество, истощилась и закончила свой цикл,— в этом не может быть сомнения. Она сама доказывает это тем, что болезненно мечется из стороны в сторону, и все словно обновиться ищет, и все подпускает к себе какие-то новые элементы. Ясно, что она утратила свою цельность, что она внутренно развратилась. Ясно также, что и примкнуться к ней нельзя: нет расчета.

Стало быть, должна быть другая сила, а эта сила, как я сказал выше, заключается в мальчишестве. Это сила новая, свежая; примкнуться к ней и лестно (мы все ужасно любим, чтобы на нас смотрели, как на новых людей), да и расчет есть: того гляди, она наверх всплывет!

Но мальчишки сделали все, что от них зависело, чтобы парализовать эту силу и сделать ее мнимою.

Всякая сильная личность может пользоваться заключающеюся в ней силой двояким способом: она может или забавляться ею, растрачивать ее зря, как попало, лишь бы развеять куда-нибудь накопившийся избыток, или же употреблять ее настойчиво, по зрело обдуманному плану и с полным созна-

нием, что каждый наносимый удар должен произвести такие-то, а не иные результаты.

Первый образ действия может быть оправдан только в таком случае, когда силы действительно накопился такой избыток, что он сам собой вырывается наружу. Из этого может произойти вздор, от этого может погибнуть все дело, но идти против такого напора силы, но противодействовать ему — не только невозможно, а даже и неблагоразумно. Тут невозможность часто материальная, потому что нельзя говорить человеку: жди! когда видишь, что его волю потопляет его собственная сила; тут неблагоразумие весьма расчетливое, во-первых, потому, что напор все-таки неизбежен, а во-вторых, потому, что кто же может поручиться, что из него выйдет: может быть, что-нибудь и на пользу?..

Такого рода избытка силы в мальчишестве нет. Оно еще организуется, оно еще поверяет себя, оно составляет еще, так сказать, секту. Конечно, это секта, действующая въяве, секта, объемлющая собой целое поколение, но все-таки секта, потому что она прокладывает себе дорогу, потому что она подо что-то подрывается. Ясно, что в таком положении не об избытках силы может быть речь, а только о зародышах, которые необходимо воспитывать и развивать. Ясно также, что в таком положении показывать силу значит добровольно напрашиваться на обвинение в хвастовстве и более или менее остроумные выходки насчет детской несостоятельности. Пожалуй, что доброго, обвинят и в фальши: фальшивый, скажут, тон у этих мальчишек; и энтузиазм-то ихний, скажут, деланный, и речи-то ихние не свои собственные, не прожитые, не прочувствованные, и отношения-то ихние к идеалам и свободе смахивают на любовь пьяного человека: точно он не сам любит, а по чьему-то постороннему поручению...

Мальчишество это знает и понимает, и потому силу свою показать не вовремя не хочет. Это очень понятно, и обвинять его тут не за что.

Но сила все-таки сила. Признанная ли или только подрывающаяся, она все-таки чувствуется, и чувствуется тем осязательнее, чем вернее ее удары, чем расчетливее она употребляет себя. Видя это, даже посторонний, даже равнодушный зритель — и тот не пройдет мимо, а скажет: да, это сила! Что же касается до торжествующей лжи, то она положительно почувствует панический страх.

В этом отношении мальчишество действует из рук вон плохо.

Во-первых, оно решительно не признает жизни текущей и не хочет иметь с ней никаких счетов. «Жизнь, которую мы

знаем,— говорят они,— и с которой имеем дело, есть старый выветрившийся хлам; кроме того что он отвратителен, он еще и бесполезен, потому что не заключает в себе ни одного принципа, из которого, как из исходного пункта, можно бы идти вперед. Все эти уступки, все эти подачки, бросаемые ею на потеху глупцам, более ничего как ложь, с помощью которой она хочет отвести глаза. Надобно обратиться к идеалам, надобно забыть об отживающих формах жизни, надобно так устроить, чтоб и самое воспоминание об них не сквернило честного воображения. В идеальном созерцании есть нечто освежающее, окрыляющее человека. Что нужды, что атмосфера заражена миазмами,— мы махнули на это рукой и совершенно равнодушно смотрим на то, сколько погибнет людей жертвою этой удушливой атмосферы. Быть может, мы и сами погибнем,— ну, и погибнем: мы и на это готовы махнуть рукою. У нас имеются готовые идеалы, в которые мы веруем и вне сферы которых ничего не признаем».

Во-вторых, мальчишество подозрительно. Отрекаясь от жизни само, оно и от других требует такого же отречения, а если эти другие не отрекаются, то царапает их. Таким образом, оно само себя уединяет, само отталкивает от себя союзников.

Поговорим об этих пагубных качествах.

Мелодия развивается просто и ясно: махни рукою на жизнь, потому что она не стоит того, чтобы с ней связываться; прикосновение к ней может только замарать честного человека; обратись к идеалам и живи в будущем. Нет спора — это прекрасно; оно не марко, потому что избавляет от необходимости копаться в земле; оно возвышенно, потому что обращение с идеалами облагораживает душу и сердце. Но главное достоинство этой теории заключается все-таки в том, что она позволяет человеку жить безгорестно и наслаждаться собой, сколько душе угодно. Однако тут есть недомолвка. Несомненно, что текучая жизнь изобилует мерзостью и что формы ее, перед судом безотносительной истины, равно несостоятельны, но на практике дело складывается несколько иначе. Вот мерзость мерзкая, и вот мерзость еще мерзейшая: я оставляю за собой право выбора и избираю просто мерзкую мерзость предпочтительно перед мерзейшею. Я не только не отрицаю идеалов, но даже нахожу, что без них невозможно дышать, и за всем тем не могу, однако, признать, чтобы мне следовало жить только в будущем, потому что у меня на руках настоящее, которого мне некуда деть и которое порядочно-таки дает мне чувствовать себя всякого рода тычками и пощипываниями. Куда я уйду от него? запрусь ли? стану ли в стороне?

Но ведь надо же понять, что запереться — значит добровольно обречь себя на нравственное самоубийство, значит добровольно отказаться от всяких надежд на осуществление идеалов. Очевидно, что это плохая услуга даже тому делу, которому мы претендуем служить. Как бы ни было прекрасно будущее, но не сделается же оно само собой, но и оно должно быть результатом соединенных усилий. Покуда мы будем ревниво оберегать идеалы, как исключительную нашу собственность, покуда мы не объявим себя в пользу деятельности воинствующей, мы напрасно станем кичиться нашими честными убеждениями, напрасно станем выставлять вперед наше чистое существование. Убеждения эти, не проникнув в действительность, навсегда останутся мертвою буквой, существование это пройдет бесследно и не прольет ни одного луча в тот густой мрак, который тяжелым покровом налег на все живущее. Во имя одного этого простого расчета, нельзя бросить жизнь на жертву роковой силе, нельзя устранить себя от участия в ней.

Что пользы в том, что я запрусь у себя дома и буду хорошо мыслить? Прекрасные мысли мои сделают мне честь... а дальше? А дальше узкий и незамысловатый эгоизм, дальше холодная и рассчитывающая робость души, боящейся прикоснуться к действительности потому только, что она может помять наши идеалы, а пожалуй, забрызгать и нас самих. О, черт побери! да забрызгивайтесь же, да ступайте же смело в грязь, да падайте и погибайте, но действуйте, но не довольствуйтесь юпитеровским плеваньем на жизнь, когда она сама признает себя несостоятельною, когда она сама взывает к вам о помощи! Вам страшно, что вы можете погибнуть; вам еще страшнее, что вы можете замарать ваши светозарные одежды; но нам, черни, это ничего; нам светозарные ваши одежды не кажутся светозарными; мы прямо и откровенно говорим: падайте, погибайте, окунайтесь в грязь — мы от этого пожнем сторицею!

Быть может, вы думаете, что можно от действительности перейти к идеалам,— ну, и переходите. Мы, люди слабые и простые, мы, люди до такой степени засоренные старым хламом, что самые жгучие вопросы жизни лишь мало-помалу пролагают себе сквозь него дорогу, мы охотно пойдем туда, куда вы нас поведете. Мы пойдем за вами, потому что в нас уже шевелится тревожное чувство будущего, потому что в сердцах наших уже горько и болезненно откликаются стоны прошедшего и пени настоящего; но не накидывайтесь же на нас, не грызите же нас за то, что мы часом поскользнемся, а часом и совсем упадем.

Но нет, вы сами хорошо понимаете, что по дороге к идеа-

лам нужно еще через множество луж перешагнуть, чтобы выбраться на сухое и ровное место. Потому-то вы и не делаете ничего, потому-то вы и создали себе теорию благородного сиденья сложа руки. Если б вы могли обойти жизненные перерывы, вы обошли бы их, вы, без лишних разговоров, приступили бы к предметам ваших вожделений, но вас останавливает... вас просто останавливает подъем, который находится между вами и ими. Подъем этот крут и безобразен; на протяжении его находится много мерзости; истина, красота и счастье живут за подъемом, где витает и душа ваша... Не могу воздержаться, чтобы не рассказать по этому случаю анекдота.

Жил некогда в стране египетской муж честен и угоден. Возгнушался он мирской прелестью и возжелал жития нуждного, жития пустынного. Возжелал акрид паче сота медвяного и гнилой воды болотной паче пьяного пития. И пошел в пустыню, и поселился у подошвы некоей горы. Вот только однажды, попостившись довольно и желая испытать силу благодати, в нем действующей, он вышел из пещеры и обратился к горе: «Горо! приди ко мне!» — но гора ни с места. Он в другой раз: «Горо! приди ко мне!» — но гора опять ни с места. Он в третий раз, и опять с тем же успехом. Но пустынник не пришел в отчаяние и не пошел сам к горе, но прилежнее прежнего начал совершенствовать себя и воспитывать в своем сердце семена благодати.

«И бе той муж свят!» — прибавляет предание.

Да за что же? да ведь гора не сдвинулась? ведь гора не пришла? Оно конечно, не пришла, говорят толкователи предания, но каково благородство, какова верность своим убеждениям!

О, мальчишки! подобно мужу честну, вы взываете к горе: «Горо, приди к нам!» — и когда гора не приходит, не идете к ней, но удаляетесь в пещеру. Это очень благородно и очень покойно; коли хотите, это даже красиво, потому что позволяет принимать позы угнетенной невинности; но как это бесполезно, как это нелепо... Боже, как это нелепо!

. . . .

Жизнь страшна; на поверхности ее нет места, где нельзя было бы не поскользнуться, не оступиться, не упасть. В данные минуты она представляет собой сплошной обман, сплошную массу противоречий и заблуждений. Но не ответить на призыв ее, не окунуться в этот колышущийся омут — все-таки невозможно.

Насилие не упразднено, а идеалы далеко; даже посредствующее звено между вчерашним насилием и грядущими идеалами не выработалось, не определилось. Мы или слишком

много мечтали об идеалах, или слишком охотно удовлетворялись насущными дарами жизни, но отнюдь не думали о том, что между этими двумя крайними пунктами лежит целый путь, который надлежит пройти и который остается неосвещенным. Увы! здесь все неизвестность, все смешение! нечто шевелится на дне, даже на самой поверхности по временам показываются пузыри, но что это за движение, что это за пузыри — различить трудно.

А дело необходимо, то будничное, некрасивое дело, которое одними своими мелочами может истратить целую жизнь человека. Оно необходимо уже по тому одному, что мысль, как бы она ни была грандиозна, но покуда сосредоточена в кабинете, покуда обращается в тесном кругу знакомых и не пущена в толпу, до тех пор она не мысль, а одинокое, любострастное самоуслаждение. Дело необходимо хотя бы для того, чтобы раздавить гидру прошлого...

Куда же идти? как действовать? что предпринять?

Нельзя сказать себе: пойду направо, потому, дескать, что там дорога не захламощена корягами и нет засасывающих болот. Кроме того, что мы скоро убедимся, что и там коряги, и там болота, но самая дорога, незаметно для зрения, приобретает такое уклонение, что деятель, искренно мечтающий о том, что идет направо, внезапно видит, что он совсем не там, что он, против воли, взял влево и, вместо предполагаемого храма утех (монплезир) и отдохновения (монрепо), со всего размаха разбежался в огромную, дымящуюся кучу навоза... Каков сюрприз!

Нельзя сказать себе: до конца жизни буду петь одну и ту же песенку. Много звуков, много песен раздается в природе, и как ни разнообразны они, но в общем все-таки подчинены известному строю, и этот строй насильственно втягивает в себя все отдельные, вступающие в хор голоса. Тщетно усиливается упрямый певец выделывать любезное сердцу колено — увы! слух его неприметно развращается раздающимися окрест звуками, и неприметно же, против воли, голос следует за указаниями слуха.

Нельзя сказать себе: выйду к толпе и увлеку ее в ту или другую сторону. Толпа не вдруг и не всю открывает грудь свою; как ни распутна она с первого взгляда, но любит, чтобы за ней походили, чтобы к ней относились вежливо. Надобны сверхъестественные силы, чтоб увлечь толпу сразу, а много ли найдется деятелей, обладающих этими силами? Огромное большинство деятелей — простые труженики, для которых толпа представляет любезнейший и сподручнейший предмет разработки, но которые и сами еще недавно были в толпе. Толпа

ревниво оберегает предания прошедшего и туго решается на риск, потому что уже не мало она порисковала на своем веку, но мало извлекла из того для себя пользы. Мудрено ли, что человек, имеющий дело с этою плотною массою, неслышно для самого себя проникается инстинктами толпы? Мудрено ли даже, что, вместо того чтоб увлечь толпу за собою, он сам станет в ее ряды? Но не смейтесь ему, не порицайте его слишком поспешно, ибо он не пропал без вести. Положим, что сам он засосался на дно, положим, что он и не выплывет никогда, но мысль, им брошенная, все-таки принесет свой плод, но минутное противодействие, оказанное им толпе, все-таки сделает ее более податливою... хотя бы для последующих деятелей. В этом случае он не более как жертва, принесенная новому Ваалу, но жертва небесследная, ибо кровь ее утучнила почву.

Да; страшна жизнь, и не легко выносится бремя ее! Деятели, которые обладают достаточными для того силами, называются героями, а звания этого, как известно, у нас и по штату совсем не положено.

Но допустим, что вы правы. Допустим, что деятельность, которой судьба вас сделала зрителями, есть деятельность призрачная, что то, чего человек, ценою неимоверных усилий, достиг сегодня, еще вчера, еще прежде рождения на свет, уже носило в зерне своем все признаки несостоятельности,— что ж из этого? Неужели вы не видите, что это несостоятельное, это отжившее и выдохшееся тем не менее давало опору для жизни целого общества, что здесь самая преждевременная несостоятельность есть уже результат весьма положительный, есть первая победа жизни над смертью, первый шаг к упразднению ее. На развалинах старой истины зреет новое слово, и чем скорее оно зреет, тем скорее выкажется, в свою очередь, и его запоздалость, тем ближе будем мы к идеалам.

Возражают: «Но для того, чтобы бороться с действительностью, нет никакой надобности входить в соглашение с жизнью, достаточно воздерживаться от участия в ней». Согласен. Воздержание также великая сила, воздержание также протест, и притом страшный протест против торжествующего насилия. Встречая на пути своем только пустоту и инерцию, не находя нигде пищи для новых подвигов, насилие придет в смущение и поймет, что цикл его вакханалий истощился. Но для того чтоб эта инертная сила была действительною, все-таки необходимо предварительно разработать почву для нее. Какая польза от того, что я один или сам-друг буду воздерживаться, когда вокруг меня целые стада простирают руки насилию? Какая польза от того, что я уступлю свое место Сеньке

Бирюкову, а сам брезгливо стану в сторонке от деятельной жизни, когда упомянутый Сенька готов за двугривенный на всякий подвиг, служащий на пользу и вящее процветание текущему миросозерцанию? Не вчера ли мы видели, как честные бойцы падали в борьбе и на трупы их, мгновенно, неведомо из каких трущоб, налетали громадные стаи галок? Не вчера ли мы видели, как Сенька Бирюков, почуяв верхним чутьем мертвечину, уже протискивался, задыхаясь от радостного волнения, сквозь тесную толпу, чтобы поскорее занести ногу на упраздненное место, предварительно забросав его своим собственным навозом? Еще не умер человек, а вороны уж сотнями налетели на него, и разевают сладострастно носы, и, подняв кверху головы, жадно смакуют...

Видите ли вы радость злобы дня при этом неслыханно безнравственном зрелище? Слышите ли торжествующие клики ее?

Покуда мы не освободились от вопроса об личной обстановке, покуда эта последняя стоит на первом плане, никто не имеет права отказываться от участия в жизни, как бы она ни была преисполнена лжи и нечестия. Жизнь сама, изнемогая под бременем насилия, взывает о помощи, и тот не исполнит своего долга как человек, кто отвратится от нее.

Но для того чтобы успешно бороться с злом, необходимо, по крайней мере, знать, в чем оно состоит, необходимо изучить его позиции, его сильные и слабые стороны,— одним словом, необходимо самому пожить в этом зле. Мудрый стòрожко и тихо подступает к злу; он гладит зло по головке, играет роль ложного друга и потом, вызнав от него все, что на потребу, немедленно и без малейшего опасения сделать фиаско плюет ему в самое лицо. Зло, как сила торжествующая, доверчиво, и потому тут ошибки не может быть. Уличенное врасплох, застигнутое в своем собственном логовище, зло трепещет и немеет. Оно чувствует, что перед ним стоит судья и властелин его, что погибель пришла к нему не откуда-нибудь извне, а из его собственных внутренностей... и умирает, умирает, не возражая... И нет нужды, что для многих из собравшихся на борьбу жизнь будет рядом ошибок, источником падений, а быть может, и конечной гибели: если один из них сотрет главу змия — и того достаточно. Значение прочих — значение простых исследователей в стране неизвестного. Несмотря на кажущуюся некрасивость своего труда, исследователи эти встречают на пути своем гораздо больше препятствий и достигают благотворнейших для человечества результатов, нежели знаменитые открыватели истоков Нигера, которых подвиги признаются, однако же, исполинскими. Пускай они ошибаются, пускай погибают сотнями и тысячами, но каж-

дый из них может поставить в заслугу себе, что успел определить хотя небольшой признак области неизвестного; но каждый гибелью своей утучнил почву будущего.

Мальчишек губит себялюбивая брезгливость мысли. Ставши на высоту отдаленных идеалов, они забывают, что у масс на первом плане стоит требование насущного хлеба.

Скажу более: презрение к массам слышится в этом высокомерном отношении к жизни. Чувствуется, что здесь массы представляют нечто постороннее, что здесь дело идет не о счастии и успокоении их, а о торжестве той или другой идеи, для которой массы нужны не более как в качестве anima vilis [1], то есть для производства над ними всякого рода операций. Массы живут ближайшими идеалами, массы ищут не исцеления, а облегчения тех вековых болей, которые так упорно грызут их доднесь (уж где же совсем вылечиться: хоть бы маленько-то полегчило! — говорят они). Что сказал бы голодный, если б воображение его поманили тонким французским обедом, вместо того чтобы просто-напросто утолить его голод куском черного хлеба? Он сказал бы, что с ним сыграли злую и непристойную шутку, а положения его не улучшили ни на волос. Дайте же массам сначала хоть то, чего они сами неотложно просят, без чего они жить и дышать не могут, и потом развивайте вашу мысль на досуге. А может быть, это дальнейшее воспитание укажет на формы жизни, совершенно отличные от тех, которые составляют предмет ваших мечтаний и надежд!

Массы спеленаны и придавлены: снимите же с них гнет, распеленайте их, и если не можете сделать это добровольно, с обоюдного согласия, сделайте исподтишка, устройте воровским образом. Пожалуйста, не стесняйтесь! пожалуйста, не восклицайте: fi, quelle horreur! [2] Смело могу ручаться, что история простит вам прегрешение ваше.

А как же вы устроите это воровство, если сами не будете находиться в центре деятельной жизни?

Увы! мне сдается, что в вас еще действует древнее самодурство. Вековой опыт убедил вас, что массы безгласны, что из них можно кроить всякую штуку, что их можно топтать сколько душе угодно, и хотя вы не высказываете всенародно такого убеждения, хотя вы даже не сознаете его присутствия в себе (в этом отношении отдается вам полная справедливость: вы искренно и горячо сочувствуете массам), но вы бессознательно носите его с собою, но оно впилось в вас, но оно, вместе с прочей закваской, залегло далеко в самую глубь вашего

---

[1] подопытного животного.

[2] фи, какой ужас!

существа. «Нет более геморроя!» «нет плешивых! или мазь для ращения волос»,— твердила история в течение многих веков и без лишних церемоний тут же прилагала к делу мнимо-целебные свойства своих секретов, не открывая, однако ж, никому их сущности. Пользуясь этим примером, и вы провозглашаете себя обладателями секретов, и жалуетесь на несправедливость судьбы, связавшей вам руки. Не будь этого последнего условия, вы, пожалуй, с не меньшею бесцеремонностью потщились бы прилагать целебные свойства ваших секретов, вы, пожалуй, готовы были бы задушить того грубияна, который нашел бы лучшим для себя обойти вашу лавочку и обратиться за исцелением к иным шарлатанам? Будь счастлив и молчи: вот теория, породившая ту горькую практику, которой мы состоим счастливыми свидетелями, даже до сегодня.

Но подумайте же, что за страшная вещь этот чудовищный искус безмолвия! Подумайте, сколько боли должно было накипеть за ним, сколько крови источиться капля по капле во время этого векового подплясыванья! Или опять начинать сначала, или, лучше сказать, продолжать никогда не прерывавшуюся практику? Или опять кроить и урезывать до тех пор, покуда и впрямь не останутся одни лоскутки?

Массы сами желают устроить свою жизнь и, до поры до времени, требуют от вас одного: отгоняйте тех, которые мешают им, а паче всего не мешайте им сами. Они требуют от вас деятельности чисто отрицательной, но и для этой деятельности нужно еще много черной работы, нужно много такого, от чего подчас так несносно воротит сердце честного деятеля. Какая надобность массам до того, что из этой работы могут возникнуть ошибки и уклонения от прямой дороги, если таково роковое условие деятельности, если ошибки выкупаются общим подвигом жизни? Массы незлобивы; они не помнят случайных ошибок и долго хранят в благодарной памяти своей имена тех, которые служили им... даже своими заблуждениями...

<V. СЕНТЯБРЬ 1863 ГОДА>

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ.— НЕКОТОРЫЕ ПОЧТИ НЕПРЕОДОЛИМЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ, ВСТРЕЧАЕМЫЕ ФЕЛЬЕТОНИСТОМ.— О КРАСНОРЕЧИИ, КАК О СИЛЕ ВРОЖДЕННОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ.— НЕЧТО О НЕОБХОДИМОСТИ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫМ.— ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОХОД ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ.— КАК ПРИХОДИТ СТАРОСТЬ.— ОДНО СЛОВО ХРОНИКЕРУ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

Опять возвращаюсь к тебе, читатель, но заранее прошу не сетовать на меня, если я буду говорить уже не тем спокойным и беспечным тоном, каким говорил до сих пор. Это истина всем известная, что «Современник», в котором я пишу мои заметки, бывает здоров и цветущ только тогда, когда небо безоблачно, когда фонды на бирже стоят твердо и в обществе возникают веселые вопросы и вопросцы ко благу общему. Но он бывает тощ и беден, когда небо стоит грозное, когда в делах и предприятиях царствует застой, а вопросы и вопросцы прячутся в самую глубь общества, словно боятся, чтобы не окатило их холодным ливнем. В такое неблагоприятное время светлые литературные ручьи возмущаются, и на поверхности их появляется неизвестно откуда берущаяся негодная накипь; в такое время над словесною нивою реют жадные стада литературного воронья и строго блюдут за чистотой русской мысли и языка; темные духи, когда-то осмеянные и опозоренные и вследствие того скрывшиеся на дно горшка, вновь заявляют о своей живучести, вновь выползают из темниц и, появившись на свет божий, припоминают старые счеты; забытые кучи завалявшегося хлама начинают двигаться и вопиять о поруганных правах своих... Понятно, что простой и невин-

ный литературный орган, как «Современник», орган, чуждый каких бы то ни было политических соображений и преследующий одну цель — исправление нравов, не может не чувствовать себя неловко на этом странном пире, где царствует ревнивое соглядатайство и шумным потоком ревут праздные речи.

Тем не менее, как ни горько зрелище такой повальной нравственной и умственной смуты, в нем есть, однако же, своя сторона поучительная и даже утешительная. Поучительность его заключается, во-первых, в том, что оно научает с меньшею строгостью относиться к людям, занимающимся так называемыми «вопросцами». Сами по себе эти «вопросцы» имеют вид пустяков, да в сущности и составляют совершеннейшие пустяки, но по соображению с другою деятельностью, развивающеюся вне этих пустяков, они все-таки представляют нечто похожее на содержание, а положительно полезная их сторона заключается в том, что занятие ими приучает людей с гадливостью смотреть на мир бездельничества и сплетен. Я сам не раз склонен был признать призрачною ту крохотную и произвольную хлопотню, которой предавалась наша литература за последние семь лет, но теперь, видя на деле, какие выползают на место ее из нор чудовища, я готов принести искреннее раскаяние и усердно вопиять ко всем нашим лилипутам гласности и устности: «Что ж вы уныли, милые дети? дерзайте, заглушите вашим дружным писком концерт чревоугодничества». Во-вторых, это зрелище, примиряя нас с вышеупомянутыми лилипутами, в то же время научает быть более строгими к тем действительным источникам злокозненности и ехидства, относительно которых мы всегда были слишком робки и податливы. Это вообще с нашей стороны большая и непростительная ошибка; когда уличенное ехидство стушевывается перед нами и просит прощения, мы охотно верим его раскаянию и, вследствие ли презрения или вследствие преступной небрежности, еще охотнее набрасываем покров забвения на прошлое. Но теперь, искушенные опытом, мы будем знать, что ехидство не умирает и что, таясь под пеплом, оно сильнее, нежели когда-нибудь, питает огни злобы и ненависти, и ждет только первой нашей оплошности или первой несчастной случайности, чтоб выйти наружу. Вот поучение. Что же касается до утешительной стороны зрелища, то она очевидна для самого поверхностного наблюдателя. Уймутся дожди, просветлеет хмурое небо, и все эти пузыри лопнут, все эти белые, здоровенные дождевики мгновенно позеленеют и обратятся в прах...

Знаю, что читатель вправе требовать от меня обзора нашей общественной жизни за все прошлое лето, но я очень скромно признаю себя несостоятельным удовлетворить такому требованию.

Пускай, впрочем, знает читатель, что я вообще имею право быть только игривым и что есть такие вещи, к которым прикасаться игриво нельзя. Следовательно, для того чтоб скомпоновать мою хронику, я обязываюсь прибегнуть к самодеятельности моего духа или — иначе — выдумывать такие дела, каких никогда и на свете не бывало и какие могут существовать только в человеческом воображении, доведенном до совершенно порожнего состояния. Понятно, что вымыслы мои будут кратки, отрывисты и бессвязны; понятно, что они будут только печальным порождением необходимости периодически что-нибудь измышлять для утешения праздных читателей. Итак, будем выдумывать.

Но прежде всего я должен оговориться, что выдумывать очень трудно. Как ни высоко парит моя мысль, предоставленная своему собственному произволу, но все-таки это парение не так высоко, как парение мысли г-жи Павловой, гг. Альбинского, Ф. Иванова и других привилегированных стихотворцев «Русского вестника». Говоря по совести, эти господа едва ли не одни в целом мире могут представить совершенно неоспоримые доказательства, до чего может доходить высокая самодеятельность человеческого духа. Например, г. Альбинский в недавнее время («Русский вестник» за июль (случившийся в сентябре) 1863) произнес следующих два стиха:

И тянется лесок широкой темной гранью
По скошенным лугам, по золоту полей.
Брожу задумчивый...

Гм... лесок тянется по золоту полей! да; тут-таки есть от чего задуматься! Конечно, мысль самая беспардонная не объяснит себе, каким путем она взошла на такую вышину, с которой усматривается лес, растущий на золоте полей, но уж если она взошла, то весьма естественно, что не видит оттуда ни неба, ни земли, а видит одну степь беспредельную, да и ту не настоящую, а наизнанку вывороченную. В этой степи баран пасет пастуха, сын родит отца, черная блоха несет на хребте своем белую корову, и лесок тянется по золоту полей... Ничему этому со стороны г. Альбинского я не удивляюсь, но лично взойти на такую вышину положительно не дерзаю. Не знаю, как это делается, но мысль моя действительно сгоряча взвихрится и взмоет, как голубь, кверху, а потом нет-нет да и опустится опять на землю. Тут ее, голубушку, и сцарапают...

Я не могу даже рассказать о том, как г. Краузе поцеловал на улице одну даму, за которою следовал лакей; как один извозчик сперва обнял на улице одну девицу, а потом ударил ее кулаком по лицу; как бассейный дилижанс отшиб дышло у вагона конной железной дороги... потому что все это факты, факты и факты!

Факт положительно убивает меня; чуть только мысль моя начинает взмывать кверху и описывать круги в безвоздушном пространстве, как факт, словно пуля, треснет ее прямо в упор и сразу перешибет оба крыла. И много бессонных, мучительных ночей провел я, придумывая, что бы такое сделать, чтобы сподобиться и просветлеть духом до того, чтобы ничто земное на него не действовало, чтоб фельетон мой реял в воздухе, как тот резвый, беспечный мотылек, который, по свидетельству г-жи Павловой, питается одними маковыми росинками?

Казалось бы, что ближайшее и самое действительное средство — это просто совсем уничтожить факты. Если фактов не будет, то само собой исчезнет и вредоносное их влияние на мысль,— это ясно. Но, с другой стороны, возражают, что на свете есть факты похвальные и есть факты вредные, из которых первые уничтожать отнюдь не следует. Так, например, если б г. Краузе не поцеловал дамы, за которой следовал лакей, то это был бы факт похвальный; если б бассейный дилижанс не отшиб дышла у невского вагона, то и это был бы факт не предосудительный. Поэтому, говорят, надо уничтожать лишь непохвальные факты, а похвальные оставлять в своей силе, ибо последние не только не препятствуют окрилению мысли, но наипаче тому споспешествуют. Гм... я это понимаю; но ведь г. Краузе все-таки даму поцеловал? но ведь извозчик все-таки треснул кулаком по лицу беззащитную девицу? Научите же меня, как могу я уничтожить эти факты, которые, как уже совершившиеся, не в состоянии уничтожить сама полиция? В ответ на это я встречаю одно гробовое молчание, которое, однако ж, разрешает мой вопрос очень громко и ясно...

Но если нет средств уничтожить факты совершенно, то, быть может, найдутся средства постепенными мерами укрепить дух до того, что внешний мир окончательно перестанет на него действовать. Что до меня, то я знаю только одно такое средство — это прилежно читать новый роман г. Писемского «Взбаламученное море». Нет сомнения, что тот, кто в состоянии выдержать несколько таких чтений, кто исподволь приучит себя к той атмосфере, которая лучеобразно от него распространяется, тот может сказать с уверенностью, что укрепил свой дух до того, что и запах гутуевских боен на него не подейст-

вует... Но вопрос в том, много ли найдется людей, одаренных подобною решимостью? И не служит ли здесь исключение лишь блестящим доказательством той истины, что вообще геройство есть вещь сомнительная, и притом сопряженная с неприятностями, которые, вдобавок, еще ни к чему не ведут?

Наконец, есть и еще средство, открытием которого я обязан московской газете «День». Все прошлое лето я предавался усиленному чтению «Дня»; все лето старался проникнуть в смысл таинственных загадок, печатаемых на его страницах, и наконец-таки проникнул. Я понял, во-первых, что такое «дух жизни», и что такое «жизнь духа», и во-вторых, я понял, что формально нет никакой трудности говорить о предметах, вовсе не говоря об них, что собственно и составляло предмет моих поисков. Сила, которая попускает человека совершать подобные подвиги, называется силою красноречия, и центральное ее депо находится в «Дне».

Но предмет этот так занимателен и притом избавляет меня от таких несносных затруднений в будущем, что я решаюсь остановиться на нем с сугубым вниманием.

Когда преподаватели реторик повторяют перед нами известное выражение *poëtae nascuntur, oratores fiunt*[1], то мы верим им на слово, верим по привычке верить всему, что ни скажут старшие. Однако опыт доказывает, что выражение это совсем не верно и что сделаться оратором, не родившись им, точно так же невозможно, как невозможно сделаться лгуном, не имея к лганью врожденного расположения. Сущность красноречия заключается в том, чтобы совершать несовершимое и прозревать туда, где ничего в волнах не видно; понятно, что для выполнения такого подвига нужно, чтобы в этом принимала участие сила совершенно независимая, сила сама себя питающая и сама же себя поедающая. Такою силою и является именно красноречие, или, лучше сказать, искусство вести такие устные и письменные беседы, которые выслушиваются и прочитываются с приятностью, но в которых между тем нет никакой возможности найти что-либо похожее на мысль.

Следовательно, фигуры и тропы, которым нас обучали в детстве, заключаются в нас самих. Наука в этом случае занимается констатированием факта, уже предсуществующего; она подмечает все реторические волдыри, которые таятся в глу-

[1] поэтами родятся, ораторами становятся.

бине человеческого существа, называет их настоящими именами и говорит: вот этим волдырем ты можешь воспользоваться таким-то образом, а вот этим — таким-то. Если ты, в сущности, не имеешь никаких чувств, ни дурных, ни хороших, но хочешь выказать возвышенную душу, то для достижения этого можешь прибегнуть к фигуре единоначатия и к фигуре усугубления; если ты нимало не остроумен, но желаешь показаться таковым, то можешь прибегнуть к фигуре умолчания и удержания. Так как фигуры эти живут в самом тебе, в той красноречивой сущности, которая заменяет для тебя и мысль и чувство, то достаточно самомалейшего усилия, чтобы достигнуть желанной цели.

Например, если б я мое обозрение начал таким образом: «Не знаю, известно ли вам, читатели, какую эпоху переживает в настоящее время Россия?» — конечно, слова эти, с точки зрения внутреннего содержания, были бы пустым празднословием (кому же не известно, что Россия во всякое время какую-нибудь эпоху да переживает?), но если взглянуть на такой приступ с точки зрения красноречия, то он не только возможен, но даже заслуживает всяческого поощрения, ибо представляет совершенно правильную фигуру устрашения. Заручившись ею, я создаю для себя отличную рамку, которую могу сплошь наполнить произведениями моего реторического существа. Я могу сказать, например, что если вам это известно, то, конечно, вы не раз испытывали, не раз ощущали, не раз себя вопрошали (фигура взволнованной души); но с другой, ничто мне не мешает задаться мыслью, что это обстоятельство вам неизвестно, и в таком случае я получу возможность осыпать вас укоризнами и сказать, что вы оторваны от почвы и стоите корнями вверх (фигура патриотического уязвления). Обыкновенно это делается так: если вы петербуржец, то предполагается, что вам ничего неизвестно и что вы стоите корнями вверх; если вы москвич, то предполагается, что вам известно все и что вы не раз задумывались, не раз ощущали, не раз себя вопрошали и т. д. Все это, разумеется, с моей стороны не больше как произвольное предположение, ибо я сам отлично хорошо знаю, что все это я выдумал, что вы, как и я же, стоите корнями вниз и что, наконец, вы, как две капли воды, точь-в-точь такой же россиянин, как и я сам; но я нарочно притворяюсь, что все сие мне неизвестно, потому что такого притворства требует моя реторическая сущность. Вы скажете, быть может, что такой образ действия равняется толчению воды; что он даже не похвален, потому что взводит на Северную Пальмиру обвинение в несуществующем преступлении; на это я отвечу: что же мне делать! Из меня так и выпирает тропами

и фигурами: не проквасить же мне их, в самом деле, на дне взволнованной души!

Возьмем другой пример. Предположим, что я начинаю свое обозрение таким образом: «Милостивые государи! Русляндия [1] заслоняет от наших глаз истинную, православную, святую нашу Русь»,— я опять-таки знаю, что и это я выдумал, что Русляндии никакой нет, что и Русь была да сплыла, а есть Россия, которую никто и ничто, по причине обширности сюжета, заслонить не может; но вместе с тем я знаю также, что такое начало наверное дает мне возможность со всею безопасностью поместить в моем обозрении и фигуру взволнованной души, и фигуру патриотического уязвления — именно те две ужасные фигуры, которые преимущественно точат мое реторическое существование. И вот я начинаю пространно объяснять, что такое Русляндия и что такое Русь; из объяснений моих выходит, что Русляндия есть нечто такое, что заслоняет Русь, а Русь есть нечто такое, что заслоняется Русляндией,— больше, клянусь, ничего не выходит. Но это нимало меня не смущает, ибо, в сущности, я совсем не о том и забочусь, чтобы из моего красноречия что-нибудь выходило, а о том только, чтобы сказать несколько «жалких слов» и чтобы при этом состояло налицо самое красноречие. Я знаю, что всегда найдутся люди, которые ни одного жалкого слова без умиления проглотить не могут,— на них-то я и рассчитываю. Это люди тоже в своем роде красноречивые, но не могущие выражать свою реторическую сущность потому собственно, что красноречие их, так сказать, бессловесное. Это моя любимейшая публика; я рассчитываю на этих бессловесных ораторов, потому что я, кроме того что оратор до мозга костей, есмь и пропагандист. Я пропагандист фигуры взволнованной души, формулирующейся фразой: «не знаю, известно ли вам, какую эпоху переживает в настоящую минуту Россия», и фигуры патриотического уязвления, формулирующейся целым потоком фраз о различии Русляндии и Руси [2]. В порывах моего пропагандизма,

---

[1] «Русляндия» — это особенная развеселая страна, которую открыли славянофилы. (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

[2] У «Дня» есть еще одна особенно замечательная фигура, называемая фигурою форейтора. В одной из своих руководящих статей он сравнивает Русляндию с форейтором, который, не чувствуя, что постромки, привязывавшие выносных лошадей к экипажу, давно лопнули, мчится сломя голову вперед и вперед. Натурально, экипаж (экипаж представляет собою «древнюю, православную, святую нашу Русь») загруз, а Русляндия, налетевши на косогор, вывихнула себе шею. Положение драматическое, но для обеих сторон равно непользительное. Замечательнее всего, что Русляндия постоянно обвиняется в том, что без оглядки скачет «вперед»... Каков скакун! (*Прим. М. Е. Салтыкова*).

я не оставлю в покое даже малых сих, я посещу земные расседины, я сойду в ад, я пройду сквозь иго цензуры, но жив не буду, если не напою всех и каждого от струй моего красноречия.

Третий пример. Я могу начать свое обозрение еще и таким образом: «Дело русского народа — мое дело; знамя русского народа — мое знамя; я русский». Я вне себя от удовольствия, что бог привел мне это выговорить, потому что таким началом я вношу в область русского слова совершенно новую фигуру, фигуру «оттолчки», доселе употреблявшуюся лишь в соловьином пении (фигура эта изобретена мною с тою целью, чтоб публика постоянно слышала стук, а толку не видела). И если вы попросите меня, читатель, чтоб я объяснился категорически, чтоб я растолковал, что такое это за «дело» и «знамя» русского народа, о которых я говорю, я опять-таки отвечу вам: «дело русского народа — мое дело; знамя русского народа — мое знамя; я русский»,— и найду, что ответил совершенно вразумительно. И напрасно вы будете говорить мне, что понятие о «знамени» понятие сбивчивое; что в узаконениях насчет этого прямых указаний нет, а ученые специалисты находятся по этому случаю в постоянном друг другу противоречии и даже в жестокой взаимной вражде. Напрасно будете вы говорить, что одно знамя вручает русскому народу Б. Н. Чичерин, другое — М. Н. Катков, третье — А. А. Краевский (А. А. полагает, что можно совсем без знамени, но ведь и это тоже своего рода знамя). Все это известно мне никак не менее вашего, но интересы моего реторического существа заставляют меня забыть на время эти соображения и притвориться невеждою. Ибо куда же бы я девался в противном случае с моею фигурой «оттолчки»? Куда бы я ее поместил? А оставить ее в груди тоже невозможно, потому что это своего рода рак...

О боже! да и тремя ли только приведенными выше примерами исчерпываются поводы для моего красноречия! Разве я не могу найти их на каждом шагу сотни и тысячи? Разве я, так сказать, не попираю их ногами?

Поймите, что здесь идет дело лишь о том, чтобы провести время, чтобы употребить в дело один из тех булыжников красноречия, которых запас я постоянно держу у себя за пазухой, чтобы по временам метать ими в русскую публику.

Главное заключается в том, что я вышел на ровную дорогу и могу, как паук паутину, беспрепятственно испускать из себя красноречие. Буду откровенен: хотя я и ратую против Руслияндии, но, в сущности, она мне совсем не противна. Мне даже жаль, что она смотрит на меня искоса; я даже уверен, что это происходит от недоразумения, потому что дай она мне высказаться до конца, она увидела бы сама, что мы с нею желаем

одного и того же. Чего я желаю? чего добиваюсь? Я желаю и добиваюсь для себя только одного: чтобы мне не препятствовали употреблять слово «Русляндия» — что же может быть невиннее этого желания! Предположите даже, что это с моей стороны каприз, отчего же не допустить и каприза, если он никому не наносит вреда? Говорят, будто я смотрю как-то исподлобья, как будто чем-то недоволен, как будто желаю произвести какой-то «хаос-кавардак»! да поймите же наконец, что это с моей стороны только будирование, что это просто милая шалость, результат желания занять какое-нибудь положение в обществе. Сегодня я будирую, завтра прихожу в восторг, послезавтра опять будирую, потом опять прихожу в восторг. На свете сем вообще нет ничего вечного, а все, напротив того, временное, непрочное и преходящее; а так как чувства мои в своих проявлениях следуют общим жизненным законам, то понятно, что и они имеют характер временной и постоянно идут колесом. Вот и все. Опасности здесь никакой не может быть, ибо и будирования и восторги, в сущности, выражают лишь мой «дух жизни» — и больше ничего... Вспомните тех русских бар, которые, во время óно, отъезжали, за ненадобностью, в Москву.— Разве они не будировали? разве не выражали они свою «жизнь духа»? но разве им запрещалось это? разве кто-нибудь опасался их?

. . . .

Не думайте, милостивые государи, чтобы все рассказанное выше было видено мною во сне: нет, хоть мне и самому казалось, что все это не больше как бессвязный сон, но я бодрствовал. Передо мною и до сих пор лежат номера «Дня» за первую половину нынешнего года, в которых все эти сновидения изложены в подробности и даже называются руководящими статьями. В каких-нибудь немногих номерах газеты совместить столько реторической сущности,— как хотите, а это труд громадный! Целых полгода беседовать с публикой, и не проговориться при этом ничем, кроме чистого красноречия,— как хотите, а это фокус, которому не было доселе примеров ни в черной, ни в белой, ни в голубой, ни в розовой магии! Это магия совершенно новая, а потому пускай она носит отныне название желтой.

Это жаль; «День» был грустен, но я любил его: в нем было нечто свежее, напоминавшее хорошо сохранившуюся средних лет девицу. Несмотря на достаточные лета, это девица еще неопытная, сберегшая во всей чистоте свои институтские убеждения; она во многом не отдает себе отчета и решительно не может себе объяснить, чего хочет и к чему именно стремится, но в то же время и во сне и наяву чувствует, что кто-то ее

хватает, кто-то подманивает, а потому не хотеть и не стремиться не может. Это придает какую-то трогательную задумчивость всем ее движениям и сообщает ее душевным помыслам то кроткое постоянство, которое заставляет ожидать жениха даже тогда, когда нет никакой надежды на его появление. Такой орган, от которого всегда пахло бы чем-то кисленьким, решительно необходим в литературе; он представляет в ней вечную нейтральную территорию, на которую по временам отрадно бывает вступить, как отрадно же бывает по временам вспомнить детские годы и сказать себе: да, и я был когда-то ребенком! и я когда-то картавил и лепетал «папа» и «мама»! Я никогда без умиления не мог читать краткие, но сильные premier-Moscou[1], во времена оны периодически появлявшиеся в заголовке «Дня». «Москва такого-то числа и месяца», так гласили эти руководящие статьи,— затем черта,— и ничего больше. Это было так оригинально и вместе с тем так невинно язвительно, что я долгое время был убежден, что это именно самая лучшая манера писать руководящие статьи. Во-первых, тут тонким образом дается знать, что я и рад бы, да не от меня зависит; во-вторых, читатель от этого решительно ничего не теряет. Ведь он наверное знает, что за что бы я ни взялся, о чем бы ни начал говорить, роковая сила все-таки приведет меня к вопросу о различии Руси и Русляндии; следовательно, он может сочинять упражнения на эту тему и без моей помощи.

«День» изменил самому себе; девственность, которой он до сих пор был столь верен, надоела ему. Но и за всем тем, мне жаль «Дня»; то есть мне не столько жаль его самого, сколько моей старой привязанности к нему. Мне даже и теперь кажется, что ежели он хорошенько взбунтуется и свергнет с себя иго красноречия, то будет даже милее той средних лет девицы, о которой я выразился выше с таким сочувствием. Мне кажется, что если он даст себе труд хорошенько размыслить, то непременно придет к убеждению, что эти переходы от будирования к восторженности и от восторженности к будированию не заключают в себе ничего поучительного, что здесь сегодняшняя восторженность служит лишь обильным источником будущих будирований. Он поймет, что нет той силы обстоятельств, которая могла бы столкнуть мысль (если только есть мысль) с того логического пути, на котором она стала. Он поймет... но нет, он ничего не поймет! Он не поймет уже по тому одному, что в раздвоении мысли именно и заключается та сила, которая позволяет ему быть красноречивым во всякое

---

[1] московские передовицы.

время. А так как, с другой стороны, красноречие составляет дело всей его жизни, то возможно ли желать, чтоб он отказался от этого дела и добровольно обрек себя на смерть? Нет, это невозможно, да и несправедливо. Я понимаю, что человек, принадлежащий к известной политической партии, может, убедившись в несостоятельности руководящих ею начал, отказаться от них, но к настоящему случаю это не относится. Ибо, скажите на милость, что ж это за партия такая,— партия красноречия? и куда из нее выйти и с чем в люди показаться?

Итак, секрет открыт. Факт, не дававший мне ни сна, ни покою, факт, подавлявший меня своею конкретностью, уничтожен и посрамлен. Г-н Краузе может, сколько ему угодно, целовать незнакомую ему даму — я не знаю его или, лучше сказать, я отжену его от себя силою моего красноречия. Я пущу в ход фигуру «оттолчки», фигуру «форейтора», фигуру уязвленного патриотизма, и тогда, льщу себя надеждой, что всякий факт отскочит от меня с ужасом и ни один цензор меня не уловит. Не уловит он меня потому, что не поймет, а не поймет потому, что я сам ничего не понимаю из того, что говорю. Коли хотите, я и займусь г-ном Краузе, но займусь так, что среди «форейторов» и «оттолчек» он пропадет у меня совершенно. С помощью красноречия, я говорю не говоря, слышу не слыша, осязаю не осязая, и потом подношу публике кушанье, в котором есть все: и алмазы, и яхонты, и изумруды, но, головой ручаюсь, нет ни малейшего намека на хлеб или мясо...

Что из этого выйдет? спросите вы меня; а мне что за дело до того, что выйдет! Путь мой усыпан розами, и Руслянди (сама Руслянди!) улыбается, читая меня! Пусть говорят, что это путь погибельный и ложный; что, упорствуя оставаться на нем, можно отвыкнуть от прямой и трезвой деятельности и приучиться к непрерывным преувеличениям; пусть говорят, что литература может поучать забавляя, но горе ей, если она будет забавлять поучая,— упреки эти до меня не относятся. Я не поучаю и не забавляю; я не упорствую и не сдаюсь; я просто рею в неприступной вышине над бездною фактов и не признаю из них ни единого. В этом восторженном состоянии, я и сам не знаю, какою фигурой, через мгновение, разрешится моя мысль, но чувствую, что грудь мою саднит, что там что-то зреет и что вот-вот выльется из нее стих:

И тянется лесок широкой, темной гранью
По скошенным лугам, по золоту полей.
Вороны красные и галки голубые
С Русляндией слились в объятья роковые,
Хоть тресни, ничего я здесь не понимаю...

—Когда человек сыт и доволен, когда дела или делишки его пойдут изрядно, то он почти всегда наклонен думать, что этой сытости и довольству не будет конца. Особливую в этом смысле способность оказывают люди, которые любят ловить рыбу в мутной воде и которым такое ловление несколько раз более или менее счастливо сходило с рук. Поприще свое они обыкновенно начинают тем, что прикидываются лазарями, прилежно прислушиваются и приглядываются; но, обделавши с успехом два-три дельца, постепенно ободряются и в скором времени начинают ломаться и кривляться во всю мочь. Опираясь на свой успех, эти люди не только воображают себя великими и непобедимыми дельцами, но, к величайшему и всеобщему изумлению, даже приобретают какую-то олимпическую уверенность в своем бесспорном праве ловить рыбу в мутной воде. Для этих господ общественное бедствие вместо праздника, а чужое несчастие вместо лакомого пирожного: все это мутит воду и позволяет им вылавливать рыбку за рыбкой, рыбку за рыбкой. Если суд не представляет нужных гарантий — это им на руку, потому что потворствует их смелости, запугивая и систематически придавливая ту среду, в которой они действуют. Наружность эти люди имеют самоуверенную, глаза алчные и бесстыжие, нос поднюхивающий, рот широкий, череп непомерно толстый. Внутренние их свойства составляют: крайняя бесцеремонность и полнейшее отсутствие сознания о различии, существующем между добром и злом. Пассивность общества поощряет эти свойства и поселяет в них сладкую уверенность, что такому блаженству не будет ни препон, ни конца. Я знал одного такого господина. Пришел он некогда в Москву откуда-то из-под Полтавы, пришел пешком и, что называется, без исподнего платья,— и что же? послужил в комиссариате, и в каких-нибудь десять лет, с помощию одного нахальства, успел нажить себе несколько домов в Москве и значительный капитал. Теперь живет в Москве, пользуется общим уважением, называет мужиков хамами и ракалиями, занимает какую-то «благородную» должность и по временам даже будирует правительство. Замечательно, что это человек положительно глупый, что все проделки его пошлы и крайне незамысловаты и что все искусство здесь заключается в расчете на чужую честность или на чужую оплошность; но он до того возгордился своей подлостью, до того возвеличился тем, что всякий скорее спешил бежать от него, как от чумы или как от вонючей помойной ямы, что плыл по океану жизни, как оглашенный, на всех парусах и даже рулем править пренебрегал. Эта самонадеянность довела его, однако ж, до того, что он несколько раз был бит, но это бы еще ничего — и самый лов-

кий мошенник всегда рассчитывает на возможность побоев,— главное-то горе его заключается в том, что, с некоторым пробуждением общественного сознания, проделки его стали удаваться все меньше и меньше, и сверх того в сердце поселилось горькое предчувствие, что не всегда же будут судьи судить и рядить по усмотрению и что правде формальной, правде, опирающейся в своих решениях на одну букву, наступит же когда-нибудь и конец.

Бывало, встретишь его на улице, идет он весь в синяках, но веселый и бодрый.

— Ну что, Порфирыч, опять побили?

— Побылы. (Он малоросс, и в качестве угнетенной нации, вместе с немцами, поляками, армянами, нежинскими греками и евреями, считает за долг надувать великорусов при всяком удобном случае; разница только в том, что немцы, армяне, нежинские греки и евреи надувают нас en gros, а поляки и малороссы, как братья по крови, en détail.)

— Что, видно, мошенничать-то уж туго приходится?

— Нычего.

И, сказавши это, смотря по расположению духа, или хихикнет от удовольствия, или же вздохнет потихоньку и прибавит: «Бог ему заплатыт за то, что побыл бедного человика!»

Теперь уж не то. На днях я его встретил: идет, по обыкновению, в синяках, но уже не хихикает, а как-то уныло и жалостно понуривает голову.

— Ну что, опять побили?

— Опять побылы.

И машет рукой, как бы желая сказать: «Это что! послушал бы ты, какую еще штуку со мной отмочили!» Мы идем некоторое время в угрюмом молчании.

— Та не слыхалы лы вы, що там еще за гласность така? — спрашивает он наконец меня.

— А гласность, Порфирыч, такая вещь, при которой мошенничество хотя и возможно, но уже пользуется меньшими льготами, и притом требует значительного ума.

— Ну, так. А можно будет, при этой гласности, старые дела вновь начинать?

— Как не можно; разумеется, можно.

— Да що жь се такэ?

— Да уж там как знаешь, Порфирыч, а прошло твое времечко; ступай Варвара на расправу.

И этот человек, который еще так недавно верил в прочность земного счастия, который не мог пройти мимо чужого кармана, чтобы чего-нибудь не стянуть оттуда, которого нельзя было пригласить обедать без того, чтобы потом не недосчитаться се-

ребряной ложки, теперь сделался меланхоликом и потихоньку ропщет на провидение. Мало того: он даже начинает заигрывать с тою самою гласностью, которой так боится, расспрашивает про нее, говорит: «От-то славна штука!» — и по всему видимо, что изъявляет твердое намерение примоститься к ней. Но этого не будет, я твердо в том убежден. Почему я убежден в этом, я даже не могу себе объяснить, но верю, что чем более будет простора и света для всех, тем большую тесноту ощутят негодяи и жулики (sit venia verbo, как выражаются «Московские ведомости»).

Итак, есть же средство укрощать даже таких огнепостоянных мошенников, которых доселе не укрощали ни брань, ни побои. Это средство должно действовать на них тем погибельнее, что они его не предвидели, а следовательно, и не приготовились к нему. Разумеется, если б они были более предусмотрительны, если б не ослепляла их самонадеянность до того, что они горизонт своих надежд и желаний ограничивали только сегодняшним днем, то их никогда не оставлял бы вопрос: а что, если я попадусь? а что, если меня за эту штуку побьют? и сообразно с этим они обделывали бы свои дела с большею осмотрительностью. Тогда, чего доброго, они могли бы даже и примоститься! Но провидение благо; оно казнит нахала его собственным же нахальством; оно лишает его всякой предусмотрительности и окриляет его ложными надеждами. И таким образом, неслышно и неисповедимо уготовывает ему место в арестантских ротах, где он может упражнять свои способности в более достойной его среде.

«Что же из этого следует? и к чему тут речь о мазуриках и жуликах?» — спросит меня изумленный читатель.

А из этого следует вот что:

1) что не все же говорить о людях честных и обыкновенных, а надо иногда потревожить и жуликов, надо и им сказать что-нибудь в назидание;

2) что не только так называемый жулик, но и всякий другой человек, как бы он ни был сыт и доволен, отнюдь не должен рассчитывать, что этому довольству и сытости не будет конца; это правило, которое не терпит никаких исключений и против которого мы, к несчастию, всего больше грешим;

3) что правило это в особенности обязательно для тех литературных витязей, которые, забывая, что все на свете переходчиво, рубят себе сплеча, что бог на сердце положит; эти люди не должны упускать из вида, что клевета, в каких бы широких размерах и с какою бы бойкостью она ни производилась, рано или поздно все-таки найдет себе неотразимое возмездие.

Затем, благоразумный читатель может вывести из моего рассказа и всякие другие заключения, какие ему заблагорассудится.

Я всегда с удовольствием читаю «Московские ведомости», с тех пор как они перешли в ведение новой редакции. Я люблю следить за прихотливыми извивами человеческой мысли, люблю наблюдать за ее ветреностью и непостоянством, и хоть мне всегда представляется при этом Марина Мнишек (благодарю г. Оптухина (из «Дня») за материал для сравнений), которая, переходя от одного Лжедмитрия к другому, кончила самым злосчастным образом, однако я утешаюсь мыслью, что хорошенькая женщина и в несчастии все-таки остается хорошенькою женщиною, и если не подействует обаятельно на человека, обладающего изящными манерами, то наверное прельстит хоть грубого казака. Искусство выражать одну и ту же мысль на разные манеры и не изолгаться при этом вконец — столь любопытно, что может равняться разве искусству выражать совершенно разные мысли на один и тот же манер. В первом случае читателю кажется, что мысли как будто одни и те же, а между тем они как будто разные; во втором — что мысли как будто разные, а в то же время они как будто одни и те же. Закон, которому подобные мысли следуют в своем течении (ибо в благоустроенном государстве на все свой закон есть), называется законом единообразия в разнообразии, или, что одно и то же, законом разнообразия в единообразии.

Милая ветреность и откровенная, непринужденная кокетливость — вот те драгоценные свойства, которыми эта почтенная газета уловляет в свои сети читателя. Она говорит читателю (особливо если этот читатель сам подписывается, а не пользуется газетой от знакомых): не я обладаю тобой, о возлюбленный! а ты всецело царишь над моими помыслами! если ты думаешь, что дважды два пять,— прикажи! клянусь, никогда иная истина не омрачит столбцов моих!

Не дивись, что я черна,
Опаленная лучами;
Посмотри, как я стройна
Между старшими сестрами.

. . . .

Розой гор меня зови;
Ты красой моей ужален;
Но цвету я для любви,
Для твоих опочивален.

Целый мир пахнул весной,
Тайный жар владеет девой;

Я прильну к твоей десной,
Ты меня обнимешь левой.

Я пройду к тебе в ночи
Незаметными путями...

Вот как благоразумная редакция должна обходиться с своими подписчиками, а не то чтобы грубить и тем паче навязывать им свои мнения. Что же мудреного, что и подписчик не остается нечувствительным к таким ласковым речам, что и он, в свою очередь, пишет в редакцию страстные послания, в которых зовет ее «розой гор» и клянется, что «красотой ее ужален»?

Но и в самом непостоянстве этой газеты есть один предмет, к которому она обращается всегда одинаково, то есть с одинаковою злобой. Предметом этим служит русское молодое поколение, которое обвиняется в революционных тенденциях, которому приписываются всякие антисоциальные намерения, на которое, наконец, указывается как на какое-то пугало, достойное омерзения. Беспрестанно возвращается газета к этому неистощимому источнику своих скорбей и опасений и своею бранью отравляет лишенные волос головы старых каплунов, ее читающих. Каплуны читают и разевают рты, словно туда посылают им любимые их катышки из грецких орехов с творогом; они читают и начинают подозревать, что в собственных их недрах завелось какое-то растлевающее начало, что собственные их дети, молодые каплунята, перестали ходить к обедне, не признают властей и надругаются над священным правом собственности.

— Да ты, точно, не признаешь собственности, Мишук? — спрашивает старый, покрытый плесенью каплун молодого, еще не совсем оперившегося каплуненка.

— А что такое собственность, папаша? — в свою очередь, вопрошает каплуненок, ковыряя в носу и воображая, что собственность и невесть какое кушанье.

— Собственность, мой друг... ну, Христос с тобой! ступай, душенька, поиграй с сестрицами!

И старый каплунище вздыхает свободнее и долго ломает голову над вопросом, что такое приснилось во сне его любимой газете, когда она уверяла, что мальчишки задумывают перевернуть вверх дном любезное отечество? И какое она имела право производить междоусобие и смуту в мирных семействах, поселяя вражду между родителями и детьми? И как она смела дворянских детей «негодяями» и «жуликами» называть? И много еще других вопросов задает себе старый каплунище, и в конце концов постановляет решение не подписываться на

будущее время на «Московские ведомости», а продовольствоваться исключительно «Сыном отечества». Да этот исход еще самый благоприятный; другой каплун, позадорнее, пожалуй, и сатисфакции от редакции потребует за то, что осмелилась кость от костей его «жуликом» обозвать.

Много на своем веку острых слов произнесла почтенная газета в назидание современному русскому молодому поколению, но, конечно, ни в ней, ни в «Русском вестнике» не появлялось ничего такого, что замысловатостью своей подходило бы к выходке, помещенной в 187 № «Московских ведомостей».

Непрерывный процесс, который ведут с молодым поколением наши журнальные борзописцы, наводит меня на разные размышления. Ведь и они когда-то были людьми, и они во что-то веровали и ходили, не шатаясь по воле ветров. Какая таинственная сила заставила их переродиться до того, чтоб утратить даже возможность постигать смысл проходящих перед нами явлений? Какое мрачное колдовство до того засыпало мусором их память, что собственное прошлое является перед ними точно чужое?

Думаю я, что происходит это довольно просто. Выше я сказал, что когда человек сыт и доволен, то он склонен думать, что этой сытости и конца не будет; нечто подобное повторяется и в настоящем случае. Когда человек молод, внутренняя сила еще ключом кипит в груди, он думает, что этой молодости, этой силе никогда и конца не будет. А так как всякой силе свойственна известная доля гордости и даже фанатизма, то вот и мечтается молодому человеку, что краше-то его, молодого, и на свете нет и что уж если он что выдумал или сказал, так уж лучше той выдумки или слова никому ни выдумать, ни сказать не приводится. И идет оно таким образом до самых преклонных лет, и думается молодому человеку, что он все еще молодой человек, покуда вдруг не получит откуда-то щелчка в нос. Тогда является в первый раз потребность оглянуться на себя и проверить свое положение в той среде, в которой действуешь. Оглядываешься, проверяешь... оказывается, что кругом наросло что-то новое и притом до того действительно молодое, что не имеет надобности ни в фальшивых тупеях, ни в искусственных зубах. И это новое и молодое до того ново и молодо, что даже говорит другим совсем языком и думает совсем не ту думу, которую думали мы, прекрасные молодые люди сороковых годов. Господи! да неужели же мы уже не молодые люди! робко подумывает пожилой молодой человек и внутренне оскорбляется даже одним предположением подоб-

ного рода. «Ах, мальчишки!» — вырывается из груди его невольное восклицание.

С этих пор он уж старик, и мысль его перестает развиваться даже в сфере тех начал, которые питали его молодость. Эта мысль все идет назад и назад и не успокоится до тех пор, пока не зайдет в самую трущобу. И тогда-то начинается история, которая была бы смешна, если б не имела в себе слишком много поистине жалкого и даже трогательного. Человек рвет фальшивый тупей свой и искусственными зубами хочет вцепиться в живой организм. В бессильной и дикой злобе глумится он над всем, что хочет жить, что жаждет истины и света. Само собой разумеется, что все эти неистовства остаются без результата, что естественного течения жизни не остановить не только искусственными, но и настоящими, здоровыми зубами, но картина одряхлевшего молодого человека все-таки поучительна. Трогательная сторона ее заключается именно в том бессилии, которое царит над нею; но так как, в большей части случаев, здесь примешивается еще злоба, то, в соединении с нею, картина уже приобретает колорит отвратительный.

Затем, оканчивая мою хронику, не могу оставить без нескольких слов ответа «Заметку для редакции „Современника"», напечатанную в «Отечественных записках» за июль месяц.

Быть может, читатель помнит, что в майской книжке нашего журнала, по поводу постоянного плача «Отечественных записок» относительно какого-то бомбо-отрицательного направления, а также по поводу совершенно прозрачных намеков, которыми в распространении этого бомбо-отрицательного направления обвинялся «Современник», мы просили г. Громеку, как объявившего себя редактором «Современной хроники», в которой означенный выше плач преимущественно производится, объяснить нам, на какие факты он может сослаться для подкрепления своих обвинений.

На наши скромные вопросы почтенная редакция ничего не отвечает. Взамен того, она объясняет, что рассуждения ее о бомбо-отрицательном направлении имели совсем не тот смысл, какой нами им придан, и что г. Громека уполномочивает ее объявить, что он никогда не протягивал руки редакции «Современника» и не искал с нею сближений, но что редакция «Современника» не раз протягивала ему руку.

На это не лишним считаем, в свою очередь, объяснить почтенной редакции:

1) что толкованиям ее о бомбо-отрицательном направлении

мы придали именно тот самый смысл, какой, вероятно, придан им всяким умеющим грамоте читателем;

2) что верность нашего понимания доказывается уже тем, что «Отечественные записки» сами объясняют свой поступок несколько запутанным и коснеющим языком;

3) что, впрочем, это последнее обстоятельство нам нравится, ибо обнаруживает в почтенной редакции решимость избегать на будущее время неосторожных намеков, которыми и без того достаточно безобразят нашу литературу московские публицисты;

4) что выражение «протягивать руку» употреблено нами в переносном и даже ироническом смысле; что затем, хотя нам положительно неизвестно, протягивала ли фактически и не в переносном смысле редакция «Современника» руку г. Громеке (мы лично не имеем даже удовольствия знать его), но если бы это и было, то надеемся, что здесь нет даже самого малейшего повода для обвинения.

Сверх того, в «Заметке», о которой идет речь, есть следующая фраза: «Мы уверены, что каждый читатель, вникнув во всю тонкость этой литературной *передержки,* сам убедится, что отвечать нам на эти вопросы — значило бы показать, что «Отечественные записки» лишены всякой способности гнушаться, подобно «Современнику», тем, что им представляется наиболее гнусным».

Полагаемся на здравый смысл наших читателей и предоставляем им отыскать ключ к этой загадке. Мы же решительно ничего тут не понимаем, но чувствуем, что здесь кроется что-нибудь одно из двух: или очень острое, или очень пакостное.

ПРИМЕЧАНИЯ



Вводная заметка к тому *Е. И. Покусаева.* Подготовка текста и текстологические примечания *В. Э. Бограда.*

Авторы комментариев: *А. А. Жук* — «Наша общественная жизнь», январь — февраль (I), март (II), апрель (III), май (IV) 1863 г.; *Н. Ю. Зограф* — «Наша общественная жизнь», ноябрь (VI) 1863 г. (участие в комментарии); *В. Я. Кирпотин* — «Современные призраки»; *Р. Я. Левита* — «В деревне»; *С. А. Макашин* — «Наша общественная жизнь», ноябрь (VI) 1863 г. (участие во вступительной заметке), апрель (XI) 1864 г. (вступительная заметка); *В. А. Мысляков* — «Как кому угодно»; *Е. И. Покусаев* — «Наша общественная жизнь», сентябрь (V) (участие во вступительной заметке), декабрь (VII) 1863 г. (вступительная заметка); *П. С. Рейфман* — «Наша общественная жизнь», январь (VIII), февраль (IX), март (X), апрель (XI) (при участии С. А. Макашина), октябрь <?> (XII) 1864 г.; *Л. М. Розенблюм* — «Неизвестному корреспонденту», «Литературные мелочи», «Стрижам», «Заметка», «Журнальный ад», «Литературные кусты», «Но если уж пошла речь об стихах...», «Гг. «Семейству М. М. Достоевского. издающему журнал «Эпоха»; *Г. Ф. Самосюк* — «Наша общественная жизнь», сентябрь (V) (при участии Е. И. Покусаева), ноябрь (VI) (при участии С. А. Макашина и Н. Ю. Зограф), декабрь (VII) 1863 г. (при участии Е. И. Покусаева).

В шестой том настоящего издания входят публицистические произведения Салтыкова 1863—1864 гг.: а) хроникальное обозрение «Наша общественная жизнь»; б) тематически примыкающие к этому циклу статьи и очерки «Современные призраки», «Как кому угодно», «В деревне»; в) материалы журнальной полемики Салтыкова с «Русским словом» и «Эпохой».

Большинство вошедших в настоящий том статей и очерков осталось в журнальных публикациях, а некоторые произведения, по разным причинам не увидевшие света при жизни Салтыкова,— в рукописях или в корректурных гранках набора. Лишь отдельные фрагменты этих произведений позднее были включены автором в крупные очерковые циклы («Признаки времени», «Благонамеренные речи»).

Цикл «Наша общественная жизнь» — одно из самых блестящих творений русской демократической публицистики — разделил судьбу других статей настоящего тома. Отчасти объяснялось это строгостью критериев, с которыми подходил автор к решениям о переиздании своих произведений, находя некоторые из них либо слабыми, либо слишком приуроченными к политической «злобе дня» минувшей эпохи. Кроме того — и, возможно, это главная причина, побудившая оставить «Нашу общественную жизнь» в первопечатной публикации,— цикл оказался незаконченным из-за грубых нажимов цензуры, а также вследствие внутриредакционных споров и осложнений (см. подробнее: С. А. Макашин. В борьбе с реакцией.— *ЛН*, т. 67, М. 1959, стр. 327—328).

Впервые названные публицистические произведения Салтыкова были собраны в шестом томе *изд. 1933—1941* (редакция текста и комментарии С. Л. Белевицкого) [1].

К настоящему времени обнаружено два новых произведения Салтыкова, относящихся к его публицистическим и полемическим циклам

---

[1] В дореволюционное время о «Нашей общественной жизни» и близких к ней публицистических статьях напомнил, пространно их цитируя, А. Н. Пыпин в книге о Салтыкове, имевшей специальный подзаголовок «Журнальная деятельность 1863—1864» (А. Н. Пыпин. М. Е. Салтыков, СПб. 1899, стр. 44—167).

1863—1864 гг. Это — вторая часть апрельской (XI) хроники «Нашей общественной жизни» за 1864 г. («Археологи свидетельствуют...») и полемическая статья 1864 г. «Литературные кусты» (*ЛН*, т. 67, публикация В. Э. Бограда).

Кроме того, для установления текста четырех хроник «Нашей общественной жизни», а именно II, VI, VIII и IX, использованы неизвестные ранее или не учитывавшиеся в *изд. 1933—1941* источники — корректуры набора (чистые и с авторской правкой).

Большинство вошедших в настоящий том статей и очерков появлялось в печати без подписи. Относительно цикла «Наша общественная жизнь» это далее каждый раз не оговаривается.

Цензурные преследования, резко усилившиеся в условиях политической реакции, побуждали Салтыкова, занявшего (1863 г.) в «Современнике» после ареста Чернышевского место первого публициста, к широкому использованию всякого рода иносказаний, эзоповских прикрытий мысли, «фигур и уподоблений». Проистекающее отсюда своеобразие «тайнописи» салтыковской публицистики очень точно охарактеризовал И. А. Гончаров, в то время член Совета по делам книгопечатания.

«В моем отчете о рассмотренных журналах за последние шесть месяцев,— сообщал Гончаров Совету в январе 1864 г.,— я упомянул о статье «Наша общественная жизнь», как замечательной по запутанности, темноте, очевидно проистекающей из желания автора сказать больше, чем дозволяет цензура. Имея даже отчасти ключ к этой и другим статьям под тем же заглавием, я должен сознаться, что, благодаря обилию намеков, иносказаний и обходов, я многого в ней не понимаю. Ключ этот вот каков: еще в начале прошлого года, до учреждения Совета по делам книгопечатания, когда «Современник» выражался гораздо откровеннее, в одной из его книжек (если не ошибаюсь, в первой) [1] в подобной же статье автор враждебно высказался к старым поколениям и с сочувствием к новым, сославшись на то, что некогда булгаринская партия преследовала новых деятелей за тогдашние опасные мечты, которые между тем разрешались в реформах. Такой же исход автор предсказывает и нынешней борьбе двух направлений, отживающего и возникающего.

С тех пор во всех статьях под заглавием «Общественная жизнь» автор развивает ту же тему. Он перебирает явления общественной жизни желчно, местами злобно, всегда оригинальным языком и вообще с замечательным талантом. На литераторов, журналистов, на их старые идеи, особенно на вражду к новому, он нападает открыто, также на предрассудки, застой, порчу общества и т. п. Там же, где он проводит свой взгляд вообще на современный порядок вещей, свои идеи, он впадает в темноту, о которой я говорил, и делается совершенно непонятен» [2].

---

[1] Имеется в виду январско-февральская хроника «Нашей общественной жизни».— *Ред.*

[2] «Северные записки», 1916, № 9, стр. 131.

Эта «темнота», действительно имевшая причиной «желание автора сказать больше, чем дозволяет цензура», не помешала, впрочем, Гончарову обнаружить в публицистике Салтыкова ее «ключ»: явную враждебность к «современному порядку вещей». «Ключ», найденный Гончаровым, раскрывает лишь самое общее содержание «Нашей общественной жизни» и других публицистических и полемических произведений настоящего тома. Демократический читатель — современник Салтыкова — за эзоповской оболочкой салтыковской сатиры и публицистики умел распознать ее сокровенный истинный смысл как в целом, так и в деталях. Читатель нашего времени для сколько-нибудь полного и ясного понимания «фигур и уподоблений», а также отдельных намеков публицистики Салтыкова нуждается в помощи детального комментария: реально-исторического и «толкового», раскрывающего наиболее трудные иносказания эзопова языка.

«Наша общественная жизнь» относится к тем произведениям Салтыкова 60-х годов, которые подверглись наиболее разрушительным ударам цензуры. Кроме того, авторские намерения в отношении некоторых статей как «Нашей общественной жизни», так и выступлений в журнальной полемике 1863—1864 гг., были осложнены внутриредакционными спорами этих лет в «Современнике». Наконец, текстовыми источниками для появившихся в печати хроник «Нашей общественной жизни», кроме публикаций «Современника», изуродованных цензурой, являются в подавляющем большинстве случаев только чистые корректуры набора. Ни автографы, ни правленные автором гранки не сохранились или не найдены (исключая лишь неполную рукопись IV хроники и частично сохранившиеся правленые корректуры хроник VI и X). Всеми этими обстоятельствами определяются значительные трудности текстологической подготовки материалов настоящего тома. В примечаниях указываются наиболее существенные случаи освобождения первопечатного текста «Современника» от изменений цензурного происхождения.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ АППАРАТЕ НАСТОЯЩЕГО ТОМА

С — «Современник».

ОЗ — «Отечественные записки».

Изд. 1933—1941 — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений в двадцати томах, М.— Л. 1933—1941.

ЛН — «Литературное наследство».

ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), Отдел рукописей.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

<1. Январь — февраль 1863 года>

(Стр. 7)

Впервые — *С*, 1863, № 1—2, отд. «Современное обозрение», стр 357—376 (ценз. разр.— 5 февраля). В несколько сокращенном и измененном виде хроника вошла, под заглавием «Сенечкин яд», в сборник «Признаки времени».

Сохранилась вторая чистая корректура, набранная 13 января 1863 г. и адресованная А. Н. Пыпину *(ИРЛИ)*.

В настоящем издании печатается по тексту «Современника» с устранением цензурных изменений по корректуре.

По распоряжению председателя С.-Петербургского цензурного комитета В. А. Цеэ статья была направлена на отзыв цензорам Ф. Ф. Веселаго, С. С. Лебедеву и К. С. Оберту. Отзыв Оберта неизвестен, Веселаго высказал свое мнение устно, а Лебедев 27 января 1863 г. направил Цеэ донесение, в котором писал:

«В большей части статьи под заглавием «Наша общественная жизнь», назначенной для «Современника», пытаются объяснить: что такое у нас благонамеренные, нигилисты и мальчишки. Под первыми разумеются консерваторы, под последними крайние, неверующие, самые красные. Вся эта речь, большею частию зигзагами, ведена к тому, чтобы указать, что нигилисты и мальчишки приобретают значение в обществе, потому что на них, как на вырастающую силу, начинают обращать внимание. И действительно,— оканчивает автор,— без настойчивых действий и требований нигилистов и мальчишек наше правительство не сделало бы никаких преобразований, необходимых для развития сил народных. По его словам выходит, что всеми нововведениями последнего времени мы обязаны нигилистам + мальчишкам. Так как эту последнюю мысль я предлагаю необходимым исключить вместе с другими отдельными мыслями и выражениями в 34 местах, сбоку отмеченных мною цифрами и окаймленных в тексте кавычками, то остальное за тем, не представляющее ничего резкого и грубого, можно бы дозволить печатать» [1].

Двадцать восьмого января Цеэ переслал отзывы цензоров министру внутренних дел П. А. Валуеву с запиской, в которой сообщалось: «Три цензора... полагают, что статья Щедрина «Наша общественная жизнь» могла бы быть дозволена со сделанными ими исключениями... Мнение их я вполне разделяю» [2].

Исключения, предложенные цензорами, относились, по-видимому, и к тем местам статьи, где речь шла об органе министерства внутренних дел «Северной почте». В надписи на письме Цеэ, датированной тем же 28 ян-

---

[1] *ЛН*, т. 13—14, М. 1934, стр. 134.

[2] Там же, стр. 135.

варя, Валуев присоединился к мнению цензоров и Цеэ, «с присовокуплением, что если нет препятствия говорить о гг. Каткове, Краевском и Тургеневе, то также нет повода заслонять гг. редакторов „Северной почты"».

Но хотя, таким образом, обнародование статьи, с предложенными изъятиями текста, было санкционировано высшим руководством цензурного ведомства, она привлекла к себе, по выходе в свет, внимание наблюдавшего за журналом члена Совета по делам книгопечатания О. А. Пржецлавского. Касаясь ряда произведений, напечатанных в первой сдвоенной книжке возобновленного журнала, он писал:

«Не менее замечательною по тону и содержанию статьею толстого двухмесячного тома должно считать очерк «Наша общественная жизнь» (стр. 355—376). В нем упоминается о приостановлении «Современника» и мере этой мимоходом дается характеристика чистого произвола (стр. 359, 360). С этого как бы вступления вся статья принимает уже насмешливый тон и предметом этой насмешки и всякого рода острот избирается (кто бы мог подумать) — *благонамеренный и хороший образ мыслей*». «Что касается до нигилизма,— продолжал далее Пржецлавский,— то «Современник» отстаивает его и в настоящей статье, и в предыдущих — «Литературный кризис» и «Внутреннее обозрение» [1], представляя его одним истинным деятелем прогрессивности. Такой же апологии удостаивается от «Современника» и так называемое «мальчишество», и в этой апологии он заходит очень далеко, даже до угроз (стр. 374).

Замечательнейшие в этой статье места означены на стр. 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 374, 375» [2].

Хотя цензурная корректура хроники неизвестна, можно, со значительной долей уверенности, восстановить ее доцензурный текст. В приведенном выше «мнении» цензора Лебедева содержится предложение исключить из статьи отдельные мысли и выражения в «34 местах», что соответствует примерно количеству расхождений (не считая явно стилистических), обнаруживаемых при сверке журнального текста с текстом корректуры.

Лебедев предложил исключить мысль о том, «что всеми нововведениями последнего времени мы обязаны нигилистам + мальчишкам». Салтыков заменил в *С* указанный текст, нами восстанавливаемый по корректуре (стр. 24, строки 2—20), следующим его вариантом:

Откуда этот успех?

Увы! Как ни мал успех, но источник его все-таки не столько в нас, благонамеренных, сколько в мальчишестве, в той неустанной силе, которую оно представляет. Из того, что практическое осуществление новых

---

[1] Статьи М. А. Антоновича и Г. З. Елисеева в том же номере (1—2) «Современника» за 1863 г.

[2] *ЛН*, т. 13—14, М. 1934, стр. 136. На перечисленных Пржецлавским страницах находятся первая половина раздела «Благонамеренные и нигилисты» и проникнутое горячей защитой передовой молодежи окончание статьи.

жизненных форм большею частью зависит от нас и производится нами, вовсе не следует, чтобы от нас же исходила и инициатива их...

. . . .

Итак, если мы видим, что жизнь сделала шаг вперед, если мы самих себя сознаем лучше и чище...

В «Современнике» отсутствует абзац о том, что трудность подвига не должна приводить мальчишество в отчаяние (стр. 24, строки 38—39). Несколько выше были выброшены упоминание о трагической судьбе революционера-«мальчишки»: «или иным способом погибает» (стр. 22, строка 6), а также слова о том, что мальчишка «лишается прав состояния и, что всего важнее, лишается права жаловаться» (стр. 22, строки 15—16).

Последовательно были сняты места, затрагивавшие действия и распоряжения власти, а также церковь и религию, например, текст от: «Я обязан быть веселым даже в то время» до: «последствие естественного хода вещей» (стр. 9, строки 2—14); слова: «и соорудили себе в Новгороде монумент... шутка!» (стр. 15, строки 26—27); вм. «с некоторою восторженностью, думая посредством гороха спасти свои грешные души» (стр. 18, строки 41—43) в «Современнике» читаем: «с охотою» и т. д. В фразе: «Это тем более желательно, что было бы вполне согласно и с постановлениями святых отцов, которые нигде не заповедали, чтобы пост продолжался восемь месяцев» (стр. 10, строка 5) — выброшенные цензором слова «святых отцов» были заменены словом «подлежащими». (Это изменение привело к несообразности — согласованию глагола «заповедали» не с «отцами церкви», а с «подлежащими постановлениями».)

Возможно, цензурное вмешательство побудило Салтыкова переработать текст о неминуемости «решительной ликвидации», заменив его новым, творческим вариантом — от слов «В чем же, собственно, дело?» до слов «наших собственных болей!» (стр. 23, строки 32—43). Приводим соответствующий вариант корректуры:

В самом деле, общий уровень жизни падает; формы, с которыми мы сжились, оказываются несостоятельными; чувствуется тяжесть какая-то; видится и сознается, что нет существа живого, которое могло бы сказать, что ему живется хорошо. Мы, благонамеренные, все это чувствуем, мы сознаемся даже, что нам не миновать решительной ликвидации, и в то же время помышляем о том только, как бы поохтянуть, да нельзя ли еще надуть, да, быть может, и так как-нибудь обойдется... Дальше канцелярского обмена чувств и канцелярской проволочки мы не можем идти, потому что воспитаны на обмане и проволочке.

Что касается сохранившегося в корректуре окончания статьи (см. раздел «Из других редакций»), названного в оглавлении ее «Некоторые наставления, извлеченные из житейской практики», и представляющего собою переработанную часть очерка «Каплуны», который вызвал в свое время замечания Н. Г. Чернышевского (см. т. 4 наст. изд., стр. 564 и след.), то оно, по-видимому, встретило возражения в редакции журнала и было снято Салтыковым еще до посылки корректуры в цензуру (см. стр. 580).

Содержащиеся в отзыве Лебедева слова «оканчивает автор», в сопоставлении с местом статьи, к которому они относятся, не оставляют сомнений в том, что в цензуру были представлены либо вторая корректура статьи без последних гранок, либо третья корректура, в которой уже не было первоначального окончания.

В центре январско-февральской хроники — публицистическое исследование общественной реакции, с лета 1862 г. шедшей навстречу реакции правительственной.

Хроника изобилует эзоповскими формулами и образами, сгруппированными вокруг двух главных иносказательных понятий: 1) утвердившегося в официально-охранительной терминологии понятия «благонамеренный человек» — «патриот», сторонник существующего режима, а в иронической интерпретации Салтыкова — реакционер, враг прогресса; 2) извлеченных из реакционной печати кличек «нигилисты» и «мальчишки», что в расшифровке автора хроники означало — передовая молодежь, увлеченная идеями материализма и социализма, революционеры.

С помощью системы конкретно-бытовых и литературных примет писатель обозначил «благонамеренный» нравственно-политический комплекс, характерный для «героя» реакционного времени: нерасторжимое сочетание аморальной плотоядности с отсутствием «убеждений» и «недовольств». Салтыков впервые наметил здесь сатирические ситуации, которые позднее были развернуты им во многих произведениях — «Господа Молчалины», «Дети Москвы», «Недоконченные беседы» — и получили завершенное воплощение в «Современной идиллии».

Общественная реакция тяжело сказалась на состоянии литературы. Правительство обеспечило правым органам печати не только административное покровительство, но и прямую финансовую «поддержку». «Власть говорит, не умолкая; литература подкуплена ею; журналистика в руках камер-лакеев гласности»,— определил ситуацию герценовский «Колокол» [1]. Эти события «совершенно подавили журналистику,— вспоминал Н. В. Шелгунов.— Растерянность ее была до того велика, что писатели, казалось, вполне установившегося образа мыслей складывали свое либеральное знамя и переходили в издания, в которых они прежде считали бы за стыд работать» [2].

В подцензурной печати Салтыков сумел с наибольшей глубиной и смелостью исследовать характер и причины нравственного падения «кающейся русской литературы». Это падение определялось — по мысли автора хроники — логикой размежевания сил революционно-демократических и либерально-реформистских. Перекликаясь с Герценом, он заклеймил экс-либералов публицистики, которые вчера «надсаживали себе грудь, до-

---

[1] «Колокол», 1863, л. 158, 3 марта, стр. 1310. См. также л. 157, 1 марта, стр. 1303.

[2] Н. В. Шелгунов. Воспоминания, М.— Пг. 1923, стр. 192.

казывая, что зерно всего лучшего таится исключительно в молодом поколении», а сегодня «за четвертак поют хвалебные гимны всему без различия и призывают кару небес» на передовую молодежь.

Подчеркнув, что определяющий «признак нашей благонамеренности» заключается в «ненависти к мальчишкам и нигилистам», автор хроники включился в спор о молодом поколении. В своих суждениях по этому поводу он оттолкнулся от романа Тургенева «Отцы и дети». В центре его критики оказался самый термин «нигилизм». По мнению Салтыкова (здесь он не расходился с общей позицией редакции «Современника»), Тургенев «оказал благонамеренным... услугу незабвенную», «пустив в ход» слово «нигилизм», которое стало синонимом любых морально отрицательных свойств и было использовано реакцией (подробнее об отношении Салтыкова к роману Тургенева см. т. 5 наст. изд. стр. 581—582). Впрочем, опираясь на образный материал тургеневского романа, Салтыков выходит за рамки отклика на конкретное произведение. «Отцы и дети» в сущности, служат ему отправной точкой для емких публицистических характеристик «людей сороковых годов» и «шестидесятников». Сопоставив революционное «мальчишество» с дворянскими либералами — идейно выветрившимися «бывшими друзьями Белинского и поклонниками Грановского»,— в своей критике их эфемерного либерализма Салтыков сомкнулся с недавними выступлениями в «Современнике» Чернышевского («Полемические красоты», «Граф Кавур») и Добролюбова («Литературные мелочи прошлого года», «Что такое обломовщина?», многочисленные материалы «Свистка»).

Пафос январско-февральской хроники критика не случайно увидела в «заступничестве» за «молодое поколение» [1]. Либерально-охранительная печать единодушно утверждала, что молодежь, «увлеченная погибельными возгласами проповедников анархии» [2], «злым духом абсолютного отрицания» [3], не способна к «труду созидания» — к исторически плодотворным деяниям. Салтыков противопоставил этому утверждению мысль о том, что только в «мальчишестве» заключается «будущее России». Однако хроника (особенно в финале) отразила опыт, принесенный событиями лета — осени 1862 г., когда революционный авангард, не сомкнувшийся с массами, не защищенный обществом, был изолирован и разгромлен самодержавием. Отсюда — сложное объяснение того «нравственного распадения в современном человеке», анализу которого посвящалась вся статья. Современное общество, как следует из заключительных ее страниц, *вынуждено* «истрачивать все лучшие... силы» в балансировании между «благонамеренностью» и «мальчишеством», так как старое «начало» уже истощилось, а новое — оказалось еще недостаточным.

В январско-февральской книжке возобновленного «Современника», после правительственной его приостановки в июле 1862 г., Салтыков был

---

[1] К. Леонтьев. Наше общество и изящная литература.— «Голос», 1863, № 67 от 20 марта.

[2] «Современная летопись» «Русского вестника», 1862, № 23, стр. 17.

[3] «День», 1863, № 4 от 26 января, стр. 4.

едва ли не главным вкладчиком: ему принадлежало в ней около половины всех публикаций. И даже среди первоклассных беллетристических, критических и публицистических произведений его первая хроника «Нашей общественной жизни» наиболее значительна. Перекликаясь с «Внутренним обозрением» Г. З. Елисеева и статьями М. А. Антоновича «Обзор журналов» и «Литературный кризис», она оказалась в центре публицистического материала этого номера журнала[1], направленного в защиту «трудного подвига» молодых революционеров, против благоразумного отступничества и оппортунизма. Она давала ответ на иронический вопрос: «очистились ли мы постом и покаянием» и приобрела значение программного выступления, по которому читатель судил, что позиция «Современника» не изменилась[2].

Стр. 7. *...Петербург был осчастливлен прибытием композитора Верди... во время представления... оперы «Сила судьбы»...*— Премьера этой оперы — «La forza del destino»,— написанной Д. Верди по заказу дирекции петербургских императорских театров, состоялась в Большом театре 10 ноября 1862 г. (А. И. Вольф. Хроника Петербургских театров, т. III, СПб. 1884, стр. 118).

Стр. 8. *...М. исчез из своей квартиры неизвестно куда.*— Намек на многочисленные аресты участников революционного движения — Михайлова, Чернышевского, Писарева, Н. Серно-Соловьевича и других. Об «исчезающих людях» писала также «Искра» (1863, № 8 от 1 марта, стр. 110).

...взбираться... на крутизну, которая... носит название «Дураковой плеши».— Эзоповски сформулированная оценка правительственных реформ, направленная против тех, кто продолжал сохранять веру в «обновление» сверху. На полемический вызов Салтыкова откликнулось «Время». В мартовском номере журнала за 1863 г. его сотрудник Игдев (И. Г. Долгомостьев) писал в статье «Сказание о Дураковой плеши»: «„Современник" втихомолку считал нас с вами, читатель, за совершенных пешек, а в первой книжке даже и положительно высказал, что мы с вами (то есть люди, сочувствующие и «по силе мочи» содействующие прогрессу, только не по мыслям и по инициативе «Современника»...) не кто иные, как люди, из „Дуракова болота лезущие на Дуракову плешь"» (стр. 99—100).

---

[1] См. воспоминания Г. З. Елисеева в кн.: «Шестидесятые годы. М. А. Антонович и Г. З. Елисеев. Воспоминания». М.— Л. 1933, стр. 281, а также: «Заметки свистуна».— «Развлечение», 1863, № 8 от 23 февраля, стр. 123; А. Н. Плещеев. Письмо к Е. И. Барановскому от 24 февраля 1864 г.— «Шестидесятые годы», М.— Л. 1940, стр. 459.

[2] Примечательно, что по настойчивому требованию министра народного просвещения А. В. Головнина из объявления об издании «Современника» в 1863 г. были выброшены строки, свидетельствовавшие, «что редакция этого журнала намерена сохранить то самое направление, которое признано было правительством неодобрительным и вследствие которого издание было приостановлено» (цит. по кн.: В. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника», Л. 1939, стр. 8).

...нет Агатона! Нет моего друга! — начальные слова элегии в прозе Н. М. Карамзина «Цветок на гроб моего Агатона» (1793).

Стр. 9 *...ходить по орлецам* — то есть быть не свободным в изложении своих взглядов и мыслей. «Орлецы» — в православном богослужении небольшие круглые коврики с изображением парящего орла, подстилаемые под ноги архиерею в точно определенных местах.

Стр. 10. *..согласно и с постановлениями святых отцов, которые нигде не заповедали, чтобы пост продолжался восемь месяцев.*— Длительность самого большого из постов, установленных в православной церкви,— великого поста — семь недель.

...с обнародованием новых законов о книгопечатании... — Обсуждению проекта «новых законов» Салтыков посвятил в этом же № 1—2 «Современника» (1863) статью «Несколько слов по поводу «Заметки...» (см. т. 5 наст. изд.).

...если я вижу человека, участвующего своими трудами в «Северной пчеле», в «Нашем времени», в «Северной почте»... — то есть в официальных и официозных органах печати.

Если я вижу человека, посещающего балы гг. Марцинкевича, Заллера, Наумова и других...— иначе говоря, прожигателя жизни. Процветание названных Салтыковым содержателей петербургских танцклассов стало заметным «признаком времени», о чем неоднократно писалось в газетах (см., например, «Голос», 1863, № 36 от 10 февраля).

...напрасно Андрей Александрыч Краевский будет уверять меня, что Ледрю-Роллень был, да весь вышел,— я не поверю... ибо... очень помню, как он, еще в 1848 году, боролся с Луи-Филиппом и радовался падению царства буржуазии.— Салтыков иронически приписывает А. А. Краевскому, издателю журнала «Отечественные записки» и (с 1863 г.) газеты «Голос», антибуржуазные тенденции и республиканские симпатии. Ледрю-Роллень назван здесь как деятель революции 1848 г. В связи с этим Салтыков вспоминает, в частности, о нашумевшей в свое время статье Краевского «Россия и Западная Европа в настоящую минуту», в которой выражалось сочувствие «несчастному, испытанному всякими бедствиями королю Луи-Филиппу», а в революции усматривался «буйный порыв» «уличных бродяг», «ниспровержение всех государственных и общественных оснований» (*ОЗ*, 1848, № 7, отд. «Совр. хроника России» стр. 1, 12). «Стойкость» именно этих своих «убеждений» Краевский продемонстрировал в 1862 г. в объявлении о начале издания «Голоса», где было заявлено «полнейшее сочувствие... повсюду укрепляющемуся в Европе общественному порядку» и «неверие в успех республиканской формы правления» (*ОЗ*, 1862, № 8, стр. 4—5).

Стр. 10. *...фельетонист Заочный сорвет с его уст улыбку, Илья Арсеньев заставит вздохнуть о черногорцах, И. А. Гончаров вырвет из груди стон, а... Лебедкин найдет его равнодушным...*— Под псевдонимом З а о ч н ы й в «Северной почте» помещал «обозрения литературных журналов» В. К. Ржевский, с которым Салтыков еще в 1861 г. полемизировал о «бю-

рократии» и «земстве» (см. т. 5 наст. изд., стр. 121—130). «Обозрения» Ржевского, претендовавшие на остроумие («наполненные... шутками дубового свойства», по характеристике А. В. Никитенко.— Дневник, т. II, М. 1955, стр. 260), были направлены против передовой журналистики, в первую очередь «Современника». В «обозрении», опубликованном в № 27 «Северной почты» от 1 февраля 1863 г., Ржевский неприязненно отозвался о «Нашем губернском дне» Салтыкова. В политическом отделе газеты, которым заведовал И. А. Арсеньев, помещались телеграфные депеши о борьбе Черногории с Турцией за независимость, закончившейся в сентябре 1862 г. поражением черногорцев. И. А. Гончаров служил в это время в цензурном ведомстве, а в 1862—1863 гг. одновременно был главным редактором «Северной почты». Это сотрудничество писателя с органами, проводившими политику самодержавия в области печати, отрицательно воспринималось передовыми общественно-литературными кругами. Секретарь «Северной почты» М. Лебедкин подписывал отдел «Внутренние известия», где помещались официально-приукрашенные данные о положении дел в России.

Стр. 11. *...подписчики «Сына отечества» получили привилегию...*— Намек на правительственную субсидию, которой пользовалась эта официозная газета для массового читателя.

...у безземельных, но гостеприимных принцесс вольного города Гамбурга — то есть в публичном доме.

...читать... «Петербургскую клубничку»...— Слово «клубничка» для фигурального обозначения любовных похождений употреблял гоголевский Ноздрев. Бульварный листок «Петербургская клубничка. Не для детей» действительно выходил в столице в конце 1862 г., причем «считал даже своей обязанностью осмеивать „направления"» (Н. И. Кравцов. Сатирическая журналистика 60-х годов.— «Шестидесятники», М.— Л. 1933, стр. 420).

Стр. 13. *...всему причиной четвертак... об отношениях которого к русской литературе... так остроумно выразился... М. Н. Катков: четвертака, дескать, при них плохо не клади...*— В редакционной статье катковского «Русского вестника» «Одного поля ягоды» (1861, т. 33, май) упоминание о «четвертаке» характеризовало нравственное падение современных «Хлестаковых» — «журнальных философов, которые выдают себя за крайних представителей прогресса», хотя все их «содержание» выражено «в фальшивых ассигнациях» (стр. 14—15, 20). «Таких молодцов действительно нельзя не побаиваться,— заканчивалась статья.— Зарезать они не зарежут, но не кладите вашего четвертака плохо» (стр. 26). Салтыков переосмыслил эти слова и воспользовался ими для указания на то, что «наплыв благонамеренности» в литературу объясняется прямым и косвенным подкупом со стороны правительства как отдельных литераторов, так и целых органов печати. История русской журналистики 60-х годов знает ряд таких сделок (Салтыков разоблачил их в юморесках, помещенных в № 9 «Свистка» — *С*, 1863, № 4. См. т. 5 наст. изд., стр. 282—288). Сатирическое понятие

«четвертачизм» было сочувственно подхвачено юмористической журналистикой: «Эх, господа, господа, говорит «Современник», погубил вас четвертак или, говоря общнее, *четвертачизм.* С этим нельзя не согласиться» («Умеренный либерал. Литературные заметки и слухи».— «Развлечение», 1863, № 16 от 26 апреля, стр. 253). Но в определении причин нравственного падения литературы Салтыков резко разошелся с либеральной журналистикой, которая не замедлила враждебно откликнуться на январско-февральскую хронику: «И я находил кризис в литературе... и «Современник» его находит... Но я находил, что все в этом виноваты... В статье «Наша общественная жизнь» решение высказано довольно определенно: „четвертак всему виноват"» (А. Ленивцев <А. В. Эвальд>. Недосказанные заметки.— *ОЗ*, 1863, № 2, стр. 201—202).

Ведь заявлял же он <Катков> некогда, что некто стянул у него сочинение Гнейста...— Такое заявление было сделано в «Объявлении» редакции «Русского вестника» (1860, май, кн. 2, стр. 167). См. т. 4 наст. изд., стр. 199 и 544.

Стр. 14. *...да и политические интересы сосредоточивались исключительно на разъяснении вопроса, откуда произошла Русь. Ясно, что это были интересы четвертаковые...*— Спор о «начале Руси», в котором одни ученые (А.-Л. Шлецер, М. В. Ломоносов, М. Т. Каченовский, Н. И. Костомаров) доказывали литовско-жмудское происхождение варягов, другие (Г.-З. Байер, М. П. Погодин) — норманнское, возник в XVIII в. и тянулся до 60-х годов. Здесь упоминается для обозначения мертво-схоластических интересов науки и публицистики официального толка.

Стр. 15. *...в 1862 году в нашу общественную жизнь, равно как и в нашу литературу, проникла благонамеренность.*— «В самом общественном мнении 1862 год произвел благотворную перемену,— удовлетворенно свидетельствовал М. Н. Катков.— После того, как некоторые направления общественной мысли дошли до последней степени бессмыслия, выразившись в нелепых петербургских прокламациях, в расположении умов начался перелом, содействовать которому обязаны все люди благомыслящие» («Московские ведомости», 1863, № 1 от 3 января).

...литература... начала... строить целые политические системы на мотив: «Чего же тебе еще нужно?» — Подобную «политическую систему» строил, например, либеральный публицист С. С. Громека: «Люди, которых молодость протекала среди другого порядка вещей... дожив до крестьянской реформы, до уничтожения откупов, до обещания суда присяжных и земского самоуправления, невольно спрашивают себя, оглядываясь кругом: «Чего же хотят еще *нынешние* безумцы? Да если б нам 20 лет тому назад дали хоть половину того, что дают теперь, мы бы почли себя счастливейшими смертными» (*ОЗ*, 1863, № 3, стр. 12).

...все это было до 1862 года, но в этом году россияне вступили в новое тысячелетие и соорудили себе в Новгороде монумент...— Резкий перелом в политическом курсе правительства и в настроении общества Салтыков характеризует, противопоставляя «переполох» (бурный натиск революционно-

демократической мысли), который «царствовал... до 1862 года»,— наступившей после этого года «зрелости». Салтыков намекает на пропагандистское использование царизмом празднования в 1862 г. тысячелетия России для консолидации всех реакционно-охранительных сил. Монумент, сооруженный в честь «тысячелетия» в Новгороде по проекту М. О. Микешина и открытый 8 сентября 1862 г., для Салтыкова навсегда остался символом парадно-официального «отчизнолюбия» и в этом смысле неоднократно упоминался в его позднейших произведениях («Современная идиллия» и др.)

«Resignation» — известное стихотворение Фр. Шиллера, начинающееся словами «И я в Аркадии родился...».

Стр. 16.— *Вы не верите ни во что.. даже? ...по всем правилам гостеприимства, гость обязан говорить хозяевам лишь приятные и угодные вещи.*— Салтыков приводит в свободном изложении диалог Павла Петровича Кирсанова с Базаровым из гл. X «Отцов и детей». Последние строки комментируемого текста — сатирически перефразированный абзац: «Ему <Базарову> и в голову не пришло, что он в этом самом доме нарушил все права гостеприимства», который был вставлен в журнальный текст романа (см. «Русский вестник», 1862, т. 37, февраль, стр. 623) под нажимом Каткова и снят в последующих изданиях.

...с той же точки зрения, с какой г. Семевский взирает на русскую историю, то есть с точки зрения клубнички.— М. И. Семевский, впоследствии издатель журнала «Русская старина», в своих «рассказах» из истории XVIII в. («Императрица Екатерина I и семейство Монсов», «Царица Авдотья Лопухина» и др.) «отдался всею душою... исторической сплетне», «наглядно объясняя» «эротическую сторону человеческого сердца»,— по характеристике «Искры» («Хроника прогресса», 1862, № 31 от 17 августа, стр. 410).

...не признает науки, скрывающейся, как известно, в стенах Московского университета...— Объединившись с реакционной профессурой (П. М. Леонтьев, П. Д. Юркевич и др.), бывшие «друзья, товарищи, ставленники Грановского» во главе с Б. Н. Чичериным содействовали превращению «святого. непорочного» центра передовой научной мысли 40-х годов в «византийский университет», с кафедры которого звучала «проповедь рабского повиновения» (см. «Колокол», 1862, л. 125 от 15 марта; л. 135 от 1 июня; ср. А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVI, М. 1959, стр. 80, 105, 106, 313). Комментируемые строки откликаются на печально знаменитую вступительную лекцию Чичерина по государственному праву, в которой он (в разгар студенческого движения) заявил: «В стены этого здания, посвященного науке, не должен проникать шум страстей, волнующих внешнее общество. Здесь мы должны, углубясь в себя, в тишине готовиться на жизненное дело или на полезное поручение» («Московские ведомости», 1861, № 238 от 31 октября).

Стр. 17. *...сомнение насчет либерализма Василья Александрыча Кокорева...*— Сатирическая критика «либерализма» откупщика-миллионера

В. А. Кокорева как пустозвонной игры в «свободомыслие» часто встречается в произведениях Салтыкова. См. по указателю имен в предыд. и послед. томах наст. изд.

Стр. 18. *Лазарь богатый и Лазарь бедный* — не совсем точное упоминание евангельской притчи о богаче и бедном Лазаре, питавшемся крохами со стола его. Первый после смерти попадает в ад, второй блаженствует в раю (Лук., XVI, 19, 31).

Стр. 19. *...летом 1862 года... ходили слухи о поджогах — благонамеренные воспользовались этим, чтоб обвинить нигилистов...* — 16 мая 1862 г. в Петербурге начались огромные пожары, длившиеся более недели; сгорели Большая и Малая Охта, Ямская улица, Апраксин и Щукин рынки. В связи с недавними студенческими волнениями в университете и появлением за несколько дней до пожаров прокламации «Молодая Россия», в народе и обществе возникли, при прямом поощрении и участии правительства, слухи о том, что причина бедствия — поджоги, совершенные по «адскому плану» революционеров. Тургенев вспоминал: «Когда я вернулся в Петербург в самый день известных пожаров... первое восклицание, вырвавшееся из уст первого знакомого, встреченного мною на Невском, было: „Посмотрите, что *ваши* нигилисты делают! Жгут Петербург!"» (И. С. Тургенев. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 10, М. 1956, стр. 347). Не только консервативные, но и либеральные органы печати поддерживали эту версию (см., например, *ОЗ*, 1862, № 6, стр. 39; «Современная летопись», 1862, № 23, стр. 17; «Северная пчела», 1862, № 151 и др.).

...образовалась какая-то неслыханная потаенная литература... (в корректуре было: «...какая-то потаенная подметная литература») — 1861—1862 гг.— «эпоха прокламаций»; «прокламации, точно по уговору, явились все в одно время»,— вспоминал Н. В. Шелгунов (Воспоминания, М.— Пг. 1923, стр. 32), имея в виду появление и распространение революционных прокламаций общества «Великорусс», «К солдатам» (Шелгунова), «К молодому поколению» (Шелгунова и Михайлова), «Молодая Россия» (Зайчневского) и др. Противники революционной демократии поспешили связать эту «подземную литературу» с «мнениями крайних прогрессистов» «Современника» и «сигнализировать» об этом властям («Современная хроника России».— *ОЗ*, 1862, № 6, стр. 83).

Стр. 20. *Вот какую страшную услугу оказал г. Тургенев.*— В статье «По поводу „Отцов и детей"» (возможно, не без влияния комментируемой статьи Салтыкова) Тургенев писал: «Я понимаю причины гнева, возбужденного моей книгой в известной партии. Они не лишены основания... Выпущенным мною словом «нигилист» воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, овладевшее русским обществом... оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения — почти в клеймо позора» (И. С. Тургенев. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 10, М. 1956, стр. 353). Строго говоря, термин «нигилизм» появился раньше, до тургеневского романа (см. А. И. Батюто. К вопросу о происхождении слова «нигилизм» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети».—

«Известия АН СССР. Отд. литературы и языка», 1953, т. XII, вып. 6, стр. 520—525).

...слово «нигилист» выражает собой совокупность всех возможных позорных понятий... чем же тут виноваты мальчишки? — Салтыков стремился разъединить понятия «мальчишки» и «нигилисты», ибо последнее давало реакционерам возможность не только предъявить революционной молодежи политические обвинения, но и морально компрометировать ее. В этом отношении он солидаризировался с Антоновичем, писавшим в статье «Литературный кризис» (в том же № 1—2 «Современника» за 1863 г.), что на нигилизм стремятся «взвалить» «разные неблаговидные факты, совершающиеся в практической жизни», «например, неуважение к родителям и другие», хотя «неблаговидные качества, приписываемые нигилистам, могут обнаружиться у людей, которые и слова не слыхали о литературной базаровщине» (стр. 97—98). К публицистам «Современника» присоединилась «Искра»: «Ни одно слово не входило так быстро в моду, как слово *нигилист;* его произносят господа, произносят даже слуги... теперь нигилисты — лодыри, собачьи сыновья, жулики» («Выдержки из памятной книжки старшего чиновника особых поручений „Искры"».— «Искра», 1863, № 13 от 12 апреля, стр. 193).

...г. Чичерин... изобрел в 1861 году слово: «казачество в науке».— Во вступительной лекции по государственному праву (см. прим. к стр. 16) Чичерин, обосновывая охранительные принципы, резко критиковал революционно-демократическое движение — «современную анархию умов, хватающихся за самые крайние мнения». «Весь этот буйный разгул мысли» Чичерин характеризовал как «умственное и литературное казачество», «беспутное казачество» и к этому презрительному обозначению «современного или передового направления» не раз возвращался впоследствии («Московские ведомости», 1861, № 238 от 31 октября; «Наше время», 1862, № 39 от 22 февраля). Чичеринскую метафору высмеивала также «Искра», рисовавшая ее автора в виде «казака с нагайкой» («Казацкие стихотворения».— «Искра», 1862, № 3 от 19 января; «Казаки в Москве!!!».— Там же, № 4 от 26 января).

...М. Н. Катков... изобрел... «мальчишек»...— Кличку эту Катков впервые пустил в ход в своей полемике со «Свистком»: «Хорошо ли будет для России, чтобы мы остались вечными мальчишками — свистунами, способными только на маленькие дела, на маленькие сплетни и скандалы?» («Несколько слов вместо современной летописи».— «Русский вестник», 1861, т. 31, январь, стр. 482).

...ничто не мешает быть нигилистом Н. Ф. Павлову... и благонамеренным — г. Чичерину, хотя он еще очень молодой человек.— Толчком к этому ходу сатирической мысли писателя могло послужить посвященное Н. Ф. Павлову стихотворение В. С. Курочкина «Нигилист-старичок» («Искра», 1862, № 20, стр. 289), в котором подробно охарактеризованы идейное флюгерство и моральная нечистоплотность Павлова. Тридцатипятилетний Б. Н. Чичерин был в те годы одним из самых молодых профес-

соров Московского университета. Салтыков подчеркивает, что по духу своей деятельности он принадлежит к «отцам», а не к «детям».

Стр. 21. *...мальчишки — это, по счастливому выражению «Времени», «пустые и безмозглые крикуны... свистуны, свистящие из хлеба»...*— Цитируемые Салтыковым строки взяты из объявления об издании журнала «Время» на 1863 г., написанного Ф. М. Достоевским (см. «Время», 1862, № 9). Определяя свою позицию, Достоевский отмежевался как от «доктринеров» — идеологов консервативного направления, так и от «теоретиков» — представителей революционной демократии. Но этот лагерь руководитель «Времени» воспринимал дифференцированно, находя в нем «обличителей дельных» и «дешевых». Под первыми разумелся круг «Современника» («обличители» «темного царства»). Отмечая свое расхождение с ними в позитивных моментах, Достоевский заявлял согласие в критике сущего и не отказывал «дельным обличителям» в праве считаться «искренними друзьями народа» («Время», 1862, № 9, стр. 2—3, 6—7). Однако объявление содержало еще и цитируемые Салтыковым резкие памфлетные характеристики «обличителей дешевых», имевшие в виду главным образом сотрудников «Искры». Независимо от намерений Достоевского его выступление в «минуту ликвидации», когда революционный лагерь с трудом удерживал рассеиваемые силы, было воспринято как акт капитуляции «Времени» перед реакцией. Подробнее о полемике Достоевского и Салтыкова см. наст. том, раздел «Журнальная полемика», а также т. 5 наст. изд., стр. 622—625.

...«Из чести лишь одной я в доме сем свищу!» — перефразированная строка из поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» («Из чести лишь одной я в доме сем служу»), где она вложена в уста кухарки из публичного дома.

Стр. 22. *...если мальчишка умирает... всяк говорит: вот погибает мальчишка, то есть негодяй, то есть нигилист...*— Эти строки являются, по-видимому, ответом на ту травлю, которой «благонамеренная» пресса подвергла посмертно Добролюбова (см., например: ДЪ <А. В. Эвальд>. Все и ничего.— *ОЗ*, 1862, № 3, стр. 78). Они были направлены, вероятно, и против следующей сентенции тех же «Отечественных записок», высказанной в связи с разбором финала тургеневских «Отцов и детей»: «И слава богу, скажем мы по смерти Базарова,— писал критик журнала.— Правда, автор заставил его умереть случайно, но все-таки если Базаров помер, то благодарение господу за это. Такие нигилисты, такие Базаровы гораздо вреднее для общества, чем самые застарелые и упорные ретрограды... Нигилисты (по призванию) большей частью трутни, не способные ни к какой работе... Они забывают только одно: избавить толпу от злейших ее врагов, от самих себя... Его смерть была лучшим делом его жизни... слава богу, что Базаров умер» («Все и ничего».— *ОЗ*, 1862, № 4, стр. 226—227).

...одни действуют по беспамятству, другие — потому, что дело это торговое и завсегда в наших руках состоит.— К людям, для которых передовые убеждения — «дело торговое», Салтыков, очевидно, относил А. А. Краев-

ского, Н. Ф. Павлова, возможно — М. Н. Каткова. В 40-е годы они были прикосновенны к кругу Белинского, противостояли продажной литературной когорте Булгарина — Греча, подвергались нападкам «охранителей». В середине 50-х годов — находились в первых рядах поборников реформ и обличителей пороков существующего порядка. К 1863 г. все трое оказались во главе похода против революционного «мальчишества» и передовой литературы. «Беспамятными», судя по контексту, автор хроники мог считать Ф. М. Достоевского — бывшего петрашевца, поплатившегося за передовые убеждения многолетней каторгой, И. С. Тургенева, который в начале литературного пути подвергался ожесточенной травле со стороны «благонамеренных» того времени за антикрепостнический пафос своего творчества.

<II. Март 1863 года>

(Стр. 26)

Впервые — *С*, 1863, № 3, отд. «Современное обозрение», стр. 175—202 (ценз. разр.— 15 февраля и 14 марта). Раздел «Картонные кушанья, картонные копья, картонные речи» с небольшими сокращениями и незначительной стилистической правкой вошел в первое и второе отдельные издания «Признаков времени» («Признаки времени и Письма о провинции», СПб. 1869 и 1872); в последующие издания не включался.

Сохранилась вторая чистая корректура статьи, набранная 22 и 23 февраля *(ИРЛИ)*. (В *изд. 1933—1941* не учтена.)

В настоящем издании печатается по тексту «Современника» с устранением цензурных изменений и мелких погрешностей по корректуре.

Отметим важнейшие случаи цензурного вмешательства. При публикации в журнале было снято развернутое сравнение «картонной жизни» с крестным ходом, а именно от слов: «Большинство уже позабыло о прежней картонной жизни» до «господи боже мой!» (стр. 29, строки 14—29). В фразе: «народ пил дешевку и похваливал, *приговаривая: «дай бог здоровья батюшке царю!»* (стр. 41, строки 15—16) по понятным причинам устранена часть фразы, набранная курсивом. Также, конечно, по требованию цензуры, был опущен третий пункт «проекта» поощрения литераторов (стр. 42).

Из материалов цензуры о мартовской хронике известен лишь сделанный после выхода в свет № 3 «Современника» краткий отзыв О. А. Пржецлавского, который характеризовал ее как «язвительную нападку» «на *благородство чувств*. Это pendant к филиппике 1-го тома на *благонамеренность*. Все, что уже сказано об этой последней, относится, и в высшей степени, к этой статье» [1].

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в журнальной публикации из текста фельетона «Тревоги „Времени"» были удалены, возможно

---

[1] *ЛН*, т. 13—14, М. 1934, стр. 137.

по настоянию Некрасова, упоминание имени Ф. М. Достоевского среди сотрудников «Времени» («птиц») и выпад против «Записок из Мертвого дома». Так, вместо: «птицы: М. Достоевский, А. Григорьев, гг. Страхов и Косица» в корректуре было: «птицы: М. и Ф. Достоевские, А. Григорьев, Страхов» (стр. 44, строки 19—20). Вместо: «суть: М. М. Достоевский, Страхов» — в корректуре: «суть: братья Достоевские, Страхов» (стр. 49, строки 13—14). Вместо: «в вас только и есть русского, что «Мертвый дом»?» (стр. 49, строки 31—32) — в корректуре: «самое русское из всего русского, в вас помещавшегося, ваш «Мертвый дом», написан на манер французского?»[1]

Во второй — мартовской — хронике «Нашей общественной жизни» предполагалось развитие идеи своеобразной «самокритики», которая была тезисно заявлена в журнальном тексте в заключении первой хроники. Не появившаяся в печати первоначальная редакция окончания ее содержала развернутую критику «мальчишества» — за неумелое обнаружение своей «силы», «себялюбивую брезгливость мысли», мешающую «прикоснуться к действительности», к «жизни текущей», и негибкую тактику, которая «отталкивает... союзников и разлучает с массой». Проявив суровый реализм в оценке исторического момента, Салтыков стремился не только дать здесь разбор уроков поражения, но и поставить вопрос о практических путях революционно-просветительской деятельности в изменившейся политической ситуации.

Однако и во второй хронике Салтыков вынужден был отказаться от обсуждения указанной проблематики. К такому решению его побудил, по-видимому, сложный сплав мотивов — вынужденных («никто меня и не пустит») и добровольных («если мальчишки уже получают выговоры, то зачем же мне соваться еще со своими выговорами»), тем более что эта «критика, обращенная к себе и своим»[2], не имела ничего общего с «выговорами» реакционно-либеральной публицистики.

В мартовской хронике развита и углублена тема, затронутая в первой статье цикла: исследование «благонамеренности» в специфически литературном ее проявлении.

Главный объект сатирического анализа Салтыкова — «картонная литература», рожденная «картонной жизнью» — бесплодно-либеральной шумихой «глуповского возрождения». Разоблачению подвергаются «теория» этого «направления» и его «творческая» практика. В хронику введена серия пародий на разные образцы «картонной литературы».

Продолжая добролюбовскую линию, Салтыков утверждал, что «картонная литература», движимая не передовым мировоззрением, а мелким

---

[1] В апреле в № 9 «Свистка» Салтыков повторил это утверждение в сатирическом заглавии «исследования» «Опыты сравнительной этимологии, или «Мертвый дом», по французским источникам». См. т. 5 наст. изд., стр. 303 и 624.

[2] А. С. Бушмин Сатира Салтыкова-Щедрина, М.—Л. 1959, стр. 57.

«благородством чувств», «никогда не размышляет, в каком отношении находится частный факт к целой системе», «преследует какие-то пылинки», «замахивается обухом... на комара». «Благородство чувств» — поверхностное восприятие освободительных демократических идей 60-х годов. Это — *удешевление идеала,* когда глубина исследования «основ жизни» подменяется разговорами о внешних разрозненных приметах злободневной «прогрессивности» (воспевание труда в воскресных школах, права женщины на свободу чувств и т. д.). «Картонная литература» превратила благородные чувства в новый штамп. Именно поэтому она легко исчерпывает свою «куриную неприязненность к куриному злу» и оказывается «лишь ближайшим шагом к благонамеренности».

Завершается мартовская хроника фельетоном «Тревоги „Времени"» — первым развернутым выступлением Салтыкова против журнала Достоевских, позиций которого он коснулся вскользь уже в январско-февральской хронике (см. стр. 21). Причиной этого выступления явились анонимные статья и заметка Ф. М. Достоевского «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» и «Молодое перо» («Время», 1863, № 1 и 2). В «Необходимом литературном объяснении...» «полемика с направлением»[1] «Современника» еще была замаскирована такими конкретными намеками, которые давали возможность отнести статью преимущественно к «Искре». Салтыков принял на себя и удар, нацеленный против «Искры». Редакция «Искры», в свою очередь, поддержала «Современник»[2].

Основным предметом завязавшегося спора был вопрос о направлении «Времени». Едва ли не все периодические органы 60-х годов бросали журналу Достоевских обвинение в «желании служить и нашим и вашим»[3]. О «неопределенности самой мысли», лежавшей в основании «Времени», писал позже Н. Н. Страхов[4]. В идейных схватках тех лет Достоевский

---

[1] Н. Н. Страхов. Воспоминания о Ф. М. Достоевском. В кн: «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», СПб. 1883, стр. 197.

[2] Н. А. Лейкин в воспоминаниях, охватывающих 1863—1864 гг., утверждает, что слышал о Салтыкове «много восторженных речей от сотрудников «Искры», от самого В. С. Курочкина, который даже ездил к нему советоваться с некоторыми рукописями» («М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», 1957, стр. 69). Вполне возможно, что действия обоих журналов в борьбе с органом «почвенничества» были координированы. Полемические материалы «Искры» и в существе и в деталях совпадают с выступлениями Салтыкова в «Современнике», подхватывая и развивая их мотивы («Домашний театр «Искры». Ванна из «почвы», или Галлюцинации М. М. Достоевского», 1863, № 7 от 22 февраля; «Опыт словаря псевдонимов современной русской литературы», 1863, № 13 от 12 апреля; «Козни злонамеренных (плач о погибающих)», 1863, № 14 от 19 апреля; «„Время", напуганное своею тенью», 1863, № 16 от 3 мая).

[3] И. С. Аксаков. Письмо к Н. Н. Страхову от 6 июля 1863 г. в кн: «Биография, письма и заметки из зап. кн. Ф. М. Достоевского», СПб. 1883, стр. 257.

[4] Там же, стр. 194.

упорно искал для журнала «третий путь», стремился встать над борющимися партиями, оставаясь неподвластным ни реакционным, ни революционным «догмам». Салтыков показал объективные тенденции неизбежного дальнейшего движения органа, не имеющего твердой платформы[1].

Повод для заглавия фельетона — «Тревоги „Времени"» — дал общий тон многих выступлений этого журнала: постоянные глухие упоминания об окружающей его «вражде», «недругах» и «козням».

Подробнее о полемике Салтыкова с журналами Достоевского см. ниже, раздел «Журнальная полемика», а также в т. 5 наст. изд., стр. 622—625.

Стр. 27. *...мальчишество в настоящую минуту подвергается иным выговорам и выслушивает иные наставления...* — Имеются в виду репрессии — аресты, суды и ссылки,— обрушенные правительством в 1862—1863 гг. на многих участников революционного движения.

Стр. 30. *...все званые, а нет избранных...* — Перифраза евангельского текста: «...ибо много званых, а мало избранных» (Матф., XX, 16).

Бесплодная смоковница — образ из евангельской притчи (Матф., XXI, 18; Лук., XIII, 6—9).

...благородство чувств есть один из... ядов нашей литературы... — «Благородное направление» противопоставлялось либеральной критикой «отрицательному направлению» «Современника». По предположению С. С. Борщевского, Салтыков имеет здесь в виду выступления критика «Времени» Н. Н. Страхова, который писал: «Наша литература почти исключительно руководствуется благороднейшими чувствами» (С. С. Борщевский. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы, М. 1956, стр. 40). Аналогичная мысль высказывалась и в «Отечественных записках» (см., например, А. Ленивцев (А. В. Эвальд). Русская литература — 1862, № 10, стр. 232).

Возможно ли написать... не чуждую вопроса о воскресных школах физиологию? — Салтыков, по-видимому, воспринимал воскресные школы для народа в общем ряду с либеральными культурническими «начинаниями», хотя эти школы и были организованы при участии революционной интеллигенции и были закрыты летом 1862 г. правительством.

Стр. 31. *...человек, сожалеющий о падении откупов...* — Откупная система, дававшая частным лицам монопольное право винноторговли в определенной местности, была отменена с января 1863 г.

...безличные Машеньки... Вертяевы... графини Клавдии Алексеевны... — Под «Машеньками», возможно, подразумеваются наделенные этим распространенным именем героини рассказов, повестей и сцен «с направлением», которые заполонили беллетристический отдел «Отечественных записок» (см. А. Ивин. Не судьба — 1862, № 1; А. М. Иванов, Гладиа-

---

[1] Характеристику общественно-философской и литературной позиции журнала «Время» см. в книге В. Я. Кирпотина «Достоевский в шестидесятые годы», М. 1966.

тор нашего времени — 1862, № 4; А. Суворин. Отверженный — 1863, № 1, и др.). Вертяев — персонаж комедии Ф. Н. Устрялова «Слово и дело». Салтыков дал уничтожающую характеристику этого героя в статье «Петербургские театры» (т. 5 наст. изд., стр. 163—181). Графиня Клавдия Алексеевна действует в комедии И. Л. Гринберг «Бедная племянница», о которой идет речь ниже.

Стр. 32. *Напишу здесь несколько примерных повестей.*— В пародиях Салтыкова высмеяны типические черты массовой журнальной беллетристики, но угадываются и ее конкретные образцы. Так, в «повести» «Маша — дырявое рубище» очевидны отголоски двух романов, которые Салтыков рецензировал в № 1—2 «Современника» за 1863 г.: «Немного лет назад» И. Лажечникова и «Приключения, почерпнутые из моря житейского. Воспитанница Сара» А Вельтмана. В первом действует приемная дочь купцов Патокиных Дуня, которая «под конец открывает», что она — дочь «благородных родителей», и выходит замуж за разорившегося Володю Патокина. В другом «идет дело о каком-то русском князе, который законную и любимую свою дочь отдает на воспитание... повивальной бабке... и все это наконец открывается» (см. т. 5 наст. изд., стр. 307, 321). В пародийном «очерке из народного быта» — «Полуобразованность и жадность — родные сестры» — иронически отмечено пристрастие, например, Н. Успенского (см цикл его рассказов, опубликованный в «Отечественных записках», 1863, № 1) к скрупулезному описанию быта мелкого сельского духовенства, медлительным бессвязным диалогам, обильным диалектизмам.

Стр. 35. *Что ты, Дуня, приуныла...*— распространенный вариант народной песни (см. «Песни, собранные П. В. Киреевским». Новая серия, вып. 2, №№ 1713, 1727: «Что ж ты, Маша, приуныла, / Призадумавшись сидишь?»)

Стр. 38. ...*«Театральные закоулки»... «Испорченные жизни»...*— Имеются в виду: «Уголки театрального мира. Очерки нравов» Ив. Е. Чернышева (*ОЗ*, 1862, №№ 9—11) — сентиментальное повествование о скитаниях бедных артистов; его же комедия «Испорченная жизнь», которая «произвела решительный фурор» в сезон 1861/62 г., так как «ловко» эксплуатировала тему женской эмансипации (А. И. Вольф. Хроника петербургских театров, т. III, стр. 23).

Стр. 39. *Комедия... И. Л. Г.*— Автор комедии «Бедная племянница» — некая Изабелла Львовна Гринберг. Пьеса впервые была представлена весною 1862 г. любителями, роль Ольги исполняла сама Гринберг («СПб. ведомости», 1863, № 4 от 5 января). В сезон 1863 г. комедия шесть раз прошла на Александринской сцене.

Стр. 40. ...*на эту тему литература наша более сорока лет сряду отравляла публику!* — Какого рода литературу имел в виду Салтыков, раскрывается в корректуре, где вместо указанной фразы было: «на эту тему Булгарин и Рафаил Зотов более сорока лет сряду отравляли публику».

Стр. 41. *Назовем эту газету хоть «Куриным эхом».*— «Куриное эхо» — одно из многих у Салтыкова сатирических наименований газеты А. А. Краевского «Голос». В строках, идущих далее, пародируется состав и характер

информационного отдела газеты — «Русские новости». Сатирический псевдоним, найденный Салтыковым, был сразу расшифрован журналистами (см., например, «Литературные заметки и слухи».— «Развлечение», 1863, № 16 от 26 апреля, стр. 253).

Стр. 42. *...можно бы должность меценатов возложить на квартальных надзирателей... нам рассказывал... г. Громека про одного квартального надзирателя...*— Упоминаемый эпизод был сообщен в «СПб. ведомостях» (1863, 20 января): студент Академии художеств Никольников по произволу квартального надзирателя, случайно заглянувшего к нему на квартиру, был без всяких оснований арестован и выслан из Петербурга по этапу. Громека патетически обращался к властям с просьбой о его защите — Салтыков использовал этот факт для намека на систему полицейской слежки за искусством.

...дом кн. Вяземского на Сенной...— В принадлежавших князю Вяземскому домах на Сенной площади снимала углы петербургская беднота.

...можно бы поручить г. Семевскому...— См. прим. к стр. 16.

Стр. 43. *...на адмиралтейской площади.*— Эта площадь в Петербурге была центром традиционных народных гуляний на масленице и пасхе.

...свистуны, «свистящие из хлеба...» — См. прим. к стр. 21.

...вместо одного театрального комитета...— Об отношении Салтыкова к деятельности театрально-литературного комитета см. в прим. к статье «Петербургские театры» (т. 5 наст. изд., стр. 580).

...возобновить инспекторский департамент гражданского ведомства...— См. прим. к стр. 300.

...«Смрадный листок» говорит, что язвы можно лечить посредством доноса...— Под этим наименованием фигурирует реакционно-шовинистическая газета «Русский листок» (в тексте «Современника» — «Убогий листок»; восстанавливаем чтение корректуры). Подробнее — в статье «Несколько полемических предположений» (т. 5 наст. изд., стр. 265, 611).

Стр. 44. *...гг. Страхов и Косица.*— Н. Косица — псевдоним Н. Н. Страхова. Повод к сатирическому «раздвоению» давал сам Страхов, помещавший в одном и том же номере «Времени» статьи и под псевдонимом и под собственным именем. В последних Н. Косица выступал как «приятель» автора, то есть Страхова, участник критического диалога.

Стр. 45. *Занялся было вами... «Современник»...*— По-видимому, Салтыков имеет в виду то обстоятельство, что при возникновении «Время» было поддержано Чернышевским («Новые периодические издания».— *С*, 1861, № 1) и Некрасовым («Гимн „Времени"»; «Мысли журналиста, при чтении программы, обещающей не щадить литературных авторитетов».— Там же, «Свисток», № 6).

...вы открыли каких-то «свистунов»...— См. прим. к стр. 21 и 46.

Стр. 46. *...кто заявлял вам об обиде?* — В объявлении о подписке на 1863 г. редакция «Времени» писала: «Недоброжелателей у нас много, да и не могло быть иначе... Мы выступили на дорогу слишком удачно, чтоб не возбудить иных враждебных толков» («Время», 1862, № 9, стр. 1).

...с чьего разрешения вы приплели Чернышевского и Добролюбова...— В полемической статье «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» Достоевский, с крайней резкостью отозвавшись о ныне действующих «свистунах», счел необходимым отделить от них Чернышевского и Добролюбова: «Чернышевский и Добролюбов были другое дело. Добролюбов особенно: это был человек глубоко убежденный, проникнутый святою, праведной мыслью и великий боец за правду. Чернышевский работал с ним вместе» («Время», 1863, № 1, «Совр. обозрение», стр. 38). «Искра» по этому поводу упрекнула журнал Достоевских в том, что «теперь» он «творит покаянные акафисты умершему Добролюбову и безмолвствующему Чернышевскому», которые ранее не встречали у него такого сочувствия («Домашний театр «Искры». Ванна из «почвы» или Галлюцинации М. М. Достоевского».— «Искра», 1863, № 7 от 22 февраля, стр. 107).

...прочтите... статью г. Дмитриева «Провинциальная газета»...— Герой этой повести И. И. Дмитриева (*С*, 1863, № 1—2), редактор провинциальной газеты, для «оживления» издания публиковал «ответы редакции» мифическим корреспондентам.

...вы очень желаете обидеть «Русский вестник» и называете его то булгаринствующим, то теймствующим.— Язвительные характеристики «г. Каткова, фаддейбулгаринствующего на Москве», «теймствующего в Москве», находим в № 1 «Времени» за 1863 г. («Совр. обозрение», стр. 36, 182). Последнее — намек на англоманию редактора «Русского вестника» (от названия английской газеты «Times», поклонником которой был Катков).

Стр. 47. *...«Время»... поместило статью «Молодое перо»...*— В неподписанной статье «Молодое перо» («Время», 1863, № 2) Ф. М. Достоевский обвинил Салтыкова (как автора также появившегося анонимно памфлета «Литературная подпись» — см. т. 5 наст. изд.) в литературном «генеральстве» и беспринципности (сравнив с знаменитым «бароном Брамбеусом» — О. И. Сенковским). «Беспринципность» Салтыкова Достоевский усматривал, видимо, в том, что он — «человек сороковых годов» — выступил в январско-февральской хронике 1863 г. с яркой апологией «мальчишек» и резкой критикой поколения «бывших друзей Белинского». Слова, завершавшие вступление к первой хронике: «итак, я должен отречься от самого себя, отречься от своих воспоминаний»,— Достоевский истолковал как измену сатирика убеждениям молодости («впился в интересы редакции «Современника» и «впиваясь, оставил прежнее у порога»). Внешний признак этой измены Достоевский увидел в том, что «Времени» были посвящены в январско-февральской хронике суровые строки, хотя в 1862 г. Салтыков дважды публиковался в журнале Достоевских (см. прим. к стр. 528). В поддержку Салтыкова, аноним которого был в резкой форме раскрыт Достоевским, выступила «Искра» (см. в № 14 от 9 апреля 1863 г. «Козни злонамеренных»).

Стр. 48. *...он когда-нибудь и сам на вас замахнется, и не пикнете!* — Это предсказание сбылось уже в мае 1863 г.: опубликованная в № 4 «Вре-

мени» статья Н. Н. Страхова о польских делах («Роковой вопрос») показалась Каткову непатриотичной. Редакция «Московских ведомостей» выступила с резкой отповедью, дело было доведено до царя — и журнал закрыли. См. прим. к стр. 124.

...разумеется, мы не говорим о беллетристике...— Подвергая критике общие позиции «Времени», Салтыков делал исключение для беллетристического отдела журнала. Содержательность его определили имена печатавшихся в нем Н. А. Некрасова, А. Н. Островского, Н. Г. Помяловского, самого Салтыкова и главным образом Ф. М. Достоевского, которого сатирик не хотел — на этом раннем этапе полемики — задевать как художника.

Вспомните г. Вс. Крестовского: мог ли А. Н. Майков предчувствовать, что ему придется погибнуть от руки его...— В рецензии на сборник стихов Вс. Крестовского Салтыков писал, что последний «довел до карикатуры» поэтическую манеру Майкова (*С*, 1863, № 1—2, стр. 133—134. См. т. 5 наст. изд., стр. 324—330).

Вы говорите, что первые вооружились против авторитетов, и в то же время отмахиваетесь от тех, которые будто бы обвиняют вас за то, что вы не вооружались против Тургенева, Писемского...— В объявлении об основании журнала «Время» («Московские ведомости», 1860, № 232 от 27 октября) Ф. М. Достоевский утверждал, что «в нашей журналистике в последние годы развилась какая-то особенная добровольная зависимость, подначальность литературным авторитетам .. Мы решились основать журнал вполне независимый от литературных авторитетов — несмотря на наше уважение к ним — с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени». Когда, к осени 1862 г., участились нападки на «Время» «Искры» — основным тоном их был упрек в «бесцветности», общественно-литературной безликости,— Достоевский, по-видимому, предположил, что одна из причин этой «вражды» — неучастие «Времени» в литературной полемике на стороне демократических журналов. В «Необходимом литературном объяснении...» Достоевский сформулировал «контробвинение» «Искре» — в том, что сама она несамостоятельна в полемических выступлениях и лишь вторит «авторитету» — «Современнику» («Время», 1863, № 1, «Совр. обозрение», стр. 37—38).

Стр. 49. *...«антиспатов» наскажете...*— В № 4 «Времени» за 1862 г. были напечатаны три лекции Т. Н. Грановского из курса, читанного им в Московском университете. Публикация осуществлялась по студенческим записям, что послужило причиной некоторых искажений и ошибок в тексте. В частности, вместо слова «оптиматы» повторялось бессмысленное «антиспаты».

«Духа русского тут и слыхом не слыхать и видом не видать».— Мысль о том, что «прогрессисты», «теоретики» (то есть в первую очередь деятели «Современника») «санктифируют» «неметчину и регламенты», пропитывала все выступления «Времени». «Духа русского тут и слыхом не слыхать и видом не видать. Чутья русского и во сне не предвидится»,— писал

Ф. М. Достоевский («Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов».— «Время», 1863, № 1, «Совр. обозрение», стр. 31).

...об червонорусах... что-то пролепетали, об каких-то четырехсотлетних страданиях! — Об этом писал Ф. М. Достоевский в той же статье «Необходимое литературное объяснение...» («Время», 1863, № 1, «Совр. обозрение», стр. 31).

...арбузные корки, выкинутые вам покойною «Русскою беседой»...— Указание на связь почвеннической теории с некоторыми идеями славянофилов, органом которых был журнал «Русская беседа».

...хвастаетесь... что у вас много подписчиков.— В № 1 за 1863 г. был опубликован «Список экземплярам «Времени», разосланным по губерниям в 1862 г.». Редакция сопроводила его ироническими замечаниями по адресу журналов, которые «находили это дурным, неуместным, хвастливым», так как у них «число подписчиков уменьшалось с каждым годом».

...тысячекратно повторяемое трясение гоголевской «Шинели»...— По-видимому, повод для этого упрека Салтыкову дал не сам Ф. М. Достоевский, а состав беллетристического отдела журнала в целом. Прямыми реминисценциями из гоголевской повести выглядели, например, некоторые эпизоды в рассказах и очерках, опубликованных в № 1 «Времени» за 1863 г. (Н. Соколовский. Из записок следователя в арестантской роте. Самоубийца, стр. 20—21; Петр Горский. Бедные жильцы. Физиологический очерк, стр. 283). Эта беллетристика разменивала социальный гуманизм на снисходительную жалость к «маленьким людям», враждебную установкам «Современника».

Стр. 50. *...драму Островского...*— «Грех да беда на кого не живет».

<III. Апрель 1863 года>

(Стр. 51)

Впервые — *С*, 1863, № 4, отд. «Современное обозрение», стр. 375—402 (ценз. разр.— 20 апреля). Рукописи и корректуры не сохранились.

Содержание апрельской хроники определяют вопросы о политической роли дворянства, о положении помещиков в пореформенной России, об их взаимоотношениях с крестьянами.

Требования «справедливости» к «ущемленному в правах» дворянину, сетования о его «потерях», прославление его «самоотверженности» в ходе реформы, жалобы на «неблагодарность» крестьян заполнили к началу 1863 г. страницы консервативной печати: «Высшее сословие, дворянское сословие совершило для блага бывших своих крестьян точно подвиг»[1], «дворянство... приносит значительные жертвы общему делу»[2]. Между тем «кре-

---

[1] «Наше время», 1863, № 38 от 21 марта.

[2] Там же, 1862, № 45 от 1 марта.

стьяне в самых заботливых облегчениях, в самых щедрых уступках, делаемых помещиками, видят какую-то ловушку»[1], а литература «тешится... над помещиком»[2].

Дворянские идеологи в своих газетно-журнальных выступлениях, книгах, проектах преследовали цель, точно сформулированную Б. Н. Чичериным: «Когда одна поддержка здания исчезла, надобно укрепить его на новых столбах, иначе оно рано или поздно обрушится»[3].

Реставраторские стремления крепостнических кругов привлекали серьезное внимание «Современника»[4]. Но бороться с этой тенденцией было трудно: «правительство как-то особенно зорко следит, чтобы не были задеты в литературе помещики»,— отмечал «Колокол»[5].

Салтыков дал бой крепостническим претензиям, воспользовавшись появлением в «Русском вестнике» известных писем А. А. Фета «Из деревни»[6]. В них начавший хозяйничать с помощью вольнонаемного труда и столкнувшийся с трудностями Фет изливал свое негодование на новые порядки — менее «удобные» для землевладельца, чем крепостные формы взаимоотношений.

Апрельская хроника открывается теоретическим вступлением, разъясняющим понятие «справедливости».

Отстаивая «ясность действий», Салтыков доказывает, что в демократическом понимании «справедливость» есть свободный анализ «внутренней сущности» *всех* тенденций и идеалов современного общественного развития и «постановка тех выводов, которые естественно из этого анализа вытекают», то есть выводов революционных. Для представителей «привилегированной правды» (официально-дворянской идеологии) «справедливость» означает, в сущности, «снисходительность» к «несправедливости», иначе говоря — примирительно-апологетическое отношение к наследию крепостничества в пореформенной жизни.

Салтыков последовательно сопоставил два диаметрально противоположных взгляда на пореформенные отношения помещиков и крестьян: с точки зрения «привилегированного идеала» и в свете «новых идеалов», «новых истин». Защита и обоснование этих «новых истин» — демократических, социалистических,— которые, «несмотря на свою непризнанность, все-таки... действительно истины», занимает в хронике немало места. Писатель ответил здесь на многочисленные попытки скомпрометировать положительную программу русской демократии как бесплодное «теорети-

---

[1] «Наше время», 1862, № 1 от 3 января.

[2] «Русский вестник», 1863, т. 43, январь, стр. 440.

[3] Б. Чичерин. Русское дворянство.— «Наше время», 1862, № 5 от 9 января.

[4] См. рецензию Салтыкова на книгу Н. А. Безобразова «О старом и новом порядке...» — *С*, 1863, № 1—2 (т. 5 наст. изд., стр. 337—341).

[5] «Колокол», 1862, л. 122—123, стр. 1017.

[6] «Русский вестник», 1863, т. 43, январь. Ранее там же были опубликованы его «Заметки о вольнонаемном труде» (1862, тт. 38—39).

зирование» «кабинетных изучателей западных воззрений»[1], которое «никакого применения в действительности иметь» не может[2].

Практическое средство устранения социальных противоречий в пореформенной России консервативно-либеральные круги усматривали в так называемом «сближении сословий». «Слияние сословий и равенство прав... постоянно лежали в основании наших народных понятий... Доказательством тому служит быстрое развитие их с той самой минуты, как рухнуло крепостное право. Перегородки с каждым днем все падают заметнее и решительнее, и недалеко то время, когда не останется от них и следов»[3]. «Чуть только началось у нас... свободное столкновение интересов общества и народа... как тотчас же и началось повсеместно сближение народа и общества... Этого только слепой теперь не видит»[4].

Тема «сближений» и «общений» переходит в апрельскую хронику из «Глуповского распутства», предназначавшегося для майской книжки «Современника» за 1862 г. и запрещенного цензурой (см. т. 4 наст. изд., стр. 211—244, 553—564). В заключительной части апрельской хроники много прямых текстуальных перекличек с «Глуповским распутством»: мотив безнадежного одряхления «старческого организма» крепостников «Сидоров Сидорычей», которые пытаются «отыскать подновки» в «сближениях» с «непочатыми родниками» народной стихии; образно-бытовые эпизоды, раскрывающие опыты подобных «заигрываний».

Основная мысль Салтыкова заключается в том, что реформа не отменила коренной противоположности в материально-правовом положении помещиков и крестьян, а «общительные мечтания» являются попыткой «устройства» такой «неестественной комбинации», которая «обеспечивала» бы сохранение эксплуататорских порядков, закрепляла реальное социальное неравенство дворянина и «мужика» при внешней видимости всесословного единства интересов.

Стр. 51. *...«вы забываете, что нельзя же все вдруг!» — вот наиболее употребительная формула...* — Такая формула характерна для либеральной публицистики. С. С. Громека, например, писал: «Прогрессистам захотелось перестроить весь общественный порядок... и все это сделать в одну минуту, без пособия самых необходимых прав» («Современная хроника России».— *ОЗ*, 1862, № 11, стр. 9). Подобное же обвинение в адрес революционных демократов было высказано и Ф. М. Достоевским, которого, может быть, и имеет здесь в виду Салтыков: «У них же все разрешено и вдруг,— писал Достоевский в «Необходимом литературном объяснении».— «У меня это вдруг»,— говорит Хлестаков. Какой-нибудь вопрос, вроде того: как, например, устроить на будущей неделе счастье всего человечества, для них так

---

[1] «Об издании журнала «Время» в 1863 году».— «Время», 1862, № 9, стр. 2.

[2] «Наше время», 1863, № 38 от 21 марта.

[3] «Современная хроника России».— *ОЗ*, 1863, № 1, стр. 18.

[4] «Время», 1863, № 1, стр. 183.

же легко разрешить, как, например, высморкаться» («Время», 1863, № 1, стр. 32).

Стр. 53. *...кротки, как голуби, и мудры, как змеи...*— слова Иисуса, обращенные к апостолам (Матф., X, 16).

Стр. 54. *У него <«Русского вестника»> есть свой собственный взгляд и на прогресс, и на зундскую пошлину, и на польские дела, и даже на поджигателей...*— На эти темы катковский журнал, в разной связи и по разным поводам, высказывался неоднократно. По-видимому, Салтыков иронизирует над претензией «Русского вестника» формулировать руководящие принципы по всем вопросам как внешней, так и внутренней политики. Непосредственно указанным темам посвящены: 1) статья «Кое-что о прогрессе», в которой Катков утверждал, что «прогресс только там, где... вся сила прошедшего сохраняется в настоящем» («Русский вестник», 1861, т. 35, октябрь, стр. 109); 2) высказывания журнала по поводу отмены, по международному соглашению 1857 г., пошлины, взимавшейся Данией в течение ряда столетий за проход судов через Зундский пролив, и рассуждения о «выгодах», которые обещает это российским «землевладельцам» (там же, 1857, т. 8, март, стр. 127—131); 3) статья «Польский вопрос», в которой Катков, ссылаясь на «историческую» «вражду до конца» между Польшей и Россией, призывал к «беспощадной борьбе» с поляками (там же, 1863, т. 43, январь, стр. 482); 4) корреспонденция свящ. И. Беллюстина «Из Петербурга», где в качестве виновников петербургских пожаров прямо назывались студенты, «увлеченные анархией» («Современная летопись» «Русского вестника», 1862, № 23, стр. 12, 17; см. т. 5 наст. изд., прим. к стр. 347).

...можно тебя цитировать...— Один из способов подцензурного иносказания, применявшийся передовой журналистикой 60-х годов, лишенной возможности открытого обсуждения многих политических проблем, которой пользовалась реакционная печать. Как раз в № 4 «Современника» (1863), где была опубликована эта хроника Салтыкова, редакция именно таким способом выразила свое отношение к польским событиям, перепечатав «извлечение» из трех воинственно-шовинистических передовиц «Московских ведомостей» со своим комментарием («Внутреннее обозрение», стр. 347—357).

...«Русский вестник» делает легкое сопоставление между деятелями подметной литературы и петербургскими пожарами... в прошлом году «Современная летопись» публично отплевывалась от возможности подобных сопоставлений...— 19 февраля 1863 г. в Петербурге и Москве была распространена прокламация тайного революционного общества «Земля и воля» в поддержку польского восстания,— «Льется польская кровь, льется русская кровь». Катков, обвиняя авторов «подметного листка» в предательстве, заметил: «Такого поступка нельзя было бы ожидать даже от наших прогрессистов. Это еще хуже пожаров» («Польский вопрос» — «Русский вестник», 1863, т. 43, январь, стр. 479). Между тем в 1862 г. после публикации корреспонденции Беллюстина (см. выше) редакция была вынуждена

оправдываться перед общественным мнением: «Московский корреспондент «Северной почты» приписывает нам мнение о политическом характере петербургских пожаров. Тут есть какое-нибудь недоразумение. Такого мнения мы не высказывали... мы сочли своим долгом заявить, что не можем допустить возможность какого-нибудь политического замысла в этих злодействах» («Современная летопись» «Русского вестника», 1862, № 25, стр. 21).

«Сладкое бремя» — «Наше время» Н. Ф. Павлова.

Стр. 54—55. *...находятся органы, которые простирают к «Современнику»... деспотические притязания... чтобы сделать из всех деятелей литературы чистописцев, смиренно заносящих на бумагу изречения М. Н. Каткова...* — 30 марта 1863 г. в официозном «Русском инвалиде» (№ 71) была помещена (и перепечатана затем в других изданиях) статья А. Ф. Гильфердинга «За что борются русские с поляками», в которой говорилось: «На польский вопрос русская печать слишком скупа ответами. Мы слышим с разных сторон много сетований на это предполагаемое равнодушие нашей литературы к русскому делу в борьбе с поляками». Объектом этих притязаний был в первую очередь «Современник»: Гильфердинг прямо пояснил, что причина молчания — «нелюбовь к правительству» и «страх лишиться имени либералов». Тенденцию к насильственной унификации мнений русской прессы одновременно с Салтыковым отметили также авторы Козьмы Пруткова, опубликовавшие в том же номере «Современника» свой «Проект» о введении единомыслия в России («Свисток», № 9), писатели-искровцы (Н. С. Курочкин, возможно, не без влияния салтыковской хроники, предлагал «важнейшие из выработанных русскою науко-литературою истин... закреплять навсегда... отливая особые стереотипы» и «для начала» отлить «избранные места из сочинений Каткова».— «Полезное изобретение».— «Искра», 1863, № 34, стр. 461—462).

Стр. 55. *Сердца ваши преисполнены желчью и оцтом...* — то есть ненавистью и отравою. От евангельского выражения «напоять оцтом и желчью». Оцет — уксус.

...вы ссылаетесь на прежние ваши заслуги... — Яростную защиту «исторических прав» русского дворянства на первенствующее положение в государстве и после отмены крепостного права вел, в частности, Б. Н. Чичерин в цикле статей «Русское дворянство», опубликованном в «Нашем времени» и затем вошедшем в его сборник «Несколько современных вопросов» (М. 1862).

Стр. 56. *...вы всё забываете и ничему не научаетесь.* — Салтыков адресует русским дворянам-крепостникам перифраз известного изречения, которым характеризовалась политика Бурбонов в период реставрации.

Недавно... случилось мне вычитать в одной убогой московской газетке такую характеристику «Современника», что в нем в настоящее время действуют одни эпигоны... нигилисты, побойчее, замолкли... какие это именно Фивы осаждает «Современник». — Речь идет о статье М — ова «Воскрес, но не прозрел», которой «Наше время» (1863, № 44 от 28 февраля) откликнулось на первую книгу возобновленного «Современника». Имея в виду

прежде всего кончину Добролюбова и арест Чернышевского, автор, очевидно, подразумевал и другие серьезные потери в редакционном кругу «Современника»: ссылку В. А. Обручева и М. Л. Михайлова, смерть И. И. Панаева. «Эпигоны» — потомки *(греч.)*, сыновья семерых героев, осаждавших Фивы; впоследствии это слово стало служить для обозначения измельчавших поздних представителей какого-либо учения. В таком смысле оно и употреблено в «Нашем времени». Салтыков отбросил это значение и возвратился к содержанию античной легенды с двоякой целью: чтобы подчеркнуть, что «Современник» «осаждает» именно «Фивы» самодержавия, и лишний раз компрометировать газету Павлова как купленный орган, сделавший своей специальностью политические доносы.

Стр. 58. *...«тупа философия, косноязычна риторика... без грамматики!»* — Цитируется в измененном виде знаменитое изречение М. В. Ломоносова: «Тупа оратория, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики» («Российская грамматика», 1755). Салтыков использует его как элемент в сложном эзоповском построении. Притча о «неправосудном» Кузьме Терентьиче, «постоянно... бомбардировавшем справедливость», не только «не сознавая» этого, но даже оставаясь лично «чудесным малым», который «мухи... не обидел», раскрывает мысль о том, что рассчитывать на упорядочение жизни, если она будет базироваться на прежней основе, нельзя (такие «требования и неуместны, и бесполезны»). Разоблачительные усилия должны быть направлены против общественного порядка, лишенного «рациональных оснований», разумного строя («грамматики») и потому исторически обреченного.

Стр. 61. *Обвинять русскую литературу в демократизме в то время, когда она, с легкой руки того самого журнала, в котором вы произносите ваши укоризны, предлагает различные проекты самых невинных сближений и общений...* — С целью «упрочить политическое положение» русского дворянства «в будущем», Катков пропагандировал в своих изданиях разного рода проекты «сближения сословий». В одном из таких мнимо-«демократических» проектов предлагалось изменение процедуры выборов в органы местного самоуправления («Современная летопись» «Русского вестника», 1862, № 2, стр. 16). В «Русском вестнике» также «изъявлялось желание», чтобы «горизонтальные разделения» в русском обществе — то есть разделения сословные — «утратили свой политический характер», и политическая борьба в обществе шла не «между сословиями», но «между партиями, которые вертикально разделяют общество» и могут якобы охватывать «все общественные классы», сближая их между собой («Несколько слов по поводу одного иронического слова».— «Русский вестник», 1862, т. 38, март, стр. 466. См. также «Современная летопись», 1862, № 4, стр. 16).

...о разделении царства на ся... — Используется евангельский текст: «Аще царство на ся разделится, погибнет царство то», то есть, если царство разделится само в себе, если в нем совершится внутреннее разъединение, оно погибнет (Марк, III, 24).

...другая-то литература — литература демократического лагеря, в первую очередь «Современник».

...груди... исцарапанные когтями премудрых московских сов! — Речь снова идет о «Русском вестнике» и «Нашем времени», где участвовали ученые сотрудники (сова — символ мудрости) — профессора П. М. Леонтьев, П. Д. Юркевич, Б. Н. Чичерин, Ф. М. Дмитриев

...о ...материях важных... — слова Репетилова из IV явления V акта «Горя от ума».

Стр. 62. *...вот, дескать, как легкомысленно относится литература к паспортной системе, не понимает даже, что она должна существовать для успокоения землевладельцев!* — Еще в 1859 г., в связи с предстоящей крестьянской реформой, при министерстве внутренних дел была учреждена Комиссия для пересмотра устава о паспортах. Сопровождавшие многолетнюю работу комиссии печатные толки требовали от проектируемой системы «надежного ограждения» интересов помещика в его взаимоотношениях с вольнонаемными работниками — бывшими крепостными крестьянами.

Стр. 64. *Я сам был неоднократно очевидцем, как рабочие приходили... искать управы на фабрикантов...* — В биографической литературе о Салтыкове установлен ряд таких случаев. Вот один из них. 30 июня 1860 г. на морозовской фабрике в Твери произошло столкновение ткачей с директором. Жалоба рабочих на «незаконные штрафы» и «удержание задельной платы» попала в руки Салтыкова, тогда тверского вице-губернатора. Но следствие, начатое по его инициативе, было прекращено губернатором гр. П. Т. Барановым (см. Н. В. Журавлев. М. Е. Салтыков-Щедрин в Твери, Калинин, 1961, стр. 30—31).

Стр. 65. *...из «бедных, богом хранимых» хижин...* — слова песни Марии из 4-го действия мелодрамы Н. А. Некрасова «Материнское благословение, или Бедность и честь» (1842). Некрасов напечатал эту песню и отдельно в «Репертуаре русского и Пантеоне всех европейских театров» (1843, т. 1, кн. 1, стр. 240).

Стр. 66. *...совет дает вам не столько литератор, к которому (не ко мне собственно, а к собирательному имени) вы вообще питаете нелюбовь, сколько сельский хозяин...* — Вторая глава фетовской статьи, названная «Литератор», содержала отталкивающий портрет «присяжного русского литератора»-демократа «во всей красоте своего безобразия» («Из деревни».— «Русский вестник», 1863, т. 43, январь, стр. 441—442). «Сельским хозяином» Салтыков стал в конце 1861 г., купив под Москвой имение Витенево. О неудачном опыте своего хозяйствования Салтыков рассказывал в своих произведениях много раз, в том числе в «летнем фельетоне» «В деревне». См. наст. том, стр. 446 и далее. См. также письма Салтыкова к А. Ф. Каблукову.

Стр. 67. *...служит порукою... Вятская губерния.* — Осведомленность Салтыкова о крестьянском хозяйстве Вятской губернии объясняется тем, что в годы ссылки ему пришлось быть организатором сельскохозяйственных

выставок, состоявшихся в Вятке в 1850 и 1854 гг. (См. С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография. 1, Изд. 2, М. 1951, стр. 339—345.)

Вы там говорите о каких-то «гнусных валяниях» (в ноги)...— В письмах «Из деревни» рассказывается о старике — отце подпаска, подвергнутого Фетом штрафу размером в рубль. Объясняясь с хозяином, старик «бухнулся» на колени. Фет, «соблюдая принцип», не хотел отдавать рубля, но «надобно было избавиться от гнусных валяний в ногах, надобно было согласиться и на эту уступку» (цит. публ., стр. 455).

Стр. 68. *...мысль о сближении впервые зародилась у нас тотчас по упразднении крепостного права...*— См. об этом в прим. к статье 1861 г. «Где истинные интересы дворянства?» (т. 5 наст. изд., стр. 131—135) и к очерку «Глуповское распутство» (т. 4 наст. изд., стр. 557—559).

Стр. 69. *...«славян могучего рода»...*— выражение И. С. Аксакова.

...«непочатые родники»... «широкие, неиспорченные натуры»...— В славянофильской и либеральной фразеологии — народные массы, русский народ. См. также т. 4 наст. изд., прим. к стр. 225.

...одно «Наше время» посматривает как будто иронически...— Газета Н. Ф. Павлова не соглашалась со сторонниками «сближения», утверждая, что «раздвоения России» дворянской и народной никогда не существовало, что, напротив, «надо изумляться той малой степени отчуждения, непримиримости, какая обнаружилась в сношениях одного сословия с другим» («Наше время», 1862, № 230 от 26 октября).

...тверское дворянское сословие... чуть-чуть не отказалось... от всяких дворянских прав, но в нынешнем году как будто спохватилось...— В 1861—1862 гг. Тверь была центром оппозиционных выступлений передового дворянства против Положений 19 февраля. Душою их был кружок единомышленников близкого к Салтыкову А. М. Унковского. По инициативе этой группы 2 февраля 1862 г. чрезвычайный губернский съезд тверского дворянства принял адрес, в котором признал Положения неудовлетворительными, предложил созвать «собрание выборных от всего народа без различия сословий» и высказался против сохранения дворянских привилегий («Колокол», 1862, л. 126 от 22 марта, стр. 1045). В «подстрекательстве» к этому решению министр юстиции граф Н. В. Панин подозревал Салтыкова, который незадолго до открытия съезда оставил пост тверского вице-губернатора (см. Н В. Журавлев. М. Е. Салтыков-Щедрин в Твери, Калинин, 1961, стр. 166). После репрессий, которым были подвергнуты многие участники тверских выступлений, местное «общество» притихло. Состоявшийся в феврале 1863 г. губернский дворянский съезд за благонамеренность решений удостоился похвалы «Нашего времени» (1863, 14 марта, № 56). См. также т. 4 наст. изд., стр. 293 и 589.

Стр. 70. *...различные совещания и митинги.*— В феврале — марте 1863 г. в связи с выборами Московской городской думы и городского головы в Москве происходили собрания выборных от всех сословий, за которыми, как за первым практическим опытом «сближения», следили газеты, печатавшие восторженные отчеты: «Опыт удался вполне и открывает нам уте-

шительные виды на будущее... все сословия смешались вместе... сенатор и сапожник, генерал и кузнец теснились рядом, одушевление было всеобщее» («День», 1863. № 12 от 23 марта, стр. 19).

Стр. 72. *Так ли поступили древние римские сенаторы, когда варвар Бренн с мечом в руках ворвался в форум?* — См. очерк «Глуповское распутство», т. 4 наст. изд., стр. 558—564.

...наградить г. Четверикова Владимиром... Напрасно вы горячитесь,— пишет... г. Батюшков... — Подробнее об этом споре см. в прим. к «Московским письмам» в т. 5 наст. изд., стр. 570.

Стр. 73. *Дерево это прообразует общество...* — Иронический отклик на статьи И. С. Аксакова в «Дне» (1862, № 22—24), в которых это уподобление призвано было пояснить славянофильскую теорию «органического развития общества»: народ — «почва», общество составляет «сердцевину» произрастающего из «почвы» дерева, «корой» которого является государство.

Ремесло общества-дерева — мыслить... ремесло земли — быть погруженной в одни материальные интересы... Чем же вы отличаетесь от тех, которых называете «западниками»? — «Общество есть среда, в которой совершается сознательная умственная деятельность известного народа», «народ на второй ступени своего развития, народ самосознающий»,— писал И. С. Аксаков («День», 1862, № 22), смыкаясь в этом пункте с идеологом «государственной школы» и приверженцем западничества Б. Н. Чичериным, утверждавшим: «Каждое сословие имеет то назначение, к которому оно способно по своей природе... Мысль крестьянина и его деятельность не выходит за пределы тесной крестьянской сферы... дворянство... представляет важнейшие интересы целой страны» («Наше время», 1862, № 10 от 14 января).

Стр. 74. *...история, писанная Мстиславами Удалыми и Иоаннами Грозными, милее для вас, нежели история, писанная лейб-гвардии Преображенским полком?* — Славянофилы делили русскую историю на два этапа: Киевский, Владимирский, Московский периоды, с одной стороны, когда «земля и государство продолжают идти об руку», и Петербургский — с другой, когда «государство разрывает союз с землей» (см. К. Аксаков. Полн. собр. соч., т. 1, М. 1861). Салтыков в том и другом случае видит одинаковое господство противонародной власти, подчеркивая это выбором и сближением фактов: кровавый деспотизм Ивана Грозного — дворцовые перевороты XVIII в., сменявшие на российском престоле чуждых народу самодержцев.

Стр. 75. *...Н. Ф. Павлов ...обвинил недавно одного из сотрудников «Современника» за то, что тот в своей статье, написанной по поводу Прудона, ухитрился не назвать этого публициста по имени.* — Имеется в виду статья Ю. Жуковского «О народности в политике» (*С*, 1863, № 1—2), где Прудон был упомянут обиняком как «знаменитый французский эмигрант» (стр. 215—216). «Наше время» расшифровало этот намек и обвинило журнал в следовании «разрушительным» взглядам Прудона по национальному вопросу (1863, № 44 от 28 февраля).

П. М. Садовский в Петербурге.— С П. М. Садовским — выдающимся представителем реалистической исполнительской школы Малого театра — Салтыков был знаком лично. Садовский стремился сделать творчество сатирика достоянием русской сцены: с успехом читал рассказ «Гегемониев», пытался осуществить в свой бенефис постановку «Смерти Пазухина» (1857), запрещенную цензурой (см. С. Дурылин. Пров Михайлович Садовский. Жизнь и творчество, М. 1950, стр. 37).

<IV. Май 1863 года>

(Стр. 76)

Впервые — *С,* 1863, № 5, отд. «Современное обозрение», стр. 219—258 (ценз. разр.— 27 апреля и 18 мая). Разделы — «Подвиги русских гулящих людей за границей.— Где источник этих подвигов и кто герои их.— Скверный анекдот с двумя русскими дамами в столице цивилизованного мира» (в этих разделах частично был использован текст запрещенного цензурой в 1862 г. очерка «Глупов и глуповцы») — с небольшими сокращениями и незначительной стилистической правкой вошли в «Признаки времени» под заглавием «Русские «гулящие люди» за границей».

Сохранились *(ИРЛИ):* 1) начало наборной рукописи с исправлениями и вставками автора (кончая словами «...возвратят ей посеянное», стр. 88, строка 44); 2) чистый экземпляр второй корректуры, адресованный А. Н. Пыпину и набранный в два приема (26 апреля и 3 мая), в котором отсутствует раздел, названный в оглавлении «Добрые люди». Отсутствие этого раздела в сохранившейся корректуре объясняется, возможно, тем, что он был написан и набран позднее.

В настоящем издании печатается по тексту «Современника» с устранением цензурных изъятий и мелких погрешностей журнальной публикации по наборной рукописи и корректуре. Среди текстов, изъятых по цензурным причинам и восстанавливаемых в наст. изд., находится, в частности, абзац о «турецком султане» и его владениях (стр. 79—80). В этом абзаце был, по-видимому, усмотрен намек на русского царя. Значительно приглушена была также в журнальном тексте характеристика либерального движения, как «движения мелочей и подробностей».

Майская хроника «Нашей общественной жизни» охватывает три главных темы: определение подлинных и мнимых сил исторического развития; защита демократии от травли, которой подвергла ее либеральная печать; разработка «неистощимого» для «сатирического пера» «сюжета» — «русские за границей». Эти основные мотивы развиваются в едином русле.

Либеральная и славянофильская публицистика «Отечественных записок», «СПб. ведомостей», «Голоса», «Дня» упрекала в наступившей после 1862 г. общественной «апатии» «нигилистов», из-за которых якобы была

проиграна «битва» широкого либерального фронта с консервативными силами за «преображение» России.

Салтыков же связал историческую плодотворность любого общественного движения с мерой выражения в нем жизненных интересов масс, степенью непосредственного участия в нем народа. Неотвратимый процесс обновления, который объективно назревает в недрах существующего общественного уклада («жизни признанной»), захватывает, по мысли Салтыкова, и привилегированные классы — те «сферы жизни, которые сами по себе никакой потребности в обновлении не чувствуют». Однако попытки «обновления», исходящие из этих «сфер», не «подкапывают» основ существующей социально-политической системы и обречены на то, чтобы быть скоропреходящим «движением мелочей и подробностей». Падение крепостного права обусловила не эта «суетня», а подспудный натиск самой крестьянской массы.

Коренные сдвиги национальной жизни вообще возможны — доказывается в хронике — только в минуты исторической самодеятельности народа. Не самодержавно-дворянскую государственность (обозначенную понятиями «внешняя жизнь», «внешняя история»), не либеральных «ратоборцев», а народную среду («другую силу», «жизнь иную») следует считать «творцом», «устроителем» истории.

Развертывая эти суждения, Салтыков полемизирует с «панегиристами внешнего прогресса» — «государственной школой» в русской историографии (главою и теоретиком которой был Б. Н. Чичерин), считавшей зиждительным началом истории России верховную власть. Другой прицел его критики — исторические воззрения «привилегированных народолюбцев» — славянофилов, постоянных оппонентов «государственной школы». Салтыков сближает их позиции, доказывая, что тем и другим равно недоступно понимание истинного источника «творческой силы жизни».

Вместе с тем майская хроника, написанная в пору крушения надежд большей части русской демократии на ожидавшееся общее крестьянское восстание, входит в число многих произведений Салтыкова 60-х годов, которые публицистически подготовили тему, художественно разработанную в «Истории одного города»: тему трагического для революционеров-шестидесятников противоречия между народом, «воплощающим идею демократизма», и «народом историческим».

Крестьянская стихия, движение которой могло бы смести угнетательский строй («которая одна в силах искупить наше бессилие... одна может спасти нас»), в своем современном политическом бытии — «забита», «редко... проявляет себя».

И тем не менее только она является хранителем «неиссякающей» жизни и именно в ней должны искать себе «опору» передовая мысль и революционная деятельность. Таков конечный вывод Салтыкова, далекий от исторического пессимизма.

Упреки, адресованные либеральным лагерем революционной демократии, в связи с начавшимся общественным упадком, в концентрированной

форме выразил С. С. Громека в «Современной хронике России» (*ОЗ*, 1863, № 3). Его выступление и оказалось поэтому центральной полемической мишенью в статье Салтыкова.

Публицист «Отечественных записок» вменил в вину «партии» «Современника» то, что она «крайностями» отрицания внесла раскол в дружные ряды поборников «прогресса», «вынудила» правительство отказаться от дальнейшего развертывания реформы и обратиться к репрессивным мерам.

Салтыков разоблачил провокационный смысл выступления публициста «Отечественных записок», сопоставив его с доносительской кампанией в печати, которая в июне 1862 г. послужила толчком к закрытию «Современника» и аресту Чернышевского.

Заключавший майскую хронику «сюжет» о «гулящих людях» (Салтыкова натолкнули на него выступления И. С. Аксакова в «Дне») подтверждал с новой стороны тезис о том, что «необходимыми деятелями в русской семье» являются «русский мужик» и революционная демократия («дети») — в противоположность «гулящим» представителям привилегированных классов («отцам»), которые «шатаются», не имея национально и исторически содержательного «дела».

Дальнейшее развитие образ «русского гулящего человека за границей» нашел в «Недоконченных беседах» (гл. IV), «Культурных людях», «Благонамеренных речах» («В погоню за идеалами»), и получил всестороннюю разработку в цикле «За рубежом».

Стр. 77. *...есть ли на луне жители...*— Салтыков напоминает о статье Н. Н. Страхова «Жители планет» («Время», 1861, № 1), вызвавшей иронические отклики в «Современнике», «Свистке» и «Искре».

Стр. 79—80. *Я, турецкий султан... у меня есть... скалы в Европе... населенные гяурами, которые... лезут со мной на ножи... есть самолюбие, которое так и шепчет: поревнуй да поревнуй... есть... диван... который начинает меня науськивать...*— Намек Салтыкова на отношение русского царизма к «иноверной», католической Польше, где с января 1863 г. шло кровавое усмирение национально-освободительного восстания поляков («гяуры»). «Диван» — охранительно-монархические круги и реакционная печать во главе с изданиями Каткова, который всячески «будил правительство», если оно не проявляло в борьбе с поляками «никакой энергии» (А. В. Никитенко. Дневник, т. 2, стр. 332).

Стр. 80. *...подобно г. Громеке... разделивши все движения на неподозрительные и подозрительные...*— Такую классификацию Громека представил в мартовском обозрении «Современная хроника России» (*ОЗ*, 1863, № 3, стр. 19—20).

Стр. 81. *...вопрос об устройстве поземельного кредита, обещанного В. П. Безобразовым...*— Одной из главных тем сочинений В. П. Безобразова в конце 50-х годов был вопрос о «поземельном кредите», весьма злободневный для помещика в связи с предстоящей отменой крепостного права и необходимостью перехода к капиталистическим формам сельского хозяй-

ства (см., например, статью «Поземельный кредит и его современная организация в Европе» — *С*, 1859, №№ 2, 6, 8, 10, 12).

Стр. 83. *...другие... утверждают, что шесть лет тому назад все-таки жилось веселее.*— Под «другими» подразумеваются те, кто сохранял веру в плодотворность либеральных общественных «начинаний» предреформенной поры — см., например, в «Журнальной заметке о новых литературных органах и новых теориях» («Время», 1863, № 1): «Лет шесть тому назад приобретен был великолепный результат: все общество проснулось, восстало в одном великом движении и с верою и надеждою стало заявлять свои требования... Повторяем: этот результат был великолепный. Им надо было воспользоваться» (стр. 180).

...умолкли ручейки и улеглись стада... — Цитата (не совсем точная) из басни Крылова «Осел и соловей».

...такая сильная литературная мельница, как «Русский вестник»,— и та перестала размалывать вопросы вроде вопроса о китайских ассигнациях, и та предпочла... безделье... резвости.— Салтыков намекает на эволюцию, проделанную журналом Каткова, либеральным в начале своего существования (вторая половина 50-х годов), на страницах которого дебатировались различные проекты «обновления» русской жизни (распространение грамотности, отмена откупов, «преобразование» полиции, устройство поземельного кредита и улучшение финансовой системы России). С начала 60-х годов «Русский вестник» заменяет либеральное прожектерство консервативной осмотрительностью и прямой реакционностью.

Стр. 84. *...«токмо коренью»... см. эпиграф к «Русской беседе»...*— Полный текст эпиграфа к названному славянофильскому журналу гласил: «Помяните одно: только коренью основанье крепко, то и древо неподвижно; только коренья не будет, к чему прилепиться?»

Стр. 85. *...мадам Антонова* — действующее лицо пьесы Салтыкова «Соглашение» (см. т. 3 наст. изд).

«Что такое это оно?» — О н о — государственность феодально-раздробленной Руси, а затем и централизованного русского государства.

Стр 86. *От хладных финских скал до пламенной Колхиды...*— строка из стихотворения Пушкина «Клеветникам России».

...польский вопрос...— О «польском вопросе» и отношении к нему Салтыкова см. в прим. к сентябрьской хронике 1863 г.

...мы ...не признаем никакой истории, кроме внешней, не допускаем никакого прогресса, кроме внешнего.— Один из полемических пассажей Салтыкова против «государственной школы» и Б. Н. Чичерина, в ноябре 1862 г. выпустившего книгу «Несколько современных вопросов», в которой были собраны его статьи, ранее опубликованные в «Нашем времени». Появлению этой книги редакция «Современника» придала серьезное значение, откликнувшись на нее большой статьей М. А. Антоновича «Неуважение к науке» (1863, № 3), в которой, сближаясь с комментируемой хроникой Салтыкова, Антонович критиковал «панегиристов внешней жизни», «расхваливающих внешний прогресс» и «отрицающих внутренний» (стр. 67, 71).

Оспариваемый публицистами «Современника» тезис «государственников» заключался в том, что «отличительная черта русской истории» якобы «состоит в преобладании начала власти» (Б. Чичерин. Что такое охранительные начала? — «Наше время», 1862, № 42 от 25 февраля). Политические и идеологические концепции «государственников» Салтыков подверг сатирической критике в «Истории одного города» (см. Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 25—31).

...сетований «Дня» по поводу гг. Арцимовича, Куприянова и Барановского? — В № 3 «Дня» от 19 января 1863 г. была помещена корреспонденция «Калужского жителя», в которой описывались проводы «любимого дорогого, замечательного губернатора» В. А. Арцимовича (известного либерализмом, личной честностью и удаленного с поста под давлением помещичьей реакции). В № 13 от 28 марта Аксаков писал о «замечательных начальниках» Саратовской и Пензенской губерний Е. И. Барановском и Я. А. Купреянове, которых постигла такая же участь.

...«День»... взывает, что общество мертво... от чего-то оторвалось! — О «летаргии» русского общества, о его «мертвой апатии», вызванной отрывом от «народных корней», И. С. Аксаков писал в передовых статьях №№ 1 и 2 «Дня» за 1863 г.

Стр. 89. *«Свет не без добрых людей»* — либерально-благонамеренная пьеса Н. М. Львова. Служила мишенью насмешек Добролюбова, Чернышевского и Салтыкова (см. т. 5 наст. изд., стр. 443 и 669—670).

Стр. 90. *...мы даже не жаловались г. Громеке, но он старался.*— В ноябрьской хронике «Отечественных записок» за 1862 г. Громека, имея в виду правительственную приостановку на восемь месяцев издания «Современника» и «Русского слова», высказывал свои суждения о нецелесообразности репрессий против радикальных органов печати (*ОЗ*, 1862, № 11, стр. 31).

Стр. 92. *Кифа Мокиевич* — лицо, появляющееся в XI главе первого тома «Мертвых душ», доморощенный мыслитель, занятый «философическим вопросом»: «...зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица? Почему не вылупливается из яйца?»

...сиккофантством повитые «Московские ведомости».— Сиккофант *(греч.)* в Древних Афинах — профессиональный доносчик. Слово это в литературную полемику 60-х годов ввела редакция «Русского вестника»: обвиненная в доносительстве, она, в свою очередь, упрекнула «журнальных витязей и общественных крикунов» в «сиккофантстве перед общественным мнением» («Какой бывает вред от монополий?» — «Русский вестник», 1861, т. 36, ноябрь, стр. 45). В руки этой редакции перешло с 1863 г. издание «Московских ведомостей».

Стр. 95. *...слова, слова и слова* — реплика Гамлета из 2-й сцены 2-го действия одноименной трагедии Шекспира.

Стр. 97. *...«достаточно было бы и половины начатых правительством реформ»...*— Громека цитирует строки из «Внутреннего обозрения» Г. З. Елисеева: «Если б только половина их <реформ> свершилась с желанным

успехом, Россия сделала бы огромный шаг вперед на пути своего развития» (*С*, 1863, № 1—2, стр. 292).

...перестаньте... раздражать юношество ругательством... сбивать его с толку похвалами...— Провокационная «диатриба» Громеки против «Современника» относилась в первую очередь к самому Салтыкову и подразумевала строки, посвященные «мальчишеству» в январско-февральской хронике. Громека буквально повторил обвинения, которыми реакционная печать преследовала «Современник» накануне приостановки: «Мы не можем преминуть, чтоб при каждом удобном случае, говоря о молодом поколении, не выражать знаков удивления к его великим свойствам... Мудрено ли, что жертва не знает, куда она ведется, когда ее убирают таким количеством цветов?» («Наше время», 1862, № 107 от 22 мая).

Стр. 98. *...он... протягивал руку — а это рука... оставалась повисшею в воздухе!* — О том, что «Современник» «гнушается ходатайством» Громеки, так как видит в нем «медвежью услугу» и «желание порисоваться и погеройствовать самым дешевым образом», заявил М. А. Антонович в первом же номере по возобновлении журнала («Обзор журналов».— *С*, 1863, № 1—2, стр. 248—250).

Быть может, он соблазняется примерами прошлогодней тактики и блестящими результатами, ею добытыми?.. хочет только пустить в ход мысль, дальнейшее развитие которой предоставляет другим? — Намек на травлю Чернышевского и «Современника» в 1862 г., которая объединила охранительную и либеральную прессу и дала в руки «других» — цензуры и полиции — материалы для репрессий против критика и журнала (см. В. Е. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, Л. 1936, стр. 515—517).

Стр. 99. *...Загоскин... находил возможность относиться к этому... сюжету... весело.*— Имеется в виду комедия М. Н. Загоскина «Поездка за границу» (1850).

...Гоголь имел намерение изобразить впечатления русского воина... за границей.— Во время пребывания Гоголя, работавшего над «Мертвыми душами», за границей в петербургской печати появилось сообщение о том, что он пишет роман «Похождения русского генерала в Италии».

Стр. 101. *...письмо г. Касьянова ...о способах времяпрепровождения русских гулящих людей...*— Две корреспонденции Касьянова (И. С. Аксакова) «Из Парижа (письмо в редакцию)» были опубликованы в «Дне» (№ 12 от 23 марта и № 16 от 20 апреля). Метко найденный Аксаковым юридический термин допетровской Руси — «гулящие люди» — был подхвачен Салтыковым и в дальнейшем органически вошел в его сатирический словарь. Салтыкова не случайно «навело» на разработку темы патриотизма именно письмо Аксакова: издаваемый последним журнал систематически нападал на «ненародную» позицию революционной демократии. Рецензируя статьи Н. Берга «Мои скитания по белу свету» («Современник», 1863, № 1—2), «День» обвинил некрасовский журнал в «ренегатстве» по отношению к «своей народности», обратившись по этому поводу к автору «Нашей

общественной жизни»: «Чего смотрел г. Салтыков?» («День», 1863, № 9 от 2 марта, стр. 19). В комментируемом разделе хроники Салтыков дал ответ славянофильским «привилегированным народолюбцам».

Стр. 102. *Русских обвиняют в космополитизме... московские публицисты ...убиваются, доказывая, как это вредно...* — Салтыков метит здесь не только в славянофильскую публицистику «Дня», но и в погромно-шовинистические выступления катковских изданий, обвинявших по поводу польских событий русскую демократию в «антипатриотизме». Конкретно имеется в виду статья П. К. Щебальского «Наши космополиты», направленная против демократической газеты «Очерки» («Московские ведомости», 1863, № 51 от 7 марта).

...это мнение относительно большинства русских... голословно и безосновательно... — В письмах Касьянова и передовицах «Дня», варьировавших ту же тему, упрек в «бегстве от России, богатой делом всякого рода», в утрате национального достоинства был адресован «российским людям» вообще («День», № 12, стр. 3). В категорию «гулящих» были зачислены не только веселящиеся помещики, но и «русские, влекомые широким сочувствием собственно ко всему человечеству, с сердцем, бьющимся для общечеловеческого» — то есть демократическая интеллигенция, которой приписывалось «представление, что все сие обретается только за границей» («День», № 16, стр. 1). Салтыков уточнил социальный адрес этой клички: «гулящими» бывают только «отцы», вскормленные крепостным правом.

Стр. 102—103. *...многие из гулящих людей... проникали даже до Гарибальди... Подобно... Якову Хаму, открытому... Конрадом Лилиеншвагером... находили возможность... «воспеть Гарибальди, воспеть и Франческо».* — В годы войны за независимость Италии русские газеты и журналы охотно публиковали всевозможные «письма в редакцию» от путешествующих россиян, которым удавалось видеть Гарибальди, причем материалы эти часто были не свободны от обывательской сенсационности (см. например, «Свидание с Гарибальди (Из письма одной дамы)».— «Московские ведомости», 1860, № 250 от 17 ноября). «Восторги» по адресу вождя народного движения не мешали дворянскому обществу и консервативно-либеральной журналистике упрекать Гарибальди (так же как русскую демократию) в «крайностях», «увлечениях» и проповедовать мирный прогресс под эгидой монархии. Эту политическую беспринципность характеризует приведенная Салтыковым заключительная строка из третьей строфы стихотворения Добролюбова «„Свисток”, восхваляемый своими рыцарями». Франческо — последний неаполитанский король, изгнанный отрядами Гарибальди. Яков Хам и Конрад Лилиеншвагер — сатирические маски благонамеренных поэтов (австрийского и русского), созданные Добролюбовым в «Свистке».

Баль-Мабиль, Прадо, Шато-де-Флер — места публичных балов в Париже, из которых первое пользовалось репутацией «самого разгульного заведения всей Европы» (Ф. Достоевский). *Тюильери* — старинный дворец французских королей в Париже, был резиденцией Наполеона III.

Стр. 108. *...беседуют о светопреставлении... убиваются над поднятием таинственной завесы будущего* — разрабатывают социалистические теории будущего устройства человеческого общества. В «Признаках времени» в очерке «Русские «гулящие люди» за границей» это место было дано в несколько иной редакции, разъясняющей мысль Салтыкова: «...беседуют об осуществлении «невидимого» или, говоря иначе, о светопреставлении» (см. т. 7 наст. изд.).

Стр. 109. *Дело идет о двух знатных русских дамах...* — Героинями изложенного далее происшествия были кн. А. И. Волконская и кн. А. И. Лобанова-Ростовская (см. «Современная летопись», 1863, № 12).

...знаменитое... «общество для заводской обработки животных продуктов»... — Акционерное общество «Сельский хозяин», учрежденное в 1857 г. для приготовления мясных консервов и экспортной торговли ими, стало очередной акционерной аферой: непроизводительные затраты, бесконтрольное расходование средств правлением быстро привели общество к финансовому краху. «Знаменитой» эту историю сделало главным образом выступление Добролюбова в «Свистке» («Материалы для нового сборника образцовых сочинений».— *С*, 1859, № 10; «Свисток», № 3).

Стр. 110. *«Миллиард в тумане».* — В статье известного откупщика и деятеля первых акционерных обществ в России В. А. Кокорева под таким названием («СПб. ведомости», 1859, №№ 5 и 6 от 8 и 9 января) содержались предложения по увеличению государственного бюджета.

...общество водопроводов... общество «Кавказ и Меркурий». — «Общество Санкт-Петербургских водопроводов», начавшее работы в 1859 г., через три года обанкротилось («Общество» было предметом многочисленных юморесок «Искры»). «Кавказ и Меркурий» — акционерное общество пароходства и торговли на Волге, образованное в 1858 г. и к 1863 г. имевшее огромный дефицит.

Стр. 111. *Пришли, понюхали и ушли.* — Несколько измененная фраза Городничего из 1 явл., 1 д. «Ревизора».

...учредители бывших воскресных школ и члены общества распространения бесполезных книг... — О воскресных школах и ироническом отношении к ним Салтыкова см. прим. к стр. 30. Еще более иронически относился Салтыков к «Московскому обществу распространения полезных книг» (см. об этом в т. 5 наст. изд., стр. 590—591).

<V. Сентябрь 1863 года>

(Стр. 112)

Впервые — *С*, 1863, № 9, отд. «Современное обозрение», стр. 127—148 (ценз. разр.— 19 сентября и 13 октября), с большим количеством цензурных купюр и замен.

Сохранилась вторая чистая корректура, набранная 18 сентября и адресованная А. Н. Пыпину *(ИРЛИ)*.

В настоящем издании печатается по доцензурной корректуре с учетом дополнительной авторской правки по тексту «Современника». Журнальная редакция печатается в разделе «Из других редакций».

Из цензурных материалов, касающихся этой статьи, известна только запись в «Журнале заседаний С.-Петербургского цензурного комитета» от 9 октября 1863 г.: «Для журнала «Современник» статья под заглавием «Наша общественная жизнь», заключающая в себе фельетон, в котором осмеивается современное литературное красноречие и затрагиваются «Московские ведомости» и газета «День» за их направление. Определено: на основании отзыва г. цензора об этой статье дозволить ее к напечатанию»[1]. Однако это разрешение относилось к уже препарированному цензором тексту. Из статьи были исключены и призыв к непримиримой борьбе с реакцией, и надежда на то, что «литература не всегда будет в безгласности», и другие, не менее «крамольные» мысли автора. Главное же, на что цензор обратил особо пристальное внимание,— это польская тема и связанные с нею вопросы: разоблачение великодержавного национализма и шовинизма катковских изданий, анализ и обобщенная характеристика позиции по этому вопросу славянофильского «Дня», намеки на «деятелей» и «дельцов» периода польской «мутной воды» и т. д. В итоге статья появилась в печати в существенно искаженном виде. Между тем читатель был убежден, что, обратившись к «Современнику», он сможет ознакомиться, пусть в завуалированной форме, которую он хорошо научился разбирать, с взглядами революционной демократии по одному из животрепещущих вопросов времени. Поэтому, публикуя в журнале основательно изуродованный текст статьи, Салтыков ввел в нее дополнительно написанную главку «Некоторые почти непреодолимые затруднения, встречаемые фельетонистом». Задачей ее было сообщить читателям, хотя бы «обиняком», о факте цензурного вмешательства в статью.

Сентябрьское обозрение в его доцензурной редакции вместило в себя важнейшие общественно-политические и литературные события прошедшего лета, в том числе и прежде всего события в Польше.

Либеральная и реакционная пресса широко обсуждала польский вопрос. Задававшие тон «Московские ведомости» и «Русский вестник» пропагандировали мысль о том, что русские — это господствующая нация, а поляки — покоренная, и поэтому Польша не может быть самостоятельной[2]. Ссылаясь на традиции «многовековой истории по собиранию русской земли в одно государство», Катков утверждал, что «полное соединение Польши с Россией»[3] — самый верный способ решения польской проблемы. Позиция славянофильского «Дня», при расхождениях в деталях, была близка позиции «Московских ведомостей» и определялась националисти-

---

[1] *ЛН*, т. 13—14, М. 1934, стр. 138.

[2] М. Н. Катков. 1863 год, вып. 1—3, М. 1887, стр. 56—57.

[3] «Польский вопрос».— «Русский вестник», 1863, № 1, стр. 484; «Что нам делать с Польшей?».— Там же, № 3, стр. 506.

ческим требованием «свободно признанного» «торжества» России над Польшей и упразднения чрезмерного развития в Польше «жизни чисто государственной» [1]. Претендовавшие на объективность суждений «Отечественные записки», фактически в унисон с реакционной печатью, взывали к немедленному подавлению «мятежа». «Только одни неблагонамеренные и близорукие люди в России,— заявлял этот либеральный орган,— могут желать политической самостоятельности Царства Польского» [2].

Демократическая печать лишена была возможности сколько-нибудь полно и откровенно высказать свои взгляды по польскому вопросу. Ее вынужденное «молчание» [3] было формой проявления оппозиции реакционному курсу царизма. Вместе с тем «Современник» пользовался любым случаем, чтобы намеками, иносказаниями заявить о своем сочувствии польским патриотам. Но чаще всего журнал демонстрировал свою позицию особым, «негативным» способом: он настойчиво и последовательно разоблачал на своих страницах шовинистические, антипольские идеи, взгляды и теории.

В оценке и интерпретации польских событий Салтыков разделял позиции русских революционных демократов и прежде всего герценовского «Колокола», пропагандировавшего «живое слово участия к польскому делу» [4]. С сочувствием откликнувшись на прокламацию тайного революционного общества «Земля и воля» «Льется польская кровь, льется русская кровь», Герцен писал: «Мы хотим независимости Польши, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих» [5]. Салтыков, не имея возможности открыто заявить о сочувствии основным мыслям прокламации, иронически прокомментировал «разборы» этого документа реакционным «Русским вестником» (см. в т. 5 наст. изд. рецензию на соч. М. Беницкого «Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в С.-Петербурге», а также статью «Драматурги-паразиты во Франции» и рецензию «О русской правде и польской кривде»).

Но наиболее полно затронул Салтыков польскую тему в доцензурной редакции сентябрьской хроники. Его интересовала прежде всего степень «влияния польского восстания на судьбу русского освободительного движения» [6]. Ему, по-видимому, все более отчетливо открывалась взаимосвязанность освободительной борьбы в Польше и в России. Под этим углом зрения и нужно истолковывать слова в хронике о «вреде», который

---

[1] «День», 1863, № 32 от 10 августа.

[2] *ОЗ*, 1863, № 5—6, стр. 7.

[3] *ОЗ*, 1863, № 3, стр. 6.

[4] О взглядах Герцена по польскому вопросу см.: И. М. Белявская. Герцен и польское национально-освободительное движение 60-х гг. 19 в., изд. МГУ, 1954.

[5] «Колокол», 1863, л. 160 от 1 апреля, стр. 1380; ср.: А. И Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVII, М. 1959, стр. 91.

[6] А. Лаврецкий. Щедрин — публицист «Современника». — В кн.: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. VI, М. 1941, стр. 9.

«принесла за собой польская смута»[1]. Повстанческое движение оказалось не координированным с борьбой русских революционеров и потому обрекалось на неудачу. Вместе с тем оно пробудило в России «темные силы», вызвав прилив общественно-политической реакции, шовинистических настроений, охвативших не только привилегированные слои общества, но и некоторые демократические группы. Герцен в «Колоколе» с тревогой и горечью заявлял, что простые люди «поддались официальному обману... воображают, что отечество в опасности, и отдаются чувству ненависти к несчастному, героическому соседу, который добивается своей независимости...»[2]. Говоря о том, что «польская смута» «сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление», Салтыков имел в виду спекуляцию на патриотических чувствах народа, разжигание националистических страстей. «Фальшивое направление» выразилось и в навязанных народу верноподданнических адресах с изъявлением, как иронизирует Салтыков, «пламеннейшей готовности и самых отборных чувств», и в «патриотических» проектах, которыми подобострастно откликнулись «благонамеренные» на события в Польше.

Усиление реакции, власти «темных сил» способствовало возникновению «негодной накипи» в литературе и журналистике. Герцен в один голос с Салтыковым с возмущением писал, что «казенная и откупная журналистика» полна «бесстыдной лжи», «невежества», «пошлости», полицейского сыска[3], что теперь «литераторы выслеживают гораздо тщательнее, чем жандармы»[4].

Тот факт, что верноподданническое «Заявление» московских студентов было опубликовано в славянофильском «Дне», рассматривается Салтыковым как проявление «благонамеренности» аксаковской газеты, ее полного «согласия» с правительством. Отдельные признаки заявлявшегося в прошлом «недовольства» исчезли, произошел крутой поворот в сторону официального политического курса («девственность... надоела» ей).

В сентябрьском обозрении Салтыков продолжает атаковать «Московские ведомости». Его прежде всего занимает «постоянство» газеты в ее нападках на молодое поколение, обвинявшееся и в «поджигательстве», и в «польской интриге», и в нигилизме, и в антиправительственных настроениях[5]. Воспользовавшись этим сюжетом, автор хроники повел речь о «молодых каплунятах» — благонамеренных из «дворянских детей», в частности о скомпрометировавших себя в глазах передовой общественности «предста-

---

[1] По причинам цензурного характера Салтыков пользуется официальным наименованием восстания.

[2] «Колокол», л. 163 от 15 мая 1863 г.; ср.: А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVII, стр. 142.

[3] «Колокол», л. 157 от 1 марта 1863 г.; ср.: А. И. Герцен. Цит. изд., т. XVII, стр. 58, 59.

[4] «La Cloche», 1864, № 44 от 25 мая; ср.: А. И. Герцен. Цит. изд., т. XVIII, стр. 208

[5] «Московские ведомости», 1863, №№ 86, 110, 136, 161, 187 от 23 апреля, 23 мая, 22 июня, 24 июля и 28 августа.

вителях» «учащегося юношества», которые и не помышляют «перевернуть вверх дном любезное отечество». Салтыков спешит «разъяснить» «старым каплунам», приверженцам твердой монархической власти и «священного права собственности», что катковские обвинения обращены не против их «детей», а против демократической молодежи, воспитанной на идеях «Современника».

Публицистически исследуя реакцию в различных проявлениях, Салтыков определяет ее пагубное давление не только на идейную и литературную жизнь страны, но и на общественную психологию. Эту мысль иллюстрирует рассказ о «людях, которые любят ловить рыбу в мутной воде», для которых «общественное бедствие вместо праздника». Художественным выражением такого социально-нравственного обобщения является Порфирыч.

В хронике продолжается полемика с «Отечественными записками», начатая в майском обозрении в связи с обвинением «Современника» в распространении «бомбо-отрицательного направления».

Стр. 112. *...он бывает тощ и беден, когда небо стоит грозное...*— Салтыков имеет в виду обострение общественно-политической ситуации летом 1863 г. (крупные операции по подавлению польского восстания, угроза войны со стороны западных держав, деятельность тайного общества «Земля и воля», раскрытие «Казанского заговора», организованного группой студенческой молодежи и польских офицеров с целью подготовки широкого народного выступления в Поволжье и т. п.). Карательные меры против «Современника» в этой обстановке привели к тому, что из №№ 6, 7 и 8 журнала за 1863 г. цензурой было изъято почти 27 печатных листов (В. Е. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863—1866, Л. 1939, стр. 61 и 67).

Стр. 113. *...московский концерт чревоугодничества... перекатывается из одного конца России в другой.*— Речь идет о многочисленных обедах в Москве в честь усмирителя польского восстания М. Н. Муравьева и главного вдохновителя антипольского шовинизма М. Н. Каткова. Особенно был памятен современникам обед, данный Каткову в Английском клубе 9 июня 1863 г., где был провозглашен тост в честь Муравьева (см. «Северную почту», № 132 от 16 июня, стр. 534). В газетах печатались телеграммы из Моршанска, Тамбова, Смоленска, Луги, Симбирска, Рязани, Ахтырска, Петербурга, в которых сообщалось о посвященных Муравьеву «патриотических» обедах («Северная пчела», 1863, № 210 от 8 августа).

Стр. 114. *Несколько месяцев сряду Россия занималась составлением адресов... Узнав об этих адресах, Европа заметно остепенилась...*— В связи с опасностью военного вмешательства в русско-польские отношения правительств Франции, Англии и Австрии, предъявивших 5 апреля 1863 г. ультиматум по польскому вопросу, в русской консервативной и либеральной печати была поднята шовинистическая кампания, которой была придана форма «всеподданнейших адресов». П. А. Валуев приказал даже разослать

по губерниям Западного края образец такого адреса для подписания и направления царю. Герцен раскрыл источники «патриотической эпидемии», назвав эту «пошлую комедию» «адресоложеством» («Колокол», л. 164 от 1 июня 1863 г.; л. 170 от 1 сентября 1863 г.). Адрес для раскольников-беспоповцев Преображенского согласия был написан М. Н. Катковым, а для раскольников Рогожского согласия — редактором газеты «Наше время» Н. Ф. Павловым и либеральным экономистом И. К. Бабстом («Письмо из Москвы».— «Общее вече», 1863, № 17 от 1 июня, стр. 82—83). «Всеподданнейшие» письма от дворянства и крестьянства различных губерний публиковались и комментировались в «СПб. ведомостях» (№ 85 от 19 апреля 1863 г.), «Нашем времени» (№ 78 от 23 апреля), «Дне» (№ 17 от 27 апреля), «Московских ведомостях» (№№ 82—84 от 17, 19 и 20 апреля). Салтыков иронизирует по поводу заявлений катковской печати, будто только руководимое ею «народное движение» избавило Россию от военного вмешательства западных стран.

Стр. 115. *...заявление студентов Московского университета...*— «Заявление» было опубликовано в № 21 газеты «День» от 25 мая 1863 г. с послесловием от редакции, приглашающим сочувствующих присоединиться через газету «к поставленному ею знамени».

...не в блеске четвертаковых молний и не в громе необулгаринских бурь...— См. прим. к январско-февральской хронике за 1863 г. и к «Свистку» (т. 5 наст. изд., стр. 671).

...смысл того, что совершилось прошедшим летом в «Дне», сделается для нас вполне ясным.— Вслед за «Московскими ведомостями» аксаковская газета летом 1863 г. приняла активное участие в антипольской кампании. «День» утверждал, будто поляки проповедуют «не восстановление Польши, а порабощение русской народности в Западном крае и уничтожение русского народа». Муравьевские карательные меры газета находила «необходимыми», людей, сражающихся за независимость Польши, называла «бандитами», а на вопрос: «что делать с людьми, которые из-под земли управляют делами польских шаек в русской отчизне»,— безоговорочно отвечала: «Казнить!» («День», 1863, № 28 от 13 июля). Таким образом, как писал Герцен, обращаясь к И. С. Аксакову, «ваш независимый патриотизм... неосторожно близко подошел к казенному» («Колокол», л. 167 от 10 июля 1863 г.; ср.: А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVII, стр. 210) и еще более определенно: «...издателю «Дня»... наверно когда-нибудь станет жутко от его сходства с Катковым» (л. 175 от 15 декабря 1863 г.; ср.: А. И. Герцен. Цит. изд., стр. 303).

Стр. 116. *...употреблять фигуру Руслядии...*— Руслядия — изобретенный славянофилами термин для обозначения послепетровской России. «„День",— писал Герцен,— сохраняет обычный жаргон «московского фрондера», называя официальную Россию «Rußland» («La Cloche», 1864, № 44 от 25 мая; ср.: А. И. Герцен. Собр. соч в 30-ти томах, т. XVIII, стр. 214).

В одной из своих руководящих статей (в 1862 году) «День» сравнивал Руслядию... с форейтором...— Имеется в виду передовая статья (№ 16

от 27 января), в которой развивались излюбленные славянофильские идеи о Петровских реформах, о пагубных последствиях европеизации страны, о насильственном отрыве в результате этих реформ верхов общества от исконно русских народных начал. «Эта тяжело нагруженная колымага с шестерней добрых коней,— писал И. С. Аксаков,— не наша ли земля с ее материальными и духовными богатствами, не народ ли, оставшийся позади, без средств к просвещению и внешнему преуспеянию, народ, от которого оторвались верхние слои общества?.. Этот форейтор...— не мы ли, так называемое образованное общество, мчащееся во весь опор верхом на цивилизации, подгоняющее ее татарскою нагайкою, работы немецкого мастера...»

...«День» уже заявлял, что студенты Московского университета имеют намерение публично очистить себя от наветов... он приветствовал, ободрял и обещал свое содействие.— Студенты Московского университета, писала газета, «возмущенные оскорбительными надеждами, возлагаемыми врагами России на русское молодое поколение», хотят открыто заявить, что они никогда «не отделятся от русского народа, что его дело — их дело, его знамя — их знамя, что в случае опасности они вместе со всем русским народом станут за единство, целость и честь русской земли». «День» приветствовал эту «мысль московских студентов»: «Пора, давно пора обличить словом и делом наглую и дерзкую ложь публицистов, которые посеяли столько подозрений и раздора в русском обществе и разъединили русскую учащуюся молодежь с русским народом» («День», 1863, № 20 от 18 мая; см. также № 23 от 8 июня).

Стр. 118. *...«пропали хозяйские горшки»* — неточная цитата из басни И. А. Крылова «Обоз» («Прощай хозяйские горшки»).

...говорить «перед лицом и во всеуслышание всей России» могут лишь те, которые имеют, так сказать, официальное на сие полномочие...— Салтыков намекает на историю редакторской деятельности И. С. Аксакова. Еще в 1852 г. подготовленная им вторая книга «Московского сборника» была запрещена за проповедь «демократических начал» и «открытое противодействие правительству», за непочтительное отношение к Петру и его «державным преемникам», за «безмерные и вредные похвалы Гоголю», а сам Аксаков, отданный под полицейский надзор, лишен редакторских прав (Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, СПб. 1898, стр. 133—147). В 1859 г. уже на втором номере (от 10 января 1859 г.) было прекращено предпринятое им издание газеты «Парус» за нарушение постановления Главного управления цензуры не печатать никаких материалов «о славянах» (см. «И. С. Аксаков в его письмах», т. IV, ч. II, СПб. 1896, стр. 17—19). В июне 1862 г., «за неисполнение цензурных правил», Аксаков был временно отстранен от редактирования, а газета «День» приостановлена до 1 сентября, после чего, до конца года, выходила без подписи редактора.

Стр. 119. *...г. Краевский полагает, что можно и совсем без знамени, а делай, что приказано...*— Ироническая характеристика платформы Краевского в данном случае вызвана ответом «Голоса» на замечание редакции

«Дня» по поводу «Заявления» московских студентов: «Знамя поставлено!.. Пусть же собирает оно вокруг себя Русскую учащуюся молодежь!» (№ 21 от 25 мая). «Знамя, говорите вы? — вопрошал «Голос».— Какое это знамя? Неужели учащаяся молодежь может иметь иное знамя, кроме книги... Дело русского народа — действовать, в пределах своих прав и обязанностей, на пользу общества, служить стране, с которой он составляет одно нераздельное целое, служить своему государю... Дело же студентов — приготовляться к той общественной службе, которую они должны будут нести... когда станут полноправными единицами» («Голос», 1863, № 134 от 30 мая, стр. 521).

Стр. 120. *...это говорят ученики Б. Н. Чичерина, с своей стороны написавшего прекрасную статью о «народности в науке»...*— Статья Чичерина «О народности в науке» («Русский вестник», 1856, кн. 3) явилась ответом на статью славянофила Ю. Ф. Самарина «Два слова о народности в науке», в которой утверждалось, что мысль о роли народности в «сфере художества» несомненна и должна быть распространена и на науку («Русская беседа», 1856, № 1).

Стр. 122. *Вся ваша измена может заключаться в том, что вы сходите без спросу на могилу Грановского...*— Салтыков имеет в виду случай из истории студенческих волнений в Москве осенью 1861 г.; «4 октября,— рассказывал сподвижник Каткова по «Русскому вестнику» Н. А. Любимов,— совершилось шествие на могилу Грановского. По Сретенке и Мещанской тянулась процессия человек из пятисот на Семеновское кладбище... Впереди, неся широкий венок, шел юноша «русский студент»... в каком-то фантастическом костюме, имея ассистентами двух студентов в чамарках и чисто польском одеянии» (Н. А. Любимов. М. Н. Катков и его историческая заслуга, СПб. 1889, стр. 149). Газета «День» (1861, № 3 от 28 октября) осудила это студенческое выступление, вызвав протест в радикальных кругах учащейся молодежи.

Стр. 123. *...вера без дел мертва есть.*— Слова из послания апостола Иакова (II, 20).

Фигура единоначатия.— См. прим. к стр. 131.

Стр. 124. *...служили же многие из ваших компатриотов в качестве солдат у Гарибальди...*— В возглавлявшихся Гарибальди национально-освободительных походах участвовали А. И. Ничипоренко, Н. А. Потехин и другие русские «гарибальдийцы» (В. Невлер. Гарибальди и прогрессивные деятели России.— «Вопросы истории», 1957, № 7).

Любим Торцов — герой пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок» (1853).

...проекты следовали за проектами... даже так называемые ублюдки (русские Петерсоны, Иогансоны, Иозефсоны и т. п.) и те, наперерыв друг перед другом, предлагали проекты о введении единомыслия...— К. Петерсон — сотрудник «Московских ведомостей», получивший печальную известность своим доносом на журнал «Время», в результате которого тот был запрещен: в заметке «По поводу статьи «Роковой вопрос» в журнале

„Время"» Петерсон обвинял автора статьи (Н. Страхова; статья в журнале не была подписана) в полонофильских настроениях, утверждая, что имя его, если бы оно было известно, «произносилось бы с презрением каждым истинно русским» («Московские ведомости», 1863, № 109 от 22 мая). Стремясь придать фамилии «Петерсон» нарицательный смысл, Салтыков называет ряд вымышленных созвучных фамилий.

Стр. 125. *...г. Оптухин, малоархангельский обыватель, весьма язвительно назвал поляков «коллективною Мариной Мнишек»...*— Л. Оптухин (псевдоним лицейского товарища Салтыкова И. В. Павлова, близкого по своим взглядам к славянофилам, помещика Малоархангельского уезда Орловской губернии) писал об этом в № 31 «Дня» от 3 августа 1863 г., в отделе «Письма из провинции».

...ежели на будущее время встретится надобность рекомендовать полякам посетить восточную Россию, то они будут размещаемы в тамошних крепостях отдельно от... русских...— Салтыков имеет в виду следующее место из указанной в предыдущем прим. статьи Оптухина: «Не дай бог теперешней русской молодежи, где-нибудь в дальней восточной крепости, сойтись с новоконфирмованными и арестантами из поляков. Пойдет это опять: «Гей, надзея еще с нами» да Мицкевичев краковяк...»

Поговорю несколько подробнее о проектах...— «Патриотические» проекты возникали один за другим весной и летом 1863 г. «Московские ведомости», разбирая проект «обывательской стражи», призванной, по словам Салтыкова, «облегчить труды русского войска на время предстоящей опасности», то есть на период борьбы с польским национально-освободительным движением, писали: «Патриотическое настроение... ищет средства заявить себя на деле... Город Москва требует обороны от покушений нарушить ее спокойствие. Обеим этим целям ничто так не соответствует, как местная обывательская стража» (№ 110 от 23 мая). Фантастический проект организации крейсерства для перехватывания английских торговых судов подробно излагался на страницах «Московских ведомостей» 1 июня 1863 г. С проектом организации стрелковых сотен выступила газета «Наше время» (№ 83 от 30 апреля 1863 г.). «Патриотический» проект «неношения одежд из иностранных материй» также не был продуктом сатирического вымысла (см. «Наше время», 1863, № 83 от 30 апреля).

Стр. 126. *...неодобрение проектов чувств со стороны «Московских ведомостей»... я очень хорошо понимаю, чего желает почтенная газета...*— Салтыков имеет в виду рассуждения «Московских ведомостей», вроде следующего: «Недостаточно высказать патриотическое чувство; необходимо заявить его на деле, и заявить прежде, чем побудит нас к этому крайняя необходимость...» («Московские ведомости», 1863, № 109 от 22 мая). Салтыков намекает на повторявшиеся из номера в номер требования катковской газеты усилить репрессии в отношении русских и польских революционеров (см., например, №№ 83 и 84 от 19 и 20 апреля).

...не причастная ни «жизни духа», ни «духу жизни»...— Из стихотворения А. С. Хомякова «Киев» (1839): «И вдруг знамен отчизны / Потекут

они толпой, / К жизни духа, к духу жизни / Возрожденные тобой». В передовой статье газеты «День» от 26 января 1863 г. Аксаков писал: «Едва ли позволительно надеяться, что внешние и извне налагаемые на общество либеральные учреждения воскресят и оживят общество, когда для жизни самих этих учреждений нужно присутствие жизни духа и духа жизни (по выражению поэта), которых именно и недостает нашему обществу».

Стр. 127. *...с проектами чувств надобно обходиться как можно осмотрительнее... Сами «Московские ведомости» могли в этом убедиться по поводу концессии Московско-Севастопольской железной дороги.*— Катков был противником предоставления английскому акционерному обществу концессии на постройку Московско-Севастопольской железной дороги. Вспоминая уроки Крымской войны, он предостерегал правительство, что англичане получат контроль над Севастополем, и Россия, таким образом, «будет запечатана печатью английской торговой конторы...». «Но мы убеждены,— писали «Московские ведомости» 27 июля 1863 г.,— что тревоги эти преждевременны, и спешим успокоить общественное мнение». Между тем еще 25 июля царь утвердил концессию (А. И. Дельвиг. Воспоминания, т. II, М. 1930, стр. 223).

...многие... справлялись уже, какие будут мундиры... и чем они будут вооружены.— О настроениях «публики» в период разработки проекта об обывательской страже писал Н. Пановский в заметке «Что делается в Москве»: «Старые и молодые собираются у своих думных представителей, судят и рядят, толкуют об уставе, о ее <стражи> обязанностях, о вооружении, о мундирах на день службы, о том, кому быть офицером, кому нижним чином; толки идут в частных домах, в клубах, в театре, на гуляньях...» («Московские ведомости», 1863, № 111 от 28 мая).

Стр. 128. *Один мой знакомый... из Малоархангельска...*— По-видимому, выпад в адрес И. В. Павлова (Оптухина). См. прим. к стр. 125.

...проект русской конституции, начертанной «Русским вестником» в 4-й его книжке за нынешний год.— Имеются в виду рассуждения М. Н. Каткова о конституции в статье «Что нам делать с Польшей?» (напечатана не в 4-й, а в 3-й книжке «Русского вестника» за 1863 г.).

Стр. 129. *...на Переяславском озере уже нет больше флота!* — Речь идет о «потешном» флоте, созданном Петром I.

Н. Ф. издавал до 13 июля в Москве политическую газету...— Газета Н. Ф. Павлова «Наше время» прекратилась изданием 13 июля 1863 г. в связи с резким сокращением числа подписчиков.

Стр. 130. *...московское общество распространения бесполезных книг... в нем-то... и нашел себе приют проект, приписываемый Н. Ф. Павлову.*— Об «обществе распространения бесполезных книг» см. т. 5 наст. изд., стр. 590—591. В помещении этого «общества» заседал «дамский комитет», принявший проект о «неношении дамами платьев из иностранных материй», который был опубликован в газете Н. Ф. Павлова «Наше время» (см. прим. к стр. 125).

Стр. 131. *...прибегнуть к фигуре единоначатия и к фигуре усугубления... к фигуре умолчания...*— Все эти «фигуры» рассматривались в распространенном учебнике Н. Ф. Кошанского «Общая реторика» (по нему учился и Салтыков).

Фигура удержания, фигура устрашения, фигура взволнованной души, фигура патриотического уязвления — сатирические новообразования Салтыкова, характеризующие особенности стилевой манеры аксаковского «Дня».

Стр. 132. *Секвестр.*— Речь идет, по-видимому, о секвестровании земель польских, литовских и белорусских помещиков, заподозренных в содействии повстанцам и в нарушении предписания вернуться в свои имения.

Стр. 133. *Чем кровь-то проливать, скажу я, лучше было бы спросить польский народ, чего он желает.*— Рассуждения на эту тему содержатся в нескольких передовых «Дня». Выступая против «насильственного» решения польского вопроса, газета заявляла, что «необходимо было бы... дознаться от самой польской нации, чего она хочет и при каких условиях возможно ее умиротворение», «вызвать поляков на категорическое объявление своих требований и притязаний», одним словом, «найти средство услышать голос самой страны» («День», 1863, №№ 17 и 18 от 27 апреля и 4 мая).

Говорят, будто я... желаю произвести какой-то «хаос-кавардак»!..— Взятые в кавычки слова принадлежат реакционному публицисту М. Беницкому, автору брошюры «Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в С.-Петербурге», СПб. 1862. Салтыков напечатал об этой брошюре уничтожающую рецензию (см. т 5 наст. изд., стр. 343—352).

Стр. 134. *Вспомните тех русских бар, которые во время óно отъезжали, за ненадобностью, в Москву,— разве они не будировали? ...разве кто-нибудь опасался их?* — Комментарием к этим строкам Салтыкова могут служить следующие слова Герцена из «Былого и дум»: «...московское общество перед 1812 годом» было обществом «недовольных, то есть отставных, удаленных, отправленных на покой... Тогдашние львы были капризные олигархи: граф А. Орлов, Остерман — «общество теней»... общество государственных людей, умерших в Петербурге лет пятнадцать тому назад и продолжавших пудриться, покрывать себя лентами и являться на обеды и пиры в Москве, будируя, важничая и не имея ни силы, ни смысла» (А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. IX, стр. 71).

Впоследствии «День» пространно рассуждал о том, как лучше поступить с Польшей... На это... отвечали ему «Московские ведомости»...— Речь о судьбах Польши идет и в тех номерах «Дня», о которых писал Салтыков. В № 19 говорится о нецелесообразности отделения Польши, которая может подвергнуться нападению прусских войск. В № 20 высказывается мысль, что польская земля — русская и что поляки не должны владеть ею. Но уже в № 29 «День» выступает с иным предложением: «...по нашему мнению, следовало бы предоставить Польшу ее судьбе, наказать ее свободой, которая без поддержки России не только не устоит,

но еще увлечет Польшу под власть германизма». «Московские ведомости» выразили несогласие с позицией «Дня», отстаивая идею полного слияния Польши с Россией («Московские ведомости», 1863, №№ 187, 188 от 28 и 29 августа).

...как будто и впрямь они не афишки, а газеты! — См. памфлет «Литературные будочники» и прим. к нему в т. 5 наст. изд., стр. 619—621.

Стр. 139. *...негодяи и жулики (sit venia verbo)...* — Перефразируются, в обличительных целях слова из статьи Каткова в № 187 «Московских ведомостей» от 28 августа 1863 г., адресованные борющейся и оппозиционной части молодого поколения: «...всякий негодяй, всякий жулик (sit venia verbo)...»

Стр. 140. *Я всегда с удовольствием читаю «Московские ведомости», с тех пор как они перешли в ведение новой редакции.* — С 1863 г. во главе редакции «Московских ведомостей» вторично становится М. Н. Катков (впервые — в 1850—1855 гг.) и газета принимает ярко выраженный реакционный характер.

Стр. 141. *Не дивись, что я черна...* — стихотворение А. А. Фета из цикла «Подражание восточному».

Стр. 143. *...подземное правительство* — то есть тайное революционное правительство.

...помешанный фразер в Лондоне... — Так Катков писал о Герцене.

Стр. 144. *...переносишься мыслью к тем блаженным временам, когда всякого человека, сочувствовавшего правительству, называли революционером, когда поголовно всех членов редакционных комиссий, включая в то число и покойного графа Ростовцева, называли «красными».* — Речь идет о времени подготовки крестьянской реформы. «Сочувствие правительству» здесь означает сочувствие делу реформы, которая проводилась «сверху», «бюрократией», представлявшейся поэтому помещичье-крепостнической «земщине» «красной». Генерал-адъютант Я. И. Ростовцев был одним из наиболее реакционных членов Главного комитета по крестьянскому делу, выступал против отмены крепостного права.

Стр. 146. *...«Заметку для редакции «Современника», напечатанную в «Отечественных записках» за июль месяц.* — «Заметка» опубликована в майско-июньском номере за 1863 г., стр. 190—194 (ценз. разр.— 5 июня).

...по поводу постоянного плача «Отечественных записок»... мы просили г. Громеку... — О полемике Салтыкова с Громекой см. майскую хронику за 1863 г. и прим. к ней.

...рассуждения ее о бомбо-отрицательном направлении имели совсем не тот смысл, какой нами им придан... — В «Заметке» действительно отмечается, что «почтенная редакция «Современника» усмотрела в этих наших словах не больше не меньше, как донос, непосредственно направленный против „Современника"» (*ОЗ,* 1863, № 5—6, стр. 193).

<VI. Ноябрь 1863 года>

(Стр. 148)

Впервые — *С*, 1863, № 11, отд. «Современное обозрение», стр. 139—164 (ценз. разр.— 13 ноября и 9 декабря). Два отрывка статьи (первый — от слов «Если б я был знатоком...» — стр. 148, строка 25, и кончая словами «...без поучения и вразумления» — стр. 149, строка 24; второй — от слов: «То, что, быть может, еще недавно...» — стр. 153, строка 29 и кончая словами «...возможность подобного самоотречения» — стр. 154, строка 10) приведены в очерке В. В. Стасова «Николай Николаевич Ге» в журнале «Северный вестник», 1895, № 3, стр. 210—211. Публикация снабжена примечанием: «Часть этой статьи автор не напечатал, и мы воспроизводим ее по черновой». Указание неточно: первый отрывок полностью вошел в текст статьи, напечатанный в «Современнике». Судьба черновой рукописи Салтыкова, которой пользовался Стасов, неизвестна.

Сохранились: 1) вторая чистая корректура, датированная 22 октября и адресованная А. Н. Пыпину *(ИРЛИ);* 2) большая часть корректуры первой половины статьи (кончая словами «...по ночам из», стр. 175, строка 25) этого же набора с авторской правкой, главным образом стилистического характера *(ЦГАЛИ)*. Правка была сделана Салтыковым до ознакомления с замечаниями цензора. Оглавление статьи в корректуре полнее, чем в журнальном тексте: указаны еще два раздела — «Кашинские торжества» и «Н. Г. Помяловский». Первый раздел перешел в следующую, декабрьскую хронику. Название второго, по-видимому, попало в оглавление случайно, вследствие ошибки типографии. В сентябрьской книжке «Современника» за этот же год анонимно напечатан (отдельной пагинацией) некролог Помяловского. Почти несомненно, что автором его был близкий друг писателя Н. А. Благовещенский. Однако не исключено, что некролог Помяловского и является той изъятой из хроники заметкой, которой Салтыков сразу же откликнулся на его смерть и которую он поспешил напечатать отдельно в запаздывавшей (ценз. разр.— 19 сентября и 13 октября) сентябрьской книжке журнала. Для окончательного разрешения этого вопроса необходимы дополнительные данные.

В настоящем издании статья печатается по тексту «Современника» с устранением по корректурам цензурных купюр и изменений и с учетом авторской правки, сделанной до цензурного вмешательства (последняя не учтена в *изд. 1933—1941*).

По выходе в свет книжки журнала статья привлекла к себе внимание И. А. Гончарова, в то время члена Совета по делам книгопечатания. В отзыве, написанном 20 января 1864 г., наряду с общей характеристикой салтыковских хроник (см. выше стр. 564—565), он высказывает свои соображения и по поводу ноябрьской хроники:

«Так, например, в ноябрьской книжке, говоря об известной картине Ге «Тайная вечеря» и выразив сочувствие к ней, он <Салтыков> по поводу ее запутывается в лабиринте отвлеченностей, неясных мыслей, сравнений,

вдруг переходит к какому-то *геройству* и ставит читателя в тупик, особенно на стр. 143 и 144, на которые я покорнейше прошу обратить внимание, как на образец темноты, которая должна ставить в большое затруднение цензора.

Далее он переходит к редактору газеты «День» и сначала как будто упрекает его в том, что он не находит честных деятелей в русском обществе, а вслед за тем сам задает обществу вопрос: «Что же в вас есть, мои милые?» (стр. 151) и здесь уже довольно ясно высказывает, какое именно общество страдает недостатком честности: общество старое, общество *скопцов, ничего и никого в своей долговременной жизни не обсеменившее* (стр. 156), что в этом обществе царствует *пустота и мыслебоязнь* и т. д. и т. д. (стр. 154 и 155). Затем речь обрывается, и следуют точки: ясно, что тут автора остановила цензура.

«Такое общество,— заключает автор,— не в состоянии выставить и одного честного человека». Потом следует неясный намек.

Кончает автор статью нападением на старую науку, давая понять, что она отжила и мало сделала пользы, и сатирическим очерком старого генерала, который старается доказать молодому человеку, что прогресс должен идти постепенно, и беспрестанно повторяет: «Ну нет, прыгать я не согласен».

Таково содержание и тон почти всех этих статей или сатирических импровизаций, исполненных желчи, придирок и чудовищных преувеличений и карикатур.

Относительно цензурных мер можно пожелать, чтобы места, где автор, как на стр. 154, 155 и 156, открыто, слишком резко, с преувеличением и, следовательно, несправедливо преследует все старое общество, поголовно обвиняя его в дряблости, корысти, нечестности, словом, негодности, пропускаемы в печать не были; этому же следовало бы подвергать и те прозрачные намеки, иносказания, в которых можно прочесть противный цензурным правилам смысл»[1].

Три случая цензурного вмешательства отметил в журнальном тексте сам Салтыков. В первом случае строкой точек было заменено толкование предательства Иуды как духовной драмы, в корне отличное от канонической интерпретации евангельского сюжета (стр. 153, строка 29 — стр. 154, строка 10). Во втором случае также строка точек заменила жизнеописания «естественного» и «искусственного» шалунов (стр. 163, строка 12— стр. 170, строка 11). В третьем случае, вместо типичного для Салтыкова рассуждения о способах «затушить старый светильник и возжечь на место его новый» (от слов «Душеньки! — говорю я им...» до слов «...завладеть светильником...» — стр. 175, строка 43 — стр. 176, строка 16), имеющегося в корректуре, в «Современнике» напечатано: «Эта штучка... но нет, я вижу, что разговор этот делается крайне неприятным для моего цензора, и потому прекращаю его».

---

[1] «Северные записки», 1916, № 9, стр. 131—132.

По-видимому, цензурой вычеркнуты: упоминание «свободы» среди чуждых толпе «стремлений», «мечтаний» и «предвидений» (стр. 150, строка 40), два абзаца «об освобождении человеческой личности», «которое предстоит совершить науке» (стр. 173, строки 10—16) и ряд других мест.

В журнальной публикации хроники отсутствует несколько важных в идейном отношении мест корректурного текста, удаление которых, однако, не может быть с уверенностью объяснено цензурным вмешательством и, по-видимому, было осуществлено самим Салтыковым. Так, после слов: «наиболее соответствует насущным потребностям общества» (стр. 151, строка 40) в корректуре было:

что мы, разъяснением известных терминов и представлений, помогаем ему скорее пережить тот спекулятивный период, в котором оно бесплодно тратит свои силы. Скажу откровенно, что если б я был начальником или управлял какою-нибудь отдельною частью, или даже частью отдельной части, то, ввиду упомянутой выше цели, допустил бы не только идеализм, но даже и аскетизм. Все это на пользу, все это способствует к украшению, хотя в сущности и невозможно отрицать, что самое последнее выеденное яйцо гораздо дороже и ценнее самого вкусного фрукта, предлагаемого аскетизмом.

Наряду с типом «шалуна» Салтыков предполагал, по-видимому, разработать сатирические типы «изящного мерзавца» и «мерзавца-забулдыги». Поэтому после слов: «милых шалунов» (стр. 152, строка 45) в корректуре было: «и изящных мерзавцев», а после: «развязными манерами» (стр. 154, строка 3) следовало:

Да и одних ли «изящных» мерзавцев? Не выделяет ли толпа еще «мерзавцев-забулдыг», которые самое лучшее дело, самую плодотворную мысль имеют талант опаскудить вонючими помоями своего скверного естества?

Однако в дальнейшем изложении был детально разработан именно собирательный тип «шалуна», чем, надо думать, и объясняются соответствующие вычерки.

В хронике обсуждаются остро волновавшие Салтыкова вопросы о значении в жизни общества передовых идеалов, о драматизме переживаемого Россией исторического момента, когда эти идеалы оказались недоступны гражданcки неразбуженным и неразвитым массам, а совершаемые во имя блага масс революционные подвиги не поддержаны ими.

Начальные страницы хроники посвящены картине Ге «Тайная вечеря» [1]. Евангельская легенда — предательство Христа Иудой на «тайной вечере»,— по-своему прочтенная Ге, послужила Салтыкову поводом для размышлений о том, как трагично складывается судьба идейного вождя, «учителя» в условиях, когда он не понят «толпой» и даже «учениками». Глубокая пропасть разделяет воодушевленного высокими идеалами «учителя» и «толпу». Последняя вся во власти повседневных забот и узко эгоистических побуждений, не выходящих за рамки чисто материальных потреб-

---

[1] Раздел о картине Ге написан С. А. Макашиным.

ностей. Условиями вековой неволи масса отторгнута от глубоких духовных интересов и занята добыванием хлеба насущного. Именно это, рассуждал Салтыков, и заставляет «толпу» или отдельных ее представителей идти на отступничество, отвернуться от мира идей и устремлений «учителя» и тем самым как бы «предать» его. «Толпа» идет за «учителем», преследуя свои узкие интересы, и отступается от него, как только начинается подъем к другим, более высоким целям. Из-за духовной неразвитости масса не способна пока еще воспринять их. Неизбежное еще по обстоятельствам жизни отступничество «толпы» объясняет неизбежность и необходимость подвига «учителя», жертвующего жизнью ради утверждения и распространения идеала. Конкретно-историческим фоном всех этих сложных раздумий является драма, пережитая передовыми общественными деятелями в связи с крахом революционной ситуации. Чернышевский и другие «революционеры 61 года» (Ленин) были преданы не только Всеволодом Костомаровым. Их не поддержало тогда «общество», «толпа».

Главное достоинство «Тайной вечери» Салтыков видит в отсутствии «всяких преувеличений», иначе говоря, в реализме, в простоте, естественности, ясности мысли художника, в умении избежать украшательств, «приторно-казенных эффектов», наконец, мистического настроения и элементов «чудесного». Это и позволяет художнику в библейской легенде раскрыть прежде всего «смысл такого громадного явления», как подвиг самопожертвования ради высокого общественного идеала, донести до зрителя суть «таинства» как приобщения к миру больших идей, к мысли о необходимости «геройства» (синоним революционного подвига и борьбы за «общую гармонию», вполне оправданных при «ненормальном» состоянии «самой общественной комбинации», то есть в условиях несправедливого социального строя).

Картина Ге именно потому и действует «на толпу освежительно», что вводит ее в мир идеальных понятий, побуждает размышлять над такими отвлеченными категориями, именуемыми пока толпой «призраками», как «свобода», «убеждения», «мечтания», «предвидения», задуматься над смыслом таких огромных социально-психологических явлений, как «подвиг», «геройство», и такого позорно-отрицательного общественного акта, как предательство, измена своему кругу, прежним убеждениям. И если «толпа» начинает чувствовать себя «малодушною и виноватою» перед идейными руководителями, следовательно, в ней начинает пробуждаться сознание своей общественной неполноценности. Салтыков подводит читателя к мысли, что «при известных условиях», а именно при условии выхода масс из состояния пассивности, неподвижности и социальной неразвитости, они способны постичь ту истину, что «смысл подвига самого высокого заключается в его преемственности и повторяемости», то есть в непрерывности усилий завоевать лучшее будущее, в установлении живых традиций между революционными подвигами «вчера совершившимися», и сегодняшней борьбой.

Возникающая в хронике тема «шалунов» находится в тесной связи с предшествующими размышлениями Салтыкова о роли «руководящих»

идеалов в обществе. Сатирическое обозначение «шалуны» возникло у автора обозрения в полемике с И. С. Аксаковым, который с горечью писал о низком нравственном и гражданском уровне современного общества, о трагедии социального бессилия «молодого поколения» («День», 1863, №№ 39 и 40). Салтыковские «шалуны» — это широкое типологическое обобщение («целая система», «целая каста») моральных, социальных, психологических качеств большой общественной группы. Подчеркнув, что «тип «шалуна» не новый» и «не оригинальный русский», Салтыков связывает возникновение его с эпохами политических кризисов, «разложения». Салтыков подробно исследует групповой портрет «шалуна» современности в двух его определениях — «естественный шалун» и «искусственный». Он прослеживает историю формирования этого типа и те социально-нравственные оттенки, которые в нем возникают в разные периоды жизни («в молодости» и «по мере возрастания») и в различных жизненных обстоятельствах. Говоря об объективной неизбежности появления «шалунов» при определенных исторических условиях, Салтыков утверждает, что столь же неизбежна их социальная пестрота (это и «сыновья известных родителей», дворян, и «из простых» и «даже из кутейников», то есть из разночинцев), поскольку процесс «разложения» охватил все слои общества.

Эта сложная дифференциация с выделением видовых особенностей «шалунов» обогащает представление о родовых, общетипологических их признаках, среди которых наиболее характерными оказываются «пустота» и «мыслебоязнь», отсутствие убеждений и идеалов, своекорыстие, грубый гедонизм и плотоядность.

Собирательный тип «шалунов» получил дальнейшее творческое развитие в образах «легковесных», «хищников» («Признаки времени») и «ташкентцев» («Господа ташкентцы») в направлении все более углубляющейся сатирической социально-политической характеристики [1].

В последних разделах хроники Салтыков рисует другой собирательный портрет — «детей». «Дети» — это широкие круги демократической интеллигенции, в том числе и передовая студенческая молодежь. Самый термин, по-видимому, ассоциируется со спорами вокруг тургеневского романа «Отцы и дети».

В связи с этим образом поднимается вопрос о наиболее приемлемой в условиях спада общественной активности тактике социального поведения людей, преданных социалистическим идеалам, о формах и способах практического воздействия на инертную массу, зараженную предрассудками.

Салтыков осуждает «детей» за пассивность в завоевании выгодных для демократии идеологических позиций, за отрыв от реальных запросов и практических нужд «толпы», за презрительное отношение к будничным, повседневным формам пропаганды нового учения.

«Дети», так же как и «шалуны»,— емкое типологическое обобщение.

---

[1] См.: А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, М.— Л. 1959, стр. 100—112.

Оно вбирает в себя, например, черты политического портрета некоторых деятелей из группы «Русского слова». Об этом свидетельствуют иронические характеристики той части «детей», которая пропоэедует созерцательные формы связи с жизнью, изоляцию от мира «грубости и пошлости», а также намеки на писаревские позиции в отношении официальной университетской науки (см. прим. к стр. 172).

В заключающих хронику иносказательном «диалоге» «старца и юноши» и в «беседе» двух чиновников обсуждаются вопросы о путях общественного развития (реформистском и революционном), о необходимости активного практического вмешательства в жизнь. В связи с тем, что скачок, «прыжок», то есть революционный взрыв, диктуется исключительными обстоятельствами, которые в настоящее время отсутствуют («если... под ногами... не тротуар, а раскаленная плита...»), социальное поведение сторонников демократической мысли в данный исторический момент должно определяться будничной, кропотливой, «черновой» работой в массах. Салтыков продолжает еще отстаивать такой способ популяризации идеи, при котором допустимы и даже неизбежны временные компромиссы (в сцене вразумления Колобродникова о необходимости согласиться с Постепенниковым, что «прыгать никуда не годится»). В беседе двух канцелярских политиков, «своего рода сообразительных и умных Колобродниковых», дается еще одна художественная конкретизация этой же мысли. Результатом их департаментского «саботажа», своеобразной политики проволочек является то, что все вредные для прогресса проекты превращаются в «мертворожденные». Обнаружившееся нежелание Колобродникова следовать такой тактике расценивается Салтыковым как консерватизм наизнанку (не случайно этот радикал той же самой фразой, что и консерватор-генерал — «Я прыгать не согласен» — отмахивается от практической деятельности, от активной борьбы со злом) [1].

Стр 148. *...картина Ге «Тайная вечеря»...* [2] — Картина Н. Н. Ге была показана на годичной выставке Академии художеств, открывшейся 13 сентября 1863 г. «Тайная вечеря», написанная Ге в 1861—1863 гг. во Флоренции, явилась первой из целого цикла его полотен на евангельские темы, трактованные как реальные события, созвучные современным общественным конфликтам. Евангельская легенда о «Тайной вечере» — рассказ о прощальной беседе Христа со своими учениками, в ночь, предшествующую его казни на кресте, решен художником с подчеркнутой простотой и естественностью. Изображен драматический момент: обнаружилось готовящееся предательство Иуды, одного из ближайших соратников учителя. Иуда — не мелкий, ради грошовой корысти (тридцати сребреников) предавший Христа человек, каким он представлен в Евангелии, но «величественный, исполненный мрачной красоты образ, в котором вы ви-

---

[1] См.: Е. И. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1957, стр. 174—175.

[2] Примечание написано Н. Ю. Зограф.

дите тип того энергичного живучего племени и народа, против черствого, жестоко-практического и материального духа которого боролся Иисус... Это отступник в полном значении слова...» (Н. А. <Н. Д. Ахшарумов>. Замечательная картина. Письмо из Флоренции.— «СПб. ведомости», 1863, № 188 от 23 августа).

Демократическая критика, хотя цензурные рогатки и мешали ей высказать свое мнение о произведении Ге вполне открыто, отмечает глубину изображенного конфликта, иногда прямо наталкивая читателя на ассоциацию с современностью. «В картине взят момент разрыва ученика со своим учителем»,— пишет в своей статье Д. Минаев («Русское слово», 1863, август). «Лицо спасителя печально и грустно... от него в лице Иуды оторвалась сила, оторвался человек, которым дорожит учитель». Поэт подчеркивает не только впечатление «простоты и самой неподдельной искренности», но и акцентирует в изображении «Тайной вечери» такие черты, которые пробуждают прямые аналогии с сегодняшним днем: в картине он увидел «убогую комнату с низким потолком и маленьким под решеткой окном». И. Дмитриев в своей статье «Расшаркивающееся искусство» («Искра», 1863, №№ 37, 38) противопоставляет «Тайную вечерю» выхолощенному академическому искусству, как образец творчества, «которое стало на прямую и честную дорогу и сделалось благом народа, потребностью народа». Характерно, что В. Стасов, отрицательно оценивший картину Ге, сделал это потому, что, по его мнению, образ Христа не соответствует представлению о нем, как истинном деятеле, «явившемся для современного переворота» («Академическая выставка 1863 г.».— «Библиотека для чтения», 1864, № 2).

Наиболее отчетливо позиции охранительной критики выразила Н. П. Грот в своих статьях за подписью Н. Г. на страницах катковской «Современной летописи» (1863, №№ 38 и 41). Автора возмущает, что в своей «Тайной вечере» Ге «первый из живописцев намеренно отнял у величайшего из мировых событий его божественность», что «художник сумел угодить ходячим современным идеям и вкусам», что «он в своей картине воплотил материализм и нигилизм, проникший у нас всюду, даже в искусство». В унисон этому негодующему голосу звучат слова М. П. Погодина: «Нет, это не тайная вечеря, а открытая вечеринка... Великие творцы новой европейской живописи... черпали свое вдохновение не в том источнике, к коему, повинуясь духу времени, или, может быть, только увлекаемый потоком, обратился Ге» («Московские ведомости», 1864, № 90). Споры о «Тайной вечере» велись не только в печати, они служили предметом дискуссий в литературно-художественных кружках, что нашло, в частности, свое отражение в дневнике А. В. Никитенко. «Крамской, с которым я имел прения о картине Ге... находит, что она удивительная вещь, и я нахожу, что она удивительная по изображению Христа, который представлен в виде здорового, румяного парня, кручинящегося о какой-то неудаче... Главное, она меня возмущает не сама собою, а тем, что служит выражением того грубого материализма, который хочет завладеть искусством, так же

как нравственным порядком вещей» (А. В. Никитенко. Дневник, т. II, 1959, стр. 371).

Своеобразную позицию занял Ап. Григорьев, который горячо приветствовал «Тайную вечерю», выделив ее из общей массы «обычного академического стиля». Но Григорьева в картине пленяет совсем иное, нежели демократическую критику. Он утверждает, что «у Ге есть то, чего бесплодное искание разбило глубокий гений Иванова... У Ге — вера есть: эта высокая, пламенная вера в правду... которая горы двигает». Если вспомнить, что у всех в памяти тогда была трагедия Александра Иванова, как и статьи о нем Герцена, Огарева и Чернышевского, подчеркивающие разрыв художника с религией, становится понятным, к чему призывает Ге Ап. Григорьев: к новому обретению веры, к тому, чтобы художество вернулось на почву религии («Якорь», 1863, № 35).

Интерпретация картины Салтыковым в наибольшей мере отвечала творческому замыслу художника. «М. Е. Салтыков,— вспоминал Ге,— написал в «Современнике» дорогую для меня рецензию, но я не знал тогда, что она его» (В. Стасов. Николай Николаевич Ге, стр. 134). В своих взглядах на изобразительное искусство Салтыков близок Огареву, который в статье об А. Иванове «Памяти художника» противопоставил глубокое философское обобщение конфликтов действительности в исторической картине Иванова засилию бытового жанра в современной европейской живописи (см. также в т. 9 наст. изд. статью Салтыкова о «Первой русской передвижной выставке»). В понимании задач живописи вообще и исторической живописи, в частности, находит себе объяснение и расхождение Салтыкова и Стасова в оценке «Тайной вечери». В исторической картине Стасов ценил не глубину ее философского содержания, а правдивую передачу внешних примет прошлого быта, одновременно требуя, чтобы она служила прямой иллюстрацией современным жизненным вопросам.

Стр. 150. *Я знаю, например, одного критика...*— По-видимому, речь идет об Ап. Григорьеве (см. предыд. прим.).

...гоняться за призраками...— Салтыков употребляет здесь слово «призраки» для обозначения социальных идеалов. Иное его содержание см. в «Современных призраках» (наст. том, стр. 381 и далее).

Стр. 151. *...это тот самый проклятый здравый смысл, который дает нам разгадку искалеченного существования каплуна.*— О «каплунах» см. т. 4 наст. изд., стр. 266—272. Здесь речь идет об оправдании «теоретиками» «здравого смысла» бездеятельности, пассивного созерцания.

Стр. 153. *...веселая шалость вроде пословиц Октава Фёллье...*— Имеются в виду комедии-пословицы («Scènes et proverbes», вошедшие в состав двухтомника «Scènes et comedies», 1854—1860) французского писателя и драматурга Октава Фёллье, в легкой форме осмеивающие ханжество, показную добродетель светского общества и носящие моралистический характер.

Стр. 158. *...И. С. Аксаков... рассматривая наш «арсенал мирных гражданских орудий»... пришел к... плачевным результатам...*— «Арсенал мирных гражданских орудий — в беспорядке,— сетовал И. С. Аксаков.— Общество

сваливает вину на правительство, правительство относит беспорядок за счет общества. Как бы не случилось с мирным арсеналом того, что случилось с военным — в начале Крымской войны» («День», 1863, № 39 от 28 сентября). Далее Салтыков иронически излагает и интерпретирует содержание указанной передовицы «Дня».

Вот в воинственном азарте / Воевода Пальмерстон... — Первые строки из стихотворения В. П. Алферьева «На нынешнюю войну», напечатанного по желанию Николая I в газете Булгарина «Северная пчела» (№ 37 от 15 февраля 1854 г.). Начальное четверостишие:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом...

Безбожной лести, лжи тлетворной... и т. д. — Не совсем точная цитата из стихотворения А. С. Хомякова «России» (1854). Оно цитируется в передовице «Дня» (№ 39 от 28 сентября) как образец гражданской скорби и мужества.

...«Стыдись, о сын неблагодарный». — Возможно, Салтыков по памяти цитирует строку из «Ответа некоторым безыменным стихотворениям» Е. Ростопчиной (апрель 1854 г.). У Ростопчиной: «И грех тебе, о сын лукавый...»

Стр. 159. *...начальник края не находит исполнителей для своей мысли.* — Далее в корректуре следовало:

(как жаль, что почтенный редактор «Дня» не называет губернии по имени; с своей стороны, я могу его заверить, что знаю очень много губерний, северо-восточных, юго-восточных, средних, северных, южных, юго-западных и даже северо-западных, в которых начальники находят превосходнейших и неукоснительнейших исполнителей для своих мыслей).

Стр. 162. *...отделять те стихии общества, о деятельности которых нам или вовсе ничего не известно, или... недоступно нашему пониманию.* — Речь идет о «деятельности» руководителей освободительного движения, включая и революционное подполье.

Стр. 163. *Без тоски, без думы роковой...* — строка из стихотворения А. Н. Майкова «Fortunata».

Стр. 164. *П. И. Мельников.* — Упоминание имени П. И. Мельникова (Андрея Печерского) рядом с именами М. Н. Каткова и А. А. Краевского — выразителей правительственного курса во внешней и внутренней политике — объясняется его ролью чиновника особых поручений в министерстве внутренних дел, официального исследователя и гонителя раскола.

...«Mémoires de l'Oeil de Boeuf»... — «Chroniques de l'Oeil de Boeuf» Тушара — собрание фактов и анекдотов, относящихся к «галантной» стороне быта Людовика XIV, Людовика XV и их фаворитов. L'Oeil de Boeuf (Бычий Глаз) — освещенная круглым окном прихожая Больших королевских апартаментов в Версале, где собирались придворные, прежде чем войти к королю.

...«вскипел Булльон, и в храм потек!» — «Насмешники уверяют,— писал В. Г. Белинский,— будто в его <А. Ф. Мерзлякова> переводе «Освобожденного Иерусалима» <Торквато Тассо> есть стих:

Вскипел Булльон, течет во храм...

Не ручаюсь за достоверность такого указания: мы не имели силы одолеть чтением весь перевод» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, М. 1955, стр. 261).

Стр. 165. *...мы сами по себе составляем идею, и, следовательно, для нас требуется только солидарность.* — Речь идет о корпоративных теориях русского дворянства как «первенствующего сословия» в государстве, а также о реакционной идее консолидации благонамеренных политических партий и «образованных сословий» для борьбы с оппозиционно-демократическими силами общества. Эти идеи и теории проповедовались Чичериным, Катковым и другими дворянскими идеологами.

Стр. 166. *...интрига... о которой высоким слогом ежедневно беседует с своими читателями М. Н. Катков...* — «Интрига, везде интрига,— говорилось, например, в одной из передовых «Московских ведомостей»,— коварная иезуитская интрига, иезуитская и по своему происхождению, и по своему характеру... Все, что в нашем обществе... завелось... нечистого, гнилого, сумасбродного, она сумела прибрать к рукам и организовать для своих целей» («Московские ведомости», 1863, № 136 от 22 июня).

Стр. 167. *Как будто бы король — огарок свечки сальной.* — Заключительная строка эпиграммы поэта-сатирика А. Н. Нахимова «Польскому королю Попилю, которого, как говорит летопись, мыши съели» (Сочинения Нахимова, изд. А. Смирдина, СПб. 1849, стр. 73).

Стр. 170. *Говорят, будто бы вы плохо учитесь, дети?* — Салтыков иронизирует по поводу обвинений демократического студенчества в охлаждении к знаниям, в падении интереса к науке, в «неуважении к науке» (об этом писал, например, Б. Н. Чичерин в книге «Несколько современных вопросов», М. 1862). Критик «Современника» М. Антонович отвечал на это, что молодежь «не уважает мертвую, безжизненную ученость», оторванную от передовых идей эпохи, а вовсе не науку (*С*, 1863, № 3, стр. 71, 77, 82, 88).

...что́, если наш корреспондент П. М. сломает себе руку,— кем мы его заменим? — П. М.— корреспондент «СПб. ведомостей» в Польше, сообщения которого, сугубо охранительного содержания, печатались на первой странице газеты (см., например, «СПб. ведомости», 1863, № 180 от 13 августа; № 187 от 22 августа и в следующих номерах ежедневно).

Стр. 171. *...все в деревянный домик около почтамтского мостика да в гостиницу Синоп ходите?* — то есть посещаете публичные дома и дома свиданий (в Петербурге).

Стр. 172. *Нет, тут что-нибудь да не так!* — Далее в корректуре следовало:

Известно мне, например, что еще очень недавно 200 московских студентов, с дозволения родителей, ринулись было в область политики, но я готов биться об заклад, что эти молодые люди вместе с тем и ловкие

юристы, и глубокомысленнейшие философы... Я готов биться об заклад, что когда эти молодые люди вырастут, то ни одна кафедра ни в одном университете не останется праздною.

Ведь они нашу-то науку и за науку не признают!.. говорят... что самый университет — совсем не храм наук... — В сетованиях «ученого друга», по предположению Е. И. Покусаева (см. «Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы», стр. 172—174),— отклик на выступления Д. И. Писарева, в частности, вероятно, на его статью «Наша университетская наука» («Русское слово», 1863, кн. 7 и 8), в которой он утверждал, что вся система образования в университете оторвана от жизни, а некоторые факультеты являются «недвижимыми и мрачными притонами учености», порождающими и поддерживающими «умственное бессилие» и скептицизм (Д. И. Писарев. Соч. в 4-х томах, т. 2, М. 1955, стр. 179, 227 и др.).

Стр. 173. *...Неволины, Кошанские, Леонтьевы, Никиты Крыловы, Рожественские, братья Баршевы и Юркевичи...* — Названные Салтыковым профессора Петербургского и Московского университетов представляли официальную, «казенную» науку, являясь проводниками реакционных доктрин, идей и принципов правительственной политики. См. также прим. к стр. 440.

...царь Фараон каждую ночь из Чермного моря выходит. — О Фараоне, выходящем «из Чермного моря», говорит сваха Акулина Гавриловна Красавина в комедии Островского «Праздничный сон — до обеда» (карт. II, явл. 3).

Стр. 175. *...соблюл постепенность.* — В корректуре далее было:

то есть стал говорить о таких предметах, которые именно непосредственно после «трех рыб» следуют.

Стр. 176. *...если задумал реформу, начни сперва с одного уезда. Сделал? хорошо! переходи к другому... к третьему. И таким образом, без потрясений и незаметно... а прыгать я не согласен!* — Аналогичные рассуждения можно встретить на страницах петербургских и московских газет: «Мы стоим за деятельную реформу, но не желаем скачков и бесполезной ломки» («Голос», 1863, № 1 от 1 января). «Политическое благоразумие советует избегать... скачков... чтобы развитие политических учреждений совершалось с постепенностью, обеспечивающею его успех» («Московские ведомости», 1863, № 143 от 2 июля). Возможно, что Салтыков непосредственно откликнулся здесь на программное заявление «Времени» о «скачках» и «опасных salto mortale» (С. Борщевский. Щедрин и Достоевский, М. 1956, стр. 75).

Стр. 177. *— Да, в клуб...— А говорят, там нынче настоящие-то прыгунчики и есть?* — Вероятно, намек на Шахматный клуб (Шахклуб) — замаскированный литературно-политический центр, место встреч и бесед с «нужными людьми» (см. о нем в кн. Л. Ф. Пантелеева «Воспоминания», М. 1958, стр. 270—271 и прим. к ним, стр. 739—740).

Стр. 178. *А вы думали, что пройдете осенью по Невскому... и не замараетесь?* — О переосмыслении Салтыковым формулы Чернышевского «Исто-

рический путь — не тротуар Невского проспекта», заимствованной, в свою очередь, у Герцена («...исторический путь... не есть прогулка по Невскому!»), см. в кн. Е. Покусаева «Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы», Саратов, 1957, стр. 175—176.

<VII. Декабрь 1863 года>

(Стр. 180)

Впервые — *С*, 1863, № 12, отд. «Современное обозрение», стр. 197—242 (ценз. разр.— 8 января 1864 г.).

Сохранилась корректура статьи, без каких-либо помет, адресованная А. Н. Пыпину *(ИРЛИ)*.

Глава «Кашинские торжества» первоначально предназначалась для предыдущей, ноябрьской хроники, но, по-видимому, вовремя не была закончена автором. Другая глава — «Что лучше? — Любопытный спор между двумя московскими публицистами» — написана Салтыковым дополнительно, после набора статьи: она приложена к корректуре (в оглавлении которой не названа) в виде гранок отдельного набора с надписью «К Общественной жизни».

В настоящем издании печатается по тексту «Современника» с устранением многочисленных цензурных купюр и замен.

Изъятию и переделке подверглись как довольно значительные отрезки текста, так и отдельные фразы и слова. Прежде всего, как и в других случаях, цензура охраняла авторитет власти, дворянского сословия и церкви. Был удален, например, текст: «Вообразим себе <...> искушенная преданность» (стр. 190, строки 5—14). Текст о христианских «аскетах» (от: «жить довольно долго в обществе аскетов» до «обнаженных блудниц», стр. 193, строки 11—16) был заменен другим, ослабленным: «по востоку жить довольно долго в обществе факиров, он дошел до такого исступления, что и сам чуть-чуть не сделался факиром. Уже перестал он и чесаться и мыться, уже обзавелся гноищем и вретищем, одним словом...» Строка точек в «Современнике» указывала на изъятие цензурой отрезка о «гусятнике» Людовике-Наполеоне и об отношении к нему вице-губернатора Зменщева (от слов: «Помню я, что когда в губернский город Крутогорск» до: «Что ж означает этот факт?» — стр. 196, строка 12 — стр. 197, строка 7; и далее, от слов: «И еще один вывод» до: «влияние-то среды!» — стр. 198, строки 3—14). Была затушевана ироническая характеристика «либеральных излишеств» «благородного дворянства», в своем первоначальном виде намекавшая на тверскую оппозицию 1861—1862 гг. Вместо текста: «Новое подтверждение этой мысли <...> а второе не нравится» (стр. 198, строка 20 — стр. 199, строка 7) в журнале было напечатано:

Новое подтверждение этой мысли я встречаю в действиях некоторых кашинских дворян на поприще примирения двух никогда не враждовавших сословий.

Не отрицаюсь, я не вижу в этих действиях никакого особенного геройства, однако, как человек мирный, не могу не сказать, что дело примирения

двух никогда не враждовавших сословий нравится мне. Присутствуя при таком деле, я никогда ничем не тревожусь, ибо говорю себе: вот люди, которые съехались в одно место, чтобы чрез несколько времени разъехаться по домам! Сверх того, я знаю заранее, что тут непременно будет прекраснейшая еда... Все это гораздо прочнее и благонадежнее, нежели какие-нибудь либеральные словопрения, на которых присутствующие решительно ничем, кроме словесного уксуса, не угощаются.

Далее, в описании либеральных «кашинских торжеств» в журнальном тексте также оказывалось притупленным острие салтыковской иронии. Так, например, в следующей фразе были опущены слова, набранные курсивом: «Но простодушные дети природы <представители крестьян на кашинском обеде> были до такой степени смущены великостью предстоявшего им подвига, что сами говорить не решились, а поручили это *мудреное дело* кашинскому помещику Петру Николаевичу Ладыженскому, *который таким образом явился дворянским выразителем крестьянских чувств»* (стр. 204, строки 5—10).

Большой интерес — прежде всего многозначительным ироническим указанием на эзопову манеру, приобретенную «под влиянием» цензуры,— представляет та замена, которую сделал Салтыков в заключении хроники вместо выброшенного текста о цензуре (от: «но всегда несколько искалеченный» до: «умеренность и употребление» — стр. 221, строка 21 — стр. 222, строки 16—17):

но всегда с некоторыми изъянами.

Сказывают, что в будущем году цензура будет упразднена, но слух этот скорее смущает, нежели радует меня. Во-первых, я привык к цензуре и под влиянием ее приобрел известную манеру писать; следовательно, на первый раз употребление *и т. д.*

Далее был исключен отрезок фразы: «примется за пропаганду мыслей о содомских увеселениях и вообще» (стр. 222, строки 32—33) и, наконец, текст: «Но, конечно, все эти опасения <...> новым произведением музы» (стр. 222, строка 44 — стр. 223, строка 7) был заменен следующим:

Вот те надежды, которыми я могу поделиться с тобой, читатель, на прощание; расставаясь с тобой, я чувствую необходимость сказать тебе что-нибудь веселое. На этот раз ничего не нахожу веселее нового произведения музы *и т. д.*

В заключительной для 1863 г., декабрьской хронике Салтыков останавливается на вопросах, которым уделялось много внимания в предшествующих очерках «Нашей общественной жизни»,— это положение и характер современной литературы, соотношение идеала и действительности в данный исторический момент и диктуемые им основы «негероической» тактики передовых сил общества, уяснение позиций, политических доктрин и действий враждебного демократии лагеря в пореформенное время.

Ранее данная характеристика «картонной литературы», эксплуатирующей темы и сюжеты «благонамеренности» (мартовская хроника), дополняется в декабрьской хронике анализом других направлений современной беллетристики, а также размышлениями о причинах некоторого «оскудения»

художественного творчества в России вообще. Реальное состояние русской литературы корректирует слишком категорические заключения Салтыкова об «этнографическом» характере современной беллетристики. Достаточно назвать увидевшие свет в это время «Отцы и дети», «Что делать?», «Кому на Руси жить хорошо» (первая часть), «Мещанское счастье», «Молотов», салтыковские сатирические циклы и некоторые другие произведения, в которых весьма удачно воссоздавались именно «цельные картины жизни». Вместе с тем необходимо подчеркнуть глубину и меткость многих наблюдений Салтыкова. Во-первых, сюда нужно отнести его суждения о распространившихся в литературе начала 60-х годов очерковых жанрах, разработкой которых занимались писатели-демократы В. Слепцов, Н. Успенский, А. Левитов, Ф. Решетников. Во-вторых, говоря о «дробном», «осколочном» характере литературы, Салтыков объясняет появление в ней этих черт переходным состоянием эпохи, ее незавершенностью, когда «цельность» и «гармоничность» — не реальная принадлежность жизни, а лишь «искомое». Игнорируют это обстоятельство «первейшие агитаторы» Катков, Павлов и Краевский, славословящие эпоху «возрождения», казенные писатели, выдающие за истину «праздные фантазии подкупленного воображения», сочинители «фальшивых», «лживых» антинигилистических романов, наконец, «выдохшиеся и выболтавшиеся литературные авторитеты», смотрящие свысока на «скромных деятелей» демократической беллетристики. В-третьих, в самой литературе, основывавшей прежде и не так давно свою «цельность» на разработке любовных мотивов, сказывается, говорит Салтыков, стремление преодолеть узость и односторонность такого содержания, обратиться к широким социальным запросам, которые диктует человеку меняющаяся историческая действительность. По существу, перед нами первые наброски идеи общественного романа, которую Салтыков подробно изложит и аргументирует пятилетием спустя в «Господах ташкентцах». Честному художнику-современнику Салтыков предназначал роль «собирателя материалов» для этого будущего романа «выводов» и «обобщений».

Нечто сходное, по мнению Салтыкова, происходит и в области общественной идеологии и политики. Мысль Салтыкова бьется над проблемой несоответствия «честного идеала» и практики («жизни, не выросшей еще в меру естественного своего роста»). Вследствие этого перед первым возникает опасность сделаться бессрочно отвлеченным, ограниченным идеалом для себя и для кружковых друзей. «Чувство самосохранения» человека демократических, социалистических убеждений побуждает искать себе в жизни практической опоры, действенных сил и средств осуществления идеала. Варьируя некоторые из тезисов и выводов очерка «Каплуны» (см. т. 4 наст. изд., стр. 566—568), Салтыков предлагает сложное историко-философское и социально-психологическое обоснование той тактики, той практической формы деятельности в пользу честного идеала, которые он сам обозначает дважды повторенной формулой «благородное неблагородство». Теоретически бесспорно, рассуждает Салтыков, что признание прав большинства и защита их против притязаний меньшин-

ства («касты») вполне естественны и справедливы. Для людей передовой мысли (демократов, социалистов) такая идея становится убеждением, смыслом их жизни, руководящим принципом их поступков и действий. Но бывают моменты в истории человечества, когда «массы самым странным и грубым образом ошибаются насчет своих собственных интересов», в порыве заблуждений отвергают даже те «понятия и представления», которые им заведомо выгодны и заключают в себе «залог общественного прогресса». В таких случаях преданный массам деятель-демократ вынуждается идти наперекор «толпе», бороться с ее «неразумием и произволом» и отдать свои симпатии «касте», «меньшинству», которые неожиданным сложением исторических обстоятельств сохраняют «семя жизни», идеалы прогресса. Эти теоретические рассуждения Салтыкова, в разных вариантах представленные и в других хрониках и вообще в его сатире и публицистике 60-х годов, служат обоснованию одной из важнейших задач пореформенной русской демократии: создать действенную, гибкую, учитывающую всю сложность и противоречивость исторического момента политическую тактику,— тактику, способную активизировать борьбу народа средствами пусть и «непрямыми», «подрывными», даже на поверхностный взгляд «неблагородными», ценою временных «отступлений». Тот же смысл заключен и в другой очень часто затем Салтыковым используемой диалектической формуле: «в мире непоследовательном и колеблющемся одна только непоследовательность и может быть названа строго последовательною» и, добавлял сатирик, «разумною».

Сатирически интерпретированная Салтыковым журнальная полемика иллюстрирует ту мысль, что пореформенная реакционная обстановка предельно нивелировала идейные позиции и политические программы правых партий. Всем им, от защитников монархии Каткова и Чичерина до поверхностно либеральствующего Громеки, свойственны одни и те же «руководящие идеалы», одно и то же чувство враждебности к демократии и к революционерам. Взаимная полемика — просто уловка, создающая видимость самостоятельности и независимого выражения общественного мнения, да еще приманка для подписчиков.

В итоговой автохарактеристике хроник 1863 г. прежде всего отмечается драматизм положения, в котором оказались преследуемые реакцией передовые элементы общества («ушибы и другие огорчения»), давление цензурного гнета, столь губительно отразившегося на прогрессивной печати («я никогда не являлся перед тобой в своем натуральном виде, но всегда несколько искалеченным»). В связи со слухами о предстоящей реформе цензуры Салтыков подробно говорит о развившемся в России искусстве эзоповского повествования, в какой-то степени нейтрализующего карательное усердие властей. Самый смех, принятая в публицистике «веселая манера» рассказа дали, по мнению Салтыкова, возможность трезво расценить устрашающие события минувшего года, выяснить их подлинный исторический смысл, предостеречь от пессимизма и уныния, внушить своим сторонникам, «мальчишкам», мысль о грядущей победе сил добра и света.

Стр. 185. *...недостает только балетной мифологии...*— См. т. 5 наст. изд., стр. 571, 593, а также наст. том, стр. 677.

...довольствуйся дипломом чернорабочего...— См. апрельскую хронику 1864 г. и прим. к ней.

Стр. 188. *...есть на свете публицисты, которые защищают Южные штаты Америки (и у нас такие ходоки есть)...*— Английская и французская дипломатия (а вслед за ней и пресса) в период Гражданской войны в США (1861—1865) выступила в поддержку Южных штатов, объявив их борцами за прогрессивную идею «самоопределения» (см. М. М. Малкин. Гражданская война в США и царская Россия, М. 1939). Катков выражал свое сочувствие «южанам», отстаивавшим, как он твердил, идею политической независимости (см., например, «Московские ведомости», 1863, № 2 от 4 января, № 36 от 16 февраля и др.).

...кроме публицистов-паразитов...— Об «отвратительном и горьком» явлении «публицистов-паразитов» Салтыков подробно писал в статье «Драматурги-паразиты во Франции» («Современник», 1863, № 1—2. См. т. 5 наст. изд.).

Стр. 191. *...законных поводов для истребления этой неблагонадежной породы не может быть никаких.*— Речь идет о репрессиях по отношению к революционерам.

Стр. 191—192. *...эти скромные деятели, на которых свысока смотрят наши выдохшиеся и выболтавшиеся литературные авторитеты... скромно собирают материалы для будущего творчества...*— Как можно судить по первому разделу хроники, посвященному анализу современного состояния беллетристики, а также по дальнейшему упоминанию В. Слепцова, «скромные деятели» — это писатели-демократы. Им противопоставлены «литературные авторитеты», в данном случае — А. Ф. Писемский. Остро критические рецензии Салтыкова в «Современнике» 1863—1864 гг. на сочинения И. Лажечникова, А. К. Толстого, А. Фета, А. Вельтмана, А. Майкова делают вероятным предположение, что Салтыков, говоря о «литературных авторитетах», имел в виду этих писателей.

Стр. 193. *...в древности заключение в дом умалишенных считалось одним из самых ловких и целесообразных укротительных средств...*— Салтыков, по-видимому, намекает на судьбу П. Я. Чаадаева.

Уже отпустил он себе бороду до чресл... и т. д.— Салтыков сатирически использует отдельные элементы легенд о «житии» христианских аскетов — святого Антония (Антония Фивского) и Симеона Столпника, основателя одного из течений православного подвижничества.

...титулярный советник Поприщин — герой повести Гоголя «Записки сумасшедшего».

Стр. 194. *«Великолепный князь Тавриды!»* — строка из оды Г. Р. Державина «Водопад».

Стр. 196. *...известие об избрании Людовика-Наполеона президентом республики... это тот самый, который, после страсбургской проделки, жил в Лондоне и... торговал гусями!* — В 1836 г., в царствование Луи-Филиппа

Орлеанского, принц Луи Бонапарт пытался организовать в Страсбурге противоправительственный заговор. Высланный за границу, он долгое время жил в Лондоне, занимаясь разными аферами, в том числе и мелкими (отсюда анекдот о торговле гусями). В 1848 г., в силу сложной политической обстановки, создавшейся после революции, ему удалось стать президентом Французской республики. В результате государственного переворота 2 декабря 1851 г. президент Луи Бонапарт сосредоточил в своих руках неограниченную власть, а через год провозгласил себя императором под именем Наполеона III.

Змеищев — персонаж из «Губернских очерков» (см. т. 2 наст. изд., стр. 195—208).

Парижский трактат — мирный договор, подписанный в Париже 30 марта 1856 г. между Россией и странами — победительницами в Крымской войне: Англией, Францией и Турцией.

Стр. 197. *...не ручаюсь, чтобы он вновь не обратился к первоначальному слову...* — Имеется в виду антирусская позиция Франции в период польского восстания 1863 г. См. прим. к стр. 114.

Всем известно... до какой степени ученый редактор «Отечественных записок», А. А. Краевский, уважал и ценил покойного Белинского, однако это не мешало ему в то же время не пренебрегать и Ксенофонтом Полевым. — В 1848 г. Краевский обратился к К. Полевому, настроенному в это время уже реакционно, с предложением принять участие в работе журнала, бывшего в 1839—1846 гг. трибуной Белинского (см. т. 4 наст. изд., стр. 546). «Уважение» Краевского к Белинскому выражалось по преимуществу в нещадной эксплуатации критика (отсюда ирония Салтыкова).

...А. А. Краевский ощущает себя счастливым обладателем двух литературных органов, из которых в одном один и тот же предмет похваляет, а в другом порицает. — Имеются в виду два издания Краевского — журнал «Отечественные записки» и газета «Голос». Иллюстрации к этой мысли Салтыкова можно почерпнуть из статьи М. Антоновича «„Московские ведомости" и „Голос"»: в то время как «Голос» в 1863 г. пытался доказать, что его политические позиции отличаются от позиций катковской газеты, «Отечественные записки» тогда же утверждали, что «большинство петербургских газет заговорило в один тон с чувством русского народа и с «Московскими ведомостями». «...он услуживает,— писал Антонович о неустойчивости программы «Голоса»,— и нашим и вашим... даже в одно и то же время, в одной и той же статье он ухитряется составлять такой винегрет, в котором заключаются элементы, приходящиеся по вкусу самым разнородным субъектам с противоположными направлениями» (*С*, 1864, № 1, отд. «Современное обозрение», стр. 60, 61, 65, 67).

...если В. А. Кокорев изобретет новое средство отыскать миллиард в тумане... — См. прим. к стр. 110.

Стр. 198. *Было время, когда оно отличалось на поприще либеральных излишеств... теперь оно отличается на поприще примирения двух никогда не враждовавших сословий.* — О либерально-оппозиционном движении твер-

ского дворянства в конце 50-х — начале 60-х годов см. прим. к «Тихому пристанищу», т. 4 наст. изд., стр. 589, а также наст. том, прим. к стр. 69. Используя фразеологию «Московских ведомостей» и «Нашего времени», Салтыков высмеивает попытки устранить социальные противоречия пореформенного времени путем «сближения сословий» (см. об этом в прим. к «Глуповскому распутству», т. 4 наст. изд., и к апрельской хронике 1863 г., наст. том, стр. 589, 592).

Стр. 199. *«Современник»... выразил догадку, что кровопролития оттого... происходят, что мировые учреждения не имеют под собой достаточно твердой почвы.*— Салтыков имеет в виду собственное выступление в «Современнике», на которое несколько ниже в подстрочном примечании и ссылается. См. в т. 5 наст. изд. статьи «Несчастие в Порхове», «Известия из Полтавской губернии» и прим. к ним.

...«офицер, боящийся выстрела, не может служить в рядах храбрых» и т. д.— цитаты из статьи Н. Б. Герсеванова «Вести с южных степей» («Наше время», 1863, № 3 от 4 января).

Стр. 200. *...я не мог не порадоваться появлению в газете «День» перепечатки из «Тверских губ. вед.» статейки под названием: «Описание двух дней праздника...»* — Указанная перепечатка неофициального отчета о «Кашинских торжествах», написанного кн. А. Шаховским, появилась в двух номерах газеты «День»: в № 41 от 12 октября 1863 г., под приведенным Салтыковым заглавием, и в № 44 от 2 ноября 1863 г., под заглавием: «Описание третьего дня праздника по случаю...» и т. д. Этому пространному описанию предпослано сатирически использованное Салтыковым вступление от редакции, в котором, в частности, говорилось: «...мы нисколько не сомневаемся в серьезности крестьянских адресов, несмотря на то, что они иногда писаны литератором,— умышленно и до приторности применявшимся к грубости мужицкой речи. Так и в настоящем случае. Что же касается до участия крестьян, то здесь для нас, да и для них, важно не столько самое их участие в празднике, сколько стремление дворян к сближению с ними. Мы уверены, что крестьяне питают самую искреннюю признательность к г. Головину и рады были ее выразить вместе со всеми. Вот в чем главная сила, ну, а кубок, спичи, тосты, это уже дворянские аксессуары, которые, впрочем, ничем особенным не могут оскорбить крестьянского чувства и не изменяют сущности дела» («День», 1863, № 41 от 12 октября).

...кашинский летописец сочинил балет...— то есть нечто искусственное и фальшивое. См. т. 5 наст. изд., стр. 571, 593.

Стр. 201. *...Алексей Яковлев (почему он не Яковлевич и почему нет его фамилии?)...*— В XVI—XIX вв. употребление формы с окончанием «вич», а также фамилии, служило признаком дворянского происхождения.

Стр. 206. *Чарочка моя серебряная...*— народная величальная песня.

Стр. 207. *...«блаженны миротворцы, яко тии сынами божиими нарекутся...»* — По евангельской легенде — слова Иисуса (Матф., V, 9).

Он знает, что «Атеней» и «Наше время»... пали... незаслуженно и что публика... раскается в своем заблуждении...— Газета Н. Ф. Павлова «Наше время» и журнал Е. Ф. Корша «Атеней», в которых преимущественно сотрудничал Б. Чичерин, вынуждены были прекратить свое недолгое существование из-за недостатка подписчиков.

Стр. 208. *...г. Громека... приведет примеры из недавно изданной им истории киевских волнений 1855 года...*— В качестве жандармского офицера Громека принимал участие в усмирении крестьянских волнений в Киевской губернии, о чем и рассказал в статье «Киевские волнения в 1855 году» (*ОЗ*, 1863, № 4), изданной в том же году отдельной брошюрой, на которую Салтыков написал рецензию (см. т. 5 наст. изд.). Ирония Салтыкова относительно «хорошего устройства огнестрельных орудий» имеет в виду, повидимому, следующий эпизод из статьи Громеки: «Управляющий губернией спрашивал, точно ли нельзя было обойтись без стрельбы и не лучше ли было бы прогнать толпу прикладами и штыками; но гг. батальонные и ротные командиры опровергли это мнение, ссылаясь на военный артикул и на то, что при действии штыками жертв могло быть гораздо более, чем теперь...»

Стр. 209. *...г. Катков будет доказывать, что доверие достигается только посредством предводителей дворянства, г. Чичерин — что в этом деле могут оказать действительную помощь только исправники, и притом исправники, назначаемые от короны...*— Полемизируя с Чичериным по вопросу о роли «земского» и «бюрократического» начал в государственном управлении, Катков настойчиво убеждал в преимуществах системы местного самоуправления, или земского принципа, отстаивая при этом идею первенствующей роли дворянских предводителей в земстве (см., например, передовые «Московских ведомостей», №№ 218—220, от 9, 10 и 11 октября 1863 г.). Чичерин, напротив, защищал доктрину бюрократической, государственно-административной централизации (см. Б. Н. Чичерин. Областные учреждения России в XVII веке. М. 1856; Несколько современных вопросов. М. 1862). «Доверия» между помещиками и «простодушными детьми природы», сатирически обобщает Салтыков, можно достичь, по Чичерину, только силой, исходящей от уездной полиции («исправников») как местного выражения высшей государственной власти («короны»).

...г. Громека обратит внимание на мировой институт и спросит себя: не в нем ли следует искать ключа для сближения сословий?..— Институт мировых посредников, писал С. Громека, «навсегда останется одною из лучших заслуг текущего законодательства... Загляните в мировые учреждения... Тут вы найдете богатых и бедных... русский народ... сумеет оценить заслуги добрых защитников и оберегателей крестьянского дела» (*ОЗ*, 1863, № 1, стр. 20, 22). С апологией мирового института, призванного «прочно скрепить» отношения дворянства с крестьянами, Громека выступил и в октябрьском номере журнала за 1863 г.

...если им попадется под руку вопрос о правде в судах, то каждый из них растерзает его на свой манер. Г-н Громека нарисует картину, в кото-

рой покажет судью, благословляющего поселянина, и поселянина, благословляющего судью... Катков скажет кратко: «С нас и этого будет», обругает при этом жуликов и мазуриков...— Начавшаяся в 1861 г. подготовка судебной реформы широко обсуждалась в печати и была предметом специальной и длительной полемики между «Русским вестником» и «Днем», в которой принял участие и Громека. «„Русский вестник",— писал он,— домогался уничтожить волостные суды и подчинить маловажные иски всех классов земства юрисдикции аристократических, безвозмездных мировых судей; «День», напротив, выражал желание расширить власть волостных судов...» Отдавая предпочтение идее волостных судов (отсюда ироническое замечание Салтыкова об идиллических отношениях «судьи» и «поселянина»), хроникер «Отечественных записок» высказал желание, чтобы «идеалы «Русского вестника» и «Дня», оборотившись друг к другу своею практическою стороною, постарались примириться между собою к общей пользе земского дела...» (*ОЗ*, 1863, № 11—12, стр. 37). Сообщая о предстоящих переменах в области судопроизводства, Катков предлагал воспользоваться «тем, что уже есть» («Московские ведомости», 1863, № 200 от 14 сентября). В этой же статье «обруганы» «журнальные крикуны». Многие газеты обратили внимание на непоследовательность позиций Каткова в вопросе о реформе суда (см., например, «Сын отечества», 1863, № 33 от 7 февраля).

Стр. 210. *«Ливанская красавица, или Горный дух»* — балет, поставленный Петипа. Первое представление в Петербурге — в 1863 г. (см. А. И. Вольф. Хроника петербургских театров с конца 1855 до начала 1881 г., СПб. 1884, стр. 120).

Стр. 211. *С одной стороны, «Московские ведомости» препирались с «Днем», с другой стороны, те же «Московские ведомости» вели войну с «Голосом». Дело шло об том, кто больше любит отечество...*— Имеется в виду полемика названных газет по польскому вопросу, носившая характер словесных турниров. Как очень точно отметил Краевский, разногласия «начинались только тогда, когда заходила речь о том, как желательно на будущее время устроить отношения наши к Польше *возможно выгоднее для России»* («Голос», 1864, № 1 от 1 января).

...кто у кого позаимствовал проект всероссийского словоизвержения (в корректуре: «проект русской конституции»)...— В ответ на выпад Каткова против славянофилов в заметке «По поводу статьи «Роковой вопрос»» («Русский вестник», 1863, № 5, стр. 409) славянофил Ю. Самарин писал: «...Не вы первые обнаружили особенность русского воззрения на государственное устройство; всю эту систему вы заимствовали целиком и почти буквально выписали из статей Константина Аксакова об отношении земли к государству; но ведь вы же себе ее усвоили и повторили от себя, даже не указав на источник» («По поводу мнения «Русского вестника» о занятиях философией, о народных началах и об отношении их к цивилизации».— «День», 1863, № 36 от 7 сентября). См. также прим. к стр. 128.

Стр. 212. *...И. С. Аксаков задумывает... издание балетной этнографии целой России.*— В передовой «Москва 23 ноября» Аксаков предлагал из всех губерний присылать корреспонденции, чтобы составить «общий взгляд» на Россию. Он рекомендует «предметом... наблюдений сделать не одну общественную, а и местную народную жизнь, не растительность, покрывающую почву, а самый грунт и его грунтовые силы... Надо внести светоч знания и разума во всякую глушь...» («День», 1863, № 47 от 23 ноября). О содержании сатирического образа «балет» см. т. 5, стр. 571, 592.

...он даже усумнился, доподлинно ли эта губерния существует...— Передовая статья в газете «День» от 23 ноября 1863 г. (написана И. С. Аксаковым) начиналась: «Читатель, не известно ли вам что-нибудь про Тамбовскую губернию? Что поделывает Тамбовская губерния? Кто знает что-нибудь про Тамбовскую губернию?.. Ни слуху ни духу...»

За Тамбовскую губернию вступился почтенный профессор Московского университета Б. Н. Чичерин.— Упомянутая в предыдущем прим. передовица «Дня» вызвала «Письмо к редактору» Б. Н. Чичерина. «Вы усумнились в самом существовании Тамбовской губернии,— писал Чичерин.— Смею вас уверить, что она преспокойно стоит на месте». Больше того, именно «молчание есть признак благополучного пребывания на месте». «Вас поразит действительно несколько странное явление,— продолжал Чичерин.— С недавних пор Россию постигла язва языкочесания. Все взапуски пустились говорить... Всякий старается выставиться вперед, заявить о себе целому миру; всякий непременно хочет сказать свое слово, хотя ему, в сущности, говорить нечего; гласность сделалась современным лозунгом, всеобщим недугом, заменившим столоверчение, полились обличения, критики, заявления, протесты, советы, проекты, споры, брань и ругательства» («День», 1863, № 48 от 30 ноября).

Стр. 213. *Г-н Аксаков, конечно, не оставил без ответа этого заявления...*— Ответ И. С. Аксакова, излагаемый далее Салтыковым, напечатан в том же номере «Дня», что и «Письмо к редактору» Б. Н. Чичерина.

Стр. 214. *...с каким-нибудь липпе-детмольдским подданным...*— Вариант корректурного текста: «с каким-нибудь менее восторженным подданным». Липпе-Детмольд — одно из княжеств бывшей Германской империи.

Стр. 215. *...от московских треволнений.*— Возможно, Салтыков имеет в виду полемику Чичерина в 1861—1862 гг. с Катковым по вопросу о «роли дворянства в новых условиях пореформенной России», «среднем сословии», «слиянии сословий» (см. «„Русский вестник" и русская литература».— «Московские ведомости», 1862, № 30 от 8 февраля, «Русское дворянство» — «СПб. ведомости», 1862, № 56 от 15 февраля), а также столкновение группы молодых профессоров Московского университета, среди которых был и Чичерин, с редакторами «Русского вестника». Причиной столкновения послужила появившаяся в № 49 «Современной летописи» (1862) статья «Администрация и педагогика», в которой, как вспоминал позднее Чичерин, «в самом невыгодном свете описывалось состояние университета и отношение молодых профессоров к студентам. Это была чистейшая гадость,

и притом гадость опасная» (Воспоминания. Московский университет. М. 1929, стр. 75). Тогда же Чичерин выступил с протестом против передачи в аренду Каткову принадлежавшей Московскому университету газеты «Московские ведомости».

...сочинение о казачестве в науке...— См. прим. к стр. 20 наст. тома.

Стр. 216. *Г-н Павлов (de la Moscowa).*— Н. Ф. Павлов, издатель газеты «Наше время».

...распространить силу... предложения и на Рязанскую губернию, в которой жена моя имеет недвижимую собственность.— Н. Ф. Павлов в 1858 г. принимал участие в усмирении крестьян в рязанском имении своей жены поэтессы Каролины Павловой. См. т. 4 наст. изд., прим. к стр. 209.

Стр. 217. *...г. Чичерина могли застращать призраки корреспондентов «Московских ведомостей» гг. Виноградова и Петерсона.*— Н. Виноградов — гродненский корреспондент «Московских ведомостей». В своих корреспонденциях взывал о мести полякам («Московские ведомости», 1863, № 151 от 11 июля), писал о «польском засилье» в Белоруссии, доносил на местное духовенство и учителей гимназии, защищал «бдительность» как «лучшую из гражданских добродетелей» («Московские ведомости», 1863, № 166 от 31 июля). О Петерсоне см. прим. к стр. 124.

Стр. 220. *Я доказал, что так называемые нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в первоначальном диком и нераскаянном состоянии, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты.*— Впервые этот тезис в несколько иной формулировке и с иными акцентами был сформулирован в рецензии Салтыкова на «Несколько серьезных слов...» М. Беницкого и «Заметки и отзывы» «Русского вестника» (*С*, 1863, № 4; см. т. 5 наст. изд., стр. 352). Различные мотивы этой темы развивались в январско-февральской, сентябрьской, ноябрьской хрониках 1863 г. и подробно в январском обозрении 1864 г. (см. стр. 234 и прим. к ней).

Стр. 221. *Сердце в будущем живет...*— Неточно цитируемая строфа из стихотворения Пушкина «Если жизнь тебя обманет». Третья строка читается так: «Все мгновенно, все пройдет...»

Стр. 222. *Сказывают, что в будущем году цензура будет упразднена.*— О проекте нового цензурного устава, предусматривавшего введение карательной цензуры вместо предупредительной, см. т. 5 наст. изд., стр. 596—598.

...меня не на шутку тревожит заявление М. Н. Каткова о том, что он ждет не дождется упразднения цензуры, чтоб поговорить с петербургскими журналами... на всей своей воле.— Катков приветствовал предполагавшуюся цензурную реформу. Отмена предварительной цензуры, как он полагал, облегчит борьбу с демократическими органами печати и прежде всего с «Современником», который в новых условиях обретет свободу выражения своих тщательно маскируемых ныне революционных идей и тем самым разоблачит себя сам. См. также стр. 255, 315 и прим. к ним.

Стр. 223. *«О наших нигилистах».*— Это стихотворение П. А. Вяземского было напечатано в сентябрьской книжке «Русского вестника» за 1863 г. (отд. «Заметки», стр. 427).

...будешь нигилистом.— В корректуре дальше читаем:

Вот и все. То самое, что в романе г. Тургенева доказывается на 10—15 печатных листах, здесь резюмируется в каких-нибудь четырех строчках.

<VIII. Январь 1864 года>

(Стр. 224)

Впервые — *С,* 1864, № 1, отд. «Современное обозрение», стр. 17—48 (ценз. разр.— 18 января и 10 февраля). Одна из глав — «Размышления по случаю нового года» — в сокращенном виде, с восстановлением нескольких мест доцензурного текста и незначительной стилистической правкой, вошла под заглавием «Новогодние размышления» в 1-е и 2-е изд. «Признаков времени» («Признаки времени и Письма о провинции», СПб. 1869 и 1872); в следующие издания не включалась.

Сохранилась третья чистая корректура, набранная 17 января и адресованная А. Н. Пыпину.

Текст хроники в «Современнике» испорчен многочисленными цензурными купюрами и заменами. Поэтому в настоящем издании печатается по корректуре (редакторам *изд. 1933—1941* осталась неизвестной) с учетом авторской доработки текста для журнальной публикации.

Надо помнить, однако, что вмешательство цензуры в ряде случаев давало толчок и повод для творческой переработки текста. Так было и в настоящей хронике: после изъятия образа «мецената, наблюдающего за литературой» (в наст. изд. восстановлено) Салтыков разрабатывает образ «литературного генерала», политически менее острый, но также весьма существенный в галерее сатирических образов «Нашей общественной жизни». В соответствии с этим в «Современнике» напечатано:

Стр. 234, строки 24—27. Вместо: «меценатов, которые <...> делать приличествует» — «хороших приятелей из опытных литераторов, которые покровительствуют моим скромным талантам и не прочь даже иногда помецеиатствовать (ибо и литература обладает своими генералами, в лице Д. В. Григоровича, В. П. Боткина, А. Д. Галахова и других)» [1].

Стр. 234, строка 37. Исключено: «сиятельного».

---

[1] Упоминание этих имен в связи с темой «понижения тона» не случайно (см. стр. 234). Названные писатели до конца 50-х годов сотрудничают в «Современнике», затем уходят из журнала, все более враждебно относятся к революционным демократам (Григорович, например, печатает в №№ 1—2 «Русского вестника» за 1864 г. отрывки из романа «Два генерала» с отчетливо антинигилистическими тенденциями. Салтыков упоминает об этом романе в мартовской хронике — см. стр. 315). Говоря о желании «литературных генералов» «помеценатствовать», Салтыков, вероятно, имеет в виду следующее: А. Д. Галахов был одним из учредителей и активным участником Литературного фонда («Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым»); Д. В. Григорович — один из наиболее деятельных участников «Общества поощрения художеств»; В. П. Боткин неоднократно оказывал материальную помощь нуждающимся и, умирая, завещал 70 тысяч рублей на поощрение наук и искусств.

Стр. 235, строка 40 — стр. 236, строка 6. Вместо: «но о тех настоящих русских меценатах <...> один из многочисленных меценатов, встретивши» — «а просто о хороших моих знакомых, которые, по дружбе, интересуются мной. Итак, в начале уже нынешнего года один из таких литературных генералов, встретивши...»

Стр. 236, строка 16. Вместо: «Меценат смотрел...» — «Мой милый приятель смотрел...»

Стр. 236, строка 27. Вместо: «меценат пожал мне руку. Я расцвел вновь» — «приятель пожал мне руку. Я расцвел вновь, ибо понял, что мой друг, хотя и литературный, но все-таки генерал (так конь и пряничный — все конь)».

Другие важнейшие случаи цензурных изъятий и замен, произведенных в тексте «Современника»:

Стр. 232, строки 8—12. Вместо: «и даст достаточно света <...> Со временем, птенцы, со временем!..» напечатано: «Ждите же, птенцы, и помните, что на человеческом языке есть прекрасное слово «со временем», которое в себе одном заключает всю суть человеческой мудрости».

Стр. 238, строки 38—42. Исключено: «И я полагаю <...> для нее предназначена».

Стр. 239, строки 31—32. Исключено: «зашел в первый попавшийся мне на пути департамент».

Стр. 239, строка 38 — стр. 240, строка 7. В обоих случаях вместо: «директора департамента» напечатано «презуса».

Стр. 240, строка 19. Вместо: «мой директор департамента» напечатано: «по крайней мере, мой начальник отделения».

Стр. 240, строки 24—39. Вместо: «и притом старый <...> Чего требовать?» напечатано: «и притом давно известный; но к нему прилеплен ярлык — не могу же я пройти такой факт молчанием!

Ибо новые ярлыки суть наши естественные союзники.

Ибо за новыми ярлыками является возможность запроса.

Ибо при виде нового ярлыка можно сочинить себе представление о новой вещи.

Ибо с новым ярлыком в руках можно предъявить поползновение и на новую вещь».

Стр. 241, строки 8—15. Вместо: «не нужно даже и четвертака <...> совсем раздробляемы» напечатано: «есть тысячи других средств, гораздо более простых и незамысловатых».

Стр. 241, строки 19—22. Исключено: «сверх того, она <...> ей пожелалось».

Стр. 241, строка 32 — стр. 243, строка 6. Вместо: «Очевидно, что для достижения <...> и запереть в часть» напечатано: «Откровенно признаюсь, я не понимаю этого факта, но как бы то ни было, понимаю я или не понимаю его, факт существует — это верно».

Стр. 244, строки 4—15. Исключено: «Зачем прибегать <...> посредством четвертака».

Стр. 244, строки 23—25. Исключено: «Нет, это дело <...> бесхитростным образом».

Стр. 245, строки 7—10. Исключено: «будет называть <...> обязанностей!»

Стр. 245, строки 18—24. Исключено: «Но если я <...> мне надобно!»

Стр. 245, строки 37—38 — стр. 246, строки 2—3. Исключено: «а что же такое дисциплина <...> смысле они употребляются».

Стр. 246, строки 7—13. Исключено: «а в одно прекрасное <...> в настоящем случае...»

Стр. 246, строки 20—21. Исключено: «Совокупность всех <...> и подчинением».

Стр. 248, строки 9—13. Исключено: «Им хотелось бы <...> места непроплеванным».

Стр. 248, строки 18—31. Исключено: «Ужас! ужас! волосы <...> называют гражданским мужеством».

Стр. 248, строка 41 — стр. 249, строка 4. Вместо: «или быть дураком <...> общее любопытство» напечатано: «необходимо только, чтоб обстоятельства поставили человека в такие условия, которые подобной знаменитости благоприятствовать могут. Эти условия... но здесь я, по обыкновению, предпочитаю прибегнуть к примерам».

Строкой точек был заменен в «Современнике» текст корректуры: «Другую группу людей <...> со всеми необходимыми ударениями» (стр. 250, строка 14 — стр. 251, строка 14), большая часть которого (от «Воображаю я себе...») была включена потом в мартовскую хронику, но и там не появилась (см. стр. 656).

Всякий смысл потерял абзац: «Я знаю, что вам любо <...> на большой простор» (стр. 251, строка 42 — стр. 252, строка 10) после изъятия из него следующих мест: «которая обыкновенно царствует в низменных сферах», «в том смысле, что источники всей силы общественной не в другом каком-либо месте находятся, а именно в тех низменностях, где вам так привольно живется», «а деятельность, в свою очередь, совершенно немыслима до тех пор, покуда она не будет выведена из низменных сфер на большой простор».

Стр. 254, строка 29 — стр. 255, строки 11—12. Вместо: «Я уже успел прочесть <...> или Готов заранее» напечатано: «Этим несомненно приятным известием я и заканчиваю мою хронику».

Стр. 255, строки 28—37. Вместо: «По крайней мере, родственная «Современной летописи» <...> с тем, однако ж, ограничением» напечатано: «Но во всяком случае, позволяю себе думать».

Январская хроника 1864 г. отражает раздумья Салтыкова, вызванные продолжающимся натиском реакции, расправами правительства над революционерами, подавлением восстания в Польше. С иронией отвергает он радужные надежды либеральной печати на дальнейшие правительствен-

ные реформы в наступающем году (так, например, передовая № 1 «Голоса» от 1 января 1864 г. заканчивалась словами: «Полные отрадных надежд вступаем мы в новый год...»). Не вызывают сочувствия писателя и оторванные от жизни, от практической деятельности рассуждения о счастливом будущем, которое когда-нибудь наступит само собой (см., например, рассуждения Г. Е. Благосветлова в статье о Дж. Ст. Милле, в которой утверждается, что человечество, как бы оно ни колесило, достигнет светлого будущего и «если за тысячи лет своих страданий насладится одним годом счастья, то оно может без особенной горечи оглянуться на пройденный им страдальческий путь».— «Русское слово», 1863, № 9, стр. 10). С горечью пишет Салтыков о наступивших сумерках, о спертости атмосферы, о «понижении тона» — журнального, литературного, общественного,— как характерном признаке времени. Такое «понижение тона», по мнению Салтыкова, определяется и прямым административным давлением, и напором реакционных сил, и трусливой ограниченностью либералов, и нестойкостью либеральных кругов, еще недавно сочувствовавших демократическому лагерю.

Все отчетливее звучит в хронике тема народной пассивности — глупости «вдохновенных глупцов», одна из коренных салтыковских тем, ведущая к «Истории одного города».

Все менее обольщает он себя «мечтами о независимости и твердости убеждений в области русской публицистики» в условиях реакции, показывая, сколь разнообразны способы, при помощи которых можно привести литературу и журналистику «к одному знаменателю»:

С январской хроники 1864 г. начинается открытая полемика «Современника» с «Русским словом», названная противниками революционно-демократических изданий «расколом в нигилистах» (см. Ф. М. Достоевский. Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах.— «Эпоха», 1864, № 5. Создатель этого термина Ф. М. Достоевский назвал «расколом в нигилистах» конфликт Салтыкова с редакцией «Современника», но в дальнейшем выражением стали пользоваться для обозначения полемики «Современника» с «Русским словом») [1].

---

[1] Эта полемика и участие в ней Салтыкова изучались во многих работах. Приводим (в алфавите авторов) список основной литературы: С. Борщевский. «Раскол в нигилистах».— «Литературный критик», М. 1940, № 11—12 (вошло в кн. автора: «Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы», М. 1956); А. С. Бушмин. «Сатира Салтыкова-Щедрина», М.—Л. 1959; В. Гиппиус. «Салтыков и журнальная полемика 1864 года».— *ЛН*, т. 11—12, М. 1933; В. Евгеньев-Максимов. «Последние годы «Современника», Л. 1939; Р. Иванов-Разумник.«М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество», М. 1930; В. Кирпотин. «Радикальный разночинец Д. И. Писарев», М. 1933, «Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин», М. 1955; Б. П. Козьмин. «Раскол в нигилистах» (Эпизод из истории русской общественной мысли 60-х годов).— «Литература и марксизм», М. 1928, № 2 (вошло в книгу автора: «Из истории революционной мысли в России», М. 1961); Ф. Кузнецов. «М. Е. Салтыков-Щедрин и журнал «Русское слово» (еще раз о «расколе в нигилистах»).— «Русская литература», Л. 1961, № 2

И «Современник» и «Русское слово» в 1863—1866 гг. остаются изданиями революционно-демократического направления. Они продолжают отрицать основы существующего строя, признают необходимость их коренной ломки, осуждают либерализм и его сделки с самодержавием, защищают подлинные интересы народа. Но победа реакции привела революционных демократов к переоценке перспектив движения, к пониманию невозможности близкой народной революции, к осознанию трагичности своего положения. Одновременно возникло стремление преодолеть просветительский утопизм, некоторую схематичность и прямолинейность предшественников, действовавших в период революционной ситуации. Новая обстановка требовала более трезво разобраться в противоречивости крестьянских масс, понять не только их силу, но и их слабые стороны, пассивность, общественную инертность. В такой обстановке само крушение надежд, ощущение трагичности, отсутствие четких положительных выводов свидетельствовали о понимании несостоятельности выводов иллюзорных, о нежелании довольствоваться ими и были шагом вперед на пути от оптимизма поверхностного, не осознающего сложности и противоречивости явлений, к оптимизму более исторически осмысленному и глубокому.

Сложность поисков, неясность перспектив определяли различное понимание путей, ведущих к конечной общей цели, различную тактику, рекомендуемую для практической деятельности. «Русское слово» видит выход в разработке вопросов социально-экономических и естественнонаучных, ориентируясь в основном на демократическую интеллигенцию и недооценивая потенциальные революционные возможности русского крестьянства. Редакцию «Современника», Салтыкова интересуют в первую очередь вопросы общественно-политические, в центре внимания они оставляют проблему народа, понимая порочность всякой безнародности, стремятся к практической деятельности, связанной с народом, к постепенному разъяснению массам несостоятельности существующего порядка; но проблема народной революции и здесь снимается с «текущей повестки дня» и отодвигается в неопределенное будущее.

Утверждения каждой из сторон содержали много верного и ошибочного, по-своему отражали своеобразие нового этапа в развитии русского революционного демократизма. Но и той и другой стороне казалось, что именно она предлагает верный и единственно возможный в сложившейся обстановке путь коренного изменения существующего порядка, а противная сторона повернула к либерализму, к реакции. Этим определялись и возникновение полемики, и острота ее.

(вошло в книгу автора «Журнал „Русское слово"», М. 1965 — гл. «Еще раз о «расколе в нигилистах»); Л. Я. Лифшиц. «Путь Рахметова или дорога Шалимова» — «Филологические науки», 1963, № 3; Л. А. Плоткин. «Писарев и литературно-общественное движение шестидесятых годов», Л.— М. 1945; Е. Покусаев. «Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы», Саратов, 1957; «После крушения революционной ситуации».— В сб. «Н. Г. Чернышевский», Саратов, 1962.

По существу, полемика велась уже с начала 1863 г., с возобновления «Современника» и «Русского слова». В «Русском слове» появляются высказывания, направленные против «Современника». В «Перлах и адамантах нашей журналистики» В. Зайцев критиковал № 9 «Свистка», осуждал напечатанный здесь отзыв Салтыкова о Достоевском (см. т. 5 наст. изд.), замечая, что произведения, подобные «Запискам из Мертвого дома», «пишутся собственной кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола». Зайцев выражал надежду, что «Современник» может «исправиться», но предлагал «гг. свистунам «Современника» бросить вице-губернаторский тон» [1]. В «Дневнике темного человека» говорилось, что «Современник» лучше остальных журналов, что редакция «Русского слова» сочувствует его направлению. В то же время здесь утверждалось, что многие читатели с одинаковым удовольствием читают «Современник» и «Русский вестник» и «только потому отличают один журнал от другого, что у них обертки разные»; автор будто бы пробовал подклеивать статьи из «Русского вестника» в «Современник» и давал читать: «Никто даже и не догадался» [2]. В таких и подобных высказываниях в зародыше намечен ряд будущих обвинений, адресованных «Русским словом» «Современнику». В свою очередь, «Современник» уже в 1863 г. довольно отчетливо дал понять, что он не одобряет многого в направлении «Русского слова». Прав был Салтыков, говоря в мартовской хронике за 1864 г., что и в прошлом году он высказывал свои мнения о позиции «Русского слова» «с полною откровенностью», хотя и «выражал свою мысль не всегда одинаково рельефно» [3]. В январской хронике за 1864 г. Салтыков уже открыто напал на утверждения «Русского слова», казавшиеся ему сектаторством. Однако при всей саркастичности замечаний Салтыкова противники и здесь не были названы по именам. Более того, речь шла не столько конкретно о «Русском слове» и его сотрудниках, сколько о круге идей этого журнала, об определенной части молодежи, которую, по мнению сатирика, увлечение подобными идеями приводит к абсурдным выводам. Тем не менее намеки на сотрудников «Русского слова» были довольно прозрачны, и этот личный момент играл немалую роль в полемике, определенным образом окрашивая ее.

«Раскол в нигилистах» вызвал откровенную радость в лагере реакционеров, в какой-то степени снизил авторитет и «Русского слова» и «Современника». Во время полемики обе стороны высказали много несправедливых обвинений, часто в весьма грубой форме. Но неверно было бы считать виноватой какую-либо одну из сторон, искать причины полемики в личных недостатках того или иного из ее участников.

В хронике затрагивается также вопрос о послереформенных «деятелях», «гениальных людях», который Салтыков поставит позднее в «Пом-

---

[1] «Русское слово», 1863, № 4, стр. 17.

[2] «Русское слово», 1863, № 9, стр. 2, 3.

[3] См. стр. 322. О замаскированных выступлениях Салтыкова против «Русского слова» см.: Е. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1957, стр. 170—177.

падурах и помпадуршах». В ней звучат обычные для писателя призывы к социальной активности, к необходимости «держаться около живого дела», уверенность его, что «разумная жизнь немыслима без деятельности».

В заключительной части хроники Салтыков дает отпор нападкам на «Современник» в изданиях Каткова в связи с обсуждением подготавливаемых правительством цензурных реформ.

Стр. 224. *...о птенец!* — Лагерь «Русского слова» настойчиво подчеркивал свою принадлежность к молодому поколению, к «детям».

Стр. 225. *...вычеркивание* — подразумевается вся система средств принуждения, в том числе цензура. Обоснование закономерности «права вычеркивания» имеет у Салтыкова иронический характер. Утверждение, что «птенцы» со временем поймут прелесть вычеркивания, связано с мыслью о возможности эволюции их к благонамеренности, часто повторявшейся в хрониках Салтыкова.

Стр. 227. *...был в Новотроицком... сходил в Московский* — московские трактиры. *...зашел к Иверской* — в часовню, находившуюся у входа на Красную площадь, с «чудотворной» иконой Иверской божией матери.

Стр. 230. *...родство между такими личностями, как Орас и Хлестаков.* — Орас — герой одноименного романа Ж. Санд, сатира на ложную, прекраснодушную радикальную фразу людей, неспособных к серьезному делу. Сопоставление Ораса с Хлестаковым и с лгуном-ополченцем раскрывает, по мысли Салтыкова, никчемность современных русских Орасов, «люда волнующегося и стремящегося».

Стр. 231. *Вы, которые еще полагаете различие между старыми и новыми годами...* — Возможно, имеется в виду «Домашняя летопись» «Русского слова», где утверждалось, что история не повторяет себя, «что завтрашний день не будет походить на вчерашний» (1863, № 11—12, стр. 44).

...какая-то чаша — символ действенной борьбы за осуществление передовых идеалов, за счастливое будущее народа. Сторонники идей «Русского слова», по мысли Салтыкова, отказались от такой борьбы и возложили надежды на стихийный исторический прогресс. Салтыков же считает, что нужно действовать в любых условиях, сохраняя прежние цели, но меняя тактику, используя все возможности. К вопросу о чаше писатель возвращается в мартовской хронике (см. стр. 329).

Стр. 232. *Со временем, птенцы, со временем!..* — Намек на слова Писарева из статьи «Очерки из истории труда»: «Со временем многое переменится...», истолкованные Салтыковым как свидетельство появления у Писарева либеральных тенденций («Русское слово», 1863, № 9; см. Д. И. Писарев. Соч. в 4-х томах, т. 2, стр. 280).

...дети будут рождать отцов... — В книге М. Погодина «Норманнский период русской истории» (М. 1859) Новгород назван старшим сыном России, рожденным прежде своей матери. Неудачное выражение Погодина вызвало иронический отзыв Добролюбова (см. Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 6, М. 1963, стр. 40) и стало в какой-то степени нарицатель-

ным. Салтыков переосмысливает его, имея в виду восторженное отношение Писарева к «детям», к Базарову. Следует учитывать, что, рожденный под пером критика, публицистический образ Базарова далеко не идентичен тургеневскому образу. См. выше, стр. 570.

...зайцевская хлыстовщина...— Преувеличение Зайцевым в решении социальных проблем роли демократической интеллигенции, естественных наук воспринимались и неоднократно квалифицировались Салтыковым как сектантство, своего рода «хлыстовщина».

...милые нигилистки будут бесстрастною рукой рассекать человеческие трупы...— О роли естественных наук в воспитании женщины, о медицинской деятельности, как одной из лучших форм применения женского труда, неоднократно писалось в «Русском слове». «Спешите же, милые соотечественницы, в аудитории медицинской академии»,— призывал автор «Домашней летописи» («Русское слово», 1863, № 8, стр. 207). Об этом же писал он, доказывая, что женщина «может быть хирургом, врачом, адвокатом» (т а м ж е, № 9, стр. 57).

...«со временем», как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет...— Эти слова были истолкованы как глумление над Чернышевским, как насмешка над романом «Что делать?», над «четвертым сном» Веры Павловны (см. В. З а й ц е в. Глуповцы, попавшие в «Современник».— «Русское слово», 1864, № 2, стр. 39). На самом деле Салтыков высмеивает, в первую очередь, вульгаризацию идей Чернышевского, преимущественное внимание к деталям будущего социального устройства, что было характерно для части «нигилистов» (см. воспоминания С. Г. Стахевича в сб. «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. 2, Саратов, 1959, стр. 72—73). Следует учитывать и то, что, высоко ценя идеи романа Чернышевского, Салтыков отнесся отрицательно к попыткам художественного изображения подробностей будущей общественной организации. В выводах Салтыкова сказались и присущее ему недоверие к всяким «регламентациям будущего», и некоторая недооценка революционной жизненности утопии Чернышевского, убеждение, что «утопические детали» лишь затрудняют правильное понимание идей романа. См. также стр. 324 и 527 и прим. к ним.

...давали, конечно, «Карла Смелого»...— Под этим названием ставили на русской сцене по измененному либретто Р. М. Зотова оперу Россини «Вильгельм Телль». Ее революционизирующее влияние на общество было общепризнанным и неоднократно отмечалось Салтыковым (см., например, т. 1 наст. изд., стр. 253—254, т. 5, стр. 173—181 и др.). Здесь увлечение «Карлом Смелым» переосмысливается иронически, в плане той же критики революционной фразы, лишенной серьезного содержания.

...пресловутая Шарлотта Ивановна...— Намек на Минну (Вильгельмину) Ивановну Буркову, фаворитку министра двора г. В. Ф. Адлерберга. См. также в тт. 3, 4 и 5 наст. изд. по указателю имен.

...«мятежный груди вал» — строка из стихотворения М. Розенгейма «Помнишь, друг мой, как бывало», процитированного и высмеянного Доб-

ролюбовым в статье «Стихотворения М. Розенгейма» (Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 7, М.— Л. 1963, стр. 302—303).

Стр. 233. *Некоторые из них уже начинают исподволь поговаривать о «скромном служении науке», а к «жизненным трепетаниям» относятся уже с некоторою игривостью...*— Видимо, имеются в виду рассуждения Зайцева о «скромных» задачах русской науки, о деятельности «на скромном поприще естествознания» («Русское слово», 1863, № 9, Библиографический листок, стр. 46), а также неоднократно встречавшиеся в «Русском слове» утверждения о несостоятельности большей части народных движений (например, 1863, № 11—12, см. Д. И. Писарев. Соч. в 4-х томах, т. 2, стр. 283), «Жизненные трепетания» — насущные потребности текущей жизни, непосредственная борьба за их удовлетворение.

Наука и даст все это...— Речь идет о естественных науках, которые, по мысли критиков и публицистов «Русского слова», призваны оказать решающее воздействие на социально-политическое развитие (см., например, Д. И. Писарев. Очерки из истории труда.— «Русское слово», 1863, № 9. Соч., т. 2, стр. 280; Н. В. Шелгунов. Убыточность незнания.— «Русское слово», 1863, № 5, стр. 40). Эту идею Салтыков расценивал как отход от общественных традиций в освободительном движении, как обращение к теории «наука для науки».

Стр. 234. *...все там будем!* — то есть, в истолковании «кающегося нигилиста», в лагере реакции и консерватизма. В статье «Глуповцы, попавшие в „Современник"» В. Зайцев, приведя эти слова, обвинял Салтыкова в том, что он давно уже «там». «Еще кто будет или нет, а вы ведь уж давно там» («Русское слово», 1864, № 2, стр. 36).

Но и я сказал вещь не менее резонную, когда утверждал, что нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты.— См. стр. 220. Применение к группе «Русского слова» этой «формулы» попятного движения от революционности к примирению с действительностью не было верным и во многом имело характер полемического заострения. Но взятая в более широком плане «формула» Салтыкова правильно отражала определенные тенденции в русской общественной жизни после краха революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов. А. М. Горький, упоминая об общественных изменениях в эпоху реакции, писал: «И не зря говорил Щедрин, что каждый нигилист есть в существе своем будущий титулярный советник...» (М. Горький. История русской литературы, М. 1939, стр. 245).

Одного такого сиятельного мецената я знал даже в Петербурге...— Речь идет о графе Г. А. Кушелеве-Безбородко — издателе (до 1863 г.) «Русского слова». О его пышных приемах для литераторов вспоминали, например, А. Фет (Мои воспоминания, М. 1890, ч. I, стр. 132—133), П. Д. Боборыкин (Воспоминания, «Художественная литература», 1965, т. 1, стр. 232—280).

Стр. 234—235. *Philosopho di forza... philosopho di gratia...*— сатирические перифразы итальянских музыкальных терминов: tenore di forza (драматический, или героический, тенор) и tenore di gratia (лирический тенор).

Стр. 234. *Ризположенский* — герой пьесы Островского «Свои люди — сочтемся!», стряпчий-пьянчуга. У Салтыкова — по расшифровке, предложенной В. В. Гиппиусом,— редактор «Русского слова» Г. Е. Благосветлов (*ЛН*, т. 11—12, стр. 91).

Стр. 235. *Семечкин* — по расшифровке В. В. Гиппиуса (см. предыд. прим.), может быть, Н. В. Соколов.

Шекснинска стерлядь золотая.— Строка из стихотворения Державина «Приглашение к обеду».

Кроличков — В. Зайцев. *Бенескриптов* — Писарев. Нарисованная Салтыковым картина обеда у мецената, хотя и содержит ряд остропамфлетных намеков на деятелей «Русского слова», не является сатирическим изображением реальных отношений, существовавших в редакции этого журнала. Она служит, скорее, предостережением: по мысли Салтыкова, поворот от интересов общественных исключительно к естественнонаучным, групповая замкнутость и сектантство сотрудников «Русского слова» может привести их к потере идейности, к подчинению богатому меценату, заставить «проводить» его идеи. На таком пути можно «увязнуть» в служении чуждым интересам.

...Бенескриптов однажды уж надул...— Возможно, подразумевается, что Писарев, публикуя в «Русском слове» статьи революционно-демократического содержания, «обманул» доверие издателя, оказавшись «неблагонамеренным», чего нельзя было предвидеть по его выступлениям в журнале «Рассвет», до прихода в «Русское слово». Само имя Бенескриптов — «хорошо пишущий» — выделяет Писарева из ряда остальных сотрудников «Русского слова».

...«от радости в зобу дыханье сперло» — строка из басни Крылова «Ворона и лисица».

Стр. 236. *Антроп* — возможно, намек на Благосветлова, учившегося в духовной семинарии и преподававшего «словесность» в военно-учебных заведениях (см. т. 4 наст. изд., стр. 542).

Стр. 237. *...антикварско-библиографические фельетоны...*— Воспоминания и библиографические заметки М. Н. Лонгинова, в корректуре прямо названного Михаилом Николаевичем (замена в журнальном тексте Николаевича на Логгиновича — пример эзопова языка Салтыкова). Понимание Антропом и Михаилом Логгиновичем формулы «понижения тона» совпадает, как бы подчеркивая, по мысли Салтыкова, происходящее сближение позиций «Русского слова» и «Русского вестника». Характерно и слово «о к а п л у н е н и е», употребляемое Антропом. Салтыков намекает на объективное сходство, существующее, по его мнению, между «каплунами прошлого» и «каплунами будущего», связывая с последними группу «Русского слова» (см. прим. к очерку «Каплуны», т. 4 наст. изд., стр. 569 и др.).

Стр. 237—238. *Был тон любезный... этот любезный тон сохранился лишь в воскресных прибавлениях «Московских ведомостей».*— Салтыков имеет в виду реакционную печать николаевского времени, стремившуюся не затрагивать острых вопросов, затушевывать общественные противоречия. Подобной политики, по мнению писателя, придерживаются и издатели воскресных прибавлений «Московских ведомостей» — «Современной летописи», в которой публиковалось большое количество «развлекательного» материала (описание путешествий, статьи о музыке, живописи и т. п.). Салтыков неоднократно подчеркивал близость тенденций — «ничего не трогать», «просто любить» и — «трогать умеючи», «дурное порицать», несущественность различий, характерных для реакционной печати разных эпох (ср., например, рецензию «Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в С.-Петербурге», т. 5, наст. изд., стр. 343; см. также прим. к декабрьской хронике 1863 г., стр. 629 наст. тома).

Стр. 238. *«Риголетто»* — здесь герой одноименной оперы Верди, которая как раз в начале 1864 г. шла на петербургской сцене. Пример Риголетто — человека, имеющего «двойственную физиономию»,— позволяет понять, что, требуя «понижения тона», правительственная реакция стремится превратить литераторов в продажных «шутов», послушных исполнителей и пропагандистов воли властей. Такими шутами, по Салтыкову, стали «московские публицисты», которые упоминаются вслед за Риголетто.

Стр. 239. *Ими внезапно овладевает горячечный бред в соединении с свистопляскою...*— «Рыцарями свистопляски» окрестил М. П. Погодин левый лагерь русской журналистики («СПб. ведомости», 1860, № 60). Салтыков переосмысливает этот термин, характеризуя им действия реакционной печати.

...не только ничего не берут, но даже огорчаются, когда замечают... покушение на их бюрократическое целомудрие...— В конце 50-х годов некоторые либеральные чиновники сделали публичные заявления о том, что они не берут взяток (см., например, «СПб. ведомости», 1858, № 281 от 23 декабря; «Московские ведомости», 1859, № 260 от 1 ноября). Такие заявления неоднократно высмеивались в демократической печати (см., например, В. Курочкин, «Опыты гласного самовыхваления»; Добролюбов, «Наш демон»).

Стр. 240—241. *В прошлом году... я был уверен... необходимо... участие «четвертака»...*— См. стр. 13 наст. тома.

Стр 241 *...я вижу... мальчугана, который ведет за собою лошадку.*— Образ лошади, позволяющей себя запрягать или покорно выполняющей тяжелую работу, как символ пассивности и послушливости — «глупости» — масс, неоднократно используется Салтыковым (см. начало февральской хроники 1864 г. — стр. 258 наст. тома, сопоставление русской и немецкой лошади в гл. 1 «За рубежом», сказку «Коняга» и др.). Возможно, этот образ полемически перекликается с образом «смирной лошади» в статье Чернышевского «Не начало ли перемены?» (1861): «...ездит лошадь смирно и благоразумно — вдруг станет на дыбы или заржет и понесет...» (Н. Г. Черны-

шевский. Полн. собр. соч., т. VII, М. 1950, стр. 881). Салтыков, трезво оценивая сложившуюся общественную ситуацию, не верит, что в ближайшее время «лошадка» может «встать на дыбы».

Стр. 244. *...не бессудная же у нас земля...*— намек на цензуру и другие средства приведения литератора «к той точке, на которой ему быть надлежит...».

Стр. 245. *Вот как жили при Аскольде...*— слова песни Неизвестного из оперы А. Н. Верстовского «Аскольдова могила» (либретто М. Н. Загоскина); опера ставилась в Петербурге в сезон 1863/64 г.

Стр. 247. *Федька Козелков, Левушка Погонин* — персонажи цикла «Помпадуры и помпадурши». Первый — молодой послереформенный бюрократ, первоначально, в журнальном тексте, названный Федей Кротиковым, а затем Митей Козелковым. Имя Феди Кротикова присваивается другому помпадуру — «помпадуру борьбы».

Я... в Гижигинск! — Гижигинск — административный центр в Приморской области.

Стр. 248. *О, старые драбанты!* — Драбанты — телохранители, состоявшие при высших особах. У Салтыкова — дореформенные бюрократы и дворянско-помещичье общество (société), «стражи» существовавшего в стране «порядка вещей».

Стр. 252. *...в собрании г. Буслаева...*— Речь идет о сборнике «Русские пословицы и поговорки», М. 1854. Приводимая из этого сборника (стр. 161) пословица «Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан» была использована впоследствии Салтыковым как один из вариантов названия сказки «Вяленая вобла».

Здесь все тихо...— Образ «тишины» — одно из самых характерных для Салтыкова средств изображения общественной реакции (см., например, в «Письмах к тетеньке»).

Стр. 253. *...сошлюсь на старика Державина.*— В 1864 г. начинает выходить академическое издание сочинений Державина, подготовленное Я. К. Гротом. Реакционные публицисты воспользовались им как поводом для нападок на «новейших Катонов», якобы не уважающих прошлого (см., например, заметку М. Лонгинова «Важное приобретение литературы».— «Современная летопись», 1864, № 1, стр. 8—9).

...идилликами, вроде г. Громеки...— Характеристика хроникера «Отечественных записок» как идиллика имеет иронический характер: она намекает на постоянное стремление Громеки затушевывать темные стороны русской действительности.

«Сто русских литераторов» — название трехтомного альманаха, изданного в 1839—1845 гг. А. Ф. Смирдиным. Наряду с творениями крупнейших русских писателей, здесь было помещено много произведений писателей бездарных. Белинский резко осудил альманах, как образец литературы «торгового направления».

Что это была за жалкая, несчастная игра... кроме роли г. Линской...— Артистка Линская исполняла роль Василисы Перегриновны, Уланбекову иг-

рала Сабурова, Надю — Владимирова 1-я, Ниглигентова — Бурдин, Леонида — Нильский.

Стр. 254. *В этой диковинной опере...* — Опера «Фауст» — музыка Ш. Гуно, либретто Ж. Барбье и М. Карре,— поставленная в декабре 1863 г. на петербургской сцене итальянской труппой, вызвала весьма противоречивые отклики, от восторженных («Голос», 1864, №№ 1, 10 от 1 и 10 января) до весьма иронических («СПб. ведомости», 1864, № 10 от 14 января). Салтыков подошел к опере со стороны ее литературно-драматургического, а не музыкального содержания. С этой точки зрения он и осудил либретто оперы, как пример превращения «бессмертной поэмы» в пошлую мелодраму, приспособленную к низменным вкусам зрителей, как характерный признак «заметного понижения искусства» буржуазной Европы.

...уголовные обвинения... на петербургскую атмосферу... — Имеется в виду передовая № 281 «Московских ведомостей» от 25 декабря 1863 г., начинающаяся словами: «Вот что значит петербургская атмосфера!» Статья была наполнена грубыми выпадами против «нигилистов» и восставших поляков. В ней, между прочим, говорилось, что секретные документы похищаются из правительственных архивов и попадают в зарубежную печать (имелся в виду герценовский «Колокол»). Статья вызвала возражения даже на страницах либеральной печати (см. «Голос», 1864, № 1 от 1 января; «Московские ведомости», 1864, № 12 от 16 января).

...новое положение о губернских и уездных земских учреждениях... — подписанное 1 января 1864 г. и опубликованное в том же месяце. Согласно «положению», в губерниях и уездах учреждались земские комитеты, ведавшие местными делами, избираемые дворянством, купечеством и выборными от крестьян. Правительство и реакционно-либеральные круги стремились представить земство всесословным органом, выражающим интересы всего населения данной местности. На самом деле решающую роль в земстве играли помещики.

Стр. 255. *...«Московские ведомости»... легко с ним справятся.* — Салтыков полемизирует с редакционной статьей «Роман на берегах Невы» («Современная летопись», 1864, № 2). Автор статьи, видимо, Катков, заявлял, что «Современник» должен «питать самое нежное чувство к цензуре. Не ее ли существование дало, например, возможность... сделать эффектное объявление, в котором недостатки журнала объясняются стесненным положением нашей печати и дается понять, что при иных условиях этот обличающий, намекающий и свистящий орган петербургского прогресса заговорил бы другим языком... Представьте себе, что нет цензуры, и читатель пробегает хотя бы, например, куриозные страницы, помещенные в последнем номере «Современника» под заглавием «Наша общественная жизнь», он, конечно, ни минуты не затруднился бы сказать, что ровно никакого смысла нет ни в этом рассказе о каких-то шалунах, появляющихся, «когда начинается брожение в накопленных веками кучах хлама», и к числу которых причисляются Нерон, Калигула, какой-то исправник, вошедший в суд с собаками, и т. п.; ни в этих размышлениях о науке, от которой, по

словам каких-то молодых людей, ни на волос толку не оказалось и которая восемь тысяч лет (почему именно восемь?) мнет, мнет что-то и ничего не вымнет, ни в том таинственном указании на науку, которая утверждает, что земля стоит на трех рыбах; ни в этом «генерале», на трех страницах говорящем только: „Я скакать не хочу"» (стр. 12). Филиппика публициста «Современной летописи» была вызвана объявлением «Об издании «Современника» в 1864 году» (в составлении которого, вместе с Некрасовым, принимал участие, по-видимому, и Салтыков) и ноябрьской хроникой «Нашей общественной жизни». В объявлении, в частности, говорилось, что колебания и изменения в области цензуры не могли «не отразиться невыгодно на журналистике, а между прочим и на нашем журнале» («Современник», № 11; ср. Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. 12, М. 1953, стр. 206).

О спорах вокруг проекта нового цензурного устава и призывах изданий Каткова дать высказаться «нигилизму» см. в т. 5 наст. изд. статью «Несколько слов по поводу «Заметки...» и прим. к ней, а также стр. 222 наст. тома и прим. к ней.

Стр. 256. *...роль великодушного Баярда...*— то есть «рыцаря без страха и упрека» (по имени французского военачальника конца XV — начала XVI в., заслужившего такую репутацию). Издания Каткова нередко выступали с лицемерным осуждением «излишеств» предварительной цензуры, цензурных преследований революционных изданий, запрещения в 1862 г. «Современника» и «Русского слова» (например, в той же «Заметке» «Русского вестника», 1862, № 10, по поводу которой писал Салтыков,— см. т. 5 наст. изд., стр. 216 и сл.).

...образ убогого Лазаря...— См. прим. к стр. 18.

...грозит цензура аматерская...— то есть неофициальная, «любительская». Имеется в виду доносительный характер выступлений реакционной печати и полная невозможность возражать ей.

...суждений... о повести «Смелый шаг»...— Повесть Л. И. Мечникова (Леона Бранди) (*С*, 1863, № 11), рассказывающая об уходе молодой женщины от мужа-либерала к разночинцу, послужила поводом косвенных нападок автора «Современной летописи» на роман Чернышевского «Что делать?» — «обширную эпопею петербургских коммун» (стр. 12). Осуждая «безнравственность» повести Мечникова, автор статьи замечал: «Об одном лишь умалчивают певцы новой упрощенной нравственности: о детях» (стр. 13). Возможно, эти слова — отклик на статью «Как кому угодно» (см. наст. том, стр. 445).

...паскудные произведения легкого клубницизма, которыми... отравляет свою публику «Русский вестник».— Видимо, имеются в виду повести любовного содержания в «Русском вестнике» 1863 г. (например, Т. Толычова, Холостая жизнь, № 1; Е. Н. Толстой, Неудавшийся роман, №№ 9, 10; М. Сосногорова, Магдалина, №№ 6, 7).

<IX. Февраль 1864 года>

(Стр. 257)

Впервые — *С*, 1864, № 2, отд. «Современное обозрение», стр. 201—236 (ценз. разр.— 9 марта).

Сохранилась чистая корректура статьи, адресованная А. Н. Пыпину *(ИРЛИ)*, без обычной пометы о времени набора.

Журнальный текст отличается от корректурного отсутствием двух, подробно развиваемых, тем — о «земских повинностях» («На что уж, кажется, полезно <...> с возом соломы в Москву» — стр. 277, строка 14 — стр. 278, строка 9) и «соглядатайстве» («Во всяком случае <...> взгляд даже на неурядицу» — стр. 287, строки 21—37), а также несколькими менее значительными изъятиями и, главным образом, стилистической правкой. В *изд. 1933—1941* корректура не учтена.

Печатается по тексту «Современника» с устранением цензурных купюр по корректуре.

В февральской хронике Салтыков затрагивает ряд вопросов, связанных с его раздумьями о народе, о положении пореформенной деревни. Писатель вновь обращается к проблемам, которые летом предыдущего года были намечены им в очерке «В деревне» (см. наст. том, стр. 446 и след.) и которые позднее лягут в основу его циклов «Благонамеренные речи», «Убежище Монрепо» и др. Он сам ссылается (стр. 266) на очерк «В деревне», как на предшествующий февральской хронике. Непосредственно в хронике отразились впечатления от поездки в Витенево (как установлено С. А. Макашиным, Салтыков ездил туда в конце января — начале февраля 1864 г.). Наблюдения писателя над «мужичьей» экономикой и бытом во многом восходят к Витеневу и хозяйствованию там Салтыкова. Об этом неоднократно упоминается в хронике: «Подмосковные крестьяне (речь идет о них)», «Возьму местность в 30 верстах от Москвы», «опять-таки говорю о подмосковной местности» и др.

Хроника направлена и против реакционно-либеральной идеализации крестьянской реформы, и против попыток крепостников изобразить ее как неоправданное ущемление интересов помещиков, и против всякой недооценки народа, пренебрежительного отношения к нему. Салтыков прекрасно знает «мужицкое житье», все «подробности мужицкого быта», напоминающие ад («это просто ад»). Он вновь показывает всю несостоятельность слащавой идеализации крестьянской жизни в «отводящих глаза» произведениях славянофилов. В хронике сказывается демократизм позиции Салтыкова, ставящего себя для получения ответов на запросы современной действительности и будущего в положение мужика. Салтыков утверждает, что, рассуждая о народе, «нет никакой надобности ни умиляться, ни приседать, ни впадать в меланхолию». В то же время в хронике звучит в трагическом ключе тема пассивности и темноты масс, неподготовленности их к борьбе за собственные интересы. В глубоко драматических поисках

выхода из все продолжающегося сна и неподвижности масс Салтыков не раз шел на торжественное провозглашение своих символов веры в народ, как первооснову всей исторической жизни. Такого рода высказывания имеются и в данной хронике, но они не только не снимают трагизма, но, напротив того, углубляют его.

Значительное место занимают в «хронике» рассуждения об «идиллии будущего», «о привлекательности труда» («travail attrayant» — термин Шарля Фурье). В них отразилась полемика с «Русским словом», с Писаревым. Слова «Городищенского»: «...труд должен быть привлекателен...» — возможно, намекают на утверждения Писарева, высказанные в статье «Очерки по истории труда»: «Надо, чтобы труд был приятен...» («Русское слово», 1863, № 11—12; Д. И. Писарев. Соч. в 4-х томах, т. 2, стр. 330. Аналогичные высказывания см. в «Русском слове», 1863, № 7, отд. «Домашняя летопись», стр. 40; № 9, стр. 6). Полемическим откликом на взгляды «Русского слова» являются и дальнейшие мысли «Городищенского» о желательности «совсем эманципироваться от труда физического», об успехах «естествознания, технологии, механики...». Но значение подобных рассуждений шире полемики Салтыкова с «Русским словом». Они — одна из постоянных, начиная с 40-х годов, с «Запутанного дела», граней критических и даже скептических раздумий Салтыкова об отдаленности от русской действительности идей утопических социалистов Запада и их русских «последователей», начиная от петрашевцев и до Чернышевского с его «четвертым сном» Веры Павловны. Салтыков считает, что народу нет никакого дела до абстрактных теорий о счастливом будущем человечества, что такие теории не могут улучшить современную участь масс, что с мужиком «было бы очень трудно сговориться и насчет привлекательности труда, несмотря на то, что теория эта, очевидно, построена в его пользах». С другой стороны, не только «Городищенский», но и сам Салтыков ставил общественные формы будущего и «эманципацию от труда физического» в зависимость от прогресса наук и техники (см. приложение «Русская правда» к письму к Б. И. Утину от 28 апреля 1862 г., т. 18 наст. изд.). Таким образом, в рассуждениях Салтыкова отразилась обычная для него сложная амальгама критики (в том числе в адрес Чернышевского) и самокритики с изложением своих позитивных взглядов. Эти рассуждения — одна из разбросанных по множеству страниц Салтыкова крупиц материала, необходимого для характеристики его отношения к формулировкам общественного идеала будущего в современных ему социалистических учениях.

Говорит Салтыков в хронике и о «тонких обстоятельствах помещиков», об их экономике и психологии в первые послереформенные годы. Затрагивает он и тему «общения с народом», иронизируя над славянофильско-почвеннической «тоскою по почве», «мечтами о всевозможных сближениях». В разработке этой темы очевидны и самокритично-иронические ноты по поводу дани, которую отдал этим «мечтаниям» и сам Салтыков (см. наст. изд., прим. к «Губернским очеркам», т. 2, стр. 495, 526—527,

статью «Где истинные интересы дворянства?» и прим. к ней, т. 5, стр. 131), подвергший затем резкой критике идею сближения сословий в «Глуповском распутстве» (см. т. 4 наст. изд., а также наст. том, стр. 589).

Стр. 257. *...«хижинами бедными, богом хранимыми»...*— См. прим. к стр. 65.

...юридические вопли московских публицистов...— Вероятно, Салтыков намекает на статьи, в которых утверждалось, что Положение о крестьянской реформе поставило помещиков в крайне неблагоприятные юридические условия по отношению к наемной рабочей силе (см., например, А. Фет, «Заметки о вольнонаемном труде».— «Русский вестник», 1862, № 3, 5; его же, «Из деревни», там же, 1863, № 1, 3).

...«музыку будущего»...— так называли музыку Р. Вагнера, о которой, в связи с гастролями композитора в 1863 г. в Петербурге, велись ожесточенные споры (см., например, «Голос», 1863, №№ 47, 53, 59, 71 от 24 февраля, 3, 10 и 24 марта; «Искра», 1863, №№ 10, 12, 13).

Стр. 258. *Лошадь животное глупое и легковерное.*— См. прим. к стр. 241.

Стр. 260. *...они не без задней мысли так действуют.*— Описывая мечтания «путника», готового допустить, что реакционные вопли катковской печати не более как «военная хитрость», имеющая целью втереться в доверие к власти, а затем «подпустить кулеврину» (кулеврина — старинная пушка), то есть взорвать самодержавие изнутри, Салтыков иронизирует над «прекраснодушием» либералов, способных «оправдать» любое действие реакции («дряни») или «придать ей какие-нибудь благовидные формы».

...пострадали от них... невинные литературные птицы...— Имеются в виду нападки К. Петерсона на журнал «Время» за статью Н. Страхова о польском восстании, в сущности весьма благонамеренную, вызвавшие запрещение журнала (см. прим. к стр. 124).

В роще поживали, смирно толковали...— См. стр. 44—45 наст. тома.

Карней — персонаж очерка Н. Успенского «Бобыль». Салтыков имеет в виду претензии редакции журнала «Время» стать над партиями, стремление ее осуждать «крайности» и реакционеров и революционеров.

...опаснее всякого врага...— неточная цитата из басни Крылова «Пустынник и медведь» («Услужливый дурак опаснее врага»).

Стр. 261. *Людовик XVI... очень искусный слесарь.*— Возможно, Салтыков имеет в виду рассуждения Писарева о Людовике XVI: «Людовик был честным человеком и хорошим слесарем» (см. «Исторические эскизы».— «Русское слово», 1864, № 1, стр. 46).

Стр. 263. *...любоваться чистопсовым эпосом, созидаемым фантазией г-жи Кохановской...*— В рецензии на повести Кохановской (*С*, 1863, № 9), отмечая ошибочность славянофильской концепции их автора, Салтыков отнесся к ним сравнительно сочувственно (см. т. 5 наст. изд.). Изменение оценки, видимо, связано с появлением новых произведений Кохановской, опубликованных в середине 1863 — начале 1864 г. в газете «День» («Из

хутора» — 1863, № 22 от 1 июня, стр. 6—7; «Федосий Саввич Рой» — 1864, № 5 от 1 февраля, стр. 5—9 и др.). В первом из них, например, содержатся грубые антипольские выпады, в слащаво-идеализированных тонах изображаются отношения, якобы существующие между помещиками и крестьянами после реформы: им будто бы ранее «подчас было вместе тошно», «но когда эти люди разошлись», они заметили, что «их тянет друг к другу, что вражды между ними никакой нет», «худое позабылось, а хорошее все припомнилось» и т. д.

...вроде «Года русского земледельца» г. В. Селиванова... — «Год русского земледельца» печатался в «Русской беседе» (1856, №№ 2, 4; 1857, №№ 3, 4). Отрывок, цитируемый ниже Салтыковым, см. 1857, № 4, стр. 111—113.

Стр. 265. *...создать такую статистику... от которой отдавало бы запахом трудового человеческого пота.* — От «статистики» Салтыкова тянутся нити к изображению крестьянской жизни Глебом Успенским («Крестьянин и крестьянский труд», «Четверть лошади». См. Р. Иванов-Разумник. М. Е. Салтыков-Щедрин, М. 1930, ч. 1, стр. 315—316; Е. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1957, стр. 163).

Стр. 268. *Пища русского мужика не роскошная, но и не сытная.* — Ироническая перефразировка ходячего выражения о простой, но сытной пище простолюдинов, неоднократно встречавшегося в литературе, идеализировавшей народный быт.

Стр. 271. *...разматывают бумагу* — то есть хлопчатобумажную пряжу. *Хожалые* — полицейские надзиратели.

Стр. 272. *«Милан», «Крым»* — названия трактиров. *На Спиридоновке* помещалась редакция славянофильского «Дня», *на Страстном бульваре* — редакции катковских изданий. *...юридическо-сиккофантское...* — См. прим. к стр. 92.

Стр. 275. *...под калугами...* — под болотами (тверское).

Стр. 277. *...танцующих у Ефремова...* — в популярном петербургском кафешантане Ефремова.

...новые земские учреждения... — См. прим. к стр. 254.

Стр. 279. *...надворного советника и кавалера Б***.* — Имеется в виду преподаватель агрономии, заведующий показательным хутором Московского общества сельского хозяйства, автор ряда сельскохозяйственных руководств А. М. Баженов. Из его книги «Опыты земледелия вольнонаемным трудом» (СПб. 1861, стр. 185) заимствовал Салтыков и кличку коровы «Разиня». Руководства Баженова получили широкое распространение. Пользовался ими, как сельский хозяин, в своем Витеневе и сам Салтыков. В его произведениях эти руководства упоминаются неоднократно (например, в «Убежище Монрепо»).

...принесла теленка об двух снастях... — то есть двуполого, гермафродита.

Стр. 280. *...валтазарово пиршество... мани-текел-фарес* (исчислен, взвешен, разделен — *арамейск.*). — По библейской легенде, эти слова, предве-

щающие гибель вавилонского царя Валтасара и его царства, появились на стене во время пира.

Стр. 281. *Выкупные свидетельства* — процентные бумаги, выданные правительством помещикам после реформы. По этим свидетельствам постепенно выплачивались выкупные суммы, взыскиваемые с крестьян за отведенную им землю.

...идеями тверскими увлекался... — См. т. 4 наст. изд., стр. 589, а также наст. том, прим. к стр. 69.

...ничего бы этого не было... — то есть не было бы крестьянской реформы.

Стр. 282. *Расписывают это, расписывают...* — Имеются в виду статьи в «Московских ведомостях» о роли послереформенного дворянства, об участии его в земских учреждениях (см., например, 1863, №№ 138, 140, 143, 162, 205, 208 от 25 и 27 июня, 2 и 25 июля, 21 и 25 сентября).

Я нынче для людской «Русские ведомости» выписываю... становой пристав очень рекомендовал... — «Русские ведомости» были основаны осенью 1863 г. Н. Ф. Павловым, как «газета для народа». Издание имело официозный характер, субсидировалось правительством и при его помощи рассылалось «во все волости государственных крестьян» (см. Б. Н. Чичерин. Воспоминания, т. I, М. 1929, стр. 118).

Стр. 285. *...утописты вольнонаемного труда, утописты плодопеременных хозяйств...* — Утопические рассуждения подобного рода см., например, в упоминавшейся выше книге Баженова.

...г. Фет так воззрился на крестьянских гусей... — См. наст. том, стр. 60.

Стр. 288. *...повесть начинающего писателя...* — Речь идет об «антинигилистическом» романе В. П. Клюшникова «Марево», который, как и другие произведения подобного рода, был полон доносительных намеков. Их Салтыков расценивает как «соглядатайский элемент» в литературе. К роману Клюшникова Салтыков возвращается в следующей хронике.

«Петербургские театры». — См. эту статью Салтыкова в т. 5 наст. изд.

<X. Март 1864 года>

(Стр. 290)

Впервые — *С*, 1864, № 3, отд. «Современное обозрение», стр. 27—62 (ценз. разр.— 17 марта и 10 апреля).

Сохранились: 1) цензорские гранки начала и конца статьи (первая «форма» от слов «На свете не всё же мальчишки...», стр. 290, строка 4 и кончая словами «С самого ранне», стр. 297, строка 6; последняя, шестая «форма» от слов «на молодое поколение, как и на», стр. 326, строка 12 и кончая словами «...господа вислоухие и юродствующие?», стр. 329, строки 25—26), набранные 23 и 27 марта и разрешенные со значительными купюрами и изменениями цензором Еленевым 25 и 27 марта *(ЦГАЛИ)*; 2) авторские гранки середины статьи (со второй по пятую «формы» от слов «го детства он не знал...», стр. 297, строка 6 и кончая словами «...хо-

рошо понимаю, что взгляд», стр. 326, строка 12), набиравшиеся, по-видимому, с 24 по 26 марта (вторая форма датирована 24 марта) и испещренные правкой Салтыкова *(ЦГАЛИ)*;[1] 3) большая часть (четыре «формы») чистой корректуры этого же набора, кончая словами «...к своему герою очень», стр. 318, строка 40), адресованная А. Н. Пыпину *(ИРЛИ)*.

В настоящем издании статья печатается по тексту гранок с устранением цензурных купюр и изменений и учетом дополнительной работы Салтыкова, отраженной в авторских гранках и журнальной публикации.

Наряду со стилистической правкой и устранением опечаток, в авторской корректуре имеются вычеркивания и замены явно цензурного происхождения, и сделаны они самим Салтыковым (исключена, например, фраза о петербургских пожарах — стр. 302, строки 20—21).

Все окончание статьи — от слов: «Но это презрение к практической деятельности» и до: «Скоро ли поймут эту истину господа вислоухие и юродствующие?» (стр. 326, строка 38 — стр. 329, строки 25—26) — заменено в «Современнике» следующим кратким заключением:

> Вот это-то именно и имел я в виду, когда упоминал о «чаше». Впрочем, это такой предмет, о котором кратко говорить нельзя, а потому я предпочитаю отложить мою беседу до более удобного времени.

Этой проблематике («протест своими боками», «презрение к практической деятельности») и посвящена следующая (не увидевшая свет) апрельская хроника, в которой использовано, иногда и текстуально, окончание мартовской. Включенная в статью часть текста (от слов «Воображаю я себе...», стр. 250, строка 14 и кончая словами «...необходимыми ударениями», стр. 251, строка 14) была запрещена цензурой в январской хронике 1864 г. Однако причиной непоявления окончания мартовской хроники в печати был, по-видимому, не цензурный запрет, а внутриредакционные трения. В сохранившейся цензорской корректуре отмечены красным лишь три места окончания: 1) «сверх того, в своем настоящем практическом развитии <...> своего собственного бессилия»; 2) «сражаться против которой <...> своими собственными средствами»; 3) «и кроме окончательного торжества тех темных сил, которые и без того торжествуют не мало».

Перечень главнейших мест, не появившихся в «Современнике» в результате вмешательства цензора (кроме указанных выше):

Стр. 290, строка 15 — стр. 291, строка 8: «Хотя «мальчики» не со вчерашнего дня <...> бывало когда-нибудь видано?»

Стр. 291, строки 24—35: «Я рассуждал бы так <...> простил бы даже «мальчишкам»...»

Стр. 292, строки 13—22: «Да, я был неправ! <...> беспорядочном и бессильном виде!»

Стр. 292, строка 28 — стр. 296, строка 26: «Разве они не дети <...> я попытаюсь...»

Стр. 300, строки 35—39: «и продолжалось оно <...> положило таковому конец».

---

[1] В *изд. 1933—1941* (т. 6, стр. 565) авторская часть корректуры также сочтена, ошибочно, цензорской.

Стр. 311, строка 22: «проклятая система, это целая проклятая каста».
Стр. 313, строки 17—19: «которая дотоле <...> условия жизни».
Стр. 313, строки 22—41: «потому что мысль, в своем развитии <...> очень было похоже на безделье».

Мартовская хроника, в основном, посвящена вопросу о «мальчиках», противопоставляемых «мальчишкам» и «нигилистам». «Мальчики» — это очень емкий образ всех и всяческих молодых сил реакции и консерватизма, в том числе новых «деятелей», «молодых драбантов», представителей послереформенной администрации. Они, по Салтыкову,— «особенное молодое поколение», стремящееся «насильственно остановить развитие действительно живых сил общества», задержать общество «на тех битых колеях, из которых оно давно рвется выбиться». «Мальчики» тесно связаны со старым порядком вещей, надоевшей всем «яичницей», которая выступает как символ дореформенного самодержавно-крепостнического устройства. Писатель подчеркивает, что и после реформы основы этого устройства не изменились, что «яичница» осталась той же, а «местами даже и попротухла», что ее лишь немного подправили, придав ей другую видимость. «Мальчики», по мнению Салтыкова, «не со вчерашнего дня завелись на Руси», «нов не факт... ново его положение». Новым является то, что они пришли к власти, сменили старых «деятелей». Отстаивая старую «яичницу», «мальчики» стремятся представить ее так, «чтоб издали казалось как будто нечто новое». Их работа «безнравственная», «не умная», «напрасная», «но это не мешает ей быть... в высшей степени вредною». Салтыков утверждает, что «мальчики», задумавшие подправить «яичницу»,— «мразь», а не «общественные деятели», что они более опасны и мерзки, чем «старые драбанты» (см. прим. к стр. 248).

Большое значение имеет в хронике и сама антитеза «мальчиков» и «мальчишек», связанная с раздумьями, определяющими, в сущности, всю проблематику мартовской хроники о «силах» и «деятелях» «исторического момента, когда разрозненные общественные стихии ищут опознаться и организоваться» (стр. 304).

Важное место занимает в хронике и защита новых людей, «молодого поколения» от нападок реакции, критика антинигилистической литературы.

Продолжается и полемика с «Русским словом». В № 2 этого журнала за 1864 г. были опубликованы статьи «Глуповцы, попавшие в „Современник"» В. Зайцева и «Цветы невинного юмора» Д. Писарева. Первая из них являлась прямым откликом на январскую хронику «Современника», вторая — по меньшей мере учитывала ее; редакция «Современника» обвинялась здесь в отходе от революционных традиций, Салтыков — в нападках на молодое поколение, в глумлении над романом «Что делать?», произведения сатирика отождествлялись с «чистым искусством». Продолжалась полемика с «Современником» и по другим вопросам принципиального характера. В статье Писарева вновь подчеркивалась основополагающая роль естественных наук, значение популяризации их, утверждалось, что *«скромное* изучение химических сил и органической клеточки составляет такую

двигательную силу общественного прогресса, которая... должна подчинить себе и переработать по-своему все остальные силы»[1]. В статье П. Бибикова «Границы положительного знания» также говорилось, что лишь распространение «истин положительных», выводов естественных наук, может привести к «всеобщему возрождению»[2].

Ответом на выступления «Русского слова» явились рассуждения Салтыкова в мартовской хронике о «вислоухих и юродствующих», действия которых, по мнению писателя, служат на руку реакции, подрывая авторитет демократических идей, доводя их до абсурда, компрометируя их. Салтыков также счел необходимым разъяснить, в связи с обвинениями Зайцева, свое отношение к Чернышевскому, его роману, утопическому социализму, демократической молодежи. В то же время образы «вислоухих и юродствующих» отнюдь не сводились целиком к сатирическому изображению сотрудников «Русского слова». Как всегда у Салтыкова, эти образы отличаются большой емкостью содержания, широтой обобщения. Их характеристика начинается словами: «Всякая партия, всякое дело имеет своих enfants terribles...» Детализирующие признаки, которыми Салтыков наделяет «вислоухих»,— непомерное их «честолюбие», «нечистоплотность», принципиальная их непричастность к «практической деятельности»,— во многом напоминают обвинения Герцена в адрес «молодой эмиграции»[3]. Все это выводит изображение «юродствующих» и «вислоухих» за рамки сатиры на определенных лиц.

Отвергая решения, предлагаемые «вислоухими», Салтыков в мартовской хронике пытается наметить пути борьбы за осуществление общественного идеала. Он считает, что в условиях, когда нет надежд на близкое революционное переустройство, нужно действовать, трезво оценивая обстановку, используя всякую возможность усиления борьбы (рассуждения о тюкалинском городничем и белебеевском исправнике). Эти рассуждения определялись отнюдь не склонностью Салтыкова к либеральным иллюзиям, а пониманием, очень трезвым и верным, того, что всякая безнародная деятельность, имеющая в виду коренное преобразование жизни масс, обречена на провал, а «народ», «массы», тогдашнее крестьянство не способны на той исторической ступени, в той исторической ситуации стать подлинными обновителями «обветшавшего мира».

Стр. 291. *...mensa, mensis, mensorum, o mens'e* — нарочито ошибочное склонение латинского слова «стол».

Кроличков.— См. прим. к стр. 235.

Стр. 291—292. *С каким легкомыслием поражал я тебя, о добродушное, развеселое российское меренье!.. Да, я был неправ!* — ироническое quasi-

---

[1] Д. И. Писарев. Соч. в 4-х томах, т. 2, стр. 362. Подчеркнуто мною.— *П. Р.*

[2] «Русское слово», 1864, № 2, стр. 25.

[3] См., например, публикации об отношении Герцена и Огарева к «молодой эмиграции».— *ЛН*, тт. 41—42, 62 и 63.

самоосуждение Салтыкова по поводу сатирической галереи «старых драбантов», выведенных им в «Губернских очерках» и в серии рассказов незавершенной «Книги об умирающих» (см. тт. 2 и 3 наст. изд.).

Стр. 296. *Вася Чубиков...* — Сатирическая биография Васи — история эволюции «молодого драбанта» от либеральных фраз к неприкрытой реакционности. К этой теме Салтыков обращается неоднократно (см., например, цикл «Помпадуры и помпадурши»). В. Зайцев использовал форму такой сатирической биографии для создания памфлета на Салтыкова (описание жизни Яши Злючкина, «Русское слово», 1863, № 4).

...солнце не померкло от стыда... завеса не разодралась... — перифраза из евангельского рассказа о смерти Иисуса Христа (Марк, XV, 33—38).

Стр. 298. *...какое-то очень милое заведение...* — Характеристика «заведения» построена на сатирически обобщенных воспоминаниях Салтыкова о своем обучении и воспитании в Царскосельском лицее (см. С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, изд. 2, М. 1951, гл. «В Царскосельском лицее»).

Стр. 300. *...о необходимости уничтожения инспекторского департамента гражданского ведомства...* — Этот департамент министерства внутренних дел, ведавший личным составом гражданских чинов, был упразднен в 1858 г. То, что Вася — сторонник его уничтожения, должно подчеркнуть и склонность Чубикова к либеральным административным реформам, и ничтожность этих реформ.

Стр. 301. *...открывать танцевальные и увеселительные заведения...* — В конце 50-х годов в Петербурге и провинции прокатилась волна увлечения канканом. Был открыт ряд танцклассов, кафешантанов (Ефремова, Излера, Замок цветов и др.), регулярно устраивались платные танцевальные вечера (описание их см., например, в «Голосе», 1863, № 36 от 10 февраля). Салтыков иронизирует над «либерализмом» администрации, не простиравшимся далее свободы канканировать.

Стр. 302. *1862 год совершил многое...* — Этот год был переломным в истории демократического движения 60-х годов и знаменовал новый этап в наступлении реакции (использование петербургских пожаров для антинигилистической травли, прекращение на восемь месяцев «Современника» и «Русского слова», арест Чернышевского, Писарева и т. д.).

Стр. 303. *...Омар и гомар...* — Видимо, речь идет о разнице между Омаром, арабским халифом VII в., и омарами (homards), которыми привык лакомиться Вася и которые ему хорошо знакомы.

...bureaucratie и земство — одно и то же... — Вопрос об отношении администрации (bureaucratie) и земства — видный вопрос эпохи, оживленно обсуждавшийся в печати (см., например, прим. к стр. 209). Может быть, Салтыков отчасти пародирует собственные статьи, опубликованные в 1861 г. в «Современной летописи» и «Московских ведомостях» (см. т. 5 наст. изд.), в которых, хотя и не в такой наивно-оголенной форме, высказывались мысли, перекликающиеся с утверждениями Васи (см. Р. Иванов-Разумник. М. Е. Салтыков-Щедрин, М. 1930, стр. 317—318).

...эта история с гласными...— В «Московских ведомостях» (1864, № 10 от 14 января) была напечатана заметка, в которой рассматривался вопрос о мировых учреждениях и земском самоуправлении. В ней указывалось на недостатки, с точки зрения редакции, в работе Московской распорядительной думы. Между группой гласных-дворян, обиженных заметкой, и редакторами «Московских ведомостей» возникла длительная перепалка, закончившаяся дуэлью между П. М. Леонтьевым и С. Н. Гончаровым — старшиною гласных-дворян Московской думы. «Вася» не склонен одобрять действия Каткова, справедливо полагая, что конечные цели у спорящих сторон одни и те же, что никакого «разлада» между ними нет.

...о прошлогодних поджигателях...— См. прим. к стр. 19 наст. тома. Неясно, почему Салтыков говорит в 1864 г. о событиях 1862 г. как о «прошлогодних», случайная ли здесь ошибка или данный фрагмент перешел из какого-то текста, писавшегося еще в 1863 г.

Стр. 306. *...могу сегодня думать так, а завтра могу думать не так.*— Речь идет о слабости, о нестойкости убеждений русского либерализма, что фатально сближало его с силами реакции. Насмешка над «дипломатическими» способностями «Васи» косвенно затрагивала и Каткова, который в статье «К какой принадлежим мы партии?» («Русский вестник», 1862, № 2) пытался обосновать правомерность изменения своих взглядов от умеренного либерализма к открытой реакционности. Ниже, приводя слова «Васи» о том, что его мысли «все-таки принадлежат к одной категории», Салтыков утверждает, что и «либеральничанье» «мальчиков», и их открытая реакционность мало отличаются друг от друга.

Стр. 307. *Мальтретировать* — грубо обращаться *(франц.*— maltraiter).

Стр. 310. *Саша Клаверов* — герой пьесы Салтыкова «Тени», молодой, преуспевающий чиновник (см. т. 4 наст. изд.).

...в итальянскую оперу...— спектакли итальянской оперы в Мариинском театре посещались «верхами» столичного общества. *...в ихнюю Александрию...*— то есть в Александринский драматический театр, который считался театром более демократическим, «для публики менее требовательной» («Голос», 1863, № 1 от 1 января).

Стр. 311. *...солидарность и дисциплина.*— У «мальчиков» нет другой идеи, кроме идеи «касты». Пропагандой этой идеи главенствующей роли дворянства, «первенствующего сословия» в государстве, занималась вся реакционная печать. Рьяным проповедником ее выступал Б. Н. Чичерин.

Стр. 315. *...туман, против которого... хотя и с противоположной стороны, гремят московские публицисты.*— Реакционные публицисты неоднократно утверждали, что революционная идеология пользуется популярностью лишь оттого, что она не может высказаться открыто (см. прим. к стр. 222 и 255). Салтыков подчеркивает, что на самом деле реакционеры вовсе не заинтересованы в «рассеянии тумана», в выяснении подлинной сущности революционной идеологии.

Образовалась целая литература...— Речь идет об «антинигилистических» романах, в пасквильных тонах изображавших революционное дви-

жение (например: А. Ф. Писемский, «Взбаламученное море»; В. Клюшников, «Марево»).

...настоящего всероссийского нигилизма...— Революционные демократы нередко переадресовывали кличку «нигилист» своим противникам. Так, Зайцев в статье «Белинский и Добролюбов» утверждал, что Дружинин, Григорович, «выкликая против отрицательного направления, в сущности самые отчаянные нигилисты» («Русское слово», 1864, № 1, стр. 61). Салтыков в рецензии на «Гражданский брак» Н. И. Чернявского также говорит о «нигилизме положительном», «нигилизме несомневающемся» писателей необулгаринской школы (см. т. 9 наст. изд.).

...с своею лепточкой...— Имеются в виду отрывки из романа Григоровича «Два генерала» («Русский вестник», 1864, №№ 1, 2).

Для примера возьму недавно появившийся роман «Марево»...— Роман В. П. Клюшникова «Марево» печатался в «Русском вестнике» (1864, № 1 и следующие). С анализом «Марева» как «антинигилистического» романа выступили после Салтыкова Д. Писарев (Сердитое бессилие.— «Русское слово», 1865, № 2), А. Скабичевский (Русское недомыслие.— *ОЗ*, 1868) и др.

Стр. 316. *...нельзя с презрением обходить действительность...*— Решительно отвергая точку зрения Русановых,— отрицание общественного протеста, «права возмущаться действительностью»,— Салтыков одновременно осуждает и презрительное отношение к действительности, характерное, по его мнению, для сторонников «Русского слова».

...гимназических и кадетских протестов...— В «антинигилистических романах революционное движение нередко изображалось в виде выходок испорченных, сбитых с пути гимназистов (например, в «Мареве» — образ Коли Горобца).

...в виде темной интриги, всецело зиждущейся на тех же самых основаниях, которыми проникнута и столь любезная ему действительность.— В «антинигилистических» произведениях действия революционеров нередко изображались как инспирированные агентами «польской интриги», которые любыми подлыми средствами шли к осуществлению своих сепаратистских, враждебных народу, шляхетно-аристократических целей. Салтыков подчеркивает, что те темные начала, с которыми обычно связывали «польскую интригу», характерны скорее для действий русских реакционных сил и правительства.

Стр. 318. *...теорию искусства для искусства... как ее проповедовал не Белинский... его последователи.*— Истолкование Белинского как проповедника теории «искусства для искусства» встречалось в начале 60-х годов не только среди будто бы «последователей» критика, сторонников «эстетической критики», но и в «Русском слове», например, в статье Зайцева «Белинский и Добролюбов» (1864, № 1). Утверждения Салтыкова, что для Белинского эта теория «служила только поводом», были направлены и против «эстетической критики», и против положений Зайцева. Следует учесть и то, что Салтыков поправляет здесь, отчасти, свою собственную форму-

лировку в статье 1856 г. о Кольцове: Майков и Белинский «дают искусству область, находящуюся вне действительного мира и, следовательно, фантастическую. Белинский идет далее...» и т. д. (см. т. 5 наст. изд., стр 8).

Стр. 319. *...«по всем по трем»...* — Это выражение, характеризующее действия реакции, отказавшейся от «уразумления инакомыслящих», перешедшей к прямому подавлению их, видимо, цитата из «Искры». Там (1863, № 2) помещена карикатура «Публицист и современные вопросы». На ней изображен реакционный публицист, вероятно Скарятин, восклицающий: «Катай по всем по трем». Слова взяты из народной песни на слова Ф. Н. Глинки «Вот мчится тройка удалая...».

Стр. 320. *...лекции профессора Юркевича...* — Имеются в виду публичные лекции, направленные против материализма, которые П. Д. Юркевич читал в начале 1863 г. в Москве. О лекциях Юркевича Салтыков писал в заметке «Неблаговонный анекдот о г. Юркевиче» (см. т. 5 наст. изд.).

Стр. 320—321. *Басардин* — персонаж из романа Писемского «Взбаламученное море», *гимназист Горобец* — из романа Клюшникова «Марево», *Кукшина* — из романа Тургенева «Отцы и дети». Всех их Салтыков воспринимает как карикатуры на представителей революционной молодежи.

Стр. 321. *...разбирательство причин, почему нет и не может быть этого отпора...* — Речь идет о цензурных препятствиях, обеспечивающих безнаказанность реакционной печати.

Стр. 322. *...признать воришку Басардина ...болтуна Базарова.* — Имеется в виду положительная оценка Писаревым образа Базарова. Об отношении Салтыкова к Базарову см. в статье «Петербургские театры» (т. 5 наст. изд., стр. 168 и прим. к ней), в январско-февральской и майской хрониках за 1863 г. (наст. том, стр. 15—16, 107—109). Героев «Взбаламученного моря» «Русское слово» «прогрессистами» никогда не признавало. Более того, в статье В. Зайцева о романе Писемского «Взбаламученный романист» (1863, № 10) нарисованные писателем карикатуры на новых людей противопоставлялись Базарову.

...стали доказывать, что я всегда был такой... — Имеется в виду направленная против Салтыкова, хотя и не названного по имени, тирада Зайцева из статьи «Глуповцы, попавшие в „Современник"»: «...целый год, например, милый фельетонист «Современника» носил костюмы Добролюбова, прежде чем решился предстать перед публикой в своем собственном рубище. А между тем костюм этот давно уже тяготил его, потому что был слишком велик для него, давно уже путался он в его складках, спотыкался и едва не ронял его, обнаруживая при этом то светлую пуговицу, то красивое золотое шитье своего сановнического мундира. Но целый год упорный фельетонист не решался расстаться с этим костюмом и тщательно припрятывал выдающее его шитье. Теперь, наконец, он является нам тем, чем он есть на самом деле. Мы смотрим на него и говорим: да, это о н, тот самый, который «благоденствовал в Твери и Рязани» <намек на вице-губернаторство Салтыкова в этих городах> и который с тех пор в продолжение целого

года представлял собою величественное зрелище будирующего сановника» («Русское слово», 1864, № 2, стр. 34—35).

Стр. 323. *В позапрошлом году пущено было в ход слово «нигилизм»...*— См. прим. к стр. 20.

..*стремления молодого поколения, в которых можно... различить всякого рода «измы», но отнюдь не нигилизм.*— Речь идет о материа*лизме* и социа*лизме*, об одушевленности молодого поколения верой в большие общественные идеалы.

...*из бессмыслицы сделали себе знамя...*— то есть поставили на своем знамени слово «нигилизм», не имеющее смысла.

Стр. 324. ...*вислоухие... обходят существенное содержание романа и приударяют насчет подробностей...*— Объясняя свое отношение к роману «Что делать?» и в данной хронике и в статье «Гг. „Семейству М. М. Достоевского", издающему журнал „Эпоха"» (см. наст. том, стр. 527), Салтыков, возражая Зайцеву, настойчиво подчеркивает свою солидарность с «существенным содержанием романа» (см. также прим. к стр. 232). Сатирик иронизирует над «вислоухими и юродствующими», не понявшими главного и ухватившимися за подробности. Содержание «Русского слова» 1863 — начала 1864 г. не дает прямых оснований для подобных обвинений. В журнале в то время встречаются лишь отдельные упоминания романа, свидетельствующие об общем сочувственном его восприятии (см., например, 1863, «Дневник темного человека», №№ 3, 11—12; «Перлы и адаманты...», № 4; «Домашняя летопись», № 8). И все же обвинения Салтыкова не были безосновательными. Ответом на них, видимо, явились рассуждения Писарева в статье «Реалисты» (см. Е. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1957, стр. 196—197). Писарев принял замечание сатирика о «произвольной регламентации подробностей» и по существу согласился с ним. Но он осудил скептическое отношение Салтыкова к таким «подробностям», считая его оскорблением великих социалистов-утопистов (Д. И. Писарев. Соч. в 4-х томах, т. 3, стр. 87—88). Замечания Писарева были бы целиком верны, если бы речь шла об отношении Салтыкова к Чернышевскому. Но ведь Салтыков настойчиво подчеркивал, что речь идет «отнюдь не о самом романе, а об известном на него взгляде и о тех поучениях, которые, под влиянием этого взгляда, из него извлекаются» (стр. 527). В этом случае обвинения Писарева в значительной степени били мимо цели. Скептическое отношение к «подробностям» будущего, как они излагались в учениях утопического социализма, сохранилось у Салтыкова и впоследствии (см. в т. 16 наст. изд. «Мелочи жизни», Введение, V, и в т. 19 — письмо к Е. И. Утину от 2 января 1886 г.).

...*теория страстей... плодотворная концепция гармонического воспитания...*— См. прим. к очерку «Как кому угодно», стр. 683, 686—687 наст. тома. Именно «теория страстей» и «концепция гармонического воспитания» представлялись Салтыкову наиболее ценными сторонами учения Фурье.

...*anti-lions и anti-réquins... когорты мальчиков... предающихся очищению отхожих мест...*— Согласно сложным религиозно-космогоническим

рассуждениям Фурье, в гармоническом обществе должна измениться и природа: вредные, хищные звери исчезнут, возникнут новые животные, полезные для человека — анти-львы, анти-тигры, анти-акулы и др. Фурье намечает даже, что будет делать каждое из этих животных: анти-акулы — загонять в сети рыбу, анти-львы — служить средством связи и т. п. (см. Ch. Fouries, Oeuvres completes, t. 4, Paris, 1841, p. 254—255). Согласно теории Фурье, различные грязные работы станут выполнять мальчики, которым нравится копаться в нечистотах (см. Фурье. Избр. соч., М. 1954, т. 3, стр. 413).

...паскудному покрову, который набросили на него вислоухие... — Вероятно, подразумевается физиологический аспект вопроса о любви, чувствах и т. п., который особенно подчеркивался в «Русском слове». Так, например, в статье А. Г — фова (А. С. Гиероглифова) «Любовь и нигилизм» утверждалось, что любовь — «побуждение родотворного инстинкта», что причина ее — стремление к «продолжению рода», а цель — «в физическом сближении», автор писал о «любовных отправлениях живущего поколения» и т. п. («Русское слово», 1863, № 1, стр. 32—33).

Стр. 325. *Если вы посещали... петербургскую биржу...* — В сквере перед биржей весной обычно устраивались выставки птиц и различных «привозных животных», в том числе обезьян.

Стр. 326. *...как выразился в письме ко мне... анонимный корреспондент...* — Несколько ранее Салтыков написал ответ «Неизвестному корреспонденту», не появившийся, однако, в печати (см. наст. том, стр. 471—472).

...сам Молешотт напутствует их... — Взгляды Молешотта активно пропагандировались в «Русском слове» (см., например, статью Писарева «Физиологические эскизы Молешотта» — 1861, № 7; рецензию Зайцева «Учение о пище» — 1863, № 8).

...нет на свете ни одной отрасли практической деятельности, которую бы они могли занять... — В «Русском слове» неоднократно встречались утверждения, что новый общественный порядок установится только тогда, когда мыслящие люди составят большинство (см., например, Н. В. Шелгунов. Убыточность незнания. — «Русское слово», 1863, № 5, стр. 40). Такая точка зрения приводила иногда к выводу, что люди, овладевшие знанием, «должны остановиться и ждать, когда остальные просветятся, чтобы с ними уже начать общее дело и идти уже вместе». Сам автор этого рассуждения понимал, что его позицию можно охарактеризовать как «пассивность, недеятельность, неспособность к деятельности в современную нам эпоху». Но он утверждал: «...если мы знаем, что наносимый топором удар по полену неверен и не расколет его, не можем же мы отказаться от своей уверенности и не посоветовать не тратить напрасно силы, а сберечь ее, чтобы употребить с большею пользою в иное время и при других обстоятельствах» (П. Л. Бибиков. Границы положительного знания. — «Русское слово», 1864, № 2, стр. 24, 23).

Обязательным ремеслом... — то есть службой.

...я разумею здесь эту деятельность в... ограниченном смысле... — Речь

идет об использовании любой тактической возможности в борьбе за демократические идеалы.

Стр. 327. *...ненавидеть ее своими боками...* — О «протесте своими боками» — см. далее, стр. 330—334, а также прим. на стр. 666—667.

<XI. Апрель 1864 года>

(Стр. 330)

При жизни Салтыкова не печаталось. Первая часть впервые — *ЛН*, т. 11—12, М. 1933, стр. 185—200; вторая — т а м ж е, т. 67, М. 1959, стр. 339—350.

Сохранились: 1) вторая чистая корректура первой части (от слов «Начну с того самого пункта...», стр. 330, строка 2 и кончая словами «...прочая ерундоносная братия», стр. 348, строка 40), набранная 17 апреля и адресованная А. Н. Пыпину; 2) чистая корректура второй части (от слов «Археологи свидетельствуют...», стр. 348, строка 41 и кончая словами «а это явление любопытное», стр. 361, строка 25), адресованная также А. Н. Пыпину (обе в *ИРЛИ*).

При публикации второй части текста, открывающейся словами «Археологи свидетельствуют...», возник вопрос о его датировке и о месте среди других материалов цикла «Наша общественная жизнь». Наиболее полно этот вопрос освещен в предпосланной публикации текста «Археологи свидетельствуют...» статье С. А. Макашина. Как определил исследователь, первая часть текста («Начну с того самого пункта...») «возникла между 17 марта и 17 апреля, предназначалась, несомненно, для четвертого номера журнала, была набрана для него и затем запрещена цензурой». Что же касается второй части текста («Археологи свидетельствуют...»), то она возникла «между 16 и 29 апреля 1864 г.». Если даты возникновения каждой части сопоставить с датой цензурного разрешения четвертого номера «Современника» (11 мая), то вполне закономерно предположить, что перед нами разрозненные части одной и той же хроники, которую автор предполагал поместить в апрельском номере журнала. Такое заключение находит подтверждение и при обращении к корректурным гранкам каждой части. Корректура текста, открывающегося словами «Начну с того самого пункта...», состоит из трех «форм», на первой из которых имеется печатное заглавие — «Наша общественная жизнь» и надпись чернилами справа вверху: «Корр<ектура> апр<еля> 17», а следующие две «формы» имеют оттиснутые типографски внизу цифры нумерации — «2» и «3». На гранках текста «Археологи свидетельствуют...», состоящем из двух «форм», заглавие написано чернилами, а нумерация гранок (также типографски и также внизу) соответственно продолжена — «4», «5». Таким образом, подтверждается, что перед нами разрозненные части одной и той же статьи — апрельской хроники 1864 г. Правда, из опубликованных В. Е. Евгеньевым-Максимовым типографских счетов за набранные, но неопубликованные

статьи, известно, что объем предназначавшейся к помещению в четвертом номере «Современника» за 1864 г. «Нашей общественной жизни» составлял $1^5/_8$ листа [1], а это значительно меньше объема обеих частей интересующего нас текста. Тем не менее противоречия между этими данными нет. Дело в том, что после того как апрельская хроника была отвергнута для печати, Салтыков подготовил статью «Наши литературные мелочи» (набрана 29 апреля), в которую включил значительную часть текста «Археологи свидетельствуют...», примерно $4^1/_3$ полосы (от слов «Вот, например, что повествует в 16 № „Дня" г. Касьянов...», стр. 353, строка 23 и кончая словами «...не пройдет мимо нас?», стр. 360, строка 36) прежнего набора, за который, конечно, не следовало платить типографии. Часть текста второй половины статьи (от слов «Еще одно слово...», стр. 360, строка 37 и кончая словами «...это явление любопытное...», стр. 361, строка 25) вошла с небольшой правкой в «Литературные мелочи» (см. стр. 483).

Причины непоявления в печати апрельской хроники неизвестны. Объяснить их цензурным вмешательством только на основании приводимых В. Е. Евгеньевым-Максимовым типографских счетов нельзя: в них назван ряд работ, судьба которых решена самой редакцией журнала. Отсутствие сведений об этой статье в материалах цензуры, которые сохранились с достаточной полнотой и в которых указан ряд других работ Салтыкова этого периода, заставляет скорее предположить, что она не была напечатана в результате разногласий в самой редакции журнала.

Не появившиеся в печати апрельская и тематически связанная с нею октябрьская хроники «Нашей общественной жизни» посвящены разработке вопросов о соотношении теории и практики в деле переустройства действительности и о преодолении разрыва между передовой мыслью и массами. Вопросы эти являются центральными для мировоззрения Салтыкова.

Как всегда у Салтыкова, его теоретические размышления непосредственно связаны с восприятием текущего исторического момента. Писатель стремится извлечь ряд общих «уроков» и поучений из глубоко драматических для русской демократии событий периода перелома в политическом движении 60-х годов, когда революционная ситуация уже исчерпала себя, а реакция торжествовала победу.

Салтыков открывает апрельскую хронику словами: «Начну с того самого пункта, на котором оставил свою хронику в прошедший раз». И затем обращается к теме о «протесте своими боками». Разработка этой темы действительно уже была начата в заключительной части предшествующей мартовской хроники, но лишь в ее первоначальной редакции, не появившейся тогда в печати (см. стр. 327 наст. тома и прим. на стр. 656).

---

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863—1866, Л. 1939, стр. 83.

«Протест своими боками» — эзоповский образ, обозначающий те формы и виды протеста, при которых протестующий причиняет больше вреда не объекту своего протеста, а самому себе. Образ этот входит в один из главных комплексов салтыковской сатиры и публицистики — в комплекс обличений пассивности народа и общества в борьбе за свои интересы. Образ возник как обобщение тех страдательных форм народного протеста, которыми изобиловала история русского крестьянства: самоувечия и самоубийства крепостных людей как средство избавления от тягостей феодальной эксплуатации и жестокостей помещичьего своеволия, самосожжения старообрядцев-раскольников, как форма борьбы с насилием государственной администрации, побеги солдат из армии и крепостных от рекрутчины («зеленая воля») и т. д. Но, отправляясь от этих и подобных исторических фактов народного быта, Салтыков всем строем своей аргументации распространяет значение этого эзоповского образа на некоторые явления современной социально-политической борьбы. Ужасавшая Салтыкова легкость, с которой правительство ликвидировало разрозненные крестьянские волнения и отправляло в ссылку и на каторгу участников революционного движения, также воспринималась им, как трагически несбалансированные результатами «протесты своими боками».

Салтыков не зовет в итоге своих горьких рассуждений к отказу от «протеста». Он ищет условий, при которых «протест» против «предрассудков», то есть против существующих форм жизни, был бы выгоден протестующему, вел бы к его «победе». «Мало сознавать ненужность и вред предрассудка,— формулирует Салтыков свою мысль в октябрьской хронике 1864 г.,— а нужно еще прийти к убеждению, что силы, необходимые для его сокрушения, имеются в наличности и притом достаточны для того, чтобы надолго не скомпрометировать дорогого дела. Ибо протест дело великое, и для людей, не выходящих из общего уровня, почти немыслимое без ясных и верных шансов на успех...»

И в апрельской и в октябрьской хрониках Салтыков считает необходимым со всей определенностью подчеркнуть, что все то критическое, что было им сказано по поводу «протеста своими боками», «нимало не умаляет подвига тех, которые, несмотря на малые шансы успеха, все-таки протестуют, все-таки страстно преследуют свою мысль сквозь все неудачи и препятствия».

Но Салтыков ставит вопрос о «незащищенности» людей «страстной мысли» и «подвига», о ненормальности такого положения, при котором общество бессильно оградить своих «истинных деятелей» от угрожающего им «жала смерти».

Эта часть апрельской хроники представляет особенный интерес для историко-революционного комментария. За несколько дней до того, как Салтыков взялся за перо, правительство Александра II утвердило каторжный приговор Чернышевскому (7 апреля 1864 г.). Вряд ли возможны сомнения в том, что тема трагической судьбы «истинных деятелей» России возникла в апрельской хронике как непосредственный отклик Салтыкова

на гражданскую гибель великого революционера. Но, как всегда, Салтыков обобщает. Его широкая разработка темы относится и ко всем другим революционным силам, жестоко страдавшим от правительственных преследований (аресты М. Л. Михайлова, Н. А. Серно-Соловьевича, В. А. Обручева, казнь З. Сераковского и т. д.).

Но не только против правительства — непосредственного виновника гибели или угнетения «людей страстной мысли и протеста» — направлены критика и гнев Салтыкова; не в меньшей мере он обвиняет и общество, неспособное защищать своих «истинных деятелей», «заслонять» от «жала смерти» то «лучшее и прекраснейшее», соками чего само же оно питается.

Вместе с тем Салтыков указывает еще на одно обстоятельство, парализующее активность «русского передового деятеля» — демократа, социалиста, революционера. Такой деятель помимо внешнего гнета испытывает и гнет внутренний. Он подавлен огромностью разрыва, существующего между сферой его мысли, устремленной к «гармонии будущего» — и реальным умственным уровнем и практическими запросами масс.

Наряду с риском «очутиться в самом оскорбительном одиночестве», работе передовой мысли мешает также ее незащищенность от «мелочей» повседневности. Вследствие их натиска «истинный деятель» вынуждается не только «работать и создавать» — «он, сверх того, должен позаботиться и о способах» к ограждению чистоты и целости своих убеждений. Он принужден заботиться об этом сам, отвлекаясь от своих основных задач, потому что: «Нет у него волчцов! нет пламенных, преданных, не размышляющих волчцов!». Волчец — род колючей сорной травы. Она специально выращивалась в виде изгородей, ограждающих посев от скота. Это практическое назначение волчца дает ключ к расшифровке салтыковского иносказания. Волчцы-люди (именуемые в том же значении «нижними чинами мысли», «чернорабочими», «купидонами») не играют самостоятельной роли в сфере борющейся мысли и не должны претендовать на эту роль. У них должно быть всего лишь одно «драгоценное качество» — «благонамеренность». В данном контексте это слово следует понимать не в ироническом ключе, обычном для салтыковской сатиры и публицистики, а как обозначение неразмышляющей преданности «волчцов» по отношению к людям мысли. Занятия «волчцов» должны заключаться не только в том, чтобы брать на себя отвлекающую и истощающую людей мысли борьбу с мелочами житейской практики, и не только с тем, чтобы утучнять и разрыхлять для сеятеля почву, а затем охранять посеянное. «Волчцы» обязаны к большему: они должны жертвовать собой и «самоотвергаться» ради «истинных деятелей».

Рассуждение о «волчцах» вводит в другой комплекс проблем, глубоко занимавших Салтыкова, — о принципах «организации» сил для борьбы за общественные идеалы, за будущее, в том числе и для революционной борьбы, на эзоповском языке Салтыкова — «войны». Об этих вопросах говорится как в комментируемой апрельской хронике, так и, более подробно, в следующей, октябрьской, начинающейся словами: «Итак,

история утешает...». В этой последней статье, где также упоминаются «волчцы», Салтыков признает неизбежность и в этом смысле «необходимость войны», то есть революции, при определенных обстоятельствах. Однако «война» — это зло. Она «претит» людям мира и гармонии, потому что: «В мире разумном, в том идеальном мире, до представления которого может по временам возвыситься наша мысль, насилие немыслимо». Итак, следуя учениям утопического социализма и своему просветительскому этизму, Салтыков признает революционное насилие теоретически не только неразумным, но и «немыслимым». Но основанная на насилии «война» существует. Пытаясь найти выход из этой дилеммы и примирить теоретическое отрицание революционного насилия с фактическим признанием его необходимости, как крайнего способа разрешения общественных противоречий, Салтыков выдвигает характерный для всего строя его рассуждений проект организации сил для ведения «войны». Согласно этому проекту «организация» должна состоять из «инициаторов» или «людей мысли» и «чернорабочих» или «нижних чинов мысли». Первые не должны покидать сферы мысли, вторые — сферы практического дела. Таким образом,— думал Салтыков,— вся грубая сторона ведения «войны», связанная с насилием, все «мелкие подробности, вся горечь и неприятность, неразлучные с процессом проникновения мысли в практику», падут на долю преданных «чернорабочих» (они же «волчцы»), что позволит людям мысли сохранить дорогие им убеждения во всей их чистоте и цельности.

Мысли Салтыкова о принципах организации сил для ведения «войны» не соответствовали ни формам революционного движения тех лет, ни требованиям единства теории и практики, предъявлявшимся к участникам этой борьбы ее вождем Чернышевским. «Революционеры 61-го года» (Ленин), первая «Земля и воля» не знали разделения своих рядов на людей мысли и чернорабочих дела. План Салтыкова свидетельствует о том, что писатель был далек от осведомленности в делах тогдашнего революционного подполья и развивал мысль утопическую. В этом отношении интересно указать на близость плана Салтыкова со столь же утопическим, но более ранним проектом, изложенным Огаревым в 1859 г. в документе, условно озаглавленном «Цели, методы и организация общества». Согласно «проекту» Салтыкова, действующие революционеры не мыслят, мыслящие не действуют. Согласно проекту Огарева, тайное революционное общество также должно состоять из немногих теоретиков-руководителей — «мыслящего миноритета», который должен создавать себе живые отношения с «немым множеством» — армией слепо повинующихся нерассуждающих исполнителей [1].

«Проект» Салтыкова, предназначавшийся для опубликования в легальной печати, уже по одной этой причине не может рассматриваться в непосредственной связи с попытками революционеров, уцелевших после разгрома 1862—1863 гг., продолжать строительство тайной революционной

[1] *ЛН*, т. 61, М. 1953, стр. 499.

организации. Выступление Салтыкова было теоретическим и относилось к более общему аспекту вопросов о путях и способах борьбы за переустройство действительности. Кроме того, это выступление было полемически заострено продолжавшимся спором с деятелями «Русского слова», которые именуются «лилипутиками и лилипутченками мысли» и которым Салтыков отказывает в праве считаться истинными деятелями. Впоследствии Салтыков уже не возвращался к столь абсолютным противопоставлениям людей мысли и практического дела, великих идеологов социально-политической борьбы и ее неразмышляющих «чернорабочих».

Стр. 332. *...о низменной силе...*— Здесь: в смысле низовой, народной.

Стр. 336. *...коллекцию хорошо обученных снегирей...*— Уподобление своих противников различным породам птиц — один из обычных приемов салтыковской сатиры (см., например, «стрижи-почвенники» и др.). В данном случае поющие с чужого голоса снегири означают, по-видимому, сотрудников «Русского слова». От такого рода уподоблений тянутся нити к салтыковским «Сказкам» (см. А. Бушмин. «Сказки» Салтыкова-Щедрина, М.— Л. 1960, стр. 28—29).

Стр. 338. *...литература последних годов... создала... понятие о служении истине для истины.*— В статье «Цветы невинного юмора» Писарев объявил Салтыкова писателем лагеря «искусство для искусства». По мнению Салтыкова, к этому лагерю естественнее отнести самих сотрудников «Русского слова», высказывания которых о роли науки осмысливались сатириком как безразличие к практической общественной деятельности, как проповедь «науки для науки», «истины для истины».

Стр. 339. *Кроличков.*— См. прим. к стр. 235.

Стр. 345. *Умолкни, чернь непросвещенна!* — неточная цитата из стихотворения Г. Р. Державина «О удовольствии» («Прочь буйна чернь, непросвещенна»).

Стр. 347. *...мы более заботимся о светозарных наших грезах по тому, что́ скажут об нас вислоухие и юродствующие...*— В этом утверждении можно, по-видимому, усматривать одно из отражений внутриредакционной полемики в «Современнике», то есть полемики Салтыкова с Антоновичем и Пыпиным. См. об этом: Е. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1957, стр. 228.

...большинство так называемых расколов свидетельствует...— Об отношении Салтыкова к расколу — старообрядчеству см. т. 2 наст. изд., стр. 544—545, т. 4, стр. 580—581 и т. 5, стр. 536 и сл., 658—659.

Стр. 348. *На днях один из знаменитейших наших ерундистов упрекнул меня...*— Имеется в виду оценка Салтыкова и его творчества в статье Д. И. Писарева «Цветы невинного юмора» («Русское слово», 1864, № 2).

...хлысты, скопцы, нетовцы, адамиты, купидоны...— Полемическая стрела в адрес публицистов и сторонников «Русского слова». Названия

сект — народных и светских — употреблены потому, что в глазах Салтыкова презрение к «жизненным трепетаньям», равнодушие к «живым зовам действительности» являются отличительными признаками всякого «сектаторства», в котором сатирик упрекал деятелей «Русского слова».

Археологи свидетельствуют... — Говоря об археологах и их свидетельствах, Салтыков, по-видимому, имеет в виду Э. Ренана и его книгу «Vie de Jesus» (Paris, 1863), написанную по впечатлениям, полученным во время возглавлявшейся Ренаном археологической экспедиции 1860—1861 гг. в Финикию. В своей книге Ренан довольно подробно рассматривал вопрос о «чудесах», в частности «чудесах» Апокалипсиса — страшных знамениях, предсказывающих светопреставление (см. П. С. Рейфман. Кто такие «археологи»? — «Уч. записки Тартуского гос. университета», вып. 184, «Труды по русской и славянской филологии», IX, Тарту, 1966, стр. 83—85).

Стр. 349. *«Мальчики» с песьими головами целыми стадами гуляют по Невскому...* — Салтыков мог рассчитывать, что его читатели помнят мартовскую хронику 1864 г., которая начиналась характеристикой «мальчиков», как антитезы «мальчишек» и «мальчишества». В апрельской хронике образ «мальчиков» усложнен: им присваиваются «песьи головы». Как известно, песьи головы, приторочив их к седлам, возили с собой опричники. Вместе с тем рождение младенцев с песьими головами (по одной из вариаций Апокалипсиса в фольклоре и литературе старообрядцев-раскольников) есть «знамение грядущих бедствий». В конкретно-политическом контексте исторического момента «мальчики с песьими головами» расшифровываются как обозначение молодой генерации усовершенствованных «идеологов» и «деятелей», призванных к борьбе с демократическими силами. «Изобильное появление» «мальчиков с песьими головами» — «знамение» дальнейшего натиска реакции.

Стр. 350. *...адамитов, купидонов и других фофанов... украшенных чрезмерно длинными ушами.* — См. прим. к стр. 348.

Стр. 351. *...люди, сегодня еще полные жизни, могут завтра исчезнуть... бесследно...* — Подразумевается расправа царизма с революционерами, с Чернышевским и его соратниками, «исчезнувшими» в казематах Петропавловской крепости или на каторге в Сибири.

Стр. 353. *...тот самый г. Касьянов...* — Имеются в виду письма Касьянова (И. С. Аксакова) «Из Парижа». См. о них выше в майской хронике, стр. 101 и далее.

...на лоне Спиридоновки... — См. прим. к стр. 272.

Стр. 354. *«И ты, когда на битву с ложью...»* — строки из стихотворения А. С. Хомякова «Давид» (1844).

Стр. 355. *«Телемахида»* — поэма В. К. Тредьяковского.

Стр. 356. *...скрипит о ложбине, образуемой на Невском проспекте железно-конною дорогой, или о действиях Литературного фонда...* — Высмеивается мелочное обличительство газеты «Голос», стремившейся создать видимость живых откликов на вопросы, интересующие общество. О «лож-

бине» на Невском см. в цикле фельетонов «Петербургские отметки» («Голос», 1864, №№ от 15 января, 12, 14 и 23 февраля). Полемику о Литературном фонде см. «Голос», 1864, от 8 и 22 марта, и «СПб. ведомости» от 28 марта.

...в сочувствии даже со стороны такого строго-серьезного органа, как «Северная почта»... — Газета «Северная почта» была органом министерства внутренних дел и имела значение официоза. В № 74 «Северной почты» от 1 апреля 1864 г. было выражено такое «сочувствие» «Московским ведомостям», которое и имеет в виду Салтыков: «Если бы «Московские ведомости» признали нужным,— не скажем умолкнуть, но хотя бы только и стеснить круг своей общеполезной деятельности на поприще нашей публицистики, то никто бы не сожалел о том более нас».

...из статьи г. Самарина... — Речь идет о статье Ю. Ф. Самарина «Несколько слов по поводу передовой статьи „Московских ведомостей"» («День», 1864, № 15 от 11 апреля).

...вопрос о книгопечатании... «Московские ведомости» препирались об этом предмете с Финляндией... — В начале 1864 г., в связи с подготовкой цензурной реформы, возобновляются толки о том, каким должно быть новое законодательство о печати (см. т. 5, стр. 596). В № 82 от 11 апреля «Московских ведомостей» перепечатывается из «Русского инвалида» (№ 79 от 8 апреля) сообщение о прениях в финском сейме, обсуждавшем вопрос о цензуре. Финны считали, что предварительная цензура не годится для них, хотя она, по их мнению, годна для стран, стоящих на низкой ступени развития. Редакция «Русского инвалида» усмотрела в этих рассуждениях намек на Россию. «Московские ведомости» хотя и не комментируют сообщение «Русского инвалида», но, видимо, солидаризуются с ним. В № 85 (от 15 апреля) редакция «Московских ведомостей» уже прямо нападает на финнов, обвиняя их в презрении к русскому народу, в стремлении к исключительным привилегиям. Здесь же, в качестве переходной меры к новым законам о печати, рекомендуется факультативная цензура, существовавшая в Турции: издатель, берущий на себя полную ответственность за напечатанное, освобождается от предварительной цензуры. Такая цензура, ставя издателей в полную зависимость от произвола властей, была выгодна для реакционных журналов и газет, избавляя их от мелочей опеки.

Стр. 357. *...согласная музыка труб и литавр...* — Имеются в виду строки из упоминаемой выше статьи Касьянова (И. С. Аксакова) «Письма из отечества», направленные против крайностей официального «патриотизма» (см. стр. 353).

...до того уже пластично выясняют это понятие... — Намек на доносительный характер реакционной литературы.

Стр. 360. *Исправится ли девица Инна Горобец...* — Инна Горобец, героиня антинигилистического романа Клюшникова «Марево», печатавшегося в «Русском вестнике» в 1864 г., сперва увлекается «нигилизмом», а затем разочаровывается в нем.

<XII. Октябрь <?> 1864 года>

(Стр. 362)

При жизни Салтыкова не печаталось. Впервые — *ЛН*, т. 11—12, М 1933, стр. 200—213.

Сохранилась черновая рукопись *(ИРЛИ)*.

Тематическая близость между данной статьей и оставшейся в корректуре апрельской хроникой 1864 г. неоднократно отмечалась в печати. Единогласно относя рукопись к 1864 г., в вопросе более точной ее датировки исследователи высказывали различные предположения: едва ли не с мая по октябрь. Начальная фраза рукописи — «Итак, история утешает» — явилась основанием для предположения, что данной хронике, возможно, предшествовала не дошедшая до нас статья, которая оканчивалась темой «История утешает» (*ЛН*, т. 11—12, стр. 240). Убедительнее, однако, предположение, высказанное Е. И. Покусаевым: слова «Итак, история утешает...» и их развитие полемически связаны со статьей М Антоновича «Первая четверть девятнадцатого века», в которой была выдвинута тема «исторических утешений». Статья появилась в июньской книжке «Современника» 1864 г., вышедшей в свет 15 июля. Таким образом, хроника «Итак, история утешает...» не могла, исходя из этих наблюдений, возникнуть раньше лета — осени 1864 г. Уточнение датировки, по мнению Е И. Покусаева и С. А. Макашина, заключено в следующем сообщении Салтыкова в письме к Некрасову от 5 октября 1864 г.: «Я послал на днях мою хронику с просьбой уважить меня, напечатать без перемен. Что будет — не знаю» (Е. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1957, стр. 221—225 и 231; С. Макашин. В борьбе с реакцией.— *ЛН*. т. 67, 1959, стр. 333).

По видимому, действительно в письме идет речь именно о рукописи «Итак, история утешает...». Однако утверждать это категорически можно лишь при полной уверенности, что все написанные Салтыковым хроники до нас дошли. Тогда, в пределах известных нам материалов, единственной недатированной хроникой является рукопись «Итак, история утешает...», которую и следует отнести к сентябрю — октябрю 1864 г. В дошедших до нас материалах цензуры, которые сохранились с достаточной полнотой и в которых факт запрещения других работ Салтыкова нашел свое отражение, нет упоминаний об этой статье. Неизвестна она также ни в беловой наборной рукописи, ни в корректуре. Очевидно, до набора статьи дело не дошло Неопубликование этой статьи, как и близкой к ней апрельской хроники, следует рассматривать как результат разногласий внутри редакции.

Оставшаяся неопубликованною октябрьская хроника «Итак, история утешает...» посвящена тому же кругу тем, что и предыдущая — апрельская — хроника. Салтыков вновь возвращается здесь к проблеме истори-

ческого развития и связанным с нею вопросам об историческом оптимизме и пессимизме, о соотношении теории и практики в переустройстве действительности и о конкретных путях и способах этого переустройства, включая путь «войны» — революции. Среди других общественных хроник Салтыкова октябрьская — наиболее теоретическая, общефилософская по своему содержанию. Но и она не отвлечена от животрепещущей современности, в том числе от журнальной полемики. Как уже сказано, само обращение к главной теме хроники — об «исторических утешениях»,— возможно, возникло как отклик на некоторые положения статьи М. Антоновича «Первая четверть девятнадцатого века». Идея «исторических утешений», выдвинутая Антоновичем, во многом противоречила выводам апрельской хроники Салтыкова и перекликалась с позицией «Русского слова». «Кто самоотверженно предан общему делу, кто занят интересами мысли и распространением убеждений,— писал Антонович,— для того вся надежда и утешение в истории, в будущем, какие бы неудачи и скорби ни поражали его в настоящем» (*С*, 1864, № 6, стр. 168—169). Салтыков согласен с утверждениями Антоновича, что «история утешает», что современная действительность не дает лучшим людям никаких утешений, кроме исторических. Но Салтыков не склонен удовлетворяться этим. В «исторических утешениях», по его мнению, «скрывается очень значительная доля иронии», ограничиваться ими не следует, а нужно поискать «других утешений», кроме тех, которые предлагает история [1].

Стр. 362. *...мы умираем, но мысль наша будет жить...*— В этих и следующих ниже рассуждениях отразилось горячее сочувствие Салтыкова людям революционного подвига. Эти рассуждения являются еще одним ответом писателя на брошенные ему в полемике с «Русским словом» обвинения, будто он глумится над «людьми самоотверженными».

Стр. 364. *...в этом виновато большинство.*— Речь идет о ненормальности общественного устройства, определяющего утопичность, нереальность прогрессивной мысли, ее трагические противоречия, слабые стороны, о сложном положении революционной мысли в эпоху реакции, о столкновении передовых идей с общественным мнением.

...действительное... перемешивается с гадательным и фантастическим.— Об отношении Салтыкова к образному конкретизированию утопии см. прим. к стр. 324.

...захмелевшая, растленная толпа.— Подразумеваются отзывы реакционной и либеральной печати на роман Чернышевского «Что делать?». См., например, статью Ростислава (Ф. М. Толстого) «Лжемудрость героев Чернышевского» — «Северная пчела», 1863, № 138.

Стр. 365. *...свидетельствует о... ненормальности...*— Признавая закономерность революционного подвига, «самоотвержения», Салтыков подчерки-

---

[1] Е. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1957, стр. 230—232.

вает ненормальность общественных отношений, когда человек, защищающий истину, должен жертвовать собой.

Стр. 368. *Конечная цель человека... все-таки счастие...* — Салтыков солидаризируется здесь с учением о страстях Фурье. Аналогичные мысли см. далее в статье «Как кому угодно».

Стр. 373. *...мы живем не в Аркадии и не в Икарии.* — Аркадия — часть Пелопоннеса, в которой долго сохранялись патриархальные отношения. В идиллически-пасторальной поэзии — счастливая страна. Икария — страна будущего, о которой повествуется в социально-философском романе утопического коммуниста Э. Кабе «Le voyage en Icarie» (1840).

Стр. 375—376. *Ризположенский.* — См. прим. к стр. 234. *Скорбященский* — возможно, Н. А. Благовещенский. В № 1 «Русского слова» (1863) напечатана его повесть «Печальные встречи», в которой, между прочим, один из персонажей, богатый купец, называет «вислоухими» зависимых от него людей, хороших, но безответных, неспособных на протест.

Стр. 376. *...псевдоестествоиспытателю Кроличкову... ты воспитанник Кузьмы Пруткова...* — Вероятно, подразумеваются «Мысли и афоризмы — плоды раздумья» Козьмы Пруткова, опубликованные в 1860 г. в «Искре». Уже первый из них мог послужить основой салтыковского сопоставления, имевшего в виду вульгаризаторские тенденции Зайцева: «Всякая голова подобна желудку: в иной извне входящая пища непрестанно переваривается, другая же и самым легким яством нарочито засоряется».

СТАТЬИ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЗРАКИ

(Письма издалека)

(Стр. 381)

При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые — *ЛН,* т. 11—12, М. 1934, стр. 214—232.

Сохранились: 1) черновая рукопись ранней редакции первого письма (вторая половина); 2) наборная рукопись второго письма (окончание его — от слов: «потомственно. Изъятые от участия в высших интересах жизни» — стр. 405, строка 31); 3) вторая чистая корректура статьи, набранная 24 апреля и адресованная А. Н. Пыпину (все в *ИРЛИ*).

В настоящем издании печатается по корректуре.

Среди вариантов черновой рукописи несомненный интерес представляет следующий. Вместо: «Я знаю это <...> гниет себе понемножку» (стр. 394, строка 41 — стр. 395, строка 12) — в рукописи было:

Я знаю это, но вместе с тем знаю и то, что имею дело с явлениями и вещами, прикосновение к которым требует величайшей осторожности. Вот почему я в самом начале вынужден оговориться, что буду говорить обиняками. Тут совсем дело не в трусости, но именно в желании достичь

какого-нибудь результата. Что путного будет, если я стану называть вещи по именам? Положим, например, что какой-нибудь Василий Порфирыч (сын моего любезного знакомца Порфирия Петровича[1]) — казнокрад, мошенник и вор, но убедится ли он, если я назову его этими именами (черт возьми, да я, намекая, и называю)? Нет, он не убедится, но, напротив того, рассердится на меня, ибо считает себя благонамеренным гражданином на том основании, что ходит в церковь и молится усердно богу и любить бога ему ничего не стоит, любить ближнего стоит дорого — он в расчете, и очень хорошо это понимает, но не желает, чтобы понимали другие. Поэтому не лучше ли будет, если я подступлю к нему аллегорически, если я ему докажу, что ремесло мошенника, имея свои несомненные выгоды, может сопровождаться другими и очень же несомненными невыгодами, как-то: подлейшей репутацией (отнимающей даже возможность мошенничать), наплеванием в глаза (производимым с такою быстротою и непрерывностью, которая не дает времени даже утираться), не говоря уже о ссылке в Сибирь и других более крутых средствах <?>.

В минуты своего разложения общество, как нарочно, выказывает наиболее щекотливость. Потому ли, что оно чувствует себя кругом виноватым, потому ли, что весь организм его покрыт язвами,— дело в том, как бы то ни было, но что оно положительно не допускает, чтобы в эти язвы, и без того уже растравленные, запускали любознательный скальпель. Я знаю, что гнию, говорит оно с каким-то дико-горделивым самодовольством, ну и гниет себе понемножку.

А там, будем скромны, будем воздержны. Достанет ли силы, чтобы выдержать подобную роль,— не знаю, но во всяком случае сознание ее необходимости существует.

При публикации статьи в «Литературном наследстве» она была неверно датирована 1865 г. Из разысканий В. Е. Евгеньева-Максимова известно, что статья должна была быть напечатана в № 5 «Современника» за 1863 г. (ценз. разр.—27 апреля и 18 мая)[2]. В *изд. 1933—1941* статья отнесена С. Л. Белевицким также к 1863 г. Им же проведено дополнительное обоснование такой датировки: наличие отдельных текстуальных совпадений между двумя «письмами» «Современные призраки» и очерками «Как кому угодно», появившимися в августовском номере «Современника» за тот же год с примечанием автора: «Сочинению этому должны предшествовать два письма, которые, быть может, и появятся впоследствии». Если бы причиной неопубликования «Современных призраков» были разногласия внутри редакции, то такое заявление вряд ли могло быть сделано. Вероятно, статья не появилась в свет по причинам цензурного характера.

Салтыков следующим образом определяет основное для комментируемой статьи понятие «призраки»: «Рассуждая теоретически, это такая форма жизни, которая силится заключить в себе нечто существенное, жизненное, трепещущее, а в действительности заключает лишь пустоту», «это что-то внешнее, не имеющее никаких внутренних точек соприкосновения с обла-

---

[1] Персонаж из «Губернских очерков» — *Ред.*

[2] В. Е. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863—1866, Л. 1939, стр. 61.

даемым им предметом...» В философском отношении, таким образом, понятие «призраки» восходит к различению явления и сущности, к Канту и Гегелю. Гегель писал о «призрачной действительности». Терминология эта широко вошла в обиход русской публицистики и русской критики 40-х годов. Ею пользовался Белинский, называвший «призраками» все пережившее себя, мертвое, неразумное, ложное, но еще не разоблаченное ни в жизни, ни в идеологии. Салтыков сам отмечает: «Что миром управляют призраки — это не новость. Об этом давно уже знают там, на отдаленном Западе...» Писатель имеет в виду, кроме Канта и Гегеля, еще Бекона, Конта, Бокля, утопических социалистов и, конечно, Фейербаха, с особой убедительностью развеявшего призрак бога и вообще религиозно-идеалистического мировоззрения. В эзоповском обороте Салтыков отмечает, однако, что и русские, «люди восточного мира», обратили внимание на власть «призраков» и также дали их классификацию. Кроме Белинского, Салтыков мог подразумевать здесь еще Герцена, употреблявшего на равных началах с «призраками» термины «привидения», «кумиры», «идолы». В 40-х годах и Салтыков, вслед за Герценом, предпочитал слово «идолы». Например, в «Брусине» мы читаем: «Везде идолы. везде пугалы — и, главное, что обидно? Обидно то, что мы сами знаем, что это идолы, глупые, деревянные идолы, и все-таки кланяемся им». В дальнейшем, после 60-х годов, в словоупотреблении Салтыкова приобретает устойчивость именно понятие «призраки» (см. «Благонамеренные речи», «Господа Головлевы», «Круглый год», «Мелочи жизни» и т. д.).

Салтыков не ограничивается абстрактно-эзоповским определением понятия «призраков». Несмотря на цензурные трудности, он пытается указать конкретно, что имеет в виду, когда говорит о призраках. Призрак — это «честь, право, обязанности, приличия» господствующих, угнетательских и эксплуатирующих классов. Понятие «призраков» заставляет мыслить. Оно ставит вопросы: «Что такое долг? Что такое честь? Что такое преступление? Что семья? Что собственность? Что гражданский союз? Что государство?» Однако и это еще неполный «реестр» призраков. За ним крылись два главных призрака, которые в прямой форме Салтыков назвать не мог: самодержавие и религия. Осторожно, с оглядкой на цензуру, но чрезвычайно настойчиво указывает он, что «явления, подобные Юлиям Цезарям, Александрам Македонским, утратили всякий жизненный смысл, а в пользу их еще и доднесь работает человечество». Имена римских императоров названы здесь в качестве цензурной замены имен Александра II, Наполеона III и т. д., да и самого института монархии. Особенно подробно, многократно, но каждый раз по-новому, доказывает Салтыков, что главным призраком является бог — Юпитер, или Минерва, или «дух долины» и т. д. («Дух долины» в качестве синонима мистических, ирреальных сил, управляющих будто бы миром и людьми, обязан своим происхождением балету Сен-Леона «Теолинда, или Дух долины», который шел в Петербурге в сезон 1862/63 г. В 1863 г. Салтыков написал сатирический «Проект современного балета», вошедший в цикл «Признаки времени», в котором

проводится та же самая мысль, что и в «Призраках» в связи с «Теолиндой».)

Салтыков сжато, но убедительно показывает, как теология ведет к телеологии, к извращению представления о природе человека, к идеалистической психологии, дедуцирующей духовные способности человека из потустороннего мира.

Статья «Современные призраки» говорит об очень высоком уровне философского и исторического мышления Салтыкова. Она глубоко диалектична. К «призракам» нельзя относиться отвлеченно-отрицательно. Они не просто пережитки прошлого, они цепки, они держат в узде умы и души, они реальное препятствие для прогресса. «По-видимому, призрак только оболочка, из которой выветрилось содержание,— пишет Салтыков,— но все это только... в отвлечении, в теории: на деле же призрак так глубоко врывается в жизнь, что освобождение от него составляет для общественного организма вопрос жизни или смерти...»

Призраки сильны, потому что они результат не произвола, а исторического развития. Призраки обязаны своим происхождением многовековому процессу, болезненному, но закономерному. С ними связано множество реальных интересов. Человеку трудно разглядеть, что былое знамя, былые кумиры, которым поклонялись целые поколения, обветшали, что исчерпанный и переживший себя идеал необходимо заменить идеалом новым. «В особенности,— пишет Салтыков,— ощутительно дает себя чувствовать... трагическая сторона жизни в те эпохи, в которые старые идеалы сваливаются с своих пьедесталов, а новые не нарождаются. Эти эпохи суть эпохи мучительных потрясений, эпохи столпотворения и страшной разноголосицы».

Слова эти вводили весь круг рассуждений «Современных призраков» в громокипящую современность. 60-е годы и были такой переходной эпохой, вызвавшей у одних растерянность, у других иллюзии, а у третьих сознание необходимости «опять и опять идти, опять и опять искать». Реформы 60-х годов оказались лишь новыми «призраками». Новыми «призраками» оказывались и капитализм, приходивший на смену крепостничеству, и порожденный им буржуазный индивидуализм.

Философская и политическая зрелость Салтыкова не позволила ему закрыть глаза на некоторые «призрачные» моменты, заключавшиеся в идеалах и программах утопического социализма. Были утописты, ожидавшие «золотого века», в котором общественные отношения и отношения людей к природе установятся раз навсегда, на одном совершенном и неизменяющемся уже уровне. Другие, в том числе упоминающийся в статье Фурье и неназванный, по понятным причинам, Чернышевский в своем романе «Что делать?», не только предсказывали будущее, но и регламентировали его вплоть до мельчайших подробностей. Третьи, как Роберт Оуэн, например, также упомянутый Салтыковым, думали, что им удастся создать социалистические ячейки внутри господствующего капиталистического общества. Все это Салтыков считал нереальным, «призрачным». Мало того,

он не видел ничего утешительного в перспективе жизни, раз навсегда регламентированной, вращающейся все по одному и тому же кругу. Остановка развития равнозначна смерти; «между тревожною жизнью и спокойною смертью — куда склонится выбор наш?» — спрашивал он. В идеалистически-романтических и утопических упованиях на будущее, в представлении о «золотом веке», замыкающем и приостанавливающем дальнейшее развитие, Салтыков также находил призрачность, мешающую ориентироваться в общественной борьбе.

Салтыков боролся с «призраками» для того, чтобы направить политические и социальные усилия революционной демократии по реальному пути. Людям движения необходимо развеять «призраки», пролить свет на истинное положение дел для того, чтобы успешно действовать Вопросы, возникшие вследствие превращения былых «краеугольных камней» в «призраки», необходимо разрешить, по мнению Салтыкова, «немедленно», «чем скорее, тем лучше».

Если господствующие не внемлют голосу разума, если низы будут слишком коснеть в пассивности, тогда кризис призрачной действительности будет «ликвидирован» стихийным всеобщим восстанием. Статья «Современные призраки» содержит «формулу» стихийной революции, как представлял ее себе Салтыков. «История,— писал он,— сама берет на себя труд отвечать на эти <неразрешенные> вопросы. Когда цикл явлений истощается, когда содержание жизни беднеет, история гневно протестует против всех увещаний. Подобно горячей лаве проходит она по рядам измельчавшего, изверившегося и исстрадавшегося человечества, захлестывая на пути своем и правого и виноватого. И люди и призраки поглощаются мгновенно, оставляя вместо себя голое поле. Это голое поле представляет истории прекрасный случай проложить для себя новое, и притом более удобное ложе».

Салтыков ставит вопрос о том, «можно ли предупредить подобные гневные движения истории», и говорит о естественности и законности попыток такого предупреждения. Больше того, салтыковские призывы к обществу «добровольно» и «полюбовно» свергнуть старые идолы с их пьедесталов (своеобразная вариация просветительских иллюзий, сквозивших и в финале «Глуповского распутства», см. т. 4 наст. изд., стр. 560) несколько даже противостоят объективному смыслу статьи с ее широкими философско-революционными тезисами и заключениями.

Историко-философская концепция «Современных призраков» содержит и обоснование задач литературы, в частности, сатирической литературы. Цель литературы — установление истины, свободное исследование, ведущее к «исчезновению призраков». Призраков безобидных нет, «всякий призрак держит за собою целую систему», компромиссы с которой невозможны. В освобождении сознания масс от «призраков» сатира призвана сыграть особо действенную роль. На эзоповом, «фигурном» языке Салтыкова эта мысль выражена следующим образом: дикому «вотяку», уже переставшему верить в своего «идола», но еще не вполне «расквитавшемуся» с ним, надо

доказать, что «освобождение <от «призрачной» власти идола> необходимо должно сопровождаться оплеванием, обмазыванием дегтем и другими приличными минуте и умственному вотяцкому уровню поруганиями и что тогда только расчет с идолом будет покончен, когда последний будет до такой степени посрамлен, что скверно взять его в руки, постыдно взглянуть на него».

Стр. 381. *Le globe est confié à l'humanité...*— Эпиграф к статье «Современные призраки» взят из книги Виктора Консидерана «Destinée sociale» (первое издание — 1837 г.), которая считалась наиболее совершенным и систематизированным изложением учения Фурье. Как и его учитель, Консидеран полагал, что план совершенного и гармоничного общественного устройства открыт и установлен в подробностях — остается его осуществить. Книга Консидерана произвела большое впечатление, в том числе и на русских социалистов 40-х годов. Она пользовалась особенной популярностью у петрашевцев и ее хорошо знал Салтыков.

Стр. 390. *И еще не прав г. Тургенев, заставляя своего героя погибнуть жертвою случайности: такого рода люди погибают совсем иным образом.*— Салтыков хочет сказать, что такие люди, как Базаров, герой «Отцов и детей», погибают не вследствие непредвиденной и нелепой случайности (в романе — от заражения трупным ядом при анатомировании), а в революционной борьбе или в результате правительственных кар. Об отношении Салтыкова к роману Тургенева см. т. 5 наст. изд., стр. 581—582, и наст. том, стр. 570.

Стр. 392. *Успенский* — Николай Васильевич.

Стр. 396. *...литературу великодушных порываний (aspirations généreuses), которая преимущественно пользуется кредитом во Франции...*— Реформистская, социально-утопическая и социально-демагогическая литература, утверждавшая иллюзии о возможности мирного, безболезненного преобразования общества к выгоде и обездоленных и господствующих. В качестве одного из примеров можно назвать сочинения Жюля Симона, идеи которого популяризировались во «Времени» Ф. М. Достоевского и были поддержаны П. Л. Лавровым. Взгляды Жюля Симона подверг в 1860 г. критике Чернышевский в статье «Антропологический принцип в философии».

...так называемые idées napoléoniennes...— Наполеоновские идеи были пронизаны социальной демагогией, имевшей целью привлечь массы на сторону наполеоновской династии и Наполеона III.

Стр. 399. *...руководит человеком... понятие о вменяемости преступлений или о вреде страстей...*— Проблемы вменяемости или невменяемости преступлений и вопрос о природе человеческих страстей были пунктами спора между апологетами капитализма и утопическими социалистами. Салтыков хочет сказать, что идеологи, видевшие причину преступлений исключительно в злой воле преступника и считавшие человеческие страсти насквозь греховными, опираются в своей аргументации не на науку, а на религию.

КАК КОМУ УГОДНО

Рассказы, сцены, размышления и афоризмы

(Стр. 407)

Впервые — *С*, 1863, № 8, отд. I, стр. 567—610 (ценз разр.— 7 сентября). Подпись: Н. Щедрин. Раздел «Семейное счастье» был включен впоследствии, с некоторыми изменениями, в цикл «Благонамеренные речи» (гл. X).

Сохранилась черновая рукопись, отличающаяся от текста журнальной публикации рядом разночтений *(ИРЛИ)*.

В настоящем издании печатается по тексту «Современника» с устранением по рукописи двух цензурных замен (стр. 420, строки 16—17: вместо «однажды дьячку потихоньку косу обстриг, и как дьячок был» — «однажды батюшке потихоньку косу обстриг, и как батюшка был»; стр. 421, строки 20—21: вместо «каску, да войдет» — «каску с какими-то чудодейственными орлами на вершине, да войдет»).

Приводим два важнейших варианта черновой рукописи:

Стр. 407, строки 22—23. После «на которые устремляет свои взоры» — в рукописи было:

Причина, в силу которой такие алтари и краеугольные камни существуют, необъяснима, но, вероятно, они допускаются попечительной природой с тою целью, чтоб каждый даже недальновидный мог с удобностью на них во всякое время ссылаться и посредством них объяснять необъяснимое.

Стр. 408, строка 36. После «другим баловням природы дается даром» — в рукописи было:

Эти люди называются мужами совета и надежными скотоводами, ибо, быв сами в свое время хавроньями, они хорошо усвоили себе скотную суть и являются опытными в сем случае руководителями. Поразительный пример такого искусного самопрививания чумы я видел в Москве, в лице одного публициста [1]. Этот публицист долгое время был хавроньей, но потом за полтинник согласился переломить себя, и до такой степени в этом успел, что даже белокурые его волосы постепенно начали окрашиваться в черный цвет. Это доказывает, что от человека зависит все — даже сделаться красавцем.

Во время прохождения через цензуру очерки привлекли внимание цензора Веселаго, сделавшего о них доклад С.-Петербургскому цензурному комитету. По этому докладу 4 сентября было принято решение, дозволявшее печатание «с исключением некоторых резких мест, доложенных г. цензором» [2].

---

[1] По-видимому, М. Н. Катков («белокурые... волосы»), проделавший эволюцию от либерализма к реакционности.

[2] *ЛН*, т. 13—14. М. 1934, стр. 131.

Цикл «рассказов, сцен, размышлений и афоризмов» под общим названием «Как кому угодно» был задуман Салтыковым как беллетристическое развитие статьи «Современные призраки» — тех самых «писем», о которых говорится в авторской сноске (см. стр. 381). «Оканчивая первое письмо мое,— свидетельствует писатель в тексте названной статьи,— я намеревался прямо приступить к тому, что мы называем обыденною, будничною жизнию» (см. стр. 395). Опасение в недосказанности побудило Салтыкова «объясниться» еще одним письмом и лишь после этого перейти к буднично-бытовым «сценам семейного счастья».

Тесная связь цикла «Как кому угодно» с «Современными призраками» позволяет определить время его написания весною — летом 1863 г. Сохранившаяся корректура «Современных призраков» помечена 24 апреля; конечная дата определяется публикацией цикла в августовской книжке.

Идейно-художественное задание «Как кому угодно» находится в прямой связи с теоретически сформулированным в «Современных призраках» требованием — помочь «дикому вотяку», то есть неразвитому в социально-политическом отношении «среднему человеку», освободиться от гипнотической власти «идолов» — «призраков» — посредством беспощадного «посрамления» последних. Требование это заключало в себе определенный полемический смысл. Критическому анализу изживших себя общественных форм и установлений писатель придавал принципиальное значение иного, чем у мыслителей-утопистов, «практического» пути в пропагандировании социалистического идеала. Именно с «разбора самых простых и ходячих общественных истин», с расчистки почвы для будущего нужно начинать, полагал он, а не с попыток представить это будущее во всех деталях и подробностях. В условиях неразвитого общественного самосознания Салтыкову казалось тактической ошибкой наглядное противопоставление старых, «заповедных», и новых, непривычных жизненных принципов. По мнению писателя, верные и понятные в теоретическом изложении, мысли о формах и основаниях гармонического строя способны утратить свою привлекательность, вызвать недоверие и насмешку, будучи представлены «в живых образах» или же практически воплощены «среди общества, к принятию их не приготовленного». Напротив, сатирические, социально-критические художественные образы антагонистической действительности, со всею очевидностью обнажающие ее «двоегласие» и разлад,— эффективно свидетельствуют в пользу нового жизнеустройства. Отсюда и известное полемическое звучание «Как кому угодно» по отношению к «Что делать?» Чернышевского, отмеченное самим Салтыковым в статье «Гг. „Семейству М. М. Достоевского"...». При этом писатель не считает свою точку зрения единственно истинной и «непреложной» («Очень возможно, что я и не прав...»). Он признает «возможность другого образа мыслей», не выводя, таким образом, вопроса из сферы обсуждения. Надо полагать, что и самое название цикла определено такой «дискуссионной» установкой.

Резкая критика императива, «долга», порождающего «неестественную, насильственную жизнь», содержалась уже в первых произведениях Салты-

кова, свидетельствовавших об увлеченном изучении их автором трудов утопических социалистов Запада (см., например, т. 1 наст. изд.). Теперь она приобретает характер целостной идейно-художественной концепции, социалистической по своим истокам. В статье «Гг. „Семейству М. М. Достоевского“...» писатель сам указал на фурьеристское происхождение «Как кому угодно». Салтыкову весьма близки взгляды французского мыслителя, считавшего, что «все эти философские прихоти, называемые *обязанностями,* не имеют ничего общего с природой... Надо изучить притяжение, одну лишь природу, никак не приемля долга»[1]. В разоблачении нравственной несостоятельности требований «мертвой морали», социально-показного исполнения долга и обязанности Салтыков близок также Герцену — автору «Капризов и раздумья» (1843—1847) и повести «Долг прежде всего» (1847—1851)[2].

Сценами семейного «счастья» художественно иллюстрировалась мысль о «призрачности», относительности такого капитального института в жизни современного дисгармонического общества, как семья. Здесь Салтыков также близок Фурье, утверждавшему: «...Огромное большинство семей лишено его <счастья> при строе цивилизации: отцы, как и дети, оказываются здесь в ложном положении; добрый порядок покоится здесь только на более или менее прикрытом принуждении; принуждение же душит чувства привязанности, оно сводит их лишь к видимости связи»[3]. Анализируя «взаимное недовольство», глухую вражду членов внешне добропорядочного семейства Воловитиновых, Салтыков указывает, что это «происходит вследствие тех принудительных отношений, которые их связывают». Семейное счастье оказывается на поверку истинной трагедией. С неотразимой художественной силой поведает об этом позже автор «Господ Головлевых».

Разоблачая «недействительность» «основ» и «алтарей» с точки зрения «присяжных людей безнравственности», то есть — в иронической эзоповской перифразе — приверженцев социалистического учения, фурьеристов, Салтыков в финальной части цикла — «Размышлениях» — прямо варьирует отдельные положения фурьеристского учения: о необходимом соответствии выполняемой человеком работы его склонностям и влечениям; о ликвидации принудительных отношений в семье; о свободном удовлетворении страстей как первом условии «гармонического строя», предполагающего полное наслаждение жизнью; об общественно-трудовом воспитании детей (об отношении Салтыкова к учению Фурье см. также в мартовской хронике «Нашей общественной жизни» за 1864 г.— стр. 324 наст. тома).

---

[1] Шарль Фурье. Теория четырех движений.— В кн.: Фурье. Избр. соч. в четырех томах, т. I, изд. АН СССР, М.—Л. [б. г.] стр. 178. См у него же: Заблуждение разума...— т. II, стр. 73—112; Новый хозяйственный и социетарный мир...— т. III, стр. 72, 328—333 и др.

[2] Мысль о том, что существование «алтарей» — «решителей человеческих судеб» — не имеет реальной почвы и что «свобода исследования» их внутренней несостоятельности находится под запретом, в рукописи была выражена еще более определенно (см. выше).

[3] Шарль Фурье. Новый хозяйственный и социетарный мир...— Избр. соч., т. III, стр. 474—475.

Острота идейной проблематики, социалистическое происхождение цикла сразу привлекли к нему внимание идеологических противников Салтыкова.

Н. Страхов, выступивший под псевдонимом Н. Нелишко, не разобравшись в смысле рассуждений Салтыкова или преднамеренно извратив их, приписал автору «Как кому угодно» стремление опровергнуть «всею силою своего сатирического ума» взгляды передовых мыслителей «на долг и обязанности», в частности, «знаменитую теорию» страстей Фурье. «Давай-ка изображу я, думал г. Щедрин, каких людей мучает *раздвоение* между потребностями и обязанностями. Давай-ка покажу в картинах и наглядно всю мерзость, которая копошится во внутреннем мире таких субъектов. Пусть полюбуются мыслители, мечтавшие о благе человечества, для каких людей они изобрели свою теорию потребностей; пусть увидят, какой нелепостью и гадостью является эта теория, когда ее прикинут к этим людям»[1]. Под видом заботы о художественной стороне дела критик предложил «вовсе вычеркнуть» социалистические «объяснения и рассуждения» как портящую произведение голую тенденцию, подсказанную к тому же со стороны («писание на заданные темы дурно и вредно»).

Через год Страхов вновь отметил связь «Как кому угодно» с учением Фурье, но уже без приписывания Салтыкову полемических, по отношению к фурьеризму, заданий («Это была небольшая вариация на теорию страстей...»), и попытался скомпрометировать теоретико-публицистическую часть произведения: «Повесть вышла хорошая, но вариация оказалась никуда негодною и не только не *как кому угодно,* а всякому одинаково доказывала несостоятельность главной мысли»[2].

Критический выпад в адрес автора «Как кому угодно» и ноябрьской хроники «Нашей общественной жизни» за 1863 г. сделал и Достоевский в «Записках из подполья» (в первой части, печатавшейся в январско-февральском номере «Эпохи» за 1864 г.; ср. Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 4, М. 1956, стр. 147—148).

Отрицательное отношение Достоевского к вышеназванным салтыковским произведениям зафиксировано и в его записной книжке:

Как кому угодно.

Учитесь, милые дети.

Нет, не дается нигилизм г-ну Щедрину, не дается. Он в таком же затруднении, поступив в нигилисты, как и генерал Зубатов, в его собственной повести, когда он хочет следовать за веком, биржу придумывает и даже выразиться не умеет, сам г. Щедрин назвал такого сорта людей умирающими. Нет, уж пусть г. Щедрин пишет по-прежнему повести, не заботясь о нравоучениях к ним. *Нравоучение ему всегда подскажут*[3].

---

[1] Н. Нелишко. Новый поборник нравственности. Письмо в редакцию «Библиотеки для чтения».— «Библиотека для чтения», 1863, № 9, стр. 102.

[2] «Последние два года в петербургской журналистике».— «Эпоха», 1864, № 10, стр. 4—5.

[3] Цит. по кн.: С. Борщевский. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы, М. 1956, стр. 77.

Верно уловив революционизирующий смысл отрицания автора «Как кому угодно», Достоевский, подобно Страхову, попытался разъять единое целое произведения, иронически определив его «программные» части как «подсказанные нравоучения» и противопоставив им «повести».

Стр. 407. *Всегда меня удивляло, как это люди не исполняют своего долга.*— Благонамеренность этого и последующих рассуждений «я»-рассказчика о «долге» и «обязанностях» связана с двойственностью образа рассказчика в произведениях Салтыкова. «Я»-рассказчик в салтыковской сатире и публицистике заключает в себе и «голос» автора или идеологически родственного ему лица, и идейно противоположный «голос» обличаемого мира.

Стр. 408. *Замечено еще, что люди смуглые и черноволосые усерднее к исполнению обязанностей, нежели белокурые и с белым круглым лицом.*— Дискредитируя основанные на принуждении понятия «долга» и «обязанности», сатирик доводит до абсурда ходячую мысль об их благотворном воздействии, иронически ставя во взаимозависимость отношение к долгу и внешность человека, цвет его волос и т. д. См. также в рукописи текст об «одном публицисте», белокурые волосы которого «постепенно начали окрашиваться в черный цвет» (стр. 681 наст. тома).

Стр. 409. *Почему, например, Базаров кончил столь несчастливо?.. Почему юный Виктор Басардин... непременно должен скверно кончить?* — В представлении Салтыкова и Тургенев и Писемский, как автор «антинигилистического» романа «Взбаламученное море», предвзято отнесясь к демократической молодежи, исказив подлинный смысл ее убеждений, произвольно привели своих героев к случайным трагическим финалам. Об отношении Салтыкова к «Отцам и детям» и «Взбаламученному морю» см. стр. 15—16, 107—109, 322, 192, а также т. 5, стр. 581—582.

Стр. 410. *...Марья Петровна Воловитинова...*— В образах помещицы Воловитиновой и ее детей явно проступают портретные черты членов семьи Салтыковых. Прототипом многократно варьирующегося у Салтыкова образа «женщины-кулака» является мать писателя — Ольга Михайловна (см. С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, изд. 2-е, М. 1951, стр. 30—32 и след.). Содержащееся в воспоминаниях Е. И. Жуковской сведение о том, что Салтыков как-то описал мать-стяжательницу «в одном из своих фельетонов» и что Ольга Михайловна, угадав себя, сильно рассердилась и даже предприняла по отношению к сыну недружелюбную акцию, по-видимому, имеет прямое отношение к «Семейному счастью» («М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957, стр. 80 и 694).

Стр. 412. *...училище правоведения* — вместе с Царскосельским (потом Александровским) лицеем и Пажеским корпусом, наиболее привилегированное учебно-воспитательное заведение в России для дворянских детей (основано в 1835 г. в Петербурге).

Стр. 420. *...в Суздаль-монастырь упекла...*— Спасо-Евфимьевский мона-

стырь в Суздале был местом заточения религиозных и светских «ослушников», а также детей, нарушавших волю родителей. В семейной педагогии родителей Салтыкова «Суздаль-монастырь» был довольно распространенной угрозой «непочтительным» сыновьям. «...Если он,— писала Ольга Михайловна Дмитрию Евграфовичу о «постылом» — Николае Евграфовиче,— ослушается меня и моей воли... упрячу его в Суздаль-монастырь...» (цит. по статье: Е. Макарова. О реальных источниках «Господ Головлевых».— «Литературный критик», 1939, № 5—6, стр. 109). «Суздаль-монастырь» приходит на ум и Арине Петровне Головлевой, решающей судьбу Степки-балбеса.

Стр. 424. *...корифейку...*— Корифейки — ведущие артистки в кордебалете.

Стр. 440. *...так и засыплет силлогизмами и цитатами из Неволина, Рождественского и других ревнителей!* — Салтыков часто иронически упоминает имя К. А. Неволина — наиболее авторитетного представителя официальной законоведческой науки, скрупулезно изучавшего историю порицаемых сатириком «краеугольных камней» (см., например, «О союзах семейственных», кн. 1-я.— К. Неволин. История российских гражданских законов, т. 1, СПб. 1851, а также некоторые разделы его двухтомной «Энциклопедии законоведения», Киев, 1839, в частности, раздел II — «О происхождении и постепенном образовании законов со стороны их содержания. Семейство. Род. Гражданское общество. Государство. Союз народов», т. 1, стр. 67—83); проводимая Неволиным идея «постепенности развития союзности» будет непосредственно «задета» сатириком в ноябрьской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г. Там же названы и другие «ревнители», в том числе преподаватель Салтыкова-лицеиста — Я. И. Баршев (см. стр. 173).

...лейтенант Жевакин — персонаж «Женитьбы» Н. В. Гоголя.

Стр. 444. *...я шепнул им на ухо такое занятие, одним названием которого надеялся привести их в смущение.*— Пытаясь опровергнуть мысль о возможности свободного и привлекательного труда («travail attrayant»), противники социалистов-утопистов указывали на необходимость выполнения и в новых условиях всякого рода непривлекательных очистительных работ. По Фурье, уборкой нечистот в свободном обществе будут заниматься трудовые отряды, «маленькие орды» детей, не смущающихся в силу возрастных привычек и наклонности к самоотвержению характером исполняемого дела. Об этом и о связях этого вопроса с прогрессом техники Салтыков писал позже и в сочинениях и в письмах.

Стр. 445. *«А детей», скажут они...*— «Возмущение» рассказчика произрастает на почве искаженных представлений о принципах нового социалистического быта. Образец подобного возмущения, имеющего те же самые основания, находим, по предположению Е. Покусаева (см. «Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы», Саратов, 1957, стр. 200—201), в неопубликованной в свое время статье В. П. Боткина и А. А. Фета о романе Чернышевского «Что делать?». «Не можем забыть,— писали они,— как один

из светильников quasi-нового учения в нашем присутствии на вопрос о судьбе детей в женско-мужских коммунах ответил голосом, полным убеждения: „Детей не предполагается"» (*ЛН*, т. 25—26, М. 1936, стр. 489). В мемуарах Фета имя «светильника» обозначено прямо. «Однажды, когда я в Петербурге сидел у Тургенева, Захар, войдя, доложил: «Михаил Евграфович Салтыков...» Вошедший стал бойко расхваливать Тургеневу успех недавно возникших фаланстеров, где мужчины и женщины в свободном сожительстве приносят результаты трудов своих в общий склад, причем каждый и каждая имеют право, входя в комнату другого, читать его книги, письма и брать его деньги и вещи.

— Ну, а какая же участь ожидает детей? — спросил Тургенев своим кисло-сладким фальцетом.— Детей не полагается,— отвечал Щедрин» (А. А. Фет. Мои воспоминания, ч. 1, М. 1890, стр. 367—368; описываемая встреча имела место в январе 1864 г.; см.: «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 754).

В такой «редакции» (на вероятность искаженной передачи Фетом смысла салтыковских слов указала в свое время «Русская мысль», 1890, № 3, отд. XXI, стр. 149; см. также: «Из рукописей Г. З. Елисеева о романе «Что делать?» и «коммуне» В. А. Слепцова».— «Шестидесятые годы. М. А. Антонович и Г. З. Елисеев». М.— Л. 1933, стр. 488—489) вопрос о детях имеет заведомо отталкивающий вид. На самом деле идея фурьеристов не заключает в себе ничего «ужасного». По мнению автора «Нового хозяйственного и социетарного мира...», дети не только «полагаются» в ассоциациях, но и «являются главной пружиной социетарной гармонии и трудового притяжения» (Ш. Фурье. Избр. соч., т. III, М., АН СССР, стр. 336). В «гармоническом строе», основанном на свободном развитии и удовлетворении страстей, принуждение, считает Фурье, непригодно не только в области труда и распределения продуктов его, но и в сфере семейных отношений, в деле воспитания детей. Последнее должно носить не узкосемейный, а общественно-трудовой характер. Эти положения особенно часто извращались противниками социализма, окружались густой завесой утрировок и выдумок, вроде общности жен, печальной участи детей, не знающих своих отцов, и т. п. Автор «Как кому угодно» и высмеивает подобного рода проявления «высокоморального ужаса» (К. Маркс и Ф. Энгельс) защитников старых «основ».

В ДЕРЕВНЕ

Летний фельетон

(Стр. 446)

Впервые — *С*, 1863, № 8, отд. «Современное обозрение», стр. 173—198 (ценз. разр.— 7 сентября). Без подписи. С некоторыми сокращениями и небольшой стилистической правкой фельетон входил в виде седьмого письма в первое и второе издания «Писем о провинции» («Признаки вре-

мени и Письма о провинции», СПб. 1869 и 1872). В последующие издания «Писем о провинции» не включался.

Рукопись и корректуры не сохранились.

Из цензурных материалов об очерке известна лишь запись в «Журнале заседаний С.-Петербургского цензурного комитета» от 4 сентября 1863 г., завершающаяся постановлением: «дозволить с исключением мест, указанных г. цензором»[1].

Очерк — «летний фельетон», как называет его автор,— написан летом 1863 г. в имении Салтыкова Витенево. Как по кругу тем, так и по литературной манере он примыкает к циклу «Наша общественная жизнь». Сам Салтыков предлагал рассматривать содержащееся в февральской хронике за 1864 г. описание крестьянского быта как продолжение «В деревне» (см. наст. том, стр 266) Очерк тесно связан и с предшествующей ему апрельской хроникой за 1863 г.

В «летнем фельетоне» Салтыков излагает, преимущественно в ироническом ключе, свой взгляд на роль и место помещика и помещичьего хозяйства в пореформенной деревне. Помещичий лагерь устами А. Фета заявлял в 1863 г.: «Честной деятельности землевладельцев с каждым шагом открывается обширное и благодатное поле... Невозможно поверить, чтобы добросовестный и сознательный труд не принес наконец своих плодов...»[2] Салтыков же доказывает экономическую бесперспективность помещичьего хозяйствования в пореформенных условиях. До отмены крепостного права при любой, самой низкой производительности труда помещику всегда был обеспечен какой-то доход, ибо труд крестьян был даровым. Переход к наемному труду выдвинул перед помещиком проблему рентабельности, окупаемости затрат. В этих новых условиях отсутствие личной заинтересованности крестьянина в работе на чужом поле подрывает самую возможность доходного ведения помещичьего хозяйства.

Вопрос о сравнительной выгодности крепостного и вольнонаемного труда усиленно обсуждался в русской журналистике 50-х — начала 60-х годов. Этому посвящена, в частности, и статья Н. Г. Чернышевского «О новых условиях сельского быта» (*С*, 1858, № 2). Тогда «Современник» отстаивал мысль, что крепостной труд «разорителен не только для крестьян, но и для самих помещиков». В предреформенный период такая постановка вопроса имела определенный агитационный смысл — ослабить сопротивление помещиков отмене крепостного права. В 1863 г. перед Салтыковым стояла иная цель. Утверждая невозможность рентабельного ведения помещичьего хозяйства на наемном труде, он защищал требование «трудового начала» в землевладении, требование ликвидации помещичьих латифундий. Задачей Салтыкова было доказать, что «деревенское дело выгодно .. только для того, кто принимает в нем участие непосредственным...

---

[1] *ЛН*, т 13—14, М 1934, стр 140

[2] «Русский вестник», 1863, т. 43, январь, стр. 470.

личным тяжелым трудом». Было бы неверно, однако, рассматривать высказывания Салтыкова о бесперспективности помещичьего хозяйствования только как пропагандистский прием. Первые пореформенные годы ознаменовались крахом многих имений, не сумевших приспособиться к капиталистическим отношениям. Писатель, несомненно, учитывал эти факты, включая и свой собственный неудачный опыт хозяйствования в Витеневе (см. его письма к А. Ф. Каблукову в тт. 18 и 19 наст. изд.).

«В деревне» перекликается с апрельской хроникой за 1863 г. не только в оценке перспектив помещичьего хозяйствования, но и в критике «землевладельческого либерализма». Нарисованная Салтыковым картина управления «селом Многоболтаевым с деревнями» высмеивала либерально-славянофильскую программу преобразования всего государственного устройства на началах соединения самодержавия с сословно-представительными учреждениями. Идеализируя допетровскую Русь, славянофилы усматривали в ней образец сочетания власти государя и помещиков с волей народа. В этом смысле выразительна формулировка решений многоболтаевской сходки: «помещик приказал, а выборные положили», пародирующая формулу решений боярской думы допетровских времен — «Государь указал, и бояре приговорили». Однако объективно салтыковская сатира выходила за пределы критики собственно славянофильского либерализма. В условиях подготовки земской реформы она показывала подлинную цену административно-помещичьего либерализма, готового в любой момент «бросить» и «велеть действовать решительно», то есть обратиться к репрессивным мерам.

Видное место в «летнем фельетоне» занимает постоянная для Салтыкова тема народной пассивности, «прекраснейшим подспорьем» которой, по замечанию сатирика, служит «почти совершенное отсутствие грамотности». В этой связи Салтыков возобновляет начатые еще в «Губернских очерках» атаки на В. И. Даля (см. т. 2 наст. изд., стр. 263 и 539), который выступил в конце 50-х годов с рядом статей и заметок о вреде грамотности для крестьян («Письмо к издателю А. И. Кошелеву» — «Русская беседа», 1856, кн. III; «Приписка к письму А. И. Кошелеву, по поводу возражений на него» — *ОЗ*, 1857, № 2; «Заметки о грамотности» — «СПб. ведомости», 1857, № 245 и др.). Выпады по адресу дореформенных статей Даля отнюдь не были в 1863 г. полемическим анахронизмом. В дворянско-консервативной публицистике первых пореформенных лет было немало высказываний, совершенно аналогичных далевским (см., например, «Заметки о вольнонаемном труде» А. Фета — «Русский вестник», 1862, т. 39, кн. 5; «Из деревни» его же — «Русский вестник», 1863, т. 44, кн. 3).

В связи с проблемой народной пассивности Салтыков подымал остро злободневный для тех лет вопрос о росте в деревне числа питейных заведений и распространении пьянства. Салтыков обвинял правящий класс в поощрении пьянства как средства увековечить безграмотность и темноту крестьянства, отвлечь его «от роптаний». Охранительная печать обычно лицемерно сокрушалась по поводу пьянства в народе, но на страницы реакционных изданий прорывались и откровенные панегирики распространению

кабаков. Таким духом проникнута, например, опубликованная в мае 1863 г. в № 17 «Современной летописи» статья некоего Н — ова «Уездная летопись». Весьма возможно, что «летний фельетон» в рассматриваемой части представляет собой полемику с автором «Уездной летописи» — настолько близки по ходу изложения, по приводимым фактам, хотя и совершенно противоположны по их оценке, эти статьи. Иронические высказывания о «поверхностности» суждений простолюдина, считающего помещика бездельником, направлены против «Русского вестника»: анонимный автор статьи «Риль о народном труде» (1862, № 6) видит в таком «заблуждении» народа один из источников революции. Таким образом, «летний фельетон» насыщен скрытой, но понятной современникам полемикой с дворянско-консервативной литературой.

Стр. 446. *...который обучен на скрипке или виолончели, выводит смычком серенаду Шуберта.*— Намек на Николая Петровича Кирсанова из тургеневских «Отцов и детей», игравшего на виолончели «Ожидание» Шуберта.

Стр. 447. *...с одной стороны... реет... литературное воронье... а с другой — ...кипят... споры о различии между Руслsндией и Русью...*— Здесь и дальше сопоставляются, а по существу, сближаются московские реакционно-официозные и славянофильские газеты, прежде всего издания и публицистика Каткова и Павлова («п о д а ч к а») с одной стороны, а с другой — Ив. Аксакова («в д о х н о в е н и е»). О выражении последнего «Р у с л я н д и я» и его же метафорическом образе «ф о р е й т о р» см. прим. к стр. 116 наст. тома.

...конфектные билетики...— небольшие стихотворения галантного характера. В начале 60-х годов с публицистическими статьями консервативного толка выступили наряду с А. Фетом авторы альбомных романсов П. Кусков, Е. Зарин и др. О превращении авторов «конфектных куплетцев» в «невразумительных публицистов» писало и «Русское слово» (см. «Дневник темного человека» — «Русское слово», 1862, май; «Забытые уголки Парнаса» — «Русское слово», 1863, январь).

Стр. 447—448. *Говорят, будто бы и между деятелями этой категории следует различать «искренность»...*— По-видимому, подразумеваются слова Герцена по поводу позиции «Дня» в польском вопросе. «Вы,— обращался Герцен к И. С. Аксакову,— если и *на патриотизме,* то все же не на службе... Но, по несчастию, можно быть очень искренним и очень ошибаться... самый искренний человек под влиянием страстного увлечения может, любя истину, принимать за правду всякую ложь...» («„Колокол" и „День"».— «Колокол», л. 167 от 10 июля 1863; ср. А. И. Г е р ц е н. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVII, стр. 203).

Стр. 450. *Приведу один, очень маленький пример...*— Пример этот заимствован у Фета («Заметки о вольнонаемном труде» — «Русский вестник», 1862, т. 39, № 5). Тот факт, что помещику дешевле купить крестьянскую птицу, чем выкормить ее в своем хозяйстве, Фет объяснял исключительно

потравами: мужику корм будто бы ничего не стоит, ибо кормится его птица на помещичьем поле. Достаточно, по мнению Фета, ввести строгие штрафы, как помещичье хозяйство докажет свои преимущества.

Стр. 451. *...добрая моя знакомая, г-жа Падейкова.*— Салтыков ссылается на слова героини своего рассказа «Госпожа Падейкова» из «Сатир в прозе» (см. т. 3 наст. изд., стр. 259 и след.).

Стр. 453. *Вот один образчик подобного заклинания...*— Установить фольклорный источник заклинания, приведенного Салтыковым, не удалось. По форме оно вполне аналогично заклинаниям, публиковавшимся этнографами того времени. Заклятие «Шикалу, ликалу!» встречается, например, у И. П. Сахарова («Сказания русского народа», т. 1, кн. 2, СПб. 1840, стр. 47), но, возможно, Салтыков заимствовал его из «Князя Серебряного» А. К. Толстого (см. т. 5 наст. изд., стр. 301).

...под «тайнобрачными» разумею некоторых газетчиков...— По принятой в то время ботанической классификации К. Линнея, тайнобрачными именовались растения, не имеющие цветов (грибы, мхи, лишайники и т. п.). Салтыков обыгрывает этот термин, намекая на «тайный брак», в который вступили с правительством некоторые органы печати, в том числе и либерального направления. См. т. 5, стр. 620.

Стр. 454. *...затеять... игру в сближение сословий.*— О «сближении сословий» Салтыков подробнее писал в очерке «Глуповское распутство» (т. 4 наст. изд.), в статье «Где истинные интересы дворянства?» (т. 5 наст. изд.) и в апрельской хронике «Наша общественная жизнь» за 1863 г.

Стр. 455. *...нынешним летом оно прекратилось, ибо за сим строго наблюдали «Московские ведомости» и «День».*— Имеется в виду шовинистическая кампания названных газет в связи с польским восстанием 1863 г.; в ходе этой кампании всякая, даже либерально-благонамеренная критика властей объявлялась результатом «польской интриги».

Стр. 459. *...для пополнения запасных хлебных магазинов... ввести у себя общественную запашку...*— Запасной хлебный магазин — сельский зерновой склад, из которого выдавались ссуды зерна на посев и продовольствие в случае неурожая. Создавались и пополнялись запасы хлебных магазинов, как правило, за счет обязательных взносов зерном с каждой ревизской души, но был возможен и другой порядок: часть надельных земель выделялась для совместной обработки, и в запасы поступал урожай от этой «общественной запашки». Общественная запашка представляла в дореформенные годы одну из разновидностей барщины. Для заведования запасным магазином сельское общество избирало из своей среды или нанимало особого хлебного смотрителя (см. стр. 465 наст. тома).

Стр. 460. *...персеверировать* — не отступать (от *франц.*— persévérer).

Стр. 465. *...другое средство для выпивки — это пóмочь.*— Помочь (помощь) — один из сохранившихся в русской деревне XIX в. пережитков общинного строя: обработка «миром» земельных участков больных, сирот и т. п. Славянофилы видели в помочи проявление особой черты русского национального характера. После отмены крепостного права обычай

«помочи» нередко использовали в своих интересах помещики и кулаки (см также «Сон в летнюю ночь» в т. 13 наст. изд.).

Стр. 467. *Нет ни «Веселой беседушки»... место их заступили: «Ты, Настасья, ты, Настасья!», «Он меня разлюбил!», «Ты не поверишь!»...* — См. т. 4, прим. к стр. 31. «Ты, Настасья» (или «Эх, Настасья») — русская цыганская песня. «Он меня разлюбил» — романс К. П. Вильбоа на слова Н. И. Пашкова. «Ты не поверишь, как ты мила» — романс П. П. Булахова на слова М. М. Оба последних произведения относятся к так называемым «городским романсам», популярным в мещанской среде и испытавшим сильное влияние цыганской песни.

ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА

1864

В публицистике Салтыкова 1863—1864 гг. заметное место принадлежит полемическим выступлениям против журналов «почвеннического» направления «Время» (январь 1861 г.— апрель 1863 г.) и «Эпоха» (январь 1864 г.— март 1865 г.).

Официальным редактором обоих журналов был М. М. Достоевский, но фактическим руководителем и идейным вдохновителем этих изданий являлся Ф. М. Достоевский, незадолго до того возвратившийся к литературной деятельности после сибирской каторги и ссылки. Идейными соратниками Достоевского, активными публицистами «Времени» и «Эпохи» стали Н. Н. Страхов и А. А. Григорьев.

«Почвенники» утверждали, что отмена крепостного права самим правительством знаменует начало эпохи социального мира, что реформа устраняет источники сословного антагонизма в стране и имеет для исторических судеб России провиденциальный смысл. Высшие классы, оторванные от народа в результате реформ Петра I, должны теперь преодолеть двухсотлетнюю обособленность и возвратиться в лоно народной жизни, на родную «почву». Народу же, чтобы осуществилось это слияние, нужны прежде всего грамотность и образование. «Книжность и грамотность» — так назывались программные статьи Ф. М. Достоевского во «Времени».

Метафорическое определение «почва» обозначало нравственные устои русского народа, русский национальный характер, будто бы в корне отличный от характера «западного человека». Если по отношению к Западной Европе исторически сложившееся разделение наций на антагонистические классы представлялось явлением закономерным, то по отношению к России такое разделение признавалось несущественным, легко устранимым в силу идеальных особенностей «почвы»[1]. Революционная борьба объявля-

---

[1] См «Введение» Достоевского к «Ряду статей о русской литературе».— «Время», 1861, № 1; ср. Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 13, М.— Л. 1930, стр. 48.

лась чуждой духу русского народа. Мирный способ ликвидации социальных противоречий на основе нравственности, заложенной в национальном характере,— вот то «новое слово», которое, по мнению почвенников, несет Россия всему человечеству.

В журнально-политической борьбе 60-х годов почвенники стремились занять некое среднее положение. При всем очевидном сходстве их идей со славянофильскими были здесь и существенные различия. Почвенничество (в особенности у Достоевского) — направление демократическое, с резко отрицательным отношением к крепостному праву. Всякая попытка славянофильской идеализации прошлого вызывала решительный протест Достоевского. Славянофильский консерватизм, барски пренебрежительное отношение к народу Достоевский не раз высмеивал в статьях начала 60-х годов[1]. В первое время он с большим сочувствием высказывается о «западниках», причисляя к ним и публицистов «Современника», называет их реалистами, не боящимися результатов анализа[2]. Однако когда он убеждается, что «результаты анализа» ведут руководителей «Современника» не к «почве», а к идее революции, он начинает упрекать их в незнании русской действительности, в «кабинетности», оторванности от народа, отсутствии патриотизма. В дальнейшем ходе борьбы противоречия между «Временем» и его наследницей «Эпохой», с одной стороны, и «Современником» — с другой, становятся все более резкими и непримиримыми.

Идейные разногласия между «Современником» и «Временем» обнаружились уже в феврале 1861 г., когда появилась статья Достоевского «Г—бов и вопрос об искусстве», полемически направленная против некоторых литературно-критических суждений Добролюбова в статье «Черты для характеристики русского простонародья».

Острая теоретическая полемика между «Современником» и «Временем» началась в конце 1861 г. статьей М. А. Антоновича «О «почве» (не в агрономическом смысле, а в духе «Времени»)» (*С*, № 12). Антонович отмечает несостоятельность понятия «почва», бесплодность попыток примирить славянофилов и западников и, главное, невозможность изменить положение народа с помощью одного лишь образования[3]. Антоновичу отвечал Страхов (псевдоним — Н. Косица): «Пример апатии (письмо в редакцию «Времени» по поводу статьи г. Антоновича «О „почве"» («Время», 1862, № 1). В следующей статье, «О духе «Времени» и о г. Косице как наилучшем его выражении» (*С*, 1862, № 4), Антонович рассматривает парадоксальное обстоятельство — идейную зависимость почвенничества от западной философии: от дурно понятого гегельянства (Страхов) и шеллингианства (Ап. Григорьев). Антонович вскрывает социальный смысл

---

[1] См., например, «Ряд статей о русской литературе. V. Последние литературные явления. Газета «День».— «Время», 1861, № 9; ср. Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч, т. 13, стр. 154.

[2] «Последние литературные явления».— «Время», 1861, № 9; ср. Ф. М. Достоевский. Цит. изд., т. 13, стр 149.

[3] М. А Антонович. Избранные статьи, М. 1938, стр. 372.

почвеннической проповеди примирения, которая, несмотря на весь критицизм по отношению к славянофилам, имеет, в сущности, славянофильское происхождение: «под народностью они разумеют православие и основанное на любви и взаимном согласии отношение между властями и подчиненными, противоположное духу рабства и мятежа, господствующему на Западе» [1].

В связи с тем, что в июне 1862 г. издание «Современника» было приостановлено на восемь месяцев, полемика временно прекратилась. Она возобновилась в 1863 г., ведущая роль в ней принадлежала теперь Салтыкову. Общее обострение идейной борьбы в этот момент перелома в общественно-политическом движении 60-х годов отразилось и на полемике «Современника» с «Временем» и особенно «Эпохой». Она приобрела исключительно резкий характер и по содержанию и по форме.

Формально полемика возобновилась с появления рецензии Салтыкова «Литературная подпись...» (*С*, 1863, № 1—2), но предмет разногласий с журналом «Время» касался здесь лишь частного вопроса литературной этики и более общего значения не имел (см. т. 5, стр. 334—337). Вскользь позиций «Времени», нашедших выражение в объявлении о подписке на 1863 г. («Время», 1862, № 9), Салтыков коснулся в январско-февральской хронике 1863 г. (см. стр. 21). Однако начало нового этапа в идейной борьбе датируется мартом 1863 г., когда в «Современнике» в составе «Нашей общественной жизни» был напечатан фельетон «Тревоги „Времени"». Салтыков дал здесь обобщенную характеристику направления журнала, его почвеннической идеологии, опираясь на статью Достоевского «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» («Время», 1863, № 1), основные положения которой восходят к программному документу почвенников — объявлению о подписке на 1863 г. Ключ к пониманию полемики дает сравнение общей настроенности Достоевского и Салтыкова по отношению к наступившей эпохе. Если оценка современности в «Объявлении» «Времени» выдержана в мажорном тоне [2], то Салтыков, напротив, в мартовской хронике характеризует русскую действительность после событий 1862 г. как опустошенную, «картонную жизнь»,

В «Тревогах „Времени"» Салтыков предостерегал почвенников, что их «благородство» граничит с благонамеренностью: «Вы начнете катковствовать в самом непродолжительном времени». Хроникер «Современника» резко выступает против попыток «Времени» клеймить деятелей враждебного лагеря именем «хлебных свистунов», то есть приспособленцев.

В февральском и мартовском номерах «Времени» 1863 г. появилось большое публицистическое произведение Достоевского «Зимние заметки о

---

[1] *С*, 1862, № 4, стр. 262.

[2] «Нам кажется, что с нынешнего года наша прогрессивная жизнь, наш прогрессизм (если можно так выразиться) должен принять другие формы и даже в иных случаях и другие начала... Это слишком очевидно, и на деле в этом согласны и прогрессисты и консерваторы» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 511).

летних впечатлениях. Фельетон за все лето» — результат первой поездки писателя в Западную Европу. Страстное обличение буржуазного строя сочетается здесь с пропагандой спасительной роли русской почвы и с резкой критикой (впервые у Достоевского) французского утопического социализма. Вероятно, это последнее обстоятельство привлекло особое внимание Салтыкова. Намечая полемические темы для «Свистка» в апреле 1863 г., он дважды имеет в виду «Зимние заметки» («Безумная заметка о сумасшедших впечатлениях. Фельетон нового мормона за все время одержания бесами» и «Опыты сравнительной этимологии, или Мертвый дом, по французским источникам» — см. в наст. изд. т. 5, стр. 303—304, 624).

Запрещение «Времени» в мае 1863 г. (см. прим. к стр. 124) прервало полемику. Лишь с января 1864 г. братья Достоевские получили возможность возобновить журнал под названием «Эпоха», в первых же номерах которого было напечатано новое произведение Достоевского «Записки из подполья» — исповедь героя-индивидуалиста, ушедшего в глубокое душевное подполье, высмеивающего «высокие и прекрасные» идеи человеческого братства как несбыточные. Подпольный человек нападает на теории материализма и социализма, на высказывания идеологов «Современника», в том числе — на рассуждения Салтыкова о картине Ге «Тайная вечеря» и очерк «Как кому угодно» (см. наст. том, стр. 148 и 407). «Записки» как бы вызывали Салтыкова на продолжение спора, и Салтыков принял вызов. Сатирическому обличению почвенничества и журнала «Эпоха» посвящена в основном статья «Литературные мелочи» с «драматической былью» «Стрижи» (*С*, 1864, № 5). Уже в «Тревогах „Времени"» Салтыков сравнил бессодержательность почвеннических теорий с птичьим гомоном. Новая «комедия» (то есть «Стрижи») «заключала в себе полную характеристику таких намерений и воззрений, которые по своей сущности вполне заслуживали наименования птичьих» («Литературные кусты», наст. том, стр. 508). Заседание редакции «Эпохи» автор «драматической были» представил в виде слета стрижей в «запустелом, сыром погребе» (то есть «подполье»). Главное желание «стрижей» — не гневить больше предержащие власти, печатать сочинения «тихие и кроткие». Тонко улавливая направленность «Записок из подполья», Салтыков называет их «Записками о бессмертии души», а подпольного человека «больным и злым стрижом». Сцена заканчивается появлением Каткова, чем еще более подчеркивается идейная зависимость «Эпохи», воображающей себя не подвластной никаким авторитетам, от «Русского вестника» и «Московских ведомостей».

«Литературные мелочи» явились также ответом на статью Страхова «Заметки летописца» («Эпоха», 1864, № 3), в которой впервые на страницах журнала почвенников затрагивался вопрос о разногласиях между «Современником» и «Русским словом». (На связь «Стрижей» с «Заметками летописца» указал в статье «Литературные кусты» сам Салтыков — см. стр. 507 наст. тома.) Эти разногласия обнаружились уже в 1863 г. и приобрели резкий характер в начале 1864 г. (О причинах и ходе полемики до марта 1864 г. см. в прим. к январской и мартовской хроникам

«Нашей общественной жизни» за 1864 г.) В ответ на мартовскую хронику в апрельском номере «Русского слова» появились еще две неподписанные острепамфлетные статьи. В одной из них, под заглавием «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист „Современника"», автор — очевидно, редактор журнала Благосветлов — прямо заявлял: «...есть границы унижения, за которыми возвратить прежнее сочувствие уже будет нелегко... Ведь нашло же «Русское слово» возможность не смешивать уважаемых нами сотрудников «Современника» с чужой овцой, попавшей в их круг». В другой статье-фельетоне с входящим в нее памфлетом под названием «Ты пойми, пойми, мой милый друг (Романс в действии)» — пародия на романсные заглавия печатавшихся тогда рассказов из цикла «Помпадуры и помпадурши» — Зайцев изображал жизненный путь Салтыкова как биографию некоего беспринципного служебного карьериста и честолюбца, случайно очутившегося в числе людей, «близких к редакции одного журнала», то есть «Современника».

Первоначальный текст ответа Салтыкова на памфлет Зайцева был и более резок и более пространен, о чем свидетельствует сохранившаяся корректура «Литературных мелочей» (см. стр. 698). Сокращения, с которыми статья появилась в печати, бесспорно сделаны по настоянию редакции «Современника». Трения между Салтыковым и редакцией по вопросам ведения полемики с «Русским словом» все более усиливались, так что от дальнейшего участия в ней он вынужден был отойти. Эта ситуация, ставшая известной во враждебном лагере не только по литературным источникам, но и по слухам, послужила темой статьи Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» с входящим в нее памфлетом «Отрывок из романа „Щедродаров"», который был ответом на комедию «Стрижи» («Эпоха», 1864, № 5, без подписи). В свою очередь, Салтыков написал новую статью, направленную против последнего выступления Достоевского, которая, однако, не была напечатана и, по-видимому, не сохранилась, кроме первой ее страницы (см. стр. 495), включенной в заменившую ее статью Антоновича «Стрижам (послание обер-стрижу, господину Достоевскому)» (1864, № 7) [1].

Не имея возможности из-за сложившихся внутриредакционных отношений ответить статьей на памфлет Достоевского «Щедродаров», Салтыков пишет «Заметку», предназначенную для августовской книжки, но также и по тем же причинам не появившуюся в «Современнике». В течение осени и зимы 1864 г. Салтыков, намереваясь продолжать полемику, написал еще несколько статей, но ни одна из них не увидела света при его жизни («Гг. „Семейству М. М. Достоевского", издающему журнал „Эпоха"», «Журнальный ад», «Но если уж пошла речь об стихах...», «Литературные кусты», «О добродетелях и недостатках...», «Петербургские театры. Наяда

---

[1] В послании «Стрижам» использовано и еще одно место из отвергнутой статьи Салтыкова, не привлекавшее ранее внимания исследователей, см. ниже, стр. 702.

и рыбак») Эти статьи и по содержанию, и по разнообразию стилистических средств представляют блестящие образцы творчества Салтыкова-полемиста. Емкий сатирический образ «Девушкина, сидящего в сатанах» — в статье «Журнальный ад» — как символ противоестественного соединения гуманистической темы маленького человека с философией «подполья» рисуется на фоне кромешного ада современной журналистики. В «Литературных кустах» Салтыков подробно разъясняет почвенникам, что с теоретической точки зрения их программные заявления есть «полное оскорбление здравого смысла», а в рецензии «О добродетелях и недостатках.» (т. 5 наст. изд.) прозрачно намекает, что «нестроптивая» «стрижиная» литература выгодна охранителям порядка и относится к числу «непредосудительных ремесел», так же как и «балет». Сравнение почвеннической философии с балетом, начатое еще в «Современных призраках», развернуто в статье «Петербургские театры» (см. т. 5 наст. изд.). На основе этого уподобления Салтыков создает программу «балета» «Мнимые враги, или Ври и не опасайся!», где «Эпохино семейство» стрижей ищет покровительства у Давилова (олицетворение консервативной силы) и у Хлестакова (олицетворение либерализма).

Хотя журнальная борьба между Салтыковым и Достоевским прервалась в 1864 г., внутренние полемические связи между многими темами их творчества продолжались и позднее (см.: С. С. Борщевский. Щедрин и Достоевский, М. 1956, а также прим. к рецензии Салтыкова на роман Омулевского «Светлов, его взгляды, характер и деятельность», т. 9 наст. изд.; литературу о «расколе в нигилистах» см. на стр. 640—641 наст. тома).

НЕИЗВЕСТНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ

(Стр. 471)

При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые — *ЛН*, т. 11—12, М. 1933, стр. 113—114

Сохранилась чистая корректура статьи *(ИРЛИ)*. Подпись: Хроникер «Современника».

Ответ на нападки «неизвестного корреспондента» (письмо которого не сохранилось или не разыскано) по поводу январской хроники «Нашей общественной жизни» за 1864 г., по-видимому, предназначался для февральской книжки «Современника», однако там не появился. Работа над письмом «Неизвестному корреспонденту» поэтому может быть датирована второй половиной февраля — началом марта 1864 г. (ценз. разр. январской книжки «Современника» — 8 января и 10 февраля; февральской книжки — 9 марта).

Более подробно, с буквальным повторением нескольких слов, Салтыков ответил неизвестному корреспонденту в мартовской хронике «Нашей общественной жизни» за 1864 г. в разделе «Вислоухие и юродствующие» (см. стр. 326 наст. тома).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЛОЧИ

(Стр. 473)

Впервые — *С*, 1864, № 5, отд. «Современное обозрение», стр. 1—26 (ценз. разр.— 14 мая и 10 июня). Без подписи.

Сохранились: 1) вторая чистая корректура первой редакции статьи под названием «Наши литературные мелочи», набранная 29 апреля и адресованная А. Н. Пыпину (еще без «драматической были» «Стрижи»); 2) отдельная корректура входящей в «Литературные мелочи» «драматической были» «Стрижи», без каких-либо помет, набранная где-то между 29 апреля и 15 мая и дающая первую редакцию «Стрижей»; 3) вторая чистая корректура окончательной редакции, с включением «Стрижей», набранная 15 мая и адресованная А. Н. Пыпину (все в *ИРЛИ*).

Печатается по тексту «Современника» с устранением цензурных купюр.

«Литературные мелочи» находятся в прямой связи с написанной для апрельского номера и не увидевшей света хроникой «Наша общественная жизнь» (собственно, со второй ее частью, начинающейся словами «Археологи свидетельствуют...»).

Убедившись в том, что апрельская хроника не будет напечатана, Салтыков перенес часть ее текста в новую статью «Наши литературные мелочи», название которой, возможно, должно было указывать на связь с циклом «Наша общественная жизнь» (от слов: «Вот, например, что повествует в 16 № «Дня» г. Касьянов...» до слов: «...а это явление любопытное...» — стр. 353, строка 23 — стр. 361, строка 25). Для окончательной редакции, озаглавленной «Литературные мелочи», текст «Наших литературных мелочей» был серьезно переработан и дополнен, в частности заново была написана «драматическая быль» «Стрижи». Со следующей июньской книжки «Современника» название «Литературные мелочи» было присвоено целому циклу критико-публицистических статей, автором которых был, однако, уже не Салтыков, а Антонович.

В корректуре «Наших литературных мелочей» имеется целый раздел статьи, посвященный Зайцеву-Кроличкову и не вошедший в журнальную публикацию (после «Грустно», стр. 483, строка 3). По-видимому, он был исключен по совету или настоянию редакции «Современника». Приводим этот текст:

Я мог бы многое сказать здесь о философе Кроличкове, но умалчиваю об этом только потому, что он Кроличков, а не Зайцев. Будь он мало-мальски Зайцевым, я, наверное, почтил бы его. Я рассказал бы о том, какие легенды сопровождают его рождение, о том, как он, еще припадая к сосцам своей матери, уже возмущался своею несамостоятельностью, о том, как он, начитавшись Молешотта, пожирал головки зажигательных спичек, в чаянии, что будет от того умнее, о том, как он рассуждал с публицистом Благомрачновым, где им следует говеть, о том, наконец, как он, посетив некоторый благопристойный дом, явился туда во фраке, по-

забыв надеть панталоны, и т. д. и т. д. Но повторяю: я умолчу об этом, потому что я милосерд

Однако не могу скрыть: Кроличков занимает меня. Это своего рода тип. Тип, правда, мизерный и ничего не доказывающий, но во всяком случае тип. Есть множество людей, которые положительно только бременят землю своим по ней шатанием, но опытный общественный физиолог не должен пренебрегать и ими в своих исследованиях, ибо они представляют собою те самые уродливости, которые свойственны именно такому, а не другому общественному строю.

И до такой степени отчетливо и ясно восстает этот тип передо мной, что много мне нужно над собой власти, чтобы преодолеть желание изобразить его. И уверяю вас, что это был бы совсем не гимназист Горобец или прогрессист кадетик из «Взбаламученного моря», нет, это был бы человек в полной мере и совершенно искренно убежденный, что употребление в пищу зажигательных спичек удвоит его умственные способности.

Когда-нибудь, впрочем, я предоставлю себе заняться этим типом в полное свое удовольствие, когда? — это другой вопрос, разрешение которого будет зависеть от времени и от степени досуга, которым я буду обладать.

Также, нужно думать, по совету или настоянию редакции «Современника» было исключено следующее место, имевшееся в корректуре «Стрижей» (после: «(Занавес опускается)», стр. 494, строка 36):

В одном из следующих номеров «Современника», БЫТЬ МОЖЕТ, будет напечатана:

Беседа философа Кроличкова с пустыней,

или

Мальчик, у которого фосфор не в голове,
а на голове

Драма-симфония.

Стр. 473. *Что такое дрянь?* — В рассуждении о дрянных людях можно усмотреть полемический ответ Салтыкова на выступление героя «Записок из подполья» против автора очерка «Как кому угодно», который назван поклонником «гадчайшей и бесспорной дряни», то есть прежде всего идей Фурье о гармонии страстей (см. прим. на стр. 683). Салтыков же переадресовал этот упрек самим почвенникам с их литературным органом, созданным для «фильтрации чепухи». В статье «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» Достоевский заявил, что полемический смысл этой части памфлета Салтыкова непонятен: «Ну скажите, в чем тут идея: что не одно то дрянь, что валяется на скотном дворе, а есть и люди дрянь. Но кто же этого не знал?» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 338).

Стр. 478. *...со слов некоего г. Краснова...* — В корректуре этот текст был обширнее:

...со слов г. Краснова стремления к обособлению Земли Войска Донского от империи приписываются уже не каким-нибудь честным доброхотам, занимающимся печатанием азбук на местных наречиях, а — страшно вымолвить — самому войсковому начальству! Понятно, сколько нужно иметь проницательности и прозорливой уверенности, чтобы формулировать такое смелое обвинение!

В статье Н. Краснова, напечатанной в «С.-Петербургских ведомостях» (1864, № 83 от 12 апреля) речь шла о выступлениях донских казаков против права иногородних основывать на Дону свои поселения.

...«Московские же ведомости» на все дела сего мира имеют взгляд сугубый... — В «Московских ведомостях» (1864, № 89 от 23 апреля) напечатан отклик Каткова на статью Краснова, в которой под видом борьбы с сепаратизмом отвергались малейшие притязания на развитие национальной культуры народов России.

Грае, грае, воропае! Гоп! Гоп! — В романе Тургенева «Рудин» Пигасов пародирует украинскую народную песню: «По-пид горою, по-пид зеленою, грае, грае, воропае! Гоп! Гоп!»

Стр. 479. *Судя по корреспонденциям «Волынца»...* — В «Московских ведомостях» 1864 г. за подписью «Малоросс-Волынец» были напечатаны две статьи («О новой фазе нашей хохломании. Письмо к редактору» в № 13 от 17 января и «Ответ г. Костомарову» в № 86 от 16 апреля), направленные против деятельности Н. И. Костомарова как украинского «сепаратиста», где, в частности, осуждалось решение Академии наук одобрить украинский перевод Евангелия.

«Московские ведомости» собираются воспользоваться факультативной цензурой... — В связи с подготовкой цензурной реформы (см. т. 5 наст. изд., стр. 596) «Московские ведомости» предполагали получить преимущественное право представлять материалы в Цензурный комитет для предварительного ознакомления до печати — в корректурных гранках набора. Как правило же, все издания поступали в цензуру уже в отпечатанном виде, то есть перед выпуском в свет. В случае неодобрения такое издание уже не могло быть исправлено и подвергалось запрету (так называемая карательная цензура).

Стр. 480. *...именно на Страстном бульваре...* — См. прим. к стр. 272.

...подобно г. Феоктистову (см. письмо г. Касьянова в 16 № «Дня») желали бы участвовать на первом рауте... — В № 16 газеты «День» от 18 апреля 1864 г. И. С. Аксаков (псевдоним — Касьянов) высмеял литератора Е. М. Феоктистова за участие в рауте у министра иностранных дел А. М. Горчакова.

Стр. 482. *...известный своими трудами не столько по части истории, сколько по части политической токсикологии.* — Прямое указание на роль провокатора-предателя, которую сыграл поэт-переводчик В. Д. Костомаров в деле Чернышевского. Этот фрагмент отсутствует в журнальном тексте.

Созия — двойник (от *лат.* Sosia — по имени персонажа комедии Плавта «Амфитрион»).

...есть настоящий Зайцев, который ничего не пишет... — Намек на то, что Зайцеву, чтобы быть «настоящим», не следовало бы вообще ничего писать.

...псевдо-Зайцев... вместе с Кузьмой Прутковым... — См. прим. к стр. 376.

...«Мальчик, у которого фосфор не в голове, а на голове». — По-види-

мому, намек на то, что хотя фельетон Зайцева о Яше Злючкине, направленный против Салтыкова («Русское слово», 1864, № 4), появился без подписи, его автора легко узнать. «Ф о с ф о р... н а г о л о в е» — в значении «На воре шапка горит».

...ни Страховым, ни Косицей.— См. прим. к стр. 44.

Стр. 483. *...девица Инна Горобец...*— См. прим. к стр. 360.

...Россия не в Москве, а в России...— Ироническое упоминание о передовой статье И. С. Аксакова, напечатанной в № 15 газеты «День» от 11 апреля 1864 г., в которой автор писал: «Россия не в Москве: среди сынов она, говорится в одной старинной трагедии... Тогда как у других народов обладание столицею тождественно с обладанием всею страною, и тот, например, кто господствует в Париже, тот господин и владыка над всею Францией,— у нас напротив: пожар Москвы только доказал миру воочию и въявь, что истинная сила России не в столице, а в русской земле...»

Стр. 484. *На страницах этого № вновь появился г. Касьянов... и от нечего делать повел речь о нигилистах.*— «Я нашел, что нигилизм в литературе очень присмирел»,— писал Аксаков в № 16 «Дня» от 18 апреля 1864 г. «И поверьте, гг. публицисты, фельетонисты и прочие,— нигилизм, который вас так пугает, скоро завянет на чистом свободном воздухе, от жгучих лучей солнца правды...»

И ты, когда на битву с ложью...— См. прим. к стр. 354.

Стр. 486. *«Телемахида».*— См. прим. к стр. 355.

Стр. 487. *...не может отличить Ничкину от Белотеловой...*— В статье «Русский театр. I» («Эпоха», 1864, № 2) А. Григорьев, описывая спектакль Александринского театра «За чем пойдешь, то и найдешь» («Женитьба Бальзаминова»), заметил: «Даже Раиса и Анфиса хороши, а Ничкина так просто прелесть». Следовало написать: «Белотелова», Ничкина — тоже купеческая вдова, но лицо из первой части трилогии Островского о Бальзаминове — «Праздничный сон — до обеда». Свою следующую статью «Русский театр в Петербурге. II» Григорьев начинает с извинения: «Белотелову в «Женитьбе Бальзаминова» я назвал Ничкиной, в извинение чего не имею права сказать даже, как гоголевский городничий: „по неопытности"». Можно отметить, кстати, что «Женитьба Бальзаминова» была напечатана во «Времени» (1861, № 9).

...вместо... «...чару зелена вина»... «чару велена зина».— Высмеивается дефект речи актера А. П. Славина, часто переставлявшего слоги в словах. См. об этом также в статье Салтыкова «Петербургские театры» (I) — т. 5 наст. изд., стр. 163.

Стр. 488. *Действующие лица: Стриж первый, редактор журнала* — М. М. Достоевский; *Стриж вторый, философ* — Н. Н. Страхов; *Стриж третий, эстетик* — А. А. Григорьев; *Стриж четвертый, беллетрист унылый* — Ф. М. Достоевский; *Стриж пятый, беллетрист веселый* — Г. П. Данилевский (псевд. А. Скавронский); *Стриж шестый* — поэт Н. Гербель; *Стриж седьмый* — поэт Ф. Берг.

...«Возобновленный Сатурн» — ироническое название «Эпохи».

...Стрижу второму пришла несчастная мысль слетать в злополучный некоторый край... — Намек на статью Страхова о событиях в Польше «Роковой вопрос», из-за которой было закрыто «Время».

...«Вдруг вздумал странствовать один из них, лететь...» — Несколько измененная строка из басни И. А. Крылова «Два голубя»: «Нет, вздумал странствовать один из них — лететь...»

Стр. 489. *...некто Петерсон... за что они нас обидели?* — См. прим. к стр. 124.

Андрей Премудрый — А. А. Краевский — редактор-издатель «Отечественных записок».

Стр. 492. *...перепечатать из той же «Эпохи» новое произведение И. С. Тургенева.* — Повестью Тургенева «Призраки» открывался первый номер «Эпохи» за 1864 г.

...рассказ под названием «Старые и новые стрижи», присланный мне из провинции. — «Старые и новые порядки (записки помещика)» О. Ержинского, напечатанные в «Эпохе», 1864, № 1.

...нашего русского Купера! — Речь идет о Г. П. Данилевском.

Стр. 493. *...ро... ро... ро...* — первая строчка пародийного стихотворения Ф. М. Достоевского из статьи «Опять Молодое перо» («Время», 1863, № 3), направленной против Салтыкова.

Стр. 494. *...изложите, пожалуйста, в форме письма ко мне...* — Критические статьи в форме письма в редакцию журнала постоянно помещались во «Времени» и «Эпохе», см., например, «Нечто об опальном журнале (письмо к редактору)» Н. Косицы («Время», 1862, № 5); «Нечто об авторитетах (письмо в редакцию «Времени»)» его же («Время», 1862, № 12); «Новое художественное произведение и наша критика (письмо в редакцию «Времени»)» его же («Время», 1863, № 2) и др.

Стриж вторый. Принес покаяние и получил прощение. — Активная деятельность Страхова, принимавшего все меры, чтобы оправдать себя и редакцию «Времени» в связи со статьей «Роковой вопрос», была, очевидно, известна Салтыкову. Впоследствии Страхов писал в «Воспоминаниях»: «Со своей стороны, я делал все, что можно и что мне советовали. Я тотчас написал М. Н. Каткову и И. С. Аксакову, составил обьяснительную записку для министра внутренних дел и предполагал подать просьбу государю. Ничего не удавалось, ничего не действовало. И М. Н. Катков и И. С. Аксаков отозвались сейчас же и принялись действовать с великим усердием. Нужно было печатно объяснить недоразумение» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 1, 1883, стр. 254—255). «Ответ редакции «Времени» на нападение «Московских ведомостей» напечатать не удалось. «Решительный поворот делу», по словам Страхова, дала заметка, помещенная в «Русском вестнике» (1863, № 5). См. также прим. к стр. 521.

СТРИЖАМ

(Послание обер-стрижу, господину Достоевскому)

(Стр. 495)

Впервые — *С,* 1864, № 7, отд. «Современное обозрение» (стр. 154—155 (ценз разр.— 16 июля и 18 августа). Подпись: Посторонний сатирик, автор «Стрижей». К заглавию статьи дано следующее примечание редакции «Современника»: «Мы решительно не одобряем ни чересчур резкого тона этого «послания», ни его бесцеремонных полемических приемов, а печатаем его единственно во уважение его цели, которая действительно стоит того, чтобы для ее достижения употребить даже те неодобрительные средства, какие употребил автор послания».

Полемическая статья «Стрижам» написана Антоновичем, но первый абзац ее, по свидетельству секретаря редакции «Современника» А. Ф. Головачева [1], взят из рукописи статьи Салтыкова, не увидевшей света и до сих пор не найденной. Той же рукописью, по-видимому, воспользовался Антонович и еще в одном случае. «Силу моего влияния на вас,— читаем в его статье,— я испытал на деле, и, кажется, она достаточна для того, чтобы постепенно видоизменять вашу натуру; я сказал: «стрижи!», и вы все всполошились, как ошеломленные, точно в вашу стаю сделали выстрел; но стоит мне сказать, что вы совсем не стрижи, а заправские литераторы, такие же люди и такие же журналисты, как и все,— и вы придете в восторг, ваше существо просияет...» [2] Этот текст соответствует следующим строкам полемического отрывка Салтыкова «Но если уж пошла речь об стихах...»: «...я, что захочу, то с вами и сделаю. Захочу — приведу в восторг; захочу — доведу до исступления; захочу — накажу, захочу — помилую. Мне стоит сказать: «Вы совсем не стрижи, а заправские литераторы» — и вы возрадуетесь; но вслед за тем я могу сказать: «Нет, я обманул вас, стрижи, вы совсем не литераторы, а стрижи!» — и вы закручинитесь» (см. наст. том, стр. 522). И текст Антоновича, и текст Салтыкова, надо думать, восходят к более раннему источнику, то есть все к той же статье Салтыкова, из которой извлек Антонович первую страницу своего «послания».

Так как статья Салтыкова «Литературные мелочи» (с «драматической былью» «Стрижи») не была подписана, Антонович объявил, что автором «Стрижей» был также он, «Посторонний сатирик». Мистификация была заподозрена Достоевским: «Только Стрижей не вы писали,— отметил он в записной книжке,— в Стрижах есть веселость. А что, если вы солгали?» [3]

---

[1] «Архив села Карабихи», М. 1916, стр. 95.
[2] М. А. Антонович. Избранные статьи, М. 1938, стр. 376—377.
[3] *ЦГАЛИ,* ф. 212, оп. I, ед. хр. 4, стр. 140.

«ЗАМЕТКА»

(Стр. 496)

При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые — в *изд. 1933—1941*, т. 18, стр. 379—380, с неверной датировкой (1863 вместо 1864). Перепечатана в т. 6 этого же издания (стр. 521—522) с исправлением даты: 1864 г. (стр. 567).

Сохранился единственный источник — рукопись, с подписью: М. Салтыков (Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина).

Причины непоявления «Заметки» в печати (она предназначалась для «Современника», 1864, № 8) освещены в письме Салтыкова к Некрасову из Витенева от 5 октября 1864 г. «Заметку мою в августовской книжке не напечатали, и я получил от Пыпина (уж после выхода книжки) письмо, в котором он пишет, что находит мою заметку слишком серьезною (?). Ну да черт с ними, а дело в том, что мне совершенно необходимо видеться с Вами и поговорить обстоятельнее. Ибо тут идет дело о том, могу ли я угодить на вкус гг. Пыпина и Антоновича».

ЖУРНАЛЬНЫЙ АД

(Стр. 497)

При жизни Салтыкова не печаталось. Впервые — *ЛН*, т. 11—12, М. 1933, стр. 114—121) (публикация В. В. Гиппиуса).

Сохранилась чистая корректура статьи, не имеющая подписи автора и адресованная А. Н. Пыпину *(ИРЛИ)*.

Судя по ссылкам на августовские газеты (прямая ссылка на статью «Дня» от 1 августа и вероятные ссылки на статью «Сына отечества» от 14 августа), В. В. Гиппиус пришел к выводу, что статья написана в августе 1864 г. и предназначалась для сентябрьской книжки «Современника». Эта же дата повторена в т. 6, стр. 564, *изд. 1933—1941*. Между тем известно, что статья под таким заглавием, но без указания имени автора, предназначалась для № 10 «Современника» за 1864 г., но была запрещена цензурой[1]. Цензурные разрешения № 10 «Современника» были даны 9 и 13 ноября. Поэтому, вероятнее всего, Салтыков работал над статьей «Журнальный ад» не в августе, а в сентябре или октябре. Такое предположение подтверждается и записью от 4 ноября 1864 г. в «Журнале заседаний С.-Петербургского цензурного комитета»: «„Журнальный ад" — статья, изображающая в резких и непристойных выражениях положение журналистики. Определено: запретить»[2].

---

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863—1866, Л. 1939, стр. 84

[2] *ЦГИАЛ*, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 508, л. 253 об.

Сатирик не видит существенной разницы между статьями московских публицистов (в газетах «Московские ведомости», «День») и петербургской публицистикой («Сын отечества», «Голос»). Те и другие «душедрянствуют и умонелепствуют», «выжимают все один и тот же выжатый лимон», только последние делают это с некоторой «гримасой томной стыдливости». Такое состояние русской журналистики, определяемое как «журнальный ад» или «сумасшедший дом», резко отличается от того, что было пять лет назад, когда в стране начинался мощный демократический подъем, вызревала революционная ситуация. С горечью констатирует Салтыков, что в том недалеком времени было «зерно чего-то такогó, что, однако ж, не взошло». Наступившая реакция как нельзя более способствует процветанию «стрижей», чьи эклектические теории характеризуются как «бессмысленный» и «безобразный винегрет».

В соответствии со всей логикой статьи Салтыкова центральной фигурой «журнального ада» оказывается герой Достоевского, в котором своеобразно совмещены черты Макара Девушкина (из повести «Бедные люди») и «человека из подполья». Так возникает сатирический образ «Девушкина, сидящего в сатанах». По мнению Салтыкова, прежний гуманизм автора «Бедных людей», связанный с традицией Гоголя, судя по последним произведениям редактора «Эпохи», в значительной мере «издержался». Этот намек можно усмотреть в словах о Девушкине, который из гоголевской «Шинели» «сумел-таки выкроить себе, по малой мере, сотню дырявых фуфаек».

В заключении сатирической статьи ее глубоко драматический подтекст как бы прорывается наружу в словах о том, что для «делателей этого ада» он полон «тяжких и непереносных мук».

Стр. 497. *...журнальные семейства...*— После смерти М. М. Достоевского (10 июля 1864 г.) право издания «Эпохи» перешло к его вдове Э. Ф. Достоевской и ее семейству. Фактическим редактором журнала попрежнему оставался Ф. М. Достоевский.

...стада «человекообразных»...— Имеются в виду публицисты «Русского слова» и сторонники этой группы (см. выше, стр. 695).

Матинька вы моя... и т. д.— Здесь пародия на содержание исповеди «человека из подполья» («Я ведь не кровожаден, а должен только показывать, что жажда убийства не чужда душе моей») как бы «вставлена» в форму, пародирующую стиль речей Макара Девушкина: «...не осудите же, простите вы меня, матинька вы моя». Ср. также у Достоевского в «Записках из подполья»: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек». И у Салтыкова: «Я бедный сатана, я жалкий сатана, я дрянной сатана, матинька вы моя!»

Стр. 498. *...картонный литературный ад...*— Ср. с разделом мартовской хроники «Нашей общественной жизни» за 1863 г., озаглавленным «Картонные кушанья, картонные копья, картонные речи!».

Стр. 498—499. *...посыпалось бесконечное число... вдовьих лепт...* — В дан-

ном случае евангельская притча о двух лептах вдовицы (Лука, XXI, 1—4) используется только в прямом значении — скромного дара.

...обрекать себя на ту самую работу, за которую, по свидетельству Гоголя, брался известный Кифа Мокиевич.— См. прим. к стр. 92.

Стр. 500. *Все эти «форейторы»...* — См. об этой метафоре И. С. Аксакова выше, прим. к стр. 116.

Стр. 501. *...гистрион...*— Гистрионами называли актеров в Древнем Риме.

...тысячи похотливых собак, которых хлебом не корми, да покажи обнаженное человеческое мясо.— Имеется в виду роль московской прессы в развязывании шовинистической кампании.

Стр. 502. *Стриж всему изумляется... факты представляются ему изолированными и потому всегда новыми.*— Ср. характеристику «миросозерцания дурака», подразумевающую все тот же старинный «винегрет», в статье «Литературные мелочи»: «Предметами этими мыслительная его сила поражается отрывочно, а потому он всякую минуту подавляется разнообразием впечатлений, и ни одного из них не удерживает прочно. Для него всякая штука представляет, так сказать, новизну...»

...просто словесные упражнения, без подлежащего, сказуемого и связки...— Одна из излюбленных формул Салтыкова для характеристики бедности и неясности мировоззрения, в данном случае — почвеннической идеологии.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КУСТЫ

(Стр. 506)

При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые — *ЛН,* т. 67, М. 1959, стр. 372—381 (публикация и обоснование авторства В. Э. Бограда).

Сохранилась вторая, чистая корректура статьи, набранная 11 ноября и не имеющая подписи автора *(ИРЛИ).*

Датировка статьи «Литературные кусты» не представляет затруднений. В литературе о «Современнике» давно известно, что статья под таким заглавием, но без указания имени автора, предназначалась для № 10 журнала за 1864 г.[1]. Цензурные разрешения № 10 «Современника» последовали 9 и 13 ноября, а № 8 «Эпохи», в котором было напечатано «Объявление» о подписке на этот журнал в 1865 г. (ответом на это «Объявление» и является статья «Литературные кусты»), вышел в свет после 27 октября. Следовательно, статья «Литературные кусты» была написана в самом конце октября — начале ноября 1864 г.

Статья относится к последнему этапу полемики между «Современником» и «Эпохой». Почти одновременно с «Литературными кустами» Салтыковым были написаны статьи «Журнальный ад» (см. выше) и рецензия «О добродетелях и недостатках...» (см. т. 5 наст. изд.). Слова Достоевского

---

[1] В. Е Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863—1866, Л. 1939, стр. 84.

в «Объявлении»: «не хулить, не осуждать,— а любить уметь — вот что надо теперь настоящему русскому» — были направлены против публицистов «Современника». Дело сводилось в конце концов к обвинению литераторов демократического лагеря в недостатке патриотических чувств. «Эпоха» вновь оправдывала пророчество Салтыкова 1863 г., что в ближайшем будущем почвенники начнут «катковствовать» (см. фельетон «Тревоги „Времени"», стр. 47 наст. тома).

Важность вопросов, затронутых Достоевским в «Объявлении», побудила Салтыкова, не ограничиваясь сатирическим осмеянием «стрижиных мыслей», непосредственно высказаться о путях исторического прогресса, о роли западников и славянофилов в русском общественном развитии.

Другим произведением Достоевского, которое парирует автор «Литературных кустов», был памфлет «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» с «Отрывком из романа „Щедродаров"» («Эпоха», 1864, № 5).

Стр. 506. *«Спрятался в кусты...»* — Так оценивал Салтыков следующие и другие аналогичные заявления из «Объявления» «Эпохи», которые несколько ниже приводит почти текстуально: «...личной полемики мы положительно хотим избегать, хотя и не утверждаем, что до сих пор не были в ней, хотя и невзначай, виноваты. Мерзит это нам, и не понимаем мы, как можно позорить бранью и сознательной клеветой людей (на что решаются некоторые) за то только, что они не согласны с нами в мыслях». Подобные заявления после памфлета «Щедродаров», направленного лично против Салтыкова, последний не мог определить иначе, как попытку уйти в кусты: «Помилуйте! Я этого не делал!» (см. ниже).

Стр. 507. *«Эпоха» начала свое существование тем, что в 1—2 №№ выпустила на счет «Современника» сплетню...*— Первое упоминание о полемике между «Русским словом» и «Современником», которое имеется тут в виду, появилось не в №№ 1—2, как ошибочно пишет Салтыков, а в № 3 «Эпохи» 1864 г. в статье Н. Страхова «Заметки летописца» (подпись: «Летописец»). Под заголовком «Междоусобие» было написано: «Между «Современником» и «Русским словом» с начала нынешнего года началась полемика, и обещает быть очень жаркою. До сих пор отношения этих двух журналов были таковы, что «Русское слово» постоянно выражало свое одномыслие с «Современником» и свое уважение к «Современнику»; «Современник» же, известный строгостию своих суждений, постоянно молчал о «Русском слове», что и служило для сего последнего знаком особой милости. Итак, начинающуюся перепалку по всей справедливости следует признать междоусобною битвою» (стр. 339). И далее: «Признаться, я вовсе не хотел было заносить этого факта в свои заметки и заношу его только потому, что для многих читателей он покажется весьма немаловажным. Я же уверен, что они в этом случае сильно ошибаются» (там же). Затем Страхов подробно излагает и цитирует статью Писарева о Щедрине «Цветы невинного юмора».

Стр 508 *На этот кукиш «Современник» отвечал комедией «Стрижи».*— См. выше стр. 488—494

«Эпоха»... видела в числе своих сотрудников Островского и Тургенева.. — В «Объявлении» о подписке на журнал «Эпоха» 1865 г. («Эпоха», 1864, № 8) говорилось: «А. Н. Островский положительно обещал нам в будущем году свою комедию. И. С. Тургенев уведомил нас, что первая написанная им повесть будет помещена в нашем журнале».

Стр 509. *«Современник» счел долгом ответить и на эту статью...*— См. выше стр 695—696, 702.

Стр. 510 *К стрижам можно относиться только в художественной форме...*— То есть всерьез спорить с почвенниками невозможно из-за отсутствия у них мировоззрения; с ними можно разговаривать лишь языком «комедии», сатиры. Это заявление Салтыков повторяет затем в резких выражениях еще дважды — в отрывке «Но если уж пошла речь об стихах...» и в статье «Гг. „Семейству М. М. Достоевского", издающему журнал „Эпоха"»

...в сентябрьской книжке «Современник» совершенно ясно и вразумительно доказал стрижам...— Имеется в виду статья М. А. Антоновича «Стрижи в западне».

Стр. 512. *О ты, что в горести напрасно...*— Начальные строки «Оды, выбранной из Иова, главы 38, 39, 40 и 41» М. В. Ломоносова.

...амплификация... — подробное рассуждение, разъяснение.

НО ЕСЛИ УЖ ПОШЛА РЕЧЬ ОБ СТИХАХ...

(Стр. 518)

При жизни Салтыкова не печаталось. Впервые — *ЛН,* т. 11—12, М. 1933, стр. 121—125 (вступительная статья и публикация В. В. Гиппиуса).

Сохранился один лист черновой рукописи этой статьи *(ИРЛИ),* судя по нумерации которого можно предположить, что утерянное начало (на четырех листах) было весьма обширным. Статья, по-видимому, не была закончена. Отдельные части сохранившегося отрывка восходят к более ранней неизвестной статье Салтыкова (см. выше, стр. 703). Горячая — по живым следам только что услышанных обвинений — полемика с публицистами «Русского слова» также указывает на связь отрывка с более ранним источником.

Если учесть, что статья является ответом на помещенную в сентябрьской книжке «Эпохи» статью «Чтобы кончить» и написана до появления октябрьского номера этого журнала, то не остается сомнений, что Салтыков работал над нею между 28 ноября и 12 декабря 1864 г. По предположению С. С. Борщевского, раскрытие Салтыковым мистификации Антоновича об авторе «драматической были» «Стрижи» (см. стр. 520) явилось причиной того, что статья не была напечатана [1].

---

[1] С. С. Борщевский. Щедрин и Достоевский, М. 1956, стр. 139—140.

В процессе работы над рукописью после слов «Всех вместе презирать их трудно!» (стр. 519, строка 4) Салтыков вычеркнул следующий текст:

Что хотел сказать Пушкин, написавший эти стихи (сим свидетельствую, что талант великого поэта имеет во мне одного из ревностнейших почитателей)? Хотел ли он сказать, что «срамцы» могут внутренно огорчать человека? или то, что совокупность «срамцов» производит действие более сильное, нежели то, которое производит каждый из них, взятый в отдельности? Полагаю, что ни то, ни другое, а просто думаю, что Пушкин под этими словами разумел, что дружественный союз срамцов может неприязненнее действовать на человеческую эпидерму, нежели сепаратные усилия каждого из них, взятого в отдельности.

Стр. 518. *Но если уж пошла речь об стихах...*— В статье «Чтобы кончить. Последнее объяснение с „Современником"» Ф. М. Достоевский, защищая «стрижей», сослался на стихи Фета:

«Вспомните начало одного стихотворения:

Жди ясного назавтра дня:
Стрижи мелькают и звенят.

Предвещать ясную погоду — очень лестно, особенно теперь, в наше время». Видимо, об этих стихах шла речь в предыдущей, не дошедшей до нас части статьи Салтыкова.

...Конечно, презирать не трудно...— Черновой отрывок стихотворения Пушкина (см. А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. 3, 1948, стр. 471). Салтыкову был известен неточный текст отрывка, впервые опубликованного Анненковым в «Материалах для биографии А. С. Пушкина»: Сочинения Пушкина, т. 1, изд. Анненкова, 1855, стр. 336.

Стр. 519. *Человекообразные соединились с стрижами...*— В нападках на Салтыкова как на идеолога и художника, на его биографию, со стороны «Русского слова» и «Эпохи», было много общего. Упреки Салтыкову в дворянском либерализме, в навязывании «Современнику» чуждого ему направления,— все это охотно перенимала «Эпоха» («стрижи») из арсенала «Русского слова» («человекообразных»), где Писарев назвал сатирика «действительным статским прогрессистом», а его творчество «цветами невинного юмора». Поэтому Салтыков пишет далее, обращаясь к почвенникам: «Вы позаимствовались комками грязи, кинутыми в меня „Русским словом"». Имеется в виду прежде всего статья Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», а также выступления Страхова и Ап. Григорьева. Григорьев, например, в статье «Парадоксы органической критики» («Эпоха», 1864, № 5) писал: «...прав г. Писарев: взялся за гуж — можно сказать г. Щедрину — не говори, что не дюж,— или «не виляй хвостом», по его собственному любимому выражению».

Следует отметить в свою очередь, что нападки «Русского слова» на Салтыкова были во многом похожи на то, что ранее писалось во «Времени», в частности Достоевским в статье «Опять Молодое перо»: «Вас потянуло к нигилистам, и вы даже не усомнились, в самом ли деле это нигилисты и такие ли бывают нигилисты. Вы примкнули к ним, от души,

веря, что они всех сильнее. Вы до сих пор не замечаете, до какой степени все это пробивается красненькой казенщиной...» (Ф. М. Достоевский. Цит. изд., т. 13, стр. 319). И там же: «Ваше творчество не сатира, а зубоскальство, а стало быть, и ваша деятельность не дело, а искусство для искусства».

...молодой гиббон...написал, в шутливом, но пакостном тоне, мою биографию.— Зайцев, написавший фельетон-биографию Яши Злючкина (см. выше, стр. 701).

...некоторый чимпандзе обратился ко мне с серьезным увещанием...— Речь идет о Писареве — авторе статьи «Цветы невинного юмора».

...сам старый горилла... и тот воспылал ко мне гневом...— Благосветлов, автор статьи «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист „Современника"» (см. выше, стр. 696).

Один из них (впоследствии он назвал себя...) написал даже целый роман...— В статье «Необходимое заявление» («Эпоха», 1864, № 7) Достоевский объявил, что он является автором «Щедродарова»: «В июльском номере «Современника» помещены две чрезвычайные статьи, направленные против «Эпохи», очевидно, в отместку моей статье: „Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах"» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 343).

Наконец, амфибии и те пискнули...— Речь идет об «Отечественных записках», «Библиотеке для чтения» и других умеренно либеральных изданиях и их откликах на полемику «Современника» с «Русским словом» и «Эпохой». В частности, «Отечественные записки» (1864, № 6) напечатали статью Е. Ф. Зарина (Incognito) под названием: «Начало конца. Очерк с претензией, вызванный расколом в нигилизме», а «Библиотека для чтения» (1864, № 1) поместила статью Н. Н. Воскобойникова (Н. В — ов), озаглавленную: «Что такое наши теперешние направления?».

Стр. 520. *...вы еще в прошлом году согласились с этим: «Ну да, что ж делать? птицы так птицы...»* — В ответной статье на фельетон «Тревоги „Времени"» — «Опять Молодое перо» — Достоевский, действительно, очень спокойно отнесся к сравнению почвенников с птицами. Он писал: «Хотел было я, правда, вам стихи сочинить, в pendant к вашим, в которых вы сравниваете нас с утками и с разными птицами. <Далее цитируются стихи Щедрина>. Да что, и ваши-то стихи я нахожу плохими, а уж у меня так ровно ничего не выходит» (Ф. М. Достоевский. Цит. изд., т. 13, стр. 321).

Стр. 521. *...думаешь, идет дело о польском вопросе — ан нет, речь идет об индюшках, ан нет, об антиспатах, ан нет, о Фейербахе.*— Ироническое перечисление тем статей Страхова: «Роковой вопрос» («Время», 1863, № 4), «Об индюшках и о Гегеле» («Время», 1861, № 9), «Опыты изучения Фейербаха» (Эпоха», 1864, № 6). См. также прим. к стр. 49.

...хорошее, кроткое ваше поведение, засвидетельствованное «Московскими ведомостями».— О том, как «Московские ведомости» помогли реабилитировать редакцию «Времени» после закрытия журнала, вспоминал

впоследствии Страхов: «Редакция «Московских ведомостей», чувствуя себя в некоторой мере виноватою, усиленно хлопотала о том, чтобы помочь беде, и после всяческих настояний у министра П. А. Валуева добилась наконец того, что ей, но только ей одной, дана была возможность объяснить возникшую путаницу. Это объяснение явилось в майской книжке «Русского вестника»... Заметка называлась «По поводу статьи „Роковой вопрос"» и отличалась обыкновенным мастерством. В ней я был осыпан упреками очень резкими по форме, но мало обидными по содержанию; решительно отвергались и опровергались все положения моей статьи, но вместе столь же решительно утверждалась и доказывалась ее невинность» («Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского» в кн.: Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 1, СПб. 1883, стр. 255—256).

...в самом начале вашего литературного поприща баловался с вами «Современник»... — См. выше, прим. к стр. 45.

...Петерсон не литератор, а просто проницательный человек — то есть доносчик. См. о нем прим. к стр. 124.

Стр. 522. *...мичман Петухов поступал очень неосновательно...* — В комедии Гоголя «Женитьба» (д. II, явл. VIII) Жевакин рассказывает о мичмане Петухове: «Бывало ему, ничего больше, покажешь эдак один палец — вдруг засмеется, ей-богу, и до самого вечера смеется».

Стр. 523. *...склав* — раб.

Гг. «СЕМЕЙСТВУ М. М. ДОСТОЕВСКОГО», ИЗДАЮЩЕМУ *журнал «Эпоха»*

(Стр. 524)

При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые — в журнале «Минувшие годы», 1908, № 1, стр. 77—83 (по полученному от М. А. Антоновича автографу с некоторыми неточностями).

Беловая рукопись с правкой автора, с подписью Н. Щедрин, хранившаяся у Антоновича, находится в *ИРЛИ*.

Статья возникла, вероятно, в середине декабря 1864 г. (полемика с «Заметками летописца» Н. Страхова, напечатанными в октябрьском номере «Эпохи», вышедшем в свет 12 декабря) и, скорее всего, предназначалась для ноябрьско-декабрьского номера «Современника», получившего цензурное разрешение 25 ноября и 30 декабря. Существуют три версии ответа на вопрос, почему эта статья не появилась в печати. Первая исходит от М. А. Антоновича и отражена в сделанном к публикации примечании редакции: против напечатания статьи возражал Некрасов из-за резкого тона по отношению к Достоевскому. Эта версия была оспорена Р. В. Ивановым-Разумником: статья была запрещена самим Антоновичем, в интересы которого не входило раскрыть непричастность Салтыкова к июльским и

сентябрьским «Литературным мелочам»[1]. Анализируя эти точки зрения, В. В. Гиппиус приходит к более вероятному выводу: «статья была отвергнута по общередакционным соображениям, а не по личному произволу Антоновича»[2].

Статья эта, по замыслу Салтыкова, должна была завершить полемику с «Эпохой». Она явилась ответом на два выступления почвенников («последние сказания»): «Чтобы кончить. Последнее объяснение с „Современником"», Достоевского (без подписи) — «Эпоха», 1864, № 9, и «Заметки летописца. Последние два года в петербургской журналистике», Страхова — «Эпоха», 1864, № 10. Итоговый характер статьи побуждает Салтыкова в ряде случаев отступать от своего обычного шутливо-пародийного тона в беседах с почвенниками и объяснять свою точку зрения обстоятельно и серьезно (например, об отношении к роману «Что делать?», о содержании своего произведения «Как кому угодно»).

Стр. 524. *Я всего два раза в течение моей недолговременной журнальной деятельности имел удовольствие беседовать об вас...* — Речь идет о фельетоне «Тревоги „Времени"» (в составе мартовской хроники «Наша общественная жизнь», 1863) и памфлете «Стрижи» (в составе статьи «Литературные мелочи», 1864). Другие написанные Салтыковым полемические статьи и заметки против «Эпохи» в «Современнике», как сказано выше, не появлялись (см. стр. 696).

...я даже не посягал на изображение каких бы то ни было «литературных отношений», как выражается ваш семейный летописец... — В «Заметках летописца» Страхов писал: «...«Эпоха» увлеклась дурным примером, который представляли «Стрижи», и поместила у себя статью под заглавием «Г-н Щедродаров, или Раскол в нигилистах». Статья эта, подобно «Стрижам», представляет фантазию из литературного мира, род произведений, в которых литературные отношения изображаются в лицах, в виде сцен между различными литераторами. Подобно «Стрижам», статья была карикатурою. Подобно «Стрижам», она заключала в себе намеки на чисто личные отношения. Подобно «Стрижам», она заходила дальше всем известного и публично заявленного» («Эпоха», 1864, № 10, стр. 6—7).

Сначала вы обозвали меня злым человеком... — В статье «Опять Молодое перо» Достоевский писал: «...к чему, к чему доходить до такого бешенства, до такого нервного сотрясения, до такой пены у рта!» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 311).

...ссылаясь на г. Фета, вы объяснили читателям, что «стриж» птица совсем не постыдная... и даже предвещающая хорошую погоду... — См. прим. к стр. 518.

---

[1] Р. В. Иванов-Разумник. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество, ч. I, М 1930, стр. 362—365.

[2] *ЛН*, т. 11—12, М. 1933, стр. 110.

Стр. 525. *...он <Достоевский> впоследствии сознался, что статья эта написана им...*— См. на стр. 710 прим. к стр. 519.

...к изумлению перед моею плодовитостью...— В «Заметках летописца» Страхов отмечал: «История литературы, конечно, запишет на своих страницах и скрижалях, что редко какой-нибудь писатель писал так обильно, как г. Щедрин в 1863 году, и что этот год есть плодотворнейший год его авторского поприща» («Эпоха», 1864, № 10, стр. 1).

...что моя журнальная деятельность свидетельствует лишь о «необыкновенной легкости в мыслях».— Имеются в виду следующие слова Страхова: «У меня легкость в мыслях необыкновенная», говорит одно лицо в гоголевской комедии. Я всегда вспоминал об этой легкости, когда с обычным моим прилежанием следил за течением речи г. Щедрина» (там же, стр. 5).

...к недоумению насчет моих отношений к роману «Что делать?».— Касаясь полемики «Современника» с «Русским словом», Страхов спрашивал: «Что сказал или хотел сказать г. Щедрин в продолжение года? Зачем он напал на роман „Что делать?"» (там же, стр. 9). См. также стр. 324 и прим. к ней.

...«К. Бибиков».— В «Эпохе» печатался беллетрист К. И. Бабиков, автор романа «Глухая улица»; во «Времени» в 1863 г. выступал с публицистическими статьями («От Петербурга до Екатеринославля», «Территориальная военная система») П. А. Бибиков. Может быть, Салтыков намеренно спутал эти фамилии.

Стр. 526. *...усматриваете даже... вариацию на теорию страстей, положенную в основание универсальной ассоциации?* — См. прим. к очеркам «Как кому угодно».

Стр. 527. *...журнальная моя деятельность обнимала 1863 и начало 1864 года, а в это время российские журналы и газеты совсем не об «идеях» и «сюжетах» заботились, а о том, в ком из них больше приятности...*— В первой части этого текста Салтыков говорит о своей работе «хроникера» «Современника», то есть о своих обозрениях «Наша общественная жизнь», которые начали печататься в № 1 «Современника» за 1863 г. и закончились по не зависевшим от автора обстоятельствам в № 3 «Современника» за 1864 г. Во второй части комментируемого текста имеется в виду шовинистический угар, охвативший большую часть прессы в связи с польским восстанием 1863 г.

Стр. 528. *Вы не раз обличали меня в том, что я принимал участие во «Времени» прежде, нежели был закрыт «Современник». Да, это правда; утверждая противное, я ошибся.*— «Противное» Салтыков утверждал в мартовской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г., в фельетоне «Тревоги „Времени"» (стр. 47 наст. тома). Ошибка Салтыкова была немедленно замечена и указана Достоевским в № 3 «Времени» за 1863 г. в статье «Опять Молодое перо»: «...в апрельском номере «Времени» за прошлый год были помещены у нас две ваши статьи» (Ф. М. Достоевский. Цит. изд. т. 13, стр. 315). Действительно, в апрельской книжке

«Времени» за 1862 г. (то есть еще до закрытия «Современника») были напечатаны две сцены Салтыкова из «Недавних комедий»: «Соглашение» и «Погоня за счастьем». В сентябрьской книжке «Времени» был напечатан «Наш губернский день».

В 1861 г. я приезжал в Петербург и случайно свиделся с Ф. М. Достоевским... — Салтыков приезжал в 1861 г. в Петербург из Твери. Вероятно. в конце октября — начале ноября Салтыков встретился с Достоевским и получил его приглашение печататься в журнале «Время».

Вы притворяетесь, что не прочли последних статей «Современника»... — Страхов заявлял в «Заметках летописца»: «Статьи эти <то есть статьи «Современника» против «Эпохи»> правильным образом разделяются на два разряда: три первые — ругательные и две последние — оправдательные. Я читал ругательные, но оправдательных до сих пор не успел прочесть за недосугом; шутка ли — сто страниц!» («Эпоха», 1864, № 10, стр. 8). «Оправдательными» здесь названы статьи, в которых Антонович стремился несколько изменить тон полемики, ничего не меняя в ее существе (*С*, 1864, №№ 9 и 10 — «Стрижи в западне», «Любовное объяснение с „Эпохой"» и др.).

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

Наша общественная жизнь

<I. Январь — февраль 1863 года>

Оставшееся в корректуре окончание январско-февральской хроники «Нашей общественной жизни» за 1863 г. Подробнее см. стр. 568—569.

<V. Сентябрь 1863 года>

Журнальная редакция пятой, сентябрьской хроники «Нашей общественной жизни» за 1863 г. Подробнее см. стр. 603—604.

Стр. 543. *И тянется лесок широкой темной гранью...* — Строки из стихотворения К. А. Рихтера (литературный псевдоним — К. Альбинский) «В деревне» («Пшеница стелется волною золотистой...»).

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, имеющиеся как в текстах Салтыкова, так и в примечаниях. В первом случае цифры, указывающие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены.

Составила указатель А. М. Малахова.

СОДЕРЖАНИЕ

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

СТАТЬИ

ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

Михаил Евграфович

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 6.

Редактор *К. Тюнькин.* Художественный редактор *С. Данилов*
Технический редактор *Ф. Артемьева.* Корректор *М. Доценко*

Сдано в набор 12/VI 1967 г. Подписано к печати 24/I 1968 г. Бумага типогр.
№ 1, $60 \times 90^{1}/_{16}$. $46^{1}/_{4}$ печ. л. Уч.-изд. л. 46,009 + 1 вкл. = 46,069 л.
Тираж 58 000. Заказ № 489. Цена 1 р. 35 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.
Типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.